Библиотека Всемирной Литературы

# Джордж Элиот

# Мидлмарч



# Мидлмарч: Картины провинциальной жизни

## Джордж Элиот

Аннотация
Джордж Элиот. Мидлмарч
Викторианские парадоксы мисс Джордж Элиот
1
2
3
4
5
Прелюдия
Книга первая. Мисс Брук
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Глава IX
Глава X
Глава XI

Глава XII
Книга вторая. Старость и юность
Глава XIII
Глава XIV
Глава XV
Глава XVI
Глава XVII
Глава XVIII
Глава XIX
Глава XX
Глава XXI
Глава XXII
Книга третья. В ожидании смерти
Глава XXIII
Глава XXIV
Глава XXV
Глава XXVI
Глава XXVII
Глава XXVIII
Глава XXIX
Глава XXX
Глава XXXI
Глава XXXII
Глава XXXIII
Книга четвертая. Три любовные проблемы
Глава XXXIV

Глава XXXV
Глава XXXVI
Глава XXXVII
Глава XXXVIII
Глава XXXIX
Глава XL
Глава XLI
Глава XLII
Книга пятая. Рука мертвеца
Глава XLIII
Глава XLIV
Глава XLV
Глава XLVI
Глава XLVII
Глава XLVIII
Глава XLIX
Глава L
Глава LI
Глава LII
Глава LIII
Книга шестая. Вдова и жена
Глава LIV
Глава LV
Глава LVI
Глава LVII
Глава LVIII

Глава LIX
Глава LX
Глава LXI
Глава LXII
Книга седьмая. Два искушения
Глава LXIII
Глава LXIV
Глава LXV
Глава LXVI
Глава LXVII
Глава LXVIII
Глава LXIX
Глава LXX
Глава LXXI
Книга восьмая. Закат и восход
Глава LXXII
Глава LXXIII
Глава LXXIV
Глава LXXV
Глава LXXVI
Глава LXXVII
Глава LXXVIII
Глава LXXIX
Глава LXXX
Глава LXXXI
Глава LXXXII

Глава LXXXIII
Глава LXXXIV
Глава LXXXV
Глава LXXXVI
Финал

## Аннотация

Самым масштабным произведением Джордж Элиот (псевдоним английской писательницы Мэри-Энн Эванс), настоящим шедевром стал роман «Мидлмарч» о провинциальном городке. В Мидлмарче творится немало ужасного – сомнительное обогащение, распри вокруг наследства, плетутся интриги, заключаются неудачные браки, но роман написан с мягкой иронией и проникнут типично викторианским оптимизмом.

# Джордж Элиот
# Мидлмарч

# Викторианские парадоксы мисс Джордж Элиот

# 1

Женщина, написавшая «Мидлмарч» и еще шесть романов под псевдонимом «Джордж Элиот», была и остается загадкой. Эта загадка приманивает и раздражает множество современных литературоведов. Отмахнуться от нее невозможно: «Мидлмарч» давно и прочно вошел в историю мировой литературы. Уже Вирджиния Вулф, не очень-то жаловавшая викторианских писателей, делала для Джордж Элиот исключение и называла «Мидлмарч» «одной из немногих английских книг, написанных для взрослых людей». Современные писатели Мартин Эмис и Джулиан Барнс называют «Мидлмарч» «величайшим английским романом». Эта книга неизменно входит в разнообразные литературные чарты, занимая в них высокие места; переиздания романа стоят на полках книжных магазинов между трудами Умберто Эко и Брета Истона Эллиса. Джордж Элиот, что называется, прошла проверку временем и обрела статус классика. Тем досаднее чувство, что нечто важное в ее книгах и в ее жизни проскальзывает мимо нас. Других классиков не мытьем, так катаньем втиснули в современные теории,

которые, как нам кажется, должны объяснять всё. Джордж Элиот в прокрустово ложе этих теорий не укладывается никак.

Разумеется, точно так же в головах многих ее современников не укладывалось, как можно писать и делать все то, что Джордж Элиот писала и делала. Нынешние литературоведы с радостью списывают это на косность викторианцев, но парадокс заключается в том, что как раз викторианские читатели, судя по тиражам и отзывам, принимали Джордж Элиот такой, какой она была, и читали ее, невзирая на любые скандалы. Это сегодня мы непременно должны понять, была писательница феминисткой или же антифеминисткой, разделяла консервативные взгляды или радикальные, а полтора века назад такими вопросами никто особо не задавался. Викторианцев не смущали противоречия — они как никто понимали, что это органичная часть жизни и для того, чтобы понять другого человека, не обязательно навешивать на него ярлыки.

И более того: жизнь Джордж Элиот, достаточно счастливая даже по меркам начала XXI века, кажется абсолютно несовместимой с нашими представлениями о веке девятнадцатом — скучном, чопорном, религиозном, лицемерном,

снобистском и так далее. Глубоко неясно, как в столь кошмарное время романы вроде «Мидлмарча» могли становиться бестселлерами. Заодно с литературоведческими теориями Джордж Элиот победно крушит и наше крайне искаженное, однобокое представление об эпохе правления королевы Виктории, а то и обо всем XIX веке, который, оказывается, был мудрее и свободнее, чем мы привыкли думать; местами — даже мудрее и свободнее нашей повседневности.

## 2

Книги Элиот обладают замечательным свойством: именно потому, что их невозможно подвергнуть умственной вивисекции, читатель вынужден сразу капитулировать перед писателем и, хочет он того или нет, попытаться принять его точку зрения, а она ко всему прочему постоянно смещается и ускользает (но об этом речь впереди). По какой-то метафизической иронии точно так же невозможно сфокусировать взгляд и на самой Джордж Элиот. Ее личность словно бы отталкивает любые попытки навесить на нее ярлык. Непонятно даже, как ее называть. Урожденная Мэри-Энн Эванс (Mary Anne Evans) под воздействием обстоятельств не раз и не два меняла свое имя: сначала убрала из него немую «е», потом долгое время подписывалась «Мариан Эванс», затем стала зваться Мариан Эванс Льюис, затем — Мэри-Энн Кросс. При этом в истории литературы она осталась под мужским псевдонимом, хотя надобность сохранять его отпала у писательницы практически сразу.

Но ладно имя. Все биографы уделяют особое внимание внешности Джордж Элиот, о которой

мы, однако, не можем составить представления в силу противоречия между этой внешностью и тем впечатлением, которое она производила на окружающих. Полнее всего данное противоречие выразил писатель Генри Джеймс, написавший своему отцу в 1869 году: «Начать с того, что она блистательно уродлива и восхитительно отвратительна». Далее он расписывает уродливость Элиот в подробностях: низкий лоб, тусклые серые глаза, большой нависающий нос, огромный рот, полный неровных зубов, безобразные челюсти… Вслед за чем следует потрясающее признание: «Однако в этом безбрежном уродстве кроется могущественная красота, которая через минуту-другую вкрадывается в душу и очаровывает ее, и собеседник поневоле влюбляется в эту красоту, как это произошло со мной. Да, я буквально влюбился в этот синий чулок с лошадиным лицом. Не знаю, в чем тут волшебство, но оно более чем действенно. Замечательная физиогномика — приятное выражение лица, голос мягкий и богатый, как у наставляющего ангела, — мудрость в сочетании с привлекательностью — все это говорит о скрытом мире сдержанности, знания, гордости и силы — очень женственное чувство собственного достоинства и характер, заметные

в этом броском некрасивом лице — сотни противоречивых оттенков самоосознания и простоты — скромность и искренность — грациозность и холодная беспристрастность — вот некоторые из более точных характеристик ее личности».

Похожее впечатление Джордж Элиот производила на всех подряд, включая Софью Ковалевскую, Мэри Гладстон, супругу премьер-министра Уильяма Юарта Гладстона («Я была впечатлена тем, насколько ее огромное лицо (смесь Савонаролы и Данте) выражает мягкость и искренность»), а также Тургенева, который говорил: «Я знаю, что она дурна собой, но когда я с ней, я этого не вижу», — и прибавлял, что встреча с Джордж Элиот заставила его понять, как можно до безумия влюбиться в очень некрасивую женщину. К сожалению, поскольку писательница умерла до появления кино, мы не можем увидеть ее «живьем», а имеющиеся в нашем распоряжении портреты и, тем более, фотографии (которых сохранилось не так много — Джордж Элиот запрещала их публикацию где могла) не дают нам почувствовать то, что чувствовали при общении с ней Тургенев и Джеймс.

То же самое можно сказать и про ее биографию: этот запечатленный на бумаге «портрет» вряд ли

позволяет понять то главное, что делало Джордж Элиот собой.

Мэри-Энн Эванс родилась 22 ноября 1819 года (что делает ее ровесницей королевы Виктории и в каком-то смысле всей викторианской эпохи) в уорикширском поместье Эрбери в центральной Англии, традиционно называемой Мидлендс, «срединными землями». Она была младшей из трех детей Роберта Эванса, плотника, который благодаря острому уму и обширной эрудиции быстро дослужился до управляющего поместьем, и Кристины Эванс, урожденной Пирсон, дочери мелкого землевладельца. Родители Мэри-Энн были если не типичными представителями британского среднего класса середины XIX века, то, во всяком случае, теми людьми, которых превозносили впоследствии викторианские бытописатели, солью земли, на которой в конечном счете зиждилась империя. Это обстоятельство, а также место рождения сыграли в судьбе писательницы ключевую роль. Мидлендс был «срединной землей» не только по названию, но и по сути: здесь смыкались уходящая в прошлое деревенская пастораль и наступающая индустриальная эпоха. Сельские домики и бескрайние поля соседствовали в графстве Уорикшир с за-

водами и фабриками. Ощущение продуваемого ветрами перемен перекрестка истории осталось с Джордж Элиот навсегда: если в первых романах она описывала сельскую жизнь, которую знала очень хорошо (и викторианский читатель это ценил), действие ее поздних и наиболее известных книг происходит на стыке эпох, например, «Мидлмарч» — это роман (в том числе) о начале 1830-х, когда была проведена революционная парламентская реформа.

С детства Мэри-Энн много читала и, как многие читающие дети, часто сочиняла собственные сказки. Она даже радовалась тому, что у нее не было друзей: «На свободе я могла предаваться мечтам и выдумывать всевозможные истории, в которых была главным действующим лицом». Отрочество и юность девочки прошли в закрытых школах. В пять лет Мэри-Энн отдали в пансион мисс Лэтом в Эттлборо. Через несколько лет она перешла в пансион миссис Уоллингтон в Нанитоне, где подружилась с главной воспитательницей, ирландкой, которая принадлежала к евангельским христианам и искренне пыталась «привести нашу аномальную англо-евангелическую жизнь в какое-то соответствие с духом и безыскусным словесным посланием Нового Заве-

та». В очередном пансионе в Ковентри Мэри-Энн попала под влияние Ребекки и Мэри Франклин, сестер-баптисток, и сделалась еще более серьезной и религиозной; впрочем, там же она начала расширять свой круг чтения — в него попали и Паскаль, и Шекспир, и Вальтер Скотт, и даже Байрон. В школе сестер Франклин Мэри-Энн начала даже сочинять свой первый роман — отрывки из него перемежаются в ее тетрадях со стихами религиозного содержания.

В конце 1835 года девушка вернулась домой, чтобы помогать своей сестре Крисси ухаживать за больными родителями. Мистер Эванс, страдавший от камней в почках, вскоре поправился; мать умерла от рака груди в феврале 1836 года. Когда в 1837 году Крисси вышла замуж, Мэри-Энн осталась в доме отца единственной хозяйкой. Смерть матери и болезнь отца только усилили ее религиозность, наполнив девушку решимостью встать на путь христианской аскезы. «О, если бы мы могли жить только для вечности, если бы мы могли осуществить ее близость, — писала она мисс Льюис. — Когда я слышу, что люди женятся и выходят замуж, я всегда с сожалением думаю о том, что они увеличивают число своих земных привязанностей, которые настолько сильны,

что отвлекают их от мыслей о вечности и о Боге, и в то же время настолько бессильны сами по себе, что могут быть разрушены малейшим дуновением ветра… Я все-таки думаю, что самые счастливые люди — это те, которые не рассчитывают на земное счастье и смотрят на жизнь как на паломничество, призывающее к борьбе и лишениям, а не к удовольствиям и покою. Я не отрицаю, что есть люди, которые пользуются всеми земными радостями и в то же время живут в полном единении с Богом, но лично для меня это совершенно неосуществимо. Я нахожу, что, как говорит доктор Джонсон относительно вина, полное воздержание легче умеренности».

Апогея эти настроения достигли в 1838 году, когда Мэри-Энн отправилась в Лондон с братом Айзеком и отказалась пойти в театр, а на память о путешествии приобрела трактат Иосифа Флавия «Иудейские древности» — не самое вменяемое чтение для девушки девятнадцати лет. Забросив «легкое чтение», включая романы Скотта, Мэри-Энн переключилась на серьезную литературу — трактаты по геометрии, химии, энтомологии, богословию, метафизике, латинскому языку.

В январе 1840 года состоялась первая литературная публикация Мэри-Энн Эванс — ее

религиозное стихотворение опубликовал англиканский журнал «Christian Observer». Однако к этому времени круг ее чтения расширился настолько, что слепая вера стала закономерно сдавать позиции. Наметился в ее жизни и еще один переворот: Айзек женился, перенял у отца должность управляющего поместьем и переехал в его дом, а мистер Эванс с дочерью переселились в предместье Ковентри. Там Мэри-Энн познакомилась с фабрикантом Чарльзом Брэем и его супругой Кэролайн, и эти люди навсегда изменили ее жизнь.

Супруги Брэй часто принимали в своем доме именитых гостей, включая романиста Уильяма Теккерея, социалиста Роберта Оуэна, философа Герберта Спенсера, поэта и эссеиста Ральфа Уолдо Эмерсона. Сам Брэй принадлежал к унитарианской церкви, то есть верил в Единого Бога, но не в Троицу и не в таинства; он предпочитал рациональный подход во всем, включая христианскую религию, увлекался френологией, разделял воззрения Оуэна на социализм и был приятным в общении и разносторонне образованным человеком, что не могло не импонировать Мэри-Энн. Проведя весь 1841 год в «кружке» Брэев, она излечилась от болезненного религиозного

мировоззрения и второго января 1842 года объявила отцу, что прекращает ходить в церковь. Следующие месяцы были омрачены событиями, которые Джордж Элиот назовет позже «священной войной» с отцом. К маю страсти поутихли, и девушка согласилась хотя бы сопровождать отца на богослужения.

Так Джордж Элиот отринула первый из двух столпов викторианского общества — религию.

## 3

В 1844 году Мэри-Энн Эванс довелось впервые заработать деньги изящной словесностью: она начала переводить на английский «Жизнь Иисуса» германского философа и теолога Давида Фридриха Штрауса, доказывавшего, что Евангелия несут в себе элемент позднего мифотворчества. Идея взяться за этот перевод возникла у девушки после знакомства с супругой Чарльза Хеннелла (брата миссис Брэй), которая начала переводить Штрауса, но бросила перевод после замужества. Объем этого написанного сложным языком сочинения был огромен — 1500 страниц! — и очень скоро Мэри-Энн стало «тошнить от Штрауса», особенно от того, как он демифологизировал «прекрасную историю распятия». Однако перевод она завершила достаточно быстро: уже в 1846 году «Жизнь Иисуса» вышла на английском без упоминания имени переводчика. Получив за работу 20 фунтов, Мэри-Энн по собственному почину взялась переводить с латыни «Богословско-политический трактат» Спинозы.

Теперь ее увлекала философия: «О, если бы мне удалось примирить философию Локка с

Кантом! — сказала она как-то подруге. — Ради этого стоило бы жить!» В одном из писем Мэри-Энн сообщает, что хотела бы написать собственный трактат «О преимуществе утешений, доставляемых философией, над утешениями, доставляемыми религией». Список ценимых ею философов беспрестанно пополнялся, в том числе потому, что она овладевала все новыми языками, чтобы читать философские сочинения в оригинале. «Стоит приложить все усилия, чтобы выучить французский, чтобы прочесть только одну книгу — «Исповедь» Руссо», — говорила она. В 14 лет Мэри-Энн начала учить итальянский, греческий и латынь, позже занималась немецким и французским, в зрелости выучила испанский и даже читала Ветхий Завет на иврите, что очень помогло ей во время работы над «Даниэлем Дерондой».

В марте 1845 года она отклонила предложение руки и сердца местного художника, сделанное через несколько дней после знакомства. К этому времени здоровье мистера Эванса начало ухудшаться, и Мэри-Энн почти все время проводила у его постели, выполняя роль сиделки. Ее отец скончался в последний день весны 1849 года. Уже в июне Мэри-Энн, пребывавшая на грани нервного срыва, уехала из Англии вместе с Бр-

эями и провела остаток года во Франции, Италии и Швейцарии. Здесь пути друзей разошлись, и Мэри-Энн провела зиму в Женеве, в доме Франсуа д'Альбера-Дюрада, художника, который написал первый ее портрет. В марте 1850 года она вернулась в Англию, к своему неоконченному Спинозе, и стала жить с Брэями в Ковентри.

В 31 год в Мэри-Энн созрело намерение зарабатывать на жизнь сочинительством, но не романов — о них будущая Джордж Элиот даже не помышляла, — а статей и рецензий. Друг мистера Брэя Джон Чэпмен, издатель, опубликовавший перевод Штрауса, предложил ей стать соредактором журнала «Westminster Review», где Мэри-Энн уже печаталась, подписываясь именем «Мариан» (которое с этих пор стала использовать). В январе 1851 года Мариан даже переселилась в Лондон, в обширный дом Чэпмена, куда тот пускал «литературных» постояльцев. Чэпмен проживал в этом доме вместе с женой, двумя детьми и любовницей. Судя по дневнику издателя, между ним и Мариан было нечто большее, чем просто дружба; неудивительно, что жена с любовницей, узнав о новом увлечении своего мужчины, сделали все, чтобы жизнь ее стала невыносимой, так что уже в марте Мариан вернулась в Ковентри. Тем

не менее она согласилась стать соредактором «Westminster Review» и два года возглавляла этот журнал. Чэпмен убедил своих женщин, что Мариан нужно жить в Лондоне; в сентябре она вернулась в его дом на правах постоялицы.

Вскоре она сблизилась с Гербертом Спенсером и влюбилась в него; они повсюду появлялись вместе, так что по Лондону пошли слухи об их помолвке, однако по большому счету Спенсер был к ней равнодушен. Судьба, однако, ждала Мариан буквально за поворотом: в один прекрасный день Спенсер познакомил ее со своим другом, Джорджем Генри Льюисом, журналистом, писателем, поэтом, актером, музыкальным критиком, знатоком языков и философии, короче говоря, широко эрудированным дилетантом. К середине 1853 года Мариан и Льюис поняли, что созданы друг для друга. Возможно, сблизило их и то, что Льюиса называли «самым уродливым мужчиной Лондона»; даже друзья именовали его «обезьяной», отмечая при этом, что сердце у него доброе: «В Льюисе нет ни сплина, ни зависти, ничего плохого вообще…»

Проблема заключалась в том, что мистер Льюис был женат. Семейная жизнь его была несколько запутанна: в 1841 году он вступил в гражданский

брак с женщиной, которая подарила ему пятерых детей (выжило трое), после чего, увлекшись его лучшим другом, родила еще четверых. Будучи апологетом «свободной любви», Льюис признал первого из этих детей своим и продолжал содержать жену, но когда на свет появился еще один младенец, понял, что дальше так продолжаться не может. Льюис ушел из семьи, однако развестись не смог — записав чужого ребенка на себя, он скрыл измену супруги, что по законам викторианской Англии лишало его права на развод. Таким образом, выйти за Льюиса замуж Мариан Эванс не могла ни при каких обстоятельствах, что вовсе не помешало им жить вместе. «Мистер Льюис совершенно покорил мое сердце, — писала она подруге, — несмотря на то, что вначале не внушал мне особенной симпатии. Он принадлежит к числу немногих людей, которые на самом деле лучше, чем кажутся. Это человек с сердцем и совестью, только напускающий на себя легкомыслие и бесшабашность».

Сойдясь с Льюисом, Мариан сложила с себя обязанности соредактора «Westminster Review» и подрядилась перевести для Чэпмена трактат Людвига Фейербаха «Сущность христианства» (за эту работу ей заплатили уже 30 фунтов). Льюис в

это время сочинял книгу «Жизнь и труды Гёте», которая стала образцовой биографией немецкого поэта. (Стоит упомянуть, что в 1853 году издатели анонсировали трактат Мариан Эванс под названием «Идея будущей жизни», но он так никогда и не увидел свет.) В середине 1854 года Мариан с Льюисом отправились в Германию собирать материал для его книги; на зиму они остались в Берлине, не скрывая того, что живут вместе. Дни они проводили за работой, совместным чтением, обсуждением самых разных тем (интересы Льюиса были весьма разнообразны, так, после Гёте он взялся за исследование из области морской биологии). Следующие двадцать с лишним лет Мариан Эванс и Джордж Генри Льюис жили в мире и согласии, и только смерть разлучила их.

По возвращении в Англию Льюис отправился в Лондон, где взял с законной супруги слово, что та не будет настаивать на их воссоединении; Мариан в это время жила в Дуврe, читала Шекспира и переводила «Этику» Спинозы (увы, данный перевод дождался публикации лишь в 1981 году). Льюис и Мариан поселились в Ричмонде. С этого времени она неизменно называла его своим мужем. От пары вскоре отвернулись многие друзья, в том числе свободомыслящие, — их возмущало

не то, что любовники обрели друг друга (это и в викторианской Англии было дело житейское), а то, что они не скрывают своих чувств на публике. Даже чета Брэев на время охладела к Мариан. А она всячески пыталась донести до них, что не совершает ничего безнравственного (хотя бы из этого можно заключить, что, несмотря на отрицание религии, нравственность как таковая была Джордж Элиот более чем небезразлична).

«Скажу вам только одно: ни в теории, ни на практике я не признаю мимолетных, легко разрываемых связей, — писала Мариан миссис Брэй. — Женщины, которые удовлетворяются такого рода связями, не поступают так, как поступила я, — они получают то, чего жаждут, и все по-прежнему приглашают их на ужин. Если столь свободный от предрассудков человек, как вы, называет наши с мистером Льюисом отношения «безнравственными», я могу объяснить это, только напомнив себе, из каких сложных и разнообразных элементов слагаются суждения людей. Я всегда стараюсь помнить это и снисходительно отношусь к тем, кто так сурово нас осуждает. От большинства мы и не могли ждать ничего, кроме самого строгого приговора. Но мы так счастливы друг с другом, что все это перенести нетрудно».

Так Джордж Элиот открыто презрела второй столп викторианской Англии — брак.

## 4

Отлучение Мариан от общества продлилось до середины 1870-х годов, когда писательская репутация Джордж Элиот наделила ее иммунитетом от суждений кого бы то ни было. Отчасти этот остракизм способствовал появлению на свет ее книг. Теперь Мариан располагала временем для сочинительства.

В июле 1856 года, когда был завершен перевод «Этики» Спинозы, партнеры отправились в Уэльс, и там Мариан задумала повесть «Скорбный удел преподобного Эймоса Бартона». Она по-прежнему не помышляла о писательской карьере, полагая, что у нее нет ни малейшего таланта к литературе, и «приходила в ужасное отчаяние от полной неспособности написать что-либо беллетристическое». Однако Льюис убедил Мариан, что повесть получается весьма недурной, и в январе 1857 года «Эймоса Бартона» напечатал журнал «Blackwood's Edinburgh Magazine». Мариан уже приступила ко второй повести, тоже из жизни духовенства, — «История любви мистера Гилфила»; журнал опубликовал ее полгода спустя. Третья повесть, «Исповедь Дженнет», появилась

в печати в том же 1857 году.

«Blackwood's Edinburgh Magazine» печатал рассказы и повести, не указывая имени автора. Псевдоним «Джордж Элиот» (Джордж — потому что это было первое имя Льюиса, Элиот — ввиду благозвучия) впервые украсил тексты Мариан в январе 1858 года, когда все три ее повести были переизданы в одной книге под названием «Сцены из жизни духовенства». Так на литературном небосклоне Англии зажглась новая, загадочная звезда. Таинственный писатель, о котором никто ничего не знал, издал книгу, о которой говорили. Сам Чарльз Диккенс расхвалил книгу Джордж Элиот, причем уверенно предположил, что ее написала женщина. Единственное, что могло отравить радость Мариан, — реакция ее любимого брата Айзека на сообщение о «моем муже» Льюисе. Через адвоката Айзек уведомил сестру, что семья разрывает с ней всякие отношения. Мариан, само собой, огорчилась, но не слишком сильно — в конце концов, она действительно была счастлива с Льюисом.

В октябре 1857 года Мариан начала писать свой первый роман — «Адам Бид». Он вышел в феврале 1859 года, за год выдержал семь изданий и разошелся огромным тиражом в 16 тысяч экзем-

пляров. Успех Джордж Элиот был таков, что литературные круги Англии потребовали раскрыть псевдоним автора. Подозрение пало на Льюиса, и он вынужден был солгать, что понятия не имеет о том, кто написал «Адама Бида». Дело дошло до абсурда: Фэнни, сестра Мариан, узнала в героях книги своих отца и тетку и решила, что написать такую книгу мог лишь один человек — некий мистер Лиггинс, сын булочника, учившийся в Кембридже. Сам Лиггинс ничего не подтверждал, но ничего и не опровергал — кажется, он ощущал себя в роли предполагаемого автора бестселлера более чем комфортно. Восторженные читатели посещали дом Лиггинса и выказывали ему свое почтение, а когда прошел слух, что автор «Адама Бида» живет в бедности, потому что отдает рукописи издателю безвозмездно, организовали подписку в его пользу и стали слать в издательство возмущенные письма.

В авторство Лиггинса поверили и супруги Брэй, письма в его защиту писали в «Таймс» Флоренс Найтингейл (по иронии судьбы, Мариан и Флоренс познакомились до того, как эта сестра милосердия стала национальной героиней на Крымской войне) и некий Чарльз Брэйсбридж, сельский джентльмен из рода, восходившего к

леди Годиве, также знакомый Мариан. Летом 1859 года писательница решила, что с нее хватит, и раскрыла тайну псевдонима. Мистер Брэйсбридж тут же обвинил ее в плагиате. Мариан, некогда считавшая Брэйсбриджа «добросердечным человеком», теперь без обиняков называла его «почти идиотом». Кроме того, Льюиса и Мариан подозревали в том, что они намеренно раздули историю с Лиггинсом, а то и вступили с ним в сговор, лишь бы «Адам Бид» разошелся тиражом побольше. Как можно видеть, литературные склоки XIX века мало чем отличались от современных.

Вплоть до конца 1870-х годов Джордж Элиот (теперь мы будем называть ее так) вела жизнь, вехами которой становились в основном новые книги и путешествия по Европе. После успеха «Адама Бида» читающей публике стало ясно, что в Англии появился еще один писатель уровня Джейн Остен, Энтони Троллопа и Диккенса (который после раскрытия псевдонима нанес писательнице визит и предложил ей печататься в его журнале «All the Year Round»). Читатели ждали от Элиот новых книг, а сама она, словно нагоняя упущенное, жаждала эти книги писать. Уже в апреле 1860 года вышел ее новый роман, «Мельница на Флоссе», еще более автобиогра-

фичный и составляющий пару «Адаму Биду» — действие «Мельницы» тоже происходило в английской провинции. Элиот получила за «Мельницу» солидный гонорар, значительную часть которого удачно инвестировала в железные дороги Индии.

Находясь под впечатлением от поездки по Италии, она задумала написать совсем другую книгу — о средневековой Флоренции; началось все с замечания Льюиса о том, что жизнь монаха Савонаролы, несколько лет бывшего диктатором Флоренции, могла бы стать отличным сюжетом для романа. Воплотить задуманное в жизнь оказалось весьма непросто, так что в перерыве между изучением источников Джордж Элиот сочинила третью книгу о жителях мидлендского села — «Сайлес Марнер» (1861). Флорентийский роман «Ромола» писался долго и трудно; о том, как он вымотал Элиот, можно судить по ее словам: «Я начала писать этот роман молодой, а закончила его старухой». За журнальную публикацию «Ромолы» издатели предложили поначалу беспрецедентную сумму — 10 тысяч фунтов. В итоге Элиот получила гонорар размером 7000 фунтов стерлингов. Роман продавался скверно, критики хвалили его сдержанно, однако благо-

даря «Ромоле» Элиот стала столь же популярна в Англии, как Чарльз Диккенс.

После «Ромолы» она два года не приступала к новой книге, безуспешно пытаясь сочинить пьесу для актрисы Элен Фосит. Следующим романом Джордж Элиот стал роман «Феликс Холт, радикал» (1866), в нем писательница вернулась на родную почву, вдохновляясь на этот раз не сельской жизнью, а, как явствует из названия, политикой. Действие «Феликса Холта» происходит в 1832 году, однако и параллелей с 1860-ми в романе более чем достаточно. Следующие три года жизни Элиот посвятила почти исключительно поэзии, в частности, дописала драму «Испанская цыганка» (собирая материал для этой пьесы в стихах, она съездила вместе с Льюисом в Испанию и побывала в гостях у цыган, живших в горных пещерах над Гранадой) и работала над поэмой «Тимолеон», но безрезультатно.

1 января 1869 года в дневнике Джордж Элиот появляется первая запись о романе под названием «Мидлмарч». Поначалу это должен был быть роман о приехавшем в провинцию молодом враче Лидгейте, семействе Винси и старом землевладельце мистере Фезерстоуне. Год спустя, изрядно утомившись, Элиот в отчаянии отложи-

ла «Мидлмарч» и принялась за повесть, которую назвала «Мисс Брук» — о религиозной девушке, которая вышла замуж за священника. Работа спорилась, и писательница неожиданно для самой себя поняла, что новая повесть превосходно сочетается с уже начатым «Мидлмарчем». Соединив два текста в единое целое, она опубликовала первый том романа в декабре 1871 года.

«Мидлмарч», изданный в восьми томах в 1871–1872 годах, после не слишком успешного «Феликса Холта» вознес писательницу на недосягаемую высоту. Те, кто отворачивался от нее, теперь искали ее дружбы. В лондонский дом Льюисов зачастили писатели, поэты, художники, политики, феминистки, активисты тред-юнионов, здесь бывали Рихард Вагнер, Генри Джеймс, Данте Габриэль Россетти, Уильям Моррис, Эдвард Бёрн-Джонс. У Льюиса и Элиот появился свой экипаж, а также дом за городом, где они отдыхали от суетного Лондона. «Моя новая резиденция мне ужасно нравится, — пишет Джордж Элиот в одном письме. — Представьте себе, как я сижу с моим сочинением на коленях и грелкой в ногах у открытого окна, откуда открывается прелестный вид на цветник и на дальние зеленеющие холмы. В этом положении я провожу все утро. Мы обеда-

ем в два часа, а в четыре, когда приносят чай, я начинаю читать вслух. В шесть мы идем гулять в поле и наслаждаемся зрелищем необъятного неба и широкого горизонта, расстилающегося вокруг нас со всех сторон. В восемь обыкновенно возвращаемся домой и наполняем наши вечера химией, физикой и другими премудростями; иногда же мы предаемся легкомыслию и читаем Альфреда Мюссе или что-нибудь в этом роде… Многие знакомые удивляются, как мы можем так долго жить в полном уединении, но дело в том, что мы никогда не бываем одни, хотя и не видим никого из людей».

В 1873 году Джордж Элиот задумывает новый роман, которому суждено было стать последним. «Даниэль Деронда» был опубликован в 1876 году и шокировал многих тем, что писательница неожиданно обратилась к еврейской теме. Еврейские общины всей Европы приветствовали эту книгу, восприняв ее как слово в свою защиту, в то время как антисемиты «Даниэля Деронду» яростно критиковали. Элиот такой поворот ничуть не удивил: «Что касается еврейского элемента в «Деронде», — писала она Гарриет Бичер-Стоу, — я с самого начала предвидела, что он встретит много порицания и враждебного отношения. Но

именно потому, что отношение христиан к евреям так бессмысленно и противоречит духу нашей религии, я чувствовала потребность написать о евреях… Может ли быть что-нибудь возмутительнее, чем когда так называемые развитые люди отпускают глупые шутки о поедании свинины и выказывают полное незнание той связи между нашей цивилизацией и историей народа, над которым они изощряют свое остроумие?»

С начала 1870-х годов Джордж Элиот чувствовала себя все хуже: лет ей было уже немало, болезни обострялись, давали знать о себе камни в почках, писательницу часто мучала мигрень. Тем не менее она находила в себе силы не только сочинять «Даниэля Деронду», но и помогать Льюису готовить к печати его opus magnum — трактат «Проблемы жизни и сознания», первые три тома которого увидели свет в 1874 и 1875 годах. В июне 1878 года врачи обнаружили у Льюиса рак; 30 ноября он скончался. Смерть возлюбленного надломила Джордж Элиот, на два месяца она заперлась в своем доме, не желая видеть никого, кроме единственного оставшегося в живых сына Льюиса, Чарльза. Но и в эти недели она работала, редактируя последние два тома «Проблем жизни и сознания». Незадолго до смерти Льюиса

она отправила издателю свое последнее сочинение — «Впечатления Теофраста Сача», сборник эксцентричных эссе, написанных заглавным персонажем. Издание книги было отложено до мая 1879 года.

В феврале 1879 года Джордж Элиот открыла двери своего дома для гостей, и первым человеком, который нанес ей визит, стал Джон Уолтер Кросс, сорокалетний банкир, которому Льюисы доверяли инвестировать их сбережения. Кросс был их другом с 1869 года (они называли его «племянником») и все это время не скрывал того, что влюблен в писательницу. По просьбе Кросса Элиот начала обучать его итальянскому языку, они сблизились, и когда после смерти Льюиса минул год, Кросс сделал ей предложение. В мае 1880 года 60-летняя Джордж Элиот вышла замуж за мужчину на 20 лет моложе себя, вновь шокировав Англию. На свадьбе присутствовали семья жениха и сын Льюиса; впрочем, Айзек Эванс после многолетнего молчания все-таки поздравил сестру с замужеством. На медовый месяц молодожены отправились на континент, где не обошлось без происшествий: в Венеции Кросс по неясной причине выпрыгнул из окна палаццо в Большой канал. Банкир выжил, пара

вернулась в Англию, однако семейным счастьем наслаждалась недолго: в начале зимы Джордж Элиот простыла на концерте и 22 декабря умерла. Неделю спустя ее похоронили на неосвященной части Хайгейтского кладбища. На надгробном памятнике выбиты два имени: «Джордж Элиот» и «Мэри Энн Кросс».

## 5

Если судить по внешним атрибутам, неизбежно приходишь к выводу, что Джордж Элиот была своего рода викторианской мятежницей. Ее жизнь определяли «священная война» с религией, бывшей неотъемлемой частью викторианской жизни (что видно и по книгам самой Элиот, чья литературная карьера не зря началась со «Сцен из жизни духовенства»), а также бунт против семьи: с точки зрения тех, кто отвернулся от Элиот, женщина, открыто жившая с женатым мужчиной, ни в грош не ставила священные узы брака. В эту картину плохо вписываются книги Джордж Элиот, но элементы мятежа можно отыскать и в них — было бы желание; взять хоть болезненный для многих англичан еврейский вопрос, поднятый в «Даниэле Деронде».

Литературовед Тим Долин называет Элиот «мятежницей и пророчицей» и спешит добавить: слишком легко посчитать ее мятеж бунтом против викторианства, а ее пророчества — стремлением к тому, что мы считаем за благо здесь и сейчас. Успех романов Элиот свидетельствует о том, что викторианцы не воспринимали ее

как отъявленного бунтаря — да и вряд ли она им была. А если приглядеться, мы обнаружим, что «мятежница» сама защищала традиционные ценности — и семью, и веру — куда более самоотверженно, нежели те, кто считал Элиот беспутной атеисткой.

О том, что узы брака — заключаемого не на земле, а на небесах, — для Джордж Элиот священны, говорит далеко не только ее письмо миссис Брэй, процитированное выше. Легко заметить, что все героини Элиот не только не стремятся уйти из семьи, но, напротив, даже будучи несчастными в браке, идут на все, чтобы его сохранить. Замечательный пример тут — Ромола: разочаровавшись в своем супруге Тито, она бежит из родного города, но по пути встречает Савонаролу, и тот говорит ей: «Ты бежишь от своих долгов: от долга флорентийской женщины; от долга жены. Ты отворачиваешься от жребия, что назначен тебе судьбой, и желаешь найти иной жребий. Но может ли мужчина или женщина выбирать свои обязательства? Не более, чем они могут выбирать место рождения, отца или мать. Дочь моя, ты бежишь от присутствия Бога в пустыню». Ромола отвечает, что уже не любит мужа, на что монах откликается: «Есть узы высшей любви.

Брак — это дело не одной лишь плоти, его цель — не эгоистические радости…»

Будь Джордж Элиот воинствующей безбожницей и сторонницей свободной любви, ей ничего не стоило бы выставить Савонаролу лицемером, однако «Ромола» — о другом. Пройдя через множество тяжких испытаний, героиня романа приходит к выводу, что она была несправедлива к мужу и, может быть, не любила его так, как должна была. Вернувшись в родной город, она узнает, что Тито мертв и воссоединиться с ним она не сможет никогда; тогда Ромола разыскивает его незаконнорожденных детей и посвящает свою жизнь им.

Еще более характерна линия Доротеи и Кейсобона в «Мидлмарче». Девушка, которая тягой к знаниям и религиозной фанатичностью схожа с юной Мэри-Энн Эванс, решает составить семейное счастье немолодого священника, ученого педанта, пишущего никому не нужный трактат «Ключ ко всем мифологиям». Когда влюбленность проходит, наступает неминуемое крушение иллюзий, однако Доротея остается с Кейсобоном до самой его смерти — и даже после нее далеко не сразу решается нарушить волю покойного супруга, велевшего «избегать поступков, неже-

лательных мне, и стремиться к осуществлению желаемого мною».

Безусловно, Доротею ведет чувство долга, которое может ошибаться, — но любое подобное чувство должно основываться на чем-то сродни «высшей любви», the higher love, о которой говорит Ромоле Савонарола. Героиня «Мидлмарча» в конце концов отличит добро от зла и выйдет замуж за Уилла Ладислава, хотя это замужество будет стоить ей благосостояния. Мораль здесь — вовсе не та, что следует бунтовать против ущербного брака. Джордж Элиот одинаково далека и от бунта, и от смирения; скорее она говорит читателю, что пути Господни неисповедимы, однако счастье обретет лишь тот, кто сделал выбор в пользу любви. (Стоит вспомнить о судьбе другого героя «Мидлмарча», врача Лидгейта, который решает «больше в упряжке не ходить», но с момента выборов капеллана встает на скользкий путь компромиссов с собственной совестью.)

Была ли Джордж Элиот верующей? Один из ее биографов писал, что Элиот принадлежала «к великой и благородной церкви… Бунтовщиков». Можно долго спорить о том, была ли Элиот христианкой (в любом смысле этого слова) или же придерживалась светской нравственности, — но

стоит ли? Лорд Эктон, один из виднейших католиков викторианской Англии, верующий до глубины души, «атеистку» Элиот просто боготворил — и именно за то, что она «создала веру из неверия». «Элиот невзлюбила в христианстве именно мораль… Ничто в прошлом не было для нее свято, она не подчинялась слепо ни единому авторитету, — писал Эктон. — Системы ценностей, которым она следовала, круги, в которых она жила, были беспомощны в части этики. И все же она сотворила для себя — в самом неблагоприятном окружении — столь высокую и идеальную мораль, что влияние ее духоподъемно и благотворно, и через эту мораль атеизм соревнуется с теизмом в облагораживании человечества». Не больше и не меньше.

Нужно помнить, продолжал Эктон, что наиболее плодотворный период Джордж Элиот пришелся на годы, когда атеизм начал победное шествие по Европе, а рука об руку с отказом от религии шел и отказ от этики: во многих университетах Германии, к примеру, этику исключили из числа предметов, изучаемых на философских факультетах. Казалось бы, крах этики неминуем, но тут появилась Джордж Элиот — и атеизм, удивляется Эктон, «стал равным христианству

в моральном достоинстве, сделавшись его соперником в интеллектуальной подоплеке… все благодаря одной женщине, жившей среди зубоскалов, адептов нечистоты, людей, не ведавших о высших смыслах, философов, лишенных морального кодекса, — женщине, никогда не читавшей книг, что учат религиозных людей высшим добродетелям. По причинам, слишком очевидным для того, чтобы их обсуждать, я бы променял всю художественную литературу Англии со времен Шекспира на сочинения Джордж Элиот».

Если в этом контексте и можно говорить о мятеже Элиот, это никоим образом не бунт ради бунта. Напротив, и по форме, и по сути это абсолютно викторианское восстание против лицемерия, которое тщится выдать себя за истину. Викторианское оно потому, что само английское общество XIX века хотело видеть себя безусловным оплотом христианства, сохраняющим его дух; Джордж Элиот восставала только против того, что было противно этому духу, и восставала, если разбираться, очень по-христиански — с любовью к ближнему в каждой строчке ее книг.

Это не слепая «любовь», которая не замечает ничего, кроме самой себя, а равно и не беспощадная «любовь», ставящая мораль превыше всего.

В романах Элиот любовь не закрывает глаза на слабости и грехи человека, но при этом она ни на секунду не дает нам забыть, что ближний состоит далеко не только из грехов и слабостей — и что мы обязаны входить в его положение без того, чтобы судить его в соответствии с нашими моральными теориями, а значит, должны относиться к нему с пониманием и добротой. «Она сделала добродетель достойной восхищения и привлекательной, а слабость ненавистной, — писал Эктон. — Она не осуждала людей за мнения. Даже за мнения по моральным вопросам. Люди не ошибаются — они просто слабы, не поспевают за временем… Она могла сострадать людям без того, чтобы с ними соглашаться».

Тут Джордж Элиот вовсе не была исключением — таков был общий тон эпохи: Джейн Остен, Чарльз Диккенс, Энтони Троллоп всегда описывали своих персонажей отстраненно, с доброй иронией. Что характерно, ирония викторианцев направлена не только на героев, но и на читателя, и, самое поразительное, на самого автора. Вот почему среди английских романов того времени сложно найти вещи по-настоящему пафосные и трагические. В «Мидлмарче» происходит немало ужасного, но этот роман остается очень иронич-

ной, местами смешной книгой, проникнутой типично викторианским оптимизмом.

На правах автора Джордж Элиот то и дело иронизирует по поводу происходящего с очень серьезным лицом; что важнее, она постоянно смещает угол зрения, не давая нам ни единого шанса навесить на героев моральные ярлыки. Морализаторство действенно только тогда, когда оно ситуативно и иронично, причем, повторим, ирония эта в равной степени относится и к героям, делающим неверный выбор из лучших побуждений, и к читателю, который «ждет уж рифмы «розы»», то есть мораль, которая расставит все точки над «i», и к автору, жаждущему превратиться в проповедника и выразить словами то, что выразить нельзя. Душу человека не разложишь по полочкам, и в этом — надежда, а то и залог спасения: ничто не предсказуемо, а значит, моральной ошибки можно избежать. Такая многоуровневая рефлексия функционирует весьма эффективно: всякий раз делая шаг в сторону и доказывая нам, что никакое моральное суждение о ближнем не окончательно, Элиот сообщает читателю состояние духа, из которого только и можно возлюбить ближнего, как самого себя.

Лучшим примером тут опять-таки служит ми-

стер Кейсобон. Посмеяться над ним было бы легче легкого — но тем упорнее Элиот защищает своего героя. Вплоть до откровенного вмешательства в ткань текста: «Как-то утром через несколько недель после ее возвращения в Лоуик Доротея… но почему всегда только Доротея? Неужели ее взгляд на этот брак должен быть единственно верным? Я возражаю против того, чтобы весь наш интерес, все наши усилия понять отдавались одним лишь юным лицам, которые выглядят цветущими, несмотря на мучения и разочарования… Моргающие глаза и бородавки… и отсутствие телесной крепости… не мешали мистеру Кейсобону, подобно всем нам, таить в себе и обостренное осознание собственной личности, и алчущий дух». Автор ничуть не скрывает того, что сочувствует герою: «Даже вера мистера Кейсобона слегка пошатнулась оттого, что он утратил прежнее незыблемое убеждение в силе своего авторского таланта, и утешительная христианская надежда на бессмертие каким-то образом оказалась в зависимости от бессмертия еще не написанного «Ключа ко всем мифологиям». И признаюсь, мне очень его жаль. Какой это нелегкий удел — обладать тем, что мы называем высокой ученостью, и не уметь радоваться, присутствовать на великом

спектакле жизни и все время томиться в плену своего маленького, голодного, дрожащего «я»…»

И стоит другому персонажу вынести суждение по поводу Кейсобона, как Элиот вмешивается вновь: «В мистере Кейсобоне не было ничего, что походило бы на трагическое величие, и к жалости Лидгейта, презиравшего его схоластическую ученость, примешивалось насмешливое чувство. Он пока еще плохо представлял себе, что это такое — крушение всех надежд, и не был в состоянии понять, насколько оно горько, когда ничто в нем не достигает истинно трагического уровня, кроме страстного эгоизма самого страдальца». Не раз и не два Джордж Элиот восклицает: «Бедный человек! Бедный мистер Кейсобон!» — и не стоит даже пытаться определить, чего в этих словах больше, иронии или сострадания: там есть и то, и другое, и одно неотделимо от другого. Увы, когда викторианская эпоха закончилась, литература утратила умение сочетать беспредельную любовь к ближнему с ясным и бескомпромиссным видением его недостатков.

Книги Элиот как нельзя лучше высвечивают ключевую проблему нашего времени — зацикленность на теориях, которые должны объяснять всё и вся. Тим Долин с некоторым ужасом пи-

шет о том, что «самые глубокие замечания Элиот исходят из ее убеждений, которые глубоко консервативны, антидемократичны и антифеминистичны». Из чего с необходимостью следует, что на деле убеждения Джордж Элиот не были ни радикальны, ни консервативны, ни феминистичны, ни патриархальны, ни религиозны, ни атеистичны. Мировоззрение Элиот можно назвать *адекватным* в том смысле, что оно — при всей ее увлеченности философией — опиралось не на отвлеченные концепции, а на людей и их обстоятельства. Важны не сами теории, важен вдохновляющий их дух, а он у Элиот совпадает с христианской любовью.

«…Мне кажется, погасло солнце, — писал лорд Эктон в письме Мэри Гладстон после смерти Джордж Элиот. — В схватках с вопросами жизни и мысли, которые позорно проигрывал Шекспир, она всегда выходила победительницей. Ни один писатель не сравнится с ней по многообразной, однако беспристрастной и непредвзятой, как у стороннего наблюдателя, силе сострадания». Тут уместно вспомнить финал «Мидлмарча»: «Ее восприимчивая ко всему высокому натура не раз проявлялась в высоких порывах, хотя многие их не заметили. В своей душевной щедрости она, по-

добно той реке, чью мощь сломил Кир, растеклась на ручейки, названия которых не прогремели по свету. Но ее воздействие на тех, кто находился рядом с ней, огромно, ибо благоденствие нашего мира зависит не только от исторических, но и от житейских деяний…»

И от писательских, добавим, тоже.

*Николай Караев*

# Прелюдия

Тот, кто ищет узнать историю человека, постигнуть, как эта таинственная смесь элементов ведет себя в разнообразных опытах, которые ставит Время, конечно же, хотя бы кратко ознакомился с жизнью святой Терезы и почти наверное сочувственно улыбнулся, представив себе, как маленькая девочка однажды утром покинула дом, ведя за руку младшего братца, в чаянии обрести мученический венец в краю мавров. Они вышли за пределы суровой Авилы, большеглазые и беззащитные на вид, как два олененка, хотя сердца их воспламеняла недетская идея объединения родной страны — но затем их настигла будничная действительность в облике рассерженных дядюшек, и они вынуждены были отказаться от своего великого решения. Это детское паломничество явилось достойным началом. Страстная, взыскующая идеала натура Терезы требовала и искала подлинно эпического жизненного пути — что́ были ей многотомные рыцарские романы или светские успехи, венчающие красоту и ум? Ее пламя быстро сожгло это легкое топливо и,

питаемое изнутри, устремилось ввысь на поиски некоего бесконечного восторга, некоей цели, которая не может приесться и позволяет примирить пренебрежение к себе и упоение от слияния с жизнью вне собственного «я». И она обрела свою эпопею в преобразовании монашеского ордена.

Конечно, эта испанка, жившая триста лет назад, была не единственной и не последней из подобных ей. Рождалось много таких Терез, которым не удалось найти для себя эпический жизненный путь, не удалось целиком отдаться живой и значительной деятельности. Быть может, уделом их становилась жизнь, полная ошибок, порожденных духовным величием, так и не получившим случая проявить себя, а быть может — трагическое разочарование и гибель, которые не обрели вдохновенного поэта и неведомыми, неоплаканными канули в небытие. В полутьме, в житейской путанице они пытались сохранять благородную гармонию между своими мыслями и делами, а пошлым глазам борьба их представлялась бессмысленными метаниями, ибо эти поздно родившиеся Терезы не находили опоры в устремлениях и надеждах всего общества, которые для пылкой души, жаждущей применения своим силам, заменяют знание. Их пыл искал вы-

хода в служении какому-то неясному идеалу или отдавал их во власть чисто женских порывов, но первое объявлялось эксцентричностью, а второе беспощадно осуждалось как нарушение морали.

По мнению некоторых, причина этих беспомощных блужданий заключается в том, что Высшая Сила, создавая женскую натуру, не избегла неудобной неопределенности. Если бы существовал единый четкий уровень женской никчемности — например, способность считать только до трех, — общественный жребий женщин можно было бы оценивать с научной достоверностью. Но неопределенность существует, и пределы колебаний в действительности много шире, чем можно было бы подумать, судя по однообразию женских причесок и любовным историям как в стихах, так и в прозе, пользующимся неизменным успехом. Тут и там в утином пруду среди утят тоскливо растет лебеденок, который так никогда и не погружается в живой поток общения с себе подобными белокрылыми птицами. Тут и там рождается святая Тереза, которой ничего не дано основать, — она устремляется к недостижимой благодати, но взволнованные удары ее сердца, ее рыдания бесплодно растрачиваются и замирают в лабиринте препятствий,

вместо того чтобы воплотиться в каком-нибудь деянии, долго хранящемся в памяти людской.

# Книга первая
# Мисс Брук

# Глава I

*Бессилен я, ведь женщина всечасно*
*К тому стремится лишь, что рядом.*

***Бомонт и Флетчер,***

*«Трагедия девушки»*

Мисс Брук обладала красотой того рода, для которой скромное платье служит особенно выгодным фоном. Кисти ее рук были так изящно вылеплены, что ей пошли бы даже те столь далекие от моды рукава, в которых пресвятая дева являлась итальянским художникам, а ее черты, сложение и осанка благодаря простоте одежды словно обретали особое благородство, и среди провинциальных щеголих она производила такое впечатление, какое производит величавая цитата из Святого Писания или одного из наших старинных поэтов в современной газетной статье. О ней обычно отзывались как о чрезвычайно умной девице, но добавляли, что у ее сестры Селии здравого смысла куда больше. А ведь Селия одевалась немногим наряднее сестры, и только особенно внимательный взгляд мог бы подметить, что ее туалет не лишен кокетства. Дело в

том, что простота одежды мисс Брук объяснялась рядом обстоятельств, большинство которых в равной степени воздействовало и на ее сестру. Немалую роль играла тут сословная гордость: род Бруков, если и не знатный, несомненно был «хорошим»: заглянув на одно-два поколения назад, вы не обнаружили бы предков, которые ловко отмеряли материю или завязывали пакеты, — никого ниже адмирала или священника. А среди более дальних пращуров имелся даже «джентльмен-пуританин», служивший под началом Кромвеля, — однако впоследствии он поладил с монархией и после всех политических передряг остался владельцем прекрасного родового поместья. Вполне понятно, что девицы такого происхождения, проводившие жизнь в тихом деревенском доме и молившиеся в приходской церкви, менее просторной, чем иная гостиная, считали ленточки и прочую мишуру приличными лишь дочкам лавочника. Далее, в те дни люди, принадлежащие к благородному сословию и вынужденные экономить, начинали с расходов на одежду, чтобы не урезать суммы, необходимые для поддержания престижа семьи в более существенных отношениях. Этих причин и без каких-либо религиозных принципов было

бы вполне достаточно, чтобы одеваться просто, однако, если говорить о мисс Брук, для нее решающими были именно религиозные принципы. Селия же кротко соглашалась со взглядами сестры, хотя и привносила в них тот здравый смысл, который помогает принимать самые возвышенные доктрины без излишней восторженности. Доротея знала наизусть множество отрывков из «Мыслей» Паскаля[1], а также из трудов Джереми Тейлора[2] и, занятая судьбами рода человеческого, видевшимися ей в озарении христианской веры, полагала, что интерес к модам и нарядам достоин разве что приюта для умалишенных. Она не могла примирить борения духовной жизни, обращенной к вечности, с заботами о рюшах, оборках и шлейфах. Ее ум был теоретического склада и по самой своей природе жаждал неких высоких понятий о мире, непосредственно приложимых к приходу Типтон и к ее собственным правилам поведения там. Ее влекли горение и

---

**[1] Примечания: 1**

Паскаль Блез (1623 — 1662) — французский математик, физик и философ. В сочинении «Мысли о религии и о некоторых других вопросах» он рассматривает трагическое противоречие между величием человеческого разума и неспособностью человека противостоять своим страстям.

**[2] Примечания: 2**

*Джереми Тейлор* (1613 — 1667) — английский богослов, сочинения которого славились стилем и строгой логикой.

величие духа, и она опрометчиво увлекалась всем, что, как ей казалось, несло их печать. Она могла бы искать мученичества, затем отступить и все-таки принять мученичество, но вовсе не то, к которому стремилась. Разумеется, подобные черты характера у девушки на выданье препятствовали естественному ходу событий и мешали тому, чтобы судьбу ее, как это чаще всего бывает, решили красивая внешность, тщеславие и щенячья привязанность. При всем том она, хотя была старше сестры, еще не достигла двадцатилетнего возраста, и обе они, оставшись сиротами, когда Доротее было двенадцать, воспитывались весьма бестолково, хотя и строго, сначала в английской семье, а потом в швейцарской в Лозанне — так их дядя, старый холостяк, принявший опеку над ними, старался возместить им утрату родителей.

Последний год они жили в Типтон-Грейндже у своего дяди, которому было теперь уже под шестьдесят. Человек мягкий и покладистый, он отличался большой пестротой мнений и некоторой зыбкостью политических убеждений. В молодости он путешествовал, и соседи полагали, что именно этому обстоятельству он и обязан вздорностью своего ума. Выводы, к которым приходил мистер Брук, были столь же трудно-

предсказуемыми, как погода, а потому можно утверждать только, что руководствовался он всегда самыми благими намерениями и старался расходовать на их осуществление как можно меньше денег. Ибо даже самые расплывчатые натуры всегда обладают одной-двумя твердыми привычками, и человек, нисколько не заботящийся о своих делах, ревниво оберегает свою табакерку от чужих посягательств, бдительно следя за каждым подозрительным движением и крепко сжимая ее в руке.

Но если наследственная пуританская энергия так и не пробудилась в мистере Бруке, она зато равно пылала во всех недостатках и достоинствах его старшей племянницы и нередко преображалась в досаду, когда дядюшка пускался в рассуждения, а также из-за его манеры «оставлять все как есть» у себя в поместье — в такие минуты Доротее особенно не терпелось поскорее достичь совершеннолетия, когда она получит право распоряжаться своими деньгами и сможет употребить их для всяческих благородных начинаний. Она считалась богатой невестой: ведь не только обе сестры получили в наследство от родителей по семисот фунтов годового дохода, но, кроме того, сын Доротеи, если бы она вы-

шла замуж и у нее родился сын, унаследовал бы поместье мистера Брука, которое, по слухам, приносило в год около трех тысяч фунтов — большое богатство в глазах провинциалов, все еще обсуждавших последнюю позицию мистера Пиля[3] в католическом вопросе, не грезивших о грядущих золотых россыпях и понятия не имевших о плутократии, чья пышность вознесла на столь недосягаемую высоту обязательные атрибуты благородного образа жизни.

Но что, собственно, препятствовало Доротее выйти замуж — такой красавице и с таким приданым? Да ничего, кроме ее любви к крайностям, кроме стремления жить согласно с понятиями, которые могли удержать осторожного поклонника от предложения ей руки и сердца или же побудить ее отвечать отказом всем женихам. Юная барышня благородного происхождения и с недурным состоянием, которая вдруг падает на колени на кирпичный пол у постели больного

**[3] Примечания: 3**

*...последнюю позицию мистера Пиля...* — Пиль Роберт (1788 — 1850) — английский государственный деятель, возглавлявший группу так называемых умеренных тори, выступавших за определенные уступки торгово-промышленной буржуазии при сохранении главенства крупных землевладельцев. Здесь подразумевается речь, которую он, будучи министром внутренних дел, произнес в начале марта 1829 г. (то есть более чем за полгода до начала действия романа) в защиту закона об уравнении католиков в правах, противником чего был ранее.

поденщика и возносит пылкую молитву, будто живет во времена апостолов! А то принимается поститься точно папистка и ночи напролет читает старые богословские трактаты! Такая жена вполне может разбудить вас рано поутру и радостно сообщить, что нашла новый способ распоряжаться своими доходами — способ, который идет вразрез с положениями политической экономии и не позволит держать верховых лошадей. Вполне естественно, что любой мужчина дважды подумает, прежде чем избрать подобную подругу жизни. Конечно, женщинам положены нелепые убеждения, но действовать исходя из них им не полагается — это служит надежной защитой для общества, а также для семейной жизни. Разумные люди ведут себя как все, и если появляются сумасшедшие, их нетрудно распознать и избегать.

Соседские барышни и даже обитатели сельских хижин отдавали предпочтение Селии, всегда приветливой и невиннопростодушной, тогда как огромные глаза мисс Брук, подобно ее религиозности, были слишком уж необычными и странными. Бедняжка Доротея! По сравнению с ней Селия, какой бы невинно-простодушной она ни выглядела, была много более искушенной и

опытной — ведь дух человеческий куда сложнее внешней оболочки, которая служит ему своего рода эмблемой или циферблатом.

Однако вопреки пугающим слухам те, кто оказывался в обществе Доротеи, скоро убеждались, что она при всем том обладает редким очарованием. Мужчины находили, что в седле она обворожительна. Ей нравилось дышать воздухом полей и любоваться деревенскими видами, ее глаза радостно блестели, щеки розовели, и она совсем не походила на религиозную фанатичку. Верховая езда была удовольствием, которое Доротея разрешала себе, несмотря на укоры совести, твердившие ей, что удовольствие это языческое и чувственное, и потому она все время предвкушала миг, когда откажется от него.

Доротея была откровенной и пылкой натурой, менее всего склонной к самолюбованию: напротив, она искренне приписывала своей сестре достоинства, далеко превосходившие ее собственные, и если в Типтон-Грейндж являлся визитер, не торопившийся затвориться с мистером Бруком в его кабинете, она не сомневалась, что он влюблен в Селию, — например, сэр Джеймс Четтем, которого она постоянно оценивала с этой точки зрения, не в силах решить, следует ли

Селии принять его предложение. Мысль о том, что предмет его внимания вовсе не Селия, а она сама, показалась бы ей нелепой. Как ни жадно стремилась Доротея познавать высокие истины, ее представления о браке оставались самыми детскими. Она была убеждена, что вышла бы за Прозорливого Гукера[4] и спасла бы его от злополучного брака, доведись ей родиться в том веке. Или же за Джона Мильтона, когда его поразила слепота. Или же за любого из тех великих людей, чьи причуды требовали от жены поистине благочестивого терпения. Но любезный, красивый баронет, отвечавший «совершенно верно!» на любую ее фразу, даже когда она выражала недоумение, — как могла она отнестись к его ухаживаниям? Нет, безоблачно счастливым может быть только такой брак, когда муж более походит на отца и способен научить жену даже древнееврейскому языку, буде она того пожелает.

Наблюдая эти странности Доротеи, соседи еще больше осуждали мистера Брука за то, что он не подыскал в наставницы и компаньонки своим племянницам какую-нибудь почтенную даму

---

**[4] Примечания: 4**

*Прозорливый Гукер* — прозвище английского богослова Ричарда Гукера (1554 — 1600), одного из основоположников англиканского вероучения.

средних лет. Но он так страшился тех наделенных воинственными добродетелями женщин, которые могли бы взять на себя подобные обязанности, что поддался уговорам Доротеи и против обыкновения нашел в себе мужество пойти наперекор мнению всего света — а вернее, мнению миссис Кэдуолледер, супруги приходского священника, и трех-четырех помещичьих семей, живущих по соседству с ним в северо-восточной части Сельскшира[5]. А потому мисс Брук вела дом своего дяди, и ей вовсе не были неприятны почетность нового ее положения и сопряженная с ним власть.

В этот день мистер Брук ожидал к обеду сэра Джеймса Четтема и еще одного джентльмена, которого сестры не знали, хотя Доротея при мысли о знакомстве с ним испытывала почти благоговейную радость. Это был преподобный Эдвард Кейсобон, который славился в их краях необыкновенной ученостью и, по слухам, много лет готовил великий труд, имевший касательство к истории религии. К тому же богатство придавало особый блеск его благочестию и позволяло ему придерживаться собственных взглядов

---

**[5] Примечания: 5**

*Сельскшир* — вымышленное название графства.

— сущность их должна была стать ясной после опубликования его труда. Даже самая его фамилия[6] обладала особой внушительностью для тех, кто знал ученых богословов прошлых времен.

Утром Доротея, возвратившись из школы, которую она учредила для деревенских ребятишек, сидела в уютной гостиной, разделявшей спальни сестер, и чертила план какого-то здания (ей очень нравилась такая работа), когда Селия, уже несколько минут собиравшаяся с духом, вдруг сказала:

— Доротея, душечка, может быть, ты… если ты не очень занята… Может быть, мы переберем сегодня мамины драгоценности и поделим их? Сегодня исполнилось ровно шесть месяцев с тех пор, как дядя тебе их отдал, а ты так ни разу на них даже и не взглянула.

Лицо Селии приняло выражение досады — правда, легкой, потому что она сдерживалась, привычно побаиваясь Доротеи и ее принципов: стоило неосторожно задеть их, и мог возникнуть таинственный электрический разряд. К большому ее облегчению, Доротея посмотрела на нее с веселой улыбкой.

---

**[6] Примечания: 6**

Имеется в виду поселившийся в Англии швейцарский богослов Исаак Казубон (1559 — 1619), в английском произношении — Кейсобон.

— Какой же ты, оказывается, точный календарик, Селия! Но ты имеешь в виду солнечные месяцы или лунные?

— Сегодня последний день сентября, а дядя отдал их тебе первого апреля. Он еще сказал тебе, что совсем про них забыл. А ты заперла их в бюро и, по-моему, ни разу о них не вспомнила.

— Но ведь нам все равно не придется их надевать, милочка, — ласково объяснила Доротея, чертя что-то карандашом на полях плана.

Селия покраснела и насупилась.

— Мне кажется, душечка, оставлять их без внимания — значит не проявлять должного уважения к памяти мамы. И к тому же, — добавила она, поколебавшись и подавляя вздох огорчения, — ожерелья теперь можно увидеть на ком угодно, да и мадам Пуансон, чьи взгляды были кое в чем строже твоих, надевала украшения. И вообще христианам… уж, наверное, в раю немало женщин, которые в свое время носили драгоценности. — Когда Селия решалась спорить, она умела находить доводы, как ей казалось, весьма убедительные.

— Ты хотела бы носить их? — вскричала Доротея с драматическим удивлением, бессознательно подражая той самой мадам Пуансон, которая

надевала украшения. — В таком случае, конечно, их надо достать. Почему ты мне раньше не сказала? Но ключи… где же ключи? — И она прижала ладони к вискам, тщетно напрягая память.

— Вот они, — перебила Селия, которая давно уже обдумала этот разговор и подготовилась к нему.

— Будь так добра, отопри большой ящик бюро и достань шкатулку.

Вскоре шкатулка была открыта, и вынутые из нее драгоценности блестели и переливались на столе. Их было не так уж много, но некоторые пленяли глаз красотой и изяществом, особенно ожерелье из лиловых аметистов в ажурной золотой оправе и жемчужный крестик с пятью бриллиантами. Доротея тотчас взяла ожерелье и надела сестре на шею, которую оно охватило плотно, почти как браслет, но посадкой головы Селия несколько походила на королеву Генриетту-Марию, и этот обруч был ей очень к лицу, в чем она не замедлила убедиться, поглядев в зеркало напротив.

— Ну вот, Селия! Его ты можешь носить с платьем из индийского муслина. Но крестик надевай только с темными платьями.

Селия старалась согнать с губ радостную улыб-

ку.

— Нет, Додо, крестик ты должна взять себе.

— Что ты, милочка, ни в коем случае, — ответила Доротея, пренебрежительно махнув рукой.

— Нет, возьми! Он очень тебе пойдет. Вот к этому темному платью, — настаивала Селия. — Уж его-то ты надеть можешь!

— Ни за что на свете. Я никогда не надену крест как пустое украшение. — Доротея даже вздрогнула.

— Значит, ты считаешь, что я поступлю дурно, если надену его? — смущенно спросила Селия.

— Вовсе нет, милочка! — ответила Доротея, нежно потрепав сестру по щеке. — Ведь и у каждой души свой цвет лица — что идет одной, нехорошо для другой.

— Но, может быть, ты взяла бы его на память о маме?

— Нет, у меня есть другие мамины вещи. Ее сандаловая шкатулка, которую я так люблю. Ну, и еще… А это все твое, милочка, так что мы можем больше их не рассматривать. Ну-ка, забирай свою собственность.

Селия немного обиделась. Эта пуританская снисходительность была точно гордый взгляд сверху вниз, и младшую сестру, не пылавшую ре-

лигиозным рвением, он задел не меньше самых строгих пуританских упреков.

— Но как же я буду надевать украшения, если ты, старшая сестра, никогда их не носишь?

— Ну это уж слишком, Селия, — просить, чтобы я нацепляла на себя побрякушки ради твоей прихоти. Если бы я надела такое ожерелье, у меня, наверное, все бы в глазах завертелось. Я даже шагу не смогла бы ступить.

Селия расстегнула застежку ожерелья и сняла его.

— У тебя на шее оно, пожалуй, не сойдется. Тебе нужно бы что-нибудь вроде длинной нитки бус с подвеской, — сказала она, словно оправдываясь. Оттого, что ожерелье во всех отношениях не годилось Доротее, у Селии стало легче на душе. Она открыла коробочки с кольцами, и луч солнца, выглянувшего из-за облаков, упал на прекрасный изумруд в розетке из бриллиантов.

— Как красивы эти камни! — сказала Доротея, поддаваясь новому чувству, столь же внезапному, как этот луч. — Странно, что цвета способны проникать в самую душу подобно ароматам. Наверное, потому-то в Откровении Иоанна Богослова драгоценные камни служат символами духовных сокровищ. Они похожи на осколки

неба. По-моему, этот изумруд прекраснее всего остального.

— А вот браслет к нему, — сказала Селия. — Мы его как-то не заметили.

— Какая прелесть! — воскликнула Доротея, надев браслет и кольцо на точеное запястье и красивый палец и поднеся их к окну на уровне глаз. Все это время она внутренне подыскивала оправдание восторгу, который ощутила при виде игры драгоценных камней, и уже ощущала его как мистическую радость, даруемую религией.

— Но они же нравятся тебе, Доротея, — неуверенно сказала Селия, сбитая с толку таким неожиданным проявлением слабости и думая, что изумруды самой ей пошли бы даже больше, чем лиловые аметисты. — Возьми их, раз уж ты ничего другого не хочешь. Хотя взгляни-ка на эти агаты — они очень хороши… и скромны.

— Да, я их возьму… то есть кольцо и браслет, — сказала Доротея и, опустив руку, добавила другим тоном: — Но как жалки люди, которые отыскивают эти камни, гранят их и продают!

Наступило молчание, и Селия решила, что Доротея все-таки будет последовательна и откажется от изумрудов.

— Да, милочка, я их возьму, — произнесла

Доротея решительно. — А остальное бери ты, и шкатулку тоже.

Она уже снова держала в руке карандаш, но по-прежнему смотрела на драгоценности, которые не стала снимать, и думала про себя, что часто будет любоваться этими двумя крохотными средоточиями чистого цвета.

— А в обществе ты будешь их носить? — спросила Селия с большим любопытством.

Доротея бросила на сестру быстрый взгляд. Как ни украшала она мысленно тех, кого любила, порой она оценивала их с проницательностью, которая была сродни испепеляющему высокомерию. Если мисс Брук было суждено достичь совершенного смирения, то уж во всяком случае не из-за недостатка внутреннего огня.

— Может быть, — произнесла она надменно. — Я не берусь предсказывать заранее, как низко способна я пасть.

Селия покраснела и расстроилась. Она поняла, что обидела сестру, и, не решившись даже поблагодарить ее за подаренные драгоценности, быстро сложила их в шкатулку и унесла. Доротея продолжала чертить свой план, но и у нее на душе тоже было тяжело: она спрашивала себя, насколько искренни были ее побуждения и слова

в разговоре, завершившемся этой маленькой вспышкой.

Что касается Селии, то совесть твердила ей, что она совершенно права: ее вопрос был вполне допустимым и естественным. А вот Доротея вела себя непоследовательно — она должна была бы взять свою половину драгоценностей либо, сказав то, что она сказала, вовсе от них отказаться.

«Я убеждена… то есть я полагаю, что не стану молиться меньше оттого, что надену ожерелье. И теперь, когда мы начали выезжать, мнения Доротеи для меня вовсе не обязательны, хотя для нее самой они должны быть обязательными. Но Доротея не всегда последовательна…»

Так размышляла Селия, молча склоняясь над вышивкой, но тут сестра окликнула ее:

— Киска, пойди посмотри мой план. Я бы решила, что я великий архитектор, но только вот очаги и лестницы совершенно не вяжутся друг с другом.

Когда Селия наклонилась над листом, Доротея нежно прижалась щекой к ее локтю. Селия поняла, что скрывалось за этим движением: Доротея призналась, что была неправа. И Селия ее простила. С той поры как она себя помнила, Селия относилась к старшей сестре с робким благого-

вением, к которому примешивался скептицизм. Младшая всегда носила ярмо, но никакое ярмо не может помешать тайным мыслям.

## Глава II

*– Скажи, разве ты не видишь, что навстречу нам едет всадник на сером в яблоках коне и что на голове у него золотой шлем?*
*– Я ничего не вижу и не различаю, – отвечал Санчо, – кроме человека верхом на пегом осле, совершенно таком же, как мой, а на голове у этого человека что-то блестит.*
*– Это и есть шлем Мамбрина, – сказал Дон Кихот.*

***Мигель Сервантес, «Дон Кихот»***

— Сэр Гемфри Дэви[7]? — сказал за супом мистер Брук с обычной добродушной улыбкой, когда сэр Джеймс Четтем упомянул, что штудирует сейчас «Основания земледельческой химии» Дэви. — Как же, как же, сэр Гемфри Дэви. Много лет назад я обедал с ним у Картрайта[8]. Там еще

---

**[7] Примечания: 7**
*Гемфри Дэви* (1778 — 1829) — английский физик и химик.

**[8] Примечания: 8**
*Картрайт Джон* (1740 — 1824) — английский политический деятель и памфлетист, активный сторонник избирательной реформы.

был Вордсворт[9] — поэт Вордсворт, знаете ли. И престранная вещь! Я учился в Кембридже тогда же, когда и Вордсворт, но мы не были знакомы — и вот двадцать лет спустя я обедаю с ним у Картрайта. Пути судьбы неисповедимы. И там был Дэви. Поэт, как и Вордсворт. А вернее — тоже поэт. Что верно во всех смыслах слова, знаете ли.

Доротея чувствовала себя более неловко, чем обычно. Обед только начинался, общество было невелико, в комнате царила тишина, и эти обрывки бесконечных воспоминаний мирового судьи не могли остаться незамеченными. А такому человеку, как мистер Кейсобон, наверное, невыносимо слушать банальности. Его манеры, думала она, исполнены удивительного достоинства, а пышные седые волосы и глубоко посаженные глаза придают ему сходство с портретами Локка[10]. Мистер Кейсобон был сухощав и бледен, как подобает ученому мужу, и являл полную противоположность типу полнокровного англичанина, воплощенному в сэре Джеймсе Четгеме, чьи румяные щеки были обрамлены

---

**[9] Примечания: 9**

*Вордсворт Уильям* (1770 — 1850) — английский поэт, в описываемую эпоху игравший видную роль в литературной жизни Англии.

**[10] Примечания: 10**

*Локк Джон* (1632 — 1704) — английский философ.

рыжеватыми бакенбардами.

— Я читаю «Основания земледельческой химии», — продолжал милейший баронет, — потому что намерен сам заняться одной из моих ферм и посмотреть, нельзя ли улучшить ведение хозяйства и научить тому же моих арендаторов. Вы одобряете это, мисс Брук?

— Большая ошибка, Четтем, — вмешался мистер Брук, — пичкать землю электричеством и тому подобным и превращать коровник в дамскую гостиную. Ничего хорошего из этого не выйдет. Одно время я сам занимался наукой, но потом понял, что ничего хорошего из этого не выйдет. Она затрагивает все, и ничего нельзя оставить как есть. Нет, нет! Приглядывайте, чтобы ваши арендаторы не продавали солому и все такое прочее. И знаете ли, им нужна черепица для дренажа. Ну, а от вашего образцового хозяйства толку не будет. Одни только расходы. Дешевле завести свору гончих.

— Но разве не достойнее тратить деньги на то, чтобы научить людей как можно лучше использовать землю, которая их кормит, чем на собак и лошадей, чтобы просто по ней скакать? — сказала Доротея. — Нет греха в том, чтобы истратить даже все свои деньги на эксперименты во имя

общего блага.

Она сказала это с воодушевлением, которое не вполне шло молодой девице, но ведь сэр Джеймс сам спросил ее мнение. Он часто это делал, и она не сомневалась, что сумеет подсказать ему немало добрых и полезных дел, когда он станет ее зятем.

Пока Доротея говорила, мистер Кейсобон глядел на нее с особым вниманием, точно увидев ее по-новому.

— Юные барышни, знаете ли, в политической экономии не разбираются, — сказал мистер Брук, улыбаясь мистеру Кейсобону. — Вот помнится, мы все читали Адама Смита. Да уж, это была книга! Одно время я увлекался всякими новыми идеями. Способность человека к совершенствованию, например. Однако многие утверждают, что история движется по кругу, и это можно подкрепить весьма вескими доводами. Я сам находил их немало. Что поделаешь: человеческий разум может завести нас слишком далеко — в придорожную канаву, так сказать. Одно время он и меня занес довольно-таки далеко, но потом я увидел, что ничего хорошего из этого не выйдет. И я натянул поводья. Как раз вовремя. Но не слишком резко. Я считал и считаю, что в какой-то

мере теоретические построения необходимы. Мы должны мыслить, или же мы вернемся во мрак Средневековья. Но кстати о книгах. Я теперь по утрам читаю «Испанскую войну» Саути[11]. Вы знаете Саути?

— Нет, — ответил мистер Кейсобон, не поспевая за резвым разумом мистера Брука и имея в виду книгу. — Для подобной литературы у меня сейчас почти не остается досуга. К тому же последнее время я слишком утомлял зрение старинной печатью. По правде говоря, я предпочел бы пользоваться по вечерам услугами чтеца. Но я очень разборчив в отношении голосов и не выношу запинок и ошибок в чтении. В некоторых отношениях это большая беда. Мне надо слишком много черпать из внутренних источников, я постоянно живу среди мертвецов. Мой ум подобен призраку какого-нибудь античного мужа, который скитается по миру, видит руины, видит перемены и мысленно пытается восстановить то, что было когда-то. Но я вынужден всячески беречь мое зрение.

---

**[11] Примечания: 11**

*Саути Роберт* (1774 — 1843) — английский поэт и публицист. Его исторический труд «Испанская война», посвященный действиям союзных испанской, португальской и английской армий против Наполеона, выходил частями с 1823 по 1832 г.

Мистер Кейсобон впервые не ограничился кратким ответом. Он говорил четко и внятно, словно произнося публичную речь, и напевная размеренность его фраз, подкрепляемых легким наклоном головы, была особенно заметна по контрасту с путаным порханием добрейшего мистера Брука. Доротея подумала, что мистер Кейсобон — самый интересный человек из всех, кого ей доводилось слышать, не исключая даже мосье Лире, лозаннского священника, который читал лекции по истории вальденсов[12]. Воссоздать древний забытый мир — и несомненно, во имя высочайших велений истины! Ах, быть причастной к подобному труду, пусть в самой смиренной роли, помогать, хотя бы просто заправляя лампу! Эта возвышенная мысль даже рассеяла досаду, вызванную насмешливым напоминанием о ее неосведомленности в политической экономии — неведомой науке, которую пускали в ход как гасильник, стоило ей загореться какой-то мечтой.

— Но вы же любите ездить верхом, мисс Брук, — сказал сэр Джеймс, спеша воспользоваться

**[12] Примечания: 12**

*Вальденсы* — последователи средневековой ереси, возникшей во Франции, в Лионе, где в 1176 г. купец Пьер Вальд создал общину «лионских бедняков», и распространившейся на юге Франции, на севере Италии, в Германии, Чехии и Швейцарии.

удобным случаем. — А потому мне казалось, что вы пожелаете познакомиться и с удовольствиями лисьей травли. Может быть, вы согласитесь испробовать моего гнедого? Он приучен ходить под дамским седлом. В субботу я видел, как вы ехали по склону холма на лошадке, которая вас недостойна. Мой грум будет приводить вам Коридона каждый день, скажите только, какой час вам удобен.

— Благодарю вас, вы очень любезны. Но я больше не намерена ездить верхом. Никогда! — воскликнула Доротея, приняв это внезапное решение главным образом под влиянием досады на сэра Джеймса, который искал ее внимания, когда оно было всецело отдано мистеру Кейсобону.

— И напрасно, поверьте мне, — сказал сэр Джеймс с упреком в голосе, выдававшим искреннее чувство. — Ваша сестра слишком сурова к себе, не правда ли, — продолжал он, повернувшись к Селии, которая сидела справа от него.

— Да, пожалуй, — ответила Селия, опасаясь рассердить Доротею и заливаясь прелестным румянцем до самого ожерелья. — Ей нравится во всем себе отказывать.

— Будь это правдой, Селия, следовало бы говорить не о суровости к себе, а о потакании

своим желаниям. И ведь могут быть очень веские причины не делать того, что доставляет удовольствие, — возразила Доротея.

Мистер Брук сказал что-то одновременно с ней, но она видела, что мистер Кейсобон смотрит не на него, а на нее.

— Совершенно верно, — подхватил сэр Джеймс. — Вы отказываете себе в удовольствиях из каких-то высоких, благородных побуждений.

— Нет, это не совсем верно. Ничего подобного я о себе не говорила, — ответила Доротея покраснев. В отличие от Селии она краснела редко и только когда очень радовалась или очень сердилась. В эту минуту она сердилась на нелепое упрямство сэра Джеймса. Почему он не займется Селией, а ее не оставит в покое, чтобы она могла слушать мистера Кейсобона? То есть если бы мистер Кейсобон говорил сам, а не предоставлял говорить мистеру Бруку, который в эту минуту сообщил ему, что реформация либо имела смысл, либо нет, что сам он — протестант до мозга костей, но что католицизм — реальный факт, а что до того, чтобы не уступать и акра своей земли под католическую часовню, то всем людям нужна узда религии, которая, в сущности, сводится к страху перед тем, что ждет человека за гробом.

— Одно время я глубоко изучал теологию, — сказал мистер Брук, словно поясняя столь поразительное прозрение. — И кое-что знаю о всех новейших течениях. Я был знаком с Уилберфорсом[13] в его лучшие дни. Вы знакомы с Уилберфорсом?

— Нет, — ответил мистер Кейсобон.

— Ну, Уилберфорс, пожалуй, не ахти какой мыслитель, но если бы я стал членом парламента — а мне предлагают выставить мою кандидатуру, — я бы сел на скамью независимых, как Уилберфорс, и тоже занялся бы филантропией.

Мистер Кейсобон наклонил голову и заметил, что это очень обширное поле деятельности.

— Да, — сказал мистер Брук с благодушной улыбкой. — Но у меня есть документы. Я уже давно начал собирать документы. Их надо рассортировать — всякий раз, когда меня интересовал тот или иной вопрос, я писал кому-нибудь и получал ответ. Я могу опереться на документы. Но скажите, как вы сортируете свои документы?

— Преимущественно раскладываю по ячейкам

---

**[13] Примечания: 13**

*Уилберфорс Уильям* (1759 — 1833) — английский филантропевангелист, возглавлявший, в частности, кампанию за запрещение работорговли; в 1825 г. из-за плохого здоровья вынужден был оставить парламентскую деятельность.

бюро, — ответил мистер Кейсобон с некоторой растерянностью.

— А, нет! Я пробовал раскладывать по ячейкам, но в ячейках все перепутывается, и никогда не знаешь, где лежит нужная бумага, — на «А» или на «Т».

— Вот если бы, дядя, вы позволили мне разобрать ваши бумаги, — сказала Доротея, — я бы пометила каждую соответствующей буквой, а потом составила бы список по буквам.

Мистер Кейсобон одобрительно улыбнулся и заметил, обращаясь к мистеру Бруку:

— Вам, как видите, было бы нетрудно найти превосходного секретаря.

— Нет-нет, — ответил мистер Брук, покачивая головой. — Я не могу доверить свои бумаги заботам юных девиц. У юных девиц всегда ветер в голове.

Доротею это глубоко огорчило. Мистер Кейсобон решит, что у ее дяди есть особые причины для подобного утверждения, тогда как это мнение, легковесное, точно сухое крылышко насекомого, просто родилось из общего сумбура его мыслей и ее коснулось лишь случайно.

Когда сестры удалились в гостиную, Селия сказала:

— Ах, как мистер Кейсобон некрасив!

— Селия! Я еще не видела мужчины столь благородного облика! Он удивительно похож на портрет Локка. Те же глубоко посаженные глаза!

— А у Локка тоже были две волосатые бородавки?

— Может быть, и были — на взгляд людей определенного рода! — отрезала Доротея, отходя к окну.

— Но у мистера Кейсобона такой желтый цвет лица!

— И прекрасно. Тебе, вероятно, нравятся мужчины розовые, как cochon de lait[14].

— Додо! — вскричала Селия, с удивлением глядя на сестру. — Прежде я не слыхала от тебя таких сравнений.

— А прежде для них не было повода! Очень удачное сравнение! Удивительно подходящее!

Мисс Брук явно забылась, и Селия прекрасно заметила это.

— Не понимаю, почему ты сердишься, Доротея.

— Мне больно, Селия, что ты смотришь на людей так, точно они животные, только одетые, и не замечаешь на человеческом лице отпечатка

---

**[14] Примечания: 14**
Молочный поросенок (*фр.*).

великой души.

— А разве у мистера Кейсобона великая душа? — Селия была не лишена простодушной злокозненности.

— Да, я в этом не сомневаюсь, — решительно ответила Доротея. — Все, что я вижу в нем, достойно его трактата о библейской космологии.

— Но он почти ничего не говорит, — заметила Селия.

— Потому что ему тут не с кем разговаривать.

«Доротея просто презирает сэра Джеймса Четтема, — подумала Селия. — Наверное, она ему откажет. А жаль!»

Селия нисколько не обманывалась относительно того, кем из них интересуется баронет. Иногда ей даже приходило в голову, что Додо, пожалуй, не сумеет дать счастья мужу, не разделяющему ее взглядов. А в глубине ее души пряталось постоянно подавляемое убеждение, что ее сестра чересчур уж религиозна для семейной жизни. Все эти ее идеи и опасения были точно сломанные иголки — страшно ступать, страшно садиться и даже есть страшно!

Когда мисс Брук начала разливать чай, сэр Джеймс поспешил подсесть к чайному столику, нисколько не обидевшись на то, как она отвечала

ему за обедом. Да это и понятно. Он полагал, что нравится мисс Брук, а манеры и слова должны стать совершенно уж недвусмысленными, чтобы уверенность — или, наоборот, подозрительность — не могла истолковать их на свой лад. Мисс Брук казалась баронету очаровательной, но, разумеется, он прислушивался не только к своему сердцу, но и к рассудку. Ему были свойственны разные превосходные качества, и в том числе одно редкое достоинство: он твердо знал, что таланты его, даже получи они полную волю, не зажгли бы и самого скромного ручейка в графстве, а потому он был бы только рад жене, которой можно по тому или иному поводу задать вопрос: «Так как же мы поступим?» — жене, которая способна помочь мужу советами и располагает достаточным состоянием, чтобы советы эти были вескими. Что же до излишней религиозности, которую ставили в вину мисс Брук, он толком не понимал, в чем эта религиозность заключается, и не сомневался, что после свадьбы она быстро пойдет на убыль. Короче говоря, он чувствовал, что сердце его сделало правильный выбор, и готов был к известному подчинению, тем более что мужчина при желании всегда может сбросить с себя такое иго. Правда, сэр Джеймс не думал,

что ему когда-нибудь надоест подчиняться этой красавице, чьим умом он восхищался. А почему бы и нет? Ведь ум мужчины, пусть самый скудный, имеет то преимущество, что он мужской (так самая чахлая береза — все-таки дерево более высокого порядка, чем самая стройная пальма), и даже невежество его кажется более почтенным. Возможно, сэр Джеймс был неоригинален в своих оценках, но крахмал или желатин традиционности по милости провидения способен укрепить и жиденькую веру.

— Позвольте мне надеяться, мисс Брук, что вы измените свое решение относительно лошади, — сказал настойчивый поклонник. — Поверьте, верховая езда чрезвычайно благотворна для здоровья.

— Мне это известно, — холодно ответила Доротея. — Я полагаю, что Селии было бы очень полезно ездить верхом.

— Ведь вы в таком совершенстве владеете этим искусством!

— Извините, но у меня было мало практики, и я не уверена, что всегда сумею удержаться в седле.

— Тем больше причин практиковаться. Всякой даме нужно уметь ездить верхом, чтобы она могла сопровождать своего мужа.

— У нас с вами совершенно разные взгляды, сэр Джеймс. Я решила, что мне не следует совершенствоваться в верховой езде, и следовательно, никогда не уподоблюсь тому идеалу женщины, который рисуется вам!

Доротея глядела прямо перед собой и говорила с холодной резкостью, которая больше пошла бы гордому юноше и составляла забавный контраст с любезной обходительностью ее обожателя.

— Но мне хотелось бы знать причину столь жестокого решения. Не может быть, чтобы вы усматривали в верховой езде что-либо дурное.

— Однако вполне может быть, что мне ездить верхом все-таки не следует.

— Почему же? — осведомился сэр Джеймс тоном нежного упрека.

Тем временем мистер Кейсобон подошел к столику с пустой чашкой в руке и слушал их разговор.

— Не следует излишне любопытствовать о наших побуждениях, — произнес он со своей обычной размеренностью. — Мисс Брук знает, что, облеченные в слова, они утрачивают силу — происходит смешение флюидов с грубым воздухом. Росток, пробивающийся из зерна, не следует извлекать на свет.

Доротея порозовела от радости и бросила на него благодарный взгляд. Вот человек, который способен понять внутреннюю жизнь души, с которым возможно духовное общение — нет, более того: чьи обширные знания озарят любой принцип, чья ученость сама по себе почти доказывает верность всего, во что он верит!

Выводы Доротеи кажутся несколько произвольными, но ведь жизнь вряд ли могла бы продолжаться, если бы не эта способность строить иллюзии, которая облегчает заключение браков вопреки всем препонам цивилизации. Кто когда сминал паутину добрачного знакомства в тот крохотный комочек, каким она является в действительности?

— О, разумеется! — сказал добрейший сэр Джеймс. — Никто не станет настаивать, чтобы мисс Брук объяснила причины, о которых она предпочитает умолчать. Я убежден, что причины эти только делают ей честь.

Взгляд, брошенный Доротеей на мистера Кейсобона, не вызвал у баронета ни малейшей ревности. Ему и в голову не могло прийти, что девушка, которой он намеревался предложить руку и сердце, способна испытывать хоть какое-то чувство к иссохшему книгочею без малого

пятидесяти лет — если не считать почтения как к священнослужителю, пользующемуся некоторой славой.

Но когда мисс Брук начала беседовать с мистером Кейсобоном о лозаннских священниках, сэр Джеймс отошел к Селии и заговорил с ней о ее сестре, упомянул про свой городской дом и осведомился, не испытывает ли мисс Брук предубеждения против Лондона. Селия, когда Доротеи не было рядом, разговаривала легко и непринужденно, и сэр Джеймс сказал себе, что младшая мисс Брук не только хороша собой, но и очень мила, хотя вовсе не умнее и не рассудительнее сестры, как утверждают некоторые люди. Он верил, что его избранница во всех отношениях прекраснее, а всякий человек, естественно, предпочитает хорошему наилучшее. Поистине лишь лицемер из лицемеров решился бы отрицать это.

## Глава III

*Богиня, молви, что произошло,*
*Когда любезный Рафаил, архангел…*
*…Его словам*
*Внимала Ева и была полна*
*Восторгом, узнавая о вещах*
*Столь дивных и высоких.*

***Джон Мильтон,***

*«Потерянный рай», кн. VII*

Если бы мистер Кейсобон действительно пришел к заключению, что в мисс Брук он найдет подходящую для себя супругу, ее в этом убеждать было бы излишне: доводы в пользу брака с ним уже пустили ростки в ее сознании, а к вечеру следующего дня дали бутоны и расцвели пышным цветом. Ибо утром они долго беседовали между собой — Селия, не имея никакого желания любоваться бородавками и желтизной лица мистера Кейсобона, отправилась к младшему священнику поиграть с его плохо обутыми, но веселыми детишками.

К этому времени Доротея успела глубоко заглянуть в никем не мерянное озеро ума мистера

Кейсобона, увидела там смутное, сложное, как лабиринт, отражение качеств, которые сама же вообразила, рассказала ему о собственных борениях и почерпнула некоторые сведения о его великом труде, также обладавшем заманчивой сложностью лабиринта. Ибо он наставлял и поучал с не меньшей охотой, чем мильтоновский «любезный архангел», и в несколько архангельской манере поведал ей о своем намерении доказать (разумеется, такие попытки уже предпринимались, но им не хватало той полноты, точности сравнений и логичности, которых надеялся достичь мистер Кейсобон), что все мифологические системы и отдельные обрывки мифов представляют собой искажения некогда заповеданного человечеству единого их источника. Достаточно овладеть верной исходной позицией, утвердиться в ней, и сразу бесчисленные мифологические построения обретут ясность, воссияют отраженным светом соответствий. Но уборка этого великого урожая истины — труд нелегкий и нескорый. Его заметки уже составили внушительное число томов, однако впереди предстоит главная задача — свести эти обильные и все еще умножающиеся результаты воедино и придать им, как некогда

гиппократическим сборникам[15], сжатую форму, так, чтобы они уместились на одной небольшой полке. Объясняя это Доротее, мистер Кейсобон говорил с ней, точно с ученым собратом, ибо не умел говорить иначе. Правда, каждую свою латинскую или греческую фразу он скрупулезно сопровождал переводом, но, впрочем, он, вероятно, в любом случае делал бы то же. Ученый провинциальный священник привык видеть в своих знакомых тех «лордов, рыцарей и прочих, людей, и знатных и достойных, что мало сведущи в латыни».

Доротею покорила широта этой идеи. Тут речь шла не о нравоучительных повестях для молодых девиц. Перед ней был живой Боссюэ[16], чей труд примирит полное знание с истинным благочестием, современный Августин[17], объединяющий в себе великого ученого и великого

---

**[15] Примечания: 15**

*Гиппократические сборники.* — Имеются в виду сборники античных трактатов по медицине, приписывавшиеся знаменитому древнегреческому врачу Гиппократу (V в. до н.э.).

**[16] Примечания: 16**

*Боссюэ Жак Бенинь* (1627 — 1704) — французский епископ, знаменитый проповедник, политический автор и историк.

**[17] Примечания: 17**

*Августин Аврелий* (354 — 430) — христианский богослов и писатель, один из «отцов церкви», чьи сочинения оказали огромное влияние на формулирование догматов католической церкви.

святого.

Святость казалась столь же несомненной, как и ученость: когда Доротея позволила себе коснуться некоторых заветных тем, обсуждать которые ей в Типтон-Грейндже до сих пор было не с кем, — главным образом второстепенности церковных догматов и обрядов в сравнении с религией духа, полным растворением личности в приобщении к божественному совершенству, о чем, по ее убеждению, повествовали лучшие христианские книги всех времен — она обрела в мистере Кейсобоне слушателя, который понимал ее с полуслова, поддерживал эту точку зрения, правда, с кое-какими мудрыми ограничениями, и приводил исторические примеры, дотоле ей неизвестные.

«Он разделяет мои мысли, — сказала себе Доротея. — А вернее, его мысли — обширный мир, мои же — лишь скромное зеркальце, этот мир отражающее. И чувства его, вся его жизнь — какое море в сравнении с моим сельским прудом».

Мисс Брук выводила свои заключения из слов и утверждений с решительностью, вообще свойственной девицам ее возраста. Мелочи вовсе даже не многозначительные поддаются бесчисленным истолкованиям, и для искренних

и увлекающихся молодых натур любая мелочь оборачивается источником удивления, надежды, доверия, необъятных, как небо, и расцвеченных распыленными частицами фактов. И далеко не всегда они грубо обманываются. Ибо даже Синдбад благодаря счастливому стечению обстоятельств время от времени рассказывал правду, а неверные рассуждения иной раз помогают бедным смертным прийти к правильным выводам — отправившись в путь не оттуда, откуда следовало бы, петляя, двигаясь зигзагами, мы порой попадаем точно к месту нашего назначения. Если мисс Брук поторопилась приписать мистеру Кейсобону множество достоинств, это еще не значит, что он был вовсе их лишен.

Он остался дольше, чем предполагал вначале, сразу согласившись на приглашение мистера Брука — даже не очень настойчивое — познакомиться с некоторыми документами[18] его коллекции, относящимися к уничтожению машин и поджогам амбаров с зерном. Мистер Кейсобон проследовал в библиотеку, где узрел кипы бумаг. Хозяин дома вытаскивал из этого

**[18] Примечания: 18**

Речь идет о документах, связанных со стихийными выступлениями английских рабочих и беднейших крестьян в начале XIX в., сопровождавшимися уничтожением машин и поджогами.

вороха то один документ, то другой, неуверенно прочитывал вслух несколько фраз, перескакивая с абзаца на абзац, бормотал: «Да, конечно, но вот тут…», а потом отодвинул их в сторону и открыл путевой дневник, который вел в молодости во время своих путешествий.

— Посмотрите, это все о Греции. Рамнунт, развалины Рамнунта… вы же такой знаток всего греческого. Не знаю, занимались ли вы топографией. Я на это не жалел времени — Геликон, например. Вот тут: «На следующее утро мы отправились на Парнас, двуглавый Парнас». Вся эта тетрадь, знаете ли, посвящена Греции, — заключил свои объяснения мистер Брук, взвешивая дневник в руке и проводя ногтем большого пальца по обрезу.

Мистер Кейсобон слушал его с должным вниманием, хотя и с некоторой тоской — где надо, наклонял голову и, хотя всячески избегал заглядывать в документы, однако, насколько это было в его силах, не выказывал ни пренебрежения, ни нетерпения, памятуя, что подобная беспорядочность освящена традициями страны и что человек, увлекший его в эти бестолковые умственные блуждания, не только радушный

хозяин, но также помещик и custos rotulorum[19]. А может быть, в этой стойкости его укрепляла мысль о том, что мистер Брук доводится Доротее дядей?

Во всяком случае, он, как не преминула заметить про себя Селия, все чаще искал случая обратиться к ней с вопросом, заставить ее разговориться или просто смотрел на нее, и его лицо, точно бледным зимним солнцем, освещалось улыбкой. На следующее утро, прогуливаясь перед отъездом с мисс Брук по усыпанной гравием дорожке возле террасы, он посетовал на свое одиночество, на отсутствие в его жизни того благотворного общения с юностью, которое облегчает серьезные труды зрелости, внося в них приятное разнообразие. Произнес он эту сентенцию с такой отточенной четкостью, словно был полномочным посланником, и каждое его слово могло иметь важные последствия. Впрочем, мистер Кейсобон не привык повторять или изменять то или иное свое утверждение, когда оно касалось дел практических или личных. И вновь, вернувшись в беседе к склонностям, о которых вел речь второго октября, он не стал

**[19] Примечания: 19**
Здесь: мировой судья (*лат.*).

бы повторяться, а счел бы достаточным простое упоминание этой даты, исходя из свойств собственной памяти, подобной фолианту, в котором ссылка vide supra[20] вполне заменяет повторения, а не промокательной бумаге, хранящей отпечатки забытых строк. Однако на этот раз мистер Кейсобон не был бы обманут в своих ожиданиях, ибо все, что он говорил, Доротея выслушивала и запоминала с жадным интересом живой юной души, для которой каждое новое впечатление — это целая эпоха.

Мистер Кейсобон уехал к себе в Лоуик (до которого от Типтон-Грейнджа было всего пять миль) лишь в четвертом часу этого ясного прохладного осеннего дня, а Доротея, воспользовавшись тем, что она была в шляпке и шали, сразу же направилась через сад и парк в примыкающий к ним лес в сопровождении лишь одного зримого спутника — огромного сенбернара Монаха, неизменного хранителя барышень во время их прогулок. Перед ней предстало видение возможного ее будущего, и она с трепетной надеждой искала уединения, чтобы без помех обозреть мысленным взором это желанное будущее. Быстрый шаг и бодрящий

---

**[20] Примечания: 20**
См. выше (*лат.*).

воздух разрумянили ее щеки, соломенная шляпка (наши современницы, возможно, поглядели бы на нее с недоумением, приняв за старинную корзинку) чуть-чуть сдвинулась назад. Портрет Доротеи будет неполным, если не упомянуть, что свои каштановые волосы она заплетала в тугие косы и закручивала узлом на затылке — а это было немалой смелостью в эпоху, когда общественный вкус требовал, чтобы природная форма головы маскировалась бантами и баррикадами крутых локонов, какие не удалось превзойти ни одному просвещенному народу, кроме фиджийцев. В этом также проявлялся аскетизм мисс Брук. Но трудно было найти хоть что-нибудь аскетическое в выражении ее больших ясных глаз, взор которых не замечал вокруг ничего, кроме гармонировавшего с ее настроением торжественного блеска золотых лучей, длинными полосами перечеркивавших глубокую тень уходящей вдаль липовой аллеи.

Все люди, как молодые, так и старые (то есть все люди тех дореформенных времен), сочли бы ее интересным предметом для наблюдения, приняв пылание ее глаз и щек за свидетельство обычных грез недавно вспыхнувшей юной любви.

Иллюзии, которые Стрефон внушил Хлое[21], уже освящены поэзией в той мере, какой достойна трогательная прелесть доверия, подаренного с первого взгляда. Мисс Фиалка, дарящая свое обожание молодому Репью и предающаяся мечтам о бесконечной веренице дней и лет, украшенных неизменной душевной нежностью, — вот маленькая драма, которая никогда не приедалась нашим отцам и матерям и разыгрывалась в костюмах всех времен. Лишь бы Репей обладал фигурой, которую не портил даже фрак с низкой талией, и все считали не только естественным, но даже необходимым свидетельством истинной женственности, если милая, наивная девушка тотчас убеждала себя, что он добродетелен, одарен множеством талантов, а главное, во всем искренен и правдив. Но, пожалуй, в те времена не нашлось бы никого — во всяком случае, в окрестностях Типтон-Грейнджа, — кто с сочувствием отнесся бы к мечтам девушки, которая восторженно видела в браке главным образом служение высшим целям жизни, причем восторженность эта питалась собственным огнем и ничуть не подогревалась мыслью не только о

**[21] Примечания: 21**
*Стрефон и Хлоя* — традиционные имена в пасторалях.

шитье приданого или о выборе свадебного сервиза, но даже о привилегиях и удовольствиях, положенных молодой даме.

Доротея осмелилась подумать, что мистер Кейсобон, возможно, пожелает сделать ее своей супругой, и она испытывала теперь к нему благодарность, похожую на благоговение. Какая доброта, какая снисходительность! Словно на ее пути встал крылатый вестник и простер к ней руку! Ее так давно угнетало ощущение неопределенности, в котором, словно в густом летнем тумане, терялось ее упорное желание найти для своей жизни наилучшее применение. Что она может сделать? Чем ей следует заняться? Хотя она еще только переступила порог юности, но ее живую совесть и духовную жажду не удовлетворяли предназначенные для девиц наставления, которые можно уподобить пискливым рассуждениям словоохотливой мыши. Одари ее природа глупостью и самодовольством, она, вероятно, считала бы, что идеал жизни молодой и состоятельной девицы-христианки вполне исчерпывается приходской благотворительностью, покровительством бедному духовенству, чтением книги «Женщины Святого Писания», повествующей об испытаниях Сары в Ветхом Завете и Тавифы

— в Новом, и размышлениями о спасении собственной души над пяльцами у себя в будуаре; а далее — брак с человеком, который, конечно, занимаясь делами, далекими от религии, не будет столь строг в вере, как она сама, что, впрочем, даст ей возможность молиться о спасении его души и время от времени наставлять его на путь истинный. Но такое тихое довольство было не для бедняжки Доротеи. Пылкая религиозность, накладывавшая печать на все ее мысли и поступки, была лишь одним из проявлений натуры увлекающейся, умозрительной и логичной, а когда подобная натура бьется в тенетах узкого догматизма и со всех сторон стеснена светскими условностями, которые превращают жизнь в путаницу мелочных хлопот, в обнесенный стеной лабиринт, дорожки которого никуда не ведут, окружающие неизбежно винят ее в преувеличениях и непоследовательности. Ведь вместо того чтобы признавать заветы на словах и не следовать им на деле, Доротея стремилась как можно полнее познать то, что ей представлялось самым важным. Вся ее юная страсть преображалась пока в этот духовный голод, и супружество манило ее как избавление от ярма девического невежества, как свободное и добровольное под-

чинение мудрому проводнику, который поведет ее по величественнейшему из путей.

«Мне тогда надо будет заняться науками, — говорила она себе, продолжая идти по лесной дороге все тем же быстрым шагом. — Мой долг — учиться, чтобы я могла помогать ему в его великих трудах. В нашей жизни не будет ничего мелкого и пошлого. Великое и благородное — вот что станет нашими буднями. Словно бы я вышла замуж за Паскаля. Я научусь видеть истину так, как ее видели великие люди. И тогда мне откроется, что я должна буду делать, когда стану старше. Я пойму, как можно жить достойной жизнью здесь, сейчас, в Англии. Ведь пока я не уверена, какое, собственно, добро я могу делать. Точно идешь с благой вестью к людям, языка которых не знаешь… Вот, правда, постройка хороших домов для арендаторов — тут никаких сомнений нет. Ах, я надеюсь, что сумею добиться, чтобы в Лоуике ни у кого не было плохого жилья! Надо начертить побольше планов, пока у меня еще есть время».

Тут Доротея опомнилась и выбранила себя за такое самоуверенное предвосхищение далеко еще не решенных событий, но ей не пришлось тратить усилий на то, чтобы занять свои мысли

чем-то другим, так как из-за поворота навстречу ей легкой рысью выехал всадник на холеной гнедой лошади в сопровождении двух красавцев сеттеров. Это мог быть только сэр Джеймс Четтем. Увидев Доротею, он тотчас спешился, отдал поводья груму и пошел ей навстречу, держа под мышкой что-то белое. Сеттеры с возбужденным лаем прыгали вокруг него.

— Какая приятная встреча, мисс Брук, — сказал он и приподнял шляпу, открыв волнистые рыжеватые волосы. — Она дарит мне то удовольствие, которое я только предвкушал.

Мисс Брук испытывала лишь досаду. Этот любезный баронет — бесспорно, прекрасная партия для Селии — слишком уж усердно старался угождать старшей сестре. Даже будущий зять покажется назойливым, если все время делает вид, будто отлично тебя понимает, и соглашается с тобой, даже когда ты ему прямо противоречишь. Мысль о том, что он в странном заблуждении ухаживает за ней самой, вообще не приходила Доротее в голову — слишком уж далеко это было от того, что всецело занимало ее ум. В эту же минуту он казался ей просто навязчивым, а его пухлые руки — противными. Она порозовела от раздражения и ответила на его приветствие с

некоторым высокомерием.

Сэр Джеймс истолковал этот румянец наиболее лестным для себя образом и подумал, что никогда еще не видел мисс Брук столь красивой.

— Я захватил с собой маленького просителя, — сказал он. — А вернее, хочу показать его прежде, чем он решится изложить свою просьбу. — Он погладил белый клубок у себя под мышкой, который оказался щенком мальтийской болонки, чуть ли не самой прелестной игрушкой из всех созданных природой.

— Мне больно смотреть на существа, выведенные ради одной лишь забавы! — воскликнула Доротея, которая, как нередко случается, пришла к этому убеждению всего только миг назад под влиянием досады.

— Но почему же? — спросил сэр Джеймс и пошел с ней рядом.

— Мне кажется, они, как бы их ни баловали, не могут быть счастливы. Слишком уж они беспомощны и беззащитны. Ласка или мышь, сама добывающая себе пропитание, куда интереснее. Мне приятно думать, что окружающие нас животные обладают душами, почти такими же, как наши, и либо ведут свою собственную жизнь, либо разделяют нашу — вот как Монах. А эти

создания — никчемные паразиты.

— Я очень рад, что они вам не нравятся, — заявил милейший сэр Джеймс. — Сам я никогда не завел бы мальтийскую болонку, но обычно барышни и дамы их просто обожают. Джон, забери-ка собачонку!

И недостойный щенок, чьи нос и глазки были равно черны и равно выразительны, перекочевал на руки грума, так как мисс Брук полагала, что он совершенно напрасно появился на свет. Однако она сочла своим долгом добавить:

— Но не судите о склонностях Селии по моим. Если не ошибаюсь, ей нравятся комнатные собачки. У нее прежде был карликовый терьер, и она его очень любила. А я страдала, потому что боялась нечаянно на него наступить. Я ведь близорука.

— У вас обо всем есть собственное мнение, мисс Брук, и всегда здравое.

Ну что можно было ответить на столь глупый комплимент?

Доротея убыстрила шаг.

— А знаете, я завидую этому вашему умению, — добавил сэр Джеймс, продолжая идти с нею рядом.

— Не понимаю, о чем вы.

— Тому, как вы умеете составить собственное мнение. Я вот могу судить о людях. Я знаю, нравится мне человек или нет. Но во всем остальном мне часто бывает трудно принять решение. Ведь обязательно находятся разумные доводы и «за» и «против».

— То есть они кажутся разумными. Быть может, мы не всегда способны отличить разумное от неразумного.

Доротея почувствовала, что переступает границу вежливости.

— Совершенно верно, — согласился сэр Джеймс. — Но вот вы, по-видимому, наделены необходимой проницательностью.

— Напротив, мне нередко бывает трудно прийти к какому-нибудь решению. Но причиной тут неосведомленность. Правильное решение существует, хотя я и неспособна его увидеть.

— А по-моему, в зоркости с вами мало кто может сравниться. Знаете, вчера Лавгуд говорил мне, что ваши планы домиков для арендаторов на редкость хороши — а уж для молодой барышни и подавно, как он выразился. И еще добавил, что таланта вам не занимать стать. Он сказал, что вы хотите, чтобы мистер Брук построил для своих арендаторов новые дома, но, по его мнению, ваш

дядюшка вряд ли согласится. А знаете, это как раз входило в мои намерения, то есть обновить дома у меня в поместье. И я буду очень рад воспользоваться вашими чертежами, если вы мне их покажете. Конечно, деньги вернуть не удастся, вот почему многих это отпугивает. Арендаторы попросту не в состоянии платить за дома столько, чтобы эти расходы были полностью покрыты. И все-таки это стоит сделать.

— Стоит сделать! Ну конечно! — воскликнула Доротея, забывая недавнее мелочное раздражение. — Нас всех следовало бы прогнать из наших прекрасных домов бичом из веревок[22] — всех, у кого арендаторы живут в лачугах, какие мы видим всюду в округе. Возможно, жизнь поселян счастливее нашей, но при условии, что они живут в хороших домах, отвечающих всем нуждам людей, от которых мы ждем не только исполнения определенных обязанностей, но и преданности.

— Вы покажете мне свои чертежи?

— Разумеется. Наверное, они очень несовершенны. Но я изучила все планы деревенских

**[22] Примечания: 22**

В Евангелии от Иоанна, 2,15, рассказывается, как Христос, «сделав бич из веревок», выгнал из храма торговцев и менял.

домов в книге Лаудона[23] и выбрала то, что мне в каждом показалось наилучшим. Какое это будет счастье — подать тут благой пример! Не Лазарь лежит[24] у ворот здешних парков, а стоят лачуги, пригодные только для свиней.

От досады Доротеи не осталось и следа. Сэр Джеймс, муж ее сестры, строит образцовые домики в своем поместье, и может быть, в Лоуике возводятся такие же, им начинают подражать повсюду в округе — словно дух Оберлина[25] осенит эти приходы, украшая жизнь бедняков!

Сэр Джеймс посмотрел все чертежи, а один взял с собой, чтобы показать его Лавгуду, — и уходил он в приятном убеждении, что очень вырос во мнении мисс Брук. Мальтийская болонка преподнесена Селии не была — Доротея несколько удивилась, но тут же решила, что это ее вина: она слишком уж завладела вниманием сэра Джеймса. А впрочем, так, пожалуй, и лучше. Можно будет

---

**[23] Примечания: 23**

*Лаудон Джон* (1783 — 1843) — знаменитый в ту эпоху специалист по ландшафтным паркам.

**[24] Примечания: 24**

Имеется в виду евангельская притча (Лука, 16, 20) о бессердечном богаче и нищем «именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях».

**[25] Примечания: 25**

*Оберлин Жан Фредерик* (1740 — 1826) — французский протестантский священник и филантроп, собственным примером и трудом содействовавший улучшению жизни крестьян своего прихода.

не бояться наступить на щенка.

Селия присутствовала при разговоре о чертежах и заметила заблуждение сэра Джеймса. «Он верит, что Додо интересуется им, а она интересуется только своими чертежами. Но может быть, она ему и не откажет, если решит, что он позволит ей командовать всем и будет исполнять любые ее высокие замыслы. И как же тяжело придется сэру Джеймсу! Терпеть не могу высоких замыслов!»

Эти мысленные выпады доставляли Селии большое удовольствие. Она не осмеливалась прямо высказать сестре свою нелюбовь к высоким замыслам, так как знала, что тут же получит доказательство того, насколько чужды ей истинные добродетели. Но при всяком удобном случае она исподтишка давала Доротее почувствовать правоту своей житейской мудрости и вынуждала сестру спускаться с небес на землю, обиняком намекнув, что на нее смотрят с недоумением и никто ее не слушает. Порывистость не была свойственна Селии, она не торопилась высказывать свое мнение, а решив высказать его, делала это всегда с одинаковой спокойной четкостью. Если люди говорили при ней с жаром и одушевлением, она молча разглядывала их лица. Ей было непо-

нятно, как благовоспитанные люди соглашаются петь в обществе, — ведь при этом приходится разевать рот самым нелепым образом.

Совсем немного дней спустя мистер Кейсобон явился с утренним визитом и получил приглашение пожаловать на следующей неделе к обеду, с тем чтобы переночевать у них. Таким образом, Доротея смогла побеседовать с ним еще три раза и убедилась в верности своего первого впечатления. Он был совсем таким, каким рисовался ее воображению — чуть ли не каждое произнесенное им слово казалось золотым самородком из неистощимых россыпей или надписью на двери музея, за которой таятся неисчислимые сокровища былых веков. Ее вера в его духовное богатство сделалась еще более глубокой и неколебимой теперь, когда стало ясно, что он посещает их дом ради нее. Этот ученейший мудрец снисходит до молоденькой девчонки и разговаривает с ней, не рассыпаясь в глупых комплиментах, но с уважением к ее уму, с готовностью научить и поправить. Как это восхитительно! Мистер Кейсобон, казалось, презирал пошлые светские разговоры и никогда не пытался болтать о пустяках, что у людей его склада всегда выходит тяжеловесно и доставляет окружающим столь

же мало удовольствия, как черствый свадебный пирог, уже впитавший все запахи буфета. Он говорил только о том, что ему было интересно, или же молча слушал, вежливо и печально наклоняя голову. Доротея усматривала в этом обворожительное прямодушие, истинно религиозное воздержание от той искусственности и притворства, которые сушат душу. Ведь она благоговейно признавала неизмеримое превосходство мистера Кейсобона не только в уме и знаниях, но и в благочестии. То, что она говорила о своей вере, он одобрял, обычно приводя подходящую цитату, и даже сообщил, что в юности сам испытал духовные борения. Короче говоря, Доротея все более убеждалась, что тут она может рассчитывать на понимание, сочувствие и руководство. И лишь одна — всего одна — из дорогих ее сердцу идей не встретила у него поддержки. Мистер Кейсобон, по-видимому, нисколько не интересовался постройкой домов для арендаторов и перевел разговор на чрезвычайное убожество жилищ древних египтян, словно указывая, что не следует придавать особого значения удобствам. После его ухода Доротея принялась раздумывать над этим равнодушием с растерянностью и тревогой, находя все новые и новые возражения, опиравшиеся

на различие климатических условий, которые определяют человеческие нужды, а также на общепризнанную бесчувственность и жестокость языческих деспотов. Не следует ли ей изложить эти возражения мистеру Кейсобону, когда он приедет в следующий раз? Но еще поразмыслив, она пришла к выводу, что и так уже злоупотребила его вниманием: у него есть более важные дела, но, конечно, он не будет против того, чтобы она занимала подобными заботами часы своего досуга, как другие женщины — рукоделием, не запретит ей, когда… Доротея вдруг устыдилась, поймав себя на подобных мыслях. Но ведь ее дядя приглашен погостить в Лоуике два дня — можно ли предположить, что мистера Кейсобона влечет лишь общество мастера Брука, с документами или без оных?

Меж тем это маленькое разочарование заставило ее еще больше радоваться готовности, с какой сэр Джеймс Четтем собирался приступить к столь желанным улучшениям. Он приезжал к ним гораздо чаще мистера Кейсобона и больше не раздражал Доротею, так как, по-видимому, взялся за дело совершенно серьезно, уже оценивал выкладки мистера Лавгуда с практической точки зрения и мило соглашался решительно

со всем. Она предложила начать с постройки двух домов, переселить в них две семьи и снести их старые лачуги, так чтобы дальше строить на их месте. Сэр Джеймс сказал: «Совершенно верно», — и Доротея не почувствовала ни малейшего раздражения!

Безусловно, мужчины, которых редко осеняют собственные идеи, под благотворным женским влиянием могут все-таки стать полезными членами общества, если не ошибутся в выборе свояченицы! Трудно сказать, насколько она действительно была слепа к тому, что здесь речь шла о выборе несколько иного свойства. Впрочем, жизнь ее в эти дни была весьма деятельной и полной надежд. Она не только обдумывала свои планы, но и отыскивала в библиотеке всевозможные ученые книги и спешно читала о самых разных предметах (чтобы не выглядеть чересчур уж невежественной в беседах с мистером Кейсобоном), при этом все время добросовестно взвешивая, не слишком ли большое значение придает она своим скромным успехам и не взирает ли на них с тем самодовольством, которое присуще лишь крайнему невежеству и легкомыслию.

## Глава IV

***Первый джентльмен***
*Деяньями своими мы оковы*
*Куем себе.*
***Второй джентльмен***
*Да, это верно, но железо*
*Нам поставляет мир.*

— Сэр Джеймс как будто твердо решил исполнять каждое твое желание, — сказала Селия, когда они возвращались в коляске домой, после того как осмотрели место будущей стройки.

— Он неплохой человек и гораздо разумнее, чем кажется на первый взгляд, — ответила Доротея без малейшего снисхождения.

— Ты хочешь сказать, что он кажется глупым?

— Нет-нет, — спохватившись, возразила Доротея и погладила руку сестры. — Но он не обо всем рассуждает одинаково хорошо.

— По-моему, это свойственно только очень неприятным людям, — заметила Селия с обычной своей манерой ласкового котенка. — Наверное, жить с ними ужасно! Только подумай — и за завтраком, и всегда!

Доротея засмеялась.

— Ах, Киска, ты удивительное создание!

Она пощекотала сестру под подбородком, так как в нынешнем своем настроении находила, что она очаровательна, прелестна, достойна в жизни иной стать небесным херувимом и — если бы самая мысль об этом не была кощунством — столь же мало нуждается в искуплении грехов, как резвая белочка.

— Ну конечно, людям вовсе не обязательно всегда рассуждать хорошо. Однако по тому, как они пытаются это делать, можно понять, каков их ум.

— То есть сэр Джеймс пытается и у него ничего не выходит.

— Я говорю вообще. Почему ты допрашиваешь меня о сэре Джеймсе? Как будто цель его жизни — угождать мне!

— Неужели, Додо, ты и правда так думаешь?

— Разумеется. Он видит во мне будущую сестру, только и всего.

Доротея впервые позволила себе подобный намек: сестры всегда избегали разговоров на такие темы, и она выжидала развития событий. Селия порозовела, но тут же возразила:

— Тебе пора бы уже выйти из этого заблужде-

ния, Додо. Когда Тэнтрип меня вчера причесывала, она сказала, что камердинер сэра Джеймса говорил горничной миссис Кэдуолледер, что сэр Джеймс женится на старшей мисс Брук.

— Селия, почему ты позволяешь Тэнтрип пересказывать тебе подобные сплетни? — негодующе спросила Доротея, сердясь тем более, что в ее памяти вдруг всплыли всевозможные забытые мелочи, которые с несомненностью подтверждали эту неприятную истину. — Значит, ты ее расспрашивала! Это унизительно.

— Что за беда, если я и слушаю болтовню Тэнтрип. Всегда полезно знать, что говорят люди. И видишь, какие ошибки ты делаешь оттого, что веришь собственным фантазиям. Я совершенно уверена, что сэр Джеймс намерен сделать тебе предложение и не ждет отказа — особенно теперь, когда он так угодил тебе этой постройкой. И дядя… Я знаю, он тоже не сомневается. Ведь все видят, что сэр Джеймс в тебя влюблен.

Разочарование Доротеи было столь сильным и мучительным, что из ее глаз хлынули слезы. Планы, которые она так лелеяла, оказались оскверненными. Ей была отвратительна мысль, что сэр Джеймс вообразил, будто она принимает его ухаживания. И она сердилась на него из-за

Селии.

— Но с какой стати он так думает! — воскликнула она с гордым возмущением. — Я никогда ни в чем с ним не соглашалась, если не считать постройки новых домов, а до этого держалась с ним чуть ли не грубо.

— Зато после ты была им так довольна, что он уверился в твоей взаимности.

— В моей взаимности! Селия, как ты можешь употреблять такие гадкие выражения? — с жаром спросила Доротея.

— Но, Доротея, ведь ты и должна отвечать взаимностью человеку, женой которого согласишься стать.

— Утверждать, что сэр Джеймс мог подумать, будто я отвечаю ему взаимностью, значит оскорблять меня. К тому же это слово вовсе не подходит для моего чувства к человеку, чьей женой я соглашусь стать.

— Что же, мне очень жаль сэра Джеймса. Я решила тебя предупредить, потому что ты всегда идешь, куда тебе заблагорассудится, и не смотришь, где ты и что у тебя под ногами. Ты всегда видишь то, чего никто другой не видит. На тебя невозможно угодить, и тем не менее ты не видишь самых простых вещей. Вот что можно о

тебе сказать, Додо.

Селия обычно робела перед сестрой, но теперь что-то явно придало ей храбрости, и она ее не щадила. Кто может сказать, какие справедливые упреки Кот Мурр[26] бросает нам, существам, мыслящим более высоко?

— Как это тяжело! — сказала Доротея, чувствуя себя так, словно ее исполосовали бичами. — Мне больше нельзя следить за строительством. И придется быть с ним невежливой. Я должна сказать ему, что больше туда не поеду. Это очень тяжело! — И ее глаза вновь наполнились слезами.

— Погоди! Подумай немножко. Ты же знаешь, что он уезжает на день-два повидать сестру. И там не будет никого, кроме Лавгуда, — сказала Селия, сжалившись над ней. — Бедняжка Додо, — продолжала она с обычной спокойной четкостью, — конечно, это нелегко, ты ведь обожаешь чертить планы.

— Обожаю чертить планы! Неужели ты думаешь, что жилища моих ближних интересуют меня только по этой детской причине? Еще бы

---

**[26] Примечания: 26**

*Кот Мурр* — сатирический персонаж романа немецкого писателя Э.-Т.-А. Гофмана (1776 — 1822) «Житейские воззрения Кота Мурра», описывающий поступки окружающих его людей со своей «кошачьей» точки зрения.

мне не ошибаться! Какие благородные христианские дела возможны, когда живешь среди людей со столь мелочными мыслями?

На этом разговор оборвался. Доротея от огорчения утратила способность судить здраво и не желала признать, что могла быть в чем-то неправа. Она во всем винила невыносимую узость и духовную слепоту окружающего общества, а Селия из небесного херувима стала терном, язвящим ее душу, белорозовым воплощением скепсиса, куда более опасным, чем все духи сомнения в «Пути Паломника»[27]. Она обожает чертить планы! Чего стоит жизнь, о какой великой вере может идти речь, если всем твоим поступкам подводится такой уничижительный итог?

Когда Доротея вышла из коляски, лицо ее было бледным, а веки — красными. Она казалась воплощением скорби, и дядя, встретивший их в передней, конечно, встревожился бы, если бы рядом с ней не шла Селия, такая спокойная и хорошенькая, что он тут же приписал слезы Доротеи ее религиозной восторженности. Он только

---

**[27] Примечания: 27**

*«Путь паломника»* — аллегорический роман английского писателя Джона Беньяна (1628 — 1688), изображающий испытания, которым подвергается паломник Христиан на пути ко Граду Спасения.

что вернулся из города, куда ездил по поводу петиции о помиловании какого-то преступника.

— Ну, милочки мои, — сказал он ласково, когда они подошли поцеловать его, — надеюсь, во время моего отсутствия тут не случилось ничего неприятного?

— Нет, дядюшка, — ответила Селия. — Мы ездили во Фрешит поглядеть на дома арендаторов. Мы думали, вы вернетесь домой ко второму завтраку.

— Я возвращался через Лоуик и позавтракал там. Вы ведь не могли знать, что я поеду через Лоуик. И знаешь ли, Доротея, я привез тебе два трактата — они в библиотеке. Они лежат на столе в библиотеке.

По жилам Доротеи словно пробежало электричество, отчаяние сменилось радостным предвкушением. Трактаты о ранней христианской церкви! Селия, Тэнтрип и сэр Джеймс были тотчас забыты, и она поспешила в библиотеку. Селия поднялась наверх. Мистер Брук задержался в прихожей, и когда он вернулся в библиотеку, Доротея уже углубилась в один из трактатов с заметками мистера Кейсобона на полях, упиваясь чтением, словно ароматом душистого букета после долгой и утомительной прогулки под па-

лящим солнцем.

Типтон, Фрешит и ее собственная злополучная привычка не видеть на пути в Новый Иерусалим[28] того, что у нее под ногами, уже отодвинулись далеко-далеко.

Мистер Брук опустился в свое кресло, вытянул ноги к камину, где поленья уже рассыпались горкой золотых углей, и, тихонько потирая руки, поглядывал на Доротею, но так, словно у него не было никаких интересных для нее новостей. Заметив присутствие дяди, Доротея сразу закрыла трактат и поднялась, чтобы уйти. При обычных обстоятельствах она спросила бы, чем завершились его милосердные старания облегчить участь преступника, но недавнее волнение заслонило от нее все остальное.

— Я возвращался через Лоуик, знаешь ли, — сказал мистер Брук так, словно вовсе не хотел ее задержать, а просто по привычке повторял уже раз сказанное. Этот принцип, лежащий в основе человеческой речи, у мистера Брука проявлялся с особой наглядностью. — Я позавтракал там, посмотрел библиотеку Кейсобона, ну и так далее. Погода нынче довольно холодная для поездок в

**[28] Примечания: 28**

*Новый Иерусалим* — небесный город, обитель спасенных, упоминаемый в евангельском «Откровении святого Иоанна Богослова», 21, 2.

открытом экипаже. Не присядешь ли, милочка? Ты как будто озябла.

Это приглашение обрадовало Доротею. Хотя благодушное спокойствие дядюшки нередко раздражало ее, порой она, наоборот, находила его успокоительным. Она сняла накидку и шляпку и села напротив мистера Брука, с удовольствием ощущая жар камина. Но тут же подняла свои красивые руки, чтобы заслонить лицо. Эти руки были не тонкими, не миниатюрными, но сильными, женственными, материнскими. И казалось, что она воздела их, словно умоляя о прощении за свое страстное желание познавать и мыслить, которое в чуждой атмосфере Типтона и Фрешита приводило к слезам и покрасневшим векам.

Теперь она вспомнила про осужденного преступника.

— Что вам удалось сделать для этого овечьего вора, дядюшка?

— А? Для бедняги Банча? По-видимому, мы ничего не добились. Его повесят.

Лицо Доротеи выразило негодование и жалость.

— Повесят, знаешь ли, — повторил мистер Брук,

тихо кивая. — Бедняга Ромили[29]! Он бы нам помог. Я был знаком с Ромили. Кейсобон не был знаком с Ромили. Он слишком уж занят книгами, знаешь ли, то есть Кейсобон.

— Когда человек предается ученым занятиям и пишет великий труд, он, конечно, мало бывает в свете. Откуда ему взять время на то, чтобы разъезжать и заводить знакомства?

— Это верно. Но, знаешь ли, человек начинает тосковать. Я тоже всегда был холостяком, но у меня такая натура, что я никогда не тоскую. Мой обычай — ездить повсюду, черпать всевозможные идеи. Я никогда не поддавался тоске, а вот Кейсобон поддается. Я, знаешь ли, вижу. Ему нужен кто-то, кто был бы рядом с ним. Рядом с ним, знаешь ли.

— Быть рядом с ним — это великая честь! — воскликнула Доротея.

— Он тебе нравится, э? — сказал мистер Брук, не выказывая ни удивления, ни какого-либо другого чувства. — Ну, я знаком с Кейсобоном десять лет. С тех самых пор, как он поселился в Лоуике. Но мне так и не удалось ничего от него добиться

---

**[29] Примечания: 29**

*Ромили Сэмюел* (1757 — 1818) — английский юрист и политический деятель, сторонник избирательной реформы и уравнения католиков в правах.

— в смысле идей, знаешь ли. Однако человек он превосходный и, возможно, будет епископом — или чем-нибудь в том же роде, — если Пиль останется у власти. И он весьма высокого мнения о тебе, милочка.

Доротея почувствовала, что не в силах вымолвить ни слова.

— Дело в том, что он о тебе самого высокого мнения. И изъясняется на редкость хорошо — то есть Кейсобон изъясняется. Он обратился ко мне, потому что ты еще несовершеннолетняя. Ну, в общем, я обещал ему поговорить с тобой, хотя и сказал, что надежды мало. Я был обязан сказать ему это. Я сказал: моя племянница еще очень молода, ну и так далее. Как бы то ни было, он, короче говоря, обратился ко мне за разрешением просить твоего согласия на брак с ним. На брак, знаешь ли, — заключил мистер Брук с обычным пояснительным кивком. — И я счел, что мне следует сообщить тебе об этом.

Хотя никто не сумел бы подметить беспокойства в тоне мистера Брука, он тем не менее был бы искренне рад узнать намерения своей племянницы, чтобы вовремя преподать ей нужный совет, если такой совет понадобится. В той мере, в какой он, мировой судья, почерпнувший такое

множество всевозможных идей, был еще способен на чувства, чувства эти оставались самыми благожелательными. Доротея не отвечала, и он повторил:

— Я счел, что мне следует сообщить тебе об этом.

— Спасибо, дядюшка, — произнесла Доротея звонким решительным голосом. — Я очень благодарна мистеру Кейсобону. Если он сделает мне предложение, я отвечу согласием. Я почитаю его и восхищаюсь им, как никем другим.

Мистер Брук помолчал, а затем протянул негромко:

— Э-э? Ну что же. В некоторых отношениях он отличная партия. Но и Четтем — отличная партия. И наши земли граничат. Я никогда не пойду наперекор твоим желаниям. Когда речь идет о браке, люди должны решать сами, ну и так далее… До определенного предела, знаешь ли. Я всегда это говорил: до определенного предела. Я хочу, чтобы твое замужество было удачным. И у меня есть веские основания полагать, что Четтем хочет жениться на тебе. Впрочем, это я так, знаешь ли.

— О том, чтобы я вышла за сэра Джеймса, вообще не может быть и речи, — сказала Доротея. — И

он глубоко заблуждается, если думает, что я когда-нибудь приму его предложение.

— То-то и оно. Никогда нельзя знать заранее. Я бы сказал, что Четтем — как раз такой мужчина, какие нравятся женщинам.

— Прошу вас, дядюшка, больше никогда не говорите со мной о нем в подобной связи! — воскликнула Доротея, чувствуя, как в ней просыпается обычное раздражение.

Мистер Брук выслушал ее с полным недоумением и подумал, что женщины — поистине неисчерпаемый предмет для изучения, раз уж даже ему в его возрасте не удается верно предсказать их решения и поступки. Вот Четтем — во всех отношениях отличный жених, а она о нем даже слышать не хочет.

— Ну, так о Кейсобоне. Нужды торопиться нет никакой. То есть тебе. На нем, конечно, каждый год будет сказываться. Ему, знаешь ли, далеко за сорок пять. Он лет на двадцать семь старше тебя. Но, конечно, если тебя влечет ученость, ну и так далее, от чего-то приходится отказаться. И он располагает недурным доходом — у него порядочное собственное состояние, помимо того, что он получает как священнослужитель. Да, он располагает недурным доходом. Тем не менее

он уже немолод, и не скрою от тебя, милочка, что его здоровье, мне кажется, оставляет желать лучшего. Но ничего другого, что можно было бы поставить ему в упрек, я не знаю.

— Я не хотела бы выйти замуж за человека, близкого мне по возрасту, — сказала Доротея с глубокой серьезностью. — Мой муж должен далеко превосходить меня и мудростью и знаниями.

Мистер Брук вновь протянул свое «э-э» и добавил:

— А мне казалось, что ты любишь полагаться на собственное мнение гораздо больше, чем это водится у молодых девиц. Мне казалось, что ты любишь иметь собственное мнение, любишь его иметь, знаешь ли.

— Конечно, собственное мнение необходимо, но оно должно быть обоснованным, а мудрый руководитель подскажет мне наилучшие обоснования и поможет жить в соответствии с ними.

— Совершенно верно. Лучше не скажешь, то есть не подготовившись, заранее, знаешь ли. Но ведь бывают всякие исключения, — продолжал мистер Брук, чья совесть настоятельно требовала, чтобы он всемерно помог племяннице, стоящей перед столь важным решением. — Жизнь ведь не отливается в формах, не кроится точно по мерке,

ну и так далее. Я вот не женился — к лучшему для тебя и для твоих будущих детей. Дело в том, что мне не довелось полюбить настолько сильно, чтобы ради предмета своего чувства сунуть голову в петлю. А ведь это петля, знаешь ли. Характер, например. Есть такая вещь, как характер. А муж хочет быть хозяином в своем доме.

— Я знаю, что мне предстоят нелегкие испытания, дядюшка. Брак подразумевает исполнение высшего долга. Я никогда не считала, что он должен давать одни привилегии и удовольствия, — ответила бедняжка Доротея.

— Конечно, тебя не влечет роскошь — открытый дом, балы, званые обеды, ну и так далее. Пожалуй, образ жизни Кейсобона может быть тебе ближе, чем образ жизни Четтема. И ты поступишь, как сама считаешь нужным, милочка. Я не стану мешать Кейсобону, я так сразу и сказал. Ведь заранее невозможно знать, как все обернется в дальнейшем. Ты не похожа на других молодых барышень, и ученый священник, а в будущем, возможно, епископ и так далее, может подойти тебе больше Четтема. Четтем — отличный малый, добрый и достойный молодой человек, но не слишком интересуется отвлеченными идеями. Не то что я в его возрасте. Но у Кейсобона слабое

зрение. Мне кажется, он испортил глаза постоянным чтением.

— Чем больше я смогу помогать ему, дядюшка, тем счастливее я буду, — пылко сказала Доротея.

— Ты, я вижу, уже все решила. Ну, милочка, по правде говоря, я привез тебе письмо. — И достав из кармана запечатанный конверт, мистер Брук протянул его Доротее. Однако когда она поднялась, собираясь уйти, он добавил: — Торопиться особенно незачем, милочка. Лучше все хорошенько обдумать, знаешь ли.

Оставшись один, он решил, что говорил с большой убедительностью и весьма выразительно обрисовал ей связанный с браком риск. Он исполнил свой долг. Ну, а давать советы молодежи… ни один дядя, пусть даже он много путешествовал в дни юности, почерпнул все новые идеи и обедал со знаменитостями, ныне покойными, не возьмется предсказывать, какой брак может сделать счастливой девицу, способную предпочесть Кейсобона Четтему. Короче говоря, женщина — это загадка, которая, раз уж перед ней пасовал ум мистера Брука, по сложности не уступала вращению неправильного твердого тела.

# Глава V

*Те, кто предается ученым занятиям, обычно страдают подагрой, катарами, насморками, худосочием, констипациями, слабостью зрения, камнями и коликами, несварением желудка, геморроями, головокружениями, ветрами, чахоткой и другими подобными же недугами, происходящими от сидячей жизни; такие люди по большей части отличаются худобой, сухопаростью и дурным цветом лица… и все из-за неуемного рвения и редкостного прилежания. Если вы не верите в истинность вышеуказанного, то поглядите на великого Тостатуса, вспомните труды Фомы Аквинского[30] и скажите мне, был ли предел рвению этих людей.*

***Роберт Бертон[31], «Анатомия меланхолии»***

---

**[30] Примечания: 30**

*Фома Аквинский* (1225 — 1274) — средневековый схоласт и идеолог католической церкви, стремившийся создать энциклопедическую философию теологической системы.

**[31] Примечания: 31**

Бертон Роберт (1577 — 1640) — английский философ-моралист.

В письме мистера Кейсобона содержалось следующее:

Дражайшая мисс Брук! Я получил разрешение вашего опекуна обратиться к вам касательно предмета, наиболее близкого сейчас моему сердцу. Не думаю, чтобы я ошибался, усматривая не простое совпадение в том, что сознание некоей неполноты в моей жизни пришло ко мне именно тогда, когда мне открылась возможность познакомиться с вами. В первый же час этого знакомства мне стало ясно, насколько вы – и быть может, лишь вы одна – подходите для восполнения этой неполноты (связанной, должен я объяснить, с той потребностью в нежности, которую даже всепоглощающие занятия трудом, слишком важным, чтобы от него можно было отказаться, все-таки не подавили вполне); и каждый новый случай для наблюдений усугублял это впечатление, все более убеждая меня, что вы – именно та, какой я почел вас с самого начала, и в результате все более пробуждая упомянутую выше нежность. Наши

беседы, я полагаю, дали вам достаточное понятие об образе и цели моей жизни, которые, как мне хорошо известно, не подходят для обыденных натур. Но в вас я обнаружил такую возвышенность мысли и ревностность веры, какие до сих пор представлялись мне несовместимыми ни с ранним цветением юности, ни с теми свойственными вашему полу чарами, каковые, скажем сразу же, пленяют и облагораживают, когда соединяются, как, вне всякого сомнения, они соединяются в вас, с названными выше духовными свойствами. Признаюсь, я не питал надежды когда-либо встретить столь редкое сочетание как истинной серьезности, так и пленительности, способных и подать помощь в важных трудах, и украсить час досуга; и если бы я не был вам представлен (в чем, разрешите мне повторить, я усматриваю отнюдь не случайное совпадение с осознанием вышеуказанной неполноты, но предуготованную провидением ступень, ведущую к полнейшему завершению жизненного плана), то я предположительно окончил бы свои дни,

так и не попытавшись озарить мое одиночество брачным союзом.

Вот, дражайшая мисс Брук, точный отчет о состоянии моих чувств, и я полагаюсь на вашу благожелательную снисходительность, осмеливаясь задать вам вопрос, в какой мере состояние ваших собственных чувств оправдывает мои счастливые чаяния. Ваше согласие видеть во мне мужа и земного хранителя вашего благополучия я сочту величайшим даром провидения. Я же могу отплатить вам нежностью, ни на кого до сей поры не излитой, и посвятить вам жизнь, в коей, хотя большая ее часть, возможно, уже позади, не отыщется ни единой страницы, буде вы соблаговолите пролистать их назад, с записью, которую вы прочитали бы с неодобрением или стыдом. Я ожидаю изъявления ваших чувств с волнением, которое, как подсказывает мудрость, следовало бы утишить – если бы это было возможно! – занятиями более усердными, нежели обычно. Но в этой области жизненного опыта я еще юноша, и при мысли о неблагоприятном исходе не могу

скрыть от себя, насколько труднее будет смириться с одиночеством после недолгого озарения надеждой.

В любом случае я остаюсь искренне преданный вам

*Эдвард Кейсобон.*

Читая это письмо, Доротея трепетала. Потом она упала на колени, спрятала лицо в ладонях и разрыдалась. Молиться она не могла, ее мысли мешались от нахлынувших чувств, в глазах мутилось, и она по-детски отдалась ощущению, что все свершается по божественному произволению. В этой позе она оставалась до тех пор, пока не наступило время переодеваться к обеду.

Разве могло ей прийти в голову обдумать это письмо, взыскательно оценить подобное признание в любви? Она понимала лишь одно: перед ней открывается новая, более полная жизнь. Она была послушницей, ожидающей посвящения. Теперь она найдет применение энергии, которая беспокойно билась в смутно осознаваемых узах ее собственного невежества и мелочных обычаев света.

Теперь она сможет посвятить себя более важным и в то же время ясным обязанностям; теперь

ей будет дано постоянно пребывать в сиянии разума, который она почитает. К этой надежде примешивались и гордая радость, и блаженное девичье удивление, что ее избрал тот, кому она отдала свое поклонение. Все чувства Доротеи проходили через фильтр рассудка, устремленного к идеальной жизни. Отблески ее собственных юных мечтаний и надежд озарили первый же предмет, который она могла вознести на желанную высоту. А стремительность, с какой склонность воплотилась в решимость, отчасти объяснялась мелкими происшествиями этого дня, которые заново пробудили в ней недовольство условиями ее жизни.

После обеда, когда Селия принялась разыгрывать «арию с вариациями» (звонкий пустячок, своего рода символ эстетической стороны воспитания молодых девиц), Доротея поднялась к себе, чтобы ответить на письмо мистера Кейсобона. К чему медлить? Она трижды переписывала свой ответ — не потому, что хотела изменить то или иное слово, но просто ее рука против обыкновения дрожала, а мысль, что мистер Кейсобон сочтет ее почерк недостаточно четким и красивым, была для нее непереносима. Она гордилась, тем, что каждую ее букву можно было прочесть

сразу же, не теряясь в догадках, и намеревалась в полной мере использовать свой каллиграфический талант, чтобы щадить глаза мистера Кейсобона. Вот что она написала трижды:

> Дорогой мистер Кейсобон, я очень благодарна вам за то, что вы меня любите и считаете достойной стать вашей женой. Я не в силах представить себе большего счастья, чем счастье, разделенное с вами. Если бы я попыталась что-нибудь добавить, то лишь написала бы то же самое, только пространнее, ибо сейчас у меня нет иной мысли, кроме той, что до конца дней моих я буду преданно ваша
> *Доротея Брук.*

Потом она пошла к дяде в библиотеку и вручила ему свое письмо, чтобы он отправил его утром. Мистер Брук удивился, но его удивление выразилось только в том, что он две-три минуты молчал, перекладывая какие-то бумаги и переставляя разные вещицы на своем столе, а затем встал спиной к камину, поправил очки и несколько раз перечитал адрес на конверте.

— Милочка, а достаточно ли времени было у тебя, чтобы подумать хорошенько? — спросил

он наконец.

— Мне незачем было долго думать, дядюшка. У меня нет никаких причин для колебаний. Изменить свое решение я могла бы, только если бы узнала что-то важное и прежде мне неизвестное.

— А! Так, значит, ты дала ему согласие? И Четтему не на что надеяться? Может быть, Четтем тебя чем-то обидел… ну, знаешь ли, обидел? Что тебе не нравится в Четтеме?

— Нет ничего, что мне в нем нравилось бы, — ответила Доротея запальчиво.

Мистер Брук откинулся назад, словно в него бросили чем-то не очень тяжелым. Доротея тут же ощутила легкие угрызения совести и сказала:

— То есть, если иметь в виду замужество. А вообще он, по-моему, хороший человек — вот, скажем, новые дома для его арендаторов. Да, он хороший, доброжелательный человек.

— Но тебе требуется ученый, ну и так далее? Что же, это у нас отчасти семейное. И мне она была свойственна — эта любовь к знаниям, стремление приобщиться ко всему… Даже в некотором избытке, так что завела меня слишком далеко. Хотя, как правило, подобные вещи женщинам не передаются или же остаются скрытыми, точно, знаешь ли, подземные реки в Греции, и выходят

на поверхность лишь в их сыновьях. Умные сыновья — умные матери. Одно время я изучал этот вопрос довольно подробно. Однако, милочка, я всегда утверждал, что в этих вещах люди должны поступать по своему усмотрению — в определенных пределах, конечно. Как твой опекун, я не имел бы права дать согласие, если бы речь шла о плохой партии. Но Кейсобон — солидный человек, у него прекрасное положение. Боюсь только, что Четтем огорчится, а миссис Кэдуолледер во всем обвинит меня.

Селия, разумеется, ничего об этих событиях не знала, и, заметив рассеянность сестры, а также по некоторым признакам заключив, что Доротея после возвращения домой опять плакала, она решила, что та все еще сердится из-за сэра Джеймса и домов, и постаралась больше не касаться больного места. Раз высказавшись, Селия не имела обыкновения возвращаться к неприятным темам. В детстве она никогда ни с кем не ссорилась, а когда другие дети ссорились с ней, только недоумевала, почему они надуваются, точно индюки, и готова была играть с ними в веревочку, едва их досада проходила. Доротея же всегда умела находить в словах сестры что-нибудь, что ее задевало, хотя, мысленно возражала Селия, она ведь только

говорит то что есть и ничего не сочиняет и не выдумывает. Впрочем, одного у Додо отнять нельзя: она никогда долго не сердится. Вот и теперь они за весь вечер ни словом не перемолвились, но стоило Селии отложить шитье (она всегда ложилась спать раньше сестры), как Доротея, которая сидела на низеньком табурете и предавалась размышлениям, не в силах ничем заняться, сказала тем мелодичным голосом, который в минуты скрытого, но глубокого душевного волнения придавал ее речи особую торжественность:

— Селия, душечка, подойди и поцелуй меня, — и открыла ей объятия.

Селия опустилась на колени, чтобы не наклоняться, и легонько прикоснулась губами к ее щеке. Доротея же нежно обвила сестру руками и запечатлела по поцелую на обеих ее розовых щечках.

— Не засиживайся, Додо, ты сегодня что-то бледная, иди поскорее спать, — спокойно посоветовала Селия.

— Нет, душечка, я очень-очень счастлива! — пылко воскликнула Доротея.

«Тем лучше, — подумала Селия. — Но как странно Додо впадает то в одну крайность, то в другую».

На следующий день во время второго завтрака дворецкий подал что-то мистеру Бруку и доложил:

— Джон вернулся, сэр, и привез это письмо.

Мистер Брук прочел письмо, повернулся к Доротее и сказал:

— От Кейсобона, милочка, он приедет к обеду. Он спешил поскорее послать ответ и не стал писать больше, он, знаешь ли, спешил послать ответ.

Селия не удивилась, что Доротею предупреждают о приезде к обеду гостя, но, вслед за мистером Бруком поглядев на сестру, она была поражена происшедшей в ней переменой. Казалось, по ее лицу скользнул отблеск белого, озаренного солнцем крыла, а на щеках появился столь редкий на них румянец. Только тут Селии пришло в голову, что мистера Кейсобона и ее сестру связывает нечто большее, чем его склонность учено рассуждать и ее жажда внимать ученым рассуждениям. До сих пор она полагала, что Доротея восхищается этим «некрасивым» и полным книжной премудрости знакомым, как в Лозанне восхищалась мосье Лире, тоже некрасивым и полным книжной премудрости. Доротея готова была без конца слушать старичка мосье Лире, а у

Селии ноги превращались в ледышки, и она уже больше не могла смотреть на его подергивающуюся лысину. Почему же и мистеру Кейсобону не заворожить Доротею, как завораживал ее мосье Лире? И уж конечно, такие ученые люди, точно школьные наставники, видят в молоденьких девушках просто прилежных учениц!

Вот почему Селия была несколько ошеломлена мелькнувшим у нее подозрением. Перемены редко заставали ее врасплох — она обладала незаурядной наблюдательностью и обычно по ряду признаков заранее угадывала интересовавшее ее событие. Правда, даже теперь ей и в голову не пришло, что мистер Кейсобон уже получил согласие ее сестры, и она лишь возмутилась при мысли, что Доротея, пожалуй, способна дать такое согласие. Нет, все-таки с Додо не хватит никакого терпения! Отказать сэру Джеймсу Четтему — это одно дело, но хотя бы подумать о том, чтобы выйти за мистера Кейсобона… Селии было и стыдно за сестру, и смешно. Но если у Додо и правда есть такое опрометчивое намерение, ее следует от него отвлечь — тут, как не раз случалось прежде, можно использовать ее впечатлительность. День был дождливый, и они не пошли гулять, а поднялись к себе в гостиную,

где Доротея, заметила про себя Селия, вместо того чтобы, по обыкновению, прилежно взяться за какую-нибудь работу, просто облокотилась на открытую книгу и устремила взгляд в окно на старый кедр, серебряный от дождевых капель. Сама она принялась доканчивать игрушку, которую хотела подарить детям младшего священника, и не спешила начинать разговор, чтобы не испортить дела торопливостью.

Собственно говоря, Доротея как раз думала о том, что следовало бы сообщить Селии о важнейшей перемене, происшедшей в статусе мистера Кейсобона с тех пор, как он в последний раз был у них, — ведь нечестно скрывать от нее то, что волей-неволей должно изменить ее отношение к нему. И все-таки заговорить с ней об этом почему-то было трудно. Доротея рассердилась на себя за такую робость — она не привыкла смущаться своих поступков или оправдывать их, даже мысль об этом была для нее невыносима, однако теперь она искала опоры в самых высоких идеалах, чтобы противостоять разъедающему воздействию проникнутой плотским духом житейской философии своей сестры. От этих размышлений ее, кладя конец колебаниям, отвлек тоненький и чуть гортанный голосок Селии, которая обычным

тоном спросила словно между прочим:

— А кроме мистера Кейсобона кто-нибудь еще к обеду приедет?

— Насколько я знаю, нет.

— Хорошо бы, если бы кто-нибудь все-таки приехал! Тогда мне будет не так слышно, как он ест суп.

— Как же он его ест?

— Ну, право, Додо! Он же возит ложкой по дну тарелки, ты не слышала? И он всегда моргает, прежде чем заговорить. Не знаю, моргал Локк или нет, но если моргал, то можно только пожалеть тех, кто сидел напротив него за столом.

— Селия, — сказала Доротея серьезно и взволнованно, — прошу тебя больше ничего подобного не говорить!

— Но почему? Это же правда! — возразила Селия, у которой были свои причины не отступать, хотя она уже немножко оробела.

— Есть много вещей, которые замечают лишь люди с самым пошлым складом ума.

— Значит, и пошлый склад ума бывает полезен. По-моему, можно только пожалеть, что у матушки мистера Кейсобона склад ума не был пошлее, тогда бы она лучше следила за его манерами. — Метнув этот легкий дротик, Селия совсем

перепугалась и готова была спасаться бегством.

Доротея не могла более сдерживать лавину своих чувств.

— Мне следует сообщить тебе, Селия, что я помолвлена с мистером Кейсобоном.

Пожалуй, Селия еще никогда так не бледнела. Если бы не ее редкая аккуратность, бумажный человечек, которого она вырезывала, конечно, остался бы без ноги. Она тут же положила его на стол и несколько секунд сидела в полной неподвижности. Когда она заговорила, в ее голосе слышались слезы:

— Ах, Додо, надеюсь, ты будешь счастлива.

В этот миг привязанность к сестре взяла верх над всеми остальными чувствами и принесла с собой опасения за ее будущее.

Но Доротея все еще была обижена и взволнована.

— Так, значит, это уже решено? — испуганным шепотом спросила Селия. — И дядя знает?

— Я приняла предложение мистера Кейсобона. Письмо с предложением мне привез дядя, и он знал его содержание.

— Прости, Додо, если я сказала что-нибудь для тебя неприятное, — пробормотала Селия, подавляя рыдание. Ничего подобного она от себя не

ждала, но во всем этом было что-то похоронное, и мистер Кейсобон представлялся ей священником, который творит заупокойную молитву, а потому в нем неприлично замечать смешные недостатки.

— Ну, не огорчайся, Киска. Просто нам нравятся разные люди. Я сама повинна в том же: у меня есть привычка говорить резко о людях, которые мне не симпатичны.

Несмотря на это великодушное прощение, Доротея все еще была не в силах успокоиться — возможно, удивление Селии уязвило ее даже больше придирок к манерам мистера Кейсобона. Разумеется, вся округа отнесется к такому браку весьма холодно. Тут ведь никто не разделяет ее взглядов на жизнь и на высшие цели жизни.

Тем не менее еще до наступления вечера к ней вернулось ощущение счастья. Они с мистером Кейсобоном более часа беседовали наедине, и она говорила с ним гораздо свободнее, чем раньше, даже рассказала, какую радость доставляет ей мысль о том, как она посвятит ему всю себя, как постарается научиться помогать ему во всех его великих трудах. Мистера Кейсобона восхитила (да и какой мужчина на его месте остался бы равнодушным?) эта детская безыскусственная

пылкость, породившая в нем незнакомое дотоле приятное чувство, но его не удивило (да и какой влюбленный на его месте удивился бы?), что он мог вызвать такое обожание.

— Милейшая барышня, мисс Брук… Доротея! — сказал он, сжимая в ладонях ее руку. — Я не мог и вообразить, что мне уготовано такое счастье. Признаюсь, я не питал надежды, что мне суждено будет встретить ту, чей дух и особа будут настолько богато одарены, чтобы сделать мысль о браке привлекательной. Вы обладаете всеми… нет, более чем всеми теми качествами, которые я всегда считал атрибутами женского совершенства. Великая прелесть вашего пола заключается в пылкой беззаветной привязанности, предназначенной для того, чтобы придавать законченность и завершенность нашему собственному существованию. До сих пор я знал мало радостей, исключая лишь некоторые самого строгого свойства, и удовольствия мои были лишь теми, какие даруют ученые занятия человеку, ведущему одинокую жизнь. Мне не хотелось собирать цветы, которые лишь увядали бы в моей руке, но теперь я буду рвать их ревностно, дабы приколоть к вашей груди.

Если иметь в виду чувства говорившего, ника-

кая речь не могла прозвучать правдивее этой; завершавшая ее холодная риторическая фигура была столь же искренней, как лай собаки или карканье влюбленного грача. Не слишком ли поспешным было бы заключение, что за сонетами к Делии[32], звонкими, как стеклянные переборы мандолины, не крылось страсти?

Вера Доротеи восполняла то, чего не заключали в себе слова мистера Кейсобона, — какой верующий заметит зловещее упущение или иное дурное предзнаменование? Почитаемый текст, принадлежит ли он пророку или поэту, включает все, что мы способны в него вложить, и даже попадающиеся в нем погрешности против грамматики вызывают благоговение.

— Я очень невежественна. Мое невежество будет вас постоянно удивлять, — сказала Доротея. — У меня столько мыслей, которые могут быть совсем неверными, и теперь мне можно будет рассказать о них вам и узнать ваше мнение. Однако, — добавила она, тут же вообразив, как мог мистер Кейсобон отнестись к подобному намерению, — я не буду докучать вам слишком

---

**[32] Примечания: 32**

Имеется в виду сборник сонетов английского поэта Сэмюела Дэниела (1562 — 1619), в которых он под именем Делии воспевал поэтессу Мэри Герберт, графиню Пемброк.

уж часто. Только когда у вас будет желание выслушать меня. Ведь ваши занятия, несомненно, должны вас очень утомлять. А мне будет достаточно, если вы приобщите меня к ним.

— Разве я могу теперь не разделить с вами все мои занятия? — сказал мистер Кейсобон и поцеловал ее в лоб, убежденный, что небеса ниспослали ему драгоценный подарок, во всех отношениях отвечающий его своеобразным нуждам. Он бессознательно поддавался очарованию натуры, не способной ни на какие тайные расчеты, шло ли дело о немедленных результатах или об отдаленных планах. Именно это свойство делало Доротею такой детски наивной или же — по мнению некоторых судей — такой глупой вопреки ее хваленому уму, как, например, в данном случае, когда она, фигурально выражаясь, бросилась к ногам мистера Кейсобона и целовала шнурки его старомодных башмаков, словно он был протестантским папой. Она нисколько не понуждала мистера Кейсобона задаться вопросом, достоин ли он ее, и лишь тревожно спрашивала себя, как ей стать достойной мистера Кейсобона. На следующее утро, когда он собрался уезжать, уже было решено, что свадьба состоится через полтора месяца. Зачем откладывать?

Никаких особых приготовлений не требовалось. Мистер Кейсобон жил не в домике при церкви, а в прекрасном, окруженном обширным парком помещичьем доме, который не нуждался ни в малейших переделках. В церковном же доме жил младший священник, которому мистер Кейсобон передал все свои обязанности, за исключением утренних проповедей.

## Глава VI

Ее язык подобен стеблям трав,
Что режут руку, гладящую их,
Духовным лезвием она на диво
Разрежет и горчичное зерно,
Сокровища нетленные сбирая.

Когда карета мистера Кейсобона выезжала из ворот парка, перед ними, пропуская ее, остановился легкий фаэтон. Он был запряжен низкорослой лошадкой, и правила дама, а слуга сидел сзади. По всей вероятности, мистер Кейсобон не узнал эту даму, потому что его рассеянный взор был устремлен прямо вперед, но она оказалась более зоркой и успела не только кивнуть, но и произнести «как поживаете?». Хотя шляпка дамы была не нова, а индийская шаль так даже и очень стара, привратница, если судить по почтительному книксену, которым она встретила маленький фаэтон, несомненно, считала ее весьма важной особой.

— А, миссис Фитчет! Ну, и хорошо ли теперь несутся ваши куры? — осведомилась краснолицая темноглазая дама, чеканя слова.

— Несутся-то неплохо, сударыня, да только взяли привычку расклевывать яички, чуть их снесут. Никакого сладу с ними нет.

— Ах они каннибалки! Лучше избавьтесь от них по дешевой цене, да поскорее. Сколько возьмете за пару? Никто же не будет по дорогой цене есть кур со скверными привычками!

— Да что же, сударыня, меньше полкроны никак нельзя.

— Полкроны в такие-то времена! Ну, послушайте, для воскресного бульона его преподобия. У нас ни одной лишней курицы не осталось, он всех уже скушал. А ведь вы получаете в уплату еще и проповедь, миссис Фитчет, не забывайте этого. Возьмите за них парочку турманов — редкие красавцы. Приходите поглядеть. У вас ведь турманов нет.

— Пожалуй что Фитчет сходит, как кончит работу. Очень он любит новые породы. Ну, и чтоб вам угодить.

— Мне угодить? Да такой выгодной мены у него еще не было! Пара церковных голубей за двух подлых испанских куриц, которые расклевывают собственные яйца! Только вы с Фитчетом поменьше хвастайте тем, сколько выгадали!

Фаэтон покатил по аллее к дому, а миссис Фит-

чет смотрела ему вслед, смеялась и, покачивая головой, бормотала:

— Как бы не так, как бы не так!

Из чего можно заключить, что жизнь в их округе казалась бы ей куда скучнее, если бы супруга приходского священника была не так бойка на язык и не так прижимиста. Пожалуй, фермерам и батракам в приходах Фрешит и Типтон не всегда нашлось бы о чем поговорить, если бы у каждого не было в запасе рассказа о том, что на днях сказала или что вытворила миссис Кэдуолледер — дама чрезвычайно высокородная, которая вела свое происхождение от неведомых графов, смутных, как тени героев, громогласно заявляла о своей бедности, всегда умела заплатить цену пониже и сыпала шутками самым дружеским образом, но так, чтобы вы помнили, кто она такая. Благодаря ей знатность и религия словно бы сходили со своих пьедесталов и смягчалась даже горечь неотсроченной десятины. Более чинная особа, исполненная кисловатого высокомерия, не помогла бы им лучше понять Тридцать Девять Статей[33] и куда меньше способствовала бы поддержанию добрососедского духа.

---

**[33] Примечания: 33**

*Тридцать Девять Статей* — официальное изложение доктрины англиканской церкви.

Мистер Брук, взиравший на достоинства миссис Кэдуолледер под несколько иным углом, слегка поежился, когда в дверях библиотеки, где он пребывал в одиночестве, появился лакей и доложил о ее приезде.

— Так значит, вас почтил визитом наш лоуикский Цицерон! — сказала она, усаживаясь поудобнее и сбрасывая шаль, которая скрадывала худобу ее стройной фигуры. — Наверное, вы с ним затеваете какой-нибудь скверный политический комплот, иначе к чему бы вам так часто видеться с этим весельчаком! Я на вас донесу: не забывайте, что вы оба находитесь под подозрением с тех пор, как приняли сторону Пиля в этой истории с биллем о католиках. Я всем разблаговещу, что вы выставите свою кандидатуру в парламент от Мидлмарча как виг, когда старик Пинкертон удалится на покой, и что Кейсобон намерен помогать вам исподтишка — будет подкупать избирателей трактатами, раздавая их в кабаках. Ну, признайтесь же!

— Да ничего подобного, — возразил с улыбкой мистер Брук, протирая очки и против воли слегка краснея. — Мы с Кейсобоном почти не говорим о политике. Филантропическое ее применение ему не слишком интересно — уголовные наказания,

ну и так далее. Его заботят только дела церкви. А я их не касаюсь, знаете ли.

— Ну как же, как же, друг мой! Я достаточно наслышана о ваших проделках. Кто, например, продал свою землю в Мидлмарче папистам? Мне совершенно ясно, что вы ее для того и покупали. Вы настоящий Гай Фокс[34]. Вот увидите, гореть вам пятого ноября в виде чучела. Гемфри не пожелал приехать, чтобы ссориться с вами из-за этого. Так что пришлось ехать мне.

— Очень хорошо. Я был готов к гонениям за то, что не хочу подвергать гонениям других, не подвергать гонениям других, знаете ли!

— Вот-вот! Вы эту фразу приготовили для предвыборных речей. Послушайте, мой милый мистер Брук, не позволяйте им заманить вас на трибуну. В таких случаях человек обязательно попадает в дурацкое положение. Разве что вы на стороне правого дела — вот тогда все ваши меканья и беканья святы. А так вы себя погубите, предупреждаю вас. Устроите паштет из мнений всех партий, ну, и камни на вас посыплются со

---

**[34] Примечания: 34**

*Гай Фокс* (1570 — 1606) — участник католического так называемого порохового заговора: ему было поручено взорвать парламент. Но 5 ноября 1605 г. он был арестован, а затем казнен. По традиции 5 ноября в Англии ежегодно сжигали на кострах его чучело.

всех сторон.

— Но я этого и жду, знаете ли, — сказал мистер Брук, чтобы не показать, как мало удовольствия доставило ему подобное пророчество. — Я этого и жду, как независимый. А что до вигов, то человека, который принадлежит к мыслителям, ни одной партии подцепить не удастся. Он может пойти с ними одной дорогой до определенного предела — до определенного предела, знаете ли. Но этого вы, дамы, не понимаете.

— Но где он — этот ваш определенный предел? Я была бы рада услышать, о каком определенном пределе может идти речь, если человек не принадлежит ни к одной партии, ведет бродячую жизнь и не сообщает друзьям своего адреса. «Никому не известно, где находится Брук, на Брука рассчитывать нельзя», — вот что говорят о вас люди, если хотите знать. Ну, станьте же респектабельным. Неужто вам будет приятно ходить на парламентские заседания, если все станут на вас коситься, а у вас и совесть нечиста, и в карманах пусто?

— Не в моем обыкновении спорить с дамами о политике, — сказал мистер Брук, снисходительно улыбаясь и с тревогой сознавая, что кое-какие необдуманные шаги действительно сделали его

весьма уязвимым, чем миссис Кэдуолледер не замедлила воспользоваться. — Ваш пол, знаете ли, не склонен мыслить философски — variam et mutabile semper[35] и так далее. Вы ведь незнакомы с Вергилием. А я, бывало… — Тут мистер Брук вовремя вспомнил, что не имел чести лично знать римского поэта. — С беднягой Стоддартом, хотел я сказать. Это его слова. Дамы всегда восстают против независимых взглядов — человека интересует одна лишь истина, ну и так далее. А такой узости, как здесь, нигде больше в нашем графстве не найти — я не намерен кидать камень, знаете ли, но кому-то следовало занять независимую позицию, а если не я займу ее, так кто же?

— Кто? Да любой безродный выскочка без положения в обществе! А солидные люди пусть упиваются независимым вздором у себя дома вместо того, чтобы провозглашать его на всех перекрестках. И уж вы-то, вы-то! Выдаете племянницу, можно сказать, дочь за одного из наших лучших людей, и на тебе! Сэра Джеймса это очень заденет. Каково ему будет, если вы выкинете штуку и пойдете в глашатаи к вигам?

Мистер Брук снова поежился, на этот раз мыс-

---

**[35] Примечания: 35**
Всегда непостоянен и изменчив (*лат.*).

ленно — едва помолвка Доротеи была решена, как он сразу же представил себе язвительные выпады миссис Кэдуолледер. Посторонний наблюдатель мог бы, конечно, сказать: «Ну, так поссорьтесь с миссис Кэдуолледер!», но что ждет сельского помещика, если он начнет ссориться со старинными своими соседями? Кто ощутит тонкий букет фамилии «Брук», если подавать ее небрежно, точно вино в откупоренной бутылке? Бесспорно, человек может быть космополитом лишь до определенного предела.

— Надеюсь, мы с Четтемом всегда будем добрыми друзьями, но, как ни жаль, мужем моей племянницы он стать не может, — сказал мистер Брук и почувствовал немалое облегчение, увидев в окно Селию, которая возвращалась домой.

— Но почему? — удивленно осведомилась миссис Кэдуолледер. — И двух недель не прошло, как мы с вами все это обсудили.

— Моя племянница выбрала другого… выбрала, знаете ли. Я тут ни при чем. Сам я предпочел бы Четтема и должен сказать, что Четтем — такой жених, какого избрала бы всякая девушка. Однако в подобных вещах никакой логики не существует. Ваш пол капризен, знаете ли.

— Но позвольте! За кого же вы ее в таком случае

выдаете? — Миссис Кэдуолледер торопливо перебирала в уме возможных избранников Доротеи.

Появление Селии, разрумянившейся после прогулки по саду, освободило мистера Брука от необходимости отвечать. Пока она здоровалась с гостьей, он поспешил встать и тотчас удалился, объяснив:

— Да, кстати, мне надо отдать кое-какие распоряжения Райту о лошадях.

— Дитя мое, что я такое слышу? О помолвке вашей сестрицы? — сказала миссис Кэдуолледер.

— Она помолвлена с мистером Кейсобоном. — Селия, как обычно, предпочла наиболее прямой и простой ответ, радуясь возможности поговорить с супругой священника с глазу на глаз.

— Но это ужасно! И давно?

— Я узнала о их помолвке только вчера. Свадьба будет через полтора месяца.

— Что же, душенька, могу только поздравить вас с таким зятем.

— Мне так жалко Доротею!

— Жалко? Но ведь, полагаю, она сама все устроила.

— Да. Она говорит, что у мистера Кейсобона великая душа.

— Не спорю, не спорю.

— Ах, миссис Кэдуолледер, по-моему, выходить замуж за человека с великой душой вовсе не так уж хорошо.

— В таком случае, милочка, вам известно, чего вы должны остерегаться. Вам известно, как они выглядят, и когда следующий явится просить вашей руки, не вздумайте соглашаться.

— Разумеется, нет.

— Еще бы! Одного такого в семье вполне достаточно. Так значит, вашей сестрице сэр Джеймс Четтем совсем не нравился? Ну, а о нем как о зяте что бы вы сказали?

— Я была бы очень рада. По-моему, он был бы прекрасным мужем. Но только… — добавила Селия, порозовев (порой она, казалось, розовела так же естественно, как дышала), — только не думаю, чтобы он подошел Доротее.

— Недостаточно возвышен?

— Додо очень взыскательна. Она всегда обо всем размышляет и придает значение всякому слову! Сэру Джеймсу никак не удавалось ей угодить.

— А, так значит, она подавала ему надежду! Это не делает ей чести.

— Ах, пожалуйста, не сердитесь на Додо! Она многого просто не видит. Все ее мысли были заня-

ты домами для арендаторов, а с сэром Джеймсом она иногда держалась почти невежливо, но он так добр — он ничего не замечал.

— Ну что же, — сказала миссис Кэдуоллледер, накидывая на плечи шаль и вставая с некоторой торопливостью. — Придется поехать прямо к сэру Джеймсу и сообщить ему, что произошло. Он уже, наверное, привез свою матушку, и так или иначе я должна побывать у них. Ваш дядя, конечно, не сочтет нужным его известить. Очень грустно, душенька! Вступая в брак, молодые люди обязаны думать о своих семьях. Я подала дурной пример — вышла замуж за неимущего священника и бесповоротно уронила себя в глазах всех Де Браси: пускаюсь на хитрости, чтобы не остаться без угля, и молюсь о ниспослании оливкового масла для салата. Впрочем, у Кейсобона, надо отдать ему справедливость, деньги есть. Что же до благородства происхождения, то, полагаю, в фамильном гербе у него три черных краба и вздыбившийся схоласт. Да, пока я здесь, милочка, мне надо поговорить с вашей миссис Картер о пирогах. Я хотела бы прислать к ней мою новую кухарку поучиться. Беднякам вроде нас, с четырьмя детьми на руках, хорошая повариха не по средствам. Я думаю, миссис Картер не откажет

мне в такой услуге. А кухарка сэра Джеймса — настоящий жандарм в юбке.

Не прошло и часа, как миссис Кэдуолледер, уговорив миссис Картер, уже подъезжала к воротам Фрешит-Холла, который находился совсем недалеко от ее собственного дома: супруг ее избрал для жительства Фрешит, а Типтон поручил заботам младшего священника.

Сэр Джеймс Четтем действительно вернулся из короткой поездки, которая заняла два дня, и как раз переодевался, чтобы отправиться в Типтон-Грейндж. Миссис Кэдуолледер увидела у крыльца его лошадь, а затем появился и он сам с хлыстом в руке. Леди Четтем еще не возвратилась, но миссис Кэдуолледер, разумеется, не могла ни о чем говорить в присутствии грума и конюха, а потому изъявила желание посмотреть новые растения в оранжерее. Войдя туда, она сказала:

— У меня для вас очень печальная новость. Надеюсь, вы все-таки не так влюблены, как делаете вид.

Негодовать на миссис Кэдуолледер за ее манеру выражаться не имело ни малейшего смысла. И тем не менее сэр Джеймс слегка переменился в лице. Его охватила непонятная тревога.

— Я убеждена, что Брук все-таки намерен вый-

ти в открытую. Я прямо обвинила его в том, что он задумал представлять Мидлмарч в парламенте как либерал, а он скроил глупую мину и даже не стал возражать — лепетал что-то о позиции независимого и прочий вздор.

— И это все? — спросил сэр Джеймс с большим облегчением.

— То есть как? — возразила миссис Кэдуолледер резким тоном. — Неужели вы хотите, чтобы он вступил на политическое поприще таким манером? Как политический клоун?

— Думаю, его можно будет переубедить. Вряд ли ему придутся по вкусу такие большие расходы.

— Это я ему и сказала. Тут он доступен гласу разума — на унцию скупости всегда приходится два-три грана здравого смысла. Скупость — отличная фамильная добродетель, вполне безопасная основа для безумия. А в роду Бруков что-то да не так, иначе бы мы не увидели того, что видим.

— Как, Брук выставляет свою кандидатуру от Мидлмарча?

— Хуже того. И вот тут у меня немного совесть нечиста. Я ведь всегда говорила вам, что мисс Брук для вас прекрасная партия. Я знала, что в голове у нее немало всякого вздора — сущий ералаш из методизма и всяких фантазий. Прав-

да, у девушек такие вещи обычно проходят без следа. Но должна признаться, что на сей раз я ошиблась.

— О чем вы говорите, миссис Кэдуолледер? — спросил сэр Джеймс, но его опасения, что мисс Брук бежала, чтобы вступить в общину моравских братьев или еще в какую-нибудь нелепую секту, неизвестную в хорошем обществе, несколько уравновешивались убеждением, что миссис Кэдуолледер всегда все представляет в наиболее черном свете. — Что случилось с мисс Брук? Скажите же.

— Ну хорошо. Она помолвлена.

Миссис Кэдуолледер помолчала, глядя на сэра Джеймса, который криво улыбнулся, пытаясь скрыть, как ранила его эта новость, и щелкнул хлыстом по сапогам. Затем она добавила:

— Помолвлена с Кейсобоном.

Сэр Джеймс уронил хлыст, нагнулся и поднял его. Пожалуй, его лицо еще никогда не выражало такого отвращения, как в тот миг, когда он вновь посмотрел на миссис Кэдуолледер и повторил:

— С Кейсобоном?

— Вот именно. Теперь вы понимаете, почему я заглянула к вам.

— Боже мой! Это мерзко! С такой высохшей

мумией! (Мнение, которое можно извинить молодому, пышущему здоровьем, но побежденному сопернику.)

— Она говорит, что у него великая душа. Великий бычий пузырь, чтобы греметь сухим горохом, — сказала миссис Кэдуолледер.

— Но зачем такому старому холостяку жениться? — спросил сэр Джеймс. — Он ведь одной ногой уже стоит в могиле.

— Ну, так вытащит ее обратно.

— Брук не должен этого допускать. Он должен потребовать, чтобы заключение брака было отложено до ее совершеннолетия. А к тому времени она передумает. Для чего же и существуют опекуны?

— Как будто Брук способен на решительный поступок!

— А если бы с ним поговорил Кэдуолледер?

— Вот уж нет! Гемфри всех считает очаровательными людьми. Мне ни разу не удалось добиться от него хоть одного дурного слова о Кейсобоне. Он даже епископа хвалит, хотя я и говорила ему, как противоестественны такие похвалы в устах приходского священника, — но что прикажете делать с мужем, который настолько пренебрегает приличиями? И чтобы никто этого не заметил,

мне приходится поносить всех и каждого. Ну, не вешайте носа! Лучше радуйтесь, что судьба избавила вас от мисс Брук — ведь она требовала бы, чтобы вы и днем созерцали звезды. Говоря между нами, крошка Селия стоит двух таких, да и в других отношениях она теперь прекрасная невеста. В конце-то концов, выйти за Кейсобона — это все равно что постричься в монастырь.

— Не в этом дело… я думаю, друзьям мисс Брук следует вмешаться ради нее самой.

— Гемфри еще ничего не известно. Но когда я ему скажу, знаете, что он ответит? «А почему бы и нет? Кейсобон прекрасный человек… и молод… вполне еще молод». Эти добряки не умеют отличить уксус от вина, пока не глотнут его и у них не заболит живот. Однако будь я мужчиной, то уж конечно выбрала бы Селию. И после того как Доротея уедет… По правде говоря, ухаживали вы за одной, а покорили другую. Я ведь вижу, что она восхищается вами, как только может девушка восхищаться мужчиной. И раз вам это говорю я, то преувеличения тут нет ни малейшего. До свидания!

Сэр Джеймс усадил миссис Кэдуолледер в фаэтон и вскочил на своего коня. Он не собирался отказываться от прогулки из-за неприятно-

го известия, которое привезла ему его добрая знакомая, — только он поскакал быстрее, чем намеревался, и по дороге, не ведущей в Типтон-Грейндж.

Но с какой, собственно, стати миссис Кэдуолледер так хлопотала о браке мисс Брук и почему, едва расстроилась свадьба, которой она, по ее убеждению, немало способствовала, ей тотчас понадобилось заняться устройством новой? Скрывался ли за этим хитроумный план, какие-нибудь тайные интриги, которые можно было бы выследить в подзорную трубу? Отнюдь. Как бы ни шарила подзорная труба по приходам Типтон и Фрешит, осматривая все места, где побывала миссис Кэдуолледер в своем фаэтоне, ей не удалось бы обнаружить ни единого подозрительного визита, ни единого случая, когда взгляд почтенной дамы утратил бы невозмутимость и пронзительность, а лицо — обычный яркий цвет. Короче говоря, существуй этот удобный экипаж в дни Семи Мудрецов[36], кто-нибудь из них не преминул бы изречь, что, следуя по пятам женщины, разъезжающей в фаэтоне, вы не сможете узнать

**[36] Примечания: 36**

То есть в античную эпоху; это название объединяет семерых знаменитых древнегреческих философов, но разные авторы называют разные имена.

о ней ничего. Ведь даже нацелив микроскоп на каплю воды, мы способны делать поверхностные и неверные выводы. Например, слабые линзы покажут вам существо, жадно разевающее рот, и существа поменьше, торопливо и словно бы по своей воле устремляющиеся в этот рот, — эдакие живые монеты, которые сами прыгают в сумку сборщика налогов. Но более сильное стекло обнаружит крохотные волоски, закручивающие водовороты, которые затягивают будущие жертвы, так что пожирателю остается лишь спокойно ждать, когда они попадут в такой водоворот. И если бы, фигурально выражаясь, можно было поместить миссис Кэдуолледер в роли свахи под сильное стекло, тут же обнаружилась бы неприметная игра крохотных причин, которые создавали, так сказать, водовороты мыслей и слов, доставлявшие ей необходимую пищу.

Жизнь миссис Кэдуолледер была по-сельски проста, лишена каких-либо зловещих, опасных или хоть сколько-нибудь важных тайн, и великие события, происходившие в большом мире, никак ее не касались. А потому, когда высокородные родственники упоминали о них в своих письмах, все эти события были ей особенно интересны. Очаровательные младшие сыновья знатных фа-

милий, губившие себя женитьбой на любовнице, древний родовой идиотизм юного лорда Тапира, бешеные подагрические выходки старого лорда Мегатерия, скандальное скрещение двух генеалогий, принесшее титул новой ветви — вот сюжеты, которые она запоминала в мельчайших подробностях и затем расцвечивала блестками злого остроумия, получая от этого огромное удовольствие, ибо верила в голубую кровь и ее отсутствие столь же свято, как в разделение животных на благородную дичь и прочих тварей. Она никого не осуждала за бедность: Де Браси, вынужденный обедать тарелкой жидкого супа, представился бы ей высоким примером благородной покорности судьбе, достойным всяческих восхвалений, а его аристократические пороки, боюсь, нисколько ее не ужаснули бы. Но к вульгарным богачам она питала прямо-таки священную ненависть: ведь они, возможно, нажились на высоких розничных ценах, а миссис Кэдуолледер не терпела высоких розничных цен на все то, что не приносило доходов в дом священника, — сотворяя мир, господь не отвел в нем места подобным людям, а их плебейский выговор терзал ее слух. Город, где такие чудовища водились в изобилии, представлял собой подобие площадного фарса,

недостойного внимания вселенной, зиждущейся на голубой крови и изысканных манерах. Пусть дама, склонная осудить миссис Кэдуолледер, исследует терпимость собственных взглядов и убедится, что они отдают должное любой из тех жизней, которые имеют честь сосуществовать с ее собственной.

Так как же миссис Кэдуолледер с ее натурой, активной, словно фосфор, придающей всему вокруг удобную для нее форму, могла не принять живейшего участия в обеих мисс Брук и их замужестве! Тем более что она уже много лет имела обыкновение с самой дружеской откровенностью читать мистеру Бруку нотации и в доверительных беседах третировать его как заведомое ничтожество. Едва барышни поселились в Типтоне, она предназначила Доротею в невесты сэру Джеймсу и, поженись они, считала бы их брак своей заслугой. Теперь же, когда ее уверенность оказалась обманутой, она терзалась досадой, что, конечно, не может не вызвать сочувствия к ней у всякого, кто умеет мыслить. Она была главным дипломатом Типтона и Фрешита, и любое событие, случавшееся там помимо нее, означало оскорбительный непорядок. А уж нелепые выходки вроде той, которую позволила себе мисс Брук, она вообще

извинять не собиралась: теперь ей стало ясно, что в своем мнении об этой девице она заразилась глупой снисходительностью своего мужа, — все ее методистские штучки, все ее претензии на благочестие, более глубокое, чем у приходского священника и младшего священника, вместе взятых, были порождены куда более тяжким недугом души, чем она полагала прежде.

— Ну что же, — сказала миссис Кэдуолледер сначала себе, а потом мужу, — я ничего больше для нее делать не буду. Выйди она замуж за сэра Джеймса, еще можно было бы надеяться, что она станет рассудительной и благоразумной женщиной. Он бы ни в чем ей не перечил, а женщине, которой не перечат, нет нужды упорно вытворять нелепость за нелепостью. Теперь же я желаю ей побольше радости от ее власяницы.

Обманувшись в Доротее, миссис Кэдуолледер, разумеется, должна была подыскать сэру Джеймсу новую невесту. Остановив свой выбор на младшей мисс Брук, она сделала на редкость искусный первый ход, когда намекнула баронету, что он завоевал сердце Селии. Сэр Джеймс не принадлежал к воздыхателям, томящимся

по недостижимому яблочку Сапфо[37], которое смеется на самой верхней ветке, по чарам, что

*Пленяют, как мак на обрыве,*
*Куда смельчаку не добраться.*

Он не писал сонетов, и ему не могло понравиться, что его избранница избрала другого. Мысль о том, что Доротея предпочла ему мистера Кейсобона, уже ранила его любовь и ослабила ее. Хотя сэр Джеймс был охотником, на женщин он смотрел не так, как на куропаток или лисиц, и не видел в своей будущей жене добычу, ценную главным образом потому, что ее приходится долго преследовать. И он не настолько восхищался обычаями древних племен, чтобы верить, будто для пущей прочности брачных уз жену следует добывать с помощью томагавка. Напротив, благодушное тщеславие, которое крепче привязывает нас к тем, кому мы дороги, и отталкивает от тех, кому мы безразличны, а также мягкость натуры уже пробудили в его сердце благодарную нежность к Селии при одной только мысли, что он пользуется ее расположением.

И вот сэр Джеймс после получасовой скачки по

**[37] Примечания: 37**

В стихотворении древнегреческой поэтессы Сапфо (VI в. до н.э.) юная невеста сравнивается с яблочком, висящим высоко на ветке.

дороге, ведущей в сторону от Типтона, придержал лошадь, а потом свернул на дорогу, которая вела прямо туда. Совершенно разные чувства укрепили в нем решимость все-таки побывать в Типтон-Грейндже, словно ничего не случилось. Он невольно радовался, что не успел сделать предложения и не получил отказа; простая дружеская вежливость требовала, чтобы он еще раз поговорил с Доротеей о домах для арендаторов, а теперь, предупрежденный миссис Кэдуолледер, он сумеет принести ей свои поздравления без особой неловкости. Конечно, визит этот был для него нелегок и он страдал от того, что вынужден был отказаться от Доротеи, но упрямое желание не откладывать их встречи и уверенность, что он сумеет не выдать своих чувств, служили своего рода громоотводом и противоядием. И наконец, где-то в глубине его души пряталась безотчетная мысль о том, что он увидит Селию и сможет быть с ней внимательнее, чем прежде.

Мы, смертные мужчины и женщины, глотаем много разочарований между завтраком и ужином, прячем слезы, бледнеем, но в ответ на расспросы говорим: «Так, пустяки!» Нам помогает гордость, и гордость — прекрасное чувство, если оно побуждает нас прятать собственную боль, а

не причинять боль другим.

## Глава VII

*Для любви, как для дынь, есть своя пора.*

***Итальянская пословица***

Как и следовало ожидать, мистер Кейсобон на протяжении этих недель проводил в Типтон-Грейндже много времени, что, конечно, стало некоторой помехой в продвижении его великого труда — «Ключа ко всем мифологиям», а потому он, естественно, с тем большим нетерпением ожидал конца своего счастливого жениховства. Впрочем, помеха эта явилась плодом его доброй воли, поскольку он пришел к выводу, что ему настала пора украсить жизнь прелестью женского общества, расцветить сумрак усталости, неизбежной спутницы ученого усердия, игрой женской фантазии, и теперь, в зрелом расцвете лет, позаботиться о том, чтобы согреть годы заката женской нежностью. А потому он решил самозабвенно броситься в поток восхищенных чувств и, быть может, с удивлением обнаружил, сколь мелок этот ручеек. Как известно, в засушливых областях крещение погружением

дозволяется совершать лишь символически — вот и мистеру Кейсобону оказалось некуда нырять: благословенной влаги хватало разве только на окропление, и он заключил, что поэты весьма преувеличивают силу мужской страсти. Тем не менее он с удовольствием замечал в мисс Брук пылкую, но покорную привязанность и полагал, что самые приятные его представления о супружеской жизни обмануты не будут. Раза два у него мелькало подозрение, не объясняется ли умеренность его восторгов каким-то недостатком Доротеи, но отыскать в ней этот недостаток он не мог, как не мог и представить себе женщину, которая могла бы более ему понравиться. Следовательно, причиной была склонность поэтов и всех им подобных к преувеличениям.

— Что, если я уже теперь начну готовиться к тому, чтобы быть вам полезной? — как-то утром спросила его Доротея вскоре после их помолвки. — Не могла бы я научиться читать вам вслух по-гречески и по-латыни, как дочери Мильтона, которые читали отцу древних авторов, хотя ничего не понимали?

— Боюсь, это будет для вас утомительно, — ответил мистер Кейсобон с улыбкой. — Ведь если мне не изменяет память, упомянутые вами деви-

цы считали эти упражнения в неизвестных им языках достаточной причиной, чтобы ополчиться против своего родителя.

— Да, конечно. Но, во-первых, они, наверное, были очень легкомысленны, иначе с гордостью служили бы такому отцу, а во-вторых, кто им мешал потихоньку заниматься этими языками, чтобы научиться понимать, о чем они читают? Тогда это было бы интересно. Надеюсь, вы не находите меня легкомысленной или глупенькой?

— Я нахожу вас такой, какой только может быть очаровательная юная девица во всем, чего от нее можно требовать. Но бесспорно, если бы вы научились копировать греческие буквы, это могло бы оказаться очень полезным, и начать, пожалуй, лучше с чтения.

Доротея не замедлила с радостью воспользоваться столь великодушным разрешением. Попросить мистера Кейсобона учить ее древним языкам она не решилась, больше всего на свете опасаясь, что он увидит в ней не будущую помощницу, но обузу. Однако овладеть латынью и греческим она хотела не только из преданности своему нареченному супругу. Эти области мужского знания представлялись ей возвышенностью, с которой легче увидеть истину. Ведь она, сознавая

свое невежество, постоянно сомневалась в своих выводах. Как могла она лелеять убеждение, что однокомнатные лачуги не споспешествуют славе божьей, если люди, знакомые с классиками, как будто сочетали равнодушие к жилищам бедняков с ревностным служением этой славе? Может быть, для того, чтобы добраться до сути вещей, чтобы здраво судить об общественном долге христиан, следует узнать еще и древнееврейский? Ну, хотя бы алфавит и несколько корней? Она еще не достигла той степени самоотречения, когда ее удовлетворило бы положение жены мудрого мужа, — бедная девочка, она сама хотела быть мудрой. Да, мисс Брук, несмотря на весь свой ум, была очень наивна. Селия, чьи умственные способности никто не считал выдающимися, с гораздо большей проницательностью умела распознавать пустоту претензий многих и многих их знакомых. По-видимому, есть только одно средство не принимать что-то близко к сердцу — вообще поменьше чувствовать.

Как бы то ни было, мистер Кейсобон снизошел до того, чтобы часами слушать и учить, точно школьный наставник, или, вернее, точно влюбленный, который умиляется невежеству своей возлюбленной в самых простых вещах. Какой

ученый не согласился бы при подобных обстоятельствах обучать даже азбуке! Но Доротею огорчала и обескураживала ее непонятливость — к тому же ответы, которые она услышала, робко задав несколько вопросов о значении греческих ударений, пробудили в ней неприятное подозрение, что, возможно, и правда существуют тайны, недоступные женскому разумению.

Мистер Брук, во всяком случае, твердо придерживался такого мнения и не преминул выразить его с обычной убедительностью, как-то заглянув в библиотеку во время урока чтения.

— Но послушайте, Кейсобон, подобные глубокие предметы — классики, математика, ну и так далее — для женщин слишком трудны… слишком трудны, знаете ли.

— Доротея просто учит буквы, — уклончиво заметил мистер Кейсобон. — Она с большой предупредительностью предложила поберечь мои глаза.

— Ах так! Не понимая смысла… знаете ли, это еще не так плохо. Но женскому уму свойственна легкость… порхание. Музыка, изящные искусства, ну и так далее — вот чем пристало заниматься женщинам, хотя и в определенных пределах, в определенных пределах, знаете ли.

Женщина должна быть способна сесть и сыграть вам или спеть какую-нибудь старинную английскую песню. Вот что мне нравится, хотя я слышал почти все… бывал в венской опере: Глюк, Моцарт, ну и так далее. Но в музыке я консерватор — не то что в идеях, знаете ли. Тут я стою за хорошие старинные песни.

— Мистер Кейсобон не любит фортепьяно, и я этому рада, — сказала Доротея. Такое пренебрежение к домашним концертам и женским занятиям живописью ей можно извинить, если вспомнить, что в ту темную эпоху все ограничивалось пустым бренчаньем и мазней. Она улыбнулась и бросила на жениха благодарный взгляд: если бы он то и дело просил ее сыграть «Последнюю розу лета», ей понадобилось бы все ее терпение и кротость. — Он говорит, что в Лоуике есть только старинный клавесин, и тот весь завален книгами.

— А, вот тут ты уступаешь Селии, милочка. Селия прекрасно играет, и притом очень охотно. Впрочем, если Кейсобон не любит музыки, то ничего. Однако, Кейсобон, печально, что вы лишаете себя такого безобидного развлечения: тетиву, знаете ли, не следует все время держать натянутой, нет, не следует.

— Не вижу особого развлечения в том, чтобы мои уши терзали размеренным шумом, — ответил мистер Кейсобон. — Мотив, построенный на постоянных повторениях, оказывает нелепое воздействие на мои мысли — они словно начинают танцевать менуэт ему в такт, а это можно терпеть разве что в отрочестве. О более же серьезных и величественных формах музыки, достойной сопровождать великие торжества или даже, согласно представлениям древних, образовывать дух и ум, я ничего не говорю, поскольку сейчас мы ведем речь не о них.

— Да, конечно. Такая музыка доставила бы мне удовольствие, — сказала Доротея. — Когда мы возвращались на родину из Лозанны, дядя в Фрейбурге сводил нас послушать большой орган, и я плакала.

— Это вредно для здоровья, милочка, — заметил мистер Брук. — Теперь, Кейсобон, заботиться о ней будете вы, и вам следует научить мою племянницу относиться ко всему спокойнее, э, Доротея?

Он заключил свою речь улыбкой, не желая обидеть племянницу, но про себя порадовался, что она так рано выходит за столь положительного человека, как Кейсобон, раз уж о Четтеме она и

слышать не хотела.

«Но как это поразительно, — сказал он себе, неторопливо выходя из библиотеки, — право же, поразительно, что он ей понравился. Впрочем, партия отличная. И с моей стороны было бы неуместно чинить препятствия, что бы там ни говорила миссис Кэдуолледер. Кейсобон почти наверное будет епископом. Его трактат о католическом вопросе был весьма и весьма ко времени. Уж настоятелем его обязаны сделать. По меньшей мере».

Здесь я почитаю нужным воспользоваться своим правом на философские отступления и замечу, что мистер Брук в эту минуту совсем не предчувствовал, сколь радикальную речь о епископских доходах ему доведется произнести в не столь уж отдаленном будущем. Какой изящный историограф упустил бы подобный случай указать, что его герои не предвидели не только путей, которыми шла после них история мира, но даже собственных поступков! Так, например, Генрих Наваррский в дни своего протестантского младенчества ничуть не подозревал, что станет католическим монархом, а Альфред Великий, измеряя сгоревшими свечами ночи своих неустанных трудов, не мог бы даже вообразить

нынешних досужих господ, которые измеряют свои пустые дни с помощью карманных часов. Эта залежь истины, как бы усердно ее ни разрабатывали, не истощится и тогда, когда в Англии будет добыт последний кусок угля.

Что касается мистера Брука, я добавлю еще кое-что, пожалуй, не столь подкрепленное историческими прецедентами: если б он и предвидел свою речь, большой разницы это не составило бы. Можно с удовольствием думать о солидных доходах епископа — мужа твоей племянницы, и можно произнести либеральную речь. Одно другому не мешает, и только узкие умы не способны взглянуть на вопрос с разных точек зрения.

## Глава VIII

*На помощь к ней! Я брат ее теперь,*
*А вы – отец. Девице благородной*
*Защитник всяк, в ком благородна*
*кровь!*

Сэр Джеймс Четтем несколько удивился тому, с каким удовольствием он продолжает посещать Типтон-Грейндж, едва трудная минута, когда он впервые увидел Доротею уже невестой другого, осталась позади. Разумеется, в тот миг, когда он приблизился к ней, в него словно ударила молния, и до конца их разговора его не покидало ощущение неловкости. Однако нельзя не признать, что при всей его душевной щедрости он чувствовал бы себя куда хуже, будь его соперник действительно блестящей партией. Затмить его мистер Кейсобон не мог, и ему было просто больно, что Доротея попала во власть печального самообмана, а потому обиду смягчало сострадание.

Тем не менее, хотя сэр Джеймс и сказал себе, что полностью отказывается от нее, раз уж она с упрямством Дездемоны отвергла брак, во

всех отношениях желательный и согласный с природой, сама эта помолвка продолжала его тревожить. Когда он впервые увидел Доротею рядом с мистером Кейсобоном как его невесту, он понял, что отнесся к случившемуся недостаточно серьезно. Брук очень виноват: он обязан был помешать. Кто бы мог поговорить с ним? Возможно, даже сейчас еще не поздно что-нибудь сделать — хотя бы отложить свадьбу. И на обратном пути сэр Джеймс решил побывать у мистера Кэдуолледера. К счастью, священник оказался дома, и гостя проводили в кабинет, увешанный всяческой рыболовной снастью. Однако самого мистера Кэдуолледера там не было — он возился со спиннингом в чуланчике рядом, куда и пригласил баронета. Их связывали дружеские отношения, не частые между землевладельцами и приходскими священниками их графства — обстоятельство, объяснение которому можно было найти в свойственном им обоим добродушии.

Мистер Кэдуолледер был крупным человеком с пухлыми губами и приятной улыбкой. Простота и даже грубоватость его внешности сочетались с тем невозмутимым спокойствием и благожелательностью, которые навевают умиротворение, точно зеленые холмы под лучами солнца, и спо-

собны подействовать даже на раздраженный эгоизм, принудив его устыдиться себя.

— Как поживаете? — сказал он и повернул запачканную руку, показывая, почему он ее не протягивает для пожатия. — Жаль, что в прошлый раз вы меня не застали. Что-нибудь случилось? У вас встревоженный вид.

Между бровями сэра Джеймса залегла морщинка, которая стала еще глубже, когда он ответил:

— Все из-за Брука. Мне кажется, кому-нибудь следовало бы с ним поговорить.

— Но о чем? О его намерении выставить свою кандидатуру в парламент? — сказал мистер Кэдуолледер, вновь начиная крутить катушку спиннинга. — По-моему, он серьезно об этом не думает. Но если и так, что тут дурного? Противники вигов должны радоваться, что виги не нашли кандидата получше. Таким тараном, как голова нашего приятеля Брука, им никогда не сокрушить конституцию.

— А, я не об этом, — пробормотал сэр Джеймс, который, положив шляпу, бросился в кресло, обхватил колено и принялся угрюмо рассматривать подошву своего сапога. — Я говорю про этот брак. О том, что он отдает юную цветущую девушку за Кейсобона.

— Ну, а чем плох Кейсобон? Почему ему и не жениться на ней, если он ей нравится?

— Она так молода, что неспособна разобраться в своих чувствах. Ее опекун обязан вмешаться. Он не должен допускать такой скоропалительности в подобном деле. Не понимаю, Кэдуолледер, как человек вроде вас — отец, имеющий дочерей, — может смотреть на эту помолвку равнодушно. И с вашим-то добрым сердцем! Подумайте, подумайте серьезно!

— Но я не шучу, я совершенно серьезен, — ответил священник с тихим смешком. — Вы совсем как Элинор. Она потребовала, чтобы я отправился к Бруку и наставил его на путь истинный. Мне пришлось напомнить ей, что, по мнению ее друзей, она сама, выйдя замуж за меня, совершила большую ошибку.

— Но вы поглядите на Кейсобона, — негодующе возразил сэр Джеймс. — Ему никак не меньше пятидесяти, и, по-моему, он всегда был замухрышкой. Поглядите на его ноги!

— Ох уж эти мне молодые красавцы! Вы считаете, что все всегда должно быть по-вашему. Вы не понимаете женщин. Они ведь восхищаются вами куда меньше, чем вы сами. Элинор имела обыкновение объяснять своим сестрам, будто

дала мне согласие из-за моей безобразности — качества столь редкого и оригинального, что она забыла о благоразумии.

— Так то вы! В вас женщины, конечно, должны были влюбляться. Да и не в красоте дело. Мне Кейсобон не нравится. — К этой фразе сэр Джеймс прибегал, только когда действительно был о ком-нибудь самого дурного мнения.

— Но почему? Что вы о нем знаете плохого? — спросил мистер Кэдуолледер, откладывая спиннинг и засовывая большие пальцы в прорези жилета с видом живейшего внимания.

Сэр Джеймс помолчал. Ему всегда было трудно облекать в слова то, на чем он основывал свои мнения: ему казалось странным, что люди не понимают этих причин без объяснений, настолько вескими и разумными они ему представлялись. Наконец он сказал:

— Как по-вашему, Кэдуолледер, есть у него сердце?

— Есть, конечно. Пусть не любвеобильное, но послушное долгу, в этом вы можете не сомневаться. Он с большой добротой заботится о своих бедных родственниках: нескольким женщинам назначил пенсию и тратит порядочные суммы на образование троюродного племянника. Кейсобон

следует тут своим понятиям о справедливости. Сестра его матери очень неудачно вышла замуж — кажется, за поляка. Был какой-то скандал, и близкие от нее отреклись. Не случись этого, денег у Кейсобона было бы вдвое меньше. Насколько мне известно, он сам разыскал этих своих родственников, чтобы позаботиться о них, если будет нужно. Далеко не всякий человек издаст такой чистый звон, если вы проверите, из какого металла он отлит. Вы бы, Четтем, с честью прошли такую проверку, но сказать это можно далеко не о всех.

— Ну, не знаю, — ответил сэр Джеймс, краснея. — Я в этом не так уж уверен. — После некоторого молчания он прибавил: — Кейсобон поступил правильно. И все-таки человек может вести себя очень порядочно и быть сухим, как пергамент. Он вряд ли способен составить счастье женщины. И по-моему, если девушка так молода, как мисс Брук, ее друзья обязаны вмешаться, чтобы удержать ее от необдуманного решения. Вы смеетесь, потому что думаете, будто я сам тут как-то заинтересован. Но слово чести, это не так. Я чувствовал бы то же, будь я братом мисс Брук или ее дядей.

— Ну, и что бы вы сделали?

— Я бы настоял, чтобы свадьбу отложили до ее совершеннолетия. И можете быть уверены: в этом случае она так никогда и не состоялась бы. Мне бы хотелось, чтобы вы согласились со мной, мне бы хотелось, чтобы вы потолковали с Бруком.

Еще не договорив, сэр Джеймс поднялся на ноги, потому что к ним из кабинета вошла миссис Кэдуолледер. Она вела за руку младшую дочь — пятилетнюю девочку, которая тотчас подбежала к папеньке и вскарабкалась к нему на колени.

— Я слышала, о чем вы говорили, — объявила супруга священника, — но Гемфри вам не переубедить. До тех пор пока рыба исправно клюет, мир населяют только премилые люди. На земле Кейсобона есть ручей, в котором водится форель, а сам он никогда не удит — где вы найдете человека лучше?

— А ведь и правда, — заметил священник с обычным своим тихим смешком. — Быть владельцем такого ручья — прекрасное качество.

— Но серьезно, миссис Кэдуолледер, — сказал сэр Джеймс, чье раздражение еще не угасло, — разве вы не согласны, что вмешательство вашего мужа могло бы принести пользу?

— Ах, я же сразу сказала вам, что он ответит! —

произнесла миссис Кэдуолледер, поднимая брови. — Я сделала что могла и умываю руки: меня этот брак не касается.

— Во-первых, — сказал священник, слегка нахмурясь, — нелепо полагать, будто я могу повлиять на Брука и убедить его поступить по-моему. Брук — отличный человек, но ему не хватает твердости. Какую форму он ни примет, сохранить ее ему не удастся.

— Может быть, прежде чем утратить ее, он успеет помешать этому браку, — возразил сэр Джеймс.

— Но, мой дорогой Четтем, почему я должен пускать в ход мое влияние в ущерб Кейсобону, если вовсе не убежден, что принесу таким образом пользу мисс Брук? Я ничего дурного о Кейсобоне не знаю. Мне неинтересны его Ксисутры[38] и всякие фи-фо-фам, но ведь и ему неинтересны мои спиннинги. Конечно, позиция, которую он выбрал в католическом вопросе, была несколько неожиданной, но он был всегда со мной весьма учтив, и я не вижу, почему я должен портить ему

---

**[38] Примечания: 38**

*Ксисутр* — мифический вавилонский царь, история которого сходна с историей библейского Ноя. По велению богов он соорудил большой корабль, чтобы спасти на нем от всемирного потопа по паре всех живых существ. *Фи-фо-фам!* — восклицание великана-людоеда в английской народной сказке «Джек победитель великанов».

жизнь. Вполне возможно, что мисс Брук будет с ним счастливее, чем с любым другим мужем, — откуда мне знать?

— Гемфри! Ну что ты говоришь? Сам же предпочтешь остаться совсем без обеда, лишь бы не обедать с глазу на глаз с Кейсобоном. Вам друг другу слова сказать не о чем.

— Но где тут связь с тем, что мисс Брук выходит за него? Она же делает это не для моего удовольствия.

— У него в теле нет ни капли настоящей крови, — заявил сэр Джеймс.

— Разумеется. Кто-то рассматривал ее под лупой и увидел только двоеточия и скобки, — подхватила миссис Кэдуолледер.

— Почему он не издаст свою книгу вместо того, чтобы жениться? — буркнул сэр Джеймс с омерзением, на которое, как он считал, ему давал право здравый смысл человека, далекого от схоластических выкладок.

— А, он бредит примечаниями и ни о чем другом думать неспособен. Говорят, в нежном детстве он составил конспект по «Мальчику-с-пальчик» и с тех пор одни только конспекты и составляет. Фу! А Гемфри утверждает, что женщина может быть счастлива с подобным человеком.

— Но мисс Брук он нравится, — возразил ее муж. — О вкусах же юных барышень я судить не берусь.

— А если бы она была вашей дочерью? — сказал сэр Джеймс.

— Это совсем другое дело. Но она мне не дочь, и я не чувствую себя вправе вмешиваться. Кейсобон ничуть не хуже большинства из нас. Он ученый священник и ничем не уронил своего сана. Один радикальствующий оратор в Мидлмарче назвал Кейсобона ученым попом, молотящим мякину, а Фрика — попом-каменщиком, а меня — попом-рыболовом. И честное слово, не вижу, что тут лучше, а что хуже. — Мистер Кэдуолледер испустил свой тихий смешок. Он всегда был готов первым посмеяться любым выпадам по своему адресу. Его совесть была такой же спокойной и невозмутимой, как он сам, и предпочитала избегать лишних усилий.

Таким образом, вмешательство мистера Кэдуолледера браку мисс Брук не угрожало, и сэр Джеймс с грустью подумал, что ей предоставлена полная свобода совершать необдуманные поступки. Тем не менее он не отказался от своего намерения строить дома для арендаторов по плану Доротеи, что свидетельствует о благородстве

его натуры. Без сомнения, это был лучший способ сохранить свое достоинство, однако гордость только помогает нам быть великодушными, а не делает нас такими — как тщеславие не делает нас остроумными. Доротея, зная теперь, в какое положение она поставила сэра Джеймса, вполне оценила его стремление добросовестно исполнить свой долг по отношению к арендаторам, хотя он возложил на себя этот долг лишь из желания угодить возлюбленной, и радость, которую она испытывала, не могло заслонить даже ее новое счастье. Пожалуй, дома арендаторов сэра Джеймса Четтема занимали ее во всей той мере, в какой она могла интересоваться чем-то помимо мистера Кейсобона, а вернее, помимо той симфонии счастливых грез, доверчивого восхищения и страстной преданности, которая благодаря ему звучала в ее душе. И потому теперь во время каждого своего визита добросердечный баронет, который уже начинал чуть-чуть ухаживать за Селией, вновь и вновь обнаруживал, что разговоры с Доротеей становятся ему все приятнее. Теперь она держалась с ним свободно, никогда не раздражалась, и он мало-помалу открывал для себя прелесть дружеской симпатии между мужчиной и женщиной, которым не надо ни

прятать страсть, ни признаваться в ней.

## Глава IX

***Первый джентльмен***
*Оракул древний называл страну*
*«Законожаждущей»; там все стремились*
*К порядку, к совершенному правленью.*
*Где ныне нам искать подобный край?*
***Второй джентльмен***
*Там, где и прежде, – в сердце человека.*

Мистер Брук остался весьма доволен тем, как мистер Кейсобон собирался обеспечить свою жену, все предсвадебные дела разрешались без малейших затруднений, и время помолвки летело незаметно. Невесте полагалось осмотреть свой будущий дом и распорядиться, что и как там следует переделать. Женщина распоряжается перед браком, чтобы ей было приятнее учиться покорности потом. И бесспорно, те ошибки, которые мы, смертные обоего пола, делаем, когда получаем свободу поступать по-своему, заставляют задаваться вопросом, почему нам так нравится эта свобода.

И вот в пасмурное, но сухое ноябрьское утро

Доротея вместе с дядей и Селией поехала в Лоуик. Мистер Кейсобон жил в старинном господском доме. Из сада была видна небольшая церковь, а напротив нее — дом приходского священника. В молодости мистер Кейсобон обитал в нем, пока не вступил во владение поместьем после смерти брата. К саду примыкал небольшой парк с великолепными древними дубами, откуда к юго-западному фасаду вела липовая аллея. Ограда, разделявшая сад и парк, была скрыта в низине, и из окон гостиной открывался широкий вид на зеленую лужайку и липы, а дальше зеленели поля и луга, которые в лучах закатного солнца порой словно преображались в золотое озеро. Но на юг и на восток вид был довольно угрюмым даже в самое ясное утро: никакого простора, запущенные клумбы и почти у самых окон разросшиеся купы деревьев — главным образом мрачные тисы. Сам дом, построенный в старинном английском стиле, отнюдь не был безобразен, но позеленевшие от времени каменные стены и маленькие окна навевали меланхолическое чувство — чтобы такой дом стал уютным, ему требуются веселые детские голоса, множество цветов, распахнутые окна и солнечный простор за ними. Однако на исходе осени, когда в застывшей тишине последние

желтые листья медленно кружили под пасмурным небом на темном фоне вечнозеленых тисов, дом был исполнен безысходной осенней грусти, и вышедший встретить их мистер Кейсобон не являл всему этому ни малейшего контраста.

«Ах! — сказала себе Селия. — Уж, конечно, Фрешит-Холл выглядит приятнее». Она представила себе белоснежные стены, портик с колоннами, террасу, всю в цветах, а среди них — улыбающийся сэр Джеймс, точно расколдованный принц, только что покинувший обличье розового куста, и с носовым платком, возникшим из самых душистых лепестков, — сэр Джеймс, который всегда так мило разговаривает об обычных интересных вещах, а не рассуждает на ученые темы! Селии в полной мере были свойственны те прелестные женственные вкусы, какие нередко чаруют серьезных пожилых джентльменов в их избранницах. К счастью, склонности мистера Кейсобона были иными — ведь согласия Селии он не получил бы никогда.

Доротее, наоборот, и дом, и сад, и парк чрезвычайно понравились. Темные книжные полки в длинной библиотеке, выцветшие от времени ковры и портьеры, гравированные панорамы городов и старинные карты на стенах коридоров,

старинные вазы под ними не только не произвели на нее угнетающего впечатления, но показались ей гораздо приятнее статуй и картин, которые ее дядя навез в Типтон-Грейндж из своих путешествий (возможно, они составляли часть идей, которых он тогда набрался). Сугубо классические обнаженные тела и ренессансно-корреджевские сладкие улыбки приводили бедняжку Доротею в полную растерянность, настолько они противоречили ее пуританским понятиям и были чужды всему строю ее жизни — ведь никто не научил ее тому, как надо воспринимать искусство. Владельцы же Лоуика, по-видимому, никогда не путешествовали по чужим странам, а мистер Кейсобон, изучая прошлое, обходился без таких пособий.

Осматривая дом, Доротея не испытывала ничего, кроме радости. Здесь, где ей предстояло нести обязанности супруги, все казалось ей священным, и когда мистер Кейсобон осведомлялся, не кажется ли ей желательным изменить то или это, она отвечала ему взглядом, полным глубочайшего доверия. Его внимание к ее вкусам пробуждало в ней живейшую благодарность, но менять она ничего не хотела. Его формальную учтивость и столь же формальную нежность

она находила безупречными, восполняя пустоты уверенностью, что его совершенство открылось ей еще не во всей своей полноте — так, словно речь шла о божественном провидении и кое-какие диссонансы могли объясняться лишь ее собственной глухотой к высшей гармонии. А в неделях, предшествующих свадьбе, всегда находятся пустоты, на которые любовь и доверие закрывают глаза, не допуская и тени сомнения в счастливом будущем.

— Теперь, дорогая Доротея, окажите мне любезность указать, какую комнату вы хотели бы сделать своим будуаром, — сказал мистер Кейсобон, показывая, что его взгляды на женскую натуру достаточно широки и он признает за женщинами право иметь будуар.

— Вы очень добры, — ответила Доротея, — но, право, я предпочту оставить это на ваше усмотрение. Мне все нравится так, как оно есть — как вы привыкли, разве что вы сами найдете нужным что-нибудь изменить. Ничего другого мне не надо.

— Ах, Додо! — сказала Селия. — А комната наверху с окном-фонарем?

Мистер Кейсобон проводил их туда. Окно-фонарь выходило на липовую аллею, мебель была

обтянута поблекшим голубым шелком, а на стене висели миниатюры дам и джентльменов с пудреными волосами. Гобелен, служивший портьерой, тоже изображал зелено-голубой мир с выцветшим оленем на переднем плане. Стулья и столики на тонких изогнутых ножках казались не слишком устойчивыми. В такой комнате легко было вообразить призрачную даму в платье с тугой шнуровкой, вернувшуюся за своим рукоделием. Меблировку завершал небольшой книжный шкаф с переплетенными в телячью кожу томиками изящной словесности.

— Да-да, — объявил мистер Брук, — это будет очень милая комната, если сменить занавески, обновить мебель, добавить кушеток, ну и так далее. Сейчас она несколько гола.

— Что вы, дядюшка! — поспешно возразила Доротея. — Здесь не надо ничего менять. В мире найдется столько куда более важных вещей, которые необходимо изменить, а тут мне все и так нравится. И вам ведь тоже? — спросила она, повернувшись к мистеру Кейсобону. — Наверное, это была комната вашей матушки в дни ее молодости?

— Да, — ответил он, медленно наклоняя голову.

— Вот ваша матушка, — сказала Доротея, рассматривая миниатюры. — Она совсем такая, как на маленьком портрете, который вы мне подарили, только здесь ее черты, по-моему, более выразительны. А это чья миниатюра?

— Ее старшей сестры. Как и вы с сестрицей, они были единственными детьми своих родителей, чьи портреты висят выше.

— А сестра очень хорошенькая, — заметила Селия, подразумевая, что о матушке мистера Кейсобона этого сказать нельзя. Ей было как-то удивительно, что он происходит из семьи, члены которой все в свое время были молоды, а дамы так даже носили ожерелья.

— Какое своеобразное лицо, — сказала Доротея, вглядываясь в миниатюру. — Глаза глубокие и серые, но посажены слишком близко, нос изящный, но неправильный и словно бы с горбинкой, а напудренные локоны зачесаны назад! Да, это очень своеобразное лицо, но, по-моему, хорошеньким назвать его нельзя. И между ней и вашей матушкой нет никакого семейного сходства.

— Да. И судьбы их тоже были непохожи.

— Вы мне про нее не рассказывали, — заметила Доротея.

— Моя тетка вышла замуж крайне неудачно. Я

ее никогда не видел.

Доротея была заинтригована, но сочла неделикатным задавать вопросы, раз мистер Кейсобон сам больше ничего не сказал, и отвернулась к окну полюбоваться видом. Солнце пронизало серую пелену туч, и липы отбрасывали тени поперек аллеи.

— Не пройтись ли нам по саду? — спросила Доротея.

— И тебе следует посмотреть церковь, знаешь ли, — сказал мистер Брук. — Забавная церквушка. Как и все селение. Оно словно заключено в ореховой скорлупе. Кстати, оно тебе понравится, Доротея: аккуратные домики с садиками, мальвы, ну и так далее.

— Да, если можно, я хотела бы все это посмотреть, — сказала Доротея, повернувшись к мистеру Кейсобону, — на ее вопросы о жилищах лоуикских арендаторов он до сих пор ограничивался коротким заверением, что они не так уж плохи.

Вскоре все общество уже шло по песчаной дорожке, которая вилась в траве между купами деревьев и, как объяснил мистер Кейсобон, вела прямо к церкви. Но калитка в церковной ограде оказалась заперта, и мистер Кейсобон направился к дому священника за ключом. Заметив, что

он удалился, Селия, которая немного отстала, подошла к остальным и сказала с обычной четкостью, которая всегда словно бы опровергала подозрение в скрытой злокозненности ее слов:

— А знаешь, Доротея, я видела в одной из аллей какого-то молодого человека.

— И что же тут удивительного, Селия?

— Садовник, знаешь ли. Почему бы ему и не быть молодым? — сказал мистер Брук. — Я уже советовал Кейсобону переменить садовника.

— Нет, это был не садовник, а джентльмен с альбомом для набросков, — возразила Селия. — У него вьющиеся каштановые волосы. Я видела только его спину, но он совсем еще молодой.

— Возможно, сын младшего священника, — ответил мистер Брук. — А, вон и Кейсобон с Такером. Он хочет представить тебе Такера. Ты ведь с Такером не знакома.

Мистер Такер, несмотря на пожилой возраст, все еще принадлежал к «низшему духовенству», а как известно, младшие священники обычно не могут пожаловаться на отсутствие сыновей. Однако после того, как он был им представлен, ни он сам, ни мистер Кейсобон ни слова про его семью не сказали, и мелькнувший в аллее юноша был забыт всеми, кроме Селии. Она же пришла

к выводу, что каштановые кудри и стройная фигура не могут принадлежать отпрыску или даже просто родственнику мистера Такера, такого старого и скучного, каким, по мнению Селии, только и мог быть духовный помощник мистера Кейсобона — без сомнения, превосходный человек, который попадет в рай (Селия чуждалась вольнодумства), но уж очень у него кривой рот. И Селия с огорчением и без всякого вольнодумства решила про себя, что у младшего священника, конечно, нет милых детишек, с которыми она могла бы играть, когда ей придется гостить в Лоуике в качестве подружки невесты.

Мистер Такер, как, возможно, и предвидел мистер Кейсобон, оказался бесценным спутником: он отвечал на все вопросы Доротеи о жителях деревни и о других прихожанах. В Лоуике, заверял он ее, все живут припеваючи: каждый арендатор (дома рассчитаны на две семьи, зато и плата невысока) обязательно держит хотя бы одну свинью, а огороды на задах все отлично ухожены. Мальчики одеты в превосходный плис, из девочек выходят примерные служанки, или же они остаются дома и занимаются плетением из соломы. Никаких ткацких станков, никакого сектантского духа, и хотя здешние люди думают

не столько о духовном, сколько о том, чтобы скопить побольше деньжат, никаких особых пороков за ними не водится.

Пестрых же кур было столько, что мистер Брук не удержался и заметил:

— Как вижу, ваши фермеры оставляют для женщин ячмень на полях. У здешних бедняков, наверное, варится в горшках та самая курица, о какой добрый французский король[39] мечтал для всех своих подданных. Французы едят много кур, но тощих, знаете ли.

— Удивительно жалкая мечта, — негодующе сказала Доротея. — Неужели короли — такие чудовища, что даже подобное пожелание уже возводится в добродетель?

— Если бы он желал, чтобы они ели тощих кур, — заметила Селия, — это было бы не так хорошо. Но, может быть, он желал, чтобы они ели жирных кур.

— Да, но слово это выпало из контекста или же существовало лишь subauditum, то есть в мыслях короля, но вслух произнесено не было, — с улыбкой сказал мистер Кейсобон, наклоняясь к

**[39] Примечания: 39**

Имеется в виду Генрих IV (1553 — 1610), который, согласно легенде, обещал, что у каждого его подданного по воскресеньям в супе будет курица.

Селии, которая тотчас замедлила шаг, не желая смотреть, как мистер Кейсобон моргает у самого ее лица.

Когда они возвращались из деревни, Доротея все время молчала. Она со стыдом ловила себя на некотором разочаровании при мысли, что в Лоуике все хорошо и ей нечего будет там делать. И несколько минут она размышляла о том, что, пожалуй, предпочла бы жить в приходе, не столь свободном от горестей и бед, — тогда ей нашлось бы чем заняться. Но тут же она вновь вернулась к будущему, ожидающему ее на самом деле: она еще больше посвятит себя трудам мистера Кейсобона, и эта преданность подскажет ей новые обязанности. Почерпнутые в общении с ним высокие знания, наверное, откроют перед ней другие способы приложения своих сил.

Тут мистер Такер откланялся; его ждали какие-то церковные дела, и он вынужден был отказаться от приглашения позавтракать с ними.

Когда они вошли в сад через маленькую калитку, мистер Кейсобон сказал:

— У вас немного грустный вид, Доротея. Надеюсь, вы довольны тем, что видели?

— То, что я чувствую, наверное, глупо и дурно, — ответила Доротея с обычной своей от-

кровенностью. — Я хотела бы, чтобы эти люди больше нуждались в помощи. Мне известно так мало способов сделать мою жизнь полезной. И конечно, мои представления о пользе далеко не достаточны. Мне следует искать новые пути, как приносить пользу людям.

— Несомненно, — сказал мистер Кейсобон. — С каждым положением сопряжены соответствующие обязанности. И надеюсь, ваше новое положение как хозяйки Лоуика будет содействовать исполнению моих чаяний.

— Я всем сердцем хочу этого, — ответила Доротея с глубокой серьезностью. — Мне вовсе не грустно, не надо так думать.

— Очень хорошо. Но если вы не устали, то мы пойдем к дому другой дорогой.

Доротея ничуть не устала, и они направились к великолепному тису, главной родовой достопримечательности с этой стороны дома. Подойдя ближе, они заметили на темном фоне вечнозеленых ветвей скамью, на которой сидел какой-то человек, рисуя старое дерево. Мистер Брук, шедший с Селией впереди, оглянулся и спросил:

— Кто этот юноша, Кейсобон?

Они уже почти поравнялись со скамьей, когда мистер Кейсобон наконец ответил:

— Один мой молодой родственник, довольно дальний. Собственно говоря, — добавил он, глядя на Доротею, — это внук той дамы, на чей портрет вы обратили внимание, моей тетки Джулии.

При их приближении молодой человек положил альбом и встал. Пышные светло-каштановые кудри и юный вид не оставляли сомнения, что именно его увидела в аллее Селия.

— Доротея, позвольте представить вам моего родственника, мистера Ладислава. Уилл, это мисс Брук.

Они остановились совсем рядом с ним, и, когда он снял шляпу, Доротея увидела серые, близко посаженные глаза, изящный неправильный нос с легкой горбинкой, зачесанные назад волосы… но рот и подбородок были более твердыми и упрямыми, чем на миниатюре его бабушки. Юный Ладислав не счел нужным улыбнуться в знак того, что очень рад познакомиться со своей будущей двоюродной тетушкой и ее родней, его лицо казалось скорее хмурым и недовольным.

— Я вижу, вы художник, — объявил мистер Брук, взяв в руки альбом и перелистывая его с обычной своей бесцеремонностью.

— Нет. Я просто делаю иногда кое-какие наброски, — ответил юный Ладислав, краснея, но,

возможно, от досады, а не от скромности.

— Ну-ну! Вот же очень милая штучка. Я и сам немножко занимался этим в свое время, знаете ли. Поглядите-ка! Очень-очень мило и сделано, как мы говаривали, с brio[40]. — И мистер Брук показал племянницам большой акварельный набросок пруда в каменистых, поросших деревьями берегах.

— Я ничего в этом не понимаю, — сказала Доротея не холодно, но просто, объясняя, почему она не может высказать своего суждения. — Вы ведь знаете, дядя, я не вижу никакой красоты в картинах, которые, по вашим словам, столь знамениты. Их язык мне непонятен. Вероятно, между картинами и природой есть какая-то связь, которую я по своему невежеству не ощущаю, — так греческие слова вам говорят о многом, а для меня не имеют смысла. — И Доротея поглядела на мистера Кейсобона, который наклонил к ней голову, а мистер Брук воскликнул с небрежной улыбкой:

— Подумать только, как люди не похожи друг на друга! Однако тебя плохо учили, знаешь ли, ведь это как раз для молодых девиц — акварели,

---

**[40] Примечания: 40**
Блеском (*ит.*).

изящные искусства, ну и так далее. Но ты предпочитаешь чертить планы, ты не понимаешь morbidezza[41] и прочего в том же духе. Надеюсь, вы побываете у меня, и я покажу вам плоды моих собственных усилий на этом поприще, — продолжал он, повернувшись к юному Ладиславу, который не сразу понял, что слова эти были обращены к нему, так пристально он рассматривал Доротею. Ладислав заочно считал ее очень неприятной девушкой, раз уж она согласилась выйти за Кейсобона, а признавшись, что живопись ей непонятна, она только укрепила бы его в этом мнении, даже если бы он ей поверил. Но он принял ее признание за скрытую критику и не сомневался, что она нашла его набросок никуда не годным. Слишком уж умно она извинилась — посмеялась и над своим дядей, и над ним! Но какой у нее голос! Точно голос души, некогда обитавшей в Эоловой арфе. Как непоследовательна природа! Девушка, готовая стать женой Кейсобона, должна быть совершенно бесчувственной. Отвернувшись от нее, он поклоном поблагодарил мистера Брука за приглашение.

— Мы вместе полистаем мои итальянские гра-

---

**[41] Примечания: 41**

Здесь: изображение обнаженной натуры (*ит.*).

вюры, — продолжал этот добродушный знаток живописи. — У меня много подобных вещей накопилось за все эти годы. В нашей глуши обрастаешь мхом, знаете ли. Нет, нет, не вы, Кейсобон, вы продолжаете свои ученые занятия, но вот мои лучшие идеи понемногу увядают… не находят себе применения. Вам, молодежи, надо беречься лени. Я был слишком ленив, знаете ли, а ведь я мог бы оказаться где угодно.

— Своевременное предупреждение, — заметил мистер Кейсобон, — но пройдемте в дом, пока барышни не устали стоять.

Когда они отошли, юный Ладислав вновь опустился на скамью и продолжал рисовать тис, но на его губах заиграла улыбка, она становилась все шире, и наконец он откинул голову и расхохотался. Отчасти его позабавило впечатление, которое произвел его набросок, отчасти — его сумрачный родственник в роли влюбленного, а отчасти — определение места, которого мистер Брук мог бы достичь, если бы ему не помешала лень. Улыбка и смех делали лицо мистера Уилла Ладислава очень симпатичным — в них была только искренняя веселость без тени злой насмешки или самодовольства.

— Кейсобон, а чем намерен заняться ваш пле-

мянник? — спросил мистер Брук, когда они направились к дому.

— Мой родственник, хотели вы сказать, — не племянник.

— Да-да, родственник. Какую карьеру он избрал, знаете ли?

— К большому сожалению, ответить на этот вопрос затруднительно. Он учился в Регби, но не пожелал поступить в английский университет, куда я с радостью его поместил бы, и, как ни странно, предпочел пройти курс в Гейдельберге. А теперь он хочет снова уехать за границу без какой-либо определенной цели — ради, как он выражается, культуры, что должно послужить подготовкой он сам не знает к чему. Выбрать себе профессию он не желает.

— Полагаю, у него нет никаких средств, кроме того, что он получает от вас?

— Я всегда давал ему и его близким основания считать, что в пределах благоразумия обеспечу суммы, необходимые, чтобы он мог получить хорошее образование и начать деятельность на избранном им поприще, а потому не имею права обмануть надежды, которые пробудил, — сказал мистер Кейсобон, сводя свое поведение к одному лишь исполнению долга, и Доротея восхитилась

его деликатностью.

— Его влекут путешествия, быть может, он станет новым Брюсом или Мунго Парком[42], — заметил мистер Брук. — Одно время я и сам об этом подумывал.

— Нет, его нисколько не прельщают исследования, расширение наших познаний о земле. Это была бы цель, которую я мог бы одобрить, хотя и не поздравил бы его с выбором карьеры, столь часто завершающейся преждевременной и насильственной смертью. Но он вовсе не хочет получить более верные сведения о поверхности земли и говорил даже, что предпочтет не знать, где находятся истоки Нила, и что следует оставить некоторые области неисследованными как заповедник для поэтического воображения.

— А в этом что-то есть, знаете ли, — заметил мистер Брук, чей ум, бесспорно, отличался беспристрастностью.

— Боюсь, это лишь признак общей его распущенности и неумения доводить что-либо до конца — свойств, не сулящих ему ничего хорошего ни на гражданском, ни на духовном поприще, даже если бы он подчинился обычным правилам

---

**[42] Примечания: 42**

*Брюс Джеймс* (1730 — 1794), Мунго Парк (1771 — 1806) — английские путешественники, исследователи Африки.

и выбрал себе профессию.

— Быть может, препятствием служит его совесть, сознание собственной непригодности, — сказала Доротея, которой хотелось найти благожелательное объяснение. — Юриспруденция и медицина — очень серьезные профессии, связанные с большой ответственностью, не так ли? Ведь от врача зависит здоровье человека, а от юриста — его судьба.

— Да, конечно. Однако, боюсь, мой юный родственник Уилл Ладислав отвергает эти призвания главным образом из-за нелюбви к упорным и добросовестным занятиям, к приобретению знаний, которые служат необходимой основой для дальнейшего, но не прельщают неусидчивые натуры, ищущие сиюминутных удовольствий. Я растолковывал ему то, что Аристотель изложил со столь восхитительной краткостью: труд, составляющий цель, должен быть ценой множества усилий предварен приобретением подсобных знаний и уменья, достичь же этого можно только терпением. Я указывал на собственные мои рукописи, которые вобрали в себя изыскания многих лет и служат лишь преддверием к труду, далеко еще не завершенному. Но тщетно. В ответ на доводы такого рода он называет себя «Пегасом», а всякую

работу, требующую прилежания, — «уздой».

Селия засмеялась. Ее удивило, что мистер Кейсобон способен говорить смешные вещи.

— Но из него, знаете ли, может выйти новый Байрон, или Чаттертон, или Черчилль, или кто-нибудь в этом же роде, — сказал мистер Брук. — А вы отправите его в Италию или куда там он хочет уехать?

— Да. Я согласился выдавать ему скромное пособие в течение примерно года — большего он не просит. Пусть испытает себя на оселке свободы.

— Вы так добры! — сказала Доротея, глядя на мистера Кейсобона с восхищением. — Это очень благородно! Ведь, наверное, есть люди, которые не сразу находят свое призвание, не правда ли? Они кажутся ленивыми и слабыми, потому что еще растут. Мы ведь должны быть очень терпеливы друг с другом, не правда ли?

— Я полагаю, терпение тебе вдруг начало нравиться потому, что ты помолвлена, — сказала Селия, едва они с Доротеей остались одни в передней, снимая накидки.

— Ты намекаешь, что я очень нетерпелива, Селия?

— Да — если люди не делают и не говорят того, чего хочется тебе.

Со времени помолвки Доротеи Селия все меньше боялась говорить ей неприятные вещи: умные люди вызывали теперь у нее еще более презрительную жалость, чем прежде.

# Глава X

*Не избежать простуды тому, кто кутается в шкуру неубитого медведя.*

***Томас Фуллер*[43]**

Уилл Ладислав не нанес визита мистеру Бруку — шесть дней спустя мистер Кейсобон упомянул, что его молодой родственник отправился за границу. Холодная неопределенность, с какой это было сказано, не допускала дальнейших расспросов. Впрочем, Уилл сам заявил только, что едет в Европу, и не пожелал уточнить свой маршрут. Гений, считал он, по самой сути своей не терпит никаких оков: с одной стороны, ему нужна полнейшая свобода для самопроизвольных проявлений, а с другой — он обязан обрести состояние высочайшей восприимчивости, дабы вселенская весть, которая наконец-то призовет его к предназначенным ему свершениям, не пропала втуне. Существует немало различных состояний высочайшей восприимчивости, и Уилл добросовестно испробовал многие из них. Ему не особенно нра-

---

**[43] Примечания: 43**

Фуллер Томас (1608 — 1661) — английский священник и историк, славившийся красноречием своих проповедей.

вилось вино, и все же он несколько раз напился, просто чтобы испробовать эту форму экстаза; однажды он не ел весь день, пока не ослабел от голода, а затем поужинал омаром; он пичкал себя опиумом, пока не расхворался. Но все эти усилия не дали хоть сколько-нибудь ощутимых результатов, а после опытов с опиумом он пришел к выводу, что организм Де Куинси[44] был, по-видимому, совершенно не похож на его собственный. Условия, долженствующие пробудить гений, еще не обнаружились, вселенная еще не призвала его. Но ведь и Цезарь одно время довольствовался лишь величественными предчувствиями. Нам известно, какой маскарад являет собой грядущее и какие блистательные фигуры скрываются в пока еще беспомощных зародышах. Собственно говоря, мир полон обнадеживающих аналогий и красивых, но сомнительных яиц, носящих название «возможностей». Уилл достаточно ясно видел грустный пример затянувшегося высиживания, когда цыпленок так и не появился на свет, и только благодарность мешала ему смеяться над Кейсобоном, чьи упорные старания, кипы

**[44] Примечания: 44**

*Де Куинси Томас* (1785 — 1859) — английский писатель; из его произведений наиболее известна автобиографическая книга «Исповедь английского курильщика опиума».

и кипы предварительных заметок и тоненькая свечка ученой теории, долженствующая озарить все древние руины мира, словно бы слагались в басенную мораль, которая подтверждала, что Уилл совершенно прав, бесстрашно поручая свою судьбу попечению вселенной. Он считал это бесстрашие знаком гения, и, во всяком случае, оно не свидетельствовало об обратном, ибо гений заключается не в самодовольстве и не в смирении, а в способности вместо общих неопределенных рассуждений творить или совершать нечто вполне конкретное. А потому пусть Уилл Ладислав отправляется за границу без наших напутственных пророчеств о его будущем. Из всех разновидностей ошибок пророчество — самая бессмысленная.

Однако сейчас это предостережение против излишне поспешных суждений интересует меня более в отношении мистера Кейсобона, а не его молодого родственника. Если для Доротеи мистер Кейсобон явился лишь поводом, благодаря которому вспыхнул легковоспламеняемый материал ее юных иллюзий, означает ли это, что более трезвые люди, высказывавшие до сих пор свое мнение о нем, были свободны от предубеждения? Я протестую против того, чтобы какие-либо

окончательные выводы или нелестные заключения делались на основании презрения миссис Кэдуолледер к величию души, которое приписывалось священнику соседнего прихода, или пренебрежительного мнения сэра Джеймса Четтема о ногах его счастливого соперника, или из неудачных попыток мистера Брука найти в нем родственные идеи, или из критических замечаний Селии о внешности пожилого кабинетного затворника. Мне кажется, даже величайший человек своего века — если эта превосходная степень вообще могла быть когда-либо к кому-либо отнесена, — даже величайший человек своего века обязательно отражался бы в многочисленных мелких зеркальцах далеко не лестным образом. Сам Мильтон, пожелай он увидеть себя в столовой ложке, должен был бы смириться с тем, что лицевой угол у него такой же, как у деревенского увальня. Кроме того, хотя из уст мистера Кейсобона льется лишь холодная риторика, это еще не означает, что он лишен тонкости чувства и способностей. Ведь писал же бессмертный естествоиспытатель[45] и истолкователь иероглифов сквернейшие стишки. И разве теория строения

**[45] Примечания: 45**
Томас Юнг (1773 — 1829), английский врач, физик и египтолог.

Солнечной системы была создана с помощью изящных манер и умения поддерживать светский разговор? Так, быть может, мы оставим внешние оценки человека и задумаемся над тем, что собственное сознание говорит ему о его делах и способностях, преодолевая какие препятствия трудится он изо дня в день, какое разрушение надежд или укрепление самообмана несут ему годы и какие душевные силы противопоставляет он вселенскому бремени, которое когда-нибудь станет для него слишком тяжелым и заставит его сердце остановиться навсегда. Ему самому его жребий, без сомнения, представляется крайне важным, а если нам кажется, что он требует от нас слишком много внимания, то причина заключается просто в нашем нежелании вообще о нем думать: недаром мы с такой неколебимой уверенностью препоручаем его божественному милосердию — более того, истинное величие духа мы видим в том, чтобы наш ближний уповал получить все там, как бы мало мы ни уделяли ему здесь. Вот и мистер Кейсобон служил центром своего собственного мирка, и если он был склонен полагать, что остальные люди созданы провидением ради него, и, главное, судил о них только с той точки зрения, полезны они или нет

автору «Ключа ко всем мифологиям», то эта черта свойственна всем нам и, подобно другим обманчивым иллюзиям, которые лелеют смертные, заслуживает нашего сострадания.

Вне всяких сомнений, женитьба на мисс Брук касалась его гораздо ближе, чем всех тех, кто успел выразить свое неодобрение по этому поводу, а потому при настоящем положении дел его победа вызывает у меня больше сочувственной жалости, чем разочарование симпатичного сэра Джеймса. Ведь по мере приближения дня, намеченного для свадьбы, мистер Кейсобон отнюдь не воспарял духом, и сад супружества, который, судя по всем предзнаменованиям, утопал в цветах, не начинал манить его сильнее привычных подземелий, где он расхаживал с огарком в руке. Он не признавался себе и уж, конечно, ни словом не обмолвился бы никому другому, что, покорив прелестную и возвышенную девушку, к собственному удивлению не обрел счастья, хотя всегда был убежден, будто для этого требуются лишь усердные поиски. Правда, он знал все места у древних авторов, подразумевающие как раз обратное, но накопление таких знаний — это своего рода форма движения, почти не оставляющая сил на то, чтобы применять их в собственной

практике.

Бедный мистер Кейсобон воображал, будто долгие холостые годы усердных занятий накопили ему сложные проценты для наслаждения жизнью и капитала его нежных чувств хватит на оплату самых больших чеков, ибо все мы — и серьезные люди, и легкомысленные — затуманиваем свой рассудок метафорами, а затем, исходя из этих метафор, совершаем роковые ошибки. И теперь самое убеждение, что он — редкий счастливчик, едва ли не удручало его: он не мог найти никаких внешних причин, объяснявших онемение всех чувств, которое поражало его именно тогда, когда им должна была бы владеть столь чаянная радость — когда он покидал привычное однообразие лоуикской библиотеки и отправлялся в Типтон-Грейндж. Это было томительное испытание, обрекавшее его на такое же безысходное одиночество, как и отчаяние, порой подкрадывавшееся к нему в то время, как он брел по трясине своих изысканий, ни на йоту не приближаясь к цели. И одиночество это было тем страшным одиночеством, которое бежит сочувствия. Он не желал, чтобы Доротея подумала, будто он не так счастлив, как должен быть счастлив в глазах света ее избранник, а в ее юной

доверчивости и почитании он обретал опору для себя: ему нравилось пробуждать в ней все новый интерес, потому что этот интерес служил ему ободрением — разговаривая с ней, он излагал свои замыслы и планы с безмятежной уверенностью наставника и хотя бы ненадолго избавлялся от тех незримых холодных ценителей, которые, точно призрачные тени Тартара, окружали его в долгие часы тяжкого невдохновенного труда.

Ибо Доротея, образование которой почти исчерпывалось кукольной историей мира в переложении для молодых девиц, обнаруживала в рассказах мистера Кейсобона о его великой книге столько нового и важного для себя, что эти откровения, это удивительное знакомство со стоиками и александрийцами, чьи идеи в чем-то походили на ее собственные, на время заставили ее забыть о постоянных поисках той всеохватывающей теории, которая должна была прочно соединить ее жизнь и ее доктрину с этим необыкновенным прошлым и установить связь между самыми дальними источниками знания и ее собственными поступками. Ведь впереди ее ждут еще более полные наставления, мистер Кейсобон объяснит ей все это — она ждала приобщения к высочайшим понятиям, как ждала

брака, и ее смутные представления о том и о другом сливались воедино. Было бы большой ошибкой полагать, что ученость мистера Кейсобона манила Доротею сама по себе, — хотя общее мнение в окрестностях Фрешита и Типтона объявило ее «умной», однако в тех кругах, на более точном языке которых ум означает всего лишь способность узнавать и действовать, лежащую вне характера, к ней этот эпитет не применили бы. Она искала знаний, повинуясь той же живой потребности в деятельности, которая определяла все ее идеи и порывы. Она не хотела украшать себя знаниями, хранить их отдельно от нервов и крови, питавших ее поступки. И если бы она написала книгу, то, как святая Тереза, вложила бы в нее лишь то, что ей продиктовала бы ее экзальтированная совесть. Но она жаждала чего-то, что исполнило бы ее жизнь действием одновременно и рациональным и вдохновенным. А так как время пророческих видений и незримых наставников прошло, так как молитва только усугубляла жажду, но не открывала пути, какой еще остается ей светильник, кроме знания? Масло же для него хранят ученые мудрецы, а кто ученее мистера Кейсобона?

Вот почему на протяжении этих кратких

недель Доротея неизменно пребывала в состоянии радостного, благодарного ожидания, и хотя ее жених порой ощущал себя в тупике, он не мог приписать это охлаждению ее восторженного интереса.

Погода держалась мягкая, и это подсказало мысль сделать целью свадебного путешествия Рим: мистер Кейсобон очень хотел туда поехать, чтобы поработать с кое-какими рукописями в Ватикане.

— Я по-прежнему сожалею, что ваша сестрица не едет с нами, — сказал он однажды утром, когда уже было совершенно ясно, что Селия ехать не хочет и что Доротея предпочтет обойтись без ее общества. — Вам придется много часов проводить в одиночестве, Доротея, так как я буду вынужден использовать время нашего пребывания в Риме с наибольшей полнотой, и я чувствовал бы себя более свободным, если бы с вами кто-то был.

Слова «я чувствовал бы себя более свободным» больно задели Доротею. Впервые, говоря с мистером Кейсобоном, она покраснела от досады.

— Вы составили ошибочное мнение обо мне, — сказала она, — если вы думаете, будто я не понимаю, насколько ценно ваше время, если вы думаете, будто я не откажусь с величайшей

охотой от всего, что как-то может помешать вам использовать его наилучшим образом.

— Это очень любезно с вашей стороны, дорогая Доротея, — сказал мистер Кейсобон, даже не заметив, что она обижена. — Но если бы с вами была приятная вам спутница, я мог бы поручить вас обеих заботам чичероне и мы таким образом за один промежуток времени осуществили бы две цели.

— Прошу вас больше не упоминать об этом, — произнесла Доротея с некоторой надменностью, но тут же испугалась, что была неправа, повернулась к нему и, взяв его руку, добавила другим тоном: — Не тревожьтесь из-за меня. У меня найдется много пищи для размышлений, когда я буду оставаться одна. А сопровождать меня может и Тэнтрип. О том же, чтобы поехать с Селией, я и подумать не могу: она изведется от тоски.

Пора было переодеваться. К обеду ожидались гости (это был последний званый обед в Типтон-Грейндже из положенных перед свадьбой), и, услышав удар колокола, Доротея обрадовалась предлогу тотчас уйти, словно ей требовалось больше времени на туалет, чем обычно. Ей было стыдно за свое раздражение, но причину его она не могла объяснить даже себе. Хотя она не

собиралась кривить душой, ее ответ не имел ничего общего с той болью, которую причинили ей слова мистера Кейсобона. Они были вполне разумны, но в них смутно чудилась странная отчужденность.

«Наверное, это просто какая-то эгоистическая слабость, — сказала она себе. — Выходя замуж за человека, который настолько выше меня, я не могу не знать, что нужна ему меньше, чем он мне».

Убедив себя в полной правоте мистера Кейсобона, Доротея успокоилась, и когда она вошла в гостиную в серебристо-сером платье, весь ее облик дышал тихим достоинством — скромно причесанные темно-каштановые волосы, разделенные на лбу и уложенные в тугой узел на затылке, удивительно гармонировали с простотой и безыскусственностью ее манер и выражения. В обществе Доротея обычно держалась с неизъяснимой безмятежностью, словно святая Варвара на картине, глядящая со своей башни в светлые просторы неба. Но это спокойствие только подчеркивало пылкость ее слов и чувств, когда что-то ее волновало.

В этот вечер она, естественно, не раз становилась темой разговора, тем более что приглашенных было много, не все мужчины принадлежали

к кругу избранных (со времени приезда своих племянниц такого большого званого обеда мистер Брук еще не давал) и общей беседы за столом не велось, а гости переговаривались между собой. Среди них был и новоизбранный мэр Мидлмарча, местный фабрикант, и его зять, банкир-благотворитель, пользовавшийся в городе таким весом, что одни называли его методистом, другие же елейным святошей — в зависимости от привычного лексикона, — а также нотариус, врачи и прочие видные обитатели города. Миссис Кэдуолледер сказала даже, что Брук начинает обхаживать мидлмарчских обывателей и что сама она предпочитает фермеров, которые попросту пьют за ее здоровье на десятинном обеде и не стыдятся дедовской мебели. Собственно говоря, в этих краях до того, как реформа сыграла свою роль в развитии политического сознания, понятия о сословных различиях были очень сильны, а представления о партийной принадлежности довольно смутны, так что пестрота гостей за столом мистера Брука казалась всего лишь следствием той безалаберности, которую он приобрел за время своих неумеренных путешествий и укрепил излишним пристрастием к идеям.

И стоило мисс Брук вместе с дамами покинуть

столовую, как кое-кто позволил себе реплики «в сторону».

— А мисс Брук хороша! Очень хороша, черт побери! — заявил мистер Стэндиш, старый нотариус, который столько лет вел дела аристократических землевладельцев, что сам обзавелся поместьем и украшал свою речь этим аристократическим проклятьем, точно гербом, свидетельствующим о благородстве говорящего.

Слова его, по-видимому, были обращены к мистеру Булстроду, банкиру, но этот джентльмен не любил грубости и чертыхания, а потому только слегка наклонил голову. Зато на них откликнулся мистер Чичли, пожилой холостяк и завсегдатай скачек, чей цвет лица напоминал пасхальное яйцо, редкие волосы были тщательно прилизаны, а внушительная осанка указывала на немалое самодовольство.

— Да, но не в моем вкусе. Я люблю, когда женщина думает о том, чтобы нам нравиться. В женщине должно быть тонкое изящество, кокетство. Мужчине нравится, когда ему бросают вызов. И чем больше она в вас целится, тем лучше.

— Пожалуй, пожалуй, — согласился мистер Стэндиш, который пребывал в отличном расположении духа. — И, черт побери, обычно они

такими и бывают. Полагаю, тут есть какая-то мудрая цель: такими их создало провидение, э, Булстрод?

— На мой взгляд, для кокетства следует искать иной источник, — сказал мистер Булстрод. — Скорее уж оно исходит от дьявола.

— Бесспорно, в каждой женщине должен сидеть дьяволенок, — объявил мистер Чичли, чье благочестие понесло некоторый ущерб из-за его интереса к прекрасному полу. — И я люблю, когда они белокуры, с эдакой походкой и лебединой шеей. Говоря между нами, дочка мэра нравится мне куда больше мисс Брук, да и мисс Селии тоже. Будь я из тех, кто женится, я бы присватался к мисс Винси, а не к этим барышням.

— Ну, так решайтесь же, решайтесь, — шутливо посоветовал мистер Стэндиш. — Как видите, людям в годах победа обеспечена.

Мистер Чичли только многозначительно покачал головой — он не собирался навлекать на себя неизбежное согласие своей избранницы.

Мисс Винси, имевшая честь быть идеалом мистера Чичли, на обеде, разумеется, не присутствовала: мистер Брук, никогда не любивший заходить слишком далеко, не считал, что его племянницам прилично знакомиться с доче-

рью мидлмарчского фабриканта — ну, разве на какой-нибудь публичной церемонии. А потому среди приглашенных дам не было ни одной особы, которая могла бы вызвать неодобрение леди Четтем или миссис Кэдуолледер, ибо миссис Ренфру, вдова полковника, не только отвечала всем необходимым требованиям, но и вызывала живейший интерес из-за своего недуга — он ставил врачей в тупик и его исцеление, несомненно, требовало, кроме полноты профессиональных знаний, еще и малой толики шарлатанства. Леди Четтем, приписывавшая свое собственное редкостное здоровье домашним настойкам на травах и регулярным визитам врача, с большим вниманием выслушала рассказ миссис Ренфру о ее симптомах и о поразительном бессилии всех укрепляющих средств.

— Но, дорогая моя, куда же деваются их укрепляющие свойства? — задумчиво спросила добродушная, но величественная вдова баронета у миссис Кэдуолледер, когда миссис Ренфру отошла от них.

— Укрепляют болезнь, — ответила супруга священника, чье аристократическое происхождение обязывало ее иметь познания в медицине. — Все зависит от конституции: у некоторых людей все

идет в жир, у других в кровь, у третьих в желчь, — так, по крайней мере, считаю я, — и что бы они ни принимали, все, так сказать, перемалывается.

— Но тогда ей следует принимать лекарства, которые будут ослаблять… ослаблять болезнь… если все обстоит так, как вы говорите. А мне кажется, это очень убедительно.

— Ну конечно! Ведь в одной и той же земле растут два сорта картофеля. Один становится все водянистее и водянистее…

— Ах, совсем как бедная миссис Ренфру… Я так и подумала: водянка! Опухлости еще не заметно, пока все внутри. Мне кажется, ей следует принимать подсушивающие лекарства, как по-вашему? Или воздушные ванны, чтобы воздух был сухим и горячим. Есть много средств, которые сушат.

— Пусть испробует трактаты некоего автора, — вполголоса сказала миссис Кэдуолледер, увидев его в дверях. — Вот он в подсушивании не нуждается.

— Кто, моя дорогая? — осведомилась леди Четтем, приятнейшая женщина, но не настолько сообразительная, чтобы лишить собеседницу удовольствия объяснить свои слова.

— Жених… Кейсобон. После помолвки он что-то начал сохнуть еще быстрее: пламя страсти, я

полагаю.

— Мне кажется, конституция у него далеко не крепкая, — заметила леди Четтем совсем уже шепотом. — И его занятия… очень сушат, как вы сказали.

— Право, рядом с сэром Джеймсом он выглядит как череп, специально ободранный для такого случая. Помяните мое слово, через год эта девчонка будет его ненавидеть. Сейчас она смотрит на него как на оракула, но пройдет немного времени, и она ударится в другую крайность. Одна взбалмошность!

— Какой ужас! Боюсь, она упряма до неразумия. Но скажите… вы ведь все о нем знаете… Что-нибудь очень скверное? Так что же?

— Что? Он скверен, как лекарство, принятое по ошибке: мерзкий вкус и только вред для здоровья.

— Хуже этого ничего быть не может, — сказала леди Четтем, с такой отчетливостью представив себе мерзкое лекарство, что ей показалось, будто она узнала какие-то подлинные пороки мистера Кейсобона. — Впрочем, Джеймс не позволяет сказать о мисс Брук ни одного дурного слова. Он по-прежнему утверждает, что она — зерцало всех женщин.

— Всего лишь великодушное заблуждение. Поверьте, крошка Селия нравится ему гораздо больше, а она умеет ценить его достоинства. Надеюсь, вам моя крошка Селия тоже нравится?

— О конечно! Она больше любит герани и производит впечатление более кроткой, хотя и не так красиво сложена. Да, кстати, о лекарствах: расскажите мне про этого нового молодого врача, мистера Лидгейта. Говорят, он удивительно умен. По крайней мере, лицо у него очень умное — такой прекрасный лоб.

— Во всяком случае, он джентльмен. Я слышала, как он разговаривал с Гемфри. Говорит он хорошо.

— Да-да. По словам мистера Брука, он в родстве с нортумберлендскими Лидгейтами — такая старинная семья. Как-то странно, когда речь идет о докторе. Мне больше нравится, когда врач стоит ближе к прислуге, и обычно такие врачи лечат гораздо лучше. Поверьте, бедный Хикс никогда не ошибался. Мне не известно ни одного такого случая. Он был груб и смахивал на мясника, но он знал мою конституцию. Его внезапная кончина очень меня огорчила. А мисс Брук что-то очень оживленно разговаривает с этим мистером Лидгейтом!

— О домах для арендаторов и о больницах, — ответила миссис Кэдуолледер, обладавшая редкостным слухом и умением схватывать на лету. — Он, кажется, филантроп, так что Брук захочет сойтись с ним покороче.

— Джеймс, — сказала леди Четтем, увидев сына, — представь мне мистера Лидгейта, я хочу посмотреть, каков он.

Любезная дама тут же объявила, что она в восторге познакомиться с мистером Лидгейтом — она слышала, как успешно он лечит горячки новым способом.

Мистер Лидгейт в полной мере обладал необходимой для врача способностью сохранять серьезный вид, когда ему говорили всякий вздор, а спокойный взгляд темных глаз свидетельствовал, что он слушает со всем вниманием. Он во всем отличался от блаженной памяти Хикса — особенно легкой изящной небрежностью одежды и речи. Тем не менее леди Четтем прониклась к нему полным доверием. Он согласился с тем, что конституция у нее совершенно особая: во всяком случае, он сказал, что конституция любого человека обладает своими особенностями, и не отрицал, что у нее она может быть совершенно особой. Он не одобрил слишком уж ослабляющую

систему с избытком кровопусканий, однако не рекомендовал и частых приемов портвейна и хинной коры. Он произносил «я полагаю» с таким почтительным видом, подразумевающим согласие, что она составила самое благоприятное мнение о его талантах.

— Я очень довольна вашим протеже, — сказала она мистеру Бруку, прощаясь с ним.

— Моим протеже? Помилуйте! Да кто же это? — осведомился мистер Брук.

— Молодой Лидгейт, новый доктор. Мне кажется, он весьма искушен в своей профессии.

— Ах, Лидгейт. Но он вовсе не мой протеже, знаете ли. Просто я знаком с его дядей, и тот написал мне о нем. Впрочем, думаю, лечить он должен превосходно — учился в Париже, знавал Бруссе[46]. И у него есть идеи: хочет, знаете ли, поднять престиж медицинской профессии.

— У Лидгейта множество совсем новых идей о проветривании, диете, ну и так далее, — продолжал мистер Брук, когда, проводив леди Четтем, он вернулся к своим гостям из Мидлмарча.

— Черт побери, а вы думаете, это такая уж здравая мысль? Ломать старую систему лечения,

---

**[46] Примечания: 46**

*Бруссе Франсуа* (1772 — 1838) — знаменитый французский врач.

которая сделала англичан тем, чем они стали? — сказал мистер Стэндиш.

— Медицинские знания у нас оставляют желать много лучшего, — возразил мистер Булстрод, который говорил слабым голосом и имел нездоровый вид. — Я со своей стороны радуюсь, что мистер Лидгейт избрал для своей практики наш город, и надеюсь, у меня будут все основания поручить его заботам новую больницу.

— Все это прекрасно, — ответил мистер Стэндиш, который не слишком любил мистера Булстрода. — Если вы хотите, чтобы он пробовал новые способы лечения на тех, кто попадет в вашу больницу, и убил пару-другую неимущих пациентов, я возражать не стану. Но платить собственные деньги за то, чтобы на мне что-то пробовали — нет уж, увольте! Я люблю, чтобы меня лечили проверенными способами.

— А знаете ли, Стэндиш, каждое лекарство, которое вы принимаете, это уже проба… да, проба, знаете ли, — сказал мистер Брук, кивая нотариусу.

— Ну, если в таком смысле! — воскликнул мистер Стэндиш с тем раздражением, какое только мог допустить в разговоре с ценным клиентом. Но когда человек без юридического опыта пускается

толковать слова, никакого терпения не хватит!

— Я буду рад любому лечению, которое меня исцелит, не превратив в скелет, как беднягу Грейнджера, — сказал мэр мистер Винси, дородный человек, чей цветущий вид представлял резкий контраст францисканским тонам[47] мистера Булстрода. — Очень опасно остаться без брони, хранящей нас от стрел болезни, как выразился кто-то, и, по-моему, весьма удачно.

Мистер Лидгейт, разумеется, ничего этого не слышал. Он уехал рано и считал бы, что провел очень скучный вечер, если бы не некоторые интересные знакомства — особенно знакомство с мисс Брук, чья юная красота, близкая свадьба с пожилым педантом и увлечение общественно полезными делами были необычным и пикантным сочетанием.

«Доброе создание эта прекрасная девушка… но слишком уж восторженна, — размышлял он. — Разговаривать с такими женщинами всегда трудно. Они вечно доискиваются до сути вопроса, но настолько невежественны, что неспособны понять ее и обычно полагаются на собственное нравственное чувство, чтобы уладить все по

**[47] Примечания: 47**

Монахов нищенствующего ордена францисканцев в Англии по цвету их одеяния называли «серыми братьями».

своему вкусу».

Другими словами, мисс Брук столь же мало отвечала требованиям мистера Лидгейта, как и требованиям мистера Чичли. Если взглянуть на нее глазами этого последнего — человека зрелого и неспособного изменить давно сложившуюся точку зрения, — то она вообще была ошибкой, призванной подорвать его веру в мудрость провидения, создающего молоденьких красавиц для того, чтобы они кокетничали с багроволицыми холостяками. Однако Лидгейт еще не достиг такой зрелости, и возможно, ему предстояли испытания, способные изменить его мнение о том, что следует особенно ценить в женщинах.

Однако ни тому, ни другому больше не пришлось встречаться с мисс Брук, пока она еще носила свою девичью фамилию: вскоре после этого обеда она стала миссис Кейсобон и отправилась с мужем в Рим.

# Глава XI

*Простую речь, обычные дела*
*Комедия орудьем избрала,*
*Портрет рисуя верный наших дней:*
*Глупцы, а не злодеи милы ей.*

***Бен Джонсон*[48]**

По правде говоря, Лидгейт уже попал во власть чар девушки, совершенно непохожей на мисс Брук. Впрочем, он не считал, что потерял голову настолько, чтобы влюбиться, хотя и сказал о ней так: «Она сама грация, она прелестна и богато одарена. Вот какой должна быть женщина — она должна вызывать то же чувство, что и чудесная музыка». К некрасивым женщинам он относился как и к прочим суровым фактам жизни, которые надо философски терпеть и изучать. Но Розамонда Винси была полна поистине музыкального очарования, а когда мужчина встречает женщину, которую он избрал бы в невесты, если бы собирался жениться, то остаться ли ему холостяком или нет, обычно решает она. Лидгейт

---

**[48] Примечания: 48**

Бен Джонсон (1573 — 1637) — английский драматург, поэт и теоретик драмы.

считал, что в ближайшие годы ему не следует жениться — во всяком случае, до тех пор, пока он не проложит для себя собственную дорогу в стороне от широкого истоптанного пути. Мисс Винси сияла на его горизонте примерно все то время, какое потребовалось мистеру Кейсобону, чтобы обручиться и сыграть свадьбу, но этот ученый джентльмен был богат, он собрал обширный предварительный материал и создал себе ту репутацию, которая предшествует свершению и нередко остается главной частью славы такого человека. Как мы видели, он взял себе жену, чтобы она украсила последнюю четверть его плавания и была маленькой луной, не способной вызвать сколько-нибудь заметные изменения его орбиты. Лидгейт же был молод, беден и честолюбив. Полвека жизни лежало перед ним, а не позади него, и он приехал в Мидлмарч, лелея много планов, исполнение которых не только не должно было сразу принести ему состояние, но даже вряд ли могло обеспечить приличный доход. Если человек в подобных обстоятельствах берет жену, то не для того, чтобы она служила украшением его жизни, в чем Лидгейт был склонен видеть главное назначение жен. Вот это-то после единственного их разговора он и счел

изъяном в мисс Брук, несмотря на ее бесспорную красоту. Ее взгляд на мир был лишен истинной женственности. Общество подобной женщины сулило столько же отдыха, как класс шумных мальчишек, которых ты отправляешься учить после трудового дня вместо того, чтобы пребывать в раю, где нежный смех заменяет пение птиц, а синие глаза — безоблачную лазурь небес.

Разумеется, в эту минуту склад ума мисс Брук не имел для Лидгейта ни малейшего значения, как для самой мисс Брук — качества, которые нравились молодому врачу в женщинах. Но тот, кто внимательно следит за незаметным сближением человеческих жребиев, тот увидит, как медленно готовится воздействие одной жизни на другую, и равнодушные или ледяные взгляды, которые мы устремляем на наших ближних, если они не имели чести быть нам представленными, нередко оборачиваются ироничной шуткой — Судьба, саркастически усмехаясь, стоит возле, держа список dramatis personae[49], включающий и их и наши имена.

В старинном провинциальном обществе тоже происходили свои постоянные внутренние пере-

---

**[49] Примечания: 49**
Действующих лиц (*лат.*).

мещения. И это были не только драматические крушения, когда его блистательные молодые денди, отсверкав, кончали семейным очагом, у которого их ждали неопрятные обрюзгшие жены с полудюжиной ребятишек, но и менее заметные взлеты и падения, постоянно изменяющие границы светских знакомств и порождающие новое осознание взаимозависимости. Одни спускались чуть ниже, другие взбирались на ступеньку повыше, люди с простонародным выговором богатели, высокомерные джентльмены выставляли свои кандидатуры от промышленных городов; кого-то подхватывали политические течения, а кого-то — церковные, и вдруг, к собственному удивлению, они оказывались рядом; немногие же знатные особы или семьи, которые стояли среди этих смещений, точно несокрушимые скалы, тем не менее вопреки своей незыблемости мало-помалу получали какие-то новые черты, претерпевая двойное изменение — и в собственных глазах и в глазах тех, кто на них смотрел. Муниципальный город и сельский приход постепенно соединялись новыми нитями — постепенно, по мере того как старый чулок заменялся счетом в сберегательном банке, поклонение золотому солнцу гинеи сходило на нет, а помещики, баронеты и даже лорды,

которые в своей недоступной дали вели безупречную жизнь, при более близком знакомстве обретали всевозможные недостатки и пороки. Появлялись и новые люди из других графств — одни были опасны тем или иным особым умением, другие брали обидным превосходством в хитрости. Собственно говоря, в Старой Англии происходили те же перемещения и смешивание, которые мы находим у куда более старого Геродота, каковой, повествуя о былом, также счел уместным начать свой рассказ[50] с судьбы женщины. Впрочем, Ио — девица, по-видимому, соблазнившаяся красивыми товарами, — была полной противоположностью мисс Брук и в этом отношении скорее походила на Розамонду Винси, которая одевалась с изысканным вкусом, тем более что фигура как у нимфы и белокурая красота дают широчайший простор в выборе покроя и цвета; но все это составляло лишь часть ее чар. Она была признанным украшением пансиона миссис Лемон, лучшего пансиона в графстве, где благородных девиц обучали всему, что необходи-

**[50] Примечания: 50**

Древнегреческий историк Геродот (V в. до н.э.) начинает 1-ю книгу своей «Истории» с описания того, как финикийские купцы, прибыв в греческое государство Аргос и распродав свои товары, затем похитили пришедших к их кораблю женщин, в том числе царскую дочь Ио.

мо знать светской барышне — вплоть до отдельно оплачиваемых уроков, как входить в карету и как выходить из нее. Миссис Лемон постоянно ставила мисс Винси в пример остальным ученицам — ее успехи в науках, чистота и правильность ее речи были выше всех похвал, особенно же отличалась она в музыке. Мы неповинны в том, как о нас говорят люди, и возможно, если бы миссис Лемон взялась описать Джульетту или Имогену, эти шекспировские героини утратили бы всякую поэтичность. Первого же взгляда на Розамонду оказалось бы достаточно, чтобы рассеять предубеждение, вызванное дифирамбами миссис Лемон.

И этот первый взгляд и даже знакомство с семейством Винси ожидали Лидгейта вскоре после его водворения в Мидлмарче — мистер Пикок, чью практику он приобрел за некоторую сумму, правда, не был их семейным доктором (миссис Винси не нравилась принятая им ослабляющая система), но зато пользовал многих их родственников и знакомых. Да и кто из видных обитателей Мидлмарча не был связан с Винси родством или хотя бы давним знакомством? Это была старинная семья фабрикантов, они держали открытый дом на протяжении трех поколений

и, конечно, за этот срок успели породниться со многими другими более или менее почтенными мидлмарчскими семьями. Сестра мистера Винси приняла предложение богатого жениха — мистера Булстрода; но так как он не был уроженцем города и происхождение его окутывал некоторый туман, считалось, что он возвысился, войдя через брак в исконную мидлмарчскую семью. С другой стороны, мистер Винси женился несколько ниже себя, выбрав дочь содержателя гостиницы. Но и тут не обошлось без целительной силы денег — сестра миссис Винси стала второй женой богатого и старого мистера Фезерстоуна и через несколько лет скончалась бездетной, так что ее племянники и племянницы могли рассчитывать на родственную привязанность вдовца. И получилось так, что мистер Булстрод и мистер Фезерстоун, лучшие пациенты Пикока, по разным причинам с распростертыми объятиями встретили его преемника, приезд которого в город вызвал не только толки, но и разделение на партии. Мистер Ренч, домашний врач мистера Винси, вскоре получил некоторые основания усомниться в профессиональном такте Лидгейта, а многочисленные визитеры постоянно рассказывали о нем что-нибудь новенькое. Мистер

Винси предпочитал общий мир и не любил держать чью-либо сторону, однако у него не было надобности спешить с новыми знакомствами. Розамонда про себя желала, чтобы ее отец пригласил мистера Лидгейта в гости. Ей надоели лица и фигуры, которые она помнила с тех пор, как помнила себя, — всевозможные неправильные профили, и походки, и привычные словечки тех мидлмарчских молодых людей, которых она знала маленькими мальчиками. В пансионе она училась с девочками из семей, занимавших более высокое положение, и не сомневалась, что их братья были бы ей интереснее всех этих вечных мидлмарчских знакомцев. Но она не хотела говорить о своем желании отцу, сам же он не торопился. Олдермен, которого вот-вот изберут мэром, должен давать большие званые обеды, но пока гостей за его обильным столом было вполне достаточно.

Этот стол часто хранил остатки семейного завтрака долго после того, как мистер Винси уходил со вторым сыном на склад, а мисс Морган уже давала утренний урок младшим девочкам в классной комнате. Завтрак дожидался семейного лентяя, который предпочитал любые неудобства (для других) необходимости вставать, когда

его будили. Так было и в то сентябрьское утро, в которое мистер Кейсобон, как нам известно, отправился с визитом в Типтон-Грейндж и познакомился с Доротеей. Однако, хотя камин в столовой пылал так жарко, что спаниель, пыхтя, улегся в самом дальнем от него углу, Розамонда по какой-то причине засиделась за вышиванием дольше обычного. Иногда она заставляла себя встрепенуться и, разложив рукоделие на коленях, рассматривала его нерешительным скучающим взглядом. Ее маменька, вернувшись после посещения кухни, села по другую сторону рабочего столика и безмятежно чинила кружева, пока часы не захрипели, показывая, что они снова собираются бить. Тогда ее пухлые пальцы взяли колокольчик.

— Притчард, постучите к мистеру Фреду еще раз и скажите, что уже пробило половину одиннадцатого.

При этом лицо миссис Винси, на которое сорок пять прожитых ею лет не нанесли ни углов, ни параллелей, продолжало сиять благодушием. Поправив розовые завязки чепца, она залюбовалась дочерью и оставила работу лежать на коленях.

— Мама, — сказала Розамонда, — когда Фред сойдет завтракать, не давайте ему селедки. Я не

терплю, когда в доме с утра стоит этот запах.

— Душечка, ты совсем уж братьям житья не даешь. Больше мне тебя и упрекнуть не в чем. Ты у нас и добрая и ласковая, но только всегда братьев пилишь.

— Не пилю, мама. Вы ведь не слышали, чтобы я хоть раз сказала что-нибудь вульгарное.

— Но ты их все время утесняешь.

— А если у них такие неприятные привычки!

— Нужно быть снисходительней к молодым людям, душечка. Сердце у них хорошее, надо и этому радоваться. Женщине лучше не обращать внимания на мелочи. Ведь тебе замуж выходить.

— За кого бы я ни вышла, на Фреда он похож не будет.

— Напрасно ты так смотришь на своего брата, душечка. Против других молодых людей он сущий ангел, хоть и не сумел сдать экзамен. Право, не понимаю почему, он же такой умный. И ты сама знаешь, что в университете все его знакомые были из самых лучших семей. При твоей взыскательности, душечка, тебе бы радоваться, что твой брат — настоящий молодой джентльмен. Ты же постоянно выговариваешь Бобу, потому что он не Фред.

— Ах нет, мама! Просто потому, что он Боб!

— Что же, душечка, в Мидлмарче не найдется ни одного молодого человека без недостатков.

— Но… — Тут на лице Розамонды появилась улыбка, а с ней — две ямочки. Сама Розамонда эти ямочки терпеть не могла и в обществе почти не улыбалась. — Но я ни за кого из Мидлмарча замуж не пойду.

— Да уж знаю, деточка, ты ведь отвадила самых отборных из них. Ну, а если найдется кто-нибудь получше, так кто же его достоин, как не ты.

— Простите, мама, но мне не хотелось бы, чтобы вы говорили «самые отборные из них».

— Так ведь они же самые отборные и есть!

— Это вульгарное выражение, мама.

— Может быть, может быть, душечка. Я ведь никогда не умела правильно выражаться. А как надо сказать?

— Самые лучшие из них.

— Да ведь это тоже простое и обычное слово! Будь у меня время подумать, я бы сказала: «Молодые люди, превосходные во всех отношениях». Ну, да ты со своим образованием лучше знаешь.

— И что же такое Рози знает лучше, маменька? — спросил мистер Фред, который неслышно скользнул в полуотворенную дверь, когда мать и дочь снова склонились над своим рукоделием, и,

встав спиной к камину, принялся греть подошвы домашних туфель.

— Можно или нет сказать «молодые люди, превосходные во всех отношениях», — ответила миссис Винси, беря колокольчик.

— А, теперь появилось множество сортов чая и сахара, превосходных во всех отношениях. «Превосходный» прочно вошло в жаргон лавочников.

— Значит, ты начал осуждать жаргон? — мягко спросила Розамонда.

— Только дурного тона. Любой выбор слов — уже жаргон. Он указывает на принадлежность к тому или иному классу.

— Но есть правильный литературный язык. Это не жаргон.

— Извини меня, правильный литературный язык — это жаргон ученых педантов, которые пишут исторические труды и эссе. А самый крепкий жаргон — это жаргон поэтов.

— Ты говоришь невозможные вещи, Фред. Тебе лишь бы настоять на своем.

— Ну, скажи, это жаргон или поэзия, если назвать быка «тугожильным»?

— Разумеется, можешь назвать это поэзией, если хочешь.

— Попались, мисс Рози! Вы не способны отли-

чить Гомера от жаргона. Я придумал новую игру: напишу на листочках жаргонные выражения и поэтические, а ты разложи их по принадлежности.

— До чего же приятно слушать, как разговаривает молодежь! — сказала миссис Винси с добродушным восхищением.

— А ничего другого у вас для меня не найдется, Притчард? — спросил Фред, когда на стол были поставлены кофе и тартинки, и, обозрев ветчину, вареную говядину и другие остатки холодных закусок, безмолвно отверг их с таким видом, словно лишь благовоспитанность удержала его от гримасы отвращения.

— Может быть, скушаете яичницу, сэр?

— Нет, никакой яичницы! Принесите мне жареные ребрышки.

— Право же, Фред, — сказала Розамонда, когда служанка вышла, — если ты хочешь есть за завтраком горячее, то мог бы вставать пораньше. Ты бываешь готов к шести часам, когда собираешься на охоту, и я не понимаю, почему тебе так трудно подняться с постели в другие дни.

— Что делать, если ты такая непонятливая, Рози! Я могу встать рано, когда еду на охоту, потому что мне этого хочется.

— А что бы ты сказал про меня, если бы я спускалась к завтраку через два часа после всех остальных и требовала жареные ребрышки?

— Я бы сказал, что ты на редкость развязная барышня, — ответил Фред, невозмутимо принимаясь за тартинку.

— Не вижу, почему братья могут вести себя противно, а сестер за это осуждают.

— Я вовсе не веду себя противно. Это ты так думаешь. Слово «противно» определяет твои чувства, а не мое поведение.

— Мне кажется, оно вполне определяет запах жареных ребрышек.

— Отнюдь! Оно определяет ощущения в твоем носике, которые ты связываешь с жеманными понятиями, преподанными тебе в пансионе миссис Лемон. Посмотри на маму. Она никогда не ворчит и не требует, чтобы все делали только то, что нравится ей самой. Вот какой должна быть, на мой взгляд, приятная женщина.

— Милые мои, не надо ссориться, — сказала миссис Винси с материнской снисходительностью. — Лучше, Фред, расскажи нам про нового доктора. Он понравился твоему дяде?

— Как будто очень. Он задавал Лидгейту один вопрос за другим, а на ответы только морщился,

словно ему наступали на ногу. Такая у него манера. Ну, вот и мои ребрышки.

— Но почему ты вернулся так поздно, милый? Ты ведь говорил, что только побываешь у дяди.

— А, я обедал у Плимдейла. Мы играли в вист. Лидгейт тоже там был.

— Ну, и что ты о нем думаешь? Наверное, настоящий джентльмен. Говорят, он из очень хорошей семьи — его родственники у себя в графстве принадлежат к самому высшему обществу.

— Да, — сказал Фред. — В университете был один Лидгейт: так и сорил деньгами. Доктор, как выяснилось, приходится ему троюродным братом. Однако у богатых людей могут быть очень бедные троюродные братья.

— Но хорошее происхождение — это хорошее происхождение, — сказала Розамонда решительным тоном, который показывал, что она не раз размышляла на эту тему, Розамонда чувствовала, что была бы счастливей, не родись она дочерью мидлмарчского фабриканта. Она не любила никаких напоминаний о том, что отец ее матери содержал гостиницу. Впрочем, всякий, кто вспомнил бы об этом обстоятельстве, почти наверное подумал бы, что миссис Винси очень походит на красивую любезную хозяйку гостиницы, привык-

шую к самым неожиданным требованиям своих постояльцев.

— Странное имя у него — Тертий, — сказала эта добродушная матрона. — Ну, да конечно, оно у него родовое. А теперь расскажи поподробнее, какой он.

— Довольно высок, темноволос, умен… хорошо говорит, но, на мой вкус, немножко как самодовольный педант.

— Я никогда не могла понять, что ты подразумеваешь под словами «самодовольный педант», — сказала Розамонда.

— Человека, который старается показать, что у него обо всем есть свое мнение.

— Так ведь, милый, у докторов и должны быть мнения, — заметила миссис Винси. — Их для того и учат.

— Да, маменька, — мнения, за которые им платят. А самодовольный педант навязывает вам свои мнения даром.

— Полагаю, мистер Лидгейт произвел большое впечатление на Мэри Гарт, — произнесла Розамонда многозначительным тоном.

— Право, не знаю, — ответил Фред с некоторой мрачностью, встал из-за стола и, взяв роман, который принес с собой из спальни, бросился

в кресло.

— А если ты ей завидуешь, — добавил он, — то бывай почаще в Стоун-Корте и затми ее.

— Я бы хотела, чтобы ты не был таким вульгарным, Фред. Если ты кончил, то позвони.

— Но твой брат сказал правду, Розамонда, — начала миссис Винси, когда служанка убрала со стола и ушла. — Очень грустно, что ты не можешь заставить себя чаще бывать у дяди. Он же гордится тобой и даже приглашал тебя жить у него. Ведь он много мог бы сделать не только для Фреда, но и для тебя. Бог видит, какое для меня счастье, что ты живешь дома со мной, но ради пользы моих детей я найду силы с ними расстаться. Теперь же, надо полагать, ваш дядя Фезерстоун уделит что-то Мэри Гарт.

— Мэри Гарт терпит жизнь в Стоун-Корте, потому что служить в гувернантках ей нравится еще меньше, — сказала Розамонда, складывая свое рукоделие. — А мне не нужно никакого наследства, если ради него я должна сносить кашель дядюшки и общество его противных родственников.

— Он не жилец на этом свете, душечка. Я, конечно, не желаю ему смерти, но при такой астме и внутренних болях следует надеяться, что он найдет отдохновение на том свете. И Мэри Гарт

я ничего дурного не желаю, но справедливость есть справедливость. За своей первой женой мистер Фезерстоун никаких денег не взял, не то что за моей сестрой. А потому у ее племянников и племянниц меньше прав, чем у племянников и племянниц моей сестры. И правду сказать, Мэри Гарт до того некрасива, что ей только гувернанткой и быть.

— Тут, маменька, с вами не все согласятся, — заметил мистер Фред, который, по-видимому, был способен и читать и слушать одновременно.

— Что же, милый, пусть даже ей и будет что-нибудь завещано, человек ведь женится на родне жены, а Гарты живут мизерно, хоть во всем себе отказывают, — сказала миссис Винси, искусно обходя скользкое место. — Ну, я не стану больше мешать твоим занятиям, милый. Мне надо кое-чего купить.

— О, таким занятиям Фреда помешать трудно, — сказала Розамонда, тоже вставая. — Он ведь просто читает роман.

— Почитает-почитает, да и возьмется за латынь, — примирительно сказала миссис Винси, погладив сына по голове. — В курительной для этого камин затоплен. Ты ведь знаешь, Фред, милый ты мой, что этого хочет твой отец, а я

ему все время повторяю, что ты позанимаешься, вернешься в университет и сдашь экзамен.

Фред взял руку матери и поцеловал ее, но ничего не ответил.

— Наверное, ты сегодня на верховую прогулку не собираешься? — спросила Розамонда, когда миссис Винси вышла.

— Нет. А что?

— Папа разрешил мне теперь ездить на караковой.

— Если хочешь, можешь поехать со мной завтра. Только помни, что я поеду в Стоун-Корт.

— Я так мечтаю о верховой прогулке, что мне все равно, куда мы поедем.

На самом же деле Розамонда очень хотела поехать именно в Стоун-Корт.

— Послушай, Рози, — сказал Фред, когда она была уже в дверях, — если ты будешь сейчас музицировать, то я часок с тобой поупражняюсь.

— Только не сегодня!

— А почему не сегодня?

— Право, Фред, мне хотелось бы, чтобы ты вообще бросил флейту. Когда мужчина играет на флейте, у него такой глупый вид! И ты все время фальшивишь.

— Я расскажу следующему вашему ухажеру,

мисс Розамонда, как вы любите оказывать людям одолжения.

— А почему я должна оказывать тебе одолжения, слушая, как ты играешь на флейте, а не ты мне, бросив играть на ней?

— А почему я должен брать тебя с собой на верховую прогулку?

Этот вопрос оказал необходимое воздействие, так как Розамонда не собиралась отказываться от задуманной поездки.

И Фред, добившись своего, почти час разучивал «Ar hyd y nos», «О горы и долины» и прочие любимые мелодии, содержавшиеся в его «Самоучителе игры на флейте», с большим рвением и неукротимой надеждой извлекая из инструмента довольно хриплые завывания.

# Глава XII

*Какую он измыслил штуку,*
*Не знал Жервез.*
***Чосер***[51]

Путь в Стоун-Корт, куда на следующее утро отправились верхом Фред и Розамонда, вел через живописные луга, разделенные живыми изгородями, которые все еще сохраняли свою пышную красоту и манили птиц коралловыми ягодами. И каждый луг выглядел по-своему для тех, кто с детства знал каждую их особенность: осененный шепчущимися деревьями пруд в конце одного, где трава была особенно густой и зеленой, а посреди другого — развесистый дуб, в тени которого трава почти не росла; пригорок с высокими ясенями; рыжий откос над заброшенным карьером, отличный фон для густых зарослей репейника; крыши и риги фермы, куда как будто не вело никакой дороги; серые ворота и забор, опоясывающий опушку соседнего леска, и ветхая лачужка, чья старая кровля словно сложена из мшистых

**[51] Примечания: 51**
Чосер Джеффри (1340 — 1400) — английский поэт, основоположник английской национальной литературы.

холмов и долин, чарующих удивительной игрой света и теней, — вырастая, мы отправляемся в дальние путешествия, чтобы увидеть такие же холмы и долины, правда, много больших размеров, но не более красивые. Все это слагается в ландшафт Средней Англии, радующий душу ее уроженцев — они гуляли здесь едва научившись ходить, а может быть, запомнили каждую подробность, стоя между колен отца, правящего неторопливо трусящей лошадью.

Однако дорога, хотя и проселочная, была превосходна, ибо Лоуик, как мы уже убедились, не был приходом с ухабистыми проселками и бедными арендаторами, а Фред и Розамонда, проехав две мили, оказались в пределах Лоуика. До Стоун-Корта оставалась еще миля, но уже через полмили они увидели дом, который словно бы не вырос в каменный дворец только потому, что с левого его бока вдруг появились хозяйственные службы и ему пришлось остаться просто добротным жилищем джентльмена-фермера. С этого расстояния он производил особенно приятное впечатление, так как группа островерхих хлебных амбаров создавала симметричное дополнение к аллее прекрасных каштанов справа.

Вскоре на кругу перед парадным крыльцом уже

можно было различить какой-то экипаж.

— Ах! — воскликнула Розамонда. — Неужели это кто-нибудь из ужасных дядюшкиных родственников?

— Ты совершенно права. Это двуколка миссис Уол — последняя желтая двуколка на свете, думается мне. Когда я вижу миссис Уол в ее двуколке, я начинаю понимать, почему желтый цвет где-то считается траурным. У этой двуколки, по-моему, более похоронный вид, чем у любого катафалка. Впрочем, миссис Уол всегда носит черный креп. Как это она умудряется, Рози? Ведь не может быть, чтобы ее родственники непрерывно умирали.

— Не имею ни малейшего представления. Она даже не евангелистка, — сказала Розамонда задумчиво, словно принадлежность к этому религиозному толку могла объяснить вечный черный креп.

— И ведь она не бедна, — добавила Розамонда после некоторого молчания.

— Еще бы! Они богаты, как ростовщики, и Уолы, и Фезерстоуны. То есть они из тех, кто скорей удавится, чем потратит лишний фартинг. И тем не менее они кружат возле дядюшки, точно вороны, и трепещут при мысли, что хоть один фунт уплывет мимо их рук. Но по-моему, он их всех

терпеть не может.

Миссис Уол, которая вызывала у своих дальних свойственников чувства, столь мало напоминающие восхищение, в это самое утро заявила (отнюдь не решительно, а тихим, ничего не выражающим голосом, словно сквозь вату), что не хотела бы, чтобы они были о ней «доброго мнения». Она напомнила, что сидит у очага собственного брата и что прежде, чем стать Джейн Уол, двадцать пять лет была Джейн Фезерстоун, а потому не может молчать, когда именем ее брата злоупотребляют те, кто не имеет на него никакого права.

— На что это ты намекаешь? — спросил мистер Фезерстоун, зажав трость между колен и поправляя парик. Он бросил на сестру проницательный взгляд и закашлялся, словно его обдало ледяным сквозняком.

Миссис Уол пришлось ждать с ответом до тех пор, пока Мэри Гарт не подала ему смягчающий сироп и приступ кашля не прошел. Поглаживая золотой набалдашник трости, мистер Фезерстоун угрюмо смотрел на огонь. Огонь пылал ярко, но лицо миссис Уол сохраняло лиловатый знобящий оттенок — лицо это с глазами-щелочками не выражало ничего, как и голос, и даже губы почти

не шевелились, когда она говорила.

— Где уж врачам вылечить такой кашель, братец. Вот и я так же кашляю, ведь я ваша сестра и по конституции и во всем остальном. Но, как я уже говорила, очень жаль, что дети миссис Винси такие распущенные.

— Пф! Ничего подобного ты не говорила. Ты сказала, что кто-то злоупотребляет моим именем.

— Да так оно и есть, недаром ведь люди говорят. Братец Соломон сказал мне, что в Мидлмарче только и разговоров, какой шалопай молодой Винси — не успел вернуться домой, а уже день и ночь в бильярд денежки просаживает.

— Чепуха! Бильярд не азартная игра, это развлечение джентльменов. Да и молодой Винси — не какой-нибудь мужлан. Вот вздумай твой сыночек Джон играть на бильярде, так был бы он дурак дураком.

— Ваш племянник Джон ни в бильярд, ни в какие другие азартные игры не играет, братец, и не проигрывает сотни фунтов, которые, если люди правду говорят, он не от папаши, не от мистера Винси получает. Он, говорят, уже много лет одни убытки терпит, хоть это никому и в голову не придет, глядя, как он роскошествует и держит открытый дом. И я слышала, что мистер

Булстрод очень осуждает миссис Винси за то, что у нее ветер в голове и детей своих она совсем избаловала.

— А мне какое дело до Булстрода? Я в его банке денег не держу.

— Да ведь миссис Булстрод родная сестра мистера Винси и все говорят, что мистер Винси ведет дело на денежки из банка, да и сами посудите, братец, когда женщине за сорок, а она вся в розовых лентах и смеется как ни попадя, тут ничего хорошего нет. Только одно дело баловать детей, а искать денежки, чтобы платить за них долги, совсем другое. А все прямо говорят, что молодой Винси занимал под свои ожидания. А уж чего он там ожидает, этого я сказать не могу. Вот мисс Гарт меня слышит, и пусть на здоровье повторяет, кому хочет. Я знаю, молодежь всегда стоит друг за друга.

— Благодарю вас за разрешение, миссис Уол, — сказала Мэри Гарт. — Но я так не люблю слушать сплетни, что повторять их, конечно же, не стану.

Мистер Фезерстоун погладил набалдашник трости и испустил короткий судорожный смешок, столь же искренний, как улыбка, с какой старый любитель виста смотрит на скверные карты, которые ему сдали. По-прежнему не отводя глаз

от огня, он сказал:

— А кто это утверждает, что Фреду Винси нечего ожидать? Такому молодцу, как он?

Миссис Уол ответила не сразу, а когда ответила, ее голос словно увлажнился слезами, хотя лицо осталось сухим.

— Так или нет, братец, а мне и братцу Соломону горько слышать, как вашим именем злоупотребляют, раз уж болезнь у вас такая, что может унести вас в одночасье, а люди, которые такие же Фезерстоуны, как зазывалы на ярмарке, в открытую рассчитывают, что ваше состояние перейдет к ним. А я-то, ваша родная сестра, и Соломон, ваш родной брат! Так для чего же тогда всевышний даровал человекам семьи? — Вот тут миссис Уол пролила слезы, хотя и в умеренном количестве.

— Говори прямо, Джейн! — сказал мистер Фезерстоун, повернувшись к ней. — Ты намекаешь, что Фред Винси занял у кого-то деньги под залог того, что он якобы должен получить по моему завещанию?

— Этого, братец, я не говорила (голос миссис Уол вновь стал сухим и бесцветным). Так мне сказал братец Соломон вчера вечером, когда заехал на обратном пути с рынка, чтобы посоветовать, как мне быть с прошлогодней пшеницей: ведь я же

вдова, а сыночку моему Джону всего двадцать три года, хотя серьезен он не по летам. А он слышал это от самых надежных людей — и не от одного, а от многих.

— Бабьи сплетни! Я ни слову из этого не верю. Одни выдумки. Подойди-ка к окну, девочка. Как будто кто-то едет верхом. Не доктор ли?

— Только не мной это выдумано, братец, и не Соломоном. Ведь он-то, каков бы он ни был — а странности за ним водятся, не стану спорить, — он-то составил завещание и разделил свое имущество поровну между родственниками, с которыми он в дружбе. Хотя, на мой взгляд, бывают случаи, когда одних следует отличать перед другими. Но Соломон из своих намерений тайны не делает.

— Ну и дурак! — с трудом выговорил мистер Фезерстоун и разразился таким кашлем, что Мэри Гарт бросилась к нему, так и не узнав, кто приехал на лошадях, чьи копыта процокали под окном к крыльцу.

Мистер Фезерстоун еще кашлял, когда в комнату вошла Розамонда, которая в амазонке выглядела даже грациознее, чем обычно. Она церемонно поклонилась миссис Уол, а та произнесла сухо:

— Как поживаете, мисс?

Розамонда с улыбкой кивнула Мэри и осталась стоять, дожидаясь, чтобы дядя справился со своим кашлем и заметил ее.

— Ну-ну, мисс, — сказал он наконец, — очень ты разрумянилась. А где Фред?

— Повел лошадей на конюшню. Он сейчас придет.

— Садись-ка, садись. Миссис Уол, не пора ли тебе ехать?

Даже те соседи, которые прозвали Питера Фезерстоуна старым лисом, не могли бы поставить ему в упрек лицемерную вежливость, и его сестра давно привыкла к тому, что с родственниками он обходится совсем уж бесцеремонно. Впрочем, по ее убеждению, всевышний, даруя человекам семьи, предоставил им полную свободу от взаимной любезности. Она медленно встала без малейших признаков досады и произнесла обычным своим приглушенным и бесцветным голосом:

— Братец, желаю, чтобы новый доктор сумел вам помочь. Соломон говорит, что его очень хвалят. И уж конечно, я уповаю, что ваш час еще далек. А ухаживать за вами заботливей вашей родной сестры и ваших родных племянниц ни-

кто не будет, скажите только слово. И Ребекка, и Джоанна, и Элизабет — вы ведь сами знаете.

— Как же, как же, помню! Сама увидишь, что я их не забыл, — все трое темноволосые и одна другой некрасивее. Им ведь деньги пригодятся, э? В нашем роду красивых женщин никогда не бывало, но у Фезерстоунов всегда водились деньги, и у Уолов тоже. Да, у Уола деньги водились. Солидный человек был Уол. Да-да, деньги — хорошее яичко, и если они у тебя есть, так оставь их в теплом гнездышке. Счастливого пути, миссис Уол.

Мистер Фезерстоун обеими руками потянул свой парик, словно намереваясь закрыть уши, и его сестра удалилась, размышляя над его последними словами, загадочными, как изречение оракула. Как ни опасалась она молодых Винси и Мэри Гарт, под всеми наносами в ее душе пряталось убеждение, что ее брат Питер Фезерстоун ни в коем случае не завещает свою недвижимость помимо кровных родственников: а то зачем бы всевышний, не послав ему потомства, прибрал обеих его жен, когда он столько нажил на магнезии и еще на всякой всячине, да так, что люди только диву давались? И зачем тогда в Лоуике есть приходская церковь, где Уолы и Паудреллы из поколения в поколение делили одну скамью,

а Фезерстоуны сидели на соседней, если на следующее же воскресенье после кончины ее братца Питера люди узнают, что его родня осталась ни при чем? Человеческое сознание не способно воспринимать нравственный хаос: подобный возмутительный исход был просто немыслим. Но как часто мы страшимся того, что просто немыслимо!

Когда вошел Фред, старик посмотрел на него с веселой искоркой в глазах, которую молодой человек нередко имел основания истолковывать как одобрение его щеголеватому виду.

— Вы, девицы, подите себе, — сказал мистер Фезерстоун. — Мне надо поговорить с Фредом.

— Пойдем ко мне в комнату, Розамонда. Там, правда, холодно, но немножко ведь ты потерпишь, — сказала Мэри.

Девушки не только были знакомы с детства, но и учились в одном пансионе (Мэри, кроме того, занималась там с младшими девочками), а потому их связывали общие воспоминания и они любили поболтать наедине. Собственно говоря, отчасти из-за этого tete-a-tete[52] Розамонда и хотела поехать в Стоун-Корт.

---

**[52] Примечания: 52**
Разговор наедине (*фр.*).

Мистер Фезерстоун молча ждал, пока дверь за ними не затворилась. Он смотрел на Фреда все с той же искоркой в глазах и пожевывал губами, как у него было в обыкновении. А заговорил он тихим голосом, который больше подошел бы доносчику, намекающему на то, что его можно купить, чем обиженному старшему родственнику. Отступления от правил общественной морали не вызывали у него нравственного негодования, даже когда он сам мог стать их жертвой. Ему представлялось совершенно в порядке вещей, что другие хотят поживиться за его счет, да только он-то им не по зубам.

— Так значит, сударь, ты платишь десять процентов за ссуду, которую обязался вернуть, заложив мою землю, когда я отойду к праотцам, э? Ну, скажем, ты дал мне год жизни. Но ведь у меня еще есть время изменить завещание.

Фред покраснел. Денег на подобных условиях он по понятным причинам не занимал, но действительно говорил — и, возможно, с куда большей уверенностью, чем ему помнилось, — о том, что сумеет расплатиться с нынешними своими долгами, получив землю Фезерстоуна.

— Я не понимаю, что вы имеете в виду, сэр. Никаких денег я никогда под подобный ненадеж-

ный залог не занимал. Объясните мне, будьте так добры.

— Нет уж, сударь, это ты объясняй. У меня ведь есть еще время изменить завещание, вот так-то. Я в здравом уме: могу без счетов вычислить сложные проценты и назвать по фамилии всех дураков не хуже, чем двадцать лет назад. Да и какого черта? Мне еще нет восьмидесяти. Но вот что я тебе скажу: ты давай-ка возражай.

— Но я уже возразил, сэр, — ответил Фред с некоторым раздражением, забывая, что его дядя в своей речи не делал различия между возражением и опровержением, хотя смысла этих понятий отнюдь не путал и про себя нередко удивлялся, сколько дураков принимают его голословные утверждения за доказательства. — Но готов возразить еще раз: это глупая выдумка, и ничего больше.

— Э-э, нет! Ты мне документик подай. Рассказывал-то надежный человек.

— Так назовите его, и пусть он укажет, у кого я занял деньги. Тогда я смогу опровергнуть эту ложь.

— Человек, скажу я тебе, куда как надежный — без его ведома в Мидлмарче мало что случается. Это твой распрекрасный, благочестивый дядя. Ну,

так как же? — Тут мистер Фезерстоун содрогнулся от внутреннего смеха.

— Мистер Булстрод?

— А то кто же?

— Ну, так эта сплетня выросла из каких-нибудь его нравоучительных замечаний по моему адресу. Или вам сказали, что он назвал человека, который ссудил меня деньгами?

— Если такой человек есть, так Булстрод знает, кто он, можешь быть спокоен. А если ты, скажем, только пытался занять, а тебе не дали, Булстрод и про это знал бы. Принеси мне от Булстрода писульку, что он не верит, будто ты обязался заплатить свои долги моей землей. Ну, так как же?

На лице мистера Фезерстоуна одна гримаса сменяла другую: он доказал здравость своего ума и твердость памяти и теперь давал выход безмолвному торжеству.

Фред понял, что попал в весьма неприятное положение.

— Вы, наверное, шутите, сэр. Мистер Булстрод, как и всякий человек, может верить во многое такое, что на самом деле вовсе и не правда, а меня он недолюбливает. Мне нетрудно добиться, чтобы он написал, что не знает никаких фактов, подтверждающих сплетню, которая до вас дошла,

хоть это и может повести к неприятностям. Но как же я потребую, чтобы он написал, чему про меня верит, а чему не верит! — Фред перевел дух и добавил в расчете на дядюшкино тщеславие: — Джентльмены таких вопросов не задают.

Но его маневр оказался бесполезным.

— Понимаю, понимаю. Ты больше боишься обидеть Булстрода, чем меня. А что он такое? У него в наших краях нет ни клочка земли. Легкую наживу ему подавай! Чуть дьявол перестанет ему подсоблять, так от него пустое место останется. Вот и вся цена его благочестию: господа хочет в долю взять. Ну, уж это — шалишь! Когда я в церковь хаживал, одно я понял раз и навсегда: господь, он к земле привержен. Обещает землю и дарует землю, и кому ниспосылает богатство, так зерном и скотом. А ты вот на другую сторону перекинулся, и Булстрод с легкой наживой тебе больше по вкусу, чем Фезерстоун и земля.

— Прошу прощения, сэр, — сказал Фред. Он встал со стула и, повернувшись спиной к камину, пощелкивал хлыстом по сапогу. — Ни Булстрод, ни легкая нажива мне вовсе не по вкусу.

Он говорил угрюмо, понимая, что его слова бесполезны.

— Ну-ну, без меня ты, как вижу, легко обой-

дешься, — начал мистер Фезерстоун, которому в душе очень не хотелось, чтобы Фред повел себя независимо. — Тебе ни земли не надо, чтобы помещиком зажить, чем в попах-то голодать, ни сотни фунтов в задаточек. Мне-то все едино. Я хоть пять приписок к завещанию сделаю, а банкноты свои приберегу на черный день. Мне-то все едино.

Фред снова покраснел. Фезерстоун редко дарил ему деньги, и лишиться ста фунтов сейчас ему было куда обиднее, чем земли в отдаленном будущем.

— Вы напрасно считаете меня неблагодарным, сэр. И к вашим добрым намерениям по отношению ко мне я отношусь с должным уважением.

— Вот и хорошо. Так докажи это. Принеси мне письмо от Булстрода, что он не верит, будто ты хвастал и обещал уплатить свои долги моей землицей, а тогда, если ты попал в какую-нибудь переделку, мы посмотрим, не смогу ли я тебя выручить. Ну, так как же? По рукам? А теперь поддержи меня, я попробую пройтись по комнате.

Фред, как ни был он раздосадован, невольно пожалел никем не любимого, никем не уважаемого старика, который еле передвигал распухшие от водянки ноги и выглядел совсем беспомощным.

Поддерживая дядю под локоть, он думал, что не хотел бы стать таким дряхлым и больным, и терпеливо выслушивал обычную воркотню, сначала у окна — о цесарках и о флюгере, а затем перед немногочисленными книжными полками, главное украшение которых составляли Иосиф Флавий[53], Колпеппер, «Мессиада» Клопштока в кожаных переплетах и несколько номеров «Журнала Джентльмена».

— Прочти мне названия книжек. Ну-ка, ну-ка! Ты ведь обучался в университете.

Фред прочел заглавия.

— Так к чему девочке еще книги? Для чего ты ей их возишь?

— Они доставляют ей удовольствие, сэр. Она любит читать.

— Слишком уж любит, — сварливо заметил мистер Фезерстоун. — Все предлагала почитать мне, когда сидела со мной. Но я этому положил конец. Почитает вслух газету, ну и довольно для одного дня. А чтобы она про себя читала, так я этого терпеть не могу. Так смотри, больше ей

---

**[53] Примечания: 53**

*Иосиф Флавий* (37 — 95) — иудейский историк. *Колпеппер Томас* (1635 — 1689) — английский политический деятель, автор трактата о ростовщичестве. *Клопшток Фридрих Готлиб* (1724 — 1803) — немецкий поэт; его наиболее известное произведение — религиозная поэма «Мессиада».

книг не вози, слышишь?

— Слышу, сэр. — Фред не в первый раз получал это приказание и продолжал втайне его нарушать.

— Позвони-ка, — распорядился мистер Фезерстоун. — Пусть девочка придет.

Тем временем Розамонда и Мэри успели сказать друг другу гораздо больше, чем Фред и мистер Фезерстоун. Они так и не сели, а стояли у туалетного столика возле окна. Розамонда сняла шляпку, разгладила вуаль и кончиками пальцев поправляла волосы — не белобрысые и не рыжеватые, а золотистые, как у младенца. Мэри Гарт казалась совсем некрасивой между этими двумя нимфами — одной в зеркале и другой перед ним, — которые глядели друг на друга глазами небесной синевы, такой глубокой, что восхищенные наблюдатели могли прочесть в них самые неземные мысли, и достаточно глубокой, чтобы скрыть истинный их смысл, если он был более земным. В Мидлмарче лишь двое-трое детей могли бы потягаться с Розамондой белокуростью волос, а облегающая амазонка подчеркивала мягкость линий ее стройной фигуры. Недаром чуть ли не все мидлмарчские мужчины за исключением ее братьев утверждали, что мисс Винси — лучшая девуш-

ка в мире, а некоторые называли ее ангелом. Мэри Гарт, наоборот, выглядела самой обычной грешницей — смуглая кожа, вьющиеся темные, но жесткие и непослушные волосы, маленький рост. А сказать, что она была зато наделена всеми возможными добродетелями, значило бы уклониться от истины. Некрасивость, точно так же, как красота, несет с собой свои соблазны и пороки. Ей часто сопутствует притворная кротость или же непритворное озлобление во всем его безобразии. Ведь когда тебя сравнивают с красавицей подругой и называют дурнушкой, этот эпитет, несмотря на всю его справедливость и точность, вызывает далеко не самые лучшие чувства. Во всяком случае, к двадцати двум годам Мэри еще не приобрела того безупречного здравого смысла и тех превосходных принципов, какими рекомендуется обзаводиться девушкам, не столь щедро взысканным судьбой, словно эти качества можно получить по желанию в надлежащей пропорции с примесью покорности судьбе. Живой ум сочетался в ней с насмешливой горечью, которая постоянно обновлялась и никогда полностью не исчезала, хотя иногда и смягчалась благодарностью к тем, кто не учил ее быть довольной своим жребием, а просто

старался сделать ей что-нибудь приятное. Приближение поры женского расцвета сгладило ее некрасивость, в которой, впрочем, не было ничего отталкивающего или болезненного, — во все времена и на всех широтах у матерей человеческих под головным убором, иногда изящным, а иногда и нет, можно было увидеть такие лица. Рембрандт с удовольствием написал бы ее, и эти крупные черты дышали бы на полотне умом и искренностью. Потому что искренность, правдивость и справедливость были главными душевными свойствами Мэри — она не старалась создавать иллюзий и не питала их на свой счет, а в хорошем настроении умела даже посмеяться над собой. Так и теперь, увидев свое отражение в зеркале возле отражения Розамонды, она сказала со смехом:

— Какая я рядом с тобой чернушка, Рози! Должна признаться, ты мне очень не к лицу.

— Ах, нет! О твоей внешности никто вовсе не думает, Мэри. Ты всегда так благоразумна и обязательна. Да и какое значение имеет красота! — воскликнула Розамонда, обернувшись к Мэри, и тотчас скосила глаза на свою шейку, открывшуюся теперь ее взгляду.

— То есть моя красота, хочешь ты сказать, — от-

ветила Мэри иронически.

«Бедная Мэри! — подумала Розамонда. — Как ни старайся говорить ей приятное, она все равно обижается».

А вслух она спросила:

— Что ты поделывала последнее время?

— Я? Приглядывала за хозяйством, наливала мягчительный сироп, притворялась заботливой и довольной, а кроме того, продолжала учиться скверно думать о всех и каждом.

— Да, тебе здесь живется тяжело.

— Нет, — резко сказала Мэри, вскинув голову. — По-моему, мне живется куда легче, чем вашей мисс Морган.

— Да, но мисс Морган такая неинтересная и немолодая.

— Наверное, самой себе она интересна, и я не так уж уверена, что возраст приносит облегчение от забот.

— Пожалуй, — сказала Розамонда задумчиво. — Даже непонятно, чем существуют люди, когда у них нет ничего впереди. Ну, конечно, всегда можно найти опору в религии. Впрочем, — и на ее щеках появились ямочки, — тебя, Мэри, такая судьба вряд ли ждет. Тебе ведь могут сделать предложение.

— А ты от кого-нибудь слышала о подобном намерении?

— Ну что ты! Но джентльмен, который видит тебя чуть ли не каждый день, наверное, может в тебя влюбиться.

Мэри слегка переменилась в лице — главным образом из-за твердой решимости в лице не меняться.

— А от этого всегда влюбляются? — спросила она небрежно. — По-моему, это лучший способ невзлюбить друг друга.

— Нет, если это интересные и приятные люди. А я слышала, что мистер Лидгейт как раз такой человек.

— Ах, мистер Лидгейт! — произнесла Мэри с полным равнодушием. — Тебе что-то хочется про него разузнать, — добавила она, не собираясь отвечать обиняками на обиняки Розамонды.

— Только нравится ли он тебе.

— Об этом и речи нет. Чтобы мне понравиться, надо быть хоть немного любезным. Я не слишком великодушна и не питаю особой симпатии к людям, которые говорят со мной так, словно не видят меня.

— Он такой гордый? — спросила Розамонда с явным удовлетворением. — Ты знаешь, он из

очень хорошей семьи.

— Нет, на эту причину он не ссылался.

— Мэри! Какая ты странная! Но как он выглядит? Опиши мне его.

— Что можно описать словами? Если хочешь, я перечислю его отличительные черты: широкие брови, темные глаза, прямой нос, густые темные волосы, большие белые руки и… что же еще?.. Ах да! Восхитительный носовой платок из тончайшего полотна. Но ты сама его увидишь. Ты же знаешь, что он приезжает примерно в этом часу.

Розамонда чуть-чуть покраснела и задумчиво произнесла:

— А мне нравятся гордые манеры. Терпеть не могу молодых людей, которые трещат как сороки.

— Я ведь не говорила, что мистер Лидгейт держится гордо, но, как постоянно повторяла наша мадемуазель, il y en a pour tous les goûts[54]. И если кому-нибудь подобный род самодовольства может прийтись по вкусу, так это тебе, Рози.

— Гордость — это не самодовольство. Вот Фред, он правда самодовольный.

— Если бы о нем никто ничего хуже сказать

---

**[54] Примечания: 54**
Они бывают на всякий вкус (*фр.*).

не мог! Ему надо бы последить за собой. Миссис Уол говорила дяде, что Фред страдает легкомыслием. — Мэри поддалась внезапному порыву: подумав, она, конечно, промолчала бы. Но слово «легкомыслие» внушало ей смутную тревогу, и она надеялась, что ответ Розамонды ее успокоит. Однако о том, в чем миссис Уол прямо его обвинила, она упоминать не стала.

— О, Фред просто ужасен! — сказала Розамонда, которая, конечно, не употребила бы такого слова, разговаривай она с кем-нибудь другим, кроме Мэри.

— Как так — ужасен?

— Он ничего не делает, постоянно сердит папу и говорит, что не хочет быть священником.

— По-моему, Фред совершенно прав.

— Как ты можешь говорить, что он прав, Мэри? Где твое уважение к религии?

— Он не подходит для такого рода деятельности.

— Но он должен был бы для нее подходить!

— Значит, он не таков, каким должен был бы быть. Мне известны и другие люди точно в таком же положении.

— И все их осуждают. Я бы не хотела выйти за священника, однако священники необходимы.

— Отсюда еще не следует, что эту необходимость обязан восполнять Фред.

— Но ведь папа столько потратил на его образование! А вдруг ему не достанется никакого наследства? Ты только вообрази!

— Ну, это мне вообразить нетрудно, — сухо ответила Мэри.

— В таком случае не понимаю, как ты можешь защищать Фреда, — не отступала Розамонда.

— Я его вовсе не защищаю, — сказала Мэри со смехом. — А вот любой приход я от такого священника постаралась бы защитить.

— Но само собой разумеется, он бы вел себя иначе, если бы стал священником.

— Да, постоянно лицемерил бы, а он этому пока не научился.

— С тобой невозможно говорить, Мэри. Ты всегда становишься на сторону Фреда.

— А почему бы и нет? — вспылила Мэри. — Он тоже стал бы на мою. Он — единственный человек, который готов побеспокоиться ради меня.

— Ты ставишь меня в очень неловкое положение, Мэри, — кротко вздохнула Розамонда. — Но маме я этого ни за что не скажу.

— Чего ты ей не скажешь? — гневно спросила Мэри.

— Прошу тебя, Мэри, успокойся, — ответила Розамонда все так же кротко.

— Если твоя маменька боится, что Фред сделает мне предложение, можешь сообщить ей, что я ему откажу. Но насколько мне известно, у него таких намерений нет. Ни о чем подобном он со мной никогда не говорил.

— Мэри, ты такая вспыльчивая!

— А ты кого угодно способна вывести из себя.

— Я? В чем ты можешь меня упрекнуть?

— Вот безупречные люди всех из себя и выводят… А, звонят! Нам лучше пойти вниз.

— Я не хотела с тобой ссориться, — сказала Розамонда, надевая шляпку.

— Ссориться? Чепуха! Мы и не думали ссориться. Если нельзя иногда рассердиться, то какой смысл быть друзьями?

— Мне никому не говорить того, что ты сказала?

— Как хочешь. Я меньше всего боюсь, что кто-нибудь перескажет мои слова. Но идем же.

Мистер Лидгейт на этот раз приехал позднее обычного, но гости его дождались, потому что Фезерстоун попросил Розамонду спеть ему, а она, докончив «Родину, милую родину» (которую терпеть не могла), сама предупредительно

спросила, не хочет ли он послушать вторую свою любимую песню — «Струись, прозрачная река». Жестокосердый старый эгоист считал, что чувствительные песни как нельзя лучше подходят для девушек, а прекрасные чувства — для песен.

Мистер Фезерстоун все еще расхваливал последнюю песню и уверял «девочку», что голосок у нее звонкий, как у дрозда, когда под окном процокали копыта лошади мистера Лидгейта.

Он без всякого удовольствия предвкушал обычный неприятный разговор с дряхлым пациентом, который упорно верил, что лекарства обязательно «поставят его на ноги», лишь бы доктор умел лечить, — и это унылое ожидание вкупе с печальным убеждением, что от Мидлмарча вообще нельзя ожидать ничего хорошего, сделали его особенно восприимчивым к тому обворожительному видению, каким предстала перед ним Розамонда, «моя племянница», как поспешил отрекомендовать ее мистер Фезерстоун, хотя называть так Мэри Гарт он не считал нужным. Розамонда держалась очаровательно, и Лидгейт заметил все: как деликатно она загладила бестактность старика и уклонилась от его похвал со спокойной серьезностью, не показав ямочек, которые, однако, заиграли на ее щеках, когда

она обернулась к Мэри с таким доброжелательным интересом, что Лидгейт, бросив на Мэри быстрый, но гораздо более внимательный, чем когда-либо прежде, взгляд, успел увидеть в глазах Розамонды неизъяснимую доброту. Однако Мэри по какой-то причине казалась сердитой.

— Мисс Рози мне пела, доктор. Вы же мне этого не воспретите, э? — сказал мистер Фезерстоун. — Ее пение куда приятней ваших снадобий.

— Я даже не заметила, как пролетело время, — сказала Розамонда, вставая и беря шляпку, которую сняла перед тем, как петь, так что ее прелестная головка являла все свое совершенство, точно цветок на белом стебле. — Фред, нам пора.

— Так едем, — ответил Фред. У него были причины для дурного настроения, и ему не терпелось поскорее покинуть этот дом.

— Значит, мисс Винси — музыкантша? — сказал Лидгейт, провожая ее взглядом. (Розамонда каждым своим нервом ощущала, что на нее смотрят. Природная актриса на амплуа, подсказанном ее physique[55], она играла самое себя, и так хорошо, что даже не подозревала, насколько это и есть ее подлинная натура.)

---

**[55] Примечания: 55**
Здесь: наружность (*фр.*).

— Уж конечно, лучшая в Мидлмарче, — объявил мистер Фезерстоун. — Там ей никто и в подметки не годится, э, Фред? Похвали-ка сестру.

— Боюсь, сэр, я заинтересованный свидетель и мои показания ничего не стоят.

— Лучшая в Мидлмарче — это еще не так много, дядюшка, — сказала Розамонда с чарующей улыбкой и повернулась к столику, на котором лежал ее хлыст.

Но Лидгейт успел взять хлыст первым и подал его ей. Она наклонила голову в знак благодарности и посмотрела на него, а так как он, разумеется, смотрел на нее, они обменялись тем особым нежданным взглядом, который внезапен, как солнечный луч, рассеивающий туман. Мне кажется, Лидгейт чуть побледнел, но Розамонда залилась румянцем и ощутила непонятную растерянность. После этого ей действительно захотелось поскорее уехать, и она даже не расслышала, какие глупости говорил ее дядя, когда она подошла попрощаться с ним.

Однако Розамонда заранее предвкушала именно этот исход — такое взаимное впечатление, которое зовется любовью с первого взгляда. Едва общество Мидлмарча получило столь важное новое пополнение, она постоянно рисовала себе

картины будущего, начало которому должна была положить примерно такая сцена. Незнакомец, спасшийся на обломке мачты после кораблекрушения или явившийся в сопровождении носильщика и саквояжей, всегда таит в себе обаяние для девственной души, покорить которую оказались не властны привычные достоинства давних воздыхателей. Вокруг незнакомца сплетались и мечты Розамонды — героем ее романа был поклонник и жених не из Мидлмарча и с положением более высоким, чем ее собственное. По правде говоря, в последнее время от него уже требовалось родство по крайней мере с баронетом. И вот теперь, когда встреча с незнакомцем произошла и оказалась куда прекраснее, чем в предвкушении, Розамонда твердо уверовала, что свершилось величайшее событие в ее жизни. Она усмотрела в своих чувствах симптомы пробуждающейся любви, и не сомневалась, что мистер Лидгейт сразу влюбился в нее. Правда, влюбляются обычно на балах, но почему нельзя влюбиться утром, когда цвет лица особенно свеж? Розамонда, хотя она была не старше Мэри, давно привыкла внушать любовь с первого взгляда, однако сама оставалась равнодушной, одинаково критически взирая и на зеленого

юнца, и на пожилого холостяка. И вдруг явился мистер Лидгейт, совершенный ее идеал — чужой в Мидлмарче, с красивой внешностью, говорящей о благородном происхождении, с семейными связями, сулящими доступ в круги титулованной знати, эти небеса богатого мещанства, одаренный талантом: короче говоря, человек, которого особенно приятно покорить. К тому же он затронул прежде безмолвные струны ее натуры, придав ее жизни подлинный интерес взамен прежних воображаемых «а вдруг!».

Вот почему, возвращаясь домой, брат и сестра были погружены в свои мысли и почти не разговаривали. Розамонда, хотя основание ее воздушного замка было, как всегда, почти призрачным, обладала таким дотошным реалистичным воображением, что выглядел он почти как настоящий. Они не проехали и мили, а она уже была замужем, обзавелась необходимым гардеробом, выбрала дом в Мидлмарче и собиралась погостить в поместьях высокородных мужниных родичей, чье аристократическое общество поможет ей отполировать манеры, приобретенные в пансионе, так что она будет готова к еще более высокому положению, которое смутно рисовалось в розовом тумане будущего. Никакие корыстные

или другие низменные соображения не участвовали в создании этих картин: Розамонду влекла только так называемая утонченность, а вовсе не деньги, эту утонченность оплачивающие.

Фреда, наоборот, терзали тревожные мысли, и даже обычный неунывающий оптимизм не приходил к нему на выручку. Он не видел способа уклониться от выполнения нелепого требования старика Фезерстоуна, не вызвав последствий, еще более для него неприятных. Отец, и без того им недовольный, рассердится еще сильнее, если из-за него между их семьей и Булстродами наступит новое охлаждение. С другой стороны, ему даже думать не хотелось о том, чтобы самому пойти объясняться с дядей Булстродом, тем более что, разгоряченный вином, он, возможно, и правда наговорил всяких глупостей о фезерстоуновском наследстве, а сплетни их еще преувеличили. Фред понимал, что выглядит он довольно жалко — сначала расхвастался о наследстве, которого ждет от старого скряги, а затем по приказанию этого скряги ходит и выпрашивает оправдательные документы… Да, но наследство! И у него действительно есть основания рассчитывать… Иначе что же ему делать? И еще этот проклятый долг, а старик Фезерстоун почти обещал дать

ему денег. И все это до того мизерно! Долг совсем маленький, и наследство в конечном счете не так уж велико. Фред постыдился бы сознаться некоторым из своих знакомых, как незначительны его шалости. Подобные размышления, естественно, вызвали в нем мизантропическую горечь. Родиться сыном мидлмарчского фабриканта без каких-либо особых надежд на будущее, тогда как Мейнуоринг и Вьен… Да, жизнь действительно скверная штука, если пылкому молодому человеку, приверженному всем радостям жизни, в сущности, не на что надеяться.

Фреду не приходило в голову, что Булстрода приплел к этой истории сам Фезерстоун. Впрочем, это ничего не изменило бы. Он ясно видел, что старик хочет доказать свою власть, помучив его немного, а возможно, и поссорить его с Булстродом. Фред воображал, будто видит своего дядю Фезерстоуна насквозь, однако многое из того, что он усматривал в душе старика, было просто отражением его собственных склонностей. Познание чужой души — задача трудная, и она не по плечу молодым джентльменам, видящим мир через призму собственных желаний.

Размышлял же Фред главным образом об одном: рассказать все отцу или постараться уладить де-

ло без его ведома. Насплетничала на него скорее всего миссис Уол. Если Мэри Гарт сообщила Розамонде россказни миссис Уол, все тотчас же станет известно отцу и разговора с ним не избежать. Он придержал лошадь и спросил Розамонду:

— Рози, а Мэри не сказала тебе, миссис Уол про меня что-нибудь говорила?

— Да, говорила.

— А что?

— Что ты страдаешь легкомыслием.

— И все?

— По-моему, и этого достаточно, Фред.

— Но ты уверена, что она больше ничего не говорила?

— Мэри сказала только это. Но, право же, Фред, тебе должно быть стыдно.

— А, чепуха! Не читай мне нотаций! А что Мэри еще говорила?

— Я не обязана тебе рассказывать. Тебе так интересно, что говорит Мэри, а мне ты очень грубо не даешь говорить.

— Конечно, мне интересно, что говорит Мэри. Она лучше всех девушек, каких я знаю.

— Вот уж не думала, что в нее можно влюбиться.

— А откуда тебе знать, как влюбляются мужчи-

ны! Девицам это неизвестно.

— Во всяком случае, послушай моего совета, Фред, и не влюбляйся в нее. Она говорит, что не выйдет за тебя, если ты сделаешь ей предложение.

— Ну, она могла бы подождать, пока я его сделаю.

— Я знала, Фред, что тебя это заденет.

— Ничего подобного! И она бы так не сказала, если бы ты ее на это не вызвала.

Когда они подъехали к дому, Фред решил, что коротко расскажет обо всем отцу и, может быть, тот возьмет на себя неприятную обязанность объясниться с Булстродом.

# Книга вторая
# Старость и юность

## Глава XIII

***Первый джентльмен***
*...Ваш человек,*
*Как распознать его? Из лучших он,*
*Иль плащ хорош, а сам под ним он плох?*
*Святой иль плут, паломник иль ханжа?*
***Второй джентльмен***
*Ответьте, как распознаете вы*
*Достоинства неисчислимых книг,*
*Наследье всех времен? Не проще ль вам*
*По переплетам их сортировать?*
*Телячья кожа, бархат и сафьян*
*Не хуже будут хитрых ярлычков,*
*Придуманных для сортировки книг,*
*Никем не читанных.*

После разговора с Фредом мистер Винси решил заехать в банк к половине второго, когда у Булстрода обычно никого не бывало, и побеседовать с ним в уединении его кабинета. Однако на сей раз у банкира сидел посетитель, который явился в час, но вряд ли должен был скоро удалиться, так

как мистер Булстрод, судя по всему, собирался сказать ему очень многое. Речь банкира при всей своей гладкости отличалась многословием, и к тому же он часто прерывал ее многозначительными короткими паузами. Не думайте, что его болезненный вид объяснялся желтизной кожи, как у смуглых брюнетов. Кожа у него была просто бледная, жидкие, подернутые сединой волосы — каштановые, глаза — светло-серые, а лоб — высокий. Шумные люди называли его приглушенный голос шепотом и порой намекали, что так говорят только те, кому есть что скрывать, хотя неясно, почему человек, если он не умеряет своего громкого голоса, обязательно должен быть открытым и искренним, — в Святом Писании, кажется, нигде не указано, будто вместилищем прямоты служат легкие. Кроме того, мистер Булстрод имел манеру вежливо наклоняться к говорящему и вперять в него внимательный взгляд, а потому тем, кто, по их собственному мнению, излагал чрезвычайно важные вещи, начинало казаться, что он совершенно с ними согласен. Людям же, которые не считали себя оракулами, не нравилось чувствовать на себе лучи этого нравственного фонаря. Если ваш погреб не внушает вам гордости, вы не почувствуете

ни малейшего удовольствия, когда ваш гость начнет с видом знатока рассматривать свою рюмку на свет. Похвала приносит радость, только когда она заслуженна. А потому внимательный взгляд мистера Булстрода не нравился мытарям и грешникам Мидлмарча. Одни объясняли эту его привычку тем, что он фарисей, а другие — его принадлежностью к евангелическому толку. Более дотошные спрашивали, кто его отец и дед, добавляя, что двадцать пять лет тому назад в Мидлмарче никто и слыхом не слыхал ни о каких Булстродах. Впрочем, нынешний его посетитель — Лидгейт — не обращал на испытующий взгляд ни малейшего внимания, а просто заключил, что здоровье банкира оставляет желать лучшего и что он живет напряженной внутренней жизнью, чуждаясь материальных удовольствий.

— Я сочту себя чрезвычайно вам обязанным, мистер Лидгейт, если вы время от времени будете заглядывать ко мне сюда, — сказал банкир после краткой паузы. — Если, как смею надеяться, я буду иметь честь найти в вас деятельного споспешника в управлении больницей, столь важное дело неизбежно породит множество вопросов, которые лучше будет обсуждать приватно. Касательно же новой больницы, уже почти

достроенной, я обдумаю вашу рекомендацию предназначить ее для лечения одних только горячек. Решение зависит от меня, ибо лорд Медликоут, хотя и предоставил для постройки землю и строительный материал, сам заниматься больницей не склонен.

— Для такого провинциального города трудно найти что-то столь многообещающее, — сказал Лидгейт. — Прекрасная новая больница, отданная под лечение горячек, может при сохранении старой послужить основой для создания медицинского училища после того, как мы добьемся нужных медицинских реформ. А что полезнее для медицинского образования, чем открытие таких училищ по всей стране? Человек, родившийся в провинции, если он хоть сколько-нибудь наделен общественным духом, обязан по мере сил противостоять соблазнам Лондона, притягивающего к себе все, что хотя бы чуть-чуть поднимается над посредственностью. Ведь в провинции всегда можно найти более свободное и обширное, если и не столь богатое поле деятельности.

К природным дарам Лидгейта следует причислить голос — обычно низкий и звучный, но способный в нужную минуту стать тихим и ласковым. В его манере держаться чувствовалась

независимость, бесстрашное упование на успех, вера в собственные силы и настойчивость, которая укреплялась презрением к мелким помехам и соблазнам, впрочем, на опыте еще не изведанным. Однако эта гордая прямота смягчалась обаятельной доброжелательностью. Возможно, мистеру Булстроду нравилось это различие в их голосах и манере держаться. И несомненно, ему, как и Розамонде, мистер Лидгейт особенно нравился потому, что был в Мидлмарче чужим. С новым человеком можно испробовать столько нового! И даже попытаться самому стать лучше.

— Я буду очень рад, если смогу предоставить больше простора для вашего рвения, — ответил мистер Булстрод. — То есть поручить вам управление моей новой больницей при условии, что не обнаружится ничего, могущего этому воспрепятствовать, ибо я твердо решил, что столь важное предприятие не следует отдавать на произвол наших двух врачей. Более того, я склонен рассматривать ваш приезд сюда как благой знак, что на моих усилиях, которые до сих пор встречали столько препон, почиет благословение. В отношении старой больницы мы уже сделали первый, но важный шаг — добившись вашего избрания, имею я в виду. И теперь, надеюсь, вы не

побоитесь навлечь на себя зависть и неприязнь ваших собратьев по профессии, открыто показав себя сторонником реформ.

— Не стану утверждать, что я особенно храбр, — с улыбкой ответил Лидгейт, — но, признаюсь, мне нравится вступать в бой, и я был бы плохим врачом, если бы не верил, что и на поприще медицины, как и на любом другом, можно найти и ввести новые, лучшие методы.

— В Мидлмарче, любезный сэр, ваша профессия не вызывает большого уважения, — сказал банкир. — Я имею в виду знания и искусство наших медиков, а не их положение в обществе — почти все они находятся в родстве с самыми почтенными семьями города. Мое собственное слабое здоровье вынуждало меня прибегать к тем способам облегчения недугов, которые божественное милосердие предоставило в наше распоряжение. Я обращался к светилам в столице и по горькому опыту знаю, сколь отсталы методы лечения у нас, в провинциальной глуши.

— Да, при наших нынешних медицинских правилах и образовании приходится удовлетворяться и тем, что хотя бы иногда встречаешь приличного практикующего врача. Ну, а все высшие вопросы, определяющие подход к диагнозу,

например общее истолкование медицинских данных, — они требуют научной культуры, о которой обычный практикующий врач знает не больше, чем первый встречный.

Мистер Булстрод, нагибаясь к мистеру Лидгейту с самым внимательным видом, обнаружил, что форма, в которую тот облек свое согласие, несколько выше его понимания. В подобных обстоятельствах благоразумный человек предпочитает переменить тему и обратиться к вопросам, которые позволяют применить его собственные познания.

— Я отдаю себе отчет в том, — начал он, — что медицина по самой своей сущности предрасполагает к практическим взглядам и средствам. Тем не менее, мистер Лидгейт, надеюсь, у нас не возникнет разногласий относительно дела, которое вряд ли может вас живо интересовать, хотя ваше благожелательное содействие было бы для меня весьма полезным. Я полагаю, вы признаете духовные нужды ваших пациентов?

— Разумеется. Но для разных людей эти слова имеют разный смысл.

— Совершенно справедливо. Неверное же учение приводит в этой области к столь же роковым последствиям, как полное его отсутствие. И моя

заветная цель — исправить положение, существующее в старой больнице. Она расположена в приходе мистера Фербратера. Вы знакомы с мистером Фербратером?

— Я знаю его в лицо. Он подал за меня свой голос. Мне следует заехать к нему, чтобы его поблагодарить. Он кажется очень неглупым и приятным человеком. Если не ошибаюсь, он интересуется естественными науками?

— Мистер Фербратер, любезный сэр, это человек, о котором нельзя не скорбеть. Полагаю, трудно найти священника, наделенного столь большими талантами… — Мистер Булстрод многозначительно умолк и словно задумался.

— Меня избыток талантов в Мидлмарче пока еще не заставлял скорбеть! — объявил мистер Лидгейт.

— Желаю же я, — продолжал мистер Булстрод, становясь еще более серьезным, — чтобы больницу изъяли из ведения мистера Фербратера и назначили туда капеллана… мистера Тайка, собственно говоря… и чтобы к услугам других духовных лиц не прибегали.

— Как врач, я не могу высказать никакого мнения по этому вопросу, пока не познакомлюсь с мистером Тайком, но и тогда мне прежде нужно

будет узнать, в каких именно случаях потребовалась его помощь, — с улыбкой сказал мистер Лидгейт, твердо решив соблюдать осторожность.

— Ну, конечно, вы пока еще не в состоянии оценить всю важность этой меры. Но… — тут голос мистера Булстрода обрел особую настойчивость, — вопрос этот, весьма вероятно, будет передан на рассмотрение медицинского совета старой больницы, и мне кажется, я могу попросить вас о следующем: памятуя о нашем будущем сотрудничестве, столь для меня ценном, я не хотел бы, чтобы вы в этом вопросе поддались влиянию моих противников.

— Надеюсь, мне не придется принимать участия в клерикальных спорах, — сказал Лидгейт. — У меня одно желание: достойно трудиться на избранном мною поприще.

— Лежащая же на мне ответственность, мистер Лидгейт, не столь ограничена. Для меня речь идет о соблюдении священных заветов, а моими противниками, как у меня есть все основания считать, руководит лишь суетное желание настоять на своем. Но я ни на йоту не поступлюсь моими убеждениями и не отрекусь от истины, внушающей ненависть грешному поколению. Я посвятил себя делу улучшения больниц, но смело

признаюсь вам, мистер Лидгейт, что больницы меня не заинтересовали бы, считай я их назначением одно лишь исцеление телесных недугов. Мной руководят иные побуждения, и я не стану их скрывать даже перед лицом преследований.

Последние слова мистер Булстрод произнес взволнованным шепотом.

— Тут мы, несомненно, расходимся… — сказал мистер Лидгейт и ничуть не пожалел, когда дверь отворилась и клерк доложил о приходе мистера Винси. После того как он увидел Розамонду, этот добродушный румяный человек стал ему гораздо интереснее. Не то чтобы, подобно ей, он грезил о будущем, в котором их судьбы соединялись, однако мужчина всегда с удовольствием вспоминает встречу с обворожительной девушкой и бывает рад пообедать там, где может увидеть ее еще раз. А мистер Винси, хотя прежде он «не торопился с этим приглашением», теперь не упустил случая его сделать — во время завтрака Розамонда упомянула, что дядюшка Фезерстоун как будто весьма жалует своего нового врача.

Когда мистер Лидгейт откланялся и мистер Булстрод остался наедине с шурином, он налил себе стакан воды и открыл коробку с бутербродами.

— Вы по-прежнему не хотите испробовать мою

диету, Винси?

— Нет-нет, меня эта система не прельщает. Для жизни нужна хорошая подкладка, — подпустил свою излюбленную теорию мистер Винси, не в силах удержаться от соблазна. — Однако (он произнес это слово так, будто отбрасывал все не относящееся к делу) я заехал поговорить про историю, в которую попал мой шалопай Фред.

— Боюсь, тут мы так же не сойдемся, Винси, как и во взглядах на диету.

— Ну, надеюсь, не на этот раз (мистер Винси твердо решил сохранять добродушие). Собственно говоря, тут причиной каприз старика Фезерстоуна. Кто-то сочинил мерзкую сплетню и довел ее до сведения старика, чтобы настроить его против Фреда. Он к Фреду очень привязан и, наверное, думает о нем позаботиться. Он почти прямо сказал Фреду, что собирается оставить ему свою землю, ну, кое-кто и завидует.

— Винси, я должен повторить, что по-прежнему не одобряю того, как вы воспитывали своего старшего сына. Вы захотели сделать его священником из одного лишь суетного тщеславия. Имея троих сыновей и четверых дочерей, вы не должны были выбрасывать деньги на дорогостоящее образование, которое только привило ему праздные

привычки и склонность к мотовству. И теперь вы пожинаете плоды.

Мистер Булстрод считал своим долгом указывать на чужие ошибки и уклонялся от исполнения этого долга очень редко, однако терпение мистера Винси имело предел. Когда человек вот-вот может стать мэром и готов в интересах коммерции занять твердую позицию в политике, он, естественно, ощущает важность своей роли в общем ходе событий, что отодвигает все вопросы частной жизни на задний план. Этот же упрек был ему неприятнее любого другого. Говорить ему, что он пожинает плоды, было совершенно излишне. Однако над ним тяготело иго Булстрода, и хотя при обычных обстоятельствах ему доводилось взбрыкнуть, на сей раз он предпочел не искать такого облегчения.

— К чему ворошить прошлое, Булстрод. Я себя непогрешимым не считаю и никогда не считал. И предвидеть заранее все приливы и отливы в торговле я тоже не мог. В Мидлмарче не было дела солиднее нашего, а мальчик подавал надежды. Мой бедный брат стал священником и, несомненно, преуспел бы… Он уже получил приход, и если бы его не сразила желудочная лихорадка, быть бы ему по крайней мере настоятелем. Мне кажется,

то, что я сделал для Фреда, вполне оправдывалось обстоятельствами. Если уж говорить о религии, то, на мой взгляд, человек не должен заранее отмерять свой кусок мяса с точностью до унции — следует все-таки уповать на провидение и не скряжничать. Стремиться по возможности возвысить свою семью — вот истинный английский дух, и, по моему мнению, отец обязан открывать перед сыновьями все пути.

— Поверьте, Винси, только самые дружеские чувства к вам вынуждают меня заметить, что все вами сейчас сказанное — одна лишь суетность и нагромождение нелепиц.

— Ну и прекрасно, — взбрыкнул-таки мистер Винси вопреки всем твердо принятым решениям. — Я никогда не утверждал, что суетность мне чужда, и более того, кто, скажите мне, не суетен? Полагаю, в делах вы не следуете тому, что называете благочестивыми принципами. На мой взгляд, разница лишь в том, что одна суетность немного честнее другой.

— Такого рода споры всегда бесплодны, Винси, — сказал мистер Булстрод, который доел бутерброд и, откинувшись на спинку кресла, прикрыл глаза ладонью, словно от усталости. — У вас ведь есть ко мне какое-то определенное дело?

— Да-да. Ну, чтобы не тратить лишних слов, кто-то, ссылаясь на вас, насплетничал Фезерстоуну, будто Фред занял или пытался занять деньги под землю, которую рассчитывает получить от него в наследство. Само собой разумеется, вы подобного вздора не говорили. Однако старик требует, чтобы Фред привез ему написанное вашей рукой опровержение, ну, то есть записочку, что все это чепуха и вы не думаете, будто он занимал или пытался занять деньги таким дурацким способом. Полагаю, против этого у вас никаких возражений не будет.

— Прошу прощения, возражения у меня есть. Как я могу быть уверен, что ваш сын по легкомыслию и невежеству — я не стану употреблять более жестких слов — не попытался занять деньги под залог предполагаемого наследства или даже что не нашлось глупца, который согласился на столь зыбкое обеспечение и ссудил их ему? Такие ссуды, подобно многим другим нелепостям, в этом мире не редкость.

— Но Фред дал мне честное слово, что у него никогда и в мыслях не было занимать деньги в расчете на то, что дядя, быть может, завещает ему свою землю. А Фред не лгун. Я не собираюсь обелять его. Я задал ему хорошую головомойку

— никто не имеет права говорить, будто я смотрю на его проделки сквозь пальцы. Но он не лгун. И мне казалось, хотя, возможно, я и ошибаюсь, что никакая религия не воспрещает верить лучшему о молодом человеке, если достоверно вы ничего плохого о нем не знаете. Какая же это религия, когда вы вставляете ему палки в колеса, не желая сказать, что не верите пакостной сплетне о нем, хотя верить ей у вас нет никаких здравых причин?

— Я не так уж уверен, что окажу услугу вашему сыну, расчищая ему путь для получения фезерстоуновского наследства. Я не считаю, что богатство — благо для тех, кто пользуется им, только чтобы пожинать плоды удовольствия в этом мире. Вам, Винси, не нравится выслушивать подобные вещи, но я чувствую себя обязанным сказать, что у меня нет никакого побуждения способствовать тому, чтобы эта собственность была завещана так, как вы упомянули. Не побоюсь сказать, что это не послужит ни вечному спасению вашего сына, ни славе божьей. С какой же стати вы настаиваете, чтобы я написал подобное поручительство, укрепив тем самым неразумное пристрастие и содействуя неразумному завещательному распоряжению?

— Если ваша цель — добиваться того, чтобы богатыми были только святые и евангелисты, вам бы следовало отказаться от некоторых выгодных деловых связей, вот и все, что я могу сказать! — выпалил мистер Винси. — Может быть, голубую и зеленую краску, которые Плимдейл получает из Брассинга, он употребляет к вящей славе божьей, да только не к славе мидлмарчских товаров. Они разъедают шелк, вот это мне известно. Может быть, если другие люди узнают, что прибыль употребляется во славу божью, их это успокоит. Но я остаюсь тут при своем мнении и, если сочту нужным, подниму шум.

Мистер Булстрод помолчал, а затем ответил:

— Ваши слова меня очень огорчают, Винси. Я не жду, чтобы вы поняли, чем я руководствуюсь в своих действиях: вплести нить принципов в сложную ткань мира очень нелегко, но еще труднее сделать явной эту нить для равнодушных и бегущих истины. Вам же не следует забывать, насколько я считаюсь с тем, что вы брат моей жены, и подумайте, прилично ли вам обвинять меня в нежелании содействовать материальному благополучию вашей семьи. Я вынужден напомнить вам, что вы сохраняете прежнее положение не благодаря вашей предусмотрительности и

верности суждений.

— Вполне возможно, но вы покуда не терпели из-за меня убытков, — ответил мистер Винси, которого слова банкира совершенно вывели из себя (от чего не спасают никакие заранее принятые твердые решения). — И женясь на Гарриет, вы ведь должны были понимать, что наши семьи будут с этих пор связаны одной веревочкой. А если вы передумали и хотите, чтобы моя семья потеряла свое прежнее положение, так прямо и скажите. Я ведь такой, каким был всегда, и принадлежу церкви не меньше, чем в те дни, когда обо всех ваших доктринах никто и не слыхал. И в коммерции, и во всем другом мир для меня таков, какой он есть. С меня достаточно быть не хуже моих ближних. Но если вы хотите, чтобы мы потеряли свое прежнее положение, так и скажите. И я буду знать, что мне делать.

— Вы говорите необдуманно. Если ручательство за вашего сына написано не будет, значит ли это, что вы потеряете свое прежнее положение?

— Потеряю, не потеряю, а ваш отказ все равно возмутителен. Может быть, такие вещи с изнанки и подшиты религией, но с лица они выглядят не так уж красиво и попахивают собакой на сене. Ну что же, черните Фреда! Ведь оно так и выхо-

дит, если вы отказываетесь подтвердить, что не вы распустили о нем эту клевету. Вот такое тираническое самодовольство, такое желание быть не просто банкиром, а еще и епископом, и рождает всякие сплетни.

— Винси, если вы во что бы то ни стало хотите со мной поссориться, это будет чрезвычайно больно не только мне, но и Гарриет, — сказал мистер Булстрод, бледнея чуть больше обычного и чуть более живым тоном.

— Я ссориться не хочу. В моих интересах — а может быть, и в ваших — нам лучше оставаться друзьями. Я на вас не обижаюсь и думаю о вас не хуже, чем обо всех прочих. Человек вроде вас, который морит себя голодом, читает все положенные молитвы, ну и прочее в том же духе, искренен в своей религии, какова бы она ни была. Хотя с помощью проклятий и божбы вы могли бы оборачивать свой капитал нисколько не медленнее — мало ли таких. Вам нравится брать верх во всем, от этого никуда не уйти: и на небесах вы желаете быть в первом ряду, не то вам там не очень понравится. Но вы — муж моей сестры, и нам следует держаться друг друга. А если мы поссоримся, Гарриет, насколько я ее знаю, будет считать, что виноваты в ссоре вы, потому что вы

делаете из мухи слона и отказываетесь помочь Фреду. И не хочу скрывать: я так просто этого не забуду. По-моему, вы поступаете некрасиво.

Мистер Винси встал и начал застегивать пальто, пристально глядя на зятя в ожидании решительного ответа.

Не в первый раз мистер Булстрод поучал мистера Винси, а в результате бывал вынужден созерцать весьма нелестное свое отражение в том лишенном глубины зеркале, каким было сознание фабриканта, в зеркале, которое воспроизводило людей грубо, без тонкой игры света и теней, — несомненно, банкир по прошлому опыту должен был знать, чем завершится такой разговор. Однако включенный фонтан щедро выбрасывает свои струи и в дождь, когда они более чем бесполезны, и столь же неукротим могучий источник предостережений и нравоучений.

Не в характере мистера Булстрода было сразу же уступать скрытым угрозам. Прежде чем он изменял план действий, ему требовалось время, чтобы придать нужную форму своим побуждениям, приведя их в соответствие с привычными понятиями о нравственности. А потому он сказал после паузы:

— Я подумаю, Винси. Поговорю с Гарриет. И

возможно, пришлю вам письмо.

— Хорошо. Но только побыстрее. Надеюсь, все будет решено прежде, чем я увижусь с вами завтра.

## Глава XIV

*Дам рецепт я вам в забаву,*
*Научу варить на славу*
*Сладкой праздности приправу —*
*Многим блюдо то по нраву:*
*Сперва подачек нахватать.*
*Их с оплеухами смешать,*
*Подлить густого масла лести*
*С сиропом самохвальства вместе,*
*Разбавить мотовством на треть*
*И в чаянье наследства греть.*

По-видимому, разговор мистера Булстрода с Гарриет привел к желанному для мистера Винси результату: во всяком случае, рано утром на следующий день он получил письмо, которое Фред мог отвезти мистеру Фезерстоуну в качестве требуемого свидетельства.

Из-за холодной погоды старик в этот день остался в постели, и так как в гостиной Мэри Гарт не оказалось, Фред немедленно поднялся к дяде в спальню и вручил ему письмо. Мистер Фезерстоун полусидел, удобно опираясь на подушки, и не меньше обычного наслаждался сознанием, как

мудро он поступает, никому не доверяя и ставя всех в тупик. Он водрузил на нос очки, скривил рот и принялся читать письмо:

— «В данных обстоятельствах я не откажусь высказать свое убеждение»... тьфу! И слова-то все какие звучные! Прямо-таки аукционщик! «...что ваш сын Фред не получал никаких ссуд под недвижимость, обещанную ему мистером Фезерстоуном»... Обещанную? Да когда же это я обещал! Я ничего не обещаю и буду делать столько приписок к завещанию, сколько захочу, «...и что, учитывая характер подобного займа, представляется невероятным, чтобы разумный и порядочный молодой человек попытался его сделать...». Ага! Но тебя-то этот господин не называет разумным и порядочным, заметь-ка, сударь. «...Что же касается моей причастности к подобным утверждениям, то я самым решительным образом заявляю, что никогда никому не говорил, будто ваш сын занял деньги под залог недвижимого имущества, каковое может отойти к нему после кончины мистера Фезерстоуна»... Подумать только! «Недвижимое имущество... может отойти... кончина»! Стряпчий Стэндиш ему и в подметки не годится. Да старайся он занять деньги, и то слаще спеть не сумел бы. Ну,

что же… — Мистер Фезерстоун поглядел на Фреда поверх очков и пренебрежительно вернул ему письмо. — Уж не воображаешь ли ты, что я поверю Булстроду, что бы он там ни расписывал?

Фред покраснел.

— Вы пожелали, чтобы такое письмо было написано, сэр. И думается, слово мистера Булстрода весит не меньше слова тех, кто вам все это наговорил.

— Конечно, не меньше. Я же не говорил, что кому-то тут верю. Ну, а теперь чего ты ждешь? — резко сказал мистер Фезерстоун и, не сняв очков, спрятал руки под пледом.

— Я ничего не жду, сэр. — Фред с трудом сдерживал раздражение. — Я привез вам письмо. И могу тотчас уехать, если вы этого хотите.

— Погоди-ка, погоди. Позвони, пусть придет девочка.

Однако пришла служанка.

— Пусть придет девочка! — нетерпеливо сказал мистер Фезерстоун. — Куда она подевалась?

Когда вошла Мэри, он и с ней заговорил тем же тоном:

— Почему ты не сидела тут, как тебе было сказано? Мне нужен мой жилет. Я же тебе раз и навсегда велел, чтобы ты клала его на постели.

Глаза у Мэри были красные, точно она плакала. Мистер Фезерстоун, несомненно, пребывал в это утро в одном из самых сварливых своих настроений, и хотя старик как будто собирался раскошелиться, а Фреду деньги были очень нужны, он лишь с трудом сдержался и не крикнул старому тирану, что Мэри Гарт слишком хороша, чтобы ею смели так помыкать. Хотя при ее появлении Фред поднялся ей навстречу, она его словно не заметила: казалось, все ее нервы трепетали в предчувствии, что в нее вот-вот что-то бросят. Впрочем, ничего страшнее слов ей никогда не угрожало. Когда она пошла к вешалке за жилетом, Фред последовал за ней и сказал:

— Разрешите, я вам помогу.

— Не трогай! — крикнул мистер Фезерстоун. — Неси его сюда, девочка, и положи вот тут. А теперь иди и не возвращайся, пока я тебя не позову, — добавил он, когда она положила жилет на постель. Он любил выражать свое благоволение одному тем, что допекал кого-нибудь другого, а Мэри всегда была под рукой для этой цели. Когда же приезжали его кровные родственники, он обращался с ней гораздо ласковее.

Старик медленно вытащил связку ключей из кармана жилета и столь же медленно извлек

из-под пледа жестяную шкатулку.

— Небось ждешь, что я тебя озолочу, э? — сказал он, положив руку на крышку и поглядев на Фреда поверх очков.

— Вовсе нет, сэр. Вы сами тогда любезно сказали, что хотите сделать мне подарок, не то я вообще ни о чем подобном не думал бы.

Однако Фред всегда предпочитал надеяться на лучшее, и перед его глазами возникла сумма, которой как раз должно было хватить, чтобы избавить его от одной неприятной заботы. Когда у Фреда заводился долг, ему неизменно казалось, что обязательно произойдет что-то — он не трудился представить себе, что именно, — и долг будет уплачен в срок. И вот теперь его надежды, по-видимому, сбывались. Нелепо же думать, что дар окажется меньше, чем ему нужно, — словно у благочестивого человека достало бы веры принять лишь половину чуда, а не все чудо целиком.

Руки с набухшими венами перебирали банкноты, много банкнот — разглаживали их, клали обратно, а Фред сидел, откинувшись на спинку кресла и гордо сохраняя равнодушие. Он считал себя джентльменом, и ему не нравилась мысль, что он заискивает перед стариком ради его денег.

Наконец мистер Фезерстоун взглянул на него поверх очков и протянул ему тощую пачку банкнот. Фред сразу разглядел, что их всего пять. Но он видел лишь ничего не говорящие края, а каждая могла быть достоинством в пятьдесят фунтов. Он взял их со словами «очень вам благодарен, сэр!» и собирался сложить, не глядя, словно не интересуясь суммой, но это не устраивало мистера Фезерстоуна, который не спускал с него глаз.

— Ты что же, не желаешь даже пересчитать их? Берешь деньги, точно лорд, так и мотаешь их, наверное, как лорд.

— Я думал, что дареному коню в зубы не смотрят, сэр. Но я с удовольствием их пересчитаю.

Однако, пересчитав их, Фред особого удовольствия не испытал, ибо, как ни нелепо, сумма оказалась меньше той, которой он ждал с такой уверенностью. Что есть соответствие вещей, как не то, что они соответствуют ожиданиям человека? Иначе у его ног разверзается бездна бессмыслицы и атеизма. Когда Фред убедился, что держит пять бумажек всего лишь по двадцать фунтов, он испытал жгучее разочарование, и знакомство с университетскими науками ему ничуть не помогло. Тем не менее, пока краска на его лице быстро сменялась бледностью, он сказал:

— Вы очень щедры, сэр!

— Еще бы! — ответил мистер Фезерстоун и, заперев шкатулку, снова ее спрятал, затем неторопливо снял очки и лишь тогда, словно поразмыслив и окончательно убедившись в правоте своих слов, повторил: — Еще бы не щедр!

— Поверьте, сэр, я очень вам благодарен, — сказал Фред, уже успевший обрести обычный веселый вид.

— Ты и должен быть благодарен. Хочешь щеголять, а, кроме Питера Фезерстоуна, тебе рассчитывать-то и не на кого. — И глаза старика заблестели от двойного удовольствия — при мысли, что этот ловкий молодой человек полагается на него и что в таком случае этот ловкий молодой человек довольно-таки глуп.

— Да, конечно. Нельзя сказать, чтобы я родился в сорочке. Мало кому приходилось так себя ограничивать, как мне, — сказал Фред, немножко дивясь собственной добродетели, выдержавшей столь тяжкие испытания. — Не слишком приятно ездить на гунтере с запалом и смотреть, как люди, которые куда меньше тебя понимают в лошадях, выбрасывают огромные деньги за негодных кляч.

— Ну, вот теперь можешь купить себе хорошего

гунтера. Восьмидесяти фунтов на это хватит, я думаю. И у тебя останется еще двадцать, чтобы выкарабкаться из какой-нибудь проделки, — сказал мистер Фезерстоун, посмеиваясь.

— Вы очень добры, сэр, — произнес Фред, полностью отдавая себе отчет в том, насколько мало эти слова соответствуют его подлинным чувствам.

— Да уж, этот дядюшка будет получше твоего хваленого дяди Булстрода. От его махинаций тебе наверняка мало что перепадает. А он крепко привязал твоего папашу за ножку, как я слышал, э?

— Отец никогда со мной о своих делах не разговаривает, сэр.

— Вот это с его стороны умно. Только людям все равно кое-что о них известно, как он там ни держит язык за зубами. После него ты мало чего получишь, да и умрет он без завещания. Такой уж он человек, и пусть они, коли им нравится, выбирают его мэром Мидлмарча. Завещания он не напишет, а тебе все равно мало что достанется, хоть ты и старший сын.

Фред подумал, что мистер Фезерстоун никогда не был столь невыносимым. Правда, он никогда еще не дарил ему сразу столько денег.

— А письмо мистера Булстрода, сэр, сжечь его? — спросил Фред, вставая с письмом в руке.

— Жги себе на здоровье. Мне за него денег не получать.

Фред отнес письмо к камину и с большим наслаждением проткнул его кочергой. Ему не терпелось уйти, но сделать это, едва спрятав деньги, было неловко — и не только перед мистером Фезерстоуном, но и перед самим собой. Однако тут в спальню вошел управляющий, чтобы доложить хозяину, как идут дела на ферме, и Фред, к невыразимому его облегчению, был отослан с распоряжением приехать опять, да не откладывая.

Ему не терпелось не только расстаться с дядей, но и поскорее увидеть Мэри Гарт. На этот раз он нашел ее в гостиной — она сидела на своем обычном месте у камина с шитьем в руках. На столике рядом с ней лежала открытая книга. Глаза Мэри были уже не такими красными, и к ней вернулось ее обычное самообладание.

— Я нужна наверху? — спросила она, привстав со стула.

— Нет. Меня отпустили, потому что пришел Симмонс.

Мэри села и наклонилась над шитьем. Она, несомненно, держалась с Фредом равнодушнее обычного, но ведь она не знала, как охотно он

встал бы на ее защиту, когда дядя ей выговаривал.

— Можно мне посидеть немножко с вами, Мэри, или вам будет скучно?

— Садитесь, прошу вас, — сказала Мэри. — Надоесть так, как мистер Джон Уол, вы все-таки не способны, а он был вчера тут и сел, не спросив моего разрешения.

— Бедняга! По-моему, он в вас влюблен.

— Я этого не замечаю. И все-таки как ужасно, что девушка не может быть просто благодарна человеку за его доброту, — обязательно надо считать, будто она в него влюблена либо он в нее. И уж я-то, кажется, могла бы быть от этого избавлена. У меня нет никаких оснований тщеславно воображать, будто всякий, кто перемолвится со мной двумя-тремя словами, непременно в меня влюблен.

Мэри не собиралась выдавать своих чувств, но под конец этой тирады в ее голосе прозвучало раздражение.

— Черт бы побрал Джона Уола! Я не хотел вас рассердить. Откуда мне было знать, что у вас есть причины быть ему благодарной? Я забыл, что вы считаете великой услугой, если кто-нибудь задует за вас свечку. — У Фреда была своя гордость, и

он не собирался показывать, что знает, почему Мэри вдруг вспылила.

— Я вовсе не сержусь! То есть сержусь, но на то, как устроен мир. Да, мне нравится, когда со мной говорят не как с пустоголовой дурочкой. Я, право же, думаю, что способна понять куда больше того, о чем со мной считают возможным болтать молодые джентльмены, даже учившиеся в университете. — Мэри уже взяла себя в руки, и в ее голосе звучал еле сдерживаемый смех, отчего он стал очень приятным.

— Смейтесь надо мной сколько хотите, — сказал Фред. — Когда вы вошли в спальню, у вас был такой грустный вид! Это невыносимо — что вы должны оставаться тут и терпеть постоянные упреки.

— Ну, у меня не такая уж трудная жизнь — относительно, конечно. Я пробовала стать учительницей, но ничего не получилось: я слишком люблю думать по-своему. Уж лучше терпеть самую страшную нужду, чем притворяться, будто ты делаешь то, за что тебе платят, и не делать этого как следует. А тут я все делаю не хуже кого угодно, а может быть, и лучше многих — например, Рози. Хотя она как раз такая красавица, какие в сказках томятся в плену у людоеда.

— Это Рози-то! — воскликнул Фред тоном, исполненным глубочайшего родственного скептицизма.

— Послушайте, Фред, — выразительно сказала Мэри, — не вам быть таким взыскательным.

— Вы подразумеваете что-то конкретное… вот сейчас?

— Нет. Только общее… как всегда.

— А, что я лентяй и мот. Ну, а что мне делать, если я не создан быть бедняком? Родись я богатым, то был бы не так уж плох.

— Вы бы исполнили свой долг на том жизненном пути, какой господь вам не даровал, — сказала Мэри, рассмеявшись.

— Ну, я бы не мог исполнять свой долг, стань я священником, — не больше, чем вы, будь вы гувернанткой. Вы могли бы посочувствовать мне по-товарищески, Мэри.

— Я никогда не говорила, что вам следует стать священником. Но можно найти себе другое занятие. По-моему, тот, кто неспособен выбрать для себя что-то и добиваться успеха на избранном поприще, просто жалок.

— Ну, и я мог бы найти, если бы… — Фред умолк и, встав, оперся локтем о каминную полку.

— Если бы были уверены, что не унаследуете

значительного состояния?

— Я этого не говорил. Вы хотите со мной поссориться. И очень плохо с вашей стороны верить тому, что на меня наговаривают.

— Ну как я могу с вами поссориться? Это значило бы поссориться со всеми моими новыми книгами, — сказала Мэри, беря томик, лежавший на столе. — Как бы плохо вы ни вели себя с другими, ко мне вы очень добры.

— Потому что вы мне нравитесь больше всех. Но вы меня презираете, я знаю.

— Да, немножечко, — кивнув, сказала Мэри и улыбнулась.

— Чтобы вам понравиться, надо быть семи пядей во лбу.

— Пожалуй. — Мэри быстро делала стежок за стежком, по-видимому, чувствуя себя хозяйкой положения. А Фред испытывал то, что обычно испытывают люди, когда разговор идет не так, как им хотелось бы, и с каждой новой попыткой выбраться из трясины неловкости они только больше в ней увязают.

— Наверное, женщина вообще не способна полюбить мужчину, если знает его давно… с тех пор как себя помнит. У мужчин это как раз наоборот. А девушки всегда влюбляются в тех, кого видят

в первый раз.

— Погодите, — сказала Мэри, и уголки ее рта шаловливо вздернулись. — Дайте-ка припомнить, что говорит мой опыт. Джульетта… она как будто подтверждает ваши слова. Но вот Офелия, вероятно, была знакома с Гамлетом довольно давно, а Бренда Тройл знала Мордаунта Мертона с самого детства — впрочем, он, кажется, был во всех отношениях примерным молодым человеком. Минна же без памяти полюбила Кливленда[56], едва его увидев. Уэверли был новым знакомым Флоры Мак-Айвор — впрочем, она в него не влюбилась. Да, еще Оливия и Софья Примроуз, а также Коринна — они, можно сказать, полюбили с первого взгляда. Нет, на основании моего опыта нельзя прийти ни к какому выводу.

Мэри бросила на своего собеседника лукавый взгляд, и Фред обрадовался, хотя глаза ее были всего лишь словно два чистых окна, за которыми смеялась Наблюдательность. Он по натуре был мягок и привязчив, и, по мере того как он рос,

---

**[56] Примечания: 56**

*Бренда и Минна Тройл, Мертон и Кливленд* — персонажи романа «Пират» В. Скотта (1771 — 1832). *Уэверли и Флора Мак-Айвор* — персонажи его же романа «Уэверли». *Оливия и Софья Примроуз* — героини романа Оливера Голдсмита (1728 — 1774) «Векфилдский священник». *Коринна* — героиня романа того же названия французской писательницы Анны Луизы де Сталь (1766 — 1817).

из мальчика становясь мужчиной, росла и его любовь к подруге детских игр — росла, вопреки аристократическим взглядам на доходы и положение в свете, почерпнутые в университете вместе с науками.

— Когда человека не любят, какой толк говорить ему, что он мог бы стать лучше… мог бы сделать что угодно… Вот если бы он был уверен, что его за это полюбят…

— Да, конечно, говорить, что он «мог бы», никакого толку нет. Мог бы, стал бы, захотел бы — какие пустые и жалкие слова.

— По-моему, человек может стать по-настоящему хорошим, только если его полюбят.

— А мне кажется, ждать любви он имеет право, только став хорошим.

— Вы сами знаете, Мэри, что в жизни так не бывает. Женщины влюбляются не за это.

— Может быть. Но женщина никогда не считает плохим того, кого любит.

— А все-таки называть меня плохим несправедливо.

— Я о вас ни слова не говорила.

— Из меня не выйдет никакого толку, Мэри, если вы не скажете, что любите меня, не обещаете, что выйдете за меня замуж… то есть когда я

получу возможность жениться.

— Если бы я вас и любила, замуж за вас я бы не пошла. И уж, конечно, обещать вам я ничего не стану.

— По-моему, это очень дурно с вашей стороны, Мэри. Если вы меня любите, вы должны дать мне обещание выйти за меня.

— А мне, напротив, кажется, что дурно с моей стороны было бы выйти за вас, даже если бы я вас любила.

— То есть сейчас, когда у меня нет средств, чтобы содержать семью. Так это само собой разумеется. Но мне только двадцать три года.

— Последнее безусловно поправимо. Но я не так уверена, что вы способны исправиться и в других отношениях. Мой отец говорит, что бездельникам и жить незачем, а уж жениться и подавно.

— Так что же мне — застрелиться?

— Зачем же? По-моему, вам проще будет сдать экзамен. Мистер Фербратер говорил, что он до неприличия легок.

— Очень мило! Ему-то все легко. Хотя тут вовсе ума и не требуется. Я вдесятеро умнее многих, кто его благополучно сдал.

— Подумать только! — сказала Мэри, не удержавшись от сарказма. — Вот, значит, откуда

берутся младшие священники вроде мистера Кроуза. Разделите ваш ум на десятерых, и результат — подумать только! — сразу получит степень. Но из этого следует лишь, что вы вдесятеро ленивее всех прочих.

— Ну, предположим, я сдам, но вы же не захотите, чтобы я стал приходским священником?

— Вопрос не в том, чего хочу или не хочу я. У вас ведь есть совесть, я полагаю. А! Вон мистер Лидгейт. Надо пойти предупредить дядю.

— Мэри! — воскликнул Фред, беря ее за руку, когда она встала. — Если вы не дадите мне никакой надежды, я стану не лучше, а хуже.

— Никакой надежды я вам не дам, — ответила Мэри, краснея. — Это не понравилось бы вашим близким, да и моим тоже. Я уроню себя в глазах отца, если приму предложение человека, который берет деньги в долг и не хочет работать.

Фред обиженно отпустил ее руку. Мэри направилась к дверям, но вдруг обернулась и сказала:

— Фред, вы всегда были очень добры ко мне, очень внимательны, и я вам очень благодарна. Но больше не говорите со мной на эту тему.

— Хорошо — угрюмо ответил Фред, беря шляпу и хлыст. Его лицо пошло бледно-розовыми и белыми пятнами. Подобно многим провалившимся

на экзамене молодым бездельникам, он был по уши влюблен… в некрасивую девушку без состояния! Однако намеки мистера Фезерстоуна на то, как он, по-видимому, решил распорядиться своей землей, и неколебимое убеждение, что Мэри, что бы она ни говорила, на самом деле его любит, помогли Фреду не впасть в полное отчаяние.

Вернувшись домой, он вручил четыре банкноты матери на сохранение, объяснив:

— Я не хочу тратить эти деньги, маменька. Они мне нужны, чтобы вернуть долг. А потому получше спрячьте их от меня.

— Ах, милый мой мальчик! — сказала миссис Винси. Она обожала старшего сына и младшую дочь (шестилетнюю девочку), которые, по мнению всех, были наименее примерными из ее детей. Однако пристрастность материнского сердца вовсе не всегда оказывается обманутой. В любом случае мать лучше кого бы то ни было может судить, насколько нежен и привязчив ее ребенок. А Фред, бесспорно, очень любил свою мать. И возможно, желание принять меры, чтобы не растранжирить сто фунтов, внушила ему любовь к еще одной женщине: у кредитора, которому он должен был сто шестьдесят фунтов, было очень весомое обеспечение — вексель, подписан-

ный отцом Мэри.

## Глава XV

*Всех волшебниц прежних дней*
*Ты расторг оковы,*
*Так какой в душе твоей*
*Вспыхнул пламень новый?*
* * *
*Я в красавицу влюблен.*
*Путь к ней мне неведом.*
*Тут я зовом ободрен.*
*Там чуть видным следом.*
* * *
*И мне явится она*
*В золоте восхода.*
*Вечной юности полна —*
*Дивная Природа.*

Великий историк, как он предпочитал себя называть, имевший счастье умереть сто двадцать лет тому назад и занять свое место среди колоссов, между гигантскими ногами которых свободно проходим мы, живущие ныне лилипуты, особенно славен своими неподражаемыми отступлениями и обращениями к читателю, наиболее блистательными в начальных главах

каждого из томов его истории, когда он словно усаживается в кресло на просцениуме и беседует с нами, чаруя сочностью и легкостью своего изумительного языка. Однако Филдинг жил в век, когда дни были длиннее (ведь время, подобно деньгам, измеряется нашими нуждами), летние полуденные часы — продолжительнее, а в зимние вечера маятник постукивал медленнее. Нам, поздним историкам, не следует брать в пример его неторопливость, а если мы и попробуем, речь наша, наверное, окажется сбивчивой и невнятной, словно мы произносим ее со складного стула перед клеткой с попугаями. У меня, во всяком случае, достаточно забот с тем, чтобы распутывать нити нескольких человеческих судеб, смотреть, как они свиты и переплетены между собой, и мне приходится направлять свет своей лампы только на эту паутину, а не рассеивать его по соблазнительным просторам того, что зовется вселенной.

Теперь же мне предстоит познакомить с доктором Лидгейтом тех, кому интересен этот новый обитатель Мидлмарча, — и познакомить гораздо ближе, чем успели его узнать тамошние жители, даже видевшиеся с ним чаще остальных. Ведь человек может вызывать похвалы, восхищение, зависть или насмешки, рассматриваться

как полезное орудие, зажечь любовь в чьем-то сердце или хотя бы быть намеченным в мужья и в то же время оставаться непонятным и, в сущности, никому не известным — всего лишь совокупностью внешних признаков, которые его ближние толкуют вкривь и вкось. Однако, по общему мнению, Лидгейт не походил на простого провинциального лекаря, а в те дни подобное мнение в Мидлмарче означало, что от него ждут чего-то незаурядного. Ибо домашний врач каждой семьи был на редкость искусен и замечательно умел управлять ходом самых капризных и тяжких недугов. Искусность его подтверждалась неопровержимым свидетельством самого высокого порядка — интуитивным убеждением его пациенток, оспорить которое было невозможно, хотя порой одна интуиция приходила в непримиримое столкновение с другой: дама, узревшая медицинскую истину в Ренче и его «укрепляющем лечении», считала Толлера и «ослабляющую систему» медицинской анафемой. Ибо героические времена пластырей и отворения жил тогда еще не совсем окончились, а тем более времена крутых мер, когда болезнь получала какое-нибудь скверное наименование и лечилась соответствующим образом без

сомнений и проволочек, — словно бы это был мятеж и усмирять его полагалось не холостыми патронами, а сразу обильным кровопусканием. Укрепители и ослабители все были, по мнению кого-то, «искусными врачами», а большего ведь нельзя сказать даже про самого талантливого человека — во всяком случае, если он еще жив. Никто, разумеется, не воображал, будто мистер Лидгейт знает не меньше доктора Спрэга или доктора Минчина, тех двух единственных целителей, которые были способны посулить надежду и в крайне опасных случаях, когда самая малая надежда стоила гинею. И все же общее мнение считало Лидгейта незаурядным по сравнению с большинством мидлмарчских врачей. Да так оно и было. В двадцать семь лет многие люди еще остаются незаурядными; в этом возрасте они еще надеются на великие свершения, решительно избегают компромиссов, верят, что Маммона никогда не взнуздает и не оседлает их, а наоборот — если уж им придется иметь дело с Маммоной — покорно повлечет их триумфальную колесницу.

Он остался сиротой в тот же самый год, когда окончил школу. Его отец был военным и почти не обеспечил детей, а потому, когда Тертий выразил желание заняться медициной, опекуны сочли

возможным исполнить просьбу юноши и, вместо того чтобы возражать против такого поношения фамильной чести, устроили его учеником к деревенскому доктору. Он принадлежал к тем редким людям, которые еще в детстве находят свое призвание и выбирают себе профессию потому, что она нравится им, а не потому, что тем же занимались их отец и дед. Почти все мы, кого влечет то или иное поприще, храним в памяти тот утренний или вечерний час, когда мы влезли на табурет, чтобы достать с полки прежде не читанный том, или с открытым ртом слушали рассказы нового собеседника, или за неимением книг просто начали внимать внутреннему голосу, — короче говоря, тот час, с которого началась наша любовь к своему призванию. Так произошло и с Лидгейтом. Он был любознательным мальчуганом — устав играть, он устраивался в уголке и через пять минут с головой уходил в книгу, которая первой попалась ему под руку. Если это оказывались «Путешествия Гулливера» или «Расселас»[57] — тем лучше, но неплохи были и «Словарь» Бейли, и Библия с апокрифами. Когда

**[57] Примечания: 57**

«*Расселас*» — философская повесть Сэмюела Джонсона (1709 — 1784), английского писателя, журналиста и лексикографа, игравшего виднейшую роль в литературной жизни Англии второй половины XVIII в.

он не скакал на своем пони, не бегал, не охотился и не слушал разговоры взрослых, он читал. Таков он был в десять лет. Он тогда прочел «Золотой, или Приключения Гинеи» — книгу, не похожую ни на молоко для младенцев, ни на разведенный водой мел, который выдают за молоко, и в нем уже созрело убеждение, что книги — чушь, а жизнь глупа. Занятия в школе не заставили его переменить мнение — хотя он «показывал успехи» в древних языках и математике, он в них не блистал. О нем говорили, что Лидгейт способен добиться всего, чего захочет, но в то время ему еще ничего не хотелось добиваться. Он был здоровым, полным сил подростком с острым умом, но в нем не мерцало ни единой искры интеллектуальной страсти. Знания казались ему лишь внешним лоском, приобрести который не составляет большого труда, а судя по разговорам взрослых, того, что он уже знал, было более чем достаточно для жизни. Вероятно, в ту эпоху фраков с короткой талией и других пока не возродившихся мод дорогостоящее обучение давало подобные плоды не так уж редко. Но однажды во время каникул дождливая погода заставила его перерыть домашнюю библиотеку в поисках чего-нибудь еще не читанного. Тщетная надежда!

Хотя… А вон те пыльные тома с серыми бумажными корешками и выцветшим тиснением? Тома старой энциклопедии, покой которых он никогда прежде не нарушал. Почему бы не нарушить его теперь? Все-таки развлечение. Они стояли на самой верхней полке, и чтобы дотянуться до них, ему пришлось влезть на стул. Он открыл первый том, едва взяв его в руки, — почему-то мы охотно начинаем читать в местах и позах, казалось бы, не слишком удобных для такого занятия. Книга открылась на статье об анатомии, и раздел, который он пробежал глазами, был посвящен клапанам сердца. Слово «клапан» мало что для него значило — складные двери или что-то вроде этого, — но вдруг из этой щелки ударил ослепительный свет, и он был поражен, впервые осознав, какой тонкий механизм скрыт в человеческом теле. Дорогостоящее образование, разумеется, дало ему возможность свободно читать непристойные места в произведениях античных авторов, и мысль о внутреннем строении тела несла в себе что-то тайное и стыдное, но в остальном его воображение оставалось незатронутым — возможно, он даже считал, что его мозг помещается в двух небольших мешочках в висках, и уж, во всяком случае, не спрашивал себя,

каким образом циркулирует его кровь, точно так же как не задавался вопросом, каким образом бумага заменяет золото. Но призвание нашло его, и прежде чем он спрыгнул со стула на пол, мир в его глазах обновился, суля открытие бесчисленных процессов, заполняющих гигантские просторы, заслоненные от его взгляда пустым многословием, которое ему дотоле представлялось знанием. В этот час в душе Лидгейта зародилась интеллектуальная страсть.

Мы не боимся вновь и вновь рассказывать о том, как мужчина полюбил женщину и сочетался с ней браком либо роковым образом был с ней разлучен. Избыток ли поэтичности или избыток глупости повинен в том, что мы вечно готовы описывать женскую «красоту и прелесть», как выразился король Иаков[58], и вечно внимать бренчанию струн старинных трубадуров и остаемся сравнительно равнодушны к иной «красоте и прелести», покорение которой требует прилежной мысли и отречения от мелких себялюбивых желаний? История и этой страсти слагается по-разному — иногда она увенчивается счастливейшим браком, а иногда завершается

**[58] Примечания: 58**

Английский король Иаков I (1566 — 1625) был автором нескольких богословских и других сочинений.

горьким разочарованием и вечной разлукой. Нередко причиной роковой развязки становится та, другая, воспетая трубадурами страсть. Ибо среди множества мужчин в летах, ежедневно исполняющих свои обязанности по заведенному порядку, который был предписан им примерно так же, как цвет и узел их галстуков, всегда найдется немало таких, кто в дни молодости верил, что он сам определит свою судьбу, а может быть, и чуть-чуть изменит мир. О том, как их обломало под общий образец, как они вернулись на проторенную дорожку, они даже сами себе почти никогда не рассказывают. Возможно, пыл, с каким они беззаветно отдавали силы и труд, ничего за это не получая, мало-помалу остыл столь же незаметно, как угасает пыл других юных увлечений, и наконец наступил день, когда все, чем они были прежде, стало лишь призраком, бродящим по старому дому, бесприютным и страшным среди новой мебели. Нет в мире ничего более тонкого, чем процесс этих постепенных изменений. Вначале они менялись, сами того не ведая, может быть, заражаясь даже от нас с вами, когда мы в сотый раз провозглашали какую-нибудь общепринятую ложь или приходили к привычно глупым выводам, — а может быть, причиной был

трепет, вызванный женским взглядом.

Лидгейт не собирался увеличивать число этих неудачников, и у него были все основания для такой надежды, так как его интерес к наукам вскоре преобразился в увлечение своей профессией. Она была для него не просто обеспечением хлеба насущного, и эту юношескую веру не угасили сумбурные дни его ученичества: занимаясь затем в Лондоне, Эдинбурге, Париже, он свято хранил убеждение, что врачебная профессия (такая, какой она могла бы стать) — лучшая в мире, ибо предлагает идеальное взаимодействие между наукой и искусством и самый непосредственный союз между интеллектуальными победами и общественным благом. Именно этого требовала натура Лидгейта: он умел глубоко чувствовать и, вопреки всем отвлеченным ученым занятиям, сохранял живую человечность. Ему были интересны не просто «заболевания», но и Джон, и Элизабет, особенно Элизабет.

Его профессия была хороша еще и потому, что требовала преобразований, давала возможность с негодованием отвергнуть сопряженные с ней материальные выгоды и всяческую мишуру и стать взамен обладателем подлинных знаний и умения, пусть их от него и не требуют. Отправ-

ляясь завершать свое образование в Париж, он уже твердо решил, что по возвращении на родину начнет практиковать в каком-нибудь провинциальном городе и будет противиться необоснованному разделению терапевтики и хирургии, как ради собственных научных целей, так и ради общего развития медицины. Он будет держаться в стороне от лондонских интриг, зависти, прислужничества и завоюет известность — пусть медленно, как в свое время Дженнер[59], — только самостоятельной ценностью своих трудов. Ибо следует помнить, что то был темный период и, вопреки усилиям почтенных колледжей, которые старались обеспечить чистоту знаний, делая их труднодоступными, и исключить возможность ошибок, поддерживая строжайшую кастовость в отношении гонораров и назначений, весьма невежественные молодые люди сплошь и рядом становились врачами в городах, а еще большее число их приобретало законное право заводить обширную практику в деревне. К тому же высокие требования коллегии врачей, санкционировавшей дорогостоящее и весьма ученое медицинское образование,

**[59] Примечания: 59**

*Дженнер Эдуард* (1749 — 1823) — английский врач, разработавший метод прививки против оспы.

которое получали выпускники Оксфорда и Кембриджа, нисколько не мешали процветанию всяческих шарлатанов: раз дипломированные доктора обычно прописывали множество всяческих лекарств, то широкая публика приходила к выводу, что лишние снадобья не помешают, особенно если они стоят дешево, и галлонами глотала сомнительные зелья, которые предлагало ей честное невежество, не обремененное никакими дипломами. Учитывая, что статистика еще не установила, какое число невежественных или недобросовестных врачей должно существовать вопреки всем изменениям, Лидгейт пришел к выводу, что улучшение качества отдельных слагаемых является наиболее прямым способом улучшения их суммы. Сам он собирался всеми силами способствовать изменениям, которые в будущем благотворно скажутся на среднем уровне, а тем временем находить удовольствие в том, что организмы его пациентов благодаря ему будут в более выгодном положении по сравнению с другими. Однако он не просто намеревался лечить добросовестнее и лучше других своих коллег, но и лелеял более широкие замыслы: ему казалось, что он сумеет разработать доказательства некоторых анатомических концепций и

добавить свое звено к цепи открытий.

Вам кажется, что лекарю из Мидлмарча не пристало грезить об открытиях? Большинству из нас великие первооткрыватели становятся известны, только когда они, засияв новыми звездами, уже правят нашими судьбами. Но разве тот самый Гершель[60], который «распахнул врата небес», не был одно время органистом маленькой провинциальной церкви и не давал уроки музыки ленивым ученикам? Каждый из этих светочей ходил по грешной земле среди ближних своих, и те, возможно, гораздо больше интересовались его наружностью и одеждой, чем занятиями, открывшими ему путь к непреходящей славе; у каждого из них была своя маленькая будничная жизнь с обычными соблазнами и мелкими заботами, которые превращались в рытвины и ухабы на их пути в храм бессмертия. Лидгейт сознавал опасность таких препятствий, но твердо полагался на свою решимость всемерно их избегать: в двадцать семь лет он, по его убеждению, был уже достаточно умудрен опытом. К тому же он ведь не собирался испытывать свое тщеславие, присоединившись к шумному карнавалу удачи

**[60] Примечания: 60**

*Гершель Уильям* (1738 — 1822) — английский астроном немецкого происхождения, разработавший новые методы изучения звездного неба.

среди столичной суеты, а выбрал жизнь среди людей, неспособных стать его соперниками в поисках воплощения великой идеи, которые он намеревался совмещать с ревностным исполнением своих обязанностей врача. Как пленительна была надежда, что эти две цели будут взаимно дополнять друг друга! Тщательное наблюдение за ходом болезни каждого пациента, использование микроскопа для уточнения диагноза в особых случаях — все это будет служить пищей для мысли, способствовать успеху более общих исследований. Разве не в этом заключается одно из величайших преимуществ его профессии? Он будет хорошим мидлмарчским врачом, и благодаря этому ему откроется возможность важнейших изысканий. В одном отношении его тогдашние планы, бесспорно, заслуживали одобрения: он не собирался подражать тем образцовым благотворителям, которые, живя на доходы с ядовитых маринадов, занимаются обличением фальсификации пищевых продуктов или входят в долю с содержателями игорного дома, чтобы обеспечить себе досуг для борьбы за чистоту общественных нравов. Он намеревался незамедлительно ввести в собственной практике кое-какие доступные ему новшества — задача, бесспорно, более

простая, чем поиски доказательств анатомических концепций. Например, он твердо решил действовать в согласии с недавним судебным решением и только прописывать лекарства, а не составлять их самому и не брать процента с аптекарей. Это, несомненно, было новшеством для врача, практикующего в провинциальном городе, и его собратья по профессии неминуемо должны были расценить такой образ действий как оскорбительный упрек в их адрес. Однако Лидгейт хотел и лечить по-новому, причем у него достало благоразумия понять, что честно следовать своим убеждениям на деле он сможет, только если ему удастся избегать постоянного соблазна поступаться ими.

Быть может, то время было более благоприятным для наблюдателей и теоретиков, чем нынешнее. Годы, когда шло открытие Америки, слывут поистине чудесной эпохой, ибо смелый моряк, даже потерпев крушение, мог очутиться в прежде неведомом царстве. А в преддверии тридцатых годов нашего века неисследованные области патологии поистине были чудесной Америкой для смелого искателя приключений. Больше всего Лидгейт жаждал внести свою лепту в расширение научной, рациональной

основы своей профессии. Чем сильнее увлекали его специальные вопросы, вроде природы горячки или горячек, тем острее он ощущал, насколько необходимо знание общей структуры — проблему эту в самом начале века осветили замечательные труды Биша[61], который, хотя и умер всего на тридцать втором году жизни, успел, подобно Александру, оставить после себя царство настолько обширное, что его хватило на многих наследников. Великий француз первым выдвинул концепцию, что живые тела по сути представляют собой не совокупность органов, которые можно сначала изучить по отдельности, а затем, так сказать, в союзе, но состоят из определенных первичных сплетений или тканей, из каковых и образуются различные органы — мозг, легкие, сердце и прочие, точно так же как различные части здания строятся из дерева, железа, кирпича, цинка и других материалов, различных по свойствам и соотношениям. Разумеется, не узнав предварительно свойств этих материалов, никто не может понять и оценить все здание или отдельные его части — где их сла-

**[61] Примечания: 61**

*Биша Ксавье* (1771 — 1802) — французский физиолог, анатом и врач, создатель классификации тканей, введший в употребление этот термин.

бые места и что требует починки. И концепция Биша, подробно изучившего различные ткани, озарила медицинские проблемы, точно газовые фонари — темную, освещавшуюся ворванью улочку, выявляя новые связи и прежде неизвестные свойства структуры, которые необходимо было принимать во внимание, рассматривая симптомы болезней и действие лекарств. Однако результаты, зависящие от человеческого разума и совести, достигаются медленно, и в 1829 году практическая медицина в значительной мере еще шествовала и спотыкалась на старых путях, так что перед продолжателями Биша открывалось достаточно широкое поле деятельности. Этот великий провидец считал ткани конечной основой живого организма, ставящей предел анатомическому анализу. Однако кто-то другой мог задать себе вопрос: «А нет ли у этих структур некоей исходной основы, положившей начало им всем, как шелк, атлас, бархат и газовые материи восходят к кокону шелковичного червя?» Тогда вспыхнул бы новый свет, словно при взрыве гремучего газа, и, выявив самую суть вещей, потребовал бы пересмотра всех прежних объяснений. Вот такое-то продолжение трудов

Биша[62], уже намечавшееся во многих течениях европейской мысли, и манило Лидгейта: он жаждал выявить самые внутренние связи живых структур и содействовать приближению человеческих представлений к истине. Работа еще не была сделана — завершились лишь предварительные приготовления для тех, кто умел бы ими воспользоваться. Что такое первичная ткань? Так поставил вопрос Лидгейт — несколько иначе, чем того требовал еще скрытый ответ. Но многие искатели истины не находят нужного слова. И он рассчитывал на периоды затишья, чтобы вести исследования в полную силу, надеялся получить драгоценные сведения, прилежно применяя не только скальпель, но и микроскоп, который теперь вновь вдохновлял ученых, уверовавших в его надежность. Вот так виделось Лидгейту его будущее: добросовестный, будничный труд на пользу Мидлмарча и научные свершения на благо всего мира.

В свои двадцать семь лет он, несомненно, был счастлив: никаких привычных пороков, благородная решимость посвятить себя полезной

**[62] Примечания: 62**

Следующим этапом в изучении строения живых организмов явилась клеточная теория, которая была сформулирована в 1839 г. немецким ученым Теодором Шванном (1810 — 1882).

деятельности, идеи и замыслы, придававшие жизни всепоглощающий интерес и без культа породистых лошадей или других столь же дорогостоящих нынешних культов, которые во мгновение ока поглотили бы восемьсот фунтов, оставшиеся у него после того, как он купил практику. Он вступал в пору деятельности — момент, словно созданный для заключения пари, если бы какие-нибудь любители этого развлечения додумались биться об заклад относительно исхода чужих судеб, что требовало бы умения оценивать все сложные «за» и «против» убежденного призвания, все препоны и благоприятные обстоятельства, все тонкости внутренней гармонии, которые побуждают человека энергично стремиться к намеченной цели или же, наоборот, без борьбы отдаться на волю течения. Ведь даже самое близкое знакомство с характером Лидгейта не исключило бы риска, ибо характер тоже находится в процессе изменений и становления. Лидгейт еще не сложился не только как мидлмарчский доктор или как свершитель бессмертного научного подвига, но и как человек: многие его достоинства и недостатки в дальнейшем могли развиться или исчезнуть. Надеюсь, из-за этих недостатков ваш интерес к

нему не угаснет. Разве среди наших самых ценимых друзей не найдется таких, кто чуть-чуть излишне самоуверен и нетерпим, чей высокий ум не свободен от некоторой пошлости, а широта взглядов и суждений кое-где стеснена и искажена предрассудками, или чьи силы иной раз под влиянием минутных соображений отдаются на служение не тому, чему следовало бы? Все это можно поставить в упрек Лидгейту, но, с другой стороны, подобные общие фразы приводят на память осторожного проповедника, который рассуждает об Адаме и не говорит ничего такого, что могло бы задеть почтенных прихожан. Недостатки, послужившие основой для этих деликатных обобщений, обладают собственной физиономией, собственными манерами, выговором, гримасами и играют особые роли в самых разных драмах. Наши суетные качества столь же разнятся, как и наши носы. Самодовольство бывает разным точно так же, как все особенности духовного склада, благодаря которым мы не походим друг на друга. Самодовольство Лидгейта было высокомерным — не заискивающим, не развязным, но непреклонным в своих требованиях и добродушно-пренебрежительным. Он всегда был готов помогать безобидным дуракам, потому что жалел

их и не сомневался в своем превосходстве. Так, в Париже он подумывал о том, чтобы присоединиться к последователям Сен-Симона и убедить их в никчемности некоторых их доктрин. Все прочие его недостатки были отмечены сходными чертами и вполне соответствовали облику обладателя красивого баритона, чья одежда всегда отлично на нем сидела, а жесты, даже самые простые, дышали врожденным достоинством. Ну, а пошлость? — спросит меня юная девица, плененная таким непринужденным изяществом. Откуда возьмется пошлость в человеке, если он столь благовоспитан, столь жаждет отличиться, столь великодушен и необычен во взглядах на свой общественный долг? Оттуда же, откуда берется глупость в гении, если ненароком задать ему вопрос относительно предмета, в котором он не осведомлен, или дурной вкус у того, кто готов всеми силами способствовать наступлению на земле царства социальной справедливости, но, воображая, какими будут тогда развлечения, не способен пойти дальше музыки Оффенбаха или блестящих каламбуров последнего бурлеска. Пошлость Лидгейта заключалась в предрассудках, которые при всем благородстве его интересов и намерений были по большей части самыми

заурядными — высота духа, отмечавшая его интеллектуальный пыл, не повлияла ни на его мнения и суждения о мебели и женщинах, ни на желание, чтобы окружающие узнали (разумеется, не прямо от него), что по своему происхождению он много превосходит обычных деревенских врачей. В настоящее время он не собирался думать о мебели, но когда его мысли все-таки обращались к ней, боюсь, ни биология, ни планы реформ не спасали его от вульгарных опасений, что его осудят, если мебель у него не будет самой лучшей.

Что касается женщин, то однажды он уже поддался безотчетному, безумному порыву — как он полагал, в первый и последний раз, ибо брак где-то в отдаленном будущем, конечно, не окажется плодом безотчетного порыва. Тем, кто хочет познакомиться с Лидгейтом поближе, следует узнать обстоятельства его прошлого безумия, ибо они показывают его способность подчиняться нерассуждающей страсти и рыцарственную доброту, придающую особое обаяние его нравственному облику. Вот эта история вкратце. Произошла она, когда он жил в Париже и, кроме многих прочих занятий, находил время для гальванических экспериментов. Однажды вечером, устав от довольно безрезультатных опытов, он оставил

своих лягушек и кроликов отдыхать от сотрясавших их непонятных ударов, а сам отправился в театр Порт-Сан-Мартэн, где шла мелодрама, которую он видел уже несколько раз, — привлекала его не искусно построенная пьеса двух авторов, но актриса, которая в последнем акте поражала кинжалом своего возлюбленного, приняв его за злодея-герцога. Лидгейт был влюблен в эту актрису, насколько мужчина может влюбиться в женщину, с которой не намерен знакомиться. Она была родом из Прованса — черноглазая, с греческим профилем, нежным воркующим голосом и пышной величественной фигурой, красивая той красотой, что даже в юности кажется зрелой. Она приехала в Париж недавно и пользовалась безупречной репутацией — ее муж, тоже актер, играл злополучного любовника. Ее игра, хотя не бог весть какая, нравилась публике. Лидгейт, когда хотел теперь отдохнуть, шел в театр и любовался ею — так где-нибудь под благодатным небом юга он мог бы ненадолго броситься на ковер фиалок без малейшего ущерба для своих гальванических опытов, к которым предполагал вернуться по завершении спектакля. Однако на этот раз старая драма закончилась подлинной трагедией. В ту секунду, когда героине полагалось

заколоть своего возлюбленного, а ему — изящно упасть, жена заколола мужа по-настоящему, и он упал, как падают мертвые. Пронзительный вопль огласил зал, и актриса упала в обморок. И крик и обморок требовались по ходу пьесы, но этот обморок выглядел слишком уж подлинным. Лидгейт вскочил, сам не зная как взобрался на сцену и познакомился со своей героиней, осторожно приподняв ее и убедившись, что она сильно ушибла голову. На другой день весь Париж ни о чем другом не говорил, решая, было ли это убийством или нет. Некоторые из наиболее жарких поклонников актрисы были склонны поверить в ее виновность и только еще больше восхищались своим кумиром (таковы были вкусы в те времена), однако Лидгейт к ним не принадлежал. Он негодующе доказывал, что все произошло случайно, и прежнее отвлеченное преклонение перед ее красотой теперь сменилось нежной преданностью и глубокой тревогой за ее судьбу. Убийство! Какая нелепость! Что могло ее к этому побудить? Молодые супруги, как всем было известно, обожали друг друга, а ведь подвернувшаяся нога не раз становилась причиной не менее серьезных последствий. Официальное следствие завершилось освобождением мадам Лауры. Лидгейт в это

время часто с ней виделся и находил ее все более и более обворожительной. Она говорила мало, но это лишь придавало ей прелести. Она была печальна, но, казалось, испытывала к нему благодарность. Ее общество дарило тихую радость, как вечерний свет. Лидгейт жаждал завоевать ее любовь и ревниво опасался, что какой-нибудь другой соперник успеет опередить его и поведет ее к алтарю. Но мадам Лаура не возобновила своего ангажемента в Порт-Сан-Мартэн, где ее популярность только возросла бы из-за недавней трагедии, и внезапно исчезла из Парижа, без предупреждения покинув кружок преданных своих поклонников. Вероятно, никто особенно ее не разыскивал, за исключением Лидгейта, который позабыл про науку, воображая, как несчастная Лаура, изнемогающая под бременем бесконечной печали, скитается где-то одна, без верного утешителя. Однако найти пропавшую актрису много легче, чем какую-нибудь научную истину, и вскоре Лидгейту удалось узнать, что Лаура уехала по Лионской дороге. В конце концов он отыскал ее в Авиньоне, — она с большим успехом играла под прежней фамилией и выглядела особенно величественной в роли покинутой жены, прижимающей к сердцу свое

дитя. После конца спектакля он явился к ней, был принят с обычной тихой безмятежностью, которая казалась ему прекрасной, как прозрачные глубины реки, и просил разрешения побывать у нее на следующий день, намереваясь открыть ей свою любовь и просить ее руки. Он понимал, что порыв этот безумен и противоречит всему, к чему он стремился прежде. Но что из того! Его решение твердо. По-видимому, в нем живут две натуры, и им следует приспособиться друг к другу и научиться терпеливо сносить взаимные помехи. Странно, как те из нас, кто умеет смотреть на себя со стороны, способны проницать взглядом за туман наших увлечений и в то время, как мы безумствуем на вершинах, увидеть далеко внизу широкую равнину, где нас упрямо поджидает наша вторая натура.

Говорить с Лаурой иначе, чем с благоговейной нежностью, значило бы пойти наперекор своему чувству к ней.

— И вы отправились из Парижа в такую даль, только чтобы найти меня? — спросила она на следующий день, сидя перед ним со скрещенными на груди руками и обратив на него взор, полный задумчивого недоумения, какое прячется в глазах пасущейся на лугу дикой коровы. — Неужели все

англичане такие?

— Я приехал, потому что должен был вас увидеть. Вы одиноки. Я люблю вас и хочу, чтобы вы дали согласие стать моей женой. Я готов ждать, но обещайте мне, что выйдете замуж за меня, и ни за кого другого.

Лаура молча, со светлой грустью смотрела на него из-под полуопущенных век, и в восторге, не сомневаясь в ее согласии, он опустился на колени возле нее.

— Я хочу вам кое-что сказать, — произнесла она своим воркующим голосом, по-прежнему держа руки скрещенными на груди. — Нога у меня тогда и правда подвернулась.

— Я знаю, знаю! — с упреком воскликнул Лидгейт. — Это была трагическая случайность, роковой удар судьбы, который только укрепил мою любовь к вам.

Лаура вновь помолчала, а затем медленно сказала:

— Я хотела это сделать.

Несмотря на всю свою душевную силу и твердость, Лидгейт смертельно побледнел и содрогнулся. Прошло несколько мгновений, прежде чем он поднялся с колен и отступил от нее.

— Тут кроется тайна, — воскликнул он наконец

с каким-то исступлением. — Он был жесток с вами, вы ненавидели его.

— Нет. Он надоел мне, он досаждал мне нежностями и хотел, чтобы мы жили в Париже, а не в моих родных краях, как хотела я.

— Боже великий! — вскричал Лидгейт со стоном ужаса. — И вы задумали его убить?

— Я ничего не задумывала. Просто во время спектакля я поняла, что хочу это сделать.

Лидгейт окаменел. Он машинально надел шляпу, не сводя глаз с женщины, которой отдал первый пыл своего юного сердца. Она представлялась ему стоящей среди толпы тупых преступников.

— Вы очень милый молодой человек, — сказала она. — Но с меня довольно. Второй раз я замуж не пойду.

Три дня спустя Лидгейт вновь занимался гальванизмом в своей парижской квартире, уверенный, что пора иллюзий для него миновала навсегда. Он не ожесточился — от этого его спасли сердечная доброта и вера в возможность улучшить человеческую жизнь. Но теперь, когда его убеждения прошли проверку опытом, он будет всецело полагаться на них и рассматривать женщин с чисто научной точки зрения, не питая

никаких необоснованных надежд.

В Мидлмарче прошлое Лидгейта, кратко тут обрисованное, никому известно быть не могло, и почтенные обыватели, подобно большинству смертных, нисколько не стремились точно представить себе то, что прямо их не касалось. Не только юные девы этого города, но и седобородые мужи, торопясь найти в своих планах место для нового знакомого, удовлетворялись самыми приблизительными представлениями о том, каким образом жизнь подготовила его для выполнения потребной им роли. Короче говоря, Мидлмарч намеревался спокойно проглотить Лидгейта и без малейших затруднений его переварить.

# Глава XVI

*Прелесть женщин всех вмещает*
*Каждая твоя черта.*
*Нас ведь в женщинах пленяет*
*Красота и доброта.*

***Чарлз Седли*[63]**

Обитателей Мидлмарча весьма занимал вопрос, получит ли мистер Тайк должность платного капеллана в новой больнице, и Лидгейт, выслушивая различные мнения, получил некоторое понятие о том, каким влиянием пользовался в городе мистер Булстрод. Банкир, несомненно, обладал значительной властью, однако ему противостояла не такая уж маленькая партия, и даже некоторые его сторонники давали понять, что оказывают ему поддержку только из практических соображений: что поделаешь — так уж устроен мир, а когда занимаешься коммерцией, тем более приходится кадить и дьяволу.

Власть мистера Булстрода объяснялась не только тем, что он, как банкир, знал финансовые секреты большинства промышленников

---

**[63] Примечания: 63**
Чарлз Седли (1638 — 1701) — английский поэт.

и коммерсантов города и мог воздействовать на источники их кредита; она подкреплялась благотворительностью, одновременно щедрой и требовательной, — щедрой на помощь, которая обязывала, и требовательной к тем, кто эту помощь получал. Он не жалел хлопот, чтобы устроить Тэгга, сына башмачника, подмастерьем к хорошему хозяину, но потом строго следил, усердно ли Тэгг посещает церковь; он защищал миссис Страйп, прачку, от Стабба, противуправно взыскивавшего с нее плату за место, где она сушила белье, и сам расследовал, насколько справедлива сплетня, чернящая миссис Страйп. Он часто ссужал небольшие суммы из собственного кармана, но не прежде, чем наводил подробные справки обо всех обстоятельствах своего должника, за которым затем продолжал внимательно следить. Таким образом человек приобретает не только благодарность своих ближних, но и владычество над их страхами и надеждами. А подобная власть растет, питаясь сама собой, и вскоре становится непропорционально большой по сравнению со средствами, которыми она располагает. Мистер Булстрод стремился приобрести как можно больше власти во имя самых высоких принципов — чтобы употребить ее к вящей славе божьей. Он

выдерживал немалую внутреннюю борьбу и долго вел споры с собой, пока не убедился в чистоте собственных побуждений и не разобрался в том, чего требует слава божья. Но, как мы уже видели, другие люди истолковывали его побуждения не всегда правильно. В Мидлмарче было немало грубых умов, способных взвешивать на своих мысленных весах только предметы, сваленные в одну кучу, и они сильно подозревали, что мистер Булстрод, раз он не наслаждается жизнью на их манер, а ест и пьет весьма умеренно и без конца о чем-нибудь хлопочет, должен, подобно вампиру, упиваться ощущением власти.

Разговор о назначении капеллана зашел и за столом мистера Винси, когда там обедал Лидгейт, и, как он заметил, свойство с мистером Булстродом не стесняло свободы выражений даже самого хозяина, хотя его доводы сводились только к тому, что проповеди мистера Тайка очень уж сухи, а проповеди мистера Фербратера, которые он предпочитал, свободны от этого недостатка. Мистер Винси не имел ничего против того, чтобы капеллану платили жалованье — при условии, что капелланом станет мистер Фербратер, превосходнейший малый, отличный проповедник, да к тому же на редкость обходительный.

— Так какой же линии думаете вы придерживаться? — осведомился мистер Чичли, следственный судья, большой приятель мистера Винси и такой же любитель скачек.

— Я только радуюсь, что больше не вхожу в число директоров. Я подам голос за то, чтобы дело было передано на усмотрение директоров и медицинского совета. Я переложу свою ответственность на ваши плечи, доктор, — сказал мистер Винси, взглянув сперва на доктора Спрэга, старшего городского врача, а затем на Лидгейта, сидевшего напротив. — Вам, господа лекари, придется провести консультацию, какое черное питье вы пропишете, э, мистер Лидгейт?

— Мне почти ничего не известно ни о том, ни о другом, — ответил Лидгейт. — Но, говоря вообще, назначения слишком часто становятся делом личных симпатий. А ведь наилучший кандидат на ту или иную должность — вовсе не обязательно самый приятный или самый обходительный человек. Порой для того чтобы произвести необходимые реформы, есть только один способ: отправить на пенсию приятных людей, которых все любят, и избавиться от них.

Доктор Спрэг, считавшийся наиболее «солидным» врачом, хотя доктор Минчин слыл самым

«проницательным», согнал со своего крупного обрюзглого лица всякое выражение и, пока Лидгейт говорил, внимательно рассматривал вино в рюмке. В этом молодом человеке было много странного и подозрительного — например, щеголяние иностранными идеями, а также склонность ворошить то, что давно было решено и забыто людьми постарше и поопытнее. И разумеется, все это не могло нравиться эскулапу, чье положение было упрочено тридцать лет назад трактатом о менингите — трактатом, по меньшей мере один экземпляр которого с пометкой «собственный» был переплетен в телячью кожу. Со своей стороны, я не могу не посочувствовать доктору Спрэгу: наше самодовольство — это наша собственность, не облагаемая налогом, и очень неприятно вдруг обнаружить, что она обесценилась.

Впрочем, слова Лидгейта пришлись не по вкусу и всему обществу. Мистер Винси сказал, что, будь его воля, ни один неприятный человек никакой должности не получил бы.

— Черт бы побрал ваши реформы! — объявил мистер Чичли. — Чистейшей воды надувательство. Что ни реформа, то фокус-покус, чтобы протащить новых людей. Надеюсь, вы все-таки

не согласны с «Ланцетом», мистер Лидгейт, и не желаете, чтобы судебное следствие было изъято из ведения юристов? Ваши слова как будто указывают именно на это.

— Я не одобряю Уэкли[64], — перебил доктор Спрэг. — Весьма не одобряю. Интриган, который готов принести в жертву респектабельность профессии, опирающуюся, как всем известно, на лондонские колледжи, — и ради того лишь, чтобы добиться известности для себя. Есть люди, которые согласны, чтобы их ногами пинали, только бы стать предметом разговоров. Однако Уэкли бывает и прав, — добавил доктор задумчиво. — Я мог бы назвать один-два вопроса, где Уэкли прав.

— Ну-ну, — заметил мистер Чичли. — Впрочем, стоять за честь мундира, по-моему, похвально. Но если вернуться к нашему вопросу, хотел бы я знать, как сможет следственный судья оценивать данные по делу, если он не получил юридического образования?

— На мой взгляд, — сказал Лидгейт, — юриди-

---

**[64] Примечания: 64**

*Уэкли Томас* (1795 — 1862) — английский врач и общественный деятель, основавший в 1823 г. медицинский журнал «Ланцет» и последовательно выступавший с критикой косности и невежества, отличавших в то время многих английских врачей.

ческое образование не дает человеку компетентности в делах, требующих знаний иного рода. Люди говорят о данных по делу так, словно их действительно можно взвесить на весах слепой богини правосудия. Никто не способен решить, какие данные в каждом конкретном случае основательны, а какие нет, если у него нет знаний, специально для этого случая подходящих. При вскрытии от юриста толку не больше, чем от деревенской старухи. Что он знает о действии ядов? С тем же успехом можно утверждать, что, научившись строить речь по правилам риторики, вы тем самым научились строить дома.

— Полагаю, вам известно, что следственный судья не проводит вскрытия, а лишь получает сведения от свидетеля-медика? — пренебрежительно бросил мистер Чичли.

— Который в невежестве подчас не уступает следственному судье, — сказал Лидгейт. — Вопросы судебной медицины нельзя оставлять на волю случая в надежде, что свидетель-медик окажется достаточно компетентным; а следственным судьей не должен быть человек, который поверит, будто стрихнин разрушает внутренние оболочки желудка, если так ему заявит невежественный лекарь.

Увлекшись, Лидгейт совсем упустил из виду тот факт, что мистер Чичли был следственным судьей его величества, и простодушно завершил свою тираду вопросом:

— Вы согласны со мной, доктор Спрэг?

— До известной степени, если иметь в виду густонаселенные области и столицу, — ответил почтенный доктор. — Однако я от души надеюсь, что наши края еще очень не скоро лишатся услуг моего друга Чичли, даже если на смену ему придет самый выдающийся член нашей профессии. И полагаю, Винси со мной согласится.

— Конечно, конечно! Если следственный судья разбирается в лошадях, так чего еще надо? — шутливо воскликнул мистер Винси. — И на мой взгляд, с юристом дело будет вернее. Всего ведь никто знать не может. Господь судит — господь и карает. Что до отравлений, так тут достаточно знать законы. А теперь не присоединиться ли нам к дамам?

Лидгейт про себя решил, что мистер Чичли был именно таким следственным судьей, который не придерживается никакого мнения относительно внутренних оболочек желудка, но пример этот он привел, не думая о личностях. Однако, вращаясь в лучшем мидлмарчском обществе, благоразумнее

было не требовать специальных знаний от тех, кто занимал те или иные должности, получая за это солидное жалованье. Фред Винси как-то назвал Лидгейта педантом, а мистер Чичли с удовольствием назвал бы его нахалом, особенно когда в гостиной он всецело завладел вниманием Розамонды — такой tete-a-tete[65] оказался возможен, потому что за чайным столиком председательствовала миссис Винси. Она не уступала дочери ни одной из обязанностей хозяйки дома, и ее цветущее добродушное лицо под розовыми лентами, завязанными пышным бантом у красивой шеи, и ее веселая шутливость в обращении с мужем и детьми, несомненно, делали дом Винси особенно привлекательным для гостей и помогали влюбиться в ее старшую дочь. Оттенок легкой безобидной вульгарности в манерах миссис Винси выгодно оттенял утонченность Розамонды, намного превзошедшую ожидания Лидгейта.

Несомненно, маленькие ножки и красивые плечи придают манерам дополнительную утонченность, а уместные высказывания кажутся особенно уместными, когда их сопровождают пленительные движения безупречных губок и

---

**[65] Примечания: 65**
Здесь: разговор вдвоем (*фр.*).

ресниц. Розамонда же умела говорить уместные вещи, потому что была умна в той мере, какая позволяет улавливать любой тон, кроме юмористического. К счастью, она никогда не пробовала шутить, и пожалуй, это было наилучшим доказательством ее ума.

Разговор между ней и Лидгейтом завязался без всякого труда. Он выразил сожаление, что в тот день в Стоун-Корте ему не удалось послушать ее пения. Единственное удовольствие, которое он позволял себе под конец своих занятий в Париже, было посещение концертов.

— Вы, наверное, учились музыке? — спросила Розамонда.

— Нет. Я различаю песни птиц и знаю на слух много мелодий, но настоящая музыка, в которой я вовсе не осведомлен, волнует меня, дает мне радость. Как глуп свет! Такое наслаждение доступно каждому, а им столь редко пользуются!

— Да, и особенно в Мидлмарче. Тут почти никто не умеет музицировать. И я знаю только двух джентльменов, которые поют более или менее сносно.

— Полагаю, тут принято петь комические куплеты речитативом, предоставляя слушателям воображать мелодию — словно ее отбивают на

барабане.

— А, так вы слышали мистера Боуера! — заметила Розамонда с одной из своих редких улыбок. — Но мы позволяем себе дурно говорить о наших ближних.

Лидгейт чуть было не позабыл о своей обязанности поддерживать беседу, залюбовавшись этим обворожительным созданием: платье Розамонды было точно соткано из нежной небесной голубизны, а сама она, казалось, во всей своей белокурой прелести только что вышла из какого-то огромного цветка. И в то же время эта почти младенческая белокурость сочеталась с уверенной отточенной грацией. Воспоминания о Лауре излечили Лидгейта от пристрастия к большеглазой молчаливости — божественная корова уже не влекла его, а Розамонда была ее полной противоположностью. Спохватившись, он поспешил сказать:

— Надеюсь, вы доставите мне сегодня удовольствие услышать ваше пение?

— Мои ученические попытки, хотите вы сказать? Да, если вам угодно. Папа, конечно, потребует, чтобы я спела. Но, признаюсь, мне будет страшно, ведь вы слышали лучших певиц Парижа. А я не слышала почти никого — мне

всего раз довелось побывать в Лондоне. Однако органист нашей церкви — церкви святого Петра — превосходный музыкант, и я продолжаю брать у него уроки.

— Расскажите мне, что вы видели в Лондоне.

— Очень мало. (Более наивная девушка сказала бы: «Ах, решительно все!», но Розамонда этой ошибки не совершила.) Только те достопримечательности, которые принято показывать невежественным провинциальным простушкам.

— Неужели вы серьезно считаете себя невежественной провинциальной простушкой? — воскликнул Лидгейт, бросив на нее восхищенный взгляд, который вызвал на ее щеках румянец удовольствия. Однако она сохранила прежнюю безыскусственную серьезность и, слегка изогнув красивую шею, чуть поправила свои удивительные волосы — ее обычный жест, столь же изящный, как движение кошачьей лапки. Но Розамонда вовсе не походила на кошечку — она была сильфидой, которую изловили совсем юной и отдали на воспитание в пансион миссис Лемон.

— Поверьте, мой ум совсем необразован, — сказала она. — Для Мидлмарча он вполне годится, и

я не боюсь разговаривать с нашими старинными знакомыми. Но вас я правда боюсь.

— Богато одаренная женщина почти всегда знает больше, чем мы, мужчины, хотя ее знания и иного порядка. Я убежден, что вы могли бы научить меня тысяче самых восхитительных вещей — как могла бы многому обучить медведя прелестная птичка, если бы они обладали общим языком. К счастью, у мужчин и женщин такой язык есть, и медведей все-таки можно обучать.

— А, Фред забренчал! Я должна пойти туда, чтобы он перестал терзать ваши нервы, — сказала Розамонда и направилась к фортепьяно. Фред открыл его потому, что мистер Винси пожелал, чтобы Розамонда что-нибудь сыграла гостям, но, воспользовавшись случаем, принялся сам наигрывать одной рукой «Спелые вишни». (Способные люди, блистательно сдавшие экзамены, нередко предаются этому занятию с не меньшим увлечением, чем провалившийся Фред.)

— Фред, будь так добр, отложи свои упражнения до завтра, иначе мистеру Лидгейту может стать дурно, — сказала Розамонда. — У него есть музыкальный слух.

Фред засмеялся, но доиграл мелодию до конца.

Розамонда обернулась к Лидгейту.

— Как видите, медведи не всегда поддаются обучению, — заметила она с легкой улыбкой.

— Садись же, Рози! — скомандовал Фред, предвкушая удовольствие. Он вскочил с табурета и выкрутил его, чтобы ей было удобно. — Начни с чего-нибудь забористого.

Розамонда играла превосходно. Ее учитель в пансионе миссис Лемон (находившемся вблизи старинного городка, от прежде славной истории которого сохранились лишь собор и замок) принадлежал к числу тех прекрасных музыкантов, которых порой можно встретить в нашей провинциальной глуши и которые ни в чем не уступят прославленным капельмейстерам другой страны, где гораздо легче стать музыкальной знаменитостью. Розамонда искусно переняла манеру игры своего учителя и с точностью эха воспроизводила его величавое истолкование благородной музыки. Тот, кто слышал ее в первый раз, всегда бывал невольно поражен. Из-под пальцев Розамонды словно бы лились признания самой ее души. А впрочем, так оно и было — ведь души живут среди нескончаемого эха, и за всяким чудесным отражением где-то кроется то, что его порождает, пусть даже все ограничивается истолкованием. Лидгейт был полностью покорен

и уверовал в исключительность Розамонды. В конце концов, думал он, нет смысла удивляться такому редкому сочетанию природных дарований при, казалось бы, столь неблагоприятных обстоятельствах; в любом случае дарования зависят от условий отнюдь не очевидных. Он не спускал с нее глаз, испытывая все более глубокое восхищение, а когда она кончила, не встал, как другие, и не подошел к ней, чтобы сказать какой-нибудь светский комплимент.

Пение ее не так поражало, хотя было безупречным и приятным для слуха, как гармоничный бой хорошо настроенных курантов. Правда, она пела «Приди ко мне в лучах луны» и «Я бродил», ибо смертные должны быть причастны моде своего времени и лишь древним авторам дано всегда оставаться классическими. Однако Розамонда могла бы выразительно спеть и «Черноглазую Сьюзен», и канцонетту Гайдна, а также «Voi, che sapete»[66] или «Batti, batti»[67] — в зависимости от того, что, по ее мнению, могло понравиться слушателям.

Ее отец обводил взглядом гостей, наслаждаясь

---

**[66] Примечания: 66**
«Вы, те, кто знает» (*ит.*).

**[67] Примечания: 67**
«Хлопай, хлопай» (*ит.*).

их восторгом, а мать сидела, подобно Ниобее[68], которую еще не постигли бедствия, и, держа на коленях младшую дочь, нежно покачивала руку девочки в такт музыке. Даже Фред, несмотря на свое скептическое отношение к Рози, слушал ее с искренним удовольствием, жалея только, что не может вот так же чаровать слушателей своей флейтой. Лидгейт со времени своего приезда в Мидлмарч еще ни разу не бывал на столь приятном семейном вечере. Винси умели радоваться, забывать про заботы и не считали жизнь юдолью скорби, а потому тон их дома был редкостью для провинциальных городов той эпохи, когда евангелизм подозрительно косился на немногие еще сохранявшиеся там развлечения, словно на источники чумной заразы. У Винси играли в вист и карточные столы были уже разложены, а потому некоторые гости с тайным нетерпением ожидали, когда Розамонда кончит петь. Однако прежде успел прийти мистер Фербратер, красивый, широкоплечий, хотя и невысокий мужчина лет сорока в довольно ветхом сюртуке — но ум, светившийся в живых серых глазах, возмещал от-

**[68] Примечания: 68**

*Ниобея* — в греческой мифологии фиванская царица, настолько гордившаяся своими детьми, что она оскорбила этим богов, которые в наказание поразили их всех смертью.

сутствие внешнего лоска. Его появление словно осветило гостиную: он успел ласково пошутить с маленькой Луизой, которую мисс Морган как раз собралась увести, дружески перездоровался со всеми и, казалось, за десять минут сумел сказать больше, чем было сказано за весь вечер. Лидгейту он напомнил об обещании побывать у него:

— И я не позволю вам уклониться, потому что хочу, чтобы вы посмотрели моих жуков. Мы, коллекционеры, не даем покоя новым знакомым, пока не покажем им все, что у нас есть.

Затем он направился к карточному столику, потирая руки со словами:

— Ну-ну, займемся серьезным делом. Мистер Лидгейт? Ах, вы не играете? Да, конечно, вы еще слишком молоды и легкомысленны.

Лидгейт пришел к выводу, что этот священник, чьи таланты столь огорчали мистера Булстрода, по-видимому, привык отдыхать душой в этом, бесспорно, не слишком ученом доме. Пожалуй, его можно понять: добродушие, приятная внешность и старых и молодых, а также развлечения, позволяющие коротать время без напряжения умственных способностей, конечно, должны привлекать сюда тех, кто не знает, на что употребить свой досуг.

У всех тут был здоровый и цветущий вид, не считая лишь мисс Морган, которая была бесцветна, скучна и полна покорности судьбе — то есть, как часто повторяла мисс Винси, самой судьбой предназначалась в гувернантки. Впрочем, Лидгейт не собирался бывать здесь часто — ему было жаль вечеров, пропадающих впустую, и теперь он решил, что еще немного поболтает с Розамондой и откланяется.

— Конечно, мы, обитатели Мидлмарча, вряд ли вам понравимся, — сказала Розамонда, когда партии в вист были составлены. — Мы так необразованны, а вы привыкли к совершенно иному.

— Мне кажется, провинциальные города все одинаковы, — ответил Лидгейт. — Но я давно замечал, что родной город всегда кажется хуже других. Я намерен принимать Мидлмарч таким, каков он есть. Тем более что я никак не ожидал найти в нем столько очарования.

— Если вы имеете в виду живописные дороги, ведущие в Типтон и Лоуик, то они действительно всем очень нравятся, — наивно сказала Розамонда.

— Нет, то, что я имел в виду, находится не столь далеко отсюда.

Розамонда встала, поправила сетку на своих

волосах и спросила:

— Скажите, вы танцуете? Я, право, не знаю, танцуют ли серьезные люди.

— Я готов танцевать, если вы согласитесь быть моей дамой.

— Ах! — сказала Розамонда и засмеялась с легким упреком. — Я ведь собиралась просто сказать, что иногда у нас бывают танцы, и спросить, не будете ли вы оскорблены, если мы пришлем вам приглашение.

— При указанном мною условии — нет, не буду.

После этого разговора Лидгейт совсем уж собрался уйти, однако задержался у карточного стола, с интересом наблюдая за мастерской игрой мистера Фербратера и за его лицом, в котором удивительно сочетались проницательность и мягкость. В десять часов подали ужин (так было заведено в Мидлмарче), а также пунш. Впрочем, мистер Фербратер выпил только стакан воды. Он выиграл роббер, но тут же начался новый, и Лидгейт наконец простился и ушел.

Так как еще не было одиннадцати, он, вдыхая бодрящий ночной воздух, направился к церкви св. Ботольфа, где служил мистер Фербратер, — ее массивная квадратная башня вырисовывалась

на звездном небе четким черным силуэтом. Это была самая старая церковь города, однако ее священник получал не десятину, а только жалованье — всего четыреста фунтов в год. Лидгейт знал об этом и прикинул, смотрит ли мистер Фербратер на вист и на свой выигрыш только как на развлечение. «Он кажется очень приятным человеком, — подумалось ему, — но, возможно, у Булстрода есть какие-нибудь веские причины». Если бы оказалось, что мистер Булстрод обыкновенно бывал прав, для Лидгейта многое стало бы гораздо легче. «Какое мне дело до его религиозных убеждений, если они внушают ему здравые идеи? Надо применяться к тому, что есть, а не искать невозможного».

Вот о чем размышлял Лидгейт, покинув дом мистера Винси, и, боюсь, после этого многие читательницы сочтут его недостойным своего внимания. О Розамонде и ее игре он вспомнил, только когда перестал думать о мистере Булстроде, и хотя ее образ витал перед ним до конца прогулки, он не испытывал никакого волнения и не ощущал, что в его жизни произошла хотя бы малейшая перемена. Он пока еще не мог жениться и даже мысль об этом откладывал на будущее, а потому не собирался влюбляться хотя бы и

в самую очаровательную девушку. Розамонда казалась ему очаровательной, но он не сомневался, что ни одна красавица больше не заставит его потерять голову, как когда-то Лаура. Правда, если бы речь все-таки зашла о любви, то вряд ли можно было бы найти избранницу безопаснее мисс Винси, чей ум украсил бы любую женщину — образованный, утонченный, восприимчивый, способный постигать деликатнейшие оттенки жизни и обитающий в теле, которое настолько все это подтверждает, что иных доказательств не нужно. Лидгейт почувствовал, что его жена — если он когда-нибудь женится — будет наделена такой же мягкой лучезарностью, такой же женственностью, родственной цветам и музыке, такой же красотой, которая по самой природе своей добродетельна, потому что создана лишь для чистых и возвышенных радостей.

Но в ближайшие пять лет он жениться не собирался, а пока у него было более неотложное дело — дома его ждала новая книга Луи[69] о горячке, особенно интересная потому, что он был знаком с Луи в Париже, а также присутствовал на множестве анатомических демонстраций, изучая

**[69] Примечания: 69**

*Луи Пьер* (1787 — 1872) — французский врач и педагог, изучавший, в частности, тифы.

различия между тифом и тифоидом. Он вернулся домой и читал почти до рассвета, штудируя это описание болезней с таким вниманием к подробностям и с такой критичностью, какие не считал нужным тратить на размышления о любви и браке, поскольку полагал, что вполне достаточно тут осведомлен благодаря романам и вековой мудрости, которую мужчины из поколения в поколение передают друг другу в дружеских разговорах. Тогда как в горячке было много таинственного: она давала обильную пищу воображению и увлекательную работу дисциплинированному уму, далекому от прихотливых фантазий, — он сопоставлял и строил предположения, ясным взглядом охватывая все вероятности, исходя из уже имеющихся знаний, а затем в деятельном союзе с беспристрастной Природой придумывал испытания, дабы проверять ее же творения.

Многих людей восхваляли за живость воображения на том лишь основании, что они в больших количествах создавали посредственные картины либо скверную прозу: изложения пустых разговоров, ведущихся на дальних планетах, или портреты Люцифера в виде уродливого великана, отправляющегося творить свои скверные дела на крыльях летучей мыши среди клубов

фосфорического сияния, или же преувеличения мерзостей, которые преображают жизнь в болезненный бред. Однако Лидгейту такого рода вдохновение представлялось пошлым и бессмысленным, особенно в сравнении с воображением, которое постигает тончайшие процессы, не доступные никаким увеличительным стеклам, прослеживая их в непроглядной тьме по длинным цепям причин и следствий с помощью внутреннего света, представляющего собой высшее напряжение энергии и способного озарить своим совершенным сиянием даже атомы эфира. Сам он презрительно отбрасывал прочь дешевые выдумки, которыми тешится ленивое невежество, — его властно влекла та пылкая работа мысли, которая лежит в самой основе научных исследований либо помогает заранее обрисовать их цель, а затем уточняет и выверяет способы ее достижения. Он стремился проникнуть в тайну тех скрытых процессов, из которых рождаются человеческие радости и горести, развеять мрак, скрывающий те невидимые пути, на которых таятся душевные страдания, безумие и преступления, те тонкие механизмы, которые определяют развитие счастливого или несчастного характера.

И когда Лидгейт наконец отложил книгу, вытянул ноги к тлеющим углям в камине и закинул руки за голову, испытывая то приятное расслабление, которое наступает после напряженного труда, потому что мысль уже не стремится к постижению одного определенного предмета, а неторопливо отдыхает в единении со всем нашим существом, словно пловец, перевернувшийся на спину и отдающийся на волю течения в спокойствии нерастраченных сил, он ощутил торжествующую радость и что-то вроде жалости к тем злополучным неудачникам, которые не принадлежали к его профессии.

«Если бы тогда, в детстве, я не сделал этого выбора, — думал он, — то, возможно, тянул бы теперь какую-нибудь дурацкую лямку и ничего не видел бы вокруг себя. Я был бы несчастен, занимаясь делом, которое не требовало бы от меня напряжения всех моих умственных сил и не держало бы меня в постоянном живом соприкосновении с другими людьми. Тут медицина ни с чем не сравнится — она открывает передо мной безграничные просторы науки и позволяет облегчать участь стариков в приходской богадельне. Священникам сочетать то и другое куда труднее, и Фербратер как будто составляет исключение».

Тут его мысли вновь обратились к семейству Винси и в памяти всплыли подробности прошлого вечера. Перебирая их в уме, Лидгейт не испытывал ничего, кроме удовольствия, и когда, взяв свечу, он направился к себе в спальню, на его губах играла легкая улыбка, обычно сопровождающая приятные воспоминания. Он был наделен пылкой натурой, но пока отдавал этот пыл любимой науке и честолюбивому желанию всей своей жизнью внести признанный вклад в улучшение жизни человечества — подобно другим героям науки, которые начинали простыми врачами в деревенской глуши.

Бедный Лидгейт! Или мне следует сказать: бедная Розамонда! У каждого из них был свой мир, о котором другой не имел ни малейшего представления. Лидгейту и в голову не приходило, что на нем сейчас сосредоточены все помыслы Розамонды, у которой не было ни причин считать свое замужество делом далекого будущего, ни научных занятий, способных отвлечь ее от мысленного повторения каждого взгляда, слова и фразы, что занимает столько места в жизни большинства девушек. Он полагал, что смотрит на нее и говорит с ней лишь с той долей естественного восхищения, которое красивая девушка не

может не внушить каждому мужчине. Он даже был уверен, что почти не выдал удовольствия, которое доставила ему ее игра, опасаясь, как бы его удивление не показалось невежливым, словно он не ждал от нее подобного совершенства. Однако Розамонда заметила и запомнила каждое его слово и каждый взгляд, считая их завязкой романа, который предвидела заранее, — завязкой, обретшей достоверность благодаря мысленно уже пережитым кульминации и развязке. Роман, сочинявшийся Розамондой, не требовал обрисовки ни внутренней жизни героя, ни занятий, которым он посвятил жизнь. Разумеется, он был не только красив, но также умен и достаточно богат, однако самым главным достоинством Лидгейта было благородное происхождение, отличавшее его от всех мидлмарчских ее поклонников, — брак с ним означал более высокое положение в обществе, а может быть, и доступ в этот земной рай, где она избавится от всех вульгарных знакомых и вступит в круг новой родни, ни в чем не уступающей местным помещикам, которые смотрят сверху вниз на обитателей Мидлмарча. Особый склад ума Розамонды позволял ей улавливать тончайшие оттенки светских различий: однажды ей довелось увидеть барышень Брук,

которые сопровождали дядю, приехавшего на судебную сессию, и сидели на местах, отведенных для аристократии, — и она позавидовала им, хотя одеты они были очень просто и скромно.

Если вам покажется невероятным, что мысли о семейных связях Лидгейта могли вызвать в душе Розамонды сладкое волнение, которое она воспринимала как знак своей в него влюбленности, то я воззову к вашей наблюдательности и спрошу, не замечали ли вы того же свойства за красным мундиром и эполетами? Наши чувства не живут раздельно в запертых кельях, но, облаченные в одежды из собственных понятий, сходятся к общему столу со своими кушаньями и угощаются из общих запасов в соответствии с аппетитом каждого.

Розамонда, собственно говоря, была поглощена не столько самим Тертием Лидгейтом, сколько его отношением к ней, — и девушке, привыкшей слышать, что все молодые люди должны обязательно и неизбежно влюбиться в нее, если уже не влюбились, следует простить уверенность, будто Лидгейт не может составить исключения. Его взоры и слова значили для нее больше, чем взоры и слова других мужчин, потому что больше ее интересовали, — она тщательно их обдумывала

и столь же тщательно следила за совершенством своего облика, манер, разговора и прочих чар, которые Лидгейт, несомненно, сумеет оценить более глубоко, чем прежние ее поклонники.

Ибо Розамонда, хотя она никогда не делала того, что ей не нравилось, была прилежна и теперь с особым усердием писала акварелью пейзажи, рыночные повозки и портреты приятельниц, упражнялась на фортепьяно и с утра до вечера вела себя в точном согласии со своими представлениями о том, какой должна быть истинная леди, старательно играя эту роль перед самой собой, а иногда с еще большим удовольствием и перед посторонними зрителями, то есть перед знакомыми, когда они приезжали с визитом. Она находила время читать самые лучшие романы, а также и не самые лучшие, и знала наизусть множество стихов. Любимым своим поэтическим произведением она назвала бы «Лалла-Рук»[70].

«Лучшая девушка в мире. Тот, кому она достанется, может считать себя редким счастливцем!» — утверждали пожилые джентльмены, бывавшие у Винси, а отвергнутые молодые поклонники решали попробовать еще раз, как это принято в

---

**[70] Примечания: 70**

«*Лалла-Рук*» — романтическая поэма английского поэта Томаса Мура (1779 — 1852), пользовавшаяся в те годы большой популярностью.

провинциальных городах, где возможных соперников не так уж много. Однако миссис Плимдейл полагала, что Розамонда напрасно совершенствовалась в своих светских талантах: какой от них толк, если она, выйдя замуж, все это оставит? А ее тетка Булстрод, питавшая к семье брата истинно родственную привязанность, от души желала Розамонде двух вещей: обрести более серьезный взгляд на мир и найти мужа, чье богатство отвечало бы ее притязаниям.

## Глава XVII

*Она красавицей слыла,*
*Но бесприданницей была*
*И старой девой умерла.*

Преподобный Кэмден Фербратер, в гости к которому Лидгейт отправился на следующий день, жил в старом каменном доме при церкви, почти столь же древнего вида, как и она сама. Старой была и мебель, хотя восходила она всего лишь к временам отца мистера Фербратера и его деда. Выкрашенные белой краской стулья с позолотой и веночками, занавески из обветшавшего, когда-то красного дамаска, гравированные портреты лордов-канцлеров и других именитых законоведов прошлого столетия, отражавшиеся в старомодных стенных зеркалах, светлые полированные столики и кушетки, больше всего похожие на растянутые и отнюдь не покойные кресла, — фоном же всему этому служили потемневшие от времени дубовые панели. Так выглядела гостиная, куда ввели мистера Лидгейта и где его приняли три дамы, столь же старомодные, столь же поблекшие и столь же по-

чтенные: миссис Фербратер, седовласая матушка священника, еще не достигшая семидесяти лет, с живыми глазами и прямой спиной, выглядевшая очень изящной в свежем платье со множеством оборок и в нарядной шали; мисс Ноубл, ее сестра, крохотная кроткая старушка, чьи оборки и шаль были гораздо более поношены, а кое-где и подштопаны; и наконец, мисс Уинифред Фербратер, старшая сестра священника, похожая на него и еще довольно красивая, но замкнутая в себе и робкая, какими обычно бывают одинокие женщины, которые всю жизнь подчиняются старшим родственникам. Лидгейт не ожидал увидеть этот женский кружок. Зная только, что мистер Фербратер холост, он предполагал, что будет принят в кабинете среди книжных шкафов и ящиков с коллекциями. И сам священник выглядел несколько иным — явление довольно обычное, когда впервые видишь недавнего знакомого в домашней обстановке. В подобных случаях порой кажется, что актеру на амплуа добродушных резонеров вдруг поручили роль ворчливого скупца. Впрочем, к мистеру Фербратеру это не относилось. Просто его кротость стала еще заметнее, а разговорчивость сменилась молчаливостью — говорила главным образом его

мать, а он лишь изредка добродушно вставлял слово-другое, чтобы смягчить ее категоричность. Старушка, несомненно, привыкла предписывать своим собеседникам, что им следует думать, и считала, что без ее помощи они не сумеют правильно разобраться ни в одном предмете. От исполнения этой взятой на себя обязанности ее ничто не отвлекало, так как мисс Уинифред заботливо предупреждала всякое ее желание. Тем временем маленькая мисс Ноубл словно нечаянно уронила кусок сахара себе на блюдце и тут же тихонько опустила его в корзиночку, висевшую у нее на руке, боязливо оглянулась и поднесла к губам чашку, что-то пискнув, как испуганный зверек. Прошу вас, не думайте дурно о мисс Ноубл. В корзиночку попадали лакомства, которых она лишала себя, чтобы оделять ими детишек окрестных бедняков, когда навещала их по утрам в хорошую погоду. Она получала такое удовольствие, если могла приголубить и побаловать какое-нибудь живое существо, что ей казалось, будто это порок, пусть и приятный. А может быть, она постоянно испытывала искушение украсть у тех, кто имел все в избытке, чтобы помочь тем, у кого не было ничего, и это подавляемое желание тяжелым бременем ложилось

на ее совесть. Давать — это роскошь, доступная только тем, кто беден.

Миссис Фербратер приветствовала гостя с любезностью, в которой, однако, было больше живости, чем церемонности. Она почти сразу же сообщила ему, что у них в доме редко требуется помощь врача. Она приучила своих детей носить теплое белье и соблюдать умеренность в еде — по ее мнению, главной причиной всех болезней была неумеренность в еде. Лидгейт было вступился за тех, чьи родители любили плотно поесть, но миссис Фербратер сочла такую точку зрения опасной и порочащей Природу: эдак каждый преступник начнет требовать, чтобы вместо него повесили его предков. Если дети негодяев сами становятся негодяями, то их и надо вешать, а не пускаться в рассуждения неизвестно о чем.

— Матушка, как Георг Третий, возражает против метафизики, — сказал священник.

— Я, Кэмден, возражаю против того, что неверно. Достаточно помнить несколько простых истин и все с ними согласовывать. В дни моей молодости, мистер Лидгейт, ни у кого не было никаких сомнений, что хорошо, а что дурно. Мы учили катехизис, и ничего больше не требовалось, мы знали символ веры и свои обязанности.

Между священнослужителями не было никаких духовных разногласий. А теперь вам будут возражать, даже если вы прямо читаете из молитвенника.

— Довольно приятная эпоха для тех, кто любит придерживаться собственной точки зрения, — заметил Лидгейт.

— Но матушка всегда готова уступить, — лукаво вставил священник.

— Нет, нет, Кэмден, не вводи мистера Лидгейта в заблуждение. Я никогда не дойду до такого неуважения к моим родителям, чтобы отречься от того, чему они меня учили. И всем известно, к чему приводит перемена взглядов. Если один раз, то почему не двадцать!

— Человек может согласиться с убедительными доводами и переменить точку зрения, а потом твердо ее придерживаться, — сказал Лидгейт, которого забавляла решительность старушки.

— Нет, простите! Доводов всегда можно набрать сколько угодно, если человек непостоянен в своих взглядах. Мой отец никогда их не менял, и проповеди его были простыми и поучительными без всяких доводов, а найти человека лучше него было бы трудно! Покажите мне хорошего человека, созданного из доводов, и я вместо обеда угощу

вас описаниями кушаний из поваренной книги. Вот так-то! И думаю, любой желудок подтвердит мою правоту.

— В отношении обеда, матушка, подтвердит, и несомненно, — сказал мистер Фербратер.

— Обед ли, человек ли — это одно и то же. Мне под семьдесят, мистер Лидгейт, и я полагаюсь на свой опыт. Я не пойду за новыми путеводными огнями, хотя их тут не меньше, чем повсюду. Теперь словно ткут из каких попало нитей: ни стирки не выдерживают, ни носки. В дни моей молодости все было по-другому: если человек прилежал церкви, он прилежал церкви, а священник во всяком случае был джентльменом. Теперь же священник может быть чуть ли не сектантом и оттирать моего сына в сторону, ссылаясь на доктрину. Но кто бы ни старался оттереть его, я с гордостью скажу, мистер Лидгейт, что во всей стране мало найдется равных ему проповедников, а про этот город и говорить нечего — тут быть первым похвала невелика. Во всяком случае, по моему мнению — я ведь знаю, что такое истинное благочестие.

— Кто сравнится с матерями в беспристрастности? — спросил мистер Фербратер с улыбкой. — Как, по-вашему, матушка, что говорит о Тайке

его мать?

— Бедняжка! А что она может сказать! — воскликнула миссис Фербратер, на мгновение утрачивая категоричность — так велика была ее вера в материнские суждения, — уж поверь, себе она говорит правду.

— Но что именно? — осведомился Лидгейт. — Мне очень бы хотелось это знать.

— О, ничего плохого! — ответил мистер Фербратер. — Он весьма ревностный малый, не очень ученый и не очень умный, как мне кажется… ведь я с ним не согласен.

— Ты слишком снисходителен, Кэмден! — сказала мисс Уинифред. — Гриффин и его жена говорили мне сегодня, что мистер Тайк распорядился, чтобы им не давали больше угля, если они будут слушать твои проповеди.

Миссис Фербратер отложила вязанье, которое снова взяла, выпив свой чай и съев поджаренный ломтик хлеба, и пристально посмотрела на сына. «Ты слышишь?!» — словно говорил ее взгляд.

— Ах бедные, бедные! — воскликнула мисс Ноубл, возможно, имея в виду двойную утрату — угля и проповеди.

Однако священник сказал спокойно:

— Но ведь они не мои прихожане. И не думаю,

что мои проповеди важней для них, чем корзина угля.

— Мистер Лидгейт, — поспешила сказать миссис Фербратер, — вы не знаете моего сына: он ценит себя слишком низко. Я постоянно ему повторяю, что он слишком низко ценит бога, который его создал — и создал прекрасным проповедником.

— По-видимому, матушка, мне пора увести мистера Лидгейта к себе в кабинет, — со смехом заметил священник — Я ведь обещал показать вам мои коллекции, — добавил он, обернувшись к Лидгейту. — Так пойдемте?

Все три дамы начали возражать. Наверное, мистер Лидгейт выпьет еще чашечку чая (мисс Уинифред заварила его очень много). Почему Кэмден так торопится увести гостя к себе? Там же ничего нет, кроме всяких маринованных тварей в банках да навозных мух и ночных бабочек в ящиках. Даже ковра на полу нет. Конечно, мистер Лидгейт это извинит, но все-таки… Почему бы лучше не сыграть в криббедж? Короче говоря, хотя мать, тетка и сестра мистера Фербратера считали его лучшим из людей и проповедников, они, по-видимому, полагали, что без их наставлений он никак обойтись не может. Лидгейт с

бессердечием молодого холостяка подивился, почему мистер Фербратер им это спускает.

— Матушке кажется странным, что мое увлечение может быть интересно гостю — это случается не так уж часто, — сказал священник, открывая дверь кабинета, который действительно, как и давали понять дамы, был обставлен очень скудно, без какого-либо намека на роскошь, если не считать короткой фарфоровой трубки и ящичка с табаком.

— Люди вашей профессии обычно не курят, — заметил мистер Фербратер, и Лидгейт, улыбнувшись, кивнул. — И моей тоже. Так, собственно, и следует, я полагаю. Вы еще услышите, как мне достается за эту трубку от Булстрода и компании. Они даже не представляют, в какой восторг пришел бы дьявол, откажись я от нее.

— Да, конечно. Вы вспыльчивы и нуждаетесь в успокаивающем средстве. А я флегматичнее и от курения обленился бы. Предался бы праздности и погрузился в спячку со всей моей энергией.

— А вы намерены всецело отдать ее работе. Я лет на десять — двенадцать старше вас и научился идти на компромиссы. А потому немножко потакаю некоторым своим слабостям, чтобы они не взбунтовались. Но посмотрите, — про-

должал он, выдвигая несколько небольших ящиков. — По-моему, насекомые нашего края у меня представлены очень полно. Я занимаюсь и фауной и флорой, но насекомые — мой конек. Мы чрезвычайно богаты прямокрылыми. Не знаю, насколько… А! Вы смотрите на эту банку, а не на мои ящики. Вас все это не интересует?

— Нет, когда я вижу такого очаровательного анацефального уродца. У меня не было времени, чтобы по-настоящему заняться естественной историей. Строение организма — вот что занимало меня с самого начала, и это прямо связано с моей профессией. А потому у меня нет нужды в других увлечениях, передо мной и так расстилается море.

— Счастливец! — вздохнул мистер Фербратер и, повернувшись на каблуках, принялся набивать трубку. — Вы не знаете, что значит испытывать потребность в духовном табаке, — плохие толкования древних текстов, крохотные заметки о разновидности травяной тли, подписанные звучным именем «Филомикрон»[71], для «Журнала бездельников», или же ученый трактат о насеко-

---

**[71] Примечания: 71**

*Филомикрон (греч.)* — букв.: любитель мелочей.

мых в Пятикнижии[72], включая всех тех, которые там не упомянуты, но тем не менее могли быть встречены израильтянами во время их скитаний по пустыне. И еще монография, посвященная взглядам Соломона на муравьев и доказывающая полное соответствие «Книги притчей»[73] и результатов современных исследований. Ничего, что я вас окуриваю?

Откровенность этой речи удивила Лидгейта даже больше, чем содержавшийся в ней намек на то, что мистер Фербратер предпочел бы в жизни иное занятие. Все эти специально изготовленные ящики и полки, а также книжный шкаф, набитый дорогими иллюстрированными книгами по естественной истории, навели его на мысль о том, какое применение находил священник своим карточным выигрышам. Однако ему уже хотелось, чтобы наилучшее истолкование любых действий мистера Фербратера и было бы истинным. Откровенность священника совершенно не походила на ту неприятную откровенность, какой нечистая совесть спешит предупредить

---

**[72] Примечания: 72**

*Пятикнижие* — общее название первых пяти книг Библии.

**[73] Примечания: 73**

*«Книга притчей»* — одна из библейских книг, авторство которой приписывалось древнееврейскому царю Соломону (X в. до н.э.).

чужие суждения, — просто он предпочитал, насколько мог, избегать притворства. Впрочем, мистеру Фербратеру, по-видимому, пришло в голову, что такая непринужденность могла показаться его собеседнику преждевременной. Во всяком случае, он поторопился объяснить:

— Я еще не сказал вам, мистер Лидгейт, что у меня есть некоторое преимущество перед вами: я знаю вас лучше, чем вы меня. Помните Троли, который жил в Париже на одной квартире с вами? Мы с ним переписывались, и он мне много о вас рассказывал. Когда вы только приехали, я не был уверен, действительно ли это вы. И очень обрадовался, когда так и оказалось. Но я помню, что вы познакомились со мной без подобного предисловия.

Лидгейт уловил, что слова эти продиктованы деликатностью, но она была ему не совсем понятна.

— А кстати, что сталось с Троли? — спросил он. — Я совсем потерял его из виду. Французские социальные системы его не увлекли, и он поговаривал о том, чтобы уехать в какую-нибудь дикую глушь и основать там нечто вроде пифагорейской

общины[74]. Он так и сделал?

— Ну нет! У него практика на одном из немецких курортов, и он женился на богатой пациентке.

— Значит, мои идеи были правильнее, — заметил Лидгейт с презрительным смешком. — Он утверждал, что профессия врача неотделима от обмана и шарлатанства. А я говорил, что виноваты в этом люди — те люди, которые не могут обходиться без лжи и безрассудства. Вместо того чтобы проповедовать против шарлатанства снаружи, следует произвести обеззараживание изнутри. Короче говоря, как я тогда утверждал, здравый смысл был на моей стороне.

— Однако выполнить ваш план значительно труднее, чем устроить пифагорейскую общину. Ведь вам тут противостоит не только живущий в вас ветхий Адам — против вас все потомки первого Адама, из которых состоит окружающее общество. Видите ли, познанию подобных трудностей я отдал на десять — двенадцать лет больше, чем вы. Впрочем… — Тут мистер Фербратер умолк, а затем добавил: — Вы опять

**[74] Примечания: 74**

*Пифагорейская община* — здесь: община, построенная на основе социально-утопических идей в духе этического учения древнегреческого философа Пифагора (VI в. до н.э.), призывавшего своих последователей вести строго аскетическую жизнь.

рассматриваете этот сосуд. Хотите меняться? Только вам это недешево обойдется.

— У меня есть парочка заспиртованных морских ежей — прекрасные экземпляры. И я добавлю новинку Роберта Брауна «Исследование пыльцы растений под микроскопом». Конечно, если у вас еще нет этой книги.

— Ну, видя, как вам хочется получить уродца, я, пожалуй, потребую цену повыше. Что, если я попрошу вас осмотреть все мои ящики и согласиться, что мне удалось кое-что открыть? — Все это время мистер Фербратер прохаживался с трубкой во рту, то и дело нагибаясь к своим любимым ящикам. — Знаете, это было бы недурным упражнением для молодого врача, которому предстоит ублажать мидлмарчских пациентов. Вам ведь следует научиться терпеливо скучать. Впрочем, уродца берите на своих условиях.

— Не кажется ли вам, что люди преувеличивают необходимость считаться с глупыми капризами? Ведь дураки, которым они потакают, начинают их же презирать, — сказал Лидгейт, подходя к мистеру Фербратеру и рассеянным взглядом скользя по аккуратным рядам насекомых и ярлычков, написанных каллиграфическим почерком. — Гораздо проще дать понять, чего вы

стоите, чтобы люди считались с вами и тогда, когда вы им не льстите.

— О, безусловно! Но для этого вы должны быть уверены, что действительно чего-то стоите, а кроме того, необходимо сохранять независимость. А это редко кому удается. Либо вы вообще сбрасываете с себя упряжь и перестаете приносить пользу, либо волей-неволей идете туда, куда вас тянут товарищи по упряжке. Но все-таки взгляните на этих прелестных прямокрылых!

И Лидгейту пришлось осмотреть содержимое каждого ящика: хотя священник посмеивался над собой, но продолжал выдвигать их.

— Да, кстати, об упряжи, — сказал Лидгейт, когда они наконец снова сели. — Я уже довольно давно решил в упряжке не ходить, насколько это зависит от меня. Вот почему я предпочел пока не обосновываться в Лондоне. То, что я видел, когда учился там, мне не понравилось — слишком уж много пустопорожнего важничанья и интриг. В провинции люди меньше претендуют на ученость, и с ними труднее находить общие интересы, зато ваше самолюбие из-за них не страдает, а потому легче избегать ссор и спокойно идти избранным путем.

— Да… Ну что же, начали вы неплохо — вы сде-

лали верный выбор и занимаетесь работой, для которой подходите больше всего, а ведь столько людей ошибаются и уже не могут потом исправить свои ошибки. Но не будьте так уверены, что вам удастся сохранить независимость.

— Вы имеете в виду семейные узы? — спросил Лидгейт и подумал, что самого мистера Фербратера эти узы как будто опутали по рукам и ногам.

— Не только. Хотя семья, конечно, создает много трудностей. Однако хорошая жена — хорошая, чуждая суетности женщина — может стать истинной помощницей мужа и помочь ему сохранить независимость. Вот один из моих прихожан — прекрасный человек, но вряд ли он сумел бы вынести все, что вынес, если бы не его жена. Вы знаете Гартов? Впрочем, они, по-моему, не были пациентами Пикока.

— Да, не были. Но в Лоуике у старика Фезерстоуна живет какая-то мисс Гарт.

— Их дочь. Чудесная девушка.

— Она очень молчалива. Я, собственно, не обратил на нее внимания.

— Зато она на вас обратила, можете не сомневаться.

— Почему же? — спросил Лидгейт. (Не мог же он сказать: «Ну, разумеется!»)

— О, она обо всех составляет свое мнение. Я готовил ее к конфирмации, и должен признаться, она всегда была моей любимицей.

Однако Лидгейт не стал расспрашивать про Гартов, и мистер Фербратер минуту-другую молча попыхивал трубкой. Затем отложил ее, вытянул ноги, повернулся к Лидгейту с улыбкой в живых глазах и сказал:

— Однако мы, обитатели Мидлмарча, вовсе не такие кроткие и покладистые, какими вы нас считаете. У нас есть свои интриги и свои партии. Я, например, принадлежу к одной партии, а Булстрод к другой. Если вы подадите свой голос за меня, то заденете Булстрода.

— А что дурного известно про Булстрода? — быстро спросил Лидгейт.

— Я ведь не сказал, что о нем известно что-нибудь дурное. Просто если вы не поддержите его кандидата, то наживете себе врага.

— Это меня трогает очень мало, — сказал Лидгейт гордым тоном. — Но он высказывал здравые идеи об устройстве больниц и тратит значительные суммы на полезные общественные начинания. Он может мне помочь в осуществлении моих планов. Ну а что до его религиозных убеждений… сказал же Вольтер, что заклинани-

ями можно погубить овечье стадо, если только сдобрить их мышьяком. Я ищу человека, который принес бы мышьяк, а его заклинания меня не интересуют.

— Превосходно. Но в таком случае не наступайте на ногу тому, от кого вы ждете этого мышьяка. А я… я ведь не обижусь, — сказал мистер Фербратер с искренней простотой. — У меня нет обыкновения вменять мои желания в обязанность другим людям. Булстрод мне неприятен во многих отношениях. Мне не нравится его круг — это нетерпимые и невежественные люди, которые не столько помогают своим ближним стать лучше, сколько всячески их допекают. Они образуют тесную клику, отличающуюся, так сказать, духовным своекорыстием, а остальное человечество представляется им тельцом, обреченным на заклание, дабы питать их на пути в небесную обитель. Впрочем, — добавил он с улыбкой, — я вовсе не утверждаю, что булстродовская новая больница — плохая затея. А что касается его желания больше не допускать меня в старую, то он просто воздает мне похвалой за похвалу, если считает меня вредным субъектом. И ведь я далеко не образцовый священнослужитель, а лишь в меру добросовестный.

Лидгейт не был так уж уверен, что мистер Фербратер к себе несправедлив. Образцовый священнослужитель, как и образцовый врач, должен был бы считать свою профессию лучшей в мире и обращать всякое знание на службу своей, так сказать, духовной медицине. И он сказал только:

— Но чем Булстрод обосновывает свое желание не допускать вас в больницу?

— А тем, что я не проповедую его мнений — того, что он именует религией духа, — и что у меня нет свободного времени. И то и другое правда. Однако время я найти мог бы и сорок фунтов пришлись бы мне очень кстати. Вот, собственно, и вся суть дела. Но довольно об этом. Я просто хотел сказать вам, что в случае, если вы поддержите того, кто дает вам мышьяк, вам не обязательно порывать знакомство со мной. Мне никак не хотелось бы вас лишиться. Вы ведь своего рода кругосветный путешественник, решивший поселиться среди нас, и вы поддерживаете мою веру в существование антиподов. Ну, а теперь расскажите мне поподробнее о парижских антиподах.

## Глава XVIII

*Величью та же участь суждена,*
*Что и ничтожеству: герой иль гений,*
*Как все мы, может заболеть чумой*
*Иль в дальнем плаванье погибнуть от цинги,*
*Забывши запастись лимонным соком.*

Вопрос о том, кто будет назначен капелланом, приобрел для Лидгейта практическое значение лишь через несколько недель после этого разговора, и, скрывая причину от самого себя, он до последней минуты откладывал решение, за кого подать свой голос. Ему было бы совершенно безразлично, кто станет капелланом, — иными словами, он выбрал бы сторону, более удобную для себя, и проголосовал бы за мистера Тайка, — если бы мистер Фербратер не внушал ему глубокой симпатии.

Но чем короче он узнавал священника прихода св. Ботольфа, тем больше тот ему нравился. То, как мистер Фербратер вошел в его положение нового человека в городе, которому приходится оберегать свои профессиональные интересы, и

не только не пробовал заручиться его помощью, но прямо от нее отказался, свидетельствовало о редкой деликатности и великодушии, и Лидгейт был способен в полной мере оценить их. В других отношениях поведение мистера Фербратера отличалось не меньшим благородством, так что его натуру можно было уподобить одному из тех южных пейзажей, в которых величие природы словно противопоставляется человеческой лени и неряшеству. Трудно было бы найти человека, столь нежного и заботливого с матерью, теткой и сестрой, хотя необходимость содержать их очень затрудняла его жизнь. И мало кто, испытывая постоянную нужду то в том, то в другом, столь же прямодушно отказывался бы прикрывать неизбежные старания улучшить свой жребий обманчивой личиной высокого бескорыстия. Он сознавал, что самому взыскательному критику не в чем было бы его упрекнуть, и, возможно, поэтому относился с некоторым пренебрежением к строгой требовательности тех, кто, несмотря на близость к небесам, не приносил радости в свой дом, тех, чьи возвышенные цели никак не сказывались на их поступках. Проповеди его отличались свежестью и силой, свойственной проповедникам англиканской церкви в ее луч-

шие дни, и произносил он их, не заглядывая в тетрадь. Послушать его собирались люди из других приходов, а так как многим священникам нередко приходится служить перед полупустыми скамьями, у него были основания ощущать свое превосходство. К тому же он был очень приятным человеком — благожелательным, остроумным, откровенным, и в его тоне никогда не проскальзывала усмешка подавленной горечи или другие подобные чувства, которыми добрая половина из нас постоянно досаждает своим друзьям и знакомым. Лидгейт испытывал к нему большую симпатию и хотел бы стать его другом.

Вот почему он избегал думать о назначении капеллана и убеждал себя, что это досадное дело совершенно его не касается и, может быть, ему вообще не нужно будет участвовать в голосовании. По просьбе мистера Булстрода он составлял планы размещения больных в новой больнице, и потому они часто виделись. Банкир ясно показывал, что твердо полагается на Лидгейта, но о предстоящем выборе между Тайком и Фербратером больше не упоминал. Однако когда состоялось заседание попечительского совета старой больницы и Лидгейт узнал, что на следующую пятницу назначено совещание директоров

и врачей, на котором будет рассматриваться вопрос о назначении капеллана, он с раздражением понял, что должен в ближайшие три дня решить для себя, на какую сторону он встанет в этой тривиальной мидлмарчской распре. Внутренний голос твердил ему, что Булстрод здесь — премьер-министр и что от назначения Тайка зависит, получит ли он, Лидгейт, должность или нет, остаться же без нее ему никак не хотелось. Его собственные наблюдения ежеминутно подтверждали слова Фербратера о том, что Булстрод не простит противодействия своей воле. «Черт бы побрал их мышиную возню!» — такая мысль не раз посещала его по утрам во время бритья (процесса, располагающего к размышлениям), после того как он пришел к выводу, что пора представить все дело на суд своей совести. Бесспорно, против назначения мистера Фербратера можно было выдвинуть достаточно веские возражения — у него и так уже много различных обязанностей, особенно если вспомнить, сколько времени он тратит на занятия, к его приходу отношения не имеющие. Далее, несмотря на все свое уважение к нему, Лидгейт никак не мог свыкнуться с тем, что мистер Фербратер играет в карты ради денег, — конечно, вист ему нравился сам по себе, но

целью его оставался выигрыш. Мистер Фербратер любил рассуждать о желательности всяких игр, утверждая, что без них ум англичанина неминуемо закоснеет. Однако Лидгейт не сомневался, что священник играл бы заметно реже, если бы выигрыш не приносил ему денег. В «Зеленом драконе» был бильярдный зал, который опасливые матери и жены считали главным источником соблазна в Мидлмарче. Мистер Фербратер был отличным бильярдистом и хотя не принадлежал к завсегдатаям «Зеленого дракона», но, по слухам, иногда заглядывал туда в дневные часы, играл на деньги и выигрывал. К тому же он не скрывал, что капелланом хотел бы стать только из-за сорока фунтов жалованья. Лидгейт не был пуританином, но он не любил азартных игр, и деньги, полученные таким способом, казались ему нечистыми. К тому же его жизненный идеал внушал ему отвращение к подобной погоне за мелкими суммами. До сих пор его собственные нужды удовлетворялись без каких-либо забот с его стороны, и он, как и подобает джентльмену, не привык скупиться на полукроны: о том же, чтобы самому раздобывать эти полукроны, он и помыслить не мог. Он, конечно, знал, что не богат, но бедным он себя никогда не чувствовал и был неспособен

вообразить ту роль, которую отсутствие денег играет в человеческих поступках. Деньги никогда не были для него движущей силой. А потому он не находил оправдания для такого сознательного стремления к небольшой наживе. Это было для него настолько омерзительно, что он даже не пытался вычислить соотношение между доходом мистера Фербратера и его более или менее необходимыми расходами. Возможно, он не стал бы производить подобные вычисления, если бы речь шла и о нем самом.

И теперь, перед голосованием, это отвратительное обстоятельство вопияло против мистера Фербратера гораздо громче, чем раньше. Насколько проще было бы выбирать образ действий, если бы человеческие характеры были более последовательными и особенно если бы наши друзья всегда и во всех отношениях подходили для тех обязанностей, которые хотели бы на себя взять! Лидгейт испытывал полную уверенность, что, несмотря на Булстрода, проголосовал бы за мистера Фербратера, если бы возражения против него все же не были вескими, — он ведь не собирается стать вассалом Булстрода! С другой стороны, Тайк — человек, всецело преданный своему клерикальному долгу и как младший священник

при часовне в приходе св. Петра располагает достаточным свободным временем. И в сущности, никто ничего дурного о мистере Тайке сказать не мог. Каждый замечал только, что терпеть его не может и что он, наверное, лицемер. Нет, со своей точки зрения, Булстрод был решительно прав.

Но к какому бы решению Лидгейт ни начинал склоняться, он испытывал внутреннюю неловкость, и это возмущало его гордость. Ему не хотелось ссориться с Булстродом, подвергая опасности осуществление своих заветных целей. Но ему не хотелось и голосовать против Фербратера, лишая его должности и жалованья, тем более что эти сорок фунтов, может быть, избавили бы священника от недостойной нужды в карточных выигрышах. Кроме того, Лидгейту было неприятно сознание, что, голосуя за Тайка, он извлекает из этого выгоды для себя. Но для себя ли? Люди, конечно, будут говорить именно так, намекая, что он старается войти в милость к Булстроду, чтобы занять положение повиднее и добиться успеха. Ну и что? Он-то знает, что если бы дело шло о его личной судьбе, он не придавал бы ни малейшего значения ни дружбе банкира, ни его вражде. Ему нужна только работа, только воплощение его идей. Так разве

он не вправе поставить новую больницу, где у него будет возможность изучать разные типы горячек и проверять действие лекарств, выше всего, что связано с должностью капеллана? Впервые в жизни Лидгейт ощутил сковывающее давление, казалось бы, мелких обстоятельств, их непостижимую паутинообразную сложность. Он так и не завершил этого внутреннего спора и, отправляясь в больницу, в сущности, надеялся только, что во время обсуждения выяснятся какие-то обстоятельства, которые склонят чашу весов на одну сторону, а потому в голосовании не будет нужды. Мне кажется, он полагался также на воздействие минуты, на внезапно возникающее жаркое чувство, которое сразу облегчает решение, чего невозможно добиться никакими хладнокровными рассуждениями. Но как бы то ни было, он еще не знал твердо, за кого подаст голос, и только внутренне восставал против навязанной ему необходимости становиться на чью-то сторону. Совсем недавно это показалось бы ему нелепым образчиком скверной логики: он, с его неуклонной решимостью сохранять независимость, с его высокими целями, в самом начале оказался в тисках ничтожной дилеммы, любое решение которой было ему тягостно. В

студенческие годы он рисовал свои действия на избранном поприще совсем, совсем иначе.

Лидгейт вышел из дома довольно поздно, и доктор Спрэг с двумя другими врачами, а также несколько директоров уже были в зале. Однако мистер Булстрод — казначей и председатель — еще не явился. Из разговоров присутствующих как будто следовало, что исход голосования отнюдь не предрешен и большинство Тайку вовсе не так уж обеспечено. Оба старейших врача, как ни удивительно, на этот раз оказались единодушны, а вернее, по разным причинам собирались действовать одинаково. Доктор Спрэг, плотный толстяк, был, как все и предполагали, на стороне мистера Фербратера. Существовало сильнейшее подозрение, что он вообще неверующий, но почему-то Мидлмарч прощал ему этот изъян, словно лорду-канцлеру. Возможно даже, его профессиональная репутация от этого только выигрывала, поскольку старинное убеждение, будто всякое искусство есть порождение неправедности, все еще жило в душах и тех его пациенток, которые придерживались самых строгих взглядов на оборки и догматы. Возможно, именно дух отрицания, пребывавший в докторе, побуждал называть его твердолобым и сухим — качества натуры, также

считающиеся благоприятными для накопления медицинских знаний. Во всяком случае, одно не вызывает сомнений: появись в Мидлмарче доктор с твердыми религиозными взглядами, набожный и во всех отношениях деятельно благочестивый, общество немедленно пришло бы к заключению, что врач он никуда не годный.

В этом смысле доктору Минчину очень повезло (с точки зрения его профессии): религиозность его была весьма терпима и давала своего рода медицинскую санкцию всякой вере, независимо от смысла доктрины и от того, посещал ли пациент церковь или сектантскую молельню. Если мистер Булстрод заявлял, как это было у него в обычае, что церковь должна стоять на лютеранской доктрине оправдания верой, доктор Минчин высказывал убеждение, что человек — не просто машина или случайное скопление атомов; если миссис Уимпл, жалуясь на желудочные колики, говорила о божественном предопределении, доктор Минчин предпочитал не замыкать окна разума и возражал против твердо установленных границ; если пивовар-унитарианин вышучивал Афанасиев символ веры[75], доктор Минчин ци-

**[75] Примечания: 75**

*Афанасиев символ веры* — символ веры, принятый католической церковью.

тировал «Опыт о человеке» Александра Попа[76]. Ему не нравился несколько вольный стиль доктора Спрэга — он предпочитал солидные цитаты и изысканность во всем. Было известно, что он состоит в родстве с каким-то епископом и иногда гостит «во дворце».

Мягкие пухлые руки, бледный цвет лица и округлость фигуры придавали доктору Минчину большое сходство с кротким священнослужителем, тогда как доктор Спрэг был выше среднего роста, его панталоны постоянно собирались складками на коленях, открывая голенища сапог в ту эпоху, когда мода требовала башмаков с пряжками, и он топал в прихожей и на лестнице так, словно приходил чинить крышу. Короче говоря, он обладал весом, а потому мог вступить в открытую схватку с болезнью и швырнуть ее на обе лопатки. Доктор же Минчин был более способен обнаружить тайную засаду болезни и обойти ее с тыла. Оба они примерно в равных долях делили таинственную привилегию врачебной славы и весьма церемонно скрывали презрение к искусству друг друга. Считая себя медицинскими столпами Мидлмарча, они всегда были готовы

**[76] Примечания: 76**

*Александр Поп* (1688 — 1744) — английский поэт; в философской поэме «Опыт о человеке» утверждал гармоничность всего сущего.

объединиться против любых новаторов, а также профанов, пытающихся вмешиваться в то, что их не касается. Поэтому в душе оба одинаково не терпели мистера Булстрода, но доктор Минчин никогда прямо этого не показывал, а в тех случаях, когда позволял себе не согласиться с ним, всякий раз подробно объяснял причину этого миссис Булстрод, которая твердо верила, что ее конституцию понимает только доктор Минчин. Профан, который вмешивался в действия дипломированных врачей и постоянно навязывал какие-то свои нововведения, одним этим оскорблял профессиональное достоинство, хотя, в сущности, именитой паре он досаждал гораздо меньше, чем хирургам-аптекарям, по контракту обязанным лечить неимущих. И доктор Минчин в полной мере разделял негодование против Булстрода, вызванное тем, что он, по-видимому, решил покровительствовать Лидгейту. Давно утвердившиеся лекари мистер Ренч и мистер Толлер как раз дружески толковали в сторонке о том, что Лидгейт — безмозглый франт и орудие Булстрода. Друзьям и знакомым, не причастным к медицинской профессии, они дружно расхваливали молодого своего коллегу, который тоже поселился в городе, когда доктор Пикок удалился

на покой, и не имел иных рекомендаций, кроме собственных достоинств и таких свидетельств солидных профессиональных знаний, как то обстоятельство, что он, по-видимому, не тратил времени на изучение других отраслей науки. Было ясно, что Лидгейт отказывается составлять лекарства с единственной целью бросить тень на тех, кто нисколько его не хуже, и еще для того, чтобы затемнить различие между собственным положением простого практикующего врача и докторов с университетскими дипломами, которые в общих интересах профессии считали своим долгом тщательно сохранять все положенные градации. Особенно когда речь шла о человеке, не учившемся ни в Оксфорде, ни в Кембридже, не проходившем там ни анатомической, ни врачебной практики и лишь развязно ссылавшемся на знания и опыт, якобы приобретенные в Эдинбурге и Париже, где, возможно, наблюдения за болезнями ведутся и широко, но вот с какими результатами?

Таким образом, в умах присутствующих Булстрод на этот раз оказался связанным с Лидгейтом, а Лидгейт с Тайком, и благодаря столь большому выбору взаимозаменяемых имен в вопросе о назначении капеллана различные умы вынес-

ли относительно него совершенно одинаковые заключения.

Не успев войти, доктор Спрэг заявил без обиняков, обращаясь ко всем присутствующим:

— Я за Фербратера. Против жалованья я не возражаю. Но почему отбирать его у приходского священника? Он ведь небогат — а кроме расходов на содержание дома и церковную благотворительность, ему пришлось застраховать свою жизнь. Положите ему в карман сорок фунтов, и вы сделаете доброе дело. И он отличный человек, Фербратер, — от попа в нем не больше, чем необходимо тому, кто носит духовный сан.

— О-хо, доктор! — сказал старый мистер Паудрелл, удалившийся от дел торговец скобяным товаром, человек в городе влиятельный. Возглас этот представлял собой нечто среднее между смехом и парламентским выражением неодобрения. — Вы, конечно, можете иметь свое мнение. Однако нас должны заботить не чьи-то доходы, а души больных бедняков. — Лицо и голос мистера Паудрелла выражали самое искреннее чувство. — Мистер Тайк — истинный евангелический проповедник. И я подал бы голос против собственной совести, если бы подал его не за мистера Тайка. Да-да.

— Противники мистера Тайка, насколько мне известно, никого не просили подавать голос против собственной совести, — сказал мистер Хекбат, богатый кожевник и весьма красноречивый человек. Его сверкающие очки и дыбящиеся надо лбом волосы с упреком повернулись в сторону злополучного мистера Паудрелла. — Но по моему убеждению, нам, как директорам, надлежит взвесить, будем ли мы считать единственной своей обязанностью одобрение предложений, исходящих от одного лишь лица. Найдется ли среди членов нашего собрания такой, кто подтвердит, что он потребовал бы удаления священнослужителя, который много лет исполнял обязанности капеллана в больнице, если бы не настояния некоторых особ, склонных рассматривать все учреждения нашего города лишь как средства для достижения своих собственных целей? Я не хочу бросить тени ни на чьи побуждения — пусть человек отдает в них отчет своему Творцу, но я утверждаю, что тут действуют влияния, несовместимые с истинной независимостью, и что пресмыкающаяся угодливость обычно порождается обстоятельствами, о которых господа, ведущие себя таким образом, опасаются говорить вслух либо из нравственных, либо из финан-

совых соображений. Сам я мирянин, но уделял значительное внимание различным религиозным толкам…

— А, к черту религиозные толки! — вмешался мистер Фрэнк Хоули, адвокат и секретарь городского управления, который редко посещал подобные заседания, но на этот раз поспешно вошел в зал с хлыстом в руке. — Нам здесь до них нет дела. Фербратер выполнял свои обязанности в больнице, каковы бы они ни были, не получая вознаграждения, и если теперь решено платить за них жалованье, получать его должен он. Если Фербратера отстранят, это будет черт знает что такое.

— Мне кажется, присутствующим не следует переходить на личности, — сказал мистер Плимдейл. — Я буду голосовать за назначение мистера Тайка, но мне бы и в голову не пришло, если бы мистер Хекбат не намекнул на это, что я — пресмыкающийся угодник.

— Я нигде не переходил на личности. Я совершенно ясно сказал, если мне будет разрешено повторить или хотя бы закончить то, что я намеревался…

— А, Минчин! — воскликнул мистер Фрэнк Хоули, и все отвернулись от мистера Хекбата,

предоставляя ему скорбеть о бесполезности высоких природных дарований в Мидлмарче. — Послушайте, доктор, вы ведь на стороне правого дела, э?

— Надеюсь, — ответил доктор Минчин, кивая всем и пожимая кое-кому руки. — Как бы дорого это ни обходилось моим чувствам.

— Ну, тут может быть только одно чувство: симпатия к тому, кого вышвыривают вон, — сказал мистер Фрэнк Хоули.

— Признаюсь, я симпатизирую и другой стороне. И питаю к ней не меньшее уважение, — ответил доктор Минчин, потирая ладони. — Я считаю мистера Тайка превосходнейшим человеком, превосходнейшим… и не сомневаюсь, что его кандидатура была предложена из самых безупречных побуждений. Что касается меня, я от души желал бы отдать ему мой голос. Но я вынужден признать, что права мистера Фербратера более весомы. Он прекрасный человек, умелый проповедник и городской старожил.

Старый мистер Паудрелл молча обвел присутствующих грустным взглядом. Мистер Плимдейл нервно поправил складки пышного галстука.

— Надеюсь, вы не станете утверждать, что Фербратер — образцовый священнослужитель, —

объявил, входя в зал, мистер Ларчер, владелец извозной конторы. — Я ничего против него не имею, но, по-моему, такие назначения налагают на нас долг по отношению к городу, не говоря уж о более высоких предметах. На мой взгляд, для священника Фербратер недостаточно взыскателен к себе. Я не хочу ни в чем его упрекать, но он будет появляться в больнице настолько редко, насколько это будет зависеть от него.

— Лучше редко, чем слишком часто, черт побери, — заявил мистер Хоули, чья склонность к крепким выражениям была известна всем в этой части графства. — Больным трудно выдерживать много молитв и проповедей. А религия методистского толка скверно действует на бодрость духа и вредна для здоровья, э? — добавил он, быстро обернувшись к четырем врачам.

Но ему никто не ответил, потому что в зал вошли еще три джентльмена и начался обмен более или менее сердечными приветствиями. Это были преподобный Эдвард Тизигер, священник прихода св. Петра, мистер Булстрод и наш приятель мистер Брук из Типтона, который недавно разрешил включить себя в число директоров, но не посещал заседаний. Однако на этот раз Булстроду удалось его уговорить. Теперь все были в сборе,

кроме Лидгейта.

Члены совета уселись, и мистер Булстрод, бледный и сдержанный, как обычно, занял председательское место. Мистер Тизигер, умеренный евангелист, высказал пожелание, чтобы назначение получил его друг мистер Тайк, человек весьма усердный в вере, который служит в часовне, а потому отдает спасению душ не так уж много времени и может без всякого ущерба взять на себя новые обязанности. Желательно, чтобы капеллан, назначаемый в больницу, был полон ревностного пыла, так как перед ним открываются особые возможности духовного воздействия, и хотя решение выплачивать капеллану жалованье следует только одобрить, необходимо бдительно следить, чтобы должность эта не превратилась в синекуру. Мистер Тизигер держался с таким спокойным достоинством, что несогласным оставалось только молча беситься.

Мистер Брук был убежден, что у всех в этом вопросе намерения самые лучшие. Сам он не занимался делами старой больницы, хотя его всегда очень интересует все, что может принести пользу Мидлмарчу, и он весьма счастлив рассматривать вместе со здесь присутствующими джентльменами любые вопросы, связанные с

общественным благом, — «любые такие вопросы, знаете ли», — повторил мистер Брук, по обыкновению многозначительно кивая.

— Я очень занят своими обязанностями мирового судьи и собиранием документальных свидетельств, но я считаю, что мое время принадлежит обществу… И, короче говоря, мои друзья убедили меня, что капеллан, получающий жалованье… жалованье, знаете ли, — это превосходно. И я счастлив, что могу присутствовать здесь и проголосовать за назначение мистера Тайка, который, насколько я понял, человек редких качеств, апостолический и красноречивый, ну и так далее. И, разумеется, я не откажу ему в моем голосе… при указанных обстоятельствах, знаете ли.

— Мне кажется, вам вдолбили только одну сторону вопроса, мистер Брук, — сказал мистер Фрэнк Хоули, который никого не боялся и как истый тори относился подозрительно к предвыборным маневрам кандидатов не от его партии. — Вам, по-видимому, неизвестно, что один из достойнейших наших священников в течение многих лет исполнял обязанности больничного капеллана без всякого вознаграждения и что его предполагают заменить мистером Тайком.

— Простите меня, мистер Хоули, — сказал Булстрод. — Мистер Брук был самым подробным образом осведомлен о характере мистера Фербратера и его положении.

— Осведомлен врагами мистера Фербратера! — воскликнул мистер Хоули.

— Надеюсь, личная неприязнь тут никакой роли не играет, — сказал мистер Тизигер.

— А я могу поклясться в обратном, — возразил мистер Хоули.

— Господа, — негромко произнес мистер Булстрод, — суть вопроса можно сообщить очень кратко, и если возникли сомнения, что кто-то из тех, кому предстоит сейчас подать свой голос, не был ознакомлен с ней в достаточной мере, я готов изложить все соображения, имеющие отношение к делу.

— Не вижу в этом смысла, — сказал мистер Хоули. — Полагаю, мы все знаем, кому собираемся отдать свой голос. Человек, который хочет поддержать справедливость, не ждет, чтобы его знакомили со всеми сторонами вопроса в последнюю минуту. У меня нет лишнего времени, и я предлагаю голосовать немедленно.

Последовал короткий, но жаркий спор, а затем каждый, написав на листке бумаги «Тайк» или

«Фербратер», опустил его в стеклянный стакан. И тут мистер Булстрод увидел в дверях Лидгейта.

— Как вижу, голоса пока разделились поровну, — сказал мистер Булстрод четким злым голосом и посмотрел на Лидгейта. — Остается подать решающий голос — вам, мистер Лидгейт. Будьте так добры, возьмите листок.

— Ну, так дело решено, — сказал мистер Ренч, вставая. — Мы все знаем, как проголосует мистер Лидгейт.

— Вы, кажется, вкладываете в свои слова какой-то особый смысл? — сказал Лидгейт с некоторым вызовом, держа карандаш над бумагой.

— Я просто говорю, что вы проголосуете так же, как мистер Булстрод. Вы находите это оскорбительным?

— Быть может, это кого-нибудь и оскорбляет. Но мне это не помешает проголосовать так же, как он.

И Лидгейт написал «Тайк».

Вот так преподобный Уолтер Тайк стал капелланом старой больницы, а Лидгейт продолжал и дальше работать с мистером Булстродом. Он искренне считал, что Тайк, возможно, больше подходил для этой должности, но совесть твердила ему, что, если бы не кое-какие посторонние

влияния, он проголосовал бы за мистера Фербратера. А потому назначение капеллана осталось для него болезненным воспоминанием о том, как мелочные мидлмарчские интриги заставили его поступиться независимостью. Может ли человек быть доволен своим решением, когда он в подобных обстоятельствах столкнулся с подобной альтернативой? Не больше, чем он бывает доволен шляпой, которую вынужден был выбрать из тех, какие предлагает ему мода, и носит в лучшем случае с безразличием, видя вокруг себя людей в таких же шляпах.

Однако мистер Фербратер держался с ним по-прежнему дружески. Характер мытаря и грешника отнюдь не всегда далек от характера современного фарисея, ибо мы в большинстве своем столь же мало способны замечать недостатки своего поведения, как и недостатки наших доводов или тупость наших шуток. Но священник св. Ботольфа ни в чем не был схож с фарисеем и, признавая себя таким же, как все люди, поразительно от них отличался в том отношении, что умел извинять тех, кто думал о нем не слишком лестно, и беспристрастно судить чужие поступки, даже когда они причиняли ему вред.

— Мир меня обломал, я знаю, — сказал он как-

то Лидгейту. — Но, с другой стороны, я отнюдь не сильный человек и никогда не обрету славы. Выбор, предложенный Геркулесу, — красивая сказка, но Продик[77] весьма облегчил его для героя: как будто достаточно первого благого решения. Есть ведь и другие легенды — почему он взял в руки прялку и каким образом надел под конец рубашку Несса. Мне кажется, одно благое решение может удержать человека на верном пути, только если ему будут в этом способствовать благие решения всех остальных людей.

Рассуждения мистера Фербратера не всегда укрепляли бодрость духа: он не был фарисеем, но ему не удалось избежать той низкой оценки человеческих возможностей, которую мы торопливо выводим из наших собственных неудач. Лидгейт подумал, что воля мистера Фербратера до жалости слаба.

---

**[77] Примечания: 77**

*Продик* (V в. до н.э.) — древнегреческий софист, автор притчи, в которой рассказывается, как мифическому герою Геркулесу (Гераклу) в юности явились на распутье две женщины. Красавица (символ порока) манила его роскошью и удовольствиями, другая же, олицетворение добродетели, обещала ему славную, но суровую жизнь. Геркулес избрал второе. Однако в легендах о Геркулесе рассказывается, как он был за убийство продан в рабство царице Омфале, которая одела его в женское платье и заставила прясть. Погиб же он потому, что его жена, желая вернуть его любовь, когда он задумал жениться на другой, дала ему рубашку, пропитанную ядовитой кровью убитого им кентавра Несса.

# Глава XIX

*И видите, другая спит на ложе,*
*Ладонь под щеку подложив...*

***Данте, «Божественная комедия»***
***(«Чистилище»)***

Когда Георг Четвертый еще правил в Виндзоре, когда герцог Веллингтон был премьер-министром, а мистер Винси — мэром древней корпорации Мидлмарча, миссис Кейсобон, урожденная Доротея Брук, отправилась в свадебное путешествие в Рим. В те дни мир в целом знал о добре и зле на сорок лет меньше, чем ныне. Путешественники редко хранили исчерпывающие сведения о христианском искусстве в голове или в кармане, и даже блистательнейший из тогдашних английских критиков[78] принял усыпанную цветами гробницу вознесшейся богоматери за богато украшенную вазу, рожденную фантазией художника. Закваска романтизма, помогшего восполнить многие тусклые пробелы любовью и знанием, еще не оживила ту эпоху и не проникла в обычные кушанья, а только бродила в сердцах и умах

**[78] Примечания: 78**
Уильям Хэзлитт (1778 — 1830).

неких живших в Риме длинноволосых немецких художников, чья восторженная энергия заражала юношей и других национальностей, которые работали или бездельничали рядом с ними.

В одно прекрасное утро молодой человек с волосами лишь умеренно длинными, хотя густыми и кудрявыми, однако одетый и державшийся как англичанин, отвернулся от Бельведерского торса и залюбовался великолепным видом гор, который открывается из полукруглого вестибюля, соседствующего с этим ватиканским залом. Он был так поглощен созерцанием пейзажа, что заметил появление темноглазого, чем-то взволнованного немца, только когда тот положил ему руку на плечо и сказал с сильным акцентом:

— Быстрей туда, не то она изменит позу.

Молодой человек встрепенулся, и они оба быстро прошли мимо Мелеагра в зал, где отдыхающая Ариадна, которую тогда называли Клеопатрой, покоится на пьедестале во всей мраморной пышности своей красоты, и складки одеяния облегают ее, легкие и нежные, точно цветочные лепестки. Друзья как раз успели увидеть возле этой полулежащей фигуры еще одну — фигуру цветущей молодой женщины, чьи формы, столь же прекрасные, как у мраморной Ариадны, скрывало

аскетически серое одеяние. Длинная накидка, завязанная у шеи, была отброшена за локти, и красивая рука без перчатки подпирала щеку, немного сдвинув назад белый касторовый капор, который обрамлял ее лицо и просто уложенные темно-каштановые волосы, точно нимб. Она не глядела на статую и, возможно, не думала о ней — ее большие глаза были мечтательно устремлены на полоску солнечного света, пересекавшую пол. Но едва молодые люди остановились, словно любуясь Клеопатрой, она почувствовала их присутствие и, не взглянув на них, направилась к служанке и курьеру, которые ждали у дверей зала.

— Ну, что ты скажешь об этом удивительном контрасте? — спросил немец, посмотрел на приятеля, словно приглашая его восхититься, и продолжал свои излияния, не дожидаясь ответа. — Тут лежит античная красота, даже в смерти не сходная с трупом, но лишь замкнувшаяся в полном удовлетворении своим чувственным совершенством. А рядом стоит красота, исполненная жизни, таящая в груди память о долгих веках христианства. Но ей недостает одеяния монахини. По-моему, она принадлежит к тем, кого вы называете квакерами, хотя на моей кар-

тине я изобразил бы ее монахиней. Впрочем, она замужем — я видел кольцо на этой удивительной руке, иначе я принял бы тощего Geistlicher[79] за ее отца. Некоторое время назад я видел, как он с ней прощался, и вдруг вот сейчас она предстала передо мной в этой великолепной позе. Ты только подумай! Может быть, он богат и захочет заказать ее портрет. Но что толку глядеть ей вслед — вон она, уезжает. Давай проследим, где она живет.

— Нет-нет, — сказал его друг, сдвигая брови.

— Ты какой-то странный, Ладислав. Словно тебя что-то поразило. Ты ее знаешь?

— Я знаю, что она жена моего кузена, — ответил Уилл Ладислав и, сосредоточенно хмурясь, направился к дверям зала. Немец шел рядом с ним, не спуская с него глаз.

— Как? Этот Geistlicher? Он больше похож на дядю, чем на кузена. И это более полезное родство.

— Он мне не дядя и даже не кузен, а просто дальний родственник, — ответил Ладислав раздраженно.

— Schön, schön[80]. Ну, не огрызайся. Ты ведь не сердишься на меня за то, что, по-моему, я еще не

---

**[79] Примечания: 79**
Священника (*нем.*).

**[80] Примечания: 80**
Ладно, ладно (*нем.*).

видывал такой идеальной юной мадонны, как госпожа Дальняя Родственница?

— Сержусь? Вздор! Я видел ее только один раз и всего несколько минут, когда мой родственник познакомил нас перед самым моим отъездом из Англии. Она тогда была еще его невестой. И я не знал, что они собираются в Рим.

— Но теперь ты ведь пойдешь их повидать? Раз тебе известна их фамилия, узнать, где они поселились, нетрудно. Заглянем в почтовую контору? И ты поговоришь про портрет.

— Черт побери, Науман! Я еще не знаю, пойду ли я. Я не так бесцеремонен, как ты.

— Ба! Просто ты дилетант и любитель. Будь ты художником, ты увидел бы в госпоже Дальней Родственнице античную оболочку, одушевленную христианской верой. Своего рода христианская Антигона[81] — чувственная сила, подчиняющаяся власти духа.

— И считал бы, что ее главное назначение в жизни — позировать тебе для картины: божественное начало получило бы высшее воплощение и только что не исчерпало бы себя на твоем

---

**[81] Примечания: 81**

*Антигона* — в греческой мифологии дочь Эдипа, сопровождавшая отца в его странствиях, когда он ослепил себя, и пожертвовавшая жизнью ради того, чтобы предать погребению тело убитого брата.

холсте. Да, я дилетант — да, я не думаю, что вся вселенная устремляется к постижению темной символики твоих картин.

— Но ведь так оно и есть, мой милый! В той мере, в какой вселенная устремляется сквозь меня, Адольфа Наумана, это так, — ответил добродушный художник и положил руку на плечо Ладислава, нисколько не обиженный его неожиданной вспышкой. — Посуди сам. Мое существование подразумевает существование всей вселенной, верно? А мое назначение — писать картины, и как художника меня осенила идея, genialisch[82] идея картины с твоей троюродной тетушкой или дальней прабабушкой, из чего следует, что вселенная устремляется к этой картине посредством багра или крючка, который есть я, — ведь верно?

— Но что, если другой крючок, который есть я, устремляется, чтобы помешать ей? Тогда все выглядит далеко не так просто.

— Почему же? Результат борьбы будет тем же — написанная картина или ненаписанная картина.

Уилл не мог устоять против такой невозмути-

---

**[82] Примечания: 82**
Гениальная (*нем.*).

мости, и туча на его лице рассеялась в солнечном сиянии смеха.

— Так как же, друг мой, ты мне поможешь? — с надеждой в голосе спросил Науман.

— Нет. Какой вздор, Науман! Английские дамы ведь не натурщицы, готовые к услугам любого и каждого. К тому же ты хочешь выразить своей картиной слишком уж многое, а напишешь просто портрет, неплохой или скверный, на некоем фоне, который знатоки будут объяснять, хвалить или бранить, каждый по-своему. А что такое портрет женщины? В конце-то концов, ваша живопись, ваши изобразительные искусства довольно-таки беспомощны. Они путают и затемняют идеи, вместо того чтобы рождать их. Язык — куда более могучее средство выражения.

— Да, для тех, кто не способен писать картины, — сказал Науман. — Тут ты совершенно прав. Я ведь не советовал тебе заниматься живописью, друг мой.

Добродушный художник не был лишен жала, но Ладислав не показал и виду, что почувствовал укол. Он продолжал, словно не слыша:

— Язык создает более полный образ, который только выигрывает благодаря некоторой неясности. В конце концов, истинное зрение — внутри

нас, и живопись терзает наш взгляд вечным несовершенством. И особенно изображения женщин. Как будто женщина — всего лишь сочетание красок! А движения, а звук голоса? Даже дышат они по-разному и с каждым новым мгновением становятся иными. Вот, например, женщина, которую ты только что видел, — как ты изобразишь ее голос? А ведь голос ее даже божественнее ее лица.

— Так-так! Ты ревнуешь. Никто не смеет думать, будто он способен написать твой идеал. Это серьезно, друг мой! Твоя двоюродная тетушка! «Der Neffe als Onkel»[83] в трагическом смысле — ungeheuer![84]

— Науман, мы с тобой поссоримся, если ты еще раз назовешь эту даму моей тетушкой.

— А как я должен ее называть?

— Миссис Кейсобон.

— Отлично. Ну, а предположим, я познакомлюсь с ней вопреки тебе и узнаю, что она желает, чтобы ее написали?

— Да, предположим! — пробормотал Уилл Ладислав презрительно, чтобы прекратить этот

---

**[83] Примечания: 83**
«Племянник в качестве дяди» (*нем.*).

**[84] Примечания: 84**
Чудовищно! (*нем.*).

разговор. Он сознавал, что сердится по совершенно ничтожным и даже выдуманным поводам. Ну, какое ему дело до миссис Кейсобон? И тем не менее он чувствовал, что в его отношении к ней произошла какая-то перемена. Существуют натуры, постоянно создающие для себя коллизии и кульминации в драмах, которые никто не собирается с ними разыгрывать. Их горячность пропадает втуне, ибо объект ее, ничего не подозревая, хранит полное спокойствие.

## Глава XX

*Ребенок брошенный, внезапно пробужден,*
*Глядит по сторонам, открыв в испуге глазки,*
*Но видит он лишь то, чего не видит он:*
*Ответный взор любви и ласки.*

Два часа спустя Доротея сидела в задней комнате прекрасной квартиры на Виа-Систина, служившей ей будуаром.

Мне остается с огорчением добавить, что она судорожно рыдала, ища в слезах облегчения измученному сердцу с тем отчаянием, какому женщина, привыкшая постоянно сдерживаться из гордости и из деликатности по отношению к другим, порой поддается, когда уверена, что никто не нарушит ее уединения. Мистер же Кейсобон собирался задержаться в Ватикане.

Однако Доротея даже себе не могла бы точно назвать причину своего горя, и лишь одна ясная и четкая мысль пробивалась сквозь смятение в ее мозгу и душе, одно жгучее самообвинение: что ее отчаяние — плод духовной бедности. Она вышла

замуж за человека, которого избрала сама, а к тому же, в отличие от других юных новобрачных, всегда видела в браке лишь начало новых обязанностей и все время говорила себе, что мистер Кейсобон бесконечно превосходит ее умом и потому она не сможет делить с ним многие его занятия. В довершение всего после недолгих лет девичества, проведенных в мирке узких понятий и представлений, она внезапно очутилась в Риме, этом зримом воплощении истории, где прошлое целого полушария словно шествовало в похоронной процессии[85] с изображениями неведомых предков и трофеями, добытыми в дальних краях.

Но эти величественные обломки былого только еще больше сообщали ее замужеству странный оттенок сновидения. Доротея жила в Риме уже шестую неделю, и в теплые ясные утра, когда осень и зима словно прогуливаются рука об руку, как любящие супруги, одному из которых вскоре предстоит тоскливый холод одиночества, она ездила кататься — сперва с мистером Кейсобоном, но в последние дни чаще с Тэнтрип и их надежным курьером. Ее водили по лучшим картинным

**[85] Примечания: 85**

В Древнем Риме, когда хоронили знатного человека, в похоронной процессии несли изображения его предков, а также полученные им награды.

галереям, возили любоваться знаменитыми пейзажами, показывали ей самые величественные руины и самые великолепные церкви, однако теперь она предпочитала поездки в Кампанью, чтобы побыть наедине с землей и небом вдали от маскарада столетий, где ее собственная жизнь, казалось, надевала маску и непонятный костюм.

Для тех, кто смотрит на Рим взглядом, исполненным животворной силы знания, которое вдыхает пылающую душу во все памятники истории и прослеживает скрытые связи, объединяющие римские контрасты в стройное целое, Вечный Город, возможно, еще остается духовным центром и наставником мира. Но пусть они вообразят еще один контраст: колоссальные хаотические откровения столицы древней империи и папства — и девушка, которая воспитана в духе английского и швейцарского пуританства, с историей знакома только в ее худосочном протестантском истолковании, а в искусстве не пошла дальше расписывания вееров; девушка, чья пылкость преобразила ее скудные знания в принципы и подчинила этим принципам все ее действия, а чуткость и впечатлительность превращали самые абстрактные предметы в источник радости или страданий; девушка, которая совсем недавно

стала женой и вдруг обнаружила, что восторженно предвкушавшийся новый неведомый долг вверг ее в бурный водоворот мыслей и чувств, связанных всего лишь с ее собственной судьбой. Грозная тяжесть непостижимого Рима не ложится бременем на пустенькие души веселых нимф, ибо они видят в нем просто фон для развлечений англо-иностранного общества, но у Доротеи не было такой защиты от глубоких впечатлений. Развалины и базилики, дворцы и каменные колоссы, ввергнутые в убогость настоящего, где все живое и дышащее словно погружено в трясину суеверий, отторгнутых от истинного благочестия, неясная, но жадная титаническая жизнь, глядящая и рвущаяся со стен и потолков, бесконечные ряды белых фигур, чьи мраморные глаза словно хранят смутный свет чуждого мира — все эти неисчислимые остатки надменных идеалов, и чувственных и духовных, беспорядочно перемешанные с неопровержимыми свидетельствами нынешнего забвения и упадка, сначала потрясли ее, словно удар электрического тока, а затем подавили, и она испытывала томительное болезненное недоумение, которое возникает, когда чувства немеют от избытка и смятения мыслей. Образы, неясные и в то же время исполненные

жаркой силы, властно вторглись в ее юное восприятие и оставались живыми в ее памяти, даже когда она о них не думала, воскресая в странных ассоциациях на протяжении всей ее дальнейшей жизни. Наши настроения часто воплощаются в мысленных картинах, которые сменяют друг друга словно на экране волшебного фонаря, и с тех пор Доротея, когда ею овладевала глухая тоска, вновь видела перед собой величественные своды собора святого Петра, гигантский бронзовый балдахин, неукротимую решительность в позах и даже в складках одеяний пророков и евангелистов на мозаиках вверху и вывешенные к Рождеству занавесы, алеющие повсюду, словно глаза были неспособны различать другие цвета.

Впрочем, такое внутреннее потрясение далеко не исключительно — юные души во всей их наивной обнаженности постоянно ввергаются в хаос тягостных несоответствий, и им предоставляется «самим встать на ноги», а старшие и опытные люди тем временем спокойно занимаются собственными делами. И я не думаю, что зрелище миссис Кейсобон, рыдающей от отчаяния через шесть недель после свадьбы, будет сочтено трагическим. Замена воображаемого будущего настоящим неизбежно сопровождается

определенными разочарованиями и страхами, и это вполне обычно, а то, что обычно, по нашему внутреннему убеждению, не может сокрушить человеческое сердце. Тот элемент трагедии, который заключается именно в ее обычности, пока еще недоступен загрубелому восприятию рода людского, а возможно, мы попросту не приспособлены к тому, чтобы выдерживать длительное соприкосновение с ним. Если бы мы могли проникать в глубины обычной жизни и постигать то, что там происходит, это было бы так, словно мы обрели способность слышать, как растет трава и как бьется сердце белочки, — мы погибли бы от того невероятного шума, который таится по ту сторону тишины. Но пока даже проницательнейшие из нас отлично защищены душевной глухотой.

Но как бы то ни было, Доротея плакала, однако, если бы ее попросили объяснить причину, она, подобно мне, прибегла бы лишь к общим словам: уточнить значило бы попытаться изложить историю игры светотени, ибо видение нового подлинного будущего, вытесняющего воображаемое, слагалось из бесконечных мелочей, которые накапливались с постепенностью, незаметной, как движение минутной стрелки, и теперь Доротее

супружеский долг и мистер Кейсобон представлялись совсем не такими, какими рисовались в ее девичьих мечтах. Пока еще протекло слишком мало времени, чтобы она могла вполне осознать это изменение или хотя бы признаться себе, что такое изменение происходит, — а тем более дать иное направление преданности и лояльности, которые настолько прочно вошли в ее духовный строй, что рано или поздно она неизбежно должна была на них опереться. Непрерывный бунт, хаотичная жизнь без какой-либо высокой цели, требующей любви и самоотверженной решимости, были для нее невозможны. Но пока она переживала тот период, когда сила ее характера только увеличивала смятение. В этом смысле первые месяцы брака часто напоминают бурю — то ли в стакане воды, то ли в океане, — которая со временем стихает и сменяется ясной погодой.

Но разве мистер Кейсобон не был столь же учен, как и прежде? Разве его манера выражаться изменилась, а жизненные правила стали менее похвальными? О женское своенравие! Разве из памяти мистера Кейсобона исчезла хронология, или он утратил способность не только излагать суть тех или иных теорий, но и называть имена главных их последователей, или уже не мог

разбить на разделы любую заданную тему? И разве Рим не предоставляет самое широкое поле для применения подобных талантов? К тому же разве Доротея в своих мечтах не отводила особого места облегчению бремени тягот, а может быть, и печалей, которыми оборачиваются столь великие труды для тех, кто ими занят? А ведь сейчас еще виднее, что мистер Кейсобон влачит нелегкое бремя.

Все это вопросы, на которые нечего ответить, но, что бы ни осталось прежним, освещение изменилось, и в полдень уже нельзя увидеть жемчужные переливы утренней зари. Факт остается фактом: натура, открывавшаяся вам лишь через краткие соприкосновения в недолгие радужные недели, которые называют временем ухаживания, может в постоянном общении супружества оказаться лучше или хуже, чем грезилось вам прежде, но в любом случае окажется не совсем такой. И можно было бы только поражаться тому, как быстро обнаруживается это несоответствие, если бы нам не приходилось постоянно сталкиваться со сходными метаморфозами. Когда мы покороче узнаем человека, очаровавшего нас остроумием на званом обеде, или наблюдаем за любимым политическим оратором после того,

как он становится министром, наше отношение к нему может претерпеть столь же быструю перемену. В этих случаях мы также начинаем с того, что знаем мало, верим же многому, а кончаем тем, что меняем пропорцию на обратную.

Однако подобные сравнения могут сбить с толку, так как мистер Кейсобон совершенно не был способен прельщать ложным блеском. Он притворялся не более, чем какое-либо жвачное животное, и вовсе не старался представлять себя в выгодном свете. Так почему же за недолгие недели, протекшие после ее свадьбы, Доротея не столько заметила, сколько с гнетущим унынием ощутила, что вместо широких просторов и свежего ветра, которые она в грезах обретала, приобщившись к духовному миру своего мужа, ее там ждут тесные прихожие и запутанные коридоры, как будто никуда не ведущие? Мне кажется, дело в том, что дни помолвки — это своего рода многообещающее предисловие, и малейший признак какой-либо добродетели или таланта воспринимается как залог восхитительных богатств, которые полностью откроются в постоянном общении супружеской жизни. Но едва переступив порог брака, люди ищут уже не будущего, а настоящего. Тот, кто отправился

в плаванье на корабле супружества, не может не заметить, что корабль никуда не плывет, что моря нигде не видно и что вокруг — мелководье непроточного пруда.

Во время их бесед до свадьбы мистер Кейсобон нередко пускался в подробные объяснения или рассуждения, смысл которых оставался Доротее непонятен, но она полагала, что причина заключается в обрывочности этих бесед, и, поддерживаемая верой в их совместное будущее, с благоговейным терпением выслушивала перечень возможных возражений против совершенно нового взгляда мистера Кейсобона на бога филистимлян Дагона и на других божеств, изображавшихся в виде рыбы, и не сомневалась, что впоследствии достигнет необходимых высот и поймет всю важность этого столь близкого его сердцу вопроса. А его категоричность и пренебрежительный тон, когда речь заходила о том, что особенно волновало ее мысли, было легко объяснить тем ощущением спешки и нетерпения, которое оба они испытывали в то время. Но теперь, в Риме, где все ее чувства были взбудоражены, а вторгающиеся в жизнь новые впечатления усугубляли прежние душевные трудности, она все чаще и чаще с ужасом

ловила себя на внутренних вспышках гнева и отвращения, а иногда ею овладевала тоскливая безнадежность. В какой мере Прозорливый Гукер или другие прославленные эрудиты, достигнув тех же лет, походили на мистера Кейсобона, знать ей было не дано, а потому подобное сравнение не могло послужить ему на пользу. Во всяком случае, то, как ее муж говорил об окружавших их странно внушительных творениях былого, начинало вызывать у нее почти содрогание. Возможно, им руководило похвальное намерение показать себя с самой лучшей стороны, но всего лишь показать себя. То, что поражало ее ум новизной, на него наводило скуку. Всякая способность думать и чувствовать, почерпнутая им от соприкосновения с живой жизнью, давным-давно преобразилась в своего рода высушенный препарат, в мертвое набальзамированное знание.

Когда он спрашивал: «Это вам интересно, Доротея? Может быть, останемся здесь подольше? Я готов остаться, если вы этого хотите», — ей казалось, что и остаться, и уехать будет одинаково тоскливо. Или в другой раз:

— Не хотите ли поехать в Фарнезину, Доротея? Там находятся знаменитые фрески, исполненные по эскизам Рафаэля, а также самим Рафаэлем, и

очень многие считают, что их стоит посмотреть.

— Но вам они нравятся? — этот вопрос Доротея задавала постоянно.

— Они, насколько мне известно, ценятся весьма высоко. Некоторые из них изображают историю Амура и Психеи, которая, вероятнее всего, представляет собой романтическую выдумку литературного периода, а потому, на мой взгляд, не может считаться истинным мифом. Но если вам нравится настенная живопись, то поездка туда не составит труда, и тогда вы, если не ошибаюсь, завершите свое знакомство с основными произведениями Рафаэля, а было бы жаль побывать в Риме и не увидеть их. Это художник, который, по всеобщему мнению, соединил в своих творениях совершенное изящество формы с бесподобностью выражения. Таково, по крайней мере, мнение знатоков, насколько мне удалось установить.

Подобные ответы, произносившиеся размеренным тоном, каким положено священнику читать тексты с кафедры, не отдавали должного чудесам Вечного Города и не сулили никакой надежды на то, что, узнай она о них побольше, мир засиял бы для нее новыми красками. Ничто так не угнетает юную пылкую душу, как общение с теми, в ком годы, отданные приобретению зна-

ний, словно иссушили способность увлекаться и сочувствовать.

Впрочем, были предметы, очень занимавшие мистера Кейсобона, будившие в нем интерес, довольно близкий к тому, что принято называть энтузиазмом, и Доротея прилагала все старания к тому, чтобы следовать за ходом его мыслей, боясь помешать ему и почувствовать, как он недоволен, что должен отвлекаться от них из-за нее. Однако она мало-помалу утрачивала прежнюю счастливую уверенность, что, следуя за ним, увидит чудесные просторы. Бедный мистер Кейсобон сам растерянно блуждал среди узких закоулков и винтовых лестниц, то пытаясь проникнуть в туман, окружающий кабиров[86], то доказывая неправильность параллелей, проводимых другими толкователями мифов, и совершенно терял из виду цель, ради которой предпринял эти труды. Довольствуясь огоньком свечи, он забыл про отсутствие окон и, язвительно комментируя изыскания других людей о солнечных богах, стал равнодушен к солнечному свету.

Доротея, возможно, далеко не сразу заметила бы эти черты в характере мистера Кейсобона,

**[86] Примечания: 86**

*Кабиры* — древние божества догреческого населения Балканского полуострова, о которых почти не сохранилось сведений.

твердые и неизменные, точно кости, если бы ей дозволялось давать выход ее чувствам, — если бы он ласково держал ее руку в ладонях и с нежностью и участием выслушивал те безыскусственные истории, из которых слагался ее житейский опыт, и отвечал бы ей подобными же признаниями, так что прошлая жизнь каждого стала бы достоянием обоих, укрепляя их близость и привязанность; или если бы она могла питать свою любовь теми детскими ласками, потребность в которых свойственна каждой женственной женщине, еще в детстве осыпавшей поцелуями твердую макушку облысевшей куклы, наделяя эту деревяшку любящей душой, потому что ее самое переполняла любовь. Такой была натура и Доротеи. Как ни жаждала она проникнуть в дальние пределы знаний и творить добро повсюду, у нее достало бы жара и для того, что было рядом, — она готова была бы расцеловать рукав сюртука или нежно погладить шнурки башмаков мистера Кейсобона, если бы он снисходительно принимал это, а не ограничивался тем, что с неизменной учтивостью называл ее милой и истинно женской натурой и немедля вежливо придвигал ей стул, показывая, насколько неожиданными и неуместными находит он подобные проявле-

ния чувств. С необходимым тщанием завершив утром свой клерикальный туалет, он признавал допустимыми лишь те радости жизни, которые оставляли неприкосновенными и правильные складки жесткого галстука той эпохи, и мысли, занятые неопубликованными материалами.

Как ни печально, идеи и решения Доротеи были, напротив, подобны тающим льдинам, что плывут и растворяются в теплой воде, частью которой они оставались и в иной форме. Ее оскорбляло, что она оказалась игрушкой чувства, словно лишь оно могло служить для нее средством познания, — ее сила расходовалась на приступы волнения, борьбы с собой, уныния и на новые картины более полного самоотвержения, которое преображает все мучительные противоречия в исполнении долга. Бедняжка Доротея! Она, бесспорно, терзала себя, не в силах обрести равновесие, а в это утро вывела из равновесия и мистера Кейсобона.

Они допивали кофе, и, полная решимости преодолеть то, что она считала своим эгоизмом, Доротея обратила к мужу лицо, полное живого интереса, когда он заговорил:

— Дорогая Доротея, время нашего отъезда приближается, и пришла пора подумать, чего мы

еще не сделали. Я предпочел бы вернуться домой раньше, чтобы мы могли встретить Рождество в Лоуике, но мои розыски здесь оказались более длительными, чем я предполагал. Надеюсь, однако, что проведенное здесь время не было лишено для вас приятности. Среди достопримечательностей Европы римские всегда считались наиболее поразительными, а в некоторых отношениях и поучительными. Я прекрасно помню, что считал настоящей эпохой в моей жизни первое посещение Рима, где я смог побывать после падения Наполеона — события, в результате которого вновь оказалось возможным путешествовать по странам Европы. Мне кажется, что Рим принадлежит к тем городам, к которым применялась следующая чрезмерная гипербола: «Увидеть Рим и умереть», однако, имея в виду вас, я предложил бы такую поправку: «Увидеть Рим новобрачной и жить после этого счастливой супругой».

Мистер Кейсобон произнес эту небольшую речь с самыми лучшими намерениями, помаргивая, слегка кивая и заключив ее улыбкой. Он не обрел в браке безоблачного блаженства, но твердо хотел быть безупречным мужем, дающим очаровательной молодой женщине все то счастье, которого она заслуживает.

— А вы? Вы остались довольны, что мы побывали тут… я имею в виду — результатами ваших изысканий? — сказала Доротея, стараясь думать только о том, что больше всего занимало ее мужа.

— Да, — ответил мистер Кейсобон тем тоном, который превращает это слово почти в отрицание. — Я зашел гораздо дальше, чем предполагал, так как нежданно столкнулся с самыми разнообразными вопросами, потребовавшими аннотирования, — хотя прямого отношения к моей теме они не имеют, оставить их вовсе без внимания я не мог. Труд этот, несмотря на помощь чтицы, потребовал много усилий, но, к счастью, ваше общество воспрепятствовало мне размышлять над этими предметами и вне часов, предназначенных для занятий, что было вечной бедой моей одинокой жизни.

— Я очень рада, что мое присутствие хоть чем-то вам помогло, — сказала Доротея, и боюсь, в ее словах пряталась некоторая обида: она слишком живо помнила вечера, когда ей казалось, что мысли мистера Кейсобона за день погрузились в слишком большие глубины и уже не способны подняться на поверхность. — Надеюсь, когда мы вернемся в Лоуик, я смогу быть вам более полез-

ной и научусь лучше разбираться в том, что вас интересует.

— Несомненно, моя дорогая, — ответил мистер Кейсобон с легким поклоном. — Сделанные мной заметки необходимо привести в порядок, и если хотите, вы можете аннотировать их под моим руководством.

— А ваши заметки, — начала Доротея, которую эта тема волновала так давно и так сильно, что теперь она не сумела промолчать, — все эти тома… вы ведь теперь приступите к своему главному труду, как говорили? Отберете все важное и начнете писать книгу, чтобы ваши обширные знания послужили всему миру? Я буду писать под вашу диктовку или переписывать и аннотировать то, что вы мне укажете. Ничем другим я вам помочь не могу. — Тут Доротея по неисповедимой женской манере почему-то вдруг всхлипнула, и ее глаза наполнились слезами.

Одного этого проявления чувств было бы достаточно, чтобы вывести мистера Кейсобона из равновесия, но по некоторым причинам слова Доротеи не могли бы ранить его больнее, даже если бы она нарочно их выбирала. Она была так же слепа к его внутренним тревогам, как он — к ее, и ей еще не открылись те душевные проти-

воречия мужа, которые дают право на шалость. Она не прислушивалась терпеливо к биению его сердца и знала только, как бурно стучит ее собственное. В ушах мистера Кейсобона слова Доротеи прозвучали словно громкое язвящее эхо тех смутных самообличений, которые можно было счесть простой мнительностью или призраками, порожденными излишней требовательностью к себе. Но такое обличение извне всегда отвергается как жестокое и несправедливое. Нас сердит, когда наши собственные принижающие нас признания принимаются без возражений, — насколько же больше должны мы сердиться, услышав, как близкий нам наблюдатель облекает в ясные недвусмысленные слова тот тихий шепот в нашей душе, который мы называли болезненными фантазиями, с которым боремся, точно с наступающей дурнотой! И этот жестокий внешний обвинитель — его жена, его молодая жена! Вместо того чтобы взирать на бесчисленные буквы, выходящие из-под его пера, и на обилие изводимой им бумаги с нерассуждающим благоговением умненькой канарейки, она следит за ним как соглядатай и присваивает себе право злокозненно вмешиваться! Тут мистер Кейсобон был чувствителен не меньше Доротеи и подобно

ей легко преувеличивал факты и воображал то, чего не было. Прежде он одобрительно взирал на ее способность поклоняться тому, что заслуживало поклонения, но теперь вдруг с ужасом представил себе, как на смену этой способности приходит самоуверенность, а поклонение сменяется критикой самого неприятного свойства, которая весьма туманно представляет себе прекраснейшие цели и никакого понятия не имеет о том, чего стоит достичь их.

И Доротее впервые довелось увидеть краску гнева на лице мистера Кейсобона.

— Любовь моя, — сказал он, не позволяя досаде взять верх над благовоспитанностью, — вы можете спокойно положиться на то, что мне известно, когда и как следует приступать к различным этапам труда, который невозможно объять с помощью пустых догадок при невежественном взгляде со стороны. Мираж ни на чем не основанных мнений легко позволил бы мне обрести призрачный успех, однако жребий добросовестного исследователя — постоянно сносить презрительные насмешки нетерпеливых болтунов, которые ищут лишь мелких свершений, ибо для большего они недостаточно подготовлены. И было бы прекрасно, если бы они могли внять

совету не выносить суждения о тех предметах, истинная суть которых для них непостижима, ограничиваясь лишь частностями, поддающимися поверхностному обзору и не требующими широты знаний.

Эту тираду мистер Кейсобон произнес с энергией и жаром, совершенно для него необычными. Она, собственно говоря, не была порождением этой минуты, но созрела в часы внутренних дебатов и сейчас вырвалась наружу, точно горошины из лопнувшего стручка. Доротея была не просто его жена, в ней воплотился тот слепой к истинным достоинствам и невежественный мир, который окружает непризнанного или отчаявшегося автора.

Теперь возмутилась Доротея. Разве она не подавляла в себе все, кроме желания как-то приобщиться к тому, что занимало ее мужа?

— Мое суждение, конечно, было очень поверхностным — на иное я и неспособна, — ответила она с обидой, которая не требовала предварительных репетиций. — Вы показали мне целые шкафы записных книжек, вы часто о них говорили, вы не раз повторяли, что они требуют обработки. Но я никогда не слышала, чтобы вы говорили о намерении опубликовать что-либо.

Это простейшие факты, и мое суждение ими и ограничивалось. Я ведь только просила позволения быть вам полезной.

Доротея встала из-за стола, но мистер Кейсобон ничего не ответил и взял лежавшее возле его тарелки письмо, словно решив перечитать его. Оба они были потрясены случившимся — тем, что рассердились друг на друга и не сумели этого скрыть. Будь они дома, в Лоуике, среди соседей, такая стычка в ходе будничной жизни была бы далеко не столь мучительной, но во время свадебного путешествия, предназначенного как раз для того, чтобы полностью отъединить двух людей от всего мира, ибо им должно быть довольно друг друга, подобное несогласие не могло не подействовать на них в лучшем случае ошеломляюще. Уехать в чужие края, укрыться, так сказать, в духовном уединении для того лишь, чтобы ссориться по пустякам, чтобы не находить темы для разговора, чтобы протягивать стакан воды, не повернув головы, — даже самый бесчувственный человек вряд ли счел бы такое положение вещей удовлетворительным. Впечатлительной неопытной Доротее случившееся казалось крушением всех прежних надежд, для мистера же Кейсобона в этом таилась новая мука. Он никогда прежде

не совершал свадебных путешествий и не знавал столь тесных уз, куда больше походивших на иго, чем он предполагал, — ведь эта очаровательная молодая жена не только обязывала его оказывать ей всяческое внимание (что он скрупулезно и выполнял), но и, как выяснилось, была способна жестоко усугубить его терзания, вместо того чтобы утишить их. Неужели он не только не обрел уютной ширмы, чтобы отгородиться от взгляда холодных невидимых глаз, неодобрительно рассматривавших его жизнь, но наоборот, помог ему стать еще ощутимей?

Ни он, ни она не нашли в себе силы сказать что-нибудь. Однако совесть Доротеи не позволила ей нарушить прежние планы и отказаться от поездки в Ватикан — это означало бы, что она продолжает сердиться, тогда как она уже чувствовала себя виноватой. Пусть негодование ее было справедливым, но ведь она мечтала щедро дарить заботливую нежность, а вовсе не добиваться справедливости для себя. Вот почему, когда подали экипаж, она поехала с мистером Кейсобоном в Ватикан и прошла в его сопровождении среди шпалер каменных надписей, а расставшись с ним у дверей библиотеки, направилась в музей, потому что ей было безразлично все вокруг. У

нее не хватило духа повернуться и сказать, что она предпочла бы поехать куда-нибудь за город. Науман увидел ее в ту минуту, когда она расставалась с мистером Кейсобоном, и вошел в длинную галерею вслед за ней, но тут ему пришлось дожидаться Ладислава, с которым он поспорил на бутылку шампанского относительно значения загадочной средневековой фигуры. После того как они рассмотрели эту фигуру и прошлись по галерее, кончая свой спор, Ладислав остался в галерее, а Науман направился в Зал статуй, где вновь увидел Доротею, — увидел ее в той позе глубокой задумчивости, которая так его поразила. На самом деле она так же не замечала солнечной полоски на полу, как не замечала статуй: перед ее мысленным взором проходили английские поля, вязы, проселочные дороги между высокими живыми изгородями и дом, куда ей предстояло вернуться хозяйкой. На все это ложился отблеск грядущих лет, и она чувствовала, что заполнить их радостной самоотверженностью и преданностью окажется далеко не так просто, как ей думалось прежде. Впрочем, все чувства и мысли Доротеи рано или поздно сливались в один общий могучий поток — в стремление к наиболее полной истине, которая не может не оказаться

светлой. Нет, кроме гнева и отчаяния, несомненно, должно быть что-то другое, лучшее.

## Глава XXI

*И разговор она вела простой.*
*Как должно женщине,*
*без пышных слов*
*Кичливой мудрости…*

***Джеффри Чосер,***
*«Кентерберийские рассказы»*

Вот почему Доротея разрыдалась, едва осталась одна в безопасности своего будуара. Однако вскоре в дверь постучали, она торопливо вытерла глаза и сказала: «Войдите!» Тэнтрип подала ей визитную карточку и объяснила, что внизу ждет какой-то джентльмен. Курьер сказал ему, что дома только миссис Кейсобон, а он ответил, что состоит в родстве с мистером Кейсобоном и, может быть, она его примет?

— Да, — тут же сказала Доротея. — Проводите его в гостиную.

Прочитав фамилию Ладислава, она вспомнила об их встрече в Лоуике — о том, скольким он обязан великодушной помощи мистера Кейсобона, и о том, что его нерешительность в выборе профессии тогда вызвала у нее любопытство. Она

всегда была рада найти повод для деятельного сочувствия, а к тому же его приход помог ей избавиться от эгоистической тоски, напомнив о благородстве ее мужа и о том, что теперь она по праву его помощница во всех его добрых делах. Она помедлила минуту-другую, но, когда вышла в гостиную, ее открытое лицо все-таки хранило чуть заметные следы слез и оттого казалось особенно милым и юным. Она улыбнулась Ладиславу обворожительной, дружелюбной улыбкой, лишенной даже намека на кокетство, и протянула ему руку. Он был старше ее на несколько лет, но в это мгновение выглядел куда моложе, так как его лицо вдруг залилось краской, и заговорил он с робостью, нисколько не похожей на непринужденную небрежность его обращения с приятелем. Доротея с удивлением почувствовала, что он нуждается в ободрении, и эта мысль придала ей спокойствия.

— Мне не было известно, что вы и мистер Кейсобон в Риме, — сказал он. — Но сегодня я увидел вас в Ватиканском музее. И сразу узнал, но… то есть я решил осведомиться о мистере Кейсобоне на почтамте и поспешил засвидетельствовать свое почтение ему и вам.

— Прошу вас, сядьте. Его сейчас нет дома, но

он, конечно, будет рад узнать, что вы заходили, — сказала Доротея, садясь между топящимся камином и высоким окном. Она указала на стул напротив с любезностью благожелательной матроны, отчего следы юного горя на ее лице стали только еще более заметными. — Мистер Кейсобон очень занят. Но ведь вы оставите свой адрес, не правда ли? И он вам напишет.

— Вы очень добры, — ответил Ладислав, который уже оправился от первого смущения, так как все его внимание занимали следы слез, столь изменившие ее лицо. — На карточке есть мой адрес. Но если вы разрешите, я побываю у вас завтра в час, когда мистера Кейсобона можно застать дома.

— Он каждый день занимается в Ватиканской библиотеке, и застать его, не уговорившись с ним заранее, очень трудно. Тем более теперь. Мы ведь скоро уезжаем, и он особенно занят. Обычно он уезжает сразу после завтрака и возвращается не раньше обеда. Но конечно, он будет рад, если вы пообедаете с нами.

Уилл Ладислав не сразу нашелся, что сказать. Мистер Кейсобон не вызывал у него никаких родственных чувств, и он не смеялся над ним, как над ученым сычом, только потому, что созна-

вал, насколько ему обязан. И вот этот иссохший педант, этот шлифовальщик пустопорожних объяснений, столь же ценных, как поддельные древности в чулане антиквария, не только заставил такое пленительное юное создание выйти за него, но еще и посвящает медовый месяц поискам заплесневелых никчемностей (Уилл был склонен к преувеличениям), оставляя ее в одиночестве! Эта картина, внезапно возникшая перед его умственным взором, вызвала у него нечто вроде насмешливого отвращения. Он не знал, то ли разразиться хохотом, то ли не менее неуместной обличительной филиппикой. Эта внутренняя борьба чуть было не отразилась на его подвижном лице, но он сумел с собой справиться, и губы его сложились не в пренебрежительную гримасу, а в веселую улыбку.

Доротея посмотрела на него с недоумением, однако улыбка была настолько заразительной, что она и сама улыбнулась. Устоять против улыбки Уилла Ладислава мог бы только тот, кто был очень на него сердит. Казалось, сноп внутреннего света озарял не только глаза, но и нежную кожу, и каждую черточку, как будто некий Ариэль[87]

**[87] Примечания: 87**
*Ариэль* — персонаж комедии Шекспира «Буря», дух воздуха.

касался их волшебным жезлом, навеки стирая мрачность и печаль. И ответная улыбка не могла не отразить частицы этого веселья, хотя темные ресницы были еще влажными от слез.

— Вас что-то рассмешило? — спросила Доротея.

— Да, — ответил Уилл, которому не изменила обычная находчивость. — Я подумал, какой у меня был, наверное, жалкий вид при нашей первой встрече, когда вы своей критикой уничтожили мой бедный набросок.

— Моей критикой? — повторила Доротея с еще большим недоумением. — Не может быть! Я ведь ничего не понимаю в живописи.

— А мне показалось, что вы понимаете ее удивительно хорошо! Трудно было бы найти более сокрушающие слова. Вы сказали… Наверное, я помню это лучше вас… Вы сказали, что не видите ничего общего между моим наброском и природой. Во всяком случае, таков был смысл вашей фразы. — Теперь Уилл мог не только улыбнуться, но и засмеяться.

— Если так, то причиной тут мое невежество, — ответила Доротея, восхищаясь незлобивостью Уилла. — Я могла сказать это только потому, что мне никогда не удавалось увидеть красоту в картинах, которые, по словам моего дяди, все

истинные ценители находят превосходными. И здесь, в Риме, я сохраняю то же невежество. Я почти не видела картин, которые мне нравятся по-настоящему. Когда я вхожу в зал, где стены покрыты фресками или увешаны знаменитыми картинами, то испытываю почти благоговение — точно ребенок, глядящий на торжественную церемонию или на величественную процессию. Словно передо мной открывается жизнь более высокая, чем моя. Но едва я начинаю рассматривать картины по отдельности, как жизнь или покидает их, или же преображается в нечто буйное и чуждое мне. Вероятно, я слишком тупа. Я вижу сразу так много, а понимаю меньше половины. И чувствую себя дурочкой. Грустно, когда тебе говорят, что перед тобой прекрасное творение, а ты не понимаешь, почему оно прекрасно. Как будто люди говорят про небо, а ты слепа.

— Любви к искусству во многом надо учиться, — сказал Уилл, ни на миг не усомнившийся в искренности этого признания. — Искусство — это древний язык, и среди его стилей найдется немало претенциозных и фальшивых, так что порой единственное удовольствие, которое можно извлечь из знакомства с ними, заключается в самом факте знакомства. Все школы искусства,

представленные здесь, дарят мне огромное наслаждение, но если бы я попытался разобраться в этом наслаждении, наверное, оказалось бы, что оно сплетается из множества разных нитей. Иной раз полезно усомниться в себе и постараться понять сущность процесса творчества.

— Может быть, вы намерены стать художником? — спросила Доротея с живым интересом. — Сделать своей профессией живопись? Мистер Кейсобон будет рад узнать, что вы нашли свое призвание.

— О, нет-нет, — сказал Уилл с некоторой холодностью. — Я твердо решил, что это мне не подходит. Слишком однобокая жизнь. Мне довелось познакомиться здесь со многими немецкими художниками. С одним из них я приехал сюда из Франкфурта. Среди них есть немало талантливых и даже блистательно талантливых, однако мне не хотелось бы, подобно им, видеть во всем многообразии мира только натуру.

— Я это понимаю, — сочувственно сказала Доротея. — В Риме начинаешь особенно чувствовать, что миру нужно многое куда более важное, чем картины. Но если вам дан талант художника, не следует ли счесть это путеводным знаком? Быть может, вам удастся создать произведения более

значительные или хотя бы не похожие на эти, так, чтобы в одном месте не было столько почти совершенно одинаковых картин.

Такая простота и искренность побудили Уилла быть откровенным.

— Оказать подобное влияние может только гений. Моих же способностей, боюсь, не хватит даже на приличное повторение уже достигнутого другими — во всяком случае, я никогда не буду писать так хорошо, чтобы этим стоило заниматься. Одним же усердием я ничего не добьюсь: то, что не дается мне легко и сразу, не дается мне никогда.

— Я слышала, как мистер Кейсобон сожалел, что вы слишком нетерпеливы, — мягко заметила Доротея, которую огорчил этот взгляд на жизнь словно на нескончаемый праздник.

— Да, мнение мистера Кейсобона мне известно. Мы с ним тут расходимся во взглядах.

Легкое презрение, проскользнувшее в этом необдуманном ответе, задело Доротею. Утренние мучения сделали ее особенно чувствительной к любым попыткам умалить достоинство мистера Кейсобона.

— Да, разумеется, расходитесь, — сказала она с некоторым высокомерием. — Я не собиралась

вас сравнивать: такая настойчивость, такое трудолюбие, как у мистера Кейсобона, встречаются нечасто.

Уилл заметил, что она обиделась, но это только усилило его безотчетную неприязнь к мистеру Кейсобону. Он не мог смириться с тем, что Доротея обожает такого супруга, — подобная слабость в женщине не может нравиться ни одному мужчине, если не считать самого обожаемого супруга. Мало кто способен удержаться от искушения придушить славу ближнего своего, ничуть не считая подобную расправу убийством.

— О, конечно! — ответил он, не задумываясь. — Потому-то и жаль, что эти качества, как нередко случается у английских ученых мужей, растрачиваются впустую из-за нежелания знать, что происходит в остальном мире. Если бы мистер Кейсобон читал немецких авторов, он избавил бы себя от многих лишних хлопот.

— Я вас не понимаю, — растерянно сказала Доротея.

— Я говорю лишь о том, — небрежно объяснил Уилл, — что немцы занимают ведущее положение в исторических изысканиях и смеются над результатами, добытыми ценой долгих блужданий с компасом в руках по лесу, через который

они уже проложили прекрасные дороги. Живя у мистера Кейсобона, я заметил, что он, так сказать, затыкает себе уши, — латинский трактат, написанный немцем, он прочел прямо-таки против воли. Мне было очень его жаль.

Уилл просто нацелил ловкий пинок в хваленое трудолюбие и не мог даже вообразить, как ранят его слова Доротею. Сам мистер Ладислав отнюдь не штудировал немецких авторов, но для того, чтобы сожалеть о недостатках другого, особых знаний не требуется.

При мысли, что труд всей жизни ее мужа может оказаться напрасным, сердце бедняжки Доротеи сжалось так мучительно, что она даже не спросила себя, допустим ли подобный намек в устах молодого родственника, который стольким ему обязан. У нее не было сил заговорить, и она сидела, молча глядя на свои руки, парализованная этим тягостным сознанием.

Впрочем, Уилл, нанеся свой уничтожающий пинок, несколько устыдился: молчание Доротеи, казалось, свидетельствовало, что он ее обидел, да и совесть упрекала его за то, что он столь бесцеремонно ощипал хвост своего благодетеля.

— Мне это было особенно больно, — продолжал он, переходя, как это обычно бывает, от поно-

шений к неискреннему панегирику, — из-за благодарности и уважения, которые я питаю к мистеру Кейсобону. Все было бы куда проще, если бы речь шла о человеке не столь талантливом и почтенном.

Доротея подняла на него глаза, которым волнение придало особый блеск, и сказала с глубокой грустью:

— Как я жалею, что не выучила немецкий, когда жила в Лозанне! Там ведь было столько хороших учителей! И вот теперь я ничем не могу помочь!

Уилл почувствовал, что последние слова Доротеи бросают новый свет на положение вещей, хотя и не рассеивают тайны. Когда он впервые увидел ее, то попросту отмахнулся от вопроса, почему она дала свое согласие мистеру Кейсобону, решив, что она, вопреки своей внешности, должна быть малоприятным созданием. Теперь же требовался другой, далеко не столь легкий и быстрый ответ. В любом случае она не такая, какой он счел ее тогда. Не холодная, умная и сухо-насмешливая, а восхитительно простодушная и отзывчивая. Ангел, обманутый чистотой своей души. Какое это редкое удовольствие — ловить мгновения, когда ее душа и сердце вдруг раскрываются так гармонично и безыскусственно. И

вновь ему на ум пришло сравнение с Эоловой арфой.

Наверное, этот брак — плод какой-то романтической истории, которую она себе сочинила. И будь мистер Кейсобон драконом, попросту, без узаконения унесшим ее в когтях к себе в логово, оставалось бы только героически освободить ее и пасть к ее ногам. Но одолеть мистера Кейсобона оказалось бы куда труднее, чем любого дракона, — он был благодетелем, опирался на сплоченную силу всего общества и выбрал именно эту минуту, чтобы войти в комнату с обычным своим безупречно корректным видом, тогда как лицо Доротеи выдавало пробудившуюся в ней новую тревогу и сожаление, а лицо Уилла светилось восторгом оттого, что ему казалось, будто он разгадал ее чувства.

Мистер Кейсобон ощутил удивление, к которому не примешивалось ни малейшего удовольствия, однако он ни в чем не изменил своей обычной учтивости, здороваясь с Уиллом, когда тот, встав ему навстречу, объяснил свой визит. Настроение мистера Кейсобона было даже менее бодрым, чем обычно, и, возможно, по этой причине он выглядел особенно тусклым и бесцветным — или же это впечатление возникало

из-за контраста с внешностью его молодого родственника. Вид Уилла вызывал ощущение солнечности, чему еще более способствовала изменчивость его облика. Казалось, другими становятся самые черты его лица — подбородок то выглядел крупным, то нет, и перед каждой новой метаморфозой его нос чуть морщился и вздрагивал. Когда он стремительно поворачивал голову, то словно стряхивал свет с волос, и кое-кто усматривал в этом свечении верный признак гениальности. Мистер Кейсобон, напротив, казался угасшим.

Когда Доротея обеспокоенно взглянула на мужа, она, вероятно, заметила контраст между ним и Уиллом, но это лишь усугубило новую тревогу, которую она теперь испытывала из-за него, — предвестие нежной жалости, питаемой подлинными превратностями его судьбы, а не ее грезами. Однако в присутствии Уилла она чувствовала себя гораздо свободнее: причиной тому была близость их возраста, а возможно, и его готовность слушать и соглашаться. Ей был так нужен доброжелательный собеседник, и впервые она встретила человека, настолько, казалось, чуткого, доступного убеждению и способного понять все.

Мистер Кейсобон выразил надежду, что Уилл проводит время в Риме не только приятно, но и с пользой… Однако он как будто был намерен остаться в Южной Германии? Впрочем, может быть, он отобедает у них завтра и они поговорят обо всем подробнее? Сегодня он несколько утомлен. Ладислав понял намек, принял приглашение и тут же откланялся.

Доротея с беспокойством следила за мужем: он устало опустился на край кушетки, подпер рукой подбородок и устремил взгляд в пол. Она села рядом с ним. Краска залила ее щеки, глаза блестели. Она сказала:

— Простите меня за то, как я говорила с вами утром. Я была не права. Боюсь, я огорчила вас и усугубила тяготы этого дня.

— Я рад тому, что вы это чувствуете, дорогая, — сказал мистер Кейсобон. Он говорил спокойно и слегка наклонил голову, но во взгляде, который он бросил на нее, все еще пряталась тревога.

— Но вы простили меня? — спросила Доротея с судорожным вздохом. Ей было так нужно найти живой отклик, что она готова была преувеличить свою вину. Неужели любовь не распознает раскаяния еще издали, не обнимет его и не облобызает?

— Дорогая Доротея, «тому, кого не тронет покаянье, ни в небесах, ни на земле нет места». Вы же не считаете, что этот суровый приговор приложим ко мне? — спросил мистер Кейсобон, принудив себя не только высказаться столь определенно, но даже слегка улыбнуться.

Доротея промолчала, но слезинки, навернувшиеся на глаза, когда у нее вырвался вздох, теперь поползли по ее щекам.

— Вы расстроены, дорогая. Я и сам испытываю неприятные последствия излишнего душевного волнения, — продолжал мистер Кейсобон. Собственно говоря, он намеревался заметить, что ей не следовало бы принимать молодого Ладислава в его отсутствие, но отказался от этого намерения: во-первых, было бы невеликодушно ответить на ее просьбу о прощении новым упреком, во-вторых, это еще больше взволновало бы его самого, а в-третьих, он был слишком горд, чтобы выдать свою склонность к ревности, которую были способны вызвать у него отнюдь не только другие ученые мужи, подвизавшиеся в избранной им области. Существует ревность, почти лишенная огня, — это даже не страсть, а нечто вроде плесени, взрастающей в унылой затхлости неудовлетворенного эгоизма.

— Мне кажется, нам пора переодеться к обеду, — добавил он, взглянув на часы.

Они встали и больше никогда ни словом, ни намеком не напомнили друг другу о том, что произошло в этот день.

Однако в памяти Доротеи он запечатлелся с той яркостью, с какой все мы запоминаем те мгновения нашей жизни, когда гибнет долго лелеемая надежда или рождается новое стремление. В этот день Доротея начала постигать, насколько она обманывала себя, надеясь найти у мистера Кейсобона отклик на свои чувства, и впервые смутно осознала, что у него может быть тайная печаль, рождающая потребность в понимании, не меньшую, чем ее собственная.

Мы все появляемся на свет нравственно неразумными и видим в мире лишь вымя, предназначенное для того, чтобы питать наши несравненные личности. Доротея довольно рано начала преодолевать это неразумие, но ей все еще легче было грезить о том, как она посвятит всю себя мистеру Кейсобону и станет мудрой и сильной благодаря его силе и мудрости, чем осознать с той ясностью, которая есть уже не размышление, но чувство (идея, воспринятая сенсорно, подобно вещности предметов), что у него также есть свой

внутренний центр, где свет и тени обязательно ложатся по-иному, чем у нее.

## Глава XXII

*И говоря со мной так просто и так мило.*
*Творя добро одним своим незнаньем зла,*
*Она нечаянно все сердце мне раскрыла*
*И от щедрот его богато одарила.*

* * *

*Я слушал не дыша. Она была мила*
*И жизнь мою, о том не ведая, взяла.*

***Альфред де Мюссе***

Во время обеда на следующий день Уилл Ладислав держался на редкость мило и не дал мистеру Кейсобону ни малейшего повода для выражения неудовольствия. Доротея даже решила, что Уилл, как никто другой, умеет вовлекать ее мужа в разговор и выслушивать его с почтительным вниманием. Впрочем, в Типтон-Грейндже у него не было достойных собеседников. Сам Уилл говорил довольно много, но несерьезно, как бы мимоходом — словно веселый бубенчик вторил звучному колоколу. Если Уилл и допускал кое-какие промахи, это все-таки был один из его удачных дней. Он

описывал мелочи жизни римских бедняков, подметить которые мог только ничем не стесненный наблюдатель, выразил полное согласие, когда мистер Кейсобон упомянул о неверных представлениях Мидлтона[88] касательно связи между католицизмом и иудаизмом, а затем в тоне полувосторженном, полушутливом непринужденно описал то удовольствие, какое он извлекает из римской пестроты, чьи постоянные контрасты не позволяют мысли окостенеть и избавляют вас от опасного заблуждения, будто историю прошлого можно разложить по коробочкам, как нечто мертвое и застывшее. Занятия мистера Кейсобона, заметил Уилл, всегда велись на самой широкой основе, и он, быть может, никогда ничего подобного не испытывал, но что до него, то Рим, должен он признаться, открыл ему совершенно новое ощущение истории как единого целого, а отдельные ее фрагменты стимулируют воображение и дают богатую пищу мыслям.

Время от времени — хотя и нечасто — Уилл обращался к Доротее и взвешивал ее суждения так, словно от них зависел окончательный приговор даже Мадонне ди Фолиньо или Лаокоону.

---

**[88] Примечания: 88**

*Мидлтон Коньерс* (1683-1750) — английский богослов.

Ощущение, что ты вносишь свой вклад в общее мнение, придает беседе особую прелесть, да и гордости мистера Кейсобона льстило, что его молодая жена умеет поддерживать умный разговор куда лучше большинства женщин — недаром же он сделал ее своей избранницей!

Ни малейшая тень неудовольствия не омрачила обеда, и когда мистер Кейсобон сообщил, что намерен на день-другой прервать свои труды в библиотеке, а затем после краткого их возобновления покинуть Рим, где ему уже нечего будет делать, Уилл взял на себя смелость заметить, что миссис Кейсобон до отъезда непременно следовало бы посетить мастерскую какого-нибудь художника — и лучше не одну. Как считает мистер Кейсобон? Жаль упустить такую возможность: ведь это нечто совсем особенное — жизнь, подобная зеленой траве, полной жужжания насекомых среди величественных руин. Уилл был бы счастлив сопровождать их — не больше двух-трех мастерских, ровно столько, чтобы они не устали и не утратили интереса.

Мистер Кейсобон заметил умоляющий взгляд Доротеи и учтиво осведомился, не желает ли она поехать: он весь день будет в полном ее распоряжении. В конце концов было условлено, что Уилл

зайдет за ними утром и будет их сопровождать.

Разумеется, Уилл не мог пропустить Торвальдсена — самого знаменитого из живших тогда ваятелей, о котором спросил сам мистер Кейсобон. Однако полдень еще не миновал, когда он повез их в мастерскую своего друга Адольфа Наумана, назвав его одним из виднейших обновителей христианского искусства, не только воскресивших, но и углубивших замечательное представление о священных событиях как о таинствах, к которым становятся причастны все последующие века, так что великие духом люди новых поколений делаются словно их современниками. Уилл добавил, что Науман был его учителем.

— Я сделал у него несколько этюдов маслом, — продолжал Уилл. — Всякое копирование мне претит. Я в любой набросок должен вкладывать что-то свое. Науман пишет «Святых, влекущих колесницу Церкви», а я написал этюд на тему, почерпнутую из Марло[89], — «Тамерлан в колеснице, запряженной побежденными царями». Я не разделяю экклезиастических увлечений Нау-

**[89] Примечания: 89**

*Марло Кристофер* (1564 — 1593) — английский драматург. В трагедии «Тамерлан Великий» он обратился к истории среднеазиатского полководца и завоевателя XIV в. Тимура (Тамерлана).

мана и иногда посмеиваюсь над необъятностью смысла, который он пытается вложить в свои картины. Но теперь я решил превзойти даже его. Для меня Тамерлан в его колеснице знаменует неумолимый ход истории, чей кнут не щадит впряженные в нее династии. На мой взгляд, это недурное мифологическое истолкование. — Тут Уилл взглянул на мистера Кейсобона, который принял столь небрежное обхождение с символизмом без особого удовольствия и лишь вежливо наклонил голову.

— Набросок, несущий такой смысл, должен быть замечательным, — сказала Доротея. — Но мне хотелось бы, чтобы вы подробнее объяснили свой замысел. Ваш Тамерлан должен воплощать землетрясения и вулканы?

— Да-да! — ответил Уилл, смеясь. — А также переселение народов и расчистку лесов… и Америку, и паровоз. Короче говоря, все, что можно вообразить.

— Какой трудный алфавит! — сказала Доротея, улыбнувшись мужу. — Прочесть его смог бы только человек с вашими знаниями.

Мистер Кейсобон заморгал и покосился на Уилла. У него возникло подозрение, что над ним смеются. Впрочем, заподозрить в этом Доротею

он не мог.

Они застали Наумана за мольбертом, но ему никто не позировал: его картины были расположены наивыгоднейшим образом, жемчужно-серая блуза и лиловая бархатная шапочка очень шли к его некрасивому, но выразительному лицу — одним словом, все сложилось так удачно, как будто он ожидал красивую молодую англичанку именно к этому часу.

Художник объяснял сюжеты своих оконченных и неоконченных полотен, говоря по-английски с обычной уверенностью, и казалось, рассматривал мистера Кейсобона не менее внимательно, чем Доротею. Уилл время от времени разражался пылкими похвалами, указывая на особые достоинства той или иной картины своего друга, и Доротея почувствовала, что начинает по-новому относиться к мадоннам, почему-то сидящим на тронах под балдахинами среди скромных сельских пейзажей, и к святым с архитектурными моделями в руках или ножами, небрежно воткнутыми в их затылки. То, что прежде ей казалось чудовищно нелепым, становилось понятным, а иногда даже обретало глубокий смысл, но мистера Кейсобона эта отрасль знания, по-видимому, совершенно не интересовала.

— Мне кажется, я предпочла бы просто ощущать красоту картины, чем разгадывать ее как шараду, но подобные произведения я все-таки научусь понимать гораздо быстрее, чем ваши с их всеобъемлющим смыслом, — заметила Доротея, обернувшись к Уиллу.

— В присутствии Наумана о моих картинах лучше не упоминать, — сказал Уилл. — Он объяснит вам, что все они — Pfuscherei[90], а более бранного слова в его лексиконе нет.

— Правда так? — спросила Доротея, глядя на Наумана серьезно и бесхитростно. Художник слегка поморщился и ответил:

— Живопись для него не призвание. Ему следует попробовать себя в литературе. Уж она-то достаточно ши-ирока-а.

В произношении Наумана последнее слово получилось насмешливо растянутым. Уиллу это не слишком понравилось, но он сумел засмеяться, и мистер Кейсобон, хотя немецкий выговор художника его раздражал, почувствовал некоторое уважение к строгости его суждений.

Уважение это не стало меньше, когда Науман отвел Уилла в сторону, поглядел на какое-то

---

**[90] Примечания: 90**
Мазня (*нем.*).

большое полотно, затем на мистера Кейсобона и, вернувшись к своим посетителям, сказал:

— По мнению моего друга Ладислава, вы извините меня, сударь, если я скажу, что набросок вашей головы был бы бесценен для фигуры святого Фомы Аквинского, над которой я сейчас работаю. Это значило бы чрезвычайно злоупотребить вашей любезностью, но я так редко вижу то, что мне нужно — идеальное в реальном.

— Вы меня весьма удивили, сударь, — сказал мистер Кейсобон, но его щеки окрасил румянец удовольствия. — Однако если моя физиономия, которую я привык считать самой заурядной, может подсказать вам какие-то черты ангельского доктора[91], я буду весьма польщен. То есть при условии, что это не займет много времени и что миссис Кейсобон не станет возражать против такой задержки.

Но Доротея была только очень рада — больше ее мог бы обрадовать разве что божественный глас, который провозгласил бы мистера Кейсобона самым мудрым и достойным из сынов человеческих и вернул бы твердость ее поколебавшейся вере.

---

**[91] Примечания: 91**

*Ангельский доктор* — прозвище Фомы Аквинского.

Все необходимые принадлежности были у Наумана под рукой просто в удивительной полноте, и он тотчас принялся за этюд, ни на минуту не прерывая их беседы. Доротея сидела в безмятежном молчании — она давно уже не чувствовала себя такой счастливой. Какие прекрасные люди! Только невежество, подумала она, помешало ей увидеть красоту Рима, ощутить, что его печаль овеяна надеждой. Ей была свойственна редкая доверчивость: в детстве она полагалась на благодарность ос и благородную чувствительность воробьев, а затем, когда они обманывали ее ожидания, в той же мере негодовала на их низость.

Хитрый художник задавал мистеру Кейсобону вопросы об английской политике и выслушивал длиннейшие ответы, а Уилл, примостившись на стремянке в углу, оглядывал общество со своей высоты.

Через некоторое время Науман сказал:

— Если бы я мог отложить этюд на полчаса, а затем еще раз над ним поработать… Погляди-ка, Ладислав! По-моему, лучшего пока трудно пожелать.

Уилл разразился междометиями, подразумевающими восторг, который невозможно выразить словами, а Науман жалобно вздохнул:

— Увы… вот если бы… Мне нужно еще только полчаса… Но вас ждут дела… Я не решаюсь затруднить вас такой просьбой… а о том, чтобы вы приехали завтра…

— Ах, останемся! — воскликнула Доротея. — У нас ведь сегодня нет никаких дел? — добавила она, умоляюще глядя на мистера Кейсобона. — Будет так жаль, если этюд останется незавершенным.

— Я к вашим услугам, сударь, — произнес мистер Кейсобон со снисходительной любезностью. — Раз моя голова сегодня внутри предается праздности, пусть поработает ее внешняя оболочка!

— Вы так добры! Теперь я счастлив! — воскликнул Науман, повернулся к Уиллу и продолжал по-немецки, указывая на этюд, словно что-то требовало обсуждения. Затем отложил его и рассеянно поглядел по сторонам, как будто раздумывая, чем занять своих посетителей. И наконец сказал, обращаясь к мистеру Кейсобону:

— Может быть, прекрасная новобрачная, милостивая госпожа, не откажет мне в разрешении сделать с нее набросок, чтобы как-то заполнить эти полчаса. Не для картины, разумеется, а так просто.

Мистер Кейсобон с поклоном выразил уверенность, что миссис Кейсобон сделает ему это одолжение, и Доротея тотчас спросила:

— Где мне сесть?

Науман, рассыпаясь в извинениях, попросил ее встать и позволить ему придать ей требуемую позу, что она и сделала, обойдясь без преувеличенных жестов и смешков, которые почему-то считаются обязательными в подобных случаях. Художник пояснил:

— Я хочу, чтобы вы приняли позу святой Клары. Наклонитесь, вот так, ладонь приложите к щеке… Да-да, так. Смотрите, пожалуйста, на тот табурет… Вот так!

Уилл боролся с желанием пасть к ногам святой и облобызать край ее одеяния, а также с искушением закатить пощечину Науману, который взял ее за локоть, показывая, как нужно согнуть руку. Какая наглость! И какое кощунство! Зачем только он привез ее сюда?

Художник работал с увлечением, и Уилл, опомнившись, спрыгнул со стремянки и постарался занять мистера Кейсобона разговором. Однако, несмотря на его усилия, время для этого последнего, по-видимому, тянулось нестерпимо медленно: во всяком случае, он выразил опасение, что мис-

сис Кейсобон, наверное, устала. Науман не стал злоупотреблять его терпением и сказал:

— А теперь, сударь, если вы опять готовы оказать мне одолжение, я освобожу вашу супругу.

И мистер Кейсобон перестал торопиться, а когда тем не менее выяснилось, что голове святого Фомы Аквинского для полного совершенства требуется еще сеанс, он изъявил согласие позировать и на следующий день. Во время этого второго сеанса святая Клара также получила не одно исправление. Конечный результат настолько угодил мистеру Кейсобону, что он решил приобрести полотно, на котором святой Фома Аквинский в обществе других богословов вел диспут, слишком отвлеченный, чтобы его можно было изобразить, но более или менее интересный для слушателей на галерее. Святой же Кларой Науман остался (по его словам) весьма недоволен и не мог обещать, что сумеет превратить набросок в хорошую картину, а потому дальше предварительных переговоров дело не пошло.

Я не стану останавливаться ни на шуточках по адресу мистера Кейсобона, которые Науман отпускал вечером, ни на его дифирамбах очарованию Доротеи. Уилл присоединялся к нему и в том, и в другом, но с одним различием. Стоило

Науману упомянуть ту или иную особенность ее красоты, как Уилл начинал негодовать на его дерзость: самые обычные слова тут звучали грубостью, да и какое право имеет он обсуждать ее губы? О ней нельзя говорить как о других женщинах. Уилл не мог прямо высказать то, что чувствовал, но его душило раздражение. А ведь когда после некоторого сопротивления он согласился привезти мистера Кейсобона с супругой в мастерскую своего друга, согласие это во многом было продиктовано гордостью при мысли, что именно он дает Науману возможность изучить ее красоту… нет, ее божественную внешность, ибо к ней неприложимы эпитеты и сравнения, предназначенные для описания только телесной прелести. (Бесспорно, обитатели Типтон-Грейнджа и его окрестностей, как и сама Доротея, весьма удивились бы подобному преклонению перед ее красотой. В тех краях мисс Брук считалась всего лишь «хорошенькой».)

— Сделай милость, оставь эту тему, Науман. Миссис Кейсобон нельзя обсуждать, словно простую натурщицу, — объявил Уилл, и Науман уставился на него с недоумением.

— Schön! Я буду говорить о моем Аквинате. Как тип голова вовсе не так уж плоха. Сам великий

схоласт тоже, наверное, был бы польщен, если бы его попросили позировать для портрета. Чего-чего, а уж тщеславия у этих накрахмаленных ученых мужей предостаточно. Как я и думал, ее портрет был ему интересен куда меньше его собственного.

— Проклятый самодовольный педант с водой в жилах вместо крови! — воскликнул Уилл, чуть не скрежеща зубами. Его собеседник ничего не знал о том, какими обязательствами он связан с мистером Кейсобоном, но Уилл как раз вспомнил о них и пожалел, что не может тут же выписать чек, чтобы возместить мистеру Кейсобону эти расходы.

Науман пожал плечами.

— Хорошо, что они скоро уезжают, мой милый. Из-за них твой прекрасный характер начинает портиться.

Все надежды и усилия Уилла были теперь сосредоточены на том, чтобы увидеть Доротею, когда она будет одна. Ему хотелось стать для нее хоть чем-то — пусть он запечатлеется в ее памяти более ясно, а не останется всего лишь мимолетным воспоминанием. Ее безыскусственной доброжелательности ему было мало: он понимал, что так она относится ко всем. Преклонение

перед женщиной, вознесенной на недосягаемую для них высоту, играет большую роль в жизни мужчин, но, преклоняясь, они почти всегда жаждут быть замеченными своей царицей, жаждут какого-нибудь знака одобрения от владычицы своей души, который она может подать, не сходя с престола. Именно этого и хотел Уилл. Однако в его мысленных требованиях было немало противоречий. Когда глаза Доротеи обращались на мистера Кейсобона с супружеской тревогой или мольбой, это было прекрасно: она утратила бы часть своего ореола, если бы менее строго следовала велениям брачного долга, и тем не менее в следующий миг Уилл выходил из себя — ведь подобный нектар изливался на песок пустыни! И желание обрушить язвящие слова на мужа, который не стоил ее мизинца, было тем мучительней, что веские причины вынуждали его оставлять эти слова невысказанными.

К обеду на следующий день Уилла не пригласили, а потому он убедил себя, что по долгу вежливости должен явиться с визитом, приурочив его к дневным часам, когда мистера Кейсобона не будет дома.

Доротея, оставшаяся в неведении о том, что, приняв Уилла в прошлый раз, она вызвала неудо-

вольствие мужа, вновь без колебаний приняла его — ведь к тому же визит этот мог быть прощальным. Когда Уилл вошел, она перебирала камеи, которые купила для Селии. Непринужденно поздоровавшись с ним, она показала ему браслет с камеей, который держала в руке, и сказала:

— Я так рада, что вы пришли! Может быть, вы разбираетесь в камеях и подтвердите, что они действительно неплохи. Мне хотелось заехать за вами, когда мы отправлялись их покупать, но мистер Кейсобон сказал, что у нас нет на это времени. Свои занятия здесь он завершает завтра, и через три дня мы уезжаем. Но я как-то не уверена в этих камеях. Садитесь же, прошу вас, и поглядите на них.

— Я далеко не знаток, но в геммах на гомеровские темы ошибиться трудно. Они на редкость хороши. И такие прекрасные оттенки, словно созданные для вас.

— О, это подарок моей сестре, а у нее совсем другой цвет лица. Вы видели ее тогда со мной в Лоуике — у нее белокурые волосы, и она очень хороша собой, во всяком случае, по моему мнению. Мы никогда еще не разлучались так надолго. Она удивительно милая и добрая. Перед отъездом

мне удалось узнать, что ей хотелось бы иметь камеи. Вот почему меня огорчило бы, если бы они оказались недостаточно хорошими… для камей, — с улыбкой добавила Доротея.

— Значит, вам камеи не нравятся? — сказал Уилл, садясь в некотором отдалении от нее и следя, как она закрывает коробочки.

— Да. Откровенно говоря, они не представляются мне столь уж важными для человеческой жизни, — ответила Доротея.

— Боюсь, ваши взгляды на искусство вообще весьма еретичны. Но почему? Мне кажется, вы должны тонко чувствовать красоту, в чем бы она ни таилась.

— Вероятно, я во многих отношениях очень тупа, — сказала Доротея просто. — Мне хотелось бы сделать жизнь красивой, то есть жизнь всех людей. Ну, а колоссальная дороговизна искусства, которое словно лежит вне жизни и нисколько не улучшает мир, — от этого делается больно. Я помню, что оно недоступно большинству людей, и эта мысль портит мне всю радость.

— По-моему, такое сочувствие граничит с фанатизмом, — горячо сказал Уилл. — То же можно сказать о красивых пейзажах, о поэзии, обо всем прекрасном. Если вы будете последовательны,

то должны ополчиться против собственной доброты и стать злой, лишь бы не иметь преимущества перед другими людьми. Нет, истинное благочестие в том, чтобы радоваться — когда можно. Это значит, что вы делаете все от вас зависящее, чтобы спасти репутацию Земли как приятной планеты. Радость заразительна. Невозможно взять на себя бремя забот обо всем мире, вы куда больше помогаете ему, когда радуетесь — искусству ли или чему-нибудь еще. Неужто вы хотели бы преобразить всю юность мира в трагический хор, стенающий по поводу горестей и бед или выводящий из них мораль? Боюсь, вы ложно веруете, будто всякое несчастье уже добродетель, и хотите превратить свою жизнь в мученичество. — Уилл спохватился, что зашел дальше, чем намеревался, и умолк. Но Доротея поняла его слова по-своему, а потому ответила с полным спокойствием:

— Вы ошибаетесь. Я вовсе не скорбное меланхолическое создание и редко грущу подолгу. Я легко сержусь и совершаю далеко не лучшие поступки — не то что Селия. Я вспыхиваю, а потом все вновь кажется мне прекрасным. Я не могу не верить в то, что существует высокое и прекрасное. И здесь я была бы готова радоваться искусству,

но слишком многое остается мне непонятным, слишком многое кажется мне восхвалением безобразия, а не красоты. Пусть картины и статуи великолепны, но вложенные в них чувства часто низменны, грубы, а порой и нелепы. Иногда я вижу перед собой что-то воистину благородное, что-то, что пробуждает во мне такие же чувства, как Альбанские горы или закат солнца на холме Пинчо. Но тем обиднее, что среди всей этой массы вещей, в которые люди вложили столько старания и труда, мало по-настоящему хорошего.

— Разумеется, скверных произведений всегда много, зато это почва, на которой произрастают более прекрасные и редкие цветы.

— Да-да, — сказала Доротея, увидя в его словах подтверждение того, что особенно ее тревожило. — Я понимаю, как трудно сделать что-либо хорошо. С тех пор как мы приехали в Рим, мне часто кажется, что наши жизни, если бы их можно было повесить на стену, в подавляющем большинстве выглядели бы много безобразнее и нелепее картин.

Доротея, казалось, хотела сказать что-то еще, но передумала и замолчала.

— Но вы так молоды… Подобные мысли в ваши лета неестественны, — решительно заявил

Уилл, встряхивая головой. — Вы говорите так, словно вообще не знали юности. Это чудовищно! Словно вы, подобно мальчику из легенды, узрели в детстве ужасы подземного царства. Вас воспитывали в тех ужасных представлениях, которые, точно Минотавр[92], избирают прекраснейших женщин, чтобы пожрать их. А теперь вы уезжаете и вас запрут в каменной темнице Лоуика. Вы будете погребены заживо. Я прихожу в бешенство при одной мысли об этом! Лучше бы я вовсе вас не знал, чем думать, что вас ждет подобное будущее!

Уилл вновь испугался, что зашел слишком далеко. Но смысл, вкладываемый нами в слова, зависит от состояния наших чувств, а его тон гневного сожаления был так внятен сердцу Доротеи, которое щедро дарило свой пыл и не находило ответного пыла в сердцах тех, кто ее окружал, что она ощутила неведомую ей прежде благодарность и ответила с мягкой улыбкой:

— Вы очень добры, но не надо из-за меня тревожиться. Все дело в том, что Лоуик вам не нравится, вас влечет иная жизнь. Я же избрала

---

**[92] Примечания: 92**

*Минотавр* — в греческой мифологии чудовище, обитавшее в Критском лабиринте, получеловек-полубык, которому приносили в жертву прекрасных девушек и юношей.

Лоуик своим домом.

Последняя фраза была произнесена почти торжественно, и Уилл не нашелся что ответить: припасть к ее туфелькам и объявить о своей готовности умереть за нее он не мог — что толку? Да и она, по-видимому, ни в чем подобном не нуждается. На минуту воцарилось молчание, а затем Доротея вновь заговорила — и было ясно, что она решилась наконец высказать то, что занимало ее больше всего:

— Мне хотелось бы спросить вас о том, что вы сказали в прошлый раз. Может быть, дело просто в вашей манере выражаться. Я замечаю, что вам свойственна некоторая горячность. Я и сама часто преувеличиваю, когда увлекаюсь.

— Но что вы имеете в виду? — сказал Уилл, заметив, что она говорит со странной для нее робостью. — Мой язык склонен к гиперболичности и сам себя подстегивает. Вполне возможно, что мне придется взять свои слова назад.

— Вот вы говорили, что надо знать немецкий, то есть для занятий предметами, которым посвятил себя мистер Кейсобон. Я думала об этом, и мне кажется, широта знаний мистера Кейсобона позволяет ему работать над теми же материалами, какими пользуются немецкие ученые…

— Доротея растерянно заметила, что наводит справки о степени учености мистера Кейсобона у постороннего человека.

— Ну, не совсем над теми же, — ответил Уилл, стараясь быть сдержанным. — Он ведь не знаток Востока и сам указывает, что сведения об этих источниках получает из вторых рук.

— Но ведь есть ценные старые книги о древних временах, написанные учеными, которые ничего не знали о нынешних открытиях, и этими книгами пользуются до сих пор. Отчего же книге мистера Кейсобона не быть столь же ценной? — с жаром спросила Доротея. Она чувствовала неодолимую потребность продолжить вслух спор, который вела сама с собой.

— Это зависит от направления исследований, — ответил Уилл, заражаясь ее горячностью. — Предмет, который избрал мистер Кейсобон, меняется не менее, чем химия: новые открытия постоянно порождают новые точки зрения. Кому нужна в наши дни еще одна система, опирающаяся на четыре элемента[93], или трактат против Пара-

**[93] Примечания: 93**

Согласно средневековым представлениям весь мир слагался из четырех элементов — земли, воды, воздуха и огня.

цельса[94]? Неужели вы не видите, насколько бессмысленно теперь ползти чуть дальше людей прошлого века — таких, как Брайант[95], — и исправлять их ошибки? Жить на чердаке среди старого хлама и подновлять хромоногие теории о Куше и Мицраиме[96]?

— Как вы можете говорить об этом так легко? — спросила Доротея, глядя на него с грустным упреком. — Если вы правы, то что может быть печальнее, когда столь упорный и самозабвенный труд оказывается напрасным? Не понимаю, почему вас совсем не трогает, — если вы действительно это думаете, — что человек такой добродетельный, талантливый и ученый, как мистер Кейсобон, не сумел преуспеть в том, чему отдал свои лучшие годы.

Доротея растерялась, заметив, до какого предположения она дошла, и вознегодовала на Уилла за то, что он ее на это подтолкнул.

---

**[94] Примечания: 94**

*Парацельс Филипп Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм* (1493 — 1541) — немецкий врач и естествоиспытатель.

**[95] Примечания: 95**

*Брайант Джейкоб* (1715 — 1804) — ученый-антиквар; наибольшей известностью пользовался его труд «Новая система, или Анализ древней мифологии».

**[96] Примечания: 96**

*Куш* (Хуш) и *Мицраим* (*библ.*) — внуки Ноя, прародители нескольких племен в Египте.

— Вы же меня спрашивали о фактах, а не о чувствах, — ответил Уилл. — Но если вы хотите карать меня за факты, я покоряюсь. Я не в том положении, чтобы высказывать свои чувства по отношению к мистеру Кейсобону. В лучшем случае это будут восхваления облагодетельствованного.

— Простите меня, — сказала Доротея, густо краснея. — Я понимаю, что вы правы, и мне не следовало касаться этой темы. К тому же я ошибаюсь. Потерпеть неудачу после длительных стараний куда достойней, чем вообще ни к чему не стремиться.

— Я совершенно с вами согласен, — ответил Уилл, стараясь поправить дело. — И решил не лишать себя больше возможности потерпеть неудачу. Пожалуй, щедрость мистера Кейсобона была для меня вредна, и я намерен отказаться от свободы, которую она мне давала. В ближайшее время я вернусь в Англию и начну сам пролагать себе дорогу, чтобы не зависеть ни от кого, кроме самого себя.

— Это прекрасно, я уважаю такое чувство, — сказала Доротея с прежней ласковостью. — Но я убеждена, что мистер Кейсобон всегда думал только о том, чтобы помочь вам.

«У нее хватит упрямства и гордости служить ему и не любя, раз уж она вышла за него», — подумал Уилл, а вслух сказал, вставая:

— Я больше вас не увижу…

— Не уходите, не дождавшись мистера Кейсобона! — сказала Доротея со всей искренностью. — Я очень рада, что мы встретились в Риме. Мне хотелось узнать вас покороче.

— А я заставил вас рассердиться, — сказал Уилл. — И вы будете дурно обо мне думать.

— Нет-нет. Сестра предупреждала меня, что я всегда сержусь на тех, кто не говорит того, что мне хотелось бы услышать. Но надеюсь, я все же не думаю о них дурно. В конце концов я обычно начинаю сердиться на себя за нетерпимость.

— Тем не менее я вам не нравлюсь. Теперь я связан для вас с неприятными мыслями.

— Вовсе нет, — искренне ответила Доротея. — Вы мне очень нравитесь.

Уилл не слишком этому обрадовался; ему пришло в голову, что если бы он не нравился ей, то, наверное, значил бы для нее больше. Он промолчал, но лицо его стало хмурым, почти обиженным.

— И мне очень хочется узнать, чем вы займетесь, — весело продолжала Доротея. — Я глубоко

верю, что люди рождаются с разными призваниями. Без этого убеждения я, наверное, была бы крайне узкой в своих взглядах — ведь и, кроме живописи, есть много такого, о чем я не имею ни малейшего понятия. Вы представить себе не можете, как мало я знакома с музыкой и литературой, в которых вы такой знаток. Интересно, каким же окажется ваше призвание? Может быть, вы станете поэтом?

— Как сказать. Поэт должен обладать душой настолько чуткой, что она различает любой оттенок, и настолько открытой чувствам, что чуткость ее, как незримая рука, извлекает множество гармоничных аккордов из струн эмоций — душой, в которой знание тотчас преображается в чувство, а чувство становится новым средством познания. Но подобное состояние достижимо лишь иногда.

— Однако вы ничего не сказали о стихах, — заметила Доротея. — По-моему, без них не может быть поэта. Я понимаю ваши слова о знании, преображающемся в чувство, так как, мне кажется, я постоянно испытываю именно это. Но право же, я не сумею написать даже самого короткого стихотворения.

— Вы сами — стихотворение, и в этом заклю-

чается самое лучшее в поэтах: то, что озаряет сознание поэта в минуты вдохновения, — сказал Уилл, блистая оригинальностью, которую все мы разделяем с утренней зарей, весенними днями и прочими вечными обновлениями.

— Мне очень приятно это слышать, — ответила Доротея со смехом, звонким, как птичья трель, и с шаловливой благодарностью во взгляде. — Какие любезные вещи вы говорите!

— Как я хотел бы быть не просто любезным, но полезным вам! Как был бы я счастлив оказать вам хотя бы ничтожную услугу, но, боюсь, такого случая мне никогда не представится, — пылко воскликнул Уилл.

— Нет, нет, — дружески сказала Доротея. — Он, несомненно, представится, и я вспомню о вашем добром расположении ко мне. Когда я увидела вас в Лоуике, то подумала, что нам следует стать друзьями, — ведь вы же родственник мистера Кейсобона. — В ее глазах блеснули слезы, и Уилл почувствовал, что и его глаза, подчиняясь законам природы, также увлажнились. Упоминание мистера Кейсобона не испортило этого мгновения, освященного могучей силой и пленительным достоинством ее благородной доверчивой неопытности.

— А кое-что вы могли бы сделать и сейчас, — произнесла Доротея, поднимаясь и пройдясь по комнате, чтобы утишить волнение. — Обещайте мне никогда ни с кем не говорить об этом… то есть о труде мистера Кейсобона… В таком тоне, я хочу сказать. Этот разговор начала я. И во всем виновата я. Но вы дадите мне такое обещание?

Она остановилась напротив Уилла и посмотрела на него с глубокой серьезностью.

— Разумеется, я обещаю, — сказал Уилл, но покраснел. Если он не позволит себе с этих пор ни одного слова осуждения по адресу мистера Кейсобона и перестанет пользоваться его помощью, тем больше у него будет права питать к нему ненависть. Поэт должен уметь ненавидеть, говорит Гёте, и этим талантом Уилл, во всяком случае, обладал. Он сказал, что мистера Кейсобона все-таки дожидаться не будет, а придет проститься с ним перед самым их отъездом. Доротея протянула ему руку, и они обменялись простым «до свидания».

Однако у подъезда Уилл встретил мистера Кейсобона, который пожелал своему молодому родственнику всего самого лучшего и вежливо отказался от удовольствия еще раз проститься с ним, сославшись на сборы перед дорогой.

— Я должна сообщить вам кое-что о вашем родственнике, мистере Ладиславе. Возможно, это поднимет его в ваших глазах, — сказала Доротея мужу поздно вечером. (Едва он вошел, она объявила, что у них был Уилл и собирается зайти еще раз, но мистер Кейсобон ответил: «Я встретился с ним на улице, и мы попрощались». Сказано это было тем тоном, какой мы употребляем, желая показать, что тема, будь она личной или общественной, нас не интересует и больше мы к ней возвращаться не хотим. А потому Доротея отложила продолжение разговора.)

— Что же именно, любовь моя? — спросил теперь мистер Кейсобон. Он всегда называл ее «любовь моя», когда говорил особенно холодно.

— Он решил оставить свои странствия и больше не пользоваться вашей щедростью. Он собирается вернуться в Англию, чтобы самому проложить себе путь. Мне казалось, вы сочтете это добрым знаком, — сказала Доротея, умоляюще глядя на мужа, чье лицо оставалось непроницаемым.

— А он упомянул, чем именно намерен заняться?

— Нет. Но он сказал, что начинает понимать, какой опасной может стать для него ваша щедрость. Разумеется, он сам вам обо всем напишет. Но ведь

это решение повысило его в вашем мнении?

— Я подожду его письма, — ответил мистер Кейсобон.

— Я сказала ему, что, по моему глубокому убеждению, вами в ваших действиях руководило только желание помочь ему. Я помню, с какой добротой вы говорили о нем тогда в Лоуике, — добавила Доротея, беря руку мужа.

— У меня был в отношении него определенный долг, — ответил мистер Кейсобон и погладил руку Доротеи, но взгляд его оставался хмурым. — В остальном, признаюсь, этот молодой человек меня не интересует, и нам незачем обсуждать его будущее, так как влиять на него сверх установленных мной пределов мы не можем.

Больше Доротея об Уилле не упоминала.

# Книга третья
# В ожидании смерти

## Глава XXIII

*«Хваленых солнечных коней,*
*Хоть правит ими Аполлон,*
*Ручаюсь головой моей,*
*Я обгоню!» – промолвил он.*

Фред Винси, как нам известно, был отягощен небольшим должком, и, хотя столь нематериальное бремя не могло надолго ввергнуть в уныние этого беззаботного юношу, некоторые обстоятельства, сопряженные с указанным долгом, делали мысль о нем весьма неприятной. Кредитором Фреда был мистер Бэмбридж, местный торговец лошадьми, близкий знакомый всех молодых обитателей Мидлмарча, слывших «прожигателями жизни». В дни вакаций времени для развлечений у Фреда, разумеется, было гораздо больше, чем денег, и мистер Бэмбридж не только разрешил ему пользоваться лошадьми из своей прокатной конюшни в кредит, не только не стал требовать с него немедленного возмещения, когда он загнал отличного гунтера, но простер свою любезность даже до того, что одолжил ему сумму, необходимую для покрытия бильярдных проигрышей. В

целом его долг составил сто шестьдесят фунтов. Бэмбридж не опасался за свои деньги, пребывая в убеждении, что молодому Винси есть к кому обратиться за помощью, но все-таки пожелал получить надлежащий документ, и Фред выдал ему вексель за собственной подписью. Три месяца спустя он переписал вексель — теперь уже с поручительством Кэлеба Гарта. Ни в первый, ни во второй раз Фред ни на секунду не усомнился, что сумеет уплатить по векселю, ибо его финансовое положение рисовалось ему в самом радужном свете. Не станете же вы требовать, чтобы подобная бодрая уверенность опиралась на сухие факты. Всем нам прекрасно известно, что природа ее вовсе не так груба и материалистична — уверенность эта питается приятным убеждением, будто божественный промысел, легковерие наших ближних, неисповедимые пути удачи или же еще более неисповедимая тайна нашей великой ценности для мироздания непременно приведут все трудности к благополучному разрешению, вполне достойному нашего умения одеваться с безупречным вкусом и вообще нашей благородной склонности ко всему самому дорогому и самому лучшему. Фред не сомневался, что дядя сделает ему щедрый подарок, что его ждет

полоса удачи, что путем ловких обменов он сумеет постепенно преобразить лошадь, стоящую сорок фунтов, в лошадь, которую в любую минуту можно будет продать за сто, поскольку «уменье судить» само по себе стоит очень дорого. Ну а если бы даже обстоятельства сложились наихудшим образом — чего, конечно, стал бы опасаться лишь человек, страдающий болезненной мнительностью, — Фред считал (в то время), что у него в запасе как последнее средство всегда есть кошелек отца. Вот почему источники, питавшие его радостные надежды на будущее, были, можно сказать, более чем обильными. О содержимом отцовского кошелька Фред имел самое смутное представление, но ведь в коммерции есть свои приливы и отливы, не так ли? И ведь дефицит одного года с лихвой покрывается прибылью следующего? Винси жили в полном довольстве, ни в чем себя не урезая, не то чтобы на очень широкую ногу, но давно заведенным порядком, с соблюдением всех семейных традиций и обычаев, так что их дети понятия не имели об экономии, а старшие полностью сохраняли детское убеждение, будто их отец способен купить все, чего ни пожелает. Сам мистер Винси был отнюдь не лишен привычек, довольно дорогих по меркам Мидл-

марча, — он щедро тратил деньги на скачки, на свой погреб, на званые обеды, а у маменьки был открытый счет в магазинах и лавках, что создает блаженную иллюзию, будто можно брать любые вещи, не платя за них. Но Фред знал, что отцам положено распекать сыновей за мотовство. Стоит ему признаться, что у него завелись долги, и разразится буря, а он недолюбливал скверную погоду в стенах родительского дома. Фред питал к отцу положенное сыновнее почтение и покорно переносил очередную грозу, не сомневаясь в ее кратковременности. Однако слезы матери не доставляли ему ни малейшего удовольствия, как и необходимость напускать на себя сумрачный вид, вместо того чтобы радоваться и смеяться: натура Фреда была такой солнечной, что унылость, с которой он выслушивал упреки и нотации, в значительной мере была данью приличиям. Вот почему куда проще было переписать вексель с поручительством какого-нибудь друга. Да и что тут такого? Его надежды казались ему более чем достаточным обеспечением, и он с полной безмятежностью готов был увеличивать обязательства других людей, но, к несчастью, те из них, чьи подписи имели вес, чаще всего оказывались пессимистами, не склонными верить, что все-

ленский порядок обязательно благоприятствует приятным молодым людям.

Собираясь просить об одолжении, мы перебираем в уме наших друзей, воздаем должное их лучшим качествам, извиняем их недостатки и старательно убеждаем себя, что каждый из них окажет нам услугу с такой же радостью, с какой мы жаждем ее принять. И все же к тем, чья радость не обещает быть такой уж бурной, мы предпочитаем обращаться, только получив отказ от других, и Фред по зрелом размышлении отверг за единственным исключением всех возможных кандидатов, решив, что просить их о помощи будет все-таки неприятно (его убеждение, что ему, в отличие от прочих членов рода человеческого, неприятности терпеть не положено, было неколебимым). А чтобы он оказался в по-настоящему тяжелом положении, носил бы панталоны, севшие от стирки, обедал бы холодной бараниной, ходил бы пешком за неимением лошади — что за нелепость! Веселая беззаботность, которой наделила его природа, все это безоговорочно отметала. Однако Фред не желал ронять себя признанием, что у него нет денег для уплаты мелкого долга, а потому в конце концов попросил об этой услуге самого бедного и самого доброго из своих

друзей — Кэлеба Гарта.

Гарты питали к Фреду такую же теплую привязанность, как он к ним. В дни, когда он и Розамонда были еще маленькими, а Гарты не так бедны, свойство между семьями через мистера Фезерстоуна, женатого первым браком на сестре мистера Гарта, а вторым — на сестре мистера Винси, привело к знакомству, которое, впрочем, поддерживали не столько родители, сколько дети: они пили чай, разлитый в кукольные чашки, и играли вместе целыми днями. Шестилетний Фред считал маленькую шалунью Мэри лучшей девочкой во всем мире и обручился с ней медным колечком, которое срезал с зонтика. И в школе и в университете он сохранял к Гартам самые нежные чувства и бывал у них в доме как свой, хотя всякие отношения между ними и его родителями давно прекратились. Даже когда Кэлеб Гарт преуспевал, старшие Винси смотрели на него сверху вниз, ибо в Мидлмарче свято блюлись очень тонкие сословные различия. Потомственным фабрикантам, которые, подобно герцогам, могли вступать в родство лишь с равными себе, было свойственно врожденное ощущение социального превосходства, которое находило очень точное практическое выражение, хотя определить его

теоретически оказалось бы весьма нелегко. Затем Кэлеб Гарт потерпел неудачу со строительным подрядом, который, к несчастью, взял, не довольствуясь обычными своими занятиями землемера, оценщика и посредника. И довольно долго все плоды его трудов шли тем, кто за него поручился, а он вел самую скудную жизнь ради того, чтобы иметь возможность уплатить кредиторам двадцать шиллингов за фунт. В конце концов он добился своего, заслужив уважение тех, кто не усмотрел в его стараниях опасного прецедента, однако уважение уважением, но кто будет ездить к людям, если у них нет хорошей мебели и полного обеденного сервиза? К тому же миссис Винси никогда не чувствовала себя непринужденно в обществе миссис Гарт и часто вспоминала, что этой женщине в девичестве приходилось самой зарабатывать себе на хлеб — до выхода замуж миссис Гарт была учительницей, что уподобляло ее близкое знакомство с Линдли Мерреем и «Вопросами» Мэнгнолл[97] умению суконщика различать клейма на штуках коленкора или осведомленности курьера,

**[97] Примечания: 97**

Имеются в виду популярные в начале XIX в. учебники «Английская грамматика» Л. Меррея (1795) и «Вопросы по истории и другим предметам» миссис Р. Мэнгнолл (1806).

сопровождающего досужих путешественников, о чужих странах: состоятельным дамам ничего подобного не требуется. А с тех пор как Мэри стала вести хозяйство в доме мистера Фезерстоуна, безразличие миссис Винси к Гартам перешло в неприязнь из-за опасения, что Фред обручится с этой некрасивой девушкой, чьи родители «живут так мизерно!». Зная об этом, Фред не упоминал дома о своих визитах к миссис Гарт, которые последнее время заметно участились, потому что его крепнущая любовь к Мэри распространялась и на ее близких.

У мистера Гарта была в городе небольшая контора, и Фред решил, что поговорить о поручительстве удобнее будет там. Долго просить ему не пришлось: горький опыт не научил Кэлеба Гарта быть осторожнее в собственных делах, и он по-прежнему доверял людям — если, конечно, они казались достойными доверия. О Фреде же он был самого высокого мнения и не сомневался, что «из этого малого выйдет толк: душа у него открытая, сердце доброе, основы самые хорошие, и положиться на него можно, как на каменную гору». Таковы были психологические доводы Кэлеба Гарта, принадлежавшего к тем редким натурам, которые требовательны к себе и снис-

ходительны к другим. Ему становилось стыдно за чужие неблаговидные поступки, и он избегал говорить о них, а всякую мысль о том, что подобный поступок может быть совершен в будущем, он попросту отгонял, предпочитая обдумывать способ, позволяющий придать древесине особую твердость, и тому подобные хитроумные изобретения. Перед тем как побранить кого-нибудь, если уж уклониться от этого не удавалось, он успевал перебрать все лежавшие на столе бумаги, или начертить тростью множество диаграмм, или же сосчитать и пересчитать завалявшуюся в кармане мелочь. Он предпочитал сам сделать работу за других, лишь бы не указывать им на промахи и небрежность. Боюсь, ему совершенно не хватало дисциплинирующей строгости.

Когда Фред рассказал ему о своем долге и объяснил, что хотел бы уплатить его, не беспокоя отца, — ведь в самом скором времени он обязательно получит всю необходимую сумму и никому не причинит никаких затруднений, — Кэлеб сдвинул очки на лоб, поглядел в чистые юные глаза своего любимца и поверил ему, с готовностью приняв правдивый рассказ о прошлых грешках за доказательство истинности его надежд на будущее. Тем не менее он почувство-

вал, что должен дружески намекнуть Фреду на необходимость изменить поведение и не может поставить подпись на векселе без строгого увещевания. А потому он взял вексель, сдвинул очки на нос, примерился, потянулся за пером, оглядел его, окунул в чернильницу и снова оглядел, затем чуть-чуть отодвинул вексель, опять поднял очки на лоб, шевельнул кустистыми бровями, отчего его лицо приобрело выражение ласковой кротости (извините эти подробности — они умилили бы вас, будь вы знакомы с Кэлебом Гартом), и сказал благодушно:

— Так-так, значит, лошадь сломала ногу! Да и какой же барышник станет меняться себе в убыток. Ну, в следующий раз будешь умнее, мой мальчик.

Договорив, Кэлеб спустил очки на нос и начал выводить подпись с обычным своим тщанием — в делах он никогда не позволял себе ни малейшей небрежности. Наклонив голову набок, он несколько секунд созерцал четкие буквы и красивый росчерк, потом протянул вексель Фреду, сказал «до свидания» и вновь с головой ушел в планы новых служб для сэра Джеймса.

То ли Кэлеб был настолько увлечен работой, что совсем забыл о подписи, которую поставил

на векселе, то ли по иной, более осознанной причине, но миссис Гарт он не обмолвился об этом ни словом.

Некоторое время спустя небосвод Фреда омрачился, и даль предстала его взору в ином свете. Вот почему деньги, которые он надеялся получить в подарок от своего дяди Фезерстоуна, были для него так важны, что он даже покраснел и побледнел — сначала в упоении надежды, а затем от горького разочарования. Из-за того что он не сдал экзамен, его обычные университетские долги совершенно взбесили отца, и разразилась небывалая гроза. Мистер Винси поклялся, что в следующий раз выгонит Фреда из дома, — пусть сам зарабатывает себе на жизнь как хочет, — и все еще разговаривал с сыном без прежнего добродушия, настолько его разгневало признание молодого человека, что он не хочет быть священником и предпочтет «бросить все это». Фред сознавал, что с ним обошлись бы еще строже, если бы родители втайне тоже не считали его наследником мистера Фезерстоуна, но видимая привязанность старика, который как будто им гордился, искупала изъяны его поведения. Вот так, когда молодой аристократ крадет драгоценности, мы называем такую кражу

«клептоманией», говорим о ней с философской улыбкой и даже не помышляем о том, чтобы отправить его в исправительное заведение, как маленького оборванца, попавшегося на краже репы. По правде говоря, мнение большинства мидлмарчцев о Фреде Винси определялось мысленной оценкой того, что может сделать для него дядюшка Фезерстоун, и в собственном его сознании мысль о том, что дядюшка Фезерстоун сделает для него в трудную минуту или просто так, по велению Фортуны, всегда распахивала перед ним неизмеримые радужные дали. Однако подаренные банкноты были вполне измеримыми и при вычитании из суммы долга оставляли дефицит, который необходимо было как-то покрыть то ли с помощью «умения судить», то ли поймав удачу еще каким-нибудь способом. После той историйки с мнимыми долгами, когда он вынудил отца обратиться к Булстроду за опровержением, Фред никак не мог просить у него денег для уплаты настоящего долга. Он прекрасно понимал, что в гневе его отец не станет разбираться в тонкостях и решит, что он все-таки занимал деньги под наследство дяди. Ведь он признался отцу в одной неприятности, умолчав о другой. В подобных случаях позднейшее полное призна-

ние нередко заставляет думать, что все сказанное прежде было обманом и ложью. Фред же находил особую гордость в мысли, что никогда прямо не лжет даже в мелочах, он нередко презрительно пожимал плечами и морщился, ловя Розамонду на «вранье» (только брату может прийти в голову, что прелестная девушка способна на что-либо подобное), а потому готов был пойти на некоторые неприятности и даже лишения, лишь бы избежать обвинения во лжи. Именно эти мысли и чувства заставили его благоразумно отдать восемьдесят фунтов на хранение матери. Жаль, конечно, что он тут же не вручил их мистеру Гарту, но он собирался прежде раздобыть оставшиеся шестьдесят фунтов, а потому оставил себе двадцать фунтов в качестве, так сказать, семян, которые, удобренные умением судить и орошенные удачей, могут принести урожай самтри, — весьма скромное приумножение, когда нивой служит ничем не ограниченная душа молодого джентльмена, в распоряжении которого находятся любые цифры.

Фред не был игроком, он не страдал той особой болезнью, когда риск, напряжение всей нервной энергии в надежде на прихоть случая становятся такой же потребностью, как рюмка джина

для пьяницы. Он был склонен лишь к той расплывчатой форме азартности, которая никогда не приобретает силы алкогольного опьянения, но просто живет в здоровой, горячей молодой крови и помогает бодрому воображению кроить события по желанию: уверенное в попутном ветре, оно ничего не опасается и видит одни лишь преимущества для тех, кто пустится в плавание вместе с ним. Вера в удачу превращает всякий риск в удовольствие, потому что конечный успех кажется несомненным, и чем большему числу людей предлагается доля в ставке, тем благородней и бескорыстней становится это удовольствие. Фред любил азартные игры и особенно бильярд, как любил лисью травлю или скачки с препятствиями — и даже больше, потому что нуждался в деньгах и надеялся выиграть. Но двадцать фунтов — семена, брошенные на заманчивое зеленое поле (то есть те, которые не были прежде обронены по дороге), — не принесли никакого урожая, и Фред обнаружил, что срок уплаты приближается, а у него есть только восемьдесят фунтов, отданных матери. Страдавшая запалом лошадь, на которой он ездил, воплощала в себе давний подарок дядюшки Фезерстоуна — хотя мистер Винси считал сына шалопаем, он позволял ему

держать лошадь, так как человеку с его привычками это требование представлялось разумным. Таким образом, лошадь была собственность Фреда, и, ради того чтобы уплатить по векселю, он решил пожертвовать этой собственностью, хотя без нее жизнь утрачивала значительную часть своей прелести. Принимая это решение, он чувствовал себя героем — впрочем, на такой героизм его подталкивала боязнь нарушить слово, данное мистеру Гарту, любовь к Мэри и страх утратить ее доброе мнение. Завтра в Хаундсли будет конская ярмарка, он поедет туда и… и просто продаст свою лошадь, а сам с деньгами вернется в дилижансе? Но ведь больше тридцати фунтов за нее никак не дадут, а неизвестно, что может случиться, и глупо заранее отказываться от возможной удачи. Сто против одного, что ему так или иначе улыбнется счастье. И чем дольше Фред размышлял, тем больше убеждался, что птица счастья обязательно спустится к нему, а потому благоразумие требовало запастись порохом и пулями, чтобы было чем эту птицу подстрелить. Он поедет в Хаундсли с Бэмбриджем и с Хорроком, коновалом, и, ничего прямо у них не спрашивая, сумеет воспользоваться их опытом. Перед тем как отправиться в путь, Фред взял у матери все

восемьдесят фунтов.

Те, кто видел, как Фред выезжал из Мидлмарча в обществе Бэмбриджа и Хоррока, — ну, конечно же, на конскую ярмарку в Хаундсли! — не сомневались, что молодой Винси, как обычно, ищет новых развлечений. И если бы не непривычная озабоченность, он и сам чувствовал бы себя прожигателем жизни и лихим повесой. Поскольку Фред вовсе не был вульгарен, относился с легким пренебрежением к манерам и выговору молодых людей, никогда не учившихся в университете, и пописывал стансы, столь же пасторальные и благопристойные, как его игра на флейте, его тяга к Бэмбриджу и Хорроку представляется довольно любопытным фактом, и объяснение ему приходится искать не просто в страсти к лошадям, но и в том таинственном воздействии словесного обозначения, которое в столь значительной мере определяет наш выбор. Общество господ Бэмбриджа и Хоррока, не будь оно обозначено словом «удовольствие», несомненно, нагоняло бы скуку. Приехать с ними в Хаундсли под мелким холодным дождиком, спешиться у «Красного льва» в улочке, ретушированной угольной пылью, обедать в комнате, украшенной картой графства в грязевых разводах, скверным портретом

неведомого коня в стойле, изображением его величества короля Георга IV с толстыми ляжками и в пышном галстуке, а также разнообразными оловянными плевательницами, — что могло бы показаться тоскливее, если бы все это магически не именовалось «прожиганием жизни»?

Мистер Хоррок, бесспорно, производил впечатление непостижимой глубины, дававшей обильную пищу воображению. Костюм его с первого взгляда указывал на волнующую связь с миром конюшен (достаточно сказать, что поля его шляпы были слегка отогнуты кверху — ровно настолько, чтобы не показалось, будто они загнуты книзу), а природа дала ему лицо, которому несколько раскосые глаза, а также нос, рот и подбородок, словно чуть вздернутые, подобно полям его шляпы, придавали выражение вечной скептической усмешки. Такое выражение всегда производит сильнейшее действие на впечатлительные натуры, а в сочетании с упорным молчанием нередко создает обладателю такого лица репутацию необыкновенной проницательности, неистощимого юмора — слишком сухого, чтобы хлынуть потоком, и, быть может, спекшегося в непробиваемую корку, — и критической непогрешимости, благодаря которой его мне-

ние, буде нам выпадет счастье им заручиться, окажется как раз тем, что требуется. Подобные физиономии встречаются на всех поприщах, но особенно неотразимое воздействие на английских юношей они производят, когда принадлежат знатокам лошадей.

Мистер Хоррок, когда Фред спросил его мнение о бабках своей лошади, повернулся в седле и минуты три смотрел на ее ноги, затем сел прямо и дернул поводья собственного коня, так и не нарушив молчания. Скептическое выражение его профиля ни на йоту не смягчилось и не усугубилось.

Такое участие в диалоге было на редкость эффективным: в душе Фреда забушевали самые разные чувства, но безумное желание силой вытрясти из Хоррока его суждение было тотчас усмирено не менее сильным желанием сохранить все преимущества дружбы с ним. Ведь всегда оставалась возможность, что Хоррок в нужную минуту скажет что-то бесценно важное.

Мистер Бэмбридж, наоборот, излишней сдержанностью не страдал и не скупился на мнения и суждения. Он был громогласен, дюж и, как говорили, иной раз «позволял себе лишнего» — главным образом когда ругался, пил или бил

свою жену. Кое-кто называл его мерзавцем, но он считал торговлю лошадьми изящнейшим из всех искусств и мог бы вполне убедительно доказать, что мораль тут совершенно ни при чем. Во всяком случае, он бесспорно преуспевал, злоупотребление крепкими напитками переносил лучше, чем иные переносят умеренность, и вообще благоденствовал. Однако беседа его разнообразием не отличалась и, подобно превосходной старинной песенке «Капля коньяку», обладала свойством переходить от конца вновь к началу таким манером, что более слабые головы начинали идти кругом. Тем не менее небольшая доза мистера Бэмбриджа придавала тон некоторым сферам Мидлмарча, и он был одним из светочей буфета и бильярдной «Зеленого дракона». Он знал кое-какие истории о тех, кто стяжал лавры в знаменитых скачках, и любил рассказывать о хитростях разных маркизов и виконтов (благородная кровь, по-видимому, являет свое превосходство и среди мошенников). Но главным образом его память хранила сведения о всех лошадях, которых он когда-то покупал и продавал: как бы много ни прошло лет, он с жаром распространялся о том, сколько миль они могли бы пронести вас за самое ничтожное время

и тут же пробежать еще вдвое больше, а чтобы подогреть воображение слушателей, он то и дело торжественно клялся, что они в жизни ничего подобного не видели. Короче говоря, мистер Бэмбридж был любитель удовольствий и веселый собеседник.

Фред по разным тонким соображениям не признался своим друзьям, что едет в Хаундсли продавать свою лошадь. Он хотел обиняком выведать их искреннее мнение о ее цене, даже не подозревая, что добиться искреннего мнения от таких взыскательных знатоков — вещь невозможная. Мистер Бэмбридж никогда не льстил бескорыстно, такая слабость была чужда его характеру. Внезапно он пришел к выводу, что злополучная лошадь — редкостная кляча и по-настоящему описать ее можно только с помощью наиболее полновесных слов.

— Раз уж вам взбрело меняться, Винси, вы бы ко мне пошли. Тот гнедой был конь так уж конь, а вы отдали его за этого одра. Вы его рысью пускаете, а он трюх-брюх, трюх-брюх. А такого запала я в жизни не слыхивал, если, конечно, не считать солового, на котором семь лет назад ездил Пегуэлл, хлеботорговец. Он его в бричку запрягал. Ну, приходит он ко мне, а я говорю: «Большое

спасибо, Пег, только я духовыми инструментами не торгую». Вот что я ему сказал. Эту шутку тогда по всей округе повторяли. Но какого черта! По сравнению с вашим одром тот соловый был просто флейточка.

— Да вы же только сейчас сказали, что он был хуже моего, — огрызнулся Фред, чье настроение было далеко не таким благодушным, как всегда.

— Ну, значит, я соврал, — объявил мистер Бэмбридж. — Разницы между ними ни на грош нет.

Фред пришпорил своего коня, и некоторое время они ехали быстрой рысью. А когда снова поехали тише, мистер Бэмбридж сказал:

— Только соловый ходил рысью почище вашего.

— Я всеми его аллюрами доволен, — ответил Фред, который сдержался только потому, что вспомнил, в обществе каких прожигателей жизни он находится. — А рысь у него на редкость хороша, так ведь, Хоррок?

Мистер Хоррок смотрел прямо перед собой, сохраняя полнейшую невозмутимость, словно был портретом кисти кого-то из великих мастеров.

Фред отказался от тщетной надежды выяснить их искреннее мнение, но, поразмыслив, пришел к выводу, что поношения Бэмбриджа и молчание

Хоррока — благоприятные признаки: значит, они думают о лошади лучше, чем говорят.

И действительно, в тот же вечер Фред, хотя ярмарка открылась только на следующий день, нашел случай распорядиться своей лошадью, как ему казалось, с большой выгодой и похвалил себя за предусмотрительность: не захвати он на ярмарку свои восемьдесят фунтов, случай этот был бы безвозвратно упущен. В «Красный лев» завернул молодой фермер, знакомый мистера Бэмбриджа, и в разговоре упомянул, что намерен расстаться со своим гунтером (он сказал просто «с Алмазом», из чего следовало, что конь этот пользуется известностью). Ему теперь нужна рабочая лошадка, которая может ходить и в упряжке: он женится, а уж тогда какая охота. Гунтера он поставил в конюшню приятеля, неподалеку отсюда, и они еще успеют осмотреть его до темноты. К конюшне приятеля пришлось добираться через проулок, где было столь же легко отравиться без всякого яда, как в любой замусоренной улочке той антисанитарной эпохи. В отличие от своих спутников Фред не заглушил омерзение коньяком, однако радостная мысль, что наконец-то он увидел лошадь, которая принесет ему кругленькую сумму, пьянила нисколько

не хуже, и рано поутру на следующий день он без колебаний вновь проделал тот же путь, торопясь опередить Бэмбриджа. Фред прямо-таки ощущал, как воздействие неблагоприятных обстоятельств обостряет его деловое чутье и одаряет быстротой соображения вместе с полезной подозрительностью. Накануне Бэмбридж охаял Алмаза так, как никогда не стал бы хаять лошадь приятеля, если бы не задумал ее купить. Те, кто осматривал коня — даже Хоррок, — были явно поражены его достоинствами. Чтобы извлечь все выгоды из общения с подобными людьми, нужно понимать, что к чему, и ничего не принимать на веру. Конь был серый в яблоках, а Фред слышал, что грум лорда Медликоута ищет лошадь как раз такой масти. Когда фермер на минуту вышел, Бэмбридж после всех своих поношений обронил, что видывал, как за гунтеров и похуже давали восемьдесят фунтов. Ну конечно, он двадцать раз себе противоречил, но, зная, где скорее всего должна быть истина, можно разобраться в любых словесных хитросплетениях. И собственное умение судить о лошадях чего-нибудь да стоит. А фермер осматривал его очень недурного, хотя и страдающего запалом коня довольно долго: значит, он счел его подходящим и, наверное, согласится отдать

за него Алмаза, взяв двадцать пять фунтов в придачу. Тогда Фред, продав свою новую лошадь по меньшей мере за восемьдесят фунтов, окажется в барыше на пятьдесят пять фунтов и соберет таким образом для уплаты долга сто тридцать пять фунтов, так что мистеру Гарту в худшем случае придется добавить всего двадцать пять фунтов, которые он ему вернет в самое ближайшее время. Когда Фред кончил торопливо одеваться, он был полон такой решимости не упускать столь редкого случая, что Бэмбридж и Хоррок вдвоем не сумели бы его отговорить — он не принял бы их слова за чистую монету: уж конечно, у этих хитрецов на уме вовсе не интересы их молодого приятеля. Когда дело идет о лошадях, доверять нельзя никому. Однако, как нам известно, ко всему и во всем скептицизм прилагать невозможно — иначе жизнь остановилась бы. Мы должны во что-то верить — и верим. И как бы это «что-то» ни именовалось, оно остается нашим собственным суждением, даже если выглядит рабским следованием чужому мнению. Фред верил в выгодность задуманной сделки, и ярмарка только-только началась, а он уже стал владельцем серого в яблоках гунтера, отдав за него свою прежнюю лошадь и тридцать фунтов в придачу — всего на

пять фунтов больше, чем рассчитывал.

Однако он испытывал какую-то тревогу и усталость — возможно, после внутреннего спора, — а потому, не вкусив других развлечений конской ярмарки, отправился восвояси один и проехал все четырнадцать миль не торопясь, чтобы не утомить своего коня.

## Глава XXIV

*Раскаянье виновника беды*
*Того, кто страждет, мук не утолит.*
***Шекспир, «Сонеты»***

Как ни жаль об этом говорить, но всего лишь через два дня после многообещающей сделки в Хаундсли Фред Винси оказался во власти такого отчаяния, какого еще никогда в жизни не испытывал. Нет, он не ошибся в возможном покупателе для своего коня, но прежде чем переговоры с грумом лорда Медликоута успели завершиться, Алмаз, воплощавший заветные восемьдесят фунтов, вдруг без всякой причины принялся злобно лягаться в стойле, чуть не убил конюха и в довершение всего сильно повредил ногу, запутав ее в веревке, которая висела на стене. Поправить дело было невозможно — как и в том случае, когда после свадьбы у мужа или жены характер оказывается скверным, о чем, разумеется, их старые друзья знали и до брачной церемонии. Почему-то после этого удара судьбы Фреду изменила его обычная жизнерадостная уверенность в будущем — он больше не строил

обнадеживающих планов и сознавал только, что вся его наличность исчерпывается пятьюдесятью фунтами, что никакой возможности раздобыть еще денег у него нет и что срок его векселя на сто шестьдесят фунтов истекает через пять дней. Обратиться к отцу, чтобы мистеру Гарту не пришлось за него расплачиваться? Но Фред испытывал горькую уверенность, что его отец сердито откажется спасать мистера Гарта от последствий того, что он назовет поощрением мотовства и лжи. В полнейшем унынии молодой человек решил пойти к мистеру Гарту, чистосердечно признаться во всем и отдать ему пятьдесят фунтов, чтобы хоть эти деньги не пропали. Его отец был на складе и еще не знал о том, что Алмаз охромел. Узнав же, он, конечно, придет в ярость из-за того, что к нему в конюшню поставили такого злобного и опасного зверя, и прежде чем подвергнуть свое мужество этому менее тягостному испытанию, Фред хотел пройти через более тяжелое, которое требовало всех его сил. Он оседлал кобылу отца, решив после разговора с мистером Гартом сразу же поехать в Стоун-Корт и во всем покаяться Мэри. По правде говоря, не будь на свете Мэри и не люби ее Фред, вполне возможно, что его совесть прежде куда реже на-

поминала бы ему о векселе, а теперь позволила бы, по обыкновению, отложить неприятный разговор на последнюю минуту, вместо того чтобы действовать, не щадя себя, со всей простотой и прямодушием, на какие он только был способен. Даже люди куда более сильные, чем Фред Винси, по меньшей мере половину своего благородства хранят во мнении тех, кому отдана их любовь. «Театр моих поступков рухнул», — сказал древний герой, когда погиб его ближайший друг. И счастливы те, в чьем театре зрители требуют от них лучшего. Несомненно, если бы мнение Мэри Гарт о том, какие черты человеческого характера заслуживают восхищения, не было столь четким, Фред мучился бы гораздо меньше.

Не застав мистера Гарта в конторе, Фред поехал к нему домой. Дом мистера Гарта находился за чертой города — этот старый полукаменный дом, прятавшийся среди яблонь, был прежде жилищем фермера, но теперь, когда город разросся, к нему вплотную подступили сады горожан. Наша любовь к родному дому бывает особенно сильна, если, подобно нашим друзьям, он обладает присущим только ему своеобразием. И семья Гартов (довольно большая, так как у Мэри была сестра и четверо братьев) питала нежнейшую

привязанность к старому зданию и его убранству — весьма скромному, потому что вся хорошая мебель была давным-давно продана. Фреду оно тоже очень нравилось, он знал в нем каждую комнату, каждый уголок вплоть до чердака, восхитительно благоухавшего яблоками и айвой, и до сих пор всегда подъезжал к нему с предвкушением чего-то очень приятного. Но теперь его сердце тревожно сжималось: он опасался, что вынужден будет сделать свое признание в присутствии миссис Гарт, которой боялся куда больше, чем ее мужа, хотя она, в отличие от Мэри, не была склонна ни к сарказмам, ни к обидным замечаниям. Мать большого семейства, она никогда не позволяла себе, поддавшись порыву, сказать что-нибудь необдуманное — правда, такой сдержанности она, по ее словам, научилась в своей подневольной юности. Миссис Гарт обладала редким здравым смыслом, который умеет без ропота смиряться с тем, чего нельзя изменить. Восхищаясь душевными качествами своего мужа, она понимала, что он неспособен блюсти собственные интересы, и бодро переносила все последствия. У нее достало великодушия раз и навсегда без горечи отказаться от удовольствия щегольнуть чайным сервизом или нарядами

своих детей, и она никогда не жаловалась соседкам на легкомыслие мистера Гарта, не поверяла их сочувственным ушам, какие деньги мог бы наживать ее муж, будь он как все люди. А потому соседки считали ее кто гордячкой, а кто чудачкой, и в разговорах с мужьями иногда называли ее «твоя хваленая миссис Гарт». Она же, будучи более образованной, чем большинство мидлмарчских матрон, в свою очередь находила что поставить им в упрек и — где найдется совершенная женщина? — относилась с излишней строгостью к своему полу, который, по ее мнению, был предназначен играть подчиненную роль. С другой стороны, к мужским недостаткам она относилась с излишней снисходительностью и часто во всеуслышание называла их естественными. Кроме того, приходится признать, что миссис Гарт с излишней горячностью восставала против всяких глупостей и побрякушек, как она выражалась, — превращение из гувернантки в мать семейства наложило заметный отпечаток на ее взгляды, и она никогда не забывала, что говорит правильней и чище, чем принято в мидлмарчском свете, и тем не менее носит простенькие чепцы, сама готовит семейные обеды и штопает все чулки в доме. Иногда она брала

учеников и, точно философ-перипатетик[98], водила их с букварем и грифельной доской за собой на кухню. По ее убеждению, им было очень полезно убедиться, что она способна взбить превосходную пену, исправляя их ошибки «на слух», — что женщина с засученными рукавами может знать все о сослагательном наклонении или тропической зоне, что, короче говоря, она может обладать «образованием» и прочими качествами, кончающимися на «ание» и «ение» и достойными высочайших похвал, не будучи при этом бесполезной куклой. Когда она говорила подобные поучительные вещи, ее брови строго сдвигались, хотя лицо сохраняло обычное доброжелательное выражение, а слова, шествовавшие торжественным строем, произносились выразительным приятным контральто.

К Фреду Винси она относилась по-матерински и была склонна извинять его ошибки, хотя, вероятно, не извинила бы Мэри, если бы та с ним обручилась, — ее требовательность к женскому полу распространялась и на дочь. Однако са-

**[98] Примечания: 98**

Подразумевается древнегреческий философ Аристотель (384 — 322 гг. до н.э.), который имел обыкновение прохаживаться, беседуя с учениками. Поэтому его философская школа получила название «перипатетической» (от греч. «перипатео» — «я прогуливаюсь»).

мая ее снисходительность стала для Фреда еще одним источником терзаний — ведь теперь он неизбежно упадет в ее мнении. И визит этот оказался даже еще более тягостным, чем он предполагал, так как Кэлеба Гарта не было дома: тот с раннего утра отправился закончить неподалеку какую-то починку. Эти часы миссис Гарт всегда проводила на кухне и теперь была занята там несколькими делами сразу: лепила пирожки на чисто выскобленном столе в углу у окна, следила через открытую дверь за тем, как Салли хлопочет у духовки и кадушки с тестом, и давала урок младшему сыну и дочке, которые с учебниками и грифельными досками стояли у стола напротив нее. Лохань и бельевая корзина в другом конце кухни позволяли заключить, что одновременно происходит стирка всяких мелочей.

Миссис Гарт, которая, засучив рукава, ловко орудовала скалкой, красиво прищипывала законченные пирожки и с жаром излагала правила согласования глаголов «с именами существительными, означающими множественность», являла собой забавное, но очень приятное зрелище. Мэри унаследовала вьющиеся волосы и квадратный подбородок матери, но миссис Гарт была красивей — более изящные черты лица, ма-

товая кожа и статная фигура, гармонировавшая с величавой твердостью взгляда. В белоснежном плоеном чепце она напоминала одну из тех восхитительных француженок, которые с корзинкой на локте шествуют на базар. Глядя на мать, хотелось думать, что дочь с возрастом станет такой же — жребий, вполне заменяющий приданое: ведь как часто мать рядом с дочерью выглядит зловещим пророчеством, гласящим: «Вот какой она будет вскоре».

— Ну-ка, повторим еще раз, — сказала миссис Гарт, прищипывая яблочную пышку, которая как будто мешала Бену, подвижному мальчугану с выпуклым лбом, следить за уроком. — «Но следуя смыслу слов, как передающему идею единства и множественности». Бен, объясни мне опять, что это значит.

(Миссис Гарт, подобно более прославленным педагогам, имела свои любимые тропы и в случае крушения общества до последнего мига держала бы над волнами своего Линдли Меррея.)

— Ну, это значит… это значит, что надо думать о смысле слов, которые ты употребляешь, — неохотно ответил Бен. — Ненавижу грамматику. Для чего она нужна?

— Чтобы ты научился говорить и писать пра-

вильно, чтобы тебя можно было понять, — строго сказала миссис Гарт. — Ведь ты же не хочешь говорить так, как старик Джоб?

— Нет, хочу, — твердо заявил Бен. — Так интереснее. Он говорит «итить». Почему это хуже, чем «идти»?

— Зато когда он говорит «крыса», у него получается «крыша», и можно подумать, что кошка поймала крышу, — высокомерно заявила Летти.

— Если ты не дурочка, так не подумаешь, — отрезал Бен. — Как это кошка может поймать крышу?

— Все это относится только к правильному выговору, наименее важной части грамматики, — сказала миссис Гарт. — Яблочную кожуру я оставила для свиней, Бен. Если ее съешь ты, придется отдать им твои пирожки. Джоб разговаривает только о самых простых вещах. А как ты сможешь говорить или писать о чем-то более сложном, если так же не будешь знать грамматики, как он? Ты станешь употреблять неправильные слова, ставить их на неверное место, так что люди не будут тебя понимать и никто не захочет говорить с таким скучным человеком. Что ты тогда будешь делать?

— Ну и пусть. Я возьму и уйду, — ответил Бен,

не сомневаясь, что это все-таки приятнее, чем изучать грамматику.

— Я вижу, ты устал и говоришь глупости, Бен, — сказала миссис Гарт, привыкшая к неопровергательным возражениям своего отпрыска. Она покончила с пирожками и направилась к бельевой корзине, распорядившись на ходу: — Пойди сюда и повтори историю про Цинциннат[99], которую я рассказывала вам в среду.

— Знаю! Он был фермером, — объявил Бен.

— Нет, Бен, он был римлянином… Дай я расскажу, — потребовала Летти, пуская в ход локоток.

— Дурочка, он был римским фермером и пахал.

— Да, но до этого… Это было потом… Его потребовал народ, — перебила Летти.

— Да, только прежде надо сказать, какой он был человек, — не отступал Бен. — Он был очень мудрый, как папа, и потому люди просили у него советов. И он был храбрый и умел хорошо сражаться. Папа ведь тоже умеет, правда, мама?

— Ну, Бен, дай я расскажу все так, как мама

---

**[99] Примечания: 99**

*Цинциннат* (V в. до н.э.) — римлянин, знаменитый простотой своего обихода и суровостью нравов. Его избрали консулом и дважды назначали диктатором, но он всякий раз, сложив с себя власть, возвращался к частной жизни. Легенда рассказывает, что посланцы сената, пришедшие звать его в диктаторы, нашли его в поле за плугом.

рассказывала, — нахмурившись, настаивала Летти. — Мамочка, пожалуйста, скажи Бену, чтобы он замолчал.

— Летти, мне стыдно за тебя! — воскликнула ее мать, выжимая чепчик. — Когда твой брат начал, ты должна была подождать, дать ему договорить. Как грубо ты себя ведешь — хмуришься, толкаешься, словно хочешь добиться победы с помощью локтей! Цинциннат, конечно, очень огорчился бы, если бы его дочь вела себя таким образом. (Миссис Гарт произнесла этот ужасный приговор с величавой чеканностью, и Летти почувствовала, что жизнь очень тяжела и печальна, когда тебе не дают сказать ни слова и все тебя осуждают, включая римлян.) Итак, Бен!

— Ну… а… ну… им все время нужно было сражаться, а они все были дураки и… Я не могу рассказывать, как ты, только им нужен был человек — в полководцы, что ли, или в цари, ну, и вообще…

— В диктаторы, — обиженно вставила Летти не без надежды пробудить раскаяние в материнской груди.

— Ну, пусть в диктаторы! — пренебрежительно сказал Бен. — Только это неправильное слово, он не говорил им, что писать на грифельных

досках.

— Послушай, Бен, ты все-таки не такой неуч, — заметила миссис Гарт, старательно сохраняя серьезность. — Кажется, кто-то стучит. Летти, сбегай открой дверь.

Стучал Фред, и когда Летти объявила ему, что папы нет дома, а мама на кухне, у него не оставалось выбора — ведь он обязательно заглядывал к миссис Гарт на кухню, когда она хлопотала там. Он молча обнял Летти за плечи и пошел с ней в кухню, против обыкновения не поддразнивая ее и не лаская.

Появление Фреда в такой час удивило миссис Гарт, но она умела скрывать свое удивление и сказала только, спокойно продолжая выжимать белье:

— Что это ты так рано, Фред? И ты очень бледен. Что-нибудь случилось?

— Я хотел бы поговорить с мистером Гартом, — ответил Фред, предпочитая пока ограничиться этим, но после паузы добавил: — И с вами тоже.

Он не сомневался, что миссис Гарт осведомлена о векселе и ему придется говорить обо всем при ней, если не с ней одной.

— Кэлеб должен сейчас вернуться, — сказала миссис Гарт, решив, что Фред поссорился с

отцом. — Он не задержится, потому что дома его ждет работа, которую он должен закончить сегодня же. Ты подождешь со мной тут, пока я не кончу?

— И можно больше про Цинцинната не рассказывать, ведь правда? — сказал Бен, забрав у Фреда хлыст и пробуя его на кошке.

— Да, можешь идти гулять. И положи хлыст. Как это гадко — бить бедную старую Пятнашку! Пожалуйста, Фред, забери у него хлыст.

— Ну-ка, старина, отдай его мне, — потребовал Фред, протягивая руку.

— А ты покатаешь меня на твоей лошади? — спросил Бен, отдавая хлыст с таким видом, будто мог этого и не делать.

— Не сегодня… Как-нибудь в другой раз. Я приехал не на своей лошади.

— А ты сегодня увидишь Мэри?

— Наверное, — ответил Фред, и сердце его мучительно сжалось.

— Скажи, чтобы она поскорее приехала играть в фанты, а то без нее скучно.

— Ну, довольно, Бен, иди гулять, — вмешалась миссис Гарт, заметив, что Фреду эта болтовня неприятна.

— У вас теперь, кроме Летти и Бена, других уче-

ников нет, миссис Гарт? — спросил Фред, когда они остались одни и надо было начать какой-то разговор. Он еще не решил, ждать ли мистера Гарта или признаться во всем миссис Гарт, отдать ей деньги и уехать.

— Есть еще одна ученица, всего одна. Фанни Хекбат приходит в половине двенадцатого. Прежнего огромного дохода я не получаю, — ответила миссис Гарт, улыбаясь. — С учениками дело обстоит плохо. Но я успела кое-что скопить на взнос за обучение Альфреда. У меня есть девяносто два фунта, и он может теперь поступить к мистеру Хэнмеру. А ему как раз пора начинать учение.

Это был неподходящий момент для сообщения, что мистеру Гарту предстоит лишиться не девяноста двух фунтов, а заметно большей суммы. И Фред промолчал.

— Молодые джентльмены, поступающие в университет, обходятся родителям много дороже, — расправляя оборку чепца, продолжала миссис Гарт без всякой задней мысли. — Кэлеб думает, что Альфред станет отличным инженером, и не хочет, чтобы мальчик упустил такую возможность. А вот и он! Это его шаги. Пойдем к нему.

Кэлеб уже снял шляпу и сидел за письменным

столом.

— А! Фред, мой мальчик! — воскликнул он с легким удивлением, держа в руке перо, которое еще не успел обмакнуть в чернила. — Что-то ты раненько пожаловал! — Но заметив, что лицо Фреда против обыкновения осталось сумрачным, он поспешил спросить: — Что-нибудь дома? Какие-то неприятности?

— Да, мистер Гарт. Я приехал сообщить вам кое-что, и боюсь, вы теперь будете обо мне самого дурного мнения. Я приехал сказать вам и миссис Гарт, что не сумею сдержать слова. Мне так и не удалось собрать деньги для уплаты по векселю. Мне очень не повезло. Вместо ста шестидесяти фунтов у меня есть только вот эти пятьдесят.

С этими словами Фред вынул банкноты и положил их на стол перед мистером Гартом. Он выпалил свою грустную новость без предисловий, в мальчишеском отчаянии не находя нужных слов. Миссис Гарт с немым недоумением смотрела на мужа. Кэлеб покраснел и после недолгого молчания объяснил:

— Я же так и не сказал тебе, Сьюзен. Я поставил свое поручительство на векселе Фреда. На сто шестьдесят фунтов. Фред был уверен, что сумеет заплатить сам.

Миссис Гарт переменилась в лице, но перемена эта словно произошла глубоко под водой, поверхность которой осталась спокойной. Устремив взгляд на Фреда, она сказала:

— Я полагаю, ты попросил у отца недостающую сумму и он отказал.

— Нет, — ответил Фред, кусая губы и запинаясь. — Но я знаю, что просить его бесполезно, а говорить про поручительство мистера Гарта, раз от этого не будет никакого толка, мне не хотелось.

— Очень неудачное сейчас время, — с обычной своей мягкостью сказал Кэлеб, глядя на банкноты и нервно по ним постукивая. — Скоро Рождество, и я сейчас довольно-таки стеснен в деньгах. Мне приходится выкраивать и урезать, точно портному — из куска-недомерка. Что мы можем сделать, Сьюзен? Придется взять из банка все деньги до последнего фартинга. Нужно ведь сто десять фунтов, чтоб им пусто было!

— Я отдам тебе те девяносто два фунта, которые отложила для Альфреда, — сказала миссис Гарт спокойно и твердо, хотя чуткое ухо уловило бы легкую дрожь в некоторых словах. — И конечно, Мэри уже скопила из своего жалованья фунтов двадцать. Она их тебе одолжит.

Миссис Гарт больше не смотрела на Фреда и вовсе не старалась уязвить его побольнее. Эта чудачка сосредоточенно искала выход из положения и не считала, что упреки и взрывы негодования могут облегчить ей поиски. Тем не менее Фред впервые ощутил угрызения совести. Как ни странно, до сих пор его мучила главным образом мысль, что он может показаться Гартам бесчестным и упасть в их мнении, о тех же неудобствах, а может быть, и тяжелом ущербе, который причинило им его легкомыслие, он както не думал: подобная способность ставить себя на место других людей редко бывает свойственна молодым джентльменам, полным радужных надежд. Собственно говоря, мы — почти все мы — воспитаны в представлениях, которые никак не связывают высшую причину, воспрещающую творить зло, с теми, кто будет страдать от этого зла. И тут Фред вдруг увидел себя в роли мелкого негодяя, который отнимает у двух женщин их сбережения.

— Я непременно все верну, миссис Гарт, — пробормотал он. — Со временем.

— Да, со временем, — повторила миссис Гарт, которая терпеть не могла красивых слов в скверных делах и теперь не удержалась от шпильки. —

Но только мальчикам надо поступать в обучение не со временем, а когда им пятнадцать лет. — Впервые в жизни у нее не возникло никакого желания подыскивать извинения для Фреда.

— Виноват больше я, Сьюзен, — сказал Кэлеб. — Фред был убежден, что найдет деньги. Но мне-то не следовало ставить свою подпись на векселях. Ты, конечно, сделал, что мог, и использовал все честные средства? — добавил он, обратив на Фреда взгляд добрых серых глаз. Деликатность помешала ему прямо назвать мистера Фезерстоуна.

— Да. Я испробовал все средства, правда все. У меня набралось бы сто тридцать фунтов, если бы не случилось беды с лошадью, которую я собирался продать. Дядя подарил мне восемьдесят фунтов, и я обменял свою прежнюю лошадь с приплатой в тридцать фунтов на другую, чтобы продать ее за восемьдесят фунтов, а то и больше… Я решил обходиться без лошади… Но она оказалась с норовом и повредила себе ногу. Уж лучше бы мне вместе с этими лошадьми провалиться в преисподнюю, лишь бы не ставить вас в такое положение. Я никого так не люблю, как вас: вы и миссис Гарт всегда обходились со мной как с родным. Да что толку говорить об этом: теперь вы будете считать меня негодяем.

Фред повернулся и выбежал из комнаты, чувствуя, что ведет себя совсем не по-мужски, и смутно сознавая, каким малым утешением служит его раскаяние для Гартов. Они увидели в окно, как он вскочил на лошадь и рысью выехал из ворот.

— Я обманулась во Фреде Винси, — сказала миссис Гарт. — Я бы никогда не поверила, что он способен навязать тебе свои долговые обязательства. Я знала, что он склонен к мотовству, но никак не предполагала, что у него хватит низости подвергнуть риску своего старого друга, и к тому же стесненного в средствах.

— Я поступил как дурак, Сьюзен.

— Что верно, то верно, — кивнула его жена и улыбнулась. — Но ведь я не стала бы разглашать этого на всех перекрестках. Почему ты мне ничего не сказал? Ну прямо как с пуговицами: теряешь их, помалкиваешь и выходишь из дома с незастегнутыми манжетами. Если бы я знала заранее, то могла бы что-нибудь придумать.

— Для тебя это большой удар, Сьюзен, я знаю, — сказал Кэлеб, виновато глядя на нее. — Мне невыносимо думать, что ты потеряешь деньги, которые с таким трудом скопила для Альфреда.

— Ну, хорошо хоть, что я их скопила, а страдать

придется тебе: ведь теперь ты сам должен будешь учить мальчика. И должен будешь оставить свои дурные привычки. Одних людей тянет к спиртным напиткам, а тебя тянет работать бесплатно. Так теперь, пожалуйста, поменьше доставляй себе это удовольствие. И еще ты должен съездить к Мэри и попросить у девочки все ее деньги.

Кэлеб отодвинул стул от стола, наклонился вперед и, медленно покачивая головой, аккуратно сложил кончики пальцев.

— Бедная Мэри! — сказал он и продолжал, понизив голос: — Боюсь, Сьюзен, что она неравнодушна к Фреду.

— Ах, нет! Она всегда над ним посмеивается, да и он, конечно, смотрит на нее как на сестру.

Кэлеб не стал возражать, а спустил очки на нос, придвинул стул к столу и воскликнул:

— Провалился бы он, этот вексель! Чтоб его корова забодала! До чего же такие вещи мешают заниматься делом!

Первая половина этой речи включала весь его запас бранных выражений и была произнесена грозным тоном, вообразить который не составит труда. Но те, кто никогда не слышал, как Кэлеб произносил слово «дело», вряд ли смогут представить себе то трепетное, почти религиозное

благоговение, какое он в него вкладывал, точно укутывая священную реликвию парчовым покрывалом.

Кэлеб Гарт нередко покачивал головой, размышляя о значении и мощи мириадоголового, мириадорукого исполина-труда, который один только кормит, одевает и обеспечивает кровом все общество. Образ этот завладел его воображением еще с детства. Громовые удары гигантского молота там, где шло изготовление кровельного железа или балки для киля, команды, выкрикиваемые рабочими, рев плавильной печи, грохот и лязг машин были для него прекрасной музыкой. Могучие деревья, падающие под топором, огромная звезда комля, исчезающая вдали на подводе, лебедка, работающая на пристани, горы товаров на складах, точность и разнообразие мускульных усилий там, где требуется тонкая работа, — все это в юности воздействовало на него, как поэзия без посредничества поэтов, и создало для него философию без посредничества философов, религию без посредничества теологов. Первым его честолюбивым желанием было — принять самое деятельное участие в этом благороднейшем труде, который он обозначил благородным наименованием «дело», и хотя

подручным землемера он пробыл самое короткое время и учился главным образом у себя самого, о земле, строительстве и рудниках он знал куда больше многих из тех, кто слыл в графстве опытными знатоками.

Его классификация человеческих занятий была довольно грубой и, подобно системам других, более знаменитых людей, оказалась бы неприемлемой в нынешнее просвещенное время. Он делил их на «дело, политику, проповеди, ученые занятия и развлечения». Против последних четырех категорий он ничего не имел, но относился к ним, как благочестивый язычник — к чужим богам. Точно так же он уважал все сословия, но сам не хотел бы принадлежать к тем из них, которые не входят в тесное соприкосновение с «делом» и не могут похвастать почетными знаками в виде следов пыли или извести, машинного масла или свежей земли полей и лесов. Хотя он считал себя добрым христианином и охотно вступил бы в спор о действии благодати, если бы кто-нибудь заговорил с ним на эту тему, на самом деле божественными добродетелями для него, по-моему, были хорошие практичные планы, добросовестная работа и скрупулезное исполнение всех обязательств, роль же князя тьмы отводилась

небрежному лентяю. Но дух отрицания был чужд Кэлебу, и мир представлялся ему таким чудом, что он готов был принять любое число систем, как и любое число небес, лишь бы системы эти не препятствовали наилучшему осушению болот, возведению добротных зданий, правильности измерений и верному определению места для закладки новых угольных шахт. Короче говоря, в нем сочетались способность благоговеть и большой практический ум. Однако во всем, что касалось финансов, Кэлеб оставался профаном: в цифрах он разбирался прекрасно, но не обладал той остротой воображения, которая позволяет представить конечные результаты в денежном исчислении — в виде прибылей и убытков. Убедившись в этом на горьком опыте, он решил отказаться от всех форм возлюбленного своего «дела», требующих этого таланта, и посвятил себя той работе, которая не требовала управления капиталом. Он был одним из тех бесценных людей, чьими услугами все наперебой спешат воспользоваться: он выполнял работу хорошо, брал за нее мало, а частенько и совсем ничего не брал. Неудивительно, что Гарты были бедны и «жили мизерно». Однако их это не огорчало.

## Глава XXV

*Любовь не занята собой,*
*Не ищет лишь себе отрад,*
*Но рада радости чужой*
*И в рай преображает ад.*
** * **
*Любовь полна одной собой,*
*Лелеет радость лишь свою,*
*Гордится мукою чужой*
*И сотворяет ад в раю.*
***Уильям Блейк[100], «Песни опыта»***

Фред Винси постарался приехать в Стоун-Корт в такой час, когда Мэри никак не могла его ожидать, а мистер Фезерстоун был у себя в спальне — тогда она обычно сидела одна в гостиной. Он оставил лошадь на заднем дворе, чтобы стук копыт по дорожке перед домом не возвестил о его приезде, и вошел в гостиную, предупредив о своем появлении только скрипом двери. Мэри в своем привычном углу смеялась, читая воспоминания миссис Пьоцци о докторе Джонсоне, и обернулась с веселой улыбкой на лице. Улыбка

---

**[100] Примечания: 100**
Блейк Уильям (1757 — 1827) — английский поэт, ранний романтик.

эта мало-помалу угасла, потому что Фред молча подошел к ней и оперся локтем о каминную полку с самым расстроенным видом. Однако она ни о чем не спросила и только вопросительно смотрела на него.

— Мэри, — начал он. — Я никчемный шалопай и негодяй.

— По-моему, на один раз достаточно и одного из этих определений, — заметила Мэри, силясь улыбнуться, чтобы скрыть тревогу.

— Я знаю, что навсегда теряю ваше доброе мнение. Вы будете считать меня лгуном. Бесчестным человеком. Вы решите, что и вы, и ваши отец и мать ничего для меня не значите. Вы же всегда ищете во мне самое дурное, я знаю.

— Вполне возможно, Фред, что я и буду считать вас таким, если вы дадите мне для этого достаточные основания. Но, пожалуйста, объясните, что вы натворили. Знать худшее все-таки легче, чем воображать его.

— Я задолжал… сто шестьдесят фунтов. И попросил вашего отца поручиться за меня. Я думал, это не причинит ему никаких хлопот, потому что я достану все деньги сам. И я старался. Только мне очень не повезло… я просчитался с лошадью… И у меня набралось всего пятьдесят фунтов. У отца

я денег просить не могу, он мне ничего не даст. А дядя недавно подарил мне сто фунтов. Так что же я могу сделать? А у вашего отца нет свободных денег, и ваша матушка должна будет отдать девяносто два фунта, которые она скопила, и она говорит, что ваши сбережения тоже… Вот видите, какой я…

— Бедная мама, бедный отец! — воскликнула Мэри. Ее глаза наполнились слезами, к горлу подступили рыдания. Стараясь их подавить, она смотрела прямо перед собой и думала о том, какие последствия это будет иметь для ее близких. Она словно забыла про Фреда, и он тоже молчал, чувствуя себя еще хуже, чем раньше.

— Мэри, я ни за что на свете не хотел бы причинить вам горе, — сказал он наконец. — Вы меня никогда не простите.

— Какое значение имеет, прощу я вас или нет! — возмущенно воскликнула Мэри. — Разве от этого маме легче будет потерять деньги, которые она четыре года зарабатывала уроками, чтобы отдать Альфреда в обучение к мистеру Хэнмеру? И вам все это станет нипочем, если я вас прощу?

— Говорите что хотите, Мэри. Я заслужил любые упреки.

— Я ничего говорить не хочу, — сказала Мэри уже спокойнее. — Что пользы сердиться!

Она вытерла глаза, отложила книгу и встала, чтобы взять шитье.

Фред следил за каждым движением девушки, надеясь перехватить ее взгляд, чтобы еще раз выразить свое раскаяние. Однако Мэри упорно не поднимала глаз.

— Мне очень тяжело, что ваша матушка лишается своих сбережений, — сказал он, когда Мэри снова села и принялась быстро шить. — Но, Мэри… может быть, мистер Фезерстоун… если вы ему скажете… то есть о том, чтобы отдать Альфреда в обучение… Может быть, он даст на это деньги?

— У нас в семье не любят клянчить, Фред. Мы предпочитаем зарабатывать деньги своим трудом. К тому же, по вашим словам, мистер Фезерстоун недавно подарил вам сто фунтов. Он редко делает подарки, а нам никогда ничего не дарил. И даже если бы я попросила его, это было бы бесполезно.

— Мне так горько, Мэри! Знай вы, как мне горько, вы бы пожалели меня.

— Ну, для жалости можно найти и другое применение. Впрочем, эгоисты всегда считают, что

их неприятности важнее всего на свете. Я в этом каждый день убеждаюсь.

— Все-таки несправедливо называть меня эгоистом. Если бы вы знали, что позволяют себе другие молодые люди, вы бы сказали, что я еще не так плох.

— Я знаю одно: только эгоисты способны тратить на себя большие деньги, не зная, как они будут расплачиваться с долгами. Они думают о том, какую выгоду могут получить сами, а не о том, что могут потерять другие.

— С любым человеком, Мэри, может случиться несчастье, и он не сумеет расплатиться, хотя и собирался. В мире нет человека лучше вашего отца, и все-таки он попал в беду.

— Как вы смеете сравнивать себя с моим отцом, Фред! — негодующе вскричала Мэри. — Он попал в беду не потому, что думал только о собственных пустых развлечениях, а потому, что его заботила работа, которую он делал для других. С ним случилось несчастье, и он трудился, не жалея себя, чтобы возместить всем их потери.

— А я, Мэри, по-вашему, даже не постараюсь ничего возместить? Неблагородно думать о человеке самое плохое. И если у вас есть над ним власть, так, по-моему, надо постараться сделать

его лучше. А вы и попробовать не хотите. Ну что же, я ухожу, — закончил Фред томным голосом. — Больше я вам никогда докучать разговорами не буду. Я очень сожалею о неприятностях, которые причинил, — вот и все.

Мэри выронила шитье и посмотрела на него. Порой даже в девичьей любви таится что-то материнское, а нелегкий жизненный опыт одарил Мэри чуткостью, далекой от той пустой бездушности, которую мы называем девичьим кокетством. При последних словах Фреда у нее сжалось сердце, как сжимается оно у матери, когда ей чудится плач расшалившегося непослушного ребенка, — а вдруг он заблудился или с ним что-то случилось? Когда же она подняла глаза и увидела унылое отчаяние на его лице, жалость к нему взяла верх над гневом и тревогой.

— Ах, Фред, вам плохо! Сядьте же. Не уходите. Я скажу дяде, что вы тут. Он все удивлялся, куда вы пропали, — он вас целую неделю не видел. — Мэри говорила торопливо, не выбирая слов и не думая о их смысле, но тон у нее был ласковый и просительный, и она привстала, точно собираясь пойти к мистеру Фезерстоуну. Разумеется, Фреду показалось, будто из черных туч выглянуло солнце. Он отошел от камина и встал перед ней.

— Скажите мне только слово, Мэри, и я все сделаю. Скажите, что вы не думаете обо мне так уж плохо, что не откажетесь от меня совсем.

— Как будто мне хочется думать о вас плохо, — печально сказала Мэри. — Как будто мне не больно, что вы становитесь праздным бездельником. Неужели вам не стыдно быть таким никчемным, когда другие люди трудятся, стремятся к чему-то, когда вокруг столько дела? Неужели вам не стыдно, что вы ни на что полезное не годитесь? А ведь в вас немало хорошего, Фред! Вы могли бы стать достойным человеком.

— Я постараюсь стать таким, как вы хотите, Мэри, только скажите, что вы меня любите.

— У меня язык не повернется сказать, что я люблю человека, который всегда от кого-то зависит и рассчитывает только на то, что для него соблаговолят сделать другие. Чем вы станете к сорока годам? Наверное, вторым мистером Боуером — таким же бездельником, обитающим в парадной гостиной миссис Век. Станете толстым, дряблым и будете жить надеждой, что кто-нибудь пригласит вас к обеду, а по утрам разучивать комические куплеты… Ах нет! Упражняться в игре на флейте.

Едва Мэри задала вопрос о будущем Фреда, как

ее губы начали складываться в улыбку (юные души отходчивы), и прежде чем она кончила, ее лицо уже сияло веселой насмешкой. Увидев, что Мэри над ним смеется, Фред почувствовал себя так, словно его отпустила ноющая боль, и с робкой улыбкой попытался взять ее за руку, но она ускользнула к двери со словами:

— Я предупрежу дядю. Вы должны подняться к нему хоть ненадолго.

Фред втайне не сомневался, что ему не грозит исполнение саркастических пророчеств Мэри, даже если отбросить то «все», что он готов был совершить по первому ее требованию. В присутствии Мэри он не осмеливался хотя бы обиняком коснуться своих надежд на наследство мистера Фезерстоуна, а она всегда разговаривала с ним так, словно этих надежд вовсе не существует и он должен полагаться только на самого себя. Но если он все-таки получит это наследство, ей придется признать, что его положение изменилось. Вяло обдумывая все это, он поднялся в спальню мистера Фезерстоуна. Там он пробыл недолго и скоро уехал, сославшись на легкий озноб. Мэри больше не показалась, но по дороге домой он чувствовал себя не столько несчастным, сколько больным.

Когда под вечер в Стоун-Корт явился Кэлеб Гарт,

Мэри не удивилась, хотя обычно у него не хватало времени навещать ее, а к тому же он очень не любил разговаривать с мистером Фезерстоуном. Старик со своей стороны чувствовал себя неловко с шурином, которого ничем не мог допечь, — Кэлеб был равнодушен к своей бедности, ничего у него не просил, а в сельском хозяйстве и горном деле разбирался много лучше, чем он. Однако Мэри знала, что родителям необходимо повидаться с ней, и если бы отец не приехал, она утром отпросилась бы домой часа на два. Обсудив за чаем цены с мистером Фезерстоуном, Кэлеб встал, попрощался с ним и сказал:

— Мне надо поговорить с тобой, Мэри.

Она прошла со свечой в другую гостиную, где камин не топился, и, поставив еле теплящийся огонек на темный стол красного дерева, обернулась к отцу, обняла его и осыпала нежными детскими поцелуями. Морщины на лбу Кэлеба разошлись, и его лицо просветлело — он был похож на большого красивого пса, который радуется, когда его приласкают. Мэри была его любимицей, и, что бы там ни говорила Сьюзен (хотя обычно она бывает права), нет ничего удивительного, если Фред — да и кто угодно другой — считает Мэри лучшей из девушек.

— Мне надо кое-что сказать тебе, милочка, — начал Кэлеб с обычной нерешительностью. — Новость не из приятных, хотя могла бы быть и хуже.

— О деньгах, папа? По-моему, я уже знаю.

— А? Как же так? Видишь ли, я опять сделал глупость — поставил свою подпись на векселе, а теперь подходит срок платежа. Твоя мать отдает все свои сбережения — вот это-то хуже всего, — но их не хватает. Нам нужно сто десять фунтов. У твоей матери всего девяносто два фунта, а у меня в банке ничего нет, но она думает, ты что-то отложила.

— Да-да. У меня есть двадцать четыре фунта с мелочью. Я ждала, что ты приедешь, папа, и положила их в ридикюль. Вот погляди — красивые чистенькие банкноты и золотые монеты.

С этими словами Мэри вынула приготовленные деньги и вложила их в руку отца.

— Да, но как же… Нет, нам нужно только восемнадцать фунтов — остальное возьми обратно, деточка. Но как же ты узнала? — спросил Кэлеб, который в непобедимом своем равнодушии к деньгам беспокоился главным образом о том, как случившееся может подействовать на Мэри.

— Фред рассказал мне еще утром.

— А! Он для этого и приезжал?

— Да, пожалуй. Он очень расстроен.

— Боюсь, Фреду нельзя доверять, Мэри, — сказал Кэлеб нерешительно и нежно. — Намерения у него, конечно, лучше поступков. Но тех, чье счастье зависело бы от него, я бы мог только пожалеть. И твоя мать думает так же.

— И я тоже, папа, — не поднимая глаз, сказала Мэри и прижалась к отцовской руке.

— Я ни о чем тебя не спрашиваю, милочка. Но я опасался, что вы с Фредом неравнодушны друг к другу, и хотел тебя предостеречь. Видишь ли, Мэри… — Голос Кэлеба стал еще нежнее, и некоторое время он передвигал свою шляпу по столу, не спуская с нее глаз, а потом поглядел на дочь. — Видишь ли, женщина, пусть даже самая лучшая, вынуждена принимать ту жизнь, которую создает для нее муж. Твоей матери пришлось из-за меня смиряться с очень многим…

Мэри прижала его руку к губам и улыбнулась ему.

— Правда, совершенных людей не бывает, однако… — тут мистер Гарт покачал головой, ощущая бессилие слов, — я думаю вот о чем: что должна переносить жена, если она не уверена в своем муже, если он лишен принципов и боится только

неприятностей для себя, а не того, что он причинит зло другим. Вот так-то, Мэри. Молодые люди могут полюбить друг друга прежде, чем узнают, какова жизнь. И конечно, им кажется, что все будет прекрасно, только бы они всегда были вместе, но праздник скоро сменяется буднями, деточка. Впрочем, ты куда разумнее большинства и тебя не держали в вате — наверное, мне незачем было говорить все это, но ведь отец всегда боится за свою дочь, а ты тут совсем одна.

— Не тревожься за меня, папа, — сказала Мэри, глядя отцу прямо в глаза. — Фред всегда был очень мил со мной. Сердце у него доброе и привязчивое, и, по-моему, он честен, хотя и привык думать только о своих удовольствиях. Но я никогда не дам согласия человеку, который не добивается независимости, а предпочитает бездельничать в надежде, что его обеспечат другие. Ведь вы с мамой научили меня гордости.

— Вот и хорошо… вот и хорошо. Теперь я спокоен, — сказал мистер Гарт, надевая шляпу. — Но так тяжело забирать весь твой заработок, детка.

— Папа! — с упреком воскликнула Мэри. — И отвези вместе с ним домой полные пригоршни любви, — добавила она, когда он закрывал за собой наружную дверь.

— Небось папенька забрал весь твой заработок, — заметил мистер Фезерстоун с обычной злоехидной догадливостью, когда Мэри вернулась к нему. — Сам-то он свести концы с концами не может. Ты же совершеннолетняя, так копила бы для себя.

— Я считаю моих родителей лучшей своей частью, сэр, — холодно ответила Мэри.

Мистер Фезерстоун что-то проворчал себе под нос — он не мог отрицать, что такой простушке, может быть, и следует помогать семье, а потому прибегнул к другому безошибочному средству, чтобы ее уязвить:

— Если Фред Винси приедет завтра, так не задерживай его своей болтовней, пусть сразу ко мне поднимается.

## Глава XXVI

*Он бьет меня, а я над ним смеюсь. Прекраснейшее утешение! Куда лучше наоборот: чтоб я его бил, а он надо мной смеялся.*

***Шекспир, «Троил и Крессида»*[101]**

Однако на следующий день Фред не приехал в Стоун-Корт, и по самой веской причине. Из Хаундсли с его миазматическими улицами, по которым он ходил, покупая Алмаза, он вернулся не только с лошадью, обманувшей его надежды, но и с какой-то болезнью — первые два дня ему только слегка нездоровилось да побаливала голова, но, возвратившись из Стоун-Корта, он почувствовал себя так плохо, что бросился на диван и в ответ на испуганный вопрос матери пробормотал:

— Я совсем разболелся. Пошлите за Ренчем.

Ренч явился, но ничего серьезного не обнаружил, сказал что-то о «легком расстройстве» и даже не обещал заглянуть завтра. Он весьма дорожил Винси как пациентами, но и самые осторожные люди подпадают под власть убаю-

---

**[101] Примечания: 101**
«Троил и Крессида» — пьеса Шекспира.

кивающей рутины, а в тяжелые утра к тому же выполняют свои обязанности без должного рвения. Мистер Ренч был невысоким, чистеньким, желчным человеком в аккуратно причесанном парике. Капризные больные, кислый нрав, страдающая малокровием жена и семеро детей — все это не располагало к неторопливой обстоятельности, в это же утро он вообще запаздывал, а ему еще предстояло отправиться за четыре мили в дальний конец Типтона на консилиум с доктором Минчином (кончина Хикса, деревенского лекаря, расширила практику его мидлмарчских коллег в этом приходе). Ошибаются и великие государственные мужи, так почему же не может ошибиться безвестный врач? Мистер Ренч не забыл прислать обычные белые коробочки, содержимое которых на этот раз было черным и весьма действенным. Бедный Фред не почувствовал себя лучше, тем не менее он не желал верить, что «заболел всерьез», и, встав в обычный поздний час, спустился в столовую позавтракать. Однако сил у него хватило только на то, чтобы сесть у камина, дрожа от озноба. Вновь послали за мистером Ренчем, но он объезжал загородных пациентов, и миссис Винси, перепуганная переменой в своем любимце и его слабостью, расплакалась, а потом

сказала, что пошлет за доктором Спрэгом.

— Вздор, маменька! Все это пустяки, — сказал Фред, протягивая ей сухую горячую руку. — Я скоро поправлюсь. Наверное, схватил простуду, когда ездил под дождем в Хаундсли.

— Мама! — воскликнула Розамонда, сидевшая у окна. (Окна столовой выходили на весьма фешенебельную улицу, носившую название Лоуик-Гейт.) — Вон мистер Лидгейт. Он с кем-то разговаривает. На вашем месте я попросила бы его зайти к нам. Он вылечил Эллен Булстрод. Говорят, он вылечивает всех, кого берется лечить.

Миссис Винси бросилась к окну и распахнула его, думая только о Фреде и совершенно не заботясь об этике медицинской профессии. Лидгейт стоял по ту сторону чугунной решетки, всего в двух ярдах от окна, и обернулся на стук рамы прежде, чем миссис Винси успела его окликнуть. Через две минуты он был уже в столовой, и Розамонда покинула ее, помедлив ровно столько, сколько требовалось, чтобы показать, что трогательная тревога за брата заставила ее на минуту забыть о приличиях.

Лидгейт должен был выслушать рассказ миссис Винси, которая с безошибочным инстинктом перечислила все маловажные подробности и

особенно долго задержалась на том, что мистер Ренч сказал — и не сказал — относительно следующего своего визита. Лидгейт сразу понял, что у него могут выйти немалые неприятности с Ренчем, но положение было слишком серьезно, чтобы считаться с этим: он не сомневался, что у Фреда начинается тифозная горячка и что он принимал совершенно не те лекарства. Его следует немедленно уложить в постель и пригласить для ухода опытную сиделку, а кроме того, необходимо принять такие-то и такие-то меры предосторожности (на них Лидгейт особенно настаивал). Эти зловещие указания на опасность ввергли бедную миссис Винси в ужас, излившийся бессвязным потоком слов. Некрасиво мистеру Ренчу так с ними поступать, ведь он лечил их много лет и они не приглашали мистера Пикока, хотя он тоже был их добрым знакомым. И она не понимает, почему мистер Ренч так невнимателен к ее детям, не то что к другим. Вот когда дети миссис Ларчер болели корью, он их каждый день навещал, и она, миссис Винси, этому, конечно, только рада. И если что-нибудь случится…

Тут бедная миссис Винси совсем утратила власть над собой, ее добродушное лицо и красивая шея содрогались от рыданий. Все это

происходило в передней, там, где Фред не мог их слышать, но Розамонда приоткрыла дверь гостиной и теперь в тревоге вышла к матери. Лидгейт постарался оправдать мистера Ренча: во время его визита симптомы еще могли быть неясными, так как горячка вначале ведет себя очень по-разному. Он сейчас же сам зайдет в аптеку, чтобы лекарство было приготовлено без лишних задержек, а затем напишет мистеру Ренчу и сообщит, что было сделано.

— Но вы должны прийти еще раз… вы должны и дальше лечить Фреда. Не могу же я поручить моего сына людям, которые то ли придут, то ли нет. Я, благодарение богу, ни к кому дурных чувств не питаю, и мистер Ренч вылечил меня от воспаления легких, но лучше бы он дал мне умереть, если… если…

— В таком случае я встречусь с мистером Ренчем здесь, хорошо? — спросил Лидгейт, искренне считая, что Ренч не настолько сведущ, чтобы выбрать наилучшее лечение.

— Да, будьте добры, мистер Лидгейт, — сказала Розамонда, беря мать за руку, чтобы увести.

Когда мистер Винси вернулся домой, он вне себя от бешенства заявил, что будет только рад, если Ренч больше носа к ним не сунет, — лечить

Фреда будет Лидгейт, нравится это Ренчу или нет. Тиф в доме — это не шутка. Надо предупредить всех приглашенных на четверг к обеду, чтобы они не приходили. И пусть Притчард не подает вина: от заразы нет средства лучше коньяка.

— Я буду пить коньяк, — объявил мистер Винси тоном, который показывал, что это не тот случай, когда можно стрелять холостыми патронами. — А с Фредом всегда что-нибудь случается. Надо полагать, теперь ему будет везти больше, а то что за радость иметь старшего сына.

— Не говори так, Винси, если не хочешь, чтобы я его потеряла, — сказала его жена дрожащим голосом.

— Ты совсем изведешься, Люси, это-то я вижу, — ответил мистер Винси более мягко. — Но Ренчу я все выложу. (Он почти уверил себя, что горячка могла бы и не начаться, будь мистер Ренч повнимательнее к его — мэра! — семье.) Я не из тех, кто расхваливает новых докторов или новых попов, будь они хоть сто раз булстродовскими. Но Ренчу я все выложу, как бы он это ни принял.

Мистер Ренч принял это без всякого удовольствия. Лидгейт держался со всей той вежливостью, на какую был способен, но вежливость человека, поставившего вас в неловкое положе-

ние, только подливает масла в огонь, особенно если вы и прежде терпеть его не могли. Провинциальные врачи в те времена отличались раздражительностью и были весьма чувствительны к покушениям на свой профессиональный статус, а мистер Ренч выделялся раздражительностью даже среди них. Он не отказался встретиться вечером с Лидгейтом, но терпение его подверглось тяжким испытаниям. Миссис Винси сказала ему:

— Ах, мистер Ренч, за что вы так со мной поступили? Побывали один раз и больше даже не заглянули. А мой сын мог умереть!

Мистер Винси вел беглый огонь по врагу-заразе, а потому заметно разгорячился и, услышав голос мистера Ренча в передней, поспешил туда, чтобы все ему выложить.

— Послушайте, Ренч, это ведь не шутки, — объявил мэр, уже привыкший делать официальные выговоры, и для внушительности заложил большие пальцы в прорези жилета. — Взять да и позволить горячке пробраться в такой дом, как мой. Есть вещи, которые напрасно считаются неподсудными, вот что я вам скажу.

Однако неосновательные упреки было легче переносить, чем ощущение, что его поучают — а вернее, что молокосос Лидгейт про себя считает,

будто он нуждается в поучениях, а «если правду сказать», как заметил потом мистер Ренч, так Лидгейт щеголяет всякими легковесными иностранными выдумками, от которых толку быть не может никакого. Он сдержал свой гнев, но на следующий день прислал письмо с отказом продолжать лечение. Хоть и жаль было терять такой дом, но как врач мистер Ренч не собирался заискивать ни перед кем. Он полагал, и не без оснований, что рано или поздно Лидгейт тоже допустит промах и его недостойная джентльмена попытка бросить тень на коллег-врачей, торгующих лекарствами, со временем обратится против него же самого. Он отпускал саркастические замечания о шарлатанских штучках, с помощью которых Лидгейт старается создать себе репутацию в глазах легковерных людей. Настоящий врач обходится без того, чтобы ему приписывали чудесные исцеления.

Впрочем, даже Ренч был бы удовлетворен, знай он, как подобные хвалы досаждали самому Лидгейту. Фимиам, воскуряемый невежеством, не только унизителен, но и опасен, и такая слава не более завидна, чем слава деревенского колдуна. Его раздражали возлагавшиеся на него нелепые надежды, только мешавшие настоящей работе, и

излишняя прямота с пациентами действительно могла сильно ему повредить, как и надеялся мистер Ренч.

Но как бы то ни было, Лидгейт стал домашним врачом мэра, и событие это всячески обсуждалось в Мидлмарче. По мнению одних, Винси вели себя совершенно непозволительно — мистер Винси угрожал Ренчу, а миссис Винси обвинила его в том, что он отравил ее сына. Другие утверждали, наоборот, что Лидгейта привело туда само провидение, что он превосходно лечит горячки и что Булстрод выдвигает его по заслугам. Многие не сомневались, что Лидгейт обосновался в Мидлмарче по приглашению Булстрода, а миссис Тафт, которая старательно считала петли, а потому собирала сведения урывками, вбила себе в голову, будто Лидгейт — незаконный сын Булстрода, что еще больше укрепило ее недоверие к мирянам, проповедующим евангелизм. Она не замедлила сообщить эти сведения миссис Фербратер, а та поделилась ими со своим сыном, добавив:

— От Булстрода можно ждать чего угодно, но мистер Лидгейт меня очень огорчил.

— Послушайте, матушка! — воскликнул мистер Фербратер, расхохотавшись. — Вы же отлично знаете, что Лидгейт из старинной нортумбер-

лендской семьи. Он и не слышал про Булстрода, пока не поселился здесь.

— Вот и прекрасно, Кэмден. Я говорю про мистера Лидгейта, — строго сказала старушка. — А что касается Булстрода, это, наверное, правда, только сын у него кто-нибудь другой.

## Глава XXVII

*Пусть Муза воспоет любовь богов,*
*Мы, смертные, о людях петь должны.*

Один из моих друзей, философ, который способен облагородить даже вашу безобразную мебель, озарив ее ясным светом науки, как-то сообщил мне следующий факт — не слишком значительный и в то же время говорящий о многом. Ваша горничная, протирая трюмо или поднос из полированной стали, оставляет на их поверхности множество крохотных царапин, причем совершенно беспорядочных, но стоит поднести к ним свечу, и царапинки словно располагаются правильными концентрическими кругами с этим миниатюрным солнцем в центре. Разумеется, на самом деле царапины разбросаны на зеркале без всякой системы, и приятное впечатление правильных кругов создает свет вашей свечи, порождающей оптическую иллюзию. Все это аллегория. Царапины — события, а свеча — чей-нибудь эгоизм, например, эгоизм мисс Винси. У Розамонды имелось собственное провидение, которое любезно создало ее более очаровательно-

ной, чем другие девушки, а затем устроило так, что Фред заболел и мистер Ренч ошибся, с единственной целью свести ее поближе с мистером Лидгейтом. И подчиниться родителям, которые хотели отослать ее в Стоун-Корт или в какое-нибудь другое безопасное место, значило бы прямо нарушить божественную волю, тем более что мистер Лидгейт считал подобную предосторожность излишней. И хотя мисс Морган на другой же день после того, как болезнь Фреда определилась, была с младшими детьми отправлена на ферму, Розамонда наотрез отказалась оставить отца и маму.

Бедная мама действительно была в самом жалком состоянии, и мистер Винси, обожавший жену, тревожился за нее больше, чем за Фреда. Если бы не его настояния, она не позволяла бы себе отдохнуть ни минуты. Она вся словно угасла, совсем перестала заботиться о своем туалете, всегда таком свежем и нарядном, и походила на больную птицу с тусклыми глазами и взъерошенными перьями. Все, что прежде было ей интересно, теперь оставляло ее равнодушной. Бессвязный бред сына, который, казалось, навсегда уходил от нее, разрывал ей сердце. После первой бури негодования против мистера Рен-

ча она совсем пала духом и лишь иногда тихо взывала к Лидгейту. Выходя следом за ним из комнаты больного, она клала руку ему на локоть и шептала: «Спасите моего мальчика». Как-то она сказала молящим тоном: «Он всегда был со мной таким ласковым, мистер Лидгейт, он ни разу в жизни не сказал мне грубого слова», — как будто болезнь бедняги Фреда была обвинением против него. Самые скрытые струны материнской памяти зазвучали вновь, и молодой человек, чей голос становился мягче, когда он говорил с ней, слился с младенцем, которого она полюбила неведомой ей прежде любовью еще до того, как он родился.

— У нас нет причин отчаиваться, миссис Винси, — отвечал Лидгейт. — Пойдемте со мной вниз, вам надо подкрепиться.

Он уводил ее в гостиную к Розамонде и заставлял выпить приготовленный для нее чай или бульон. Они с Розамондой заранее договаривались, как это устроить. Прежде чем подняться к больному, он обязательно совещался с Розамондой, и она расспрашивала его, как ей лучше помочь маме. Находчивость, с какой она выполняла его советы, была выше всех похвал, и теперь, отправляясь к своему больному, он с удовольствием думал, что увидит Розамонду. Особенно после

того, как кризис миновал и он уже не сомневался, что Фред выздоровеет. В самые тяжелые дни он посоветовал пригласить доктора Спрэга (который из-за Ренча предпочел бы остаться вообще в стороне), но после двух консилиумов лечение было полностью оставлено на усмотрение Лидгейта, и это заставляло его утраивать заботливость. Он навещал Фреда утром и вечером, и мало-помалу все опасности остались позади: Фред теперь был просто очень слаб, и мать могла вволю пестовать его и баловать — порой у миссис Винси даже возникало ощущение, что болезнь стала настоящим праздником для ее нежности.

У отца и матери появилась еще одна причина радоваться: мистер Фезерстоун частенько передавал через мистера Лидгейта, что Фреду следует поскорее выздороветь, — он, Питер Фезерстоун, очень без него скучает. Старик теперь почти не вставал с постели. Миссис Винси рассказывала об этом Фреду, когда он был способен слушать. Он поворачивал к ней исхудалое, изможденное лицо, и его глаза, которые казались особенно большими потому, что густые белокурые волосы были острижены, словно становились еще больше, пока он тщетно ждал, не скажет ли она чего-нибудь о Мэри. Как-то она отнеслась к изве-

стию о его болезни? Спросить он не решался, но «глазами слушать — вот дар любви редчайший», и мать не только разгадала желание Фреда, но и готова была от избытка чувств принести любую жертву, лишь бы его порадовать.

— Если бы мне довелось снова увидеть моего мальчика здоровым, — сказала она, забыв все доводы рассудка, — и... кто знает?.. хозяином Стоун-Корта, он мог бы тогда жениться на ком хочет.

— Нет, маменька, не смогу, если мне откажут, — ответил Фред, и на глаза у него навернулись совсем детские слезы.

— Скушай бульончику, милый, — сказала миссис Винси, ни на секунду не поверив в возможность отказа.

Пока мистера Винси не было дома, она неотлучно сидела у Фреда, и Розамонда оставалась одна гораздо чаще, чем обычно. Лидгейт, разумеется, никогда не проводил с ней более нескольких минут, и тем не менее эти короткие деловые разговоры создавали между ними ту своеобразную близость, которая опирается на застенчивость. Во время разговора они, естественно, должны были смотреть друг на друга, но почему-то к этому нельзя было отнестись просто. Лидгейт,

испытывая неприятное стеснение, в один прекрасный день отвел глаза и стал смотреть вниз и по сторонам, словно разладившаяся марионетка. Но ничего хорошего из этого не вышло: на следующий день Розамонда тоже опустила глаза, а когда их взгляды встретились, неловкость только увеличилась. Наука тут помочь не могла, и так как Лидгейт не думал о флирте, свести все к легкому ухаживанию тоже было нельзя. А потому он почувствовал облегчение, когда друзья дома перестали опасаться заразы и встречаться с Розамондой наедине ему уже больше почти не приходилось.

Но близость взаимного смущения, когда оба чувствуют, что небезразличны друг другу, однажды возникнув, не исчезает бесследно. Разговоры о погоде и на другие светские темы кажутся пустым притворством, и неловкость не проходит, если только не признать в ней откровенно взаимное увлечение — которое, конечно, вовсе не обязательно должно быть глубоким или серьезным. Именно так Розамонда и Лидгейт в конце концов избавились от смущения и вновь почувствовали себя легко друг с другом. Опять приходили и уходили визитеры, опять в гостиной звучала музыка и гостеприимство мидлмарчского мэра обрело

прежнюю широту. Лидгейт при каждом удобном случае садился возле Розамонды, медлил, чтобы послушать ее игру, называл себя ее пленником, хотя вовсе не собирался попадать к ней в плен. Что за нелепость! Как будто он может сейчас обеспечить семью! Но притворяться перед собой, будто ты немножко влюблен, очень приятно, и это нисколько не мешает серьезным занятиям. В конце концов легкий флирт еще никого ни к чему не обязывал. А Розамонда еще никогда так не наслаждалась жизнью: она покорила того, кого стоило покорить, а отличить флирт от любви, касалось ли это ее или других, она не была способна. Казалось, попутный ветер несет ее туда, куда ей хочется плыть, и мысли ее постоянно занимал прекрасный дом на Лоуик-Гейт, который, по ее расчетам, должен был вскоре освободиться. А выйдя замуж, она сумеет тактично избавиться от визитов тех знакомых отца, которых не одобряет. И перед ее мысленным взором вставала гостиная ее будущего дома, обставленная то в одном стиле, то в другом.

Разумеется, мысли ее были заняты и самим Лидгейтом. Он казался ей почти совершенством. Будь он музыкален, чтобы ее игра чаровала его не совсем как дрессированного слона, и умей он

подмечать, с каким вкусом она одевается, в нем нельзя было бы найти ни единого недостатка. Насколько он не похож на молодого Плимдейла и на мистера Кейса Ларчера! Эти молодые люди ни слова не знали по-французски и не были ни о чем осведомлены, кроме разве красильного дела и извоза, но об этом они, разумеется, в обществе говорить стеснялись. Они принадлежали к мидлмарчской аристократии, щеголяли атласными галстуками и хлыстиками с серебряными рукоятками, но понятия не имели о светских манерах и были то робки, то неуклюже шутливы. Даже Фред затмевал их своим университетским лоском. Лидгейт же всегда заставлял слушать себя, держался с непринужденной любезностью человека, уверенного в своем превосходстве, и одевался безупречно, словно благодаря природному таланту, нисколько об этом не заботясь. Едва он переступал порог, Розамонду охватывало горделивое чувство, а когда он приближался к ней с улыбкой, полной достоинства, она радостно ощущала, что служит предметом завидного поклонения. Знай Лидгейт, какой гордостью преисполняется из-за него эта изящная грудь, он, вероятно, был бы доволен, как всякий другой человек, даже круглый невежда во всем, что ка-

сается человеческой патологии или мышечной ткани. Очаровательнейшее свойство женского ума он видел в способности преклоняться перед интеллектуальным превосходством мужчины, даже толком не понимая, в чем это превосходство состоит.

Однако Розамонда не принадлежала к тем беззащитным девушкам, которые нечаянно выдают себя на каждом шагу и руководствуются в своем поведении неуместными порывами, вместо того чтобы тщательно следить за собой в соответствии с требованиями благородных манер и приличия. Неужели вы думаете, что быстрые расчеты и размышления о том, как лучше обставить ее будущий дом и каких гостей в нем принимать, хоть как-то проскальзывали в ее разговорах даже с маменькой? Напротив, услышав, что какая-нибудь другая юная девица была поймана на столь нескромной поспешности, она выразила бы самое очаровательное удивление, а то и сказала бы, что этому невозможно поверить. Ибо Розамонда никогда ни в чем не проявляла неподобающей осведомленности и неизменно оставалась тем безупречным сочетанием надлежащих чувств, умения прелестно музицировать, петь, танцевать, рисовать и писать изящные

записочки, с элегантным заветным альбомом для любимых стихов и идеальной белокурой красотой, которое в ту эпоху делало женщину неотразимой для обреченного мужчины. Но было бы несправедливо думать о ней дурно: она не замышляла никаких низких интриг, в ее мыслях не было ничего пошлого или корыстолюбивого — собственно говоря, она вообще не думала о деньгах, воспринимая их как необходимость, о которой за нее должны заботиться другие. У нее не было причин лгать и если ее слова не всегда отражали действительное положение вещей, так ведь они, как и остальные ее светские таланты, имели совсем иное назначение — быть приятными и чаровать. Природа прибегла к помощи многих искусств, чтобы завершить сотворение любимой воспитанницы миссис Лемон, и, по мнению всех (за исключением Фреда), в ней редчайшим образом соединялись красота, ум и привлекательность.

Лидгейт находил все больше удовольствия в ее обществе, и теперь их взгляды встречались без малейшей неловкости, но дарили восхитительное ощущение взаимной значимости, а в том, что они говорили, для них крылся особый смысл, который ускользает от третьих лиц, — и тем не

менее ни один их разговор, ни одна фраза еще не требовали отсутствия третьих лиц. Иными словами, они флиртовали, и Лидгейт черпал спокойствие в убеждении, что этим все и ограничивается. Если мужчина неспособен сохранять благоразумие любя, то сохранять благоразумие флиртуя он ведь может? По правде говоря, мужчины в Мидлмарче, за исключением мистера Фербратера, были все как на подбор скучны, ни торговая политика, ни карты Лидгейта не интересовали, так какие же развлечения ему оставались? Его часто приглашали Булстроды, но дочки там только-только покинули классную комнату, а наивность, с какой миссис Булстрод примиряла благочестие и суетность, ничтожность жизни сей и дорогой хрусталь, сочувствие к жалким лохмотьям и скатерть из лучшего дамаска, не искупала неизменной тяжеловесной серьезности ее мужа. Дом Винси, несмотря на все его недостатки, был много приятнее, а к тому же в нем обитала Розамонда — ласкающая взор, как полураспустившаяся роза, наделенная всеми талантами, которые украшают досуг мужчины.

Но благодаря успеху у мисс Винси он нажил врагов и вне медицинских кругов. Как-то вечером он вошел в гостиную довольно поздно. За карточ-

ным столом уже составилась партия, а мистер Нед Плимдейл (один из лучших женихов Мидлмарча, хотя и не один из лучших его умов) уединился в углу с Розамондой. Он принес новейший «кипсек», великолепно изданный на шелковой бумаге — последнее достижение прогресса в то время, — и наслаждался возможностью показать его ей тет-а-тет, останавливая ее внимание на дамах и кавалерах с лоснящимися гравированными щеками и гравированными улыбками, рекомендуя юмористические стихи как «отличные» и сентиментальные рассказы как «увлекательные». Розамонда была безупречно любезна, и мистер Нед льстил себя мыслью, что заручился наилучшим плодом искусства и литературы, чтобы «произвести впечатление», — наилучшим средством угодить благовоспитанной девушке. У него, кроме того, имелись основания (более глубокие, нежели бросающиеся в глаза) быть довольным своей внешностью. Правда, на взгляд поверхностного наблюдателя, его подбородок только что не блистал отсутствием и словно растворялся в шее, и мистер Нед даже испытывал из-за него некоторые трудности со своим атласным галстуком, последним криком моды в ту эпоху, для которого подбородки были очень полезны.

— По-моему, высокородная миссис С. немножко похожа на вас, — заявил Нед, томно глядя на портрет обворожительной красавицы.

— У нее такая широкая спина! Наверное, ей нелегко было позировать, — сказала Розамонда без всякой задней мысли, думая о том, что руки у ее собеседника очень красные, и гадая, почему задержался Лидгейт. Все это время она продолжала плести кружева.

— Я ведь не сказал, что она такая же красивая, как вы, — возразил мистер Нед, осмеливаясь перевести взгляд с нарисованной красавицы на ее соперницу.

— Боюсь, вы искусный льстец, — обронила Розамонда, не сомневаясь, что ей придется отказать этому молодому джентльмену во второй раз.

Но тут вошел Лидгейт и направился в их уголок. Кипсек[102] был тотчас закрыт, и когда Лидгейт уверенно и непринужденно сел по другую руку Розамонды, нижняя челюсть мистера Неда поползла вниз, как столбик барометра, предсказывающий непогоду. Розамонду радовало не только появление Лидгейта, но и впечатление, которое оно произвело, — ей нравилось вызы-

**[102] Примечания: 102**

Такое название носили популярные в ту эпоху роскошно изданные альманахи или альбомы гравюр.

вать ревность.

— Вы сегодня поздно! — сказала она после рукопожатия. — Мама уже думала, что вы не придете. Как вы нашли Фреда?

— Как обычно. Он поправляется, хотя и медленно. Ему было бы полезно куда-нибудь уехать — например, в Стоун-Корт. Но ваша матушка почему-то против.

— Бедненький! — вздохнула Розамонда. — Вы просто не узнаете Фреда, — добавила она, повернувшись к другому поклоннику. — Во время его болезни мистер Лидгейт был нашим ангелом-хранителем.

Мистер Нед с кривой улыбкой смотрел, как Лидгейт придвинул к себе кипсек, открыл его, презрительно усмехнулся и вздернул подбородок, словно дивясь человеческой глупости.

— Над чем вы так кощунственно смеетесь? — спросила Розамонда с невинным видом.

— Все-таки что здесь глупее, гравюры или текст? — произнес Лидгейт самым непререкаемым своим тоном, быстро пролистывая альбом, словно ему достаточно было мгновения на страницу, и, как подумала Розамонда, выгодно показывая свои крупные белые руки. — Взгляните на этого жениха, выходящего из церкви, — вы

когда-нибудь видели подобную «сахарную новинку», по выражению елизаветинцев? Какой галантерейщик сравнится с ним самодовольством? Но, конечно, описан он здесь чуть ли не как первый джентльмен страны.

— Вы так строги, что мне делается страшно, — сказала Розамонда, благовоспитанно пряча улыбку. Бедный Нед Плимдейл особенно долго восхищался этой прекрасной гравюрой, и теперь дух его возмутился.

— Для кипсеков пишут многие очень известные люди, — сказал он обиженно и в то же время робко. — В первый раз слышу, чтобы их называли глупыми.

— Пожалуй, мне придется заподозрить, что вы вандал, — заметила Розамонда, с улыбкой поглядывая на Лидгейта. — Я подозреваю, что вы не имеете ни малейшего представления о леди Блессингтон[103] и о Л. Э. Л.[104] (самой Розамонде эти авторы нравились, но она редко связывала себя открытыми восторгами и чутко улавливала по тону Лидгейта, что он считает образцом ис-

---

**[103] Примечания: 103**

*Леди Блессингтон* (1789 — 1849) — автор светских романов.

**[104] Примечания: 104**

*Л. Э. Л.* — Летишия Элизабет Лэндон (1802 — 1838), романистка и поэтесса, пользовавшаяся в те годы большой популярностью.

тинного вкуса, а что нет).

— А сэр Вальтер Скотт? Я полагаю, мистер Лидгейт с ним знаком, — сказал Нед Плимдейл, ободренный такой поддержкой.

— О, я больше не читаю беллетристики, — ответил Лидгейт, захлопывая альбом и отодвигая его в сторону. — Мальчишкой я прочел столько книг, что мне, полагаю, хватит этого до конца моих дней. Когда-то я декламировал стихи Скотта наизусть.

— Хотелось бы мне знать, на чем вы остановились, — сказала Розамонда. — Тогда бы я могла быть уверена, что мне известно хоть что-то, чего вы не знаете.

— Но мистер Лидгейт скажет, что этого и знать не стоит, — ядовито заметил мистер Нед.

— Напротив! — ответил Лидгейт без всякой досады, улыбаясь Розамонде с видом невыносимой уверенности в себе. — Очень стоит, если я услышу это из уст мисс Винси.

Нед Плимдейл вскоре отошел к карточному столику и, следя за вистом, печально думал, что еще не встречал такого самодовольного грубияна, как Лидгейт.

— Как вы неосторожны! — воскликнула Розамонда, в душе очень довольная. — Разве вы не

видите, что обидели его?

— Как! Это книга мистера Плимдейла? Я очень сожалею. Мне и в голову не пришло.

— Пожалуй, я должна признать, что в тот первый визит к нам вы сказали правду — что вы медведь и должны бы учиться у птичек.

— Но ведь есть же птичка, которая может научить меня всему, чему пожелает. Разве я не охотно ее слушаю?

Розамонде казалось, что они с Лидгейтом словно бы уже помолвлены. Она давно лелеяла мысль, что рано или поздно они обручатся, а как мы знаем, мысли и идеи в благоприятных условиях легко оборачиваются явью. Правда, у Лидгейта была своя идея — ни с кем не обручаться, но она была чем-то негативным, тенью других решений, которые и сами незыблемостью не отличались. Обстоятельства могли пойти на пользу только идее Розамонды — ведь эта идея питалась деятельной энергией и взирала на мир внимательными синими глазами, тогда как идея Лидгейта дремала, слепая и бесчувственная, точно медуза, которая тает, сама того не замечая.

В этот вечер, вернувшись домой, Лидгейт внимательно осмотрел свои колбы, проверяя, как идет процесс мацерации, и сделал записи с

обычной точностью. Он увлеченно мечтал — но вовсе не о Розамонде, и его прекрасной незнакомкой по-прежнему оставалась простейшая ткань. Кроме того, его все больше начинала занимать скрытая, но растущая вражда между ним и остальными врачами — Булстрод собирался на днях объявить о том, как будет управляться новая больница, и тогда вражда эта, конечно, вспыхнет ярким пламенем. К тому же, хотя кое-кто из пациентов Пикока не пожелал пользоваться его услугами, судя по некоторым обнадеживающим признакам, это более чем уравновешивалось впечатлением, которое он произвел на разных влиятельных людей. Всего лишь несколько дней спустя, когда он случайно нагнал Розамонду на Лоуикской дороге и спешился, чтобы оберечь ее от проходящего стада, к нему подъехал лакей и передал приглашение в довольно важный дом, где Пикок никогда никого не лечил, — и это было уже второе такое приглашение. Лакей служил у сэра Джеймса Четтема, а дом назывался Лоуик-Мэнор.

## Глава XXVIII

***Первый джентльмен***
*Для возвращения под брачный кров*
*К взаимному восторгу двух сердец*
*Всегда благоприятен час.*
***Второй джентльмен***
*О да!*
*Не знает календарь зловещих дней*
*Для любящих. Им даже смерть сладка,*
*Явись она, как грозный вал морской,*
*Когда они объятия сомкнут,*
*Не мысля жизни врозь.*

Мистер и миссис Кейсобон вернулись в Лоуик-Мэнор из свадебного путешествия в середине января. Когда они подъехали к крыльцу, шел легкий снег, и утром Доротея, пройдя из своей туалетной в зелено-голубой, уже известный нам будуар, взглянула в окно и увидела длинную аллею лип — их стволы на фоне белой земли казались совсем черными, а опушенные снегом ветви тянулись к свинцовому безжизненному небу. Дальняя равнина съежилась в белое однообразие под серым однообразием низко нависших

неподвижных туч. Даже мебель в комнате как будто съежилась с тех пор, как она видела ее в последний раз: олень на гобелене казался призраком в призрачном зелено-голубом мире, а томики изящной словесности в книжном шкафу — имитациями, которые невозможно снять с полки. Сухие дубовые поленья, ярко пылавшие в камине, выглядели неуместным вторжением жизни и тепла — как и сама Доротея, которая вошла, держа в руках красные сафьяновые футляры с камеями для Селии.

После утреннего умывания она вся словно сияла, как может сиять только юность. В уложенных узлом волосах и карих глазах прятался блеск, точно в глубине драгоценных камней, губы таили алый жар жизни, теплая белизна горла выделялась на иной белизне меха, который льнул к ее шее и опушал сероголубую пелерину с нежностью, заимствованной у нее же, и эта одушевленная чистота соперничала в прелести с кристальной чистотой снега снаружи. Доротея положила футляры на столик у окна, но бессознательно продолжала их касаться, поглощенная созерцанием застывшей белизны, которая составляла весь ее видимый мир.

Мистер Кейсобон встал рано, жалуясь на

сердцебиение, и теперь давал в библиотеке аудиенцию своему младшему священнику мистеру Такеру. Вскоре должна была приехать Селия (по праву не только сестры, но и подружки невесты), а все ближайшие недели придется принимать и отдавать свадебные визиты — в соответствии с тем, что считается надлежащим продолжением счастливых брачных торжеств и поддерживает ощущение хлопотливой пустоты, точно во сне, когда спящий сознает себя спящим. Обязанности ее замужней жизни, которые прежде представлялись ей такими величественными, тоже как будто съежились вместе с мебелью и замкнутым в белизне пейзажем за окном. Даже в воображении ей становилось все труднее различать горние высоты, которых прежде она мечтала достичь в единении с душой мужа. Блаженный покой, рожденный верой в его неизмеримое превосходство, нарушился, сменился тревожными усилиями и дурными предчувствиями. Когда же начнутся дни преданного служения, которое облегчит жизнь ее мужа и возвысит ее собственную? Такими, какими они рисовались ей, — пожалуй, никогда. Но хотя бы по-другому, хотя бы как-нибудь. Освященный торжественной клятвой, ее долг примет иную форму, озарится

новым вдохновением, и любовь супруги обретет новый смысл.

А пока — только снег под низкой аркой свинцового неба и гнетущая духота мирка, в котором она заключена, как все женщины ее сословия, в котором за нее делается все, а ее помощь не нужна никому, так что ощущение связи с многообразием жизни остается внутренним видением и причиняет только муку, вместо того чтобы внушаться требованиями извне, давая выход энергии и жажде деятельности. «Чем мне заняться?» — «Чем хочешь, милочка». Этим исчерпывалась ее краткая история с тех пор, как она перестала учить по утрам уроки и упражняться в глупых мелодиях на ненавистном фортепьяно. Брак, который должен был открыть путь к исполнению полезных и достойных обязанностей, не освободил ее от этой гнетущей свободы. Он даже не заполнил ее досуга негаснущей радостью разделенной нежности. Ее цветущая пылкая юность по-прежнему пребывала в нравственном заточении, словно воплощенном в этом холодном, бесцветном, сузившемся пейзаже, в этой съежившейся мебели, в никогда никем не читанных книгах и в призрачном олене из бледной фантасмагории, которая словно исчезала при свете дня.

В эти первые минуты Доротея испытывала только гнетущее уныние. Затем ее мысли обратились к прошлому, и, отвернувшись от окна, она обошла будуар. Мечты и надежды, одушевлявшие ее, когда она впервые увидела эту комнату три месяца назад, теперь стали воспоминанием — она судила о них, как мы судим о мимолетном и исчезнувшем. Пульс всего сущего словно бился медленнее, чем у нее, и ее вера была одиноким воплем, попыткой вырваться из кошмара, в котором каждый предмет словно ссыхался, съеживался, ускользал. Все вещи вокруг, в тот раз одетые очарованием, казались мертвыми, как незажженный транспарант, но затем ее блуждающий взгляд остановился на миниатюрах, и тут наконец она увидела нечто, обретшее теперь для нее новый смысл и интерес: миниатюру тетки мистера Кейсобона, той Джулии, которая неудачно вышла замуж, бабушки Уилла Ладислава. Теперь портрет наполнился жизнью, и она внимательно всматривалась в тонкое женское лицо, в котором, однако, чудилась упрямая воля, необычная, нелегко поддающаяся истолкованию. Только ли близкие считали ее замужество неудачным или она сама убедилась, что совершила ошибку, и узнала соленую горечь слез в

благословенном безмолвии ночи? Насколько расширился опыт Доротеи с тех пор, как она впервые бросила взгляд на эту миниатюру! Она испытывала к женщине на портрете дружеское сочувствие, словно та могла ее слышать, словно та понимала, что она смотрит на нее. Брак этой женщины был нелегким… И вдруг нарисованный румянец стал как будто ярче, губы и подбородок — крупнее, волосы и глаза словно засветились… перед Доротеей было лицо мужчины, и он смотрел на нее взглядом, который говорит той, на кого он устремлен, что она — само совершенство и даже легкое движение ее ресниц не останется незамеченным и неистолкованным. Этот нарисованный фантазией образ словно согрел Доротею. На ее губах заиграла улыбка, и, оторвавшись от миниатюры, она села и подняла глаза, как будто глядя на невидимого собеседника. Но затем улыбка исчезла и Доротея погрузилась в задумчивость. Через минуту она воскликнула вслух:

— Нет, это было жестоко — говорить так! Как грустно… как ужасно!

Она быстро встала, вышла из комнаты и почти побежала по коридору, гонимая неодолимым желанием поскорей увидеть мужа и спросить, не может ли она быть ему чем-нибудь полезной.

Мистер Такер, возможно, уже ушел, и мистер Кейсобон один в библиотеке. У нее было такое ощущение, что утреннее уныние рассеется без следа, если только муж ей обрадуется.

Но, выйдя на верхнюю площадку темной дубовой лестницы, она увидела, что по ступенькам поднимается Селия. Внизу мистер Брук обменивался приветствиями с мистером Кейсобоном.

— Додо! — сказала Селия обычным спокойным тоном, целуя обнявшую ее сестру, и ничего больше не добавила. Потом Доротея поспешила вниз поздороваться с дядей, и, по-моему, обе они украдкой вытерли слезы.

— Мне незачем спрашивать, как ты себя чувствуешь, милочка, — заявил мистер Брук, поцеловав ее в лоб. — Рим, как вижу, тебе угодил: счастье, фрески, древности, ну и так далее. Вот ты и вернулась и, уж конечно, теперь превосходно разбираешься в живописи, э? Но Кейсобон что-то бледен, как я уже ему сказал, бледен, знаешь ли. Усердно занимался, когда ему вообще не полагалось заниматься, это, знаешь ли, слишком. Как-то раз я тоже переусердствовал. — Мистер Брук, не выпуская руки Доротеи, обернулся к мистеру Кейсобону. — Топография, развалины, храмы — мне казалось, что я нашел ключ, но тут я увидел, что

это может завести меня слишком далеко и без всякого толку. В подобных вещах нетрудно зайти очень далеко и без всякого толку, знаете ли.

Доротея тоже обернулась к мужу, испугавшись, что мистер Брук, три месяца его не видевший, обнаружил в его лице тревожные признаки, которых она не замечала.

— Ничего опасного, милочка, — сказал мистер Брук, перехватив ее взгляд. — Английская говядина и английская баранина скоро поправят дело. Разумеется, бледность не мешает, когда позируешь для Фомы Аквинского, знаете ли… мы успели получить ваше письмо. И кстати, Фома Аквинский… он был слишком тонок. Ну, кто читает Фому Аквинского?

— О да, это автор не для поверхностных умов, — сказал мистер Кейсобон, с терпеливым достоинством выслушивавший эти как нельзя более уместные вопросы.

— Подать вам кофе в вашу комнату, дядя? — спросила Доротея, приходя на выручку мужу.

— Превосходно. А ты пойди с Селией, у нее для тебя, знаешь ли, есть важная новость. Ну, да пусть она тебе сама все скажет.

Зелено-голубой будуар утратил свою унылость, едва Селия в точно такой же пелерине, как сестра,

села к столу и принялась с большим удовольствием рассматривать камеи. Вскоре разговор перешел на другие темы.

— Если говорить про свадебные путешествия, то Рим, по-твоему, удачный выбор? — спросила Селия, и щеки ее покрылись легким румянцем (но Доротея знала, как легко краснеет ее сестра).

— Как для кого. Например, тебе он не подошел бы, — спокойно ответила Доротея. То, что она думала о свадебном путешествии в Рим, навсегда осталось неизвестным.

— Миссис Кэдуолледер говорит, что глупо после свадьбы уезжать в долгое путешествие. Она говорит, что новобрачные до смерти надоедают друг другу и не могут даже отвести душу хорошей ссорой, не то что у себя дома. А леди Четтем говорит, что она ездила в Бат.

Краска на щеках Селии то появлялась, то исчезала, словно

*Несла с собой она от сердца весть,*
*Ему служила преданным гонцом.*

Нет, это был не обычный ее румянец.

— Селия! Что-то произошло? — спросила Доротея с сестринской нежностью. — У тебя действительно есть для меня важная новость?

— Но ведь ты же уехала, Додо! И сэру Джеймсу не с кем было разговаривать, кроме меня, — ответила Селия с легким лукавством.

— Я все понимаю. Я ведь всегда хотела этого, — сказала Доротея, ласково сжав в ладонях лицо сестры и глядя на нее с некоторой тревогой. Теперь замужество Селии казалось ей гораздо более серьезным событием, чем она считала прежде.

— Это случилось всего три дня назад, — сказала Селия. — И леди Четтем была так добра.

— И конечно, ты очень счастлива?

— Да. Но мы не торопимся со свадьбой. Надо все приготовить. И я не хочу спешить: по-моему, быть невестой — это очень приятно. Ведь замужней дамой я буду всю остальную жизнь.

— Я убеждена, Киска, что лучшего выбора ты сделать не могла. Сэр Джеймс — прекрасный, благородный человек, — искренне сказала Доротея.

— Он ведь строит эти дома, Додо. Он сам тебе про них расскажет, когда приедет. Ты рада будешь его увидеть?

— Ну конечно. Что за вопрос?

— Я боялась, что ты станешь ужасно ученой, — ответила Селия, считавшая ученость мистера Кейсобона своего рода сыростью, которая со временем пропитывает все вокруг.

## Глава XXIX

*Я обнаружил, что чужой гений меня не радует. Мои злосчастные парадоксы полностью иссушили этот источник утешения.*

***Голдсмит***

Как-то утром через несколько недель после ее возвращения в Лоуик Доротея… но почему всегда только Доротея? Неужели ее взгляд на этот брак должен быть единственно верным? Я возражаю против того, чтобы весь наш интерес, все наши усилия понять отдавались одним лишь юным лицам, которые выглядят цветущими, несмотря на мучения и разочарования. Ибо и они увянут и узнают более тяжкие горести, приходящие с возрастом, — те, которых сейчас они с нашей помощью не замечают. Моргающие глаза и бородавки, возмущавшие Селию, и отсутствие телесной крепости, столь уязвившее сэра Джеймса, не мешали мистеру Кейсобону, подобно всем нам, таить в себе и обостренное осознание собственной личности, и алчущий дух. Его женитьба была отнюдь не исключительным поступком,

но таким, которое общество санкционирует и почитает достойным венков и букетов. Он пришел к выводу, что не следует долее откладывать заключение брачного союза, а, по его убеждению, человек, занимающий видное положение, должен предпочесть и с тщанием выбрать цветущую девицу (чем моложе, тем лучше, как более послушную и поддающуюся воспитанию) одного с ним круга, благочестивую, добронравную и неглупую. Свою избранницу он щедро обеспечит в брачном контракте и не пренебрежет ничем, чтобы сделать ее счастливой. Взамен он получит радости семейной жизни и оставит после себя тот свой оттиск[105], который творцы сонетов в шестнадцатом веке, по-видимому, считали столь обязательным для мужчины. Времена переменились, и никакой автор сонетов не настаивал на том, чтобы мистер Кейсобон оставил после себя свой оттиск. Ему еще не удалось выпустить ни одного оттиска своего мифологического ключа, однако он всегда намеревался увенчать свой век достойной женитьбой, и ощущение, что годы стремительно уходят, что мир тускнеет, что он

**[105] Примечания: 105**

Имеется в виду XI сонет У. Шекспира, в котором поэт уговаривает своего молодого друга жениться, чтобы от него остался «оттиск», когда неумолимое время унесет его юность и красоту.

одинок, побуждало его поспешить и обрести восторги семейного очага, пока время для этого еще не упущено окончательно.

Когда же он познакомился с Доротеей, то поверил, что нашел даже больше, чем надеялся: ведь она правда могла стать для него помощницей, освободив его от необходимости в конце концов нанять секретаря — необходимости, внушавшей ему ревнивый страх (мистер Кейсобон нервно сознавал, что от него ждут проявлений могучего ума). Провидение по милости своей снабдило его именно той женой, в какой он нуждался. Жена, скромная молодая женщина, робкая в суждениях и непритязательно доверчивая, как положено ее полу, будет, разумеется, считать ум своего мужа могучим. Мысль о том, было ли провидение столь же милостиво к мисс Брук, преподнеся ей мистера Кейсобона, ему, конечно, в голову не приходила. Общество никогда не предъявляло к мужчине нелепого требования, чтобы он раздумывал о том, удастся ли ему составить счастье очаровательной молодой девушки, — достаточно, если он решит, что она сделает счастливым его. Как будто человек выбирает не только жену, но еще и мужа для своей жены! Как будто он обязан искать лучшие качества для своего потомства в собственной сво-

ей персоне! Когда Доротея с восторгом приняла его предложение, это было только естественно, и мистер Кейсобон не сомневался, что вот-вот начнет испытывать счастье.

В прошлом ему не довелось в достаточной мере изведать вкус счастья. Чтобы испытать жгучую радость, не обладая крепкой телесной оболочкой, надо иметь восторженную душу. Телесная оболочка мистера Кейсобона никогда не была крепкой, а его душа, хотя и чувствительная, чуждалась восторженности. Она была слишком вялой, чтобы забыться в страстном упоении, и лишь трепетала крыльями в трясине, где вышла из кокона, но не пробовала взлететь. Чувствительность его была той достойной жалости чувствительностью, которая чурается жалости и больше всего боится быть замеченной. Узость и надменность мешают ей претвориться в умение сочувствовать, и она растворяется в струях самопоглощенности или — в лучшем случае — эгоистической щепетильности. А мистер Кейсобон был весьма щепетильным человеком: он умел строго себя ограничивать и скрупулезно следовал всем принятым понятиям о чести, так что любой суд общества признал бы его безупречным. В своем поведении он сумел этого добиться, но мысль о том, насколько

трудно достичь безупречности в «Ключе ко всем мифологиям», давила его свинцовой тяжестью, а трактаты («парерга»[106], как он их называл), с помощью которых он испытывал своих будущих читателей и отмечал пройденный путь, отнюдь не находили заслуженного признания. Он подозревал, что архидьякон даже не открывал их, в мучительном сомнении не мог решить, что же все-таки думают о них оксфордские светила, и пришел к горькому выводу, что недоброжелательная рецензия, хранившаяся в потайном ящичке его письменного стола, а также в темном уголке его дотошной памяти, принадлежала перу его давнего друга Карпа. Бороться с подобными гнетущими ощущениями было нелегко, и они порождали меланхолическое ожесточение духа, неизбежное следствие любых чрезмерных притязаний. Даже вера мистера Кейсобона слегка пошатнулась оттого, что он утратил прежнее незыблемое убеждение в силе своего авторского таланта, и утешительная христианская надежда на бессмертие каким-то образом оказалась в зависимости от бессмертия еще не написанного «Ключа ко всем мифологиям». И признаюсь, мне

**[106] Примечания: 106**

*Парерга* (*греч.*) — мн. число от «парергон» — второстепенная, вспомогательная работа.

очень его жаль. Какой это нелегкий удел — обладать тем, что мы называем высокой ученостью, и не уметь радоваться, присутствовать на великом спектакле жизни и все время томиться в плену своего маленького, голодного, дрожащего «я», никогда всецело не предаваться открытому перед нами великолепию, ни разу не испытать дивного воплощения своего сознания в живую мысль, в пылкую страсть, в увлеченную деятельность, а вечно оставаться сухим педантом, честолюбивым и робким, добросовестным и близоруким. Если бы мистера Кейсобона сделали настоятелем или даже епископом, боюсь, это не облегчило бы грызущей его тревоги. Уж наверное какой-нибудь древний грек сказал, что за внушительной маской щурятся наши жалкие маленькие глазки и мы с трудом заставляем разомкнуться прижатые к рупору дрожащие губы.

И вот к такому-то душевному достоянию, копившемуся на протяжении четверти века, к скрытой болезненной чувствительности мистер Кейсобон задумал присовокупить счастье, которое подарит ему молодая жена, но, как мы видели, еще до свадьбы им вновь овладело уныние, когда он обнаружил, что не находит никакого блаженства в своем новом блаженстве. Все его

привычки тяготели к прежнему, более удобному существованию. И чем больше погружался он в семейную жизнь, тем сильнее становилась заглушавшая все остальное потребность показать, что он способен преуспеть в своей новой роли — преуспеть в ней согласно всем правилам, установленным обществом. Брак, подобно религии и эрудиции, — нет, даже подобно работе над книгой! — превращался для него в совокупность внешних требований, и Эдвард Кейсобон намеревался соблюдать их все безупречно. Оказалось, что ему трудно даже исполнить свое собственное прежнее намерение воспользоваться помощью Доротеи, чтобы не брать секретаря, и возможно, оно так и было бы забыто, если бы не ее настойчивые просьбы. В конце концов она добилась того, что ее утренние появления в библиотеке стали чем-то само собой разумеющимся, и она либо читала ему вслух, либо переписывала. Находить для нее работу было не так уж сложно, потому что мистер Кейсобон вознамерился безотлагательно подготовить новый парергон — небольшую монографию о некоторых недавно обнаруженных сведениях, имеющих касательство к египетским мистериям и позволяющих исправить кое-ка-

кие утверждения Уорбертона[107]. Ссылки были обильны и здесь, но все-таки не безбрежны, и фразы предстояло облечь в ту форму, в какой они предстанут пред очи оксфордских светил, а также и не столь грозных потомков. Эти малые монументальные произведения всегда повергали мистера Кейсобона в большое волнение: трудности с перекрещивающимися цитатами, необходимость выбирать между фразами, соперничающими в его мозгу, вызывали даже некоторое расстройство пищеварения. И с самого начала возникли тревоги из-за латинского посвящения, о котором он знал пока только одно — что оно не будет адресовано Карпу. Мистера Кейсобона язвило воспоминание, как однажды он посвятил парергон Карпу и в посвящении поместил этого члена животного царства среди viros nullo aevo perituros[108], — промах, который, несомненно, сделает посвятителя предметом насмешек в грядущем столетии, да и в этом, возможно, вызвал улыбку на губах Пайка и Тенча.

Таким образом, мистер Кейсобон был в эти дни чрезвычайно занят, и (чтобы докончить фразу,

---

**[107] Примечания: 107**
*Уорбертон Уильям* (1698 — 1779) — английский богослов.

**[108] Примечания: 108**
Мужей, которым не страшно никакое время (*лат.*).

с которой начинается глава) Доротея рано поутру спустилась к нему в библиотеку, где он уже позавтракал в одиночестве. Селия снова гостила в Лоуике — вероятно, в последний раз перед свадьбой — и в эту минуту ожидала в гостиной приезда сэра Джеймса.

Доротея уже умела распознавать настроение мужа по его лицу и поняла, что за последний час оно стало заметно мрачнее. Ни слова не говоря, она направилась к своему столу, но тут мистер Кейсобон произнес тем отчужденным тоном, который означал, что он исполняет неприятный долг:

— Доротея, тут есть для вас письмо. Оно было приложено к адресованному мне.

Письмо занимало две страницы, и Доротея начала с того, что поглядела на подпись.

— Мистер Ладислав! О чем он может мне писать? — воскликнула она удивленно, но и обрадованно. — Однако, — добавила она, взглянув на мистера Кейсобона, — мне кажется, я догадываюсь, о чем он пишет вам.

— Вы можете, если вам угодно, прочесть и его письмо мне, — сказал мистер Кейсобон, сурово указывая пером на конверт и не глядя на нее. — Но я хотел бы сразу сказать, что должен отклонить

содержащееся в нем предложение нанести нам визит. Полагаю, с моей стороны извинительно желание на некоторый срок полностью оградить себя от тех отвлечений, которые до сих пор были неизбежны, и особенно от гостей, чья излишняя живость делает их присутствие утомительным.

После маленькой вспышки в Риме между Доротеей и ее мужем не случалось больше никаких столкновений — та ссора оставила в ее душе такой тягостный след, что она предпочитала сдерживать свои чувства, лишь бы избежать последствий слишком свободного их изъявления. Однако это колкое предупреждение, словно подразумевающее, будто ей могут быть приятны гости, тягостные для ее мужа, это беспричинное старание оградить себя от ее себялюбивых жалоб ранило ее настолько сильно, что она не сумела кротко промолчать. Когда-то Доротея рисовала в мечтах, какой заботливой и терпеливой была бы она с Джоном Мильтоном, но ей и в голову не приходило, что он мог вести себя подобным образом, — и на мгновение мистер Кейсобон представился ей лишенным всякой чуткости и чудовищно несправедливым. Сострадание, это

«новорожденное дитя»[109], которое впоследствии все чаще помогало ей смирять внутренние бури, на этот раз не «совладало с ураганом». Она заговорила таким голосом, что мистер Кейсобон невольно взглянул на нее и встретил сверкающий взгляд.

— Почему вы приписываете мне желания, которые могут вам досадить? Вы говорите со мной так, словно я постоянно поступаю вам наперекор! Хотя бы подождите, чтобы я начала считаться только с собой, а не с вами.

— Доротея, вы говорите, не подумав, — нервно сказал мистер Кейсобон.

Решительно эта девочка была слишком юна, чтобы достойно нести обязанности супруги, — другое дело, будь она бесцветной, безликой, готовой все принимать как должное.

— Мне кажется, это вы не подумали, когда так неверно судили о моих чувствах, — ответила Доротея все тем же голосом. Огонь негодования еще не угас, и ее возмущало, что муж не счел нужным извиниться перед ней.

— С вашего позволения, Доротея, мы прекратим этот разговор. У меня нет ни времени, ни сил на

---

**[109] Примечания: 109**

Перефразированная цитата из трагедии Шекспира «Макбет» (действ. I, явл. 7).

подобные препирательства.

Тут мистер Кейсобон обмакнул перо в чернила и сделал вид, будто продолжает писать, однако его рука дрожала так сильно, что выходившие из-под пера буквы, казалось, принадлежали неизвестному алфавиту.

Доротея, не читая, положила письмо Ладислава на стол мужа и направилась к собственному столу — презрение и возмущение, бушевавшие в ее душе, делали недопустимой самую мысль о том, чтобы прочесть эти письма; так мы гневно выбрасываем безделушки, если нас обвинят в том, что мы храним их из скаредности. Доротея не догадывалась о скрытых причинах раздражения, которое вызвали у мужа эти письма, — она знала только, что из-за них он ее обидел. Она тотчас взялась за работу, и ее рука не дрожала. Напротив, переписывая цитаты, которые были ей даны накануне, она выводила буквы особенно красиво, и ей казалось, что она лучше обычного улавливает конструкцию латинских фраз и их смысл. Негодование порождало чувство превосходства, но пока оно находило выход в особой твердости почерка и не преображалось в четкий внутренний голос, объявляющий недавнего «любезного архангела» жалким созданием.

Около получаса в библиотеке царила тишина, и Доротея ни разу не подняла глаз от своей работы. Внезапно раздался стук упавшей книги, и, быстро обернувшись, она увидела, что мистер Кейсобон стоит на стремянке, как-то странно согнувшись. Она бросилась к нему и заметила, что он задыхается. Вскочив на табурет, она поддержала его за локоть и сказала с глубокой и нежной тревогой:

— Обопритесь на меня, дорогой.

Две-три минуты, которые ей показались вечностью, мистер Кейсобон продолжал стоять неподвижно, не в силах промолвить ни слова, не в силах пошевелиться, и только судорожно ловил ртом воздух. Когда наконец он спустился с этих трех ступенек и упал в кресло, которое Доротея придвинула к самой стремянке, он перестал задыхаться, но слабость увеличивалась, и казалось, сознание вот-вот оставит его. Доротея схватила колокольчик, и несколько минут спустя мистер Кейсобон был уложен на диван. Сознания он не потерял и уже понемногу оправлялся, когда приехал сэр Джеймс и был встречен в передней известием, что с мистером Кейсобоном «случился припадок в библиотеке».

«Боже мой! Этого следовало ожидать», — подумал сэр Джеймс. Если бы его пророческой душе

дано было облекать предчувствия в слова, то он так бы и выразился — «припадок»! Затем он осведомился у дворецкого, послали ли за врачом. Дворецкий ответил, что хозяин никогда еще не обращался к врачам, но, может быть, все-таки послать?

Однако когда сэр Джеймс вошел в библиотеку, мистер Кейсобон попытался ответить на его поклон с обычной учтивостью, а Доротея, которая после пережитого ужаса рыдала на коленях возле дивана, теперь поднялась и сама сказала, что необходимо послать за врачом.

— Советую вам обратиться к Лидгейту, — сказал сэр Джеймс. — По мнению моей матери, он на редкость искусен. А со времени смерти моего отца она была о докторах самого низкого мнения.

Доротея посмотрела на мужа, который слегка кивнул. Тотчас послали за мистером Лидгейтом, и он явился с поразительной быстротой, так как посланный лакей сэра Джеймса, знавший его в лицо, встретился с ним на Лоуикской дороге — мистер Лидгейт вел свою лошадь в поводу, поддерживая под локоть мисс Винси.

Селия, сидевшая в гостиной, узнала о случившемся только от сэра Джеймса. Выслушав рассказ Доротеи, он решил, что это был не совсем припа-

док, но все-таки что-то «в этом роде».

— Бедняжка Додо, как это ужасно! — воскликнула Селия, расстроенная настолько, насколько позволяло ей собственное безоблачное счастье. Руки сэра Джеймса сжимали ее маленькие ручки, скрывая их, точно широкий околоцветник — нежный бутон. — Очень грустно, что мистер Кейсобон заболел. Но он мне никогда не нравился. И мне кажется, он недостаточно любит Доротею, а это очень дурно с его стороны. Кто еще согласился бы выйти за него замуж? Ведь правда?

— Я давно считал, что ваша сестра принесла страшную жертву.

— Да. Но бедная Додо всегда поступала не как все люди, и наверное, так будет и дальше.

— Она на редкость благородна, — сказал верный сэр Джеймс. Он только что вновь в этом уверился, наблюдая, как Доротея тонкой рукой обняла мужа за шею и глядела на него с неизъяснимой печалью. Он ведь не знал, сколько в той печали было раскаяния.

— Да, — сказала Селия, думая про себя, что, конечно, сэр Джеймс волен так говорить, но ему бы жилось с Додо несладко. — Может быть, мне пойти к ней? Как вы думаете, я могу ей помочь?

— По-моему, вам следует подняться к ней, пока не приехал Лидгейт, — великодушно посоветовал сэр Джеймс. — Только не оставайтесь там долго.

Пока Селия отсутствовала, он прохаживался по комнате, вспоминая, какое впечатление произвело на него известие о помолвке Доротеи, и вновь испытывая негодование при мысли о безразличии мистера Брука. Если бы Кэдуолледе… если бы хоть кто-нибудь взглянул на этот брак так, как он, сэр Джеймс, его, возможно, удалось бы расстроить. Это низко — позволить молодой девушке вот так слепо решать свою судьбу и палец о палец не ударить, чтобы спасти ее. Свое огорчение сэр Джеймс давно уже пережил: его сердце было вполне удовлетворено помолвкой с Селией. Но он обладал рыцарственной натурой (как известно, бескорыстное служение женщине было одним из идеалов старинного рыцарства), и его отвергнутая любовь не обратилась в злобу. Смерть этой любви была благоуханной, и воспоминания о ней освящали Доротею. Он сумел остаться ее преданным другом и истолковывал ее поступки с братским великодушием и искренностью.

# Глава XXX

*Тот, кто хочет отдыхать не вовремя,*
*лишь утомляется.*

***Паскаль***

Приступ не повторился, и через несколько дней мистер Кейсобон уже чувствовал себя почти как обычно. Однако Лидгейт, по-видимому, считал, что его болезнь заслуживает серьезного внимания. Он не только применил свой стетоскоп[110] (в ту эпоху далеко не часто употреблявшийся врачами), но и подолгу просиживал у своего пациента, наблюдая за ним. На расспросы мистера Кейсобона он отвечал, что источник его недуга заключается в обычном пороке тех, кто занят умственным трудом, — в постоянной чрезмерной усидчивости, и средство против него одно: ограничение часов работы и разнообразные развлечения. Мистер Брук, присутствовавший при одном таком разговоре, посоветовал мистеру Кейсобону заняться ужением рыбы по примеру

---

**[110] Примечания: 110**

Стетоскоп был изобретен французским врачом Рене Лаэннеком (1781 — 1826) в 1816 г., однако в Англии в медицинскую практику входил очень медленно, тем более что в ту эпоху врачи редко осматривали пациента, ограничиваясь в основном расспросами о симптомах.

Кэдуолледера и завести токарный станок — делать игрушки, ножки для столов, ну и так далее.

— Короче говоря, вы рекомендуете мне предвосхитить наступление второго детства, — с некоторой горечью заметил бедный мистер Кейсобон. — Все это, — добавил он, взглянув на Лидгейта, — будет для меня таким же развлечением, как щипание пеньки для арестантов в исправительных заведениях.

— Я готов признать, — ответил Лидгейт с улыбкой, — что развлечения как рецепт оставляют желать лучшего. Это равносильно совету не унывать. Пожалуй, вернее будет сказать, что вам следует каждый день прерывать работу, чтобы немного поскучать.

— Да-да, — вмешался мистер Брук. — Пусть Доротея играет с вами по вечерам в трик-трак. Ну, и воланы… лучшей игры, чем воланы, для дневных часов я, право, не знаю. Помнится, это была самая модная игра. Конечно, не с вашими глазами, Кейсобон… но вы должны отдыхать, знаете ли. Вот, скажем, выбрать для изучения какой-нибудь развлекательный предмет, например, конхиологию[111], — я убежден, что это очень

---

**[111] Примечания: 111**
*Конхиология* — наука о раковинах.

развлекательный предмет. Или же пусть Доротея читает вам что-нибудь легонькое — Смоллетта, например, «Родерик Рэндом», «Гемфри Клинкер». В них, конечно, есть некоторые вольности, но теперь ей можно читать что угодно, она ведь замужем, знаете ли. Помнится, я очень смеялся — презабавнейший эпизод со штанами почтальона. Теперь такого юмора уже нет. Я перечитал все такие книги, но для вас они могут оказаться чем-то новым.

«Столь же новым, как жевание колючек!» — такой ответ наиболее полно выразил бы чувства мистера Кейсобона. Но он только учтиво наклонил голову с надлежащим уважением к дяде его жены и сказал, что, без сомнения, названные им труды «обогащали умы определенного порядка».

— Видите ли, — сказал Лидгейту мудрый мировой судья, когда они вышли от больного, — Кейсобон всегда был несколько узковат и теряется, когда вы запрещаете ему посвящать все время избранному им предмету, который, насколько мне известно, весьма, весьма глубок — какие-то исследования, знаете ли. Я никогда себе этого не позволял, я всегда был очень разносторонен. Но у священника большого выбора нет. Вот если бы его сделали епископом, дело другое! Он ведь

написал для Пиля отличный трактат. Ему пришлось бы тогда больше двигаться, больше бывать на людях. Он мог бы немного пополнеть. Но я рекомендую вам поговорить с миссис Кейсобон. Она очень, очень умна, моя племянница, хочу я сказать. Объясните ей, что ее мужу нужны легкие забавы, разнообразие, внушите ей, что он должен развлекаться.

Но Лидгейт собирался поговорить с Доротеей и без совета мистера Брука. Она не присутствовала при том, как ее дядя перечислял приятные способы, с помощью которых жизнь в Лоуике можно было бы сделать более веселой, но обычно во время визитов Лидгейта она оставалась в спальне, и он с интересом подмечал в ее лице и в голосе приметы искренней тревоги и живой озабоченности, едва он упоминал о чем-то, что могло иметь отношение к здоровью ее мужа или к состоянию его духа. Лидгейт решил, что ей следует узнать всю правду о возможном будущем ее мужа, но, бесспорно, мысль о доверительной беседе с ней дразнила его любопытство. Врач всегда склонен к психологическим наблюдениям и порой, не удержавшись от соблазна, позволяет себе многозначительное пророчество, которое жизнь и смерть затем легко опровергают.

Лидгейт посмеивался над подобными рьяными предсказателями и собирался соблюдать в этом смысле величайшую осторожность.

Он осведомился, дома ли миссис Кейсобон, и, узнав, что она отправилась на прогулку, собрался уже уйти, но тут в переднюю вошли Доротея и Селия, разрумяненные мартовским ветром. Когда Лидгейт попросил разрешения поговорить с ней наедине, Доротея тотчас открыла дверь библиотеки, возле которой они стояли, спеша услышать то, что он собирался сказать ей о ее муже. После того как мистеру Кейсобону стало дурно в библиотеке, она еще ни разу туда не входила, и лакей не потрудился открыть там ставни. Однако они не достигали верхних стекол, и света достало бы, чтобы читать.

— Извините этот полумрак, — сказала Доротея, остановившись на середине комнаты. — Но ведь мистеру Кейсобону запретили читать, и библиотекой никто не пользовался. Однако я надеюсь, что он скоро возобновит свои занятия здесь. Ему ведь становится лучше?

— Да, и много быстрее, чем я ожидал вначале. Собственно говоря, он уже почти так же здоров, как был раньше.

— Значит, вы опасаетесь, что болезнь может

вернуться? — спросила Доротея, чей чуткий слух уловил серьезность его тона.

— В подобных случаях трудно утверждать что-нибудь определенное, — ответил Лидгейт. — С уверенностью я могу сказать лишь одно: надо очень внимательно следить, чтобы мистер Кейсобон не напрягал свои нервы.

— Прошу вас, говорите совершенно прямо, — умоляюще сказала Доротея. — Мне невыносимо думать, что я чего-то не знаю и потому могу поступить так, как никогда не поступила бы, если бы знала все! — Слова эти вырвались у нее как невольный крик. Было очевидно, что их породило душевное смятение, причина которого лежала в недавнем прошлом.

— Садитесь же, — добавила она, опустилась в ближайшее кресло и сняла шляпку и перчатки. Доротея инстинктивно ощущала, насколько неуместны церемонии, когда решается судьба человека.

— То, что вы сейчас сказали, подтверждает мою точку зрения, — начал Лидгейт. — Мне кажется, одна из обязанностей врача — насколько возможно умерять подобного рода сожаления. И я должен предупредить вас, что при таких недугах трудно что-либо предсказывать. Мистер Кейсо-

бон может прожить пятнадцать лет или даже больше, чувствуя себя не хуже, чем до сих пор.

Доротея побледнела, а когда Лидгейт умолк, сказала тихо:

— То есть если мы будем очень беречься?

— Да, беречься всяких душевных волнений и неумеренных трудов.

— Он будет так несчастен, если ему придется оставить свои занятия, — сказала Доротея, тотчас представив себе эти страдания.

— Да, я знаю. Единственный выход тут — попытаться всеми средствами, и прямо, и обиняком, сокращать время, которое он им посвящает, и разнообразить их. Если не произойдет ничего непредвиденного, то, как я уже говорил, сердечное недомогание, которое, по моему мнению, явилось причиной этого припадка, особой опасности не представляет. С другой стороны, все-таки возможно, что развитие болезни пойдет быстро: это один из тех случаев, когда смерть порой может наступить внезапно. И следует предусматривать все до последних мелочей, чтобы избежать подобного исхода.

На несколько минут наступило молчание. Доротея сидела словно окаменев, но она испытывала необыкновенное внутреннее волнение,

и никогда еще ее ум за столь короткий срок не перебирал такого многообразия всевозможных картин и внутренних устремлений.

— Помогите мне, прошу вас, — произнесла она наконец все тем же тихим голосом. — Объясните, что я могу сделать.

— Не свозить ли вам его куда-нибудь за границу? Если не ошибаюсь, вы недавно были в Риме?

Воспоминания, которые заставляли отвергнуть это средство, вынудили Доротею выйти из ее мраморной неподвижности.

— Нет, это не годится… хуже этого ничего нельзя придумать, — ответила она с детской безнадежностью, и по ее щекам заструились слезы. — От того, что не доставляет ему радости, пользы не будет никакой.

— Мне очень жаль, что я не мог избавить вас от этих страданий, — сказал Лидгейт. Он был глубоко тронут, но тем не менее недоумевал, что могло толкнуть ее на подобный брак. Такие женщины, как Доротея, были ему непонятны.

— Вы поступили совершенно правильно. Я благодарна вам за то, что вы сказали мне правду.

— Но я хочу предупредить вас, что самому мистеру Кейсобону я ничего об этом не скажу. Ему следует знать только, что он должен соблюдать

некоторые правила и не утомлять себя работой. Любая тревога для него крайне вредна.

Лидгейт поднялся. Доротея тоже встала, машинально расстегнула накидку и сбросила ее, словно задыхаясь. Лидгейт поклонился и уже направился к двери, но Доротея, подчиняясь порыву, который, будь она одна, вылился бы в горячую молитву, воскликнула с рыданием в голосе:

— Вы же мудрый и ученый человек! Вы все знаете о жизни и смерти. Так дайте мне совет. Научите меня, что делать. Он трудился всю жизнь и думал только о завершении своего труда. Ничто другое его не интересует. И меня тоже…

Лидгейт и много лет спустя помнил впечатление, которое произвела на него эта невольная мольба, этот призыв души к другой душе, когда отпала вся мишура условностей и остались лишь две родственные натуры, идущие среди одних и тех же бурь по одним и тем же тускло освещенным путям жизни. Но что он мог ответить? Только — что утром снова заедет к мистеру Кейсобону.

Когда он вышел, Доротея дала волю слезам, и они принесли ей некоторое облегчение. Однако она тут же вспомнила, что должна скрывать от

мужа свою печаль, поспешно вытерла глаза и обвела взглядом комнату, решив распорядиться, чтобы ее привели в порядок, — ведь теперь мистер Кейсобон мог спуститься сюда в любую минуту. На его столе лежали письма, которых никто не трогал с того утра, когда ему стало дурно, и среди них, как хорошо помнила Доротея, два письма Уилла Ладислава — адресованное ей так и осталось непрочитанным. Воспоминания, связанные с этими письмами, были еще более мучительными из-за ее тогдашней вспышки — она не сомневалась, что волнение, вызванное ее гневными словами, способствовало припадку. Она так и оставила письма в библиотеке, не испытывая ни малейшего желания читать их, — может быть, потом, если о них снова зайдет речь. Но теперь ей пришло в голову, что их следует убрать, пока они вновь не попались на глаза мистеру Кейсобону, — они вызывали у него раздражение, а от раздражения его надо оберегать. Сначала она проглядела письмо, адресованное ему, — возможно, следует написать, чтобы отклонить столь неприятный для него визит.

Уилл писал из Рима. Начал он с заверений: он настолько обязан мистеру Кейсобону, что всякая попытка благодарить его будет дерзостью. Ведь

и так ясно, что он полон благодарности, только самый последний негодяй мог бы не питать признательности к столь великодушному другу. Рассыпаться в словесных благодарностях было бы равносильно тому, чтобы кричать о себе: «Я честный человек». Однако Уилл понял, что свои недостатки — те самые, на которые так часто указывал ему мистер Кейсобон, — он сумеет исправить, только оказавшись в более суровых условиях, чем те, какие до сих пор обеспечивала ему щедрость его родственника. Он полагает, что лучше всего отплатит за такую доброту — если за нее вообще можно хоть чем-то отплатить, — найдя наилучшее применение для образования, которым он ему обязан, и более не вынуждая расходовать на него средства, на которые больше прав, возможно, имеет кто-то другой. Он возвращается в Англию попытать счастья, подобно множеству молодых людей, чей капитал исчерпывался их умом и знаниями. Его друг Науман передал ему «Диспут» — картину, написанную для мистера Кейсобона, которую он, с разрешения мистера Кейсобона, а также миссис Кейсобон, сам привезет в Лоуик. Если его приезд почему-либо неудобен, то письмо, отправленное в Париж до востребования, в ближайшие полмесяца еще

застанет его там. Он вкладывает письмо для миссис Кейсобон, в котором продолжает разговор об искусстве, начатый еще в Риме.

Взяв свое письмо, Доротея сразу поняла, что он продолжает подтрунивать над ее фантастическими предубеждениями и сетовать на ее неумение получать безыскусственное удовольствие, воспринимая вещи такими, какие они есть, — она не могла читать сейчас эти живые излияния молодого веселого ума. Надо было немедленно что-то решить относительно первого письма — может быть, еще не поздно помешать Уиллу приехать в Лоуик. В конце концов она отдала письмо мистеру Бруку, который еще не уехал, и попросила его сообщить Уиллу, что мистер Кейсобон был болен и состояние его здоровья не позволяет ему принимать гостей.

Трудно было бы найти человека, который любил писать письма больше, чем мистер Брук, но беда заключалась в том, что писать коротко он не умел, и в этом случае его идеи разлились по трем большим страницам, а также заняли все поля. Доротее он сказал просто:

— Ну конечно, я ему напишу, милочка. Весьма умный молодой человек… я имею в виду молодого Ладислава. Я бы сказал: многообещающий

молодой человек. Превосходное письмо… Показывает тонкость его понимания, знаешь ли. Но как бы то ни было, про Кейсобона я ему сообщу.

Однако перо мистера Брука было мыслящим органом и сочиняло фразы — чрезвычайно благожелательные фразы — так быстро, что собственный ум мистера Брука не успевал за ними угнаться. Оно выражало сожаления и предлагало выходы из положения — перечитывая написанное, мистер Брук только дивился, как изящно все изложено и на редкость уместно: ведь правда можно сделать то-то и то-то, а ему прежде и в голову не приходило! На этот раз его перо весьма огорчилось, что мистер Ладислав не сможет в настоящее время приехать в их края, чтобы мистеру Бруку представился случай узнать его поближе и чтобы они все-таки посмотрели вместе итальянские гравюры; кроме того, оно испытывало такой интерес к молодому человеку, который вступал в жизнь с большим запасом идей, что к концу второй страницы убедило мистера Брука пригласить молодого Ладислава в Типтон-Грейндж, раз уж в Лоуике его принять не могут. Почему бы и нет? У них найдется немало совместных занятий, и ведь это время стремительного роста… политический горизонт

расширяется, и… Короче говоря, перо мистера Брука повторило небольшую речь, которую оно совсем недавно начертало для «Мидлмарчского пионера», хотя, конечно, эта газета нуждается в хорошем редакторе. Запечатывая свое письмо, мистер Брук купался в потоке смутных планов — молодой человек, способный придавать форму идеям, покупка «Мидлмарчского пионера», чтобы расчистить дорогу новому кандидату, использование документов… кто знает, к чему все это может привести? Селия выходит замуж, и будет очень приятно некоторое время видеть напротив себя за столом молодое лицо.

Но он уехал, не сообщив Доротее содержание своего письма, — она сидела у мужа, и… впрочем, это все ей неинтересно.

## Глава XXXI

*У вас нет сил заставить зазвучать*
*Огромный колокол?*
*Пусть рядом с ним*
*Певучей флейты льется серебро.*
*И ноте, верно найденной, металл,*
*Подобранный искусно, даст ответ,*
*И колокол тяжелый тихо в лад*
*С ней запоет.*

В этот вечер Лидгейт заговорил с Розамондой о миссис Кейсобон и с удивлением упомянул про силу чувства, которое она, по-видимому, питает к этому сухому, педантичному человеку на тридцать лет старше нее.

— Ну, разумеется, она предана мужу, — заметила Розамонда так, словно это было непререкаемым законом, — подобные женские логические построения Лидгейт находил очаровательными. У Розамонды же мелькнула мысль, что вовсе не так уж плохо быть хозяйкой Лоуик-Мэнора, когда мужу остается жить недолго. — Вы находите ее очень красивой?

— Да, она красива, но я как-то об этом не ду-

мал, — ответил Лидгейт.

— Вероятно, врачам об этом думать не подобает, — сказала Розамонда, и на ее щеках заиграли ямочки. — Но как растет ваша практика! Ведь вас уже, кажется, приглашали Четтемы. И вот теперь — Кейсобоны!

— Да, — равнодушно ответил Лидгейт. — Но мне больше нравится лечить бедняков. Болезни людей с положением очень однообразны, и приходится с почтительным видом выслушивать куда больше чепухи.

— Ну, не больше, чем в Мидлмарче, — сказала Розамонда. — Зато вы идете по широким коридорам и все вокруг благоухает розовыми лепестками.

— Совершенно справедливо, мадемуазель де Монморанси[112]! — воскликнул Лидгейт и, наклонившись к столику, безымянным пальцем приподнял изящный носовой платочек, который выглядывал из ее ридикюля. Он томно вздохнул, словно упиваясь ароматом, а затем с улыбкой посмотрел на Розамонду.

Однако, как ни приятно было Лидгейту с такой непринужденностью и свободой виться над

---

**[112] Примечания: 112**

Род Монморанси считался одним из самых знатных во Франции и во всей Европе.

прекраснейшим цветком Мидлмарча, долго это продолжаться не могло. Прятаться от чужих глаз в этом городе было нисколько не легче, чем в любом другом месте, и постоянно флиртующая парочка не могла не испытывать воздействия всяческих влияний, зависимостей, нажимов, стычек, тяготений и отталкиваний, которые определяют ход событий. Все, что делала мисс Винси, обязательно замечалось, а в эти дни поклонники и порицатели и вовсе не спускали с нее глаз, так как миссис Винси после некоторых колебаний отправилась вместе с Фредом погостить в Стоун-Корте, ибо у нее не было иного способа угодить старику Фезерстоуну и в то же время оберечь сына от Мэри Гарт, которая по мере выздоровления Фреда казалась все менее и менее желанной невесткой.

Тетушка Булстрод, например, с тех пор как миссис Винси уехала, стала чаще появляться на Лоуик-Гейт, навещая Розамонду. Она питала к брату искреннюю сестринскую любовь и, хотя считала, что он мог бы найти себе жену, более равную ему по положению, тем не менее распространяла эту любовь и на его детей. Миссис Булстрод числила среди своих приятельниц миссис Плимдейл. У них были очень схожие вкусы в

отношении шелковых материй, фасонов нижнего белья, фарфоровой посуды и священнослужителей; они поверяли друг другу мелкие домашние неприятности, обменивались подробностями о своих недомоганиях, и кое-какие свидетельства превосходства миссис Булстрод — а именно, более серьезные наклонности, приверженность ко всему духовному и загородный дом — только способствовали оживлению их беседы, не сея между ними розни. Обе были доброжелательны и не разбирались в своих внутренних побуждениях.

Как-то, приехав к миссис Плимдейл с утренним визитом, миссис Булстрод вскоре сказала, что ей пора: она должна еще навестить бедняжку Розамонду.

— А почему вы называете ее бедняжкой? — спросила миссис Плимдейл, маленькая остролицая женщина с круглыми глазами, похожая на прирученного сокола.

— Ведь она так красива и получила такое неразумное воспитание! Ее мать, как вы знаете, всегда отличалась легкомыслием, и оттого я опасаюсь за детей.

— Однако, Гарриет, откровенно говоря, — многозначительно произнесла миссис Плимдейл, — вы с мистером Булстродом должны быть

довольны: вы же сделали для мистера Лидгейта все, что можно.

— Селина, о чем вы говорите? — спросила миссис Булстрод с искренним недоумением.

— О том, что я от души рада за Неда, — сказала миссис Плимдейл. — Правда, он может обеспечить такую жену лучше, чем некоторые, но мне всегда хотелось, чтобы он поискал себе другую невесту. Все же материнское сердце не может быть спокойно — ведь такие разочарования сбивают молодых людей с правильного пути. А если бы меня спросили, я бы сказала, что не люблю, когда в городе обосновываются чужие.

— Ну, не знаю, Селина, — в свою очередь многозначительно сказала миссис Булстрод. — Когда-то и мистер Булстрод был в городе чужим. Авраам и Моисей были чужими в чужой земле, и нам заповедано оказывать гостеприимство пришельцам. И особенно, — добавила она, помолчав, — когда они праведны.

— Я говорила не в религиозном смысле, Гарриет, я говорила как мать.

— Селина, по-моему, я никогда не возражала против того, чтобы моя племянница вышла за вашего сына.

— Ах, это только гордость мисс Винси, только

ее гордость, и ничего больше, я в этом уверена, — объявила миссис Плимдейл, которая прежде не пускалась в откровенности с Гарриет на эту тему. — В Мидлмарче ни один молодой человек ее не достоин — я сама это слышала от ее маменьки. Где тут христианский дух, скажите на милость? Но теперь, если слухи верны, она нашла себе такого же гордеца.

— Неужели вы полагаете, что между Розамондой и мистером Лидгейтом что-то есть? — спросила миссис Булстрод, несколько обескураженная своей неосведомленностью.

— Как, Гарриет! Разве вы не знали?

— Ах, я так мало выезжаю! И я не люблю сплетен. Да мне их никто и не передает. Вы видите столько людей, с которыми я не встречаюсь. Ваш круг знакомых довольно сильно отличается от моего.

— Но ведь это ваша собственная племянница и любимец мистера Булстрода — и ваш тоже, Гарриет, не спорьте! Одно время мне казалось, что вы ждете только, чтобы Кэт немного подросла.

— Я не верю, что это что-нибудь серьезное, — объявила миссис Булстрод. — Иначе брат мне сказал бы.

— Ну, конечно, разные люди ведут себя по-раз-

ному, однако, насколько мне известно, все, кто видел мисс Винси в обществе мистера Лидгейта, не сомневаются, что они обручены. Впрочем, это не мое дело. Так дать вам образец для митенок?

После этого миссис Булстрод поехала к племяннице, испытывая неприятную тревогу. Сама она была одета прекрасно и с сожалением, более сильным, чем обычно, заметила, что туалет Розамонды, только что вернувшейся с прогулки, стоил, по-видимому, немногим меньше ее собственного. Миссис Булстрод выглядела уменьшенной женственной копией своего брата, и цвет ее лица казался особенно свежим по сравнению с нездоровой бледностью ее мужа. Взгляд у нее был открытым и прямодушным, и она не любила обиняков.

Когда они вместе вошли в гостиную, миссис Булстрод внимательно посмотрела по сторонам и сказала:

— Ты, душенька, я вижу, одна дома.

Розамонда тотчас поняла, что ее тетка собирается начать серьезный разговор, и села возле нее. Однако отделка шляпки Розамонды была так прелестна, что миссис Булстрод не могла не прикинуть, как эта шляпка пошла бы Кэт, и пока она говорила, взор ее больших красивых глаз

скользил по полукругу нарядных полей.

— Я только что разговаривала о тебе, Розамонда, и была очень удивлена тем, что услышала.

— Что же вы услышали, тетя? — Глаза Розамонды, в свою очередь, внимательно рассматривали вышитый воротник миссис Булстрод.

— Я просто не могу поверить… Чтобы ты обручилась, и я ничего об этом не знала… и твой отец мне ничего не сказал! — Тут глаза миссис Булстрод обратились наконец на лицо Розамонды, которая густо покраснела и ответила:

— Я вовсе не обручена, тетя.

— А почему же все говорят, что ты обручена? В городе только об этом и сплетничают!

— Что за важность — городские сплетни! — сказала Розамонда, про себя очень довольная.

— Ах, душенька, ты должна быть осмотрительней. И не пренебрегай мнением ближних. Помни, тебе ведь уже двадцать два и у тебя нет состояния — твой отец вряд ли сумеет уделить тебе что-нибудь. Мистер Лидгейт очень умен и остроумен. Это производит впечатление, я знаю. Я сама люблю беседовать с такими людьми, и твой дядя находит его очень полезным. Но профессия врача у нас здесь больших доходов не приносит. Да, конечно, все это суетность, но доктора редко

верят истинно, слишком сильна в них гордыня разума. А ты не годишься в жены бедняку.

— Мистер Лидгейт не бедняк, тетя. У него прекрасные родственные связи.

— Но он сам мне говорил, что беден.

— Это потому, что он привык вращаться в обществе людей, живущих в роскоши.

— Милая моя Розамонда, тебе не следует мечтать о том, чтобы жить в роскоши.

Розамонда опустила глаза, поигрывая завязками ридикюля. Вспыльчивость была ей чужда, отвечать резко она не умела, но жить собиралась так, как хотелось ей.

— Так, значит, это правда? — спросила миссис Булстрод, вглядываясь в лицо племянницы. — Ты думаешь о мистере Лидгейте! И наверное, вы объяснились, хотя твой отец об этом не знает. Скажи откровенно, душенька, мистер Лидгейт сделал тебе предложение?

Бедная Розамонда чувствовала себя очень неловко. Она не сомневалась ни во влюбленности Лидгейта, ни в его намерениях, но ей было крайне неприятно, что на прямой вопрос тетки она не может столь же прямо ответить «да». Ее гордость была уязвлена, но, как всегда, на помощь ей пришла благовоспитанность.

— Прошу простить меня, тетя, но я предпочла бы не говорить на эту тему.

— Надеюсь, душенька, ты не отдашь сердце человеку без твердых видов на будущее. И подумать только, каким двум прекрасным женихам ты отказала! Но один из них готов повторить свое предложение, если ты дашь ему случай. Я когда-то знавала редкую красавицу, которая вышла замуж очень неудачно, потому что прежде была слишком разборчива. Мистер Нед Плимдейл — приятный молодой человек, недурен собой и единственный сын. А такое крупное дело, как у них, надежней медицины. Конечно, брак — это не самое важное, и я была бы рада, если бы ты больше помышляла о царствии божьем. Но все-таки девица должна управлять своим сердцем.

— Я бы никогда не отдала его мистеру Плимдейлу, даже если бы уже ему не отказала. Полюбив, я полюблю сразу и навеки, — произнесла Розамонда, ощущая себя романтической героиней и очень мило играя эту роль.

— Я все понимаю, душенька, — грустно произнесла миссис Булстрод и поднялась, чтобы уйти. — Ты позволила себе увлечься без взаимности.

— Нет-нет! Что вы, тетя! — воскликнула Роза-

монда.

— Значит, ты не сомневаешься, что мистер Лидгейт питает к тебе серьезное чувство?

Щеки Розамонды горели, ее самолюбие было оскорблено. Она ничего не ответила, и миссис Булстрод рассталась с ней глубоко убежденная, что дозналась до истины.

Во всем, что не имело прямого отношения к его делам или религиозным убеждениям, мистер Булстрод охотно подчинялся жене, и теперь она, не касаясь причин, попросила его при первом удобном случае выяснить в разговоре с мистером Лидгейтом, не намерен ли тот в скором времени сочетаться браком. Оказалось, что у мистера Лидгейта и в мыслях ничего подобного нет. Во всяком случае, ничто в его словах — а их мистер Булстрод, подвергнутый допросу с пристрастием, пересказал как мог подробнее и точнее — не свидетельствовало о чувстве, которое могло бы привести к женитьбе. Миссис Булстрод поняла, что на нее возложен серьезнейший долг, и вскоре сумела поговорить с Лидгейтом. Начав с расспросов о здоровье Фреда Винси, она дала понять, что живо принимает к сердцу судьбу детей своего брата, а затем перешла к общим рассуждениям на тему об опасностях, подстерегающих молодых

людей до того, как их жизнь будет устроена. Сыновья нередко огорчают родителей легкомыслием и не оправдывают потраченные на них деньги, а дочерям не всегда хватает осмотрительности, и это иной раз может помешать им сделать хорошую партию.

— Особенно когда девушка очень привлекательна, а ее родители принимают у себя большое общество, — продолжала миссис Булстрод. — Молодые люди ухаживают за ней, завладевают ее вниманием для того лишь, чтобы приятно провести время, а других это отталкивает. По-моему, мистер Лидгейт, мешать молоденькой девушке в устройстве ее судьбы — значит брать на себя большую ответственность. — И миссис Булстрод посмотрела на него предостерегающе, а может быть, и с упреком.

— Да, конечно, — сказал Лидгейт, отвечая ей не менее пристальным взглядом. — С другой стороны, только самодовольный вертопрах способен думать, что стоит ему слегка поухаживать за девушкой, и она сразу в него влюбится или хотя бы окружающие вообразят, будто она в него влюбилась.

— Ах, мистер Лидгейт, вы же знаете себе цену! Вы отлично понимаете, что не нашим молодым

людям соперничать с вами. Ваши частые посещения очень могут подвергнуть опасности устройство судьбы молодой девицы и стать причиной того, что она ответит отказом, если ей сделают предложение.

Лидгейту не столько польстило признание его превосходства над мидлмарчскими Орландо[113], сколько раздражил намек, который он уловил в словах миссис Булстрод. Она же не сомневалась, что говорила со всей возможной убедительностью, а употребив изысканное выражение «подвергнуть опасности устройство судьбы», набросила покрывало благородного обобщения на множество частных подробностей, которые тем не менее просвечивали сквозь него достаточно ясно.

Лидгейт, бесясь про себя, одной рукой откинул волосы со лба, а другой пошарил в жилетном кармане, после чего нагнулся и поманил к себе крохотного черного спаниеля, но у песика достало проницательности отклонить его неискреннюю ласку. Уйти немедленно было бы неприлично, так как он только что перешел с другими гостями из столовой в гостиную и еще не допил свой чай.

---

**[113] Примечания: 113**

*Орландо* — итальянизированное имя героя поэмы поэта итальянского Возрождения Маттео Боярдо (1441 — 1494) «Влюбленный Роланд».

Впрочем, миссис Булстрод, убежденная, что он ее понял, переменила тему.

Соломон в притчах своих упустил указать, что «как больным устам все кажется горьким, так нечистой совести во всем чудятся намеки». На следующий день мистер Фербратер, прощаясь с Лидгейтом на улице, сказал, что они, конечно, встретятся вечером у мистера Винси. Лидгейт коротко ответил, что навряд ли… Ему надо работать, и он не может больше тратить вечера на развлечения.

— Как! Вы намерены привязаться к мачте[114] и залепить уши воском? — осведомился мистер Фербратер. — Ну, раз вы не хотите попасть в плен к сиренам, вам следует принять меры предосторожности.

Еще два дня назад Лидгейт не усмотрел бы в этой фразе ничего, кроме обычной любви его собеседника к классическим уподоблениям. Теперь же ему открылся в ней скрытый смысл, и он окончательно убедился, что был неосмотри-

---

**[114] Примечания: 114**

Имеется в виду эпизод из древнегреческой поэмы «Одиссея»: чтобы не поддаться чарам сладкоголосых сирен, которые пением заманивали мореходов на свой остров и пожирали их, спутники Одиссея залепили уши воском, а сам Одиссей, желая все-таки услышать это пение и остаться в живых, не стал затыкать уши, но приказал привязать себя к мачте.

телен, как дурак, и дал повод неверно толковать свое поведение, — нет, разумеется, к Розамонде это не относится: она, конечно, понимает, что он ничего серьезного в виду не имел. Порукой тому ее безупречный такт и светскость, но ее окружают глупцы и сплетники. Однако их заблуждению надо положить конец. Он решил (и исполнил свое решение) с этих пор не бывать у Винси иначе как по делу.

Розамонда чувствовала себя глубоко несчастной. Тревога, пробужденная в ней расспросами тетки, все росла, а когда миновало десять дней и Лидгейт ни разу у них не появился, она с ужасом начала думать, что все было впустую, и как бы ощутила неумолимое движение той роковой губки, которая небрежно стирает надежды смертных. Мир стал вдвойне тоскливым, словно дикая пустыня, которую волшебные чары ненадолго превратили в чудесный сад. Она полагала, что испытывает муки обманутой любви, и была убеждена, что ни один другой мужчина не даст ей возможности возводить такие восхитительные воздушные замки, какие вот уже полгода были для нее источником стольких радостей. Бедняжка Розамонда лишилась аппетита и чув-

ствовала себя покинутой, словно Ариадна[115] (прелестная Ариадна со сценических подмостков, оставленная со всеми своими сундуками, полными костюмов, и уже не надеющаяся, что ей подадут карету).

В мире существует много удивительных смесей, которые все одинаково именуются любовью и претендуют на привилегии божественной страсти, каковая извиняет все (в романах и пьесах). К счастью, Розамонда не собиралась совершать отчаянных поступков. Она причесывала свои золотистые волосы не менее тщательно, чем всегда, и держалась с гордым спокойствием. Она строила всевозможные предположения, и наиболее утешительной была догадка, что тетя Гарриет вмешалась и каким-то способом воспрепятствовала Лидгейту бывать у них, — она смирилась бы с любой причиной, лишь бы не оказалось, что он к ней равнодушен. Тот, кто воображает, будто десяти дней мало… нет, не для того, чтобы похудеть, истаять или как-нибудь иначе зримо пострадать от несчастной любви, но чтобы завершить полный круг опасений и разочарова-

**[115] Примечания: 115**

*Ариадна* — в греческой мифологии дочь критского царя, которая спасла из Лабиринта греческого героя Тесея и бежала с ним, но затем была им покинута спящей на острове Наксос.

ний, тот не имеет ни малейшего представления о мыслях, которые могут смущать элегантную безмятежность рассудительной юной девицы.

Однако на одиннадцатый день, когда Лидгейт уезжал из Стоун-Корта, миссис Винси попросила его сообщить ее мужу, что здоровье мистера Фезерстоуна заметно ухудшилось и она желала бы, чтобы он еще до вечера побывал в Стоун-Корте. Конечно, Лидгейт мог бы заехать на склад или, вырвав листок из записной книжки, изложить на нем поручение миссис Винси и отдать его слуге, открывшему дверь. Но эти нехитрые способы, по-видимому, не пришли ему в голову, из чего мы можем заключить, что он был вовсе не прочь заехать домой к мистеру Винси в час, когда хозяин отсутствовал, и сообщить просьбу миссис Винси ее дочери. Человек может из разных побуждений лишить другого своего общества, но, пожалуй, даже мудрецу будет досадно, если его отсутствие никого не огорчит. А чтобы непринужденно и легко связать прежние привычки с новыми, почему бы не пошутить с Розамондой о том, как твердо он противится искушению и не позволяет себе прервать суровый пост даже ради самых сладостных звуков? Надо также сознаться, что в обычную ткань его мыслей все-таки, подобно

цепким волоскам, кое-где вплетались размышления о том, обоснованны ли намеки миссис Булстрод.

Мисс Винси была одна, когда вошел Лидгейт, и покраснела так густо, что он тоже смутился, забыл про шутки и тотчас же принялся объяснять причину своего визита, с почти холодной учтивостью попросив передать мистеру Винси просьбу ее матушки. Розамонду, которая в первую минуту поверила было, что счастье к ней вернулось, этот тон поразил в самое сердце. Краска схлынула с ее щек, и она столь же холодно, без единого лишнего слова, обещала исполнить его поручение — рукоделие, которое она держала, позволило ей не поднимать глаз на Лидгейта выше его подбородка. В любой неудаче начало безусловно уже половина всего. Не зная, что сказать, и только поигрывая хлыстом, Лидгейт высидел так две томительные минуты и поднялся. Розамонда вздрогнула, тоже машинально встала и уронила рукоделие — от жгучей обиды и стараний ничем эту обиду не выдать она несколько утратила обычную власть над собой. Лидгейт поспешно поднял рукоделие, а когда выпрямился, то прямо перед собой увидел очаровательное личико и прелестную стройную шею, безупречной грацией

которой всегда восхищался. Но теперь он вдруг заметил в ней какое-то беспомощное трепетание, ощутил незнакомую ему прежде жалость и бросил на Розамонду быстрый вопросительный взгляд. В последний раз столь естественна она была в пятилетнем возрасте: на ее глаза навернулись слезы, и она ничего не могла с ними поделать — пусть блестят, точно роса на голубых цветах, или же свободно катятся по щекам.

Миг естественности был точно легкое прикосновение пера, вызывающее образование кристаллов, — он преобразил флирт в любовь. Не забывайте, что честолюбец, глядевший на эти незабудки под водой, был добросердечен и опрометчив. Он не заметил, куда делось рукоделие, мысль, подобная молнии, озарила скрытые уголки его души и пробудила способность к страстной любви, которая не была погребена под каменными сводами склепа, а таилась у самой поверхности. Его слова были отрывистыми и неловкими, но тон превратил их в пылкую мольбу.

— Что случилось? Вы расстроены? Прошу вас, скажите, чем.

С Розамондой еще никто никогда не говорил подобным голосом. Не знаю, уловила ли она

смысл этих фраз, но она посмотрела на Лидгейта, и по ее щекам покатились слезы. Такое молчание было самым полным ответом, и Лидгейт, позабыв обо всем, под наплывом нежности, рожденной внезапным убеждением, что от него зависит счастье этого прелестного юного создания, позволил себе обнять Розамонду тихо и ласково (он привык быть ласковым со слабыми и страждущими) и поцелуем стер обе большие слезы. Это была необычная прелюдия к объяснению, но зато она прямо вела к цели. Розамонда не рассердилась, но чуть-чуть отодвинулась с робкой радостью, и Лидгейт мог теперь сесть рядом с ней и говорить не так отрывисто. Розамонде пришлось сделать свое маленькое признание, и он дал волю словам, полным нежной благодарности. Через полчаса он покинул этот дом женихом, и душа его принадлежала уже не ему, а той, с кем он связал себя словом.

Вечером он снова приехал, чтобы поговорить с мистером Винси, который вернулся из Стоун-Корта в полном убеждении, что вскоре ему придется услышать о кончине мистера Фезерстоуна. На редкость удачное слово «кончина», пришедшее ему в голову в нужный момент, еще больше подняло его настроение, которое по вечерам и

так бывало превосходным. Точное слово — это большая сила, и его определенность передается нашим поступкам. Смерть старика Фезерстоуна, рассматриваемая как кончина, превращалась всего лишь в юридический факт, и мистер Винси мог благодушно пощелкивать своей табакеркой, не притворяясь, будто грустит. А мистер Винси не любил ни притворяться, ни грустить. Кто когда нес дань скорби завещателю или освящал псалмом титул на недвижимость? В этот вечер мистер Винси был склонен взирать на все с беспредельным благодушием. Он даже сказал мистеру Лидгейту, что здоровье у Фреда все-таки семейное и скоро он опять будет молодец молодцом. Когда же они попросили у него согласия на помолвку, он дал его с необычайной легкостью, сразу же перейдя к общим рассуждениям о том, как похвально молодым людям и девицам связывать себя узами брака, из чего, по-видимому, сделал вывод, что недурно бы выпить еще пуншику.

## Глава XXXII

*…Что им ни скажешь,*
*Лакают, точно кошка – молоко.*

***Шекспир, «Буря»***

Как ни велика была уверенность мэра, опиравшаяся на настойчивость, с какой мистер Фезерстоун требовал, чтобы Фред и его мать оставались в Стоун-Корте, она все же далеко уступала в силе чувствам, обуревавшим настоящих родственников старика, которые, с тех пор как он перестал вставать с постели, естественно, особенно чутко прислушивались к голосу крови и объявлялись у него в доме в значительно большем числе, чем раньше. О да, вполне естественно! Ведь когда «бедный Питер» еще сидел в своем кресле в большой гостиной, даже черные тараканы, которых кухарка обливает кипятком на облюбованном ими очаге, встретили бы более ласковый прием, чем эти люди, чья фезерстоуновская кровь получала плохое питание не из-за их скаредности, но из-за их бедности. Братец Соломон и сестрица Джейн были богаты, и, по их мнению, бесцеремонная откровенность и полнейшее отсутствие

притворной вежливости, с какими брат всегда их принимал, вовсе не свидетельствовали о том, что в деле столь великой важности, как составление завещания, он упустит из виду особые права богатства. Им он, во всяком случае, от дома никогда не отказывал, а то, что он запретил являться к себе на глаза братцу Ионе, сестрице Марте и всем прочим, у кого и тени таких прав нету, так это даже чудачеством назвать нельзя. Недаром Питер любил повторять, что деньги — хорошее яичко и оставить их следует в теплом гнездышке.

Однако братец Иона, сестрица Марта и все прочие неимущие изгои придерживались иной точки зрения. Вероятности столь же разнообразны, как физиономии, которые можно увидеть в узорах обоев — они там есть все, от Юпитера до Панча[116], надо только дать волю творческой фантазии. Самым бедным и отвергнутым казалось вполне вероятным, что Питер, ничего не сделав для них при жизни, тем более вспомнит о них напоследок. Иона утверждал, что люди любят удивлять своими завещаниями, а по мнению Марты, никого не удивило бы, если бы он оставил

**[116] Примечания: 116**

*Панч* — персонаж английского кукольного театра, соответствующий русскому Петрушке, задорный горбун с большим крючковатым носом.

свои деньги тем, кто их совсем не ожидает. И что будет странного, коли братец, «лежащий на одре» с водянкой, почувствует, насколько кровь гуще, чем вода, а если и не изменит завещание, то, может, при нем есть порядочная сумма наличными. Так или эдак, а двум-трем кровным родственникам надо быть на месте и следить за теми, кого и свойственниками-то только из вежливости называют. Известны ведь и поддельные завещания, и оспариваемые завещания, которые словно бы обладают радужным преимуществом перед настоящими в том смысле, что неведомо как позволяют обойденным наследникам жить благодаря им припеваючи. Опять-таки те, кто и в родстве-то не состоит, могут расхитить вещи, пока бедный Питер «лежит на одре»! Кому-нибудь нужно быть на страже. Однако в этом выводе они целиком сходились с Соломоном и Джейн, а еще разные племянники, племянницы, двоюродные и троюродные братья, с еще большей тонкостью строя предположения о том, как может человек «распорядиться» своей собственностью при заведомой склонности к чудачествам, ощутили великодушное желание оградить семейные интересы и пришли к заключению, что посетить Стоун-Корт не только их право, но и прямая

обязанность. Сестрица Марта, она же миссис Крэнч, проживавшая, страдая одышкой, в Меловой Долине, была не в силах отправиться в столь дальний путь сама, однако ее сын, родной племянник бедного Питера, мог успешно ее заменить и последить, чтобы его дяденька Иона не воспользовался единолично результатами маловероятных событий, которые, того и гляди, произойдут. Короче говоря, в фезерстоуновской крови повсеместно жило убеждение, что каждый должен следить за всеми прочими и что каждому из этих прочих не мешает помнить о всевидящем оке господнем, на него устремленном.

Вот так теперь в Стоун-Корте что ни день появлялись кровные родственники — один приезжал, другой отбывал, и на долю Мэри Гарт выпадала неприятная обязанность передавать их словоизлияния мистеру Фезерстоуну, а он никого из них видеть не желал и возлагал на нее еще более неприятную обязанность сообщать им об этом. Как домоправительница, она по доброму провинциальному обычаю считала своим долгом предложить им перекусить, но тем не менее решила посоветоваться с миссис Винси о растущем расходе съестных припасов с тех пор, как мистер Фезерстоун перестал вставать с постели.

— Ах, дорогая моя, в дни последней болезни в богатом доме нельзя скупиться и экономить. Бог свидетель, мне не жаль, если они съедят все окорока, только самые лучшие сберегите до похорон. Пусть у вас всегда будет наготове жареная телятина и уже нарезанный сыр, — сказала щедрая миссис Винси, которая была теперь нарядна и бодра, как прежде.

Однако некоторые из посетителей, обильно угостившись телятиной и ветчиной, не отправлялись восвояси. Братец Иона, например (такие неприятные люди есть почти во всех семьях, и быть может, даже в знатнейших фамилиях имеются свои бробдингнеги[117] с поистине великанскими долгами и растучневшие на мотовстве)… так вот братец Иона, разорившись, поддерживал свое существование с помощью занятия, которым по скромности не хвастал, хотя оно было много почтеннее мошенничества на бирже или на ипподроме, и которое не требовало его присутствия в Брассинге, пока у него был удобный угол и достаточно еды. Угол он выбрал на кухне — отчасти потому, что это место наиболее отвечало его вкусам, а отчасти потому, что не же-

**[117] Примечания: 117**

*Бробдингнеги* — великаны, описанные во второй части сатирического романа Джонатана Свифта (1667 — 1745) «Путешествия Гулливера».

лал находиться в обществе Соломона, касательно которого придерживался самого нелицеприятного братского мнения. С него было достаточно пребывать в стенах Стоун-Корта — облаченный в свой лучший костюм, он удобно расположился в покойном кресле, вдыхая аппетитные запахи, и порой ему начинала мерещиться буфетная стойка «Зеленого молодца» в воскресный вечер. Мэри Гарт он заявил, что не намерен покидать брата Питера, пока бедняга еще дышит. Обременительные члены семейных кланов, как правило, бывают либо острословами, либо непроходимыми дураками. Иона был фезерстоуновским острословом и перешучивался со служанками, хлопотавшими у плиты, однако мисс Гарт, по-видимому, внушала ему подозрения, и он следил за ней весьма холодным взглядом.

Этот взгляд Мэри еще могла бы переносить с равнодушием, но, к несчастью, юный Крэнч, явившийся из Меловой Долины как представитель своей матушки присматривать за дяденькой Ионой, тоже почувствовал, что его долг — остаться здесь до конца и составить дяденьке компанию на кухне. Юного Крэнча нельзя было назвать золотой серединой между острословом и непроходимым дураком, поскольку он больше

подходил под последнее определение, а к тому же страдал косоглазием, что мешало догадываться о его чувствах, — но, по-видимому, силой они не отличались. Когда Мэри Гарт входила в кухню, мистер Иона Фезерстоун начинал сверлить ее холодным сыщицким взглядом, а юный Крэнч поворачивал голову в том же направлении, словно нарочно показывая ей, как он косит (подобно тем цыганам, которым Борроу[118] читал Новый Завет). И вот тут терпение бедняжки Мэри иссякало. Иногда она сердилась, а иногда с трудом подавляла смех. Как-то она не удержалась и описала Фреду эту кухонную сцену, а он возжелал немедленно отправиться на кухню и посмотреть на дядю с племянником, сделав вид, что ему надо выйти через черный ход. Однако, едва узрев эти четыре глаза, он выскочил в ближайшую дверь, которая, как оказалось, вела в молочную, и там под высокой крышей среди бидонов расхохотался так, что отголоски его хохота донеслись до кухни. Он убежал через другой ход, однако мистер Иона успел заметить бледность Фреда, его длинные

**[118] Примечания: 118**

*Борроу Джордж* (1803 — 1881) — английский писатель; в юности вел бродячую жизнь и одно время странствовал с цыганами; впоследствии много путешествовал по Европе в качестве представителя Британского библейского общества.

ноги, обострившиеся черты лица и измыслил множество сарказмов, в которых эти внешние особенности уничижительно объединялись с низменными нравственными свойствами.

— Вот, Том, ты-то не носишь таких франтовских панталон и такими длинными прекрасными ногами тоже похвастать не можешь! — заявил Иона и подмигнул племяннику, точно намекая, что за бесспорностью этих утверждений кроется еще что-то. Том поглядел на свои ноги, но предпочел ли он свои нравственные преимущества порочной длине ног и предосудительной щеголеватости панталон, так и осталось неясным.

В большой гостиной тоже настороженно шарили бдительные глаза и сменяли друг друга кровные родственники, жаждущие «посидеть с больным». Многие, закусив, уезжали, но братец Соломон и дама, которая двадцать пять лет была Джейн Фезерстоун, пока не стала миссис Уол, находили нужным ежедневно проводить там долгие часы без какого-либо видимого занятия и только наблюдали за коварной Мэри Гарт (которая была настолько хитра, что ее ни в чем не удавалось поймать), да иногда плаксиво щурили сухие глаза (как бы обещая бурные потоки с наступлением сезона дождей) при мысли, что их

не допускают в спальню мистера Фезерстоуна. Ибо неприязнь старика к единокровным родственникам, казалось, росла по мере того, как у него становилось все меньше сил забавляться язвительными выпадами по их адресу. Но оттого что он уже не мог жалить, яд накапливался у него в крови.

Усомнившись в переданном через Мэри Гарт отказе, они вдвоем появились на пороге спальни, облаченные в черное (миссис Уол держала наготове белый платок) и с траурным выражением на сизых лицах в ту самую минуту, когда розовощекая миссис Винси в развевающихся розовых лентах подавала укрепляющее питье их родному брату, а рядом сидел, развалившись в большом кресле, бледный Фред, чьи остриженные волосы завивались тугими кудрями, — да чего же и ждать от игрока!

Старик Фезерстоун полусидел, опираясь на подушки, а рядом, как всегда, лежала трость с золотым набалдашником. Едва он увидел эти похоронные фигуры, явившиеся ему на глаза вопреки его строжайшему запрету, бешенство взбодрило его лучше всякого питья. Схватив трость, он начал ею размахивать, словно тщась отогнать эти безобразные призраки, и выкрики-

вать голосом, пронзительным, как лошадиное ржание:

— Вон отсюда, миссис Уол, вон! Вон отсюда, Соломон!

— Ах, братец Питер… — начала миссис Уол, но Соломон предостерегающе поднес к ее рту ладонь. Этот доживавший седьмой десяток старик с пухлыми обвисшими щеками и бегающими глазками был сдержаннее своего братца Питера и считал себя много умнее его. Действительно, ему было нелегко обмануться в человеке, поскольку он заранее подозревал всякого в такой алчности и бессовестности, что реальность вряд ли могла превзойти его ожидания. А невидимые силы, по его убеждению, можно было ублаготворить сказанными к месту сладкими словами — ведь произносит-то их человек состоятельный, пусть и не более благочестивый, чем все прочие.

— Братец Питер, — произнес он вкрадчивым и в то же время торжественным тоном, — мне надобно поговорить с тобой о Трех полях и о магнезии. Всевышнему ведомо, что у меня на уме…

— Ну, так ему ведомо больше, чем желаю знать я, — перебил Питер, но положил трость словно в знак перемирия. Впрочем, положил он ее набалдашником от себя, чтобы в случае рукопашной

ею можно было воспользоваться как булавой, и при этом внимательно посмотрел на лысую макушку Соломона.

— Ты можешь пожалеть, братец, если не поговоришь со мной, — сказал Соломон, оставаясь на месте. — Я бы посидел с тобой сегодня ночью, и Джейн тоже, и ты сам выберешь минуту, чтобы поговорить либо выслушать меня.

— Уж конечно сам, тебя не спрошу, — сказал Питер.

— Но сами выбрать минуту, чтобы умереть, вы, братец, не можете, — ввернула миссис Уол своим обычным приглушенным голосом. — А будете лежать тут, языка лишившись, да вдруг расстроитесь, что кругом чужие люди, и вспомните про меня и моих деток... — Тут ее голос прервался, столь жалостной была мысль, которую она приписала своему лишившемуся языка брату, — ведь что может быть трогательнее упоминания о себе самих?

— Как же, дожидайся! — сварливо отозвался Фезерстоун. — Не стану я о вас думать. Я завещание написал, слышите! Написал! — Тут он повернулся к миссис Винси и отхлебнул укрепляющего питья.

— Другие бы люди постыдились занимать не

свое место, — сказала миссис Уол, обратив туда же взгляд узеньких глазок.

— Что ты, сестрица! — вздохнул Соломон с иронической кротостью. — Мы ведь с тобой против них ни манерами, ни красотой, ни умом не вышли. Наше дело помалкивать, а те, кто ловчее, пусть лезут вперед нас.

Этого Фред не стерпел. Он вскочил на ноги и, глядя на мистера Фезерстоуна, спросил:

— Может быть, сэр, нам с маменькой уйти, чтобы вы могли побыть наедине с вашими близкими?

— Сядь, кому говорю! — прикрикнул Фезерстоун. — И сиди, где сидел. Прощай, Соломон, — добавил он, пытаясь снова замахнуться тростью, но тяжелый набалдашник перевесил, и это ему не удалось. — Прощайте, миссис Уол. И больше сюда не являйтесь.

— Я буду внизу, братец, — сказал Соломон. — Свой долг я исполню, а там посмотрим, какое будет соизволение всевышнего.

— Да уж, распорядиться имением помимо семьи, — подхватила миссис Уол, — когда есть степенные молодые люди, чтобы его приумножить. Но я жалею тех, кто не такой, и жалею их матерей. Прощайте, братец Питер.

— Вспомни, братец, что после тебя я старший и с самого начала преуспел наподобие тебя и обзавелся землей, тоже купленной на имя Фезерстоуна, — сказал Соломон, рассчитывая, что мысль эта может принести всходы во время ночных бдений. — Но покуда прощай!

Уход их был ускорен тем, что мистер Фезерстоун обеими руками потянул свой парик на уши, зажмурил глаза и зажевал губами, словно решив оглохнуть и ослепнуть.

Тем не менее они ежедневно приезжали в Стоун-Корт и сидели внизу на своем посту, иногда вполголоса неторопливо переговариваясь с такими паузами между вопросом и ответом, что случайный слушатель мог бы вообразить, будто перед ним говорящие автоматы, хитроумный механизм которых время от времени заедает. Соломон и Джейн знали, что поспешность ни к чему хорошему не приводит, — живым примером тому служил братец Иона по ту сторону стены.

Впрочем, их бдение в большой гостиной иногда разнообразилось присутствием гостей, прибывавших из ближних мест и из дальних. Теперь, когда Питер Фезерстоун лежал наверху у себя в спальне, можно было подробно обсуждать судьбу его имущества, пользуясь сведениями, раздобы-

тыми в его же доме: кое-какие сельские соседи и обитатели Мидлмарча выражали глубокое сочувствие близким больного и разделяли их негодование против семейства Винси, а дамы, беседуя с миссис Уол, иной раз проливали слезы, вспомнив собственные былые разочарования из-за приписок к завещаниям или из-за браков, в которые назло им вступали неблагодарные дряхлеющие джентльмены — а ведь, казалось бы, дни их были продлены для чего-то более высокого. Такие разговоры сразу замирали, как звуки органа, когда из мехов выдавлен весь воздух, едва в гостиную входила Мэри Гарт, и все глаза обращались на нее — ведь она была возможной наследницей, а может быть, и имела доступ к железным сундукам.

Мужчины помоложе — родственники и свойственники старика — находили немало привлекательных свойств в девушке, на которую ложились эти прихотливые и заманчивые отблески: она держалась с таким достоинством и в этой лотерее могла оказаться если не главным, то все-таки недурным призом. А потому Мэри получала свою долю комплиментов и лестного внимания.

Особенно щедр и на то и на другое был мистер

Бортроп Трамбул, солидный холостяк и местный аукционщик, без которого не обходилась ни одна продажа земли или скота, — фигура, бесспорно, видная, ибо его фамилия значилась на множестве объявлений, и он испытывал снисходительную жалость к тем, кто о нем не слышал. Питеру Фезерстоуну он приходился троюродным братом, старик был с ним приветливее, чем с остальными родственниками, как с человеком полезным в делах, и в описании похоронной процессии, продиктованном самим стариком, он числился среди выносящих гроб. Мерзкая алчность не гнездилась в душе мистера Бортропа Трамбула, он лишь твердо знал цену своим достоинствам и не сомневался, что любым соперникам с ним тягаться трудно. А потому если Питер Фезерстоун, который с ним, Бортропом Трамбулом, всегда вел себя выше всяких похвал, не забудет его в своем завещании, что же — он никогда не заискивал перед стариком и ничего не старался у него выманить, а давал ему наилучшие советы, какие только может обеспечить обширный опыт, накапливаемый вот уже более двадцати лет, с тех самых пор, как он на пятнадцатом году жизни поступил подручным к тогдашнему аукционщику. Его умение восхищаться отнюдь

не ограничивалось собственной персоной — и профессионально, и в частной жизни он обожал оценивать всевозможные предметы как можно выше. Он был любителем пышных фраз и, ненароком выразившись по-простому, тут же поправлялся — к счастью, так как он отличался громогласием и стремился всюду первенствовать: постоянно вскакивал, расхаживал взад и вперед, одергивал жилет с видом человека, остающегося при своем мнении, водил указательным пальцем по лицу и в промежутках между этими движениями поигрывал внушительными печатками на часовой цепочке. Иногда его брови сурово хмурились, но обычно гнев этот бывал вызван очередным нелепым заблуждением, которых в мире такое обилие, что человеку начитанному и умудренному опытом трудно не выйти из терпения. По его убеждению, Фезерстоуны в целом звезд с неба не хватали, но, как человек бывалый, с солидным положением, он ничего против них не имел и даже побеседовал на кухне с мистером Ионой и юным Крэнчем, оставшись в полной уверенности, что произвел на этого последнего глубокое впечатление своей осведомленностью о делах Меловой Долины. Если бы кто-нибудь в его присутствии сказал, что мистер Бортроп

Трамбул, как аукционщик, конечно, знаток всего сущего, он бы улыбнулся и молча провел по своей физиономии пальцем, не усомнившись, что так оно и есть. Короче говоря, в аукционном смысле он был достойным человеком, не стыдился своего занятия и верил, что «прославленный Пиль, ныне сэр Роберт»[119], будучи ему представлен, не преминул бы отдать ему должное.

— Я бы, с вашего разрешения, мисс Гарт, не отказался от кусочка окорока и кружечки эля, — сказал он, входя в гостиную в половине двенадцатого, после того как его допустил к себе старик Фезерстоун (редчайшая честь!), и встал спиной к камину между миссис Уол и Соломоном. — Да не трудитесь выходить, позвольте, я позвоню.

— Благодарю вас, — сказала Мэри, — но мне надо кое-чем заняться на кухне.

— Вы, мистер Трамбул, в большой милости, как погляжу, — сказала миссис Уол.

— А? Что я побывал у нашего старичка? — отозвался аукционщик, равнодушно поигрывая печатками. — Так ведь он всегда на меня очень полагался. — Тут он крепко сжал губы и задумчиво сдвинул брови.

---

**[119] Примечания: 119**

После смерти своего отца 3 мая 1830 г. Роберт Пиль унаследовал титул баронета.

— А нельзя ли людям полюбопытствовать, что говорил их родной брат? — осведомился Соломон смиренным тоном (ради удовольствия похитрить: ведь он был богат и в смирении не нуждался).

— Почему же нельзя? — ответил мистер Трамбул громко, добродушно и со жгучей иронией. — Задавать вопросы всем дозволено. Любой человек имеет право придавать своим словам вопросительную форму, — продолжал он, и звучность его голоса возрастала пропорционально пышности стиля. — Лучшие ораторы постоянно вопрошают, даже когда не ждут ответа. Это так называемая фигура речи — фигуристая речь, иначе говоря. — И красноречивый аукционщик улыбнулся своей находчивости.

— Я только рад буду услышать, что он не забыл вас, мистер Трамбул, — сказал Соломон. — Я не против, если человек того заслуживает. Вот если кто-то не заслуживает, так я против.

— То-то и оно, то-то и оно, — многозначительно произнес мистер Трамбул. — Разве можно отрицать, что люди, того не заслуживавшие, включались в завещания, и даже как главные наследники? Волеизъявление завещателя, что поделаешь. — Он снова сжал губы и слегка на-

хмурился.

— Вы что же, мистер Трамбул, за наверное знаете, что братец оставил свою землю помимо семьи? — сказала миссис Уол, на которую при ее склонности к пессимизму эти кудрявые фразы произвели самое гнетущее впечатление.

— Уж проще сразу отдать свою землю под богадельню, чем завещать ее некоторым людям, — заметил Соломон, когда вопрос его сестрицы остался без ответа.

— Это что же? Всю лучшую землю? — снова спросила миссис Уол. — Да не может быть, мистер Трамбул. Это же значит прямо идти наперекор всемогущему, который ниспослал ему преуспеяние.

Пока миссис Уол говорила, мистер Бортроп Трамбул направился от камина к окну, провел указательным пальцем под галстуком, по бакенбардам и по волосам. Затем подошел к рабочему столику мисс Гарт, открыл лежавшую там книгу и прочел заглавие вслух с такой внушительностью, словно выставлял ее на продажу:

— «Анна Гейрштейнская, или Дева Тумана, произведение автора «Уэверли», — и, перевернув страницу, начал звучным голосом: — «Миновало почти четыре столетия с тех пор, как события,

изложенные в последующих главах, разыгрались на континенте». — Последнее, бесспорно звонкое слово он выговорил с ударением на втором слоге, не потому что не знал, как оно произносится, но желая таким новшеством усилить величавый каданс, который в его чтении приобрела эта фраза.

Тут вошла служанка с подносом, и мистер Трамбул благополучно избавился от необходимости отвечать на вопрос миссис Уол, которая, наблюдая вместе с Соломоном за каждым его движением, думала о том, что образованность — большая помеха в серьезных делах. На самом деле мистер Бортроп Трамбул не имел ни малейшего понятия о завещании старика Фезерстоуна, но он ни в коем случае не признался бы в своей неосведомленности — разве что его арестовали бы за недонесение о заговоре против безопасности государства.

— Я обойдусь кусочком ветчины и кружечкой эля, — сказал он благодушно. — Как служитель общества я кушаю, когда выпадает свободная минута. Другой такой ветчины, — заявил он, глотая кусок за куском с почти опасной быстротой, — не найти во всем Соединенном Королевстве. По моему мнению, она даже лучше, чем ветчина во Фрешит-Холле, а я в этом не такой уж дурной

судья.

— Некоторые люди предпочитают не класть в окорок столько сахару, — сказала миссис Уол. — Но бедный братец сахару не жалел.

— Тем, кому такая ветчина плоха, не возбраняется поискать лучше. Но, боже святый, что за аромат! Я был бы рад купить подобный окорок. Джентльмен испытывает глубокое удовлетворение, — тут в голосе мистера Трамбула проскользнула легкая укоризна, — когда на его стол подают подобную ветчину.

Он отставил тарелку, налил свою кружечку эля и слегка выдвинул стул вперед, что дало ему возможность обозреть внутреннюю сторону его ляжек, которые он затем одобрительно погладил, — мистер Трамбул отлично усвоил все более или менее чинные позы и жесты, которые отличают главнейшие северные расы.

— У вас тут, как я вижу, лежит интересное произведение, мисс Гарт, — сказал он, когда Мэри вернулась в гостиную. — Автора «Уэверли», иными словами сэра Вальтера Скотта. Я сам приобрел одно из его произведений — приятная вещица, превосходно изданная и озаглавленная «Айвенго». Такой писатель, чтобы его побить, я думаю, не скоро сыщется — его, по моему мнению, в

ближайшее время превзойти никому не удастся. Я только что прочел вступительные строки «Анны Гейрштейнской». Превосходный приступ. (Мистер Бортроп Трамбул пренебрегал простым словом «начало» и в частной жизни, и в объявлениях.) Вы, как вижу, любительница чтения. Вы состоите подписчицей нашей мидлмарчской библиотеки?

— Нет, — ответила Мэри. — Эту книгу привез мистер Фред Винси.

— Я сам большой поклонник книг, — продолжал мистер Трамбул. — У меня имеется не менее двухсот томов в кожаных переплетах, и льщу себя мыслью, что выбраны они со вкусом. А также картины Мурильо, Рубенса, Тенирса, Тициана, Ван Дейка и других. Буду счастлив одолжить вам любое произведение, какое вы пожелаете, мисс Гарт.

— Я весьма вам обязана, — ответила Мэри, вновь поспешно направляясь к двери, — но у меня почти нет времени для чтения.

— Уж ее-то братец, наверное, в завещании упомянул, — сказал мистер Соломон еле слышным шепотом, когда дверь закрылась, и кивнул головой вслед исчезнувшей Мэри.

— Первая-то его жена была ему не пара, — за-

метила миссис Уол. — Никакого приданого не принесла, а эта девушка всего только ее племянница. И гордячка. Братец ей жалованье платил.

— Но весьма разумная девица, по моему мнению, — объявил мистер Трамбул, допил эль и, поднявшись, одернул жилет самым решительным образом. — Я наблюдал, как она капала лекарство. Она, сэр, следит за тем, что делает. Прекрасное качество для женщины и весьма кстати для нашего друга там наверху, бедного страдальца. Человек, чья жизнь имеет ценность, должен искать в жене сиделку. Вот что буду иметь в виду я, если почту нужным жениться, и, полагаю, я достаточно долго был холостяком, чтобы не сделать тут ошибки. Некоторые люди вынуждены жениться, чтобы добавить себе благородства, но когда в этом возникнет нужда у меня, надеюсь, кто-нибудь мне так и скажет — надеюсь, какой-нибудь индивид поставит меня в известность об этом факте. Желаю вам всего хорошего, миссис Уол. Всего хорошего, мистер Соломон. Надеюсь, мы еще встретимся при не столь печальных обстоятельствах.

Когда мистер Трамбул удалился, отвесив изысканный поклон, Соломон придвинулся к сестре и сказал:

— Уж поверь, Джейн, братец оставил этой девчонке кругленькую сумму.

— По тому, как мистер Трамбул тут разливался, догадаться нетрудно, — ответила Джейн. И помолчав, добавила: — Его послушать, так мои дочки уж и капель накапать не сумеют.

— Аукционщики сами не знают, что болтают, — отозвался Соломон. — Хотя Трамбул немало нажил, это у него не отнимешь.

## Глава XXXIII

*...Закройте*
*Ему глаза и опустите полог;*
*А нам предаться должно*
*размышленьям.*

***Шекспир, «Генрих VI», часть II***

В эту ночь около двенадцати часов Мэри Гарт поднялась в спальню к мистеру Фезерстоуну и осталась с ним одна до рассвета. Она часто брала на себя эту обязанность, находя в ней некоторое удовольствие, хотя старик, когда ему требовались ее услуги, бывал с ней груб. Но нередко выпадали целые часы, когда она могла посидеть в полном покое, наслаждаясь глубокой тишиной и полумраком. В камине чуть слышно шуршали угли, и багровое пламя, казалось, жило своей благородной жизнью, безмятежно не ведая ничтожных страстей, глупых желаний и мелких интриг, которые она день за днем презрительно наблюдала. Мэри любила размышлять и не скучала, тихо сидя в темной комнате. Еще в детстве она убедилась, что мир создан не ради ее счастья, и не тратила времени на то, чтобы огорчаться и

досадовать из-за этого. Жизнь давно представлялась ей комедией, и она гордо — нет, благородно — решила, что не будет играть в этой комедии ни низкой, ни коварной роли. От насмешливого цинизма Мэри спасала любовь к родителям, которых она глубоко уважала, и умение радоваться и быть благодарной за все хорошее, не питая несбыточных надежд.

В эту ночь она, по своему обыкновению, перебирала в памяти события дня и чуть-чуть улыбалась всяким нелепостям и несуразицам, которые ее фантазия украшала новыми смешными подробностями. Как забавны люди с их склонностью к иллюзиям и самообману! Они, сами того не замечая, расхаживают в дурацких колпаках, верят, будто их собственная ложь всегда сходит за истину, а не очевидна, как у других, и считают себя исключением из любого правила, точно они одни остаются розовыми при свете лампы, которая желтит всех остальных. Тем не менее не все иллюзии, которые наблюдала Мэри, вызывали у нее улыбку. Хорошо зная старика Фезерстоуна, она была втайне убеждена, что семью Винси, как бы ему ни нравилось общество Фреда и его матери, ждет не меньшее разочарование, чем всех тех родственников, которых он к себе

не допускает. Она с пренебрежением замечала опасливые старания миссис Винси не оставлять их с Фредом наедине, однако на сердце у нее становилось тревожно, едва она начинала думать о том, что придется перенести Фреду, если дядя и правда ему ничего не оставит. Она посмеивалась над Фредом в его присутствии, но это не мешало ей огорчаться из-за его недостатков.

Тем не менее ей нравилось размышлять над всем этим: энергичный молодой ум, не отягченный страстью, увлеченно познает жизнь и с любопытством испытывает собственные силы. Несмотря на свою сдержанность, Мэри умела посмеяться в душе.

Сострадание к старику не омрачало ее мыслей — подобное чувство можно внушить себе, но трудно искренне испытывать к дряхлой развалине, все существование которой исчерпывается лишь эгоизмом и остатками былых пороков. Мистер Фезерстоун всегда был с ней суров и придирчив — он ею не гордился и считал всего лишь полезной. Оставим святым тревогу за души тех, от кого вы никогда не слышали ничего, кроме окриков и ворчания, — а Мэри не была святой. Она ни разу не позволила себе резкого ответа и ухаживала за стариком со всем старанием, но и

только. Впрочем, сам мистер Фезерстоун тоже о своей душе не тревожился и не пожелал побеседовать об этом предмете с мистером Такером.

В эту ночь он ни разу не заворчал на нее и часа два лежал без всякого движения. Потом Мэри услышала позвякивание — это связка ключей ударилась о жестяную шкатулку, которую старик всегда держал возле себя на кровати. Время близилось к трем, когда он сказал очень внятно:

— Поди сюда, девочка!

Мэри подошла к кровати и увидела, что старик уже сам извлек шкатулку из-под одеяла, хотя обычно просил об этом ее, и выбрал из связки нужный ключ. Он отпер шкатулку, вынул из нее другой ключ, поглядел на Мэри почти прежним сверлящим взглядом и спросил:

— Сколько их в доме?

— Вы спрашиваете о ваших родственниках, сэр? — сказала Мэри, привыкшая к его манере выражаться. Он чуть наклонил голову, и она продолжала: — Мистер Иона Фезерстоун и мистер Крэнч ночуют здесь.

— А-а! Впились пиявки? А остальные? Небось каждый день являются — Соломон, Джейн и все молокососы? Подглядывают, подсчитывают, прикидывают?

— Нет, каждый день бывают только мистер Соломон и миссис Уол. Но остальные приезжают часто.

Старик слушал ее, скривившись в гримасе, но затем его лицо приняло обычное выражение и он сказал:

— Ну и дураки. Ты слушай, девочка. Сейчас три часа ночи, и я в полном уме и твердой памяти. Я знаю всю свою недвижимость, и куда деньги вложены, и прочее. И я так устроил, чтобы напоследок мог все переменить и сделать по своему желанию. Слышишь, девочка? Я в полном уме и твердой памяти.

— Так что же, сэр? — спокойно спросила Мэри.

Он с хитрым видом понизил голос до шепота:

— Я сделал два завещания и одно хочу сжечь. Слушай, что я тебе говорю. Это вот ключ от железного сундука в алькове. Надави на край медной дощечки на крышке. Она отодвинется, как засов, и откроется скважина замка. Отопри сундук и вынь верхнюю бумагу, «Последняя воля и распоряжения» — крупные такие буквы.

— Нет, сэр, — твердо сказала Мэри. — Этого я сделать не могу.

— Как так не можешь? Я же тебе велю. — Голос старика, не ожидавшего возражений, задрожал.

— Ни к вашему железному сундуку, ни к вашему завещанию я не прикоснусь. Ничего, что могло бы бросить на меня подозрение, я делать не стану.

— Говорю же тебе, я в здравом уме. Что ж, я под конец не могу сделать по своему желанию? Я нарочно составил два завещания. Бери ключ, кому сказано!

— Нет, сэр, не возьму, — еще решительнее ответила Мэри, возмущение которой росло.

— Да говорят же тебе, времени остается мало.

— Это от меня не зависит, сэр. Но я не хочу, чтобы конец вашей жизни замарал начало моей. Я не прикоснусь ни к вашему железному сундуку, ни к вашему завещанию. — И она отошла от кровати.

Старик несколько мгновений растерянно смотрел на ключ, который держал отдельно от связки, потом, дернувшись всем телом, начал костлявой левой рукой извлекать из жестяной шкатулки ее содержимое.

— Девочка, — заговорил он торопливо. — Послушай! Возьми эти деньги… банкноты, золото… Слушай же!.. Возьми, все возьми! Только сделай, как я говорю.

Он с мучительным усилием протянул ей ключ, но Мэри попятилась.

— Я не прикоснусь ни к ключу, ни к вашим деньгам, сэр. Пожалуйста, не просите меня больше. Или я должна буду позвать вашего брата.

Фезерстоун уронил руку, и впервые в жизни Мэри увидела, как Питер Фезерстоун заплакал, точно ребенок. Она сказала уже мягче:

— Пожалуйста, уберите ваши деньги, сэр, — и опять села на свое место у огня, надеясь, что ее отказ убедил его в бесполезности дальнейших просьб. Через минуту старик встрепенулся и сказал настойчиво:

— Послушай. Тогда позови мальчика. Позови Фреда Винси.

Сердце Мэри забилось сильнее. В голове у нее вихрем закружились догадки о том, к чему может привести сожжение второго завещания. Она должна была, почти не размышляя, принять трудное решение.

— Я позову его, если вы разрешите позвать мистера Иону и остальных.

— Только его! Мальчика, и никого больше. Я сделаю по своему желанию.

— Подождите до утра, сэр, когда все проснутся. Или, хотите, я разбужу Симмонса и пошлю его за нотариусом? Он будет здесь через два часа, а может быть, и раньше.

— За нотариусом? Зачем мне нотариус? Никто не узнает… говорю же тебе, никто не узнает. Я сделаю по своему желанию.

— Разрешите, сэр, я кого-нибудь позову, — сказала Мэри, стараясь его убедить. Она боялась оставаться наедине со стариком, который находился во власти странного нервного возбуждения и, говоря с ней, даже ни разу не закашлялся, и ей не хотелось все время возражать ему, волнуя его еще больше.

— Никого мне не надо, говорят же тебе. Послушай, девочка, возьми деньги. Больше у тебя такого случая не будет. Тут почти двести фунтов, а в шкатулке еще больше, и никто не знает, сколько там всего было. Возьми их и сделай, что я сказал.

Красный отсвет огня в камине ложился на полусидящего в постели старика, на подушки за его спиной, на ключ, зажатый в костлявых пальцах, на деньги рядом с его рукой. Мэри до конца своих дней запомнила его таким — человека, который, и умирая, хотел сделать все по своему желанию. Но упрямая настойчивость, с какой он навязывал ей деньги, заставила ее сказать еще тверже:

— Не надо, сэр. Я этого не сделаю. Уберите свои деньги, я к ним не прикоснусь. Если я еще как-то

могу помочь вам, только скажите, но ни к вашим ключам, ни к вашим деньгам я не прикоснусь.

— Еще как-то, еще как-то! — повторил старик, захрипев от ярости. Голос не слушался его, точно в кошмаре. Он пытался говорить громко, но только шептал еле слышно. — Мне ничего другого не нужно. Подойди сюда. Да подойди же.

Мэри приблизилась к нему осторожно, так как хорошо его знала. Он выпустил ключи и попытался схватить трость, его лицо исказилось от усилия, стало похожим на морду дряхлой гиены. Девушка остановилась на безопасном расстоянии.

— Позвольте, я дам вам лекарство, — сказала она мягко. — И постарайтесь успокоиться. Быть может, вы уснете. А утром сделаете по своему желанию.

Старик все-таки ухватил трость и попытался швырнуть ее в девушку, но силы ему изменили, и трость соскользнула с кровати на пол. Мэри не стала ее поднимать и вернулась на свое место у камина, решив немного выждать, а потом дать ему лекарство. Утомление укротит его. Приближался холодный час рассвета, огонь в камине почти угас, и между неплотно сдвинутыми занавесками виднелась полоска белесого света,

пробивающегося сквозь ставни. Мэри подложила поленьев в камин, накинула на плечи шаль и снова села. Мистер Фезерстоун как будто задремал, и она опасалась подходить к нему, чтобы не вызвать нового взрыва раздражения. После того как он бросил трость, старик не промолвил ни слова, но она видела, что он снова взял ключи и положил левую руку на деньги. Однако в шкатулку он их не убрал и, по-видимому, уснул.

Но сама Мэри, обдумывая недавнюю сцену, пришла в гораздо большее волнение, чем тогда, когда спорила со стариком; она уже не знала, правильно ли поступила, отказавшись выполнить его желание, хотя в то мгновение у нее никаких сомнений не было.

Вскоре сухие поленья вспыхнули ярким пламенем, озарившим все темные углы, и Мэри увидела, что старик лежит спокойно, чуть повернув голову набок. Она неслышным шагом подошла к нему и подумала, что его лицо выглядит странно неподвижным, но в следующий миг пламя затанцевало, все вокруг словно зашевелилось, и Мэри подумала, что ошиблась. Ее сердце стучало так сильно, что она не доверяла себе и осталась в нерешительности, даже когда положила руку ему на лоб и прислушалась, дышит ли

он. Подойдя к окну, она осторожно отодвинула занавеску, открыла ставню, и на кровать упал отблеск утреннего неба.

В следующее мгновение она бросилась к колокольчику и громко позвонила. Сомнений больше быть не могло: Питер Фезерстоун лежал мертвый, правая его рука сжимала ключи, а левая накрывала кучку банкнот и золотых монет.

# Книга четвертая
# Три любовные проблемы

## Глава XXXIV

***Первый джентльмен***
*Такие люди – пух, солома, щепки,*
*Ни веса в них, ни силы.*
***Второй джентльмен***
*Легкость их*
*Свою имеет власть.*
*Бессилье ведь*
*Есть сила, и движение вперед*
*Сокрыто в остановке. А корабль*
*Бывает в бурю выкинут на риф*
*Затем, что кормчий не сумел найти*
*Для сил противных равновесья…*

Хотя Питера Фезерстоуна хоронили майским утром, май в прозаических окрестностях Мидлмарча далеко не всегда бывает солнечным и теплым, и в это утро холодный ветер сыпал на зеленеющие могилы лоуикского кладбища цветочные лепестки, сорванные в соседних садах. Солнечные лучи лишь изредка прорывались сквозь тучи, озаряя какой-нибудь предмет, красивый или безобразный, оказавшийся в пределах их золотого потока. На кладбище предметы эти

были весьма разнообразны, так как туда явилось поглазеть на похороны немало местных жителей. По слухам, погребение ожидалось «пышное» — поговаривали, что старик оставил подробные письменные распоряжения, чтобы его похоронили, «как и знать не хоронят». Это соответствовало истине. Старик Фезерстоун вовсе не походил на Гарпагона[120], все страсти которого были пожраны одной ненасытной страстью к накопительству и который перед смертью, конечно, постарался бы выторговать у гробовщика скидку. Фезерстоун любил деньги сами по себе, но с удовольствием тратил их на удовлетворение своих чудаковатых прихотей, и пожалуй, больше всего он ценил деньги за то, что они давали ему власть над людьми и возможность доставлять этим людям неприятные минуты. Если кто-нибудь захочет тут возразить, что не мог Фезерстоун быть вовсе лишен душевной доброты, я не возьму на себя смелость отрицать это, но ведь душевная доброта по сути своей скромна и даже робка, и когда в раннюю пору жизни ее бесцеремонно оттирают в сторону наглые пороки, она обычно затворяется от мира, а потому в нее легче верить

**[120] Примечания: 120**

*Гарпагон* — главное действующее лицо комедии Мольера (1622 — 1673) «Скупой».

тем, кто создает воображаемый образ старого эгоиста, чем тем, кто более нетерпим в своих заключениях, опирающихся на личное знакомство. Как бы то ни было, мистер Фезерстоун хотел, чтобы его похоронили с большой помпой и чтобы в последний путь его провожали люди, которые предпочли бы остаться дома. Он даже выразил желание, чтобы за гробом обязательно следовали его родственницы, и бедная сестрица Марта ради этого должна была, не считаясь с трудностями, приехать из Меловой Долины. Она и сестрица Джейн, несомненно, воспряли бы духом (хотя и скорбя), ибо такое распоряжение было знаком, что братец, не терпевший их присутствия, пока был жив, потребовал его как завещатель, но, к большому их огорчению, знак этот утратил определенность, поскольку распространялся и на миссис Винси, которая не пожалела денег на черный креп, явно свидетельствовавший о самых неуместных надеждах, тем более предосудительных, что ее цветущий вид сразу выдавал принадлежность не к семейному клану, но к пронырливому племени, именуемому родней жены.

Все мы в той или иной степени наделены воображением, ибо образы суть порождение желаний, и бедняга Фезерстоун, постоянно потешавшийся

над тем, как другие поддаются самообману, тоже не избежал плена иллюзий. Составляя программу своих похорон, он, несомненно, забывал, что его удовольствие от спектакля, частью которого будут эти похороны, ограничивается предвкушением. Посмеиваясь над тем, сколько досады, обид и раздражения вызовет окостенелая хватка его мертвой руки, старик невольно приписывал недвижному бесчувственному праху свое нынешнее сознание и, не заботясь о жизни будущей, смаковал злорадное удовлетворение, которое рассчитывал получить в гробу. Таким образом, старик Фезерстоун, бесспорно, обладал своеобразным воображением.

Как бы то ни было, три траурные кареты заполнились в точном соответствии с письменными указаниями покойного. Шарфы всадников, сопровождавших гроб, и ленты на их шляпах были из самого дорогого крепа, и даже знаки скорби на одежде помощников гробовщика отличались добротной солидностью и обошлись в немалую сумму. Провожающие вышли из карет, всадники спешились, и черная процессия, вступившая на маленькое кладбище, выглядела очень внушительно, а насупленные лица людей и их черные одежды, которые трепал ветер, казалось, принад-

лежали особому миру, странно несовместимому с кружащимися в воздухе лепестками и солнечными бликами среди маргариток. Священником, который встретил процессию, был мистер Кэдуолледер — также выбор Питера Фезерстоуна, объяснявшийся характерными для него соображениями. Он презирал младших священников — недомерков, как он их называл, — и хотел, чтобы его хоронил священник, имеющий приход. Мистер Кейсобон для этого не годился не только потому, что всегда перекладывал подобные обязанности на мистера Такера, но и потому, что Фезерстоун терпеть его не мог — как приходского священника, взимающего дань с его земли в виде десятины, а также за утренние проповеди, которые хорошо выспавшийся старик волей-неволей выслушивал, чинно сидя на своей скамье и внутренне кипя. Он бесился, что его поучает поп, который глядит на него сверху вниз. Отношения же его с мистером Кэдуолледером были совсем иного рода: ручей с форелью протекал не только по земле мистера Кейсобона, но и огибал фезерстоуновское поле, а потому мистер Кэдуолледер был попом, который просил об одолжении, а не поучал с кафедры. Кроме того, он жил в четырех милях от Лоуика и принадлежал к местной знати,

пребывая таким образом на одном небе с шерифом графства и другими высокопоставленными лицами, которые по неисповедимым причинам необходимы для системы всего сущего. Мысль, что служить по нему заупокойную службу будет мистер Кэдуолледер, тешила старика еще и потому, что эту фамилию можно было при желании переиначивать на всякие лады.

Честь, оказанная священнику приходов Типтон и Фрешит, привела к тому, что в группе лиц, наблюдавших за похоронами Фезерстоуна из окна комнаты на втором этаже Лоуик-Мэнора, находилась и миссис Кэдуолледер. Она не любила бывать в этом доме, но, по ее словам, обожала коллекции редких животных, вроде тех, которые соберутся на эти похороны, а потому уговорила сэра Джеймса и молодую леди Четтем отвезти ее с мужем в Лоуик, чтобы этот визит стал совсем уж приятным.

«Я поеду с вами, куда вы захотите, миссис Кэдуолледер, — ответила Селия, — но я не люблю похорон».

«Ах, душечка, раз у вас в семье есть священнослужитель, вам следует переменить вкусы. Я проделала это очень давно. Выходя замуж за Гемфри, я твердо решила, что полюблю проповеди,

и начала с того, что с удовольствием слушала самый конец. Затем это чувство распространилось на середину и на начало, так как без них не было бы и конца».

«О, разумеется», — величественно подтвердила вдовствующая леди Четтем.

Удобнее всего смотреть на похороны было из той комнаты на втором этаже, в которой проводил время мистер Кейсобон, когда ему запретили работать. Однако теперь он вопреки всем предостережениям и предписаниям уже почти вернулся к привычному образу жизни и, вежливо поздоровавшись с миссис Кэдуолледер, ускользнул в библиотеку, чтобы продолжать пережевывать жвачку ученой ошибки, касавшейся Куша и Мицраима.

Если бы не гости, Доротея тоже затворилась бы в библиотеке и не увидела бы похорон старика Фезерстоуна, которые, как ни далеки они казались от всего строя ее жизни, впоследствии постоянно вставали перед ней, когда что-то задевало некие чувствительные струны ее памяти, — точно так же, как собор святого Петра в Риме был для нее неразрывно слит с ощущением уныния и безнадежности. Сцены, связанные с важнейшими переменами в судьбе других людей, составляют

лишь фон нашей жизни, но, как поля и деревья в особом освещении, они ассоциируются для нас с определенными моментами нашей собственной истории и становятся частью того единства, в которое слагаются самые яркие наши впечатления.

Такое приобщение чего-то чуждого и малопонятного к заветнейшим тайнам души, невнятное, как сонное видение, словно отражало то ощущение одиночества, на которое обрекала Доротею пылкость ее натуры. Провинциальная знать былых времен обитала в разреженном социальном воздухе: из уединенных приютов на горных вершинах они взирали на кишевшую внизу жизнь близорукими глазами. Но Доротее было на этих высотах тоскливо и холодно.

— Я не стану больше смотреть, — сказала Селия, когда процессия скрылась в дверях церкви, и встала позади мужа, чтобы тайком касаться щекой его плеча. — Возможно, это во вкусе Додо: ведь ей нравятся всякие печальные вещи и безобразные люди.

— Мне нравится узнавать новое о людях, среди которых я живу, — ответила Доротея, следившая за похоронами с интересом монахини, отправившейся странствовать по белому свету. — Мне кажется, мы ничего не знаем о наших соседях,

кроме самых бедных арендаторов. А ведь невольно задумываешься над тем, как живут другие люди и как они смотрят на мир. Я очень благодарна миссис Кэдуолледер за то, что она приехала к нам и позвала меня сюда из библиотеки.

— И есть за что! — отозвалась миссис Кэдуолледер. — Ваши богатые лоуикские фермеры занятны не меньше всяких буйволов и бизонов, а ведь в церкви, полагаю, вам их приходится видеть не так уж часто. Они совсем не похожи на арендаторов вашего дяди или сэра Джеймса: настоящие чудища — фермеры, которые владеют собственной землей. Даже непонятно, к какому сословию их относить.

— Ну, в этой процессии лоуикских фермеров не так уж много, — заметил сэр Джеймс. — По-моему, это наследники из Мидлмарча и всяких отдаленных мест. Лавгуд говорил, что старик оставил не только землю, но и порядочный капитал.

— Только подумать! А младшие сыновья хороших фамилий иной раз не могут даже пообедать на собственный счет! — воскликнула миссис Кэдуолледер. — А! — произнесла она, оборачиваясь на скрип двери. — Вот и мистер Брук! Меня все время мучило ощущение, что тут кого-то не хватает, и вот объяснение. Вы, разумеется, приехали

посмотреть эти странные похороны?

— Нет, я приехал взглянуть на Кейсобона, посмотреть, как он себя чувствует, знаете ли. И сообщить одну новость, да, новость, милочка, — объявил мистер Брук, кивая Доротее, которая подошла поздороваться с ним. — Я заглянул в библиотеку и увидел, что Кейсобон сидит над книгами. Я сказал ему, что так не годится, я сказал ему: «Так не годится, знаете ли. Подумайте о своей жене, Кейсобон». И он обещал подняться сюда. Я не сообщил ему мою новость. Я сказал, чтобы он поднялся сюда.

— А, они выходят из церкви! — вскричала миссис Кэдуолледер. — До чего же удивительная смесь! Мистер Лидгейт… как врач, я полагаю. Какая красивая женщина! А этот белокурый молодой человек, наверное, ее сын. Вы не знаете, сэр Джеймс, кто они?

— Рядом с ними идет Винси, мидлмарчский мэр. По-видимому, это его жена и сын, — ответил сэр Джеймс, бросая вопросительный взгляд на мистера Брука. Тот кивнул и сказал:

— Да, и очень достойная семья. Винси — превосходный человек и образцовый фабрикант. Вы встречали его у меня, знаете ли.

— Ах да! Член вашего тайного кабинета, — под-

дразнила его миссис Кэдуолледер.

— Любитель скачек! — заметил сэр Джеймс с пренебрежением любителя лисьей травли.

— И один из тех, кто отнимает последний кусок хлеба у несчастных ткачей в Типтоне и Фрешите[121]. Вот почему у его семейства такой сытый и ухоженный вид, — сказала миссис Кэдуолледер. — Эти темноволосые люди с сизыми лицами служат им отличным фоном. Ну, просто набор кувшинов! А Гемфри! В белом облачении он выглядит среди них настоящим архангелом, хотя и не блещет красотой.

— А все-таки похороны — торжественная штука, — сказал мистер Брук. — Если взглянуть на них в таком свете, знаете ли.

— Но я на них в таком свете не гляжу. Я не могу все время благоговеть, не то мое благоговение скоро истреплется. Старику была самая пора умереть, и никто из них там никакого горя не испытывает.

— Как это ужасно! — воскликнула Доротея. — Ничего более унылого, чем эти похороны, мне видеть не доводилось. Из-за них утро словно

---

**[121] Примечания: 121**

В начале XIX в. в Англии еще сохранялось ткачество как деревенское ремесло, но оно стремительно приходило в упадок из-за конкуренции дешевых фабричных тканей.

померкло. Страшно подумать, что кто-то умер и ни одно любящее сердце о нем не тоскует.

Она собиралась сказать еще что-то, но тут вошел ее муж и сел в некотором отдалении от остальных. В его присутствии ей было трудно говорить. Нередко у нее возникало ощущение, что он внутренне не одобряет ее слова.

— А вот кто-то совсем новый! — объявила миссис Кэдуолледер. — Вон позади того толстяка. И пожалуй, самый забавный: приплюснутый лоб и выпученные глаза. Ну настоящая лягушка! Да посмотрите же! Наверное, он другой крови, чем они все.

— Дайте я погляжу! — сказала Селия, с любопытством наклоняясь через плечо миссис Кэдуолледер. — Какая странная физиономия! — И внезапно с удивлением, но уже совсем другим тоном, она добавила: — А ты мне не говорила, Додо, что приехал мистер Ладислав!

Сердце Доротеи тревожно сжалось. Она тотчас повернулась к дяде, и все заметили, как она побледнела. Мистер Кейсобон не спускал с нее глаз.

— Он приехал со мной, знаете ли. Как мой гость — он гостит у меня в Типтон-Грейндже, — объяснил мистер Брук самым непринужденным тоном и кивнул Доротее, словно она была обо

всем осведомлена заранее. — И мы привезли картину, привязали ее к верху кареты. Я знал, что вы будете довольны моим сюрпризом, Кейсобон. И он совсем как живой, то есть я имею в виду Фому Аквинского. Очень, очень мило. Вам надо послушать, как говорит о картине Ладислав. Он прекрасно говорит, указывает на то и на это… Весьма осведомлен в искусстве, ну и так далее. И превосходный собеседник: может поддержать разговор о чем угодно. Мне давно требовалось что-нибудь такое, знаете ли.

Мистер Кейсобон поклонился с холодной учтивостью. Он справился со своим раздражением, но настолько лишь, чтобы промолчать. Он, как и Доротея, прекрасно помнил о письме Уилла и, не обнаружив его среди писем, которые разбирал после своего выздоровления, заключил про себя, что Доротея известила Уилла, чтобы он не приезжал в Лоуик, а болезненная гордость не позволила ему вновь коснуться этой темы. Теперь он решил, что она попросила дядю пригласить Уилла в Типтон-Грейндж. Доротея догадывалась о его мыслях, но сейчас было не время для объяснений.

Миссис Кэдуолледер оторвалась от созерцания кладбища и, увидев не вполне понятную ей

немую картину, не удержалась от вопроса:

— А кто такой этот мистер Ладислав?

— Молодой родственник мистера Кейсобона, — тотчас ответил сэр Джеймс. Сердечная доброта делала его чутким: он заметил взгляд, который Доротея бросила на мужа, и понял, что она встревожена.

— Очень приятный молодой человек, и всем обязан Кейсобону, — объяснил мистер Брук. — И вполне оправдывает ваши затраты на него, Кейсобон, — продолжал он, одобрительно кивая. — Надеюсь, он погостит у меня подольше и мы разберем мои документы. У меня есть множество идей и фактов, знаете ли, а он как раз такой человек, который может придать им надлежащую форму… Умеет подобрать подходящую цитату — omne tulit punctum[122], ну и так далее — и придает предмету особый поворот. Я пригласил его некоторое время тому назад. Когда вы хворали, Кейсобон, Доротея сказала, что вы никого не можете принять у себя, и попросила меня написать.

Бедняжка Доротея чувствовала, что каждое слово ее дяди доставляло мистеру Кейсобону та-

---

**[122] Примечания: 122**
Снискал всеобщее одобрение (*лат.*).

кое же удовольствие, как соринка в глазу. Теперь было уже совсем невозможно сказать, что она вовсе не желала, чтобы мистер Брук посылал приглашение Уиллу Ладиславу. Она не понимала причин неприязни своего мужа к молодому родственнику — неприязни, в которой ее так жестоко убедила сцена в библиотеке, но не считала возможным хотя бы косвенно посвящать в это посторонних. По правде говоря, сам мистер Кейсобон не вполне отдавал себе отчет в этих причинах — он испытывал раздражение и, подобно всем нам, склонен был искать ему оправдания, вместо того чтобы разбираться в своих побуждениях. Но он не хотел выдавать себя, и только Доротея уловила, что он несколько переменился в лице, когда произнес с еще большим достоинством и напевностью, чем обычно:

— Вы чрезвычайно гостеприимны, любезный сэр. И я весьма вам обязан за то, что вы приняли у себя моего родственника.

Похороны кончились, и кладбище уже почти опустело.

— Вон он, миссис Кэдуолледер, — сказала Селия. — И как две капли воды похож на миниатюру тетки мистера Кейсобона в будуаре Доротеи. У него очень приятное лицо.

— Да, смазливый мальчик, — сухо произнесла миссис Кэдуолледер. — Чем занимается ваш племянник?

— Прошу прошения, он мне не племянник. Родство между нами довольно дальнее.

— Он, знаете ли, еще пробует свои крылья, — вмешался мистер Брук. — Такие молодые люди взлетают очень высоко. И я буду рад ему содействовать. Он может быть прекрасным секретарем — как Гоббс[123], Мильтон или Свифт, знаете ли.

— А, понимаю, — сказала миссис Кэдуолледер. — Такой, который умеет писать речи.

— Так я позову его, э, Кейсобон? — спросил мистер Брук. — Он не хотел входить, пока я не сообщу о его приезде, знаете ли. И мы все спустимся взглянуть на картину. Вы на ней совсем как живой — глубокий тонкий мыслитель, и указательный палец упирается в книгу, а святой Бонавентура или какой-то еще святой, довольно толстый и цветущий, смотрит вверх на Троицу. И все это символы, знаете ли — очень высокая форма искусства. Мне она нравится — до определенного предела, конечно: ведь все время за

---

**[123] Примечания: 123**

*Гоббс Томас* (1588 — 1679) — английский философ и политический деятель; подобно Мильтону и Свифту, служил секретарем в аристократических домах.

ней поспевать — это, знаете ли, утомительно. Но вы-то, Кейсобон, в таких вещах как у себя дома. И ваш художник отлично пишет тело — весомость, прозрачность, ну и так далее. Одно время я серьезно этим занимался. Впрочем, я схожу за Ладиславом.

# Глава XXXV

*О, что за зрелище: наследников толпа*
*В слезах и в трауре, на лицах всех страданье.*
*Пока нотариус вскрывает завещанье*
*(Ну что? – у всех в глазах застыл немой вопрос),*
*В котором им мертвец натягивает нос.*
*Чтоб только посмотреть картину скорби эту,*
*Я, кажется, готов с того вернуться свету.*

***Реньяр[124], «Единственный наследник»***

Когда животные парами вступали в ковчег, родственные виды, надо полагать, отпускали по адресу друг друга всяческие замечания «в сторону» и были склонны думать, что вполне можно было бы обойтись без такого множества претендентов на одни и те же запасы корма, поскольку это урезывает порцию наиболее до-

**[124] Примечания: 124**
Реньяр Жан Франсуа (1655 — 1709) — французский комедиограф.

стойных. (Боюсь, что роль, которая тогда выпала на долю стервятников, слишком неприглядна, чтобы воспроизводить ее средствами искусства: ведь их жадные зобы ничем, к их несчастью, не прикрыты, а сами они, по-видимому, не придерживаются никаких обрядов и церемоний.)

Подобному же искушению подверглись и христианские хищники, которые провожали гроб Питера Фезерстоуна, — все их мысли были сосредоточены на одних и тех же запасах житейских благ, и каждый жаждал получить наибольшую их долю. Давно известные кровные родственники, а также родственники обеих жен покойного уже составляли вполне солидное число, которое, умноженное на всяческие другие возможности, открывало самое широкое поле для завистливых расчетов и безнадежного отчаяния. Зависть к Винси объединила узами общей вражды всех, в чьих жилах текла фезерстоуновская кровь: поскольку не имелось никаких признаков, что кто-то из них получит больше остальных, их сплачивал общий страх, как бы земля не досталась длинноногому Фреду Винси, но страх этот, впрочем, оставлял достаточно места для более смутных опасений, связанных, например, с Мэри Гарт. Соломон нашел время поразмыслить о том,

что Иона не достоин стать наследником, а Иона мысленно хулил алчность Соломона. Джейн, старшая сестра, полагала, что детям Марты не к лицу рассчитывать на равную долю с молодыми Уолами, а Марта, не столь свято чтившая права первородства, огорчалась про себя, что Джейн такая «загребущая». Все эти ближайшие родственники, естественно, негодовали на необоснованные претензии всяких там двоюродных и троюродных и прикидывали, в какой огромный итог сложатся мелкие суммы, если их будет завещано слишком много. А зачтения завещания вместе с ними ожидали два двоюродных брата и один троюродный (не считая мистера Трамбула). Этот троюродный брат был мидлмарчским галантерейщиком с учтивыми манерами и простонародным выговором. Двоюродные братья оба проживали в Брассинге — один из них считал, что имеет определенные права, ввиду устриц и других гастрономических подарков, преподнесенных в ущерб себе богатому кузену Питеру, а другой, с мрачной миной уперший подбородок в руки, сложенные на набалдашнике трости, полагался не на прежние корыстные услуги, но на признание общих своих достоинств. Оба эти беспорочные обитателя Брассинга от души жалели,

что там проживает Иона Фезерстоун: семейные острословы обычно встречают больше радушия у чужих людей.

— Ну, Трамбул не сомневается, что получит пять сотен фунтов, можете мне поверить. Не удивлюсь даже, если мой братец их прямо ему обещал, — заметил Соломон, беседуя с сестрами вечером накануне похорон.

— Ох-хо-хо! — вздохнула неимущая сестрица Марта, представление которой о сотнях, как правило, не шло дальше просроченной арендной платы.

Однако утром все прошлые расчеты и предположения нарушил неизвестный в траурной одежде, который появился среди них неведомо откуда. Именно его миссис Кэдуолледер уподобила лягушке. Это был человек лет тридцати двух — тридцати трех. Выпученные глаза, изогнутые книзу тонкие губы, скошенный лоб и гладко прилизанные волосы действительно придавали его лицу неподвижное лягушачье выражение. Конечно, еще один наследник, а то почему бы его пригласили на похороны? И сразу возникли новые возможности, новые неясности, и в траурных каретах воцарилось почти полное молчание. Всех нас расстраивает внезапное открытие факта, ко-

торый существовал давным-давно и, быть может, прямо-таки бросался в глаза, а мы тем временем устраивали свой мирок в полном о нем неведении. Никто, кроме Мэри Гарт, прежде не видел этого сомнительного незнакомца, да и она знала о нем только, что он дважды приезжал в Стоун-Корт, пока мистер Фезерстоун еще был на ногах, и провел несколько часов наедине со стариком. Она выбрала минуту сказать об этом отцу, и пожалуй, только Кэлеб (если не считать нотариуса) посматривал на незнакомца с любопытством, а не со злобой или подозрением. Кэлеб Гарт, которого не терзали ни надежды, ни алчность, интересовался лишь тем, насколько правильными окажутся его догадки, и спокойствие, с каким он внимательно разглядывал этого неизвестного человека и потирал подбородок, словно определяя ценность дерева, приятно контрастировало с тревогой и желчностью, появившимися на многих лицах, едва таинственный незнакомец, чья фамилия, как выяснилось, была Ригг, вошел в большую гостиную и опустился на стул у двери, чтобы вместе с остальными присутствовать при оглашении завещания. Мистер Соломон и мистер Иона как раз отправились с нотариусом в спальню на поиски этого документа, и миссис

Уол, заметив, что два стула между ней и мистером Бортропом Трамбулом освободились, смело воспользовалась случаем подсесть к признанному авторитету, который поигрывал печатками и обводил пальцем контуры своего лица, дабы случайно не выдать удивления или недоумения, не подобающего осведомленному человеку.

— Уж, наверное, мистер Трамбул, вам известны все распоряжения покойного братца, — произнесла миссис Уол самым глухим своим голосом, наклонив отороченный крепом чепец к уху аукционщика.

— Дражайшая дама, все, что могло быть мне сказано, было сказано конфиденциально, — заметил мистер Трамбул, прикладывая ладонь ко рту, дабы еще надежнее спрятать этот секрет.

— Те, кто сейчас потирает руки, еще могут остаться ни с чем, — продолжала миссис Уол, пользуясь случаем облегчить душу.

— Надежды нередко бывают обманчивы, — заметил мистер Трамбул все еще под защитой ладони.

— А-а! — произнесла миссис Уол, поглядев в ту сторону, где сидели Винси, и вернулась на свой стул рядом с сестрицей Мартой.

— Только диву даешься, до чего бедный Питер

был скрытен, — заметила она все тем же глухим шепотом. — Ведь никто из нас понятия не имеет, что у него было на уме. Я только на то уповаю, Марта, что он не был хуже, чем мы думаем.

Бедная миссис Крэнч была дородна и дышала астматически, отчего вдвойне старалась придавать своим словам неопределенность и расплывчатость, — даже ее шепот был громким, а время от времени становился пронзительным, как это случается с расстроенными шарманками.

— Я, Джейн, никогда завистливой не была, — ответила она, — но у меня шестеро детей, да еще трех я схоронила, а замуж я не за богача вышла. Моему старшему, что тут сидит, только девятнадцать сравнялось — вот сама посуди. А скотины маловато, и земля не родит. Но если я когда плакалась кому или просила у кого, так у одного у бога всемогущего. А только когда у тебя один брат холостой, а другой бездетный, пусть и дважды женатый… так всякий мог бы надеяться.

Тем временем мистер Винси, поглядев на невозмутимую физиономию мистера Ригга, достал было табакерку и постучал по ней, однако не открыл и снова опустил в карман, словно в последнюю минуту спохватился, что удовольствие это, как ни проясняет мысли хорошая понюшка,

все же не соответствует случаю.

— Не удивлюсь, если окажется, что все мы были несправедливы к Фезерстоуну, — сказал он на ухо жене. — Эти похороны свидетельствуют, что он о каждом вспомнил: похвально, когда человек хочет, чтобы его в последний путь проводили друзья, и не стыдится тех, чей жребий скромен. Я буду только рад, если он отказал понемногу многим. Небольшая сумма может очень выручить человека, если он ее не ждет.

— Все в самом лучшем вкусе — и креп, и шелк, и все прочее, — благодушно отозвалась миссис Винси.

Но приходится с сожалением сказать, что Фред лишь с трудом удерживался от смеха, который был бы еще более неуместен, чем табакерка его отца. Он случайно услышал, как мистер Иона, взглянув на незнакомца, пробормотал: «Дитя любви», и теперь, стоило ему взглянуть на физиономию мистера Ригга, сидевшего прямо напротив, его начинал разбирать смех. Мэри Гарт заметила, как подрагивают уголки его рта, как он покашливает, догадалась, что с ним происходит, и поспешила на выручку, попросив уступить ей стул и таким образом водворив его в полутемный угол. Фред был полон самых дружеских чувств ко

всему миру, включая Ригга. Испытывая теперь к собравшимся лишь снисходительную жалость, потому что их обошла стороной удача, по его мнению, улыбнувшаяся ему, он всеми силами старался соблюдать благопристойность. Но ведь когда на душе легко, так и хочется смеяться.

Тут вернулся нотариус с братьями покойного, и все глаза устремились на них.

Нотариус, известный нам мистер Стэндиш, приехал утром в Стоун-Корт в полном убеждении, что ему хорошо известно, кто будет в этот день обрадован, а кто разочарован. Завещание, которое ему, как он полагал, предстояло огласить, было третьим из тех, что он в свое время составил для мистера Фезерстоуна. Мистер Стэндиш, по обыкновению, держался со всеми одинаково — учтиво, но непринужденно, словно для него все собравшиеся тут были равны, и его бас сохранял неизменную любезность, хотя придерживался он главным образом таких тем, как травы («отличное будет сено, черт побери!»), последние бюллетени о здоровье короля и герцог

Кларенс[125] — настоящий моряк, словно созданный управлять таким островом, как Британия.

Старик Фезерстоун, размышляя у камина, нередко представлял себе, как удивится Стэндиш. Правда, если бы в последний час он сделал по своему желанию и сжег завещание, составленное другим нотариусом, он не достиг бы этой второстепенной цели. Тем не менее он успел сполна насладиться предвкушением. И действительно, мистер Стэндиш удивился, но не почувствовал никакого огорчения — наоборот, если прежде он просто смаковал сюрприз, который ожидал Фезерстоунов, то обнаруженное новое завещание пробудило в нем к тому же и живейшее любопытство.

Соломон и Иона пока воздерживались от каких-либо чувств: оба полагали, что прежнее завещание должно обладать определенной силой, и если между первоначальными и заключительными распоряжениями бедного Питера могут возникнуть противоречия, начнутся бесконечные тяжбы, мешая кому бы то ни было вступить

**[125] Примечания: 125**

*Герцог Кларенс* — брат и наследник короля Георга IV; в юности служил во флоте, начав службу мичманом и кончив адмиралом; после смерти Георга IV 26 июня 1830 г. стал английским королем под именем Вильгельма IV.

в права наследства, — однако это неприятное обстоятельство уравнивало всех. Вот почему братья, войдя вслед за мистером Стэндишем в гостиную, хранили на лицах только выражение ни о чем не говорящей скорби. Впрочем, Соломон вновь достал белоснежный носовой платок, полагая, что завещание в любом случае будет содержать немало трогательного, а глаза на похоронах, пусть и совершенно сухие, принято утирать батистом.

Пожалуй, самое жгучее волнение испытывала в эту минуту Мэри Гарт, сознававшая, что второе завещание, которое могло решающим образом повлиять на жизнь кого-то из присутствующих, оказалось в руках нотариуса только благодаря ей. Но о том, что произошло в ту последнюю ночь, знала она одна.

— Завещание, которое я держу в руках, — объявил мистер Стэндиш, который, усевшись за столик посреди комнаты, нисколько не спешил начать и даже откашлялся весьма неторопливо, — это завещание было составлено мною и подписано нашим покойным другом девятого августа одна тысяча восемьсот двадцать пятого года. Но оказалось, что существует другой документ, прежде мне неизвестный, который датирован

двадцатым июля одна тысяча восемьсот двадцать шестого года, то есть он был составлен менее чем через год после предыдущего. Далее, как я вижу… — мистер Стэндиш вперил в завещание внимательный взгляд через очки, — тут имеется добавление, датированное первым марта одна тысяча восемьсот двадцать восьмого года.

— Ох-хо-хо! — невольно вздохнула сестрица Марта, не выдержав этого потока дат.

— Я начну с оглашения более раннего завещания, — продолжал мистер Стэндиш, — ибо, по-видимому, таково было желание усопшего, поскольку он его не уничтожил.

Это вступление показалось присутствующим невыносимо долгим, и не только Соломон, но еще несколько человек печально покачивали головами, уставясь в пол. Все избегали смотреть друг на друга и пристально разглядывали узор скатерти или лысину мистера Стэндиша. Только Мэри Гарт, заметив, что на нее никто не смотрит, позволила себе тихонько наблюдать за окружающими. И едва прозвучало первое «завещаю и отказываю», она увидела, что по всем лицам словно пробежала легкая рябь. Один лишь мистер Ригг сохранил прежнюю невозмутимость. Впрочем, остальным теперь было не до него: они

взвешивали, рассчитывали и ловили каждое слово распоряжений, которые, быть может, отменялись в следующем завещании. Фред покраснел, а мистер Винси, не совладав с собой, вытащил табакерку, хотя и не стал ее открывать.

Вначале перечислялись мелкие суммы, и даже мысль о том, что имеется другое завещание и бедный Питер, возможно, опомнился, не могла угасить нарастающего негодования и возмущения. Каждому человеку хочется, чтобы ему воздавалось должное в любом времени — прошедшем, настоящем и будущем. А Питер пять лет назад не постыдился оставить всего по двести фунтов своим родным братьям и сестрам, лишь по сто фунтов своим родным племянникам и племянницам. Гарты упомянуты не были вовсе, но миссис Винси и Розамонда получали по сто фунтов каждая. Мистеру Трамбулу была завещана трость с золотым набалдашником и пятьдесят фунтов; второй троюродный брат и оба двоюродных получали каждый такую же внушительную сумму — наследство, как выразился мрачный двоюродный брат, с которым не поймешь, что и делать. Далее следовали подобные же оскорбительные крохи, брошенные лицам, здесь не присутствовавшим, никому не известным и едва

ли не принадлежащим к низшим сословиям. Многие тотчас подсчитали, что всего таким образом было завещано около трех тысяч фунтов. Так как же Питер распорядился остальными деньгами? И землей? Что отменит последнее завещание, а что не отменит? К лучшему или к худшему? Ведь все чувства, испытываемые теперь, были, так сказать, черновыми и могли оказаться совершенно напрасными. У мужчин хватило сил сохранять внешнее спокойствие, как ни томительна была неизвестность, — одни оттопыривали губы, другие поджимали их, смотря по тому, что было привычнее. Но Джейн и Марта, не выдержав вихря предположений, расплакались — бедная миссис Крэнч несколько утешилась мыслью о сотнях фунтов, которые без всякого труда предстояло получить ей и ее детям, хотя и мучилась оттого, что их могло быть и больше, тогда как миссис Уол чувствовала одно: ей, кровной сестре, досталось так мало, а кому-то предстоит получить так много! Почти все присутствующие уже не сомневались, что «много» достанется Фреду Винси, но сами Винси удивились, когда ему было отказано десять тысяч фунтов, размещенных так-то и так-то. Ну, а земля?.. Фред кусал губы, с трудом сдерживая улыбку. А миссис Винси

чувствовала себя на седьмом небе: мысль о том, что завещатель мог изменить свою волю, утонула в розовом сиянии.

Кроме земли, оставались еще деньги и другое имущество, но все это целиком было завещано одному человеку, и человеком этим оказался… О, неисчислимые возможности! О, расчеты, опиравшиеся на «благоволение» скрытного старика! О, бесконечные восклицания, которым все же не под силу передать всю степень человеческого безумия!.. Человеком этим оказался Джошуа Ригг, назначавшийся также единственным душеприказчиком и принимавший отныне фамилию Фезерстоун.

По комнате, словно судорожная дрожь, пробежал шорох. Все вновь уставились на мистера Ригга, который как будто совершенно не был удивлен.

— Поистине странные завещательные распоряжения! — воскликнул мистер Трамбул, против обыкновения предпочитая, чтобы его сочли неосведомленным. — Однако есть второе завещание, отменяющее первое. Пока еще мы не знаем последней воли покойного.

Но то, что им предстояло услышать, подумала Мэри Гарт, вовсе не было последней волей

старика. Второе завещание отменяло все распоряжения первого за исключением тех, которые касались мелких сумм, оставленных упомянутым выше лицам низших сословий (кое-какие изменения тут перечислялись в добавлении), а также статей, по которым вся земля в пределах Лоуикского прихода со всем движимым и недвижимым имуществом отходила Джошуа Риггу. Прочее имущество завещалось на постройку и содержание богадельни для стариков, которую надлежало назвать Фезерстоуновской богадельней и воздвигнуть на участке земли неподалеку от Мидлмарча, приобретенном для этой цели завещателем, «дабы (как говорилось в документе) угодить Всевышнему Богу». Никто из присутствующих не получил ни фартинга, хотя мистеру Трамбулу была-таки отказана трость с золотым набалдашником. Прошло несколько мгновений, прежде чем общество вновь обрело дар речи. Мэри не решалась поглядеть на Фреда.

Первым заговорил мистер Винси — после энергичной понюшки, — и заговорил он громким негодующим голосом:

— О таком вздорном завещании мне еще слышать не приходилось! Мне кажется, он составил его в помрачении ума. Мне кажется, это послед-

нее завещание недействительно, — закончил мистер Винси, чувствуя, что ставит все на свои места. — Как по-вашему, Стэндиш?

— По моему мнению, наш покойный друг всегда отдавал себе отчет в своих действиях, — сказал мистер Стэндиш. — Все формальности соблюдены. К завещанию приложено письмо Клемменса. Весьма уважаемого нотариуса в Брассинге.

— Я ни разу не замечал никакого расстройства рассудка, никакого ослабления умственных способностей у покойного мистера Фезерстоуна, — объявил Бортроп Трамбул, — но завещание это я назвал бы эксцентричным. Я всегда с охотой оказывал услуги старичку, и он ясно давал понять, что считает себя обязанным мне и выразит это в завещании. Трость с золотым набалдашником — это насмешка, если видеть в ней выражение признательности, но, к счастью, я стою выше корыстных соображений.

— На мой взгляд, ничего удивительного в этом завещании нет, — заметил Кэлеб Гарт. — Куда удивительнее было бы, если бы оно оказалось таким, какого можно ожидать от прямодушного и справедливого человека. Но я вообще против завещаний.

— Странные слова в устах христианина, черт

побери! — сказал нотариус. — Какими же доводами можете вы их подкрепить, Гарт?

— Да что здесь говорить... — пробормотал Кэлеб, аккуратно складывая кончики пальцев и наклоняясь вперед, чтобы удобнее было рассматривать пол. Ему всегда казалось, что объяснения — самая трудная сторона «дела».

Тут раздался голос мистера Ионы Фезерстоуна:

— Он всегда был на редкость лицемерен, мой братец Питер. Но уж тут он показал себя во всей красе. Знай я, так меня бы и силком из Брассинга не вытащили. Завтра же надену белую шляпу и коричневый сюртук.

— Ох-хо-хо! — всхлипнула миссис Крэнч. — А мы так на дорогу потратились, и мой бедный сынок столько времени просидел сложа руки. В первый раз слышу, чтобы братец Питер думал о том, как бы угодить богу. Но пусть у меня язык отнимется, а все-таки это жестоко... По-другому и не скажешь.

— Это ему отзовется там, где он теперь, вот что я думаю, — сказал Соломон с горечью, которая была поразительно искренней, хотя его голос сохранял обычную вкрадчивость. — Питер вел дурную жизнь, и богадельнями ее не прикрыть, после того как у него хватило бесстыдства напо-

следок выставить ее всем напоказ.

— И все-то это время у него была собственная кровная родня, братья, сестры, племянники и племянницы. И он с ними рядом в церкви сидел, когда выбирал время сходить в церковь, — заявила миссис Уол. — И мог собственность свою им завещать, как у хороших людей водится, тем, кто мотать не привык и во всем себя соблюдает; да и сами не нищие и каждый пенни сохранили бы и приумножили. И я-то, я-то… подумать только, сколько раз я сюда приезжала по-сестрински, а он уже тогда замыслил такое, что и подумать страшно. Но если всемогущий допустил это, так для того только, чтобы покарать его. Братец Соломон, я бы поехала, если вы меня подвезете.

— Ноги моей здесь больше не будет, — сказал Соломон. — У меня у самого есть что завещать — и земля и другое имущество.

— Вот так оно в мире и заведено: ни удачи по заслугам, ни справедливости! — воскликнул Иона. — А уж если есть в тебе настоящая закваска, так и вовсе беда. Куда лучше быть собакой на сене. Но тем, кто еще по земле ходит, следовало бы из этого извлечь урок. Одной дурацкой духовной в семье с избытком хватит.

— Ну, свалять дурака можно по-разному, —

заметил Соломон. — Я своими деньгами распоряжусь как следует, на ветер их не выброшу и найденышам африканским не оставлю. По мне, Фезерстоуны — это те, кто так Фезерстоунами и родились, а не нацепили на себя фамилию, точно ярлык.

Соломон адресовал эти громогласные «реплики в сторону» миссис Уол, направляясь вслед за ней к дверям. По мнению братца Ионы, сам он сумел бы отпустить шуточку куда язвительнее, но прежде чем оскорблять нового хозяина Стоун-Корта, следовало убедиться, что он не намерен привечать у себя остроумцев, фамилию которых собирается принять.

Впрочем, мистер Джошуа Ригг, казалось, пропустил все намеки и шпильки мимо ушей, хотя весь как-то переменился. Он невозмутимо подошел к мистеру Стэндишу и с той же невозмутимостью начал задавать нотариусу деловые вопросы. У него оказался высокий чирикающий голос и невозможно простонародный выговор. Фред, у которого он больше не вызывал смеха, подумал, что никогда еще не видел такого мерзкого плебея. На душе у Фреда скребли кошки. Мидлмарчский галантерейщик выжидал случая завести разговор с мистером Риггом: как знать, скольким парам ног

покупает чулки новый владелец Стоун-Корта, а прибыль — вещь куда более надежная, чем любое наследство. К тому же галантерейщик, как троюродный брат, был достаточно беспристрастен и испытывал только обыкновенное любопытство.

Мистер Винси после своей вспышки хранил гордое молчание, но был так расстроен, что продолжал сидеть, поглощенный мрачными мыслями, пока вдруг не заметил, что его жена отошла к Фреду и тихо плачет, сжимая руку своего любимца. Он тотчас поднялся и, повернувшись спиной к остальному обществу, сказал ей вполголоса:

— Крепись, Люси. Не позорь себя перед этими людьми, душа моя.

Затем произнес обычным громким голосом:

— Фред, поди распорядись, чтобы подали фаэтон. У меня нет лишнего времени.

Мэри Гарт заранее уложила свои вещи, чтобы вернуться домой вместе с отцом. Они с Фредом встретились в передней, и только теперь Мэри собралась с духом и посмотрела на него. Его лицо покрывала та землистая бледность, которая порой старит юные лица, а рука, которой он пожал ее руку, была холодна, как лед. Мэри тоже мучилась: она сознавала, что роковым образом, хотя и

не по своей воле, изменила всю судьбу Фреда.

— До свидания, Фред, — сказала она с грустной нежностью. — Будьте мужественным. Я верю, что эти деньги не принесли бы вам ничего хорошего. Какая польза была от них мистеру Фезерстоуну?

— Все это прекрасно, — с сердцем сказал Фред. — А я-то в каком положении? Теперь уж мне придется стать священником! (Он знал, что его слова заденут Мэри — ну и очень хорошо! Пусть скажет, что еще ему остается!) И ведь я думал, что сразу отдам долг вашему отцу и все поправлю. А вам он даже ста фунтов не оставил. Что вы теперь будете делать, Мэри?

— Постараюсь поскорее найти другое место, что же еще? Отцу и без меня хватает кого содержать. Ну, до свидания.

Очень скоро в Стоун-Корте не осталось ни одного прирожденного Фезерстоуна и никого из обычных гостей. В окрестностях Мидлмарча появился еще один чужой человек, но на этот раз главное неудовольствие вызывали непосредственные следствия появления здесь мистера Ригга Фезерстоуна, а не возможные плоды, которые могло принести оно в будущем. Не нашлось ни одной пророческой души, которая провидела бы то, что могло бы открыться на суде над Джо-

шуа Риггом.

И тут мне приходится поразмыслить над средствами, которыми можно возвысить низкую тему. Особенно полезны тут исторические параллели. Однако против них есть свои возражения: добросовестному повествователю может не хватить места или же (что, в сущности, то же самое) он не сумеет подобрать достаточно уместные примеры, хотя и сохранит философское убеждение, что они очень многое осветили бы, если бы их удалось отыскать. Гораздо легче и достойнее указать — поскольку всякую истинную историю можно изложить в виде аллегории, заменив мартышку на маркграфа и наоборот, — что все рассказанное (и пока еще не рассказанное) здесь о людях низкого происхождения можно облагородить, признав это аллегорией, так, чтобы читатель мог спокойно считать дурные привычки и их скверные последствия всего лишь фигурально неблагородными и ощущать себя в обществе знатных людей. Таким образом, пока я рассказываю правду о деревенских увальнях, моему читателю совершенно не обязательно изгонять лордов из своих мыслей, а ничтожные суммы, недостойные внимания высокопоставленных банкротов, можно возвести до уровня

крупных коммерческих сделок с помощью ничего не стоящего добавления нескольких нулей.

Ну, а провинциальная история, в которой все действующие лица блистают высокой нравственностью, может относиться только ко времени гораздо более позднему, чем эпоха первого билля о реформе. Питер же Фезерстоун — вы, несомненно, заметили это — скончался и был погребен за несколько месяцев до того, как главой кабинета стал лорд Грей[126].

**[126] Примечания: 126**

*Лорд Грей* (1764 — 1845) — активный сторонник избирательной реформы, возглавил кабинет в ноябре 1830 г.

## Глава XXXVI

*Сколь странны склонности великих душ,*
*Хоть их должна бы мудрость осенять*
*.....*
*Великим душам нравится блистать,*
*А потому они бывают там,*
*Где дань восторгов можно пожинать,*
*И, презирая нас, приходят к нам.*
*Им мнится, что благоговейно чтим*
*Мы речи их любые и дела.*
*Но наш восторг умножить нужно им,*
*И верят, будто новая хвала*
*Раздастся, коль покажут нам они*
*Величье дум своих.*

***Даниел, «Филотас»***

Мистер Винси вернулся домой после оглашения завещания, заметно переменив точку зрения на многие предметы. Он не отличался скрытностью, однако был склонен выражать свои чувства обиняком. Когда его шелковые шнурки залеживались на складе, он кричал на конюха; когда его зять Булстрод досаждал ему, он поносил ме-

тодизм; теперь же он выбросил из курительной комнаты в прихожую вышитую шапочку, из чего следовало, что он смотрит на болезнь Фреда без прежней снисходительности.

— Ну-с, сударь, — сказал он, когда этот молодой джентльмен собрался идти спать, — надеюсь, вы подумываете о том, чтобы возобновить занятия в следующем семестре и сдать экзамен. Я принял твердое решение и советую вам не тратить времени по пустякам.

Фред ничего не ответил: слишком велико было его уныние. Ведь накануне он неколебимо верил, что ему больше не придется решать, чем заняться, — еще двадцать четыре часа, и он узнает, что может ничего не делать. Он будет ездить на лисью травлю в красном охотничьем костюме, на отличном гунтере, а стрелять фазанов — на породистой кобыле, и все его будут уважать. Он немедленно вернет долг мистеру Гарту, и у Мэри больше не будет причин ему отказывать. И все это он получит, не сдавая экзаменов и не испытывая никаких других неудобств, а просто по милости провидения, то есть благодаря капризу своенравного старика. Но теперь, когда двадцать четыре часа прошли, все эти столь твердые надежды рухнули. И как будто этого горького разочарования

мало — его еще корят, точно он же и виноват! Однако Фред промолчал и отправился в спальню, предоставив матери заступиться за него.

— Не будь так суров с бедным мальчиком, Винси! Он еще покажет себя, пусть этот злой старик и обманул его. Я знаю, знаю, что Фред покажет себя, иначе зачем же болезнь его пощадила? А это просто грабеж. Обещать ему землю или прямо отдать — какая разница? Разве это не обещание, если он намекал, пока все не поверили? И ты сам слышал, что он оставил ему десять тысяч фунтов, а потом опять отобрал.

— Опять отобрал! — сердито повторил мистер Винси. — Из него никакого толку не выйдет, Люси. И ведь ты совсем избаловала мальчишку.

— Так он же мой первенький, Винси, и ты сам тогда на него надышаться не мог. Себя не помнил от гордости, — сказала миссис Винси, уже улыбаясь своей обычной веселой улыбкой.

— А кто заранее знает, каким вырастет ребенок? Вот я и радовался по глупости, — ответил ее муж, впрочем, более мягким тоном.

— Но у кого дети красивей и лучше наших? С Фредом тут никто потягаться не может — он только слово скажет, и сразу понятно, что он обучался в университете и знакомства у него там

были самые хорошие. А уж Розамонда! Где ты еще найдешь такую? Да поставь ее рядом с какой хочешь леди, она только краше покажется. Ну, ты подумай — Лидгейт в самом высшем обществе бывал и где только не ездил, а влюбился в нее, чуть увидел. Хотя, по-моему, Розамонде незачем было торопиться с обручением. Ведь она могла бы познакомиться с женихом и получше — ну, у своей школьной подруги мисс Уиллобай. У нее ведь родственники не хуже, чем у мистера Лидгейта.

— Черт бы побрал всех родственников! — объявил мистер Винси. — Я ими сыт по горло. И мне не нужен зять, если у него за душой нет ничего, кроме родственников.

— Как же так, милый! — воскликнула миссис Винси. — Ведь ты рад был. Конечно, это без меня случилось, но Розамонда говорила, что ты слова против не сказал. И ведь она уже начала покупать тонкое полотно и батист себе на белье.

— Без моего позволения, — отрезал мистер Винси. — Мне в этом году хватит забот с сынком-бездельником, чтобы еще платить за приданое. Времена тяжелые, хуже некуда, все разоряются, а у Лидгейта, по-моему, нет ни фартинга. Я согласия на свадьбу не дам. Пусть подождут, как и другие ждали.

— Розамонда совсем расстроится, Винси. И ведь ты сам ей никогда не перечил.

— Как бы не так! Чем скорее с этой помолвкой будет покончено, тем лучше. Я на него насмотрелся и вижу, что ему состояния ввек не нажить. Врагов он себе наживает, это верно, а больше ничего.

— Зато, милый, Булстрод его высоко ставит. И, наверное, будет доволен, если они поженятся.

— Ну и будет, так что? — проворчал мистер Винси. — Содержать-то их не Булстроду придется. А если мистер Лидгейт думает, что я им дам денег на обзаведение, так он ошибается, только и всего. Мне ведь, того гляди, придется продать лошадей! Смотри, передай Рози, что я сказал.

Такое с мистером Винси случалось нередко — согласившись на что-то под веселую руку, он затем спохватывался и возлагал на других неприятную обязанность взять это обещание назад. Но как бы то ни было, миссис Винси, которая никогда не поступала наперекор мужу, поспешила утром сообщить Рози его слова. Розамонда слушала молча, внимательно рассматривая свое шитье, а когда миссис Винси кончила, чуть изогнула прелестную шейку — лишь долгий опыт мог бы открыть вам, о каком неколебимом упрямстве

говорило это движение.

— Так как же, душенька? — спросила мать с робкой нежностью.

— Папа ничего подобного не думает, — ответила Розамонда с невозмутимым спокойствием. — Он всегда говорил, что хочет, чтобы я вышла за человека, которого полюблю. И я выйду за мистера Лидгейта. А ведь папа дал согласие почти два месяца назад. Полагаю, более подходящего дома, чем дом миссис Бреттон, нам не найти.

— С отцом, душенька, ты уж сама поговори. Ты всегда умеешь настоять на своем. А если покупать дамаск, то у Сэдлера — у него выбор куда лучше, чем у Хопкинса. Только дом миссис Бреттон слишком уж велик. Я, конечно, была бы рада, чтобы ты жила в таком доме, но ведь сколько мебели понадобится, и ковров, и всего, не говоря уж о посуде и хрустале. А твой отец сказал, что денег не даст, ты ведь поняла? А мистер Лидгейт рассчитывает на них, ты не знаешь?

— Неужели, по-вашему, я стала бы его спрашивать, мама? Разумеется, он знает состояние своих дел.

— Но, может, он искал богатую невесту, душечка, и мы ведь все думали, что не один Фред получит наследство, а и ты тоже. До чего же все

плохо вышло. Просто думать ни о чем приятном не хочется, когда бедного мальчика так обманули.

— Это не имеет никакого отношения к моей свадьбе, мама. А Фреду довольно бездельничать. Я поднимусь наверх отдать этот муслин мисс Морган: она отлично обметывает швы. И, пожалуй, кое-что я поручу Мэри Гарт. Она шьет прекрасно, этого у нее не отнимешь. Мне хотелось бы, чтобы на всех батистовых оборках был рубчик, а для этого нужно много времени.

Миссис Винси не напрасно верила, что Розамонда сумеет поговорить со своим папенькой. Во всем, что не касалось его обедов или скачек, мистер Винси, несмотря на шумную настойчивость, был столь же мало самостоятелен как премьер-министр: подобно большинству полнокровных мужчин, любящих пожить в свое удовольствие, он подчинялся силе обстоятельств, а обстоятельство, называемое Розамондой, обладало той силой, благодаря которой прозрачная струящаяся субстанция, как нам известно, пробивает самые твердые скалы. Папенька же далеко не был скалой. Его твердость исчерпывалась определенной системой устремлений, то есть привычками, что сильно мешало ему принять против помолвки

дочери единственно возможные решительные меры — иначе говоря, точно выяснить имущественное положение Лидгейта, предупредить, что сам он денег дать не может, и наложить запрет как на скорую свадьбу, так и на длительную помолвку. На словах все это выглядит просто, но неприятное решение, принятое в холодные часы рассвета, нередко оказывается столь же эфемерным, как утренний иней, и не выдерживает тепла, которое приносит с собой день. Мистер Винси даже не посмел прибегнуть к своим излюбленным обинякам: Лидгейт держался гордо и, конечно, не потерпел бы намеков в свой адрес, а об открытом объяснении и речи быть не могло. Мистер Винси отчасти был польщен, что он хочет жениться на Розамонде, отчасти его побаивался, отчасти избегал заводить разговор о деньгах с невыгодной для себя позиции, отчасти страшился потерпеть поражение в споре с человеком более образованным и благовоспитанным, чем он сам, и отчасти опасался пойти наперекор желанию дочки. Всем другим ролям мистер Винси предпочитал роль хлебосольного хозяина, которого никто ни в чем не может упрекнуть. В первую половину дня облечь принятое решение в официальную форму отказа мешали дела, а

во вторую — обед, вино, вист и благодушное настроение. А час шел за часом, и каждый оставлял свой маленький след, так что мало-помалу складывалась самая веская причина для бездействия — сознание, что действовать уже поздно.

Новоявленный жених теперь почти все вечера проводил в доме на Лоуик-Гейт, и влюбленность, нисколько не зависевшая от денежных даров тестя или размеров будущего докторского дохода, продолжала расцветать на глазах у мистера Винси. Юная влюбленность — что за тончайшая паутинка! Даже точки ее опоры — то, на чем держится ее кружевная сеть, — почти незаметны. Чуть-чуть соприкоснутся кончики пальцев, встретятся взоры синих и темных очей, останется неоконченной фраза, слегка порозовеют щеки, еле заметно дрогнут губы. Материалом для этой паутины служат мечтания и неясная радость, тяготение одной жизни к другой, манящий призрак совершенства, безотчетное доверие. И Лидгейт принялся ткать эту паутину из своей души с поразительной быстротой вопреки трагическому опыту любви к Лауре — а также вопреки медицине и биологии, ибо не раз наблюдалось, что научные исследования — например, иссеченной мышцы или глаз, лежащих на блюде (подобно

глазам святой Лючии), — гораздо более совместимы с поэтичной любовью, чем прозаичность будничных интересов. Что до Розамонды, то она, точно раскрывшаяся водяная лилия, упивалась новой полнотой своей жизни и тоже усердно ткала их общую паутину. Ткалась она в уголке гостиной у фортепьяно и, несмотря на всю воздушность, играла радужным блеском, который замечал вовсе не только мистер Фербратер. Весь Мидлмарч знал, что мисс Винси и мистер Лидгейт помолвлены, хотя официально ничего объявлено не было.

Гарриет Булстрод опять встревожилась, но на сей раз она решила поговорить с братом и поехала к нему на склад, чтобы избежать разговора с легкомысленной миссис Винси. Однако его ответы ее не успокоили.

— Уолтер, неужели ты хочешь сказать, что допустил подобное, не наведя справок о состоянии мистера Лидгейта? — спросила миссис Булстрод, с недоумением глядя на брата, который пребывал в своем раздраженном складском настроении. — Подумай, как такая девушка, приученная к роскоши — и к суетности, должна я с огорчением сказать, — как такая девушка будет жить на небольшой доход?

— Оставь, Гарриет! При чем тут я, если люди приезжают в город без моего приглашения? А вы что, не пускали Лидгейта к себе на порог? Это Булстрод, а не кто-нибудь, с ним носился. Я ему ни в чем не содействовал. Так ты лучше со своим мужем поговори, а не со мной.

— Ах, право, Уолтер, как можно тут винить мистера Булстрода? Он этой помолвки не желал, я уверена.

— Ну, если бы Булстрод не взял его себе под крылышко, стал бы я приглашать его к нам!

— Но ведь ты пригласил его лечить Фреда, и я первая скажу, что это была рука провидения, — возразила миссис Булстрод, запутавшись в тонкостях этой деликатной темы.

— Не знаю, как там провидение! — раздраженно бросил мистер Винси. — А вот из-за моей семьи хлопот у меня больше, чем мне хотелось бы. Я ведь был тебе хорошим братом, Гарриет, пока ты не вышла замуж, и должен сказать, Булстрод не всегда относится к твоим близким по-родственному, как следовало бы.

Мистер Винси совсем не походил на иезуита, но самый хитрый иезуит не сумел бы так ловко переменить тему. Гарриет пришлось защищать мужа, вместо того чтобы упрекать брата, и по-

молвка была забыта в разборе препирательств, возникших между мистером Винси и мистером Булстродом на недавнем заседании церковного совета.

Миссис Булстрод не стала передавать мужу жалобы брата, но вечером заговорила с ним о Лидгейте и Розамонде. Однако он не заразился ее горячностью и ограничился безразличными замечаниями об опасностях, которые подстерегают молодого врача в начале его карьеры и требуют большой осмотрительности.

— Но право же, нам следует молиться за эту легкомысленную девочку, воспитанную в суетности, — сказала миссис Булстрод, надеясь воздействовать на чувства мужа.

— Воистину, дорогая, — согласился мистер Булстрод. — Как еще люди, чуждые миру сему, могут противостоять заблуждениям тех, кто предан суете? А таково семейство твоего брата, и нам следует свыкнуться с этой мыслью. Возможно, я предпочел бы, чтобы мистер Лидгейт не вступал в этот брак, но мои отношения с ним исчерпываются использованием его дарований для целей господних, как наставляет нас божественное провидение.

Миссис Булстрод больше ничего не сказала,

приписав свое огорчение недостаточной духовности. Она верила, что ее муж — один из тех людей, о которых после их кончины следует писать книги.

Что касается самого Лидгейта, то, получив согласие, он готов был принять все последствия, которые, как ему казалось, представлял себе совершенно ясно. Безусловно, свадьбу не следует откладывать больше чем на год или даже на полгода. Правда, он не собирался жениться так скоро, но в остальном его планы остаются прежними: нужно будет просто приспособить их к новому положению. Ну, а к свадьбе следует готовиться заведенным порядком — например, снять дом вместо квартиры, в которой он жил до сих пор. Лидгейт не раз слышал, как Розамонда восхищалась домом старой миссис Бреттон (тоже на Лоуик-Гейт), вспомнил об этом, когда дом освободился после смерти старушки, и тотчас начал вести переговоры о найме.

Сделал он это словно между прочим — точно так же, как заказывал портному модный костюм со всеми принадлежностями, вовсе не думая о том, чтобы пустить пыль в глаза. Напротив, всякая трата напоказ не вызвала бы у него ничего, кроме презрения: как врач он близко узнал все

степени бедности и горячо принимал к сердцу судьбу неимущих. Он безупречно держался бы за столом, на котором соус стоял в чашке с отбитой ручкой, а о великолепном званом обеде вспомнил бы только, что встретил там интересного собеседника. Однако он ни на минуту не собирался отказываться от образа жизни, который считал обычным, — зеленые рюмки для хереса и вышколенный слуга, разносящий блюда. Погревшись у французских социальных теорий, он не привез с собой запах паленого. Мы можем безнаказанно заигрывать с самыми крайними мнениями, когда наша мебель, наши званые обеды и фамильный герб, которым мы гордимся, неразрывно связывают нас с установленным порядком вещей. А Лидгейт к тому же не симпатизировал крайним мнениям, босоногие доктрины были ему не по вкусу — он носил щегольские сапоги и чуждался радикализма, если только речь не шла о необходимости реформ в медицинской профессии и о косности, препятствующей научным исследованиям. В практической жизни он руководствовался наследственными привычками, гордостью и бессознательным эгоизмом (той пошлостью в его натуре, о которой уже говорилось), а также наивностью, неизбежной при

увлечении излюбленными идеями.

И если Лидгейт был как-то озабочен последствиями своей неожиданной помолвки, то смущал его недостаток времени, а вовсе не денег. Бесспорно, влюбленность и сознание, что его ожидает та, что каждый раз оказывается прелестнее, чем образ, живущий в его памяти, мешали ему посвящать исследованиям свободные часы, которых могло достать какому-нибудь «усердному немцу», чтобы сделать великое и уже столь близкое открытие. Выход был один — не откладывать свадьбы, как он и дал понять мистеру Фербратеру, когда тот явился к нему с какой-то извлеченной из пруда живностью, чтобы рассмотреть свою находку под более сильным микроскопом, и саркастически сказал, увидев, что на столе Лидгейта, заставленном приборами и препаратами, царит полнейший беспорядок:

— Эрос[127] заметно пал: он начал с того, что принес в мир порядок и гармонию, а теперь вновь ввергает его в хаос.

— Да, на определенных этапах, — ответил Лидгейт, с улыбкой поднимая брови, и начал на-

**[127] Примечания: 127**

*Эрос* (Эрот) — бог любви, один из древнейших богов греческой мифологии; вначале имел космогонические черты и считался олицетворением стихийного созидательного начала в природе.

страивать микроскоп. — Но затем порядок станет еще лучше.

— И скоро? — спросил мистер Фербратер.

— Надеюсь, что да. Это неопределенное положение отнимает массу времени, а в научных изысканиях каждая минута может оказаться решающей. И по моему мнению, тому, кто хочет работать систематически, необходимо жениться. Тогда у него дома есть все и ему уже не досаждают всякие отвлекающие мелочи. Он обретает спокойствие и свободу.

— Вам можно позавидовать! — заметил священник. — Вы получаете Розамонду, спокойствие и свободу. А у меня всего лишь моя трубка и мельчайшие обитатели пруда. Ну как, готово?

Однако Лидгейт ничего не сказал мистеру Фербратеру о другой причине, побуждавшей его сократить срок жениховства. Даже с вином любви в жилах он досадовал на то, что вынужден участвовать в семейных вечерах и столько времени тратить на мидлмарчские сплетни, пустое веселье и вист, предаваясь бессмысленной праздности. Ему приходилось почтительно выслушивать вопиюще невежественные рассуждения мистера Винси, например о том, какие спиртные напитки лучше всего дубят внутренности и спасают чело-

века от миазмов. Да и добродушная миссис Винси в своей простоте нисколько не подозревала, что может оскорблять вкус нареченного зятя. Короче говоря, Лидгейт должен был признаться себе, что родители Розамонды ему все-таки неровня. Но ведь его обворожительная чаровница испытывает те же страдания. И Лидгейт находил особую радость в мысли, что, женясь на ней, он спасает ее от этого прозябания.

— Любимая! — сказал он ей как-то вечером самым ласковым своим тоном, садясь рядом и внимательно вглядываясь в ее лицо…

Но мне следует сперва объяснить, что он застал ее одну в гостиной, большое старомодное окно которой, занимавшее чуть ли не всю стену, было распахнуто, и в него вливались летние ароматы сада, расположенного позади дома. Ее родители были в гостях, а питомцы мисс Морган гонялись где-то за мотыльками.

— Любимая! У вас красные глазки.

— Неужели? — сказала Розамонда. — Отчего бы это? — Ей было несвойственно изливать жалобы и огорчения: она деликатно открывала причину своих страданий, только если ее долго упрашивали.

— Как будто вы можете что-то от меня скрыть! —

воскликнул Лидгейт, нежно накрывая ладонью ее сложенные руки. — Разве я не вижу крохотную капельку на реснице? Вас что-то удручает, а вы не хотите открыться мне! Так любящие не поступают.

— Зачем рассказывать вам о том, чего вы изменить не можете? Это все самые обычные вещи. Ну, может быть, в последнее время они стали немного хуже.

— Домашние неурядицы. Вы спокойно можете мне довериться. Я ведь догадываюсь в чем дело.

— Папа стал таким раздражительным! Он сердится на Фреда, и сегодня утром была новая ссора: Фред грозит выбрать себе какое-то низкое занятие и не хочет считаться с тем, что ему дали образование вовсе не для этого. А кроме того…

Розамонда запнулась и чуть-чуть покраснела. Лидгейт впервые после их объяснения видел ее расстроенной и никогда еще не испытывал к ней такой страстной любви, как в эту минуту. Он нежно поцеловал умолкшие губки, словно желая придать им смелости.

— Мне кажется, папа недоволен нашей помолвкой, — продолжала Розамонда почти шепотом. — Вчера вечером он сказал, что должен поговорить с вами и что от нее надо отказаться.

— И вы согласитесь? — с жаром, почти с гневом спросил Лидгейт.

— Я никогда не отказываюсь от того, чего хочу, — ответила Розамонда, к которой, едва он коснулся этой струны, вернулось обычное спокойствие.

— Умница! — воскликнул Лидгейт, снова ее целуя. Такое уместное упорство было обворожительно. Он продолжал:

— Ваш отец уже не вправе настаивать на расторжении нашей помолвки. Вы совершеннолетняя и дали мне слово. А если вам причиняют огорчения, значит, надо ускорить свадьбу.

Устремленные на него голубые глаза просияли радостью, словно озарив мягким солнечным светом все его будущее. Идеальное счастье (прямо из сказок «Тысячи и одной ночи», когда достаточно одного шага, чтобы покинуть тяжкий труд и сумятицу улиц и очутиться в раю, где вам дается все, а от вас ничего не требуется), казалось, было совсем близко — лишь несколько недель ожидания.

— Зачем нам откладывать? — спросил он с пылкой настойчивостью. — Я уже снял дом, а остальные приготовления можно закончить быстро, не так ли? Ваши новые платья подождут. Их можно купить и после.

— Какие у вас, умных мужчин, странные понятия! — сказала Розамонда, и на ее лице заиграло больше смешливых ямочек, чем обычно. — Нет, только подумать! Я в первый раз слышу, чтобы подвенечное платье покупали после свадьбы.

— Но неужели вы будете настаивать, чтобы я из-за платьев ждал еще месяц? — спросил Лидгейт, полагая, что Розамонда мило его поддразнивает, и все же опасаясь, что на самом деле она вовсе не хочет торопиться со свадьбой. — Вспомните, ведь нас ожидает еще большее счастье, чем это, — мы будем все время вместе, ни от кого не завися, распоряжаясь нашей жизнью, как захочется нам самим. Любимая, ну, скажите же мне, что скоро вы можете стать совсем моей!

Лидгейт говорил серьезно и настойчиво, словно она оскорбляла его нелепыми отсрочками, и Розамонда тотчас стала серьезной и задумалась. Собственно говоря, она перебирала в уме сложные вопросы обметывания швов, подрубания оборок и отделки юбок, прежде чем дать хотя бы приблизительный ответ.

— Полутора месяцев должно вполне хватить, Розамонда, не так ли? — настойчиво сказал Лидгейт и, выпустив ее руки, нежно обнял ее за талию.

Одна маленькая ручка тотчас прикоснулась к волосам, поправляя их, и Розамонда, чуть наклонив голову, сказала озабоченно:

— Но ведь остается еще столовое белье и мебель. Впрочем, мама может все это устроить к нашему возвращению.

— Ах да, конечно! Нам ведь придется уехать на неделю в свадебное путешествие.

— Нет, не на неделю! — воскликнула Розамонда и подумала о вечерних туалетах, предназначенных для поездки в имение сэра Годвина Лидгейта, где она втайне надеялась восхитительно провести хотя бы четверть медового месяца, пусть даже это отсрочит ее знакомство с другим дядей Лидгейта, доктором богословия (в сочетании с аристократической кровью внушительный, хотя и не столь блистательный титул). Она бросила на жениха взгляд, полный недоумения, похожего на упрек, и он тотчас решил, что ей хотелось бы продлить пленительные дни уединения вдвоем.

— Только назначьте день свадьбы, и все будет по вашему желанию, любимая. Но решимся же и положим конец вашим досадам. Полтора месяца! Разумеется, такой срок вполне достаточен.

— Да, конечно, я могу ускорить приготовления, — сказала Розамонда. — Так вы поговорите

с папой? Хотя, по-моему, лучше написать ему. — Она порозовела и взглянула на Лидгейта, как глядят на нас садовые цветы, когда в прозрачном вечернем свете мы беспечно прогуливаемся между клумбами, — ведь верно, что в этих нежных лепестках, собранных в легкий трепетный венчик вокруг темно-алой сердцевины, прячется неизъяснимая душа полунимфы, полуребенка?

Лидгейт коснулся губами ее ушка, и они молча сидели много минут, которые струились мимо них, точно ручеек, искрящийся от поцелуев солнца. Розамонда думала, что никто еще не был так влюблен, как она, а Лидгейт думал, что после всех безумных ошибок, рожденных нелепой доверчивостью, он наконец обрел идеальное воплощение женственности, и на него словно уже веяло будущим блаженством с той, что так высоко ставит его научные изыскания и никогда не станет им мешать, что тихим волшебством будет поддерживать порядок в доме и счетах, не отказываясь в любой миг коснуться пальцами струн лютни и претворить будни в романтический праздник, с той, что образованна в истинно женских пределах и ни на йоту больше, а потому полна кротости и готова послушно принимать все выходящее за эти пределы. Он никогда еще

так ясно не понимал, насколько неверным было его намерение еще долго оставаться холостяком: женитьба не только не станет помехой его планам, но поможет их осуществлению. И когда на следующий день, сопровождая пациента в Брассинг, он увидел там сервиз, показавшийся ему превосходным во всех отношениях, то немедленно его купил. Откладывать подобные решения — значит напрасно терять время, а Лидгейт терпеть не мог плохую посуду. Правда, сервиз был дорогим, но такова, наверное, природа сервизов. Обзаведение всем необходимым, естественно, обходится недешево, зато это случается только раз в жизни.

— Он, верно, чудо что такое, — сказала миссис Винси, когда Лидгейт упомянул про свою покупку и в двух словах описал сервиз. — Как раз для Рози. Дай-то бог, чтобы он подольше оставался цел.

— Надо нанимать такую прислугу, которая не бьет посуды, — объявил Лидгейт. (Бесспорно, в его рассуждении причина и следствие несколько смешались, но в ту эпоху трудно было найти систему рассуждений, которую ученые мужи так или иначе не санкционировали бы.)

Разумеется, от маменьки не было нужды что-либо скрывать: она предпочитала на все смотреть

бодро и — сама счастливая жена — о замужестве дочери думала только с радостной гордостью. Однако Розамонда знала, что говорила, когда посоветовала Лидгейту написать ее папеньке. На следующее утро она подготовила почву, проводив отца на склад и по дороге упомянув, что мистер Лидгейт торопится со свадьбой.

— Вздор, милочка, — сказал мистер Винси. — На какие средства он собирается содержать жену? Лучше бы ты порвала с ним помолвку. Ведь у нас с тобой уже был об этом разговор. К чему ты получала такое воспитание, если теперь выйдешь замуж за бедняка? Каково отцу смотреть на это?

— Но мистер Лидгейт вовсе не бедняк, папа. Он купил практику мистера Пикока, а она, говорят, приносит в год восемьсот — девятьсот фунтов.

— Чепуха! Практику купил! А почему бы ему не купить журавля в небе? Он ее всю растеряет.

— Ничего подобного, папа. Он приобретает много новых пациентов. Ведь его уже пригласили к Четтемам и к Кейсобонам.

— Надеюсь, он знает, что я за тобой ничего не даю? Фред остался ни при чем, парламент, того гляди, распустят, машины повсюду ломают, и выборы скоро…

— Милый папа! Но при чем тут моя свадьба?

— Очень даже при чем! Мы, того гляди, станем нищими — такое в стране творится! Может, и правда наступает конец света, как некоторые говорят! Во всяком случае, свободных денег у меня сейчас нет, брать из дела я их не могу, и Лидгейту следует это знать.

— Но он ничего не ждет, я уверена. И у него такое знатное родство! Так или иначе, он займет высокое положение в свете. Он делает научные открытия.

Мистер Винси ничего не сказал.

— Папа, я не могу отказаться от моей единственной надежды на счастье. Мистер Лидгейт — джентльмен. А я бы никогда никого не полюбила, кроме безупречного джентльмена. Ты ведь не хочешь, чтобы я заболела чахоткой, как Арабелла Хоули. И ты знаешь, что я никогда от своих решений не отступаю.

Но папа снова ничего не сказал.

— Обещай, папа, что ты дашь свое согласие. Мы ни за что не откажемся друг от друга, а ты сам всегда осуждал долгие помолвки и поздние браки.

Она продолжала настаивать, и в конце концов мистер Винси сказал:

— Ну что же, деточка, он должен мне сперва написать, чтобы я мог дать ответ.

И Розамонда поняла, что добилась своего.

Ответ мистера Винси свелся главным образом к требованию, чтобы Лидгейт застраховал свою жизнь, — что тот немедленно и исполнил. Это была превосходная предосторожность на случай, если бы Лидгейт вдруг умер, но пока она требовала расходов. Однако теперь все препятствия, казалось, были устранены и приготовления к свадьбе продолжались с большим воодушевлением. Впрочем, не без разумной экономии. Новобрачная (намеревающаяся гостить у баронета) никак не может обойтись без модных носовых платков, но если не считать абсолютно необходимой полудюжины, Розамонда не стала настаивать на самой дорогой вышивке и валансьенских кружевах. И Лидгейт, обнаруживший, что его восемьсот фунтов после переезда в Мидлмарч значительно убыли, предпочел отказаться от понравившегося ему старинного столового серебра, которое он увидел в Брассинге, в лавке Кибла, куда зашел купить вилки и ложки. Гордость не позволяла ему расходовать слишком много, словно в расчете на то, что мистер Винси выдаст им деньги на обзаведение, и хотя не за все нужно было платить сразу, он не тратил время на предположения, какую сумму тесть вручит ему в качестве прида-

ного и насколько она облегчит оплату счетов. Он не собирался позволять себе лишних расходов, но было бы неразумно экономить на качестве необходимых приобретений. Впрочем, все это было достаточно кстати. Лидгейт по-прежнему видел свое будущее в увлеченных занятиях наукой и практической медициной, но он не мог представить себе, что занимается ими в обстановке, в какой, например, жил Ренч — все двери распахнуты, стол накрыт старой клеенкой, дети в замусоленных платьицах и остатки второго завтрака: обглоданные косточки, ножи с роговыми ручками и дешевая посуда. Но ведь жена Ренча, вялая апатичная женщина, только куталась в большой платок, точно мумия, и он, по всей видимости, с самого начала неверно поставил свой дом.

Однако Розамонда была погружена во всяческие расчеты, хотя безошибочное чутье предостерегало ее против того, чтобы открыто в них признаваться.

— Мне так хотелось бы познакомиться с вашими родными, — сказала она однажды, когда они обсуждали свадебное путешествие. — Не выбрать ли нам такое место, чтобы на обратном пути мы могли побывать у них? Кого из ваших дядей вы

особенно любите?

— Ну… дядю Годвина, пожалуй. Очень милый старик.

— Вы ведь в детстве подолгу жили у него в Куоллингеме, правда? Мне бы так хотелось увидеть старое поместье и все, что было вам тогда дорого. Он знает, что вы женитесь?

— Нет, — беззаботно ответил Лидгейт, поворачиваясь в кресле и ероша волосы.

— Ну, так напишите ему, гадкий, непочтительный племянник. Может быть, он пригласит нас в Куоллингем, и вы покажете мне парк, и я представлю вас себе мальчиком. Вы ведь видите меня в той обстановке, в какой я росла. И будет нечестно, если я буду знать о вас меньше. Но я забыла: вам, возможно, будет немножко неловко за меня.

Лидгейт нежно ей улыбнулся и, конечно, подумал, что похвастать очаровательной женой — большое удовольствие и ради него стоит побеспокоиться. А к тому же действительно будет очень приятно обойти с Розамондой все старые милые уголки.

— Хорошо, я напишу ему. Но мои кузены и кузины на редкость скучны.

Иметь право так презрительно отзываться о

детях баронета! Розамонда пришла в восторг и уже предвкушала, как сама отнесется к ним пренебрежительно.

Однако дня через два ее маменька чуть было не испортила всего, заявив:

— Мне бы так хотелось, мистер Лидгейт, чтобы ваш дядюшка, сэр Годвин, обошелся с Рози по-родственному. Чтобы он не поскупился. Ведь для баронета тысяча-другая — просто мелочь.

— Мама! — воскликнула Розамонда, густо покраснев.

Лидгейту стало так ее жаль, что он промолчал и, отойдя к стене, принялся, словно в рассеянности, разглядывать какую-то гравюру. Маменька позже выслушала строгую дочернюю нотацию и, как всегда, не стала возражать. Однако Розамонде пришло в голову, что на редкость скучные высокородные кузены, если удастся пригласить их в Мидлмарч, увидят в ее родительском доме немало такого, что должно шокировать их аристократические понятия. А потому было бы лучше, если бы Лидгейт поскорее нашел прекрасный пост где-нибудь подальше от Мидлмарча. А это не должно составить никаких затруднений для человека с титулованным дядей и делающего открытия. Лидгейт, как видите, увлеченно

описывал Розамонде свое намерение посвятить жизнь служению высочайшей пользе и наслаждался тем, что его слушает прелестное создание, которое подарит ему поддержку нежной любви… красоту… покой — все то, чем пленяют нас и укрепляют наши душевные силы летнее небо или цветущий луг.

Лидгейт весьма полагался на психологические различия между гусаком и гусыней, как я выражусь разнообразия ради, — особенно на врожденную кротость и покорность гусыни, столь прекрасно дополняющей силу гусака.

## Глава XXXVII

*Та счастлива, что, сделав выбор свой,*
*Себя не даст сомненьям обмануть,*
*Мечтой не очаруется иной,*
*Прогонит страх, тайком заползший в грудь.*
*Так галион упорно держит путь*
*В морскую гавань средь морских зыбей —*
*Его не могут в сторону свернуть*
*Ни бури, ни прельщенья миражей.*
*Оплотом твердым верность служит ей:*
*Не нужно козней убегать врагов,*
*Не нужно помощи искать друзей.*
*Ей верность – и опора и покров.*
*Счастливица! Но трижды счастлив тот,*
*Кого такое сердце изберет.*

***Эдмунд Спенсер*[128]**

Мистер Винси, как мы видели, не мог решить,

---

**[128] Примечания: 128**

Спенсер Эдмунд (1552 — 1599) — крупнейший поэт английского Возрождения.

ждать ли всеобщих выборов или конца света теперь, когда Георг Четвертый скончался, парламент был распущен, Веллингтон и Пиль утратили популярность, а новый король только виновато разводил руками. Но растерянность мистера Винси лишь слабо отражала растерянность, господствовавшую в провинциальном общественном мнении тех дней. Как могли люди разобраться в собственных мыслях при свете еле теплящихся огоньков окрестных поместий, если консервативный кабинет прибегал к либеральным мерам, а аристократам-тори и избирателям-тори даже либералы казались предпочтительнее, чем друзья отступников-министров, и всюду раздавались требования спасительных средств, которые имели лишь самое отдаленное отношение к личным интересам и приобретали подозрительный душок, так как за них ратовали неприятные соседи? Читатели мидлмарчских газет оказались в нелепом положении: в дни треволнений по поводу билля о католиках многие отвергли «Мидлмарчский пионер», который взял девиз у Чарлза Джеймса Фокса[129] и стоял за прогресс, потому что «Пионер» принял сторону Пиля в

**[129] Примечания: 129**

*Чарлз Джеймс Фокс* (1749 — 1806) — английский политический деятель, лидер партии вигов.

вопросе о папистах и тем самым запятнал свой либерализм терпимостью к иезуитам и Ваалу. Однако не были они довольны и «Рупором» — хотя не так давно он метал громы против Рима, теперь вялость общественного мнения (никто не знал, кто кого будет поддерживать) заставила его глас заметно приутихнуть.

Это было время, как указывала статья в «Пионере», напечатанная на самом видном месте, когда вопиющие нужды страны могли призвать из добровольного затворничества людей, чей ум благодаря большой житейской мудрости обрел не только сосредоточенность, но и широту, не только целеустремленность, но и терпимость, не только энергию, но и беспристрастность — короче говоря, все те качества, которые, как показывает печальный опыт человечества, вовсе не склонны уживаться под одной крышей.

Мистер Хекбат, чье красноречие в те дни разливалось даже еще более широким половодьем, чем обычно, и не позволяло точно угадать, в какое русло предполагает оно войти, во всеуслышание заявил в конторе мистера Хоули, что указанная статья «исходит» от Брука, владельца Типтон-Грейнджа, и что Брук несколько месяцев назад тайно купил «Мидлмарчский пионер».

— Тут уж хорошего не жди, э? — осведомился мистер Хоули. — Сначала он тыкался где-то, как заблудившаяся черепаха, а теперь ему взбрело в голову стать популярным. Тем хуже для него. Я к нему давно приглядываюсь. Его под орех разделают. Землевладелец он из рук вон плохой. С какой стати помещику заигрывать с городской чернью? Ну, а газета… надеюсь, он сам будет в нее пописывать. Тогда не жалко платить за нее деньги.

— Насколько мне известно, он нашел редактора — очень талантливого молодого человека, который способен писать передовые статьи в самом лучшем стиле, — не во всякой лондонской газете такие найдутся. И он намерен грудью стоять за реформу.

— Пусть-ка Брук сначала реформирует плату, которую выжимает из своих арендаторов. Старый выжига — вот кто он такой, и его арендаторы живут в таких ветхих лачугах, что просто позор. Наверное, этот его молодой человек — какой-нибудь лондонский бездельник.

— Его фамилия Ладислав. Говорят, он иностранного происхождения.

— Это народ известный! — сказал мистер Хоули. — Какой-нибудь тайный агент. Начнет с пышных рассуждений о правах человека, а по-

том придушит деревенскую девчонку. Так у них ведется.

— Однако согласитесь, Хоули, злоупотребления существуют, — заметил мистер Хекбат, предвидя, что разойдется в политических взглядах со своим поверенным. — Я далек от крайностей, собственно говоря, я разделяю позицию Хаскиссона[130], но я не могу закрывать глаза на то, что отсутствие представительства крупных городов…

— К черту крупные города! — нетерпеливо перебил мистер Хоули. — Мне слишком хорошо известно, как проходят выборы в Мидлмарче. Ну, пусть они уничтожат все гнилые местечки[131] и дадут представительство каждому скороспелому городу в стране, а в результате выборы будут обходиться кандидатам куда дороже. Я исхожу

---

**[130] Примечания: 130**

*Хаскиссон Уильям* (1770 — 1830) — английский государственный деятель, специалист по финансам и политической экономии, последовательно выступавший против политики протекционизма; погиб, попав под паровоз в день открытия железной дороги Манчестер — Ливерпуль.

**[131] Примечания: 131**

В описываемую эпоху в Англии завершалась борьба за изменение порядка выборов в палату общин, сохранявшегося со времен Средневековья, в результате чего крупные промышленные города, выросшие за последний век, нередко были вовсе лишены представительства в парламенте, а так называемые гнилые местечки — захиревшие, а то и вовсе исчезнувшие населенные пункты — по-прежнему сохраняли некогда полученное право посылать в палату общин двух депутатов, которые таким образом в большинстве случаев практически назна-

чались местными землевладельцами. Избирательная реформа была проведена в 1832 г.

из фактов.

Раздражение, которое мистер Хоули испытал при мысли, что «Мидлмарчский пионер» редактируется тайным агентом, а Брук занялся политической деятельностью (точно черепаха, тихонько ползавшая туда и сюда, вдруг честолюбиво задрала крохотную головенку к небу и встала на задние лапы), далеко уступало негодованию, охватившему некоторых родственников самого мистера Брука. Все выяснилось постепенно — так мы узнаем, что сосед завел не слишком благоуханную мастерскую и она теперь вечно будет оскорблять наши ноздри, а закон тут ничего поделать не может. «Мидлмарчский пионер» был куплен тайно еще до приезда Уилла Ладислава: бывший владелец весьма охотно расстался с ценной собственностью, переставшей приносить доход, и в промежуток времени, протекший после того, как мистер Брук написал Уиллу, желание заставить мир прислушаться к себе, зародыш которого таился в его душе с юношеских лет, но до сих пор оставался в небрежении, теперь дал под покровом тайны обильные всходы.

Содействовал этому и молодой гость. Он оказался даже восхитительней, чем предвкушал мистер Брук. Ибо Уилл, по-видимому, не только

был превосходно осведомлен во всех областях искусства и литературы, которыми мистер Брук в свое время занимался, но так же поразительно умел схватывать особенности политической ситуации и освещать их с той широтой, какая при наличии прекрасной памяти выражается в большом количестве цитат и общей эффектности.

— Он мне напоминает Шелли[132], знаете ли, — при первом же удобном случае сообщил мистер Брук, чтобы доставить удовольствие мистеру Кейсобону. — Не в каком-либо неблаговидном смысле — атеизм, знаете ли, распущенность, ну и так далее. Убеждения Ладислава во всех отношениях здравы, я уверен — вчера вечером мы очень долго беседовали. Но он не меньше его преклоняется перед свободой, вольностью, эмансипацией — при должном руководстве отличные идеи, знаете ли. Я думаю, что сумею поставить его на правильную дорогу. И мне это тем более приятно, что он ваш родственник, Кейсобон.

Хотя речь мистера Брука была весьма рас-

---

**[132] Примечания: 132**

*Шелли Перси Биши* (1792 — 1822) — английский поэт, ведущий представитель революционного романтизма. Был исключен из Оксфордского университета за издание брошюры «Необходимость атеизма». Его политические и социальные взгляды навлекли на него нападки реакционных кругов. В частности, его обвиняли в безнравственности за то, что его брак с Мэри Годвин некоторое время не мог быть оформлен официально.

плывчата, мистер Кейсобон невольно пожелал про себя, чтобы «правильная дорога» означала нечто более конкретное — какое-нибудь место подальше от Лоуика. Он испытывал неприязнь к Уиллу, даже пока помогал ему, но теперь, когда Уилл отказался от этой помощи, его неприязнь еще увеличилась. Так бывает со всеми нами, когда в нас живет подозрительная ревность: если наши таланты пригодны главным образом для того, чтобы, так сказать, прокладывать ходы под землей, то, разумеется, наш упивающийся нектаром родич (который по серьезным причинам вызывает наше неудовольствие) исподтишка питает к нам презрение, и всякий, кто его хвалит, тем самым косвенно принижает нас. Будучи людьми щепетильными, мы не доходим до такой низости, чтобы вредить ему, а, наоборот, во исполнение родственного долга спешим сами его облагодетельствовать. Каждый подаренный ему чек доказывает наше превосходство и тем смягчает нашу горечь. И вдруг мистера Кейсобона капризно лишили права чувствовать свое превосходство (разве что в воспоминаниях). Его антипатия к Уиллу родилась не из обычной ревности старого мужа, она была куда более глубока и питалась всеми обманутыми надеждами и

разочарованиями его жизни. Однако Доротея, раз уж она вошла в его жизнь, Доротея, молодая жена, которая и сама проявила оскорбительные критические наклонности, способствовала усилению и прояснению этого чувства, прежде довольно смутного.

Уилл Ладислав, со своей стороны, вместо благодарности испытывал все большую неприязнь к мистеру Кейсобону и без конца спорил с собой, оправдывая ее. Кейсобон его ненавидит, в этом он не сомневался: злобно сжатые губы и полный яда взгляд, каким он был встречен, перевешивают былые одолжения и прямо-таки требуют открытой войны. Да, он многим обязан Кейсобону, но, право же, подобная женитьба перечеркивает любые обязательства. Неужели благодарность за добро, сделанное тебе, запрещает негодовать, когда другому причиняют зло? А Кейсобон, женившись на Доротее, причинил ей большое зло. Человек обязан лучше понимать, что он такое, и если ему нравится до седых волос грызть кости в темной пещере, у него нет права заманивать туда юную девушку. «Никакое самое ужасное жертвоприношение не сравнится с этим!» — воскликнул Уилл и нарисовал себе внутренние муки Доротеи так живо, словно клал на музыку причитания

греческого хора. Но он ее не покинет. Он станет оберегать ее — да, станет, пусть ради этого ему придется отказаться от чего угодно! Зато она будет знать, что у нее есть преданный раб! Уилл (используя выражение сэра Томаса Брауна[133]) был склонен к «страстной щедрости» речи, говорил ли он сам с собой или с другими. На самом же деле все обстояло гораздо проще: в то время ему больше всего на свете хотелось видеть Доротею.

Однако законные поводы для этого выпадали редко: в Лоуик его не приглашали. Правда, мистер Брук, всегда готовый сделать мистеру Кейсобону приятное (бедняга так поглощен своими занятиями, что становится забывчив!), несколько раз привозил Ладислава в Лоуик, а во всех других местах при каждом удобном случае представлял его как молодого родственника Кейсобона. И хотя Уилл ни разу не оставался с Доротеей наедине, этих встреч оказалось достаточно, чтобы к ней вернулось ощущение духовной общности с этим молодым человеком, который хотя и был умнее ее, тем не менее охотно соглашался с ее доводами. До замужества бедняжка Доротея ни у кого не находила отклика своим заветным мыслям,

**[133] Примечания: 133**
*Томас Браун* (1605 — 1682) — английский писатель.

и, как известно, снисходительные поучения супруга приносили ей гораздо меньше радости, чем она ожидала. Если она начинала говорить с мистером Кейсобоном о том, что ее интересовало, он выслушивал ее с терпеливым видом, точно она цитировала хрестоматию, известную ему с детских лет, порой сухо сообщал, какие древние авторы исповедовали подобные идеи, словно считал, что их и так вполне достаточно, а порой указывал, что она ошибается, и повторял то, против чего она возражала.

Но Уилл Ладислав, казалось, всегда находил в ее словах больше, чем она в них вкладывала. Доротея не отличалась тщеславием, но в ней жила обычная потребность пылкой женской души благостно царствовать, даря счастье другой душе. Вот почему даже эти мимолетные встречи с Уиллом словно на миг распахивали окошко в стене ее темницы, впуская туда солнечные лучи, и, радуясь им, она мало-помалу переставала тревожиться о том, как мог истолковать ее муж приглашение, которое мистер Брук послал Уиллу. Сам же мистер Кейсобон ни разу ни словом, ни намеком не коснулся этой темы.

Однако Уилл жаждал увидеться с Доротеей наедине, и у него не хватало терпения покорно

ждать счастливого случая. Пусть редки и кратки были земные свидания Данте и Беатриче, Петрарки и Лауры, времена меняются, и более поздние века предпочитают, чтобы сонетов было поменьше, а встреч и разговоров — побольше. Необходимость извиняет хитрости, но к какой хитрости мог он прибегнуть, не оскорбив Доротею? В конце концов он решил, что ему просто необходимо написать уголок парка в Лоуике, и как-то утром, когда мистер Брук отправился в город по Лоуикской дороге, попросил подвезти его до Лоуика вместе с этюдником и складным стулом. Там, не заходя в дом, он расположился в таком месте, откуда должен был увидеть Доротею, если бы она вышла на прогулку, — а он знал, что в эти часы она обычно гуляет.

Но его хитрость оказалась бессильной перед погодой. Небо со злокозненной быстротой заволокли тучи, хлынул дождь, и Уиллу пришлось искать приюта в доме. Он намеревался на правах родственника пройти без доклада в гостиную и переждать там. В передней он попросил дворецкого, своего старого знакомого:

— Не докладывайте обо мне, Прэтт. Я подожду до второго завтрака. Я знаю, мистер Кейсобон не любит, чтобы его беспокоили, когда он занимает-

ся в библиотеке.

— Хозяина нет дома, сэр. Миссис Кейсобон в библиотеке одна. Так я, сэр, доложу ей о вас, — сказал Прэтт, краснощекий толстяк, любивший поболтать с Тэнтрип и вполне согласный с ней в том, что барыня, наверное, скучает.

— Ну, хорошо. Этот проклятый дождь помешал мне писать, — ответил Уилл, охваченный такой радостью, что изобразить безразличие оказалось удивительно легко.

Минуту спустя он уже входил в библиотеку, и Доротея поднялась ему навстречу с милой непринужденной улыбкой.

— Мистер Кейсобон поехал к архидьякону, — сразу же объяснила она. — Я не знаю, когда он вернется. Возможно, только к обеду. Он не мог сказать, сколько времени там пробудет. Вам нужно было с ним о чем-нибудь поговорить?

— Нет. Я приехал посидеть с альбомом, но дождь прогнал меня из парка. Я думал, мистер Кейсобон работает в библиотеке, а мне известно, как он не любит, чтобы ему мешали в этот час.

— В таком случае дождь оказал мне услугу. Я очень рада вас видеть. — Доротея произнесла эти банальные слова с безыскусственной искренностью тоскующей в пансионе маленькой девочки,

которую вдруг навестили родные.

— На самом деле я приехал, чтобы попытаться увидеть вас одну, — сказал Уилл, почему-то чувствуя, что должен ответить ей такой же искренностью, и даже не сделал паузы, чтобы спросить себя: а почему бы и нет? — Мне хотелось поговорить с вами о всякой всячине, как в Риме. Но в присутствии других людей получается совсем не то.

— Да, — столь же безыскусственно согласилась Доротея. — Так садитесь же.

Она опустилась на темную оттоманку перед рядами книг в коричневых переплетах. На ней было простое белое шерстяное платье, и ни одной драгоценности, ни одного украшения, если не считать обручального кольца. Можно было подумать, что она дала клятву не походить на других женщин. Уилл сел напротив, и свет падал на его блестящие кудри, на тонкий, чуть-чуть упрямый профиль, на дерзкую линию губ и подбородка. Они смотрели друг на друга, как два только что раскрывшихся цветка. Доротея на миг забыла таинственное озлобление мужа против Уилла: разговаривая без тревоги и опасений с единственным человеком, который понимал ее мысли, она словно освежала жаждущие губы ключевой

водой. Ведь вспоминая в грустные минуты былое утешение, она невольно его преувеличивала.

— Я часто думала, что была бы рада снова побеседовать с вами, — сказала она тут же. — Просто удивительно, о чем только я вам не говорила.

— И я все помню, — ответил Уилл, чью душу переполняло невыразимое блаженство оттого, что перед ним была женщина, достойная самой высокой любви. Мне кажется, его собственные чувства были в то мгновение безупречно высокими, ибо нам, смертным, выпадают божественные мгновения, когда любовь обретает удовлетворение в совершенстве своего предмета.

— С тех пор как мы виделись с вами в Риме, я многому научилась, — продолжала Доротея. — Я немного знаю по-латыни и начинаю чуть-чуть понимать греческий. Теперь я способна больше помогать мистеру Кейсобону — нахожу нужные ссылки, чтобы поберечь его глаза, и еще многое. Но очень трудно стать ученым: люди словно бы утомляются на пути к великим мыслям и от усталости уже не в силах достичь их в полной мере.

— Если человек способен к великим мыслям, он, наверное, успевает обрести их до того, как одряхлеет, — быстро сказал Уилл, не удержавшись от намека, но тут же заметил по изменившемуся

лицу Доротеи, что она не менее быстро уловила этот намек, и поспешил добавить: — Впрочем, совершенно справедливо и то, что многие великие умы порой перенапрягались, отшлифовывая свои идеи.

— Вы правы, — сказала Доротея. — Я неточно выразилась. Я подразумевала, что создатели великих мыслей слишком устают, чтобы отшлифовывать их. Я думала об этом даже в детстве и всегда чувствовала, что хотела бы посвятить жизнь помощи кому-нибудь из тех, кто занят великим трудом, и хоть немного облегчить его ношу.

Доротея рассказала о своей детской мечте, нисколько не предполагая, что ее слова могут явиться откровением, но для Уилла они ярким светом осветили загадку ее брака. Он не пожал плечами и, лишенный возможности облегчить душу этим движением, со злостью подумал о прекрасных губах, целующих святые черепа и прочие пустоты, одетые церковной парчой. Но он постарался ничем не выдать своего раздражения.

— Однако, помогая, вы можете утратить меру и переутомитесь сами, — сказал он. — По-моему, вы слишком много времени проводите взаперти.

Раньше вы были не так бледны. Лучше бы мистер Кейсобон взял секретаря: он без труда найдет человека, который освободит его от половины работы. Это сберегло бы ему много сил, а вам осталось бы только скрашивать его досуг.

— Как вы могли об этом подумать? — произнесла Доротея тоном глубокого упрека. — Если я перестану помогать ему, то буду несчастна. Чем мне тогда заняться? В Лоуике нет бедняков, нуждающихся в моих заботах. Я была бы рада помогать ему еще больше. А секретаря он брать не хочет. Пожалуйста, никогда больше об этом не упоминайте.

— Конечно, раз я знаю теперь ваши желания. Но ведь то же самое говорят мистер Брук и сэр Джеймс Четтем.

— Да, но они не понимают... — сказала Доротея. — Они хотели бы, чтобы я побольше ездила верхом, а для развлечения занялась перепланировкой сада и постройкой оранжерей. Мне казалось, вы понимаете, что можно желать совершенно иного, — добавила она с некоторой досадой. — И к тому же мистер Кейсобон не хочет и слышать о секретаре.

— Моя ошибка извинительна, — сказал Уилл. — В прежние времена я не раз слышал, как мистер

Кейсобон выражал желание взять секретаря. Он даже предлагал эту должность мне. Но я оказался… недостаточно хорош.

Доротея постаралась найти оправдание явной враждебности мужа и заметила с веселой улыбкой:

— Вернее, недостаточно прилежен.

— Да, — ответил Уилл, встряхивая головой, как норовистый конь, и тут же бес раздражения подтолкнул его выщипнуть еще одно перышко из крыльев славы бедного мистера Кейсобона. — С тех пор я заметил, что мистер Кейсобон никому не показывает свой труд во всей совокупности и предпочитает скрывать, что он делает. Он слишком полон сомнений, слишком мало уверен в себе. Возможно, я и правда никуда не гожусь, но он-то меня не любит потому, что я с ним не соглашаюсь.

Уилл намеревался быть великодушным, но наши языки — это курки, которые спускаются прежде, чем мы успеваем вспомнить о наших великодушных намерениях. Да и нельзя же оставлять Доротею в заблуждении — она должна знать, почему мистер Кейсобон его не терпит. Тем не менее он испугался, что его слова произвели на нее дурное впечатление.

Однако Доротея не вспыхнула, как тогда в Риме, и несколько секунд хранила непонятное молчание. На то была своя глубокая причина. Она уже не восставала против фактов, а старалась понять их и приспособиться к ним. Теперь, когда она думала о неудаче своего мужа и о том, что он, возможно, сознает эту неудачу, перед ней открывался только один путь, на котором долг преображался в нежность. Она отнеслась бы строже к несдержанности Уилла, если бы не чувствовала, что неприязнь мистера Кейсобона, веской причины для которой она пока не находила, дает ему право на ее симпатию.

Доротея опустила глаза в задумчивом молчании, а затем сказала с живостью:

— Поступки мистера Кейсобона показывают, что он умел побороть свою неприязнь к вам, и это прекрасно.

— Да, в семейных делах ему нельзя отказать в справедливости. Просто чудовищно, что мою бабушку лишили наследства за мезальянс, как они выражались. Хотя в вину ее мужу можно было поставить только то, что он был польским эмигрантом и жил уроками.

— Мне бы хотелось узнать о ней побольше! — воскликнула Доротея. — Как она свыклась с

бедностью после богатства, была ли она счастлива со своим мужем. Вам много о них известно?

— Нет. Только — что дед мой был патриотом… талантливым человеком… говорил на многих языках, был хорошим музыкантом… и зарабатывал себе на хлеб преподаванием самых разных предметов. Они оба умерли еще молодыми. И о своем отце я знаю очень мало — только то, что мне рассказывала матушка. Но он унаследовал музыкальный талант деда. Я помню его медлительную походку, длинные худые пальцы. И еще тот день, когда он лежал больной, а я был очень голоден, но мне дали только маленький кусочек хлеба.

— Как эта жизнь не похожа на мою! — взволнованно произнесла Доротея, крепко сжав руки. — Я всегда все имела в излишке. Но расскажите, почему так случилось… конечно, мистер Кейсобон тогда еще ничего о вас не знал.

— Да. Но мой отец написал мистеру Кейсобону, и это был мой последний голодный день. Отец вскоре умер, а мы с матушкой больше не знали нужды. Мистер Кейсобон всегда прямо признавал, что заботиться о нас — его обязанность, так как с сестрой его матери обошлись несправедливо и жестоко. Впрочем, все это вы уже знаете и

ничего нового тут для вас нет.

В глубине души Уилл сознавал, что хотел бы сказать Доротее нечто совсем новое даже для его собственного истолкования событий — а именно, что мистер Кейсобон всего лишь выплачивал свой долг. Уилл был слишком порядочным и добрым малым, и ему неприятно было ощущать себя неблагодарным. Но когда благодарность становится предметом рассуждений, есть много способов вырваться из ее пут.

— Напротив, — ответила Доротея. — Мистер Кейсобон всегда избегал подробно говорить о своих благородных поступках. — Она не заметила, насколько объяснения Уилла принижают поведение ее мужа, но зато в ее сознании прочно укоренилась мысль, что мистер Кейсобон делал для Уилла Ладислава не более, чем того требовала справедливость. Помолчав, она добавила: — Он не говорил мне, что помогал вашей матушке. А она жива?

— Нет. Она умерла четыре года назад вследствие несчастного случая… Она упала и тяжело ушиблась. Как ни странно, моя мать тоже убежала из родительского дома, но не для того, чтобы выйти замуж. Она ничего не рассказывала мне о своих родных — только объяснила, что порвала

с ними, чтобы самой зарабатывать свой хлеб… Собственно говоря, она поступила на сцену. У нее были темные глаза, пышные кудри, и она выглядела удивительно молодо. Как видите, я по обеим линиям унаследовал непокорную кровь, — закончил Уилл и весело улыбнулся Доротее, которая все еще смотрела прямо перед собой серьезным завороженным взглядом, точно ребенок, впервые в жизни следящий за драмой, развертывающейся на театральных подмостках.

Однако она тоже улыбнулась и сказала:

— Вероятно, так вы оправдываете собственную непокорность. То есть нежелание считаться с мнением мистера Кейсобона. Но не забывайте, вы ведь не следовали его благожелательным советам. И если он питает к вам неприязнь… это вы так выразились, но я скажу иначе: если он был с вами неприветлив, то подумайте о том, каким нервным сделало его переутомление от занятий. Быть может, — продолжала она умоляющим тоном, — дядя не говорил вам, насколько серьезной была болезнь мистера Кейсобона. Нам ли, тем, кто здоров, кому легко терпеть, считаться мелочными обидами с теми, кто страдает?

— Вы помогаете мне стать лучше. И я никогда больше не буду ворчать по этому поводу, — от-

ветил Уилл с кроткой нежностью, но в душе он ликовал, убедившись, что чувство Доротеи к мужу (хотя сама она этого еще почти не замечала) все больше переходит в отвлеченную жалость и лояльность. Уилл был готов преклониться перед жалостью и лояльностью, лишь бы она захотела, чтобы он разделял их. — Я действительно обижался по пустякам, — продолжал он. — Но я постараюсь больше никогда не говорить и не делать ничего, что вы могли бы не одобрить.

— Вы очень любезны, — сказала Доротея, снова весело улыбнувшись. — Итак, у меня теперь есть маленькое королевство, послушное моим законам. Но вы недолго будете нести иго моей власти. Вам, наверное, скоро надоест гостить в Типтон-Грейндже.

— Вот об этом-то я и хотел поговорить с вами — поговорить наедине. Мистер Брук предлагает мне остаться здесь. Он купил одну из мидлмарчских газет и хочет, чтобы я вел ее, а также помогал ему во многом другом.

— Но ведь так вы принесете в жертву более высокое предназначение? — сказала Доротея.

— Быть может. Но меня всегда упрекали в том, что я думаю о предназначениях, вместо того чтобы заняться делом. И вот мне предлагают место.

Если вы сочтете, что мне следует отказаться, я откажусь, хотя предпочел бы остаться тут, а не уезжать. Ведь больше у меня нигде никого нет.

— Я буду очень рада, если вы останетесь, — тотчас ответила Доротея столь же просто и бесхитростно, как во время их бесед в Риме, и без малейшей мысли о том, что ей не следовало говорить так.

— Тогда я останусь, — сказал Уилл, встряхивая головой. Он встал и подошел к окну, словно желая удостовериться, что дождь прекратился.

Однако тут Доротея по новой своей привычке подумала, что ее муж отнесется к этому иначе, и густо покраснела, вдвойне смутившись: она не только высказала мнение, заведомо неприятное мистеру Кейсобону, но ей еще придется объяснить это Уиллу. Немного ободренная тем, что он стоит к ней спиной, она заставила себя сказать:

— Но мое мнение тут роли не играет. Мне кажется, вы должны посоветоваться с мистером Кейсобоном. Я исходила лишь из того, что чувствую, а это никакого отношения к сути вопроса не имеет. И мне пришло в голову… может быть, мистер Кейсобон сочтет, что это было бы неразумно. Вы не подождете его возвращения?

— К сожалению, мне пора, — ответил Уилл,

испуганно представив себе, что мистер Кейсобон входит в дверь. — Дождь кончился. Я просил мистера Брука не заезжать за мной. Мне приятнее прогуляться пять миль пешком. Я пойду напрямик через Холселлский луг и полюбуюсь, как блестит мокрая трава.

Он торопливо подошел к ней попрощаться. Его томило желание сказать: «Не говорите об этом мистеру Кейсобону», но он не посмел. Попросить ее покривить душой, схитрить — значило бы затуманить своим дыханием кристалл, светлой прозрачностью которого восхищаешься. И еще одна грозная опасность — самому потускнеть в ее глазах, лишиться солнечного блеска.

— Жаль, что вы не можете остаться, — грустно сказала Доротея, вставая и протягивая ему руку. У нее тоже мелькнула мысль, которую она не хотела высказать вслух. Уиллу следует как можно скорее узнать желания мистера Кейсобона! Но если бы она начала настаивать, это значило бы злоупотребить его любезностью.

А потому они сказали только «до свидания», и Уилл, выйдя на аллею, тотчас свернул с нее и быстро пошел через луг, чтобы не попасться навстречу карете мистера Кейсобона, которая, впрочем, въехала в ворота только в четыре. Это

был неудачный час для возвращения домой: слишком ранний, чтобы собраться с нравственными силами для скучного переодевания к обеду, и слишком поздний, чтобы, освободив мысли от воспоминаний о тривиальных делах и пустых разговорах, еще успеть погрузиться в серьезные занятия. В подобных случаях он чаще всего опускался в кресло в библиотеке, закрывал глаза и позволял Доротее почитать ему лондонские газеты. Однако на сей раз он отказался от этого развлечения, заметив, что сегодня выслушал уже достаточно подробностей о том, что занимает внимание публики. Но когда Доротея спросила, не устал ли он, мистер Кейсобон ответил веселее обычного и добавил с тем церемонным видом, который сохранял, даже когда снимал жилет и галстук:

— Сегодня я имел удовольствие встретить моего старинного знакомца доктора Спэннинга и выслушать похвалы того, кто сам заслуженно восхваляем. Он весьма любезно отозвался о моем последнем трактате, посвященном египетским мистериям, — настолько любезно, что мне неловко повторять его слова. — Договорив последнее придаточное предложение, мистер Кейсобон оперся на ручку кресла и несколько раз кивнул

— по-видимому, чтобы размять шею, а не в подтверждение сказанного доктором Спэннингом, что было бы неловко.

— Как хорошо, что вы встретились с ним! — сказала Доротея, радуясь, что ее муж выглядит оживленнее обычного. — Но до вашего возвращения я жалела, что вам пришлось сегодня уехать.

— Почему же, моя дорогая? — спросил мистер Кейсобон, вновь откидываясь на спинку кресла.

— Потому что приходил мистер Ладислав и упомянул о предложении, которое сделал ему мой дядя. Мне хотелось бы узнать ваше мнение.

Доротея чувствовала, что ее мужу это не может быть безразлично. Как ни мало знала она о мире и его делах, ей все же казалось, что предложенное Уиллу место не вполне соответствует его родственным связям, а потому у мистера Кейсобона есть право ждать, что с ним посоветуются.

— У дядюшки, как вам известно, есть множество проектов. И он, кажется, купил какую-то мидлмарчскую газету и попросил мистера Ладислава остаться здесь, вести эту газету и помогать ему во многом другом.

Говоря все это, Доротея смотрела на мужа. Сначала он заморгал, потом закрыл глаза, словно давая им отдохнуть, и крепче сжал губы.

— Так что же вы скажете? — робко спросила она после короткой паузы.

— Мистер Ладислав приезжал, чтобы узнать мое мнение? — осведомился мистер Кейсобон, чуть приоткрыв глаза и бросая на Доротею взгляд, острый как нож. Доротею этот вопрос немного смутил, но она стала только чуть серьезней и ответила сразу, не отводя глаз:

— Нет. Он не сказал, что приехал узнать ваше мнение. Но он, конечно, полагал, что я расскажу вам о дядином предложении.

Мистер Кейсобон промолчал.

— Я боялась, что вы будете против. Но ведь такой талантливый молодой человек может быть очень полезен дяде… он поможет ему делать добро более умело. И мистер Ладислав хочет найти постоянное занятие. Его винили, говорит он, за то, что он все медлил заняться делом, и ему хотелось бы остаться здесь, так как больше у него нигде никого нет.

Доротея не сомневалась, что это соображение должно смягчить ее мужа. Но он продолжал молчать, и она вернулась к завтраку у архидьякона и к доктору Спэннингу, однако эта тема уже не рассеяла туч.

На следующее утро мистер Кейсобон без ведома

Доротеи отправил следующее письмо, начинающееся с обращения «Дорогой мистер Ладислав» (прежде он всегда называл его Уиллом):

> Миссис Кейсобон поставила меня в известность о том, что вам предложено место, каковое вы, по-видимому, намерены принять и остаться здесь в таком качестве, которое, как у меня есть все основания утверждать, затрагивает мое собственное положение таким образом, что с моей стороны не только естественно и позволительно, если рассматривать последствия в свете вполне законного чувства, но и совершенно необходимо, если взглянуть на них в свете моих обязанностей, прямо и сразу указать, что принятие вами вышеупомянутого предложения будет для меня весьма оскорбительным. Полагаю, я обладаю тут определенным правом вето, как не стал бы отрицать ни один разумный человек, осведомленный об отношениях между нами – отношениях, которые хотя из-за ваших недавних действий и отошли в область прошлого, однако этого прошлого тем самым не

аннулировали. У меня нет желания ставить под сомнение чью-либо способность суждения. Мне достаточно напомнить вам о существовании определенных общественных норм и приличий, каковые должны бы воспрепятствовать моему не такому уж дальнему родственнику более или менее заметно фигурировать здесь, заняв положение не только много ниже моего собственного, но и связанное в лучшем случае с невежественными претензиями литературных и политических авантюристов. Во всяком случае, иной исход неминуемо закроет перед вами двери моего дома. Искренне ваш

*Эдвард Кейсобон.*

Тем временем Доротея в полном неведении готовила новый повод для ожесточения своего мужа, сначала сочувственно, а потом и с волнением размышляя о том, что рассказал ей Уилл про своих родителей и деда с бабкой. Свободные часы она обычно проводила в зелено-голубом будуаре и не только свыклась с его старомодной блеклостью, но и полюбила ее. Внешне там все оставалось прежним, но, по мере того как лето

мало-помалу воцарялось на лугах за вязовой аллеей, безликая комната одевалась отблесками внутренней жизни и словно наполнялась роем добрых (или злых) ангелов — невидимыми, но деятельными образами наших духовных побед или наших духовных падений. Доротея так привыкла в минуты душевных борений и обретения новой решимости смотреть вдаль аллеи на закатное небо в рамке темных деревьев, что вид этот исполнился особого смысла. Даже выцветший олень, казалось, глядел на нее понимающими глазами и безмолвно говорил: «Да, мы знаем». И люди на изящных миниатюрах как будто не скорбели о своем земном жребии, а с сочувственным интересом внимали ей. Даже таинственная «тетка Джулия», о которой мистер Кейсобон, когда Доротея пыталась его расспрашивать, отвечал коротко и неохотно.

Теперь же, после разговора с Уиллом, вокруг тетки Джулии, которая была бабушкой Уилла, витало много новых образов, и прелестный портрет, так напоминавший знакомое живое лицо, помогал Доротее разбираться в ее чувствах. Как жестоко и несправедливо лишить девушку семьи и наследства только за то, что она отдала сердце бедняку! Доротея, совсем еще крошкой смущав-

шая старших вопросами о самых неожиданных вещах, составила собственное мнение об исторических и политических причинах, объяснявших, почему старшие сыновья обладают особыми правами и зачем нужны майораты. Причины эти внушали ей почтение, и она полагала, что, возможно, не постигает всей их важности, но здесь ведь речь шла только о семейных узах. Здесь речь шла о дочери, чей сын — даже с точки зрения богатых бакалейщиков и всех прочих, кто рабски копирует аристократические институты, хотя их «родовые земли» включают только палисадник да задний двор, — обладал преимущественным правом. Что должно определять право на наследство — личные чувства или долг? Для Доротеи тут не могло быть никаких сомнений. Долг! Исполнение обязательств, которые мы сами на себя налагаем, когда вступаем в брак и даем жизнь детям.

Мистер Кейсобон действительно в долгу у Ладиславов, сказала она себе, и обязан вернуть то, что у них несправедливо отняли. Тут ее мысли обратились к завещанию мужа, которое было составлено перед свадьбой и назначало ее единственной наследницей с определенными оговорками на случай, если у них будут дети.

Завещание надо безотлагательно изменить! Предложенное Уиллу Ладиславу место как раз дает возможность устроить все по-иному и справедливо. Ее муж, конечно, согласится: порукой тому все его прежние поступки. Он примет более честную точку зрения, если на нее укажет она — та, кому должно отойти это неправедно завещанное состояние. Его щепетильность превозмогала и вновь превозможет всякую антипатию. Мистер Кейсобон, кажется, не одобрил плана дяди, но тем удобнее именно сейчас все переменить — вместо того чтобы начинать жизнь бедняком и хвататься за первое предложенное ему место, Уилл начнет жизнь, располагая законным доходом, который будет выплачивать ему ее муж, немедленно изменив завещание так, чтобы Уилл продолжал получать этот доход и после его смерти. Доротее казалось, что на нее хлынул поток солнечного света и рассеял туман глупой сосредоточенности на самой себе, которая оставляла ее равнодушной и нелюбопытной к отношениям между ее мужем и другими людьми. Уилл Ладислав, отказавшись от дальнейшей помощи мистера Кейсобона, поступил неверно, а мистер Кейсобон не вполне отдавал себе отчет в лежащих на нем обязанностях.

— Но он все поймет! — воскликнула Доротея. — В том-то и заключается великая сила его характера. Да и на что нам деньги? Мы не тратим и половины нашего дохода. А мои деньги не приносят мне ничего, кроме угрызений совести.

Разделение предназначенного ей состояния, которое она всегда считала чрезмерным, показалось Доротее удивительно заманчивым. Видите ли, она была слепа к тому, что другим представлялось очевидным, и часто не замечала, где она и что у нее под ногами, о чем ей в свое время сказала Селия. Однако ее слепота ко всему, кроме собственных чистых намерений, помогала ей благополучно проходить мимо пропастей, когда зрячий мог бы стать жертвой губительного страха.

Мысли, ставшие столь ясными в уединении будуара, продолжали занимать Доротею весь день — тот день, когда мистер Кейсобон отправил письмо Уиллу. Ей не терпелось открыть мужу свое сердце, но с разговорами, которые могли отвлечь его от занятий, не следовало торопиться, а к тому же со времени его болезни она страшилась взволновать его. Однако когда юная душа жаждет благородного деяния, оно словно обретает самостоятельное существование и легко

преодолевает любые мысленные препятствия. День прошел уныло — что не было необычным, хотя мистер Кейсобон был, пожалуй, необычно молчалив. Но оставались еще ночные часы, пожалуй, даже более подходящие для разговора, так как Доротея, едва она замечала, что мужа томит бессонница, обыкновенно вставала, зажигала свечу и читала ему, пока он не засыпал. А в эту ночь, взволнованная принятым решением, она вовсе не смыкала глаз. Мистер Кейсобон, как обычно, проспал два-три часа, но Доротея тихонько поднялась и около часа сидела в темноте, пока он наконец не сказал:

— Доротея, раз вы встали, то вам не трудно будет зажечь свечу?

— Вы плохо себя чувствуете, дорогой? — спросила Доротея, исполнив его просьбу.

— Нет, отнюдь. Но раз уж вы встали, я хотел бы, чтобы вы почитали мне Лоута[134].

— А можно мне немножко с вами поговорить? — спросила она.

— Разумеется.

— Я весь день думала о деньгах — о том, что у меня их всегда было слишком много. А главное,

---

**[134] Примечания: 134**

*Лоут* — эту фамилию носили три английских богослова XVII — XVIII вв.

это «слишком» может стать еще больше.

— Такова, дорогая Доротея, воля провидения.

— Но если у одного их слишком много, потому что с другим обошлись несправедливо, мне кажется, следует повиноваться божьему гласу, наставляющему нас загладить несправедливость.

— К чему вы это говорите, любовь моя?

— Вы были слишком щедры ко мне… Я имею в виду то, как вы меня обеспечили. И это меня огорчает.

— Но почему же? У меня ведь нет никаких родственных связей, кроме довольно дальних.

— Последнее время я все думаю о вашей тетке Джулии и о том, как ее обрекли на бедность только потому, что она вышла замуж за бедняка. А это нельзя считать проступком — ведь он был достойным человеком. Вот почему, я знаю, вы дали образование мистеру Ладиславу и позаботились о его матери.

Доротея сделала паузу в ожидании ответа, который помог бы ей продолжать. Но мистер Кейсобон молчал, и ее следующие слова показались ей особенно убедительными потому, что прозвучали среди темного безмолвия.

— Но ведь мы должны признать, что он имеет право на большее, на половину того, что вы, как

я знаю, предназначили мне. И мне кажется, это достаточное основание, чтобы теперь же возместить ему все. Несправедливо, если он страдает от бедности, а мы богаты. И раз место, о котором он говорил, вызывает возражения, то возвращение его законного положения и его законной доли откроет перед ним возможность отказаться.

— Мистер Ладислав, вероятно, беседовал с вами на эту тему? — желчно спросил мистер Кейсобон с необычной для него быстротой.

— Разумеется, нет! — воскликнула Доротея. — Как вы могли это подумать? Ведь он совсем недавно отказался от вашей помощи! Боюсь, дорогой, вы слишком строги к нему. Он только рассказал мне кое-что о своих родителях и о деде с бабкой. Да и то в ответ на мои расспросы. Вы так добры, так благородны и сделали все, что полагали справедливым. Но, по-моему, нельзя сомневаться, что справедливость требует большего. И я должна была сказать об этом — ведь вся так называемая выгода от того, что это большее сделано не будет, достанется мне.

После ощутимой паузы мистер Кейсобон ответил уже не так быстро, но еще более желчно:

— Доротея, любовь моя, это не первый случай, хотя, будем надеяться, последний, когда вы судите

о предметах, недоступных вашему пониманию. Я не стану сейчас касаться вопроса о том, в какой мере определенное поведение и особенно вступление в нежелательный брак можно считать равносильным отказу от всех семейных прав. Достаточно того, что вы об этом судить некомпетентны. Я прошу вас только понять, что я не приемлю никаких замечаний, не говоря уж о требованиях, относительно круга дел, которые мною обдуманы и решены, как касающиеся только меня. Вам неприлично вмешиваться в отношения между мной и мистером Ладиславом и тем более благосклонно выслушивать от него объяснения, подвергающие сомнению мои действия.

Бедняжку Доротею, укрытую покровом тьмы, обуревали самые разные чувства. Страх, как бы эта вспышка гнева не причинила мистеру Кейсобону вреда, помешал бы ей высказать свое возмущение, даже если бы ее уже не мучили сомнения и угрызения при мысли, что в его последнем упреке заключена доля истины. Испуганно прислушиваясь к его учащенному дыханию, она замерла. Все ее существо безмолвно взывало о помощи. Хватит ли у нее сил и дальше выносить этот кошмар, эту необходимость все время сдерживать свою энергию, опасливо гасить

каждый порыв? Но ничего не произошло. Ни он, ни она не произнесли больше ни слова, хотя еще долго лежали без сна.

На следующий день мистер Кейсобон получил от Уилла Ладислава следующий ответ:

> Дорогой мистер Кейсобон! Я с должным уважением отнесся к вашему вчерашнему письму, но не могу разделить вашу точку зрения на наше взаимное положение. Во всей полноте признавая ваши щедроты в прошлом, я тем не менее по-прежнему считаю, что подобное обязательство, вопреки тому, что, по-видимому, считаете вы, не может и не должно связывать меня по рукам и ногам. Бесспорно, желания благодетеля имеют силу, однако многое зависит оттого, каковы эти желания. Они ведь могут вступить в противоречие с более вескими соображениями. Или же вето благодетеля может разбить человеку жизнь и его жестокие последствия перевесят все блага, дарованные великодушием. Я просто привожу крайние примеры. В данном же случае я не могу согласиться с вами,

будто, взяв на себя предложенные мне обязанности – бесспорно, не сулящие денежных выгод, но ни в чем не противоречащие правилам порядочности, – я нанесу ущерб вашему положению, которое, мне кажется, настолько солидно, что столь несущественное обстоятельство никак не может на него повлиять. И хотя я убежден, что в наших отношениях не может произойти такого изменения (во всяком случае, оно не произошло), которое сняло бы с меня обязательства, налагаемые прошлым, вы простите меня, если я не соглашусь, что они лишают меня свободы жить, где я хочу, и зарабатывать на жизнь любым избранным мной законным способом. Глубоко сожалея, что мы здесь расходимся во взглядах на отношения, в которых вам всегда принадлежала роль великодушного благодетеля, остаюсь вечно обязанный вам

*Уилл Ладислав.*

Бедный мистер Кейсобон чувствовал (и храня беспристрастность, мы поймем его), что у него есть все основания негодовать и питать подо-

зрения. Он не сомневался, что Уилл Ладислав намерен во всем перечить и досаждать ему, намерен вкрасться в доверие к Доротее и посеять в ее душе семена неуважения и, быть может, даже отвращения к мужу. Внезапное решение Уилла отказаться от его помощи и вернуться в Англию, несомненно, было продиктовано каким-то тайным побуждением. И вот он упрямо и дерзко вознамерился поселиться вблизи Лоуика, для чего готов даже принять участие в мидлмарчских прожектах мистера Брука, что прямо противоречит всем его прежним вкусам, — следовательно, это тайное побуждение должно быть как-то связано с Доротеей. Мистер Кейсобон ни на миг не заподозрил Доротею в двуличии. Нет, он ее ни в чем не подозревал, но он убедился на опыте (и это было немногим лучше), что ее неприятной склонности судить поведение мужа сопутствует симпатия к Уиллу Ладиславу и разговоры с ним вредно на нее влияют. А из-за своей гордой замкнутости мистер Кейсобон по-прежнему был уверен в том, что мистер Брук пригласил Уилла погостить в Типтон-Грейндже по просьбе Доротеи.

И теперь, прочитав письмо Уилла, мистер Кейсобон должен был решить, в чем заключается

его долг. Он привык смотреть на свои поступки как на исполнение долга, и ему было бы тяжело признать в них что-нибудь иное. Однако на этот раз противоборствующие побуждения заводили его в тупик.

Обратиться прямо к мистеру Бруку и потребовать, чтобы этот неуемный прожектер взял свое предложение назад? Или посоветоваться с сэром Джеймсом Четтемом, чтобы вместе с ним попытаться отговорить мистера Брука от этого шага, который касается всей семьи? Но мистер Кейсобон сознавал, что в обоих случаях надежда на успех невелика. Упомянуть про Доротею было немыслимо, а мистер Брук, если не указать ему на какую-нибудь несомненную и близкую опасность, конечно, выслушает все доводы с видимым согласием, а в заключение скажет: «Не бойтесь, Кейсобон! Поверьте мне, молодой Ладислав будет достоин вас! Поверьте, я знаю, что делаю». Мысль же о разговоре с сэром Четтемом на эту тему вызывала у мистера Кейсобона нервный страх: отношения между ними оставались самыми холодными, и конечно, сэр Джеймс без всяких упоминаний сразу подумает о Доротее.

Бедный мистер Кейсобон готов был всех подозревать в недоброжелательном к себе отношении,

особенно как к мужу молодой жены. Дать кому-то повод предположить, что он ревнует, значило бы согласиться с их (предполагаемой) оценкой его особы. Позволить им догадаться, как мало блаженства принес ему брак, было бы равносильно признанию, что они были правы, когда (вероятно) осудили его помолвку. Нет, это немногим лучше, чем допустить, чтобы Карп и оксфордские светила узнали, как мало продвинулся он в разборе материала для своего «Ключа ко всем мифологиям». На протяжении всей жизни мистер Кейсобон даже от себя скрывал мучительную неуверенность в своих силах, а также склонность к завистливой ревности. И его привычка к гордой недоверчивой сдержанности оказалась особенно непреодолимой теперь, когда дело шло о самой щекотливой из всех личных тем.

А потому мистер Кейсобон продолжал хранить высокомерное горькое молчание. Однако он запретил Уиллу бывать в Лоуик-Мэноре и мысленно готовил другие меры противодействия.

# Глава XXXVIII

*Суждение людей о человеческих поступках имеет большую силу: рано или поздно оно окажет свое действие.*

***Франсуа Гизо*[135]**

Сэр Джеймс Четтем думал о новых замыслах мистера Брука без малейшего удовольствия, но возражать было легче, чем помешать. И как-то раз, явившись на завтрак к Кэдуолледерам, он следующим образом объяснил, почему приехал один:

— Я не могу говорить с вами откровенно в присутствии Селии. Это ее расстроило бы. И вообще это было бы нехорошо.

— Я понимаю — «Мидлмарчский пионер» в Типтон-Грейндже! — воскликнула миссис Кэдуолледер, едва он договорил. — Это ужасно: накупить свистулек и дуть в них на глазах у всех! Даже лежать весь день в постели, играя в домино, как бедный лорд Плесси, было бы гораздо пристойнее.

---

**[135] Примечания: 135**

Гизо Франсуа (1787 — 1874) — французский историк и государственный деятель.

— Как вижу, «Рупор» начинает нападать на нашего друга Брука, — заметил мистер Кэдуолледер, откидываясь на спинку кресла и весело улыбаясь, как улыбнулся бы газетным нападкам на самого себя. — Жгучие сарказмы по адресу некоего землевладельца, который проживает не так уж далеко от Мидлмарча, исправно взыскивает арендную плату и ничего не делает для своих арендаторов.

— Я бы предпочел, чтобы Брук отказался от этого намерения, — заявил сэр Джеймс, досадливо сдвинув брови.

— Но выдвинут ли его кандидатуру? — сказал мистер Кэдуолледер. — Вчера я видел Фербратера… Он ведь сам склоняется к вигам, превозносит Брума[136] и его «полезные знания» — это самое скверное, что я о нем знаю… Ну, так он говорит, что Брук сколачивает довольно-таки сильную клику. Его сторонников возглавляет Булстрод… Ну, этот банкир. Однако он считает, что кандидатом Бруку не бывать.

— Совершенно верно, — подтвердил сэр Джеймс. — Я наводил справки: ведь до сих пор я

**[136] Примечания: 136**

*Брум Генри* (1778 — 1868) — английский политический деятель, сторонник вигов, юрист и литератор; в 1825 г. содействовал организации Общества распространения полезных знаний.

никогда политикой Мидлмарча не интересовался — с меня довольно графства. Брук рассчитывает, что Оливер не пройдет, потому что он поддерживает Пиля. Но Хоули сказал мне, что если уж выдвинут вига, то это, несомненно, будет Бэгстер, один из тех кандидатов, которые берутся бог знает откуда, но зато с большим опытом в парламенте и не идут на поводу у министров. Хоули человек грубый. Он забыл, что говорит со мной, и прямо заявил: «Если Брук так уж хочет, чтобы его забросали тухлыми яйцами, то мог бы найти способ подешевле, чем лезть на трибуну».

— Я вас всех предупреждала! — сказала миссис Кэдуолледер, разводя руками. — Я давно говорила Гемфри, что мистер Брук взбаламутит грязь. Вот мы и дождались.

— Ну, ему могло взбрести в голову жениться, — заметил ее муж. — А это было бы, пожалуй, хуже легкого флирта с политикой.

— Не взбрело, так еще взбредет, — предрекла миссис Кэдуолледер. — Когда он вынырнет из грязи с болотной лихорадкой.

— Меня особенно тревожит то, как его будут чернить, — сказал сэр Джеймс. — Конечно, меня заботит и семейное имя, но он уже в годах, и мне неприятно, что он подставляет себя под удар.

Ведь они раскопают против него все, что смогут.

— Я полагаю, переубедить Брука невозможно, — сказал мистер Кэдуолледер. — В нем так странно сочетаются упрямство и непоследовательность. Вы с ним говорили?

— Да нет, — ответил сэр Джеймс. — Мне это не совсем ловко. Словно я требую от него отчета в его действиях. Но я говорил с этим Ладиславом, которого Брук прочит себе в помощники. Он далеко не глуп, и я решил послушать, что он скажет. Так по его мнению, Бруку на этот раз выставлять свою кандидатуру не следует. И я думаю, он убедит его отложить выставление кандидатуры.

— Да-да, — кивнула миссис Кэдуолледер. — Независимый кандидат еще не успел выдолбить свои речи.

— Но этот Ладислав… Тут тоже есть некоторая неловкость, — продолжал сэр Джеймс. — Мы его раза два-три приглашали пообедать у нас (кстати, вы же с ним тогда познакомились) — ну, как гостя Брука и родственника Кейсобона. Мы ведь считали, что он здесь только с визитом. А теперь он вдруг оказался редактором «Мидлмарчского пионера», и в Мидлмарче о нем идут толки — его называют безродным писакой, иностранным агентом и бог знает чем еще.

— Кейсобону это не понравится, — заметил мистер Кэдуолледер.

— Но ведь Ладислав по отцу действительно иностранец, — возразил сэр Джеймс. — Будем все-таки надеяться, что он не станет проповедовать крайних мнений и не заразит ими Брука.

— О, он опасная каналья, этот мистер Ладислав! — сказала миссис Кэдуолледер. — Оперные арии, острый язык. Прямо-таки байронический герой — влюбленный заговорщик. А Фома Аквинский его не слишком обожает. Я это сразу заметила в тот день, когда он привез картину.

— Мне не хочется говорить об этом с Кейсобоном, — признался сэр Джеймс. — Хотя у него больше прав вмешиваться, чем у меня. Очень неприятное положение, как ни взглянуть. Что за роль для человека с приличными семейными связями — газетный борзописец! Посмотрите хоть на Кэка, который редактирует «Рупор». Я на днях встретил его с Хоули. Пишет он вполне здраво, но сам такой темный субъект, что лучше бы уж он выступал не на нашей стороне.

— Чего еще ждать от грошовых мидлмарчских листков? — сказал мистер Кэдуолледер. — Где вы найдете порядочного человека, который будет отстаивать интересы, в сущности ему чуждые,

за плату настолько жалкую, что даже одеться прилично никак невозможно?

— Совершенно верно. Тем более неприятно, что Брук поставил в такое положение человека, не совсем чужого его семье. И по-моему, Ладислав сделал глупость, что согласился.

— Это Фома Аквинский виноват, — вставила миссис Кэдуолледер. — Почему он не воспользовался своим влиянием, чтобы сделать Ладислава третьим секретарем какого-нибудь посольства или не отправил его в Индию? Хорошие семьи именно так избавляются от нашаливших молокососов.

— И неизвестно, как это все обернется, — с тревогой сказал сэр Джеймс. — Но если Кейсобон молчит, что могу сделать я?

— А, дорогой сэр Джеймс, не надо придавать этому такого значения, — благодушно произнес мистер Кэдуолледер. — Почти наверное никаких последствий не будет. Через месяц-другой Брук и этот мистер Ладислав надоедят друг другу. Ладислав отправится восвояси, а Брук продаст газету. Тем дело и кончится.

— Есть, правда, надежда, что ему не понравится бросать деньги на ветер, — сказала миссис Кэдуолледер. — Если бы я могла расчесть по

статьям расходы на предвыборную кампанию, я бы его напугала. Общие слова вроде «затрат» пользы не принесут: я бы не стала рассуждать об отворении крови, а просто опрокинула на него банку пиявок. Мы, люди скаредные, больше всего не терпим, чтобы из нас высасывали наши шиллинги и пенсы.

— И ему не понравится, как его будут чернить, — добавил сэр Джеймс. — За то, например, как он управляет своим поместьем. А они уже начали. И ведь тут правда на их стороне — мне самому тяжело на это смотреть. Тем более что такое творится у меня прямо под боком. Я считаю, что мы обязаны заботиться о своей земле и о своих арендаторах как следует, и уж тем более в наши тяжелые времена.

— Худа без добра не бывает, и, может быть, «Рупор» заставит его принять меры, — сказал мистер Кэдуолледер. — Я был бы только рад. Не пришлось бы выслушивать столько ворчания и жалоб из-за моей десятины. Хорошо хоть, что Типтон выплачивает ее мне сообща, не то не знаю, как бы я обходился.

— Ему нужен надежный управляющий, и я бы хотел, чтобы он опять взял Гарта, — сказал сэр Джеймс. — Он отказал ему двенадцать лет назад,

и с тех пор у него все идет вкривь и вкось. Я сам подумываю о том, чтобы пригласить Гарта. План для моих построек он сделал превосходный. Лавгуду до него далеко. Но Гарт возьмется управлять Типтоном, только если Брук предоставит ему полную свободу.

— Так и следует! — отозвался мистер Кэдуоллледер. — Гарт, конечно, бесхитростный чудак, но он натура независимая. Как-то он производил для меня оценку и прямо заявил, что духовные лица редко понимают в делах и только устраивают путаницу. Но высказал он все это спокойно и вежливо, словно рассуждал со мной о моряках. Если Брук отдаст все на его усмотрение, Гарт сделает из Типтона образцовый приход. Было бы хорошо, если бы благодаря «Рупору» вам удалось это устроить.

— Возможно, что-нибудь и удалось бы сделать, если бы Доротея чаще бывала у дяди, — сказал сэр Джеймс. — Она приобрела бы на него влияние, а положение дел в поместье ее всегда тревожило. У нее были такие прекрасные идеи! Но теперь она всецело занята Кейсобоном. Селия постоянно на это сетует. После его припадка она даже ни разу у нас не обедала, — докончил сэр Джеймс голосом, в котором жалость мешалась с раздражением,

и миссис Кэдуолледер пожала плечами, словно говоря, что она ничего другого и не ждала.

— Бедняга Кейсобон! — сказал ее муж. — Припадок был, по-видимому, тяжелый. На завтраке у архидьякона я заметил, что вид у него совсем разбитый.

— Собственно говоря, — продолжал сэр Джеймс, не желая обсуждать «припадки», — Брук ничего дурного никому не желает, а своим арендаторам и подавно, но есть у него эта привычка — всячески урезывать и сокращать расходы.

— Послушайте! Это же счастье! — воскликнула миссис Кэдуолледер. — Все-таки занятие по утрам. В своих мнениях он не слишком тверд, зато твердо знает содержимое своего кошелька.

— Я убежден, что, урезывая расходы на поместье, кошелька не наполнишь, — ответил сэр Джеймс.

— О, в скаредности, как и в любой другой добродетели, можно зайти слишком далеко. Конечно, держать своих свиней впроголодь неумно, — ответила миссис Кэдуолледер, вставая и выглядывая в окно. — Но помяни независимого политика, и вот он собственной персоной.

— Как? Брук? — спросил ее муж.

— Да. Ударь по нему «Рупором», Гемфри, а я

облеплю его пиявками. А вы что сделаете, сэр Джеймс?

— По правде говоря, мне не хочется начинать этот разговор с Бруком при наших с ним отношениях. Все это ужасно неприятно. И ведь достаточно вести себя как подобает джентльмену, — сказал добрейший баронет с глубокой верой в эту простую и четкую программу социального процветания.

— И вы тоже тут, э? — заметил мистер Брук, обходя комнату и обмениваясь рукопожатиями. — Я собирался заехать к вам, Четтем. Но очень приятно увидеть всех вместе, знаете ли. Ну, что скажете о событиях? Быстровато развиваются, да, быстровато. Лаффит[137] совершенно прав: «Со вчерашнего дня прошло столетие!» Они живут уже в следующем веке, знаете ли. Наши соседи по ту сторону Ла-Манша. Идут вперед куда быстрее нас.

— А, да! — сказал мистер Кэдуолледер, беря газету. — «Рупор» как раз обвиняет вас в том, что вы отстаете от века. Вы не читали?

---

**[137] Примечания: 137**

*Лаффит Жак* (1767 — 1844) — французский банкир и политический деятель; во время июльской революции 1830 г. во Франции, которую имеет в виду мистер Брук, активно содействовал возведению на престол короля Луи-Филиппа.

— Э? Нет, — сказал мистер Брук, опуская перчатки в цилиндр и поспешно вставляя монокль в глаз. Но мистер Кэдуолледер, не отдавая газеты, продолжал с улыбкой:

— Вот послушайте! Рассуждения о помещике, проживающем неподалеку от Мидлмарча, который сам собирает арендную плату. Они называют его самым закоснелым ретроградом в графстве. Боюсь, это словечко они позаимствовали из вашего «Пионера».

— А, это все Кэк… безграмотный невежда, знаете ли. Ретроград! Послушайте, это же превосходно! Вместо «радикал». Они ведь хотят представить меня радикалом, знаете ли, — парировал мистер Брук с бодрой самоуверенностью, которая черпает поддержку в невежестве противника.

— Нет, мне кажется, он понимает, что пишет. И наносит довольно чувствительные удары. Вот например: «Если бы нам пришлось описывать ретрограда в самом дурном смысле этого слова, то мы бы сказали: это человек, который провозглашает себя сторонником реформ, в то время как все, о чем он непосредственно обязан заботиться, приходит в запустение; это филантроп, который вопиет, когда вешают одного негодяя, и равнодушно взирает на то, как голодают пять его

честных арендаторов; человек, который кричит о коррупции и взимает за свою землю грабительскую плату; до хрипоты обличает гнилые местечки и палец о палец не ударит, чтобы починить хотя бы одни гнилые ворота на своих полях; человек, который радеет о Лидсе и Манчестере и готов назначить любое число представителей, которые будут оплачивать свое место в парламенте из собственного кармана, но не желает употребить хотя бы малую частицу арендной платы на то, чтобы помочь своему арендатору с покупкой скота, или на то, чтобы починить прохудившуюся крышу его сарая, или на то, чтобы его жилище меньше походило на лачугу ирландского издольщика. Но нам всем известен остроумный ответ на вопрос, что есть филантроп: «Это человек, чье милосердие увеличивается прямо пропорционально квадрату расстояния». И дальше в том же духе. Рассуждения о том, какого рода законодатель может выйти из филантропа, — заключил мистер Кэдуолледер, бросая газету. Он заложил руки за голову и посмотрел на мистера Брука смеющимися глазами.

— Послушайте, это же прелестно! — сказал мистер Брук, беря газету и стараясь притвориться равнодушным. Однако он покраснел и улыбка у

него получилась несколько вымученной. — Вот это — «до хрипоты обличает гнилые местечки». Я не произнес ни одной речи против гнилых местечек. А что до хрипоты, так эти люди не понимают настоящей сатиры. Сатира, знаете ли, должна до определенного предела соответствовать истине. Помнится, кто-то писал об этом в «Эдинбургском обозрении»[138]: «Сатира должна до определенного предела соответствовать истине».

— Но про ворота сказано не без меткости, — мягко возразил сэр Джеймс, стараясь направить разговор в нужное русло. — На днях Дэгли жаловался мне, что у него на ферме все ворота никуда не годны. Гарт придумал новую навеску ворот, вы бы испробовали ее. На что же и употреблять свой лес, как не на это.

— Четтем, вы, знаете ли, увлекаетесь всякими новинками в ведении хозяйства, — ответил мистер Брук, водя глазами по столбцам «Рупора». — Это ваш конек, и вы не считаетесь с расходами.

— А по-моему, самый дорогой конек — это выставлять кандидатуру в парламент, — вмешалась

**[138] Примечания: 138**

«*Эдинбургское обозрение*» — влиятельный в ту эпоху литературно-критический журнал, основанный в 1802 г. при деятельном участии Генри Брума.

миссис Кэдуолледер. — Говорят, последний проваливший в Мидлмарче кандидат — как бишь его фамилия? А, Джайлс! — потратил на подкупы десять тысяч фунтов и потерпел неудачу, потому что этого оказалось мало. Локти, наверное, себе кусал от досады.

— Кто-то мне говорил, — смеясь, добавил ее муж, — что в смысле подкупов Ист-Ретфорду до Мидлмарча ох как далеко!

— Ничего подобного! — возразил мистер Брук. — Тори, те подкупают. Хоули и его компания подкупают даровым угощением — горячая треска, ну и так далее, и тащат избирателей к урнам мертвецки пьяными. Но в будущем они уже не смогут поставить на своем — в будущем, знаете ли. Мидлмарч несколько отсталый город, я не спорю, с отсталыми избирателями. Но мы разовьем их, мы поведем их вперед. На нашей стороне все лучшие люди.

— Хоули говорит, что на вашей стороне такие люди, от которых вам будет только вред, — сказал сэр Джеймс. — Он говорит, что от этого банкира Булстрода вам будет только вред.

— И если вас забросают тухлыми яйцами, — вставила миссис Кэдуолледер, — то добрая половина их будет предназначена главе вашего

комитета. Боже великий! Вы представьте себе, каково это: выдерживать град тухлых яиц во имя неверных идей. И помнится, что-то рассказывали о том, как одного кандидата торжественно понесли в кресле, да и вывалили нарочно в мусорную яму.

— Тухлые яйца — пустяки в сравнении с тем, как они выискивают каждую прореху в наших ризах, — заметил мистер Кэдуолледер. — Признаюсь, я бы трусил, если бы нам, духовным лицам, приходилось ораторствовать на собраниях, чтобы получить приход. А ну как они перечислят все дни, когда я удил рыбу! Честное слово, по-моему, истина бьет больнее, чем даже камни.

— Короче говоря, — подхватил сэр Джеймс, — тот, кто намерен заняться политикой, должен быть готов нести последствия. И должен поставить себя выше клеветы и злословия.

— Дорогой Четтем, все это очень мило, знаете ли, — сказал мистер Брук. — Но как можно поставить себя выше клеветы? Почитайте в истории про остракизм, преследования, мученичество, ну и так далее. Они неизбежно выпадали на долю самых лучших людей, знаете ли. Но как

говорит Гораций? Fiat justitia, ruat...[139] Что-то в этом духе.

— Совершенно верно, — ответил сэр Джеймс с редкой для себя горячностью. — Я считаю, что стоять выше клеветы — значит быть в состоянии доказать ее лживость.

— И что это за мученичество — оплачивать собственные счета! — заметила миссис Кэдуоллеледер.

Однако мистер Брук был особенно задет осуждением, которого не сумел скрыть сэр Джеймс.

— Знаете ли, Четтем, — сказал он вставая и, взяв цилиндр, оперся на трость, — у нас с вами разные системы. По-вашему, на фермы надо расходовать как можно больше. Я не утверждаю, что моя система самая лучшая при всех обстоятельствах. При всех обстоятельствах, знаете ли.

— Время от времени необходимо производить новую оценку, — сказал сэр Джеймс. — Отдельные починки, конечно, не мешают, но я считаю, что верная оценка важней всего. А как по-вашему, Кэдуоллеледер?

— Я согласен с вами. На месте Брука я, чтобы сразу заткнуть «Рупор», непременно пригласил

---

**[139] Примечания: 139**
Да свершится правосудие и да рухнет... (*лат.*).

бы Гарта для новой оценки ферм и дал бы ему полную свободу в отношении ворот и прочих починок. Таков мой взгляд на политическую ситуацию, — закончил мистер Кэдуолледер, заложил большие пальцы в прорези жилета и, посмеиваясь, посмотрел на мистера Брука.

— Я ничего не люблю делать напоказ, знаете ли, — сказал мистер Брук. — Но назовите мне другого землевладельца, который так легко мирился бы с задержками арендной платы. Я своих старых арендаторов не выгоняю. Я очень мягок, разрешите вам сказать, очень мягок. У меня свои идеи, знаете ли, и я от них не отступаю. А в таких случаях человеку непременно приписывают эксцентричность, непоследовательность, ну и так далее. Если я изменю свою систему, то только в соответствии с моими идеями.

Тут мистер Брук припомнил, что забыл отправить срочный пакет, и поспешил откланяться.

— Мне не хотелось еще больше раздражать Брука, — сказал сэр Джеймс. — Я вижу, он задет. Но то, что он говорил о своих старых арендаторах… На нынешних условиях никакой новый арендатор эти фермы не возьмет.

— Мне кажется, его мало-помалу удастся убедить, — сказал мистер Кэдуолледер. — Но ты

тянула в одну сторону, Элинор, а мы в другую. Ты пугала его расходами, а мы пытались напугать его, чтобы он пошел на новые расходы. Пусть попробует добиться популярности и увидит, какой помехой явится его репутация скупого помещика. «Мидлмарчский пионер», Ладислав и речи, которые Брук намерен держать перед мидлмарчскими избирателями, — это все пустяки. Важно, чтобы моим типтоновским прихожанам жилось сносно.

— Прости, но это вы тянули не в ту сторону, — объявила миссис Кэдуоллледер. — Вам надо было показать ему, сколько он теряет оттого, что не заботится об арендаторах, вот тогда бы мы объединили усилия. Если вы позволите ему оседлать политического конька, ничего хорошего не выйдет. Это вам не дома на палочках скакать и называть их идеями.

# Глава XXXIX

*Коль в женщине Лик чистоты,*
*Подобно мне, узрев,*
*Дерзнул любить отныне ты,*
*«Он» и «Она» презрев,*
*И от завистливых людей*
*Сокрыть любовь сумел.*
*Что насмеялись бы над ней,*
*То истинно ты смел.*
*И пред тобой бледнеет честь*
*Былых твоих предтеч.*
*Но много выше подвиг есть —*
*Сокрытое сберечь.*

***Джон Донн*[140]**

Сэр Джеймс Четтем не был особенно изобретательным, но его стремление «воздействовать на Брука» в сочетании с неизменной верой в благодетельное влияние Доротеи помогли ему измыслить небольшой план — под предлогом легкого нездоровья Селии пригласить Доротею (одну) во Фрешит-Холл, а по дороге завезти ее в Типтон-Грейндж, предварительно рассказав ей

---

**[140] Примечания: 140**
Донн Джон (1572 — 1631) — английский поэт.

обо всем, к чему привела система мистера Брука в управлении поместьем.

И вот однажды в четыре часа, когда мистер Брук и Ладислав сидели в библиотеке, дверь отворилась и слуга доложил о миссис Кейсобон.

Уилл изнывал от скуки и, уныло помогая мистеру Бруку разбирать «документы», живописавшие повешения за кражу овец, доказывал способность нашего сознания скакать одновременно на нескольких конях: он мысленно расставался с Типтон-Грейнджем и снимал квартиру в Мидлмарче, но эти практические меры перемежались озорными замыслами эпоса, воспевающего кражу овец с гомеровской наглядностью. Услышав имя миссис Кейсобон, он вздрогнул как от удара электричеством, и у него даже закололо кончики пальцев. Цвет его щек, положение лицевых мышц и живость взгляда изменились настолько, что могло показаться, будто каждая молекула его тела получила магический сигнал. Да так оно и было. Ибо тайна магии заложена в самой Природе. Кому дано измерить неуловимую тонкость сигналов, которые говорят о свойствах не только тела, но и души, и делают страсть мужчины к одной женщине столь же непохожей на его страсть к другой, как несходны между собой

благоговейный восторг перед отблесками утренней зари, играющими на водах реки, горных склонах и снежной вершине, и удовольствие от веселого сияния китайских фонариков среди зеркал? Уилла отличала редкая впечатлительность. Звук, извлеченный умелым смычком из струн скрипки, изменял для него облик мира, и его точка зрения менялась с такой же легкостью, как и настроение. И услышав имя Доротеи, он как бы вдохнул утреннюю свежесть.

— Очень приятно видеть тебя, милочка, — сказал мистер Брук, поднимаясь навстречу племяннице и целуя ее. — Полагаю, ты оставила Кейсобона его книгам. И правильно. Тебе незачем становиться слишком уж ученой женщиной, знаешь ли.

— Этого, дядюшка, опасаться не стоит, — ответила Доротея.

Она повернулась к Уиллу, пожала ему руку со спокойной сердечностью, а затем продолжала:

— Я очень непонятлива. И, сидя над книгами, нередко блуждаю в мыслях где-то далеко от них. Я обнаружила, что быть ученой куда труднее, чем чертить планы сельских домиков.

Она опустилась на стул рядом с дядей напротив Уилла, но, казалось, не замечала его, а продол-

жала думать о своем. Уилла охватило горькое разочарование. Смешно! Как будто он хоть на мгновение поверил, что она приехала ради него.

— Да-да, милочка, ты обожала чертить планы. Но всякому коньку полезно дать отдых, не то он может ускакать с тобой неизвестно куда. А это, знаешь ли, нехорошо. Надо крепко держать его в узде. Вот, например, я. Я всегда знал, когда остановиться. Именно это я постоянно объясняю Ладиславу. Мы с ним похожи, знаешь ли, — ему нравится входить во все. Мы с ним работаем над вопросом о смертной казни. Мы вместе многое сделаем — Ладислав и я.

— О да! — сказала Доротея с обычной своей прямотой. — Сэр Джеймс говорил мне, что надеется скоро увидеть большие перемены в вашем поместье. Он говорит, что вы намерены сделать новую оценку ферм, предпринять необходимые починки и перестроить дома арендаторов. Типтон будет трудно узнать! Как чудесно! — продолжала она, захлопав в ладоши с прежней детской непосредственностью, которую в замужестве научилась подавлять. — Если бы я по-прежнему жила дома, то, конечно, опять начала бы ездить верхом, чтобы сопровождать вас и самой все видеть. И сэр Джеймс говорит, что вы собираетесь пригласить

мистера Гарта, а он хвалил мои домики.

— Четтем слишком уж тороплив, милочка, — ответил мистер Брук, слегка краснея. — Слишком уж, знаешь ли. Я не говорил, что намерен взяться за все это. И не говорил, что не намерен, знаешь ли.

— Он полагает так потому, — сказала Доротея без тени сомнения в голосе, точно юный певчий, выводящий «Верую», — что вы думаете выставить свою кандидатуру в парламент, обещая ратовать за улучшение доли простых людей, а это в первую очередь означает земледельцев и батраков. Подумайте оКите Даунсе, дядюшка! Он с женой и семью детьми ютится в лачуге из двух комнатушек немногим больше этого стола! А бедные Дэгли! Их дом совсем развалился, и они живут на кухне, а комнаты оставили крысам. Вот одна из причин, милый дядя, почему мне не нравились ваши картины, как вы ни пеняли мне за это. У меня щемило сердце при воспоминании о грязи, о безобразности того, что я видела в домах бедняков, и слащавые картины в гостиной казались мне бесчувственными попытками искать наслаждения в фальши. Словно мы равнодушно отворачивались от тяжкой жизни наших ближних за этими стенами. По-моему, мы не имеем

права выходить на трибуну и требовать широких перемен, если сами ничего не сделали, чтобы уничтожить зло рядом с нами.

Доротея постепенно увлекалась, забыв обо всем, отдаваясь возможности свободно излить свои чувства, — прежде это было для нее привычным, но в замужестве она научилась сдерживаться в непрерывной борьбе между душевными порывами и страхом. На миг к восхищению Уилла примешался холодок. Мужчина редко стыдится того, что его любовь к женщине остывает, когда он замечает в ней величие души, — ведь природа предназначила подобное величие только для мужчин. Впрочем, природа порой допускает досадные промашки, как, например, в случае с добрейшим мистером Бруком, чей мужской ум, ошеломленный потоком красноречия Доротеи, в эту минуту был способен только запинаться и заикаться. Не находя что ответить, мистер Брук встал, вдел в глаз монокль и принялся перебирать лежащие на столе бумаги. Наконец он сказал:

— В том, что ты говоришь, милочка, кое-что есть, да, есть, однако далеко не все, э, Ладислав? Нам с вами не нравится, когда в наших картинах и статуях находят изъяны. Молодые дамы склонны к пылкости, знаешь ли, к односторонности,

милочка моя. Изящные искусства, поэзия и прочее возвышают нацию… Emollit mores…[141] Ты ведь теперь немного понимаешь латынь. Но… а? Что такое?

Эти последние слова были обращены к лакею, который пришел доложить, что лесник поймал в роще одного из сыновей Дэгли с убитым зайчонком в руках.

— Сейчас иду, сейчас иду. Я не буду с ним строг, знаешь ли, — добавил мистер Брук в сторону Доротеи и радостно удалился.

— Вы ведь согласны, что перемены, которые я считаю… которые сэр Джеймс считает необходимыми, действительно нужны? — спросила Доротея, едва мистер Брук вышел.

— Да. Вы меня совершенно убедили. Я никогда не забуду ваших слов. Но не могу ли я поговорить с вами о другом? Возможно, мне больше не представится случая рассказать вам о том, что произошло, — воскликнул Уилл и, вскочив, оперся обеими руками на спинку стула.

— Разумеется, — встревоженно ответила Доротея и, тоже встав, отошла к окну, в которое, повизгивая и виляя хвостом, заглядывал Монах.

---

**[141] Примечания: 141**
Смягчает нравы (*лат.*).

Она прислонилась к открытой раме и положила руку на голову пса. Хотя, как нам известно, ей не нравились комнатные любимцы, которых надо носить на руках, чтобы на них не наступили, она всегда была очень добра с собаками и старалась не обидеть их, даже когда уклонялась от их ласк.

Уилл не пошел за ней и только сказал:

— Я полагаю, вам известно, что мистер Кейсобон отказал мне от дома?

— Нет, — после паузы ответила Доротея с глубоким огорчением. — Я очень сожалею, — добавила она грустно, думая о том, что было неизвестно Уиллу, — о разговоре между ней и мужем в темноте, и вновь испытывая тягостное отчаяние при мысли, что она не может повлиять на него.

Она нисколько не скрывала своей печали, и Уилл понял, что она не связывает эту печаль с ним и ни разу не спросила себя, не в ней ли самой заключена причина ревности и неприязни, которые мистер Кейсобон испытывает к нему. Его охватило странное чувство, в котором радость смешивалась с досадой: радость оттого, что ему по-прежнему дано пребывать в чистом храме ее мыслей, не омраченном подозрениями, и досада оттого, что он значит для нее столь мало. Ее открытая доброжелательность отнюдь ему

не льстила. Однако мысль, что Доротея может измениться, так его пугала, что он справился с собой и сказал обычным тоном:

— Мистер Кейсобон недоволен тем, что я принял здесь место, которое, по его мнению, не подходит для меня как его родственника. Я объяснил, что не могу уступить ему в этом. По-моему, все-таки нельзя требовать, чтобы я ломал свою жизнь в угоду предрассудкам, которые считаю нелепыми. Благодарность можно превратить в орудие порабощения, точно рабское клеймо, наложенное на нас, когда мы были слишком молоды, чтобы понимать его смысл. Я не согласился бы занять это место, если бы не собирался использовать его в достойных и полезных целях. С семейной же честью я обязан считаться только так, и не более.

Доротее было невыносимо тяжело. Она считала, что ее муж глубоко не прав, и не только в том, о чем упомянул Уилл.

— Нам лучше оставить эту тему, — произнесла она, и голос ее дрогнул. — Раз вы расходитесь во мнениях с мистером Кейсобоном. Вы решили остаться тут? — спросила она, тоскливо глядя на подстриженную траву за окном.

— Да. Но ведь теперь мы больше не будем ви-

деться! — жалобно, словно ребенок, воскликнул Уилл.

— Вероятно, нет, — сказала Доротея, обернувшись к нему. — Однако до меня будут доходить вести о вас. Я буду знать, что вы делаете для моего дяди.

— А я о вас не буду знать ничего, — сказал Уилл. — Мне никто ничего не будет рассказывать.

— Но ведь моя жизнь очень проста, — заметила Доротея и улыбнулась легкой улыбкой, словно озарившей ее грусть. — Я всегда в Лоуике.

— Томитесь там в заключении! — не сдержавшись, воскликнул Уилл.

— Вы напрасно так думаете, — возразила Доротея. — Я ничего другого не хочу.

Уилл промолчал, но она продолжала, словно отвечая на его несказанные слова:

— Я имею в виду — для меня самой. Правда, я предпочла бы не иметь столь много: я ведь ничего не сделала для других, и моя доля благ слишком велика. Однако у меня есть моя вера, и она меня утешает.

— Какая же? — ревниво спросил Уилл.

— Я верю, что желать высшего добра, даже не зная, что это такое, и не имея возможности делать

то, к чему стремишься, все-таки значит приобщиться к божественной силе, поражающей зло, значит добавить еще капельку света и заставить мрак чуть-чуть отступить.

— Это прекрасный мистицизм, он…

— Не надо названий, — умоляюще произнесла Доротея. — Вы скажете — персидский или еще какой-нибудь, не менее географический. А это — моя жизнь. Я сама пришла к такому убеждению и не могу от него отказаться. Еще девочкой я искала свою религию. Прежде я много молилась, а теперь почти совсем не молюсь. Я стараюсь избегать себялюбивых желаний, потому что они не приносят пользы другим, а у меня и так уже всего слишком много. Я рассказываю вам про это только для того, чтобы вы поняли, как проходят мои дни в Лоуике.

— Я бесконечно вам благодарен за откровенность! — пылко и несколько неожиданно для себя воскликнул Уилл. Они смотрели друг на друга, как двое детей, доверчиво секретничающие про птиц.

— А ваша религия? — спросила Доротея. — То есть не церковная, но та вера, которая помогает вам жить?

— Любовь ко всему, что хорошо и красиво, —

ответил Уилл. — Но я бунтовщик и, в отличие от вас, не чувствую себя обязанным подчиняться тому, что мне не нравится.

— Но если вам нравится то, что хорошо, где разница? — с улыбкой заметила Доротея.

— Это что-то слишком уж тонко, — сказал Уилл.

— Да, мистер Кейсобон часто говорит, что я склонна к излишним тонкостям. Но я этого как-то не чувствую, — ответила Доротея со смехом. — Однако дядя что-то задержался. Я пойду поищу его. Я ведь просто заехала по дороге во Фрешит-Холл. Меня ждет Селия.

Уилл сказал, что сходит предупредить мистера Брука, и тот вскоре вернулся в библиотеку и попросил Доротею подвезти его до фермы Дэгли — он намерен поговорить с родителями маленького браконьера, которого поймали с зайчонком. По дороге Доротея вновь коснулась вопроса о переменах в управлении поместьем, но на этот раз мистер Брук не дал поймать себя врасплох и завладел разговором.

— Четтем, милочка, — начал он, — ищет во мне недостатки, но если бы не Четтем, так я бы не стал оберегать дичь на моих землях, а ведь даже он не станет утверждать, будто эти деньги расходуются

ради арендаторов. Мне же, откровенно говоря, это несколько претит… я не раз подумывал о том, чтобы заняться вопросом о браконьерстве. Не так давно ко мне привели Флейвела, методистского проповедника, за то, что он убил палкой зайца: они с женой гуляли, а заяц выскочил на тропинку прямо перед ним, и Флейвел успел ударить его палкой по шее.

— Как жестоко! — воскликнула Доротея.

— Да, признаюсь, мне это показалось не слишком достойным — методистский проповедник, знаешь ли. А Джонсон говорит: «Лицемер он, и больше ничего, сами видите!» И право, Флейвел совсем не походил на «человека высочайших правил», как кто-то назвал христианина… кажется, Юнг[142], поэт Юнг… Ты знакома с Юнгом? Ну, а Флейвел в черных ветхих гетрах говорит в свое оправдание, что господь, по его разумению, послал им с женой сытный обед и он был вправе ударить зайца, хотя он и не ловец перед господом, подобно Нимроду[143]… Уверяю тебя, это было весьма комично. Филдинг непременно

---

**[142] Примечания: 142**

*Юнг Эдуард* (1683 — 1765) — английский поэт, в чьем творчестве заметное место занимали религиозно-дидактические мотивы.

**[143] Примечания: 143**

*Нимрод* — библейский персонаж, великий охотник (Кн. Бытия, 10, 9).

воспользовался бы… или Скотт. Да, Скотт сумел бы. Но когда я подумал об этом, то, право же, почувствовал, что было бы вовсе не плохо, если бы бедняга мог возблагодарить бога за кусок жареной зайчатины. Это же только предрассудки… предрассудки, подкрепленные законом, знаешь ли. Ну, палка, гетры и прочее. Однако рассуждениями ничему не поможешь, а закон есть закон. Но я уломал Джонсона и замял дело. Полагаю, Четтем поступил бы строже, и тем не менее он бранит меня, точно я самый жестокий человек в графстве. А! Вот мы и тут.

Мистер Брук вышел из кареты у ворот фермы, а Доротея поехала дальше. Поразительно, насколько безобразней кажутся любые недостатки, стоит нам заподозрить, что винить в них будут нас. Даже наше собственное отражение в зеркале словно меняется после того, как мы услышим откровенную критику наименее восхитительных особенностей нашей внешности. И просто удивительно, как спокойна наша совесть, когда мы тесним тех, кто не жалуется, или тех, за кого некому вступиться. Жилище Дэгли никогда еще не казалось мистеру Бруку таким жалким, как в этот день, когда его память язвили придирки «Рупора», которые поддержал сэр Джеймс.

Правда, под умягчающим влиянием изящных искусств, которые придают живописность чужой нужде, посторонний наблюдатель мог бы от души восхититься этой крестьянской усадьбой, носившей название «Тупик Вольного Человека». Темно-красную крышу старого дома украшали полукруглые чердачные окна, две дымовые трубы утопали в плюще, на большом крыльце были сложены вязанки хвороста, половину окон закрывали серые растрескавшиеся ставни, а под ними буйствовали кусты жасмина. Осыпающаяся кирпичная ограда, через которую перевешивались плети жимолости, ласкала глаз благородством мягких оттенков, а перед распахнутой дверью кухни лежал дряхлый козел, живой символ старинных суеверий. Мшистая кровля коровника, обвисшие на петлях серые двери амбара, батраки в заплатанных штанах, которые сбрасывали в амбар с повозки снопы, готовые для ранней молотьбы, привязанные перед дойкой тощие коровы в почти пустом коровнике, даже свиньи и белые утки, вяло бродящие по заросшему запущенному двору, словно обессилев от скудости достающихся на их долю объедков, — картина эта, осиянная тихим светом, льющимся с неяркого неба в прозрачной дымке высоких

облаков, могла бы очаровать нас на полотне и затронуть совсем не те чувства, которые пробуждали постоянные сетования газет того времени на застой в сельском хозяйстве и на прискорбную нехватку необходимых капиталовложений. Однако именно эти неприятные ассоциации занимали сейчас мистера Брука и портили для него безыскусственную прелесть открывшейся перед ним сельской сцены. Пейзаж оживляла фигура самого мистера Дэгли с вилами в руках и в древней приплюснутой спереди касторовой шляпе, которую он надевал перед дойкой. Куртка и штаны на нем были праздничными, но потому лишь, что он утром ездил на рынок и вернулся поздно, так как позволил себе редкое удовольствие — пообедать за общим столом в «Голубом быке». Возможно, назавтра он сам подивился бы своему мотовству, но в обеденный час положение страны, краткий перерыв в жатве, рассказы о новом короле и многочисленные афишки на стенах, казалось, давали право человеку немножко отвести душу. В Мидлмарче свято соблюдался старинный завет, что добрая еда требует доброго питья, а под добрым питьем Дэгли понимал эль за обедом и грог после обеда. Напитки эти действительно хранили в себе истину в том смысле,

что не сфальшивили и не развеселили беднягу Дэгли, а только подогрели его недовольство и развязали ему язык. Кроме того, он через меру хватил мутных политических толков — зелья, довольно опасного для крестьянского консерватизма, который сводится к утверждению, что все скверно дальше некуда, а от любых перемен только хуже будет. Он остановился, сжав вилы, и, все больше багровея, воинственно смотрел на своего помещика, который неторопливо приближался семенящей походкой, заложив руку в карман панталон и небрежно помахивая тросточкой.

— Дэгли, милейший Дэгли, — начал мистер Брук, сознавая всю меру своей снисходительности к провинившемуся мальчишке.

— Ого-го! Так я, выходит, милейший? Покорнейше вас благодарю, сэр. Покорнейше вас благодарю, — ответил Дэгли с такой злобной иронией, что дворовый пес Хватай поднялся с земли и навострил уши. Впрочем, тут во дворе появился замешкавшийся где-то Монах, и Хватай сел, хотя уши продолжал держать торчком. — Очень мне приятно слышать, что я такой милейший.

Мистер Брук сообразил, что день был базарный и что его достойный арендатор, по-видимому, пообедал в городе, но не усмотрел в этом доста-

точной причины, чтобы прервать свою речь. Тем более что во избежание недоразумений он мог затем сообщить все необходимое миссис Дэгли.

— Вашего маленького Джейкоба поймали с убитым зайчонком, Дэгли. Я распорядился, чтобы Джонсон запер его на час-другой в пустой конюшне. Чтобы попугать, знаете ли. Его отправят домой еще засветло, но вы присматривайте за ним, хотя пока достаточно будет реприманда, знаете ли.

— Как бы не так! Да чтоб я выдрал мальца в угоду вам или кому там еще! Ни за что, будь вас тут хоть двадцать помещиков, а не один, и такой, что хуже поискать.

Дэгли выражал свое негодование так громогласно, что его жена выглянула из кухонной двери — единственной, которой пользовались в этом доме и которая закрывалась только в очень плохую погоду. Мистер Брук поспешил сказать умиротворяюще:

— А-а, вон и ваша жена. Я, пожалуй, побеседую с ней. Я вовсе не имел в виду порки, — и, повернувшись, направился к дому.

Однако Дэгли только укрепился в своем намерении «поговорить начистоту» с джентльменом, удалившимся с поля боя, и пошел за ним следом.

Хватай брел позади, угрюмо сторонясь Монаха, намерения которого, возможно, были самыми дружескими.

— Как поживаете, миссис Дэгли? — сказал мистер Брук с некоторой поспешностью. — Я пришел рассказать вам про вашего сынишку. Я вовсе не хочу, чтобы его проучили прутом. — На этот раз мистер Брук постарался выразиться как можно яснее.

Замученная работой миссис Дэгли — худая, изможденная женщина, давно забывшая, что такое радость (даже посещение церкви не скрашивало ее дни, так как ей не во что было принарядиться), — после возвращения мужа уже испытала на себе его гнев и в самом глубоком унынии ожидала худшего. Однако муж не дал ей ничего сказать.

— Еще чего! Хотите вы или не хотите, а прута он не попробует! — заявил он, швыряя слова, точно камни. — И нечего вам тут про прутья толковать, коли от вас и прутика на починку не дождешься! Съездите-ка в Мидлмарч послушать, как вас там похваливают!

— Придержал бы ты язык, Дэгли, — сказала его жена. — Не брыкал бы колоду, из которой тебе пить. Когда у человека дети, а он деньги по базарам швыряет и домой возвращается пьяный,

так для одного дня он довольно набаламутил. А что Джейкоб-то натворил, сэр?

— Тебе этого и знать не надо, — крикнул Дэгли, свирепея все больше. — Тут я говорю, а ты знай помалкивай. И я поговорю, я все выложу, хоть провались он, твой ужин. Вот что я скажу: я жил на вашей земле, а допрежь того мой отец и дед, и наши деньги в нее вкладывали, и все едино я и мои сыновья ее своими костями удобрим, потому как денег, чтобы ее купить, у нас все равно нету, коли король этого дела не кончит.

— Милейший, вы пьяны, знаете ли, — сказал мистер Брук доверительно, но не вполне благоразумно. — Как-нибудь в другой раз, как-нибудь в другой раз, — добавил он и повернулся, собираясь удалиться.

Однако Дэгли тут же преградил ему путь. Не отставший от хозяина Хватай, услышав, что его голос становится все более громким и сердитым, глухо зарычал, и Монах, величественно насторожив уши, подошел поближе. Батраки возле амбара слушали, бросив работу, и здравый смысл подсказывал мистеру Бруку, что лучше стоять спокойно, чем ретироваться, когда тебя по пятам преследует разъяренный арендатор.

— Не пьянее вас, а может, и потрезвее! — объ-

явил Дэгли. — Выпить я выпью, только разума не теряю и знаю, что говорю. А я говорю, что король этому делу положит конец: так верные люди толкуют, потому как будет ринформа, и коли помещик свой долг перед арендаторами не справлял, так и долой его отсюдова, пусть улепетывает подальше. В Мидлмарче-то знают, что такое ринформа и кому улепетывать придется. Они вот говорят: «Я знаю, кто твой помещик», а я отвечаю: «Ну, может, вам от этого толк есть, а мне так никакого». Они говорят: «За грош удавиться готов». «Верно», — говорю. «Он, — говорят, — ринформы дожидается». Тут я и разобрался, что это за ринформа такая. Чтобы, значит, вы и всякие вроде вас улепетывали подальше, а уж мы вас проводим чем-нибудь таким, что пахнет похуже цветочков. А теперь что хотите, то и делайте, меня не испугаешь. И парнишку моего лучше не трогайте. За собой посмотрите, как бы вам ринформа боком не вышла. Вот и весь мой сказ, — заключил мистер Дэгли и вогнал вилы в землю с решимостью, о которой, несомненно, пожалел, когда попытался снова их выдернуть.

Тут Монах громко залаял, и мистер Брук воспользовался этим. Он покинул двор со всей быстротой, на какую был способен, несколько

ошеломленный новизной случившегося. Его никогда еще не оскорбляли на принадлежащей ему земле, и он склонен был считать, что пользуется всеобщей любовью и уважением (как это свойственно всем нам, когда мы больше думаем о собственной добросердечности, нежели о том, что хотели бы получить от нас другие люди). Когда мистер Брук за двенадцать лет до описываемых событий поссорился с Кэлебом Гартом, он полагал, что арендаторы останутся очень довольны, если их помещик будет всем заниматься сам.

Те, кто знакомился с повествованием мистера Дэгли о почерпнутых им в Мидлмарче сведениях, возможно, удивились его полуночной темноте, однако в описываемые времена наследственному фермеру с таким достатком было весьма легко прозябать в невежестве, несмотря на то что священник его и соседнего приходов был джентльменом до мозга костей, что младший священник жил совсем близко и проповедовал весьма учено, что его помещик интересовался решительно всем, особенно же изящными искусствами и улучшением социальных условий, а светочи Мидлмарча мерцали всего лишь в трех милях от его фермы. Что же до способности всех смертных увертываться от приобретения зна-

ний, то возьмите кого-нибудь из своих знакомых, осиянных интеллектуальным блеском Лондона, и взвесьте, каким был бы этот приятный застольный собеседник, если бы он обучился началам «счета» у типтоновского причетника, а Библию читал бы по складам, безнадежно спотыкаясь на таких именах, как Иеремия или Навуходоносор. Бедняга Дэгли иногда прочитывал по воскресеньям два-три стиха из Священного Писания, и мир по крайней мере не становился для него темнее, чем прежде. Но кое в чем он был знатоком — в тяжелом крестьянском труде, в капризах погоды, болезнях скота и опасностях, грозящих урожаю в Тупике Вольного Человека, названном так, вне всяких сомнений, иронически: дескать, человек волен выйти оттуда, если захочет, но только идти ему оттуда некуда.

## Глава XL

*Усерден он, прилежен был,*
*Свою работу знал;*
*О вере спор не заводил,*
*Страной не управлял.*
*Хоть скромен и безвестен он,*
*Где без его труда*
*Искусства были б, и закон,*
*И наши города?*

Наблюдая действие хотя бы даже электрической батареи, нередко бывает необходимо переменить место и исследовать данную смесь или сочетание элементов на некотором расстоянии от точки, где возникло интересующее нас движение. Сочетание элементов, к которым я обращаю взгляд теперь, это семья Кэлеба Гарта, завтракающая в большой комнате с картами на стенах и письменным столом в углу, — отец, мать и пятеро детей. Мэри в ожидании места жила пока дома, а Кристи, старший из мальчиков, получал недорогое образование и ел всухомятку в Шотландии, так как, к большому разочарованию отца, предпочел книги его возлюбленному

«делу».

Пришла почта — девять дорогих писем, за которые почтальону было уплачено по три и по два пенса. Мистер Гарт отодвинул чай и жареный хлеб и принялся читать их одно за другим, укладывая затем стопкой. Иногда он покачивал головой, а иногда кривил губы во внутреннем споре, и все же не забыл срезать большую красную сургучную печать, которую Летти тотчас схватила с быстротой терьера.

Остальные продолжали спокойно разговаривать — когда Кэлеб бывал чем-то поглощен, он замечал окружающих, только если они толкали стол, на котором он писал.

Два письма из девяти предназначались Мэри. Она прочитала их и передала матери, а сама рассеянно поигрывала ложечкой, пока вдруг не вспомнила про рукоделье, которое лежало у нее на коленях.

— Ой, Мэри, да не начинай ты снова шить! — воскликнул Бен, ухватив ее локоть. — Лучше вылепи мне павлина! — И он протянул ей комочек хлебного мякиша, который нарочно для этого разминал.

— Нет уж, баловник! — ласково ответила Мэри и чуть-чуть кольнула иголкой его руку. — Вылепи

его сам. Ты же столько раз видел, как я это делаю. И мне надо докончить платок. Розамонда Винси выходит замуж на будущей неделе, и без этого платочка свадьбе не бывать! — весело докончила Мэри, которую эта фантазия очень насмешила.

— А почему не бывать, Мэри? — спросила Летти, серьезно заинтригованная этой тайной, и так близко придвинулась к сестре, что Мэри приставила свою грозную иглу к ее носу.

— Потому что он входит в дюжину и без него платков будет только одиннадцать, — с самым серьезным видом объяснила она, и Летти удовлетворенно отодвинулась.

— Ты что-нибудь решила, деточка? — спросила миссис Гарт, откладывая письма.

— Я поеду в Йорк, — ответила Мэри. — В школьные учительницы я все-таки гожусь больше, чем в домашние. Учить целый класс мне приятнее. А учительницей так или иначе я стать должна, ведь ничего другого мне найти не удалось.

— По-моему, в мире нет более чудесного занятия, чем учить, — произнесла миссис Гарт с легким упреком. — Я бы еще могла понять такое нежелание, Мэри, если бы ты была невежественна или не любила детей.

— Наверное, мы неспособны понимать, почему

другим не нравится то, что нравится нам, — сказала Мэри довольно резко. — Я недолюбливаю тесные классные комнаты. Мир за их окнами влечет меня гораздо больше. Такой уж у меня неудобный недостаток.

— А наверное, очень скучно без конца учить девчонок, — сказал Альфред. — Они все такие пустышки и ходят парами, как в пансионе миссис Боллард.

— И ни в одну стоящую игру играть не умеют, — сказал Джим. — Ни бросать, ни прыгать. Конечно, Мэри это не нравится.

— Э? Что Мэри не нравится? — спросил Кэлеб, откладывая письмо, которое собирался вскрыть, и глядя на дочь поверх очков.

— Возиться со всякими пустышками, — ответил Альфред.

— Тебе предлагают место, Мэри? — мягко сказал Кэлеб, глядя на дочь.

— Да, папа. В одном пансионе в Йорке. Я решила согласиться. Условия намного лучше, чем в остальных местах. Тридцать пять фунтов в год и дополнительная плата за уроки музыки — учить малышек барабанить по клавишам.

— Бедная девочка! Я бы предпочел, чтобы она осталась дома с нами, Сьюзен, — сказал Кэлеб,

бросая жалобный взгляд на жену.

— Мэри может быть счастлива, только исполняя свой долг, — нравоучительно произнесла миссис Гарт в полном убеждении, что она свой долг исполнила.

— Какое же это счастье — исполнять такой дрянной долг! — воскликнул Альфред, и Мэри с отцом беззвучно засмеялись, но миссис Гарт сказала строго:

— Милый Альфред, постарайся найти более пристойное слово, чем «дрянной», для всего того, что ты находишь неприятным. А ты подумал, что Мэри таким образом будет зарабатывать деньги и для того, чтобы ты мог поступить к мистеру Хэнмеру?

— По-моему, это очень плохо. Но сама она друг что надо! — сказал Альфред, встал со стула, обнял Мэри за шею и поцеловал.

Мэри порозовела и засмеялась, но не сумела скрыть навернувшиеся на глаза слезы. Кэлеб поглядел на нее поверх очков, поднял брови с выражением, в котором радость мешалась с огорчением, и опять взял невскрытое письмо. А миссис Гарт довольно улыбнулась и не сделала замечания Альфреду за вульгарное выражение, несмотря даже на то, что Бен немедленно его под-

хватил и принялся распевать: «Она друг что надо, что надо, что надо!», отбивая кулачком бойкий ритм на плече Мэри.

Впрочем, миссис Гарт было теперь не до него: она не сводила глаз с углубившегося в письмо мужа, встревоженная растерянным изумлением на его лице. Однако Кэлеб не любил, чтобы его отрывали от чтения, и она с беспокойством ждала, но он вдруг весь задрожал от веселого смеха, снова заглянул в начало письма, прищурился над очками и сказал негромко:

— Ну, что ты скажешь, Сьюзен?

Она подошла к нему, положила руки ему на плечи, и они прочли письмо вместе. Сэр Джеймс Четтем осведомлялся, не согласится ли мистер Гарт взять на себя управление его фамильными землями во Фрешите и других местах, и добавлял, что имеет поручение от мистера Брука узнать, не захочет ли мистер Гарт одновременно вновь стать управляющим Типтон-Грейнджа. Баронет в весьма лестных выражениях объяснял, что сам он очень желал бы, чтобы земли Фрешита и Типтон-Грейнджа находились в ведении одного лица, и выражал надежду, что условия такого двойного управления окажутся приемлемыми для мистера Гарта, которого он будет рад видеть

во Фрешит-Холле в двенадцать часов на следующий день.

— Он пишет очень любезно, так ведь, Сьюзен? — спросил Кэлеб, поднимая глаза на жену, которая прижалась подбородком к его затылку и ущипнула его за ухо. — А Брук сам меня просить не захотел, — добавил он, беззвучно рассмеявшись.

— Вашему отцу воздали должное, дети, — сказала миссис Гарт в ответ на взгляд пяти пар устремленных на нее глаз. — К нему обращаются с просьбой вернуться те самые люди, которые много лет назад отказали ему от места, а это значит, что он исполнял свои обязанности хорошо и без него не могут обойтись.

— Как без Цинцинната! Ура! — завопил Бен и оседлал свой стул в твердой уверенности, что сейчас ему за это ничего не будет.

— А они за ним приедут, мама? — спросила Летти, представляя себе мэра и олдерменов в парадных мантиях.

Миссис Гарт погладила Летти по голове и улыбнулась, но тут же, заметив, что ее муж собирает письма и вот-вот укроется в святилище «дела», она сильнее оперлась на его плечи и сказала твердо:

— Только, Кэлеб, настаивай на справедливых условиях.

— Ну, разумеется, — ответил Кэлеб с глубочайшей убежденностью, словно ничего другого от него нельзя было и ждать. — Что-нибудь около четырех-пяти сотен за оба вместе… — Он вдруг встрепенулся. — Да, Мэри! Напиши в этот пансион и откажись. Оставайся дома и помогай матери. Вот теперь я доволен, что твой Панч.

Сходства между Кэлебом и Панчем, торжествующим победу над врагами, не было ни малейшего, но он не обладал умением красиво говорить, хотя в письмах всегда тщательно подбирал слова и восхищался правильной речью жены.

Мальчики пришли в неистовый восторг, и Мэри умоляюще протянула матери батистовый платочек с недоконченной вышивкой, потому что братья потащили ее плясать. Миссис Гарт, радостно улыбаясь, принялась составлять посуду, а Кэлеб отодвинулся на стуле, словно собираясь перейти к письменному столу, однако не встал, а продолжал сидеть с письмом в руке, задумчиво глядеть в пол и перебирать пальцами левой руки, что имело для него какой-то свой скрытый смысл. Наконец он сказал:

— А жаль, Сьюзен, что Кристи не захотел за-

няться делом. Мне ведь со временем понадобится помощник. А Альфред пойдет по инженерной части, это я твердо решил! — Он снова ненадолго погрузился в задумчивость, только красноречиво перебирая пальцами, и затем продолжал: — Я заставлю Брука заключить новые соглашения с арендаторами и введу правильный севооборот. И бьюсь об заклад, из глины в овраге Ботта можно жечь превосходный кирпич. Надо будет попробовать: тогда починка обойдется дешевле. Замечательная работа, Сьюзен. Холостой человек был бы рад выполнять ее без всякой платы.

— Но ты смотри, от платы не отказывайся! — сказала жена, грозя ему пальцем.

— Нет-нет. Только ведь истинное счастье для человека, когда он хорошо изучил дело и вдруг может привести, как говорится, в порядок какой-нибудь уголок страны — научить земледельцев хозяйничать экономичнее, поправить запущенное, заменить обветшалые лачуги добротными строениями, так чтобы и тем, кто сейчас жив, и тем, кто их сменит, жилось лучше! Мне это дороже всякого богатства. Более почтенной работы и вообразить нельзя. — Тут Кэлеб положил письма, всунул пальцы в прорези жилета, выпрямился и продолжал с благоговением в голосе, чуть на-

клонив голову: — Это великая милость господня, Сьюзен.

— Да, Кэлеб, — ответила его жена столь же взволнованно. — И для твоих детей счастье иметь отца, который совершит такую работу, отца, чей благой труд сохранится, пусть имя его и будет забыто. — И она больше не стала говорить с ним о плате.

Под вечер, когда Кэлеб, утомившись за день, молча сидел, положив на колени раскрытую записную книжку, миссис Гарт и Мэри были заняты шитьем, а Летти в уголке шепотом беседовала с куклой, на дорожке под яблонями, где золотые блики заходящего августовского солнца ложились среди теней на метелки травы, показался мистер Фербратер. Мы знаем, что Гарты были его прихожанами и он питал к ним симпатию, а Мэри считал достойной того, чтобы рассказать о ней Лидгейту. Как священник, он позволял себе привилегию пренебрегать мидлмарчскими сословными предрассудками и постоянно повторял матери, что миссис Гарт с куда большим правом можно назвать леди, чем любую из городских дам. Тем не менее, как вам известно, он предпочитал проводить вечера в доме мистера Винси, где хозяйка, хотя и менее леди, принимала гостей

в прекрасно освещенной гостиной среди столиков для виста. В те дни общение людей между собой определялось не только уважением. Однако мистер Фербратер искренне уважал Гартов, и его визит не поверг их в недоумение. Впрочем, священник счел нужным объяснить его причину, еще не кончив здороваться.

— Я прихожу к вам послом, миссис Гарт, — сказал он. — У меня к вам и Гарту поручение от Фреда Винси. Дело в том, что бедняга... — тут он сел, и живой взгляд его умных глаз скользнул по лицам старших Гартов и Мэри, — что он был со мной вполне откровенен.

Сердце Мэри забилось чаще. Как далеко зашел Фред в своей откровенности?

— Мы уже несколько месяцев не видели мальчика, — заметил Гарт. — Я никак не мог понять, что с ним сталось.

— Он где-то гостил, — ответил священник. — Дома ему приходилось нелегко, а Лидгейт сказал его матушке, что ему еще рано садиться за занятия. Но вчера он пришел ко мне излить душу. Я очень рад, что он мне доверился. Ведь я помню его еще четырнадцатилетним мальчуганом, и у них в доме я настолько свой, что смотрю на детей почти как на собственных племянников

и племянниц. Однако в подобном случае трудно давать советы. Но как бы то ни было, он попросил меня зайти к вам и сказать, что он уезжает, а мысль, что он не может уплатить вам долг, так его терзает, что он не решается побывать у вас, даже чтобы проститься.

— Передайте ему, что все это пустяки, — сказал Кэлеб, махнув рукой. — Были у нас нелегкие минуты, но мы справились. А уж теперь я буду богат, как ростовщик.

— Другими словами, — сказала миссис Гарт, улыбаясь священнику, — у нас будет довольно денег, чтобы дать мальчикам образование и чтобы Мэри могла остаться дома.

— Какой же клад вы нашли? — осведомился мистер Фербратер.

— Я буду управляющим двух поместий во Фрешите и Типтоне, а может быть, еще и в Лоуике — тут ведь семейные связи, а стоит одному воспользоваться твоими услугами, как и другим они тоже нужны. Я очень счастлив, мистер Фербратер, — Кэлеб чуть откинул голову и положил локти на ручки кресла, — что опять смогу заняться землей и испробовать кое-какие улучшения. Я часто жаловался Сьюзен, как тяжело бывает, когда едешь верхом по проселку, заглянешь за

изгороди, увидишь, что там творится, и знаешь, что ты тут бессилен. Каково же людям, которые занимаются политикой! Мне вот стоит увидеть, до чего довели какую-нибудь сотню акров, и я уже сам не свой.

Кэлеб редко произносил такие длинные речи, но счастье подействовало на него точно горный воздух: его глаза блестели, слова текли легко и свободно.

— От всего сердца поздравляю вас, Гарт, — сказал священник. — И я знаю, как обрадуется Фред Винси: его ведь особенно мучит ущерб, который он вам причинил. Он все время повторял, что из-за него вы лишились денег, которые предназначали совсем для другой цели, что он вас ограбил. Очень жаль, что Фред такой лентяй. В нем много хорошего, а отец с ним излишне строг.

— Куда же он едет? — довольно холодно спросила миссис Гарт.

— Он намерен еще раз попытаться получить диплом и решил подзаняться до начала семестра. Собственно, он тут последовал моему совету. Я вовсе не уговариваю его принять сан — наоборот. Однако, если он будет заниматься и сдаст экзамен, это хотя бы покажет, что у него есть энергия

и воля. А другого выбора у него нет. Так он хотя бы угодит отцу, а я обещал тем временем попытаться примирить мистера Винси с мыслью, что его сын изберет себе какое-нибудь другое поприще. Фред откровенно признается, что неспособен быть священником, а я готов сделать все, лишь бы удержать человека от такого рокового шага, как неверный выбор профессии. Он пересказал мне ваши слова, мисс Гарт, — вы помните их? (Прежде мистер Фербратер называл ее просто Мэри, однако по свойственной ему деликатности он начал обходиться с ней почтительнее с тех пор, как ей пришлось, по выражению миссис Винси, самой зарабатывать свой хлеб.)

Мэри смутилась, но решила обратить все в шутку и поспешила ответить:

— Я говорила Фреду много всяких колкостей — мы ведь с ним играли детьми.

— Вы, по его словам, сказали, что он будет одним из тех нелепых священников, которые делают смешным все духовное сословие. Право же, это замечено так остро, что я и сам был немножко задет.

Кэлеб засмеялся.

— Свой язычок она унаследовала от тебя, Сьюзен, — сказал он не без удовольствия.

— Только не его несдержанность, папа, — поторопилась возразить Мэри, боясь, что ее мать рассердится. — И Фред поступил очень нехорошо, пересказывая мистеру Фербратеру мои дерзости.

— Ты правда говорила не подумав, девочка, — сказала миссис Гарт, в глазах которой неуважительное замечание по адресу тех, кто был облечен достоинством сана, было серьезнейшим проступком. — Мы не должны меньше почитать нашего священника оттого, что причетник соседнего прихода смешон.

— Но кое в чем она права, — возразил Кэлеб, стремясь воздать должное проницательности Мэри. — Из-за одного плохого работника не доверяют всем, кто трудится вместе с ним. Судят-то целое, — добавил он, опустил голову и смущенно зашаркал ногами по полу, потому что его слова не могли угнаться за мыслями.

— Да, конечно, — с улыбкой поддержал его мистер Фербратер. — Показывая себя достойными презрения, мы располагаем людей к презрению. Я всецело разделяю точку зрения мисс Гарт, даже если и сам не без греха. Но если говорить о Фреде Винси, то у него есть некоторое извинение: надежды, которые обманчиво внушал ему старик Фезерстоун, дурно влияли на него. А потом не

оставить ему ни фартинга — в этом есть поистине нечто дьявольское. Но у Фреда достало выдержки не касаться этого. Больше всего его гнетет мысль, что он утратил ваше расположение, миссис Гарт. Он полагает, что вы никогда не возвратите ему своего доброго мнения.

— Фред меня разочаровал, — решительно сказала миссис Гарт. — Но я с удовольствием опять буду думать о нем хорошо, если он даст мне основания для этого.

Тут Мэри встала, позвала Летти и увела ее из комнаты.

— Когда молодые люди сожалеют о своих проступках, их надо прощать, — сказал Кэлеб, глядя, как Мэри закрывает за собой дверь. — И вы правы, мистер Фербратер, в старике сидел настоящий дьявол. Мэри ушла, и я вам кое-что расскажу. Об этом знаем только мы с Сьюзен, и вы уж никому не говорите. В ту самую ночь, когда старый негодяй умер, Мэри сидела с ним одна, и он потребовал, чтобы она сожгла какое-то его завещание. Деньги ей предлагал из своей шкатулки, лишь бы она послушалась. Только Мэри, вы понимаете, сделать этого не могла — не хотела открывать его железный сундук, ну, и остальное тоже. Но, видите ли, сжечь-то он хотел

это последнее завещание. Так что сделай Мэри по его, Фред Винси получил бы десять тысяч фунтов. Старик в последнюю минуту хотел-таки о нем позаботиться. Это очень мучает бедную Мэри. По-другому сделать она не могла и поступила правильно, но у нее, говорит она, такое чувство, будто она, защищаясь от нападения, ненароком разбила чужую дорогую вещь. Я ее понимаю и с радостью как-нибудь помог бы мальчику, а не держал бы на него сердца за этот его вексель. А как вы полагаете, сэр? Сьюзен со мной не согласна. Она говорит… Да ты сама скажи, Сьюзен.

— Мэри не могла бы поступить иначе, даже если бы знала, какие последствия это будет иметь для Фреда, — объявила миссис Гарт, подняв голову от шитья и повернувшись к мистеру Фербратеру. — А она ничего не знала. Мне кажется, если, поступая правильно, мы невольно причиним кому-нибудь вред, это не должно лежать бременем на нашей совести.

Священник ответил не сразу, и ей возразил Кэлеб:

— Это ведь просто чувство. Девочка мучается, и я ее понимаю. Вот заставляешь лошадь пятиться и вовсе не хочешь, чтобы она наступила на щенка, а случится такое, и до того на душе скверно!

— Я уверен, что миссис Гарт в этом с вами согласна, — заметил мистер Фербратер, о чем-то раздумывая. — Бесспорно, такое чувство — я имею в виду, по отношению к Фреду — нельзя назвать ошибочным, или, вернее, неоправданным, хотя никто не вправе искать его, а тем более требовать.

— Только ведь это секрет, — сказал Кэлеб. — Вы Фреду ничего не говорите.

— Ну, разумеется. Но я сообщу ему приятную новость — что ваши дела поправились и вы можете обойтись без денег, которых из-за него лишились.

Мистер Фербратер вскоре ушел и, увидев Мэри с Летти среди яблонь, направился к ним попрощаться. Закатное солнце золотило яблоки в редкой листве на старых корявых сучьях, и сестры являли собой очаровательную картину — Мэри в светло-зеленом ситцевом платье с черными лентами держала корзину, а Летти в выцветшем нанковом платьице подбирала паданцы и складывала их туда. Если вы хотите живо представить себе, как выглядела Мэри, то присмотритесь завтра к потоку прохожих на улице, и десять против одного, что вы вскоре увидите лицо, совсем такое, как у нее. Не ищите ее среди

тех дочерей Сиона[144], что надменны и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавой поступью, — пусть они идут своей дорогой, а вы остановите взгляд на невысокой, смуглой, плотно сложенной молодой женщине, которая ступает уверенно, но спокойно и смотрит по сторонам, не ожидая ответных взглядов. Если у нее широкое лицо, квадратный лоб, густые брови и кудрявые черные волосы, чуть лукавый взгляд и губы, которые прячут тайну этого лукавства, а все прочие черты совсем не примечательны, то эту непритязательную, хотя и приятную на вид молодую особу можно счесть портретом Мэри Гарт. Если вы заставите ее улыбнуться, она покажет вам безупречно ровные зубки; если вы ее рассердите, она не повысит голоса, но вы услышите достойную отповедь; если вы окажете ей услугу, она никогда ее не забудет.

Этот невысокий священник в отлично вычищенном ветхом сюртуке, красивый, с живым и умным лицом, внушал Мэри уважение и симпатию, как ни один из немногих знакомых ей мужчин. Она ни разу не слышала, чтобы он сказал глупость, хотя знала, что он позволяет себе небла-

---

**[144] Примечания: 144**
Цитата из библейской книги пророка Исайи (3, 16).

горазумные поступки. Возможно, глупые слова, по ее мнению, заслуживали большего осуждения, чем самые неблагоразумные поступки мистера Фербратера. Во всяком случае, как ни странно, вполне зримые недостатки его, как духовного лица, никогда не вызывали у нее того возмущения и презрения, с какими она говорила о тени, которую предположительно должен был бы бросить на сан священника Фред Винси. Подобная непоследовательность мышления, полагаю, бывает свойственна и более зрелым умам, чем ум Мэри Гарт, — беспристрастность мы храним для абстрактных добродетелей и пороков, каких вживе никогда не наблюдаем. Возьмется ли читатель отгадать, который из этих двух столь несхожих людей вызывал у Мэри женскую нежность — тот, с кем она была особенно строга, или другой?

— Не хотите ли что-нибудь передать через меня старому товарищу ваших детских игр, мисс Гарт? — спросил священник, беря из корзинки, которую она ему протянула, большое душистое яблоко и опуская его в карман. — Может быть, вы хотите смягчить свой суровый приговор? Я сейчас увижусь с ним.

— Нет. — Мэри с улыбкой покачала головой. — Если я возьму назад свои слова, что как священ-

ник он будет смешон, то мне придется сказать, что он будет не смешон, а плох. Однако я от души рада узнать, что он уезжает учиться дальше.

— А я, наоборот, от души рад, что вы не уезжаете учить других. Моей матушке, я уверен, будет очень приятно, если вы ее навестите. Она любит беседовать с молодыми людьми, и ей есть что порассказать о старых временах. В сущности, это будет одолжением с вашей стороны.

— Я приду с большим удовольствием, — сказала Мэри. — На меня вдруг сразу нахлынуло слишком уж много счастья. Мне казалось, что моя судьба — всегда тосковать по дому, и теперь я испытываю какую-то пустоту. Вероятно, это чувство занимало в моей душе чересчур большое место.

— Можно, я пойду с тобой, Мэри? — шепнула Летти. Это бойкое дитя обладало неудобным свойством не пропускать ни слова из разговоров взрослых. Но на этот раз она торжествовала: мистер Фербратер ущипнул ее за подбородок и поцеловал в щеку, о чем она тотчас сообщила отцу и матери, едва вбежала в комнату.

Когда священник шел по направлению к Лоуику, внимательный наблюдатель мог бы заметить, что он дважды пожал плечами. По-моему, те редкие англичане, которым привычен этот жест,

никогда не бывают плотно сложены — впрочем, чтобы избежать какого-нибудь дюжего примера, свидетельствующего об обратном, я лучше скажу: почти никогда. Такие люди обычно обладают ровным характером и снисходительны к маленьким человеческим слабостям (и в самих себе тоже). Мистер Фербратер вел внутренний диалог, в котором сообщил себе, что между Фредом и Мэри Гарт, по-видимому, существует нечто большее, чем простая привязанность товарищей детских игр, и тут же задал вопрос, не слишком ли хороша и тонка эта девушка для этого туповатого юнца. Ответом и было первое пожатие плеч. Затем он посмеялся над собой за такую ревность — словно он может жениться! Тогда как, добавил он, «простейшее сведение доходов и расходов показывает, что мне об этом нечего и думать». Тут он пожал плечами во второй раз.

Что могли найти два столь разных человека в этой «чернушке», как называла себя Мэри? Во всяком случае, их чаровала вовсе не ее некрасивость (и пусть некрасивые юные девицы поостерегутся возлагать надежду на свою невзрачность, к чему их коварно поощряет общество). В нашей давно уже не молодой стране человек — это поистине чудесное целое, творение медленного взаимодей-

ствия многих влияний. Привлекательность же рождается из свойств двух таких целых — любящего и любимого.

Когда мистер и миссис Гарт остались одни, Кэлеб сказал после некоторого молчания:

— Сьюзен, угадай, о чем я думаю.

— О севообороте, — сказала миссис Гарт, улыбнувшись ему над вязаньем. — Или о кухонных дверях типтоновских ферм.

— Нет, — совершенно серьезно ответил Кэлеб. — Я думаю о том, что могу пособить Фреду Винси. Кристи уехал, Альфред скоро поступит в учение, а Джиму еще пять лет расти, прежде чем от него может быть толк для дела. Мне понадобится подручный, а Фред у меня под началом научился бы, как следует вести хозяйство, и стал бы хорошим помощником. Глядишь, из него и вышел бы полезный человек, раз уж он не хочет принимать сан. А как по-твоему?

— По-моему, нет другого честного занятия, против которого его родные ополчились бы больше, — решительным тоном ответила миссис Гарт.

— И пусть ополчаются, — сказал Кэлеб с твердостью, обычно появлявшейся в его голосе, когда он отстаивал свое мнение. — Он уже совершен-

нолетний и должен сам зарабатывать свой хлеб. Ума у него хватает, и сообразительности тоже. Землю он любит и, конечно, может по-настоящему изучить дело, если только захочет.

— Но захочет ли? Отец и мать растили из него богатого джентльмена, и мне кажется, он себя таким и видит. Они все считают нас ниже себя. И если ты предложишь это, уж конечно, миссис Винси скажет, что мы ловим Фреда для Мэри.

— Жизнь была бы поистине жалка, если бы зависела от такого вздора! — воскликнул Кэлеб с омерзением.

— Да, конечно, но, Кэлеб, нужно иметь и гордость, это только разумно.

— Позволить, чтобы дурацкие измышления помешали тебе сделать доброе дело, — такая гордость, по-моему, вовсе не разумна. Да ведь никакая работа не пойдет, — с жаром продолжал Кэлеб, для пущей выразительности взмахивая рукой, — если слушать дураков. Надо самому знать, что ты задумал правильный план, и уж от него не отступать.

— Я не стану мешать твоим планам, Кэлеб, — сказала миссис Гарт, которая при всей своей твердости знала, что ее кроткий муж способен быть еще тверже. — Но, по-видимому, решено,

что Фред вернется в университет. Так не лучше ли подождать и поглядеть, что он решит делать потом? Принуждать людей против их желания не так-то легко. Да и ты пока еще точно не знаешь, что тебе придется делать и в чем у тебя будет необходимость.

— Да, пожалуй, лучше немного обождать. Но в том, что работы у меня с избытком хватит на двоих, я заранее уверен. Хлопот у меня всегда полон рот, и все время добавляется что-то новое. Вот как вчера… Да я же тебе не рассказал! Странно так получилось, что два разных человека попросили меня произвести оценку одной и той же земли. И как ты думаешь, о ком я говорю? — спросил Кэлеб, беря понюшку табака и зажимая ее между пальцами, словно она имела прямое отношение к его вопросу. Он любил понюхать табак, когда вспоминал об этом удовольствии, что, впрочем, случалось довольно редко.

Его жена опустила вязанье и приготовилась слушать.

— Одним был Ригг, или, вернее, Ригг Фезерстоун. Но только Булстрод побывал у меня раньше, а потому я обещал Булстроду. Ну, а для чего — чтобы заложить или продать, я пока не знаю.

— Неужели этот человек намерен продать

землю, которую только что унаследовал? Ради которой принял новую фамилию? — сказала миссис Гарт.

— Кто его знает, — ответил Кэлеб, который никогда не приписывал осведомленность в сомнительных сделках силам более высоким, чем неведомый «кто». — Булстрод давно уже хотел прибрать к рукам приличную землю. А в наших краях это ведь непросто.

Кэлеб аккуратно рассыпал понюшку, вместо того чтобы поднести ее к носу, после чего добавил:

— Интересно, как все получается. Эту землю всегда прочили Фреду, хотя, оказывается, старик-то и клочка не думал ему завещать, а оставил ее этому никому не ведомому сыну с левой стороны и рассчитывал, что он поселится здесь и начнет всем досаждать не хуже, чем он сам, пока был жив. Вот и будет интересно, если она достанется Булстроду. Старик его люто ненавидел и не желал держать деньги в его банке.

— Какая же причина была у старого скряги ненавидеть человека, если он никакого дела с ним не имел? — спросила миссис Гарт.

— А-а! Что толку спрашивать, какие причины могут быть у таких людей? Душа человеческая, — произнес Кэлеб торжественным тоном и покачал

головой (этот тон и это движение всегда сопутствовали у него таким изречениям), — душа человеческая, когда глубоко тронет ее гниение, приносит всякие ядовитые поганки, и нет глаз, что провидели бы, откуда взялось семя их.

Вечные трудности, которые испытывал Кэлеб, не находя нужных слов для выражения своих мыслей, привели к тому, что он, так сказать, начал ассоциировать определенные стили с теми или иными мнениями или душевными состояниями, и всякий раз, когда он воспарял духом, его чувства облекались в библейскую фразеологию, хотя он не сумел бы точно привести ни единой цитаты из Библии.

# Глава XLI

*Я хвастовством немного взял,*
*И дождик хлещет каждый день.*

***Шекспир, «Двенадцатая ночь»***

Упомянутая Кэлебом Гартом сделка между мистером Булстродом и мистером Джошуа Риггом, касавшаяся стоун-кортовской земли, потребовала некоторой переписки.

Кому дано предвидеть действие письмен? Если они высечены на камне, то пусть он веками лежит опрокинутый на забытом берегу или «покоится безмолвно, не внимая барабанам и топотам бесчисленных завоеваний»[145], в конце концов с его помощью мы, возможно, проникнем в тайну узурпации или иных скандальных историй, о которых сплетничали в незапамятные времена: ведь мир, по-видимому, — одна огромная галерея, где эхо множит самый слабый шепот. В миниатюре подобные случаи нередки и в наших собственных незначащих жизнях.

---

**[145] Примечания: 145**

Неточная цитата из книги Т. Брауна «Погребение в урнах», которая была посвящена найденным незадолго до этого в Англии римским погребальным урнам и отличалась пышностью слога.

Как камень, который презрительно топтали поколения невежд, может в результате странного сцепления пустяковых обстоятельств попасть на глаза ученому и благодаря его трудам уточнить дату вторжения или дать ключ к древней религии, так исписанный листок бумаги, долго служивший невинной оберткой или затыкавший щель, вдруг попадает на глаза именно того, кто располагает необходимыми сведениями, и эти чернильные строки дают толчок к катастрофе. Для Уриеля[146], наблюдающего с Солнца историю развития планет, одно будет точно таким же совпадением, как другое.

После столь возвышенного сравнения мне уже не так неловко указать на существование низких людей, чье вмешательство, хотим мы того или не хотим, в значительной мере определяет пути мира. Разумеется, было бы неплохо, если бы мы могли содействовать сокращению их числа, и, пожалуй, начать следует с того, чтобы не давать беззаботно случая к их появлению на свет. С социальной точки зрения Джошуа Ригг, конечно, был бы причислен к избыточному элементу. Но люди вроде Питера Фезерстоуна, которых никто не

**[146] Примечания: 146**

*Уриель* (*библ.*) — имя одного из архангелов; в поэме Джона Мильтона «Потерянный рай» его заботам поручено Солнце.

просит оставить свой оттиск, обычно и не думают дожидаться подобной просьбы ни в стихах, ни в прозе. Оттиск в данном случае внешне больше напоминал мать — у представительниц женского пола лягушачьи черты в сочетании с розовыми щечками и пухленькой фигурой таят немалую привлекательность для определенного сорта поклонников. И вот рождается на свет существо мужского пола с лягушачьим лицом, уже явно никому не нужное. Особенно когда оно внезапно появляется неведомо откуда, чтобы положить конец надеждам других людей — большей низости от избыточного социального элемента и ждать невозможно.

Впрочем, низменные качества мистера Ригга Фезерстоуна носили исключительно трезвый водопийный характер. С раннего утра и до позднего вечера он неизменно бывал столь же гладок и хладнокровен, как лягушка, которую он напоминал, и старик Питер втайне немало похихикивал над своим отпрыском, едва ли не более расчетливым и бесспорно куда более невозмутимым, чем он сам. Я добавлю, что его ногти всегда были безупречны и он намеревался жениться на благовоспитанной молодой девице (пока еще не избранной) приятной наружности

и с хорошим родством в солидных коммерческих кругах. Таким образом, его ногти и скромность ничуть не уступали ногтям и скромности многих джентльменов, хотя честолюбие его питалось лишь возможностями, открытыми перед писцом, а затем счетоводом мелкой торговой фирмы в портовом городе. Сельские Фезерстоуны казались ему смешными простаками, а, по их мнению, «принадлежность» к портовому городу еще усугубляла чудовищность того, что у их братца Питера, а главное, у собственности Питера вдруг обнаружилось подобное приложение.

Сад Стоун-Корта и усыпанный гравием круг перед домом еще никогда не выглядели так аккуратно, как теперь, когда мистер Ригг Фезерстоун, заложив руки за спину, хозяйским глазом созерцал их из окна большой гостиной. Впрочем, неясно, встал ли он у окна, чтобы полюбоваться всем этим или чтобы показать спину посетителю, который стоял на середине комнаты, широко расставив ноги, сунув руки в карманы панталон и во всех отношениях являя полный контраст гладкому и хладнокровному Риггу. Это был человек, заметно разменявший шестой десяток, багроволицый, весьма волосатый, с большим количеством седины в кустистых бакенбардах

и в густой курчавой шевелюре. Он отличался дородностью, которая, к несчастью, открыла всем взорам истертые швы его одежды, что, впрочем, не мешало ему выглядеть одним из тех присяжных хвастунов, кто и во время фейерверка старается быть центром общего внимания, считая свои остроты по поводу любого зрелища интереснее самого зрелища.

Его звали Рафлс, и иногда, расписываясь, он добавлял после своей фамилии буквы Б.О., поясняя, что это звание «Большой Острослов», и тут же сообщал, что когда-то учился в «Академии для мальчиков» Леонарда Ранна, который ставил после своей фамилии буквы В.А.[147], и с его, Рафлса, легкой руки почтенный директор превратился в Ба-Ранна. Таков был внешний облик и духовный склад мистера Рафлса, словно отдававшие застойным запахом трактирных номеров той эпохи.

— Да, послушай, Джош! — говорил он рокочущим басом. — Взгляни на дело в таком свете: твоя бедная мамаша вступает в юдоль преклонных лет, а у тебя теперь есть случай упокоить ее старость.

— Нет, пока вы живы, — ответил Ригг своим

---

**[147] Примечания: 147**
Bachelor of Arts *(англ.)* — бакалавр искусств.

холодным высоким голосом. — Пока вы живы, ей покою не будет. Все, что я ей дал бы, прикарманите вы.

— У тебя на меня зуб, Джош, я знаю. Но послушай, поговорим как мужчина с мужчиной, начистоту: с небольшим капитальцем я бы открыл такую лавочку что чудо. Табачная торговля идет в гору. Я все силы приложу — не рубить же сук, на котором сидишь. Вопьюсь, как блоха в овцу, для своей-то пользы. И уж оттуда ни ногой. А твоей бедной мамаше какого же еще счастья? Я ведь свое отгулял, к пятидесяти пяти годам дело идет. И хочу угомониться у собственного очага. Мне ведь только открой дорогу к торговле табаком — такую сметку и опыт, как у меня, нескоро найдешь. Я не хочу к тебе по мелочам приставать, а разом поставить все на правильный путь. Ты взвесь, Джош, как мужчина с мужчиной, и твоя мамаша до конца своих дней горя знать не будет. Я старуху всегда любил, прах меня побери!

— Кончили? — спокойно сказал мистер Ригг, по-прежнему глядя в окно.

— Да, кончил, — объявил Рафлс и, схватив шляпу со столика рядом, взмахнул ею широким ораторским жестом.

— Тогда послушайте меня. Чем больше вы меня

в чем-то убеждаете, тем меньше я поверю. Чем больше вы меня уговариваете что-то сделать, тем больше у меня оснований этого не делать. Вы думаете, я забуду, как вы пинали меня, когда я был мальчишкой, как съедали все, что было в доме, а нам с матерью оставляли черствые корки? Вы думаете, я забуду, как вы заявлялись в дом продать последние вещи, прикарманить деньги и опять уехать, чтобы мы с матерью разбирались как знаем? Если бы вас выпороли у позорного столба, я был бы только рад. Моя мать попалась на вашу удочку. Наградила меня отчимом, вот и натерпелась за это. Она будет получать еженедельное пособие, но его выплата сразу же прекратится, если вы посмеете сунуть сюда нос или искать со мной встречи где-нибудь еще. В следующий раз вас здесь встретят собаками и кнутом.

При последних словах Ригг обернулся и посмотрел на Рафлса выпуклыми холодными глазами. Контраст между ними оставался столь же разительным, как восемнадцать лет назад, когда Ригг был на редкость несимпатичным беззащитным мальчуганом, а Рафлс — плотно сложенным Адонисом трактирных залов. Но теперь все преимущества были на стороне Ригга, и посторонний наблюдатель, вероятно, решил бы, что Рафлсу

остается только понурить голову и удалиться с видом побитой собаки. Ничего подобного! Он состроил гримасу, какой обычно встречал карточные проигрыши, потом захохотал и вытащил из кармана коньячную фляжку.

— Ладно-ладно, Джош, — сказал он вкрадчиво. — Плесни-ка сюда коньячку, дай соверен на дорогу, и я уйду. Честное и благородное слово. Как пуля вылечу, прах меня побери.

— Запомните, — сказал Ригг, доставая связку ключей, — если мы встретимся еще раз, я не стану с вами разговаривать. Я вам обязан не больше, чем вороне на заборе. И выклянчить вам у меня ничего не удастся, разве что письменное удостоверение, что вы злобный, наглый, бесстыжий негодяй.

— Жалость-то какая, Джош! — протянул Рафлс, запуская пятерню в затылок и наморщив лоб, точно эти слова сразили его наповал. — Ведь я же к тебе привязан, прах меня побери! Так бы и ходил за тобой по пятам — ну, вылитая мамаша! — да вот нельзя. А уж коньяк и соверен — святое дело.

Он взмахнул фляжкой, и Ригг направился к старинному дубовому бюро. Но Рафлс почувствовал, что при взмахе фляжка чуть не выпала из кожаного футляра, и, заметив в каминной решетке

сложенный лист бумаги, поднял его и засунул в футляр для плотности.

Ригг вернулся с бутылкой коньяка, наполнил фляжку и протянул Рафлсу соверен, не сказав ни слова и не глядя на него. Затем он отошел к бюро, запер его и снова невозмутимо встал у окна, как в начале их разговора. Рафлс тем временем отхлебнул из фляжки для почину, завинтил ее с нарочитой медлительностью и сунул в карман, строя гримасы за спиной пасынка.

— Прощай же, Джош… и может быть, навеки! — продекламировал Рафлс, оглянувшись на пороге.

Ригг все еще смотрел в окно, когда он вышел за ворота и свернул на проселок. С пасмурного неба сеялся мелкий дождь — живые изгороди и трава у дороги зазеленели ярче, а батраки в поле торопливо складывали на повозку последние снопы. Рафлс, который шагал неуклюжей развалкой городского бездельника, не привыкшего к прогулкам на лоне природы, выглядел среди этого сельского покоя и прилежного труда столь же неуместно, как сбежавший из зверинца павиан. Но на него некому было глазеть, кроме годовалых телят, и его присутствие досаждало только водяным крысам, которые, шурша, исчезали в траве при его приближении.

Когда Рафлс выбрался на тракт, ему повезло: его вскоре нагнал дилижанс и подвез до Брассинга, где он сел в вагон новой железной дороги, не преминув объявить своим спутникам, что ее теперь можно считать проверенной, — ловко она прикончила Хаскиссона. Мистер Рафлс редко забывал, что обучался в «Академии для мальчиков», и чувствовал, что при желании мог бы блистать в каком угодно обществе, а потому среди ближних его не нашлось бы ни одного, кого он не считал бы себя вправе дразнить и высмеивать, изысканно развлекая, как ему казалось, остальную компанию.

Он играл эту роль с таким воодушевлением, словно его путешествие увенчалось полным успехом, и частенько прикладывался к фляжке. Бумага, которую он засунул в футляр, была письмом с подписью «Никлас Булстрод», но она надежно удерживала фляжку и Рафлсу незачем было извлекать ее оттуда.

## Глава XLII

*О, как бы мог его я презирать.*
*Когда б не милосердия запрет!*

***Шекспир, «Генрих VIII»***

Один из первых профессиональных визитов после своего возвращения из свадебного путешествия Лидгейт нанес в Лоуик-Мэнор, куда его пригласили письмом с просьбой самому назначить удобные ему день и час.

Мистер Кейсобон во время своей болезни не задал о ней Лидгейту ни единого вопроса, и даже Доротея не подозревала, насколько его мучил страх, что его трудам или самой жизни может наступить внезапный конец. И здесь, как во всем другом, он бежал жалости. Мысль о том, что он, вопреки всем своим усилиям, может стать предметом жалости, уже была мучительной, но вызвать сострадание, откровенно признавшись в своей тревоге или горести, — об этом он и подумать не мог. Всем гордым натурам знакомо подобное чувство, и, быть может, пересилить его способно лишь столь глубокое ощущение духовной близости, что всякие попытки оградить

себя кажутся мелочными и пошлыми, а не возвышенными.

Однако теперь за молчанием мистера Кейсобона крылись мрачные размышления особого рода, придававшие вопросу о его здоровье и жизни горечь, превосходившую даже горечь осенней незрелости плода всех его трудов. Правда, именно с ними связывались самые честолюбивые его чаяния, но порой авторские усилия приводят главным образом к накоплению тревожных подозрений в сознании самого автора, и мы догадываемся о существовании реки по двум-трем светлым полоскам среди давних отложений топкого ила. Так обстояло дело и с усердными учеными занятиями мистера Кейсобона. Их наиболее явным результатом был не «Ключ ко всем мифологиям», но лишь болезненное сознание, что ему не отдают должного, пусть внешне он пока ничем не блеснул, лишь вечное подозрение, что другие судят о нем отнюдь не лестно, лишь печальное отсутствие страсти в мучительных потугах достичь заветной цели и страстное нежелание признать, что он не достиг ничего.

Таким образом, его честолюбивые замыслы, которые, по мнению посторонних, полностью поглотили его и высушили, на самом деле ни-

сколько не защищали его от ран, и особенно от ран, наносимых Доротеей. И теперь мысль о возможном будущем несла с собой больше горечи и ожесточения, чем все, что занимало его мысли раньше.

С некоторыми фактами он ничего поделать не мог — с тем, что Уилл Ладислав существует, что он вызывающе поселился около Лоуика, что он с ветреным и оскорбительным пренебрежением относится к обладателям подлинной, надлежаще апробированной эрудиции; с тем, что натура Доротеи пламенно жаждет живой деятельности и самая ее покорность и безропотность порождены столь же пылкими побуждениями, о причинах которых нельзя думать без раздражения; с тем, что у нее появились какие-то свои представления и симпатии, связанные с предметами, которые ему обсуждать с ней немыслимо. Бесспорно, более добродетельной и очаровательной молодой жены, чем Доротея, найти он не мог, но, против всех его ожиданий, молодая жена оказалась источником забот и мучений. Она преданно ухаживала за ним, она читала ему, предупреждала его желания, бережно считалась с его чувствами, и все-таки в нем крепло убеждение, что она берет на себя смелость судить его и ее супружеская

преданность нечто вроде епитимьи, которую она возлагает на себя для искупления неверия и которая не мешает ей сравнивать и понимать, какое место он и все сделанное им занимают в общей совокупности вещей. Его недовольство, словно пары тумана, проскальзывало сквозь все ее ласковые заботы и сосредоточивалось на не ценящем его мире, который из-за нее придвигался ближе.

Бедный мистер Кейсобон! Это страдание было тем труднее переносить, что отношение Доротеи представлялось ему изменой: юное создание, поклонявшееся ему с неколебимым доверием, быстро превратилось в жену, готовую его судить. Робкие попытки критиковать и не соглашаться так на него подействовали, что ни нежность, ни послушание не могли загладить их. Его подозрительность истолковывала молчание Доротеи как скрытый бунт; всякое ее неожиданное суждение выглядело в его глазах сознательным утверждением своего превосходства, в ее кротких ответах чудилась раздражающая снисходительность, а если она соглашалась с ним, то лишь потому, что ей нравилось выставлять напоказ свою терпимость. Упорство, с каким он старался скрывать эту внутреннюю драму, придавало ей новую убе-

дительность. Так мы особенно хорошо слышим то, что не считаем предназначенным для чужих ушей.

Меня вовсе не удивляет власть этих печалей над мистером Кейсобоном — наоборот, все это кажется мне вполне обычным. Разве пылинка перед нашим зрачком не заслоняет от нас все великолепие мира, так что оно становится лишь ободком темного пятна? А более мучительной пылинки, чем собственная личность, я не знаю. Но если бы мистер Кейсобон все-таки решил излить свое неудовольствие, свои подозрения, что его больше не обожают безоговорочно, кто мог бы отрицать, что у него есть для этого все основания? Напротив, была даже еще одна веская причина, которую он сам во внимание не принимал, — то обстоятельство, что он не во всем был достоин обожания. Однако он подозревал это, как подозревал еще многое другое, не признаваясь себе в своих подозрениях, и, подобно всем нам, чувствовал, как приятно было бы обрести спутницу жизни, которая так и не обнаружила бы глиняных ног своего идола.

Эта болезненная мнительность по отношению к Доротее полностью созрела еще до возвращения Уилла Ладислава в Лоуик, а дальнейшие события

дали мистеру Кейсобону обильную пищу для всяческих истолкований. К известным ему фактам он лихорадочно добавлял воображаемые — и в настоящем, и в будущем. Эти призрачные факты становились для него реальнее подлинных, так как давали пищу для более жгучей неприязни и оправдывали более ожесточенное озлобление. Подозрения и ревность к намерениям Уилла Ладислава, подозрения и ревность к впечатлениям Доротеи точили его день и ночь. Было бы несправедливо приписывать ему низменное истолкование поступков и душевного состояния Доротеи — от этой ошибки его уберегли не только открытое благородство ее натуры, но и его собственный духовный склад и житейские правила. Нет, ее мнения, воображаемое воздействие на ее пылкий ум, то, к чему все это могло привести ее в будущем, — вот что вызывало его ревность. Уилла же (хотя до его последнего вызывающего письма мистер Кейсобон, собственно, не мог поставить ему в упрек ничего конкретного) он полагал себя вправе считать способным на любые посягательства, на какие только могут толкнуть молодого человека мятежный нрав и необузданная порывистость. Он был убежден, что Уилл покинул Рим и обосновался в их краях из-за Доротеи, и у

него достало проницательности предположить, что Доротея вполне невинно поддержала Уилла в его намерениях. Было ясно как день, что Уилл ей нравится и что она готова подпасть под его влияние, — ведь после каждого их разговора наедине у Доротеи появлялись новые сумбурные идеи, а последнее их свидание, о котором было известно мистеру Кейсобону (вернувшись из Фрешит-Холла, Доротея впервые не упомянула о том, что видела Уилла), привело к сцене, вызвавшей у него против них гнев, какого он еще никогда не испытывал. Доверчивые признания Доротеи в ночном мраке о ее взгляде на деньги только вызвали у ее мужа еще более тягостные опасения.

К тому же его ни на миг не оставляли тревожные воспоминания о недавней болезни. Правда, он чувствовал себя значительно лучше и мог уже трудиться, как прежде, — возможно, это было лишь переутомление и впереди у него еще двадцать лет свершений, которые достойно увенчают тридцать лет предварительной подготовки. Надежда эта была тем слаще, что сулила отмщение Карпу и Ко за их преждевременные насмешки: ведь даже когда мистер Кейсобон бродил со своим огарком среди гробниц прошлого, эти современные фигуры вдруг загораживали

их от его тусклого света и мешали его усердным поискам. Доказать Карпу, что он ошибался, заставить его проглотить слова поношения, чтобы они легли камнем на его желудок, — столь приятное побочное следствие торжественной победы «Ключа ко всем мифологиям» манило его чуть ли не больше, чем предвкушаемая жизнь в веках на земле и вечность на небесах. А раз уж даже предвидение собственного бесконечного блаженства не могло уничтожить горький привкус воспаленного самолюбия и мстительности, стоит ли удивляться, что мысль о преходящем земном блаженстве других лиц, после того как он сам вознесется к горней славе, не дарила сладостного успокоения. Если его подтачивает какая-то болезнь, то некоторые люди могут испытать счастье оттого, что он преставится. А вдруг одним из этих людей окажется Уилл Ладислав… Мысль эта так сильно взволновала мистера Кейсобона, что она, казалось, должна была отравить и бестелесное его существование.

Конечно, все это изложено очень прямолинейно и, следовательно, неполно. Движения человеческой души многообразны, мистер же Кейсобон, как нам известно, был щепетилен и находил особую гордость в том, чтобы соблюдать

все требования чести, а потому не мог внутренне принять, что им руководит ревность, зависть и мстительность. И себе он обрисовал дело следующим образом:

«Женясь на Доротее Брук, я был обязан позаботиться о ее благополучии на случай моей смерти. Однако бесконтрольное владение значительным состоянием вовсе не обеспечивает благополучия; наоборот, в определенных обстоятельствах оно может подвергнуть ее опасности. Она — легкая добыча для любого человека, который сумеет искусно сыграть либо на ее доброжелательном расположении, либо на ее донкихотском энтузиазме. А рядом есть человек, питающий такое намерение, — человек, которому каприз заменяет принципы и который (в этом я твердо уверен) питает ко мне личную неприязнь, разжигаемую сознанием собственной его неблагодарности и постоянно изливаемую в ядовитых насмешках, — в этом я убежден так же, как если бы слышал их своими ушами. Даже пока я жив, я не могу быть совершенно спокоен, что он не пустит в ход каких-нибудь уловок. Этот человек вкрался в доверие к Доротее, возбудил ее интерес и, очевидно, попытался внушить ей, будто все, что я для него сделал, далеко не соответствует тому, на что

он имеет право. Если я умру — а он оттого тут и остался, что ждет моей смерти, — то он убедит ее выйти за него замуж. Это будет великим несчастьем для нее и торжеством для него. Сама она, конечно, не заметит своего несчастья — он сумеет внушить ей что угодно. Ведь ей свойственна неумеренность в привязанностях, и в душе она упрекает меня за то, что не нашла во мне такой же неумеренности, а его судьба ее уже заботит. Он предвкушает легкую победу и думает стать хозяином моего гнезда… Этого я не допущу! Брак с ним погубит Доротею. Был ли он хоть в чем-либо последователен, если только не из духа противоречия? Вместо того чтобы приобретать солидные знания, он всегда старался пускать пыль в глаза, не прилагая усилий. В религии он будет бездумным эхом нелепых идей Доротеи, пока это не перестанет его устраивать. Пустозвонству всегда сопутствует распущенность. Я твердо убежден, что у него нет никаких нравственных правил, и мой долг — всемерно воспрепятствовать исполнению его замыслов».

Форма, в какой мистер Кейсобон обеспечил свою жену при вступлении в брак, оставляла возможность для принятия крутых мер, однако всякий раз, когда он начинал их обдумывать, его

мысли неизбежно обращались к вопросу о том, сколько ему еще остается жить. В конце концов желание получить наиболее точный ответ взяло верх над гордой замкнутостью, и он решил расспросить Лидгейта о своей болезни.

Мистер Кейсобон упомянул, что ждет Лидгейта к половине четвертого, и Доротея с тревогой спросила, не чувствует ли он себя плохо.

— Нет, мне просто хотелось бы узнать его мнение о некоторых постоянных симптомах, — ответил он. — Вам его видеть незачем, моя дорогая. Я распоряжусь, чтобы его послали в тисовую аллею, где я буду совершать обычный моцион.

Когда Лидгейт вышел на тисовую аллею, он увидел, что мистер Кейсобон неторопливо удаляется от него, привычно заложив руки за спину и наклонив голову вперед. День был тихий и солнечный. Листья, падающие с высоких лип, медленно кружили среди мрачных тисов; полосы света четко разделяли неподвижные тени, и тишину нарушал лишь крик грачей, который для привычного уха звучит словно колыбельная песня или же словно та более торжественная колыбельная, которая зовется заупокойной молитвой. Лидгейт, ощущая себя здоровым, полным молодых сил, почувствовал жалость, когда чело-

век, которого он нагонял, повернулся и пошел ему навстречу, — столь очевидными стали теперь признаки преждевременной старости, согбенная от вечных занятий спина, костлявые руки, тощие ноги и горькие морщины у рта.

«Бедняга! — подумал врач. — Другие в его возрасте — львы и словно только-только вошли в зрелые лета».

— Мистер Лидгейт, — сказал мистер Кейсобон с неизменной своей учтивостью, — я крайне обязан вам за вашу пунктуальность. Если вы ничего не имеете против, мы побеседуем, прогуливаясь по аллее.

— Надеюсь, ваше желание увидеть меня не было вызвано возвращением неприятных симптомов, — заметил Лидгейт, прерывая паузу.

— Нет, не совсем. Для того чтобы объяснить вам это желание, я вынужден упомянуть — при других обстоятельствах касаться этого я не стал бы, — что моя жизнь, во всех прочих отношениях не представляющая ценности, обретает некоторое значение из-за незавершенности исследований, которым были посвящены все лучшие ее годы. Короче говоря, я очень хотел бы привести свой труд хотя бы в такой вид, чтобы он мог быть опубликован… другими. Если бы я

получил заверение, что на большее мне рассчитывать не следует, оно помогло бы мне разумно соразмерить мои усилия и выбрать наиболее правильный путь в отношении того, что я должен делать и чего не должен.

Тут мистер Кейсобон умолк, вынул руку из-за спины и заложил ее между пуговицами своего однобортного сюртука. Для ума, постоянно занятого человеческими судьбами, трудно было бы найти что-нибудь более интересное, чем внутренний конфликт, о котором говорили эти педантично размеренные фразы, произнесенные, как обычно, нараспев под легкое покачивание головы. И есть ли положения более трагичные, чем душевная борьба, когда человек вынужден отказаться от труда, составлявшего весь смысл его жизни — смысл, который исчезнет, точно никому не нужные воды неведомой людям реки? Но в мистере Кейсобоне не было ничего, что походило бы на трагическое величие, и к жалости Лидгейта, презиравшего его схоластическую ученость, примешивалось насмешливое чувство. Он пока еще плохо представлял себе, что это такое — крушение всех надежд, и не был в состоянии понять, насколько оно горько, когда ничто в нем не достигает истинно трагического уровня, кроме

страстного эгоизма самого страдальца.

— Вы имеете в виду помехи со стороны здоровья? — спросил он, чтобы заставить мистера Кейсобона преодолеть колебания и выразиться яснее.

— Совершенно верно. Вы не дали мне никаких оснований предполагать, что симптомы моего недуга, которые, обязан я сказать, вы наблюдали с величайшим тщанием, указывают на роковой его характер. Однако, мистер Лидгейт, если это так, я желал бы знать правду без прикрас и умолчаний, и я прошу вас сообщить мне ваши заключения — прошу, как о дружеской услуге. Если вы скажете мне, что моей жизни ничто не угрожает, кроме, разумеется, обычных превратностей, я буду очень рад ввиду того, о чем уже говорил. Если же нет, то для меня даже еще важнее узнать правду.

— В таком случае у меня нет права колебаться, — ответил Лидгейт. — Тем не менее я хотел бы прежде указать, что мои заключения нельзя считать бесспорными — и не только из-за того, что я могу ошибаться, но и потому, что, имея дело с болезнью сердца, вообще трудно что-либо предсказывать. Однако в любом случае жизнь всегда готовит нам столько неожиданностей, что ни в чем нельзя быть заранее уверенным.

Мистер Кейсобон вздрогнул, но вежливо наклонил голову.

— Я считаю, что вы страдаете так называемой жировой деградацией сердца. Болезнь эту совсем недавно открыл и исследовал Лаэннек, тот, кому мы обязаны стетоскопом. Пока она еще мало изучена — требуются гораздо более длительные наблюдения. Но после ваших слов мой долг предупредить вас, что смерть от этой болезни нередко наступает внезапно. И в то же время заранее такой исход непредсказуем. Вы вполне можете прожить пятнадцать и более лет без каких-либо стеснительных предосторожностей. Это все, что я могу вам сообщить, не входя в специальные рассуждения, которые только подтвердят то, что я уже сказал.

Лидгейт чувствовал, что ничем не смягченную прямоту мистер Кейсобон примет как знак уважения.

— Благодарю вас, мистер Лидгейт, — сказал мистер Кейсобон после недолгого молчания. — Но я хотел бы задать вам еще один вопрос: вы сообщили миссис Кейсобон все это?

— Не все… Я только объяснил ей, чего следует опасаться, — ответил Лидгейт, собираясь объяснить причины, почему он счел необходимым

предупредить Доротею, но мистер Кейсобон чуть поднял руку, показывая, что он не хочет продолжать этот разговор, еще раз сказал «благодарю вас» и заметил, что погода стоит великолепная.

Лидгейт понял, что его пациент хочет остаться один, и вскоре попрощался с ним, а черная фигура с руками, заложенными за спину, и с опущенной головой продолжала мерить шагами аллею под темными тисами, которые в безмолвии словно разделяли все печали, и тени птичек и падающих листьев, порой мелькавшие по пятнам солнечного света, казалось, боялись нарушить тишину, приличествующую присутствию горя. Человек впервые взглянул в глаза смерти и на миг испытал одно из тех редчайших прозрений, когда мы постигаем суть избитых истин чувством, что так же не похоже на постижение ее умом, как не похож образ всех вод мира на ту воду, которую видит в бреду пылающий жаром больной. Когда избитое «мы все должны умереть» внезапно преображается в острое сознание «я должен умереть — и скоро!», тогда нас схватывает смерть, и пальцы ее жестоки. Потом она может убаюкать нас в нежных объятиях, как некогда баюкала мать, и наш последний смутный миг земного существования будет подобен первому. Однако в эту

минуту мистер Кейсобон словно вдруг очутился на темном речном берегу и вслушивался в приближающийся плеск весел, ничего не различая во мраке, но вот-вот ожидая зова. В подобный час дух не лишается своего прежнего склада, он уносится в воображении за порог смерти, ни в чем не изменившись, и оглядывается назад — быть может, с божественным спокойствием доброжелательности, а быть может, с мелочными тревогами самоутверждения. Каков был душевный склад мистера Кейсобона, покажут его поступки. Он считал себя (с некоторыми учеными оговорками) верующим христианином и в отношении к настоящему, и в чаянии будущего. Но удовлетворить мы стремимся наше теперешнее желание, пусть и называем его упованием — будущие здания, ради которых люди расчищают городские трущобы, уже существуют в их воображении и любви. А в эту минуту мистер Кейсобон искал отнюдь не единения с богом и неземного света. Бедный человек! Его страстные устремления, точно тяжелый туман, стлались по темным низинам.

Доротея, увидев, что Лидгейт сел на свою лошадь и уехал, тотчас спустилась в сад, но затем заколебалась: желание немедленно пойти к

мужу сменилось опасением, не сочтет ли он ее навязчивой. Ее пылкость, неизменно встречавшая ледяной прием, и чуткая память усиливали этот постоянный страх — так энергия, не находя выхода в действии, гаснет в лихорадочной дрожи. А потому она медленно прохаживалась по дорожкам около дома, пока не увидела, что мистер Кейсобон выходит из аллеи. Она поспешила навстречу, точно небесный ангел, посланный в знак того, что остающиеся ему краткие часы будут освящены той верной любовью, которая, предчувствуя горе, становится еще нежнее. Его ответный взгляд был таким холодным, что ее охватила робость, но тем не менее она пошла рядом с ним и попробовала взять его под руку. Мистер Кейсобон по-прежнему держал руки за спиной, и ее ладонь соскальзывала с его неподвижного локтя.

Эта бесчувственная холодность поразила Доротею ужасом. Слово как будто слишком сильное, но лишь как будто — именно те поступки, которые зовутся мелочами, постоянно губят семена радости, а потом мужчины и женщины обводят отчаявшимся взглядом пустыню, созданную их собственным пренебрежением, и говорят, что земля не приносит урожая счастья, называя свое

отречение опытом. Вы спросите, почему мистер Кейсобон держался с таким недостойным бездушием. Но вспомните, что его натура бежала жалости. Быть может, вам доводилось наблюдать, как действует на человека подобного склада подозрение, что источник его горя (сейчас или в будущем) обернется источником радости для того, кто уже оскорбил его жалостью? К тому же он ничего не знал о переживаниях Доротеи и не представлял себе, что в подобные минуты она испытывала чувства, нисколько не уступавшие по силе тем, которые вызывали у него критические замечания Карпа.

Доротея не отняла руки, хотя не осмеливалась заговорить. Мистер Кейсобон не сказал: «Я хочу быть один», однако он молча направился к дому, и когда они вошли в стеклянную дверь восточного фасада, Доротея опустила руку и остановилась на пороге, чтобы не стеснять мужа. Он вошел в библиотеку и заперся там наедине со своей тоской.

Доротея поднялась в будуар. За окном исчерченную длинными тенями липовую аллею озаряло безмятежное предвечернее солнце. Но Доротея не видела этого золотого великолепия. Она бросилась в кресло, не замечая слепящих солнечных

лучей, — что было это неудобство в сравнении с внутренним ее страданием?

Недавняя растерянность сменилась возмущением и гневом, каких она еще не испытывала за все время своего замужества. Они нашли выход не в рыданиях, а в словах:

— Что я сделала? Чем я заслужила… почему он так со мной обходится? Он не хочет знать, что у меня на душе… ему все равно. Что я ни делаю, все напрасно… Он жалеет, что женился на мне.

Доротея услышала свой голос и, вздрогнув, умолкла. Она сидела как заблудившийся истомленный путник, словно единым взглядом обозрев все дороги своих юных надежд, которых больше никогда уже не обретет. И в тускнеющем свете она столь же ясно увидела одиночество — свое и мужа, увидела, что они далеко разошлись и она вынуждена смотреть на него со стороны. Если бы он привлек ее к себе, этого не случилось бы, она никогда не спросила бы: «Стоит ли он того, чтобы жить ради него?», и просто воспринимала бы его как часть своей жизни. Теперь же она сказала с горечью: «Это он виноват, а не я». Удар, потрясший все ее существо, заставил умолкнуть жалость. Разве ее вина, что она верила в него? Верила в величие его души? А каков он на самом

деле? Она уже была способна оценить его беспристрастно — она, которая трепетала его взгляда и для того, чтобы стать ничтожной, как того хотел он, замкнула лучшую часть своей души в темницу, лишь тайно ее навещая. В минуты подобных душевных кризисов женщины начинают ненавидеть.

Солнце уже заходило, и Доротея решила не спускаться в столовую, а послать сказать мужу, что ей нездоровится и она останется у себя. Никогда еще она не отдавалась настолько сознательно во власть обиды, но она ощущала, что, увидев его, должна будет открыть ему всю правду о своих чувствах, и хотела отложить объяснение до того часа, когда ей ничто не будет мешать. Возможно, ее отказ спуститься к обеду удивит его и больно заденет. Но тем лучше. Ее гнев твердил, как это свойственно гневу, что бог на ее стороне, что все небеса, сколько бы духов ни взирало на них оттуда, должны быть на ее стороне. Она уже собиралась позвонить, но тут в дверь постучали.

Мистер Кейсобон прислал сказать, что он будет обедать в библиотеке. Он очень занят и хочет быть совсем один.

— Тогда я не буду обедать, Тэнтрип.

— Разрешите, сударыня, я вам чего-нибудь

принесу.

— Нет. Мне нездоровится. Приготовьте все в туалетной, но, пожалуйста, больше меня не беспокойте.

Доротея сидела почти без движения, но борьба в ее душе продолжалась, пока сумерки медленно сгущались в ночной мрак. Однако борьба эта непрерывно менялась — так человек, уже занесший руку для удара, вдруг побеждает в себе желание ударить. Энергии, которой хватило бы для преступления, достаточно и для того, чтобы покориться, если душевное благородство вновь берет верх. Мысль, с которой Доротея выбежала в сад к мужу, — уверенность, что он спрашивал, не придется ли ему оставить работу, и что ответ должен был разбить ему сердце, — вскоре вернулась как укоризна, как тень рядом с его образом, глядящим на нее с грустным упреком. Ей рисовались все будущие печали, из груди ее рвались безмолвные вопли, потому что ей некуда было укрыться от этих печалей. Но решимость покориться пришла, и когда дом затих, когда приблизился обычный час отхода мистера Кейсобона ко сну, она неслышно отворила дверь будуара и, выйдя в темный коридор, смотрела, не появится ли внизу у лестницы огонек его свечи.

Она подумала, что не станет ждать долго и спустится к нему сама, даже рискуя вновь встретить незаслуженный упрек. Теперь она смирилась с мыслью, что так будет всегда. Но тут она услышала, что дверь библиотеки отворилась. Огонек свечи начал подниматься по лестнице — ковер на ступеньках заглушал звук шагов. Когда ее муж остановился напротив нее, она увидела, что лицо его выглядит совсем измученным. Заметив ее, он слегка вздрогнул, и она молча устремила на него умоляющий взгляд.

— Доротея! — воскликнул он тоном кроткого удивления. — Вы ждали меня?

— Да. Мне не хотелось вас беспокоить.

— Идемте, дорогая, идемте. Вы молоды, и вам еще не надо продлевать жизнь бдениями.

Услышав эти ласковые, полные тихой печали слова, Доротея почувствовала то облегчение, которое мы испытываем, чуть было не причинив боли искалеченному существу. Она вложила руку в руку мужа, и они пошли рядом по широкому коридору.

# Книга пятая
# Рука мертвеца

## Глава XLIII

*Фигурке этой нет цены. С любовью*
*Когда-то мастер вырезал ее*
*Из лучшей кости. Неподвластны моде*
*Изящество и благородство линий,*
*Чарующие женственностью вечной.*
*А вот другая дорогая вещь —*
*Майолика искуснейшей работы.*
*Взгляните, как улыбка бесподобна!*
*Казалось бы, простой фаянс, однако*
*Украсит он и самый пышный стол.*

Доротея редко отлучалась из дому без мужа, но временами ездила в Мидлмарч одна, за покупками или с благотворительной целью, как делают все богатые и небогатые дамы, живущие в окрестностях какого-нибудь города. Под предлогом такой поездки она решила спустя два дня после сцены в тисовой аллее побывать у Лидгейта и узнать, не появились ли у мужа новые симптомы болезни и не расспрашивал ли он о своем состоянии врача. Ей казалось чуть ли не преступным что-то выведывать о муже у постороннего человека, но неведение было

страшнее, страшнее потому, что могло толкнуть ее на несправедливый или жестокий поступок, и это соображение заглушило укоры совести. Она видела, что в сознании мужа произошел перелом: уже на следующий день он начал перестраивать систему выписок и отдал Доротее совершенно новые распоряжения относительно дальнейшей работы: бедняжке предстояло основательно запастись терпением.

Подъезжая часа в четыре к дому доктора на Лоуик-Гейт, она засомневалась, застанет ли его, и пожалела, что заранее ему не написала. Доктора и впрямь не оказалось дома.

— А миссис Лидгейт? — спросила Доротея. Она не была знакома с Розамондой, но сейчас вспомнила, что доктор женат. Миссис Лидгейт была дома.

— Я с ней поговорю, если она позволит. Будьте добры, узнайте, может ли она на несколько минут принять меня… принять миссис Кейсобон?

Слуга отправился с докладом. Сквозь открытое окно донеслись звуки музыки — что-то пропел мужской голос, затем рассыпалось аккордами фортепьяно. Но аккорды внезапно оборвались, после чего вышел слуга и сказал, что миссис Лидгейт очень рада видеть у себя миссис Кейсобон.

Доротея вошла в гостиную. Контраст между хозяйкой и гостьей был весьма характерен для провинции той поры, когда несходство в обычаях разных сословий проявлялось ощутимее, чем сейчас. Знатоки, вероятно, могут сказать, как называлась ткань платья, которое ранней осенью носила Доротея, — тонкая белая шерстяная ткань, мягкая на взгляд и на ощупь. Она всегда казалась только что постиранной, пахла свежей зеленью и была скроена на манер ротонды со старомодными широкими рукавами. И все же, появись Доротея перед безмолвствующими зрителями в роли Имогены[148] или дочери Катона[149], ее наряд не вызвал бы недоумения; в ее движениях, осанке были грация и величавость, а широкополая шляпка — удел ее современниц, — обрамлявшая скромно причесанные волосы и правдивые глаза, вполне могла бы заменить тот золотистый головной убор, что именуют нимбом. Для двух зрителей, ожидавших ее в гостиной, миссис Кейсобон представляла больше интереса, чем любая героиня драмы. Розамонда выделяла ее из простых смертных, причисляя к высшим

**[148] Примечания: 148**
*Имогена* — героиня пьесы Шекспира «Цимбелин».

**[149] Примечания: 149**
Порция, жена Брута, персонаж трагедии Шекспира «Юлий Цезарь».

существам, чья наружность и манеры заслуживают самого пристального внимания; кроме того, Розамонда была довольна, что и миссис Кейсобон представилась возможность обратить на нее внимание. Что толку быть изысканной, если этого не могут оценить знатоки? А поскольку в доме сэра Годвина Розамонда удостоилась высшей похвалы, она не сомневалась в своем успехе у людей знатного происхождения. Доротея со свойственной ей бесхитростной доброжелательностью протянула хозяйке дома руку и с восхищением оглядела хорошенькую молодую миссис Лидгейт, лишь краем глаза заметив стоящего поодаль джентльмена в сюртуке. Джентльмен был слишком поглощен одной из двух присутствующих женщин, чтобы обратить внимание на контраст между ними — контраст, который поразил бы беспристрастного наблюдателя. Обе были высокого роста, у той и у другой — прелестные глаза, но вообразите себе головку Розамонды в дивной короне кос, сплетенных из младенчески белокурых волос, ее голубое платье, элегантный и модный покрой которого взволновал бы любого портного, большой вышитый воротник, стоимость коего нельзя было не оценить, в меру украшенные кольцами пальчики и рассчитанную непринуж-

денность манер — трудоемкую замену простоты.

— Благодарю за позволение прервать ваши занятия, — тут же заговорила Доротея. — Мне бы очень хотелось до отъезда домой повидать мистера Лидгейта, и я надеялась, что, может быть, вы скажете, где его найти, или даже позволите подождать его, если он вскоре должен вернуться.

— Он в новой больнице, — сказала Розамонда. — Не знаю, скоро ли он вернется. Но я могу за ним послать.

— Разрешите мне сходить за доктором? — предложил, выступая вперед, Уилл Ладислав. Он взял шляпу еще до того, как вошла гостья. Доротея вспыхнула от неожиданности, но протянула ему руку, улыбаясь с явной радостью и говоря:

— А я вас не узнала: не ожидала вас здесь встретить.

— Вы разрешите мне сходить в больницу и сказать мистеру Лидгейту, что вы хотите его видеть? — спросил Уилл.

— Я пошлю за ним карету, — возразила Доротея. — Так гораздо проще. Не будете ли вы добры отдать распоряжение кучеру?

Уилл направился к двери, как вдруг Доротея, в чьем воображении мгновенно пронеслось множество воспоминаний, торопливо повернулась к

нему и сказала:

— Нет, нет, благодарю. Мне хочется как можно скорей возвратиться домой. Я сама поеду в больницу и поговорю с мистером Лидгейтом. Пожалуйста, простите меня, миссис Лидгейт. Вы были очень добры.

Ее вдруг поглотила какая-то новая мысль, и, выходя из комнаты, она едва ли замечала, что происходит вокруг, едва ли заметила, как Уилл распахнул перед ней дверь и предложил ей руку, чтобы проводить к карете. Она оперлась на его руку, но не сказала ни слова. Уилл был порядком раздосадован и подавлен, но и сам не мог придумать, что сказать. Он молча посадил ее в карету, они попрощались, и Доротея уехала.

Пять минут пути до больницы ушли на совершенно новые для нее размышления. Решение уехать и охватившая ее в тот миг задумчивость были порождены внезапным ощущением, что, сознательно поддерживая дальнейшее знакомство с Уиллом и скрывая это от мужа, она допускает своего рода обман, да и самая поездка к Лидгейту затеяна украдкой. Все это она понимала вполне отчетливо, но еще что-то неприятное смутно тревожило ее. Сейчас, когда она была одна в карете, Доротея как бы вновь услышала мужской голос

и аккомпанировавшее ему фортепьяно, на которые не обратила внимания сразу. Значит, Уилл Ладислав навещает миссис Лидгейт в отсутствие ее мужа, с некоторым удивлением подумала она. Правда, ей тут же вспомнилось, что он и ее навещал, стало быть, в таких визитах нет ничего дурного. Но ведь Уилл родственник мистера Кейсобона, Доротея обязана его принимать. И все же, судя по некоторым признакам, мистер Кейсобон был, пожалуй, недоволен этими визитами в его отсутствие. «Я, должно быть, многое неверно понимала», — с грустью подумала Доротея. Слезы хлынули градом, и ей пришлось поспешно их утереть. Огорченная, растерянная, она почувствовала, что дотоле ясный для нее облик Уилла каким-то образом исказился. Тем временем карета остановилась у ворот больницы. Вскоре Доротея уже расхаживала рядом с Лидгейтом по зеленому больничному двору, и ею снова овладело тревожное волнение, заставившее ее искать этой встречи.

Что до Уилла Ладислава, он тоже был подавлен, но вполне представлял себе — почему. Ему редко приходилось встречаться с Доротеей, а нынешняя встреча к тому же оказалась неудачной. Мало того что Доротея, вопреки обычаю, не была занята

только им, она встретила его при обстоятельствах, показывающих, что и он не был всецело занят ею. Обстоятельства этой встречи оттеснили его в чуждый Доротее круг обывателей Мидлмарча. Но виновен ли он в этом? Поселившись в городе, он постарался перезнакомиться с кем только возможно: его положение требовало, чтобы он знал всех и вся. Лидгейт, право же, самый достойный из его здешних знакомцев, а миссис Лидгейт музицирует, да и вообще в ее доме приятно бывать. Так возникла ситуация, при которой наша Диана столь неожиданно наткнулась на своего вздыхателя. Убийственная ситуация. Только ради Доротеи живет он в Мидлмарче — Уилл это прекрасно понимал. В то же время его положение в городе грозило воздвигнуть между ними преграду, более губительную для сохранения взаимного интереса, чем расстояние от Рима до Англии. Сословными предрассудками нетрудно пренебречь, если речь идет о чем-то наподобие высокомерного письма мистера Кейсобона, но предрассудки, как пахучие тела, существуют в двух субстанциях — устойчивой и летучей, они устойчивы, как пирамиды, и неуловимо летучи, как двадцатый отзвук эха или воспоминание об аромате гиацинтов в ночной тьме. А Уилл по

складу характера был чувствителен к неуловимому: менее тонкий человек не осознал бы, что в отношение Доротеи к нему впервые вкралась принужденность, и в их молчании, пока он вел ее к карете, сквозил холодок. Возможно, побуждаемый ревностью и злобой, Кейсобон убедил жену, что Уилл уже не принадлежит к их кругу. Черт бы его побрал!

Уилл вернулся в гостиную, взял шляпу и, с раздраженным видом подойдя к хозяйке, уже пересевшей за пяльцы, сказал:

— Заниматься музыкой или стихами можно только до тех пор, пока не помешают. Если разрешите, я зайду на днях, и мы еще поупражняемся над «Lungi dal caro bene»[150].

— Счастлива быть вашей ученицей, — сказала Розамонда. — Но признайтесь: на сей раз помеха оказалась прелестной. Я завидую вашему знакомству с миссис Кейсобон. Что, она очень умна? Судя по виду — да.

— Я, право, об этом не думал, — угрюмо ответил Уилл.

— Точно так же мне ответил Тертий, когда я у него спросила, красива ли она. Интересно, о чем

---

**[150] Примечания: 150**
«Вдали от милого» (*ит.*).

думаете вы, господа, в ее присутствии?

— О ней самой, — сказал Уилл, которому вдруг захотелось кольнуть очаровательную миссис Лидгейт. — Когда видишь совершенную женщину, не задумываешься о ее отдельных свойствах… просто чувствуешь ее присутствие.

— Когда Тертий поедет в Лоуик, я буду сгорать от ревности, — лукаво улыбаясь, произнесла Розамонда. — Он ко мне охладеет.

— По-моему, до сих пор с Лидгейтом ничего такого не произошло. Миссис Кейсобон настолько не похожа на других женщин, что их нельзя с ней сравнивать.

— Вы, я вижу, ее преданный поклонник. Наверное, вы часто видитесь?

— Нет, — ворчливо ответил Уилл. — Поклонение скорее относится к области теории, чем практики. Правда, сейчас я злоупотребляю практикой… как ни печально, мне придется удалиться.

— Загляните к нам как-нибудь вечером, буду рада вас видеть. Мистер Лидгейт с удовольствием послушает музыку, да и мне приятнее будет музицировать при нем.

Когда муж возвратился домой, Розамонда, подойдя к нему и взяв обеими руками за лацканы

сюртука, сказала:

— Мы разучивали арию с мистером Ладиславом, когда приехала миссис Кейсобон. По-моему, он огорчился. Как ты считаешь, может быть, ему не понравилось, что она его у нас застала? Но ведь ты ничуть не ниже его по положению, напротив… хоть он и родня Кейсобонам.

— Да нет, не в этом дело; если он и огорчился, то по другому поводу. Ладислав — нечто вроде цыгана: в нем нет чванства.

— Он превосходный музыкант; но порою не очень любезен. Он тебе нравится?

— Да. По-моему, он славный малый, несколько легковесен, разбрасывается, но симпатичный.

— Знаешь, кажется, он без ума от миссис Кейсобон.

— Бедняга! — воскликнул Лидгейт, улыбнувшись и ущипнув Розамонду за ушки.

Розамонда чувствовала, что начала познавать мир, а главное, сделала открытие — в годы девичества нечто подобное показалось бы ей немыслимым, разве что в трагедиях стародавних времен, — заключавшееся в том, что женщина даже после замужества может завоевывать и порабощать мужчин. В ту пору юные британские девицы, не исключая воспитанниц миссис

Лемон, мало знали французских авторов, писавших после Расина[151], а общественная печать еще не озаряла скандальную хронику столь ярким светом, как сейчас. И все же достаточно даже малейших намеков, в особенности намека на осуществимость множества побед, чтобы женское тщеславие, благо досуг неограничен, разбушевалось во всю мощь. Какое наслаждение пленять, восседая на брачном престоле рядом с кронпринцем-мужем (в действительности — тоже подданным), ловить искательные взгляды пленных, утративших покой… и недурно, чтобы заодно и аппетит! Но сейчас Розамонду больше всего занимал роман с ее кронпринцем, и она жаждала увериться лишь в его покорности. Когда он сказал «Бедняга!», она с игривым любопытством спросила:

— Почему?

— Да ведь когда какая-нибудь из вас, наяд, сведет с ума мужчину, на что он способен? Забросит работу и тут же станет коллекционировать долговые счета.

— Ну, уж ты никак не забросил работу. То ты в больнице, то навещаешь пациентов-бедняков, то

**[151] Примечания: 151**

*Расин Жан* (1639 — 1699) — знаменитый французский драматург, чьи пьесы широко использовались как хрестоматийное чтение в школах.

поглощен очередной ссорой с врачами, а дома тебя не оторвешь от микроскопа и всяких склянок. Они тебе милей меня, признайся.

— Неужели ты настолько нечестолюбива, что будешь довольна, если я навсегда останусь лекарем в Мидлмарче? — сказал Лидгейт, опустив руки на плечи жене и устремив на нее нежный и серьезный взгляд. — Я познакомлю тебя с моим любимым четверостишьем, написанным одним старинным поэтом:

*Зачем нам суетные почести милы?*
*Чтоб быть забытыми? Сколь выше цель – создать*
*Достойное того, чтобы о нем писать,*
*Писать достойное прочтенья и хвалы.*

Вот этого я и хочу, Рози: создать достойное того, чтобы о нем писать, и самому написать о созданном мною. А для этого надо работать, душенька.

— Ну конечно, мне хочется, чтобы ты делал разные открытия. Я буду счастлива, если ты достигнешь высокого положения и мы выберемся из Мидлмарча. Ты не можешь пожаловаться, что я мешаю тебе работать. Но ведь нельзя же жить отшельником. Тертий, ты мною недоволен?

— Нет, милая, нет. Я даже слишком доволен.

— А о чем с тобой говорила миссис Кейсобон?

— Расспрашивала о здоровье мужа, больше ничего. Кажется, мы можем ожидать щедрого пожертвования для нашей больницы. По-моему, мы будем получать от миссис Кейсобон двести фунтов в год.

## Глава XLIV

*Нет, я не буду жаться к берегам,*
*А в море по звездам направлю путь.*

Когда, прогуливаясь среди лавровых кустов во дворе больницы, Доротея услышала от Лидгейта, что у мистера Кейсобона не обнаружено новых болезненных симптомов, если не считать стремления как можно подробней узнать все о своей болезни, она тут же принялась припоминать, не вызвано ли это нездоровое стремление каким-нибудь ее поступком или фразой? Лидгейт, опасаясь упустить возможность сделать все для достижения своей заветной цели, вдруг сказал:

— Я не знаю, известно ли вам и вашему супругу о нуждах новой больницы? Пожалуй, я покажусь вам эгоистом, затрагивая при подобных обстоятельствах этот предмет, но меня можно извинить. Дело в том, что здешние врачи ведут борьбу против нашей больницы. Мне кажется, подобные проблемы должны вас интересовать. Помнится, когда я имел удовольствие познакомиться с вами в Типтон-Грейндже еще до вашего замужества, вы меня расспрашивали, влияет

ли на здоровье бедняков то, что им приходится ютиться в столь жалких жилищах.

— Да, конечно, — загоревшись, сказала Доротея. — Буду очень вам признательна, если вы скажете, чем я могу хоть немного помочь. Я как-то отошла от всех этих забот после замужества. — Она замялась и добавила: — То есть у нас в деревне дома не так уж плохи, а о соседних я не справлялась, будучи поглощена другими делами. Но здесь, в Мидлмарче… вероятно, очень много можно сделать.

— Здесь можно сделать все, — оживленно воскликнул Лидгейт. — И основным полем деятельности стала наша больница, существующая исключительно благодаря стараниям мистера Булстрода, и в немалой степени — его деньгам. Но одному человеку такое предприятие не под силу. Он, разумеется, рассчитывал на помощь. А вместо помощи под нас ведутся гнусные подкопы, затеянные недоброжелателями.

— Но какие могут быть для этого причины? — с простодушным изумлением спросила Доротея.

— Главным образом и прежде всего — неприязнь к мистеру Булстроду. Половина города готова, не щадя трудов, ставить ему палки в колеса. В этом нелепом мире большинство полагает,

что из дела может выйти толк лишь в том случае, если оно затеяно людьми их круга. До приезда сюда я ничего не знал о Булстроде. Я отношусь к нему совершенно беспристрастно и вижу, что у него есть интересные идеи и планы, которые я смогу обратить на пользу общества. Будь у нас побольше образованных людей, считающих, что их вмешательство может способствовать развитию теории и практики медицины, их деятельность не замедлила бы принести плоды. Я в этом убежден. Думаю, что, отказавшись сотрудничать с мистером Булстродом, я пренебрег бы возможностью сделать мою профессию более полезной людям.

— Я совершенно с вами согласна, — сказала Доротея, на которую произвела огромное впечатление вкратце описанная Лидгейтом ситуация. — Но что эти люди имеют против мистера Булстрода? Мой дядюшка с приязнью относится к нему.

— Многим не нравится его религиозность, — уклонился от прямого ответа Лидгейт.

— Ну, тогда он тем более заслуживает поддержки, — сказала Доротея, которой Мидлмарч вдруг представился полем битвы добра и зла.

— Говоря откровенно, у них есть и другие резо-

ны: Булстрод — человек деспотичный и довольно необщительный, кроме того, его род занятий сопряжен с некоторыми сложностями, о которых я не имею понятия. Но какое все это имеет отношение к его желанию построить здесь очень нужную людям больницу, подобной которой нет в графстве? Главная придирка наших противников состоит в том, что руководство медицинской частью доверено мне. Я, конечно, рад. Это дает мне возможность поработать не за страх, а за совесть, и я уверен, что мистер Булстрод не раскаивается в своем выборе. Но покамест все свелось к тому, что мои здешние коллеги ополчились на больницу и не только сами отказываются сотрудничать со мной, но стремятся очернить нас в глазах жертвователей.

— Как это мелочно! — негодующе воскликнула Доротея.

— Я полагаю, что за убеждения нужно бороться, иначе, вероятно, ничего не сделаешь. Здешние обыватели вопиюще невежественны. Я ведь хочу только воспользоваться для своих исследований кое-какими возможностями, не выпадающими на долю каждого; но у меня, с их точки зрения, есть непростительные пороки: я слишком молод, я не здешний, да к тому же знаю больше, чем мест-

ные уроженцы. И все-таки, поскольку я убежден, что могу изобрести новый, более эффективный метод лечения… могу путем исследований и наблюдений послужить на пользу медицине, я был бы низким стяжателем, отказавшись использовать эти возможности из соображений личной выгоды. И так как жалованья мне никто платить не собирается, то и в корыстолюбии меня нельзя упрекнуть.

— Я так рада, что вы рассказали мне все это, мистер Лидгейт, — с жаром произнесла Доротея. — Полагаю, мне удастся вам немного помочь. У меня есть кое-какие средства, и я просто не знаю, как их употребить… мысль об этом меня часто беспокоит. Для столь благородной цели я, несомненно, смогу выделять по двести фунтов в год. Ах, какое это счастье — быть уверенным, что твои знания принесут огромную пользу! Завидую вам, что каждый новый день вы встречаете с этим чувством уверенности. Иные столько трудятся из-за сущих пустяков!

Последние слова она произнесла упавшим голосом. Но тут же добавила уже веселей:

— Очень прошу вас, приезжайте в Лоуик и подробнее ознакомьте нас с делом. Я расскажу об этом мистеру Кейсобону. А сейчас мне нужно

спешить домой.

В тот же вечер она рассказала мужу о больнице, добавив, что хотела бы жертвовать по двести фунтов в год, — ее ежегодный доход (в процентах с капитала, закрепленного за Доротеей при вступлении в брак) равнялся семистам фунтам. Мистер Кейсобон не возражал, а лишь заметил вскользь, что, пожалуй, эта сумма непомерно велика, коль скоро существуют и другие благие деяния, но когда Доротея в своем невежестве заупрямилась, не стал противиться. Сам он равнодушно относился к деньгам и не был скуп. Если порою он и принимал к сердцу денежные вопросы, то не из скаредности, а по какой-нибудь иной причине.

Доротея сказала ему, что виделась с Лидгейтом, и передала вкратце суть их разговора о больнице. Мистер Кейсобон не задал Доротее ни единого вопроса, но не сомневался, что ездила она узнать, о чем он беседовал с доктором. «Она знает все, что знаю я», — твердил неугомонный внутренний голос; но, узнавая друг о друге все больше и продолжая молчать, они все сильнее отдалялись друг от друга. Кейсобон не верил в любовь жены, а какое одиночество бездоннее, чем одиночество неверия?

## Глава XLV

*Людям свойственно превозносить времена предков и обличать дурные нравы наших дней. В чем они, однако же, не могут преуспеть, не призывая на помощь сатиру дней минувших; они клеймят пороки своих времен, изображая пороки времен, восхваляемых ими, что является неопровержимым свидетельством общности пороков и тех и других времен. Таким образом, Гораций, Ювенал и Персей не были провидцами, хотя и кажется, что их творения изобличают наши времена.*

***Сэр Томас Браун, «Pseudodoxia Epidemica»***

Упомянутую Лидгейтом в разговоре с Доротеей обструкцию новой больнице, как и все подобные явления, можно было толковать с самых различных сторон. Доктор считал ее причиной зависть, смешанную с дремучими предрассудками. Мистер Булстрод полагал, что, помимо зависти, большую роль играет стремление обыва-

телей во что бы то ни стало помешать ему лично, вызванное неприязнью к тому деятельному направлению религии, которого он придерживался, стараясь быть его усердным мирским представителем… неприязнью, возникшей на почве не только религиозных разногласий, но и постоянных столкновений чисто житейских интересов. В таком виде обструкция представлялась основателям больницы. Но источники, питающие обструкцию, неисчислимы — испытывая неприязнь, люди не ограничивают себя пределами достоверных знаний, в их распоряжении безбрежные просторы невежественности. То недоброе, что говорилось в Мидлмарче по поводу новой больницы и ее основателей, по большей части было отзвуком какой-то ранее услышанной хулы, ибо волею небес людям свойственно заимствовать чужие взгляды. Впрочем, существовали оттенки, включавшие в себя всю гамму общественных мнений — от изысканной умеренности доктора Минчина до язвительных утверждений миссис Доллоп, владелицы «Пивной кружки» в Мясницком тупике.

Миссис Доллоп, распаляемая собственными заверениями, все больше убеждалась, что доктор Лидгейт вознамерился морить, а то и просто

отправлять своих больничных пациентов, дабы резать их потом без позволения и согласия, ведь «никому не секрет, что он хотел разрезать на куски миссис Гоби, весьма почтенную особу с Парли-стрит, у которой до замужества был свой капитал, находившийся в распоряжении опекуна… нет уж, путный доктор должен понимать, чем больной хворает, еще пока тот жив, и не копаться в его потрохах, когда больной помер». Если цель доктора не в этом, миссис Доллоп хотелось бы знать, в чем его цель; впрочем, среди слушателей миссис Доллоп господствовало убеждение, что ее точка зрения спасительный оплот, и, будь он опрокинут, тут же начнется сплошное потрошение тел, знаем, слышали, как Берк и Гар[152] прославились такими штуками, а у нас в Мидлмарче эти страсти ни к чему!

Пусть не подумает читатель, что точка зрения «Пивной кружки» в Мясницком тупике не играла роли для медиков, — в этом почтенном трактире, известном больше под названием «заведение миссис Доллоп», собирался могущественный «Благотворительный клуб», несколько месяцев

**[152] Примечания: 152**

*Берк* и *Гар* — преступники, убившие по меньшей мере пятнадцать человек, с тем чтобы продать их трупы для анатомических вскрытий. Берк был повешен в 1829 г.

назад поставивший на голосование вопрос, не следует ли заменить старинного клубного лекаря доктора Гэмбита этим Лидгейтом, так удивительно умеющим исцелять людей и ставить на ноги тех, от кого отступились все другие врачи. Сторонников кандидатуры Лидгейта оказалось на два меньше, чем ее противников, по каким-то неведомым причинам полагавших, что способность воскрешать людей, почти приговоренных к смерти, достоинство сомнительное и, возможно, противно воле провидения. Впрочем, в течение года в общественном мнении произошла перемена и выражением ее явилось единодушие клиентов миссис Доллоп.

Года полтора назад, когда еще ничего не было известно о врачебном искусстве Лидгейта, о нем судили, руководствуясь особым чутьем, органы которого расположены то ли под ложечкой, то ли в шишковидной железе и ценность коего при скудости достоверных сведений нисколько не умалял тот факт, что чутье это служило источником весьма разнообразных оценок. Страдавшие от хронических заболеваний, а также те, кто, подобно старику Фезерстоуну, дышали на ладан, были склонны немедленно обратиться к Лидгейту; немало находилось и таких, кто не

любил оплачивать счета врачей, и этим людям улыбалась мысль пользоваться в кредит услугами нового доктора и, не задумываясь, посылать за ним всякий раз, когда раскапризничаются детишки, что неизменно вызывало раздражение старых семейных врачей. Представителям всех этих категорий чутье подсказывало, что доктор Лидгейт хороший врач. Некоторые полагали, что он превзошел своих коллег «по части печени», во всяком случае, вреда не будет, если взять у него несколько пузырьков «снадобья», — не поможет, можно снова вернуться к «очистительным пилюлям», которые, правда, не спасают от желтушности, зато не опасны для жизни. Но, разумеется, все эти люди не играли главной роли. Лучшие семьи Мидлмарча не собирались без всяких причин менять врача, а бывшие пациенты мистера Пикока не считали себя обязанными прибегать лишь потому, что он преемник их прежнего лекаря, к услугам незнакомого человека, которому, как утверждали они, «наверняка далеко до Пикока».

Впрочем, прошло немного времени, и личность доктора Лидгейта стала достаточно известна в городе, чтобы возбудить ожидания, гораздо более определенные, чем прежде, и обострить

вражду лагерей; к волнующего свойства сведениям о докторе принадлежали и такие, смысл которых совершенно скрыт, их можно уподобить статистическому отчету, приводимому без сравнительных данных, но с восклицательным знаком в конце. Какой ужас объял бы некоторые круги Мидлмарча, если бы там узнали, например, сколько кубических футов кислорода в год поглощает взрослый человек. «Кислород! Да что это, собственно, такое? Неудивительно, что в Данциге уже холера! И после этого утверждают, что карантин ни к чему!»

Так, очень быстро распространились слухи, будто доктор Лидгейт не составляет сам лекарств. Он возмутил и дипломированных врачей, покусившись на их привилегии, и аптекарей; а ведь еще совсем недавно жители Мидлмарча могли рассчитывать, что закон оградит их от людей, которые, не являясь докторами медицины лондонской выделки, осмелились бы требовать с них деньги за что-нибудь, кроме лекарств. Однако Лидгейт по неопытности не предугадал, что принятая им политика окажется особенно оскорбительной для профанов; и в беседе с мистером Момси, зажиточным бакалейщиком с Топ-Маркет, который, хоть и не был пациентом Лидгейта,

как-то принялся вежливо расспрашивать его о странном новшестве, доктор не проявил осмотрительности и весьма кратко и небрежно изложил свои резоны, сообщив, что практикующие врачи унижают себя и наносят постоянный ущерб обществу, если единственным источником оплаты их трудов является составление длинных счетов за порошки, пилюли и микстуры.

— Став на этот путь, добросовестный врач превращается чуть ли не в шарлатана, — довольно легкомысленно заявил Лидгейт. — Дабы снискать себе хлеб насущный, они перекармливают лекарствами королевских вассалов; а это уже государственное преступление, мистер Момси… покушение на нашу конституцию.

Мистер Момси был не только лазутчиком (беседуя с Лидгейтом, он чуть ли не выполнял платное поручение), но и астматиком, а также отцом все возрастающей семьи; иными словами, как с медицинской, так и с собственной точки зрения, он являлся важной персоной; и впрямь, незаурядный бакалейщик: с огненной пирамидальной шевелюрой, всегда готовый в розницу отпустить почтительность особого, задушевного свойства — шутлив, но уважителен, и тактично не обнаруживает в полной мере остроту ума. Дру-

желюбная шутливость, с которой расспрашивал его мистер Момси, настроила Лидгейта на такой же шутливый лад. Но не следует обманываться чрезмерной понятливостью собеседников; она лишь умножает источники недоразумений, увеличивая цифру расхождений в итогах.

Лидгейт, закончив свою речь, улыбнулся, вставил ногу в стремя, а мистер Момси смеялся гораздо веселей, чем если бы и в самом деле знал, кто такие королевские вассалы, и отпустил свое «всего вам доброго, сэр, всего вам доброго» с видом человека, которому все ясно. В действительности же он был полностью сбит с толку. В течение многих лет он оплачивал счета по твердо установленному прейскуранту, никогда не сомневаясь, что получит нечто измеримое за каждый выложенный им восемнадцатипенсовик и полукрону. Он это делал с чувством удовлетворения, причисляя к обязанностям мужа и отца и расценивая особенно длинные счета как достойную упоминания привилегию. Помимо той огромной пользы, которую медикаменты приносили «ему лично и его семейству», их употребление позволяло ему судить, гордясь собственной проницательностью, об эффективности разных лекарств и составить мнение о

профессиональных достоинствах мистера Гэмбита, лекаря, стоявшего ступенькой ниже, чем Ренч или Толлер, и ценимого главным образом в качестве акушера; мистер Момси так же сдержанно отзывался о нем, но неизменно добавлял, понизив голос, что в искусстве прописывания лекарств Гэмбит не знает себе равных.

На фоне столь глубокомысленных суждений разглагольствования нового врача казались поверхностными и прозвучали особенно легковесно, будучи пересказаны супруге мистера Момси в расположенной над лавкой гостиной; как многодетная мать, она всегда была окружена вниманием, обычно пользуясь услугами доктора Гэмбита, а порой подвержена приступам, требовавшим вмешательства доктора Минчина.

— Что же он считает, этот мистер Лидгейт, от лекарств нет толку? — спросила миссис Момси, имевшая обыкновение слегка растягивать слова. — Пусть-ка тогда растолкует мне, как бы я продержалась во время ярмарки, если бы еще за месяц не начинала принимать укрепляющее средство. Вы не представляете, сколько мне надо всего наготовить для приезжающих, моя милая. — Тут миссис Момси повернулась к сидящей рядом с ней приятельнице. — Большой пирог с

телятиной, шпигованное филе, говяжья вырезка, ветчина, язык и так далее, и так далее! Больше всего мне помогает не коричневая, а розовая микстура. Удивляюсь, мистер Момси, как у вас-то, при ваших знаниях, достало терпения все это выслушать. Я-то уж сразу бы ему выложила, что учить меня не стоит.

— Нет, нет, нет, — ответил мистер Момси. — Свое мнение я держу при себе. Выслушай все и поступай по-своему — вот мой девиз. Он ведь не догадывается, что я за человек. Уж меня-то ему не обвести вокруг пальца. Я привык, что многие вроде бы растолковывают мне что-то, а сами думают: «Дурень ты, Момси». А я только улыбаюсь: знаю насквозь, где у кого слабое местечко. Ежели бы лекарства причинили какой-то вред мне лично или моему семейству, я бы давно это выяснил.

На следующий день мистеру Гэмбиту сообщили, что Лидгейт отрицает полезность лекарств.

— Вот как! — сказал он, с легким удивлением приподняв брови. Это был тучный, коренастый человек с массивным перстнем на безымянном пальце. — Каким же образом он собирается лечить больных?

— Вот и я сказала то же, слово в слово, — отозвалась миссис Момси, склонная для вящей

выразительности своих речей ставить особое ударение на личные местоимения. — Может быть, он думает, ему станут платить только за то, что он придет, посидит и отправится восвояси?

Мистер Гэмбит во время своих визитов засиживался у миссис Момси подолгу, весьма подробно сообщая ей о состоянии собственного здоровья и прочих делах; но он отлично знал, что в реплике его пациентки не содержится инсинуаций, ибо не взимал платы за досужие рассказы о своей особе. Поэтому он шутливо сказал:

— Что ж, Лидгейт, знаете ли, недурной собою малый.

— Не из тех, к кому бы обратилась я, — сказала миссис Момси. — Другие могут поступать как им угодно.

Так мистер Гэмбит удалился, уже не опасаясь конкурента, но заподозрив в нем одного из тех лицемеров, которые афишируют свою честность за счет других, в связи с чем их следовало бы вывести на чистую воду. Однако у мистера Гэмбита был немалый круг пациентов, крепко попахивающих лавкой, — обстоятельство, которое помогало ему свести до минимума наличные расходы. Поэтому он считал, что выводить Лидгейта каким-то неведомым образом на чистую воду

следует кому-то другому, а не ему. Мистер Гэмбит и впрямь не отличался образованностью, впору отстоять хоть собственный авторитет, впрочем, он был неплохим акушером, хотя именовал пищеварительную систему «нутром».

Для прочих медиков задача оказалась более посильной. Мистер Толлер имел в городе очень большую практику и принадлежал к старинной мидлмарчской семье: Толлеры попадались в судейском сословии и во всех иных, возвышавшихся над уровнем сословия розничных торговцев. В отличие от нашего раздражительного приятеля Ренча, он в тех случаях, когда, казалось, имел все основания вспылить, проявлял редкостное миролюбие, как и положено благовоспитанному, слегка ироничному человеку, гостеприимному хозяину, любителю охоты и верховой езды, очень дружелюбно относящемуся к мистеру Хоули и враждебно — к мистеру Булстроду. Может показаться странным, что при подобном благодушии мистер Толлер предпочитал самые решительные меры врачевания, отворял кровь, ставил нарывные пластыри, морил пациентов голодом, нисколько не тревожась о том, что не служит им личным примером; но как раз это несоответствие особенно укрепляло

веру в его талант среди больных, утверждавших, что мистер Толлер хоть неторопливв, а по части лечения всех обошел; никто, говорили они, не относится так серьезно к своей профессии: он немного тяжеловат на подъем, но если уж поднимется, то недаром. Он пользовался большим уважением в своем кругу, и его неодобрительные замечания звучали вдвойне веско оттого, что он произносил их беспечно, ироническим тоном.

Разумеется, ему уже надоело улыбаться и восклицать «О!» каждый раз, как ему сообщали, что преемник мистера Пикока не намеревается прописывать лекарств; и когда однажды после званого обеда мистер Хекбат упомянул об этом за рюмкой вина, мистер Толлер сказал со смехом:

— Что ж, значит, Диббитс сбудет с рук весь свой залежавшийся запас лекарств. Мне нравится малыш Диббитс, я рад его удаче.

— Толлер, я вас понял, — сказал мистер Хекбат, — и полностью с вами согласен. Не премину и сам при случае высказать это мнение. Врач должен отвечать за качество лекарств, которые потребляют его пациенты. Такова основа общепринятой системы лечения; и ничего нет вредоноснее новшеств, затеянных из чванливости, а не для пользы дела.

— Чванливости? — насмешливо переспросил мистер Толлер. — Я не вижу, в чем она заключается. Довольно трудно чваниться тем, во что никто не верит. Да и новшеств тут нет никаких, вся разница в том, собирает ли доктор мзду за выписанные лекарства с аптекарей или с пациентов и набегает ли ему доплата за так называемый врачебный присмотр.

— В этом можете не сомневаться. Старое жульничество на новый лад, — сказал мистер Хоули, передавая мистеру Ренчу графинчик.

На званых обедах мистеру Ренчу зачастую изменяла обычно свойственная ему воздержанность в употреблении напитков, и он становился еще раздражительнее.

— Жульничество, — проворчал он. — Этакими словами легко швыряться. Меня другое возмущает: как не стыдно врачам выносить сор из избы и кричать во всеуслышание, что врач, сам составляющий лекарства, не джентльмен. Я отметаю это обвинение. Самый неджентльменский поступок, заявляю я, — это протаскивать сомнительные новшества и порочить освященную веками процедуру. Таково мое мнение, и я готов отстаивать его против всякого, кто со мной поспорит. — Голос мистера Ренча зазвучал весьма

пронзительно.

— Не смогу вам оказать такой услуги, — сказал мистер Хоули, засовывая руки в карманы панталон.

— Дорогой мой, — умиротворяюще обратился к мистеру Ренчу мистер Толлер, — больнее, чем нам, этот малый наступил на мозоль Минчину и Спрэгу. Пусть они и отстаивают свою честь.

— А медицинское законодательство не ограждает нас от действий таких выскочек? — спросил мистер Хекбат, решив, что и ему наконец следует проявить интерес. — Что об этом говорит закон, а, Хоули?

— Ничего нельзя поделать, — сказал мистер Хоули. — Спрэг уже просил меня навести справки. Как судья захочет, так и будет, против его решений не пойдешь.

— Фи, стоит ли сутяжничать, — сказал мистер Толлер. — Больным и так ясна нелепость новой методы. Она не может им понравиться, тем паче пациентам Пикока, взращенным на слабительных средствах. Передайте вино.

Предсказание мистера Толлера уже отчасти подтвердилось. Если мистера и миссис Момси, отнюдь не собиравшихся прибегать к помощи Лидгейта, озадачили слухи об отрицании им

лекарств, то те, кто его приглашали, разумеется, не без тревоги следили, применяет ли он «все возможные средства». Даже добрейший мистер Паудрелл, склонный все истолковывать в лучшую сторону и особенно расположенный к Лидгейту за предполагаемое в нем ревностное стремление осуществить полезные для общества преобразования, не избежал сомнений, когда у его жены началось рожистое воспаление, и, не удержавшись, упомянул, что мистер Пикок при сходных симптомах провел курс лечения пилюлями, описывая которые мистер Паудрелл смог лишь сообщить, что они чудесным образом исцелили к Михайлову дню[153] его супругу, захворавшую в августе, на редкость жарком в том году. Под конец, терзаемый борьбой между опасением обидеть Лидгейта и стремлением не упустить ни единого из «средств», он посоветовал жене принять тайком «очистительные пилюли Виджина», весьма почитаемый в Мидлмарче медикамент, останавливающий любую болезнь в самом начале путем немедленного воздействия на кровь. Об этом универсальном средстве Лидгейту не упомянули, да и сам мистер Паудрелл

---

**[153] Примечания: 153**
29 сентября.

не так уж рассчитывал на него, а лишь надеялся, что вдруг оно поможет.

Но тут на скользком пути новичка возникло то, что мы, смертные, легкомысленно называем удачей. Я думаю, нет доктора, который, приехав в новое место, не поразил бы кого-нибудь успешными исцелениями — их можно назвать аттестатами судьбы, и они заслуживают не меньше доверия, чем отпечатанные или написанные от руки. Из пациентов Лидгейта многие выздоравливали, в том числе даже тяжко больные; а потому было замечено, что у нового доктора, невзирая на все новшества, есть по меньшей мере одно достоинство: он возвращает к жизни людей, стоящих на краю могилы.

При этом говорилось много вздора, что особенно сердило Лидгейта, ибо создавало ему именно тот престиж, к которому стал бы стремиться неумелый и беспринципный врач, и давало основание неприязненно настроенным коллегам обвинять его в распространении лживых слухов среди невежд. Но даже при своей гордости и прямоте он вынужден был молчать, поскольку не сомневался, что пресечь порожденные невежеством слухи в такой же степени невозможно, как схватить рукой туман, а сопутствующие удаче

слухи упорно росли.

Добрейшая миссис Ларчер попросила доктора Минчина, который явился к ней с визитом, заодно осмотреть ее приходящую служанку, чье здоровье внушало ей серьезные опасения, и выдать этой женщине бумагу для предъявления в больнице; врач осмотрел больную и написал записочку в больницу, где было сказано, что подательница сего Нэнси Нэш страдает от опухли и ей рекомендуется амбулаторное лечение. По дороге в больницу Нэнси заглянула домой и дала корсетнику с женой, у которых снимала мансарду, прочесть бумажку, в результате чего во всех расположенных вблизи Кладбищенского переулка лавках начали судачить, что у бедняжки нашли твердую опухоль величиной — в начале дня с утиное яйцо, а под конец — «примером, с кулак». Большинство полагало, что опухоль надо вырезать, впрочем, кто-то слыхал о лекарственном масле, еще кто-то — о корешке, и оба эти средства, обильно принятые внутрь, могли смягчить и рассосать любое затвердение, масло — «помаленьку», а корешок — сразу.

Нэнси тем временем явилась в больницу, где как раз дежурил Лидгейт. Расспросив и осмотрев больную, Лидгейт вполголоса сказал хирургу:

«Это не опухоль, просто спазм». Он велел поставить ей пластырь, дал микстуру и написал записку миссис Ларчер — добрейшей из всех ее хозяек, по утверждению Нэнси, — где сообщил, что больная нуждается в хорошем питании.

Спустя некоторое время Нэнси стало значительно хуже; опухоль под пластырем исчезла, зато переместилась в сторону, и боль стала еще злее. Жена корсетника отправилась за Лидгейтом. После этого Лидгейт в течение двух недель навещал Нэнси на дому, и в результате его лечения больная совершенно выздоровела и снова начала работать. Правда, в Кладбищенском переулке и на прочих улицах все и даже сама миссис Ларчер продолжали утверждать, что у Нэнси была опухоль, ибо, когда об успехе Лидгейта упомянули при мистере Минчине, тот, разумеется, не пожелал сказать: «У больной не было опухоли, я ошибся», — а ответил: «В самом деле! Гм. Я сразу понял: случай хирургический, но не опасен для жизни». Впрочем, он был задет, когда через два дня после прихода Нэнси в больницу справился о присланной им пациентке, и тамошний хирург, юнец, воспользовавшийся возможностью безнаказанно уязвить доктора Минчина, прямо выложил ему, как обстояло дело; своим

знакомым Минчин объявил, что непорядочно так резко опровергать поставленный коллегой диагноз, а позже согласился с Ренчем, что Лидгейт возмутительно пренебрегает этикой. Для Лидгейта же этот случай не послужил поводом возгордиться или с презрением отнестись к Минчину, поскольку даже равным по квалификации врачам часто приходится исправлять ошибки друг друга. Но поразительное исцеление опухоли, которую не совсем отличали от рака и считали особенно страшной из-за ее свойства блуждать, стало достоянием молвы; Лидгейту почти полностью простили его отношение к лекарствам после того, как он доказал свое блистательное искусство, весьма быстро вылечив Нэнси Нэш, которую так долго изводила мучительно-болезненная опухоль, твердая, ускользающая и все же уничтоженная под конец.

Впрочем, что мог сделать Лидгейт? Невежливо говорить даме, которая восторгается твоим искусством, что она совершенно не права и ее восторги глупы. А начав подробно объяснять природу заболевания, он только лишний раз нарушит врачебный этикет. Скрепя сердце встретил он свой первый успех, нимало не заслуженный, как всякое порождение невежественной хвалы.

В случае с более солидным пациентом, мистером Бортропом Трамбулом, Лидгейт признавал, что проявил себя не совсем заурядным врачом, хотя и тут его достижения представлялись ему малозначительными. Красноречивый аукционист захворал воспалением легких и, как бывший пациент мистера Пикока, послал за Лидгейтом, которому явно собирался покровительствовать. Мистер Трамбул, мужчина дюжий, представлял собой подходящий объект для опробования выжидательного метода, состоящего в том, чтобы, не вмешиваясь по мере возможности, следить за течением изучаемой болезни и, отметив все ее этапы, в дальнейшем принять их к сведению. Слушая, как описывает свои ощущения пациент, Лидгейт предположил, что того, вероятно, обрадует доверие врача и возможность стать соучастником собственного исцеления. Аукционист почти не удивился, услыхав, что человека его конституции можно во время болезни предоставить самому себе (разумеется, держа под наблюдением) и таким образом в совершенстве изучить все стадии заболевания и что редкостная сила духа, возможно, позволит ему добровольно стать объектом важного эксперимента, благодаря чему нарушения его легочных функций

послужат на благо общества.

Мистер Трамбул согласился без раздумий, убежденный, что его болезнь — незаурядное явление в медицине.

— Не опасайтесь, сэр, вы говорите с человеком, который кое-что смыслит в vis medicatrix[154], — сказал он со свойственным ему самонадеянным видом, производящим несколько жалостное впечатление из-за одышки. И он, не дрогнув, отказался от лекарств, черпая силу в сознании, что для науки важна его температура (иначе ему не ставили бы градусник), что он снабжает медицину материалом для изучения под микроскопом, а также в усвоении множества новых слов, звучавших достаточно импозантно для обозначения его секреций. Лидгейт проявил должную сообразительность и по временам беседовал с ним на профессиональные темы.

Можно не сомневаться, что, встав с одра, мистер Трамбул охотно рассказывал о болезни, во время которой обнаружил как силу духа, так и крепость телосложения; в своих рассказах он не преминул воздать должное врачу, распознавшему достоинства столь ценного пациента.

---

**[154] Примечания: 154**
Врачующей силе (*лат.*).

Аукционист не был неблагодарным существом и при случае с удовольствием отмечал заслуги ближних. Он запомнил фразу «выжидательный метод» и наряду с другими учеными терминами подкреплял ею заверения, что Лидгейт «знает побольше всех остальных врачей… проник в тайны своей профессии гораздо основательнее, чем почти все его коллеги».

Это случилось еще до того, как болезнь Фреда Винси дала мистеру Ренчу вполне определенные основания для личной неприязни к Лидгейту. Вновь прибывший и так вызывал досаду как конкурент, но еще большую досаду у обремененных многочисленными обязанностями коллег, которым было не до введения новых теорий, возбуждали слухи о его методах лечения. Его практика расширилась в одном-двух кварталах, и, едва разнеслась молва об аристократическом происхождении Лидгейта, его принялись звать в гости почти все, так что прочим медикам пришлось встречаться с ним за обедом в лучших домах. Между тем, как замечено, встречи с несимпатичным тебе человеком не всегда способствуют возникновению взаимной приязни. Мидлмарчские врачи еще никогда не отличались таким единодушием, какое они проявили, выра-

зив мнение, что Лидгейт высокомерный юнец, готовый, впрочем, ради карьеры пресмыкаться перед Булстродом. А то, что мистер Фербратер, чье имя было знаменем антибулстродовской партии, постоянно заступался за Лидгейта и завел с ним дружбу, приписывали странной манере Фербратера сражаться и на той, и на другой стороне.

Буря негодования, которую вызвало сообщение о своде правил, установленных мистером Булстродом для новой больницы, разразилась, таким образом, не на пустом месте, и ярость противников Булстрода особенно разжигало то, что они никак не могли ему воспрепятствовать поступать по собственному усмотрению, поскольку все, кроме лорда Медликоута, в свое время отказались помочь строительству новой больницы, ссылаясь на приверженность к старой. Мистер Булстрод оплачивал все расходы и давно уже не сожалел о приобретении права делать все по-своему, без помех со стороны предубежденных сподвижников, но ему приходилось тратить крупные суммы, и строительство затянулось. Сперва подрядчиком был Кэлеб Гарт, однако он обанкротился еще до того, как началась внутренняя отделка здания; когда при Кэлебе упоминали больницу, он обычно говорил, что как бы там

ни толковали о Булстроде, но добротную работу плотников и каменщиков он способен оценить и здраво судит как о водосточных, так и о печных трубах. Больница стала для Булстрода предметом живейшего интереса, и он охотно выкладывал бы каждый год крупную сумму за право распоряжаться своим детищем как ему вздумается, без попечительского совета, если бы не еще одна заветная мечта, тоже требовавшая денег для своего осуществления: Булстроду хотелось приобрести землю в окрестностях Мидлмарча, и поэтому он нуждался в значительных пожертвованиях со стороны на содержание больницы. Тем временем он набросал примерный распорядок больницы. В ней должны были лечить все виды горячек; Лидгейту поручался надзор над медицинской частью, с тем чтобы он мог вполне свободно осуществлять все сравнительные исследования, в важности которых убедился, изучая медицину прежде, главным образом в Париже. Все прочие врачи числились просто консультантами, так что право окончательного решения оставалось за Лидгейтом. Управлять больницей будет совет пяти директоров, связанных с мистером Булстродом. Их право голоса зависит от размеров их вкладов, и если кто-нибудь из членов уйдет,

остальные выбирают ему преемника сами, с тем чтобы не допускать к управлению свору мелких пожертвователей.

Все городские врачи, как один, сразу же отказались быть консультантами новой больницы.

— Ну и что, — сказал Лидгейт Булстроду. — Хирург у нас отменный, дельный и искусный; он же может составлять лекарства; дважды в неделю будет консультировать Уэбб из Крэбсли, сельский врач, не уступающий городским, а в случае сложной операции можно вызвать из Брассинга доктора Протероу. У меня прибавится работы, вот и все, но я уже и так отказался от должности в старой больнице. Несмотря на все помехи, мы добьемся своего, и те, кто нам сейчас мешает, сами станут к нам проситься. Положение непременно должно измениться; не за горами всевозможные реформы, и тогда молодежь устремится к нам на выучку.

Лидгейт был полон веры в будущее.

— Можете не сомневаться, мистер Лидгейт, я не отступлюсь, — заявил мистер Булстрод. — Решительно добиваясь осуществления высоких целей, вы всегда встретите поддержку с моей стороны. А я осмелюсь уповать, что в моей борьбе со злом в этом городе мне по-прежнему будет

сопутствовать благословение небес. Несомненно, я сумею подыскать подходящих директоров себе в помощь. Мне уже дал согласие мистер Брук из Типтона и обещал ежегодно жертвовать некоторую сумму в пользу больницы; какую именно, он не назвал… вероятно, небольшую. Но он будет полезным членом совета.

Полезными членами совета, очевидно, следовало называть тех, которые ничего не выдумают сами и всегда будут голосовать заодно с мистером Булстродом.

Коллеги-медики теперь почти и не пытались скрывать свою неприязнь к Лидгейту. Ни доктор Спрэг, ни доктор Минчин, впрочем, не утверждали, что им несимпатичны познания Лидгейта и его стремление усовершенствовать лечебный процесс; им не нравилось его высокомерие, и тут нельзя было хоть отчасти с ними не согласиться. Лидгейта считали наглым, заносчивым и склонным к безрассудным новшествам, вся цель которых — пустить людям пыль в глаза, что прежде всего свойственно шарлатанам.

Словечко «шарлатан», единожды сорвавшись с чьих-то уст, пошло гулять по городу. В ту пору свет взволнованно обсуждал чудесные деяния

мистера Сент-Джона Лонга[155], «дворянина и джентльмена», объявившего, что ему удалось извлечь из висков пациента жидкость, подобную ртути.

Мистер Толлер однажды с улыбкой сказал миссис Тафт, что «Лидгейт находка для Булстрода; шарлатану в религии должны прийтись по вкусу все другие виды шарлатанов».

— Ну еще бы, представляю себе, — отозвалась миссис Тафт, старательно повторяя в уме: «тридцать петель». — Их хоть пруд пруди. Вспомните мистера Чешайра, того самого, что пробовал распрямлять железками людей, которых всемогущий создал горбатыми.

— Нет, нет, — возразил мистер Толлер. — С Чешайром дело обстояло благополучно… у него все честно, без обмана, зато есть такой Сент-Джон Лонг — вот он из тех, кого называют шарлатанами: восхваляет какие-то неслыханные лечебные процедуры и, притворяясь, будто знает больше других, просто создает вокруг себя шумиху. Недавно ему якобы удалось извлечь ртуть из мозга одного больного.

---

**[155] Примечания: 155**

*Сент-Джон Лонг* — самозваный целитель и шарлатан, которого в ноябре 1830 г. привлекли к суду по обвинению в непреднамеренном убийстве.

— Подумать только! Допускать такое надругательство над человеческой натурой! — вскричала миссис Тафт.

После этого повсеместно распространилось мнение, что, если Лидгейту понадобится, он готов рискнуть натурами даже самых почтенных людей, а уж больничных пациентов и вовсе готов принести в жертву ради своих легкомысленных экспериментов. И разумеется, никто не сомневался, что он будет во что горазд «потрошить» покойников, как выразилась владелица «Пивной кружки». Когда пациентка Лидгейта миссис Гоби умерла (по всей очевидности, от болезни сердца с не очень четко выраженными симптомами), у него хватило безрассудства попросить родню покойной разрешить ему вскрытие тела, и весть об этом мгновенно облетела Парли-стрит, где проживала эта дама, пользуясь доходом, вполне достаточным, чтобы сделать вопиюще оскорбительной параллель между миссис Гоби и жертвами Берка и Тара.

В таком положении находились дела, когда в разговоре с Доротеей Лидгейт упомянул о больнице. Как мы видим, он мужественно переносил окружавшую его невежественность и враждебность, догадываясь, что к нему бы относились

лучше, если бы не выпавший на его долю успех.

— Меня не заставят уехать отсюда, — заявил он во время откровенной беседы с мистером Фербратером в его кабинете. — В этом городе у меня есть надежда осуществить свои самые заветные планы; я практически уверен, что моих доходов хватит. Я собираюсь вести размеренный образ жизни; ничто меня теперь не отвлекает от дома и работы. И я все больше убеждаюсь, что сумею доказать единое происхождение всех тканей. Я упустил много времени — Распайль[156] и прочие идут по тому же пути.

— Мне трудно быть пророком в этой области, — сказал мистер Фербратер, задумчиво попыхивавший трубкой все время, пока говорил Лидгейт, — но мне кажется, вы сумеете преодолеть враждебность здешних жителей, если проявите благоразумие.

— Как мне проявлять его? — воскликнул Лидгейт. — Просто каждый раз я делаю то, что приходится. Я, как Везалий[157], бессилен в борьбе

---

**[156] Примечания: 156**

*Распайль Франсуа Венсан* (1794 — 1878) — французский естествоиспытатель и радикальный политический деятель.

**[157] Примечания: 157**

*Везалий Андрей* (1514 — 1564) — знаменитый анатом, первым применивший метод вскрытия трупов для преподавания анатомии.

с глупцами и невеждами. Ведь не стану же я приноравливаться к дурацким домыслам, которые даже предугадать невозможно.

— Совершенно верно; я не это имел в виду. Я имел в виду всего две вещи. Во-первых, непременно постарайтесь как-то обособиться от Булстрода. Разумеется, вы можете по-прежнему продолжать вашу полезную деятельность, прибегая к его помощи, но не связывайте себя. Вам может показаться, что я предубежден, — не отрицаю, так оно и есть, — но предубеждение не всегда ошибка, оно возникает на основе впечатлений, так что его вполне можно назвать мнением.

— Булстрод для меня ничто, — небрежно сказал Лидгейт. — Нас связывает только больница. Сблизиться с ним очень тесно я не могу уже хотя бы потому, что не испытываю к нему особой приязни. Ну, а во-вторых? — спросил Лидгейт, который сидел в весьма непринужденной позе и, как видно, не очень нуждался в советах.

— А во-вторых — вот что. Будьте осторожны — experto credo — будьте осторожны в денежных делах. Вы как-то дали мне понять, что не одобряете моей привычки играть в карты на деньги. Вы правы, разумеется. Но постарайтесь и сами обойтись без долгов. Возможно, я преувеличиваю

опасность, но все мы любим покрасоваться, выставляя себя в качестве дурного примера перед ближними.

Лидгейт выслушал намеки Фербратера очень благодушно, хотя вряд ли стал бы их терпеть от кого-нибудь другого. Ему невольно вспомнилось, что он недавно сделал несколько долгов, впрочем, избежать их, казалось, было невозможно, зато он собирался впредь жить очень скромно. Он задолжал за мебель, но теперь уже не нужно было обновлять обстановку; какое-то время не потребуется даже пополнять запас вина.

Лидгейт был полон бодрости — и не без оснований. Человек, стремящийся к достойной цели, не обращает внимания на мелкие дрязги, ибо помнит о великих деятелях, тоже прошедших тернистый путь, они всегда, как ангелы-хранители, незримо ему помогают. В тот же вечер, после беседы с мистером Фербратером, доктор, погрузившись в размышления, лежал дома на диване в своей излюбленной позе, вытянув длинные ноги, откинув голову и подсунув под затылок ладони, а Розамонда, сидя за фортепьяно, играла одну пьесу за другой, о которых ее супруг знал (как и положено сентиментальному слону) только, что под них хорошо думается, как под шум морского

прибоя.

Нечто весьма привлекательное проглядывало сейчас в его облике. Казалось несомненным, что он осуществит все свои замыслы.

От его темных глаз, от губ, от лба веяло безмятежным спокойствием, свидетельствующим, что он погружен в тихое раздумье, что его ум не ищет, а созерцает, и созерцаемое отражалось в глазах.

Спустя немного времени Розамонда встала из-за фортепьяно и опустилась в кресло возле дивана, лицом к мужу.

— Достаточно с вас музыки, милорд? — спросила она с шутливым смирением, сложив руки перед грудью.

— Да, если ты устала, милая, — нежно ответил Лидгейт и обратил к ней взгляд, но не пошевелился. Присутствие Розамонды в эту минуту произвело не больше действия, чем вылитая в озеро ложечка воды, и женским инстинктом она сразу это угадала.

— Чем ты озабочен? — спросила она, наклоняясь к самому лицу мужа.

Он вынул руки из-под головы и нежно положил их ей на плечи.

— Думаю об одном замечательном человеке, жившем триста лет назад. Будучи примерно в

моем возрасте, он открыл в анатомии новую эру.

— Не знаю, кто это, — сказала, покачав головой, Розамонда. — У миссис Лемон мы играли в отгадывание великих людей, но только не анатомов.

— Я скажу тебе кто. Его имя Везалий. Чтобы как следует изучить анатомию, ему пришлось похищать с кладбищ и с виселиц трупы.

— Ой! — сказала Розамонда с брезгливой гримаской. — Очень рада, что ты не Везалий. По-моему, он мог бы избрать менее кошмарный способ.

— Не мог, — ответил Лидгейт, увлекшись и не обращая большого внимания на жену. — Чтобы составить полный скелет, он выбрал единственный имевшийся в его распоряжении путь: выкрадывал глубокой ночью кости казненных на виселице преступников, зарывал их в землю и по частям переносил домой.

— Надеюсь, он не принадлежит к твоим любимым героям, — полуигриво, полувстревоженно сказала Розамонда. — А то ты еще повадишься по ночам на кладбище святого Петра. Помнишь, ты рассказывал, как все на тебя рассердились из-за миссис Гоби. У тебя и так уже достаточно врагов.

— У Везалия их тоже было много, Рози. Стоит ли удивляться, что мне завидуют ваши старозавет-

ные лекари, если величайшие врачи негодовали на Везалия, так как верили Галену[158], а Везалий доказал, что Гален заблуждался. Они называли его лжецом и мерзким отравителем. Но Везалий располагал данными о строении человека и разбил противников в пух и прах.

— А что с ним было потом? — спросила с некоторым интересом Розамонда.

— Ему пришлось бороться всю жизнь. Однажды его рассердили так сильно, что он сжег многие свои работы. Потом он попал в кораблекрушение на пути из Иерусалима в Падую, где ему предлагали должность профессора. Умер он в бедности.

Немного помедлив, Розамонда сказала:

— Знаешь, Тертий, я часто жалею, что ты занимаешься медициной.

— Полно, Рози, не надо так говорить, — сказал Лидгейт, привлекая ее к себе. — Это все равно как если бы ты сожалела, что не вышла за другого человека.

— Вовсе нет, ты такой умный, ты мог бы заниматься чем угодно. Все твои куоллингемские кузены считают, что, выбрав такую профессию,

---

**[158] Примечания: 158**

*Гален Клавдий* (130 — 200) — древнеримский врач и естествоиспытатель, крупнейший теоретик античной медицины, считавшийся непререкаемым авторитетом вплоть до эпохи Возрождения.

ты поставил себя ниже их.

— К черту куоллингемских кузенов! — презрительно ответил Лидгейт. — Говорить тебе такие вещи могут лишь наглецы вроде них.

— И все-таки, — сказала Розамонда, — мне твоя профессия не кажется приятной, милый мой. — Мы уже знаем, что Розамонда мягко, но упорно всегда стояла на своем.

— Это величайшая из всех профессий, Розамонда, — серьезно сказал Лидгейт. — И говорить, что, любя меня, ты не любишь во мне врача, все равно что утверждать, будто тебе нравится есть персики, но не нравится их вкус. Не говори так больше, дорогая, ты меня огорчаешь.

— Отлично, доктор Хмурый Лик, — сказала Рози, выставляя напоказ все свои ямочки. — Впредь я буду во всеуслышание объявлять, что обожаю скелеты, похитителей трупов, всякую гадость в аптечных пузырьках, буду подбивать тебя со всеми перессориться, а умрем мы в нищете.

— Нет, нет, нет, все вовсе не так скверно, — сказал Лидгейт и, смирившись, прекратил спор и приласкал жену.

# Глава XLVI

*Pues no podemos haber aquello que queremos, queramos aquello que podremos.*

* * *

*Если ты не имеешь того, что тебе нравится, пусть тебе нравится то, что ты имеешь.*

***Испанская пословица***

В то время как Лидгейт, счастливый супруг и глава новой больницы, вел борьбу за медицинскую реформу против Мидлмарча, Мидлмарч все явственнее ощущал общенациональную борьбу за реформу другого рода.

Когда палата общин начала обсуждать предложение лорда Джона Рассела[159], в Мидлмарче снова ожил интерес к политике и наметилась новая ориентация партий, что сулило в случае еще одних выборов совсем иную расстановку сил. Некоторые уверяли, что новые выборы неизбежны, поскольку при нынешнем парламенте билль о реформе не пройдет. Именно на это обстоятель-

---

**[159] Примечания: 159**

Рассел Джон (1792 — 1878) — английский политический деятель; в марте 1831 г. внес в парламент билль об избирательной реформе.

ство сослался Уилл Ладислав, поздравляя мистера Брука с тем, что тот воздержался от выступлений во время последней предвыборной кампании.

— Сейчас все будет произрастать и созревать, как в год кометы, — сказал Уилл. — Вопрос о реформе поставлен, и общественные страсти раскалятся до температуры комет. Вполне вероятно, вскоре состоятся выборы, и к тому времени Мидлмарчу не мешало бы обзавестись кое-какими новыми идеями. Сейчас нужно как можно больше внимания отдавать «Пионеру» и политическим митингам.

— Совершенно верно, Ладислав; общественное мнение надо воспитывать, — сказал мистер Брук, — но знаете ли, мне нежелательно связывать себя с реформой, не хочется заходить слишком далеко. Я, знаете ли, предпочту пойти путем Уилберфорса и Ромильи, я не прочь заняться вопросами, связанными с освобождением негров, уголовными законами… чем-то в этом роде. Но Грея я, разумеется, поддержу.

— Если вы причисляете себя к сторонникам реформы, вы не можете быть независимым от обстоятельств, — сказал Уилл. — Если каждый станет отстаивать только свои интересы, ни с кем не считаясь, все у нас пойдет прахом.

— Да, да, согласен с вами… я разделяю вашу точку зрения. Я бы сформулировал это таким образом: Грея я, знаете ли, поддержу. Но я не желаю изменять суть конституции и думаю, Грей тоже не желает.

— Но этого желает страна, — сказал Уилл. — Иначе какой смысл в политических союзах и в иных формах движения сознательных граждан. Они требуют, чтобы в палате общин заседали не одни лишь депутаты от землевладельцев, а представители различных слоев общества. Ратовать за реформу без этого все равно что выпрашивать горстку снега, когда на тебя движется снежная лавина.

— Прекрасно вы сказали, Ладислав, очень точно. Пожалуйста, запишите это. Надо начать подбирать документы о настроении в стране, не только о всеобщем обнищании и разрушении машин.

— Что касается документов, — сказал Уилл, — то и двухдюймовая карточка может рассказать о многом. Несколько столбцов цифр продемонстрируют бедственное положение страны, а еще несколько покажут, с какой скоростью возрастает политическая активность масс.

— Хорошо, только сделайте поподробней эту

диаграмму, Ладислав. И напечатайте в «Пионере». Приведите, знаете ли, цифры, которые продемонстрируют нищету; потом другие цифры, которые продемонстрируют… и так далее. Вы превосходно умеете все изложить. Вот, например, Бёрк[160]… когда я вспоминаю Бёрка, я всегда жалею, что среди нас нет какого-нибудь владельца «гнилого местечка», который выдвинул бы вашу кандидатуру. Вас, знаете ли, никогда не изберут в парламент. А нам нужны там таланты, при наших реформах нам всегда будут нужны таланты. Эта вот горстка снега и лавина, право же, несколько в духе Бёрка. Мне такое очень нужно… не идеи, знаете ли, а умение образно их изложить.

— Гнилые местечки, — сказал Ладислав, — были бы очень уместны, если бы от каждого выдвигался местный Бёрк.

Лестное сравнение, даже исходящее от мистера Брука, доставило Уиллу удовольствие — не такое уж легкое испытание для человеческой натуры сознавать, что ты владеешь словом лучше, чем другие, а этого никто не замечает; так, истосковавшись по заслуженной похвале, обретаешь утешение даже в случайных рукоплесканиях,

---

**[160] Примечания: 160**

*Бёрк Эдмунд* (1729 — 1797) — английский политический деятель и публйцист.

если они раздадутся вовремя. Уилл чувствовал, что пишет слишком утонченно для того, чтобы его оценили в Мидлмарче, тем не менее он все серьезнее втягивался в работу, за которую когда-то взялся, беспечно подумав: «Почему бы не попробовать?» И политическую обстановку изучал с таким же пылом, с каким прежде осваивал стихотворные ритмы и искусство Средних веков. Несомненно, если бы он не стремился находиться поблизости от Доротеи и, возможно также, если бы он знал, чем еще себя занять, Уилл не раздумывал бы сейчас о нуждах английского народа и не критиковал действия английского правительства; вероятно, он скитался бы по Италии, набросал бы план нескольких пьес, обратился бы к прозе и счел ее слишком сухой, обратился бы к поэзии и счел ее ненатуральной, принялся бы копировать фрагменты старых картин, оставил бы это занятие как бесполезное и, в конце концов, пришел бы к выводу, что главная цель — самосовершенствование, а в политике он горячо сочувствовал бы свободе и прогрессу вообще. Нередко чувство долга дремлет в нас, пока на смену дилетантству не приходит настоящее дело и мы чувствуем, что выполнять его кое-как не годится.

Так и Ладислав принялся наконец за свой урок, оказавшийся непохожим на то возвышенное и неопределенное нечто, прежде рисовавшееся ему в мечтах как единственно достойное продолжительных усилий. Он легко воспламенялся, сталкиваясь с тем, что непосредственно связано с активным действием и жизнью, а свойственный ему мятежный дух способствовал пробуждению гражданственности. Невзирая на мистера Кейсобона и изгнание из Лоуика, он был почти счастлив; он жадно впитывал в себя множество новых сведений и применял их на практике, а редактируемый им «Пионер» приобрел известность даже в Брассинге (да не смутит вас узость сферы — статьи были не хуже многих, прогремевших по всему свету).

Мистер Брук иногда его раздражал, но на Уилла умиротворяюще действовало и вносило разнообразие в его жизнь то обстоятельство, что, побывав в Типтон-Грейндже, он возвращался на свою квартиру в Мидлмарч.

«Вполне можно себе вообразить, — думал он, — что мистер Брук министр, а я его помощник. Что тут особенного: маленькие волны сливаются в большие и вздымаются точно так же. Моя нынешняя жизнь мне нравится гораздо больше, чем

та, которую мне прочил мистер Кейсобон и при которой я бездействовал бы, скованный устаревшими традициями. А на престиж и большое жалованье мне наплевать».

Как правильно заметил Лидгейт, в Ладиславе было что-то от цыгана, ему даже нравилось ощущать себя вне общественной среды — такое положение представлялось ему романтичным, приятно было сознавать, что его появление неизменно вызывает некоторый переполох. Но удовольствие это померкло, когда, случайно встретившись в доме Лидгейтов с Доротеей, он ощутил разделявшую их преграду и рассердился на Кейсобона, еще раньше предрекавшего ему утрату общественного положения. «Я не причисляю себя к обществу», — возражал обычно в таких случаях Уилл, и порывистый, как дыхание, румянец то вспыхивал, то погасал на его лице. Но тем, кому нравится вести себя вызывающе, не всегда нравятся последствия их поведения.

Горожане, обсуждая нового редактора «Пионера», были склонны согласиться с мнением мистера Кейсобона. Аристократические родственные связи Уилла не способствовали его доброй репутации, как то случилось с Лидгейтом, — если где-нибудь говорили, что молодой

Ладислав то ли племянник, то ли кузен мистера Кейсобона, тотчас же добавляли, что «мистер Кейсобон не желает иметь с ним ничего общего».

— Брук подобрал его, — сказал мистер Хоули, — потому что ни один здравомыслящий человек этого не сделал бы. Можете мне поверить, у Кейсобона были очень веские основания порвать с этим юнцом, которому он дал образование на свои деньги. Совершенно в духе Брука… Он как раз из тех, кто, желая продать лошадь, расхваливает кошку.

И по-видимому, некоторые поэтические странности Уилла дали основания мистеру Кэку, редактору «Рупора», утверждать, что Ладислав, если вывести его на чистую воду, окажется не только польским шпионом, но и безумцем, чем можно объяснить противоестественную торопливость и бойкость его речи, присущую ему постоянно, ибо он никогда не упускает случая поговорить, обнаруживая при этом ораторские дарования, недопустимые для респектабельного англичанина. Кэк слушал с отвращением, как это хлипкое создание в ореоле пышной белокурой шевелюры безудержно поносит учреждения, «существовавшие еще в ту пору, когда оно лежало в люльке». В передовой статье «Рупора» Кэк назвал

речь Ладислава на митинге по поводу реформы «выходкой энергумена[161]... жалкою попыткой скрыть под фейерверком трескучих фраз дерзостность безответственных утверждений и скудость познаний, крайне убогих и скороспелых».

— Потрясающее произведение ваша вчерашняя статья, Кэк, — не без иронии сказал доктор Спрэг. — Кстати, что такое энергумен?

— А... это термин времен французской революции, — ответил Кэк.

Эта угрожающая черта Ладислава странным образом сочеталась с другими замеченными за ним привычками. Он — отчасти как художник, а отчасти от души — любил детей; чем меньше были эти бойко ковыляющие крошки, чем забавнее одеты, тем сильнее нравилось ему их развлекать и радовать. Мы помним, что в Риме он любил бродить в кварталах бедняков, и сохранил эту склонность в Мидлмарче.

На улицах его окружала толпа забавных ребятишек, мальчуганы с непокрытыми головами, в рваных штанишках, над коими болтались выбившиеся дырявые рубашонки, девочки, которые, чтобы взглянуть на Уилла, отбрасывали

---

**[161] Примечания: 161**

*Энергумен* (*лат.*) — одержимый бесами.

с глаз космы волос, и их защитники братья, достигшие почтенного семилетнего возраста. Эту ораву он водил за орехами в Холселлский лес, а с наступлением холодов, когда выдавался ясный денек, собирал вместе с ними хворост и разводил костер в ложбине на склоне холма, где потчевал своих юных приятелей имбирными пряниками и показывал импровизированные сцены из жизни Панча и Джуди[162] в исполнении самодельных кукол. Такова была одна из его странностей. Вторая заключалась в том, что, заходя в гости к друзьям, он имел обыкновение во время разговора растянуться во весь рост на ковре, и случайные посетители, застав его в столь необычной позе, укреплялись во мнении, что, как и подобает нечистокровному англичанину, он опасный и распущенный субъект.

Тем не менее статьи и речи Уилла послужили ему рекомендацией для тех семей, которые в силу недавно произошедшего размежевания партий примкнули к сторонникам реформы. Его пригласили к Булстродам; но в их доме он не мог лежать на ковре, а его манера отзываться о католических странах так, словно с антихристом заключено

**[162] Примечания: 162**

*Джуди* — персонаж английского кукольного театра, жена Панча, с которой он постоянно ссорится.

перемирие, навела хозяйку дома на мысль, что интеллектуальные люди тяготеют к пороку.

Зато в доме мистера Фербратера, по иронии судьбы оказавшегося в одном лагере с Булстродом, Уилл стал любимцем всех дам, и в особенности маленькой мисс Ноубл. Повстречав ее с неизменной корзиночкой на улице, эксцентричный Уилл брал ее под руку на глазах у всего города и провожал к каким-нибудь ее протеже, которым мисс Ноубл несла в подарок сласти, утаенные из ее собственной порции за столом.

Но ни в одном доме он не бывал так часто и не лежал так много на ковре, как у Лидгейтов. При всей своей несхожести мужчины отлично ладили между собой. Лидгейт был резок, но не раздражителен и не обращал внимания на причуды здоровых людей, а Ладислав не обнаруживал своей чрезмерной обидчивости с теми, кто ее не замечал. Зато с Розамондой он позволял себе и дуться, и капризничать, и случалось даже, говорил ей колкости, что задевало ее, хотя она и не показывала виду. Однако она все больше привыкала к нему, ее развлекали занятия музыкой, болтовня о всякой всячине, умение Уилла с легкостью переключиться на новую тему, несвойственное ее мужу, чья мрач-

ная сосредоточенность часто сердила ее, как бы ласков и снисходителен он ни был, и укрепляла ее неприязнь к профессии врача.

Лидгейт, иронически относившийся к суеверным упованиям на реформу, при всеобщем полном пренебрежении к бедственному положению медицины, донимал иногда Уилла каверзными вопросами. Как-то в марте вечером Розамонда сидела за чайным столиком в вишневом платье, отделанном у выреза лебяжьим пухом; Лидгейт, поздно возвратившийся после визитов, расположился в кресле у камина, перекинув через подлокотник ногу, и, слегка насупившись, просматривал страницы «Пионера», причем Розамонда, заметив его озабоченность, старалась не глядеть в сторону мужа и мысленно благодарила всевышнего, что он не наградил ее угрюмым нравом. Уилл Ладислав, растянувшись на ковре, рассеянно разглядывал поддерживающий портьеры карниз и чуть слышно мурлыкал «Когда впервые я узрел твои черты», а спаниель растянулся на оставшемся кусочке ковра и, положив морду между вытянутыми лапами, поглядывал на узурпатора с безмолвным, но глубоким неодобрением.

Розамонда принесла Лидгейту чашку чаю, он

отшвырнул газету и сказал Уиллу, который поднялся и подошел к столу:

— Вы напрасно так превозносите Брука в статье по поводу реформы, Ладислав. «Рупор» после этого станет чернить его еще ретивее.

— Неважно. Те, кто читают «Пионер», не читают «Рупор», — сказал Уилл, отхлебывая чай и расхаживая по комнате. — Вы думаете, кто-нибудь читает газеты с целью обратиться в истинную веру? Будь это так, мы заварили бы такую кашу, что никто не знал бы, на чьей он стороне.

— Фербратер не верит, что Брук может быть избран. Все, кто его сейчас поддерживает, в решающую минуту выдвинут другого кандидата.

— Попытка не пытка. Ведь хорошо, когда в парламенте есть местный представитель.

— Почему? — спросил Лидгейт, имевший привычку резким тоном задавать этот неприятный вопрос.

— Они удачнее представляют местную тупость, — со смехом ответил Уилл и тряхнул кудрями. — А дома стараются не ударить в грязь лицом. Брук малый неплохой, но если бы он так не рвался в парламент, он не стал бы себя утруждать заботами об арендаторах в своем поместье.

— Брук не годится в общественные деятели, —

твердо и решительно заявил Лидгейт. — Всякий, кто в него поверит, разочаруется; вот вам пример — наша больница. Правда, там Булстрод взял все на себя и полностью руководит Бруком.

— Нам еще следует условиться, что понимать под общественным деятелем, — заметил Уилл. — В данном случае Брук подходящая фигура: когда люди пришли к твердому решению, как, скажем, сейчас, им неважно, каков их избранник, — им нужен голос.

— Все вы, авторы политических статей, таковы — превозносите какое-нибудь средство в качестве панацеи от всех недугов и превозносите людей, которые олицетворяют именно этот нуждающийся в исцелении недуг.

— А почему бы нет? Сами того не ведая, эти люди помогут нам стереть их с лица земли, — сказал Уилл, умевший приводить экспромтом доводы, если собеседник застигал его врасплох.

— Недостаточный повод для того, чтобы внушать мистическую веру в целебность какого-то средства, заставляя проглатывать его целиком и направлять в парламент марионеток, способных лишь голосовать. Вы сторонник оздоровления общества, но существует ли что-нибудь вредоноснее идеи, будто общество можно оздоровить при

помощи политических махинаций?

— Все это прекрасно, дорогой мой. Но исцеление ведь нужно с чего-то начинать, и согласитесь, что из тысячи причин, способствующих унижению народа, нельзя устранить ни единой, пока не проведена эта пресловутая реформа. Послушайте, что сказал на днях Стенли[163]: «Вот уж сколько времени парламент судачит по поводу каких-то пустяковых взяток, выясняет, действительно ли тот или иной получил гинею, тогда как каждый знает, что все места в палатах проданы оптом». Ждать, когда в политиканах пробудится мудрость и сознание — как бы не так! Когда целый класс общества осознает, что по отношению к нему допущена несправедливость, то в такое сознание можно поверить, а самая действенная мудрость — это мудрость выношенных притязаний. Кто обижен — вот что интересует меня. Я поддерживаю того, кто защищает обиженных, я не поддерживаю добродетельного защитника зла.

— Эти общие рассуждения по частному поводу — отвлеченное решение вопросов, Ладислав. Когда я говорю, что даю больным нужные им

**[163] Примечания: 163**

*Стенли Эдвард*, граф Дерби (1799 — 1869) — английский политический деятель; с 1830 по 1833 г. секретарь по ирландским делам, впоследствии премьер-министр.

лекарства, из этого совсем не следует, что я дам опиум именно этому больному подагрой.

— Да, но наш вопрос не отвлеченный, — нужно ли бездействовать, пока мы не найдем безупречного соратника. Вы станете руководствоваться такими соображениями? Если один человек намерен помочь вам произвести реформу в медицине, а другой намерен помешать, станете вы допытываться, у кого из них лучшие побуждения или даже кто из них умней?

— Э-э, конечно, — сказал Лидгейт, припертый к стенке доводом, к которому часто прибегал сам, — если мы будем привередливы, выбирая соратников, то не сдвинемся с места. Даже если самое дурное, что думают у нас в городе по поводу Булстрода, справедливо, не менее справедливо и то, что он хочет и может произвести необходимые преобразования в делах, для меня самых близких и важных… но это единственная почва, на которой я с ним сотрудничаю, — довольно надменно добавил Лидгейт, памятуя высказывания мистера Фербратера. — Меня с ним больше ничто не связывает; его личные достоинства я не намерен превозносить: у нас чисто деловые отношения.

— А я, по-вашему, превозношу Брука из лич-

ных соображений? — вспыхнув, сказал Уилл Ладислав и резко повернулся к Лидгейту. Уилл впервые на него обиделся — главным образом, возможно, потому, что ему нежелательно было бы обсуждать подробно причины своего сближения с мистером Бруком.

— Да вовсе нет, — сказал Лидгейт. — Я просто объяснял свои собственные поступки. Я имел в виду, что, преследуя определенную цель, можно сотрудничать с людьми, чьи побуждения и принципы сомнительны, если ты полностью уверен в своей личной независимости и не преследуешь корыстных целей… работаешь не ради места или денег.

— Так почему бы не распространить вашу терпимость на других? — сказал Уилл, все еще уязвленный. — Моя личная независимость так же важна для меня, как ваша — для вас. У вас не больше оснований полагать, что меня связывают с Бруком личные интересы, чем у меня полагать, что личные интересы связывают вас с Булстродом. Наши побуждения, я полагаю, честны… тут мы верим друг другу на слово. Но что до денег и положения в свете, — заключил Уилл, гордо вскидывая голову, — по-моему, достаточно очевидно, что я не руководствуюсь соображениями

такого рода.

— Вы совершенно неверно поняли меня, Ладислав, — удивленно сказал Лидгейт. Думая только о том, как оправдать себя, он не заподозрил, что некоторые из его высказываний Ладислав может отнести на собственный счет. — Простите, если я невольно вас обидел. Я бы уж скорее вам приписал романтическое пренебрежение к светским интересам. Что до политических вопросов, то их я рассматривал в интеллектуальном аспекте.

— До чего же вы противные сегодня оба! — проговорила, встав со стула, Розамонда. — Просто не понимаю, чего ради вам вздумалось толковать еще и о деньгах. Политика и медицина достаточно гадки, чтобы послужить предметом спора. Можете спорить со всем светом и друг с другом по поводу любой из этих тем.

Сказав это с беспристрастно-кротким видом, Розамонда позвонила в колокольчик и направилась к рабочему столику.

— Бедняжка Рози, — сказал Лидгейт, протягивая к жене руку, когда она проходила мимо. — Ангелочкам скучно слушать споры. Займись музыкой. Спойте что-нибудь с Ладиславом.

Когда Ладислав ушел, Розамонда сказала мужу:

— Тертий, почему ты сегодня не в духе?

— Я? Это не я, а Ладислав сегодня был не в духе. Словно трут, вот-вот готовый вспыхнуть.

— Нет, еще до вашего спора. Тебя что-то расстроило раньше — ты пришел домой такой сердитый. Из-за этого ты начал спорить с мистером Ладиславом. Я очень огорчаюсь, Тертий, когда у тебя такой вид.

— Правда? Значит, я скотина, — виновато сказал Лидгейт и нежно обнял жену.

— А что тебя расстроило?

— Да разные неприятности… дела.

Его расстроило письмо с требованием оплатить счет за мебель. Но Розамонда ждала ребенка, и Лидгейт хотел оградить ее от волнений.

## Глава XLVII

*Любовь не может тщетной быть:*
*Награда высшая – любить.*
*И не искусством создана,*
*Сама расцвесть должна она.*
*Так лишь в урочный час и срок*
*Взрастает полевой цветок*
*И раскрывает венчик свой,*
*Рожденный небом и землей.*

Небольшая размолвка Уилла Ладислава с Лидгейтом произошла в субботу вечером. Разгоряченный спором Ладислав просидел по возвращении домой полночи, заново перебирая в мыслях все доводы, уже не раз обдуманные им в связи с решением поселиться в Мидлмарче и запрячься в одну повозку с мистером Бруком. Колебания, смущавшие Уилла до того, как он предпринял этот шаг, сделали его чувствительным к любому намеку на неразумность его поступка — отсюда вспышка гнева в споре с Лидгейтом… вспышка, будоражившая его и сейчас. Он поступил глупо?.. причем именно в ту пору, когда с особой ясностью ощутил, что он отнюдь не глуп. И с какой целью

он это сделал?

Да не было у него никакой определенной цели. Ему, впрочем, рисовались некие смутные перспективы; человек, способный увлекаться и размышлять, непременно размышляет о своих увлечениях; в его воображении возникают образы, которые либо тешат надеждой, либо обжигают ужасом душу, полную страстей. Но хотя это случается с каждым из нас, у некоторых оно принимает весьма необычные формы; Уилл по складу своего ума не принадлежал к любителям торных дорог — он предпочитал окольные, где обретал небольшие, но милые его сердцу радости, довольно нелепые, по мнению господ, галопирующих по большой дороге. Так и чувство к Доротее делало его счастливым на необычный лад. Как ни странно, заурядные, вульгарные мечты, которые в нем заподозрил мистер Кейсобон, что Доротея может овдоветь, и интерес, внушенный ей Уиллом, примет иные формы и она выйдет за него замуж — не волновали, не искушали Уилла, он не пытался представить себе, что и как происходило бы, случись воображаемое «если бы», — практический образчик рая для каждого из нас. И не только потому, что ему претили мечты, которые могли счесть низкими, и угнетала возможность

быть обвиненным в неблагодарности, — смутное ощущение множества других преград между ним и Доротеей, кроме существования ее мужа, помогало ему избежать размышлений о том, что могло бы вдруг стрястись с мистером Кейсобоном. А кроме этой, существовали и другие причины. Уиллу, как мы знаем, была невыносима мысль о трещинке, которая нарушила бы цельность кристалла, безмятежная свобода в обращении с ним Доротеи одновременно и терзала и восхищала его; было нечто столь изысканное в его нынешнем отношении к Доротее, что Уилл не мог мечтать о переменах, которые неизбежно как-то изменили бы и ее в его глазах. Ведь коробит же нас уличная версия возвышенной мелодии, нам неприятно узнать, что какая-то редкая вещь — скажем, статуэтка или гравюра, — которой даже нельзя полюбоваться, не затратив усилий, что, кстати, придает ей особую прелесть, вовсе не такая уж диковинка и вы можете ее просто купить. Удовольствие зависит от многогранности и силы эмоций; для Уилла, не высоко ценившего так называемые существенные блага жизни и очень чувствительного к тончайшим нюансам ее, испытать любовь, которую внушила ему Доротея, было все равно что получить огромное

наследство. То, что страсть его, по мнению иных, была бесплодна, делало ее еще дороже для него: он знал, что побуждения его благородны, что ему дарована высокая поэзия любви, всегда пленявшая его воображение. Доротея, думал он, будет вечно царить в его душе, ни одной женщине не подняться выше подножия ее престола, и если бы он сумел в бессмертных строках описать то действие, которое произвела на него Доротея, он бы вслед за стариком Дрейтоном[164] похвастал, что

*Немало мог бы напитать цариц*
*Избыток вознесенной ей хвалы.*

Впрочем, это вряд ли бы ему удалось. А что еще способен он сделать для Доротеи? Чего стоит его преданность ей? Трудно сказать. Но ему не хотелось от нее отдаляться. Он был уверен, что ни с кем из своих родственников она не говорит так просто и доверительно, как с ним. Однажды она сказала, что ей не хочется, чтобы он уезжал; он и не уедет, невзирая на шипение стерегущих ее огнедышащих драконов.

Этим выводом всегда заканчивались колебания Уилла. Но и принятое им самим решение не

---

**[164] Примечания: 164**
*Дрейтон Майкл* (1563 — 1631) — английский поэт.

было беспрекословным и, случалось, вызывало внутренний протест. Нынешний вечер был не первым, когда кто-нибудь давал ему понять, что его общественная деятельность в качестве подручного мистера Брука не кажется столь героической, как ему бы хотелось, и это сердило его, во-первых, само по себе, во-вторых, неизбежно давая еще один повод для гнева — он пожертвовал для Доротеи своим достоинством, а сам почти ее не видит. Вслед за сим, неспособный оспорить эти малоприятные факты, он вступал в спор с голосом собственного сердца, заявляя: «Я глупец».

Тем не менее, поскольку этот внутренний диспут напомнил ему о Доротее, Уилл, как и всегда, еще острее ощутил желание оказаться с ней рядом и, внезапно сообразив, что завтра воскресенье, решил отправиться в лоуикскую церковь, чтобы увидеть ее там. С этой мыслью он уснул, но, когда он одевался в прозаичном свете утра, Благоразумие сказало:

— По существу, ты нарушишь запрет мистера Кейсобона бывать в Лоуике и огорчишь Доротею.

— Чепуха! — возразило Желание. — Кейсобон не такое чудовище, чтобы запретить мне войти весенним утром в прелестную деревенскую цер-

ковь. А Доротея будет рада меня видеть.

— Мистер Кейсобон будет уверен, что ты пришел либо досадить ему, либо в надежде повидать Доротею.

— Я вовсе не собираюсь ему досаждать, и почему бы мне не повидать Доротею? Справедливо ли, чтобы все доставалось ему, а его ничто даже не потревожило ни разу? Пусть помучается хоть немного, как другие. Меня всегда восхищали богослужения в этой церквушке, кроме того, я знаком с Такерами, я сяду на их скамью.

Принудив доводами безрассудства замолчать Благоразумие, Уилл отправился в Лоуик, словно в рай, пересек Холселлский луг и пошел опушкой леса, где солнечный свет, щедро проливаясь сквозь покрытые почками голые ветви, освещал роскошные заросли мха и молодые зеленые ростки, пробившиеся сквозь прошлогоднюю листву. Казалось, все вокруг знает, что сегодня воскресенье, и одобряет намерение Уилла посетить лоуикскую церковь. Уилл легко обретал радостное настроение, когда его ничто не угнетало, и сейчас мысль досадить мистеру Кейсобону представлялась ему довольно забавной, его лицо сияло веселой улыбкой, так же славно, как сияет в солнечном свете река… хотя повод для ликова-

ния не был достойным. Но почти все мы склонны убеждать себя, что человек, который нам мешает, отвратителен, и поскольку он так гнусен, дозволено подстроить небольшую гнусность и ему. Уилл шагал, сунув руки в карманы, держа под мышкой молитвенник, и напевал нечто вроде гимна, воображая, как он стоит в церкви и как выходит оттуда. Слова он придумывал сам, а музыку подбирал — порой используя готовую мелодию, порой импровизируя. Текст нельзя было назвать в полном смысле слова гимном, но он, несомненно, передавал его расположение духа.

*Увы, как мало светлых дней*
*Любви моей дано.*
*Блеснувший луч, игра теней —*
*И все опять темно.*
* * *
*Умолкший звук ее речей*
*И грезы наяву.*
*Надежда, что я дорог ей, —*
*Вот то, чем я живу.*
* * *
*Страдать, томиться все сильней*
*Мне вечно суждено.*

*Увы, как мало светлых дней*
*Моей любви дано.*

Когда, напевая так, Уилл сбрасывал шляпу и запрокидывал голову, выставляя напоказ нежную белую шею, он казался олицетворением весны, дыханием которой был напоен воздух, — ликующее создание, полное смутных надежд.

Уилл добрался до Лоуика, когда еще не смолкли колокола, первым вошел в церковь и занял место на скамье младшего священника. Но он остался в одиночестве на этой скамье и тогда, когда церковь заполнили прихожане. Скамья мистера Кейсобона находилась напротив, у прохода, ведущего к алтарю, и Уилл успел поволноваться, что Доротея не придет, тем временем окидывая взглядом лица крестьян, которые из года в год собирались в этой деревенской церкви с выбеленными стенами и старыми темными скамьями, изменяясь не более, чем ветви дерева, местами треснувшего от старости, но еще дающего молодые ростки. Довольно неожиданно и неуместно выглядела в толпе лягушачья физиономия мистера Ригга, но была единственным отклонением, зато Уолы и деревенская отрасль Паудреллов, как всегда, занимали смежные скамьи; все так же

багровели круглые щеки братца Сэмюэля, словом, три поколения достойных поселян явились в церковь, как повелось исстари, с чувством должного почтения ко всем вышестоящим… ребятишки же полагали, что мистер Кейсобон, который носил черный сюртук и взгромоздился на самую высокую кафедру, очевидно, возглавляет этих вышестоящих и страшен в гневе. Даже в 1831 году Лоуик пребывал в тиши, которую отзвуки грядущей реформы тревожили не более, чем мирное течение воскресной службы. Прихожане привыкли видеть в церкви Уилла, и никто не обратил на него особого внимания, кроме певчих, ожидавших, что он примет участие в песнопениях.

Но вот в маленьком приделе среди крестьянок и крестьян появилась Доротея, в белом касторовом капоре и в серой накидке, тех самых, которые были на ней в Ватикане. Ее лицо еще с порога было обращено к алтарю, поэтому, несмотря на близорукость, она тотчас заметила Уилла, но ничем не выказала своих чувств, лишь слегка побледнела и тихо ему поклонилась, проходя мимо. К собственному удивлению, Уилл вдруг смешался и, ответив на поклон Доротеи, больше не осмеливался взглянуть на нее. Две минуты спустя, когда из ризницы вышел мистер Кейсобон

и сел рядом с Доротеей, Уилл и вовсе оцепенел. Он мог смотреть теперь только на хор, располагавшийся в маленькой галерее над ризницей: своим нелепым поведением он, может быть, огорчил Доротею. Досаждать мистеру Кейсобону оказалось вовсе не забавно; а тот, вероятно, отлично видел Уилла и заметил, что он не смеет голову повернуть. Почему он не представил себе все это заранее? Да, но как он мог предугадать, что окажется на скамье в одиночестве, что Такеры, среди которых он рассчитывал затеряться, очевидно, навсегда покинули Лоуик, поскольку на кафедру поднялся новый священник. Нет, все-таки он глупец, как ему не пришло в голову, что он не сможет даже глядеть в сторону Доротеи? К тому же, чего доброго, она сочтет его появление дерзким. Но теперь уже не выберешься из западни; Уилл, как школьная учительница, деловито перелистывал молитвенник, чувствуя, что утренняя служба невыносимо затянулась, а сам он смешон, озлоблен и несчастлив до крайности. Вот к чему приводит платоническое поклонение женщине! Причетник с удивлением заметил, что мистер Ладислав не присоединился к пению хора, и решил, что он простужен.

В тот день мистер Кейсобон не читал пропове-

ди, и Уилл так и не пошелохнулся ни разу, пока младший священник не благословил паству, после чего все поднялись с мест. По лоуикскому обычаю, «вышестоящие» первыми выходили из храма. Внезапно решив преодолеть свою мучительную скованность, Уилл глянул мистеру Кейсобону прямо в лицо. Но глаза этого джентльмена были устремлены на ручку дверцы, он отворил ее, пропустил вперед Доротею и последовал за нею, не поднимая глаз. Уилл поймал взгляд Доротеи, и она снова ему кивнула, но показалась на этот раз взволнованной, словно боролась со слезами. Уилл вышел сразу же вслед за ними, однако супруги не оглядываясь направились к калитке.

Следовать за ними далее Уилл не мог и в унынии побрел домой той же дорогой, по которой он так бодро шествовал утром. И вокруг себя, и в себе самом он все видел теперь совсем в ином свете.

## Глава XLVIII

*Да, и златые старятся часы —*
*Они уж не танцуют, но плетутся,*
*И ветер их седины теребит.*
*Все лица предо мной изможденны*
*И медленно кружатся в хороводе,*
*Гонимом бурей...*

Доротея вышла из церкви опечаленная главным образом твердой решимостью мистера Кейсобона не замечать своего молодого родственника, особенно отчетливо проявившейся в этот день. Она не сочла поведение Уилла дерзким, мало того, восприняла его как дружественный жест, шаг к примирению, которого и сама желала. Возможно, Уилл, так же как она, полагал, что, непринужденно встретившись с мистером Кейсобоном, они обменяются рукопожатиями и между ними вновь установятся мирные отношения. Но с этой надеждой пришлось распроститься. Мистер Кейсобон, возмущенный появлением Уилла, еще сильней ожесточился против него.

В это утро мистер Кейсобон чувствовал легкое недомогание — он не стал читать проповедь

из-за одышки, поэтому Доротею не удивила его молчаливость за завтраком и еще менее удивило ее, что муж не проронил ни слова об Уилле Ладиславе. Сама она по своему почину никогда бы не коснулась этой темы. Время между завтраком и обедом они обычно проводили врозь, мистер Кейсобон почти всегда дремал в библиотеке, а Доротея у себя в будуаре занималась чтением любимых книг. На столике у окна лежала стопка самых разнообразных книг от Геродота, которого ей помогал разбирать муж, до старинного ее друга Паскаля и «Христианского года» Кебла[165]. Но сегодня она открывала их одну за другой и не могла прочесть ни строчки. Все они казались ей прескучными: знамения накануне рождения Кира[166]... старинные предания иудеев — боже мой!.. благочестивые рифмованные изречения... торжественные ритмы гимнов — все звучало монотонно, словно кто-то барабанил по деревяшке; даже цветы и трава уныло съеживались каждый раз, когда солнце пряталось за предвечерними

**[165] Примечания: 165**

*Кебл Джон* (1792 — 1866) — английский религиозный писатель и поэт; был священником. «Христианский год» — его сборник духовных песнопений, вышел в 1827 г.

**[166] Примечания: 166**

*Кир* (VI в. до н.э.) — древнеперсидский царь, жизнь и завоевания которого описаны в «Истории» Геродота.

облаками; ей опостылели даже мысли, которыми она привыкла утешаться, едва она представила себе, как много долгих дней ей предстоит провести с ними наедине. Нет, совсем иной, вернее, более основательной поддержки жаждала ее душа, и жаждала все сильнее с каждым днем ее нелегкой супружеской жизни. Ей все время приходилось изо всех сил стараться угодить мужу и не удавалось нравиться ему такой, какая она есть. То, чего она хотела, к чему рвалась ее душа, было, по-видимому, недостижимо в ее жизни с мужем — ведь исполнять желания, не разделяя радости, это все равно что отказать. По поводу Уилла Ладислава супруги с самого начала не могли прийти к согласию, а решительный отказ мистера Кейсобона выделить кузену его законную долю окончательно убедил Доротею, что муж ее не прав, а она совершенно права, но бессильна. Это ощущение бессилия сейчас совсем ее обескуражило: она жаждала любить и быть любимой. Она жаждала работы, которая приносила бы видимые плоды, как солнце и как дождь, а ей казалось, что она заживо похоронена в гробнице и удел ее — унылый труд над тем, чему не суждено увидеть света. Сегодня с порога своей гробницы она глядела, как Уилл Ладислав,

оглядываясь на нее, уходит в далекий мир, полный живой деятельности и дружелюбия.

Читать ей не хотелось. Ей не хотелось думать. Навестить Селию, у которой недавно родился ребенок, она не могла, потому что по воскресеньям не закладывали карету. Не найдя ни в чем прибежища от гнетущего чувства опустошенности, Доротея вынуждена была терпеть его, как терпят головную боль.

После обеда, когда обычно Доротея вслух читала мужу, мистер Кейсобон предложил пройти в библиотеку, где по его распоряжению зажгли свечи и затопили камин. Он казался оживленным и был поглощен какой-то мыслью.

В библиотеке Доротея сразу заметила, что тома с заметками расположены на столе по-новому; мистер Кейсобон вручил жене знакомый том, содержавший оглавление ко всем остальным.

— Буду признателен вам, моя дорогая, — сказал он, усаживаясь, — если сегодня вечером вы почитаете мне не книгу, а вот это оглавление и в каждом пункте, где я скажу: «отметить», поставите крестик карандашом. Это будет первый шаг в давно задуманной мною тщательной систематизации материала, и в процессе работы я вам укажу принципы отбора, прибегая к которым

вы, надеюсь, сумеете оказать мне существенную помощь.

Эта просьба являлась всего лишь очередным свидетельством того, что после памятного разговора с Лидгейтом мистер Кейсобон, столь неохотно принимавший прежде помощь Доротеи, ударился в другую крайность и требовал теперь от жены самого деятельного участия в работе.

После того как Доротея два часа читала ему вслух заголовки и отмечала их крестиками, мистер Кейсобон сказал:

— Возьмем этот том наверх… а вместе с ним, пожалуйста, захватите и карандаш… если нам придется читать ночью, мы продолжим эту работу. Надеюсь, она не наскучила вам, Доротея?

— Я охотнее всего читаю то, что вам хочется послушать, — сказала Доротея и ответила чистую правду; ее страшила перспектива, развлекая мужа чтением или на иной лад, не доставить ему, как всегда, ни капли радости.

Еще один пример впечатления, производимого Доротеей на окружающих ее людей: подозрительный и ревнивый супруг не сомневался в честности ее обещаний, в ее способности посвятить себя тому, что она считает правильным и

благородным. В последнее время он стал понимать, как ценны для него все эти ее свойства, и захотел единовластно ими обладать.

Ночью ей пришлось читать. Молодость взяла свое, и утомленная Доротея уснула быстро и крепко. Ее пробудил свет; в полусне ей сперва показалось, что она взобралась на крутую гору и внезапно перед ней зарделся солнечный закат; Доротея открыла глаза и увидела мужа, который, завернувшись в теплый халат, сидел возле камина, где еще тлели угли. Он не стал ее будить, а лишь зажег две свечи и опустился в кресло, ожидая, когда их свет разгонит сон Доротеи.

— Вам нездоровится, Эдвард? — спросила она, тотчас же поднявшись.

— Мне было не совсем удобно в лежачем положении. Я немного посижу.

Доротея подбросила в камин дров, закуталась в шаль и сказала:

— Хотите, я вам почитаю?

— Буду очень вам признателен, Доротея, — немного мягче, чем обычно, ответил мистер Кейсобон. — Мне совершенно не хочется спать: удивительно ясная голова.

— Я боюсь, как бы вам не повредило возбуждение, — сказала Доротея, вспомнив предостереже-

ния Лидгейта.

— Я не ощущаю чрезмерного возбуждения. Мне думается легко.

Доротея не решилась спорить дальше и в течение часа, а то и больше, читала оглавление по той же системе, как вечером, только несколько быстрей.

Мистер Кейсобон, чья мысль работала теперь очень живо, определял, казалось, уже по нескольким вступительным словам все последующее и говорил: «Достаточно, отметьте это», или: «Переходите к следующему заголовку… я опускаю второе отступление о Крите». Доротею поражало, как его мысль с быстротою птицы облетает пределы, по которым ползала в течение долгих лет. Наконец он произнес:

— Теперь закройте книгу, дорогая. Возобновим работу завтра. Я слишком задержался с ней и буду рад завершить ее поскорее. Но вы заметили, что принцип, по которому я произвожу подбор, заключается в том, чтобы снабжать каждый из перечисленных в предисловии тезисов соразмерным комментарием, как мы наметили сейчас. Вы это ясно поняли, Доротея?

— Да, — сказала Доротея, голос которой слегка дрожал. У нее ныло сердце.

— А теперь, пожалуй, я могу немного отдохнуть, — сказал мистер Кейсобон.

Он лег и попросил ее погасить свечи. Когда Доротея легла тоже и темную комнату освещал только тускло мерцавший камин, он сказал:

— Прежде чем уснуть, я обращусь к вам с просьбой, Доротея.

— В чем она состоит? — спросила она, похолодев от ужаса.

— Она состоит в том, чтобы вы, как следует подумав, сообщили, согласны ли вы в случае моей смерти исполнить мою волю: будете ли вы избегать поступков, нежелательных мне, и стремиться к осуществлению желаемого мною.

Доротея не удивилась — существовало много обстоятельств, дававших ей основание предполагать, что муж готовит для нее какие-то новые узы. Она не ответила сразу.

— Вы отказываетесь? — спросил мистер Кейсобон, и в его голосе прозвучала горечь.

— Нет, я не отказываюсь, — ясным голосом сказала Доротея, чувствуя, как крепнет в ней желание свободно располагать собой, — но это как-то слишком уж торжественно… по-моему, так делать нельзя — давать обещание, не зная, на что оно меня обрекает. То, что мне подскажет

чувство, я выполню и без обещаний.

— Но вы будете при этом полагаться на ваше собственное суждение, я же прошу вас подчиниться моему. Вы отказываете мне?

— Нет, мой милый, нет, — умоляюще произнесла Доротея, терзаемая противоречивыми опасениями. — Но вы дадите мне немного времени на размышление? Всей душой стремлюсь я сделать то, что успокоит вас, и все же я не могу так внезапно давать ручательств, тем более ручательств в чем-то мне неизвестном.

— Вы, стало быть, сомневаетесь в благородстве моих желаний?

— Отложим этот разговор до завтра, — умоляюще сказала Доротея.

— Ну что ж, до завтра, — сказал мистер Кейсобон.

Вскоре она услышала, что он уснул, но сама не сомкнула глаз. Она лежала тихо, чтобы не потревожить мужа, а в душе ее тем временем шла борьба, и воображение бросало свои силы на поддержку то одной, то другой стороны. У нее не было опасений, что условие, которым намерен связать ее муж, имеет отношение к чему-либо, кроме его работы. Зато совершенно очевидным представлялось его желание, чтобы Доротея,

не жалея сил, копалась в грудах разноречивых фактов, долженствующих в свое время послужить сомнительным доказательством еще более сомнительных выводов. Бедная девочка совсем утратила веру в то, что стрелка, указавшая ее мужу цель его мечтаний и трудов, направлена в нужную сторону. Неудивительно, что, несмотря на скудость знаний, Доротея судила о предмете верней, чем муж: она беспристрастно и руководствуясь здравым смыслом оценивала возможные результаты, он же поставил на них все. И сейчас ей представлялось, как она проводит дни, месяцы и годы, роясь среди чего-то истлевшего, собирает обломки предания, являющего собой всего лишь груду хлама, вырытого из руин… и таким образом готовит почву для теории, столь же нежизнеспособной, как мертворожденное дитя. Решительные попытки достичь решительно ошибочной цели несомненно содержат в себе зачатки истины: поиски алхимиков одновременно были исследованием материи, так возникает тело химии, где не хватает лишь души, после чего рождается Лавуазье[167]. Но теория, лежавшая в основе обширных трудов мистера Кейсобона,

**[167] Примечания: 167**

*Лавуазье Антуан Лоран* (1743 — 1794) — знаменитый французский химик.

едва ли могла даже бессознательно породить какие-нибудь открытия: она барахталась среди догадок, каковые можно было повернуть и так и сяк, наподобие этимологических построений, вся убедительность которых заключается в звуковом сходстве и которые именно из-за звукового сходства оказываются потом несостоятельными; метод мистера Кейсобона не был опробован необходимостью создать нечто обладающее большей сложностью, чем подробное перечисление всех упоминаний о Гоге и Магоге[168]; этот метод мог в такой же степени не опасаться опровержений, как идея нанизать звезды на одну нить. А Доротее так часто приходилось, преодолев раздражение и усталость, заниматься не высокой наукой, которая украшает жизнь, а отгадыванием сомнительных, как стало ей теперь ясно, загадок! Теперь она отчетливо понимала, что муж цепляется за нее как за единственную надежду на завершение его трудов. Сперва, казалось, он даже Доротею не желал полностью посвятить в свои дела, но постепенно самый веский из аргументов, торопливо приближающаяся смерть…

И тут Доротея стала оплакивать не свою бу-

**[168] Примечания: 168**

*Гог* и *Магог* — имена, несколько раз встречающиеся в Библии в разных сочинениях и с разными значениями.

дущность, а прошлое мужа… и даже нет, его теперешнюю тяжкую борьбу с долей, уготованной этим прошлым: труд в одиночестве; честолюбие, придавленное гнетом неверия в себя; цель все дальше и дальше, все замедленней шаг; и вот уже меч повис над его головой! Разве не для того она вышла замуж, чтобы помочь ему окончить труд всей его жизни? Но работа эта представлялась ей тогда более значительной, достойной того, чтобы ей так преданно служили. Должно ли — даже чтобы утешить его… возможно ли — даже если она пообещает, посвятить себя толчению воды в ступе?

Да, но сможет ли она не покориться? Сможет ли сказать: «Я отказываюсь насыщать это бездонное чрево»? Это значит не сделать для мертвого то, что она, почти наверное, делала бы для живого. Если он, чего не исключает Лидгейт, проживет еще лет пятнадцать или более, то ведь она, конечно, будет послушно помогать ему. И все-таки огромна разница между покорностью живому и обещанием вечно покоряться мертвецу. Пока мистер Кейсобон жив, она вправе возразить на любую просьбу, даже отказаться выполнить ее. А что, если — эта мысль мелькала у нее уже не раз, но представлялась невероятной — что, если он

намерен потребовать нечто большее, о чем она и не догадывается, и потому требует обещания исполнить его волю, не говоря, в чем эта воля состоит? Нет, нет, все его помыслы обращены только к работе: для завершения работы ему нужна ее жизнь, коль скоро его собственная — на исходе.

Ну, а сказать ему: «Нет! Если ты умрешь, я и пальцем не притронусь к твоей работе»... какую рану нанесет она изболевшемуся сердцу. После четырех часов мучительного раздумья Доротея чувствовала себя растерянной, больной, она не могла принять решения и безмолвно молилась. Обессиленная, как наплакавшееся, измучившееся дитя, она уснула только утром, и, когда пробудилась, мистер Кейсобон уже встал. Тэнтрип сказала, что он помолился, позавтракал и находится в библиотеке.

— Ни разу не видела вас такой бледной, сударыня, — сказала Тэнтрип, толстушка, ездившая с сестрами еще в Лозанну.

— Разве у меня когда-нибудь был яркий румянец, Тэнтрип? — слабо улыбаясь, спросила Доротея.

— Ну, не сказать чтобы яркий, а нежный — цвета китайской розы. Но чего же ждать, когда

по целым дням вдыхаешь запах кожи от этих книжек? Отдохните хоть сегодня утром. Я скажу, что вы больны, и не ходите в эту душную библиотеку.

— О, нет, нет, помогите мне поскорее одеться, — возразила Доротея, — я сегодня особенно нужна мистеру Кейсобону.

Она сошла вниз, уверенная, что должна пообещать исполнить его волю, только скажет это позже, не сейчас…

Когда Доротея вошла в библиотеку, мистер Кейсобон, сидевший за столом над книгами, обернулся и сказал:

— Я дожидался вашего прихода, дорогая. Я надеялся приступить к работе с самого утра, но мне нездоровится — вероятно, сказалось вчерашнее возбуждение. Сейчас потеплело, и я хочу прогуляться в саду.

— Вот и прекрасно, — сказала Доротея. — Так много работать, как вчера, вероятно, тяжело для вас.

— Я испытал бы облегчение, разрешив вопрос, заданный вам напоследок, Доротея. Сейчас, надеюсь, вы дадите мне ответ?

— Можно, я немного погодя приду к вам в парк? — спросила Доротея, ища хоть краткой

передышки.

— Я буду в тисовой аллее ближайшие полчаса, — сообщил мистер Кейсобон и тут же вышел.

Доротея, совершенно обессилев, позвонила и попросила Тэнтрип принести накидку. Потом она недвижно просидела несколько минут, но не потому, что снова впала в нерешимость: она была готова принять свой приговор; ее охватила такая слабость, так страшила мысль о возможности причинить боль мужу, что она могла лишь беспрекословно ему покориться. Она сидела как застывшая, пока Тэнтрип надевала на нее шляпку и шаль; бездействие, несвойственное Доротее, ибо она привыкла прислуживать себе сама.

— Да благословит вас бог, сударыня! — сказала Тэнтрип, внезапно охваченная порывом нежности к этому прелестному, кроткому существу, для которого не могла сделать более ничего, коль скоро ленты шляпки были завязаны.

Доротея, все чувства которой были напряжены, не выдержала и разрыдалась, уткнувшись в плечо Тэнтрип. Но вскоре она овладела собой, утерла слезы и вышла из дому.

— Хорошо бы — каждая книга в этой библиотеке превратилась в катакомб для вашего хозяина, — сказала Тэнтрип дворецкому Прэтту,

встретив его в столовой. Тэнтрип, как мы знаем, побывала в Риме, где осматривала памятники древности, мистера же Кейсобона в разговорах с другими слугами она неизменно именовала «ваш хозяин».

Прэтт рассмеялся. Ему очень нравился его хозяин, но Тэнтрип нравилась ему больше.

Выйдя на посыпанную песком дорожку, Доротея сразу же замедлила шаги, как уже делала однажды, хотя и по другой причине. Тогда она опасалась, что ее не возьмут в сотоварищи; сейчас боялась связать себя сотовариществом, которое внушало ей ужас. Ни закон, ни мнение света не принуждали ее к этому… только нрав ее мужа и ее жалость к мужу, мнимые, а не действительные узы. Она прекрасно понимала положение, но не располагала собой; не могла она нанести удар в наболевшее сердце, которое взывало к ней о помощи. Если это слабость, значит, Доротея была слаба. Но полчаса истекали, она не могла больше откладывать. Выйдя на тисовую аллею, она не увидела мужа; впрочем, аллея шла не прямо, и Доротея продвигалась все дальше, за каждым поворотом ища взглядом знакомую фигуру в синем плаще и бархатной шапочке, которые мистер Кейсобон надевал, когда в прохладную погоду

отправлялся прогуляться по парку. Она подумала, не отдыхает ли он в беседке, находившейся неподалеку от аллеи. За поворотом она увидела его на скамейке около каменного стола. Положив руки на стол, он склонил на них голову, и синий плащ закрывал его лицо.

«Вчерашний вечер утомил его», — решила Доротея, сперва подумав, что муж спит и что не следовало бы ему отдыхать в сырой беседке. Потом она вспомнила, что в последнее время он, слушая ее чтение, обычно принимал эту позу, как видно, для него удобную, вспомнила, что иногда он говорил или слушал, вот так уронив голову на руки. Она вошла в беседку и сказала:

— Я здесь, Эдвард. Я готова.

Он не шелохнулся, и она решила, что он крепко спит. Она положила руку ему на плечо и повторила:

— Я готова!

Он оставался недвижимым, и, внезапно охваченная смутным страхом, она наклонилась, сняла с него бархатную шапочку и прижалась к его голове щекой, отчаянно крича:

— Проснитесь, милый мой, проснитесь! Слушайте! Я пришла с ответом.

Но Доротея так и не дала ответ.

Позже Лидгейт сидел у ее кровати, а Доротея бредила, размышляла вслух, вспоминала то, что передумала накануне ночью. Она узнала Лидгейта, называла его по имени, но почему-то считала нужным все объяснить ему и вновь и вновь просила его объяснить все ее мужу.

— Скажите ему, я скоро к нему приду: я готова дать обещание. Вот только думать об этом было так страшно, но… я оттого и захворала. Не очень сильно. Я скоро поправлюсь. Ступайте же, скажите ему.

Но ничто уже не могло нарушить безмолвие, в которое погрузился ее муж.

## Глава XLIX

*Оруженосец шуткой складной*
*В тупик поставил колдуна:*
*«Бросать в колодцы камни – ладно,*
*Но кто достанет их со дна?»*

— Видит бог, как мне хотелось бы скрыть это от Доротеи, — сказал сэр Джеймс Четтем, немного нахмурившись и весьма брезгливо скривив губы.

Он стоял на каминном коврике в библиотеке Лоуика и разговаривал с мистером Бруком. Это происходило на следующий день после похорон мистера Кейсобона, когда Доротея не могла еще подняться.

— Скрыть будет трудно, знаете ли, Четтем, ведь она душеприказчица, к тому же любит заниматься такими делами — собственность, земля и тому подобное, — сказал мистер Брук, нервно надевая очки и разглядывая края сложенной бумаги, которую он держал в руке. — И притом она захочет действовать. Можете не сомневаться, Доротея пожелает выполнить свои обязанности душеприказчицы. А в прошлом декабре ей, знае-

те ли, исполнился двадцать один год. Я не смогу ей помешать.

Сэр Джеймс некоторое время в молчании рассматривал ковер, затем поднял взгляд, внезапно воззрился на мистера Брука и ответил:

— Я скажу вам, что мы сможем сделать. Пока Доротея больна, ей не нужно говорить ни слова, а когда она встанет, пусть переезжает к нам. Побыть с Селией и с малюткой ей сейчас очень полезно, так и время незаметно пролетит. А вы пока спровадьте Ладислава. Пусть уезжает из Англии. — И на лице сэра Джеймса вновь появилось весьма брезгливое выражение.

Прежде чем ответить, мистер Брук заложил руки за спину, прошествовал к окну и резким движением выпрямился.

— Вам легко говорить, Четтем, вам легко так, знаете ли, говорить.

— Дорогой сэр, — не сдавался сэр Джеймс, стараясь удержать свое негодование в рамках приличий, — не кто иной, как вы, пригласили его сюда, и благодаря вам же он здесь остается… я имею в виду место, которое вы предоставили ему.

— Да, но не могу же я его немедленно уволить без достаточных к тому причин, милейший Чет-

тем. Ладиславу просто нет цены, он работает превосходно. Думаю, я оказал нашим землякам услугу, пригласив его сюда… пригласив его, знаете ли. — Мистер Брук завершил свою речь кивком, для чего повернулся лицом к собеседнику.

— Жаль, что наши земляки не обошлись без него, вот все, что я скажу. Во всяком случае, как зять Доротеи, я почитаю своим долгом решительно воспротивиться тому, чтобы ее родственники каким-либо образом удерживали в наших краях Ладислава. Надеюсь, я вправе отстаивать достоинство моей свояченицы?

Сэр Джеймс начинал горячиться.

— Разумеется, мой милый Четтем, разумеется. Но мы с вами по-разному оцениваем… по-разному…

— Этот поступок Кейсобона мы, надеюсь, оцениваем одинаково, — перебил сэр Джеймс. — Я утверждаю, что он самым непозволительным образом скомпрометировал жену. Я утверждаю, что никто еще не поступал столь подло и не по-джентльменски — сделать такого рода приписку к завещанию и поручить его исполнение родственникам жены… это явное оскорбление для Доротеи.

— Кейсобон, знаете ли, немного сердился на

Ладислава. Ладислав рассказывал мне — почему; он не одобрял, знаете ли, род его занятий… в свою очередь, Ладислав непочтительно относился к увлечению Кейсобона: Тот[169], Дагон[170] и все тому подобное; кроме того, мне думается, Кейсобону не понравилась независимая позиция Ладислава. Я, знаете ли, видел их переписку. Бедняга Кейсобон слишком уж зарылся в книги и удалился от света.

— Ладиславу только и остается, что изображать все в таком виде, — сказал сэр Джеймс. — А по-моему, Кейсобон просто ревновал к нему жену, и свет решит, что не без оснований. Вот это-то самое гнусное: имя Доротеи связано теперь с именем этого молодчика.

— Ничего страшного я, знаете ли, тут не вижу, дорогой Четтем, — сказал мистер Брук, усаживаясь и вновь надевая очки. — Очередное чудачество Кейсобона. Вспомните, к примеру, что эта вот тетрадь, «Сводное обозрение» и так далее… «вручить миссис Кейсобон», была заперта в одном ящике с завещанием. Он, полагаю, хотел, чтобы Доротея опубликовала его исследования,

---

**[169] Примечания: 169**

*Тот* — один из древнеегипетских богов.

**[170] Примечания: 170**

*Дагон* — упоминаемый в Библии главный бог филистимлян.

а? И она, знаете ли, это сделает; она великолепно разбирается в его изысканиях.

— Сэр, — нетерпеливо перебил сэр Джеймс. — Я ведь не о том вовсе с вами толкую. Скажите лучше, согласны ли вы, что необходимо удалить отсюда молодого Ладислава?

— Как сказать… особой срочности я тут не вижу. Мне кажется, со временем все образуется само собой. Что до сплетен, знаете ли, то, удалив его, вы не помешаете сплетням. Люди говорят что вздумается и совершенно не нуждаются при этом в доказательствах, — сказал мистер Брук, проявляя изобретательность, когда дело коснулось его интересов. — Я мог бы в каких-то определенных пределах отдалиться от Ладислава — отобрать у него, скажем, «Пионер» и тому подобное, но не могу же я отправить его за границу, если он не сочтет нужным уехать… не сочтет, знаете ли, нужным.

Манера мистера Брука вести спор с таким спокойствием, словно он обсуждает прошлогоднюю погоду, и вежливо кивать, закончив речь, вызывала особенное раздражение его оппонентов.

— Бог ты мой! — воскликнул сэр Джеймс, окончательно выходя из терпения. — Ну не пожалеем денег, найдем ему должность. Хорошо бы при-

строить его в свиту какого-нибудь губернатора в колониях. Что, если бы его взял Грэмпус… я мог бы написать и Фальку.

— Но, мой милый, Ладислав не бессловесное животное, нельзя же его просто погрузить на корабль; у него есть идеи. Уверен, если мы с ним распростимся, его имя вскоре прогремит по всей стране. Ораторский талант и умение составлять бумаги делают его превосходным агитатором… агитатором, знаете ли.

— Агитатором! — с ожесточением воскликнул сэр Джеймс, вкладывая все свое негодование в каждый слог этого слова.

— Будьте же благоразумны, Четтем. Подумайте о Доротее. Вы верно сказали, что ей следует поскорей переехать к Селии. Пусть поживет у вас в доме, а тем временем все потихоньку встанет на свои места. Не будем, знаете ли, принимать поспешных решений. Стэндиш никому не проронит ни слова, и к тому времени, когда новость станет известной, она, знаете ли, устареет. А у Ладислава могут оказаться десятки причин покинуть Англию… без, знаете ли, моего вмешательства.

— То есть вы отказываетесь что-либо предпринять?

— Отказываюсь, Четтем? Нет, я не сказал, что я

отказываюсь. Но я, право же, не представляю себе, что мы можем сделать. Ладислав — джентльмен.

— Рад это слышать! — воскликнул сэр Джеймс, в раздражении несколько утратив самообладание. — Кейсобона так не назовешь, разумеется.

— Было бы хуже, если бы в приписке к завещанию он совсем запретил ей выходить замуж, знаете ли.

— Не знаю, — ответил сэр Джеймс. — По крайней мере, это выглядело бы менее оскорбительно.

— Очередная выходка бедняги Кейсобона. После приступа он несколько повредился в уме. Совершенно бессмысленное распоряжение. Ведь Доротея не собирается за Ладислава замуж.

— Да, но каждый прочитавший приписку решит, что собирается. Я, разумеется, не сомневаюсь в Доротее, — сказал сэр Джеймс. Затем, нахмурившись, добавил: — Но Ладислав мне не внушает доверия. Говорю вам откровенно: доверия он не внушает.

— Сейчас я ничего не в силах сделать, Четтем. Право, если бы можно было его отослать… ска-

жем, отправить на остров Норфолк[171]... или куда-то в этом роде... это только опорочило бы Доротею. Те, кто слышал о завещании, решили бы, что мы в ней не уверены... не уверены, знаете ли.

Веский довод, приведенный мистером Бруком, не смягчил сэра Джеймса. Он протянул руку за шляпой, давая понять, что не намерен больше препираться, и с прежней запальчивостью произнес:

— Могу только сказать, что Доротея однажды уже была принесена в жертву из-за беспечности своих близких. Как родственник, я сделаю все возможное, чтобы оградить ее от этого сейчас.

— Самое лучшее, что вы можете сделать, это перевезти ее поскорее во Фрешит. Полностью одобряю ваш план, — сказал мистер Брук, радуясь, что одержал победу в споре. Ему очень не хотелось расставаться с Ладиславом именно сейчас, когда парламент мог быть распущен со дня на день и надлежало убедить избирателей в правильности того единственного пути, который более всего соответствовал интересам Англии.

---

**[171] Примечания: 171**

*Остров Норфолк*, расположенный в Тихом океане между Новой Зеландией и Новой Каледонией, служил в описываемую эпоху местом ссылки каторжников.

Мистер Брук искренне верил, что эта цель будет достигнута, если его вновь изберут в парламент. Он был готов служить нации, не жалея сил.

## Глава L

*«Лоллард пусть скажет поученье нам».*
*«Ну нет, ему я поучать не дам.*
*Клянусь душой отца! Господне слово*
*И слушать непотребно от такого! —*
*Промолвил шкипер. – Дайте волю плуту,*
*Посеет он тотчас раздор и смуту!»*

***Джеффри Чосер, «Кентерберийские рассказы»***

Доротея спокойно прожила во Фрешит-Холле неделю, прежде чем начала наконец задавать опасные вопросы. Каждое утро они с Селией сидели в прехорошенькой верхней гостиной, соединенной с маленькой оранжереей; Селия, вся в белом и бледно-лиловом, словно букетик разноцветных фиалок, следила за достопримечательными действиями малютки, которые представлялись столь загадочными ее неискушенному уму, что она то и дело прерывала беседу, взывая к нянюшке с просьбой истолковать их. Доротея в трауре сидела рядом и сердила Селию чрезмерно грустным выражением лица; в самом

деле: ведь дитя совершенно здорово, и, право же, если еще при жизни муж был таким докучливым и нудным, и потом… да, разумеется, сэр Джеймс все рассказал жене, весьма решительно ее предупредив, что об этом ни в коем случае не следует говорить Доротее, до тех пор пока скрывать уже будет нельзя.

Но мистер Брук не ошибся, предсказывая, что Доротея не сможет долго бездействовать, когда ее ждут дела; она знала, в чем состоит суть завещания, написанного мужем уже после женитьбы, и, едва освоившись со своим положением, принялась обдумывать, что надлежит сделать ей, новой владелице Лоуик-Мэнора и попечительнице прихода.

Однажды утром, когда дядюшка, нанеся свой обычный визит, проявил необычную оживленность, вызванную, как он объяснил, тем обстоятельством, что уж теперь-то парламент наверняка будет вот-вот распущен, Доротея сказала:

— Дядя, мне, кажется, пора заняться приходскими делами. После того как Такер получил приход, муж ни разу не назвал при мне ни одного священника в качестве своего предполагаемого преемника. Пожалуй, я возьму поскорее ключи,

поеду в Лоуик и разберу бумаги мужа. Может быть, среди них найдется что-нибудь проливающее свет на его желания.

— Не стоит спешить, моя милая, — негромко сказал мистер Брук. — Если тебе так уж хочется, поедешь попозже. Я ознакомился у вас в Лоуике с содержанием всяких ящиков и конторок, там нет ничего, кроме, знаешь ли, высоких материй и… завещания. Все это может подождать. Что до Лоуикского прихода, у меня есть идея… я сказал бы, недурная. Мне очень горячо рекомендовали Тайка… однажды мне уже пришлось способствовать его назначению на должность. Благочестивый человек, на мой взгляд… именно то, что тебе требуется, дорогая.

— Я предпочла бы познакомиться с ним поближе и составить собственное мнение, если только мистер Кейсобон не выразил на его счет каких-либо пожеланий. Может быть, к завещанию есть приписка, какие-нибудь указания для меня, — сказала Доротея, которую не покидала мысль, что указания эти должны быть связаны с работой ее мужа.

— Ничего относящегося к приходу, дорогая моя, ничего, — сказал мистер Брук, вставая и протягивая племяннице руку, — и относящегося к его

изысканиям, знаешь ли, тоже. В завещании об этом ничего не говорится.

У Доротеи задрожали губы.

— Ну, ну, милая, тебе еще рано думать обо всех этих вещах. Попозже, знаешь ли.

— Я совершенно здорова, дядя. Мне хочется уйти в работу с головой.

— Ну, ну, там видно будет. Мне пора бежать… уйма дел накопилась… кризис… политический, знаешь ли, кризис. Да, и кроме того, Селия и малыш, ты теперь тетка, знаешь ли, а я нечто вроде деда, — беспечно выпалил на прощанье мистер Брук, стремясь поскорее убраться и сказать Четтему, что не его (мистера Брука) вина, если Доротея пожелает ознакомиться с бумагами, оставленными мужем.

Когда дядюшка вышел из комнаты, Доротея откинулась в кресле и в задумчивости опустила взгляд на скрещенные руки.

— Додо, гляди! Посмотри на него! Видела ты что-либо подобное? — звонким, ликующим голосом обратилась к ней Селия.

— Что там такое, Киска? — спросила Доротея, рассеянно подняв глаза.

— Как что? Его нижняя губка. Смотри, как он ее вытянул, словно рожицу хочет состроить. Ну не

чудо ли! Какие-то у него свои мыслишки. Жаль, няня вышла. Да посмотри же на него.

Крупная слеза покатилась наконец по шеке Доротеи, когда она взглянула на ребенка и постаралась улыбнуться.

— Не надо убиваться, Додо, поцелуй малыша. Ну, из-за чего ты так горюешь? Ты сделала все, что в твоих силах, и гораздо больше. Теперь ты можешь совершенно успокоиться.

— Пусть сэр Джеймс отвезет меня в Лоуик. Мне нужно поскорее просмотреть там все бумаги… может быть, для меня оставлено письмо.

— Никуда ты не поедешь, пока не позволит мистер Лидгейт. А он тебе пока еще этого не разрешил (ну, вот и няня; возьмите малыша и погуляйте с ним по галерее). Кроме того, Додо, ты, как всегда, выдумываешь чепуху… я ведь вижу, и меня зло разбирает.

— Какую чепуху я выдумала, Киска? — кротко спросила Доротея.

Сейчас она почти готова была признать умственное превосходство Селии и с тревогой ждала ответа: какую же это она выдумала чепуху? Селия почувствовала свое преимущество и решила им воспользоваться. Ведь никто не знает Додо так хорошо, как она, никто не знает, как с ней

надо обходиться. После рождения ребенка Селия ощутила, что преисполнена здравого смысла и благоразумия. Кто станет спорить, что там, где есть ребенок, все идет как положено, а заблуждения, как правило, возникают из-за отсутствия этого основного регулятора.

— Я ясно вижу, что ты думаешь, Додо, — сказала Селия. — Тебе не терпится узнать, не пора ли взяться за какую-нибудь неприятную работу, только потому, что так было угодно твоему покойному супругу. Словно мало неприятного у тебя было прежде. А он этого и не заслуживает, ты скоро сама узнаешь. Он очень скверно поступил с тобой. Джеймс ужасно на него рассердился. Я, пожалуй, расскажу тебе, в чем дело, подготовлю тебя.

— Селия, — умоляюще произнесла Доротея, — не мучь меня. Расскажи мне все немедля.

У нее мелькнула мысль, что мистер Кейсобон лишил ее наследства — такую новость она вполне могла перенести.

— Твой муж сделал приписку к завещанию, и там говорится, что поместье не достанется тебе, если ты выйдешь замуж… то есть…

— Это совсем неважно, — ничуть не взволновавшись, перебила Доротея.

— Если ты выйдешь замуж за мистера Ладислава, а не за кого-то еще, — словно не слыша ее, продолжила Селия. — Разумеется, с одной стороны, это и впрямь неважно — ведь тебе даже в голову не придет выходить замуж за мистера Ладислава; тем более скверно поступил мистер Кейсобон.

У Доротеи мучительно покраснели лицо и шея. Но Селия считала, что сестру необходимо отрезвить дозой горькой истины. Додо пора уж исцелиться от всех этих причуд, из-за которых она портит себе здоровье. И она продолжала спокойным, ровным тоном, словно речь шла о распашонках малютки:

— Так сказал Джеймс. Он говорит, что это отвратительно и недостойно джентльмена. А Джеймс в таких делах лучший судья. Мистер Кейсобон как бы старался создать впечатление, что ты можешь когда-нибудь захотеть выйти замуж за мистера Ладислава… это просто смешно. Джеймс, правда, говорит, что это сделано, чтобы у мистера Ладислава не возникла мысль жениться на тебе ради твоих денег, как будто он посмел бы сделать тебе предложение! Миссис Кэдуолледер говорит, что с таким же успехом ты могла бы выйти замуж за итальянца, который ходит с белыми мышами!

Но мне пора взглянуть на малыша, — добавила Селия точно тем же тоном, набросила легкую шаль и выскользнула из комнаты.

К тому времени Доротею снова бросило из жара в холод, и, обессиленная, она откинулась в кресле. С ней творилось нечто странное — словно в смутной тревоге она внезапно осознала, что ее жизнь принимает некую новую форму, а сама она подвергается метаморфозе, в результате которой память не может приспособиться к деятельности ее нового организма. Устойчивые прежде представления сместились — поведение ее мужа, ее почтительная преданность ему, случавшиеся между ними разногласия… и самое главное, ее отношение к Уиллу Ладиславу. Мир, в котором она существовала, мучительно преображался; и лишь одно она понимала отчетливо: ей нужно подождать и все обдумать заново. Одна из происшедших с ней перемен казалась страшной, как грех: внезапное отвращение к покойному мужу, который скрывал от нее свои мысли и, как видно, извращенно истолковывал все ее поступки и слова. Потом она с трепетом ощутила в себе еще одну перемену, неизъяснимую тоску по Уиллу Ладиславу. Никогда прежде не возникала у нее мысль, что при каких-нибудь обстоятельствах

он может стать ее возлюбленным; вообразите себе, как восприняла она сообщение, что кто-то видел его в этом свете, что, может быть, он сам не исключал такой возможности… а тем временем перед ней мелькали картины, о которых ей не следовало думать, возникали вопросы, на которые не скоро найдется ответ.

Прошло, казалось, много времени — сколько именно, Доротея не знала, — затем она услышала, как Селия говорит:

— Ну, довольно, нянюшка; он теперь успокоился и посидит у меня на руках. Сходите поешьте, а пока Гарриет пусть побудет в соседней комнате.

— Мне кажется, Додо, — продолжала Селия, которая заметила лишь, что Доротея сидит, откинувшись на спинку кресла, и слушает с покорным видом, — мистер Кейсобон был очень злой человек. Мне он никогда не нравился и Джеймсу тоже. У него, по-моему, в губах было что-то злое. И, по-моему, даже твой христианский долг вовсе не обязывает тебя мучиться ради мужа, который так с тобой поступил. Надо благодарить провидение, что ты от него избавлена. Уж мы-то не стали бы его оплакивать, верно, малыш? — доверительно обратилась Селия к бессознательному регулятору и центру вселенной, обладателю удивительней-

ших ручонок, на которых даже росли ноготки, а на головке, если снимешь чепчик, столько волос, что просто… ну, просто, неизвестно что… одним словом, Будда на западный образец.

В этот критический момент доложили о приходе Лидгейта, который, обменявшись несколькими словами с дамами, сказал:

— Боюсь, вы сегодня хуже себя чувствуете, миссис Кейсобон. Вас что-нибудь встревожило? Дайте пощупать ваш пульс.

Рука Доротеи была холодна, как мрамор.

— Сестра хочет ехать в Лоуик, просматривать бумаги, — сказала Селия. — Ей не нужно этого делать, ведь верно?

Лидгейт помолчал. Потом ответил, глядя на Доротею:

— Трудно сказать. По-моему, миссис Кейсобон следует делать то, что будет более всего способствовать ее душевному покою. А покой этот не всегда достигается запрещением действовать.

— Благодарю вас, — с усилием проговорила Доротея. — Не сомневаюсь, что вы дали правильный совет. Меня ожидает множество дел. Зачем же мне сидеть здесь сложа руки? — Потом, заставив себя вспомнить о вещах, не связанных с предметом, вызвавшим ее волнение, вдруг

добавила: — Мне кажется, вы знаете всех жителей Мидлмарча, мистер Лидгейт. Вам придется ответить мне на множество вопросов. У меня серьезная забота. Я должна кому-то поручить наш приход. Знаете вы мистера Тайка и все… — Но тут силы ее иссякли. Доротея внезапно умолкла и залилась слезами.

Лидгейт дал ей выпить успокоительные капли.

— Пусть миссис Кейсобон делает то, что хочет, — сказал он сэру Джеймсу, к которому зашел перед уходом. — Я считаю, что полная свобода действий для нее полезней всех лекарств.

Наблюдая Доротею во время кризиса, наступившего после смерти мужа, Лидгейт увидел, что жизнь ее нелегка, и понял — почему. В мучительной борьбе с собой ей приходилось подавлять свои чувства, а не успела она выйти на волю, как ее ожидала новая темница.

Сэру Джеймсу ничего не оставалось, как последовать совету Лидгейта, когда он выяснил, что Селия уже рассказала Доротее о неприятной для нее приписке к завещанию. Теперь ему нечем было отговариваться, у него не было причин оттягивать исполнение нужного дела. И когда на следующий день Доротея попросила сэра Джейм-

са отвезти ее в Лоуик, он тотчас согласился.

— Мне совершенно не хочется сейчас жить в Лоуике, — сказала Доротея. — Я бы там просто не выдержала. У вас с Селией мне гораздо приятней. Издали даже удобнее обдумать, что нужно сделать в поместье. А потом мне бы хотелось пожить немного у дяди в Типтон-Грейндже, вновь походить по тем местам, где я гуляла прежде, наведаться в деревню к крестьянам.

— По-моему, сейчас для этого не время. Ваш дядя занят политической кампанией, а вам лучше держаться подальше от подобных дел, — сказал сэр Джеймс, для которого Типтон-Грейндж сейчас был прежде всего местом обитания Ладислава. Но ни сэр Джеймс, ни Доротея не сказали друг другу ни слова о приписке к завещанию, они оба чувствовали, что упомянуть об этом невозможно. Сэр Джеймс даже в разговорах с мужчинами предпочитал не затрагивать щекотливых вопросов, для Доротеи же эта тема была запретной, ибо выставляла напоказ несправедливость мистера Кейсобона. В то же время ей хотелось, чтобы сэр Джеймс узнал о ее споре с мужем по поводу моральных прав Уилла Ладислава на наследство, — ей казалось, сэр Джеймс поймет тогда так же ясно, как она, что странное и оскорбительное

для нее условие, оговоренное в завещании мужем, вызвано главным образом его решительным несогласием признать права Уилла, а не просто личными чувствами, говорить о которых ей было бы еще труднее. Признаем также: ей хотелось объяснить все это и ради самого Уилла, поскольку ее родственники, кажется, видели в нем лишь объект благотворительности мистера Кейсобона. Как можно его сравнивать с итальянцем, ходящим с белыми мышами? Эта фраза миссис Кэдуолледер издевательски сверкала перед ней, словно выведенная во тьме бесовским пальцем.

В Лоуике Доротея перерыла все бюро и ящики, осмотрела все места, где муж хранил бумаги, но не нашла ничего, адресованного ей лично, за исключением «Сводного обозрения», — по-видимому, первого из поручений, которые он для нее готовил. Вверяя свои труды Доротее, мистер Кейсобон был, как всегда, медлителен и полон сомнений; передавая свою работу, он точно так же, как выполняя ее, чувствовал себя скованным, словно передвигался в полутемной вязкой среде; его недоверие к способности Доротеи распорядиться заготовленным им материалом умерялось только еще большим недоверием к иным редакторам. Но достаточно узнав характер Доротеи,

он наконец преодолел свою недоверчивость: если Доротея что-нибудь решила сделать, она это сделает, и мистер Кейсобон с удовольствием представлял себе, как, понуждаемая данным ему словом, она трудится не покладая рук над возведением гробницы, на которой начертано его имя. (Мистер Кейсобон, разумеется, не называл гробницей будущие тома своих сочинений, он называл их «Ключом ко всем мифологиям».) Однако время двигалось быстрее — он опоздал и успел лишь попросить у жены обещания, опасаясь, как бы она не выскользнула из его холодеющих рук.

Но она выскользнула. Связанная данным из жалости обязательством, она могла бы взвалить на себя труд, который, как подсказывал ей разум, не имел ни малейшей цели, кроме соблюдения верности, — а это наивысшая цель. Однако сейчас разум ее не обуздывала почтительная покорность, ее разум был распален оскорбительным открытием, что покойный муж опорочил их союз скрытностью и недоверием. Сейчас его уже не было с ней, живого, страдающего человека, который возбуждал ее жалость, осталась только память о тягостном подчинении мужу, чьи мысли оказались такими низменными и чье непомерное себялюбие заставило его прене-

бречь заботой о сохранении доброго имени, так что, позабыв о гордости, он уронил себя в глазах простых смертных. От поместья — этого символа оборвавшихся брачных уз — она с радостью бы отказалась, удовольствовавшись собственным состоянием, если бы не связанные с этим наследством обязанности, пренебречь которыми она не могла. Ее тревожило множество вопросов, относящихся к поместью: права ли она, считая, что половина его должна отойти Уиллу Ладиславу; впрочем, это сейчас невозможно, мистер Кейсобон решительно и жестко пресек ее попытки восстановить справедливость; Доротея негодовала, но не сделала бы и шага, чтобы уклониться от исполнения его воли.

Отобрав деловые бумаги, которые она хотела изучить, она вновь заперла бюро и ящики, так и не найдя в них ни единого обращенного к ней слова, ни единого свидетельства, что угнетенный тоской одиночества муж испытывал желание повиниться или оправдаться перед нею; и она уехала во Фрешит, убедившись, что он в глубоком и незыблемом молчании выразил в последний раз свою суровую волю и проявил свою неправедную власть.

Сейчас она решила обратиться к своим непо-

средственным обязанностям, и об одной из них ей тут же принялись напоминать окружающие. Лидгейт не оставил без внимания ее слова о назначении приходского священника и при первой же возможности вернулся к этой теме, в надежде исправить зло, допущенное им в тот раз, когда он подал решающий голос за недостойного кандидата.

— Вместо того чтобы говорить о мистере Тайке, — сказал он, — я расскажу вам о другом человеке — о мистере Фербратере, священнике церкви святого Ботольфа. Приход у него очень бедный и почти не может обеспечить священника и его семью. На попечении мистера Фербратера находятся мать, тетка и сестра. Я думаю, из-за них он и не женился. Мне не приходилось слышать лучших проповедников — его красноречие отличают простота и непринужденность. Он мог бы проповедовать после Латимера[172] в соборе святого Павла. Он на любую тему говорит прекрасно: оригинально, ясно, просто. Я считаю его незаурядным человеком, он способен на гораздо большее, чем то, что сделал.

---

**[172] Примечания: 172**

*Латимер Гуго* (1485 — 1555) — активный деятель английской Реформации, прославившийся как проповедник; после победы католической реакции был приговорен к сожжению живым на костре.

— Почему же он не сделал то, что мог бы? — спросила Доротея, которую теперь интересовали все не осуществившие своих замыслов люди.

— Трудно сказать, — ответил Лидгейт. — Я на собственном опыте убедился, как сложно следовать своему призванию, когда на каждом шагу встречаешь столько препятствий. Фербратер часто намекал, что занялся не своим делом. Должность священника небольшого прихода слишком незначительна для такой личности, как он, и, полагаю, не представляется ему интересной. Он увлечен естественной историей и всевозможными научными вопросами, и ему нелегко совместить эти склонности с саном священника. Лишних денег у него нет — едва хватает на самое необходимое, поэтому он пристрастился к картам, а в Мидлмарче не найти дома, где не играли бы в вист. Мистер Фербратер играет ради денег и выигрывает немало. Из-за этого, конечно, ему приходится водить компанию с людьми, стоящими ниже его, и не всегда удается ревностно выполнять свои обязанности, но это мелочи, а если говорить о главном, я считаю его одним из самых безупречных людей, каких встречал. В нем нет ни двоедушия, ни злобы — черт характера, часто присущих людям, сохраняющим внешнюю

благопристойность.

— Хотелось бы мне знать, испытывает ли он укоры совести из-за своего пристрастия? — сказала Доротея. — Есть ли у него желание избавиться от него?

— Не сомневаюсь, что он охотно от него избавился бы, если бы не нуждался в деньгах: он с удовольствием бы занялся более серьезными вещами.

— Дядя говорит, что мистера Тайка называют святым человеком, — задумчиво проговорила Доротея, которой, с одной стороны, хотелось вернуть времена древнехристианского рвения, а с другой — избавить мистера Фербратера от необходимости прибегать к сомнительным источникам дохода.

— Не стану уверять вас, что Фербратер святой человек, — сказал Лидгейт. — Он, собственно, и не метит в святые. Он всего лишь священник, заботящийся о том, чтобы жизнь его прихожан стала лучше. Говоря по правде, я считаю, что под святостью в наши дни подразумевают нетерпимость ко всему, в чем священник не играет главной роли. Нечто в этом роде я заметил, наблюдая мистера Тайка в больнице: его гневные наставления прежде всего направлены на то,

чтобы никто не смел забывать о мистере Тайке. И потом, вообразите — святой в Лоуике! Он, подобно святому Франциску, должен считать, что надобно проповедовать птицам.

— Вы правы, — сказала Доротея. — Трудно представить себе, какие выводы извлекают наши фермеры и работники из благочестивых поучений. Я пролистала собрание проповедей мистера Тайка, в Лоуике такие проповеди не нужны — я имею в виду его рассуждения о напускном благочестии и апокалиптических пророчествах. Я часто думаю о том, как различны пути, которыми идут проповедники христианства, и считаю самым верным тот, что распространяет это благо как можно шире, — то есть деятельность, заключающую в себе больше добра и привлекающую больше последователей. Право же, лучше слишком многое прощать, чем порицать слишком многое. Но мне хотелось бы увидеть мистера Фербратера и послушать его проповеди.

— Непременно послушайте, — сказал Лидгейт. — Уверен, что они произведут на вас впечатление. Его многие любят, но у него есть и враги: всегда найдутся люди, которые не могут простить одаренному человеку, что он не таков, как они. А то, что он приохотился добывать деньги игрой, и

правда бросает тень на его репутацию. Вы, разумеется, редко видитесь с жителями Мидлмарча, а вот мистер Ладислав, секретарь вашего дядюшки, большой приятель всего семейства Фербратеров и с удовольствием пропоет хвалу этому пастырю. Одна из старушек — тетушка Фербратера, мисс Ноубл, — поразительно трогательное создание, воплощение самозабвенной доброты, и мистер Ладислав, как галантный кавалер, иногда ее сопровождает. Я их как-то встретил в переулке, вы представляете себе Ладислава: некий Дафнис[173] в жилете и фраке ведет под руку миниатюрную старую деву… эта пара словно вдруг явилась из какой-то романтической комедии. Но самую лучшую рекомендацию Фербратеру вы получите, увидев и услышав его.

К счастью для Доротеи, этот разговор происходил в ее гостиной без посторонних свидетелей, и она спокойно выслушала все сказанное о Ладиславе, упомянутом доктором по простоте душевной. Как всегда равнодушный к сплетням, Лидгейт совершенно позабыл предположение Ро-

**[173] Примечания: 173**

*Дафнис* — в греческой мифологии сицилийский пастух, сочинявший песни. Миф о Дафнисе неоднократно использовался в античном искусстве. В переносном смысле — красавец юноша, пасторальный персонаж.

замонды, что Уилл, как видно, без ума от миссис Кейсобон. В эту минуту он старался лишь расхвалить семью Фербратеров и, стремясь предварить обвинения недоброжелателей, умышленно подчеркнул самое скверное, что могло быть сказано о священнике. После смерти мистера Кейсобона доктор почти не видел Ладислава, и никто не предупредил его, что при миссис Кейсобон не следует упоминать о доверенном секретаре мистера Брука. Когда Доротея осталась одна, ей все время представлялся Ладислав — такой, каким его увидел доктор в переулке, и это ей мешало сосредоточиться на делах Лоуикского прихода. Что думает о ней Уилл Ладислав? Узнает ли он о том обстоятельстве, при одной мысли о котором у нее горят щеки, как никогда в жизни не горели? Что он подумает, узнав о нем? Но главное, она так ясно себе представляла, как он улыбается, склонившись к миниатюрной старой деве. Итальянец с белыми мышами! Наоборот, человек, способный понять чувства каждого и разделить бремя чужих мыслей, а не навязывать с железным упорством свои.

## Глава LI

*Воплощена и в Партиях Природа.*
*Здесь правит логика такого рода:*
*Один – во Многих, Многие в Одном.*
*Есть части – вместе целым их зовем.*
*В Природе род из видов состоит,*
*Но высшим может быть и низший вид.*
*Внутри же вид и сам подразделен.*
*Так «за» – не «против», так и Вы – не Он.*
*И тем не менее Вы схожи с Ним,*
*Как тройка с тройкой, как один с одним.*

Слухи о завещании мистера Кейсобона еще не дошли до Ладислава: вокруг роспуска парламента и предстоящих выборов поднялся такой же шум и гам, какой разводили в старину на ярмарках бродячие актеры, норовя переманить к себе побольше зрителей, и почти полностью заглушил пересуды о частных делах. Не за горами были знаменитые «сухие выборы», на которых предполагалось в обратной пропорции оценить глубины общественного сознания уровнем спро-

са на спиртное. Уилл Ладислав находился в гуще событий, и, хотя его не оставляла мысль об изменившемся положении Доротеи, он ни с кем не собирался обсуждать этот предмет, и когда Лидгейт попробовал рассказать ему о новостях в Лоуикском приходе, довольно раздраженно ответил:

— Какое мне до всего этого дело? Я не вижусь с миссис Кейсобон и едва ли увижусь, поскольку она живет теперь во Фрешите, где я никогда не бываю. Фрешит — логово тори, и я со своей газетой там не более желанный гость, чем браконьер с ружьем.

Уилл стал еще обидчивее после того, как заметил, что мистер Брук, прежде чуть ли не насильно старавшийся затащить его в Типтон-Грейндж, теперь, казалось, норовил устроиться так, чтобы Уилл бывал там как можно реже. Этим хитроумным маневром мистер Брук откликнулся на упреки сэра Джеймса Четтема, и чувствительный к малейшим новшествам такого рода Уилл тут же сделал вывод, что его не допускают в Типтон из-за Доротеи. Стало быть, ее родные относятся к нему с недоверием? Их опасения совершенно напрасны; они глубоко ошибаются, если вообразили его себе в роли нищего проходимца, пытающегося

завоевать расположение богатой вдовы.

До сих пор Уилл не очень ясно себе представлял, какая пропасть отделяет его от Доротеи, — он понял это в полной мере, лишь подойдя к ее краю и увидев Доротею на той стороне. Задетый за живое, он уже подумывал, не уехать ли ему из здешних мест: ведь любая его попытка сблизиться с Доротеей непременно будет истолкована нелестным для него образом, и, возможно, даже сама Доротея, если ее близкие станут чернить его, отнесется к нему с подозрением.

«Мы разделены навеки, — решил Уилл. — С тем же успехом я мог остаться в Риме: она не была бы дальше от меня». Но нередко то, что мы принимаем за безысходность, — на деле оказывается жаждой надежды. У Ладислава тут же выискалось множество причин не уезжать — его гражданская совесть не могла ему позволить уехать в столь критическую минуту, покинув в беде мистера Брука, которого надлежало «натаскать» перед выборами, не говоря уж о том, что Ладиславу предстояло вести прямым и косвенным путем агитацию избирателей. Он отнюдь не собирался выходить из игры в ее разгаре, когда исход борьбы мог решить каждый кандидат, даже столь легкомысленный и легковесный, каким бывает только

настоящий джентльмен. Как следует вышколить мистера Брука и внушить ему, что его обязанность состоит в том, чтобы проголосовать за билль о реформе, а не в том, чтобы доказать свою независимость и право когда угодно удалиться от дел, было нелегкой задачей. Предсказание мистера Фербратера насчет «запасного» четвертого кандидата еще не сбылось, поскольку ни «Общество по выдвижению кандидатов в парламент», ни какая-либо другая коалиция, стремящаяся обеспечить партии реформистов большинство, не считала нужным вмешиваться, пока у реформистов в качестве второго кандидата числился мистер Брук, готовый лично взять на себя траты, необходимые для его избрания. Так что борьба пока шла лишь между бывшим депутатом тори, Пинкертоном, нынешним депутатом вигов Бэгстером, прошедшим в парламент на последних выборах, и будущим независимым депутатом Бруком, согласившимся связать себя только на сей раз. Мистер Хоули и его партия не пожалеют сил, чтобы добиться избрания Пинкертона, и мистер Брук мог рассчитывать на успех, либо если все, кто может голосовать и за него и за Бэгстера, отдадут голоса только ему, либо если все сторонники тори переметнутся к реформистам.

Последнее, разумеется, было предпочтительнее.

Идея переманить противников в свой лагерь представлялась мистеру Бруку необычайно заманчивой, а его уверенность, что на людей с неопределенными взглядами лучше всего действуют неопределенные обещания, и его склонность то и дело менять свои взгляды на диаметрально противоположные доставляли Уиллу Ладиславу немало хлопот.

— В таких делах нужна тактичность, — говорил мистер Брук. — Людям следует идти навстречу, проявлять терпимость, говорить что-нибудь вроде: «да, конечно, в этом что-то есть» и тому подобное. Я согласен с вами — наш случай особый — народ выразил свою волю… политические союзы… и так далее… но, право же, мы порой слишком все обостряем, Ладислав. К примеру, наниматели, платящие по десять фунтов[174], — почему именно по десять? Где-то надо провести черту — согласен, но почему на десяти? Это вовсе не такой простой вопрос, как кажется.

— Ну конечно, — нетерпеливо ответил Уилл. — Однако если вы будете добиваться последова-

**[174] Примечания: 174**

Законопроект об избирательной реформе предусматривал распространение избирательного права в городах на нанимателей домов, платящих не менее десяти фунтов в год.

тельной реформы, жители Мидлмарча сочтут вас бунтовщиком и едва ли за вас проголосуют. Если же вам угодно балансировать между вигами и тори, сейчас для этого не время.

В конце каждого спора мистер Брук соглашался с Ладиславом, который ему представлялся подобием Берка с закваской Шелли, но спустя некоторое время избранный им путь снова казался ему самым многообещающим и мудрым. Он был в отличном настроении, и его не останавливала даже угроза крупных расходов; его умение властвовать умами было испытано пока лишь на собрании, где ему пришлось быть председателем и объявлять ораторов; а также в беседе с местным избирателем, в результате которой мистер Брук уверился, что он прирожденный тактик и, к сожалению, слишком поздно нашел свое призвание. Он, правда, не чувствовал себя столь победительно после диалога с мистером Момси, главным представителем сословия лавочников, величайшей общественной силы Мидлмарча, и, разумеется, одним из самых ненадежных избирателей в городе, желающим снабжать чаем и сахаром в равной степени как сторонников, так и противников реформы, пребывая с теми и с другими в состоянии бескорыстной дружбы, и, подобно

избирателям минувших веков, ощущающим, что обязанность выдвигать депутатов — тяжкое бремя, ибо даже если ты и можешь до определенной поры обнадеживать все партии, то рано или поздно возникает прискорбная необходимость огорчить кого-нибудь из своих постоянных клиентов. Мистер Момси привык получать большие заказы от мистера Брука из Типтона, однако и среди сторонников Пинкертона было немало таких, чье мнение представлялось ему особенно веским при воспоминании о количестве отвешиваемых им колониальных товаров. Мистер Момси, рассудив, что мистер Брук, будучи «не особо мозговитым», не станет гневаться на бакалейщика, который под давлением обстоятельств отдаст голос за его противника, разоткровенничался с этим джентльменом, сидя в примыкающей к лавке гостиной.

— Касательно этой реформы, сэр, взгляните на нее в семейном свете, — говорил он, приветливо улыбаясь и позвякивая мелочью в кармане. — Поддержит она миссис Момси и поможет ей вырастить шестерых ребятишек, когда меня не станет? Я вас спрашиваю для проформы, я-то знаю, каков ответ. Отлично, сэр. Так вот скажите, что я должен делать как муж и как отец, когда ко

мне приходят господа и говорят: «Поступайте, как вам вздумается, Момси, но, ежели вы подадите голос против нас, я стану покупать колониальные товары в другой лавке: мне нравится думать, когда я сыплю сахар в грог, что я оказываю пользу родине, поддерживая торговцев честного направления». Эти самые слова мне были сказаны, сэр, в том самом кресле, в котором вы сейчас сидите. Разумеется, не ваша милость говорила мне такое, мистер Брук.

— Ну конечно, ну конечно! Что за мелочность! Пока мой дворецкий не пожалуется на качество ваших товаров, мистер Момси, — успокоительно произнес мистер Брук, — пока он мне не скажет, что вы прислали скверный сахар, пряности… что-нибудь в этом роде, я не отдам ему распоряжения делать заказы в другой лавке.

— Ваш покорный слуга, сэр, и премного вам обязан, — сказал мистер Момси, чувствуя, что политические горизонты несколько прояснились. — Приятно отдать голос за джентльмена, рассуждающего так благородно.

— Что ж, знаете ли, мистер Момси, вы не раскаетесь, если примкнете к нашей партии. Мало-помалу реформа коснется всех… от нее никому не уйти… она, знаете ли, вроде азбуки…

если не начать с нее, то не будет и всего остального. Я ничуть не возражаю против того, что вы смотрите на дело в семейном свете, но возьмем общественное благо. Все мы, знаете ли, одна семья, все связаны между собой. Вот, скажем, выборы: а вдруг они принесут пользу жителям Капштадта? Ведь никто не знает, какое действие могут произвести выборы, — заключил мистер Брук, чувствуя, что несколько зарапортовался, и тем не менее от души наслаждаясь. Однако мистер Момси возразил ему весьма решительно:

— Прошу прощения, сэр, но этого я не могу себе позволить. Когда я отдаю свой голос, я должен знать, что делаю, должен знать, какое действие, простите великодушно, это произведет на мою кассу и счетную книгу. О ценах что говорить, их никогда не угадаешь. Покупаешь скоропортящийся товар по существующей цене, а цена вдруг падает… я в таких случаях не допытываюсь, отчего да почему, принимаю как должное — не возносись, мол. Но что касается одной семьи, так ведь всегда, надеюсь, есть должник и кредитор, и никакой реформе этого не отменить, иначе я подам свой голос за то, чтобы все оставалось как прежде. Не много сыщется людей, которым так мало, как мне, нужны перемены, то есть мне

лично — для меня и для моей семьи. Я не из тех, которым нечего терять, я семьянин и уважаемый прихожанин, и опять же этакий покупатель, как ваша милость, вы ведь изволили мне обещать, что, за кого бы я ни отдал свой голос, вы от меня не откажетесь, лишь бы товар был хорош.

После этого обмена мнениями мистер Момси поднялся наверх и похвастал жене, что мистеру Бруку из Типтона с ним не сладить и что он теперь не прочь принять участие в голосовании.

Мистер Брук после этой беседы не стал хвастать перед Ладиславом своими тактическими дарованиями, а тот рад был уверить себя, что его участие в обработке избирателей ограничивается чисто теоретической деятельностью и он не спускается ниже таких высот, как подготовка фактов для предстоящей дискуссии. Разумеется, у мистера Брука имелись агенты, отлично понимавшие, что представляет собой мидлмарчский избиратель и какие средства надо пустить в ход, дабы использовать его невежество на благо реформы, — средства, удивительно похожие на те, которые пускали в ход противники реформы. Уилл не обращал на все это внимания. В нашей жизни ничего нельзя сделать, не только выдвигать кандидатов в парламент, но даже вкушать

пищу и одеваться, если слишком уж раздумывать о том, каким образом ты осуществляешь эти процессы. Чтобы делать грязные дела, существуют люди с грязными руками. Уилл уверил себя, что его роль в выдвижении мистера Брука безупречна.

Зато весьма сомнительным представлялся ему успех на поприще, избранном им для осуществления правого дела. Он писал речи и памятные записки для речей, но ему становилось все яснее, что мистер Брук, оказавшись перед необходимостью проследить ход какой-либо мысли, непременно сбивался со следа, бросался разыскивать утерянный след, после чего с большим трудом находил обратную дорогу. Служить родине, собирая различные документы, — одно, а запоминать содержание этих документов — совсем другое. Нет уж! Заставить мистера Брука вспомнить нужные доводы в нужный момент можно было, лишь заталкивая эти доводы ему в голову столь усердно, чтобы ничего другого она не могла вместить. Но куда их затолкнуть, если голова мистера Брука и без того забита всякой всячиной? Мистер Брук и сам замечал, что, когда он выступает с речами, ему несколько мешают идеи.

Впрочем, репетиторской деятельности Ладислава предстояла в ближайшее время проверка, ибо накануне дня выдвижения кандидатов мистер Брук должен был держать речь перед достопочтенными избирателями Мидлмарча с балкона «Белого оленя», откуда открывался обширный вид на край рыночной площади и перекресток. Стояло чудесное майское утро, и, казалось, многое внушало надежду: забрезжила перспектива дружественных отношений между комитетом Бэгстера и комитетом Брука, причем мистер Булстрод, мистер Стэндиш, либеральный адвокат, и такие фабриканты, как мистер Плимдейл и мистер Винси, придавали этому альянсу прочность, почти достаточную для того, чтобы противостоять мистеру Хоули с союзниками, обосновавшимися в «Зеленом драконе». Мистер Брук, довольный тем, что ему удалось приглушить негодующий рев «Рупора» преобразованиями, произведенными им за последние полгода у себя в поместье, и уловивший при въезде в город несколько приветственных кликов, почувствовал, что его сердце забилось бодрее под бледно-желтым жилетом. Но при критических обстоятельствах мы зачастую обнаруживаем счастливую способность забывать все, что проис-

ходило ранее чем минуту назад.

— Дела идут недурно, э? — говорил мистер Брук, поглядывая на собиравшуюся толпу. — По крайней мере, на публику я пожаловаться не могу. Право же, это приятно — выступать перед собственными, знаете ли, соседями.

Ткачи и кожевники Мидлмарча, в отличие от мистера Момси, не считали мистера Брука своим соседом и испытывали к нему не больше привязанности, чем если бы он только сию минуту был прислан к ним из Лондона в посылке. Впрочем, они довольно благосклонно выслушали ораторов, представлявших им кандидата, хотя один из них — политический деятель из Брассинга, прибывший сообщить обитателям Мидлмарча, в чем заключается их долг, — произнес речь столь пространную, что она вызвала опасения, удастся ли кандидату что-нибудь к ней добавить. Тем временем толпа становилась гуще, и когда деятель завершал свою речь, мистер Брук, который по-прежнему вертел в руках очки, перебирал лежавшие перед ним бумаги и переговаривался с членами комитета с видом человека, которого не страшит приближающееся испытание, вдруг утратил всю свою уверенность.

— Я выпью еще рюмку хереса, Ладислав, — с

беззаботным видом обратился он к Уиллу, который стоял у него за спиной и тут же вручил ему сей бодрящий напиток. Это было ошибкой, ибо вторая рюмка хереса, последовавшая вскоре после первой, оказала сильное воздействие на организм мистера Брука, всегда воздержанного в питье, и вместо того, чтобы сосредоточить его силы, распылила их. Посочувствуем ему: сколько английских джентльменов тяжко страждут, витийствуя по поводу сугубо частных дел! А ведь мистер Брук желал служить отечеству, войдя в парламент, что, впрочем, также могло бы остаться его сугубо частным делом, если бы, вступив однажды на этот путь, он не обязал себя витийствовать при любых обстоятельствах.

Начало речи не тревожило мистера Брука; он не сомневался, что здесь все будет хорошо, со вступлением он справится шутя, выпалит его гладко, как стихотворную цитату из Попа. Отчалить от берега будет несложно, но его страшило плавание в открытом море.

«А вопросы? — напомнил бес, внезапно шевельнувшийся где-то под ложечкой. — Кто-нибудь может спросить о программе».

— Ладислав, — вслух произнес мистер Брук. — Дайте-ка мне заметки по поводу нашей про-

граммы.

Когда мистер Брук явился на балконе, гул приветствий прозвучал ничуть не тише, чем вопли, крики, рев и прочие проявления несогласия, оказавшиеся столь умеренными, что мистер Стэндиш (стреляный воробей) шепнул на ухо соседу: «Скверный признак, черт побери! Хоули наверняка приготовил какую-то каверзу». Впрочем, приветствия всегда приятны, и ободренный мистер Брук выглядел образцовым кандидатом, когда, с торчавшими из нагрудного кармана заметками, поигрывал очками правой рукой, а левой опирался на перила. Особенно неотразимы были бледно-желтый жилет, коротко остриженные светлые волосы и непроницаемое выражение лица. Он начал не без бойкости:

— Джентльмены… избиратели Мидлмарча!

Начало оказалось столь удачным, что небольшая пауза напрашивалась сама собой.

— Я невероятно рад, что стою здесь… ни разу в жизни не был я так горд и счастлив… так счастлив, знаете ли.

Дерзко употребленный мистером Бруком ораторский прием таил в себе опасность: вступление, которое он собирался выпалить играючи, вдруг завязло, ведь даже цитата из Попа может,

«ускользая, раствориться», если нас снедает страх и лишняя рюмочка хереса как дымок окутывает мысли. Ладислав, стоявший за его спиною у окна, подумал: «Сорвалось. Теперь одна надежда: рывок не вышел, так, может быть, выберется хоть ползком». А тем временем мистер Брук, растеряв все прочие путеводные нити, обратился к собственной особе и ее талантам — предмет и выигрышный, и уместный в речи любого кандидата.

— Я ваш близкий сосед, добрые друзья мои… известен вам как судья… я неизменно занят общественными вопросами… например, возьмем машины и следует ли их ломать… многие из вас работают с машинами, и в последнее время я занимался этим предметом. Машины, знаете ли, ломать не стоит: пусть все развивается — ремесла, промышленность, коммерция, обмен товарами… и тому подобное… с времен Адама Смита все это должно развиваться. Взглянем на глобус. «Взгляд наблюдателя, не зная преград, должен охватить все, от Китая до Перу»[175], — сказал кто-то там,

**[175] Примечания: 175**

Имеется в виду строка из стихотворения Сэмюела Джонсона «Тщета человеческих желаний».

по-моему, Джонсон… «Рассеянный»[176], знаете ли. Я это в каких-то пределах осуществил… правда, до Перу не добрался… но за границу все же ездил… иначе нельзя. Я побывал в Леванте, куда мы посылаем кое-что, производимое в Мидлмарче… ну, и опять же на Балтийском море. На Балтийском, да.

Так, блуждая среди воспоминаний, мистер Брук, быть может, благополучно воротился бы из далеких морей к собственной особе, если бы не дьявольская выходка его неприятелей. В один и тот же миг ярдах в десяти от мистера Брука и почти напротив него поднялось над толпой чучело намалеванного на тряпке оратора: светло-желтый жилет, очки, непроницаемое выражение лица; и тут же воздух огласили повторяемые голосом Панча слова, которые произносил мистер Брук. Все посмотрели на открытые окна в домах, расположенных против балкона: одни были пусты, в других виднелись смеющиеся лица слушателей. Повторенные даже без злого умысла слова оратора, выступающего с жаром, непременно звучат издевательски; здесь же, без сомнения, наличествовал злой умысел — неви-

---

**[176] Примечания: 176**

*«Рассеянный»* — журнал, издававшийся Джонсоном.

димый насмешник либо повторял за мистером Бруком каждое слово, либо норовил выбрать из речи что-нибудь посмешней. То здесь, то там слышался смех, и когда голос выкрикнул: «На Балтийском, да», все слушатели разразились дружным хохотом, и, если бы членов комитета не удерживало чувство солидарности и преданность великому делу, символом которого волей судеб стал «Брук из Типтона», они, возможно, засмеялись бы тоже. Мистер Булстрод возмущенно спросил, чем занята полиция, но голос за шиворот не схватишь, а попытка изловить чучело кандидата была небезопасной, ибо, возможно, как раз этого и добивался Хоули.

Что до оратора, он не мог осознать ничего, кроме того, что мысли от него куда-то ускользают: у него даже немного шумело в ушах, и, единственный из всех присутствующих, он так и не расслышал вторивший ему голос и не заметил своего изображения. Не много сыщется эмоций, поглощающих нас столь же безраздельно, как волнение по поводу того, что мы собираемся сказать. Мистер Брук слышал смех, но он был готов к тому, что тори затеют во время его речи суматоху, к тому же его будоражило и отвлекало в этот миг радостное предчувствие: казалось, затерявшееся

в начале речи вступление вот-вот готово воротиться и вызволить его из балтийских морей.

— Это напоминает мне, — продолжил мистер Брук, с непринужденным видом засовывая в карман руку, — если бы я, знаете ли, нуждался в прецеденте… но когда ты прав, прецеденты не нужны, впрочем, возьмем Чэтема[177], не могу утверждать, что я стал бы поддерживать Чэтема или Питта… Питта Младшего… он не был человек с идеями, а нам, знаете ли, нужны идеи.

— К черту идеи! Нам нужен билль, — выкрикнул в толпе грубый голос.

И тотчас же невидимый Панч, до тех пор копировавший мистера Брука, повторил: «К черту идеи! Нам нужен билль». Публика расхохоталась еще громче, а мистер Брук, прервавший в этот миг свою речь, наконец-то расслышал давно уже вторившее ему эхо. Но поскольку оно передразнивало того, кто его перебил, и ввиду этого казалось дружественным, он учтиво отозвался:

— Вы не так уж неправы, мой добрый друг, мы ведь и встретились для того, чтобы поговорить

---

**[177] Примечания: 177**

Имеется в виду английский государственный деятель, лидер партии вигов Питт Старший барон Чэтем (1718 — 1778). Его сын, Уильям Питт Младший (1759 — 1806), возглавлял новых тори и неоднократно занимал пост премьер-министра.

откровенно… Свобода мнений, свобода печати, свобода… в этом роде, да? Что касается билля, то вы получите билль. — Тут мистер Брук, замолкнув на мгновение, надел очки и вытащил из нагрудного кармана заметки жестом делового человека, намеренного перейти к подробностям. Панч подхватил:

— Вы получите билль, мистер Брук, путем предвыборной обработки избирателей, и место за пределами парламента получите, а с вас позвольте получить круглую сумму — пять тысяч фунтов семь шиллингов и четыре пенса.

Грянул дружный хохот, а мистер Брук, побагровев, уронил очки, растерянно огляделся и увидел наконец чучело, продвинувшееся ближе к балкону. Затем он увидел, что оно самым плачевным образом замарано яйцами. Мистер Брук, вспылив, ощутил подъем душевных сил и поднял голос:

— Шутовские выходки, проказы, издевательства над преданностью истине… все это прекрасно. — Тут тухлое яйцо угодило в плечо мистеру Бруку, а голос повторил: «Все это прекрасно», после чего яйца посыпались градом, нацеленные по большей части в чучело, но иногда, как бы случайно, попадая и в оригинал. В толпе сновало множество никому не известных людей,

свист, вопли, рев, завывание дудок слились в невообразимый шум, еще более оглушительный из-за криков тех, кто пробовал унять смутьянов. Перекричать такой шум было решительно невозможно, и мистер Брук капитулировал. Поражение казалось бы не столь досадным, если бы вся баталия не выглядела как ребяческая шалость. Грозное нападение, в результате которого репортер мог бы сообщить читателям об «опасности, коей подверглись ребра высокоученого джентльмена», или почтительнейше засвидетельствовать, что над «перилами мелькнули подметки башмаков этого джентльмена», быть может, оказалось бы менее огорчительным.

Мистер Брук, вернувшись в комнату, где собрались члены комитета, небрежно произнес:

— Довольно неудачно вышло, знаете ли. Мало-помалу я завладел бы вниманием слушателей… но попросту не успел. Я подобрался бы и к биллю, — добавил он, взглянув на Ладислава. — Впрочем, в день выдвижения кандидата все наладится.

Но члены комитета не были убеждены, что все наладится; наоборот, они имели вид довольно мрачный, а политический деятель из Брассинга что-то бойко строчил, словно строил уже новые

планы.

— Это штучки Боуера, — уклончиво заявил мистер Стэндиш. — Уверен в этом столь же твердо, как если бы его имя было напечатано на афише. Боуер — великий мастер чревовещания и, черт побери, проявил сейчас незаурядное мастерство! Хоули недавно угощал его обедом: у Боуера множество всяких талантов.

— Вы, Стэндиш, знаете ли, никогда не говорили мне о нем, не то я тоже пригласил бы его обедать, — сказал бедный мистер Брук, то и дело ради блага родины приглашавший к себе кого-нибудь отобедать.

— Во всем Мидлмарче не найти такого ничтожества, как Боуер, — негодующе сказал Ладислав, — но, кажется, у нас все зависит от ничтожеств.

Уилл, порядком разгневанный и на себя и на патрона, ушел домой и заперся, всерьез подумывая распрощаться с «Пионером», а заодно и с мистером Бруком. Что его удерживает тут? Если ему суждено уничтожить непреодолимую пропасть между собой и Доротеей, то лишь уехав из Мидлмарча и добившись совсем иного положения, а отнюдь не прозябая в этом городишке, где, как прислужник Брука, он пользуется все

большим и большим презрением… и по заслугам. Затем он принялся мечтать об успехах, которых достигнет… ну, скажем, через пять лет: сейчас, когда общественная деятельность становится все популярней и распространяется по всей стране, умение говорить речи и писать статьи на политические темы приобретает большую ценность, и он сможет завоевать высокое положение в свете, уравнявшись с Доротеей. Пять лет… если бы только знать, что для нее он — не то что другие, если бы как-нибудь дать ей понять, что он устраняется лишь до тех пор, пока не сможет рассказать ей о своей любви, не унижая себя. О, тогда бы ему ничего не стоило уехать и сделать карьеру, представлявшуюся вполне осуществимой в двадцать пять лет, когда не возникает сомнений, что талант влечет за собой славу, а слава — восхитительнейшее из житейских благ. Он недурно говорит и пишет; какое бы поприще он ни избрал, он преуспеет на нем и, уж разумеется, употребит весь свой пыл только ради торжества здравого смысла и справедливости. И так ли уж невероятно, что в один прекрасный день он вознесется над простыми смертными, чувствуя себя вполне достойным этого? Без сомнения, ему следует покинуть Мидлмарч, отправиться в столицу

и, изучив юриспруденцию, обрести славу.

Только не тотчас: сперва необходимо как-то известить о своих намерениях Доротею. Ему не будет покоя, пока она не поймет, почему он не мог бы на ней жениться, даже если бы оказался ее избранником. А до этих пор он останется на месте и еще некоторое время будет терпеть мистера Брука.

Но вскоре у него появились основания подозревать, что мистер Брук готов предупредить его намерение. Глас народа и внутренний голос, слившись воедино, побудили этого филантропа принять ради блага человечества более решительные меры, чем обычно, а именно — отказаться от борьбы в пользу другого кандидата, передав последнему все средства, коими он пользовался в борьбе за голоса. Мистер Брук сам назвал эту меру решительной, но при этом добавил, что его организм оказался более чувствительным к волнениям, чем он представлял себе вначале.

— У меня возникло неприятное ощущение в груди… следует быть поосторожней, — сказал он, объясняя Ладиславу положение дел. — Я должен вовремя остановиться. Пример бедняги Кейсобона — это, знаете ли, предупреждение. Порой я двигался тяжеловесно, однако проложил

дорогу. Нелегкая это работа — бороться за голоса избирателей, верно, Ладислав? Полагаю, она вам надоела. Впрочем, наш «Пионер» подготовил почву… указал, в каком направлении надо двигаться, и тому подобное. Теперь и более заурядный человек, чем вы, мог бы продолжить вашу работу… более заурядный, знаете ли.

— Вам угодно, чтобы я отказался от места? — вспыхнув, сказал Уилл, вскочил из-за стола и сделал несколько шагов, держа руки в карманах. — Я готов уйти, как только вы пожелаете.

— Что касается моих лично желаний, дорогой Ладислав, то я, знаете ли, придерживаюсь самого лестного мнения о ваших способностях. А вот по поводу «Пионера» у меня состоялся разговор кое с кем из наших приверженцев, и они склонны взять газету в свои руки… в известной мере, компенсировав мне это… иными словами, они намерены сами заняться «Пионером». А при таком обороте дела вы, возможно, предпочтете оставить работу в газете… приискать более подходящее поле деятельности. Эти люди, может быть, не оценят вас в такой степени, в какой всегда ценил вас я, почитая своим alter ego, правой рукой… хотя я никогда не сомневался, что вас ждет иная деятельность. Я собираюсь во Францию. Но

я вам напишу всевозможные рекомендательные письма… к Олторпу[178], к кому угодно. Я знаком с Олторпом.

— Чрезвычайно вам обязан, — гордо ответил Ладислав. — Коль скоро вы расстаетесь с «Пионером», не стану утруждать вас заботой о моих дальнейших действиях. Возможно, я предпочту остаться тут еще на некоторое время.

Когда мистер Брук ушел, Уилл подумал: «Родственники, как видно, требуют, чтобы он отделался от меня, и он уже не стремится меня удержать. Я пробуду здесь так долго, как сумею. Уеду же, когда мне вздумается, и вовсе не потому, что они меня испугались».

**[178] Примечания: 178**

*Олторп Джон Чарлз Спенсер*, виконт (1782 — 1845) — английский государственный деятель, в описываемую эпоху канцлер казначейства и спикер палаты общин, активный сторонник избирательной реформы.

## Глава LII

*И не было столь низкого служенья,*
*Чтоб сердцу этому казалось низко.*

***Уильям Вордсворт***

В этот июньский вечер, когда мистер Фербратер объявил своим домашним, что ему предложили Лоуикский приход, все сияло счастьем в старомодной гостиной и даже знаменитые юристы на портретах имели довольный вид. Матушка мистера Фербратера не притронулась ни к чаю, ни к тостам и, сохраняя всегдашнюю грациозную сдержанность манер, а свое волнение обнаруживая только румянцем и блеском глаз, внезапно делающими старую женщину такой, какой она бывала в юности, с убеждением сказала:

— Мне особенно приятно, Кэмден, что ты это заслужил.

— Когда человеку достается хорошее место, матушка, все его заслуги еще впереди, — ответил сын, не пытаясь скрыть ликования. Радость, сиявшая на его лице, была столь выразительной, что, казалось, выставляла напоказ и его внутренний мир: не только восторженное состояние души, но

даже мысли как бы читались в его взгляде.

— Теперь уж, тетушка, — продолжал он, потирая руки и переводя взгляд на мисс Ноубл, что-то негромко попискивавшую про себя, — на столе у нас всегда найдутся леденцы, которые вы будете утаивать для детишек, и вы сможете раздаривать великое множество новых чулок и еще усерднее штопать свои собственные.

Мисс Ноубл кивнула племяннику с приглушенным робким смешком, ибо в честь полученного им назначения уже смахнула в корзиночку лишний кусок сахара.

— Что касается тебя, Уинни, — говорил священник, — я не стану препятствовать твоему браку с любым из лоуикских холостяков, например, с мистером Соломоном Фезерстоуном, если окажется, что ты в него влюблена.

Мисс Уинифред, которая весь вечер смотрела на брата, как всегда на радостях плача от души, сквозь слезы улыбнулась и сказала:

— Ты должен показать мне пример, Кэм: это тебе теперь нужно жениться.

— С удовольствием. Но кто же влюбится в меня? Я такой неказистый и старый, — сказал священник, встав, отодвигая стул и окидывая себя взглядом. — Как по-вашему, матушка?

— Ты красивый мужчина, Кэмден, хоть и не такой представительный, как твой отец, — ответила старая дама.

— Я бы хотела, чтобы ты женился на мисс Гарт, братец, — сказала мисс Уинифред. — Нам так весело жилось бы с нею в Лоуике.

— Вот прекрасно! По-твоему, выходит, невест можно выбирать, как кур на рынке, стоит мне вымолвить слово, и любая согласится, — сказал мистер Фербратер, не называя той, кого ему прочили в невесты.

— Нам любая не нужна, — сказала мисс Уинифред. — Но вы-то, матушка, вы были бы довольны, если бы он женился на мисс Гарт, ведь верно?

— Я всегда одобрю выбор сына, — с величавой скромностью произнесла миссис Фербратер, — и буду очень рада твоей женитьбе, Кэмден. Когда мы переедем в Лоуик, тебе придется дома играть в вист, а Генриетта Ноубл — игрок никудышный. (Миссис Фербратер всегда именовала так торжественно свою миниатюрную сестру.)

— Я обойдусь теперь без виста, матушка.

— Чего ради, Кэмден? В мое время вист не считался предосудительным развлечением для духовных лиц, — довольно резко возразила мис-

сис Фербратер, не ведавшая, какое значение имеет в жизни ее сына вист, и не одобрявшая новых веяний.

— Мне теперь некогда играть, у меня будет два прихода, — сказал священник, уклоняясь от обсуждения достоинств этой игры.

Он уже сказал по этому поводу Доротее:

— Я не считаю себя обязанным отказываться от прихода святого Ботольфа, но возьму в тот приход младшего священника, который будет получать большую часть денег. Так я выражу свое согласие с теми, кто требует, чтобы одно духовное лицо не занимало нескольких мест. Главное — не отказываться от духовной власти, а добросовестно использовать ее.

— Я об этом думала, — сказала Доротея. — Если бы речь шла только обо мне, то мне легче отказаться и от власти и от денег, чем сохранять их. Мне кажется, я совершенно недостойна права назначать священника, и в то же время я чувствую, что не должна передавать это право другим, коль скоро оно мне поручено.

— Это уж моя обязанность поступать так, чтобы вы не раскаялись в том, как осуществили свое право, — сказал мистер Фербратер.

Он принадлежал к тем людям, чья совесть

становится более чуткой, когда тяготы жизни перестают их терзать. Не выставляя напоказ свое раскаяние, он устыдился в глубине души, что вел себя менее достойно, чем иные миряне.

— Я не раз сожалел, что сделался священником, — сказал он как-то Лидгейту, — но, наверное, лучше не сожалеть, а постараться быть хорошим священником. Вот как просто все становится, когда получаешь богатый приход, — добавил он с улыбкой.

Говоря это, мистер Фербратер полагал, что исполнение долга не окажется обременительным. Однако Долг любит подсовывать неожиданные сюрпризы, он похож на нескладеху приятеля, которого любезно пригласили в гости, а он вдруг сломал ногу, входя в ворота.

Не прошло и недели, как Долг нагрянул к нему в кабинет, приняв личину Фреда Винси, только что возвратившегося домой со степенью бакалавра.

— Неловко вас беспокоить, мистер Фербратер, — сказал Фред, и на его красивом открытом лице появилось трогательно смущенное выражение, — но вы единственный из моих друзей, с кем я мог бы посоветоваться. Как-то я уже делился с вами своими сомнениями, и вы были так добры, что я не удержался и пришел к вам снова.

— Садитесь и рассказывайте, Фред, я сделаю все, что в моих силах, — сказал священник и продолжал, готовясь к переезду, упаковывать в свертки разные вещицы.

— Я хотел вам сказать… — Фред замялся, потом решительно продолжил: — Я могу сейчас принять сан, и, говоря по правде, ничего другого мне не остается. У меня нет охоты стать священником, но было бы жестоко сказать об этом отцу, после того как он потратил столько денег на мое образование. — Фред опять немного помолчал и повторил: — Ничего другого мне не остается.

— А я ведь уже разговаривал по этому поводу с вашим отцом, Фред, но разговор ни к чему не привел. По его мнению, менять что-нибудь поздно. Впрочем, одну преграду вы уже преодолели. Что еще вас беспокоит?

— Да просто то, что мне это не по душе. Я не люблю богословия, проповедей, не люблю напускать на себя серьезный вид. Мне нравится ездить верхом и делать то же, что и все другие. Это совсем не значит, что меня тянет к недозволенным вещам, но быть таким, как полагается священнику, у меня нет желания. Ну а что же мне остается еще? Я бы занялся сельским хозяйством, но отец не может выделить мне капитал. Сделать

меня своим компаньоном он тоже не может. И уж конечно, мне нельзя сейчас начинать учиться сызнова, чтобы стать адвокатом или врачом, так как отец считает, что мне уже пора хоть что-нибудь зарабатывать. Легко, конечно, говорить, что, мол, не следует мне идти в священники; с тем же успехом мне могут посоветовать уйти в лес и жить среди зверей.

Голос Фреда звучал ворчливо и обиженно, и мистер Фербратер не удержался бы от улыбки, если бы не старался угадать, о чем умалчивает Фред.

— Вы в чем-нибудь не согласны с догматами… с нашим символом веры? — спросил он, добросовестно пытаясь выяснить, что беспокоит его гостя.

— Нет, символ веры тут ни при чем. Куда уж мне опровергать его, когда люди гораздо ученее и умнее меня целиком с ним согласны. По-моему, с моей стороны было бы довольно глупо высказывать разные сомнения, какой же я судья в таких делах, — простодушно ответил Фред.

— Если так, то вам, наверно, приходило в голову, что, даже не ощущая особого призвания, вы могли бы стать хорошим приходским священником?

— Конечно, если мне придется быть священни-

ком, я постараюсь исполнять свои обязанности честно, хотя они едва ли будут мне по нраву. Вы считаете это достойным осуждения?

— То, что вы примете сан под давлением обстоятельств? Это зависит от вашей совести, Фред… от того, насколько вы все взвесили и ясно ли себе представили, чего от вас потребует ваше положение. О себе могу только сказать, что я был небезупречен, и это меня удручает.

— Но есть еще одно препятствие, — краснея, продолжал Фред. — Я об этом раньше не рассказывал, но вы, может быть, догадались, я иногда, наверное, проговаривался. Мне очень нравится одна девушка, я люблю ее с детства.

— Мисс Гарт, я думаю? — спросил священник, очень внимательно разглядывая какие-то ярлычки.

— Да, она. Если бы Мэри вышла за меня, я бы на все согласился. И я знаю, с ней я стал бы порядочным человеком.

— Так вы полагаете, что она отвечает вам взаимностью?

— Она никогда этого сама не скажет; а с меня уже давно взяла слово, что я больше не буду с ней разговаривать на эту тему. Так вот Мэри-то больше всех настроена против того, чтобы я сде-

лался священником, я это знаю. А я не могу от нее отказаться. Мне кажется, я ей по сердцу. Вчера вечером я видел миссис Гарт, и она сказала, что Мэри сейчас гостит в Лоуике у мисс Фербратер.

— Да, она любезно согласилась помочь моей сестре. Вы хотите поехать в Лоуик?

— Нет, но у меня к вам огромная просьба. Мне неловко вам докучать, но если вы коснетесь этого вопроса, вас-то Мэри, наверное, выслушает… словом, насчет того, идти ли мне в священники.

— Довольно щекотливое поручение вы мне даете, милый Фред. Оно предполагает, что мне известны ваши чувства, и в этом случае заговорить с мисс Гарт о вашем будущем — все равно что спросить ее, отвечает ли она вам взаимностью.

— Именно это мне и надо выяснить, — без обиняков подтвердил Фред. — Я ничего не смогу решить, пока не узнаю, как она ко мне относится.

— То есть от полученного вами ответа зависит, станете ли вы священником?

— Если Мэри скажет, что не пойдет за меня, кем бы я ни стал, из меня не выйдет толку.

— Глупости, Фред. Любовь проходит, а последствия опрометчивых решений остаются.

— Не такая любовь, как моя: сколько я себя пом-

ню, я всегда любил Мэри. Отказаться от надежды для меня все равно что вдруг сделаться безногим калекой.

— Не обидится ли мисс Гарт на мое непрошеное вмешательство?

— Не обидится, уверен, что не обидится. Вас она больше всех уважает, она не станет с вами, как со мной, переводить разговор на шутки. Мне бы и в голову не пришло ни к кому, кроме вас, обращаться с такими разговорами и просьбами. Ведь вы единственный наш общий добрый друг. — Фред немного помолчал и жалобно добавил: — Все-таки она не может не признать: я порядком потрудился, чтобы получить степень. Должна же она наконец почувствовать, что я всегда буду ради нее стараться, не жалея сил.

После недолгой паузы мистер Фербратер отложил в сторону готовые свертки и, протянув Фреду руку, сказал:

— Хорошо, мой мальчик. Я исполню вашу просьбу.

В тот же день мистер Фербратер отправился в Лоуик на недавно приобретенной лошадке. «Я замшелый старый пень, — думал он, — забивает меня молодая поросль».

Он нашел Мэри в саду, где она обрывала ле-

пестки роз и сбрызгивала их водой, разложив на простыне. Солнце клонилось к закату, и тень от высоких деревьев покрыла травянистые тропинки, по которым Мэри ходила без зонтика и шляпы. Не заметив мистера Фербратера, неслышно подошедшего по траве, она наклонилась, чтобы сделать выговор черному с рыжими подпалинами терьеру, который упорно забирался на простыню и нюхал сбрызнутые водой лепестки. Левой рукой взяв песика за передние лапы, она укоризненно грозила ему указательным пальцем правой, а он смущенно морщил лоб.

— Жучок, Жучок, мне стыдно за тебя, — строго выговаривала ему Мэри звучным низким голосом. — Умные собаки так себя не ведут: все подумают, что ты глупенький молодой джентльмен.

— Вы суровы к молодым джентльменам, мисс Гарт, — проговорил за ее спиной священник.

Мэри выпрямилась и покраснела.

— С Жучком иначе нельзя, — ответила она, смеясь.

— А с молодыми джентльменами можно?

— С некоторыми, наверное, можно, поскольку некоторые из них со временем превращаются в очень достойных людей.

— Рад, что вы это признаете, ибо я как раз собираюсь походатайствовать перед вами за одного молодого джентльмена.

— Надеюсь, не за глупого, — сказала Мэри, снова наклоняясь к розам, и ее сердце тревожно забилось.

— Нет, хотя главное его достоинство не мудрость, а искренность и любящее сердце. Впрочем, оба эти свойства даруют человеку больше мудрости, чем многие думают. Я полагаю, вы уже догадались по приметам, кто этот юноша?

— По-моему, да, — смело ответила Мэри, и руки у нее похолодели, а лицо стало серьезным, — мне кажется, это Фред Винси.

— Он попросил меня узнать, как бы вы отнеслись к тому, чтобы он стал священником? Надеюсь, вы не сочтете, что я позволил себе слишком многое, обещав выполнить его просьбу.

— Нет, что вы, мистер Фербратер, наоборот, — сказала Мэри, оставив наконец в покое розы и скрестив руки, но все еще не поднимая глаз, — всякий раз, когда вы со мной говорите, я радуюсь и чувствую себя польщенной.

— Однако прежде, чем мы приступим к обсуждению этой темы, я хотел коснуться одного вопроса, о котором мне сообщил по секрету ваш

батюшка — кстати, это случилось в тот самый вечер, когда я в прошлый раз исполнил просьбу Фреда, сразу же после того, как он уехал готовиться к экзамену. Мистер Гарт мне рассказал, что произошло в ту ночь, когда умер Фезерстоун… о том, как вы отказались сжечь завещание. Он сказал, что вас мучают угрызения совести, так как вы невольно помешали Фреду получить в наследство десять тысяч фунтов. По этому поводу я хочу вам сообщить одну вещь, которая, может быть, вас успокоит, убедив, что от вас не требуется искупительной жертвы.

Мистер Фербратер замолчал и посмотрел на Мэри. Он не собирался лишать Фреда ни малейших преимуществ, но, приступая к разговору с Мэри, считал, что и ее необходимо освободить от заблуждений, под влиянием которых иные женщины выходят замуж, считая, что таким образом они заглаживают свою вину перед будущим мужем, а сами делают его на всю жизнь несчастным. Мэри покраснела и не произнесла ни слова.

— Я хочу сказать, что ваш поступок не отразился на судьбе Фреда. Как я выяснил, предыдущее завещание не имеет силы, если последующее уничтожено. Его легко было оспорить, и это сделали бы наверняка. Так что вы можете не

тревожиться.

— Благодарю вас, мистер Фербратер, — взволнованно сказала Мэри, — я очень тронута вашей заботой.

— Ну, а теперь я могу продолжать. Фред, как вам известно, получил степень бакалавра. С этой задачей он справился, и таким образом возник вопрос, как он поступит далее? Его положение настолько сложно, что он готов послушаться отца и стать священником, хотя вам лучше, чем кому-либо, известно, как решительно он противился этому прежде. Я с ним побеседовал на эту тему и, признаюсь, не вижу непреодолимых препятствий к тому, чтобы он принял сан. Фред говорит, что он приложит все старания, чтобы как можно лучше выполнять свои обязанности, однако при одном условии. Если условие это окажется исполнимым, я помогу Фреду всем, что в моих силах. Спустя некоторое время — разумеется, не сразу — он может стать младшим священником в приходе святого Ботольфа, где у него найдется столько дел, что положенное ему жалованье будет немногим меньше того, которое я получал там как приходский священник. Но повторяю: есть одно условие, без соблюдения которого все эти блага не осуществятся. Он открыл мне свое

сердце, мисс Гарт, и просил походатайствовать за него перед вами. Выполнение этого условия полностью зависит от ваших чувств.

Мэри казалась столь взволнованной, что мистер Фербратер сказал: «Давайте немного пройдемся», — и когда они шли по дорожке, добавил:

— Попросту говоря, Фред не предпримет ничего, что помешает ему сохранить ваше расположение, зато, надеясь стать вашим мужем, он будет ревностно заниматься любым делом, к которому вы отнесетесь одобрительно.

— Я не могу обещать, мистер Фербратер, что выйду за него замуж, но одно я знаю твердо: если он станет священником, я не буду его женой. Все, что вы говорите, свидетельствует о вашем благородстве и доброте, я вовсе не собираюсь разубеждать вас. Но все девушки насмешницы, у нас свой, особенный подход, — добавила Мэри немного лукаво, отчего ее застенчивый ответ прозвучал еще милее.

— Он просит точно передать ему, что вы об этом думаете, — сказал мистер Фербратер.

— Я не могу любить того, кто смешон, — сказала Мэри, ограничиваясь лишь этим доводом. — У Фреда достаточно знаний и здравого смысла, чтобы создать себе доброе имя на каком-нибудь

мирском поприще, но стоит мне представить, как он читает проповедь, благословляет прихожан и наставляет их на путь истинный или молится у одра больного, и мне кажется, будто передо мной карикатура. Ведь священником он станет только ради положения в обществе, а по-моему, нет ничего более низкого, чем доказывать таким дурацким способом свое благородство. Я всегда так думала, когда глядела на мистера Кроуза, на его аккуратненький зонтик и ничтожное лицо и слушала его жеманные сентенции. Какое право имеет такой человек олицетворять христианство, словно церковь существует для того, чтобы разные олухи могли карабкаться вверх по общественной лестнице… Словно… — Мэри вдруг замолкла. Она настолько увлеклась, что заговорила с мистером Фербратером, как с Фредом.

— Молодые девицы строги; в отличие от мужчин они не представляют себе, как нелегко добывать хлеб насущный, хотя вы, возможно, являетесь исключением. Надеюсь, к Фреду Винси вы относитесь лучше, чем к тем, о ком с таким презрением только что говорили?

— Ну разумеется. У него много здравого смысла, но, сделавшись священником, он не сможет его проявить. Фред будет ненатурален в этой роли.

— Тогда ответ ваш совершенно ясен. Став священником, он теряет надежду?

Мэри кивнула.

— А если он, не побоявшись трудностей, решится добывать средства к существованию другим путем… вы не лишите его надежды? Может он рассчитывать, что вы станете его женой?

— По-моему, незачем повторять снова то, что я однажды уже сказала Фреду, — ответила Мэри с некоторой досадой. — Я имею в виду, что незачем ему задавать подобные вопросы, намекая, будто он способен на серьезные дела, и в то же время ничего серьезного не делать.

Мистер Фербратер некоторое время помолчал и, когда на обратном пути они остановились в тени клена, проговорил:

— Я понимаю, что вам неприятны всякие попытки связать вас, однако ваше чувство к Фреду может исключать для вас возможность новой привязанности, а может и не исключать ее, то есть Фред либо может рассчитывать, что вы будете его ждать и не выйдете замуж, либо его может постигнуть разочарование. Простите меня, Мэри, — я когда-то называл вас по имени, наставляя в вопросах веры, — но если от расположения женщины зависит счастье чьей-то жизни… может

быть, даже не одной... по-моему, она поступит благородно, отвечая на вопросы откровенно и прямо.

Мэри тоже помолчала, пораженная не настойчивостью мистера Фербратера, а его тоном, в котором звучало сдержанное волнение.

У нее мелькнула мысль, не говорит ли он и о себе, однако Мэри сочла ее невероятной и устыдилась. Ей никогда не приходило в голову, что кто-нибудь может ее полюбить, кроме Фреда, обручившегося с ней кольцом от зонтика еще в ту пору, когда она носила носочки и ботинки со шнурками; и уж совсем немыслимо, чтобы на нее обратил внимание мистер Фербратер, самый умный человек в узком кружке ее знакомых. У нее осталось только ощущение, что все это очень неправдоподобно и, очевидно, порождено ее фантазией, одно лишь ясно и определенно — от нее ждут ответа.

— Поскольку вы считаете это моим долгом, мистер Фербратер, я отвечу, что я слишком привязана к Фреду и не променяю его на другого. Я не смогу быть счастливой ни с кем, если сделаю несчастным Фреда. Слишком глубоко укоренилось во мне чувство благодарности за то, что он всегда любил меня так сильно, так волновался, не

ушиблась ли я, еще когда мы были детьми. Я не могу представить себе, что какое-то новое чувство может вытеснить мою привязанность к нему. Но мне хотелось бы, чтобы он добился уважения всех окружающих. Только, пожалуйста, скажите ему, что, пока этого не будет, я не обещаю выйти за него замуж. Я не хочу, чтобы мои родители огорчались и стыдились из-за меня. Фред волен выбрать себе другую невесту.

— В таком случае моя миссия выполнена полностью, — сказал мистер Фербратер, протягивая руку Мэри, — и я немедленно возвращаюсь в Мидлмарч. Теперь, когда Фред окрылен радостной надеждой, мы его куда-нибудь пристроим, и я надеюсь дожить до той поры, когда смогу вас обвенчать. Да благословит вас бог!

— Пожалуйста, не уезжайте, разрешите напоить вас чаем, — сказала Мэри. Слезы выступили у нее на глазах, ибо нечто неопределимое, нечто похожее на сдерживаемую боль послышалось ей в словах мистера Фербратера, и она почувствовала себя такой же несчастной, какой была однажды, увидев, как дрожали руки ее отца в минуту душевной тревоги.

— Нет, милая моя, не надо. Мне пора.

Через три минуты священник сидел в седле,

совершив подвиг великодушия, гораздо более тяжкий, чем отказ от игры в вист и даже сочинение проповедей о пользе раскаяния.

## Глава LIII

*То, что кажется со стороны непоследовательностью, может быть воспринято как неискренность поверхностными наблюдателями, склонными механически прилагать всевозможные «если» и «потому» к огромному переплетению невидимых побегов, существование коих обусловлено взаимным воздействием и взаимным доверием.*

Мистер Булстрод еще в ту пору, когда он только присматривался к Лоуику, разумеется, очень хотел, чтобы новый приходский священник оказался ему по нраву. Он счел истинным наказанием свыше, как за свои собственные грехи, так и за грехи нации в целом, то обстоятельство, что именно тогда, когда он сделался хозяином Стоун-Корта, мистер Фербратер стал священником лоуикской церкви и прочел первую проповедь фермерам, работникам и сельским мастеровым. Мистер Булстрод отнюдь не собирался особенно часто посещать прелестную лоуикскую церквушку, не собирался он также и подолгу проживать

в Стоун-Корте: он купил эту прекрасную ферму и роскошную усадьбу просто для того, чтобы иметь удаленное от города прибежище, которое путем приобретения новых земельных угодий и украшения жилища он, может быть, со временем превратит в нечто достойное сделаться его резиденцией, куда он сможет ездить отдохнуть от руководства деловыми операциями и где сможет способствовать процветанию евангельской истины с особой успешностью, как владелец расположенных в этой местности земель, площадь которых волею провидения намеревался по случаю приумножать и впредь. Неопровержимым доказательством правильности избранного им пути послужила неожиданная легкость, с которой мистер Булстрод приобрел Стоун-Корт, хотя все полагали, что мистер Ригг Фезерстоун вцепился в полученное им наследство, словно это райские кущи. Бедный Питер Фезерстоун тоже рассчитывал на это и часто представлял себе, как, упокоившись в сырой земле, будет радоваться, что его жабоподобный наследник роскошествует в старинной уютной усадьбе, неизменно вызывая изумление и неудовольствие остальных претендентов.

Но не так легко предугадать, что наши ближ-

ние считают раем. Мы судим о вещах, исходя из собственных желаний, ближние же наши не всегда настолько откровенны, чтобы намекнуть, чего желают они сами. Сдержанный и рассудительный Джошуа Ригг не дал своему родителю возможности заподозрить, что Стоун-Корт не является для него величайшим из благ... к тому же он очень хотел унаследовать ферму. Но как Уоррен Гастингс[179], глядя на золото, мечтал приобрести Дейлсфорд, так Джошуа Ригг, глядя на Стоун-Корт, мечтал обрести золото. Он очень ярко и отчетливо представлял себе, в чем заключается его величайшее благо, ибо волею обстоятельств унаследованная им ненасытная жадность приняла особую форму: величайшим благом для него было стать менялой. Еще мальчиком для посылок в порту он заглядывал в окна меняльных лавок, как другие мальчишки заглядывают в витрины кондитерских; постепенно детские восторги превратились во всепоглощающую страсть; он многое намеревался сделать,

**[179] Примечания: 179**

*Уоррен Гастингс* (1732 — 1818) — английский политический деятель; с 1773 по 1785 г. был генерал-губернатором Индии. Свое положение он использовал для личного обогащения с такой беззастенчивостью, что в 1785 г. был отозван и обвинен в злоупотреблении властью и взяточничестве, однако после десятилетнего разбирательства палата лордов из политических соображений его оправдала.

разбогатев, в том числе жениться на барышне из благородных, но он не предавался безудержным мечтам об этих радостях и развлечениях. Одной радости он жаждал всей душой — открыть в каком-нибудь оживленном порту меняльную контору, окружить себя всевозможными запорами и манипулировать денежными знаками всех государств, холодно и надменно встречая завистливые взгляды, устремляемые на него сквозь железную решетку бессильной Алчностью. Сила этой страсти подвигла его искать знаний, потребных для ее удовлетворения. И в то время как все считали, что он водворится навсегда на унаследованной им ферме, сам Джошуа считал, что близится тот час, когда он водворится в Северной Гавани счастливым обладателем хитроумнейших замков и несгораемых шкафов.

Но довольно. Мы рассматриваем совершенную Джошуа Риггом негоцию с точки зрения мистера Булстрода, а для него она — счастливое событие, а может быть, и доказательство, что цель, которой он бесплодно добивался до сих пор, одобрена свыше; он понял это именно так, но, не будучи уверен полностью, вознес благодарственную молитву в сдержанных выражениях. Его сомнения не были порождены тревогой по поводу того, как

отразится продажа имения на судьбе Джошуа Ригга, — судьба Джошуа Ригга не значилась ни в одном из районов, входивших в метрополию провидения, возможно, она затерялась где-то в колониях; нет, сомнения мистера Булстрода возникали при мысли, не обернется ли для него достижение заветной цели такой же карой, какой уже явилось появление в приходе мистера Фербратера.

Эти опасения мистер Булстрод не высказывал вслух с целью обмануть своих ближних, он действительно так думал, он так же искренне считал наиболее вероятным это истолкование событий, как вы, придя к иному мнению, убеждены в вероятности вашей теории. Ибо если наши теории эгоистичны, из этого совсем не следует, что они неискренни, скорее наоборот: чем больше мы ублажаем наш эгоизм, тем тверже наша убежденность.

Как бы там ни было, но, то ли вследствие одобрения, то ли — кары свыше, мистер Булстрод через год с небольшим после смерти Питера Фезерстоуна сделался владельцем Стоун-Корта, и родственники бывшего владельца утешали себя, строя многочисленные догадки, что сказал бы по такому поводу покойный Питер, «буде

он сподобился узнать об этом». Козни усопшего обернулись против него же, и для Соломона Фезерстоуна не существовало большего удовольствия, чем бесконечно рассуждать о том, как судьба перехитрила его хитрого братца. Для миссис Уол источником меланхолического утешения служило доказательство, что фабриковать фальшивых Фезерстоунов и лишать наследства настоящих — занятие бесперспективное; а сестрица Марта, когда вести достигли Меловой Долины, сказала: «Ох-ох-хо! Стало быть, всевышний совсем не так уж одобряет богадельни».

Миссис Булстрод, любящая супруга, радовалась, что покупка Стоун-Корта благотворно скажется на здоровье ее мужа. Редко выпадал день, когда бы он не уезжал туда осмотреть то тот, то другой участок своей новой фермы, и дивны были вечера в сельской тиши, напоенной запахом недавно убранного сена, с которым смешивалось дыхание роскошного старинного сада. Однажды вечером, когда солнце еще стояло над горизонтом и золотыми светильниками горело в просветах между ветвями раскидистого орехового дерева, мистер Булстрод остановил свою лошадь у ворот, поджидая Кэлеба Гарта, который, как было условлено, встретился с ним тут, чтобы обсудить устройство

стока в конюшне, а сейчас отправился на ригу дать наставления управляющему.

Сельская тишь и царивший тут мирный покой привели мистера Булстрода в превосходное расположение духа и навеяли несвойственную ему безмятежность. Он сознавал, что он весьма недостойный христианин, но можно сознавать это, не испытывая боли, если ощущение своего несовершенства не принимает в памяти отчетливых очертаний, не обжигает стыдом и не пронзает уколом совести. Мало того, отвлеченное сознание своей греховности может стать даже источником величайшего удовлетворения, если глубиной ее мы будем поверять глубину отпущения, почитая себя орудием божественного промысла. Память так же переменчива, как настроение, картины прошлого меняются, словно в диораме. Мистеру Булстроду почудилось в этот миг, что закатное солнце светит в точности так же, как в те вечера, когда он зеленым юнцом проповедовал в окрестностях Хайбери. С какой охотой возвратился бы он сейчас к благочестивым занятиям того времени. Тексты сохранились в памяти, сохранилось и умение их истолковывать. Но тут его оторвало от грез возвращение Кэлеба Гарта, который тоже был верхом и только тронул поводья, собираясь

повернуть от ворот вместе с Булстродом, как вдруг воскликнул:

— А это кто? Что еще за личность в черном шагает там по проселку? Я видел этаких на скачках, подобные субъекты всегда шныряют там в толпе.

Мистер Булстрод повернул лошадь и посмотрел на проселок, но ничего не ответил. Человека, который шагал по дороге, мы уже немного знаем, это мистер Рафлс, чья внешность не претерпела никаких изменений, если не считать того, что он носил теперь черный костюм и траурную ленту на шляпе. Когда мистер Рафлс приблизился к воротам, лицо его оживилось; не спуская с мистера Булстрода глаз, он энергически размахивал на ходу тростью и в конце концов воскликнул:

— Ей-богу, это Ник[180]! Ей же богу, Ник, хотя двадцать пять лет обошлись весьма неблагосклонно с нами обоими! Как поживаешь, старина? Уж кого-кого, а меня ты тут не ожидал. Ну что ж, поздороваемся.

Мистер Рафлс не просто был немного возбужден, он кипел от возбуждения. Мистер Булстрод, как заметил Гарт, поколебался, но все же холодно

---

**[180] Примечания: 180**

*Старый Ник* — одно из английских наименований черта.

протянул Рафлсу руку, сказав:

— Я и впрямь не ожидал вас встретить на этой уединенной ферме.

— Принадлежащей моему пасынку, — ответствовал Рафлс и принял гордую позу. — Я уже бывал у него здесь. А знаешь, я не особенно-то удивляюсь тому, что встретил тебя, старина, мне, видишь ли, попало в руки одно письмо… как ты сказал бы, волею провидения. И все же я рад до смерти, что на тебя наткнулся. К пасынку можно и не заходить, он не особенно ко мне привязан, а матушка его, увы, скончалась. По правде говоря, я приехал лишь ради тебя, любимейший мой друг, намеревался разузнать твой адрес, потому что… взгляни-ка! — Рафлс вытащил из кармана измятый лист бумаги.

Будь здесь на месте Кэлеба Гарта любой другой человек, он почти наверняка поддался бы искушению замешкаться, дабы выяснить все, что удастся, о человеке, как видно, знающем о таких событиях из жизни мистера Булстрода, о каких и не догадывался никто в Мидлмарче, о делах, полных таинственности и возбуждавших любопытство. Но не таков был Кэлеб — у него почти отсутствовали наклонности, в немалой мере свойственные обычным людям, в том

числе и любопытство по поводу дел своих ближних. А уж если он чувствовал, что может узнать нечто постыдное о человеке, Кэлеб и подавно предпочитал оставаться в неведении; когда ему приходилось говорить кому-нибудь из своих подручных о его проступке, он смущался больше, чем сам провинившийся. Сейчас он пришпорил лошадь и, сказав: «Мне пора домой, всего вам доброго, мистер Булстрод», рысцой потрусил прочь.

— Ты не указал в этом письме свой полный адрес, — продолжал Рафлс. — Вот уж не похоже на такого образцового дельца, как ты. «Шиповник»… Это где угодно можно встретить. Ты живешь где-то здесь неподалеку, верно? С лондонскими делами расквитался начисто… может быть, стал помещиком… приобрел усадьбу, куда и пригласишь меня в гости. Господи боже, сколько лет прошло! Старуха небось давно уже скончалась, безмятежно удалилась в райскую обитель, так и не узнав, как бедствует ее дочка, верно? Но что это? Ты такой бледный, прескверный вид у тебя, Ник. Если ты едешь домой, я провожу тебя.

Всегда бледное лицо мистера Булстрода и впрямь приобрело землистый оттенок. Пять минут тому назад закатный свет, который озарял его идущий под уклон жизненный путь, про-

стирал свои лучи и на столь памятное до сих пор утро жизни: грех представлялся отвлеченным понятием, для искупления которого вполне достаточно молчаливого раскаяния, самоуничижение — действом, совершаемым втайне, а оценивать его поступки мог только он сам, сообразуясь со своими понятиями о религии и о божественном промысле. И вдруг, словно силою какого-то гнусного волшебства, перед ним вырос этот краснолицый, громкоголосый призрак, цепкий и неуступчивый, — наследие прошлого, не возникавшее в его представлениях о каре свыше. Впрочем, мистер Булстрод уже прикидывал в уме, как быть, а необдуманные речи и поступки не входили в его привычку.

— Я собирался домой, — сказал он. — Но могу немного отложить поездку. Если угодно, отдохните тут.

— Благодарю, — поморщившись, ответил Рафлс. — Что-то у меня прошла охота встречаться с пасынком. Я лучше провожу тебя домой.

— Ваш пасынок, если это мистер Ригг Фезерстоун, здесь больше не живет. Ферма принадлежит теперь мне.

Рафлс вытаращил глаза и изумленно присвистнул, после чего сказал:

— Ну что же, в таком случае не стану спорить. Я и так уж досыта нашагался по дорогам. Никогда не увлекался пешими прогулками, да и верховой ездой. Мне больше по душе изящный экипаж и резвая лошадка. В седле я чувствую себя не совсем ловко. Представляю, как ты рад, что я нагрянул к тебе в гости, старина! — продолжал он, сворачивая вслед за мистером Булстродом к дому. — Ты помалкиваешь, да ведь ты привык скрывать радость, когда удача плывет тебе в руки… вот о руке наказующей ты всегда говорил с жаром… загребать жар чужими руками ты мастер.

Восхищенный собственным остроумием, мистер Рафлс игриво брыкнул ногой, чем окончательно вывел из терпения собеседника.

— Если мне не изменяет память, — с холодной яростью произнес мистер Булстрод, — наши прерванные много лет тому назад отношения не отличались такой короткостью, как вы стараетесь изобразить, мистер Рафлс. Желаемые вами услуги будут оказаны охотнее, если вы оставите фамильярный тон, для которого не служит основанием наше былое знакомство, едва ли сделавшееся более близким после многолетнего перерыва.

— Тебе не нравится, что я зову тебя Ник? Но я

всегда так называл тебя мысленно, а с глаз долой совсем не значит, что из сердца вон. Богом клянусь, мое дружеское расположение с годами стало крепче, как выдержанный коньяк. Кстати, надеюсь, в доме таковой найдется. В прошлый раз, когда я тут гостил, Джош доверху наполнил мою фляжку.

Мистер Булстрод все еще не осознал, что поиздеваться над ним Рафлсу хочется даже больше, чем выпить, и что, обнаруживая перед ним свою досаду, он только подливает масла в огонь. Зато он ясно понял, что спорить с Рафлсом бесполезно, и со спокойным, решительным видом отдал распоряжение экономке по поводу устройства гостя.

К тому же его успокаивала мысль, что экономка, прежде служившая у Ригга, могла подумать, что Рафлс остановился у них в доме просто как приятель прежнего владельца.

Когда в большую гостиную были принесены графин коньяку и закуска и посетитель остался с хозяином наедине, мистер Булстрод сказал:

— У нас с вами настолько различные привычки, мистер Рафлс, что общество друг друга едва ли доставит нам удовольствие. А потому умней всего нам как можно скорее расстаться. Вы выразили желание встретиться со мной, из чего я делаю

вывод, что вы намерены заключить со мной какую-то сделку. Ввиду особых обстоятельств я предлагаю вам переночевать в этом доме, а сам вернусь рано утром еще до завтрака и выслушаю то, что вы имеете мне сообщить.

— Сердечно рад, — ответил Рафлс, — у тебя весьма уютно… правда, скучновато, долго я бы тут не выдержал, но одну ночь, так и быть, потерплю, вдохновленный этим славным напитком и надеждой на завтрашнюю встречу с тобой. Ты гораздо гостеприимнее моего пасынка: Джош злится, что я женился на его матери, с тобой же у меня всегда были самые дружеские отношения.

Мистер Булстрод, подумав, что игривость и задиристость Рафлса в значительной степени порождены возлияниями, решил не вступать с ним в переговоры, пока гость не протрезвеет. И все-таки по дороге домой он с пугающей ясностью представил себе, как трудно прийти с таким человеком к соглашению, которого бы тот не нарушил. Он не мог подавить желание избавиться от Джона Рафлса, хотя не исключал, что его неожиданное появление определено свыше. Дух зла мог избрать Рафлса, дабы воспрепятствовать мистеру Булстроду стать орудием божественного промысла, но препятствие можно преодолеть,

увидев в нем очередную разновидность кары свыше. Как не похож был этот час мучительных раздумий на те часы, когда он в безопасности вел с собой диспут, в результате которого пришел к выводу, что его тайные прегрешения прощены, а служение принято. Ведь эти прегрешения, даже когда он совершал их… не были ли они уже отчасти освящены его искренним желанием посвятить себя и все ему принадлежащее исполнению божественного промысла? Может ли он после этого считать себя просто камнем преткновения и оплотом зла? Ибо кому дано понять силы, побуждающие его действовать? Кого не соблазнит возможность очернить всю его жизнь и истины, которые он защищает?

С юных лет у мистера Булстрода выработалась привычка приписывать свои самые эгоистические побуждения вмешательству небесных сил. Однако даже говоря и размышляя о земной орбите и Солнечной системе, мы чувствуем и движемся, сообразуясь с твердой землей и текущим днем. И вот в череду плавно следующих друг за другом теоретических положений — так же явственно откуда-то глубоко изнутри дают о себе знать во время отвлеченных рассуждений о физических муках озноб и боль приближающейся лихорадки

— в его сознание вкралось предвидение бесчестья перед лицом ближних и жены. Ибо боль, как и степень бесчестья, зависит от вашего восприятия. Если вы всего-навсего стремитесь избежать уголовного преследования, ничто, кроме скамьи подсудимых, не послужит для вас бесчестьем. Но мистер Булстрод стремился стать образцовым христианином.

На следующее утро к половине восьмого он возвратился в Стоун-Корт. Старинная усадьба никогда не выглядела так приветливо; пышно расцвели огромные белые лилии, а настурции с красивыми, посеребренными росой листиками, словно спасаясь бегством, карабкались по низкой каменной стене; даже шорохи и шумы дышали покоем. Но прелесть усадьбы померкла в глазах ее владельца, как только он ступил на гравий парадной аллеи и стал дожидаться сошествия мистера Рафлса, на завтрак с которым был обречен.

Вскоре оба они сидели в гостиной и пили чай с тостами, поскольку Рафлс не выразил желания позавтракать более плотно в столь ранний час. Вопреки ожиданию своего собеседника, он не так уж сильно переменился за ночь, — настроение у него испортилось, и, пожалуй, он с еще большим удовольствием издевался над Булстродом.

В утреннем свете мистер Рафлс производил явно менее приятное впечатление.

— Не располагая избытком времени, мистер Рафлс, — сказал банкир, который отхлебнул один лишь глоток чаю и, разломив тост, не притронулся к нему, — буду признателен, если вы сообщите без отлагательств, по какому поводу вы пожелали со мной встретиться. Думаю, у вас есть постоянное место жительства и вам не терпится возвратиться домой.

— Да ведь не бесчувственный же я человек, захотелось повидать старого друга, Ник… я уж буду называть тебя Ником — все мы называли тебя юным Ником, когда прослышали, что ты надумал жениться на старой вдове. Некоторые утверждали, что ты смахиваешь на Старого Ника, вини в том свою матушку, это ведь она нарекла тебя Никласом. Неужели ты не рад нашей встрече? А я-то надеялся погостить у тебя в каком-нибудь милом особнячке. В моем доме все пошло прахом после того, как скончалась жена. По сути говоря, мне все равно где жить, я и тут согласен поселиться.

— Могу я узнать, почему вы возвратились из Америки? Я считал, что выраженное вами непреодолимое желание отправиться туда после получения соответствующей суммы равносиль-

но обязательству не возвращаться.

— Отродясь не слыхивал, что если человек захотел куда-то поехать, это значит, будто он хочет прожить там всю жизнь. Я и прожил около десяти лет в Америке, пока не надоело. Но теперь уж я не возвращусь туда, Ник. — Тут мистер Рафлс, подняв взгляд на Булстрода, хитровато ему подмигнул.

— Вы намерены заняться каким-нибудь делом? К чему вы испытываете призвание?

— Призвание мое, благодарю, жить в свое полное удовольствие. Я теперь обойдусь без работы. Разве что возьму на себя комиссию, скажем, по табачной части, так чтобы попутешествовать немного и провести время в приятной компании. Но при этом я должен твердо знать, что человек я независимый. Вот что мне требуется, силы у меня уже не те, хотя румянец поярче твоего, дружище Ник. Мне требуется независимость.

— Вы можете рассчитывать и на независимость, если обязуетесь не появляться более в наших краях, — сказал мистер Булстрод, которому, пожалуй, не вполне удалось скрыть, как для него желателен такой исход.

— Я поступлю так, как сочту удобным, — холодно ответил Рафлс. — Не знаю, почему бы мне не

обзавестись в ваших краях кое-какими знакомствами. Свое общество я ни для кого не считаю зазорным. Когда я вышел из почтовой кареты, я оставил у заставы чемодан… там у меня смена белья, настоящего… клянусь честью! Не одни манишки и манжеты. Дружба с человеком в таком элегантном костюме с траурными лентами и всякой всячиной возвысит тебя в глазах здешних светских господ. — Мистер Рафлс, отодвинув свой стул от стола, оглядел себя и в первую очередь штрипки. Его главной целью было позлить Булстрода, но он и вправду думал, что его внешний вид производит неотразимое впечатление и что он не только остроумен и красив, но в траурном облачении выглядит человеком, принадлежащим к высшим кругам.

— Если вы хотите от меня чего-нибудь добиться, мистер Рафлс, — помолчав, сказал Булстрод, — вам следовало бы считаться с моими желаниями.

— О, разумеется, — с комической любезностью воскликнул Рафлс. — Именно так я всегда поступаю. При моей помощи ты провернул недурное дельце, а мне что досталось? Лучше бы я рассказал старухе, что нашел ее дочку и внука, думал я потом не раз, совесть бы тогда была спокойнее,

ведь у меня не каменное сердце. Но, полагаю, ты уже похоронил старуху и теперь ей все равно. А ты нажил состояние на этом выгодном богоугодном дельце. Стал важной птицей, купил землю и живешь тут по-барски. От прежней веры ты не отступился? Благочестия не поубавилось? Или для солидности перешел в лоно англиканской церкви?

Рожа, скроенная мистером Рафлсом, который хитровато подмигнул и высунул язык, показалась мистеру Булстроду страшней кошмарного видения, ибо неопровержимо свидетельствовала о бедствии, случившемся не во сне, а наяву. Мистер Булстрод испытал мучительное отвращение и, не проронив ни слова, прикинул в уме, не дать ли Рафлсу привести свои угрозы в исполнение, после чего просто назвать его клеветником. Все вскоре убедятся, что он сомнительная личность, и не придадут значения его словам. «За исключением тех случаев, когда он будет рассказывать неприглядные истины о тебе», — шепнула прозорливая совесть. И еще одно: не видя ничего страшного в том, чтобы спровадить Рафлса в чужие края, мистер Булстрод не мог без содрогания себе представить, как, отрицая подлинные факты, он тем самым допустит явную ложь. Одно дело вспо-

минать об отпущенных ему грехах, еще проще оправдывать свои поступки общим падением нравов, и совсем другое — лгать сознательно.

Но поскольку Булстрод ничего не сказал, мистер Рафлс продолжал, дабы не тратить попусту время:

— Мне, ей-богу, меньше твоего везло! Я порядком хлебнул горя в Нью-Йорке. Эти янки большие ловкачи, и благородному человеку невозможно иметь с ними дело. Вернувшись в Англию, я женился на милой женщине, владелице табачной лавки… очень любила меня… но она мало занималась торговлей. Когда-то, много лет назад, ее пристроил к делу один приятель, но за эти годы почти все прибрал к рукам ее сын. Нам с Джошем никогда не удавалось поладить. Впрочем, наступать себе на ногу я не давал, я привык к изысканному обществу. У меня все как на ладони, все честно. Ты уж не обижайся, что я раньше тебя не навестил. Болею, поворотливость не та. Я думал, ты еще в Лондоне, ведешь торговлю да творишь молитву, но вот не встретил тебя там. Сам видишь, Ник, я тебе послан… может быть, на благо нам обоим.

Мистер Рафлс завершил свою речь комически-елейным тоном: религиозное рвение всегда

служило предметом его остроумия. И если лукавство, воздействие которого направлено на низменные свойства человека, можно назвать остротою ума, то мистер Рафлс был, пожалуй, неглуп, ибо двусмысленные шуточки, которые он словно наобум выпаливал, следовали друг за другом в строгой очередности, как шахматные ходы. Тем временем Булстрод обдумал ответный ход и как можно решительнее сказал:

— Вам не мешало бы помнить, мистер Рафлс, что человеку, стремящемуся незаконно воспользоваться своим преимуществом, не следует зарываться. Я ничем вам не обязан, однако готов назначить вам ежегодную ренту и выплачивать ее каждые три месяца до тех пор, пока вы не нарушите обещания не появляться в наших краях. Выбор зависит от вас. Если вы непременно захотите тут остаться, даже на короткий срок, вы ничего от меня не получите. В таком случае я не желаю вас знать.

— Ха-ха! — воскликнул Рафлс, делая вид, что умирает от смеха. — В точности как собачка одного вора, не желавшая знать полицейского.

— Ваши инсинуации не производят на меня впечатления, сэр, — с яростью сказал Булстрод. — Я не считаюсь нарушителем закона, и ваше

вмешательство тут ничего не может изменить.

— Ты, любезнейший, не понимаешь шуток. Я просто-напросто имел в виду, что я не в силах отказаться от знакомства с тобой. Впрочем, шутки в сторону. Пенсия каждые три месяца мне не подходит. Я дорожу своей свободой.

Мистер Рафлс встал и раза два гордо прошелся по гостиной, взбрыкивая ногой и изображая глубочайшую задумчивость. Наконец он остановился перед Булстродом и произнес:

— Вот как мы поступим! Выложи две сотни фунтов — право же, умеренная цена, — и я уеду, клянусь честью, возьму чемодан у заставы и уеду. Однако я не согласен променять свою вольность на какую-то дрянную ренту. Я буду приезжать и уезжать, когда мне заблагорассудится. Возможно, я сочту удобным больше здесь не появляться и ограничиться дружеской перепиской, а может быть, и нет. Деньги у тебя с собой?

— У меня только сто фунтов, — сказал Булстрод, обрадованный перспективой немедленно избавиться от Рафлса, пусть даже на неопределенный срок. — Если вы мне сообщите адрес, я тотчас вышлю остаток.

— Нет уж, я дождусь, пока ты привезешь его, — сказал Рафлс. — Я прогуляюсь, потом перекушу, а

тем временем ты возвратишься.

Булстрод, хилый от природы и еще больше ослабевший после перенесенных за последние часы волнений, чувствовал себя сейчас в унизительной зависимости от неуязвимого крикуна. Он был рад любой ценой добиться хоть временной передышки. Он уже встал, намереваясь выполнять распоряжение Рафлса, как вдруг последний, подняв вверх палец, словно его внезапно осенило, сказал:

— Я тебе не говорил, но я ведь еще раз попробовал разыскать Сару; такая молодая и красивая… совесть замучила меня. Я не нашел ее, зато узнал и записал фамилию ее мужа. Но вот незадача — записную книжку потерял. Правда, если я эту фамилию услышу, я ее вспомню. Голова у меня работает не хуже, чем в молодости, только всякие там имена, будь они неладны, вылетают из памяти. Иногда я точь-в-точь как ведомость сборщика налогов, в которой не проставлены фамилии. Однако если я узнаю что-нибудь о ней или ее семье, я сообщу тебе, Ник. Ты, наверное, захочешь ей помочь, падчерицей ведь тебе приходится.

— Без сомнения, — ответил Булстрод со свойственным ему невозмутимым выражением светло-серых глаз. — Хотя это, вероятно, вынудит

меня сократить сумму, предназначенную для уплаты вам.

Когда банкир вышел из комнаты, Рафлс с лукавым видом подмигнул ему вслед, а затем обернулся к окну поглядеть, как отправляется в путь его жертва. Его губы искривились в улыбке, потом он коротко и торжествующе рассмеялся.

— Как же их фамилия, дьявол ее забери? — вполголоса проговорил он, почесывая голову и сосредоточенно сдвинув брови. Он отнюдь не стремился упражнять свою память, пока ему не пришло в голову поддразнить Булстрода на новый лад.

— Начинается с буквы «Л», да она, кажется, чуть ли не из одних только «л» состоит, — продолжал он, чувствуя, что вот-вот вспомнит увертливую фамилию. Но предчувствие обмануло его, а умственные упражнения вскоре утомили; мало кто испытывал такую неприязнь к одиночеству и так нуждался в слушателях, как мистер Рафлс. Он предпочел провести время за приятной беседой с управляющим и экономкой, от которых выведал все, что ему хотелось знать о положении мистера Булстрода в Мидлмарче.

После этого ему, однако, пришлось поскучать, а для развлечения прибегнуть к хлебу с сыром и

элю, и, оставшись в гостиной с этими припасами наедине, он внезапно хлопнул себя по колену и воскликнул: «Ладислав!» Память бессознательно сработала как раз тогда, когда он отказался от попыток оживить ее, как обычно и бывает, и, неожиданно вспомнив забытое, даже ненужное имя, мы испытываем такое же глубокое удовлетворение, как со вкусом чихнув. Рафлс тотчас вынул записную книжку и вписал туда диковинную фамилию, не ожидая, что она когда-нибудь ему пригодится, а просто на всякий случай. Он не собирался сообщать фамилию Булстроду — пользы для себя он этим не мог извлечь, а люди его склада в своих действиях всегда руководствуются возможностью извлечь пользу.

Он был доволен достигнутым успехом; к трем часам пополудни взял у заставы свой чемодан и влез в дилижанс, избавив мистера Булстрода от печальной необходимости лицезреть уродующее ландшафт его усадьбы черное пятно, но не избавив его от опасения, что это черное пятно может появиться вновь и даже превратиться в неотъемлемую принадлежность его домашнего очага.

# Книга шестая
# Вдова и жена

## Глава LIV

*В ее очах Амора откровенье.*
*Преображает все ее привет.*
*Там, где проходит, каждый смотрит вслед;*
*Ее поклон – земным благословенье.*
*Вздыхает грешник, шепчет он обет.*
*Гордыню, гнев ее изгонит свет;*
*О дамы, ей мы воздадим хваленье.*
*Смиренномудрие ее словам*
*Присуще, и сердца она врачует.*
*Блажен ее предвозвестивший путь.*
*Когда же улыбается чуть-чуть,*
*Не выразить душе. Душа ликует:*
*Вот чудо новое явилось вам!*[181]

***Данте, «Новая жизнь»***

В то восхитительное утро, когда скирды сена в Стоун-Корте с такой беспристрастной щедростью источали благоухание, словно мистер Рафлс и впрямь заслуживал воскурения фимиама, Доротея уже возвратилась под кровлю Лоуик-Мэнора. За три месяца Фрешит порядком

---

**[181] Примечания: 181**
Перевод И.Н. Голенищева-Кутузова.

ей прискучил: она не могла часами сидеть в позе святой Екатерины и восторженно любоваться ребенком Селии, оставаться же безучастной к столь замечательному младенцу бездетной тетке непозволительно. Появись в том нужда, Доротея с радостью бы пронесла ребенка на руках хоть целую милю и только полюбила бы его еще сильнее, но тетушке, не признающей, что ее племянник — Будда, и вынужденной, ничего не делая, лишь восхищаться им, поведение дитяти представлялось однообразным, а ее стремление созерцать его имело предел.

Ни о чем подобном не подозревала Селия, уверенная, что появление на свет крошки Артура (малютку нарекли в честь мистера Брука) заполнило радостью жизнь бездетной вдовы.

— Додо ведь не из тех, кто стремится иметь что-то свое… даже детей! — сказала мужу Селия. — И если бы у нее и родился ребенок, то ведь не такая душка, как Артур, да, Джеймс?

— Да, если бы он походил на Кейсобона, — сказал сэр Джеймс, сознавая, что несколько уклончиво отвечает на вопрос и сохраняет особое мнение по поводу совершенств своего первенца.

— Вот именно! Даже подумать страшно! — сказала Селия. — Додо, по-моему, подходит быть

вдовой. Нашего малютку она может любить как родного, и ей никто теперь не помешает осуществлять все ее затеи.

— Жаль, что она не королева, — сказал рыцарственный сэр Джеймс.

— А кем тогда были бы мы? Ведь тогда бы и мы стали кем-то другими, — возразила Селия, которой не понравился этот мудреный поворот фантазии. — Нет, пусть все остается без перемен.

Поэтому, услышав, что Доротея собирается вернуться в Лоуик, Селия обиженно подняла бровки и, как обычно, с невиннейшим видом пустила шпильку:

— Чем ты займешься в Лоуике, Додо? Сама же говорила, что там нечего делать: все арендаторы такие зажиточные и опрятные, хоть плачь. А тут у тебя столько удовольствий — ходить с мистером Гартом по Типтону и заглядывать во все дворы, даже самые запущенные. Теперь, когда дядя за границей, вам с мистером Гартом совсем раздолье, а Джеймс, конечно, сделает все, что ты велишь.

— Я стану часто приезжать, и мне еще заметней будет, как растет малыш, — сказала Доротея.

— Но ты не сможешь видеть, как его купают, — возразила Селия, — а ведь это самое лучшее, что

у нас бывает.

Она почти всерьез обиделась: право же, Додо просто бесчувственная, если по собственной воле расстается с малюткой.

— Киска, голубушка, я специально для этого буду оставаться ночевать, но сейчас мне нужно пожить одной, в своем доме. К тому же я хочу покороче познакомиться с семьей Фербратеров, а с мистером Фербратером потолковать о том, что можно сделать в Мидлмарче.

Теперь Доротея уже не стремилась употреблять всю силу своего характера на то, чтобы принудить себя покоряться чужой воле. Она рвалась всей душой в Лоуик и не считала себя обязанной объяснять причины столь внезапного отъезда. Ее решение вызвало общее недовольство. Глубоко обиженный сэр Джеймс предложил на несколько месяцев переселиться всем семейством в Челтенгем, прихватив и священный ковчег, именуемый также колыбелью; ну а если уж и Челтенгем будет отвергнут, просто непонятно, что еще можно предложить.

Вдовствующая леди Четтем, вернувшаяся недавно из Лондона, где гостила у дочери, выразила готовность по крайней мере написать миссис Виго и попросить ее взять на себя обя-

занности компаньонки при миссис Кейсобон: мыслимо ли молодой вдове жить в одиночестве в деревне! Миссис Виго случалось выступать в роли лектрисы и секретаря при особах королевской фамилии, а по части образованности и утонченности чувств даже Доротея не могла иметь к ней претензий.

Миссис Кэдуолледер сказала, оставшись наедине с Доротеей:

— Да вы, милочка, просто рехнетесь там от тоски. Вам станут мерещиться призраки. Всем нам приходится делать над собой небольшие усилия, чтобы сохранить рассудок и не расходиться во мнениях с окружающими нас людьми. Для неимущих женщин и младших сыновей сумасшествие — своего рода прибежище, способ пристроиться. Но вам-то это зачем? Как я догадываюсь, вам несколько наскучила наша добрейшая вдовица, но представьте себе, какую скуку вы сами нагоняли бы на всех, постоянно играя роль трагической королевы и взирая на окружающих свысока. Уединившись в лоуикской библиотеке, вы чего доброго вообразите себя центром вселенной. Вам было бы полезно видеться по временам с людьми, которые не станут принимать на веру каждое ваше слово. Это хорошее отрезвляющее

средство.

— Я никогда не сходилась во мнениях с окружающими меня людьми, — надменно ответила Доротея.

— Но я надеюсь, вы осознали свои заблуждения, милочка, — сказала миссис Кэдуолледер, — а это доказательство здравости рассудка.

Колкость была замечена, но не задела Доротею.

— Нет, — ответила она. — Я по-прежнему считаю, что большинство людей судят ошибочно очень о многом. Так что можно быть в здравом рассудке и ни с кем не сходиться во мнениях, коль скоро чуть ли не весь свет то и дело меняет свои мнения.

Миссис Кэдуолледер перестала спорить с Доротеей, но мужу сказала так:

— Ей следовало бы, когда приличия позволят, вторично выйти замуж, но для этого ее нужно ввести в общество. Четтемы, конечно, будут против. А я убеждена, что замужество пошло бы ей на пользу. Будь мы побогаче, я пригласила бы к нам в гости лорда Тритона. Его когда-нибудь сделают маркизом, и никто не может отрицать, что из миссис Кейсобон получится образцовая маркиза: в трауре она еще красивей, чем всегда.

— Элинор, друг мой, оставь бедняжку в покое. Из твоих затей не выйдет ровно ничего, — благодушно проговорил ее муж.

— Ничего не выйдет? Чтобы создать супружескую пару, всегда знакомят женщину с мужчиной. Досадно, что ее дядюшка именно сейчас сбежал в Европу и запер Типтон-Грейндж. Туда и во Фрешит надо было бы пригласить как можно больше подходящих женихов. Лорд Тритон именно то, что ей требуется: у него уйма планов, как осчастливить нацию, и все планы совершенно безумные. Для миссис Кейсобон лучшей партии не сыскать.

— Пусть миссис Кейсобон сама выбирает себе жениха, Элинор.

— Вы, умники, вечно чушь городите. Как может она выбирать сама, если выбирать ей не из кого? Избранник женщины — это обычно единственный достижимый для нее мужчина. Помяни мое слово, Гемфри. Если о ней не позаботятся родные, как бы ей не подвернулся кто-нибудь похуже Кейсобона.

— Боже тебя упаси упомянуть об этом при сэре Джеймсе, Элинор. Самая щекотливая тема. Он до смерти обидится, если ты ее коснешься без особой нужды.

— Я и не думала ее касаться, — сказала миссис Кэдуолледер и развела руками. — Селия рассказала мне о завещании, не дожидаясь расспросов, в первый же день.

— Так-то так, но сейчас им желательно, чтобы об этом как можно меньше говорилось, к тому же, как я понял, молодой джентльмен уезжает из наших краев.

На это миссис Кэдуолледер ничего не сказала, только трижды многозначительно кивнула, и в ее темных глазах появилось саркастическое выражение.

Невзирая на увещания и уговоры, Доротея мягко настояла на своем. К концу июня в Лоуик-Мэноре распахнулись ставни всех окон, и утренний свет безмятежно озарял библиотеку, поблескивая на корешках томов с записями мистера Кейсобона, как блестит он в унылой пустыне на каменных глыбах, безмолвных памятниках забытой религии; а напоенные ароматом роз вечера тихо прокрадывались в зелено-голубой будуар, излюбленное прибежище Доротеи. Она начала с того, что обошла все комнаты, перебирая в памяти полтора года своей замужней жизни, и мысленно произносила целые речи, словно продолжала спор с покойным мужем. Долгое время провела

она в библиотеке и не успокоилась до тех пор, пока не расположила все тома с записями в таком порядке, который, по ее мнению, избрал бы мистер Кейсобон. Жалость к мужу, принуждавшая ее быть сдержанной при его жизни, владела ею и сейчас, даже когда она мысленно с негодованием укоряла его и обвиняла в несправедливости. Один ее поступок, вероятно, вызвал бы улыбку у людей рационального склада. Она аккуратно уложила в конверт тетрадь с надписью «Сводное обозрение». Поручить миссис Кейсобон» и запечатала вместе со следующей запиской: «Вы напрасно поручили мне это. Неужели Вы не понимаете, что душа моя не может настолько подчиниться Вашей, чтобы я посвятила себя делу, в которое не верю? Доротея». Конверт она спрятала в ящик своего стола.

Этот безмолвный разговор не покажется несерьезным, если вспомнить, что Доротея начала его и приводила все доводы под влиянием чувства, являвшегося истинной причиной ее возвращения в Лоуик. Ей очень хотелось встретиться с Уиллом Ладиславом. С какой целью — она сама не знала, сделать что-либо для него было не в ее силах: связанная волей мужа, она не могла исправить нанесенный Ладиславу ущерб, но

всей душою жаждала с ним встретиться. Могло ли быть иначе? Когда во времена волшебников принцесса замечала в стаде четвероногое существо, которое к ней иногда приближалось, умоляюще на нее взирая человеческими глазами, о чем она раздумывала, совершая прогулку, чего ждала, когда мимо проходило стадо? Разумеется, она ждала этого взгляда и сама его узнавала. Если бы минувшее уходило в небытие, исчезая бесследно из сердца и памяти, наша жизнь стала бы не более ценной, чем мишура, сверкающая при свечах и превращающаяся в мусор с наступлением дня. Доротее и в самом деле хотелось покороче познакомиться с семьей Фербратеров и, главное, встретиться и поговорить с новым священником, но ей помнился также рассказ доктора о дружбе Ладислава со старенькой мисс Ноубл, и она ждала, не наведается ли он к Фербратерам. В первое же воскресенье, перед тем как войти в церковь, она явственно увидела его точь-в-точь как в прошлый раз — одиноко сидящим на скамье священника, но когда она вошла в церковь, скамья оказалась пустой.

По будням, навещая семейство Фербратеров, она тщетно прислушивалась, не проронит ли хоть одна из дам словечко об Уилле Ладисла-

ве, но миссис Фербратер, казалось, была готова говорить обо всех жителях округи за одним исключением.

— Возможно, некоторые из прежних прихожан мистера Фербратера иногда будут приезжать на его проповеди в Лоуике. Как вы думаете? — сказала Доротея, презирая себя за то, что задает этот вопрос с тайной целью.

— Если у них есть разум, то будут, — ответила старая дама. — Я вижу, вы отдаете должное моему сыну. Его дед, мой отец, был превосходный священник, супруг же мой занимался адвокатурой… Что не мешало ему сохранять безукоризненную честность — причина, по которой мы не стали богаты. Говорят, что судьба — женщина, и при этом капризная. Но по временам она бывает доброй женщиной и воздает достойным по заслугам. Так, например, случилось, когда вы, миссис Кейсобон, предложили этот приход моему сыну.

Миссис Фербратер вновь принялась за вязание, весьма довольная своей маленькой речью, но совсем иное хотелось бы услышать Доротее. Бедняжка! Она не знала даже, по-прежнему ли Уилл Ладислав живет в Мидлмарче, и не посмела бы спросить об этом никого, кроме Лидгейта. Однако именно сейчас она смогла бы повидаться с Лид-

гейтом, только специально послав за ним или сама отправившись его разыскивать. Возможно, Уилл Ладислав, узнав об оскорбительной для него приписке к завещанию ее мужа, решил, что им больше не нужно встречаться, и, быть может, она не права, ища встречи, которая представляется всем ее близким излишней. И все же неизменное «мне этого хочется» завершало все ее благоразумные рассуждения столь же непроизвольно, как прорывается наружу тщетно сдерживаемый плач. Им и впрямь довелось встретиться, но разговаривали они принужденно и сухо, чего никак не ожидала Доротея.

Однажды утром около одиннадцати Доротея сидела в будуаре, разложив перед собой карту поместья и прочие бумаги, которые намеревалась изучить, чтобы составить представление о положении своих дел и доходе. Она еще не приступала к работе и сидела, сложив руки на коленях и глядя на луга, раскинувшиеся вдали за липовой аллеей. Сияло солнце, ни один листок не шевелился, знакомый ландшафт выглядел столь же неизменным, каким представлялось Доротее ее будущее существование, бесцельное и полное покоя… бесцельное, если только она сама не найдет, на что излить свою кипучую энергию. Вдовий

чепец, сшитый по моде тех времен, окружал ее лицо овальной рамкой и увенчивался стоячей оборкой на маковке. Черное платье, на которое не пожалели крепа, воплощало глубочайший траур, но суровая торжественность одежды еще больше оттеняла свежесть молодого лица и пытливую бесхитростность взгляда.

Ее вывело из задумчивости появление Тэнтрип, пришедшей доложить, что мистер Ладислав внизу и просит разрешения повидать госпожу, если не слишком рано.

— Я приму его, — сказала Доротея, тотчас встав, — проводите его в гостиную.

Из всех комнат в доме гостиная менее всего напоминала ей о тяготах ее супружеской жизни — на узорчатой ткани обоев красиво выделялась белая с золотом мебель; в комнате было два высоких зеркала, пустые столы... иными словами, гостиная была одной из тех комнат, в которых совершенно безразлично, где сидеть. Она находилась под будуаром, и в ней также имелось окно-фонарь, выходившее на липовую аллею. Когда Прэтт проводил Уилла Ладислава в гостиную, окно было открыто и незваные крылатые гости, которые по временам с жужжанием влетали в комнату, придавали ей обитаемый и менее офи-

циальный вид.

— Рад снова видеть вас здесь, сэр, — сказал Прэтт, задержавшись, чтобы поправить штору.

— Я пришел только попрощаться, Прэтт, — сказал Уилл, желая известить даже дворецкого, что гордость не позволяет ему увиваться вокруг миссис Кейсобон, когда она стала богатой вдовой.

— Очень печально слышать это, сэр, — сказал Прэтт и удалился.

Поскольку прислугу не полагалось посвящать в господские дела, Прэтт, разумеется, уже был наслышан об обстоятельстве, о котором ничего не ведал Ладислав, и пришел к определенным выводам. Он, собственно, был согласен со своей невестой Тэнтрип, заявившей:

— Твой хозяин был ревнив, как бес, и, к слову, напрасно. Не такого полета птица мистер Ладислав, чтобы хозяйка до него снизошла, уж я-то ее знаю. Горничная миссис Кэдуолледер говорит, сюда едет какой-то лорд, чтобы на ней жениться, когда окончится траур.

Уиллу не пришлось в ожидании Доротеи долго расхаживать по комнате со шляпой в руке. Эта встреча очень отличалась от их первой встречи в Риме, когда Уилл был охвачен смущением, а Доротея спокойна. На сей раз глубоко удручен-

ный Уилл был, однако, полон решимости, зато Доротея не могла скрыть волнения. Перед самым порогом гостиной она ощутила, как нелегка для нее будет долгожданная беседа, и, когда Уилл к ней приблизился, мучительно покраснела, что случалось с ней не часто. Сами не зная почему, они оба молчали. Доротея на мгновение протянула ему руку, затем они сели друг против друга у окна, на маленьких козетках. Уилл чувствовал себя крайне неловко: ему трудно было предположить, что Доротея так к нему переменилась лишь потому, что овдовела. Казалось бы, ничто не могло повлиять на ее отношение к нему… разве только — эта мысль возникла сразу — родственники внушили ей дурное мнение о нем.

— Надеюсь, вы не считаете мой визит непозволительной вольностью, — сказал Уилл. — Покидая эти края и вступая в новую жизнь, я не мог не попрощаться с вами.

— Вольностью? Конечно, нет. Вы огорчили бы меня, если бы не пожелали со мной проститься, — ответила Доротея, чья привычка говорить с предельной искренностью возобладала над неуверенностью и волнением. — И скоро вы едете?

— Думаю, очень скоро. Я намерен изучить

юриспруденцию в столице, поскольку, как я слышал, это единственный путь к общественной деятельности. В ближайшее время на политическом поприще предстоит сделать многое, и я намерен внести свою лепту. Некоторым людям удается достичь высокого положения, не имея ни связей, ни денег.

— И это еще больше их возвышает, — с жаром сказала Доротея. — К тому же у вас столько дарований. Дядя рассказывал, какой вы прекрасный оратор, что ваши речи можно слушать без конца и как отлично вы умеете объяснить все непонятное. К тому же вы добиваетесь справедливости для всех людей. Это меня радует. Когда мы встречались в Риме, мне казалось, вас занимает только поэзия, искусство и все иное, украшающее жизнь обеспеченных людей, таких как мы. И вот я узнаю, что вас заботит участь всего человечества.

Говоря это, Доротея преодолела смущение и стала такой, как всегда. Она смотрела на Уилла полным восхищения, доверчивым взглядом.

— Значит, вы довольны, что я уезжаю на многие годы и вернусь, только добившись положения в свете? — спросил Уилл, в одно и то же время усиленно стараясь не уронить своего достоинства и растрогать Доротею.

Она не заметила, как долго ему пришлось ждать ответа. Отвернувшись к окну, она смотрела на розовые кусты, и ей виделись в них долгие — из лета в лето — годы, которые она проведет здесь в отсутствие Уилла. Опрометчивое поведение. Но Доротея не привыкла думать о том, как она ведет себя, она думала только о том, как печальна предстоящая разлука с Уиллом. Когда в начале разговора он рассказал о своих планах, ей показалось, что она все понимает: Уилл знает, решила она, о последнем распоряжении мистера Кейсобона и потрясен им так же, как она сама. Он испытывает к ней лишь дружеские чувства, он и не помышлял ни о чем таком, что могло дать основание ее мужу так оскорбить их обоих; эти дружеские чувства он испытывает к ней и сейчас. Подавив беззвучное рыдание, Доротея проговорила ясным голосом, который дрогнул под конец, — так он был слаб и мягок:

— Я думаю, вы приняли правильное решение. Я счастлива буду узнать, что вы добились признания. Но будьте терпеливы. Оно, возможно, придет не скоро.

Уилл не мог понять, как он удержался от того, чтобы не упасть к ее ногам, когда нежно дрогнувший голос вымолвил: «не скоро». Впоследствии

он говорил, что мрачный цвет и изобилие траурного крепа на ее платье, очевидно, помогли ему обуздать этот порыв. Он не шелохнулся и сказал:

— Я ничего не буду знать о вас. А вы меня забудете.

— Нет, — сказала Доротея. — Я никогда вас не забуду. Я не забываю людей, с которыми меня свела судьба. Моя жизнь бедна событиями и едва ли изменится. Чем еще заниматься в Лоуике, кроме как вспоминать да вспоминать, ведь правда?

Она улыбнулась.

— Боже милостивый! — не выдержав, вскрикнул Уилл, встал, все еще держа в руке шляпу, подошел к мраморному столику и, внезапно повернувшись, прислонился к нему спиной. Кровь прихлынула к лицу и шее Уилла, казалось, он чуть ли не взбешен. У него возникло впечатление, что они оба медленно превращаются в мрамор и только сердца их живы и глаза полны тоски. Но выхода он не видел. Что она о нем подумает, если он, с отчаянной решимостью шедший сюда прощаться, закончит разговор признанием, из-за которого его могут счесть охотником за приданым? Мало того, он не на шутку опасался, что такое признание произведет неблагоприятное впечатление и на Доротею.

Она встревоженно всматривалась в него, испугавшись, не обидела ли его. А тем временем ей не давали покоя мысли, что ему, наверное, нужны деньги, и она не в состоянии ему помочь. Если бы хоть дядюшка остался здесь, можно было бы обратиться к нему за содействием! Терзаясь мыслью, что Уилл нуждается в деньгах, а ей досталась причитающаяся ему доля, и видя, как упорно он отворачивается и молчит, она предложила:

— Я подумала, не захотите ли вы взять миниатюру, что висит наверху... ту великолепную миниатюру, где изображена ваша бабушка. Если у вас есть желание ее иметь, мне кажется, я не вправе оставлять ее у себя. Она поразительно на вас похожа.

— Вы очень любезны, — раздражительно ответил Уилл. — Нет, я не испытываю такого желания. Не так уж утешительно иметь при себе изображение, которое на тебя похоже. Гораздо утешительнее, если его хотят иметь другие.

— Я подумала, что вам дорога ее память... я подумала... — тут Доротея осеклась, решив не касаться истории тетушки Джулии, — право же, вам следовало бы взять эту миниатюру как семейную реликвию.

— Зачем мне брать ее, когда у меня ничего

больше нет? Человек, все имущество которого помещается в чемодане, должен хранить в памяти семейные реликвии.

Уилл сказал это не думая, просто не сдержал раздражения — кто не вспылит, если в такую минуту тебе предлагают бабушкин портрет. Но Доротею больно задели его слова. Она встала и, сдерживая гнев, холодно проговорила:

— Вы гораздо счастливее меня, мистер Ладислав, именно потому, что у вас ничего нет.

Уилл испугался. Тон, которым это было произнесено, ясно указывал, что ему больше нечего здесь делать. Выпрямившись, он направился к Доротее. Их взгляды встретились, вопросительно и печально. Им не удавалось объясниться откровенно, и они могли только строить догадки о мыслях друг друга. Уилл, которому не приходило в голову, что он имеет право на полученное Доротеей наследство, не сумел бы без посторонней помощи понять чувства, владевшие ею в эту минуту.

— До сих пор меня не огорчала моя бедность, — сказал он. — Но она делается хуже проказы, если разлучает человека с тем, что для него всего дороже.

У Доротеи сжалось сердце, и ее негодование

утихло. Она ответила сочувственно и грустно:

— Беда приходит разными путями. Два года назад я не подозревала об этом… не знала, как неожиданно может нагрянуть горе, как оно связывает тебе руки и заставляет молчать, хотя слова рвутся наружу. Я даже презирала женщин за то, что они не пытаются изменить свою жизнь и не стремятся к лучшему. Мне очень нравилось поступать по-своему, но от этого занятия я почти отказалась, — весело улыбаясь, закончила она.

— Я не отказался, но мне редко приходится поступать по-своему, — сказал Уилл. Он стоял в двух шагах от нее, обуреваемый противоречивыми стремлениями и желаниями… ему хотелось заручиться неопровержимым доказательством ее любви, и он с ужасом представлял себе, в каком положении окажется, получив такое доказательство. — Бывает так, что мы не можем добиться самого желанного для нас, ибо преграды непреодолимы, оскорбительны.

Вошел Прэтт и доложил:

— Сэр Джеймс Четтем дожидается в библиотеке, сударыня.

— Попросите сэра Джеймса сюда, — немедленно сказала Доротея.

И Доротею, и Уилла в этот миг словно прони-

зало электрическим током. В обоих запылала гордость, и, не глядя друг на друга, они ждали сэра Джеймса.

Пожав руку Доротее, сэр Джеймс нарочито небрежно кивнул Ладиславу, который с такой же мерой небрежности ответил на кивок, а затем подошел к Доротее и сказал:

— Должен проститься с вами, миссис Кейсобон, и, вероятно, надолго.

Доротея протянула в ответ руку и сердечно с ним попрощалась. Пренебрежительное и невежливое обращение сэра Джеймса с Уиллом задело ее самолюбие и вернуло ей решительность и твердость; от ее замешательства не осталось ни следа. А когда Уилл вышел из комнаты, она с таким спокойным самообладанием взглянула на сэра Джеймса, спросив: «Как Селия?», что он вынужден был скрыть досаду. Да и что было толку ее обнаруживать? Представить себе Ладислава в роли возлюбленного Доротеи сэру Джеймсу было столь неприятно, что он предпочел скрыть свое недовольство и тем самым отмести возможность подобных предположений. Если бы кто-нибудь спросил, что именно его так ужасает, очень вероятно, что на первых порах он бы не дал более полного и внятного ответа, чем нечто вроде «этот

Ладислав!»... хотя, поразмыслив, возможно, сослался бы на приписку к завещанию Кейсобона, которая, предусматривая для Доротеи особую кару, если она вздумает выйти замуж за Уилла, делала недопустимыми любые отношения между ними. Ощущение собственного бессилия только увеличивало его антипатию к Уиллу.

Сэр Джеймс и не догадывался о важности своей роли. Он вошел в гостиную как олицетворение сил, побуждающих Уилла расстаться с Доротеей, дабы не уронить свою гордость.

## Глава LV

*В ней есть изъян? Когда б он был у вас!*
*Изъян – вина прекрасного броженье,*
*Изъян – всеочищающий огонь,*
*Преображающий густую тверди тьму*
*В хрустальный путь сияющего солнца.*

Если молодость называют порой надежд, то часто только потому, что молодое поколение внушает надежды старшему; ни в каком возрасте, кроме юности, люди не бывают так склонны считать неповторимым и последним любое чувство, решение, разлуку. Каждый поворот судьбы представляется им окончательным лишь потому, что он для них в новинку. Говорят, пожилые перуанцы так и не приобретают привычки хладнокровно относиться к землетрясениям, но, вероятно, они допускают, что за очередным толчком последуют и другие.

Для Доротеи, еще не пережившей ту пору юности, когда опушенные длинными ресницами глаза, омывшись ливнем слез, сохраняют чистоту и свежесть только что раскрывшегося цветка, прощание с Уиллом знаменовало полный разрыв

отношений. Он уезжает бог весть на сколько лет и если когда и вернется, то уже совсем иным. Ей неведомо было его истинное умонастроение — гордая решимость не позволить никому заподозрить в нем корыстного авантюриста, домогающегося благосклонности богатой вдовы, — и перемену в его обращении Доротея объяснила тем, что Уилл, как и она сама, счел приписку к завещанию мистера Кейсобона грубым и жестоким запретом, наложенным на их дружбу. Никому, кроме них двоих, не интересные беседы, которыми они наслаждались со всем восторженным пылом молодости, навеки отошли в прошлое, став драгоценным воспоминанием. И она предалась воспоминаниям, не сдерживаясь более. В этом горьком наслаждении тоже не было ни проблеска надежды, и Доротея погрузилась в его сумрачную глубину, без слез выплакивая боль. Она сняла со стены миниатюру, чего никогда не делала прежде, и держала перед собой, упиваясь сходством между этой женщиной, в свое время так же безжалостно осужденной людьми, и ее внуком, осуждению которого она противилась и сердцем и умом. Сможет ли кто-нибудь, согретый нежностью женского сердца, упрекнуть ее за то, что она держала на ладони овальную миниатюру

и прижималась к ней щекой, словно надеясь таким образом утешить безвинно осужденных? Она тогда еще не знала, что это Любовь посетила ее, как озаренный отблеском рассвета краткий сон накануне пробуждения, — что это Любовь свою оплакивала она, когда таял перед ее взором милый образ, изгоняемый суровой явью дня. Она только чувствовала, что ее судьба непоправимо изменилась, утрачено нечто важное, и еще более отчетливо, чем прежде, представляла себе свое будущее. Люди с пылким сердцем в поисках непроторенного пути нередко посвящают жизнь осуществлению своих призрачных замыслов.

Однажды, когда Доротея наведалась во Фрешит, согласно обещанию намереваясь там переночевать и присутствовать при купании дитяти, к обеду явилась миссис Кэдуолледер, чей супруг отправился на рыбную ловлю. Стоял теплый вечер, и даже в уютной гостиной, из распахнутого окна которой открывался вид на пологий зеленый берег заросшего лилиями маленького пруда и яркие клумбы, была такая духота, что Селия, порхающая по комнате в белом кисейном платьице и с непокрытой кудрявой головкой, призадумалась, каково же приходится ее сестре во вдовьем чепце и траурном платье. Правда, мысль эта

возникла лишь после того, как кончилась возня с младенцем, и Селия могла себе позволить думать о постороннем. Она немного посидела, обмахиваясь веером, затем проворковала:

— Додо, душечка, сними чепец. Как тебе только дурно не делается в таком наряде!

— Я привыкла к этому чепцу, он для меня все равно что раковина для улитки, — с улыбкой отозвалась Доротея. — Без него я чувствую себя неловко, как раздетая.

— Нет, душечка, его необходимо снять: на тебя смотреть и то жарко, — сказала Селия и, положив веер, подошла к Доротее. Очаровательное зрелище являла собой эта юная мать в белом кисейном платье, когда, сняв чепец с высокой, более осанистой сестры, бросила его на кресло. В тот миг, когда темно-каштановые косы упали, распустившись, на плечи Доротеи, в комнату вошел сэр Джеймс. Он взглянул на освобожденную от неизменного убора головку и удовлетворенно сказал: «О!»

— Это я сняла его, Джеймс, — сообщила Селия. — Додо совсем не нужно так рабски блюсти траур. Вовсе незачем ей носить чепец в кругу семьи.

— Селия, дружок мой, — возразила леди Чет-

тем. — Вдове положено носить траур по крайней мере год.

— Если она не выйдет за это время замуж, — сказала миссис Кэдуолледер, любившая иногда ужаснуть подобными высказываниями свою добрую приятельницу, вдовствующую леди.

Раздосадованный сэр Джеймс, нагнувшись, принялся играть с болонкой Селии.

— Надеюсь, это бывает весьма редко, — сказала леди Четтем тоном, предостерегающим от таких крайностей. — Кроме миссис Бивор, никто из наших родственников не вел себя подобным образом, и лорд Гринзел очень огорчился, когда она так поступила. Ее первый брак не был удачным, тем более странно, что она поспешила замуж вторично. Расплата оказалась жестокой. Говорят, капитан Бивор таскал ее за волосы и целился в нее из заряженного пистолета.

— Значит, плохо выбирала! — сказала миссис Кэдуолледер, в которую словно какой-то бес вселился. — Если плохо выбрать мужа, брак не может быть удачным, неважно, первый он или второй. Не особая заслуга быть первым мужем у жены, если заслуга эта — единственная. Я предпочла бы хорошего второго мужа плохонькому первому.

— Ради красного словца вы чего только не наговорите, моя милая, — сказала леди Четтем. — Не сомневаюсь, что уж вы-то не стали бы преждевременно вступать в брак, если бы скончался наш милейший мистер Кэдуолледер.

— О, я зароков не даю, а что, если иначе не сведешь концов с концами? Закон, по-моему, не запрещает выходить замуж второй раз, мы все же христиане, а не индусы. Разумеется, если женщина сделала неудачный выбор, ей приходится мириться с последствиями, а те, кто совершает подобную оплошность дважды, не заслуживают лучшей участи. Но если жених родовит, красив, отважен — с богом, чем скорей, тем лучше.

— Я думаю, мы неудачно выбрали тему разговора, — недовольно произнес сэр Джеймс. — Что, если нам ее переменить?

— Из-за меня не стоит, — сказала Доротея, сочтя момент удобным для того, чтобы отвести туманные намеки по поводу блестящих партий. — Если вы хлопочете ради меня, то уверяю вас, трудно найти вопрос, который волновал бы меня меньше, нежели замужество. Он занимает меня в той же мере, как разговор о женщинах, принимающих участие в охоте на лисиц: ими можно восхищаться, но их примеру я не последую. Так

пусть же миссис Кэдуолледер развлекается этим предметом, если для нее он интереснее других.

— Любезнейшая миссис Кейсобон, — сказала леди Четтем самым величественным своим тоном, — вы, надеюсь, не подумали, что, упоминая миссис Бивор, я намекала на вас. Мне просто вспомнился этот случай. Она была падчерицей лорда Гринзела, женатого вторым браком на миссис Теверой. К вам это не имеет ни малейшего отношения.

— Ну, конечно, — сказала Селия. — Мы совершенно случайно начали этот разговор — из-за чепца Додо. А миссис Кэдуолледер говорит чистую правду. Во вдовьем чепце не выходят замуж, Джеймс.

— Тс-с, милочка, — сказала миссис Кэдуолледер, — теперь я буду осмотрительнее. Я даже не стану поминать Дидону и Зенобию[182]. Только вот о чем нам разговаривать? Я, к примеру, не

---

**[182] Примечания: 182**

*Дидона* — легендарная основательница Карфагена в Северной Африке, куда, после того как ее муж был убит, она бежала из Финикии. По римским сказаниям, стала возлюбленной троянца Энея и покончила с собой, когда он ее покинул. *Зенобия* — дочь армянского царя Митридата. Когда Армению захватил парфянский царь Тиридат, муж Зенобии во время бегства поразил ее кинжалом и бросил в реку, чтобы она не попала в руки победителя. Однако Зенобия была только ранена, ее спасли пастухи и доставили к Тиридату, который обращался с ней как с царицей.

позволю обсуждать природу человеческую, коль скоро это природа и жен священников.

Вечером, после отъезда миссис Кэдуолледер, Селия сказала, оставшись с Доротеей наедине:

— Право, Додо, как только я сняла с тебя чепец, ты стала такой, как прежде, и не только по наружности. Сразу же заговорила точь-в-точь как в те времена, когда тебя так и тянуло со всеми спорить. Я только не поняла, Джеймсу ты возражала или миссис Кэдуолледер.

— Ни ему, ни ей, — сказала Доротея. — Джеймс стремился пощадить мои чувства, но он ошибся, думая, что меня встревожили слова миссис Кэдуолледер. Я встревожилась бы лишь в том случае, если бы существовал закон, обязывающий меня выйти замуж за образчик родовитости и красоты, который мне предложит эта дама или кто-либо другой.

— Это так, только знаешь, Додо, если все же ты выйдешь замуж, то лучше уж за родовитого и красивого, — сказала Селия, у которой мелькнула мысль, что мистер Кейсобон не был щедро наделен этими достоинствами, а потому не мешало бы на сей раз заблаговременно предостеречь Доротею.

— Успокойся, Киска, у меня совсем другие пла-

ны. Замуж я больше не пойду, — сказала Доротея, тронув сестру за подбородок и с ласковой нежностью глядя на нее. Селия укладывала младенца, и Доротея зашла к ней пожелать спокойной ночи.

— В самом деле никогда? — спросила Селия. — Ни за кого на свете, даже если он будет само совершенство?

Доротея медленно покачала головой:

— Ни за кого на свете. У меня замечательные проекты. Я намереваюсь осушить обширный участок земли и основать небольшую колонию, где все будут трудиться, и непременно — добросовестно. Я буду знать там каждого, я стану их другом. Только сперва необходимо все подробно обсудить с мистером Гартом, он может рассказать мне очень многое из того, что я хочу узнать.

— Ну, если у тебя есть проект, ты будешь счастлива, Додо, — сказала Селия. — Может быть, маленькому Артуру, когда он вырастет, тоже понравится составлять проекты, и он станет тебе помогать.

Тем же вечером сэра Джеймса известили, что Доротея и впрямь твердо решила не выходить больше замуж и намерена посвятить себя «всяческим проектам», наподобие тех, какие замышляла прежде. Сэр Джеймс на это ничего не

сказал. В глубине души он испытывал отвращение к женщинам, вступающим вторично в брак, и сватовство любого жениха, домогающегося руки Доротеи, представлялось ему кощунством. Он понимал, что это чувство выглядит нелепо в глазах света, в особенности когда речь идет о женщине двадцати лет; свет на вторичное замужество молодой вдовы смотрит как на дело вполне дозволенное, с которым, пожалуй, не следует медлить, и понимающе улыбается, когда вдова поступает соответственно. Однако если бы Доротея предпочла остаться одинокой, этот выбор более приличествовал бы ей.

## Глава LVI

*Взгляните, сколько счастлив тот,*
*Кто не слуга ни у кого:*
*Правдивый ум – его оплот,*
*И честность – ремесло его.*
* * *
*Не знает жажды славы он*
*И пред опалой не дрожит.*
*Пускай именья он лишен —*
*Он сам себе принадлежит.*
***Генри Уоттон*[183]**

Доверие, которым прониклась Доротея к познаниям Кэлеба Гарта, узнав, что он одобрительно отозвался о ее домах, возросло еще сильней, когда во время ее пребывания во Фрешите сэр Джеймс уговорил ее объехать вместе с ним и Кэлебом оба поместья, после чего Кэлеб, преисполнившись столь же глубоким почтением к ней, сказал жене, что миссис Кейсобон обладает поразительным для женщины деловым складом ума. Вспомним, что под словом «деловой» Кэлеб разумел не коммерческие таланты, а умелое приложение труда.

---

**[183] Примечания: 183**
Генри Уоттон (1568 — 1639) — английский поэт и прозаик.

— Поразительным! — повторил Кэлеб. — Она высказала одну мысль, которая и мне не давала покоя, когда я еще был молодым пареньком. «Мистер Гарт, — сказала она, — я буду спокойнее чувствовать себя на старости лет, если в течение своей жизни осушу и сделаю плодородным большой участок земли и выстрою на нем множество хороших домов, ибо труд этот полезен тем, кто его будет выполнять, а результаты принесут людям благо». Именно так она сказала, таковы ее взгляды.

— Они, надеюсь, не лишают ее женственности, — сказала миссис Гарт, заподозрив, что миссис Кейсобон не придерживается подобающих даме принципов субординации.

— Она необыкновенно женственна, — ответил Кэлеб, встряхнув головой. — Ты бы послушала, как она разговаривает, Сьюзен. Самыми простыми словами, а голос словно музыка. Боже милостивый! Будто слушаешь «Мессию»[184] и «тотчас явилось воинство небесное, восхваляя господа и говоря». Звук ее голоса ласкает слух.

Кэлеб очень любил музыку и, когда ему выпа-

**[184] Примечания: 184**

«*Мессия*» — оратория немецкого композитора Георга Фридриха Генделя (1685 — 1759), почти всю жизнь прожившего в Англии; впервые была исполнена в 1742 г.

дала возможность прослушать какую-нибудь ораторию, возвращался домой полный глубокого преклонения перед этим монументальным сооружением из звуков и тонов и сидел в задумчивости, глядя в пол и держа пространные, беззвучные речи, обращенные, по всей видимости, к собственным ладоням.

При такой общности взглядов неудивительно, что Доротея попросила мистера Гарта взять на себя ведение всех дел, связанных с тремя фермами и множеством входящих в Лоуик-Мэнор участков арендуемой земли. Короче говоря, надежда Кэлеба трудиться в обоих поместьях теперь осуществилась. «Дело ширилось», употребляя его же слова. Ширились разные дела, и самым новым из них была постройка железных дорог. Согласно проекту, колею намеревались проложить по землям Лоуикского прихода, где паслась скотина, чей покой дотоле не смущали новшества; так случилось, что рождение железных дорог проникло в сферу деятельности Кэлеба Гарта и определило жизненный путь двоих участников нашей истории, особо близких его сердцу.

Проложить подводную железную дорогу, вероятно, оказалось бы непросто, однако дно морское не разделено между множеством землевладель-

цев, требующих возмещения всяческих ущербов, в том числе и нематериальных. В Мидлмарче постройку железной дороги обсуждали с таким же волнением, как билль о реформе и ужасы холеры, причем самых крайних точек зрения придерживались женщины и землевладельцы. Женщины, как старые, так и молодые, почитали путешествие по железной дороге делом опрометчивым и небезопасным, а их главным доводом служило утверждение, что они ни в коем случае не согласятся сесть в вагон; доводы землевладельцев разнились между собой не в меньшей мере, чем Соломон Фезерстоун и лорд Медликоут, впрочем, все единодушно придерживались мнения, что, продавая землю врагу ли рода людского или железнодорожным компаниям, владельцы поместий должны потребовать с них как можно больше денег за наносимый человечеству ущерб.

Тугодумам наподобие мистера Соломона и миссис Уол, живущим на собственной земле, потребовалось много времени, чтобы сделать этот вывод; если воображение весьма живо рисовало им, как Большое пастбище разрезано пополам и противоестественным образом превращено в два треугольных выгона, то все, что касалось до стро-

ительства мостов и прибылей, представлялось им далеким и маловероятным.

— Все коровы, братец, начнут выкидывать телят, — заявила миссис Уол с глубокой скорбью, — если эту колею проложат через Ближний выгон. То же самое может случиться и с кобылой. Хорошенькое дело, когда имущество бедной вдовы расковыряют да раскидают лопатами и закон ее не защитит. Доберутся до моей земли, да и пойдут кромсать ее как вздумается, и кто им воспрепятствует? Все знают: я за себя постоять не могу.

— Лучше всего было бы ничего им не говорить, а поручить кому-нибудь отвадить их хорошенько, когда они тут все вымеряли и шпионили, — сказал Соломон. — По-моему, так сделали в Брассинге. Я уверен, это выдумки, что, мол, им больше негде прокладывать дорогу. Копали бы в другом приходе. Да разве можно возместить ущерб, после того как шайка головорезов вытопчет весь урожай на твоем поле! Разве такая компания раскошелится?

— Братец Питер, да простит его бог, получил деньги от компании, — ответила миссис Уол. — Только там был марганец, а не железные дороги, которые из нас всю душу вытрясут.

— Ну, я одно только скажу тебе, Джейн, — заключил мистер Соломон, таинственно понизив голос, — чем больше мы будем вставлять компании палок в колеса, тем больше она будет нам платить, если ей и впрямь так нужно, чтобы эти колеса крутились.

Умозаключение, сделанное мистером Соломоном, возможно, не было столь безупречным, как ему казалось, ибо предложенная им уловка не в большей мере сказывалась на постройке железнодорожных путей, чем дипломатические уловки на общем состоянии Солнечной системы. Тем не менее он принялся гнуть свою линию в лучших дипломатических традициях, а именно — распуская тревожные слухи. Его земли располагались в наиболее удаленной от деревни части прихода, и кое-кто из его работников жил в одиноко стоящих домишках, а остальные в поселке под названием Фрик, где имелась мельница и несколько каменоломен, так что Фрик являлся своего рода центром доморощенной вялой и сонной промышленности.

Поскольку население Фрика не имело ни малейшего представления о железных дорогах, общественное мнение склонялось не в их пользу. Жители этих изобилующих заливными лугами

мест не испытывали свойственной многим их собратьям тяги к неведомому, наоборот, относились к нему подозрительно, полагая, что бедным людям нечего от него ждать, кроме беды. Даже слухи о реформе не пробудили радужных надежд во Фрике, ибо не сулили никаких определенных выгод: дарового зерна Хайраму Форду на откорм свиньи, посетителям «Весов и гирь» — бесплатного пива, батракам трех местных фермеров — увеличения жалованья ближайшей зимой. Реформа, не обещавшая такого рода прямых благ, мало чем отличалась от нахваливающих свой товар разносчиков, а потому внушала подозрения разумным людям. Жители Фрика с голоду не помирали и были больше расположены к тяжеловесной подозрительности, чем к легковерному энтузиазму — они скорей готовы были поверить не в то, что провидение о них печется, сколько в то, что оно норовит их одурачить, о каковом его стремлении свидетельствовала и погода.

Настроенные таким образом обитатели Фрика служили благодатным материалом для деятельности мистера Соломона Фезерстоуна, обладающего более плодородными идеями на этот счет, ибо досуг и природные склонности позволяли ему подвергнуть подозрению все сущее и на зем-

ле, и чуть ли не на небесах. Соломон в ту пору был смотрителем дорог и, совершая объезды на своем неторопливом жеребчике, не раз наведывался во Фрик поглядеть на рабочих в каменоломнях и останавливался неподалеку от них с загадочным и сосредоточенным видом, невольно наводившим на мысль, что его задержали более веские причины, чем простое желание передохнуть. Вдоволь наглядевшись, как идет работа, Соломон поднимал взгляд и устремлял его на горизонт, и лишь после этого дернув поводья и слегка тронув жеребца хлыстом, побуждал его продолжить путь. Часовая стрелка двигалась быстрей, чем мистер Соломон, обладавший счастливым убеждением, что ему некуда спешить. У него была привычка останавливаться по пути возле всех землекопов и подстригающих живую изгородь садовников и затевать полную недомолвок и околичностей болтовню, охотно выслушивая даже уже знакомые ему вести и ощущая свое преимущество перед любым рассказчиком, поскольку сам он никому из них не доверял. Правда, однажды, вступив в разговор с возчиком Хайрамом Фордом, он снабдил его кое-какими сведениями. Мистер Соломон полюбопытствовал, встречались ли Хайраму молодчики, которые шныряют

в их краях с планками и всяческими инструментами; говорят, что будут строить, мол, железную дорогу, а на самом деле пес их разберет, кто они такие и что затевают. И уж во всяком случае, они и виду не подают, что собираются перевернуть вверх дном весь Лоуикский приход.

— Э-э, да ведь тогда люди ездить друг к другу не станут, — сказал Хайрам, тут же вспомнив о своем фургоне и лошадях.

— Ну еще бы, — сказал мистер Соломон. — К тому же они расковыряют нам всю землю, а в приходе у нас отменная земля. Шли бы лучше в Типтон, говорю я. Да ведь как знать, чего ради они все это затеяли. Толкуют о поездках, а кончится-то тем, что испортят землю и принесут вред бедным людям.

— Лондонский народ, видать, — сказал Хайрам, смутно представлявший себе Лондон как средоточие враждебных деревне сил.

— Да уж конечно. Говорят, когда они шныряли в окрестностях Брассинга, местные жители набросились на них, переломали ихние трубки на треногах, а самих вытолкали в шею, так что они навряд ли придут еще раз.

— То-то весело, наверно, было, — сказал Хайрам, которому редко выпадал случай повеселиться.

— Я сам бы не стал впутываться в такие дела, — продолжал Соломон. — Но говорят, для наших мест наступают скверные дни: было знамение, что разорят тут все эти молодчики, которые шастают взад и вперед по округе и хотят изрезать ее железными колеями; а стараются они ради того, чтобы захватить в свои руки все перевозки, и уж тогда не останется у нас ни единой упряжки, не услышишь даже, как щелкает кнут.

— Раньше чем до этого дойдет, я так щелкну кнутом, что у них уши позакладывает, — сказал Хайрам, а мистер Соломон, дернув поводья, продолжил свой путь.

Крапиву сеять нет нужды. Пагубное влияние железной дороги обсуждалось не только в «Весах и гирях», но и на лугах, где в пору сенокоса оказалось столько собеседников, сколько редко собирается в деревне.

Однажды утром, вскоре после того как Мэри Гарт призналась мистеру Фербратеру в своих чувствах к Фреду Винси, у ее отца случилось дело на ферме Йодрела, неподалеку от Фрика: нужно было измерить и оценить принадлежащий к Лоуик-Мэнору дальний участок, и Кэлеб рассчитывал произвести эту операцию как можно выгоднее для Доротеи (следует признаться, что,

ведя переговоры с железнодорожными компаниями, Кэлеб упорно стремился выторговать у них побольше). Он оставил у Йодрела двуколку и, направляясь со своим подручным и межевой цепью туда, где ему предстояло работать, наткнулся на землемеров железнодорожной компании, устанавливающих ватерпас. Кэлеб перебросился с ними несколькими словами и двинулся дальше, подумав, что они теперь все время будут наступать ему на пятки. Стояло серенькое утро, из тех, какие бывают после небольшого дождика и сулят чарующую погоду к полудню, когда поредеют облака и от пролегающих между живыми изгородями проселков сладко повеет свежим запахом земли.

Запах этот показался бы еще слаще Фреду Винси, ехавшему верхом по дороге, если бы он не истерзал себя бесплодными попытками придумать, что предпринять, когда, с одной стороны, отец ждет не дождется, чтобы он принял сан, а, с другой стороны, Мэри грозится оставить его в таком случае, причем в мире деловых людей, как видно, никому не нужен не умеющий ничего делать и не располагающий капиталом молодой человек. Особенно угнетающе на Фреда действовало то, что довольный его покорностью

отец впал в благодушие и отправил его сейчас к знакомому помещику с приятной миссией посмотреть борзых. Даже когда он выберет для себя определенное занятие, нелегко будет сообщить об этом отцу. Следовало, впрочем, признать, что выбор занятия, который должен был предшествовать объяснению с отцом, являлся более трудной задачей: существует ли для молодого человека, чья родня не в состоянии подыскать ему «место», мирская профессия, которая в одно и то же время приличествует джентльмену, прибыльна и не требует специальных познаний? В таком унылом настроении, оглядывая обсаженные живыми изгородями луга, он направлялся к Фрику, где придержал немного лошадь в раздумье, не свернуть ли к дому приходского священника и повидаться с Мэри. Внезапно его внимание привлек шум, и в дальнем конце расположенного слева от него луга Фред заметил человек шесть-семь мужчин, одетых в рабочие блузы и воинственно наступавших с вилами в руках на четырех землемеров, готовых отразить нападение, в то время как Кэлеб Гарт вместе с подручным уже поспешал к ним на выручку. Фреду, замешкавшемуся, чтобы отыскать калитку в изгороди, не удалось опередить людей в блузах, каковые, подкрепившись в обед

пивом, работали не слишком-то усердно, зато сейчас, воинственно размахивая вилами, гнали перед собой людей, одетых в сюртуки. Подручный Кэлеба, парнишка лет семнадцати, успевший по его указанию захватить ватерпас, недвижно лежал на земле, сбитый с ног. Владельцы сюртуков бегали проворнее, чем их притеснители, к тому же Фред прикрыл их отступление, появившись перед блузами и столь внезапно их атаковав, что внес в их ряды смятение.

— Что вы затеяли, чертовы олухи? — завопил Фред, преследуя своих разбегающихся в разные стороны противников и вовсю орудуя хлыстом. — Я против каждого из вас дам свидетельство под присягой. Свалили паренька на землю и, кажется, убили насмерть. Всех вас повесят после следующей сессии суда, с вашего позволения, — заключил Фред, который от души потом смеялся, вспоминая свои речи.

Когда косари оказались по ту сторону изгороди, Фред осадил коня, и вот тут-то Хайрам Форд, сочтя расстояние безопасным, вернулся к калитке и бросил вызов, прозвучавший гомерически, о чем сам он, разумеется, понятия не имел:

— Трус ты, вот ты кто. Слезай с лошади, господинчик, да посмотрим, кто кого. Валяй, попробуй,

подойди ко мне без лошади и без хлыста. Я из тебя душу вытрясу, право слово.

— Погодите там немного, я скоро приду и отколочу вас всех по очереди, если вам приспичило, — сказал Фред, уверенный в своей способности учинить кулачную расправу над горячо любимыми собратьями. Однако прежде ему хотелось вернуться к Кэлебу и распростертому на земле юноше.

Тот вывихнул лодыжку и мучительно страдал от боли, но поскольку у него не оказалось других повреждений, Фред усадил его на свою лошадь, на которой паренек мог добраться до фермы Йодрела, где ему бы оказали помощь.

— Пусть поставят лошадь в конюшню и скажут землемерам, что можно возвращаться, — заявил Фред. — Путь свободен.

— Нет, нет, — возразил Кэлеб. — Их инструменты не в порядке. Им придется пропустить денек, да ничего не поделаешь. Прихвати с собой их вещи, Том. Они тебя увидят и вернутся.

— Я рад, что встретился вам в нужную минуту, мистер Гарт, — сказал Фред, когда Том удалился. — Еще неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы кавалерия не подоспела вовремя.

— Да, да, нам повезло, — несколько рассеянно

ответил Кэлеб, поглядывая в ту сторону, где он работал, когда пришлось бежать на выручку к землемерам. — Но вот… прах их побери… с дураками ведь только свяжись — мне сегодня тоже не удастся поработать. Без помощника мне не управиться с межевой цепью. Вот дела! — Словно позабыв о Фреде, он с огорченным видом двинулся с места и вдруг повернулся и быстро спросил: — Ты сегодня чем-то занят, молодой человек?

— Ничем не занят, мистер Гарт. Я помогу вам с удовольствием, если позволите, — сказал Фред, чувствуя, что как бы оказывает внимание Мэри, предлагая помощь ее отцу.

— Почему же, только тебе придется много нагибаться, упаришься порядком.

— Это пустяки. Только сперва я разделаюсь с верзилой, который меня вызвал на кулачный бой. Его нужно проучить. Это займет не более пяти минут.

— Чушь! — решительно воскликнул Кэлеб. — Я сейчас сам с ними поговорю. Люди они невежественные. Наслушались сплетен. Где же бедным дурням разобраться, что к чему.

— Тогда я пойду с вами, — сказал Фред.

— Этого вовсе не нужно; оставайся где стоишь. Горячие головы там не нужны. Я о себе сам по-

забочусь.

Обладавшему огромной силой Кэлебу почти неведом был страх, он боялся только двух вещей: как бы не обидеть кого и как бы ему не пришлось говорить речь. Но на сей раз он счел себя обязанным произнести некое воззвание. Кэлеб не испытывал сентиментальной жалости к трудовому люду, но, когда доходило до дела, всегда был снисходителен, и эта кажущаяся непоследовательность объяснялась, очевидно, тем, что он сам всю жизнь не покладая рук трудился. Он считал основой благополучия этих людей труд ежедневный и добросовестный, без которого и сам не чувствовал себя счастливым; впрочем, мысленно он не отделял себя от них. Когда Кэлеб подошел к косарям, они еще не принялись за работу и стояли, как обычно стоят деревенские зеваки, каждый повернувшись боком к соседу и на расстоянии двух-трех шагов от него. Довольно угрюмо уставились они на Кэлеба, который быстро приближался к ним, держа одну руку в кармане, а другую сунув за борт жилета, и, как всегда благодушный и кроткий, остановился перед ними.

— Это что же получается, ребята? — начал он по своему обычаю отрывисто, ощущая, что за

каждой коротенькой фразой скрыто множество мыслей, подобно огромному пучку корней у растения, верхушка которого едва виднеется над водной гладью. — Как могли вы сотворить такую глупость? Кто-то наговорил вам небылиц, а вы подумали, что эти люди явились сюда со злым умыслом.

— Ага! — откликнулся нестройный хор голосов, ибо каждый помешкал с ответом в меру своей медлительности.

— Вздор! Ничего подобного! Они ищут, где лучше проложить железную дорогу. А помешать строить дорогу вы, братцы, не можете, у вас не спросят, нравится вам это или нет. Зато будете смуту устраивать — попадете в беду. Эти люди имеют законное право ходить здесь. Запретить им это землевладельцы не могут, и, если вы будете им мешать, вам придется иметь дело с полицией, с судьей Блексли и кончится все наручниками и мидлмарчской тюрьмой. Вы там довольно скоро можете оказаться, если кто-нибудь из землемеров пожалуется на вас.

Тут Кэлеб сделал паузу, и, быть может, величайший оратор не выбрал бы лучшего времени для паузы и более красноречивых доводов, чем он.

— Но ведь вы не замышляли ничего дурного.

Кто-то вам сказал, что железные дороги принесут беду. Этот человек солгал. Железная дорога кое-где кое-кому и может чем-то повредить, точно так же может повредить и солнце в небе. Но вообще железная дорога нужна.

— Ага! Нужна! Важным птицам она нужна, чтобы денег загребать побольше, — заговорил старый Тимоти Купер, который не участвовал в потехе и во время перепалки с землемерами ворошил сено на лугу. — Чего только я не нагляделся за свою жизнь, и войну видел, и мир, и каналы, и старого короля Георга, и регента, и нового короля Георга, и еще одного нового короля, позабыл, как его звать… а бедному человеку все едино. Много было ему проку от каналов? Не прибавилось ни мяса, ни сала, деньжат самую малость отложить и то сумеешь, только коли живешь впроголодь. Когда я молодым был, бедным людям получше жилось. Возьмем опять же эти самые дороги. От них бедному человеку еще больший разор. Только вот на рожон прут одни дураки, я тут уже говорил ребятам. Все на этом свете для важных птиц. Вот и вы для них стараетесь, мистер Гарт, а как же.

Тимоти, жилистый старик, обломок прошлого, какие изредка еще встречались в те времена, жил

одиноко в своем домишке, держал накопленные деньги в чулке, никоим образом не поддавался воздействию слов, не будучи проникнут духом феодализма, а судя по его недоверчивости, он ничего не знал и о «Веке Разума», и о «Правах Человека»[185]. Кэлебу приходилось нелегко, как всякому, кто без помощи чуда пытается вразумить темных поселян, располагающих истиной, на их взгляд непреложной, ибо они ощутили ее всем нутром и готовы сокрушить, словно дубинкой, самые стройные и разумные доводы лишь потому, что истинность этих доводов они нутром не ощутили. Кэлеб не приготовил на этот случай отговорок, да и не стал бы прибегать к ним — он привык встречать трудности, честно «делая свое дело». Он ответил:

— Если ты дурного мнения обо мне, Тим, спорить не стану: это неважно. Бедным людям, возможно, плохо — положение у них и впрямь тяжелое, только я не хочу, чтобы эти ребята сами сделали свое положение еще тяжелее. Когда телега перегружена, волам не станет легче оттого, что

**[185] Примечания: 185**

«*Век Разума*» и «*Права Человека*» — знаменитые трактаты Томаса Пейна (1737 — 1809), американского политического деятеля и публициста, в которых он защищал принципы французской буржуазной революции 1789 г. и излагал свои революционно-демократические идеи.

они выбросят в придорожный ров поклажу, — ведь они тащат и свой собственный корм.

— Мы хотели только малость поразвлечься, — сказал Хайрам, почуяв, чем пахнет дело. — Больше мы ничего не хотели.

— Ну ладно, обещайте мне, что не станете впредь затевать ничего подобного, а я уговорю землемеров не жаловаться на вас.

— Чего мне обещать, я к ихним затеям непричастный, — сказал Тимоти.

— Это верно, но я говорю об остальных. И на том покончим, у меня нынче не меньше, чем у вас, работы, тратить время даром я не могу. Обещайте, что уйметесь без вмешательства полиции.

— Мы их не тронем… пусть делают что хотят, — так формулировали косари свои обещания, заручившись каковыми Кэлеб поспешил к Фреду, дожидавшемуся его у ворот.

Они принялись за работу, и Фред старался что есть сил. Он пришел в отличное настроение и веселился от души, когда, поскользнувшись на сырой земле, выпачкал свои щегольские летние панталоны. Привела ли его в ликующее состояние одержанная над косарями победа или он радовался тому, что помогает отцу Мэри? Ни то, ни другое. Отчаявшись найти подходящее

занятие, он после утренних событий увидел перспективу, привлекательную для него по ряду причин. Вполне возможно, новая идея осенила Фреда потому, что и в душе мистера Гарта завибрировали смолкнувшие было струны. Стечение обстоятельств, которое наталкивает нас на внезапное удачное решение, ведь не более чем искра, упавшая на смоченную керосином паклю. Фреду такой искрой с тех пор представлялась железная дорога. Впрочем, они с Кэлебом нарушали молчание только тогда, когда нужно было что-нибудь сказать по делу. И лишь когда они покончили с работой и возвращались к ферме Йодрела, мистер Гарт сказал:

— Для такого занятия не обязательно быть бакалавром, а, Фред?

— Сожалею, что не принялся за него прежде, чем мне вздумалось стать бакалавром, — ответил Фред. Помолчав, он уже менее решительно добавил: — Вы полагаете, я слишком стар для того, чтобы обучиться вашему делу, мистер Гарт?

— В нашем деле много чего нужно знать, мой мальчик, — улыбаясь, сказал мистер Гарт. — Большая часть того, что я усвоил, постигается только опытом: в книгах этого не вычитать. Но ты еще достаточно молод, чтобы заложить основу.

Кэлеб произнес с жаром завершающую фразу и вдруг осекся. В последнее время у него сложилось впечатление, что Фред хочет стать священником.

— Вы полагаете, выйдет толк, если я попытаюсь? — несколько оживившись, спросил Фред.

— Там видно будет, — ответил Кэлеб, склонив голову набок и благоговейно понизив голос. — Необходимы два условия: любить свою работу и не думать, как бы поскорее с ней разделаться и приняться за развлечения. И второе: нельзя ее стыдиться и считать, что другая была бы почетнее. Нужно гордиться своим делом, гордиться тем, как ты искусен в нем, а не твердить: «Мне бы то, да это… занимался бы я тем, я бы себя показал». Кем бы ни был человек, я за него не дам и двух пенсов, — Кэлеб, презрительно скривив губы, щелкнул пальцами, — двух пенсов за него не дам, будь он премьер-министр или батрак, если он дурно выполняет дело, за которое взялся.

— Вероятно, такое случится со мной, если я стану священником, — сказал Фред, желая подвести разговор ближе к сути.

— Тогда отступись, мой мальчик, — решительно сказал Кэлеб, — иначе у тебя никогда не будет легко на душе. А коли будет, значит, грош тебе

цена.

— Мэри примерно так же считает, — покраснев, заявил Фред. — Я думаю, вы знаете, как я отношусь к Мэри, мистер Гарт, что я люблю ее всю жизнь и никого не полюблю так сильно, и надеюсь, вас это не сердит.

Пока Фред говорил, лицо Кэлеба заметно смягчилось. Однако он с торжественной медлительностью покачал головой и сказал:

— Дело становится еще серьезнее, если ты решил взять на себя заботу о счастье моей дочери.

— Я это знаю, мистер Гарт, — пылко ответил Фред, — и готов на все для Мэри. Она сказала, что не выйдет за меня, если я стану священником: потеряв надежду на ее руку, я буду несчастнейший на свете человек. Право, найти бы только какое-нибудь занятие, к которому я пригоден, и я бы так старался… я бы заслужил ваше доброе мнение. Мне нравится работать под открытым небом. Я уже много чего знаю и о земле, и о скоте. Одно время, видите ли, я считал — вам это, вероятно, покажется глупым, — что я сам стану землевладельцем. Я уверен, что без труда научусь разбираться в сельском хозяйстве, особенно если вы возьметесь мной руководить.

— Не торопись, мой мальчик, — сказал Кэлеб,

перед внутренним взором которого замаячил образ Сьюзен. — Ты уже говорил по этому поводу с отцом?

— Пока нет, но непременно поговорю. Я сперва хотел решить, каким делом мне заняться. Мне очень не хочется огорчать отца, но когда человеку уже двадцать четыре года, он вправе сам решать свои дела. Как мог я знать в пятнадцать лет, какое занятие мне подходит? Меня учили не тому, чему нужно.

— Но послушай, Фред, — сказал Кэлеб. — Ты уверен, что нравишься Мэри и она согласна выйти за тебя?

— Я попросил мистера Фербратера поговорить с ней, потому что мне она запретила, а ничего другого я не мог придумать, — виновато ответил Фред. — Он считает, что у меня есть все основания для надежды, если я смогу добиться приличного положения… то есть не принимая сана, разумеется. Вас, наверное, сердит, что я к вам пристаю с этими разговорами, хотя сам еще ничего не сделал. Разумеется, я не имею ни малейшего права, я и так у вас в долгу, и этот долг останется неоплатным даже после того, как я верну деньги.

— Нет, мой мальчик, у тебя есть право, — с глубоким волнением сказал Кэлеб, — молодые

вправе рассчитывать на помощь старших. Я и сам был молод, и не очень-то мне помогали; а помощь мне была нужна, хотя бы просто для того, чтобы не чувствовать себя одиноким. Но сперва я должен все обдумать. Приходи завтра в девять часов ко мне в контору. Запомни, в контору, а не домой.

Мистер Гарт еще ни разу не предпринял серьезного шага, не посоветовавшись с Сьюзен, однако следует признать, что сейчас он уже по дороге домой знал, как поступит. В очень многих вопросах, в которых другие мужчины проявляют неуступчивость и упрямство, Кэлеб Гарт являлся самым покладистым человеком на свете. Ему было безразлично, какое предпочесть мясное блюдо, и, если бы Сьюзен предложила ради экономии поселиться в четырехкомнатном домишке, он ответил бы без дальних слов: «Ну что ж». Но когда разум и чувство убедительно свидетельствовали в пользу какого-либо решения, он не терпел возражений, и все близкие Кэлеба знали, что, несмотря на свою мягкость и щепетильность, в исключительных случаях он непоколебим. Правда, Кэлеб никогда не проявлял такой властности, если речь шла о его интересах. В девяноста девяти случаях из ста дела решала миссис Гарт, зато

в сотом она сразу сознавала, что ей предстоит невыносимо тяжкий подвиг — покориться мужу, осуществляя свои же собственные принципы субординации.

— Вышло так, как я и думал, Сьюзен, — сказал Кэлеб, когда вечером они остались наедине. Он уже рассказал о приключении, из-за которого ему пришлось прибегнуть к помощи Фреда, но умолчал пока о дальнейших последствиях их встречи. — Дети и впрямь полюбили друг друга — я говорю о Фреде и Мэри.

Миссис Гарт опустила на колени рукоделие и встревоженно устремила на мужа испытующий взгляд.

— Когда мы кончили работу, Фред мне все рассказал без утайки. У него и у самого не лежит душа к тому, чтобы принять сан, а тут еще Мэри сказала, что не выйдет за него, если он станет священником; мальчику хотелось бы пойти ко мне в подручные и посвятить себя нашему делу. Вот я и надумал взять его к себе и сделать из него человека.

— Кэлеб! — сказала миссис Гарт звучным контральто, выражавшим кроткое изумление.

— Дело это доброе, — продолжал мистер Гарт, поудобнее оперевшись на спинку кресла и креп-

ко берясь за ручки. — С ним придется повозиться, но толк, надеюсь, выйдет. Он любит нашу Мэри, а истинная любовь к хорошей женщине может много чего сделать, Сьюзен. Не одного шалопая вывела она на верный путь.

— Мэри говорила с тобой об этом? — поинтересовалась миссис Гарт, в глубине души несколько уязвленная тем, что узнает новость от мужа.

— Ни слова. Как-то я заговорил с нею о Фреде, хотел предостеречь. Но она меня уверила, что никогда не выйдет замуж за своевольного и избалованного бездельника, вот и все. Однако, кажется, потом Фред упросил мистера Фербратера поговорить о нем с Мэри, потому что самому Фреду она запретила разговаривать с ней об этом, и мистер Фербратер выяснил, что она любит Фреда, только не хочет, чтобы он стал священником. Я вижу, Фред всей душой предан Мэри, и это располагает меня к нему, и потом… ведь мы с тобой его любим, Сьюзен.

— Бедняжка Мэри, жаль ее, — сказала миссис Гарт.

— Почему жаль?

— Потому, Кэлеб, что она могла бы выйти замуж за человека, который стоит двадцати Фредов Винси.

— Как это? — удивленно спросил Кэлеб.

— Я твердо убеждена, что мистер Фербратер испытывает склонность к нашей дочери и намеревался сделать ей предложение; разумеется, сейчас, когда ему пришлось вести переговоры от имени Фреда, эта перспектива рухнула. — Миссис Гарт сурово отчеканивала каждое слово. Она испытывала разочарование и досаду, но предпочитала воздержаться от бесполезных жалоб.

Кэлеб помолчал, охваченный противоречивыми чувствами. Он глядел в пол и, судя по движениям головы и рук, вел сам с собой какой-то разговор. Наконец он сказал:

— Я был бы горд и счастлив, если бы этот брак осуществился, Сьюзен, и особенно порадовался бы за тебя. Мне всегда казалось, что ты должна принадлежать к более высоким кругам. Но ты выбрала меня, а я незнатный человек.

— Я выбрала лучшего и умнейшего человека из всех, кого знаю, — сказала миссис Гарт, убежденная, что уж она-то не полюбила бы того, кто лишен этих достоинств.

— Да, но другие, возможно, считали, что ты могла сделать партию получше. Пострадал бы от этого я. Поэтому я так горячо сочувствую Фреду. По натуре он славный малый, да и не глуп, так

что ему требуется только, чтобы его подтолкнули в нужную сторону; к тому же он безмерно любит нашу дочь, преклоняется перед ней, а она его вроде бы обнадежила, в случае если он исправится. Я чувствую: душа этого юноши в моих руках, и я сделаю для него все, что смогу. Бог свидетель! Это долг мой, Сьюзен.

Миссис Гарт была не из плаксивых, однако крупная слеза медленно скатилась по ее щеке. Ее выжало переплетение различных чувств, среди которых преобладала нежность к мужу, но ощущалась и примесь досады. Торопливо смахнула она слезу, говоря:

— Мало сыщется людей, подобно тебе готовых взвалить на себя еще и такие хлопоты, Кэлеб.

— Мне все равно, что думают другие. Внутренний голос ясно подсказывает мне, как поступить, и я его послушаюсь. Надеюсь, сердцем ты будешь со мною, Сьюзен, и мы вдвоем сделаем все, чтобы счастливее жила наша Мэри, бедное дитятко наше.

Откинувшись на спинку кресла, Кэлеб с робкой мольбой посмотрел на жену. Она встала и поцеловала его со словами:

— Бог да благословит тебя, Кэлеб! У наших детей хороший отец.

Но уйдя из комнаты, она наплакалась вволю, возмещая то, что не решилась высказать вслух. Миссис Гарт не сомневалась, что поведение ее мужа будет истолковано превратно, о Фреде же судила трезво и не возлагала на него надежд. Чье мерило окажется более надежным — ее рационализм или пылкое великодушие Кэлеба?

Фред, явившись на следующее утро в контору, подвергся испытанию, которого никак не ожидал.

— Сейчас, Фред, — сказал Кэлеб, — ты займешься канцелярской работой. Самому мне приходится очень много писать, но все равно я не могу обойтись без помощника, и поскольку я намерен научить тебя вести счетные книги и ознакомить с ценами, ты поработаешь у меня конторщиком. Итак, приступим. Как ты пишешь и в ладах ли с арифметикой?

У Фреда заныло сердце — о канцелярской работе он и не помышлял, но, настроенный решительно, не собирался отступать.

— Арифметики я не боюсь, мистер Гарт, она всегда мне легко давалась. А как я пишу, вы, по-моему, знаете.

— Что ж, посмотрим, — сказал Кэлеб, достал перо, внимательно оглядел его, обмакнул в чернила

и протянул Фреду вместе с листом линованной бумаги. — Перепиши-ка из этого оценочного листа одну-две строчки с цифрами в конце.

В те времена существовало мнение, что писать разборчиво и иметь почерк, как у писца, не приличествует джентльмену. Требуемые строчки Фред переписал с благородной неряшливостью, достойной виконта или епископа той поры: все гласные походили одна на другую, согласные различались только закорючками, идущими где вверх, где вниз, каждый росчерк пера служил новым звеном в массивной цепочке каракулей, буквы почитали для себя зазорным держаться ровно на строке — словом, это было одно из тех рукописных творений, которые так легко прочесть, когда заранее знаешь, что имел в виду автор.

Лицо Кэлеба, наблюдавшего за этим процессом, становилось все мрачней, и когда Фред протянул ему бумагу, он, издав какое-то урчание, яростно оттолкнул листок прочь. Когда Кэлеб видел работу, исполненную столь дурно, от его кротости не оставалось и следа.

— Кой черт! — рявкнул он. — Ничего себе государство, где, потратив на образование сотни и сотни, получают такие плоды! — Затем более проникновенным тоном, сдвинув на лоб очки

и уставившись на злополучного писца: — Боже, смилуйся над нами, Фред, не могу я с этим примириться!

— Что же мне делать, мистер Гарт? — сказал Фред, весьма удрученный не только из-за оценки его почерка, но и оттого, что был поставлен в один ряд с простым конторщиком.

— Что делать? Научиться как следует выводить буквы и не съезжать со строки. Стоит ли писать, если никто не в состоянии понять, что ты там намарал? — в сердцах спрашивал Кэлеб, думая только о том, как можно работать столь дурно. — Разве людям делать нечего, что приходится рассылать им по почте головоломки? Но так уж у нас учат. Я тратил бы уйму времени на письма некоторых моих корреспондентов, если бы Сьюзен не помогала мне в них разбираться. Омерзительно. — И Кэлеб отшвырнул листок.

Незнакомец, который заглянул бы в этот момент в контору, подивился бы, чем прогневил ее владельца обиженно кусавший губы красивый молодой человек с разгоревшимся от волнения лицом. Фред совершенно растерялся. Доброта и благожелательность Кэлеба в начале их беседы глубоко растрогали его, пробудили радужные надежды, и тем горше оказалось разочарование.

Стать писцом Фред не намеревался, по правде говоря, он, как большая часть молодых джентльменов, предпочитал занятия, в которых не было ничего неприятного. Неизвестно, к каким последствиям привел бы неожиданный поворот дела, если бы Фред не пообещал себе непременно съездить в Лоуик к Мэри и сообщить ей, что он определился на службу к ее отцу. Тут Фред не собирался нарушить данное самому себе слово.

— Мне очень жаль, — вот все, что он выдавил из себя. Но мистер Гарт уже смягчился.

— Не надо падать духом, Фред, — проговорил он, успокоившись. — Каждый может научиться писать. Я без посторонней помощи овладел этим уменьем. Возьмись за дело прилежно, сиди по ночам, если не хватит дня. Не станем спешить, мой мальчик. Пока ты учишься, Кэлем по-прежнему будет вести счетные книги. А сейчас мне пора, — сказал Кэлеб, вставая, — расскажи о нашем уговоре отцу. Знаешь, когда ты станешь писать как следует, это поможет мне сэкономить жалованье, которое я выплачиваю Кэлему; потому я смогу тебе назначить восемьдесят фунтов в первый год, а впоследствии больше.

Фред открылся родителям, и их отклик на его признание поразил его и запомнился надолго.

Прямо из конторы мистера Гарта он направился на склад, ибо безошибочное чутье подсказало ему, что огорчительное сообщение приличнее всего преподнести отцу как можно более лаконично и сдержанно. Да и серьезность его намерений станет более очевидной, если беседа с отцом состоится в деловой обстановке, а наиболее деловитым тот бывал в конторе склада.

Фред прямо приступил к делу и коротко объявил, что предпринял и что намерен предпринять, а под конец выразил сожаление, что ему приходится разочаровывать отца, в чем винил только себя. Сожаление было искренним и подсказало Фреду сильные и простые слова.

Мистер Винси выслушал его с глубоким изумлением, не проронив ни звука, и эта несвойственная его вспыльчивому нраву молчаливость свидетельствовала о незаурядном душевном волнении. Дела в тот день не ладились, и суровая складка у его губ обозначилась еще отчетливее. Когда Фред замолчал, последовала почти минутная пауза, во время которой мистер Винси спрятал в ящик стола счетную книгу и резко повернул ключ. Затем в упор взглянул на сына и сказал:

— Итак, вы наконец-то приняли решение, сэр?

— Да, отец.

— Прекрасно, будь по-вашему. Мне больше нечего сказать. Вы пренебрегли полученным вами образованием и опустились на общественной лестнице ступенькой ниже, хотя я предоставил вам возможность подняться вверх; ну что ж.

— Меня очень огорчает наше несогласие, отец. По-моему, можно оставаться джентльменом как в сане священника, так и выполняя избранное мною дело. Но я благодарен вам за все ваши заботы.

— Прекрасно; мне больше нечего сказать. Надеюсь только, ваш собственный сын когда-нибудь лучше отплатит вам за потраченные на него труды.

Его слова больно задели Фреда. Отец воспользовался тем сомнительным преимуществом, каким пользуется каждый из нас, когда, став жертвой обстоятельств, считает, что пожертвовал всем. В действительности планы мистера Винси, связанные с будущностью сына, отличала немалая доля спеси, легкомыслия и эгоизма. Тем не менее вызвать разочарование отца — проступок немаловажный, и Фред склонился под тяжестью его гнева.

— Надеюсь, вы не возражаете, сэр, против моего дальнейшего пребывания в доме, — сказал он,

поднявшись и собираясь уходить, — мне назначено достаточное жалованье, чтобы оплачивать мой стол, и, разумеется, я так и сделаю.

— К черту стол! — воскликнул мистер Винси, которого сразу же привела в чувство возмутительная мысль, что Фред может перестать кормиться в родительском доме. — Разумеется, твоя мать захочет, чтобы ты остался. Но лошади я, как понимаешь, теперь не буду для тебя держать, и своему портному, будь любезен, плати сам. Теперь, когда костюмы тебе станут шить на твой же счет, их, вероятно, будет прибавляться хоть штуки на две меньше в год.

Фред медлил, он еще не все сказал. Наконец он решился.

— Надеюсь, вы пожмете мне руку, отец, и простите огорчение, которое я вам доставил.

Мистер Винси метнул снизу вверх быстрый взгляд на сына, подошедшего к его стулу, затем протянул руку, торопливо пробормотав:

— Ладно, ладно, хватит об этом.

Разговор и объяснение с матерью заняли гораздо больше времени, но миссис Винси осталась безутешной, ибо, в отличие от мужа, которому не приходила в голову такая мысль, она тотчас же представила себе, что Фред, несомненно, женится

теперь на Мэри Гарт, что жизнь ее отныне омрачится постоянным присутствием Гартов и всего гартовского, а ее милый мальчик, красивый, изящный (у кого еще в Мидлмарче есть такой сын?), приобретет свойственную этому семейству заурядную внешность и небрежную манеру одеваться. Ей казалось, Гарты коварно заманили ее бесценного Фреда в ловушку, но распространяться по этому поводу она не смела — Фред при малейшем намеке сразу на нее «набрасывался». Кроткий нрав не позволял ей гневаться, но ее душевному спокойствию был нанесен удар, и в течение нескольких дней, едва взглянув на Фреда, миссис Винси принималась плакать, словно ей напророчили о нем нечто зловещее. К ней, быть может, быстрее бы воротилась привычная веселость, не предупреди ее Фред, что не следует вновь касаться больного вопроса в разговорах с отцом, коль скоро тот согласился с решением сына и простил его. Если бы мистер Винси с яростью обрушился на Фреда, мать, разумеется, не удержалась бы и вступилась за своего любимца. И лишь в конце четвертого дня муж сказал ей:

— Люси, голубушка, не надо так убиваться. Ты всегда баловала мальчика, так уж балуй его и впредь.

— Я еще ни разу так не огорчалась, Винси, — ответила супруга, и ее нежная шейка и подбородок вновь затрепетали от сдерживаемых слез. — Разве только когда он болел.

— Будет тебе, будет, не унывай. С нашими детками не обойтись без волнений. Так приободрись же, хотя бы ради меня.

— Хорошо, — сказала миссис Винси, вдохновленная этой просьбой, и слегка встряхнулась, словно птичка, оправляющая взъерошенные перышки.

— Стоит ли так тревожиться из-за одного, — сказал мистер Винси, желая одновременно и утешить спутницу жизни, и поворчать. — Кроме Фреда, у нас есть и Розамонда.

— Да, бедняжка. Я, конечно, очень горевала из-за ребенка, но Рози справилась с собой, держится молодцом.

— Что ребенок! Лидгейт испортил отношения с пациентами и, как я слышал, влезает в долги. Не сегодня-завтра ко мне явится Розамонда и будет жаловаться на их бедственное положение. Только денег им моих не видать, нет уж. Пусть его родня помогает. Мне никогда не нравился этот брак. Но что толку говорить об этом. Позвони, пусть принесут лимоны, и не будь такой унылой,

Люси. Завтра я повезу вас с Луизой в Риверстон.

## Глава LVII

*Лишь восемь было им, и книга эта*
*В их души чувства новые влила.*
*Так почка пробуждается, согрета*
*Благой волной весеннего тепла.*
*С ней к ним чудак Бредуордин явился*[186],
*И верный Эван Дху, и Вих Иан Вор.*
*Мирок их детства вдруг преобразился*
*В чудесный край утесов и озер.*
*Веселый смех и слезы состраданья —*
*Вот Вальтер Скотта им бесценный дар.*
*Потом настало с книгой расставанье,*
*Но не угас любви и веры жар.*
*Они начать решили в тот же час*
*О Тулли-Веолане свой рассказ.*

В тот вечер, когда Фред Винси предпринял пешую прогулку в Лоуик (он уже начал понимать, что в этом мире даже бравым молодым джентль-

---

**[186] Примечания: 186**

Эпиграф построен на реминисценциях романа В. Скотта «Уэверли». *Тулли-Веолан* — поместье, в котором развертывается значительная часть действия этого романа.

менам иногда приходится шагать пешком, если в их распоряжении нет лошади), он отправился в путь в пять часов и по дороге заглянул к миссис Гарт, желая удостовериться, сколь благосклонно она отнеслась к его сватовству.

Всю семью, включая кошек и собак, он нашел в саду под большой яблоней. Для миссис Гарт день был праздничным, ибо в дом на неопределенный срок приехал ее старший сын Кристи. Кристи, мечтавший остаться в университете, изучить литературу всех народов, стать новым Порсоном[187] и служивший живым укором бедняге Фреду, своего рода наглядным примером, на которых маменьки воспитывают нерадивых детей. Сам Кристи — копия миссис Гарт мужского пола, широкоплечий, с квадратным лбом и невысокий, всего лишь Фреду по плечо, из-за чего еще труднее было относиться к нему с почтением, — всегда держался очень просто, и равнодушие Фреда к наукам тревожило его не больше, чем равнодушие к ним жирафа. Вот росту Фреда он завидовал, это его занимало. Он лежал на траве, возле кресла матери, надвинув на глаза соломенную шляпу, а сидевший по другую сторону от кресла Джим

**[187] Примечания: 187**

*Порсон Ричард* (1759 — 1808) — английский ученый-эллинист и критик, профессор греческого языка в Кембриджском университете.

читал вслух автора, даровавшего многим столько счастья в их юные годы. Это был «Айвенго», и Джим сейчас читал о состязании лучников, но его все время прерывал Бен, притащивший свой старый лук и стрелы и, по мнению Летти, смертельно надоевший всем непрестанными требованиями взглянуть, как он стреляет не целясь, которым не внимал никто, за исключением Черныша, легкомысленной собачонки, оживленно носившейся по саду, в то время как седоватый старик ньюфаундленд грелся на солнышке с ленивым равнодушным видом. Сама Летти, чьи губы и передничек свидетельствовали, что и она участвовала в сборе вишен, лежавших горкой на чайном столе, сидела на траве и, забыв обо всем на свете, слушала чтение.

Приход Фреда отвлек внимание от книги. Когда, присев на табурет, он сказал, что идет в Лоуик, Бен, державший теперь вместо лука недовольного котенка, взобрался верхом на ногу Фреда и сказал:

— Я пойду с тобой!

— Ой, и я тоже, — подхватила Летти.

— Ты не умеешь ходить так быстро, как мы с Фредом, — возразил Бен.

— Умею. Мама, ну скажи, что я тоже пойду, —

взмолилась Летти, которой то и дело приходилось отстаивать свою равноправность перед братьями.

— А я останусь с Кристи, — заявил Джим, словно желая показать, что выбрал более приятное занятие, чем эти дурачки. Летти потерла рукой затылок, недоверчиво и нерешительно поглядывая то на Бена, то на Джима.

— Давайте-ка все пойдем к Мэри, — сказал Кристи, широко раскинув руки.

— Нет, сынок, не следует врываться гурьбой в дом к мистеру Фербратеру. Да и костюм на тебе такой старенький. К тому же скоро вернется отец. Пусть Фред идет один. Он расскажет Мэри, что ты здесь, и она сама придет к нам завтра.

Кристи оглядел свои потершиеся на коленях штанины, затем великолепные белые панталоны Фреда. Одежда Фреда демонстрировала несомненное преимущество английского университета перед шотландским, он даже смахивал носовым платочком волосы со лба и изнывал от жары как-то особенно грациозно.

— Дети, бегите-ка в сад, — сказала миссис Гарт. — Не нужно докучать гостям, когда так жарко. Покажите брату кроликов.

Смекнув, в чем дело, Кристи немедленно увел

детей. Фред понял, что миссис Гарт предоставляет ему возможность поговорить с ней обо всем, о чем он собирался, но сперва пробормотал лишь:

— Вы, наверное, очень рады приезду Кристи!

— Да, я не ждала его так скоро. Он приехал дилижансом в девять, сразу же после того, как вышел из дому отец. Мне не терпится, чтобы Кэлеб послушал, каких замечательных успехов добился наш Кристи. Он покрыл все свои расходы за прошлый год, давая частные уроки, и в то же время продолжал усердно учиться. Он надеется вскоре получить место гувернера и уехать за границу.

— Молодчина, — сказал Фред, глотая, словно пилюли, расточаемые Кристи похвалы, — и никому с ним нет хлопот. — Он помолчал и добавил: — А вот со мной у мистера Гарта, боюсь, будет порядком хлопот.

— Кэлеб любит хлопотать, он всегда делает больше, чем от него ожидают. — Миссис Гарт вязала и могла смотреть на Фреда, лишь когда ей вздумается — преимущество в тех случаях, если ведешь непростой разговор с душеспасительной целью, и хотя миссис Гарт намеревалась проявить должную сдержанность, ей все же хотелось что-нибудь ввернуть, дабы Фред не зазнавался.

— Я знаю, вы считаете меня очень недостойным человеком, миссис Гарт, и совершенно правы, — сказал Фред. Он несколько ободрился, почувствовав, что миссис Гарт намеревается его пожурить. — У меня почему-то выходит, что особенно скверно я веду себя с людьми, к которым чувствую симпатию. Но если уж такие люди, как мистер Гарт и мистер Фербратер, не отступаются от меня, вероятно, и мне не следует от себя отступаться. — Фред решил, что, может быть, упоминание об этих лицах благотворно подействует на миссис Гарт.

— О, разумеется, — многозначительно произнесла она. — Юноша, о котором пекутся два достойнейших человека, будет просто преступником, если сделает напрасными их жертвы.

Фред несколько подивился столь высокому стилю, но сказал лишь:

— Я надеюсь, со мной ничего такого не случится, миссис Гарт. Мэри ведь меня немного обнадежила, и я рассчитываю на ее согласие. Мистер Гарт вам рассказал? Вы, думаю, не удивились? — Задавая последний вопрос, простодушный Фред имел в виду лишь свои чувства, как видно не являвшиеся секретом ни для кого.

— Удивилась ли я, что вас обнадежила Мэри? —

повторила миссис Гарт, по мнению которой Фреду не мешало бы понять, что, вопреки домыслам Винси, родители Мэри отнюдь не мечтали об этой помолвке. — Да, признаюсь, я была удивлена.

— Она вовсе не давала мне понять… ну, ни единым словечком, когда я сам с ней разговаривал, — сказал Фред, стремясь оправдать Мэри, — но когда я попросил походатайствовать за меня мистера Фербратера, Мэри позволила мне передать, что надежда есть.

Но миссис Гарт еще не высказала все, что накипело у нее на сердце. Несмотря на свою сдержанность, она не могла смириться с тем, чтобы этот цветущий юноша достиг благополучия, разбив надежды человека более глубокого и умного, чем он, — насытился жарким из соловья, даже не ведая об этом, — а его родня тем временем возомнит, будто Гарты так уж жаждали заполучить этого молокососа в лоно своей семьи; ей тем труднее было унять свое негодование, что она тщательно скрывала его при муже. Образцовые жены порой подыскивают таким образом козлов отпущения. Она сказала твердо:

— Вы совершили огромную ошибку, Фред, попросив ходатайствовать за вас мистера Фербратера.

— Вот как? — сказал Фред и тотчас покраснел. Он встревожился, хотя не имел представления, на что намекает его собеседница, и виновато добавил: — Мистер Фербратер ведь наш самый добрый друг; к тому же я знал, что Мэри внимательно его выслушает; кроме того, он так охотно согласился.

— Да, молодые люди часто не видят ничего, кроме своих желаний, и не могут даже представить себе, чего стоит другим исполнение этих желаний, — сказала миссис Гарт. Решив ограничиться отвлеченной сентенцией, но все еще продолжая негодовать, она грозно нахмурилась и без малейшей к тому нужды стала распускать вязанье.

— Не могу себе представить, каким образом моя просьба причинила мистеру Фербратеру боль, — сказал Фред, в сознании которого, впрочем, уже замаячила удивительная догадка.

— Вот именно, не можете себе представить, — сказала миссис Гарт, отчетливо произнося каждое слово.

Встревоженный Фред устремил взгляд на горизонт, затем быстро обернулся и спросил чуть ли не резко:

— Вы хотите сказать, миссис Гарт, что мистер Фербратер влюблен в Мэри?

— И если так, вы менее других должны этому удивляться, — отрезала миссис Гарт, положив рядом с собой вязанье и скрестив руки. Только в минуты сильного волнения она решалась выпустить из рук работу. Обуревавшие ее эмоции были двоякого рода: она радовалась, что хорошенько отделала Фреда, но опасалась, не зашла ли слишком далеко. Фред взял трость и шляпу и быстро встал.

— Стало быть, вы считаете меня препятствием между мистером Фербратером и Мэри? — спросил он запальчиво.

Миссис Гарт замешкалась с ответом. Она попала в затруднительное положение человека, готового высказать то, что накипело на душе, и в то же время убежденного в необходимости скрыть это. А ведь ей, как никому другому, было унизительно признаться в несдержанности. К тому же Фред после своей неожиданной вспышки счел нужным добавить:

— Мне показалось, мистер Гарт доволен, что Мэри мне симпатизирует. О том, о чем вы говорили, он, наверное, не знает.

Его слова больно задели миссис Гарт, для которой была невыносима мысль, что Кэлеб может усомниться в правильности ее выводов. Стремясь

предотвратить последствия своей ошибки, она ответила:

— Это просто мое предположение. Возможно, Мэри ни о чем подобном не подозревает.

Но, не привыкшая принимать одолжения, она не решалась обратиться к Фреду с просьбой не упоминать о разговоре, который сама же затеяла без всякой к тому нужды; а пока она раздумывала, под яблоней у чайного стола завершились непредусмотренными последствиями события совсем иного рода: Бен, по пятам за которым мчался Черныш, выскочил из-за деревьев и, увидев котенка, тащившего за нитку распускающееся вязанье, закричал и захлопал в ладоши, Черныш залаял, котенок в ужасе вскочил на стол и опрокинул молоко, затем спрыгнул и смахнул на землю половину вишен, а Бен, отняв у котенка недовязанный носок, напялил его ему на голову, отчего тот снова обезумел, и подоспевшая в этот миг Летти воззвала к матери… словом, разыгралась история столь же волнующая, как с тем домом, который построил Джек. Миссис Гарт пришлось вмешаться, тем временем подошли другие дети, и ее беседа с Фредом прервалась. Фред постарался удалиться как можно скорей, и миссис Гарт, прощаясь с ним, сказала: «Да благословит

вас бог», — единственное, чем она сумела ему намекнуть, что раскаивается в своей жестокости.

Ей не давало покоя чувство, что она вела себя «как одна из безумных»[188] — сперва проболталась, затем стала просить не выдавать ее. Правда, она не просила об этом Фреда и потому решила повиниться перед Кэлебом в тот же вечер, прежде чем он сам ее обвинит. Забавно, что добродушный Кэлеб в тех случаях, когда ему выпадала роль судьи, представлялся своей супруге судьей грозным и суровым. Впрочем, миссис Гарт намеревалась подчеркнуть, что разговор пойдет на пользу Фреду.

Он и впрямь порядком его растревожил. Жизнерадостный, склонный к оптимизму Фред, пожалуй, никогда еще не испытывал такой обиды, какую причинило ему предположение, что он помешал Мэри сделать поистине завидную партию. Уязвляло его также, что — изъясняясь его стилем — он, как олух, обратился за содействием к мистеру Фербратеру. Впрочем, влюбленному, а Фред был влюблен, несвойственно терзать себя иными сомнениями, когда он усомнился в главном — в чувствах своей избранницы. Невзирая на

---

**[188] Примечания: 188**
Цитата из библейской книги Иова, 2, 10.

уверенность в благородстве мистера Фербратера, невзирая на переданные ему слова Мэри, Фред не мог не ощущать, что у него появился соперник: обстоятельство, к которому он не привык и отнюдь не желал привыкать, не испытывая ни малейшей готовности отказаться от Мэри ради ее блага, а, наоборот, готовый с кем угодно за нее сразиться. Но сражаться с мистером Фербратером можно было только в метафорическом смысле, что для Фреда было куда труднее. Новое испытание оказалось нисколько не менее тяжким, чем огорчение по поводу дядюшкиного завещания. Меч еще не коснулся его сердца, но Фред довольно явственно вообразил себе, сколь болезненным окажется прикосновение его острия. Ему ни разу не пришло в голову, что миссис Гарт могла ошибиться относительно чувств мистера Фербратера, но он подозревал, что она могла неправильно судить о чувствах Мэри. В последнее время та жила в Лоуике, и мать, возможно, очень мало знала о том, что у нее на душе.

Ему не стало легче, когда он увидел ее веселое личико в гостиной, где находились и все три дамы. Они оживленно толковали о чем-то и умолкли при появлении Фреда. Мэри четким бисерным почерком переписывала ярлычки,

наклеенные на неглубокие ящики, лежавшие перед нею. Мистер Фербратер ушел в деревню, а сидевшие в гостиной дамы не подозревали об особых отношениях, связывающих Фреда с Мэри; он не мог предложить ей прогуляться с ним вместе по саду и подумал, как бы ему не пришлось вернуться восвояси, ни словечком не перекинувшись с ней наедине. Сперва он рассказал Мэри о приезде Кристи, затем о том, что поступил в помощники к ее отцу; и был утешен, обнаружив, что второе известие произвело на нее большое впечатление.

— Я так рада, — сказала она торопливо и склонилась над столом, чтобы не видели ее лица.

Но миссис Фербратер не могла оставить такую тему без внимания.

— Вы ведь не хотите сказать, милая мисс Гарт, будто рады, что юноша, готовившийся стать служителем церкви, отказался от своего намерения; вы, как я понимаю, радуетесь только тому, что, если уж так вышло, он хотя бы нашел себе такого превосходного руководителя, как ваш отец.

— Нет, право же, миссис Фербратер, боюсь, я радуюсь и тому и другому, — ответила Мэри, незаметно смахнув непослушную слезинку. — Увы, я мирянка до мозга костей. Ни разу в жизни мне не

нравился ни один служитель церкви, кроме «Векфилдского священника» и мистера Фербратера.

— Но почему же, моя милая? — спросила миссис Фербратер, опустив большие деревянные спицы и удивленно взглянув на Мэри. — Ваши суждения всегда разумны и обоснованны, но сейчас вы меня удивили. Мы, разумеется, не говорим о тех, кто проповедует новые доктрины. Но как можно не любить священников вообще?

— Ох, — сказала Мэри, задумалась на минуту, и лицо ее просияло лукавой улыбкой. — Мне не нравятся их шейные платки.

— Но тогда платок Кэмдена вам тоже не нравится, — встревоженно сказала мисс Уинифред.

— Нет, нравится, — возразила Мэри. — Платки других священников не нравятся мне из-за их владельцев.

— Как это странно! — воскликнула мисс Ноубл, усомнившись в здравости собственного рассудка.

— Вы шутите, моя милая. Полагаю, у вас есть более основательные причины пренебрежительно относиться к столь уважаемому сословию, — величественно произнесла миссис Фербратер.

— Мисс Гарт выказывает такую требовательность, когда судит, кем кому следует стать, что на

нее нелегко угодить, — сказал Фред.

— Ну, я по крайней мере рада, что она делает исключение для моего сына, — произнесла старая дама.

Заметив недовольство Фреда, Мэри призадумалась, но тут в гостиную вошел мистер Фербратер, и дамы сообщили ему, что у мистера Гарта появился новый помощник. Выслушав их, он одобрительно произнес: «Это хорошо», — затем взглянул на работу Мэри и похвалил ее почерк. Фред жестоко страдал от ревности… конечно, отрадно, что его соперник столь достойный человек, а впрочем, жаль, что он не толст и не уродлив, как многие сорокалетние мужчины. Чем закончится дело, не приходилось сомневаться, коль скоро Мэри не скрывала своего преклонения перед Фербратером, а его семейство, несомненно, одобряло их взаимную склонность. Фред все больше убеждался, что ему не удастся поговорить с Мэри, как вдруг мистер Фербратер сказал:

— Фред, помогите мне перенести эти ящики в кабинет. Вы ведь еще не видели мой роскошный новый кабинет. Мисс Гарт, пожалуйста, пойдемте вместе с нами. Мне хотелось показать вам удивительного паука, которого я нашел сегодня утром.

Мэри сразу поняла его намерение. После того

памятного вечера мистер Фербратер неизменно обращался с ней по-старому, как добрый пастырь, и возникшие у нее на миг сомнения исчезли без следа. Мэри не привыкла тешить себя розовыми надеждами и любое лестное для ее тщеславия предположение считала вздорным, ибо опыт давно ее убедил в несбыточности таких предположений. Все получилось, как она предвидела: после того как Фред полюбовался кабинетом, а она — пауком, мистер Фербратер сказал:

— Подождите меня здесь минутку. Я хочу найти одну гравюру и попросить Фреда, благо он достаточно высок, повесить ее в кабинете. Через несколько минут я вернусь. — Тут он вышел. Это не помешало Фреду обратиться к Мэри с такими словами:

— Что я ни делаю, все без толку, Мэри. Вы все равно в конце концов выйдете за Фербратера. — В его голосе звенела ярость.

— Что вы имеете в виду, Фред? — с негодованием воскликнула Мэри, густо покраснев и от изумления утратив свойственную ей находчивость.

— Не могу поверить, чтобы вы меня не поняли… Вы всегда так понятливы.

— Я понимаю только, что вы ведете себя очень

дурно, говоря подобным образом о мистере Фербратере, который так усердно ради вас старался. Да как вам в голову взбрела такая чушь!

Фред, невзирая на волнение, не утратил ясность мысли. Если Мэри и впрямь ни о чем подобном не догадывается, вовсе незачем ей рассказывать о предположении миссис Гарт.

— А как же иначе, — откликнулся он. — Когда все время у вас перед глазами человек, который гораздо достойней меня и которого вы надо всеми превозносите, где мне с ним тягаться!

— Какой же вы неблагодарный, Фред, — сказала Мэри. — Мне бы следовало сказать мистеру Фербратеру, что я и знать вас не желаю.

— Не называйте меня неблагодарным: я был бы счастливейшим человеком на свете, если бы не это. Я рассказал все вашему отцу, и он был очень добр, он обошелся со мной как с сыном. Я бы с усердием принялся за работу, я и писал бы, и делал все что угодно, если бы не это.

— Не это? Да что это? — спросила Мэри, вдруг решив, что Фред узнал о чем-то неизвестном ей.

— Если бы я не был убежден, что Фербратер возьмет надо мной верх.

Тут Мэри стал разбирать смех, и ей расхотелось сердиться.

— Фред, — сказала она, пытаясь поймать его взгляд, который он угрюмо отводил в сторону, — до чего же вы смешной, вы просто чудо. Не будь вы такой уморительный дуралей, я поддалась бы искушению вас помучить и не стала бы разуверять, что никто, кроме вас, за мной не ухаживает.

— Мэри, я правда нравлюсь вам больше всех? — спросил Фред, устремляя на нее полный нежности взгляд и пытаясь взять ее за руку.

— Вы мне совсем сейчас не нравитесь, — сказала Мэри, сделав шаг назад и пряча руки за спину. — Я сказала только, что ни один смертный, кроме вас, за мной не ухаживал. И из этого отнюдь не следует, что за мной начнет ухаживать очень умный человек, — весело закончила она.

— Мне бы хотелось от вас услышать, что вы о нем не думаете и впредь не будете думать, — сказал Фред.

— Не смейте даже упоминать об этом, Фред, — отрезала Мэри, вновь становясь серьезной. — Уж не знаю, глупость вы проявляете или неблагодарность, не замечая, что мистер Фербратер намеренно оставил нас наедине, чтобы мы могли поговорить свободно. Меня огорчает, что вы не сумели оценить его деликатность.

Больше они ни слова не успели сказать друг другу, поскольку в кабинет вошел мистер Фербратер, держа в руке гравюру. Фред возвратился в гостиную, все еще мучимый ревностью, но в то же время успокоенный словами и всем обращением Мэри. Зато Мэри огорчил и встревожил их разговор, мысли ее невольно приняли новое направление, и все увиделось в новом свете. Если опасения Фреда обоснованны, то она пренебрегает мистером Фербратером, человеком, к которому относится с почтением и благодарностью… какая женщина не потеряет в таком случае решимость! Она с облегчением вспомнила, что на следующий день ей нужно поехать домой, ибо всей душой стремилась утвердиться в убеждении, что любит Фреда. Когда нежная склонность накапливается годами, мысль о замене непереносима — нам кажется, она лишает смысла всю нашу жизнь. Мы учреждаем тогда строгий надзор над своими чувствами и постоянством, как и над любым своим достоянием.

«Фред утратил все надежды; пусть у него останется хоть эта», — с улыбкой подумала Мэри. Ей не удалось отогнать от себя мимолетные видения совсем иного рода — новое положение в свете, признание и почет, отсутствие которых она не

раз ощущала. Но если Фред будет отторгнут от нее, одинок и удручен тоскою, подобные соблазны ее не искусят.

## Глава LVIII

*Твои глаза не могут ненавидеть.*
*Как мне узнать, что изменилась ты?*
*В других обман и фальшь легко увидеть —*
*Ложь в сердце искажает их черты.*
* * *
*Но повелело небо, чтоб одна лишь*
*Любовь твоим глазам дарила свет.*
*Пусть ты коварство прячешь, пусть лукавишь —*
*Твой ясен взор, и в нем притворства нет.*

***Шекспир, «Сонеты»***

В то время когда мистер Винси изрек мрачное пророчество по поводу Розамонды, сама она вовсе не подозревала, что будет вынуждена обратиться с просьбой к отцу. Розамонда еще не столкнулась с денежными затруднениями, хотя поставила дом на широкую ногу и не отказывала себе в развлечениях. Ее дитя появилось на свет преждевременно, и вышитые распашонки и чепчики были упрятаны надолго. Беда случилась потому,

что Розамонда, невзирая на возражения мужа, отправилась кататься верхом; впрочем, не подумайте, что она проявила несдержанность в споре или резко заявила о своем намерении поступить как ей заблагорассудится.

Непосредственной причиной, пробудившей в ней желание поупражняться в верховой езде, был визит третьего сына баронета, капитана Лидгейта, которого, как ни прискорбно говорить об этом, презирал его родственник Тертий, называя «пошлым фатом с дурацким пробором от лба до затылка» (сам Тертий не следовал этой моде), и который, как все невежды, был убежден в своей способности судить о любом предмете. Лидгейт клял себя за безрассудство, поскольку сам навлек этот визит на свою голову, согласившись навестить во время свадебного путешествия дядюшку, и вызвал неудовольствие Розамонды, высказав ей эту мысль. Ибо, грациозно сохраняя безмятежность, Розамонда чуть не прыгала от радости. Пребывание в ее доме кузена, являющегося сыном баронета, настолько будоражило ее, что ей казалось, все окружающие непременно должны сознавать огромную важность этого обстоятельства. Знакомя капитана Лидгейта с другими гостями, она испытывала приятную

убежденность, что высокое положение в свете — свойство столь же ощутимое, как запах. Это было так отрадно, что Розамонде стала представляться менее плачевной участь женщины, вышедшей замуж за врача: замужество, казалось ей теперь, возвысило ее над уровнем мидлмарчского света, а грядущее сулило радужные перспективы обмена письмами и визитами с Куоллингемом, в чем она почему-то усматривала залог успешной карьеры супруга. А тут еще миссис Менгэн, замужняя сестра капитана (как видно, подавшего ей эту идею), возвращаясь в сопровождении горничной из столицы домой, заехала в Мидлмарч и прогостила у них двое суток. Так что было для кого и музицировать, и старательно подбирать кружева.

Что до капитана Лидгейта, то низкий лоб, крючковатый, кривой нос и некоторое косноязычие могли бы показаться недостатками в молодом джентльмене, если бы не военная выправка и усы, придававшие ему то, что белокурые изящные, как цветок, создания восторженно определяют словом «стиль». К тому же он обладал особого рода аристократизмом: в отличие от представителей среднего класса, пренебрегал соблюдением внешних приличий и был великим ценителем

женской красоты. Его ухаживание доставляло сейчас Розамонде еще больше удовольствия, чем в Куоллингеме, и капитану разрешалось флиртовать с ней чуть ли не по целым дням. Да и вообще этот визит оказался одним из самых приятных в его жизни приключений, прелесть которого, пожалуй, только увеличивалась от сознания, что чудаковатому кузену не по душе его приезд, хотя Тертий, который (говоря гиперболически) скорее умер бы, чем оказался негостеприимным, скрывал свою неприязнь и делал вид, будто не слышит слов галантного офицера, предоставляя отвечать на них Розамонде. Он отнюдь не был ревнивым мужем и предпочитал оставлять докучливого молодого джентльмена наедине с женой, дабы избегнуть его общества.

— Тебе следовало бы во время обеда больше говорить с капитаном, Тертий, — сказала Розамонда как-то вечером, когда знатный гость уехал в Лоумфорд навестить квартировавших там знакомых офицеров. — Право же, у тебя иногда такой рассеянный вид — кажется, будто ты не на него глядишь, а сквозь его голову на что-то сзади.

— Рози, милая моя, да неужели же я должен вести пространные беседы с этим самодовольным ослом, — непочтительно ответил Лидгейт. — А

на его голову я посмотрю с интересом лишь в том случае, если ее проломят.

— Не понимаю, почему ты так пренебрежительно говоришь о своем кузене, — не отрываясь от работы, возразила Розамонда с кроткой сдержанностью, прикрывавшей презрение.

— Наш приятель Ладислав тоже считает твоего капитана прескучным. С тех пор как он здесь поселился, Ладислав почти не бывает у нас.

Розамонда полагала, что отлично знает, почему Ладислав невзлюбил капитана: он ревновал, и эта ревность была ей приятна.

— На людей со странностями трудно угодить, — ответила она. — Но, по-моему, капитан Лидгейт безупречный джентльмен, и я думаю, что из уважения к сэру Годвину ты не должен обходиться с ним пренебрежительно.

— Конечно, милая; но мы устраиваем в его честь обеды. А он уходит и приходит когда вздумается. Он вовсе не нуждается во мне.

— И все же когда он находится в комнате, ты бы мог оказывать ему больше внимания. В твоем представлении, он, вероятно, не мудрец, у вас разные профессии, но, право, было бы приличнее, если бы ты хоть немного говорил с ним о том, что его занимает. Я считаю его вполне приятным

собеседником. И уж во всяком случае, у него есть правила.

— Иначе говоря, ты хотела бы, Рози, чтобы я немного больше походил на него, — буркнул Лидгейт не сердито, но с улыбкой, которая едва ли была нежной и несомненно — не была веселой. Розамонда промолчала и перестала улыбаться; впрочем, ее красивое личико и без улыбки выглядело милым.

Вырвавшаяся у Лидгейта горькая фраза отметила, подобно дорожной вехе, сколь значительный путь проделал он от царства грез, в котором Розамонда Винси казалась ему образцовой представительницей нежного пола, своего рода благовоспитанной сиреной, расчесывающей волосы перед зеркальцем и поющей песнь исключительно для услаждения слуха обожаемого, мудрого супруга. Сейчас он уже видел разницу между этим померещившимся ему обожанием и преклонением перед талантом, придающим мужчине престиж, словно орден в петлице или предшествующее имени слово «достопочтенный».

Можно предположить, что и Розамонда проделала немалый путь с тех пор, когда банальная беседа мистера Неда Плимдейла казалась ей

на редкость скучной; впрочем, большая часть смертных подразделяет глупость на два вида: невыносимую и вполне терпимую — как иначе прикажете сохранять общественные связи? Глупость капитана Лидгейта источала тонкий аромат духов, изысканно себя держала, говорила с хорошим прононсом и приходилась близкой родней сэру Годвину. Розамонда находила ее очень милой и переняла у нее множество словечек и фраз.

Вот почему, будучи, как мы знаем, большой любительницей верховой езды, она охотно согласилась возобновить это занятие, когда капитан Лидгейт, приехавший в Мидлмарч с двумя лошадьми и лакеем, которого он поселил в «Зеленом драконе», предложил ей прогулку на серой кобыле, заверив, что у этой лошади кроткий нрав и она обучена ходить под дамским седлом, — он, собственно, купил ее для сестры и вел в Куоллингем. Первую прогулку Розамонда совершила, ничего не сказав мужу, и вернулась, когда он еще не пришел домой; но поездка оказалась такой удачной, так благотворно повлияла на нее, что Розамонда сообщила о ней мужу, ничуть не сомневаясь, что он позволит ей кататься и впредь.

Однако Лидгейт не просто огорчился — его

совершенно поразило, что жена, даже не посоветовавшись с ним, решилась сесть на незнакомую лошадь. Выразив свое изумление рядом негодующих восклицаний, он ненадолго умолк.

— Хорошо хоть, все благополучно обошлось, — сказал он твердо и решительно. — Больше ты не будешь ездить верхом, Рози, это разумеется само собой. Даже если бы ты выбрала самую смирную на свете лошадь, на которой ездила много раз, то и тогда не исключен несчастный случай. Ты отлично знаешь, именно поэтому я попросил тебя перестать ездить на нашей гнедой.

— Несчастные случаи не исключаются и в доме, Тертий.

— Не говори вздор, милая, — умоляюще произнес Лидгейт. — Предоставь уж мне судить о таких делах. Я запрещаю тебе ездить верхом, и, по-моему, тут больше не о чем разговаривать.

Розамонда причесывалась к обеду, и Лидгейт, который, сунув руки в карманы, расхаживал из угла в угол, заметил в зеркале, лишь как слегка повернулась ее прелестная головка. Он выжидательно остановился возле Розамонды.

— Подколи мне косы, милый, — попросила она и со вздохом уронила руки, чтобы мужу стало совестно за то, что он так груб. Лидгейт не раз

уже оказывал жене эту услугу, проявляя редкостную для мужчины умелость. Легким движением красивых крупных пальцев он приподнял шелковистые петли кос и вколол высокий гребень (чего только не приходится делать мужьям!); а уж теперь нельзя было не поцеловать оказавшийся у самых его глаз нежный затылок. Но, повторяя нынче точно то, что делали вчера, мы часто делаем это не по-вчерашнему: Лидгейт все еще сердился и не забыл причину спора.

— Я скажу капитану, чтобы впредь он не приглашал тебя на такие прогулки, — заключил он, поворачиваясь к дверям.

— А я прошу тебя не делать этого, Тертий, — возразила Розамонда, как-то особенно взглянув на него. — Получится, что ты обращаешься со мной как с ребенком. Обещай предоставить все мне.

В ее словах была доля истины. Лидгейт с угрюмой покорностью буркнул: «Ну, хорошо», и спор кончился тем, что он дал обещание Розамонде, а не она — ему.

Она, собственно, и не собиралась давать обещаний. Розамонда не растрачивала силы в спорах, и эта тактика неизменно приносила успех. Нравилось ей что-то — значит, так и нужно делать, и она пускалась на все уловки, стремясь добиться

своего. Прекращать верховые прогулки она вовсе не намеревалась и, воспользовавшись первой же отлучкой мужа, вновь отправилась кататься, устроив так, чтобы он не успел ее задержать. Соблазн и впрямь был велик: ездить верхом вообще приятно, а на породистой лошади, когда рядом на породистой же лошади скачет капитан Лидгейт, сын сэра Годвина, каждая встреча (кроме встречи с мужем) доставляет блаженство, какое представлялось Розамонде лишь в мечтах перед свадьбой, к тому же она укрепляла таким образом связи с Куоллингемом, что было разумно.

Но впечатлительная серая кобыла, внезапно услыхав треск дерева, срубленного в этот миг на опушке Холселлского леса, напугалась сама и еще сильней напугала Розамонду, в результате чего та лишилась ребенка. Лидгейт не позволил себе обнаружить гнев перед женой, зато неделикатно обошелся с капитаном, который, разумеется, в скором времени отбыл.

При всех последующих разговорах Розамонда сдержанным и кротким тоном уверяла, что прогулка не принесла вреда и, если бы она осталась дома, произошло бы то же самое, ибо она уже и раньше чувствовала временами некоторое недомогание.

Лидгейт сказал лишь: «Бедняжка моя, бедняжка!», но в душе ужаснулся поразительному упорству этого кроткого существа. С изумлением он все сильнее ощущал свою полнейшую беспомощность. Вопреки ожиданиям, Розамонда не только не преклонялась перед его образованностью и умом, она попросту отмахивалась от них при решении всех практических вопросов. Прежде он полагал, что ум Розамонды, как и всякой женщины, проявляется в восприимчивости и отзывчивости. Сейчас он начал понимать, что представляет собой ее ум, в какую форму он себя облекает, ограждая собственную независимость. Розамонда удивительно быстро умела обнаружить причины и следствия, когда дело касалось ее интересов: она сразу поняла, насколько Лидгейт выше всех в Мидлмарче, а воображение ей подсказало, что талант позволит ему продвинуться по общественной лестнице намного дальше; но, мечтая об этом продвижении, Розамонда придавала врачебной деятельности и научным исследованиям мужа не больше значения, чем если бы он случайно изобрел какую-то дурно пахнущую мазь. Во всем, что не касалось этой мази, о которой Розамонда не желала ничего знать, она, разумеется, предпочитала полагаться

не на мнение мужа, а на свое. Любовь к мужу не сделала ее уступчивой. Лидгейт с изумлением обнаружил это при бесчисленных размолвках по пустячным поводам, а теперь убедился, что и в серьезных делах она желает поступать по-своему. В ее любви он не сомневался, и у него не возникало опасений, что Розамонда может к нему перемениться. Так же твердо был он убежден в неизменности собственных чувств, мирился с ее строптивостью, но — увы! — он ощущал с тревогой, что в его жизни появляется нечто новое, столь же губительное для него, как сток нечистот для существа, привыкшего дышать, плескаться и гоняться за серебристой добычей в чистейших водах.

А Розамонда вскоре стала выглядеть еще милей, сидя за рабочим столиком или катаясь в отцовском фаэтоне, и уже подумывала о поездке в Куоллингем. Она знала, что украсит тамошнюю гостиную гораздо лучше, чем хозяйские дочки, и, уповая на вкус джентльменов, опрометчиво упускала из виду, что леди едва ли стремятся уступить ей пальму первенства.

Лидгейт, перестав тревожиться о жене, впал в угрюмость — это слово возникало в мыслях у Розамонды каждый раз, когда он думал о чем-то

к ней не относящемся, озабоченно хмурился и раздражался по любому ничтожному поводу. В действительности его «угрюмость», словно стрелка барометра, свидетельствовала о том, что он огорчен и встревожен. Об одном из обстоятельств, порождавших его тревогу, он из ложно понимаемого благородства не упоминал при Розамонде, опасаясь, что это дурно повлияет на ее настроение и здоровье. Они оба совсем не умели читать мысли друг друга, что случается даже с людьми, постоянно думающими один о другом. Лидгейту казалось, что из любви к Розамонде он постоянно приносит в жертву свой труд и самые заветные надежды; он терпеливо сносил ее прихоти и капризы, главное же — не выказывая обиды, сносил все более откровенное безразличие к его научным изысканиям, которым сам он предавался с бескорыстным и горячим энтузиазмом, долженствующим, по его мнению, вызывать почтительное восхищение идеальной жены. Но, невзирая на свою сдержанность, Лидгейт все же испытывал недовольство собой и — признаемся честно — не без оснований. Ведь бесспорно, что, не будь мы столь мелочны, обстоятельства не имели бы над нами такой власти, а это самое огорчительное во всех неурядицах, включая

супружеские. Лидгейт понимал, что, уступая Розамонде, он сплошь и рядом просто проявляет слабость, предательскую нерешительность, поддавшись которым может охладеть ко всему, не связанному с обыденной стороной жизни. Он бы не чувствовал себя так унизительно, если бы его сломила серьезная беда, тяжкое горе, а не постоянно гложущая мелкая забота из числа тех, что выставляют в комическом свете самые возвышенные усилия.

Вот эту-то заботу он до сих пор старался скрыть от Розамонды, удивляясь, как она сама не догадается о его затруднениях. Печальные обстоятельства были слишком очевидны, и даже сторонние наблюдатели давно сделали вывод, что доктор Лидгейт запутался в долгах. Его не оставляла мысль, что с каждым днем он все глубже погружается в болото, прикрытое заманчивым ковром цветов и муравы. Поразительно, как быстро увязаешь там по шею и, как бы величественны ни были прежде твои замыслы, думаешь лишь о том, как выбраться из трясины.

Полтора года назад Лидгейт был беден, но не тревожился о том, у кого бы раздобыть мизерную сумму, и презирал снедаемых подобными заботами людей. Сейчас ему не просто не хватало денег

— он очутился в тягостном положении человека, накупившего множество ненужных ему вещей, за которые он не в состоянии расплатиться, в то время как кредиторы настойчиво требуют платежа.

Как это получилось, понять легко, даже не зная арифметики и прейскурантов. Когда человек, вступая в брак, обнаруживает, что покупка мебели и прочие траты на обзаведение превышают на четыреста или пятьсот фунтов его наличный капитал; когда к концу года оказывается, что расходы на домашнее хозяйство, лошадей et caeteras[189] достигли чуть ли не тысячи, в то время как доход от практики, который, по его расчетам, должен был равняться восьми сотням в год, усох до пятисот, причем большая часть пациентов с ним до сих пор не расплатилась, он, как это ни прискорбно, неизбежно делается должником. В ту пору жили менее расточительно, чем в наше время, а в провинции вообще довольно скромно, но если у врача, который недавно купил практику, почитает необходимым держать двух лошадей, не скупится на стол и к тому же выплачивает страховые взносы и сни-

**[189] Примечания: 189**
И так далее (*лат.*).

мает за высокую цену дом и сад, сумма расходов вдвое превысит сумму доходов, это ничуть не удивит того, кто снизойдет до рассмотрения названных обстоятельств. Розамонда, выросшая в доме, где все было поставлено на широкую ногу, полагала, что хорошая хозяйка должна заказывать только самое лучшее — иначе неудобно. Лидгейт тоже считал, что «если уж делать, то делать как следует», другого образа действий он себе не представлял. Если бы каждая хозяйственная трата обсуждалась заранее, он, вероятно, говорил бы по поводу любой из них: «да что там, пустяки!», а если бы ему предложили проявить бережливость в каком-нибудь отдельном случае, скажем, заменить дорогую рыбу более дешевой, он назвал бы это мелочной, грошовой экономией. Розамонда охотно приглашала гостей не только во время визита капитана Лидгейта, и муж не возражал, хотя они ему надоедали. Он считал, что врачу полагается держать открытый дом и при этом не скаредничать. Правда, самому ему нередко приходилось посещать дома бедняков, где он назначал больным диету, сообразуясь с их скромными средствами. Но бог ты мой! Что же тут удивительного? Разве, наблюдая уклад жизни окружающих нас людей, мы когда-нибудь срав-

ниваем его со своим? Расточительность — так же как заблуждения и невзрачность — измеряется иными мерками, когда речь идет о нас самих, и мы оцениваем ее, памятуя об огромной разнице между нашей собственной персоной и прочими людьми. Лидгейт думал, что он равнодушен к одежде, и презирал склонных к щегольству мужчин. Обширность собственного гардероба нисколько его не смущала: костюмы ведь заказывают целыми дюжинами, как же еще? Не надо забывать, что до сих пор он был свободен от долгов и руководствовался не рассуждениями, а привычкой. Но этой свободе пришел конец.

Кабала была особенно невыносимой оттого, что он познал ее впервые. Его возмутило, его потрясло, что обстоятельства, настолько чуждые всем его целям, никоим образом не связанные с тем, что его занимало, застигли его врасплох и всецело себе подчинили. А ведь в том положении, в котором он очутился, сумма долга непременно возрастет. Двое поставщиков мебели из Брассинга, чьи счета он не оплатил перед женитьбой и расплатиться с которыми потом ему помешали непредвиденные текущие расходы, то и дело напоминали о себе, присылая неприятные письма. Труднее, чем кому-либо, было смириться с

этим Лидгейту, непомерно гордому и не любившему одалживаться и просить. Ему казалось унизительным рассчитывать на помощь мистера Винси, и даже если бы ему не намекали разными способами, что дела тестя не процветают и от него не следует ждать поддержки, Лидгейт обратился бы к нему только в случае крайней нужды. Иные охотно возлагают надежды на отзывчивость родственников; Лидгейту никогда не приходило на ум, что он будет вынужден к ним обратиться, — он еще не раздумывал, приятно ли просить взаймы. Сейчас, когда у него возникла такая идея, он понял, что предпочтет вынести все что угодно, только не это. А денег не было, и надежды получить их — тоже, врачебная же практика не становилась доходнее.

Стоит ли удивляться, что Лидгейту не удавалось скрыть тревогу, и теперь, когда Розамонда полностью оправилась, он подумывал о том, чтобы посвятить в свои затруднения жену. Новое отношение к счетам поставщиков заставило его на многое взглянуть по-новому: он по-новому теперь судил о том, без чего невозможно обойтись, а без чего возможно, и осознал необходимость перемен. Да, но как их осуществить без согласия Розамонды? В скором времени ему представилась

возможность сообщить жене об их плачевных обстоятельствах.

Секретным образом наведя справки, какое обеспечение может представить находящийся в его положении человек, Лидгейт выяснил, что он располагает вполне надежным обеспечением, и предложил его одному из наименее настойчивых своих кредиторов, мистеру Дувру, серебряных дел мастеру и ювелиру, согласившемуся также переписать на себя счет от обойщика и на определенный срок удовольствоваться получением процентов. Таким обеспечением послужила закладная на мебель, и, заполучив ее, кредитор на время успокоился, поскольку его счет не превышал четырехсот фунтов; к тому же мистер Дувр собирался еще уменьшить его, приняв от доктора назад часть столового серебра и любых других предметов, не попортившихся от употребления. Под «любыми другими предметами» деликатно подразумевались драгоценности, а говоря еще точнее — лиловые аметисты, купленные Лидгейтом за тридцать фунтов в качестве свадебного подарка.

Не все, вероятно, сойдутся во мнениях по поводу подобного подарка: иные сочтут его галантным знаком внимания, вполне естественным для та-

кого джентльмена, как Лидгейт, а в последующих неурядицах обвинят скаредную ограниченность провинциальной жизни, крайне неудобную для тех, чье состояние несоразмерно вкусам, попеняют также Лидгейту за смехотворную щепетильность, помешавшую ему обратиться за помощью к родне.

Как бы там ни было, этот вопрос не показался ему важным в то прекрасное утро, когда он отправился к мистеру Дувру окончательно договориться относительно заказа на столовое серебро; рядом с остальными драгоценностями, стоящими огромных денег, еще один заказ, добавляемый ко многим другим, сумма которых не подсчитана точно, всего лишь тридцать фунтов за убор, словно созданный, чтобы украсить плечи и шею Розамонды, не выглядел излишним расточительством, тем более что за него не надо было платить наличными. Но оказавшись в критических обстоятельствах, Лидгейт невольно подумывал, что аметистам неплохо бы возвратиться в лавку мистера Дувра, хотя не представлял себе, как предложить такое Розамонде. Наученный опытом, он мог предугадать последствия беседы с Розамондой и заранее готовился (отчасти, а отнюдь не в полной мере) проявить

твердость, подобную той, какой он вооружался при проведении экспериментов. Возвращаясь верхом из Брассинга, он собирался с духом перед нелегким объяснением с женой.

Домой он добрался к вечеру. Он чувствовал себя глубоко несчастным — этот сильный, одаренный двадцатидевятилетний человек. Он не твердил себе, что совершил ужасную ошибку, но сознание ошибки не отпускало его ни на миг, как застарелая болезнь, омрачая любую надежду, замораживая любую мысль. Подходя к гостиной, он услышал пение и звуки фортепьяно.

Разумеется, у них сидел Ладислав. Прошло несколько недель с тех пор, как он простился с Доротеей, но он все еще оставался в Мидлмарче, на прежнем посту. Лидгейт вообще не возражал против его визитов, но именно сейчас его раздражило присутствие постороннего. Когда он показался в дверях, Уилл и Розамонда взглянули в его сторону, но продолжили дуэт, не считая нужным прерывать пение из-за его прихода. Измученный Лидгейт, вошедший в дом с сознанием, что ему предстоят еще и новые тяготы после тяжелого дня, не испытал умиления при виде разливающегося трелями дуэта. Его бледное лицо нахмурилось, и, молча пройдя через комнату, он

рухнул в кресло.

Они допели оставшиеся три такта и повернулись к нему.

— Как поживаете, Лидгейт? — спросил Уилл, направляясь к нему поздороваться.

Лидгейт пожал Уиллу руку, но не счел нужным отвечать.

— Ты пообедал, Тертий? Я ждала тебя гораздо раньше, — сказала Розамонда, уже заметившая, что муж в «ужасном настроении». Произнеся эти две фразы, она опустилась на свое всегдашнее место.

— Пообедал. Мне бы хотелось чаю, — отрывисто ответил Лидгейт, продолжая хмуриться и подчеркнуто глядя на свои вытянутые ноги.

Уиллу не понадобилось дальнейших намеков. Он взял шляпу и сказал:

— Я ухожу.

— Скоро будет чай, — сказала Розамонда. — Не уходите, прошу вас.

— Лидгейт сегодня не в настроении, — ответил Уилл, лучше понимавший Лидгейта, чем Розамонда, и не обиженный его резкостью, ибо вполне допускал, что у доктора могло быть много неприятностей за день.

— Тем более вам следует остаться, — кокетливо

возразила Розамонда своим самым мелодичным голоском. — Он весь вечер не будет со мной разговаривать.

— Буду, Розамонда, — прозвучал глубокий баритон Лидгейта. — У меня к тебе важное дело.

Отнюдь не так намеревался он приступить к разговору о деле, но его вывел из терпения безразличный тон жены.

— Ну вот, видите! — сказал Уилл. — Я иду на собрание по поводу организации курсов механиков[190]. До свидания. — И он быстро вышел.

Розамонда, так и не взглянув на Лидгейта, вскоре встала и заняла свое место у чайного подноса. Она подумала, что никогда еще муж не выглядел таким несимпатичным. А он внимательно следил, как она разливает чай изящными движениями тонких пальчиков, бесстрастно глядя только на поднос, ничем не выдавая своих чувств и в то же время выражая неодобрение всем неучтивым людям. На миг он позабыл о своей боли, пораженный редкостным бесчувствием этого грациозного создания, прежде казавшегося ему воплощением отзывчивости. Глядя на Ро-

---

**[190] Примечания: 190**

Имеются в виду вечерние школы для распространения образования среди рабочих, организовывавшиеся в Англии в описываемую эпоху. Одним из их инициаторов был Генри Брум.

замонду, он вдруг вспомнил Лауру и мысленно спросил себя: «А она могла бы меня убить за то, что я ей надоел?» — и ответил: «Все женщины одинаковы». Но стремление обобщать, благодаря которому человек ошибается гораздо чаще, чем бессловесные твари, внезапно встретило помеху — Лидгейт вспомнил, как удивительно вела себя другая женщина, — вспомнил, как тревожилась за мужа Доротея, когда Лидгейт начал посещать их дом, вспомнил, как горячо она молила научить ее, чем утешить, ублажить этого человека, ради которого подавляла все в своей душе, кроме преданности и сострадания. Эти ожившие в его памяти картины быстро проносились перед ним, пока заваривался чай. Продолжая грезить, он под конец закрыл глаза и услышал голос Доротеи: «Дайте мне совет. Научите меня, что делать. Он трудился всю жизнь и думал только о завершении своего труда. Ничто другое его не интересует. И меня тоже…»

Этот голос любящей, великодушной женщины он сохранил в себе, как хранил веру в свой бездействующий, но всесильный гений (нет ли гения возвышенных чувств, также властвующего над душами и умами?); голос этот прозвучал, словно мелодия, постепенно замирая, — Лид-

гейт на мгновение вздремнул, когда Розамонда с мягкой отчетливостью, но безучастно произнесла: «Вот твой чай, Тертий», поставила поднос на столик рядом с ним и, не взглянув на мужа, вернулась на прежнее место. Лидгейт ошибался, осуждая ее за бесчувственность; Розамонда была достаточно чувствительна на свой лад и далеко не отходчива. Сейчас она обиделась на мужа, и он ей стал неприятен. Но в подобных случаях она не хмурилась, не повышала голоса, как и положено женщине, всегда убежденной в своей безупречности.

Быть может, никогда еще между ними не возникало такого отчуждения, но у Лидгейта были веские причины не откладывать разговор, даже если бы он не объявил о нем сразу же по приходе. Преждевременное сообщение вырвалось у него не только от досады на жену и желания вызвать ее сочувствие, но и потому, что, собираясь причинить ей страдание, он прежде всего страдал сам. Впрочем, он подождал, пока унесут поднос, зажгут свечи и в комнате воцарится вечерняя тишь. Тем временем нежность вновь вступила в свои права. Заговорил он ласково.

— Рози, душенька, отложи работу, подойди сюда и сядь рядом со мной, — нежно произнес он,

отодвинув столик и подтаскивая для нее кресло поближе к своему.

Розамонда повиновалась. Когда она приближалась к нему в платье из неяркого прозрачного муслина, ее тоненькая, но округлая фигура выглядела еще грациозней, чем всегда; а когда она села возле мужа, положила на ручку его кресла руку и взглянула наконец ему в глаза, в ее нежных щеках и шее, в невинном очертании губ никогда еще не было столько целомудренной прелести, какой трогает нас весна, младенчество и все юное. Тронули они и Лидгейта, и порывы его первой влюбленности в Розамонду перемешались со множеством иных воспоминаний, нахлынувших на него в этот миг глубокого душевного волнения. Он осторожно прикрыл своей крупной рукой ее ручку и с глубокой нежностью сказал:

— Милая!

И Розамонда еще не освободилась от власти прошлого, и муж все еще оставался для нее тем Лидгейтом, чье одобрение внушало ей восторг. Она отвела от его лба волосы свободной рукой, положила ее на его руку и почувствовала, что прощает его.

— Мне придется огорчить тебя, Рози. Но есть вещи, о которых муж и жена должны думать

вместе. Тебе, наверное, уже приходило в голову, что я испытываю денежные затруднения.

Лидгейт сделал паузу; но Розамонда, отвернув головку, разглядывала вазу на каминной доске.

— Я не мог расплатиться за все, что пришлось приобрести перед свадьбой, а впоследствии возникли новые расходы. Все это привело к тому, что я сильно задолжал поставщикам из Брассинга — триста восемьдесят фунтов — и должен вернуть эту сумму как можно скорей, а положение наше с каждым днем становится все хуже — ведь пациенты не стали более исправно платить из-за того, что меня теребят кредиторы. Я старался скрыть это от тебя, пока ты была нездорова, однако сейчас нам придется подумать об этом вдвоем, и ты должна будешь мне помочь.

— Но что могу я сделать, Тертий? — спросила Розамонда, снова взглянув на него.

Эта коротенькая, состоящая из шести слов фраза на любом языке выражает в зависимости от модуляции всевозможные оттенки расположения духа — от беспомощной растерянности до фундаментально обоснованной убежденности, от глубочайшего самоотверженного участия до холодной отчужденности. Розамонда проронила эти слова, вложив в них столько холода, сколько

они были способны вместить. Они заморозили пробудившуюся нежность. Лидгейт не вспылил — слишком грустно стало у него на сердце. И когда он вновь заговорил, он просто принуждал себя довести начатое до конца.

— Ты должна узнать об этом потому, что я был вынужден на время выдать закладную и завтра к нам придут делать опись мебели.

Розамонда густо покраснела.

— Ты не просил денег у папы? — задала она вопрос, когда смогла говорить.

— Нет.

— Ну тогда я у него попрошу, — сказала Розамонда, высвобождая руку, затем встала и отошла шага на два.

— Нет, Рози, это поздно делать, — решительно возразил Лидгейт. — Опись начнут составлять уже завтра. Это всего лишь закладная, не забывай; временная мера: в нашей жизни она ничего не изменит. Я настаиваю, чтобы ты ни слова не говорила отцу, пока я сам не решу, что пора, — добавил он повелительным тоном.

Это, конечно, было грубо, но Розамонда пробудила в нем мучительные опасения, что, не вступая по обыкновению в споры, ослушается его приказания. Ей же эта грубость показалась непро-

стительной, и хотя она не любила плакать, у нее задрожали подбородок и губы и хлынули слезы. Лидгейту, угнетенному, с одной стороны, настойчивостью кредиторов, с другой — ожиданием унизительных для его гордости последствий, трудно было представить себе, чем явилось это неожиданное испытание для избалованного юного существа, привыкшего к одним лишь удовольствиям и мечтавшего только о новых, еще более изысканных. Но ему больно было огорчать жену, и при виде ее слез у него заныло сердце. Он растерянно замолк, но Розамонда сумела справиться с собой и, не сводя глаз с каминной доски, вытерла слезы.

— Не надо падать духом, дорогая, — сказал Лидгейт, глядя на жену. Оттого, что в минуту душевной тревоги она отпрянула от него, ему было труднее с ней говорить, но он не мог молчать. — Мы должны собраться с силами и сделать все необходимое. Виновен во всем я: мне следовало видеть, что мы живем не по средствам. Правда, мне очень не повезло с пациентами, и, собственно говоря, мы ведь только сейчас оказались на мели. Я могу еще поправить наши дела, но нам придется временно сократить расходы — изменить образ жизни. Мы справимся, Рози.

Договорившись о закладной, я выгадаю время, чтобы осмотреться, а ты такая умница, что научишь меня бережливости, если займешься хозяйством. Я был преступно расточителен и беспечен, но прости меня, душенька, сядь подле меня.

Призвав на помощь все свое благоразумие, Лидгейт покорно гнул шею, как пернатый хищник, наделенный не только когтями, но и разумом, побуждающим к кротости. Когда он умоляющим тоном произнес последние слова, Розамонда снова села рядом с ним. Его смирение пробудило в ней надежду, что он прислушается к ее мнению, и она сказала:

— Почему бы не отложить эту опись? Отошли этих людей, когда они придут к нам описывать мебель.

— Не отошлю, — ответил Лидгейт, к которому тотчас вернулась прежняя непреклонность. Все его разъяснения, как видно, были ни к чему.

— Если мы уедем из Мидлмарча, нам все равно придется продать обстановку.

— Но мы не собираемся отсюда уезжать.

— Право, Тертий, для нас это наилучший выход. Почему бы нам не поселиться в Лондоне? Или близ Дарема, где хорошо знают твою семью.

— Нам некуда переезжать без денег, Розамонда.

— Твои родственники не позволят тебе остаться без денег. А эти мерзкие поставщики, если ты им все как следует растолкуешь, образумятся и подождут.

— Вздор, Розамонда, — сердито ответил Лидгейт. — Тебе давно пора бы научиться полагаться на мое суждение о делах, в которых ты сама не смыслишь. Я сделал нужные распоряжения, их следует теперь исполнить. Что до моих родственников, то я ничего от них не жду и ничего не собираюсь просить.

Розамонда не шелохнулась. Она думала о том, что если бы знала заранее, каким окажется ее муж, то ни в коем случае не вышла бы за него.

— Ну, не будем больше тратить времени на бесполезные слова, — заговорил как можно мягче Лидгейт. — Нам еще нужно обсудить кое-какие подробности. Дувр предлагает взять у нас назад часть столового серебра и те драгоценности, которые мы пожелаем возвратить. Право, он ведет себя очень порядочно.

— Значит, мы будем обходиться без ложек и вилок? — спросила Розамонда таким тонким голоском, что, казалось, у нее и губы стали тоньше.

Она решила не спорить больше и не настаивать ни на чем.

— Разумеется, нет, душенька! — ответил Лидгейт. — А теперь взгляни сюда, — добавил он, вытаскивая из кармана лист бумаги и разворачивая его. — Это счет мистера Дувра. Видишь, если мы возвратим то, что я отметил в списке, общая сумма долга сократится более чем на тридцать фунтов. Драгоценностей я не отмечал.

Вопрос о драгоценностях был особенно неприятен Лидгейту, но, повинуясь чувству долга, он преодолел себя. Он не мог предложить Розамонде вернуть какой-нибудь из полученных от него во время сватовства подарков, но считал себя обязанным рассказать ей о предложении ювелира и надеялся на ее полное сочувствие.

— Мне незачем смотреть на этот список, Тертий, — невозмутимо произнесла Розамонда. — Можешь возвратить все, что тебе угодно.

Она упорно смотрела в сторону, и Лидгейт, покраснев до корней волос, опустил руку, в которой держал счет от ювелира. Тем временем Розамонда с безмятежным видом вышла из комнаты. Лидгейт растерялся. Вернется ли она? Она держала себя с ним так отчужденно, словно они существа разной породы и между ними нет ни-

чего общего. Тряхнув головой, он с вызывающим видом сунул руки глубоко в карманы. Что ж, у него остается наука, высокие цели, ради которых стоит трудиться. Сейчас, когда у него не осталось других радостей, он должен удвоить усилия.

Но тут дверь отворилась, и снова вошла Розамонда. Она принесла кожаный футляр с аметистами и крохотную корзиночку с остальными футлярами; положив то и другое на кресло, где только что сидела, она с достоинством произнесла:

— Здесь все драгоценности, которые ты мне дарил. Можешь вернуть поставщику все, что захочешь, и из этих украшений, и из столового серебра. Разумеется, я не останусь завтра дома. Я уеду к папе.

Многие женщины предпочли бы гневный взгляд тому, который устремил на жену Лидгейт: он выражал безысходную убежденность, что отныне они чужие.

— И когда же ты возвратишься? — спросил он с горечью.

— К вечеру. Маме я, конечно, ничего не скажу.

Не сомневаясь, что ведет себя самым безупречным образом, Розамонда вновь уселась за рабочий столик. Поразмыслив минуту-другую,

Лидгейт обратился к жене, и в его голосе прозвучала нотка былой нежности:

— Теперь, когда мы связаны с тобою, Рози, не годится тебе оставлять меня без помощи при первой же невзгоде.

— Конечно, нет, — сказала Розамонда, — я сделаю все, что мне подобает.

— Неприлично поручать такое дело слугам и просить их исполнить его вместо нас. Мне же придется уехать… в котором часу, я не знаю. Я понимаю, для тебя и унизительны, и неприятны все эти денежные дела. Но, Розамонда, милая, наша гордость — а ведь моя задета так же, как твоя, — право же, меньше пострадает, если мы возьмем на себя это дело и постараемся по возможности не посвящать в него слуг. Раз ты моя жена, то почему тебе не разделить и мой позор, если это позорно?

Розамонда не ответила сразу, но немного погодя сказала:

— Хорошо, я останусь дома.

— Забери свои драгоценности, Рози. Я ни одной из них не возьму. Зато я составлю список столового серебра, без которого мы можем обойтись, и его нужно немедленно упаковать и возвратить серебряных дел мастеру.

— Слуги узнают об этом, — не без сарказма заметила Розамонда.

— Что поделаешь, такие неприятности неизбежны. Где чернила, хотел бы я знать? — спросил Лидгейт, поднявшись и бросив счет ювелира на большой стол, за которым намеревался писать.

Розамонда принесла чернильницу и, поставив ее на стол, хотела отойти, но тут Лидгейт ее обнял, привлек к себе и сказал:

— Постой, милая, не уходи так. Ведь нам, я надеюсь, недолго придется ограничивать себя и экономить. Поцелуй меня.

Его природное добросердечие не так легко было поколебать, к тому же истинному мужчине свойственно чувствовать свою вину перед неопытной девушкой, которая, став его женой, обрекла себя на невзгоды. Розамонда слабо ответила на его поцелуй, и между ними временно возобновилась видимость согласия. Но Лидгейт с ужасом думал о неминуемых будущих спорах по поводу излишних трат и необходимости полностью изменить образ жизни.

## Глава LIX

*Когда-то говорили, что душа*
*Сама как человек, но лишь воздушный.*
*И может тело вольно покидать.*
*Взгляните, рядом с девичьим лицом*
*Парит почти неуловимый образ,*
*Шепча подсказки в нежное ушко.*

Слухи распространяются столь же бездумно и поспешно, как цветочная пыльца, которую (сами не ведая о том) разносят пчелы, когда с жужжанием снуют среди цветов, разыскивая нужный им нектар. Наше изящное сравнение применимо к Фреду Винси, который, посетив дом лоуикского священника, присутствовал там вечером при разговоре дам, оживленно обсуждавших новости, услышанные старухой служанкой от Тэнтрип, о сделанной мистером Кейсобоном незадолго до смерти странной приписке к завещанию по поводу мистера Ладислава. Мисс Уинифред изумило, что ее брату давно уже все известно, — поразительный человек Кэмден, сам, оказывается, все знает и никому не говорит. Мэри Гарт заметила, что, может быть, рассказ о завещании затерялся

среди рассказов об обычаях и нравах пауков, которые мисс Уинифред никогда не слушает. Мисс Фербратер усмотрела связь между интересной новостью и тем, что мистер Ладислав всего лишь раз побывал в Лоуике, а мисс Ноубл все время что-то жалостливо попискивала.

Фред, который ничего не знал, да и знать не хотел ни о Ладиславе, ни о Кейсобонах, тотчас же забыл весь этот разговор и припомнил его, лишь когда, заехав по поручению матери к Розамонде, в дверях столкнулся с уходившим Ладиславом. Сейчас, когда замужество Розамонды положило конец ее пикировке с братом, им почти не о чем было беседовать друг с другом, особенно после того, как Фред предпринял неразумный и даже предосудительный, по ее мнению, шаг, отказавшись от духовного сана и сделавшись подручным мистера Гарта. Фред поэтому, предпочитая говорить о постороннем и «a propos[191], об этом Ладиславе», упомянул услышанную им в Лоуике новость.

Лидгейт, как и мистер Фербратер, знал намного больше, чем рассказал сестре Фред, а воображение увело его и того дальше. Он решил, что

---

**[191] Примечания: 191**
Кстати (*фр.*).

Доротею и Уилла связывает взаимная нежная страсть, и не счел возможным сплетничать по поводу столь серьезных обстоятельств. Припомнив, как был рассержен Уилл, когда он упомянул при нем о миссис Кейсобон, Лидгейт постарался держаться с ним как можно осмотрительнее. Дополнив домыслами то, что он доподлинно знал, он еще более дружелюбно и терпимо стал относиться к Ладиславу и уже не удивлялся, почему тот, объявив о своем намерении уехать, не решается покинуть Мидлмарч. Знаменательно, что у Лидгейта не возникло желания говорить об этом с Розамондой, — супруги очень отдалились друг от друга, к тому же он просто побаивался, как бы жена не проболталась Уиллу. И оказался прав, хотя не представлял себе, какой повод изберет Розамонда, чтобы затеять этот разговор.

Когда она пересказала Лидгейту услышанную от Фреда новость, он воскликнул:

— Будь осторожна, не намекни об этом Ладиславу. Он безумно оскорбится. Обстоятельства и впрямь щекотливы.

Розамонда отвернулась и с равнодушным видом стала поправлять прическу. Но когда Уилл пришел к ним в следующий раз, а Лидгейта не оказалось дома, она лукаво напомнила гостю,

что, вопреки своим угрозам, он так и не уехал в Лондон.

— А я все знаю. Не скажу от кого, — проговорила она, приподняв вязанье и кокетливо поверх него поглядывая. — В нашей местности имеется могущественный магнит.

— Конечно. Вам это известно лучше всех, — не задумываясь, галантно ответил Уилл, хотя ему не понравился новый оборот разговора.

— Нет, действительно, какой очаровательный роман: ревнивый мистер Кейсобон предвидит, что есть некий джентльмен, женой которого охотно стала бы миссис Кейсобон, а этот джентльмен столь же охотно женился бы на ней, и тогда, чтобы им помешать, он устраивает так, что его жена лишается состояния, если выйдет за этого джентльмена… и тогда… и тогда… и тогда… о, я не сомневаюсь: все окончится необычайно романтично.

— Великий боже! Что вы имеете в виду? — сказал Уилл, у которого багровой краской запылали щеки и уши и судорожно исказилось лицо. — Перестаньте шутить. Объясните, что вы имеете в виду?

— Как, вы в самом деле ничего не знаете? — спросила Розамонда, весьма обрадовавшись

возможности пересказать все по порядку и произвести как можно большее впечатление.

— Нет! — нетерпеливо отозвался он.

— Вы не знаете, что мистер Кейсобон так распорядился в завещании, что миссис Кейсобон лишится всего, если выйдет за вас замуж?

— Откуда вам это известно? — взволнованно спросил Уилл.

— Мой брат Фред слышал об этом у Фербратеров.

Уилл вскочил и схватил шляпу.

— Не сомневаюсь, что миссис Кейсобон предпочтет вас поместью, — лукаво произнесла Розамонда.

— Бога ради, больше ни слова об этом, — так хрипло и глухо проговорил Уилл, что трудно было узнать его обычно мелодичный голос. — Это гнусное оскорбление для миссис Кейсобон и для меня. — Затем он сел с отсутствующим видом, глядя прямо перед собой и ничего не видя.

— Ну вот, теперь вы на меня же и рассердились, — сказала Розамонда. — Как не совестно. Ведь вы от меня все узнали и должны быть мне благодарны.

— Я вам благодарен, — отрывисто отозвался Уилл как человек в гипнотическом сне, отвечаю-

щий на вопросы не просыпаясь.

— Надеюсь, мы скоро услышим о свадьбе, — весело прощебетала Розамонда.

— Никогда! О свадьбе вы не услышите никогда!

Выпалив эти слова, он встал, протянул руку Розамонде все с тем же сомнамбулическим видом и ушел.

Оставшись одна, Розамонда встала с кресла, прошла в дальний конец комнаты и прислонилась к шифоньеру, с тоской глядя в окно. Она опечалилась и испытывала досаду, предшествующую тривиальной женской ревности, лишенной почвы и оснований — если не считать основанием эгоистические причуды и капризы, — но в то же время способной побудить к поступкам, не только к словам. «Право же, не стоит расстраиваться», — мысленно утешила себя бедняжка, думая о том, что куоллингемская родня ей не пишет, что Тертий, вероятно, придя домой, начнет ей досаждать нотациями о расходах. Тайно она уже ослушалась его и попросила отца о помощи, на что тот решительно ответил: «Того гляди, мне самому понадобится помощь».

# Глава LX

*Отличные изречения всеми ценятся и всегда ценились.*

***Судья Шеллоу*[192]**

Спустя несколько дней — наступил уже конец августа — произошло событие, вызвавшее некоторое волнение в Мидлмарче: всем желающим предоставлялась возможность купить при неоценимом содействии мистера Бортропа Трамбула мебель, книги и картины, каждая из которых, как явствовало из афиш, была непревзойденной в своем роде и принадлежала Эдвину Ларчеру, эсквайру. Имущество мистера Ларчера было пущено с молотка отнюдь не вследствие разорения хозяина; наоборот: благодаря блистательному успеху в делах мистер Ларчер приобрел особняк близ Риверстона, уже обставленный с тонким вкусом прежним владельцем — врачом, снискавшим известность на водах и украсившим столовую такими огромными полотнами с дорогостоящими изображениями нагих тел, что

**[192] Примечания: 192**

Судья Шеллоу — персонаж исторической хроники Шекспира «Генрих IV».

миссис Ларчер было не по себе, пока она с облегчением не обнаружила, что картины писаны на библейские сюжеты. Эта негоция открыла перед посетителями аукциона огромные возможности, о чем их не преминул известить в своих афишах мистер Бортроп Трамбул, большой знаток истории искусств, утверждавший, что среди мебели прихожей — продается без назначенной цены — находится резной столик, изготовленный современником Гиббонса[193].

В те времена в Мидлмарче большие аукционы почитались чем-то вроде праздника. Сервировали большой стол, где, как на торжественных похоронах, красовались изысканные закуски и в изобилии имелись напитки. За этим столом посетители аукциона пили много и охотно, после чего столь же охотно набавляли цену на ненужные им вещи. Чудесная августовская погода придавала еще больше привлекательности аукциону, ибо дом мистера Ларчера с примыкавшим к нему садом и конюшней находился на самой окраине города, там, где брала начало живописная «лондонская дорога», та самая, которая вела к новой больнице и уединенной резиденции мистера

**[193] Примечания: 193**

*Гиббонс Гринлинг* (1648 — 1720) — английский скульптор и резчик по дереву.

Булстрода, известной под названием «Шиповник». Иными словами, аукцион был чем-то вроде ярмарки, и располагавшие досугом представители самых разных сословий собирались принять в нем участие; причем некоторые явились просто поторговаться, поднять цену развлечения ради, как на бегах. На второй день, когда распродавалась самая лучшая мебель, на аукцион приехали все, даже мистер Тизигер, священник церкви святого Петра, заглянул ненадолго с целью купить пресловутый резной столик и оказался в обществе мистера Бэмбриджа и мистера Хоррока. Цветник мидлмарчских дам расположился в столовой вокруг большого обеденного стола, перед которым восседал за конторкой мистер Бортроп Трамбул, вооруженный молотком. Более отдаленные ряды, главным образом пестрящие мужскими лицами, являли собой изменчивое зрелище, ибо покупатели постоянно входили и выходили то в прихожую, то на лужайку, куда вела из столовой большая стеклянная дверь.

В число «всех» не попал только мистер Булстрод, по слабости здоровья не переносивший толкотню и сквозняки. Но миссис Булстрод очень желала приобрести картину «Вечеря в Еммау-

се»[194], приписываемую каталогом Гвидо, поэтому мистер Булстрод зашел накануне в редакцию «Пионера», одним из владельцев которого теперь являлся, и попросил мистера Ладислава оказать ему огромную услугу, а именно, пользуясь своими незаурядными познаниями в живописи, помочь миссис Булстрод советом и оценить упомянутое полотно. «Если только, — добавил деликатный банкир, — посещение аукциона не помешает вашим приготовлениям к отъезду, как я знаю, очень близкому».

Это добавление Уилл мог счесть насмешкой, если бы подобные насмешки его сейчас задевали. Оно было вызвано тем обстоятельством, что вот уже несколько месяцев между владельцами газеты и Уиллом, рано или поздно собиравшимся покинуть Мидлмарч, существовала договоренность, согласно которой он мог в любой угодный ему день передать руководство газетой своему помощнику, специально им подготовленному. Но неопределенные честолюбивые мечты не часто побуждают человека расстаться с необре-

**[194] Примечания: 194**

Согласно одной из евангельских легенд, воскресший Христос явился своим ученикам на вечере (ужине) в селении Еммаус. *Гвидо* — это имя носил ряд художников итальянского Возрождения; возможно, подразумевается Гвидо Рени (1575 — 1642).

менительным, привычным и приятным делом; к тому же всем известно, как непросто выполнить решение, если в глубине души мечтаешь от него уклониться. При таком настроении даже скептики склонны поверить в чудо: немыслимо представить себе, каким образом может осуществиться наше желание, и все же… случаются же иногда удивительнейшие вещи! Уилл не признался себе в собственной слабости, но медлил с отъездом. Что толку ехать в Лондон летом? Его однокашников сейчас нет в столице, что до политических статей, он еще несколько недель может их писать для «Пионера». Впрочем, в ту минуту, когда к нему обратился мистер Булстрод, в душе Уилла, с одной стороны, назрела решимость уехать, с другой — не менее сильная решимость не уезжать, не повидавши еще раз Доротею. Посему он ответил, что у него есть причины несколько отсрочить отъезд и он с радостью побывает на аукционе.

Уилл был настроен воинственно, его глубоко уязвляла мысль, что окружающим, быть может, известен факт, недвусмысленно показывающий, что с ним обошлись словно с интриганом, чьи козни надлежит пресечь, сделав соответствующую приписку к завещанию. Подобно большинству

людей, выставляющих напоказ свое пренебрежение светскими условностями, он готов был не задумываясь затеять ссору с каждым, кто намекнул бы, что для такой позиции у него есть личные причины. Что он декларирует независимость взглядов, желая что-то скрыть в своем происхождении, поступках или репутации. Стоило Уиллу раззадорить себя такими подозрениями, как у него появлялось вызывающее выражение лица и он то краснел, то бледнел, словно постоянно был настороже, выискивая, на что бы ему обрушиться.

Это вызывающее выражение было особенно заметно на аукционе, и те, кто прежде наблюдал только его безобидные чудачества или порывы жизнерадостности, были поражены переменой. Уилла обрадовала возможность появиться публично перед мидлмарчскими кланами Толлеров, Хекбатов и прочих, которые пренебрегали им, как проходимцем, а между тем даже не слыхали о Данте, насмехались над его польским происхождением, а сами принадлежали к породе, которую не мешало бы улучшить скрещиванием. Он стоял на видном месте неподалеку от аукциониста, заложив указательные пальцы в карманы сюртука, вздернув голову и ни с кем не собираясь

разговаривать, хотя его сердечно приветствовал как «арбитера» упивавшийся своим мастерством мистер Трамбул.

В самом деле, среди людей, профессия которых обязывает их выказывать ораторские дарования, нет никого счастливее преуспевающего провинциального аукциониста, который от души наслаждается собственными шутками и высоко ценит свои энциклопедические познания. Людям мрачным, пессимистического склада, вероятно, не понравилось бы постоянно восхвалять достоинства всего сущего, начиная с машинки для снимания сапог и кончая сельскими идиллиями Берхема[195], но мистер Бортроп Трамбул принадлежал к оптимистам, его натуре было свойственно приходить в восторг, и, если бы ему потребовалось объявить о продаже вселенной, он бы сделал это с удовольствием, уверенный, что после его рекомендации ее купят по самой высокой цене.

А пока он довольствовался гостиной миссис Ларчер. В ту минуту, когда вошел Уилл Ладислав, аукционист объявил о продаже каминной решетки, якобы случайно сохранившейся на месте,

---

**[195] Примечания: 195**

*Берхем Клаас* (1620 — 1683) — голландский художник-пейзажист.

и восхвалял ее с пылким энтузиазмом, всегда уместно возникавшим у него по поводу вещей, которые особо в том нуждались. Решетка была из полированной стали с острыми гранями и клинкообразными украшениями.

— Итак, дамы, — сказал он, — я обращаюсь к вам. Вот каминная решетка, которая на любом другом аукционе едва ли продавалась бы без назначенной цены, ибо, смею заметить, как по качеству стали, так и по своеобразию узора она принадлежит к разряду вещей, — тут мистер Трамбул заговорил приглушенно и слегка в нос, — рассчитанных на незаурядный вкус. Осмелюсь утверждать, что этот стиль станет со временем самым модным… полкроны, вы сказали? благодарю… продается за полкроны эта замечательная решетка… мне доподлинно известно, что на старинный стиль сейчас огромный спрос в высшем свете. Три шиллинга… три и шесть пенсов… поднимите-ка ее повыше, Джозеф! Обратите внимание на простоту узора, дамы. Лично я не сомневаюсь, что сработана она в прошлом веке! Четыре шиллинга, мистер Момси? Четыре шиллинга!

— Вот уж не поставила бы такую в своей гостиной, — сказала миссис Момси вслух, дабы

предостеречь неосторожного супруга. — Меня поражает миссис Ларчер. Не приведи бог, наткнется ребенок, и головенка тут же надвое. Край острый, как нож.

— Совершенно справедливо, — тотчас отозвался мистер Трамбул, — неоценимое удобство иметь в комнате каминную решетку, пользуясь которой можно перерезать бечевку или кожаную завязку у башмака, если рядом не окажется ножа, который перерезал бы веревку. Господа, если вы будете иметь несчастье полезть головой в петлю, эта каминная решетка спасет вас тотчас с поразительной быстротой… четыре и шесть пенсов… пять… пять и шесть пенсов… незаменимая вещь в спальне для гостей, где имеется кровать с пологом и не вполне вменяемый гость… шесть шиллингов… благодарю вас, мистер Клинтап… продается за шесть шиллингов… продается… продано! — Мистер Трамбул, рыскавший глазами по залу и со сверхъестественной зоркостью подмечавший, кто еще может раскошелиться, уронил взгляд на лист бумаги, лежавший на конторке, и в тот же миг понизил голос: — Мистер Клинтап. Пошевеливайтесь, Джозеф, — равнодушно буркнул аукционист.

— Возможность повторить гостям такую шутку

стоит шести шиллингов, — со смущенным смешком сказал мистер Клинтап соседу. Известный садовод, но человек застенчивый и мнительный, он опасался, что его покупку сочтут глупой.

Тем временем Джозеф водрузил на конторку уставленный мелкими вещицами поднос.

— Итак, дамы, — начал мистер Трамбул, приподнимая одну из вещиц, — на подносе этом собрана весьма изысканная коллекция: безделушки для гостиной, а безделушки — это лицо нашего дома, нет ничего важнее безделушек (да, мистер Ладислав, вообразите себе, да). Джозеф, передайте поднос по рядам, пусть дамы как следует осмотрят безделушки. Та, что у меня в руке, задумана необычайно остроумно — вещественный ребус — так бы я ее назвал: сейчас, как видите, она представляет собой элегантный футляр в форме сердечка… небольшого размера — умещается в кармане; а вот она превращается в роскошный двойной цветок — им можно украсить стол; ну а теперь, — цветок в руке мистера Трамбула неожиданно рассыпался гирляндами сердцевидных листочков, — сборник загадок! Не менее пятисот загадок, напечатанных красивыми красными буковками. Господа, окажись я менее порядочным, я не побуждал бы вас поднимать

цену на эти вещицы… я приберег бы их для себя. Что еще так способствует невинному веселью и добродетели, я бы сказал, как не загадка? Добрая загадка очищает речь от грубых выражений, вводит кавалера в круг утонченных дам и девиц. Даже без изящной коробочки для костей, домино, корзиночки для игральных карт и всего прочего эта хитроумная безделушка делает содержимое подноса драгоценным. Имеющий такую вещь в кармане — желанный гость в любой компании. Четыре шиллинга, сэр? Четыре шиллинга за это превосходное собрание загадок и всего прочего? Вот вам пример: «Какое предложение можно считать наиболее капитальным?» Ответ: «Когда его сделал жених с капиталом». Вы поняли? Капитальный — капитал — предложение. Эта забава упражняет ум; в ней есть язвительность и остроумие, но она благопристойна. Четыре и шесть пенсов… пять шиллингов.

Цену все набавляли, страсти накалялись. К всеобщему возмущению, в борьбу вступил и мистер Боуер. Покупка Боуеру была не по карману, но ему не хотелось отстать от других. Даже мистер Хоррок не устоял, правда, приняв участие в торгах, он ухитрился выглядеть столь безучастным, что трудно было догадаться, от кого исходят

новые предложения цены, если бы не дружеские выкрики мистера Бэмбриджа, желавшего узнать, на кой черт понадобилась Хорроку эта дрянь, на какую польстится разве что мелочной торговец, павший так низко, как, впрочем, по мнению барышника, пала большая часть человечества. Содержимое подноса в конце концов за гинею приобрел мистер Спилкинс, местный Слендер[196], привыкший сорить карманными деньгами и помнивший наизусть меньше загадок, чем ему бы хотелось.

— Послушайте-ка, Трамбул, куда это годится… выставили на продажу всякую дребедень для старых дев, — вплотную приблизившись к аукционисту, пробормотал мистер Толлер. — Времени у меня в обрез, а я хотел бы знать, по какой цене пойдут гравюры.

— Сию минуту, мистер Толлер. Я просто действовал с благотворительной целью, чего не может не одобрить такой великодушный человек, как вы. Джозеф! Тотчас же гравюры — номер 235. Итак, господа, вам, как арбитерам, предстоит истинное

**[196] Примечания: 196**

*Слендер* — персонаж комедии Шекспира «Виндзорские насмешницы», придурковатый претендент на руку богатой невесты, покорить сердце которой рассчитывает при помощи сборника любовных песен и сборника загадок.

наслаждение. Вот гравюра, изображающая окруженного свитой герцога Веллингтона[197] в битве при Ватерлоо; и невзирая на недавние события, так сказать низвергнувшие нашего славного героя с высот, я беру на себя смелость утверждать — ибо люди моей профессии неподвластны воле политических ветров, — что более достойного сюжета — из разряда современных, принадлежащих к нашему времени, нашей эпохе, — не способно представить себе человеческое воображение; ангелы, быть может, и сумели бы, но не люди, господа, не люди, нет.

— Кто это нарисовал? — почтительно осведомился мистер Паудрелл.

— Это — пробный оттиск, мистер Паудрелл, художник неизвестен, — ответил Трамбул, сделав при последних словах некое придыхание, вслед за чем сжал губы и гордо огляделся.

— Даю фунт! — выкрикнул мистер Паудрелл с пылкой решимостью человека, готового рискнуть головой. Остальные, движимые то ли

---

**[197] Примечания: 197**

*Веллингтон Артур Уэлсли* (1769 — 1852) — главнокомандующий английскими войсками в битве при Ватерлоо (1815), закончившейся полным поражением Наполеона. Долгое время пользовался в Англии огромной популярностью, но в значительной степени утратил ее, пока занимал пост премьер-министра в 1828 — 1830 гг. Консервативно настроенные круги были особенно им недовольны из-за того, что он вынужден был согласиться на предоставление равноправия католикам.

благоговением, то ли жалостью, позволили ему приобрести гравюру за цену, названную им.

Затем настал черед двух голландских гравюр, которые облюбовал мистер Толлер, и он удалился, заполучив их. Остальные гравюры и последовавшие за ними картины были проданы видным жителям Мидлмарча, пришедшим для того, чтобы именно их и купить, и циркуляция публики в зале усилилась; иные, купив желаемое, уходили, другие же возвращались, подкрепившись угощением, сервированным на лужайке в шатре. Мистер Бэмбридж намеревался купить этот шатер и частенько туда наведывался, как бы заранее наслаждаясь приобретеньем. В последний раз он возвратился с новым спутником, незнакомым мистеру Трамбулу и всем остальным, но, судя по цвету лица, приходившимся родней барышнику, склонному «предаваться излишествам». Пышные бакенбарды, авантажная осанка и манера взбрыкивать ногой произвели большое впечатление на публику; однако черный, изрядно потертый на бортах костюм ненароком наводил на мысль, что вновь прибывший не может позволить себе предаваться излишествам в полную меру своей склонности.

— Кого это вы притащили сюда, Бэм? — спросил

украдкой мистер Хоррок.

— Спросите его сами, я не знаю его имени, — ответил мистер Бэмбридж. — Говорит, он только что с дороги.

Мистер Хоррок пристально уставился на незнакомца, одной рукою опиравшегося на трость, а другой — ковырявшего в зубах зубочисткой и озиравшегося с некоторым беспокойством — он, как видно, не привык молчать.

К несказанному облегчению Уилла, до того утомившегося, что он отступил на несколько шагов назад и плечом оперся о стену, на обозрение публики была наконец выставлена «Вечеря в Еммаусе». Уилл опять приблизился к конторке и поймал взгляд незнакомца, к его удивлению таращившегося на него во все глаза. Но тут к Уиллу обратился мистер Трамбул:

— Да, мистер Ладислав, да; я думаю, это интересует вас, как арбитера. Истинное удовольствие, — со все возрастающим пылом продолжил аукционист, — владеть такой картиной и показывать ее гостям — владеть картиной, за которую никаких денег не пожалеет тот, кто располагает как состоянием, так и вкусом. Это картина итальянской школы, кисти прославленного Гидо, величайшего живописца в мире, главы старых

мастеров, как их называют, я думаю, из-за того, что они кое в чем нас обогнали, обладали секретами искусства, ныне недоступными для человечества. Позвольте мне заметить, господа, я видел множество картин кисти старых мастеров, и не каждая из них может сравниться с этой, иные покажутся темноваты на ваш вкус, не все сюжеты годны для семейного дома. Но этого вот Гидо — одна рама стоит несколько фунтов — любая дама с гордостью повесит на стену — именно то, что требуется для так называемой трапезной в благотворительном заведении, если кто-нибудь из наших видных прихожан пожелает осчастливить таковое от щедрот своих. Повернуть немного, сэр? Хорошо. Джозеф, поверните немного картину к мистеру Ладиславу… как известно, мистер Ладислав жил за границей и знает толк в таких вещах.

На мгновение все взгляды обратились к Уиллу, который холодно сказал:

— Пять фунтов.

Аукционист разразился потоком укоризненных восклицаний:

— О! Мистер Ладислав! Одна рама стоит не меньше. Уважаемые дамы и господа, поддержите честь нашего города. Хорошо ли будет, если

впоследствии выяснится, что в Мидлмарче находилось драгоценное произведение искусства и никто из нас его не заметил? Пять гиней… пять и семь?.. пять и десять… Ну, ну, кто больше, дамы? Это истинный алмаз, а «сколько алмазов чистейших»[198], как сказал поэт, пошло за бесценок из-за невежества покупателей, принадлежащих к тем кругам, где… я хотел сказать: отсутствуют благородные чувства, но нет! Шесть фунтов… шесть гиней… первостатейный *Гидо* будет продан за шесть гиней — это оскорбительно для религии, дамы; может ли христианин смириться с тем, чтобы такой сюжет пошел по столь низкой цене… шесть фунтов… десять… семь…

Цену все набавляли, не отступался и Уилл, который помнил, что миссис Булстрод очень хочется купить эту картину, и положил себе пределом двенадцать фунтов. Впрочем, картина досталась ему всего за десять гиней, после чего он пробрался к стеклянной двери и вышел. Так как ему было жарко и хотелось пить, он решил сперва войти в шатер и попросить стакан воды.

---

**[198] Примечания: 198**

Строка из «Элегии» Томаса Грея (1716 — 1771), английского поэта-сентименталиста. В этой строфе говорится о чистейших алмазах, которые скрыты в темных подводных пещерах, и о цветах, которые распускаются и вянут в пустыне, никем не увиденные.

В шатре не оказалось других посетителей, и Уилл попросил женщину, прислуживающую там, принести ему холодной воды, однако не успела она выйти, как, к неудовольствию Уилла, появился краснолицый незнакомец, который таращился на него во время торгов. Уилл подумал вдруг, не из тех ли он субъектов, которые присасываются к политике подобно паразитическим насекомым и уже пытались раза два завязать с ним знакомство на том основании, что слышали его речи о реформе, и в тайной надежде продать ему за шиллинг какой-нибудь секрет. При этой мысли вид незнакомца, распалявший раздражение, непереносимое в такую жару, представился Уиллу еше более неприятным; присев на ручку садового кресла, он нарочито отвел в сторону взгляд. Однако это не смутило нашего приятеля, мистера Рафлса, всегда готового навязать свое общество силой, если этого требовали его планы. Сделав несколько шагов, он оказался перед Уиллом и торопливо выкрикнул:

— Простите, мистер Ладислав, вашу матушку звали Сара Данкирк?

Уилл вскочил, отпрянул и, нахмурившись, не без надменности сказал:

— Да, сэр. А вам до этого какое дело?

Характерная для Уилла манера — прямой ответ на заданный вопрос без мысли о последствиях. Сказать сразу: «Вам до этого какое дело?» — значило бы проявить уклончивость, словно он стыдится своего происхождения!

Рафлс держался гораздо миролюбивее. Хрупкий молодой человек с девическим румянцем выглядел воинственно и, казалось, вот-вот готов был наброситься на него как тигр. При таких обстоятельствах мистеру Рафлсу уже не представлялось приятным втягивать Уилла в разговор.

— Я не хотел вас оскорбить, любезный сэр, я не хотел оскорбить вас! Просто я помню вашу матушку, знавал ее еще девочкой. Сами вы больше похожи на папеньку, сэр. С ним я тоже имел удовольствие встречаться. Ваши родители живы, мистер Ладислав?

— Нет! — яростно крикнул Уилл.

— Счастлив буду оказать вам услугу, мистер Ладислав, клянусь богом, буду счастлив! Надеюсь, нам еще предстоит встречаться.

Слегка приподняв шляпу при последних словах, Рафлс повернулся, брыкнул ногой и удалился. Уилл проводил его взглядом и заметил, что незнакомец не возвратился в дом, а, судя по всему, направился к дороге. На мгновенье у него мелькнула

нула мысль, что он глупо поступил, не дав ему высказаться… Хотя нет! Он при любых условиях предпочитал не черпать сведений из таких источников.

Вечером, однако, Рафлс нагнал его на улице и, то ли позабыв нелюбезный прием, ранее оказанный ему Уиллом, то ли решив парировать обиду благодушной фамильярностью, весело его приветствовал и зашагал с ним рядом, для начала с похвалою отозвавшись о городе и окрестностях. Заподозрив, что он пьян, Уилл стал прикидывать в уме, как от него отделаться, но тут вдруг Рафлс сказал:

— Я и сам жил за границей, мистер Ладислав… повидал свет… изъяснялся по-иностранному. С вашим папенькой я встречался в Булони, вы поразительно похожи на него, ей-ей! рот, нос, глаза, волосы падают на лоб в точности как у него… этак слегка на иноземный манер, Джон Буль[199] их иначе зачесывает. Но когда я виделся с вашим отцом, он очень сильно хворал. Господи боже! Руки до того худые, прямо светятся. Вы тогда были еще малюткой. Он выздоровел?

---

**[199] Примечания: 199**

*Джон Буль* — персонаж сатиры Джона Арбетнота (1667 — 1735) «История Джона Буля»; это имя стало нарицательным для обозначения Англии и англичан.

— Нет, — отрывисто сказал Уилл.

— О! Вот как. Я часто думал, что-то сталось с вашей матушкой? Совсем молоденькой она бежала из дому, гордая была девица и прехорошенькая, ей-ей! Я-то знаю, почему она сбежала, — сказал Рафлс и, искоса взглянув на собеседника, лукаво ему подмигнул.

— Вы не знаете о ней ничего бесчестящего, сэр, — сказал Уилл, кипя от ярости. Но мистер Рафлс в этот вечер был необидчив.

— Никоим образом, — ответил он, энергически тряхнув головой. — Она была очень даже благородна, и потому-то ей не нравилась ее семейка — вот в чем дело! — Тут Рафлс вновь лукаво подмигнул. — Господи боже, я знал о них всю подноготную — этакое солидное предприятие по воровской части… скупка краденого, но весьма почтенная фирма — не какие-нибудь там трущобы да закоулки — самый высокий сорт. Роскошный магазин, большие барыши, и комар носу не подточит. Но не тут-то было! Саре бы об этом сроду не проведать… настоящая благородная барышня — воспитывалась в наилучшем пансионе — ей в пору было стать женою лорда, если бы Арчи Дункан не выложил ей все со зла, когда она его отшила. И тогда она сбежала… бро-

сила фирму. Я служил у них коммивояжером, сэр, все по-джентльменски, платили большое жалованье. Сперва они не огорчались из-за дочки — богобоязненные люди, сэр, богобоязненные, а она стала актрисой. Сын был жив тогда, вот дочку и списали со счетов. Ба! Да это «Голубой бык». Что скажете, мистер Ладислав? Заглянем, выпьем по стаканчику?

— Нет, я должен с вами попрощаться, — сказал Уилл, бросившись в переулок, ведущий к Лоуик-Гейт, и чуть ли не бегом скрылся от Рафлса.

Он долго брел по Лоуикской дороге все дальше и дальше от города и обрадовался, когда наступила темнота и в небе заблестели звезды. Он чувствовал себя так, словно под улюлюканье толпы его вымарали грязью. Тот краснолицый малый не солгал, Уилл не сомневался в этом — чем иначе объяснить, что мать никогда ему не говорила, отчего она сбежала из дому?

Что ж! Даже если его родня предстает в самом неприглядном свете, виновен ли в этом он, Уилл Ладислав? Его мать порвала с семьей, не побоявшись тяжких лишений. Но если родственники Доротеи узнали его историю… если ее узнали Четтемы, их, вероятно, обрадовал новый довод, подкрепляющий их убеждение, что Ладислав

недостоин ее. Ну и пусть подозревают все что угодно, рано или поздно они поймут свою ошибку. Они поймут, что в его жилах течет кровь ничуть не менее благородной окраски, чем их собственная.

## Глава LXI

*– Два противоречащих положения, – сказал Имлек, – не могут быть оба верны, однако в приложении к человеку оба способны обернуться истиной.*

***«Расселас»***

В тот же вечер, когда возвратился мистер Булстрод, ездивший по делу в Брассинг, его встретила в прихожей жена и тотчас увела в кабинет.

— Никлас, — сказала она, устремив на мужа встревоженный взгляд, — тебя спрашивал ужасно неприятный человек, мне весь день не по себе после этого.

— Как выглядел этот человек, дорогая? — спросил мистер Булстрод и похолодел от ужаса, предчувствуя, каков будет ответ.

— С большими бакенбардами, краснолицый и держит себя очень нагло. Он назвался твоим старым другом, уверял, что ты огорчишься, если его не повидаешь. Хотел дождаться тебя здесь, но я ему сказала, чтобы он зашел к тебе в банк завтра утром. Удивительный наглец! Разглядывал меня самым бесцеремонным образом, а потом

сказал, что его другу Нику всегда везло с женами. Я уж не чаяла от него избавиться, но, по счастью, сорвался с цепи Буян — мы в это время стояли в саду, — и, завидев его в конце аллеи, я сказала: «Вам лучше поскорей уйти: пес очень злой, а удержать его я не сумею». Он не солгал — ты в самом деле знаком с таким человеком?

— Думаю, я знаю, о ком ты говоришь, моя милая, — ответил Булстрод, как обычно, приглушенным голосом. — Беспутное и жалкое существо, для которого я в свое время много сделал. Впрочем, полагаю, он больше не станет тебя беспокоить. Вероятно, завтра он зайдет ко мне в банк… С просьбой о помощи, вне всякого сомнения.

Больше они не затрагивали эту тему, и разговор возобновился лишь на следующий день, когда мистер Булстрод, вернувшись из города, переодевался к обеду. Не уверенная, что он уже дома, миссис Булстрод заглянула в гардеробную: муж стоял без сюртука и галстука, облокотившись на комод и задумчиво потупив взгляд. Когда она вошла, он вздрогнул и испуганно поднял голову.

— Ты выглядишь совсем больным, Никлас! У тебя что-то случилось?

— Голова сильно болит, — сказал мистер Булст-

род, хворавший так часто, что его супруга всегда готова была удовлетвориться объяснением такого рода.

— Тогда сядь, я приложу тебе ко лбу губку, смоченную уксусом.

Мистер Булстрод не нуждался в целебном воздействии уксуса, но нежная заботливость жены его утешила и успокоила. Невзирая на свойственную ему учтивость, он обычно принимал подобные услуги со спокойным равнодушием, как должное. Однако нынче, когда жена склонилась над ним, он сказал: «Спасибо тебе, Гарриет, милая», — и слух миссис Булстрод уловил нечто новое в его интонации; она не могла бы в точности определить, что именно ей показалось непривычным, но заподозрила неладное и испугалась, не захворал ли муж.

— Тебя что-нибудь тревожит? — спросила она. — Был тот человек сегодня в банке?

— Да, моя догадка подтвердилась. Это тот, о ком я думал. Когда-то он знал лучшие времена. Но спился и пошел по дурному пути.

— Он к нам больше не вернется? — встревоженно спросила миссис Булстрод; но, удержавшись, не добавила: «Мне было очень неприятно, когда он назвал тебя своим другом». Она боялась

хоть единым словом выдать постоянную свою убежденность, что в молодые годы ее муж был по положению ниже ее. Она не так-то много знала об этих его годах. Знала, что сперва он служил в банке, потом вошел в какое-то, как он выражался, «дело» и примерно к тридцати трем годам нажил состояние, что женился он на вдове, которая была намного его старше и к тому же принадлежала к секте, а может быть, обладала и другими недостатками, какие с такой легкостью обнаруживает в первой жене беспристрастный взор второй супруги, — вот, пожалуй, и все, что пожелала узнать миссис Булстрод, да еще в рассказах мужа мелькали иногда упоминания об охватившем его в юности религиозном рвении, о его намерении стать проповедником, о миссионерской и филантропической деятельности. Она считала мужа превосходным человеком и высоко ценила в нем редкостный для мирянина религиозный пыл, который и ее настроил на более благочестивый лад, не говоря уже о том, что и по части благ земных он достиг многого и это способствовало ее продвижению вверх по общественной лестнице. В то же время ей приятно было думать, что и мистер Булстрод оказался счастливцем, получив руку Гарриет Винси, се-

мья которой принадлежала к мидлмарчскому высшему свету, несомненно затмевавшему и тот, что освещает улицы столицы, и тот, что брезжит во дворах у сектантских молелен. Лондон внушает недоверие косным провинциалам, и хотя истинная вера несет спасение в любом храме, добрейшая миссис Булстрод полагала, что спасаться в англиканской церкви надежнее. Она так старалась не упоминать при посторонних о былой принадлежности мужа к лондонским сектантам, что предпочитала умалчивать об этом, даже оставаясь с ним наедине. Он отлично видел все и, право, кое в чем побаивался своей простодушной супруги, чья благоприобретенная набожность и врожденная суетность были в равной степени неподдельны, которой нечего было стыдиться и на которой он женился, повинуясь лишь сердечной склонности, сохранившейся и по сей день. Но как всякий человек, стремящийся не утратить свое признанное верховенство, он был подвержен страху: лишиться уважения жены, лишиться уважения любого, кто не испытывает ненависти к нему, как к носителю истинной веры, было для него смерти подобно. Когда жена его спросила: «Он больше не вернется?» — Булстрод ответил: «Надеюсь, что нет», стараясь казаться

как можно более хладнокровным.

Но в действительности он чувствовал себя совсем ненадежно. Явившись к нему в банк, Рафлс ясно дал понять, что, кроме всего прочего, намерен всласть его помучить. Он откровенно признался, что завернул в Мидлмарч, дабы ознакомиться с окрестностями и поселиться тут, если они ему понравятся. Долгов у него и в самом деле оказалось больше, чем он предполагал вначале, но двести фунтов еще не истрачены полностью, пусть Булстрод добавит для круглого счета еще двадцать пять, и пока вполне достаточно. Основное же, чего ему хотелось, это повидать своего друга Ника и его семью, узнать о житье-бытье человека, к которому он так привязан. Спустя некоторое время он, может быть, погостит и подольше. На сей раз Рафлс воспротивился тому, чтобы его, как он выразился, «провожали до порога», — он не пожелал отбыть из города на глазах у Булстрода. Отбыть он намеревался с дилижансом на следующий день… если не раздумает.

Булстрод чувствовал свое бессилие. Тут не поможешь ни добром, ни угрозами. Запугать Рафлса нечем, верить его обещаниям нельзя. Наоборот, сердце Булстрода сковала леденящая уверенность, что Рафлс — если провидение не

пошлет ему скоропостижной смерти и не помешает таким образом его дальнейшим действиям — очень скоро возвратится в Мидлмарч. И эта мысль внушала ему ужас.

Ему не грозило судебное преследование и нищета, он боялся другого — стать предметом местных пересудов, и особенно его страшило, что жене станут известны такие подробности его прошлого, какие непременно очернят и его самого, и религию, служению которой он посвятил столько сил. Страх перед разоблачением обостряет память, беспощадно ярким светом заливает он забытые картины прошлого, все упоминания о котором уже давно свелись к нескольким общим фразам. Жизнь человеческая, даже когда память спит, воедино связана взаимодействием роста и разрушения; когда же память пробудится, человеку не уйти от своего позорного былого. Как открывшаяся старая рана, память причиняет мучительную боль, и наше прошлое — это уже не мертвая история, изношенная заготовка настоящего, не прискорбная ошибка, бесследно канувшая в небытие; прошлое живет, оно трепещет в человеке, постоянно заставляя его ощущать ужас, горечь и муки заслуженного позора.

Так прошлое Булстрода ожило в нем сейчас, и

лишь былые радости утратили свою прелесть. День и ночь без передышки, ибо даже в недолгие часы сна воспоминания и страх, переплетаясь, создавали фантастическую иллюзию реальности, он ощущал, как сцены его прежней жизни упорно становятся между ним и всем, что его окружает. Так человек, взглянувший из окна освещенной комнаты в сад, видит не траву и деревья, а те же предметы, к которым он повернулся спиной. То, что находилось в нем, и то, что было вне его, сплелось воедино; мысль останавливалась на чем-то одном, но второе продолжало жить в сознании.

Он снова видел себя банковским клерком, приятным в обращении юношей, который ловко управляется с цифрами, бойко говорит и охотно обсуждает тексты Священного Писания — молодой, но уже видный член кальвинистской секты в Хайбери, переживший духовное озарение, когда ему было дано познать свою греховность и ощутить прощение. Снова на молитвенных собраниях его называют «братом Булстродом», он участвует в религиозных диспутах, проповедует в частных домах. Вновь он раздумывает, не стать ли ему священнослужителем, и испытывает склонность к миссионерской деятельности. То была счастливейшая пора его жизни: именно

здесь он хотел бы пробудиться, сочтя все дальнейшее сном. Круг почитателей «брата Булстрода» был узок, но состоял из близких ему по духу людей, и потому он особенно остро ощущал свое могущество. Он с легкостью поверил, что на нем почиет благодать и что господь избрал его не случайно.

А затем началось восхождение вверх: сирота, воспитанный в благотворительной коммерческой школе, был приглашен на великолепную виллу мистера Данкирка, богатейшего в общине человека. Вскоре он стал своим в этой семье, где жена почитала его за набожность и отличал за способности муж, владелец процветающего торгового предприятия в Сити и Уэст-Энде. Так его честолюбию открылись новые горизонты, и долг, возложенный на него творцом, он видел теперь в том, чтобы объединить незаурядное дарование деятеля религии с преуспеянием в делах.

Немного времени спустя явилось прямое указание свыше: скончался младший компаньон, вакансию требовалось заполнить безотлагательно, и, по мнению главы фирмы, никто так не подходил для этого поста, как его юный друг Булстрод, если заодно возьмет на себя обязанности доверенного счетовода. Булстрод принял предло-

жение. Фирма ссужала деньги под залог, оборот капитала был грандиозен, прибыли — тоже; поближе ознакомившись с делами, он обнаружил, что грандиозность доходов частично объясняется сговорчивостью оценщиков, которые охотно принимали любые предлагаемые им вещи, не допытываясь, откуда они взялись. Впрочем, дело было поставлено на широкую ногу, имелось даже филиальное отделение в Уэст-Энде, и фирма производила самое благопристойное впечатление.

Он помнил, как сперва ужаснулся. Никого не посвящая в свои сомнения, он мысленно вел с собой постоянные споры: иные из них приняли форму молитв. Предприятие уже основано, оно давно существует, одно дело — открыть новое питейное заведение, и совсем другое поместить капитал — в старое. Чья-то душа погибла, а тебе идут барыши, где провести черту… какие сделки не дозволены? А может быть, сам господь спасает так своих избранных? «Тебе ведомо…» — говорил в давние времена молодой Булстрод, точно так же как старый Булстрод говорил сейчас: «Тебе ведомо, как мало прельщают душу мою эти блага… что в глазах моих они просто орудие, дабы возделать твой вертоград, спасая его где возможно от запустения».

В метафорах и прецедентах недостатка не было, равно как и в озарениях, — все это мало-помалу внушило ему, что он лишь исполняет возложенный на него долг. Путь к преуспеянию открылся перед ним, никто и не узнал о терзаниях Булстрода. Мистер Данкирк даже не подозревал, что по этому поводу можно терзаться: между спасением души и коммерческими сделками не было, на его взгляд, ничего общего. Булстрод теперь вел двойную жизнь; его религиозная и коммерческая деятельность перестали быть несовместимыми с тех пор, как он внушил себе, что они совместимы.

Мысленно окунувшись в прошлое, Булстрод и сейчас приводил все те же доводы в свою защиту, только нить их, с годами став бесконечно длинной, сбилась в комья, которые, как паутина, обволокли со всех сторон некогда чуткую совесть. Мало того, на старости лет он все ненасытнее жаждал преуспеяния и все меньше черпал в нем радостей, отчего в его сознании зрела убежденность, что все содеянное им он делал для блага господня, а не для своего собственного. И все-таки, если бы он мог вернуться туда, в свою далекую нищую юность, он, право же, решил бы стать миссионером.

Но цепь причин и следствий, которой он себя опутал, продолжала передвигаться. На роскошной вилле в Хайбери не все было ладно. Несколько лет назад единственная дочь хозяев бежала из дому, порвав с родителями, и стала актрисой; и вот умер единственный сын, а вскоре вслед за ним скончался мистер Данкирк. Вдова, набожная и простодушная женщина, став единоличной владелицей огромного дела, об истинной сущности которого она не подозревала, полагалась во всем на Булстрода и преклонялась перед ним, как многие женщины преклоняются перед своими духовными пастырями. Естественно, что некоторое время спустя у них возникла мысль о браке. Но воспоминание о дочери, которая долгие годы считалась потерянной для бога и для родителей, тревожило миссис Данкирк, бередило ее совесть. Было известно, что дочь вышла замуж, но далее след ее потерялся. Похоронив единственного сына, миссис Данкирк подумала, что, быть может, у нее есть внук, и это удвоило ее желание примириться с дочерью. Не приходилось сомневаться, что, разыскав ее, миссис Данкирк отдаст ей часть своего состояния, и возможно, немалую, если узнает, что стала бабушкой нескольких внуков. Миссис Данкирк решила заняться розысками до

того, как вступить в новый брак. Булстрод согласился, однако, напечатав объявления в газетах и испробовав иные пути, мать уверилась, что ее дочь невозможно найти, и согласилась выйти замуж, передав безоговорочно все имущество мужу.

В действительности дочь нашли, однако, кроме Булстрода, об этом знал лишь один человек, которому хорошо заплатили за то, что он будет молчать и уедет из Англии.

Таково было обстоятельство, теперь представшее перед Булстродом в том неприглядном свете, в каком его увидят посторонние. Сам он и в те отдаленные времена, и сейчас, оживляя их в памяти, расчленил это обстоятельство на незначительные эпизоды, каждый из которых он по здравому рассуждению счел простительным. Булстрод полагал, что весь его жизненный путь предначертан провидением, избравшим его для того, чтобы наилучшим образом употребить огромное богатство, сделать так, чтобы оно не было использовано недостойно. Скоропостижная смерть прежнего владельца и его сына, непоколебимое доверие вдовы — все это нельзя было счесть просто совпадением, и Булстрод мог бы повторить вслед за Кромвелем: «Вы считаете это

случайностью? Да сжалится над вами бог!» Не так значительны были сами по себе эти события, как то, что их объединяло: они все способствовали достижению его целей. Проще простого было определить, как ему поступать с другими, для этого лишь требовалось выяснить, каковы намерения всевышнего относительно самого Булстрода. Послужит ли всевышнему на благо, если значительная часть капитала достанется легкомысленной молодой чете, которая едва ли является орудием провидения и, вероятно, самым суетным образом растратит деньги за границей? Булстрод не решал заранее: «Дочь не должна быть найдена», но когда наступило время, он скрыл, что ее нашли; затем наступило время поддержать и утешить мать, скорбящую о том, что ее несчастной дочери, быть может, нет в живых.

Порой он сознавал, что поступок его был неправеден, но не видел пути назад. Он горько каялся, раздумывал, как искупить свою вину, и опять приходил к выводу, что он орудие всевышнего. Минуло пять лет, и смерть жены сделала поле его деятельности еще шире. Мало-помалу он изъял из предприятия свой капитал, но делал это постепенно, чтобы избежать излишних убытков, так что фирма просуществовала еще тринадцать лет.

За это время он перебрался в провинцию и, осмотрительно распорядившись своей сотней тысяч, постепенно приобрел там вес — банкир, столп веры и благотворитель; кроме того — негласный компаньон различных предприятий, где весьма ценили его советы по поводу заготовки сырья, как, например, при изготовлении красителей, портивших шелк на мануфактуре мистера Винси. И вдруг, после того как почти тридцать лет он пользовался почетом и всеобщим уважением, когда давно уже притупилось воспоминание о прошлом, это прошлое возникло снова, обрушилось на него лавиной и поглотило все его мысли.

Впрочем, из беседы с Рафлсом он узнал нечто важное, сыгравшее существенную роль в борьбе его надежд и страхов. Открылся путь к духовному спасению, а быть может, и не только духовному.

Душа его действительно жаждала спасения. Вероятно, существуют лицемеры, которые дурачат свет вымышленными убеждениями и притворными чувствами, но Булстрод был не таков. Просто этот человек, чьи желания оказались сильнее его убеждений, привык внушать себе и окружающим, что, удовлетворяя свои желания, он всегда действует согласно убеждениям. Если это лицемерие, то оно проявляется по временам

в любом из нас, независимо от нашего вероисповедания, независимо от того, считаем ли мы, что человечество все более приближается к совершенству или что скоро наступит конец света; представляем ли мы себе землю гноищем, где чудом сохранились избранные (вроде нас), или пылко веруем во всеобщее братство.

Всю жизнь Булстрод оправдывал свой образ действий той пользой, которую он может оказать делу религии; именно эту побудительную причину он неустанно называл в своих молитвах. Кто воспользовался бы своим положением и деньгами лучше, чем намеревался ими воспользоваться он? Кто превзошел бы его в самоуничижении и возвышении дела господня? А служение делу господню, по мнению мистера Булстрода, требовало изворотливости: тот, кто служит этому делу, должен распознавать врагов господа, пользоваться ими как орудиями и ни в коем случае не подпускать близко к деньгам, ибо, разбогатев, они неизбежно приобретут влияние. Точно так же выгодное помещение капитала в тех промыслах, где особенно усердно проявлял свое коварство князь тьмы, очищалось от греха, если барыши находили достойное применение, попав в руки слуги божьего.

Эта казуистика не в большей мере свойственна христианской религии, чем использование высоких слов для низменных побуждений свойственно англичанам. Любая доктрина может заглушить в нас нравственное чувство, если ему не сопутствует способность сопереживать своим ближним.

Но человек, движимый не одним стремлением насытить свою алчность, обладает совестью, нравственным девизом, к которому более или менее приноравливается. Девизом Булстрода была его готовность служить делу господню: «Я греховен, я ничтожен… я сосуд, который должно освятить употреблением… так употребите же меня!» — в такую форму он втиснул свое необузданное стремление приобрести вес в обществе и власть. И вот настал момент, когда этой форме, казалось, грозила опасность быть разбитой вдребезги и выброшенной вон.

Что, если поступки, совершая которые он оправдывался намерением служить к вящей славе господней, станут предметом пересудов и опорочат эту славу? Если воля провидения такова, значит, он изгнан из храма как принесший нечистую жертву.

Покаянные мольбы он возносил уже давно. Но

нынешнее покаяние было горше, и провидение грозно требовало кары — на сей раз мало было богословских рассуждений. Небесный суд вынес новый приговор: недостаточно пасть ниц — от него требовалось искупление. И Булстрод, не лукавя, готовился к посильному для него искуплению; его объял великий страх, и ожидание нестерпимого позора усугубило душевные муки. Ему не давало покоя ожившее прошлое, и он денно и нощно придумывал, как сохранить душевное равновесие, какой жертвой отвести карающий меч. Охваченный ужасом, он верил, что, если по собственной воле совершит какое-нибудь доброе дело, бог спасет его от расплаты за грехи. Ибо вера меняется только тогда, когда изменились питающие ее чувства, и тот, чья вера зиждется на страхе, недалеко ушел от дикаря.

Он видел своими глазами, как Рафлс сел в дилижанс, отправлявшийся в Брассинг, и на время успокоился; но это была всего лишь передышка, которая не избавила его ни от душевной борьбы, ни от стремления заручиться поддержкой всевышнего. Наконец он принял нелегкое решение и написал письмо Уиллу Ладиславу, где просил быть этим вечером в девять часов в «Шиповнике» на предмет личной беседы. Уилл не очень

удивился этой просьбе, решив, что речь пойдет о каких-нибудь нововведениях в «Пионере». Однако, оказавшись в кабинете мистера Булстрода, он был поражен страдальческим лицом банкира и чуть не спросил: «Вы больны?», но вовремя спохватился и только справился, довольна ли миссис Булстрод купленной для нее картиной.

— Вполне довольна, благодарю вас. Миссис Булстрод с дочерьми сегодня вечером нет дома. Я пригласил вас, мистер Ладислав, намереваясь сделать сообщение сугубо личного… я бы сказал, глубоко конфиденциального свойства. Думаю, вы будете весьма удивлены, узнав, что ваше и мое прошлое связаны тесными узами.

Уилла словно ударило электрическим током. Он настороженно и с большим волнением слушал об этих относящихся к прошлому узах и был полон недобрых предчувствий. Все казалось зыбким и расплывчатым, как во сне, — то, что начал крикун незнакомец, неожиданно продолжил сейчас хилый образчик респектабельности, чьи тусклые глаза, приглушенный голос и церемонная, плавная речь были в этот миг почти так же противны ему, как манера его кичливого антипода. Он сильно побледнел и сказал:

— Да, действительно, вы меня удивили.

— Вы видите перед собою, мистер Ладислав, человека, которого постиг тяжкий удар. Но голос совести и сознание, что я нахожусь перед судом того, чей взгляд прозорливее, нежели взгляд человеческий, побуждают меня сделать вам признание, ради чего я вас и пригласил. Что же касается мирских законов, у вас не может быть ко мне никаких претензий.

Уилл испытывал не столько удивление, сколько неловкость. Мистер Булстрод помолчал, подперев голову рукой и глядя в пол. Но вот он устремил испытующий взгляд на Уилла и сказал:

— Мне говорили, что вашу мать звали Сара Данкирк, что она бежала от родителей и стала актрисой. Говорили мне также, что ваш отец был одно время тяжко болен. Могу я спросить: вы подтверждаете эти сведения?

— Да, все это так, — сказал Уилл, встревоженно пытаясь догадаться, что последует за этими вопросами, предварявшими, как видно, объяснение, на которое намекнул банкир. Но мистер Булстрод в тот вечер был во власти своих чувств и направляем только ими; уверенный, что время искупления пришло, он стремился покаянными речами отвести нависшую над ним кару.

— Вам что-нибудь известно о родственниках

вашей матери? — продолжил он.

— Нет, мать не любила вспоминать о них. Она была благороднейшая, честнейшая женщина, — чуть ли не гневно ответил Уилл.

— Я не намеревался говорить о ней ничего дурного. Упоминала она когда-нибудь при вас о своей матери?

— Однажды она сказала, что ее мать навряд ли знает причину ее побега. «Бедная мама», — с глубокой жалостью произнесла она.

— Ее мать стала моей женой, — сказал Булстрод и, немного помолчав, добавил: — У меня есть обязательства перед вами, мистер Ладислав, обязательства, как я уже вам говорил, не юридического свойства, но моя совесть их признает. Этот брак сделал меня богатым человеком; вероятно, я не разбогател бы… или, во всяком случае, разбогател в меньших размерах, если бы вашей бабке удалось разыскать дочь. Дочь эта скончалась, как я понимаю?

— Да, — сказал Уилл, охваченный столь острым недоверием и неприязнью к собеседнику, что, не отдавая себе отчета в своих действиях, взял с пола шляпу и встал. Ему не хотелось иметь ничего общего с Булстродом.

— Умоляю вас, останьтесь, мистер Ладислав, —

встревоженно проговорил Булстрод. — Вас, несомненно, поразила неожиданность. Но заклинаю, выслушайте несчастного, сломленного душевными муками.

Уилл сел, чувствуя смешанную с презрением жалость к добровольно унижающему себя пожилому человеку.

— Мистер Ладислав, я намерен возместить ущерб, который потерпела ваша мать. Я знаю, что вы не располагаете состоянием, и собираюсь отдать вам соразмерную часть капитала, которая, возможно, принадлежала бы вам уже сейчас, если бы ваша бабка была уверена, что ее дочь жива, и сумела бы ее найти.

Мистер Булстрод сделал паузу, полагая, что собеседник потрясен его благородством, а в глазах всевышнего он искупил свой грех. Он не догадывался, с каким чувством слушает его Уилл, чья способность к молниеносным выводам особенно обострилась после намеков Рафлса, проливших свет на обстоятельства, которым лучше было бы остаться под покровом тьмы. Ладислав не ответил, и мистер Булстрод, под конец своей речи опустивший глаза, вопросительно посмотрел на собеседника, который смело встретил его взгляд и сказал:

— Но вы, я полагаю, знали, что моя мать жива, и знали, где ее найти.

Мистер Булстрод весь сжался — у него задрожали губы и руки. Он никоим образом не ожидал такого поворота разговора, не ждал он и того, что будет вынужден рассказать больше, нежели считал необходимым. Но солгать он не решился и неожиданно почувствовал, как почва, на которую он вступил не без уверенности, заколебалась у него под ногами.

— Ваше предположение правильно, не стану отрицать, — ответил он, запинаясь, — и мне бы хотелось возместить вам урон, ибо из всех, кому я таковой нанес, вы единственный оставшийся в живых. Не сомневаюсь, вам понятно, мистер Ладислав, что руководствуюсь я не житейскими, а более высокими соображениями, которые, как я уже упоминал, не продиктованы стремлением избежать судебного преследования. Я готов в ущерб своему состоянию и будущему моей семьи выплачивать вам ежегодно пятьсот фунтов в течение всей жизни и оставить соответствующую сумму после смерти, более того, я готов понести и большие расходы, если у вас возникнет достойный похвалы проект, требующий дополнительных затрат. — Мистер Булстрод так

подробно описал свои намерения в надежде, что пораженный его великодушием Ладислав, полный признательности, позабудет все сомнения.

Но весь вид Уилла — гордая поза, брюзгливая мина — выражал предельную строптивость. Нимало не растроганный, он твердо заявил:

— Прежде чем согласиться на ваше предложение, мистер Булстрод, я должен задать вам один-два вопроса. Были ли вы связаны с предприятием, послужившим в свое время основой состояния, о котором вы ведете речь?

«Рафлс все ему рассказал», — мелькнуло в голове Булстрода. Мог ли он отказаться дать ответ на вопрос, на который сам же напросился?

— Да, — ответил он.

— А этот промысел можно или же нельзя назвать предельно бесчестным… то есть таким, что, если бы обстоятельства дела получили огласку, участники предприятия были бы поставлены в один ряд с преступниками и ворами?

Голос Уилла звучал резко и зло: чувство глубокой горечи принудило его задать вопрос столь прямо.

Булстрод побагровел от гнева. Он готов был к самоуничижению, но неукротимая гордыня и многолетняя привычка властвовать пересили-

ли раскаяние и даже страх, когда этот молодой человек в ответ на предлагаемое благодеяние неожиданно принялся его обличать.

— Предприятие возникло, сэр, прежде, чем я стал его участником, и не ваше дело учинять мне такого рода допрос, — ответил он, не повышая голоса, но с раздражением.

— Нет, мое, — возразил Уилл, снова вставая со шляпой в руках. — Я имею полное право задавать подобные вопросы, так как именно мне предстоит решать, согласен ли я иметь с вами дело и принимать от вас деньги. Мне дорога моя незапятнанная честь. Мне дороги не опороченные позором родственные и дружеские связи. Сейчас я неожиданно узнал, что по не зависящим от меня причинам мое имя опорочено. Моя мать страшилась этого, она сделала все, чтобы устраниться от бесчестья, и я поступлю так же. Оставьте у себя свои нажитые преступлением деньги. Располагай я состоянием, я охотно отдал бы его тому, кто сумел бы доказать, что вы говорите неправду. Я благодарен вам только за то, что вы не отдали мне этих денег раньше, когда не в моей власти было от них отказаться. Человеку необходимо чувствовать себя джентльменом. Доброй ночи, сэр.

Булстрод не успел возразить, как Уилл поспешно и решительно вышел из комнаты, и мгновение спустя за ним захлопнулась парадная дверь. Внезапное известие о позорном наследстве возмутило и потрясло его, и ему недосуг было раздумывать, не слишком ли круто он обошелся с Булстродом, не слишком ли надменно и безжалостно отмел запоздалую попытку шестидесятилетнего человека исправить содеянное им зло.

Постороннего наблюдателя, вероятно, удивили бы его запальчивость и резкость. Но ведь никто из посторонних не знал, что все касавшееся его чести немедленно напоминало Уиллу о его отношениях с Доротеей и обращении с ним мистера Кейсобона. Потому одной из причин, побудивших его столь поспешно отринуть предложение Булстрода, была мысль, что, приняв это предложение, он бы не смог сознаться в этом Доротее.

Ну, а Булстрод… после ухода Уилла он разрыдался, как женщина, потрясенный до глубины души. Впервые ему открыто выразил презрение человек, стоящий на общественной лестнице выше Рафлса. Стыд, сознание своей униженности пронизали его до мозга костей, и он ни в чем не находил утешения. Некоторое облегчение при-

несли слезы, но их пришлось поспешно осушить, так как вернулись жена и дочери. Они только что прослушали письмо, полученное от миссионера, который проповедовал на Востоке, глубоко сожалели, что мистер Булстрод не присутствовал при чтении, и пытались пересказать ему все, что там было интересного.

Среди потаенных мыслей банкира самой утешительной, пожалуй, являлась та, что Уиллу Ладиславу уж, во всяком случае, едва ли вздумается разглашать их разговор.

## Глава LXII

*Бедный паж давно на свете жил,*
*Королевну он венгерскую любил.*

***Старинная песня***

Уилл Ладислав теперь твердо решил еще раз повидаться с Доротеей и вслед за тем немедленно покинуть Мидлмарч. На другой день после тягостного объяснения с Булстродом он написал ей коротенькое письмо, где сообщал, что по различным причинам несколько задержался в их краях и просит разрешения навестить ее в Лоуике в любой указанный ею, но по возможности близкий день, так как не может больше медлить с отъездом и в то же время не хотел бы уезжать, не повидавшись с ней. Он оставил письмо в редакции, велев посыльному отнести его в Лоуик-Мэнор и подождать ответа.

Уилл не мог не сознавать нелепость своей просьбы. Он простился с Доротеей в предыдущий раз при сэре Джеймсе Четтеме и объявил даже дворецкому, что пришел попрощаться. Не так-то ловко чувствуешь себя, являясь в дом, где тебя уже не ожидают: если первое прощание трогатель-

но, то повторное отдает комедией, и, возможно, кое у кого уже возник язвительный вопрос, чего ради он так медлит с отъездом. Тем не менее Уилл предпочитал открыто попросить у Доротеи позволения с ней повидаться, а не пускаться на разные уловки, придавая видимость случайной встречи свиданию, о котором он горячо мечтал. Прощаясь с Доротеей в прошлый раз, он ничего не знал об обстоятельствах, представивших их отношения в новом свете и воздвигнувших перед ним новую, еще более непреодолимую и совсем уж неожиданную преграду. Не зная, что у Доротеи есть собственное состояние, и не имея обычая вникать в подобные дела, Уилл полагал, что, согласно распоряжению мистера Кейсобона, Доротея осталась бы без гроша, если бы вздумала выйти замуж за него, Уилла Ладислава. Этого он не мог пожелать даже в глубине души, даже в том случае, если бы Доротея была готова променять ради него обеспеченность на нищету и лишения. Затем последовал новый удар: Уилл узнал, почему мать его бежала из дому, и сразу же подумал, что родственники Доротеи только по одной этой причине окончательно бы его отринули. Тайная надежда вернуться через несколько лет, сделав карьеру, чтобы уравняться с Доротеей, теперь ка-

залась несбыточным сном. Печальная перемена в его положении, по мнению Уилла, давала ему право просить Доротею о последней встрече.

Но Доротея не прочла его письма, так как утром ее не оказалось дома. Получив письмо от дяди, в котором тот извещал о намерении вернуться в Англию через неделю, она отправилась сообщить эту новость во Фрешит, после чего собиралась поехать в Типтон-Грейндж и выполнить некоторые поручения мистера Брука, которые тот дал ей, по его словам, почитая «небольшое умственное упражнение такого рода полезным для вдовы».

Если бы Уилл Ладислав мог подслушать разговоры, которые велись этим утром во Фрешите, он убедился бы, что у него и впрямь есть недоброжелатели, готовые позлословить по поводу того, что он никак не соберется уехать. Сэр Джеймс, хотя уже не сомневался в Доротее, продолжал следить за Ладиславом при посредстве мистера Стэндиша, которому вынужден был довериться и дать соответствующие указания. То, что Ладислав, объявив о своем немедленном отъезде, прожил в Мидлмарче чуть ли не два месяца, усугубило подозрение сэра Джеймса, давно питавшего неприязнь к «молодчику», которого он рисовал себе ничтожным, ветреным и вполне способным

на безрассудства, как видно неизбежные для человека, не сдерживаемого семейными узами и определенным общественным положением. И вот наконец Стэндиш сообщил ему нечто, не только подтверждавшее нелестное мнение сэра Джеймса об Уилле, но и сулившее надежду окончательно оградить Доротею от его домогательств.

При необычных обстоятельствах любой из нас становится сам на себя не похожим: даже самым высокопоставленным особам иногда случается чихать; наши душевные движения порой подвержены столь же несообразным переменам. В это утро добрейший сэр Джеймс сделался до такой степени неузнаваем, что сгорал от желания сообщить Доротее некую новость о предмете, которого до этих пор брезгливо избегал в разговорах с нею. Он не мог обратиться за содействием к Селии, предпочитая не посвящать ее в такие дела, и еще до приезда Доротеи во Фрешит усиленно ломал себе голову, соображая, как сможет он, человек сдержанный и отнюдь не говорун, передать ей дошедшие до него слухи. Ее неожиданное появление прекратило его раздумья, ибо он понял, что решительно неспособен сказать ей нечто неприятное; но отчаяние подсказало ему выход:

он отправил грума к миссис Кэдуолледер, уже знавшей эту сплетню и не стеснявшейся повторять ее так часто, как окажется необходимым.

Доротею задержали под благовидным предлогом, сообщив, что мистер Гарт, которого ей нужно видеть, прибудет не позже чем через час, и она еще разговаривала с Кэлебом, стоя в аллее, когда сэр Джеймс, завидев издали супругу священника, поспешил ей навстречу и принялся обиняками излагать свою просьбу.

— Довольно! Я вас поняла, — сказала миссис Кэдуолледер. — Вам нужно соблюсти невинность. А я арапка — на мне грязи не видно.

— Все это не так уж важно, — заметил сэр Джеймс, недовольный излишней понятливостью миссис Кэдуолледер. — Просто необходимо дать знать Доротее, что ей нельзя его теперь принимать, а мне неловко говорить ей о причине. Вас же это не должно затруднить.

И действительно, это ее не затруднило. Расставшись с Кэлебом, Доротея наткнулась на зятя и миссис Кэдуолледер, которая, как тут же выяснилось, направлялась к Селии поболтать о малыше и по чистой случайности встретила в парке Доротею. Так мистер Брук едет домой? Чудесно! Едет, надо думать, исцелившись от парламентской

лихорадки и от пионерства. A propos о «Пионере»: кто-то напророчил, что «Пионер» вскоре уподобится умирающему дельфину и заиграет в агонии всеми цветами, ибо протеже мистера Брука, блистательный молодой Ладислав, то ли уехал, то ли уезжает. Сэр Джеймс об этом слышал?

Разговаривая, они медленно шли по садовой дорожке, и сэр Джеймс, отворотившись, чтобы стегнуть хлыстом по ветке, сказал, что до него доходили какие-то слухи.

— Все ложь! — отрезала миссис Кэдуолледер. — Никуда он не уехал и не уезжает, «Пионер» свой колер не переменил, и мистер Орландо Ладислав не краснеет, распевая по целым дням арии с миссис Лидгейт, писаной, говорят, красавицей. Всякий, кто входит к ней в гостиную, непременно застает там Ладислава за одним из двух занятий — либо он лежит на ковре, либо распевает арии с хозяйкой. Но городские жители — народ беспутный.

— Только что вы опровергли один слух, миссис Кэдуолледер, надеюсь, что не подтвердится и второй, — с пылким негодованием сказала Доротея, — во всяком случае, он искажает факты. Я не позволю дурно отзываться о мистере Ладиславе, он и без того перенес много несправедливостей.

Охваченная сильным чувством, Доротея никогда не тревожилась о впечатлении, какое могут произвести ее слова; и даже если бы задумалась об этом, сочла бы недостойным молча слушать клевету из опасения быть истолкованной превратно. Лицо ее разгорелось, губы вздрагивали.

Сэр Джеймс, бросив на нее взгляд, пожалел о своей затее; но миссис Кэдуолледер была во всеоружии и вскричала, разведя руками:

— В том-то и дело, милая моя!.. Я о том и говорю, что чуть ли не любую сплетню можно опровергнуть. Только напрасно Лидгейт женился на девушке из нашего города. Он ведь чей-то там сын — мог бы найти себе жену из хорошего дома, и она смирилась бы с его профессией, если бы была не первой молодости. К примеру, родители Клары Харфаджер не чают, как сбыть ее с рук; и приданое за ней недурное, вышла бы за него замуж и жила бы тут, в наших краях. Но… что толку думать за других! Где Селия? Пойдемте же скорее в дом.

— Я не пойду, я уезжаю в Типтон, — с некоторым высокомерием сказала Доротея. — До свидания.

Провожая ее до кареты, сэр Джеймс хранил молчание. Он огорчился исходом своей хитроумной уловки, на которую решился не с легкой душой.

Карета ехала между усыпанными ягодами живыми изгородями, за которыми тянулись сжатые поля, но Доротея ничего не видела и не слышала. Слезы катились по ее щекам, но она их не замечала. Мир представился ей безобразным и злым: в нем не было места чистым душам. «Это неправда… неправда», — мысленно твердила она, но не могла отделаться от воспоминания, всегда чем-то неприятного для нее, — воспоминания о том, как однажды она застала Уилла у миссис Лидгейт и слышала, как он поет под аккомпанемент фортепьяно.

«Он говорил, что никогда не сделает того, чего я не одобряю… жаль, я не могу ему сказать, что не одобряю этого», — проносилось в мыслях у бедняжки, которая попеременно то загоралась гневом на Уилла, то пылко жаждала его защитить. «Все они стремятся очернить его в моих глазах, но я готова на любые страдания, только бы он оказался невиновным. Он хороший, я верила в это всегда».

Едва в ее уме пронеслась эта фраза, карета проехала под аркой ворот, и Доротея, торопливо проведя платочком по лицу, стала думать, как исполнить дядюшкины поручения. Кучер попросил позволения на полчаса увести лошадей, так

как одна из них расковалась; Доротея, довольная возможностью передохнуть, прислонилась к одной из статуй в передней и, разговаривая с экономкой, сняла шляпку и перчатки. Наконец она сказала:

— Некоторое время я побуду в доме, миссис Келл. Пройду в библиотеку и, если вы откроете там ставни, перепишу для вас распоряжения дяди.

— Ставни открыты, сударыня, — сказала миссис Келл, идя вслед за Доротеей к библиотеке. — Там мистер Ладислав, он что-то ищет.

(Уилл явился в Типтон-Грейндж за папкой с эскизами, отсутствие которой обнаружил, собираясь в дорогу, и предпочел не оставлять ее мистеру Бруку.)

Сердце Доротеи тревожно билось, но она не замедлила шаг; по правде говоря, она так обрадовалась, узнав, что увидит Уилла, словно нашла нечто потерявшееся и очень дорогое для нее. Дойдя до двери, она попросила миссис Келл:

— Войдите первой и скажите мистеру Ладиславу, что я здесь.

Уилл отыскал свою папку, положил ее на столике в дальнем конце библиотеки и, перелистывая этюды, остановил взгляд на достопамятном на-

броске, сходство которого с натурой Доротее не удалось уловить. Улыбка еще не сошла с его лица и, постукивая по столу кипой эскизов, чтобы выровнять их края, он думал о письме, быть может, ожидающем его в Мидлмарче, как вдруг голос миссис Келл произнес у него за спиной:

— Сейчас войдет миссис Кейсобон, сэр.

Уилл быстро обернулся, и почти в то же мгновение на пороге появилась Доротея. Миссис Келл ушла, прикрыв за собой дверь, а они, не в силах вымолвить ни слова, глядели друг на друга. Им мешало говорить не смущение, ведь оба знали, что близка разлука, а разлучаясь в печали, не чувствуют смущения.

Машинально она направилась к письменному столу, и Уилл, слегка отодвинув для нее дядюшкино кресло, отошел на несколько шагов.

— Садитесь же, прошу вас, — сказала Доротея, сложив руки на коленях. — Я очень рада, что вы здесь.

Уилл подумал, что у нее сейчас точно такое лицо, как во время их первой встречи в Риме; снимая шляпку, Доротея одновременно сняла плотно прилегавший к ней вдовий чепчик, и он увидел, что она недавно плакала. А сама она, едва взглянув на Уилла, сразу же перестала сердиться;

встречаясь с ним наедине, она всегда испытывала уверенность и радостную непринужденность, которые приносит присутствие родного душой человека; могут ли наговоры посторонних одним разом все это разрушить? Так пусть же вновь прозвучит музыка, захватывающая нас всецело и населяющая радостью все вокруг, что нам за дело до тех, кто, этой музыки не слыша, твердит, будто она нехороша?

— Сегодня я отправил письмо в Лоуик-Мэнор, в котором просил позволения увидеть вас, — сказал Уилл, садясь напротив Доротеи. — Я уезжаю очень скоро, но не мог уехать, не поговорив с вами еще раз.

— Я думала, мы уже простились, когда вы были в Лоуике много недель тому назад. Вы собирались в ближайшее время уехать, — слегка дрожащим голосом сказала Доротея.

— Собирался, но мне не были тогда известны обстоятельства, о которых я узнал лишь сейчас, они заставили меня по-новому взглянуть на мое будущее. Прощаясь с вами в прошлый раз, я надеялся в один прекрасный день вернуться. Не думаю, что я когда-нибудь вернусь… теперь.

Уилл замолк.

— Вы хотели бы объяснить мне причину? —

робко спросила Доротея.

— Да, — запальчиво ответил Уилл, вскинув голову и раздраженно отвернувшись, — еще бы мне этого не хотеть. Меня глубоко оскорбили, унизили в ваших глазах и в глазах всех окружающих. Поставлена под сомнение моя порядочность. Я хочу, чтобы вы знали, что ни при каких обстоятельствах я не унизился бы до… ни при каких обстоятельствах не дал бы повода утверждать, что меня манили деньги, и я лишь делал вид, будто ищу другого. От меня не нужно было ограждаться — ваше богатство достаточно ограждало вас.

Выпалив эти слова, Уилл вскочил и зашагал… куда — он сам не знал. Он оказался в нише у окна, распахнутого, как и год назад, когда, стоя на этом же месте, он беседовал с Доротеей. В этот миг она всем сердцем сочувствовала негодованию Уилла, и ей хотелось уверить его, что сама она не усомнилась в его благородстве, но он упорно отворачивался, словно видел в ней частицу враждебного мира.

— Очень дурно с вашей стороны было бы предполагать, что я хоть однажды заподозрила вас в бесчестности, — начала она; затем со свойственной ей пылкостью, думая только о том, как

поскорей разубедить его, встала и со словами: — Неужели вы полагаете, что я когда-нибудь не доверяла вам? — подошла к окну и оказалась на том же месте, что и год назад, лицом к лицу с Уиллом.

Когда Уилл увидел ее здесь, подле себя, он вздрогнул и отпрянул от окна, стараясь избежать ее взгляда. Это невольное движение уязвило ее, и без того настороженную его сердитым тоном. Она хотела сказать, что оскорблена наравне с ним и не в силах что-либо исправить, но из-за некоторых странностей в их отношениях, о которых они никогда не упоминали открыто, она всегда боялась сказать лишнее. Доротея вовсе не была в эту минуту уверена, что Уилл хотел бы на ней жениться, и боялась неловкой фразой дать ему повод заподозрить ее в таких мыслях. Поэтому она только проговорила, повторяя его же слова:

— Я убеждена, что отнюдь не было нужды чем-то от вас ограждаться.

Уилл промолчал. Ее ответ показался ему равнодушным до жестокости; бледный и опустошенный после бурной вспышки гнева, он направился к столу завязывать папку. Доротея, не двигаясь, смотрела на него. Последние мгновения уплывали в бесплодном молчании. Что мог сказать он,

если всеми его помыслами безраздельно владела страстная любовь, а он запретил себе упоминать о ней? И что могла сказать она, если была бессильна ему помочь, ибо ее принудили взять деньги, принадлежащие по праву ему? И если к тому же он казался в этот день отнюдь не таким близким, каким его делали прежде их взаимное доверие и симпатия?

Наконец Уилл справился с папкой и опять приблизился к окну.

— Мне пора уходить, — сказал он. Глаза его казались воспаленными, словно он слишком пристально смотрел на свет, такое выражение порой бывает у измученных горем людей.

— Чем же вы займетесь? — робко осведомилась Доротея. — Ваши намерения не изменились с тех пор, когда вы в прошлый раз готовились к отъезду?

— Нет, — ответил он безразличным тоном. — Займусь тем, что подвернется. Вероятно, люди привыкают работать без вдохновения и надежд.

— Какие грустные слова! — сказала Доротея, и голос ее предательски дрогнул. Затем она добавила, пытаясь улыбнуться: — Мы с вами как-то отметили нашу общую склонность сгущать краски.

— Я не сгущаю краски, — возразил Уилл, прислоняясь к выступу стены. — Есть события, которые случаются только однажды, и в один прекрасный день узнаешь, что счастье позади. Со мной это случилось очень рано. Вот и все. Я не могу и помыслить о том, что для меня всего дороже, — не потому, что это недоступно, а потому, что моя честь и гордость не позволяют мне об этом помышлять. Я не смог бы уважать себя, если бы рассуждал иначе. Что же, буду влачить свое существование, как человек, увидевший однажды рай в грезах наяву.

Уилл умолк, он ждал, как будет встречено его признание, сознавая свою непоследовательность и укоряя себя, что так открыто говорил с Доротеей; впрочем, трудно обвинить в ухаживании человека, заявляющего женщине, что он никогда не станет за ней ухаживать. Это, право же, довольно призрачное ухаживание.

Совсем иные картины представились Доротее, тут же обратившейся мыслью в прошлое. Догадка, не о ней ли говорит Уилл, едва мелькнув, была вытеснена сомнением: можно ли сравнить их малочисленные мимолетные встречи и прочные отношения, по всей видимости, установившиеся у него с другой особой, с которой он видится

постоянно? Именно к этой особе, вероятно, и относилось все сказанное им; с Доротеей же его связывала, как она всегда предполагала, просто дружба, на которую ее муж так жестоко наложил запрет, оскорбительный и для нее, и для Уилла. Она стояла молча, потупив глаза, и перед ее мысленным взором теснились картины, все более укреплявшие ужасную уверенность в том, что Уилл имел в виду миссис Лидгейт. Почему же, однако, ужасную? Просто он счел нужным сообщить ей, что и в этой ситуации был безупречен.

Ее молчание его не удивило. В его мыслях тоже царил сумбур, и он с отчаянием сознавал, что разлука немыслима, что-то должно ее предотвратить, некое чудо, и уж никоим образом не те осторожные фразы, которыми они сейчас обмениваются. Да и любит ли она его? Он не мог не признаться себе, что огорчился бы, если бы разлука не причинила ей боли; не мог бы отрицать, что все его слова подсказаны желанием увериться в ее взаимности.

Оба не заметили, долго ли они простояли. Доротея наконец подняла взгляд и собиралась заговорить, как вдруг дверь открылась и появился лакей, сказав:

— Лошади поданы, сударыня. Изволите ехать?

— Сейчас, — сказала Доротея. Затем, оборотившись к Уиллу, произнесла: — Мне еще нужно написать кое-какие распоряжения для экономки.

— Мне пора идти, — сказал Уилл, когда дверь снова затворилась, и сделал к Доротее несколько шагов. — Я завтра уезжаю из Мидлмарча.

— Вы поступаете во всех отношениях достойно, — тихим голосом сказала Доротея, ощущая такую тяжесть на сердце, что ей трудно было говорить.

Она протянула ему руку, и Уилл не задержал ее в своей, ибо слова ее показались ему принужденными и холодными до жестокости. Глаза их встретились, его взгляд выражал досаду, взгляд Доротеи — только грусть. Взяв папку, он повернулся к выходу.

— Я никогда дурно не думала о вас. Прошу вас, не забывайте меня, — сдерживая слезы, проговорила Доротея.

— Зачем вы это говорите? — раздраженно ответил Уилл. — Скорее нужно опасаться, как бы я не забыл все остальное.

В этот миг в нем вспыхнул непритворный гнев и побудил его уйти немедля. Для Доротеи все слилось воедино — его последние слова, про-

щальный поклон у дверей и ощущение, что его уже нет в библиотеке. Она опустилась в кресло и застыла в неподвижности, ошеломленная стремительным водоворотом образов и чувств. Прежде всего возникла радость, хотя грозила обернуться горем — радостной была догадка, что любил он ее, что отрекся он от любви к ней, а не от какой-то иной, предосудительной и запретной, несовместимой с его представлением о чести. Им придется расстаться, но — Доротея глубоко вздохнула, чувствуя, как к ней возвращаются силы, — она сможет теперь думать о нем без запрета. Так расставаться было легче: можно ли грустить, впервые осознав, что любишь и любима? Словно растаяла тяжелая ледяная глыба, которая давила на ее сознание, и оно ожило; прошлое воротилось в более явственном виде. Неизбежная разлука не умаляла радости — быть может, даже делала ее полнее в этот миг: ни у кого теперь не повернется язык их упрекнуть, никто с презрительным изумлением не бросит на них взгляда. Решение Уилла делало упреки неуместными, а изумление — почтительным.

Всякий, кто взглянул бы на нее в эту минуту, увидел бы, как ее мысли воодушевляют ее. Взяв лист бумаги, она не задумываясь набросала ука-

зания для экономки: когда наши умственные способности обострены, мы каждой мелочи, которая потребовала внимания, уделяем его так же щедро, как свет солнца заливает узенькую щель. Надевая шляпку, она оживленно попрощалась с экономкой. Скорбный вдовий чепчик обрамлял разрумянившееся лицо с заблестевшими глазами. Сев в карету, она откинула тяжелые плерезы и все выглядывала из окна: не этой ли дорогой пошел Уилл? Она гордилась его безупречным поведением, и все ее чувства пронизывала радостная мысль: «Я была права, когда его защищала».

Карета ехала быстро, кучер привык вовсю погонять серых, ибо покойному мистеру Кейсобону всегда не терпелось поскорее вернуться к письменному столу. Ночью прошел дождь, он прибил пыль, и отрадно было катить по дороге, под синим куполом неба, высоко вздымавшимся над скоплениями облаков. Казалось, на земле, раскинувшейся под безбрежным небом, все дышит счастьем, и Доротее захотелось догнать Уилла и взглянуть на него еще раз.

А вот и он за поворотом дороги, шагает с папкой под мышкой; но уже в следующий миг, когда карета поравнялась с Уиллом и он приподнял

шляпу, у Доротеи защемило сердце оттого, что она так торжествующе пронеслась мимо него. Даже оглянуться у нее не было сил. Словно какая-то бездушная толпа разделила их и погнала по разным дорогам, все больше отдаляя друг от друга, — так стоило ли оглядываться? Сделать ему какой-нибудь знак, который можно было бы расшифровать словами: «Зачем нам разлучаться?» — было так же невозможно, как остановить карету и подождать, пока он подойдет. Куда уж там, когда благоразумие обрушивало на нее сонмы причин, запрещающих даже помыслить о том, что будущее, может быть, отменит решение этого дня.

«Жаль, что я не знала прежде… Жаль, что он не узнал… мы были бы тогда счастливы, думая друг о друге, и разлука не страшила бы нас. А если бы я еще могла дать ему денег и облегчить его жизнь!» — вот мысли, которые преследовали ее настойчивее прочих. Однако при всей независимости ее суждений, светские условности так властвовали над ней, что стоило ей подумать о бедственном положении Уилла, из-за которого он и впрямь нуждается в этих деньгах, она тотчас, как положено в ее кругу, вспоминала о недопустимости более близких отношений с ним. Вот почему она

беспрекословно признавала неизбежность его выбора. Мог ли он мечтать, чтобы она разрушила преграду, воздвигнутую между ними ее мужем? Могла ли она решиться разрушить ее?

Намного горше были чувства Уилла, глядевшего, как карета исчезает вдали. Любой мелочи было достаточно, чтобы вывести его из равновесия, и когда Доротея обогнала его, неприкаянного, бредущего искать удачи — которая не представлялась сейчас желанной, — самоотверженное решение показалось ему просто вынужденным, и он уже не утешался мыслью, что по собственному выбору принял его. Он ведь даже не уверен, что Доротея его любит; кто на его месте счел бы себя счастливцем по той сомнительной причине, что все страдания достались ему одному?

Вечер Уилл провел у Лидгейтов, на следующий день он уехал.

# Книга седьмая
# Два искушения

## Глава LXIII

*Эти мелочи значительны для маленьких людей.*

***Голдсмит***

— Часто вы встречаетесь с высокоученым и премудрым Лидгейтом? — осведомился мистер Толлер во время званого обеда, который по обычаю устраивал на Рождество, адресуясь к своему соседу справа, мистеру Фербратеру.

— К сожалению, нет, — отозвался священник, привыкший к подтруниваниям мистера Толлера по поводу его пристрастия к новоявленному медицинскому светилу. — Живу я на отшибе, а доктор Лидгейт постоянно занят.

— В самом деле? Рад это слышать, — учтиво, но, не скрывая удивления, вмешался доктор Минчин.

— Он уделяет много времени больнице, — продолжал мистер Фербратер, по привычке пользуясь возможностью поддержать репутацию Лидгейта. — Я об этом слышал от моей соседки, миссис Кейсобон — она часто там бывает. Лидгейт, по ее словам, неутомим, Булстрод не смог бы

найти лучшего врача для больницы. Сейчас он занят приготовлением новой палаты, на случай, если до нас доберется холера.

— И новых врачебных теорий, дабы испытать их на пациентах, — вставил мистер Толлер.

— Полноте, Толлер, будьте справедливы, — возразил мистер Фербратер. — С вашим умом едва ли можно не понять, как необходимы медицине, да и не ей одной, люди, которые без боязни ищут новых пугей; а что касается холерной эпидемии, то ведь из вас, врачей, пожалуй, ни один не знает, как с ней справиться. И тот, кто в неизведанной области опережает других, более всего вреда приносит себе самому.

— Тем паче, что вы с Ренчем ему многим обязаны, — обратился к Толлеру доктор Минчин. — Это ведь благодаря ему вам досталась самая завидная часть практики доктора Пикока.

— Этот ваш Лидгейт очень уж сорит деньгами для начинающего, — заметил мистер Гарри Толлер, пивовар. — У него богатая родня на севере, как видно, они ему помогают.

— Надеюсь, — сказал мистер Чичли. — В противном случае ему не следовало бы жениться на такой прелестной девушке. Как же на него не злиться, черт возьми, если он увел у нас из-под

носа самую хорошенькую девушку в городе.

— Да, черт возьми! Ей нет здесь равных, — сказал мистер Стэндиш.

— Мой друг Винси не в восторге от этого брака, уверяю вас, — сообщил мистер Чичли. — И уж, конечно, от него они ничего не получат. А насколько раскошелится родня Лидгейта, не знаю. — Мистер Чичли с подчеркнутой сдержанностью ронял фразы.

— Лидгейт едва ли считает врачебную практику средством зарабатывать хлеб насущный, — не без сарказма заключил мистер Толлер, на чем и был исчерпан разговор.

Уже не впервые мистер Фербратер слышал намеки на то, что расходы Лидгейта намного превосходят его гонорары, но он надеялся, что у доктора имелись какие-то денежные ресурсы или надежды, позволившие ему устроить свадьбу на широкую ногу и не чувствовать себя в зависимости от пациентов. Однажды вечером, наведавшись в Мидлмарч, чтобы, как в старину, поболтать с Лидгейтом, мистер Фербратер обратил внимание на его ненатуральную оживленность, совершенно несвойственную этому человеку, всегда естественному — и в тех случаях, когда он хранил молчание, и в тех, когда внезапно

нарушал его, высказывая осенившую его мысль. Покуда гость с хозяином находились в кабинете, Лидгейт, ни на миг не умолкая, обсуждал преимущества и недостатки ряда биологических теорий, но он не приводил тех веских доводов и умозаключений, которые, подобно вехам, возникают на пути того, кто ищет истину добросовестно и неутомимо, как и следовало ее искать, по мнению доктора Лидгейта, утверждавшего, что «в каждом изыскании должны чередоваться систола и диастола» и «мысль человека должна то расширяться, охватывая весь горизонт, то съеживаться, умещаясь на предметном столике под линзой». Казалось, в этот вечер он так разговорился, чтобы избежать упоминания о личных делах. Вскоре они перешли в гостиную, где Лидгейт, попросив жену им поиграть, молча опустился в кресло, и лишь глаза его как-то странно поблескивали. «Он выглядит так, словно принял опий, — промелькнуло в голове Фербратера, — то ли у него глаза болят, то ли неприятности с пациентами».

У него не возникло мысли, что брак Лидгейта, возможно, не так уж удачен. Как и все, он считал Розамонду милым, кротким существом, хотя и находил ее довольно скучной — ходячий образчик хороших манер; а его матушка не могла простить

Розамонде того, что та, казалось, никогда не замечала присутствия Генриетты Ноубл. «Впрочем, Лидгейт полюбил ее, — мысленно заключил священник, — стало быть, таков его вкус».

Мистер Фербратер знал, что Лидгейт горд, но поскольку сам он не был гордым — и, пожалуй, не особенно радел о соблюдении своего достоинства, ибо все его честолюбие исчерпывалось стремлением не быть негодяем и глупцом, — то он и не заметил, что Лидгейт ежится, как от ожога, при каждом упоминании о его денежных делах. А вскоре после разговора за столом у Толлера священник узнал нечто, заставившее его с нетерпением поджидать случая, когда он сможет намекнуть Лидгейту, что участливый слушатель всегда к его услугам, если у доктора возникнет в нем нужда.

Случай представился в день Нового года, когда мистер Винси устроил у себя званый обед, на который невозможно было не явиться мистеру Фербратеру, ибо его настойчиво призывали не забывать старых друзей после того, как он стал священником большого прихода. Обед проходил в обстановке весьма дружелюбной: присутствовали все дамы из семьи Фербратеров, все отпрыски семейства Винси сидели за обеденным

столом, и Фред уверил матушку, что она выкажет пренебрежение Фербратерам, если не пригласит Мэри Гарт, близкого друга этой семьи. Мэри явилась, и Фред ликовал, хотя удовольствие порой прослаивалось неудовольствием — торжество, что матушка наконец может убедиться, как высоко ценят Мэри почтеннейшие из гостей, заметно омрачилось ревностью, после того как рядом с Мэри сел мистер Фербратер. Фред стал гораздо менее самоуверенным с тех пор, как начал опасаться соперничества Фербратера, и опасения все еще не оставили его. Миссис Винси в полном блеске своей зрелой красоты озадаченно разглядывала приземистую Мэри, ее жесткие курчавые волосы и лицо, на котором и в помине не было ни роз, ни лилий, безуспешно пытаясь представить себе, как она любуется Мэри в свадебном наряде и умиляется, глядя на внучат — «вылитых Гартов». Тем не менее время прошло весело, и Мэри выглядела очень оживленной. Зная тревоги Фреда, она радовалась, что его семья стала относиться к ней более дружелюбно, а со своей стороны была не прочь им показать, как высоко ценят ее люди, с чьим мнением Винси не могли не считаться.

Мистер Фербратер заметил, что у Лидгейта скучающий вид, а мистер Винси почти не

разговаривает с зятем. Розамонда была полна изящества и безмятежности, и только очень проницательный наблюдатель — а у священника не имелось сейчас причин проявлять особую наблюдательность — обратил бы внимание на полное отсутствие у миссис Лидгейт того интереса к мужу, который неизменно обнаруживает любящая жена, невзирая на чинимые этикетом препоны. Когда доктор вступал в разговор, она сидела отворотившись, словно статуя Психеи, принужденная по воле скульптора глядеть в другую сторону; а когда его вызвали к больному и он воротился часа через два, Розамонда, казалось, оставила без внимания это ничтожное обстоятельство, которое полтора года назад причислила бы к разряду серьезных событий. В действительности она отлично слышала голос мужа и замечала все, что он делает, однако милая рассеянность давала ей возможность, не нарушая приличий, выразить недовольство мужем. Вскоре после того, как Лидгейту пришлось покинуть общество, не закончив десерта, дамы перешли в гостиную и миссис Фербратер, оказавшись подле Розамонды, сказала:

— Вам, как видно, нередко приходится лишаться общества вашего мужа, миссис Лидгейт.

— Жизнь врача изобилует трудами, в особенности такого энтузиаста, как мистер Лидгейт, — ответила Розамонда и непринужденно отошла от кресла старой дамы.

— Бедняжка ужасно скучает в одиночестве, — сказала миссис Винси, сидевшая рядом с миссис Фербратер. — Я особенно это заметила, когда гостила у Розамонды во время ее болезни. Видите ли, миссис Фербратер, у нас в доме всегда весело. Я и сама веселого нрава, и мистер Винси любит общество. Девочка привыкла к такой жизни, каково же ей быть женой человека, который может отлучиться из дому когда угодно и неизвестно на сколько, да к тому же еще угрюм и гордец, — слегка понизив голос, ввернула разговорчивая миссис Винси. — Но у Розамонды ангельский характер — помню, братья ей частенько досаждали, но не в ее обычае выказывать неудовольствие; еще малюткой это была воплощенная доброта и кротость. У всех моих детей, благодаренье богу, прекрасный характер.

Последнему утверждению легко было поверить, глядя, как миссис Винси, откинув ленты чепца, с улыбкой повернулась к трем младшим дочкам, из которых самой юной исполнилось семь, а старшей — одиннадцать. Но ей пришлось

при этом одарить благосклонной улыбкой и Мэри Гарт, которую девочки затащили в угол и заставили рассказывать им сказки. В этот момент Мэри заканчивала увлекательное повествование о Румпельстилтскине[200], каковое знала наизусть, так как Летти то и дело вытаскивала свой любимый красный томик, чтобы попотчевать этой историей невежественных взрослых. Любимица миссис Винси, Луиза, подбежала к матери, не на шутку взволнованная, и воскликнула:

— Ой, мама, мама, маленький человечек так сильно топнул ножкой, что она застряла между половицами!

— Хорошо-хорошо, мой херувимчик! — отозвалась мать. — Ты мне все расскажешь завтра. Ступай, слушай дальше! — И проводив взглядом Луизу, которая устремилась в угол, решила, что если Фреду еще раз вздумается пригласить к ним Мэри, возражать, пожалуй, не стоит, раз уж девушка настолько пришлась по душе детишкам. В уголке тем временем становилось все оживленнее, ибо мистер Фербратер, войдя в гостиную, сел позади Луизы и усадил ее к себе на колени, после чего юные слушательницы потребовали,

---

**[200] Примечания: 200**

*Румпельстилтскин* — карлик, персонаж немецких сказок.

чтобы Мэри снова повторила сказку для мистера Фербратера. Мистер Фербратер тоже этого потребовал, и Мэри, не чинясь, со свойственной ей обстоятельностью пересказала слово в слово всю историю. Находившийся неподалеку Фред торжествовал, и его радость была бы безоблачной, если бы мистер Фербратер, который для удовольствия детей делал вид, что слушает с захватывающим интересом, не глядел на Мэри с неподдельным восхищением.

— Мою историю об одноглазом великане ты теперь и слушать не захочешь, Лу, — сказал Фред, когда Мэри умолкла.

— Захочу. Рассказывай сейчас, — возразила Луиза.

— Э, нет, благодарю покорно, куда уж мне. Попроси мистера Фербратера.

— Да, да, — вмешалась Мэри, — попросите мистера Фербратера рассказать вам, как великан по имени Том разрушил красивый домик, где жили муравьи, и даже не догадался, что они огорчаются, так как не слышал их плача и не видел, чтобы они вытаскивали носовые платочки.

— Ой, пожалуйста, — сказала Луиза, устремив на священника просительный взгляд.

— Нет, нет, я суровый старый пастырь. Если

я даже и попробую разыскать сказочку в своих пожитках, то наверняка вытащу проповедь. Прочитать вам проповедь? — осведомился он, оседлав нос очками и чопорно сжав губы.

— Да, — неуверенно ответила Луиза.

— Ну-с, о чем же вам ее прочитать? О вреде пирогов: пироги прескверная штука, особенно сладкие, да еще со сливовым вареньем.

Всерьез встревожившись, Луиза спрыгнула с его колен и перебежала к Фреду.

— В новогодний день, я вижу, лучше не проповедовать, — сказал мистер Фербратер, поднимаясь и выходя из гостиной. Он почувствовал, что Фред ревнует к нему Мэри и что сам он, как и прежде, отличает ее среди всех.

— Очаровательная молодая особа мисс Гарт, — сказала миссис Фербратер, наблюдавшая за эволюциями сына.

— Да, — отозвалась миссис Винси, которой не удалось промолчать, ибо старая дама устремила на нее выжидательный взор. — Жаль, ей не хватает миловидности.

— Ничуть не жаль, — решительно отрезала миссис Фербратер. — У нее приятное лицо. Если всемилостивейший господь счел уместным создать превосходную женщину, не наделив ее

красотой, то незачем ее и требовать. Я более всего ценю хорошие манеры, а мисс Гарт, заняв любое положение, будет вести себя как подобает.

Старая дама с особой запальчивостью вступилась за Мэри, предполагая, что та, быть может, еще станет ее невесткой; помолвка Мэри с Фредом пока не была объявлена, она даже не считалась решенным делом, и поэтому все три лоуикские дамы надеялись, что их Кэмден рано или поздно женится на мисс Гарт.

Вошли новые гости, и в гостиной зазвучала музыка и началось веселье, а в тихой комнате по другую сторону прихожей приготовили тем временем столы для виста. Мистер Фербратер сыграл в угоду матушке один роббер — старушка полагала, что, изредка играя в вист, дает отпор постыдным новым веяниям, а при такой точке зрения достойно выглядит даже ренонс. Но затем он усадил на свое место мистера Чичли и вышел. В прихожей он увидел Лидгейта, который только что вернулся и снимал пальто.

— Вас-то мне и надобно, — сказал священник; и, повернув прочь от гостиной, они пересекли прихожую и остановились у камина, в котором трещал и ослепительно сверкал огонь. — Как видите, мне ничего не стоит покинуть карточ-

ный стол, — продолжал он, глядя с улыбкой на Лидгейта, — я теперь не играю ради денег. Как утверждает миссис Кейсобон, этим я обязан вам.

— Каким образом? — холодно осведомился Лидгейт.

— Э, вам хотелось бы все от меня скрыть; невеликодушная скромность — так я ее называю. Вы оказали человеку добрую услугу, ему отрадно будет об этом узнать. Мне непонятно нежелание иных людей чувствовать себя обязанными: даю честное слово, мне очень нравится чувствовать себя обязанным всем, кто сделал мне добро.

— Я не понимаю, что вы имеете в виду, — сказал Лидгейт. — Разве только разговор, который у меня однажды состоялся с миссис Кейсобон. Я, впрочем, не думал, что она нарушит слово и перескажет его вам, — закончил Лидгейт, опираясь спиной о край каминной доски, с отнюдь не приветливым видом.

— Проговорилась не она, а Брук, и то совсем недавно. Он весьма любезно сообщил мне, что очень рад моему назначению, хотя вы разрушили все его фортификации, превознося меня, словно

новоявленного Тиллотсона[201], Кена[202] и им подобных, так что миссис Кейсобон и слушать не желала о других кандидатурах.

— Брук болтлив и глуп, — презрительно сказал Лидгейт.

— Тем не менее его болтливость порадовала меня. Не понимаю, чего ради вам понадобилось скрывать, что вы оказали мне услугу, дружище. А вы мне, несомненно, ее оказали. Огорчительно и в то же время поучительно проследить, как охотно мы вступаем на стезю добродетели, когда перестаем испытывать нужду в деньгах. Человек не стал бы читать «Отче наш» от конца к началу[203] и тешить тем дьявола, если бы не нуждался в его услугах. С тех пор как мне отдали Лоуикский приход, я перестал зависеть от капризов случая.

— А по-моему, не будет случая, так не будет и денег, — возразил Лидгейт. — Человек, который зарабатывает их своим трудом, может надеяться

---

**[201] Примечания: 201**

*Тиллотсон Джон* (1630 — 1694) — английский богослов, епископ Кентерберийский.

**[202] Примечания: 202**

*Кен Томас* (1637 — 1711) — английский епископ, автор духовных гимнов.

**[203] Примечания: 203**

Согласно средневековому поверью, чтение молитвы «Отче наш» от конца к началу было одним из средств вызвать дьявола.

только на счастливый случай.

Столь разительную перемену в его суждениях, по мнению мистера Фербратера, вероятней всего было приписать раздражительности, которая нередко возникает у людей, угнетенных неурядицами в делах. Он ответил благодушно, не вступая в спор:

— О, жизнь требует от нас великого терпения. Но человеку легче терпеливо ждать, если у него есть любящие друзья, которые от всей души желают поддержать его в беде.

— Да, разумеется, — небрежно отозвался Лидгейт, выпрямился и взглянул на часы. — Люди склонны слишком уж преувеличивать свои затруднения.

Мистер Фербратер предлагал ему помощь, он как нельзя более ясно это понял и был уязвлен.

Так уж удивительно устроены мы, смертные: Лидгейту доставляла неизменное удовольствие мысль об оказанной Фербратеру услуге, но, едва священнику представилась возможность отплатить ему добром за добро, Лидгейт испуганно пресек попытки вызвать его на откровенность. И притом, какими бы соображениями ни было вызвано это предложение дружеских услуг, к чему оно приведет? — да к тому, что он должен

будет изложить «суть дела», признаться, в чем же именно испытывает он нужду. Покончить жизнь самоубийством сейчас казалось ему легче.

Мистер Фербратер был достаточно умен и правильно истолковал ответ, к тому же внушительная внешность Лидгейта сочеталась с внушительностью тона и манер и исключала попытки обходным путем вынудить его отказаться от принятого решения.

— Который час? — спросил священник, подавляя обиду.

— Начало двенадцатого, — сказал Лидгейт. И они оба направились в гостиную.

## Глава LXIV

***Первый джентльмен***
*Где власть, пускай там будет и вина.*
***Второй джентльмен***
*О нет, ведь всякой власти есть пределы.*
*Чуму нельзя остановить заставой,*
*Ни рыбу хитрым доводом поймать.*
*Любая сила двойственна в себе.*
*Причины нет без следствия. И суть*
*Деяния в бездействии таится.*
*Приказ без подчиненья – не приказ.*

Даже если бы Лидгейту вздумалось со всей откровенностью рассказать о своих делах, он едва ли мог надеяться получить от Фербратера необходимую ему немедленно помощь. Кредиторы наседали: поставщики присылали счета за истекший год, Дувр грозил отобрать мебель, и так как поступления от пациентов были скудны и ничтожны — щедрые гонорары из Фрешита и Лоуика разошлись в мгновение ока, — требовалось никак не менее тысячи фунтов, чтобы, уплатив самые неотложные долги, сохранить

достаточную сумму, которая дала бы доктору «возможность оглядеться», как принято оптимистично говорить в подобных случаях.

И разумеется, с приходом веселого Рождества, за коим следует счастливый Новый год, когда наши сограждане ждут оплаты товаров и услуг, которыми они двенадцать месяцев любезно осыпали ближних, бремя мелочных забот так тяжко придавило Лидгейта, что он не мог сосредоточиться даже на самом обычном и неотложном деле. Характер у Лидгейта был неплохой, живой ум, добросердечие, а также крепкое телосложение позволяли ему в повседневных обстоятельствах не опускаться до несоразмерной поводам обидчивости. Но сейчас его терзало раздражение совсем иного рода, — неурядицы сердили его не сами по себе, его сердило ощущение, что он попусту растрачивает силы на унизительные дрязги, несовместимые с его высокими помыслами. «Вот о чем мне приходится думать, а я мог бы заниматься вот этим и тем», — то и дело твердил он себе с досадой, и каждая новая трудность возмущала его вдвойне.

Среди литературных героев особенно сильное впечатление производят джентльмены, постоянно сетующие на прискорбную ошибку,

из-за которой их возвышенная душа угодила в столь унылую и неприглядную дыру, как вселенная, но сознание собственной грандиозности и ничтожности света не лишено приятности. Гораздо менее приятно чувствовать, что где-то существует жизнь, полная полезной деятельности и кипения мысли, а ты сам тем временем погряз в эгоистических тревогах и заботах и помышляешь лишь о том, как из них выбраться. Заботы Лидгейта могли, пожалуй, показаться низменными возвышенным натурам, никогда не слыхивавшим о долгах, кроме разве только очень крупных. Они и были низменны, но не сталкиваться с низменными заботами и тревогами невозвышенные смертные могут, лишь будучи свободными от денежных затруднений и их неизбежного следствия — корыстных надежд и вульгарных искушений: ожидания смерти богатого дядюшки, жульнического стремления придать благовидность неприглядному, попытки оттягать у ближнего теплое местечко и нетерпеливого ожидания Удачи, даже в облике бедствия.

Постоянно ощущая на шее это унизительное ярмо, Лидгейт впал в раздражительное и угнетенное состояние духа, следствием которого явилась все большая отчужденность между су-

пругами. После первого откровенного разговора, когда он рассказал жене о закладной, Лидгейт не раз пытался обсудить с Розамондой, каким образом им сократить расходы, и по мере того как приближалось Рождество, его предложения становились все более определенными. «Мы могли бы ограничиться одной служанкой и сильно сократить расходы, — говорил он, — к тому же одной лошади с меня вполне достаточно». Как мы знаем, Лидгейт начал более здраво судить о ведении домашнего хозяйства, и самолюбие, прежде побуждавшее его не отставать от других, еще сильнее побуждало его опасаться прослыть должником и просить помощи у окружающих.

— Поступай как вздумается — можешь рассчитать двух слуг и оставить только служанку, — ответствовала Розамонда. — Но боюсь, как бы не пострадала твоя репутация, если мы станем жить как бедняки. А это дурно отразится на твоей практике.

— Розамонда, душа моя, мне не приходится выбирать. Слишком уж мы размахнулись вначале. Дом у Пикока был куда меньше, чем наш. Виной всему мое неблагоразумие, меня следовало бы побить, да некому, за то, что я лишил тебя возможности жить так богато, как ты привыкла. Но

мы ведь потому и поженились, что любим друг друга, верно? И это нам поможет потерпеть, пока все не войдет в колею. Пойди же ко мне, милая, отложи рукоделие и подойди ко мне.

В действительности ему было сейчас не до нежностей, однако он боялся, что любовь исчезнет без возврата, и старался помешать возникавшему между ними отчуждению. Розамонда повиновалась, и он усадил ее на колено, но ее покорность была внешней — муж сердил ее. Бедняжка понимала лишь одно: мир ведет себя совсем не так, как ей нравится, а Лидгейт — частица этого мира. Он обнимал ее одной рукой за талию, прикрыв другою обе ее ручки. Человек крутой и резкий, Лидгейт мягко обходился с женщинами, никогда не забывая, как они хрупки, как из-за сказанного им в сердцах обидного слова могут утратить душевное равновесие, даже захворать. И он снова принялся убеждать жену:

— Стоит лишь немного разобраться — и просто поражаешься, как много денег уходит у нас попусту. По-моему, прислуга безалаберно ведет хозяйство, к тому же мы слишком часто принимали гостей. Но я думаю, есть много людей нашего круга, которые проживают гораздо меньше нас: они обходятся самым необходимым и следят,

чтобы каждая мелочь шла впрок. Вероятно, это очень сокращает расходы — Ренч, хотя у него колоссальная практика, ведет самый скромный образ жизни.

— Ну, если тебе угодно следовать примеру Ренчей! — сказала Розамонда, слегка отвернувшись. — Только, помнится, ты отзывался об их скаредности с отвращением.

— Да, это люди с дурным вкусом, их бережливость неприглядна. Нам нет нужды во всем уподобляться им. Просто я имел в виду, что они избегают крупных расходов, хотя у Ренча прекрасная практика.

— А почему бы и тебе не обзавестись солидной практикой, Тертий? У мистера Пикока была хорошая практика. Веди себя осмотрительней, старайся не оскорблять пациентов, сам изготовляй больным лекарства, как делают остальные. Ты, право же, недурно начал, стал врачом в нескольких уважаемых семьях. Эксцентричность до добра не доведет. Нужно постараться каждому быть приятным, — мягко, но решительно увещевала Розамонда.

Лидгейт рассердился: он был готов оказать снисхождение женской слабости, но не женскому самовластию. Беззаботность наяды не лишена

обаяния лишь до тех пор, пока это легковесное существо не примется нас поучать. Впрочем, он сдержался и лишь ответил тоном более суровым, чем прежде:

— Предоставь уж мне судить, как обходиться с пациентами, Рози. Я не собираюсь обсуждать этот вопрос с тобой. Тебе одно нужно запомнить: в течение долгого времени доход наш будет очень скромен — фунтов четыреста, а то и меньше, и мы должны изменить наш образ жизни, сообразуясь с этим обстоятельством.

Розамонда помолчала, не поднимая глаз, затем произнесла:

— Мой дядюшка Булстрод должен оплачивать твою работу в больнице: он ведет себя нечестно, бесплатно пользуясь твоим трудом.

— Я наблюдаю за больницей безвозмездно, так было сразу решено. Этот вопрос мы тоже не будем с тобой обсуждать. Как я тебе уже сказал, у нас есть только один путь, — с раздражением ответил Лидгейт. Затем, сделав над собой усилие, он более мягко продолжил: — Кажется, я нашел способ значительно облегчить наше положение. Мне говорили, молодой Нед Плимдейл собирается жениться на мисс Софи Толлер. Они богаты, а в Мидлмарче не так легко снять хороший дом. Не

сомневаюсь, они с радостью возьмут наш и купят большую часть мебели, а за ценой не постоят. Я могу поручить Трамбулу переговорить об этом с Плимдейлом.

Розамонда встала и медленно прошла в дальнюю часть комнаты. Когда, повернувшись, она снова направилась к мужу, он увидел, что она вот-вот заплачет, — кусая губы и стискивая кулачки, она с трудом удерживала слезы. Скверно стало у него на душе: гнев разгорался все сильней, однако дать ему выход было бы недостойно мужчины.

— Розамонда, извини меня. Я знаю, тебе больно.

— Я думала, когда мне пришлось вернуть столовое серебро и в дом явился этот человек, составлять опись нашей мебели… я тогда думала: ну, ладно, но хотя бы это уже все.

— Я ведь тогда все объяснил тебе, милая. Закладная — это не более чем закладная, она потому и потребовалась, что у нас есть долг. Его нужно возвратить в ближайшие месяцы, не то продадут нашу мебель. Если Плимдейл согласится взять дом и большую часть мебели, мы сможем расплатиться с этим долгом и некоторыми другими, а кроме того, избавимся от обузы, оплачивать ко-

торую нам не по карману. Мы снимем меньший дом, Трамбул сдает очень приличный особняк за тридцать фунтов в год, а за наш мы платим девяносто. — Каждую фразу Лидгейт произносил отрывисто, резко, как говорят обычно люди, стараясь окончательно уверить слушателя в непреложности фактов. Слезы беззвучно катились по щекам Розамонды. Она прикладывала к ним платок, молча глядя на стоявшую на каминной доске большую вазу. Никогда еще ей не было так тяжко. Наконец она сказала, медленно, с нажимом выговаривая каждое слово:

— Я не ожидала, что тебе захочется так поступить.

— Захочется? — вспыхнул Лидгейт, вскочил с кресла и, сунув руки в карманы, стремительно зашагал от камина. — При чем тут мои желания? Мне вовсе этого не хочется, у меня нет другого выхода, вот в чем дело. — Он резко повернулся и двинулся назад.

— По-моему, выходов сколько угодно, — возразила Розамонда. — Давай все продадим и навсегда уедем из Мидлмарча.

— А чем займемся? Чего ради мне бросать работу, практику и начинать все сызнова, на пустом месте? Куда бы мы ни переехали, мы будем ни-

щими, так же как здесь, — говорил он, сердясь все сильнее.

— Если мы оказались в таком положении, то по твоей лишь вине, Тертий, — с глубочайшей убежденностью сказала Розамонда, поворачиваясь лицом к мужу. — Ты вел себя с родней неподобающе. Ты оскорбил капитана Лидгейта. Сэр Годвин был очень добр ко мне, когда мы гостили в Коуллингеме, и я уверена, если бы ты обратился к нему с должным уважением и рассказал о своих делах, он бы тебе чем-нибудь помог. Но ты предпочитаешь отдать наш дом и мебель мистеру Неду Плимдейлу.

Глаза Лидгейта гневно блеснули, и, снова потеряв терпение, он сурово ответил:

— Да, если тебе угодно так смотреть на дело, я этого хочу. Я признаю, что для меня предпочтительнее прибегнуть к такому выходу, чем ставить себя в дурацкое положение, обращаясь с бесполезными просьбами к родне. Будь по-твоему, изволь: мне хочется так поступить.

Последнюю фразу он выпалил так, словно стиснул мускулистой рукой хрупкое плечико Розамонды. Однако силою характера Розамонда ни на йоту не уступала мужу. Она тотчас же ушла из комнаты, не проронив ни слова, но полная

решимости расстроить его план.

А он вышел из дому, холодея от страха при мысли, что ему еще когда-нибудь придется вступить с женой в подобный спор и разговаривать с ней еще раз так зло и так резко. Казалось, трещинка прорезала хрупкий кристалл и одно неосторожное движение может оказаться роковым. Тягостным недоразумением станет их брак, если они не смогут более любить друг друга. Он давно уже принудил себя смириться с дурными свойствами ее характера, прежде всего с неотзывчивостью, которая проявлялась в пренебрежении ко всем его желаниям и ко всему, что составляло смысл его жизни. Первое разочарование в супружестве, и нешуточное: нет и не будет у него нежной, заботливой, чуткой подруги, и он вынужден смириться с унылой перспективой, как покоряется своей безрадостной доле калека. Но жена не только предъявляет требования мужу, она владеет его сердцем, и Лидгейт горячо желал ей не утратить этой власти. Печальную уверенность: «Она не будет меня сильно любить» легче вынести, чем опасение: «Я уже не смогу любить ее». Вот почему, едва остыв от гнева, он постарался убедить себя, что причина их несогласия не в Розамонде, а в затруднениях, в которых частично

повинен он сам. Вечером он был очень нежен с Розамондой, стараясь исцелить нанесенную утром рану, а Розамонда не любила подолгу дуться — она искренне обрадовалась, убедившись в его неизменной любви и покорности. Однако радость эта вовсе не свидетельствовала о любви Розамонды к нему.

Лидгейт не торопился возобновлять разговор о передаче дома Плимдейлам. Он не отказался от своего намерения, но хотел осуществить его, не тратя лишних слов. Однако Розамонда сама коснулась этой темы, спросив за завтраком как бы невзначай:

— Ты уже разговаривал с Трамбулом?

— Нет, — ответил Лидгейт. — Но я загляну к нему нынче утром. Времени терять нельзя.

Он решил, что Розамонда согласна, и нежно поцеловал ее в голову, прощаясь с ней.

Когда настало время визитов, Розамонда посетила миссис Плимдейл, матушку мистера Неда, и в изящных выражениях поздравила ее с предстоящей женитьбой сына. Миссис Плимдейл, как истинная мать, полагала, что Розамонда, вероятно, сожалеет о своей ошибке; но, будучи женщиной доброй и сознавая, что сын ее не остался внакладе, ответила любезно:

— Да, Нед очень счастлив, это так. Я не могла бы пожелать себе лучшей невестки, чем Софи Толлер. Отец дает за ней отличное приданое. Владелец такой пивоварни, разумеется, он щедр. Семейство самое почтенное, превосходные связи. Но для меня не это главное. Мне очень нравится Софи — такая милая, простая, без претензий, хотя принадлежит к лучшему обществу. Я не говорю о барышнях из аристократических семейств. Мне не по нраву люди, стремящиеся перебраться из своего круга повыше. Софи у нас в Мидлмарче не уступит никому и довольна своим положением.

— Да, она действительно очень мила, — сказала Розамонда.

— Породниться с таким семейством — достойная награда Неду, всегда скромному, он ведь не метил слишком высоко, — продолжала миссис Плимдейл, чью природную резкость несколько смягчало упоительное сознание собственной правоты. — Толлеры весьма щепетильные люди, им могла бы не понравиться наша дружба кое с кем, кого сами они не числят в друзьях. С вашей тетушкой Булстрод мы дружим с юных лет, а мистер Плимдейл всегда поддерживает ее мужа. Да и я сама строгих взглядов. Но Толлерам это не помешало породниться с Недом.

— Я не сомневаюсь, он очень достойный и высоконравственный молодой человек, — сказала Розамонда, парируя обворожительной покровительственностью тона благодетельные назидания миссис Плимдейл.

— О, Нед не обладает лоском армейского капитана, он не держит себя с людьми так, словно все они ничто по сравнению с ним, он не блистает певческим и ораторским дарованиями, научными талантами. И слава богу. Никому это не нужно, ни в этой жизни, ни в той.

— Ну разумеется, не в наружном блеске счастье, — сказала Розамонда. — Судя по всему, их брак непременно должен оказаться счастливым. Какой дом они покупают?

— О, выбирать тут не приходится. Они присмотрели себе дом на площади Святого Петра — рядом с особняком мистера Хекбата. Тот дом тоже принадлежит ему, он сейчас там все основательно подновляет. Едва ли подвернется что-нибудь получше. Нед, по-моему, уже сегодня сговорится с мистером Хекбатом.

— Очень удачный выбор, мне нравится площадь Святого Петра.

— Что ж, дом возле церкви, в приличной части города. Но уж очень узкие там окна и слишком

много лестниц. Вы не слыхали, не освобождается ли какой другой? — спросила миссис Плимдейл, с внезапным оживлением устремив на Розамонду взгляд круглых черных глаз.

— О нет, откуда же мне знать такие вещи.

Отправляясь к миссис Плимдейл, Розамонда не предвидела заранее, что ей предложат такой вопрос и она даст на него такой ответ, просто ей хотелось выведать какие-нибудь сведения и, воспользовавшись ими, помешать унизительной затее мужа с переездом в небольшой домишко. Правда, ей пришлось солгать, но эта ложь тревожила ее ничуть не больше, чем лживая в ее устах сентенция о несоответствии наружного блеска и счастья. Она не сомневалась, что преследует благую цель; иное дело муж — его выдумка непростительна; а тем временем в ее головке созрел план, осуществив который до конца, она докажет мужу, какой ужасный промах он мог совершить, отказавшись от видного положения в обществе.

На обратном пути она наведалась в контору мистера Бортропа Трамбула. Впервые в жизни она вступала, так сказать, на деловую почву, однако чувствовала, что предприятие ей по плечу. Под угрозой крайне неприятных для нее последствий Розамонда сменила тихое упорство на

деятельную изобретательность. В этой новой для нее роли уже недостаточно было невозмутимо и безмятежно оказывать неповиновение: она вынуждена была действовать, отстаивая то, что считала правильным, а в правоте своего суждения она не сомневалась. «Мне бы не захотелось так поступать, если бы это было неправильно», — решила она про себя.

Мистер Трамбул был у себя в кабинете и с изысканной любезностью приветствовал Розамонду, не только потому, что не оставался нечувствительным к ее чарам, но и потому, что, зная о затруднениях Лидгейта и будучи добросердечным человеком, он сочувствовал этой удивительно красивой женщине, молодой даме редкостного обаяния, так неожиданно попавшей в тяжелое положение, из которого она не в состоянии выбраться. Он почтительно усадил Розамонду и застыл перед ней с видом глубочайшего внимания, желая по возможности подбодрить гостью. Розамонда сразу же спросила, заходил ли утром ее муж и говорил ли что-нибудь о передаче дома.

— Да, сударыня, да, именно так, именно так, — ответствовал добряк аукционист, ради вящей успокоительности повторяя каждую фразу. — Я собирался сегодня же утром, если удастся, вы-

полнить его распоряжение. Он просил меня не мешкать.

— А я вас прошу ничего не предпринимать, мистер Трамбул, и никому не упоминать об этом предмете. Вы согласны оказать мне такую любезность?

— Ну разумеется, миссис Лидгейт, ну разумеется. Доверие клиентов для меня священно, как в деловых, так и во всех иных вопросах. Стало быть, поручение отменяется, я верно понял? — спросил мистер Трамбул, выравнивая обеими руками углы синего галстука и с учтивостью глядя на Розамонду.

— Да, если вы не возражаете. Мистер Нед Плимдейл, оказывается, уже снял себе дом на площади Святого Петра, рядом с домом мистера Хекбата. Мистеру Лидгейту будет неприятно, если его распоряжение окажется невыполненным. Кроме того, есть и другие обстоятельства, делающие необязательной эту меру.

— Прекрасно, миссис Лидгейт, прекрасно. Располагайте мною как угодно, всегда к вашим услугам, — сказал мистер Трамбул, обрадованный тем, что молодая чета, как видно, нашла выход из положения. — Можете смело на меня рассчитывать. Все сказанное здесь останется

между нами.

Вечером Лидгейт немного повеселел, заметив непривычное оживление Розамонды, которая даже сама села за фортепьяно, предупреждая желание мужа. «Если она будет довольна, а я сумею выкарабкаться, все наши затруднения — сущий пустяк. Не более чем узкая болотистая полоса, которую надо пересечь в начале длительного путешествия. Если я сумею снова обрести ясность мысли, все будет хорошо», — подумал он.

Приободренный, он принялся обдумывать дальнейшую систему экспериментов, которую давно уже собирался разработать, но откладывал, увязнув в житейских дрязгах. Слушая тихую музыку, под которую думалось так же славно, как под всплески весел вечером на озере, он с наслаждением почувствовал, как к нему возвращается былой исследовательский пыл. Было уже довольно поздно; Лидгейт отодвинул в сторону книги и, скрестив пальцы на затылке и глядя в огонь, погрузился в размышления о том, как провести очередной контрольный опыт, как вдруг Розамонда, которая оставила фортепьяно и сидела в кресле, разглядывая мужа, сказала:

— Мистер Нед Плимдейл уже снял себе дом.

Лидгейт, вздрогнув, ошеломленно вскинул

взгляд, словно его внезапно разбудили. Затем он понял смысл ее слов и, раздраженно вспыхнув, спросил:

— Откуда ты знаешь?

— Я сегодня утром заезжала к миссис Плимдейл, и она мне сказала, что ее сын снял дом рядом с особняком мистера Хекбата на площади Святого Петра.

Лидгейт промолчал. Расцепив закинутые за голову руки, он уперся локтями в колени и прижал пальцы к волосам, падавшим, как обычно, густой волной ему на лоб. Его охватило горькое разочарование, словно, задыхаясь в душном помещении, он отворил наконец дверь, а она оказалась замурованной; и в то же время он не сомневался, что причина его огорчения приятна Розамонде. Он ничего не говорил ей и не смотрел в ее сторону, дожидаясь, когда уляжется первая вспышка гнева. И в самом деле, подумал он с горечью, есть ли для женщины что-нибудь важнее дома и обстановки; муж без этого приложения — просто нелепость. Когда, откинув волосы со лба, он взглянул на жену, его темные глаза смотрели тоскливо, не ожидая сочувствия, и он лишь холодно заметил:

— Что ж, может быть, подвернется кто-нибудь

еще. Я просил Трамбула продолжить поиски, если Плимдейл откажется.

Розамонда на это ничего не сказала. Она надеялась, что аукционисту не удастся исполнить просьбу ее мужа, а тем временем новый поворот событий сделает ее вмешательство оправданным. Как бы там ни было, она отвела непосредственно грозившую ей неприятность. Сделав паузу, она спросила:

— Сколько денег требуют эти противные люди?

— Какие противные люди?

— Те, что составляли опись... и другие. Я хочу знать, сколько им нужно заплатить, чтобы они перестали тебя беспокоить?

Лидгейт разглядывал ее несколько мгновений, словно определяя симптомы болезни, затем ответил:

— Если бы я смог получить от Плимдейла шестьсот фунтов за мебель и в качестве отступного, я бы выкрутился. Я бы тогда полностью рассчитался с Дувром и заплатил остальным достаточно, чтобы они согласились ждать. Но, конечно, нам придется сократить расходы.

— Но я спрашиваю, сколько тебе нужно денег, если мы не уедем из этого дома?

— Больше, чем я могу где-нибудь раздобыть, — желчно ответил Лидгейт. Его сердила Розамонда, которая, вместо того чтобы думать о деле, предавалась бесплодным мечтаниям.

— Но почему ты мне не называешь сумму? — с мягкой укоризной допытывалась Розамонда.

— Ну, я думаю, — неуверенно произнес Лидгейт, — меньше тысячи меня не спасет. Впрочем, — резко добавил он, — мне следует думать не об этой тысяче, а о том, как обойтись без нее.

Розамонда не стала спорить.

Но на следующий день она осуществила свое намерение написать сэру Годвину Лидгейту. После отъезда капитана Розамонда получила письмо от него, а также от его замужней сестры миссис Менгэн с соболезнованиями по поводу гибели ребенка и туманно выраженной надеждой вновь увидеть ее в Куоллингеме. Лидгейт объяснил жене, что все это пустая вежливость, однако Розамонда в глубине души считала, что холодное отношение родственников к Лидгейту вызвано его высокомерной и отчужденной манерой, и с чарующей любезностью ответила на письма, убежденная, что вскоре последует более настойчивое приглашение. Полное молчание в ответ. Капитан, как видно, не блистал в эпи-

столярном жанре, а его сестры, предположила Розамонда, вероятно, находились за границей. Однако вскоре им пора уже было соскучиться по родине, и, во всяком случае, сэр Годвин, который охотно трепал Розамонду по подбородку и находил в ней сходство с прославленной красавицей, миссис Кроли, покорившей его сердце в 1790 году, не останется равнодушным к ее просьбе и, чтобы сделать ей приятное, окажет родственную поддержку племяннику. И она настрочила весьма убедительное на ее взгляд послание — сэр Годвин, прочитав его, поразится ее редкостному здравому смыслу, — в котором доказывала, как необходимо Тертию перебраться туда, где его талант найдет признание, из гнусного Мидлмарча, строптивость обитателей которого воспрепятствовала его научной карьере, следствием чего явились денежные затруднения, для преодоления коих нужна тысяча фунтов. Она ни словом не обмолвилась о том, что Тертий ничего не знает о ее намерении написать это письмо; ей казалось: если сэр Годвин решит, что оно написано с ведома племянника, это лишний раз подтвердит ее заверения в том редкостном уважении, которое доктор Лидгейт питает к дядюшке, почитая его своим лучшим другом. Таково было практическое

осуществление тактики, которой пользовалась бедняжка Розамонда.

Все это произошло до Нового года, и ответ от сэра Годвина еще не пришел. Однако утром праздничного дня Лидгейт узнал, что Розамонда отменила отданное им Бортропу Трамбулу распоряжение. Считая необходимым постепенно приучить ее к мысли, что им придется расстаться с домом на Лоуик-Гейт, он преодолел нежелание говорить с женой на эту тему и во время завтрака сказал:

— Сегодня утром я зайду к Трамбулу и велю ему напечатать в «Пионере» и в «Рупоре» объявление о сдаче дома. Как знать, быть может, кто-нибудь, кто и не думал снимать новый дом, увидев извещение в газете, соблазнится. В провинции множество людей с большими семьями теснятся в старых домах лишь потому, что не знают, где найти более поместительное жилище. А Трамбул, по-видимому, ничего не сумел подыскать.

Розамонда поняла, что неминуемое объяснение приблизилось.

— Я распорядилась, чтобы Трамбул перестал разыскивать желающих, — сказала она с деланым спокойствием.

Лидгейт в немом изумлении воззрился на же-

ну. Всего лишь полчаса назад он закалывал ей косы и говорил нежные слова, а Розамонда, хотя и не отвечая, выслушивала их с безмятежной благосклонностью, словно статуя богини, которая чудесным образом нет-нет да и улыбнется восхищенному обожателю. Все еще во власти этого настроения, Лидгейт не сразу рассердился — сперва он ощутил тупую боль. Положив на стол вилку и нож и откинувшись на спинку стула, он наконец осведомился с холодной иронией:

— Могу я узнать, когда и почему ты это сделала?

— Когда я узнала, что Плимдейлы сняли дом, я зашла к Трамбулу и попросила его не упоминать им о нашем. Тогда же я дала ему распоряжение приостановить все дальнейшие хлопоты. Я знаю, если разойдется слух о твоем намерении отказаться от дома со всей обстановкой, это очень повредит твоей репутации, чего я не желаю допустить. Думаю, мои соображения вполне весомы.

— А те соображения, которые приводил я, тебе, значит, совсем безразличны? Тебе безразлично, что я пришел к иному выводу, в соответствии с которым отдал распоряжение? — язвительно спрашивал Лидгейт, и в глазах его сверкали молнии, а грозовая туча надвигалась на чело.

Когда на Розамонду кто-нибудь сердился, она замыкалась в ледяную броню, нарочитой безупречностью манер показывая, что, в отличие от некоторых, всегда ведет себя достойно. Она ответила:

— Я считаю себя в полном праве разговаривать о предмете, который касается меня ничуть не меньше, чем тебя.

— Совершенно верно, ты имеешь право о нем разговаривать, но только со мной. У тебя нет права отменять тайком мои распоряжения, обходясь со мной как с дурачком, — отрезал Лидгейт прежним жестким тоном. И презрительно добавил: — Есть ли какая-нибудь надежда растолковать тебе, к чему приведет твой поступок? Стоит ли еще раз рассказывать, почему мы должны приложить все старания, чтобы избавиться от дома?

— Рассказывать об этом нет необходимости, — сказала Розамонда голосом, звенящим, как холодная струйка. — Я все помню. Ты говорил тогда так же грубо, как сейчас. Но я по-прежнему считаю, что тебе нужно поискать других путей, а не настаивать на затее, которая для меня так мучительна. Что до объявления в газете, по-моему, это предел унижения.

— Ну, а если я не посчитаюсь с твоим мнением,

как ты не посчиталась с моим?

— Это ты, конечно, можешь сделать. Но мне кажется, тебе следовало бы сообщить мне до свадьбы, что ты предпочтешь пожертвовать моим благополучием в угоду своей прихоти.

Лидгейт ей ничего не ответил. Он в отчаянии понурил голову, и уголки его губ судорожно подергивались. Розамонда, видя, что он на нее не смотрит, встала и поставила перед ним чашку кофе; Лидгейт ее не заметил — полный тяжких раздумий, он сидел, почти не шевелясь, одной рукой облокотившись о стол, а другой ероша волосы. Противоборство чувств и мыслей сковывало его, мешая дать волю ярости или же наоборот — спокойно и решительно настоять на своем. Розамонда воспользовалась его молчанием.

— Когда я выходила за тебя замуж, все считали, что у тебя прекрасное положение в обществе. Мне тогда и в голову бы не пришло, что ты вздумаешь продать нашу мебель и снять дом на Брайд-стрит с комнатами, как клетушки. Если уж нам приходится так бедствовать, давай по крайней мере переедем из Мидлмарча.

— Блестящая идея, — с невеселой усмешкой отозвался Лидгейт. Он взглянул на чашку кофе, но так и не стал пить. — Я с удовольствием вос-

пользовался бы твоей блистательной идеей, но, увы, мне мешают долги.

— Долги есть у многих, но если это уважаемые люди, кредиторы их не торопят. Помню, папа говорил, что у Торбитов тоже долги, а они живут как ни в чем не бывало. Излишняя поспешность может только повредить, — назидательно заключила Розамонда.

Лидгейт не шелохнулся, в нем боролось два желания: схватить первое, что попадется под руку, разбить вдребезги, стереть в порошок, хоть на этом продемонстрировав свою силу, ибо Розамонда, как видно, была ей совершенно неподвластна, или — грубо заявить жене, что хозяин в доме — он, а она обязана повиноваться. Но он не только боялся оттолкнуть ее такой несдержанностью; с каждым днем ему внушало все большую боязнь то спокойное, неуловимое упорство, с каким Розамонда обходила все его распоряжения; кроме того, она кольнула его в самое чувствительное место, намекнув, что обманулась в своих радужных надеждах, выйдя за него замуж. Да и хозяином он вовсе не был. Нелегкое решение, на которое его подвигли и разум, и щепетильность, и гордость, заколебалось после их сегодняшнего разговора. Он залпом выпил полчашки кофе и встал.

— Во всяком случае, я требую, чтобы ты не заходил к Трамбулу, пока мы не убедимся, что у нас нет других путей, — сказала Розамонда. Она не очень-то боялась мужа, но сочла за благо умолчать о письме к сэру Годвину. — Обещай мне, что в ближайшее время ты не пойдешь к нему, по крайней мере без моего ведома.

Лидгейт коротко рассмеялся.

— Пожалуй, это мне следовало бы заручиться обещанием, что ты не будешь ничего предпринимать без моего ведома, — сказал он, бросил на нее сердитый взгляд и направился к двери.

— Ты помнишь, мы обедаем сегодня у папы, — проговорила ему вслед Розамонда, надеясь, что он даст более внятный ответ. Но Лидгейт лишь недовольно буркнул: «Да, да» — и вышел. Розамонду очень рассердило, что после возмутительных проектов, которые только что изложил ее муж, он еще позволяет себе раздраженно с ней разговаривать. А на ее скромную просьбу повременить с визитом к Трамбулу не ответил ничего определенного — бездушный человек. Она была уверена, что ведет себя во всех отношениях безупречно, и каждая ядовитая или гневная отповедь Лидгейта пополняла перечень накопленных против него обид. Для бедняжки давно уже всякая мысль о

муже ассоциировалась с чувством разочарования — суровая семейная жизнь оказалась вовсе не такой, как рисовалась в мечтах. Правда, Розамонда, став замужней дамой, была избавлена от многого, что досаждало ей в родительском доме, но зато не осуществились ее надежды и чаяния. Характер Лидгейта, который в период влюбленности ей представлялся обворожительно легким и милым, изменился почти до неузнаваемости, обнаружив неприглядные будничные черты, с которыми ей предстояло освоиться и примириться в повседневной жизни, не имея возможности отобрать из его свойств только приятные и ускользнуть от остальных. Профессиональные замашки мужа, не покидавший его даже дома интерес к научным изысканиям, в котором ей мерещилось нечто вампирское, его причудливые взгляды на жизнь, о которых она не подозревала в период ухаживания, — все это, уже не говоря о его неумении поладить с пациентами и о свалившейся, словно снег на голову, истории с закладной, способствовало все большему отчуждению между нею и мужем, чье общество теперь наводило на нее тоску. Чуть ли не с первых дней супружества ее приятно волновало общество другого человека, но Розамонда не хотела признаваться себе, как

сильно его отсутствие усугубляет ее скуку, и ей казалось (вероятно, не без оснований), что приглашение в Куоллингем и последующая надежда уехать из Мидлмарча — в Лондон или куда-нибудь еще, где не будет неприятностей, — вполне могут ее примирить с прекращением визитов Уилла Ладислава, чье преклонение перед миссис Кейсобон вызывало у нее некоторую досаду.

Таковы были взаимные отношения супругов во время новогоднего обеда у мистера Винси, когда Розамонда с безмятежным видом игнорировала мужа, не прощая ему дурного поведения за завтраком, а он огорчался гораздо сильнее, зная, что утренняя размолвка была лишь одной из примет его тяжелого душевного разлада. Его взвинченность и напряженность во время разговора с мистером Фербратером — циничесские заверения, что все средства добывания денег одинаково хороши и только наивные дураки не рассчитывают на его величество случай, — свидетельствовали о его смятении, ибо для кипучей натуры Лидгейта бездействие было смерти подобно.

Что же делать? Он еще яснее, чем Розамонда, представлял себе, каким невыносимым будет ее пребывание в маленьком домике на Брайдстрит, среди убогой обстановки и со жгучей

обидой на сердце; жизнь с Розамондой и жизнь в бедности — два эти понятия казались ему все более несовместимыми с тех пор, как перед ним замаячила угроза бедности. Но даже если он решится примирить между собой оба понятия, с чего начать осуществление этого подвига, как подступиться к нему? И хотя он не дал обещания жене, он не пошел еще раз к Трамбулу. Он даже начал подумывать, не съездить ли ему на север к сэру Годвину. Когда-то он считал, что никакие побуждения не вынудят его просить денег у дядюшки, но он не знал тогда, что это еще не худшее из зол. Письмо может не произвести должного действия, нужно, как это ни неприятно, поехать в Куоллингем самому, все подробно объяснить и испытать, насколько действенной силой являются родственные узы. Но едва только Лидгейт избрал именно этот шаг как наиболее простой, он рассердился, что он, он, давным-давно решивший отгородиться от низменных расчетов, от своекорыстного любопытства относительно намерений и финансового положения людей, с которыми не желал из гордости иметь ничего общего, не только опустился до их уровня, но даже обращается к ним с просьбами.

## Глава LXV

*Лишь за одним верх остается в споре,*
*И, коль в мужчине больше разуменья,*
*Ты уступи и дай пример терпенья.*

***Джеффри Чосер, «Кентерберийские рассказы»***

Даже в наше время, когда жизнь все убыстряет свой шаг, мы остались неторопливы в одном — в обмене корреспонденцией; стоит ли удивляться, что в 1832 году старый сэр Годвин Лидгейт не спешил с письмом, содержание которого волновало адресата гораздо более, нежели его самого. Минуло уже почти три недели после наступления Нового года, и Розамонде, ожидавшей ответа, причем, конечно, положительного, каждый новый день приносил разочарование. Лидгейт, не ведавший о ее надеждах, замечал лишь прибытие новых счетов и подозревал, что Дувр не преминет воспользоваться своим преимуществом перед другими кредиторами. Он ни словом не упомянул Розамонде о предполагаемом визите в Коуллингем: после того как он решительно и гневно отказался просить помощи у дядюшки, это

выглядело бы капитуляцией в ее глазах. Он намеревался в самое ближайшее время отправиться в путь, но решил до последнего дня не говорить об этом Розамонде. Недавно открытая железнодорожная линия давала ему возможность за четыре дня съездить в Куоллингем и возвратиться.

Но однажды утром, когда Лидгейта не было дома, на его имя пришло письмо, без сомнения, от сэра Годвина. Розамонда преисполнилась надеждой. Быть может, в конверт вложена отдельная страничка для нее. Однако деловое письмо, где шла речь о денежной или какой-то иной помощи, адресовать следовало Лидгейту, главе семьи, и Розамонду даже более, чем самый факт получения письма, обнадеживало то, что оно было послано не сразу. Все эти мысли так взволновали ее, что она не могла ничем заняться, а лишь сидела в теплом уголке гостиной с незатейливым шитьем и поглядывала на лежавший на столе магический конверт. Часов около двенадцати, услышав в коридоре шаги мужа, она поспешно подбежала к дверям и беспечно прощебетала:

— Зайди сюда, Тертий, тут тебе письмо.

— Да? — сказал он и, не снимая шляпы, обнял Розамонду и вместе с ней направился к столу. — Дядюшка Годвин! — воскликнул Лидгейт, а тем

временем Розамонда вернулась на прежнее место и внимательно следила, как он вскрывает конверт. Она предвкушала, как поразит его это послание.

Лидгейт торопливо пробежал глазами коротенькое письмо, и его смугловато-бледное лицо стало белым, ноздри раздулись, губы вздрагивали; он швырнул Розамонде листок и с яростью сказал:

— Нет, это просто невозможно, когда же ты наконец перестанешь тайком орудовать за моей спиной и исподтишка вставлять мне палки в колеса?

Он умолк и направился к двери, но у порога резко повернул назад, сел и тут же снова вскочил как ужаленный и зашагал по комнате, сунув руки в карманы и судорожно стискивая находившиеся там предметы. Он боялся сказать что-нибудь жестокое, непоправимое.

Розамонда тоже побледнела, пробегая глазами письмо. Вот что она прочла:

> Дорогой Тертий,
>
> когда тебе понадобится у меня что-нибудь попросить, не поручай своей жене писать мне. Я не предполагал, что ты спо-

собен добиваться цели таким окольным путем. С женщинами я не веду деловой переписки. А о том, чтобы дать тебе тысячу фунтов или даже половину этой суммы, не может быть и речи. Все мои средства до последнего пенни уходят на мою собственную семью. Ведь у меня на руках три дочери и двое младших сыновей. Свои собственные деньги ты, насколько я могу судить, израсходовал довольно проворно, да еще перессорился с местными обывателями; мой тебе совет – как можно скорее перебирайся в другой город. Но на мою помощь не рассчитывай, так как у меня нет никаких связей с людьми твоей профессии. Как опекун, я сделал для тебя все и дал тебе возможность заниматься медициной. Ты мог бы стать офицером или священником, если бы захотел. Денег тебе бы хватило, а сделать карьеру там легче, чем на избранном тобой поприще. Дядя Чарлз сердится, что ты не последовал по его стопам, я же тебя не осуждаю. Я всегда желал тебе добра, однако помни – теперь тебе следует надеяться только на собственные силы.

Твой любящий дядя,
*Годвин Лидгейт.*

Дочитав письмо, Розамонда сложила руки и застыла в неподвижной позе, ничем не выказывая своего разочарования и терпеливо выжидая, когда уляжется гнев мужа. Лидгейт перестал метаться по комнате, взглянул на жену и с яростью спросил:

— Ну, убедилась наконец, как нам вредят твои затеи? Поняла, что неспособна принимать решения и действовать вместо меня, ничего не смысля в делах, которыми я должен заниматься?

Жестокие слова, но ведь уже не в первый раз она разрушала таким образом его планы. Розамонда сидела молча и не глядела на мужа.

— А я уже чуть было не решился ехать в Куоллингем. Поездка неприятная и унизительная, но она могла принести пользу. Только стоит ли стараться? Ведь ты постоянно мне все портишь. Притворяешься, будто согласна, а затем строишь тайком разные каверзы. Если ты намерена всегда и во всем мне мешать, так уж скажи об этом откровенно. Я хотя бы буду предупрежден.

Страшен этот час в жизни молодых супругов, когда раздражительность и неприязнь сменяют

нежную любовь. Как ни крепилась Розамонда, одинокая слезинка покатилась по ее лицу. Она так ничего и не сказала, но молчание ее свидетельствовало о многом: муж вызывал в ней глубокое отвращение, она теперь жалела, что повстречалась с ним. Сэра Годвина за поразительную бесчувственность и грубость она поставила в один ряд с Дувром и прочими кредиторами — противными субъектами, думающими лишь о себе, а не о том, какую они причиняют ей досаду. Даже отец мог быть позаботливей и сделать для них побольше. Собственно говоря, из всех известных Розамонде людей безупречным было только грациозное создание с белокурыми косами, которое сидело сейчас, сложив перед собою ручки, никогда не вело себя неподобающе и действовало лишь с благими целями, ибо благом, разумеется, считалось то, что было этому созданию приятно.

Лидгейт, глядя на жену, испытывал ту мучительную ярость бессилия, которая охватывает вспыльчивого человека, когда на все его гневные речи отвечают лишь кротким молчанием, сохраняя вид невинной жертвы, терпящей напраслину, так что даже справедливейшее негодование начинает представляться сомнительным. Чтобы удостовериться в своей правоте, он заговорил

снова, уже сдержаннее.

— Неужели ты не видишь, Розамонда, — начал он серьезным и спокойным тоном, — что ничто нас так не губит, как отсутствие откровенности и взаимного доверия? Вот уже не в первый раз я высказываю вполне определенное желание, и ты как будто соглашаешься, а затем тайком делаешь по-своему. Если так будет продолжаться, я ни на что не могу положиться. Признайся, что я прав, и надежда забрезжит. Неужели я такая уж безрассудная и злобная скотина? Почему ты не хочешь быть со мной откровенной?

Молчание.

— Признай хотя бы, что ты поступила неверно и впредь не будешь действовать тайком от меня, — сказал Лидгейт просительно, но в то же время настойчиво, и последнее не ускользнуло от внимания Розамонды. Она холодно произнесла:

— Я не могу ничего признавать и обещать после того, как ты со мной так оскорбительно разговаривал. Я не привыкла к таким выражениям. Ты говоришь, что я «тайком орудую за твоей спиной», «строю каверзы», «притворно соглашаюсь». Я не употребляю по отношению к тебе подобных слов, и, по-моему, ты должен извиниться. Ты жалуешься, что тебе невозможно жить со мной.

Мою жизнь, несомненно, ты не сделал приятной. Нет ничего удивительного, что я пытаюсь облегчить тяжелое положение, в которое попала после замужества. — Она умолкла, так же невозмутимо смахнув новую слезинку, как утерла первую.

Лидгейт в отчаянии рухнул в кресло — его разбили наголову. Как заставить ее прислушаться к голосу рассудка? Он положил шляпу, перекинул через спинку кресла руку и несколько мгновений сидел, хмуро потупив взгляд. У Розамонды было перед ним двойное преимущество — она искренно не представляла себе, насколько он прав, зато имела весьма ясное представление о тех тяготах, которые принесла ей супружеская жизнь. Рассказав мужу только долю правды и утаив от него некоторые подробности своего визита к миссис Плимдейл, она не считала свое поведение вероломным. Ведь не обязаны же мы оценивать каждый свой поступок — точно так никто не заставляет нас обдумывать каждую покупку в бакалейной и галантерейной лавке. Розамонда знала одно — ее огорчили, и Лидгейт обязан это признать.

А он, вынужденный мириться с этой своевольной, капризной натурой, чувствовал себя словно в тисках. Он с ужасом предвидел, что рано или

поздно Розамонда непременно разлюбит его, и ему рисовались мрачные перспективы. Потом он снова загорался гневом. Смехотворная пустая похвальба — объявлять, что он хозяин в доме.

«Мою жизнь ты не сделал приятной», «тяжелое положение, в которое я попала после замужества» — эти упреки преследовали его, как кошмар. Что, если, не преодолев манящие его вершины, он к тому же еще увязнет в трясине мелких дрязг?

— Розамонда, — сказал он, глядя на нее с печалью, — я тебе наговорил тут много лишнего в сердцах. Очень уж нелепо все получилось. Но ведь мы с тобой неразделимы, и интересы у нас одни. Я не могу быть счастлив, если ты несчастна. И сержусь я на тебя за то, что ты как будто бы не понимаешь, как твоя скрытность разделяет нас. Неужели я сознательно хочу огорчить тебя каким-нибудь поступком или словом? Делая тебе больно, я раню самого себя. Если ты будешь со мной откровенна, я ни разу в жизни не рассержусь на тебя.

— Я хотела только удержать тебя от опрометчивых и поспешных поступков, — сказала Розамонда, и слезы снова навернулись ей на глаза, ибо мягкость Лидгейта смягчила ее тоже. — Ведь жить по-нищенски и быть униженной перед

всеми знакомыми — просто невыносимо. Лучше бы я умерла тогда от неудачных родов.

Ее слова и слезы были так трогательно нежны, что сердце любящего мужа не могло им противостоять. Лидгейт передвинул к ее креслу свое и прижал к своей щеке ее головку. Он ласково ее гладил и не говорил ни слова — ибо что он мог сказать? Обещать ей оградить ее от ненавистной нищеты, если он не представляет себе, каким образом это сделать? Когда он отпустил ее, и она вышла, Лидгейт подумал, что ей вдесятеро тяжелее, чем ему: он живет кипучей жизнью вне дома, многие люди нуждаются в нем. Он охотно бы ей все простил, однако, охваченный стремлением прощать, невольно думал о жене как о слабой и беспомощной зверюшке, принадлежащей к совсем иной породе, нежели он. А победа тем не менее осталась за нею.

# Глава LXVI

*Изведать искушение – одно,*
*Но пасть – другое.*
***Шекспир, «Мера за меру»*** [204]

Лидгейт был прав, считая, что работа облегчает ему гнет домашних неурядиц. У него не оставалось теперь сил на научные изыскания и теоретические размышления, однако, сидя у постели больного, он раздумывал, как его вылечить, сочувствовал ему, и это отвлекало его от мрачных мыслей. То была не просто благодетельная сила привычки, дающая возможность глупцам жить благопристойно, а несчастливцам — спокойно: врачебный долг неотступно побуждал к деятельности его мысль, не позволяя забыть о страданиях и нуждах пациентов. Многие из нас, вспоминая прожитую жизнь, скажут, что самым добрым человеком, которого они встречали, был врач, чья душевная чуткость, опирающаяся на глубокое знание своего дела, оказалась много благотворнее, чем деяния так называемых чудотворцев. Это спасительное чувство сострадания,

---

**[204] Примечания: 204**
«Мера за меру» — пьеса Шекспира.

испытываемое Лидгейтом к больным, которых он пользовал на дому и лечил в больнице, лучше всякого успокоительного средства помогало ему сохранять душевное равновесие, невзирая на все тревоги и недовольство собой.

Что до применения опия, мистер Фербратер был прав. Терзаемый предчувствием грядущих финансовых затруднений и осознав, что семейная жизнь если и не сулит ему угрюмого одиночества, то уж, во всяком случае, вынудит его всеми силами стараться сохранить свою любовь, не помышляя о взаимной, он раза два принял это средство. Но не в его натуре было спасаться от печальных размышлений при помощи дурмана. Сильный физически, он мог выпить много вина, но не питал к нему склонности. Находясь в компании пьющих мужчин, он пил подслащенную воду и испытывал презрительную жалость даже к тем, кто находился в легком подпитии. Точно так же относился он к азартной игре. В Париже ему часто приходилось наблюдать за игроками глазами медика, изучающего симптомы болезни. Выигрыш привлекал его так же мало, как вино. Он считал достойной азарта лишь ставку, требующую изощренной работы ума и направленную к благой цели. Пальцы, с жадностью сгребающие

груду денег, тупое, злобное ликование, которое загорается в глазах человека, разом захватившего ставки двадцати обескураженных партнеров — подобные триумфы его не влекли.

Но вслед за опиумом он стал подумывать и об игре, не потому, что испытал жажду азарта, а потому, что в ней он усмотрел удобный способ раздобыть денег, ни к кому не обращаясь с просьбами и не беря на себя никаких обязательств. Находись он в это время в Лондоне или в Париже, где легко осуществить подобные намерения, они, возможно, вскоре привели бы его в игорный дом, где он не только наблюдал бы пылкие страсти игроков, но и разделил бы их. Насущная необходимость выиграть, если улыбнется счастье, преодолела бы его всегдашнее отвращение к игре. Некий случай, произошедший вскоре после того, как отпала химерическая надежда получить помощь от дядюшки, служит ярким доказательством того, какое сильное воздействие оказывает на человека наглядная доступность выигрыша.

Бильярдная в «Зеленом драконе» служила прибежищем компании, члены которой, подобно нашему знакомцу мистеру Бэмбриджу, почитались прожигателями жизни. Именно здесь этот неунывающий джентльмен дал взаймы денег

Фреду Винси, когда тот проиграл пари. В Мидлмарче знали, что здесь часто бьются об заклад, выигрывают и проигрывают немалые деньги, и дурная слава «Зеленого дракона» делала это заведение особенно привлекательным для многих. Возможно, его постоянные посетители, подобно основателям масонского братства, предпочитали быть связанными тайной, но заведение принадлежало к числу открытых, и многие джентльмены, как почтенных, так и юных лет, по временам наведывались в бильярдную взглянуть, что там происходит. Лидгейт, недурно игравший на бильярде, любил это занятие и сразу после приезда в Мидлмарч раза два заглянул к «Зеленому дракону» попытать счастья, но позже у него уже не оставалось времени для игры, а тамошнее общество его не привлекало. Впрочем, однажды вечером ему пришлось войти под этот кров в поисках мистера Бэмбриджа. Барышник нашел для него покупателя на единственную оставшуюся от прежнего выезда лошадь, и Лидгейт надеялся, заменив ее какой-нибудь клячей, выгадать фунтов двадцать за счет утраты элегантности, а он рад был теперь выгадать и мизерную сумму, которая умерила бы нетерпение кредиторов. Бильярдная оказалась у него по пути, и он решил встретиться

с Бэмбриджем немедля.

Мистер Бэмбридж еще не пришел, но вскорости несомненно прибудет, заявил его приятель мистер Хоррок. Лидгейт решил остаться и скуки ради сыграть партию на бильярде. Глаза у него блестели так же, как в тот новогодний вечер, когда мистер Фербратер обратил внимание на его возбуждение. В комнате толпилось довольно много народу, и все заметили необычного гостя. Несколько зрителей и игроки с воодушевлением заключали пари. Лидгейт играл хорошо и был уверен в своих силах; внезапно у него мелькнула мысль, что и он тоже мог бы заключить пари и, выиграв, удвоить сумму, которая ему достанется в результате коммерческой операции с лошадью. Он начал заключать пари на собственный выигрыш, и ему неизменно везло. Пришел мистер Бэмбридж, но Лидгейт его не заметил. Он не только увлекся игрой, он уже представлял себе, как на следующий день поедет в Брассинг, где игра шла по крупной и где он одним умелым рывком мог сорвать наживку дьявола, не угодив на крючок, и избавиться от самых неотложных долгов.

Он все еще продолжал выигрывать, когда в бильярдной появилось двое новых посетителей. Один из них был молодой Хоули, только что за-

вершивший изучение юриспруденции в столице, второй — Фред Винси, которого с недавних пор снова потянуло под кров «Зеленого дракона». Молодой Хоули, отменный игрок, был полон свежих сил и хладнокровия. Но Фред Винси, увидев Лидгейта, который с возбужденным видом снова и снова заключал пари, потрясенный, отступил в сторонку и не стал участвовать в игре.

В последнее время Фред счел возможным позволить себе небольшую поблажку. Вот уже полгода он рьяно помогал мистеру Гарту, принимая участие во всех его деловых поездках, и почти полностью исправил свой почерк путем неустанных упражнений, которые, возможно, были не столь уж тягостны, ибо обычно выполнялись вечерами в доме мистера Гарта в благотворном присутствии Мэри. Но Мэри уже две недели гостила в Лоуике в доме мистера Фербратера, отлучившегося на это время по приходским делам в Мидлмарч, а Фред за неимением более приятных занятий стал наведываться к «Зеленому дракону» поиграть на бильярде и поболтать, как прежде, об охоте, лошадях и всякой всячине, высказывая и выслушивая суждения, сомнительные с точки зрения общепринятой морали. Он ни разу не охотился в этом сезоне, у него не было верховой

лошади, а ездил он обычно либо в двуколке мистера Гарта, либо на смирной лошадке, которую ему ссужал все тот же мистер Гарт. Он начинал уже досадовать, что выбрал для себя еще более суровую стезю, чем путь священника. «Вот что я вам скажу, сударыня, заниматься межеванием, снимать и вычерчивать планы — потрудней, чем писать проповеди, — заявил он как-то Мэри, дабы она оценила приносимую ей жертву, — и не ставьте мне в пример ни Геркулеса, ни Тезея. Оба они резвились в свое удовольствие, и никто их никогда не учил, каким почерком делать записи в бухгалтерских книгах». Сейчас, когда Мэри отлучилась на время, Фред, как пес, которому не удалось стянуть с себя ошейник, сорвался с цепи и пустился наутек, разумеется, собираясь вскоре вернуться. Он не видел никаких причин, которые бы ему помешали поиграть на бильярде, однако решил не заключать пари. Дело в том, что Фред лелеял героический план в самое близкое время почти полностью отложить восемьдесят фунтов, которые ему предстояло получить от мистера Гарта. Это было не так уж трудно, ибо ему не приходилось тратиться ни на стол, ни на одежду и оставалось только отказаться от карманных расходов. Таким образом он в течение

года мог бы выплатить миссис Гарт значительную часть тех злополучных девяноста фунтов, которых он, увы, лишил ее как раз тогда, когда она нуждалась в них больше, нежели сейчас. Впрочем, следует признаться, что, посетив в этот вечер бильярдную — за последние дни в пятый раз, — Фред вспомнил о десяти фунтах из полученного им полугодового жалованья, которых он не захватил сейчас с собой, а лишь решил за собою оставить, с тем чтобы не лишить себя удовольствия вручить остальные тридцать миссис Гарт в присутствии Мэри, и, вспомнив, стал раздумывать, не рискнуть ли ему частью этого выделенного для собственных нужд капитала, если подвернется верный выигрыш. Почему? Да просто потому, что когда соверены носятся в воздухе, странно было бы не ухватить хоть два-три. Он уже не забредет далеко по этой дорожке, но мужчина, а прожигатель жизни в особенности, любит уверять себя, что он волен греховодничать как вздумается и если воздерживается от того, чтобы расшатывать свое здоровье, проматывать состояние или употреблять выражения, находящиеся на грани благопристойности, то все это отнюдь не потому, что он простак. Фред не стал подыскивать формальные резоны — они

выглядят неубедительно, когда играет кровь, взволнованная пробуждением старой привычки, однако в его душе шевельнулось пророческое ощущение, что, когда он начнет играть, он заодно начнет и заключать пари, что он отведает нынче пуншу и вообще сделает все, чтобы завтра утром встать с тяжелой головой. Предчувствия почти неуловимые, но с них чаще всего начинается действие.

Одного не ожидал он: встретить в «Драконе» своего зятя Лидгейта, которого в глубине души по-прежнему считал самодовольным педантом, и еще меньше ожидал он, что этот высокомерный гордец будет заключать пари в такой же ажитации, в какой заключал бы их сам Фред. Ему припомнились смутные слухи, что Лидгейт по уши в долгах, а мистер Винси-старший отказался его выручить; все это было достаточно неприятно, но Фред все-таки не мог понять, отчего им овладел такой ужас, и внезапно ему расхотелось играть. Они полностью поменялись ролями: розовый, голубоглазый Фред, всегда веселый и беспечный, всегда готовый с головой окунуться в любое удовольствие или забаву, помрачнел и чуть ли не смутился, словно увидел нечто неблагопристойное; Лидгейт же, обычно

самоуверенно-спокойный и сохраняющий отрешенный вид, даже со всем вниманием слушая собеседника, сейчас вел себя, смотрел, говорил словно хищник, который нацелился на жертву, выпустив когти и сверкая глазами.

Заключая пари на собственные удары, Лидгейт уже выиграл шестнадцать фунтов; но появление молодого Хоули изменило положение вещей. Сам отлично владея кием, он начал ставить против Лидгейта, и тот, еще недавно уверенный в безупречной точности своих ударов, теперь почувствовал, что должен доказывать свое уменье. Лидгейт стал играть азартнее, но менее чисто. Он по-прежнему заключал пари на свой выигрыш, но теперь часто проигрывал. И все же он не отступался, ибо зияющая бездна азарта затягивала его так же неотвратимо, как самых желторотых шалопаев, завсегдатаев бильярдной. Фред заметил, что дела у Лидгейта идут все хуже, и впервые в жизни стал прикидывать в уме, какую бы изобрести уловку, чтобы тактично увести его из зала. Он видел, что и другие посетители обратили внимание на происшедшую с Лидгейтом метаморфозу, и решил просто взять его за локоть и отозвать в сторону. Изобретенный им предлог не отличался оригинальностью: он скажет, что ему

нужно повидать Рози, и спросит доктора, дома ли она. Набравшись храбрости, Фред уже готовился осуществить свой нехитрый план, когда слуга вручил ему записку, в которой говорилось, что мистер Фербратер ждет его внизу и хочет с ним поговорить.

Удивленный и несколько обеспокоенный, Фред попросил передать, что спустится тотчас же, затем, осененный внезапной идеей, подошел к Лидгейту, сказал: «Уделите мне, пожалуйста, минутку» — и отвел его в сторону.

— Только что мне принесли записку от Фербратера. Он ждет меня внизу. Я подумал: может быть, он вам нужен, может быть, вы хотите с ним поговорить.

Фред уцепился за первый попавшийся предлог, ибо нельзя было сказать: «Еще немного, и вы проиграетесь дотла, на вас таращатся все завсегдатаи. Уходите, пока не поздно». Впрочем, все обошлось. На Лидгейта, который до сих пор не видел Фреда, отрезвляюще подействовало его внезапное появление и известие о приходе Фербратера.

— Нет, нет, — ответил Лидгейт. — У меня к нему нет срочных дел. Но… пора кончать игру, мне нужно уходить, я ведь зашел сюда лишь повидать

мистера Бэмбриджа.

— Бэмбридж здесь, но он порядком нализался… вряд ли он способен к деловым переговорам. Выручите меня — спустимся вместе к Фербратеру. Он, кажется, собрался устроить мне головомойку, а с вами я буду чувствовать себя надежней, — находчиво добавил Фред.

Лидгейту совестно было показаться на глаза Фербратеру, но, из гордости желая это скрыть, он спустился вниз. Впрочем, они всего лишь обменялись рукопожатием и замечаниями о погоде, после чего священник выказал явное стремление проститься с Лидгейтом. Единственной целью его прихода была беседа с Фредом, и он добродушно сказал:

— Я вас потревожил, мой юный друг, потому что у меня к вам дело. Проводите меня до церкви святого Ботольфа, хорошо?

Стояла прекрасная звездная ночь, и мистер Фербратер предложил пройти к церкви более длинным путем, по Лондонской дороге. Первой его фразой было:

— Вот уж не думал, что Лидгейт бывает у «Зеленого дракона».

— И я не думал, — сказал Фред. — Он зашел туда повидаться с Бэмбриджем, так он мне объяснил.

— Стало быть, он не играл?

Фред, сперва не собиравшийся об этом сообщать, сейчас вынужден был ответить:

— Играл. По-моему, случайно. Прежде я его ни разу тут не видел.

— Зато сами в последнее время вновь зачастили сюда?

— Был раз пять, может быть, шесть.

— Если я не ошибаюсь, у вас есть веские причины не возвращаться к прежним привычкам?

— Верно. Да ведь вы и так все знаете, — ответил Фред, сердясь, что ему читают нотацию. — Я тогда вам все рассказал.

— Что, полагаю, дает мне право сейчас коснуться этой темы. Ведь мы с вами друзья и можем разговаривать откровенно, не так ли? В свое время я выслушал вас, послушайте и вы меня. Не возражаете, если и я немного поговорю о себе?

— Разумеется, мистер Фербратер, я так вам обязан, — ответил, томясь недобрыми предчувствиями, Фред.

— Да, кое-чем вы мне обязаны, не буду отрицать. Но признаюсь, Фред, у меня было нынче искушение лишить вас этих преимуществ и не искать с вами встречи. Когда кто-то мне сказал: «Молодой Винси снова повадился каждый вечер

в бильярдную, долго ему не продержаться», у меня возникло искушение поступить совсем не так, как я все же поступил. Я хотел воздержаться от встречи с вами и предоставить вам катиться по наклонной плоскости, поначалу заключать пари, затем…

— Я не заключил ни единого пари, — поспешно сказал Фред.

— Рад это слышать. Но повторяю, я был склонен не предостерегать вас и подождать, пока у Гарта истощится терпение, а вы утратите величайшее благо, которого весьма упорно добивались. Вы вполне можете догадаться, какое чувство толкало меня на этот путь, это чувство вам известно, я уверен. Ведь вы не можете не знать, что осуществление ваших желаний препятствует осуществлению моих.

Наступила пауза. Мистер Фербратер, казалось, ждал подтверждения, в его красивом голосе слышалось волнение, и это придало торжественность его словам. Однако Фреда продолжала снедать жгучая тревога.

— Неужели вы полагаете, что я отступлюсь? — сказал он наконец. Выказывать показное благородство было бы сейчас неуместно.

— Нет, разумеется, пока вы пользуетесь взаим-

ностью. Но отношения такого рода, как бы долго они ни существовали, рано или поздно могут измениться. Я с легкостью представляю себе, как опрометчивым поведением вы ослабляете узы, привязывающие к вам мисс Гарт — вспомните: она связана с вами только словом, — и в таком случае другой человек, пользующийся ее несомненным расположением, может надеяться завоевать ее любовь, равно как и уважение, которого вы по собственной вине лишились. Я вполне явственно представляю себе такой исход, — с жаром повторил мистер Фербратер. — Взаимная приязнь и родство душ способны вытеснить даже давнишнюю привязанность.

Фред подумал, что если бы мистер Фербратер вместо столь изысканного красноречия пустил в ход клюв и когти, то и тогда его нападение не казалось бы таким жестоким. С ужасом он заподозрил, что Мэри и впрямь изменилась к нему и высказанное Фербратером предположение имеет под собой реальную основу.

— Я, конечно, понимаю, со мной разделаться легко, — сказал он удрученно. — Если Мэри начнет сравнивать. — Не желая выдавать своих чувств, он умолк, затем добавил с горечью: — Но я-то думал, вы мне друг.

— Это верно, иначе мы бы здесь не находились. Впрочем, сперва я намеревался поступить совсем не так. Я говорил себе: стоит ли вмешиваться, если этот юнец сам все делает себе во вред? Ты ведь человек не менее достойный, а разделяющие вас шестнадцать лет, проведенные тобой в тоскливом одиночестве, только увеличивают твое право быть счастливым. Он может сбиться с пути, ну и пусть, воспрепятствовать этому ты, вероятно, не сможешь, так воспользуйся же своим преимуществом.

Снова пауза, и в сердце Фреда прокрался неприятный холодок. Что-то он услышит дальше? Ужасно, если Мэри что-нибудь уже известно… предостережение приняло в его глазах облик угрозы. Когда священник заговорил опять, его голос звучал совсем иначе, и этот новый тон пробудил в душе Фреда надежду.

— Однако прежде я руководствовался более благородными намерениями, они победили и на этот раз. Я решил, что лучше всего помогу вам, Фред, откровенно рассказав все, что я передумал. Ну а сейчас… вы поняли меня? Я хочу, чтобы вы с Мэри были счастливы, и если произнесенное мною слово предупреждения каким-нибудь образом способно помешать разрыву, то это слово

я сказал.

Голос его под конец звучал негромко, глухо. Он умолк, они стояли на травянистом клочке земли, там, где от проезжей улицы ответвлялась небольшая, ведущая к церкви святого Ботольфа, и мистер Фербратер протянул руку Фреду, как бы показывая, что разговор окончен. Фреда охватило неведомое ему прежде волнение. Кто-то сказал однажды, что любой благородный поступок, приводя в трепет, очищает человека, и тот, словно родившись заново, готов начать новую жизнь. Нечто подобное испытывал сейчас Фред Винси.

— Я постараюсь быть достойным, — сказал он и, запнувшись, закончил: — Не только Мэри, но и вас.

А мистер Фербратер, повинуясь внезапному движению души, добавил:

— Я вовсе не считаю, Фред, что вы утратили в какой-то мере ее расположение. Успокойтесь, все у вас будет отлично, но зависит это от вас самого.

— Я никогда не забуду того, что вы для меня сделали, — ответил Фред. — Сказать тут нечего, я просто постараюсь, чтобы не пропало даром сделанное вами добро.

— Вот и прекрасно. До свиданья, и да благосло-

вит вас бог.

На том они простились. Но каждый еще долго шел пустынной, освещенной звездами дорогой. Размышления, которым предавался Фред, можно вкратце выразить так:

«А ей и вправду хорошо было бы выйти за Фербратера, но нравлюсь-то ей я, и мужем стану неплохим».

Мистер Фербратер, пожалуй, смог бы подытожить свои размышления, слегка пожав плечами и сказав:

«Удивительно, какую роль порой играет в нашей жизни женщина: отказаться от нее — чуть ли не героический подвиг, завоевать — великое искусство».

## Глава LXVII

*В душе идет гражданская война;*
*Уже с престола свергнута Решимость*
*Назойливыми Нуждами, и Гордость,*
*Визирь, еще недавно непреклонный,*
*Теперь красноречиво говорит*
*От имени мятежников голодных.*

К счастью, Лидгейт, проигравшись в бильярдной, не испытывал больше желания искать там милостей фортуны. Мало того, он стал противен самому себе, когда должен был на другой день не только отдать весь свой выигрыш, но и заплатить сверх того четыре-пять фунтов, и ужаснулся при мысли, сколь неприглядное зрелище он являл собой, когда, затесавшись в толпу завсегдатаев «Зеленого дракона», вел себя точно так же, как они. Философ, принявший участие в азартной игре, ничем не отличается от играющего с ним филистера, разница только в раздумьях, наступающих после игры, — у Лидгейта они оказались весьма неприятного свойства. Разум твердил ему, что дело могло обернуться катастрофой, окажись он не в бильярдной, а в игорном доме, где удачу

следует хватать обеими руками, а не выуживать легким движением пальцев. И все же, хотя разум восставал против желания попытать счастья в карточной игре, Лидгейт предпочел бы этот выход другому, как видно неизбежному.

Обстоятельства вынуждали его просить помощи у Булстрода. Лидгейт так привык кичиться перед окружающими и собой своей независимостью от Булстрода, осуществлению чьих планов он всецело посвятил себя, ибо они давали ему возможность с честью служить обществу и науке, он так неизменно испытывал гордость, встречаясь с ним, при одной мысли, что могущественный и властный банкир, взгляды которого представлялись ему нелепыми, а побуждения — сумбурными и противоречивыми, приносит пользу обществу, повинуясь его, Лидгейта, воле, что для него теперь совершенно недопустимо было бы просить Булстрода о чем-то для себя.

Но к началу марта дела Лидгейта оказались в том плачевном состоянии, когда человек начинает сожалеть об опрометчивых зароках, и то, что прежде он именовал немыслимым, теперь представляется ему вполне возможным. Сейчас, когда истекал срок унизительной закладной, данной Дувру, а полученные от пациентов деньги тотчас

переходили в руки кредиторов и все явственнее становилась угроза, что лавочники перестанут отпускать в долг провизию, если выяснят, как обстоят его дела, а надо всем этим к тому же витал образ разочарованной и недовольной мужем Розамонды, Лидгейт почувствовал: как ни печально, но придется обратиться к кому-нибудь из окружающих за помощью. Сперва он подумывал написать мистеру Винси, но, расспросив Розамонду, обнаружил, что, как он и подозревал, та уже дважды обращалась к папеньке за помощью, во второй раз — после того, как убедилась в неотзывчивости сэра Годвина, и тот ответил, что Лидгейт должен сам о себе позаботиться. «Папа говорит, уже несколько лет его преследуют неудачи и фабрика постепенно переходит в руки каких-то людей, которые одалживают ему деньги, и теперь он должен отказывать себе во многих удовольствиях и даже сотни фунтов не может выкроить — ему нужно обеспечить семью. Он сказал, пусть Лидгейт попросит Булстрода: они друзья — водой не разольешь».

Лидгейт и сам пришел к выводу, что если уж ему придется просить денег в долг, то лучше всего обратиться к Булстроду, ибо, ввиду особого характера их отношений, помощь, оказанная

ему банкиром, не будет выглядеть как чисто личное одолжение. Булстрод явился косвенной причиной его неуспеха у пациентов, Булстрод радовался, залучив врача для осуществления своих филантропических планов… впрочем, кто из нас, попав в положение, в каком оказался сейчас Лидгейт, не утешал себя мыслью, что просьба не столь уж унизительна, ибо человек, к которому он обращается, кое-чем ему обязан? Правда, Булстрод в последнее время, казалось, утратил интерес к больнице, но это было вполне объяснимо: банкир неважно выглядел и обнаруживал некоторые признаки нервного расстройства. Во всех иных отношениях он как будто бы не изменился: держался с Лидгейтом необычайно учтиво, хотя с самого начала их знакомства проявлял сдержанность во всем, что касалось личных обстоятельств; эту сдержанность Лидгейт предпочитал дружеской фамильярности. Он откладывал со дня на день осуществление своего намерения — привычка действовать едва приняв решение изменила ему, — так велик был его страх перед возможными последствиями действий. Он часто виделся с Булстродом, но не воспользовался ни одной из встреч, чтобы обратиться к банкиру с просьбой. То он думал: «Напишу письмо, там

можно изложить все прямо, не то что в разговоре», и тотчас: «Нет! В разговоре можно вовремя остановиться, если дело запахнет отказом».

Дни проходили, он не писал письма и не просил о встрече. Мысль об унизительной зависимости настолько его ужасала, что в его воображении стал вырисовываться новый план, совсем уж невозможный для прежнего Лидгейта. Он теперь и сам начал подумывать, нельзя ли осуществить ребяческую фантазию Розамонды, которая еще недавно его так сердила: нельзя ли им и впрямь покинуть Мидлмарч, не заботясь о дальнейшем. Тут возникал вопрос: удастся ли продать хотя бы за бесценок практику? В таком случае они могли бы распродать и все имущество — кого же это удивит, если люди уезжают в другой город?

Но шаг этот, как и прежде, представлялся ему позорным отказом от начатой работы, трусливым бегством с верного пути, ведущего к широкой научной деятельности, нелепой попыткой начать жизнь заново без определенных перспектив, и — самое главное: еще сыщется ли покупатель и когда это произойдет? А потом? Розамонда после переезда в город, даже очень отдаленный от Мидлмарча, даже в Лондон, будет чувствовать себя несчастной в убогой квартирке и во всем

обвинять мужа. Ибо человек, закладывающий фундамент научной карьеры, может закладывать его весьма долго, невзирая на свою ученость и таланты. Проникновение в бездну наук и меблированные комнаты с легкостью уживаются под британским небом; не уживаются там интерес к науке и жена, не одобряющая такого рода резиденций.

Но в разгар всех этих колебаний на помощь пришел случай. Однажды утром Лидгейту принесли записку, в которой мистер Булстрод просил его зайти в банк. В последнее время у банкира появилась склонность к ипохондрии, и бессонница, явившаяся просто следствием расстройства пищеварения, представилась ему симптомом надвигающегося безумия. Вот почему он пожелал безотлагательно посоветоваться с Лидгейтом, хотя не мог ничего добавить к тому, что рассказывал раньше. Он жадно выслушал все, что сказал ему, стремясь развеять его страхи, Лидгейт, хотя и на сей раз не было произнесено ничего нового, и тот миг, когда банкир выслушивал успокоительные объяснения врача, показался последнему наиболее удобным, чтобы сообщить и о собственных нуждах, не испытывая той неловкости, которой он так опасался. Лидгейт настаивал, чтобы ми-

стер Булстрод менее усердно занимался делами.

— Вот так даже небольшое душевное напряжение отражается на организме, — сказал Лидгейт, переходя от частных положений к общим. — Тревога налагает глубокий отпечаток даже на тех, кто молод и полон сил. Я очень крепок от природы, тем не менее я совершенно выбит из колеи постигшими меня в последнее время неприятностями и волнениями.

— Я полагаю, такой восприимчивый организм, как мой, легко может стать жертвой холеры, если она появится у нас в округе. И коль скоро неподалеку от Лондона уже наблюдались случаи заболевания, остается только уповать на милосердие всевышнего, — перебил мистер Булстрод, но не потому, что желал уклониться от ответа, а просто всецело поглощенный тревогой за свое здоровье.

— Вы, во всяком случае, сделали все, чтобы в нашем городе были приняты необходимые меры предосторожности, что полезнее, чем просто уповать, — сказал Лидгейт, которому не нравились и путаные аллегории, и порочная логика религиозных побуждений банкира, тем более что тот пропустил мимо ушей его слова. Но решившись, после долгих колебаний, просить помощи у Бул-

строда, он продолжил попытку: — Город отлично подготовлен и в санитарном, и в медицинском отношении, и я думаю, если сюда доберется холера, даже наши недруги вынуждены будут признать, что у нас в больнице сделано все необходимое для блага горожан.

— Именно так, — довольно холодно ответил мистер Булстрод. — Кстати, я совершенно согласен с вашим мнением о том, сколь необходимы при напряженной умственной деятельности хотя бы краткие передышки, и недавно решил принять кое-какие меры… весьма определенные. Я предполагаю на некоторое время прекратить как коммерческую, так и благотворительную деятельность. Кроме того, я временно собираюсь изменить свое местопребывание; дом в моем имении «Шиповник» будет, возможно, заколочен или сдан внаем, а сам я поселюсь где-нибудь в здоровой местности на побережье, разумеется, предварительно испросив совета врача. Вы одобряете мое решение?

— О да, — ответил Лидгейт, откинувшись на спинку кресла и едва скрывая раздражение, которое ему внушал пытливый и встревоженный взгляд тусклых глаз банкира и его чрезмерная озабоченность состоянием здоровья собственной

персоны.

— Я уже и раньше собирался поговорить с вами о больнице, — продолжал Булстрод. — При упомянутых обстоятельствах я не смогу лично участвовать в делах, а вкладывать большие денежные средства в предприятия, деятельность коих мною не контролируется и хотя бы в малой степени не направляется, противно моим убеждениям. Потому, если я окончательно решу покинуть Мидлмарч, я не сочту для себя возможным оказывать какую-либо иную помощь больнице, кроме той, которую уже оказал, приняв на себя большую часть расходов по постройке здания, а впоследствии субсидируя это заведение солидными суммами, необходимыми для его успешной работы.

Тут Булстрод сделал очередную паузу, а Лидгейт подумал: «Вероятно, он понес недавно большие убытки». Ничем иным он не мог объяснить неожиданное решение банкира, развеявшее все его ожидания в прах. Вслух он сказал:

— Больница потерпит большой ущерб, который вряд ли можно возместить.

— Да, если оставить все по-прежнему, — ответил Булстрод, так же размеренно произнося каждое слово. — Из всех попечителей, по-моему,

только миссис Кейсобон может согласиться увеличить сумму вклада. Я с ней беседовал на эту тему и высказал мнение, которое сейчас намерен высказать и вам: в новой больнице надлежит изменить всю систему попечительства, сосредоточенную до сих пор в руках немногих.

Он сделал еще одну паузу, но Лидгейт промолчал.

— Мера, которую я предлагаю, — слияние новой и старой больниц в одно лечебное учреждение, имеющее общий попечительский совет. В этом случае придется объединить и управление лечебной частью обеих больниц. Тогда сразу отпадут все трудности, связанные с добыванием средств для новой больницы; приношения местных филантропов сольются в общий поток.

Тут Булстрод вновь умолк, и его взгляд переместился с физиономии Лидгейта на пуговицы его фрака.

— Без сомнения, весьма благоразумная и выгодная в практическом отношении мера, — не без иронии ответил Лидгейт, — однако ликовать по этому поводу я, увы, не могу, ибо не успеем мы к ней прибегнуть, как мои коллеги наложат запрет на все введенные мною методы лечения, хотя бы потому, что предложил их я.

— Как вам известно, мистер Лидгейт, лично я был самого высокого мнения об оригинальных планах, которые вы с таким старанием осуществляли. Покорствуя промыслу божию, я от всей души поддерживал предложенный вами первоначально проект. Но коль скоро провидение призывает меня отречься, я отрекаюсь.

В течение этой беседы Булстрод обнаружил таланты, которые раздражали слушателя. Уже замеченные Лидгейтом путаные аллегории и порочная логика религиозных побуждений сочетались с пренеприятнейшей манерой излагать все обстоятельства так, что собеседник не имел возможности выразить свое возмущение и разочарование. После недолгого раздумья он кратко спросил:

— Что же сказала миссис Кейсобон?

— Я намеревался затронуть эту тему, покончив с предыдущей, — ответил Булстрод, основательно подготовивший всю систему аргументов. — Как вам известно, миссис Кейсобон, женщина удивительной щедрости, к счастью, располагает состоянием, вероятно, не очень крупным, но все-таки приличным. Несмотря на то, что большая часть этих средств предназначена ею для совершенно другой цели, миссис Кейсобон намерена

подумать, не сможет ли она полностью взять на себя обязанности, ныне выполняемые мною в попечительском совете больницы. Но чтобы прийти к окончательному решению, ей требуется немалый срок, и я ее уведомил, что нет нужды спешить, поскольку мои планы пока еще отнюдь не определились.

Лидгейт чуть было не воскликнул: «Если миссис Кейсобон займет ваше место, больница только выиграет». Но печальное положение его собственных дел помешало ему проявить столь беззаботную откровенность. Он лишь сказал в ответ:

— Мне, очевидно, следует поговорить об этом с миссис Кейсобон.

— Да, несомненно, ей это весьма желательно. Ее решение, говорит она, будет во многом зависеть от результатов вашей беседы. Правда, разговор придется отложить: полагаю, в настоящее время миссис Кейсобон готовится к отъезду. Вот полученное мною от нее письмо, — сказал мистер Булстрод и, вынув конверт из кармана, прочел вслух: — «Я еду в Йоркшир с сэром Джеймсом и леди Четтем. Решив на месте, как распорядиться тамошними землями, я определю размеры суммы, которую смогу пожертвовать на нужды

больницы». Как вы убедились, мистер Лидгейт, спешить нет никакой нужды; но я хотел заранее вас уведомить о возможных переменах.

Тут мистер Булстрод положил конверт в карман и выпрямился в знак того, что разговор окончен. Лидгейт еще больше приуныл, когда развеялась промелькнувшая было перед ним надежда, и понял, что действовать нужно тотчас же, и при этом самым решительным образом.

— Вы были весьма любезны, посвятив меня во все подробности, — заговорил он твердо, но в то же время отрывисто, словно принуждая себя продолжать. — Самое главное в моей жизни — наука, и мне нигде не удастся осуществить мои научные замыслы столь успешно, как я мог бы это сделать в нашей больнице. Но осуществление научных замыслов не всегда способствует приобретению благ земных. Неприязнь, которую в силу разных причин здешние обыватели питают к больнице, распространилась — в чем, вероятно, повинно мое рвение к науке — и на меня. Моя практика сильно сократилась, остались главным образом лишь пациенты, которые не в состоянии мне уплатить. Они мне симпатичнее других, но, к сожалению, мне самому приходится платить по счетам кредиторов. — Лидгейт сделал паузу, но

Булстрод лишь кивнул, не спуская с него пристального взгляда, и он продолжил, так резко бросая слова, будто кусал стрелку горького лука:
— У меня возникли денежные затруднения, с которыми я не сумею справиться, если только кто-нибудь, кто верит в меня и в мое будущее, не одолжит мне денег, не требуя иных обеспечений. Я приехал в Мидлмарч с весьма скудными средствами. У меня нет надежд на наследство. После женитьбы мои расходы оказались гораздо более значительными, чем я предполагал вначале. В настоящий момент для того, чтобы расплатиться с долгами, мне нужна тысяча фунтов. Иными словами, такая сумма избавила бы меня от опасений, что мое имущество будет распродано с молотка как обеспечение самого крупного моего долга; она помогла бы мне уплатить и другие долги, а остаток мы смогли бы растянуть на некоторое время, пользуясь нашим скромным доходом. Как я выяснил, о том, чтобы мой тесть предложил мне в долг такую сумму, не может быть речи. Вот почему я посвящаю в свои обстоятельства единственного, кроме мистера Винси, человека, который, по-моему, до некоторой степени заинтересован в том, чтобы я не разорился.

Лидгейту противно было слушать самого се-

бя. Тем не менее он высказался и сделал это недвусмысленно. Мистер Булстрод ответил, не торопясь, но и без колебаний.

— Я опечален, хотя, признаюсь, не удивлен вашими словами, мистер Лидгейт. Меня с самого начала весьма удручил ваш альянс с семьей моего свойственника, которая всегда отличалась расточительными наклонностями и которой я неоднократно оказывал помощь, благодаря чему ей удалось сохранить положение в обществе. Мой вам совет, мистер Лидгейт, впредь не связывать себя обязательствами и, прекратив опасную игру, просто объявить себя банкротом.

— Не так-то это приятно, — поднимаясь, желчно сказал Лидгейт, — и к тому же вряд ли благотворно повлияет на мою будущность.

— Да, это испытание, — согласился мистер Булстрод. — Но испытания суть наш земной удел и способствуют исправлению наших пороков. Я искренне рекомендую вам обдумать мой совет.

— Благодарю, — ответил Лидгейт, не вполне ясно сознавая, что говорит. — Я отнял у вас слишком много времени. Всего хорошего.

## Глава LXVIII

*Добру какое выбрать одеянье,*
*Коль взял его покров Порок нагой?*
*Коль Зло, Притворство, Темные Деянья*
*Во имя цели трудятся благой?*
*Событий совокупностью могучей*
*И сводной картою всех дел людских*
*Доказано, что как ни правит Случай,*
*Но путь прямой надежней остальных.*
*Ученый Опыт с твердостью ступает,*
*Очами мудрости вселенской зря,*
*Но спотыкается, куда идти не знает*
*Обман, бредущий без поводыря.*

***Дэниел, «Музофил»***

Новые планы, о которых Булстрод обмолвился в разговоре с Лидгейтом, возникли у него после того, как он прошел через тяжкие мытарства, начавшиеся в день распродажи имущества мистера Ларчера, когда Рафлс опознал Уилла Ладислава, а банкир предпринял тщетную попытку исправить содеянное им зло, в надежде отвратить от себя карающую длань божественного провидения.

Он убежден был, что Рафлс, если жив, не за-

медлит возвратиться в Мидлмарч, и не ошибся. В канун Рождества Рафлс вновь появился в «Шиповнике». Булстрод, оказавшийся в то время дома, перехватил его и помешал познакомиться с остальными членами семьи, тем не менее сопутствующие визиту обстоятельства представили в сомнительном свете хозяина и встревожили его жену. Рафлс вел себя еще более необузданно, чем при первом посещении: вследствие неумеренных возлияний он неизменно пребывал в состоянии возбуждения и ни малейшего внимания не обращал на попытки его образумить. Он выразил желание пожить в поместье, и Булстрод, поразмыслив, пришел к выводу, что это меньшее из двух зол, ибо было бы гораздо хуже, если бы Рафлс появился в городе. Он продержал его весь вечер в своем кабинете, затем проводил в спальню, а незваный гость резвился, наблюдая, сколько хлопот доставляет он своим визитом надменному и респектабельному богачу, и игриво выражал свое удовольствие по поводу того, что его приятель Булстрод наконец-то получил возможность расквитаться за услугу, некогда ему оказанную. За шумным каскадом шуток скрывался тонкий расчет — Рафлс хладнокровно ожидал, когда банкир, стремясь избавиться от

своего мучителя, выбросит ему изрядный куш. Но он перегнул палку.

Булстрод и впрямь испытывал муки, подобные которым даже не могут вообразить себе столь низменные натуры, как Рафлс. Жене он объяснил, что это жалкое создание, жертва собственных пороков, нуждается в его заботах и опеке; не прибегая к прямой лжи, он дал понять, что заботиться о несчастном его понуждают родственные узы, но что Рафлса следует остерегаться, ибо он не вполне вменяем. Бедняга переночует в доме, а наутро Булстрод сам отвезет его куда следует. По его расчетам, миссис Булстрод, выслушав эти намеки, несомненно, предупредит дочерей и слуг по поводу опасного гостя и никто не удивится запрещению входить в его комнату даже с едой и питьем. Но его терзали страхи, не услышит ли кто громогласные разглагольствования Рафлса, без обиняков упоминавшего о прошлом… не вздумает ли миссис Булстрод подслушивать у дверей? Разве он сможет ей помешать — ведь, внезапно открыв дверь, чтобы застать жену на месте преступления, он себя выдаст. Миссис Булстрод, женщина честная и прямая, едва ли захотела бы прибегнуть к столь низкой уловке, чтобы узнать секреты мужа, но перепуганному банкиру все

представлялось возможным.

Устрашая его таким образом, Рафлс перестарался и добился результата, совершенно не входившего в его планы. Булстрод, видя, что не справится с ним добром, решился на крайние меры. Проводив Рафлса в спальню, банкир велел заложить карету к половине восьмого утра. В шесть он был уже одет и с чувством помолился, горячо заверяя всевышнего, что, если ему иногда случалось кривить душой и говорить неправду, он делал это лишь во избежание худшего зла. К умышленной лжи он относился с отвращением, неожиданным для человека, повинного в таком множестве менее явных проступков. Впрочем, почти все эти проступки были подобны слабым мускульным движениям, которые мы совершаем непроизвольно, однако имея в виду определенную цель. Но нам кажется, будто всеведущий знает лишь о тех наших целях, которые мы сами отчетливо представляем себе.

Держа в руке свечу, Булстрод подошел к постели Рафлса, беспокойно мечущегося во сне. Он стоял молча, надеясь, что свет медленно и постепенно разбудит гостя и тот проснется без шума. Рафлс действительно стал вздрагивать, тяжело дышать и вскоре с приглушенным стоном сел

на постели, ошеломленно и испуганно озираясь. Убедившись, что он не собирается шуметь, Булстрод поставил подсвечник и подождал, пока Рафлс придет в себя.

Минуло четверть часа, прежде чем Булстрод произнес с холодной властностью, которой до сих пор не обнаруживал:

— Я к вам зашел так рано, мистер Рафлс, поскольку приказал подать в половине восьмого карету и собираюсь проводить вас до Айлсли, где вы можете сесть в поезд либо подождать дилижанса.

Рафлс хотел что-то сказать, но Булстрод резко его перебил:

— Помолчите, сэр, и слушайте меня. Я снабжу вас сейчас деньгами и время от времени буду выплачивать вам небольшие суммы, если вы обратитесь ко мне с письменной просьбой; если же вы вздумаете снова появиться здесь, если вы вернетесь в Мидлмарч, если вы будете порочить мою репутацию, пеняйте на себя — я вам не стану помогать. Можете хулить меня сколько угодно, вам никто за это не заплатит. Вред, который вы можете мне причинить своей болтовней, невелик, и если вы еще раз сюда явитесь, я не испугаюсь. Встаньте, сэр, и выполняйте все, что я велел, да

не шумите, иначе я пошлю за полицейским и попрошу его выдворить вас из моего дома, а там рассказывайте ваши сказки хоть во всех городских кабаках, но я не дам и шести пенсов, чтобы оплатить ваши расходы в этих заведениях.

Булстрод редко говорил с такой горячностью; большую часть ночи он обдумывал эту речь и, хотя не надеялся, что она навсегда избавит его от визитов Рафлса, счел этот ход наилучшим из всех возможных. На сей раз ему и впрямь удалось обескуражить своего мучителя: пьянчужка спасовал перед холодной властностью Булстрода и был втихомолку увезен в карете еще до завтрака. Слуги приняли его за бедного родственника и ничуть не удивились, что их суровый и гордый хозяин поспешил от него избавиться. Невеселое начало рождественского дня, впрочем, к концу путешествия Рафлс повеселел, чему немало способствовала полученная от банкира сотня фунтов. Щедрость Булстрода была вызвана целым рядом побуждений, но не в каждом из них он старался разобраться. Так, наблюдая беспокойный сон Рафлса, он внезапно подумал, что здоровье последнего порядком пошатнулось за то время, пока он прокучивал предыдущие двести фунтов.

Резким и суровым тоном он еще раз повторил,

что не позволит впредь себя дурачить, и постарался внушить Рафлсу, что путь открытой борьбы страшит его не больше, чем постоянная выплата отступного. И все-таки, избавившись от негодяя и вернувшись под свой мирный кров, Булстрод почувствовал, что добился только отсрочки. Так кошмарные видения страшного сна и после пробуждения не утрачивают реальности — вокруг все мило и привычно, но куда ни глянь — мерещатся липкие следы какой-то мерзкой гадины.

Мы часто не предполагаем, в какой огромной мере наш душевный покой зависит от уверенности, будто нам известно мнение окружающих о нашей особе, и осознаем эту зависимость только тогда, когда репутация наша оказывается под угрозой.

Булстрод, видя, как старательно его жена избегает малейших упоминаний о Рафлсе, с особенной ясностью понял, что его визит ее обеспокоил. В кругу семьи банкир давно привык вдыхать фимиам почтительности и подобострастия; при мысли, что за ним наблюдают исподтишка, заподозрив в сокрытии постыдной тайны, он даже поучения произносил нетвердым голосом. Для таких мнительных людей, как Булстрод, предвидеть зачастую тяжелей, чем убедиться наверное;

и воображение рисовало ему мучительное зрелище неминуемого позора. Да, неминуемого: ведь если Рафлс не испугался угроз и вновь пожалует — а на иной исход надежды мало, — позора не избегнуть. И напрасно Булстрод повторял себе, что это было бы испытанием, предупреждением, карой свыше; воображаемые муки ужасали его — по его мнению, для славы господней было бы гораздо лучше, если бы он избежал бесчестья. И вот, движимый страхом, он наконец решился покинуть Мидлмарч. Если его соседям предстоит узнать неприглядную истину, пусть сам он в это время находится вдали от них; а на новом, необжитом месте он станет менее уязвим, и если мучитель вздумает преследовать его и там, он уже не будет так страшен. Булстрод знал, как тяжело его жене покинуть родные края, и при иных обстоятельствах предпочел бы остаться там, где и сам пустил корни. Приготовления к отъезду велись со всевозможными оговорками, чтобы сохранить возможность возвратиться после краткой отлучки, если милостивое вмешательство провидения развеет его страхи. Ссылаясь на пошатнувшееся здоровье, он готовился передать в другие руки управление банком и контроль над прочими коммерческими предприятиями,

оставив за собою право возобновить в дальнейшем прерванную деятельность. Все это требовало дополнительных расходов и еще больше уменьшало доходы, и без того сократившиеся из-за общего упадка торговли; расходы на содержание больницы представлялись наиболее обременительной из трат, от которой весьма желательно было избавиться.

Такова была подоплека, определившая его позицию в разговоре с Лидгейтом. Впрочем, к этому времени Булстрод успел сделать лишь предварительные распоряжения, которые при желании мог легко отменить. Он упорно не предпринимал решительных шагов, как ни терзали его страхи, — подобно пассажиру тонущего корабля или человеку, оказавшемуся в карете, когда внезапно понесли лошади, он упорно верил, что его спасет от гибели какое-нибудь чудо и он поступит опрометчиво, снявшись с насиженного места на склоне лет, тем более что не сумеет внятно объяснить жене, какова причина их бессрочной ссылки.

На время отсутствия Булстроду требовалось подыскать управляющего для Стоун-Корта; об этом деле, так же как о всех других, связанных с управлением домами и земельными владениями

в Мидлмарче и окрестностях, он совещался с Кэлебом Гартом. Весьма желательно было найти управляющего, который ставил бы интересы своего нанимателя выше собственных. Так как Булстроду хотелось оставить за собой Стоун-Корт, чтобы всегда иметь возможность вновь посетить свое излюбленное место отдыха, Кэлеб посоветовал не поручать управления никому, а сдавать ферму со всем имуществом, инвентарем и утварью в аренду, ежегодно получая соответственную часть дохода.

— Могу ли я попросить вас, мистер Гарт, подыскать для меня арендатора на этих условиях? — спросил Булстрод. — И не будет ли вам угодно назвать сумму ежегодного вознаграждения за ведение всех дел, которые мы с вами только что совместно обсудили?

— Я подумаю, — ответил Кэлеб, как всегда немногословно. — Прикину, что и как.

Если бы у него не промелькнула мысль о Фреде Винси, мистера Гарта, возможно, не обрадовало бы новое прибавление к его обязанностям, которые миссис Гарт и так считала чрезмерными для своего уже немолодого мужа. Но после разговора с Булстродом о сдаче в аренду Стоун-Корта у Кэлеба возникла соблазнительная идея. Не согласится

ли Булстрод передать ферму Фреду Винси при условии, что Кэлеб Гарт возьмет на себя ответственность за ее управление? Фред прошел бы здесь отличную выучку и, получая за свои труды скромное вознаграждение, успевал бы помогать Гарту в других делах, и там приобретая знания. Все эти соображения он изложил миссис Гарт с таким восторгом, что жена, как всегда опасаясь, не слишком ли много дел он на себя взвалил, не решилась омрачить сомнениями его радость.

— Мальчик был бы просто счастлив, — сказал он, — если бы мне удалось устроить его на это место. Ты только представь себе, Сьюзен! Он столько лет рассчитывал получить ферму в наследство от старика Фезерстоуна. И ведь редкостная будет удача, если в конце концов именно там он станет хозяйничать, пусть даже как арендатор. Может статься, он мало-помалу сумеет выкупить ее у Булстрода. Тот, по-моему, еще и сам не решил, уезжает он навсегда или временно. Нет, право же, мысль замечательная. Тогда дети вскоре смогли бы пожениться, Сьюзен.

— Ты, надеюсь, не собираешься посвящать в свои надежды Фреда до того, как Булстрод даст согласие, — несколько обеспокоенно спросила миссис Гарт. — Что до свадьбы, Кэлеб, то не нам,

старикам, торопить события.

— Ну, не знаю, — склонив голову набок, ответил Кэлеб. — Женится — утихомирится. Фред станет другим человеком, и мне уже не нужно будет не спускать с него глаз. Но, конечно, пока не выяснится дело, я ему ничего не скажу. Я еще раз потолкую с Булстродом.

Он не стал медлить с переговорами. Булстрода весьма мало тревожила судьба его племянника Фреда Винси, зато он испытывал сильнейшее желание заручиться посредничеством мистера Гарта в многочисленных делах, которые, по его мнению, непременно пришли бы в упадок, поручи он наблюдение за ними менее добросовестному человеку. Руководствуясь этими соображениями, он не стал возражать против идеи мистера Гарта. Была еще одна причина, принудившая его с охотой оказать услугу одному из членов семьи Винси. Причина эта заключалась в том, что миссис Булстрод, прослышав о долгах Лидгейтов, принялась озабоченно расспрашивать мужа, не сможет ли он сделать что-нибудь для бедной Розамонды, и весьма встревожилась, узнав, что дела Лидгейта едва ли возможно поправить и самое разумное — «предоставить им идти, как идут». Миссис Булстрод впервые в жиз-

ни позволила себе сказать:

— Мне кажется, ты не очень хорошо относишься к моим родственникам, Никлас. Я уверена, что ни один из них ничем себя не опорочил. Они, возможно, слишком суетны, но никто не может сказать, что они люди непочтенные.

— Милая Гарриет, — сказал мистер Булстрод, слегка съеживаясь под взглядом жены, в глазах у которой уже появились слезы. — Я передал немало денег в руки твоего брата. Неужели после этого я должен обеспечивать его взрослых детей?

Миссис Булстрод, сочтя возражение справедливым, прекратила упреки и ограничилась тем, что оплакивала бедняжку Розамонду, чье сумасбродное воспитание, как и следовало ожидать, принесло дурные плоды.

Но мистер Булстрод, вспоминая этот разговор, чувствовал, что, когда ему придется сообщить жене о необходимости покинуть Мидлмарч, его задача несколько облегчится, если он сможет заодно ее порадовать, рассказав, как позаботился о судьбе ее племянника Фреда. Пока он попросту упомянул, что собирается нанять дом на южном побережье и на несколько месяцев перебраться туда.

Таким образом исполнилось желание мистера

Гарта: ему было обещано, что, если Булстрод на неопределенное время уедет из Мидлмарча, Фред Винси станет арендатором Стоун-Корта на предложенных условиях.

Этот «счастливый поворот событий» приводил Кэлеба в ликование, и только ласковые, но твердые наставления жены помешали ему рассказать все Мэри, чтобы «успокоить девочку». Впрочем, обуздав свое нетерпение, он старательно скрывал от Фреда поездки в Стоун-Корт, совершаемые с целью как следует ознакомиться с положением дел на ферме и произвести предварительную оценку ее стоимости.

Отправляясь в эти поездки, Кэлеб опережал события, но он испытывал неизъяснимое удовольствие, готовя для Фреда и Мэри приятный сюрприз, словно подарок ко дню рождения детишкам.

— Ну, а если все это окажется воздушным замком? — спросила миссис Гарт.

— Ничего страшного, — ответил Кэлеб. — Обрушившись, мой замок никого не раздавит.

# Глава LXIX

*Если ты услышал слово, пусть умрет оно с тобой.*

***Екклезиастикус*[205]**

Мистер Булстрод все еще не ушел из банка и сидел в том же кабинете, где принял Лидгейта, когда часа в три дня вошел клерк и сказал, что лошадь подана, а также что пришел мистер Гарт и просит разрешения с ним побеседовать.

— Ну разумеется, — ответил Булстрод. Кэлеб вошел. — Садитесь, мистер Гарт, прошу вас, — продолжал банкир со всей возможной учтивостью. — Рад, что вы успели меня застать. Я знаю, как вы дорожите временем.

— Э, — негромко отозвался Кэлеб, медленно склоняя набок голову, уселся и поставил на пол шляпу. Он потупился, опершись о колени локтями и свесив вниз тяжелые кисти рук с длинными пальцами, каждый из которых слегка пошевелился, словно откликаясь на мысль, наложившую свой отпечаток на задумчивый высокий лоб.

---

**[205] Примечания: 205**

Екклезиастикус, или Книга Иисуса, сына Сирахова, — одна из неканонических книг Ветхого Завета.

Мистер Булстрод, как и все, кто знал Кэлеба, привык к его манере долго молчать, прежде чем приступить к серьезному, на его взгляд, разговору, и ожидал, что тот снова станет уговаривать его купить несколько домов на Блайндмэнс-Корт, с тем чтобы тут же их снести, ибо приток воздуха и света сторицей возместит расходы. Такого рода предложениями Кэлеб порою вызывал досаду своих работодателей, но с Булстродом они ладили, поскольку тот, как правило, охотно соглашался на его проекты. Вопреки ожиданиям Булстрода Кэлеб негромко сказал:

— Я к вам прямо из Стоун-Корта, мистер Булстрод.

— Надеюсь, там все в порядке, — сказал банкир. — Я вчера побывал в Стоун-Корте. Приплод ягнят, как сообщил мне Эйбл, в этом году отличный.

— В том-то и дело, что не все, — ответил Кэлеб, серьезно взглянув на него. — Там человек, по-моему, очень больной. Ему нужен врач. Я приехал сказать вам об этом. Его зовут Рафлс.

Он заметил, как Булстрод содрогнулся от его слов. Банкир предполагал, что уже никакие новые известия не смогут захватить его врасплох, ибо он и так готов к самому худшему; он ошибся.

— Бедняга! — сочувственно произнес он, однако губы его слегка вздрагивали. — Вам известно, как он туда попал?

— Я сам привез его, — невозмутимо сказал Кэлеб, — усадил в двуколку и привез. Он вылез из дилижанса возле заставы, где взимают дорожный сбор, пошел пешком, и я догнал его почти сразу же за поворотом. Он припомнил, что как-то видел меня с вами в Стоун-Корте, и попросил его подвезти. Он нездоров, я это сразу понял и решил, что его не следует оставлять под открытым небом. По-моему, вам нужно не мешкая послать к нему врача. — Закончив, Кэлеб поднял с пола шляпу и неторопливо встал.

— Разумеется, — ответил Булстрод, лихорадочно соображая как быть. — Возможно, вы сделаете мне одолжение, мистер Гарт, заглянете к мистеру Лидгейту по дороге… хотя стойте! В это время он, наверное, в больнице. Я сию же минуту пошлю к нему верхового с запиской, а затем и сам поеду в Стоун-Корт.

Булстрод торопливо написал записку и вышел отдать распоряжения слуге. Когда он возвратился в комнату, Кэлеб все так же стоял, опираясь одной рукой на спинку стула, а в другой держа шляпу. Все мысли Булстрода вытесняла одна:

«Рафлс, может быть, говорил с Гартом только о своей болезни. Гарт, возможно, удивился, точно так же, как, вероятно, удивился в прошлый раз, что этот пропойца выдает себя за моего приятеля, но наверняка он ничего не знает. К тому же он доброжелательно относится ко мне, я могу быть ему полезен».

Он всей душою жаждал подтверждения этой надежды, но, из боязни себя выдать, не решался спросить, что говорил Рафлс и как вел себя в Стоун-Корте.

— Я чрезвычайно вам обязан, мистер Гарт, — произнес он как всегда изысканно учтивым тоном. — Через несколько минут вернется мой слуга, и тогда я сам поеду посмотреть, чем можно помочь несчастному. У вас, может быть, есть ко мне и другие дела? В таком случае, прошу вас, садитесь.

— Благодарю, — ответил Кэлеб, легким движением руки отклоняя приглашение. — Я хочу сказать вам, мистер Булстрод, что вынужден просить вас передать в другие руки порученные мне дела. Я очень вам обязан, что вы были так уступчивы и добры насчет аренды Стоун-Корта и во всех прочих случаях. Но я должен отказаться.

«Он знает!» — эта мысль, как кинжал, пронзила

сознание Булстрода.

— Как это неожиданно, мистер Гарт, — только и сумел он вымолвить.

— Верно, — сказал Кэлеб. — Но я не передумаю. Я не могу не отказаться.

Он ответил решительно, хотя и очень мягко, но, несмотря на всю мягкость ответа, Булстрод словно сжался, лицо его осунулось, и он поспешно отвел в сторону взгляд. Кэлеб почувствовал щемящую жалость, но не в его натуре было вымышленными предлогами смягчать отказ.

— Боюсь, вас настроили против меня наветы этого жалкого создания, — сказал Булстрод, стремясь выяснить все, что удастся.

— Да. Не стану отрицать: свое решение я принял после разговора с ним.

— Вы совестливый человек, мистер Гарт, и, надеюсь, помните свою ответственность перед богом. Неужели вы сможете нанести мне ущерб, так охотно поверив клевете? — сказал Булстрод, подыскивая доводы, которые могли бы повлиять на собеседника. — Стоит ли по такому ничтожному поводу порывать наши, смею надеяться, взаимовыгодные деловые отношения?

— По собственной воле я никому бы не нанес ущерба, — сказал Кэлеб. — Даже если бы думал,

что господь мне простит. Надеюсь, меня нельзя назвать бесчувственным человеком. Но у меня нет никаких сомнений, сэр, что этот Рафлс говорит правду. А раз так, я не могу на вас работать, брать у вас деньги. Вы уж подыщите себе другого управляющего.

— Ну хорошо, мистер Гарт. Однако я, во всяком случае, имею право знать, в чем состоит возведенный на меня поклеп. В чем заключается грязная ложь, жертвой которой я сделался, — сказал Булстрод, к чьей запальчивости примешивалась теперь робость, внушаемая этим человеком, который так спокойно отказывался от собственных выгод.

— В этом нет нужды, — слегка махнув рукой, ответил Кэлеб так же мягко и участливо, как прежде. — То, что он сказал мне, дальше меня не пойдет, разве только что-нибудь, сейчас неведомое мне, заставит меня рассказать об этом. Если вы корысти ради обидели людей, присвоили себе обманом чужое, вы, наверное, раскаиваетесь… и рады были бы воротить прошлое, да не выходит, и на душе у вас, я думаю, тяжко, — Кэлеб замолк на мгновение и покачал головой, — так зачем же мне делать вашу жизнь еще горше?

— Но вы… вы делаете ее горше, — жалобно

воскликнул Булстрод. — Жизнь моя стала еще горше, когда вы от меня отвернулись.

— Так уж приходится, — еще мягче и участливей ответил Кэлеб и слегка развел руками. — Простите. Я вас не осуждаю, я не говорю: он — дурной человек, а я — праведный. Сохрани меня бог. Я ведь не знаю, что и как. Бывает, совершив дурной поступок, человек сохраняет чистоту помышлений, да только жизнь его уже нечиста. Если так случилось с вами, что ж, я очень вам сочувствую. Но совесть не велит мне впредь на вас работать. Вот и все, мистер Булстрод. Остальное похоронено так глубоко, как только можно. Всего вам доброго.

— Минутку, мистер Гарт! — торопливо воскликнул Булстрод. — Могу ли я считать, что вы мне дали торжественное обещание никогда и никому не повторять это гнусное — пусть даже с некоторой долей истины, — но в целом злонамеренное измышление?

Кэлеб вспыхнул и негодующе сказал:

— Зачем бы я все это говорил, если бы не думал так? Вас я не боюсь. А сплетничать не привык.

— Простите, я так взволнован… этот негодяй меня измучил.

— Полно, стойте! Не вы ли сами сделали его еще

хуже, используя для своей выгоды его пороки?

— Вы так охотно верите ему и несправедливы ко мне, — сказал Булстрод, доведенный до отчаяния тем, что не может назвать все рассказанное Рафлсом ложью; и в то же время довольный, что Кэлеб не поставил его перед необходимостью отрицать возведенные против него обвинения.

— Нет, — ответил Кэлеб и протестующе поднял руку, — я с радостью поверю в лучшее, если меня убедят. Я вовсе не лишаю вас возможности оправдаться. А рассказывать о чужих грехах я считаю преступным, если только это не делается с целью защитить невиновного. Вот каковы мои взгляды, мистер Булстрод, и подтверждать свои обещания клятвой мне нет нужды. Всего доброго, сэр.

Вернувшись к вечеру домой, Кэлеб словно между прочим сказал жене, что у него вышли небольшие разногласия с Булстродом и об аренде Стоун-Корта теперь речи нет, да и вообще он отказался впредь вести дела банкира.

— Он, наверное, слишком совал нос во все? — сказала миссис Гарт, предположив, что мистер Булстрод задел самое уязвимое место Кэлеба, не разрешив ему распоряжаться по собственному усмотрению организацией работ и закупкой строительных материалов.

— Э, — ответил Кэлеб, наклонив голову и хмуро махнув рукой.

Жест этот, как знала миссис Гарт, обозначал, что продолжать разговор ее муж не намерен.

А Булстрод почти сразу же после его ухода сел на лошадь и отправился в Стоун-Корт, чтобы быть там раньше Лидгейта.

В его воображении торопливой чередой проносились всевозможные предположения и картины — отражение его надежд и тревог; так глубокие потрясения отдаются вполне явственным звоном в ушах. Мучительное унижение, которое он пережил, когда Кэлеб Гарт, узнав о его прошлом, отказался иметь с ним дело, сменялось и уже чуть ли не вытеснилось облегчением при мысли, что слушателем Рафлса оказался не кто иной, как Кэлеб. Казалось, провидение извещало его о своем намерении спасти его от бедствий: дела приняли оборот, при котором он мог не опасаться огласки. Внезапная болезнь Рафлса, случайная встреча, которая привела его именно в Стоун-Корт, сулили надежды, в предвкушении которых сердце Булстрода радостно замирало. Сколько полезных дел он сможет совершить, если над ним не будет нависать угроза бесчестья, если он сможет спокойно вздохнуть. Он мысленно при-

носил клятву еще больше посвятить себя добрым делам, он надеялся получить воздаяние за свои благие намерения, он пытался себя уверить, что таким воздаянием может быть смерть ближнего. Он знал, что надо говорить: «Да свершится воля твоя», и часто говорил эти слова. Но он всей душой мечтал, чтобы по воле божьей умер этот ненавистный ему человек.

И все-таки, приехав в Стоун-Корт, Булстрод невольно содрогнулся, увидев, как изменился Рафлс. Он побледнел и ослабел, однако главные перемены были иные, душевного свойства. Вместо наглого мучителя перед Булстродом был растерянный, перепуганный человек, который более всего боялся, не рассердится ли на него банкир за то, что не осталось денег… правда, он не виноват… его ограбили, половину той суммы отняли насильно. Он вернулся просто потому, что болен, а его кто-то преследует, кто-то гонится за ним, но он никому ничего не сказал, он не проронил ни словечка. Булстрод, не понимая значения этих симптомов, стал требовать от него чистосердечных признаний и обвинять во лжи: как смеет Рафлс утверждать, будто никому не сказал ни словечка, если он только что все рассказал человеку, который привез его в своей

двуколке в Стоун-Корт? Рафлс клятвенно заверял, что ни в чем таком не повинен. Он действительно ничего не помнил, ибо время от времени разум его помрачался, и признание, которое он под влиянием каких-то призрачных соображений сделал в разговоре с Кэлебом, тотчас улетучилось из его памяти.

У Булстрода екнуло сердце, когда он убедился, что несчастный невменяем и нет ни малейшей возможности выяснить самое главное, а именно: не посвятил ли он в тайну еще кого-нибудь, кроме Кэлеба Гарта? Экономка с самым простодушным видом сообщила Булстроду, что после отъезда мистера Гарта гость попросил у нее пива и, как видно, очень скверно чувствуя себя, не сказал за весь день ни единого слова. В Стоун-Корте, судя по всему, он не проболтался. Подобно прислуге «Шиповника», миссис Эйбл предположила, что незнакомец принадлежит к разряду «родственничков», являющих собой проклятье богачей; сперва она причислила его к родне мистера Ригга, которая, вполне естественно, должна была слететься роем на оставшееся без хозяйского глаза имущество. Как он мог одновременно являться родственником Булстрода, было менее ясно, но миссис Эйбл с мужем порешили, что «всякое

случается», — суждение, предоставившее столь обильную пищу уму, что миссис Эйбл лишь покачала головой и воздержалась от иных догадок.

Не прошло и часа, как приехал Лидгейт. Булстрод встретил его у порога большой гостиной, где находился больной, и сказал:

— Я пригласил вас, мистер Лидгейт, к несчастному, который много лет тому назад был моим служащим. Затем он уехал в Америку, где, боюсь, вел праздный и распутный образ жизни. Я считаю своим долгом помочь этому обездоленному. Он был как-то связан с Риггом, прежним владельцем фермы, чем объясняется его присутствие здесь. Полагаю, он серьезно болен: его рассудок явно поврежден. Я намерен помочь ему чем только можно.

Лидгейт, в памяти которого был слишком свеж последний разговор с банкиром, не испытывал желания вступать с ним без нужды в беседу и в ответ лишь кивнул головой, но, перед тем как войти в комнату, он машинально обернулся и спросил: «Как его фамилия?», ибо врач справляется о фамилиях столь же неизменно, как политикан, вербующий избирателей.

— Рафлс, Джон Рафлс, — ответил Булстрод, надеясь, что, как бы ни обернулись дела Рафлса

в дальнейшем, Лидгейт не узнает о нем больше ничего.

Внимательно осмотрев больного, Лидгейт распорядился уложить его в постель и по возможности не тревожить, после чего вышел вместе с Булстродом в другую комнату.

— Боюсь, его болезнь серьезна, — первым начал разговор банкир.

— И да, и нет, — неуверенно ответил Лидгейт. — Застарелые осложнения могут привести к самым неожиданным последствиям; но, во всяком случае, у него крепкое телосложение. Я не думаю, что этот приступ окажется роковым, хотя организм больного, разумеется, ослаблен. За ним требуется внимательный уход.

— Я сам останусь здесь, — сказал Булстрод. — Миссис Эйбл и ее муж несведущи в таких делах. Если вы окажете мне любезность передать записку миссис Булстрод, я вполне могу здесь переночевать.

— В этом едва ли есть необходимость, — сказал Лидгейт. — Больной ведет себя вполне смирно, он даже робок на вид. Позже он, возможно, начнет буйствовать. Но в доме есть мужчина… ведь так?

— Я уже несколько раз оставался здесь на ночь, чтобы побыть в уединении, — равнодушно ска-

зал Булстрод. — Могу остаться и сейчас. Если потребуется, миссис Эйбл и ее муж сменят меня и мне помогут.

— Прекрасно. Стало быть, я могу дать предписания не миссис Эйбл, а вам, — сказал Лидгейт, не удивляясь тому, что Булстрод ведет себя несколько странно.

— Значит, вы полагаете, есть надежда на выздоровление? — спросил Булстрод, когда Лидгейт дал все указания.

— Да, если не возникнут новые осложнения, признаков которых я пока не обнаружил, — ответил Лидгейт. — Ему может стать хуже, но если все мои указания будут соблюдаться, я полагаю, он поправится уже через несколько дней. Только не делайте никаких послаблений. Помните, ему ни в коем случае нельзя употреблять крепких напитков. Таких больных, как этот человек, чаще убивает не болезнь, а неверное лечение. Могут возникнуть новые симптомы. Завтра утром я вновь его навещу.

Взяв записку для миссис Булстрод, Лидгейт отправился в путь и, прежде чем прийти к определенным выводам о состоянии больного, оживил в памяти научный спор о лечении при отравлении алкоголем, разгоревшийся с новой силой после

того, как доктор Уэр опубликовал результаты своих многочисленных наблюдений[206], сделанных в Америке. Лидгейт заинтересовался этим вопросом еще в бытность за границей, он был убежденным противником распространенной врачебной практики, при которой больным разрешали употреблять алкоголь и прописывали большие дозы опия; сообразуясь с этим убеждением, Лидгейт успешно претворял свою методу в жизнь.

«Человек этот болен, — думал он, — но сил у него еще много. Вероятно, он один из тех, кого опекает Булстрод. Любопытно, как тесно переплелись в его характере доброта и жестокость. По отношению к некоторым он удивительно неотзывчив и в то же время не жалеет хлопот и тратит уйму денег на благотворительные цели. Наверное, он каким-то таинственным способом определяет, о ком печется провидение. Обо мне оно, как видно, не печется».

Струйка горечи, пробившаяся из обильного источника, разлилась в потоке его мыслей и все

---

**[206] Примечания: 206**

Книга американского врача Джона Уэра «Заметки об истории и лечении белой горячки» вышла в Бостоне в 1831 г. Желая подчеркнуть широту медицинских интересов Лидгейта, писатель допускает здесь некоторый анахронизм.

ширилась, когда он приближался к Лоуик-Гейт. Он еще не был дома после утреннего разговора с Булстродом, так как записку банкира ему вручили в больнице; впервые Лидгейт возвращался домой лишенный надежды на спасительное средство, которое поможет ему раздобыть достаточно денег, чтобы удержать и сохранить все то, что делало его жизнь выносимой, все то, что позволяло молодым супругам не остаться наедине со своей бедой, когда уже нельзя будет не видеть, как мало они способны послужить друг другу опорой. Лидгейту легче было бы примириться с отсутствием ее любви, чем убедиться, что его любовь не искупает в глазах Розамонды иные потери. Гордость его мучительно страдала от перенесенных и предстоящих унижений, но еще мучительнее было предугадывать, что Розамонда в нем увидит главную причину своего несчастья и краха всех надежд. Уловки нищеты всегда казались ему жалкими, он не помышлял, что мог бы сам прибегнуть к ним, но сейчас он начал представлять себе, как любящая и связанная общими помыслами супружеская пара может весело смеяться над своей подержанной мебелью и расчетами по поводу покупки масла и яиц. Впрочем, поэтичность этих сценок казалась

столь же недоступной, как беззаботность золотого века; бедняжка Розамонда была неспособна понять прелести рая в шалаше. Погруженный в печальные мысли, он спешился и вошел в дом, не ожидая найти там ничего приятного, кроме обеда, и приняв решение сегодня же рассказать Розамонде о том, как потерпела неудачу его просьба к Булстроду. Чем скорее он подготовит ее, тем лучше.

Но обед пришлось надолго отложить. Войдя, он обнаружил в доме человека, посланного поверенным Дувра, и, справившись, где миссис Лидгейт, узнал, что она наверху в своей спальне. Лидгейт поднялся к жене. Она лежала на кровати, бледная, с безучастным выражением лица. Он сел подле нее и, наклонившись к ней, с мольбой воскликнул:

— Бедная моя Розамонда, прости меня! Будем же и в горе любить друг друга.

Ничего не отвечая, Розамонда устремила на него печальный, безнадежный взгляд; затем голубые глаза ее увлажнились слезами, губы задрожали. Лидгейт не выдержал, он слишком много перенес за этот день. Опустив голову на ее подушку, он заплакал.

На следующее утро он позволил ей пойти к отцу

— сейчас, казалось, он не мог ничего запрещать ей. Розамонда возвратилась через полчаса и сказала, что папа и мама приглашают ее временно пожить у них, пока в доме такое творится. Денег папа не обещал, он говорит, если он поможет расплатиться с этим долгом, то появится десяток новых. Дочь может погостить у них, пока Лидгейт не наведет порядка в своем доме.

— Ты не возражаешь, Тертий?

— Делай как тебе угодно, — сказал он. — Но ничего рокового в ближайший день не случится. Тебе вовсе незачем так спешить.

— Я подожду до завтра, — сказала Розамонда, — мне еще нужно уложить мои вещи.

— Я на твоем месте подождал бы чуть подольше… мало ли что может произойти, — с горькой иронией заметил Лидгейт. — Вдруг я сломаю шею, и это значительно облегчит твою участь.

Беда Лидгейта и Розамонды заключалась в том, что его нежное обращение с женой порою нарушалось, вопреки голосу рассудка и побуждению сердца, гневными вспышками, полными иронии или укора. Розамонда их считала совершенно неоправданными, возмущалась жестокостью мужа, и нежности в их отношениях становилось все меньше.

— Я вижу, ты не хочешь, чтобы я уходила, — с ледяной кротостью произнесла она. — Так почему же не сказать об этом прямо, без грубостей? Я пробуду здесь столько, сколько ты прикажешь.

Лидгейт ничего ей не ответил и вышел из дому. Он чувствовал себя растерянным, разбитым, а под глазами у него появились темные тени, которых Розамонда не замечала прежде. Ей неприятно было на него смотреть. Любое огорчение Тертий ухитряется сделать и вовсе невыносимым.

## Глава LXX

*Из-за деяний собственных, поверь,*
*Мы стали тем, чем стали мы теперь.*

Едва Лидгейт покинул Стоун-Корт, Булстрод обследовал карманы Рафлса, где рассчитывал найти улики в виде гостиничных счетов, полученных в различных городах и деревнях, если гость солгал, утверждая, будто приехал прямо из Ливерпуля. Бумажник Рафлса был битком набит счетами, но начиная с Рождества все они были написаны в Ливерпуле, кроме одного, помеченного нынешним числом. Счет этот, найденный в заднем кармане, был скомкан вместе с объявлением о конной ярмарке в Билкли, городке, расположенном милях в сорока от Мидлмарча. Судя по счету, Рафлс прожил в местной гостинице три дня и не скупился на расходы, а поскольку при Рафлсе не имелось багажа, он скорее всего оставил свой чемодан в гостинице в счет долга, чтобы сэкономить деньги на проезд; к тому же и кошелек его оказался пустым, а в карманах сыскалось лишь два шестипенсовика и несколько пенни.

Булстрод немного успокоился, убедившись, что

Рафлс после памятного рождественского визита и впрямь держался на почтительном расстоянии от Мидлмарча. В том, чтобы пересказывать старинные сплетни о мидлмарчском банкире людям, которые о нем и слыхом не слыхали, Рафлсу не было ни удовольствия, ни чести. Впрочем, беды не будет, даже если он их пересказал. Самое главное — не выпускать его из поля зрения до тех пор, пока остается опасность, что в новом приступе безумия он еще раз вздумает повторить историю, рассказанную Кэлебу Гарту; Булстрод особенно опасался, как бы этот приступ не случился при Лидгейте. Сославшись на бессонницу и на тревогу за больного, он провел у его постели всю ночь, а экономке велел спать не раздеваясь, чтобы быть готовой, когда он ее позовет. Он добросовестно выполнял распоряжения врача, хотя Рафлс то и дело требовал коньяку, заявляя, что он проваливается, что под ним проваливается земля. Больной не спал всю ночь и очень беспокойно вел себя, но оставался робким и послушным. После того как ему принесли прописанную Лидгейтом еду, к которой он не прикоснулся, и отказались принести напиток, которого он требовал, он с ужасом воззрился на Булстрода и стал молить его не гневаться, не обрекать его на голодную

смерть и страшными клятвами клялся, что не сказал никому ни слова. По мнению Булстрода, даже это утверждение незачем было слушать Лидгейту; еще более опасная перемена в состоянии больного случилась на рассвете, когда Рафлс, внезапно вообразив, будто доктор уже здесь, начал жаловаться ему на Булстрода, который хочет уморить его голодной смертью за то, что он проговорился, в то время как он, Рафлс, никому не сказал ни слова.

Булстроду пришли сейчас на помощь его прирожденная целеустремленность и властность. Этот хрупкий на вид человек, взволнованный и потрясенный не менее Рафлса, обрел в критических обстоятельствах силы и в течение ночи и утра, каждым движением и самим обликом своим напоминая лишенный жизненного тепла одушевленный труп, напряженно обдумывал, чего ему следует остерегаться и каким образом обрести безопасность. Несмотря на молитвы, которые он возносил, несмотря на мысленные соболезнования жалкому, нераскаянному грешнику и мысленную же готовность претерпеть наказание свыше, но не пожелать зла ближнему — несмотря на все эти попытки претворить слова в умонастроение, в его воображении все

настойчивее и ярче вырисовывался желанный исход событий. И желание, обретя форму, казалось извинительным. Он не мог не думать о смерти Рафлса, а в ней не мог не видеть своего избавления. Что особенного случится, если это жалкое создание перестанет существовать? Рафлс не раскаялся. Но ведь сидящие в тюрьмах преступники тоже не каются, тем не менее закон выносит им приговор. Если провидение вынесло Рафлсу смертный приговор, то никакого греха нет в том, чтобы считать его смерть желанным исходом… надо только самому не ускорять его, добросовестно выполнять все врачебные предписания. Но даже и в этом возможен просчет — сделанные человеком предписания бывают иногда ошибочными. Лидгейт говорил, какое-то лечение ускоряет смерть… не случится ли того же с его собственной методой? Хотя, разумеется, самое главное — руководствоваться добрыми намерениями.

И Булстрод решил не подменять намерение желанием. Его намерение, мысленно заявил он, состоит в том, чтобы повиноваться предписаниям. Отчего он усомнился в их целесообразности? Это пустилось на обычные свои уловки желание, всегда готовое использовать себе на благо

скептицизм, неуверенность в результатах, любую неясность, которую можно истолковать как беззаконие. Несмотря на все это, он выполнял предписания.

Ему невольно то и дело вспоминался Лидгейт, и состоявшийся у них накануне утром разговор вызвал теперь у банкира чувства, каких и в помине не было во время разговора. Тогда его мало тревожили огорчение Лидгейта из-за перемен, готовящихся в больнице, а также его обида на вполне оправданный, по мнению Булстрода, отказ в неуместной просьбе. Оживляя в памяти этот разговор, он испугался, не нажил ли себе в Лидгейте врага, и ему захотелось его смягчить, а точнее, оказать обязывающую к благодарности услугу. Он пожалел, что сразу же не согласился дать доктору в долг эту показавшуюся ему непомерной сумму. Ибо если, слушая бред Рафлса, доктор заподозрит что-нибудь неладное или даже узнает наверное, Булстрод чувствовал бы себя спокойней, зная, что тот многим ему обязан. Но сожаление, быть может, пришло слишком поздно.

Странная, достойная жалости борьба происходила в душе этого несчастного человека, долгие годы мечтавшего быть лучше, нежели

он есть, усмирившего свои себялюбивые страсти и облекшего их в строгие одежды, так что они сопутствовали ему, словно благочестивый хор, до нынешнего дня, когда, объятые ужасом, прекратили петь псалмы и жалобно возопили о помощи.

Лидгейт приехал только после полудня — он объяснил, что его задержали. Булстрод заметил, что доктор очень расстроен. Впрочем, Лидгейт тотчас занялся больным и стал подробно расспрашивать обо всем происходившем в его отсутствие. В состоянии Рафлса заметно было ухудшение, он почти не прикасался к еде, ни единой минуты не спал, был беспокоен, бредил, но пока не буйствовал. Вопреки опасениям Булстрода, он не обратил внимания на доктора и бормотал себе под нос нечто несвязное.

— Как вы его находите? — спросил Булстрод, оставшись с доктором наедине.

— Ему хуже.

— Сегодня вы меньше, чем вчера, надеетесь на благоприятный исход?

— Нет, я все же думаю, что он может выкарабкаться. Вы сами будете ухаживать за ним? — спросил Лидгейт, вскинув взгляд на Булстрода и смутив его этим внезапным вопросом, который,

впрочем, задал вовсе не потому, что заподозрил неладное.

— Я полагаю, да, — ответил Булстрод, тщательно взвешивая каждое слово. — Миссис Булстрод уведомлена о причинах, которые задерживают меня здесь. В то же время миссис Эйбл с мужем недостаточно опытны, так что я не могу полностью на них положиться. Кроме того, я не считаю себя вправе возлагать на этих людей подобную ответственность. Вы, я думаю, захотите дать мне новые распоряжения.

Самым главным из новых распоряжений оказалось предписание давать больному весьма умеренные дозы опия, если бессонница продлится еще несколько часов. Опий доктор предусмотрительно привез с собой и подробно рассказал, какой величины должны быть дозы и после скольких приемов лечение следует прервать. Он особенно подчеркнул, что давать опий без перерыва опасно, и повторил свой запрет насчет алкоголя.

— Насколько я могу судить, — заключил он, — главную угрозу для больного представляют возбуждающие средства. Он может выжить, даже находясь на голодной диете. У него еще немало сил.

— По-моему, вы сами нездоровы, мистер Лидгейт. Я весьма редко… вернее, в первый раз вижу вас в подобном состоянии, — сказал Булстрод, выказывая не свойственную ему еще совсем недавно заботливость по отношению к доктору и столь же мало ему свойственное равнодушие к собственному здоровью. — Боюсь, вас что-то встревожило.

— Да, — сухо отозвался Лидгейт, взяв шляпу и собираясь уходить.

— Боюсь, у вас возникли новые неприятности, — продолжал допытываться Булстрод. — Садитесь же, прошу.

— Нет, благодарствуйте, — надменно отказался Лидгейт. — В нашем вчерашнем разговоре я упомянул о состоянии моих дел. Добавить нечего, кроме того, что на мое имущество уже наложен арест. Этого более чем достаточно. Всего хорошего.

— Погодите, мистер Лидгейт, погодите, — сказал Булстрод. — Я обдумал наш вчерашний разговор. Моим первым чувством было удивление, и я недостаточно серьезно отнесся к вашим словам. Миссис Булстрод озабочена судьбой племянницы, да и меня самого огорчит столь прискорбная перемена в ваших обстоятельствах.

Ко мне многие обращаются с просьбами, но, по здравом размышлении, я счел более предпочтительным решиться на небольшую денежную жертву, нежели оставить вас без помощи. Вы, помнится, говорили — тысячи фунтов достаточно, чтобы освободить вас от обязательств и дать возможность обрести твердую почву?

— Да, — ответил Лидгейт, сразу воспрянув духом. — Из такой суммы я смогу выплатить все долги, и кое-что останется на прожитие. Мы урежем расходы. А там, глядишь, мало-помалу разрастется практика.

— Благоволите подождать минутку, мистер Лидгейт, я выпишу чек на всю необходимую вам сумму. В таких случаях помощь действенна только тогда, когда просьба удовлетворяется полностью.

Пока Булстрод выписывал чек, Лидгейт, повернувшись к окну, думал о доме, о том, как неожиданно пришло к нему спасение и возродило рухнувшие было надежды.

— Вы мне напишете взамен расписку, мистер Лидгейт, — сказал банкир, подходя к нему с чеком. — А со временем, надеюсь, дела ваши поправятся, и вы сумеете постепенно выплатить долг. Меня же радует одно сознание, что я освобо-

дил вас от дальнейших трудностей.

— Глубоко вам признателен, — сказал Лидгейт. — Вы вернули мне возможность работать с удовлетворением и даже мечтать.

Внезапное решение Булстрода показалось ему вполне естественным: банкир неоднократно бывал щедр. Но когда он пустил лошаденку рысью, чтобы поскорее вернуться домой, сообщить добрые вести Розамонде, взять в банке деньги и вручить поверенному Дувра, в его сознании зловещей темнокрылой птицей промелькнула мысль о том, как сильно сам он переменился за последние месяцы, если так ликует, одалживаясь у Булстрода, если так радуется деньгам, полученным для себя, а не на нужды больницы.

Банкир чувствовал, что облегчил свое положение, а между тем на душе у него не становится легче. Стараясь заручиться расположением Лидгейта, он не задумывался над тем, руководствовался ли он добрыми или дурными побуждениями, но дурные побуждения таились в нем, отравляли его кровь. Человек дает клятву, но не отрезает себе путь к ее нарушению. Значит ли это, что он сознательно решил ее нарушить? Вовсе нет. Но смутное желание, побуждающее его к нарушению клятвы, зреет в нем, завладе-

вает его сознанием, и его воля цепенеет в тот самый миг, когда он твердит себе, что клятву необходимо исполнить. Еще несколько дней — и Рафлс выздоровеет и снова примется его мучить — как мог Булстрод этого желать? Он испытывал успокоение, только представляя себе умершего Рафлса, и, не высказывая этого прямо, возносил мольбы о том, чтобы, если можно, над остатком его дней не нависала угроза бесчестья, которое помешает ему служить орудием божьей воли. Судя по заключению Лидгейта, эта просьба не будет исполнена; и в Булстроде возбуждала все большее раздражение живучесть этого человека, которому столь уместно было бы замолкнуть навсегда. Негодяй давно уже перестал бы существовать, если бы возможно было убивать одной силой желания. И Булстрод сказал себе, что он слишком устал, а поэтому на ночь лучше поручить больного заботам миссис Эйбл, а та, если понадобится, кликнет мужа.

В течение дня Рафлс лишь несколько раз забылся недолгим тревожным сном, и в шесть часов, когда его сонливость полностью развеялась и он снова принялся вопить, что проваливается, Булстрод, следуя указанию Лидгейта, стал давать ему опий. Через полчаса с небольшим он позвал

миссис Эйбл и сказал, что не в состоянии больше дежурить возле больного. Придется препоручить его ее попечению, вслед за тем он повторил ей указания Лидгейта по поводу размеров каждой дозы. До этих пор миссис Эйбл ничего не знала о предписаниях врача; она просто готовила и приносила то, что велел Булстрод, и делала то, что он ей приказывал. Сейчас она поинтересовалась, что еще, кроме опия, должна она давать больному.

— Пока ничего, разве только предложите ему супу и содовой воды; если у вас возникнут какие-то вопросы, обращайтесь ко мне. Я оставляю вас здесь до утра и приду, только если произойдет нечто серьезное. В случае нужды зовите на помощь мужа. Я должен лечь пораньше.

— Конечно, сэр, вы в этом так нуждаетесь, — сказала миссис Эйбл. — И подкрепитесь как следует.

Булстрод удалился, уже не тревожась о том, не проговорится ли Рафлс в бреду; едва ли станут прислушиваться к его бессвязному бормотанию. А прислушаются — что поделаешь. Он спустился в гостиную, и ему пришло в голову, не велеть ли оседлать лошадь и не вернуться ли домой, не дожидаясь утра и позабыв все суетное. Потом он

пожалел, что не попросил утром Лидгейта заглянуть еще раз, ближе к вечеру. Возможно, врач бы обнаружил, что Рафлсу стало хуже. Не послать ли за ним сейчас? Если состояние Рафлса и впрямь ухудшилось и он умирает, Булстрод, узнав об этом, сможет спокойно отойти ко сну, полный благодарности провидению. Но хуже ли ему? Что, если Лидгейт просто скажет, что все идет, как он ожидал, и, хорошо выспавшись, больной поправится? Стоит ли в таком случае посылать за врачом? У Булстрода заныло сердце. Никакими ухищрениями логики ему не удавалось убедить себя, что, выздоровев, Рафлс не превратится в прежнего мучителя, который вынудит его бежать из здешних мест и обречь миссис Булстрод на жизнь вдали от близких, что, вероятно, вызовет с ее стороны отчужденное и недоверчивое отношение к мужу.

Охваченный раздумьем, он просидел возле камина около полутора часов, как вдруг, внезапно что-то вспомнив, вскочил и зажег свечку. Вспомнил он о том, что не сказал миссис Эйбл, когда прекратить давать опий.

Схватив подсвечник, он долго стоял неподвижно. Миссис Эйбл, возможно, уже успела дать больному больше опия, чем разрешил Лидгейт.

Впрочем, его забывчивость извинительна — он падает с ног от усталости. Со свечой в руке Булстрод поднялся на второй этаж, еще и сам не зная, направится ли прямо в спальню или зайдет к больному, чтобы исправить свое упущение. Он приостановился в коридоре и задержался у двери комнаты, где находился Рафлс и откуда доносились его стоны и бормотание. Рафлс, стало быть, не спит. Кто может знать, не лучше ли было бы ослушаться Лидгейта, коль скоро опий не усыпил больного?

Булстрод пошел в свою спальню. Не успел он раздеться, как миссис Эйбл громко постучала в дверь; он слегка ее приоткрыл и услышал тихий голос экономки:

— Простите меня, сэр, можно дать бедняге хоть глоточек коньяку? Ему все кажется, что он проваливается, а пить он, кроме коньяку, ничего не желает, да и какая крепость в содовой воде?.. так что я ему даю только опий. А он все твердит, что, мол, проваливается под землю.

К ее удивлению, мистер Булстрод не ответил. Он боролся с собой.

— Я думаю, он скончается от слабости, если так пойдет и дальше. Бедный мистер Робинсон, мой покойный хозяин, когда я за ним ходила, бывало,

то и дело подкреплялся рюмкой коньяка или портвейна, — добавила миссис Эйбл с некоторой долей укоризны.

Но мистер Булстрод и на это ничего не сказал, и экономка продолжала:

— Человек вот-вот помрет, как же можно пожалеть для него стаканчик подкрепляющего? Коли так, я уж ему наш ром отдам, у нас с мужем есть бутылочка. Да только не похоже это на вас, сэр, вон вы из-за него целую ночь не спали и чего только не делаете для него…

Тут из-за приоткрытой двери появился ключ и хриплый голос банкира сказал:

— Вот ключ от винного погреба. Там большой запас коньяка.

Рано утром, около шести часов, Булстрод встал и помолился. Всегда ли искренна молитва, возносимая к богу, всегда ли мы чистосердечны, оставаясь с ним наедине? Молитва — речь без слов, а речью мы что-то изображаем: правдиво ли изображаем мы себя, даже перед самими собой? Булстрод ничего ясного не мог сказать о своих побуждениях за последние сутки.

Он снова приостановился у двери больного и услышал хриплое, тяжелое дыхание. Затем он вышел в сад, увидел изморозь на траве и молодой

листве. Вернувшись в дом, он встретил миссис Эйбл, и его сердце тревожно забилось.

— Как наш больной, я полагаю, спит? — спросил он притворно бодрым тоном.

— Да, очень крепко, сэр, — ответила миссис Эйбл. — Его стало клонить в сон в четвертом часу ночи. Не угодно ли вам самому зайти взглянуть? Он там остался без присмотра, да ведь ему сейчас никто не нужен. Муж в поле, девочка на кухне у плиты.

Булстрод поднялся по лестнице. С первого взгляда он увидел, что сон, в который погрузился Рафлс, не принесет ему выздоровления, а увлекает его все глубже и глубже в небытие.

Оглядев комнату, он увидел бутылку с остатками коньяка и почти пустой пузырек опия. Он спрятал пузырек, а бутылку отнес в винный погреб.

За завтраком он раздумывал, отправиться ли сразу в Мидлмарч или подождать, пока приедет Лидгейт. Он решил дождаться Лидгейта и сказал миссис Эйбл, что она может заняться своими делами — он посидит возле больного.

Сидя в ожидании, когда навеки замолчит его тиран, он впервые за несколько месяцев почувствовал себя спокойно и легко. И совесть

не терзала его, укрытая покровом тайны, милостиво ниспосланной ему свыше. Он вынул записную книжку и просмотрел записи о делах, которые задумал и частично привел в исполнение, собираясь навсегда покинуть Мидлмарч. Сейчас, когда он знал, что его отсутствие будет непродолжительным, Булстрод прикидывал в уме, какие из распоряжений оставить в силе, а какие — отменить. Так, не следовало спешить с возобновлением обязанностей в попечительском совете больницы, поскольку это потребовало бы крупных расходов, которые, как он надеялся, могла взять на себя миссис Кейсобон. Таким размышлениям он предавался, пока изменившееся дыхание больного не напомнило ему об этой уходящей жизни, которая некогда послужила ему на пользу, жизни, оказавшейся, к его удовольствию, столь низменной, что он смог использовать ее для достижения своей цели. И оттого, что он себе на удовольствие использовал ее тогда, он с удовольствием смотрел сейчас, как иссякает эта жизнь.

Но может ли кто-нибудь утверждать, что смерть Рафлса пришла раньше срока? Кто знает, что могло его спасти?

Лидгейт приехал в половине одиннадцатого,

как раз вовремя, чтобы увидеть, как испустил дух больной. Войдя в комнату, он не то чтобы удивился, а как бы отметил про себя, что ошибся. Некоторое время он простоял возле постели умирающего, не произнося ни слова, но, судя по его лицу, мысль доктора усиленно работала.

— Когда наступила эта перемена? — спросил он, взглянув на Булстрода.

— Сегодня ночью я с ним не сидел, — ответил Булстрод. — Я был очень утомлен и поручил его заботам миссис Эйбл. По ее словам, уснул он в четвертом часу. Я пришел сюда около восьми и застал его примерно в таком состоянии.

Других вопросов Лидгейт задавать не стал; он молча смотрел на больного, затем сказал:

— Все кончено.

В это утро к нему вернулись ощущение свободы и надежды. Он с прежним одушевлением принялся за работу и чувствовал себя в силах перенести любые тяготы семейной жизни. И он отлично помнил, что Булстрод его благодетель. Тем не менее он был озадачен. Такого исхода болезни он не ожидал. Нужно бы расспросить Булстрода, но как? Тот чего доброго еще обидится. Выведать через экономку? Но стоит ли, ведь мертвого не воскресишь. Что толку проверять, повинны ли в

его смерти чье-то невежество или небрежность? К тому же, может быть, он сам ошибся.

Доктор с Булстродом верхом возвратились в Мидлмарч, по дороге беседуя о многом… главным образом о холере, о том, утвердит ли палата лордов билль о реформе, а также о твердости, которую проявляют в своей деятельности политические союзы. О Рафлсе не было сказано ничего, только Булстрод вскользь заметил, что похоронить его следует на лоуикском кладбище, и упомянул, что, насколько ему известно, у бедняги не было родственников, кроме Ригга, который, судя по словам покойного, относился к нему неприязненно.

Дома Лидгейта навестил мистер Фербратер. Священника не было в городе накануне, но весть, что на имущество Лидгейтов наложен арест, уже к вечеру достигла Лоуика, доставленная мистером Спайсером, сапожником и причетником, которому сообщил ее брат, почтенный звонарь, проживающий на Лоуик-Гейт. После того вечера, когда Лидгейт вышел вместе с Фредом Винси из бильярдной, мистер Фербратер был полон тревожных предчувствий. Можно было бы не обратить внимания, если бы кто другой наведался несколько раз к «Дракону». Но коль скоро речь

шла о Лидгейте, пустячок превращался в очередную примету, показывающую, сколь разительная перемена произошла в докторе. Ведь еще недавно он весьма презрительно отзывался о занятиях такого рода. И даже если в этом времяпрепровождении, необычном для прежнего Лидгейта, были повинны семейные неприятности, пересуды о которых достигли слуха мистера Фербратера, священник не сомневался, что главной причиной послужили долги Лидгейта, теперь уже ни для кого не бывшие секретом, и с печалью заподозрил, что надежды на помощь родни оказались иллюзорными. Отпор, который встретила его первая попытка доверительно побеседовать с Лидгейтом, не располагал ко второй, но известие о постигшей доктора беде побудило Фербратера преодолеть нерешимость.

Лидгейт, только что проводив бедняка пациента, ход болезни которого его очень интересовал, встретил Фербратера веселый, оживленный и крепко пожал ему руку. Тот растерялся и не мог понять, не из гордости ли отвергает Лидгейт помощь и сочувствие. Если так, то помощь и сочувствие все равно ему будут предложены.

— Как ваши дела, Лидгейт? Я пришел, потому что услышал о ваших неприятностях, — сказал

священник с родственной заботливостью, но без родственной укоризны.

— Я понимаю, что вы имеете в виду. Вам сказали, что на мое имущество наложен арест?

— Да. Это так?

— Было так, — спокойно и непринужденно ответил Лидгейт. — Но сейчас угроза позади, деньги уплачены. Мне больше ничто не мешает, я освободился от долгов и, надеюсь, смогу начать все заново и более успешно.

— Счастлив это слышать, — с огромным облегчением, торопливо и тихо проговорил священник и откинулся на спинку кресла. — Ваше сообщение обрадовало меня больше, нежели любое из напечатанных в «Таймс». Признаюсь, я шел к вам с нелегкой душой.

— Благодарю, — сердечно отозвался Лидгейт. — Сейчас, когда развеялись тревоги, мне особенно приятна ваша доброта. Я был очень огорчен, не скрою. Боюсь, я еще долго буду чувствовать боль, — добавил он с невеселой улыбкой. — Но тиски разжались, я могу передохнуть.

Мистер Фербратер, помолчав, участливо сказал:

— Позвольте вам задать один вопрос, дорогой мой. Простите, если я позволю себе излишнюю

вольность.

— Я уверен, что в вашем вопросе не будет ничего оскорбительного.

— В таком случае… я задаю этот вопрос, чтобы окончательно успокоиться. Вы ведь не… надеюсь, вы не обременили себя взамен старых — новым долгом, который может оказаться более неприятным, чем прежние?

— Нет, — ответил Лидгейт, слегка покраснев. — Я не вижу причин скрывать, поскольку эти деньги одолжил мне Булстрод. Он предложил мне в долг значительную сумму — тысячу фунтов и в ближайшее время не потребует ее возврата.

— Что ж, он поступил великодушно, — сказал мистер Фербратер, чувствуя себя обязанным с похвалою отозваться о банкире, хотя тот и был ему неприятен. Он всегда предупреждал Лидгейта, чтобы тот не принимал обязывающих к благодарности одолжений банкира, но сейчас даже помнить об этом казалось неделикатным, и он торопливо добавил:

— Вполне естественно, что Булстрод озабочен вашими делами. Ведь сотрудничество с ним не увеличило, а сократило ваш доход. Рад, что он поступил так порядочно.

Лидгейт смутился. Доброжелательное заме-

чание священника оживило и сделало еще острей смутно тревожившее его подозрение, что доброжелательность Булстрода, которая так неожиданно пришла на смену ледяному безразличию, порождена корыстными мотивами. Но он не высказал своих подозрений вслух. Не стал рассказывать, каким образом был сделан заем, хотя припомнил сейчас все до мельчайших подробностей, а заодно и обстоятельство, о котором промолчал деликатный мистер Фербратер: еще совсем недавно Лидгейт решительно избегал личной зависимости от банкира.

Вместо этого Лидгейт заговорил о том, как экономно собирается впредь вести хозяйство и как совсем иначе смотрит теперь на житейские дела.

— Я заведу приемную, — сказал он. — Признаюсь, в этом отношении я допустил ошибку. Если согласится Розамонда, я возьму ученика. Такие занятия мне не по душе, но если врач относится к ним добросовестно, он не уронит себя. Жизнь задала мне в начале пути жестокую таску, так что легкие щелчки я без труда перенесу.

Бедняга Лидгейт! Нечаянно оброненное им «если согласится Розамонда» красноречиво свидетельствовало о его подневольном положении.

Однако мистер Фербратер, загоревшись той же надеждой, что и Лидгейт, и не зная о нем ничего, могущего внушить печальные предчувствия, принес ему самые сердечные поздравления и ушел.

## Глава LXXI

***Шут***

*...В «Виноградной грозди» это было, где вы любите посиживать, верно, сударь?*

***Пепс***

*Оно так. Потому что комната эта просторная и зимой теплая.*

***Шут***

*Вот-вот. Тут вся правда наружу и выйдет.*

***Шекспир, «Мера за меру»***

Через пять дней после смерти Рафлса мистер Бэмбридж, свободный от трудов и забот, стоял под аркой, ведущей во двор «Зеленого дракона». Он не питал склонности к уединенным размышлениям, он просто недавно вышел из дому, и вскоре ему, несомненно, предстояло обзавестись собеседником, ибо стоящий в середине дня под аркой человек остается в одиночестве не дольше, чем голубь, нашедший еду. Правда, в нашем случае приманкой служила не материальная корка хлеба, а надежда приобрести пищу духовную, в виде сплетен. Первым явился мистер Хопкинс,

обходительный и кроткий владелец расположенной напротив галантерейной лавки, высоко ценивший мужскую беседу, коль скоро его клиентура преимущественно состояла из женщин. Мистер Бэмбридж встретил его довольно нелюбезно, исходя из того, что Хопкинс-то, разумеется, рад с ним поговорить, да вот ему недосуг тратить время на Хопкинса. Впрочем, к последнему вскоре присоединились более почтенные слушатели; иные выплыли из потока прохожих, иные для того и подошли, чтобы узнать, что новенького в «Зеленом драконе», и мистер Бэмбридж, сочтя публику достойной, приступил к волнующему повествованию о своем путешествии на север, о кровных лошадях, которых видел там, и о сделанных им во время поездки приобретениях. Он заверил присутствующих джентльменов, что, если им удастся показать ему нечто способное сравниться с гнедой кобылой-четырехлеткой, на которую они при желании могут взглянуть, он готов немедленно провалиться в тартарары. Опять же купленная им для собственного экипажа пара вороных разительно напомнила ему ту пару, которую он в 19-м году за сто гиней продал Фолкнеру и которую два месяца спустя Фолкнер продал за сто шестьдесят… если кому-нибудь

из присутствующих удастся опровергнуть это заявление, ему предоставляется право поносить мистера Бэмбриджа последними словами, пока у него в горле не пересохнет.

В тот миг, когда беседа приняла столь оживленный характер, подошел мистер Фрэнк Хоули. Этот джентльмен почитал ниже своего достоинства околачиваться у «Зеленого дракона», но, проходя по Хай-стрит и увидев Бэмбриджа, пересек улицу, дабы справиться у барышника, нашел ли тот обещанную лошадь для двуколки. Мистеру Хоули было предложено взглянуть на купленную в Билкли серую кобылу: если это не точь-в-точь то, чего он желал, значит, мистер Бэмбридж ни черта в лошадях не смыслит. Мистер Хоули, повернувшись к Бэмбриджу, уславливался с ним, когда можно увидеть серую и познакомиться с ее достоинствами, а тем временем позади него по мостовой проехал всадник.

«Булстрод», — тихо произнесли два-три голоса, один из которых, принадлежавший галантерейщику, почтительно присовокупил к фамилии слово «мистер»; но сказано это было между прочим, точно так же они восклицали «риверстонский дилижанс!», увидев вдали этот экипаж. Мистер Хоули бросил вслед Булстроду равнодуш-

ный взгляд, зато Бэмбридж, проводив банкира глазами, ехидно осклабился.

— Фу, черт! Кстати, вспомнил, — начал он, слегка понизив голос. — Я привез из Билкли еще кое-что, кроме вашей серой кобылы, мистер Хоули. Любопытную историйку о Булстроде довелось мне там услышать. Знаете вы, как он нажил свое состояние? Джентльмены, любой из вас может совершенно бесплатно получить весьма пикантные сведения. Если бы каждому воздавалось по заслугам, Булстрод читал бы свои молитвы в Ботани-Бей.

— Что вы имеете в виду? — спросил мистер Хоули, сунув руки в карманы и пододвинувшись к Бэмбриджу. — Ведь если Булстрод в самом деле негодяй, то Фрэнк Хоули оказался пророком.

— Мне рассказал эту историю его старый приятель. Ага, вспомнил-таки, когда я первый раз его увидел! — вдруг воскликнул Бэмбридж, вскинув вверх указательный палец. — На аукционе у Ларчера, но я тогда не знал, кто он такой, и он куда-то испарился, наверняка охотился за Булстродом. Он говорит, что может выкачать из Булстрода любую сумму, все его секреты знает наперечет. В Билкли он мне все выболтал. Большой любитель выпить, вот и разговорился за бутылкой, а так бы черта с

два я что-нибудь узнал. Хвастунишка, распустит язык и трещит без удержу, словно ему деньги платят за слова. Человек всегда должен знать, где остановиться, — презрительно заключил мистер Бэмбридж, гордый тем, что сам бахвалится, точно зная рыночную цену похвальбы.

— А как его зовут? Где его можно разыскать? — поинтересовался мистер Хоули.

— Разыскать не знаю где — мы распрощались с ним в «Голове сарацина», а фамилия его Рафлс.

— Рафлс! — воскликнул мистер Хопкинс. — Я вчера отправил все, что требуется для его похорон. Похоронили его на лоуикском кладбище. Мистер Булстрод провожал его в последний путь. Очень приличные были похороны.

Это сообщение произвело сенсацию. Бэмбридж издал крик души, в котором наиболее умеренным из пожеланий было: «побрал со всеми потрохами», а мистер Хоули, нахмурившись и слегка набычившись, воскликнул: «Что? Где умер этот человек?»

— В Стоун-Корте, — ответил галантерейщик. — Экономка говорит, он родственник владельца. Он явился туда в пятницу, совсем больной.

— То есть как? Мы в среду вместе пили, — перебил мистер Бэмбридж.

— А врач у него был? — осведомился мистер Хоули.

— Да. Мистер Лидгейт. Сам мистер Булстрод просидел возле больного одну ночь. Тот скончался на третье утро.

— Ну-ка, ну-ка, Бэмбридж, — обратился мистер Хоули к барышнику. — Что рассказывал этот малый о Булстроде?

Группа слушателей к тому времени разрослась, ибо присутствие городского секретаря послужило порукой тому, что здесь рассказывается нечто достойное внимания; таким образом с повествованием мистера Бэмбриджа ознакомились семь человек. История эта, почти полностью нам известная, с упоминанием о пострадавшем Уилле Ладиславе и добавлением кое-каких подробностей и местного колорита, представляла собой ту самую тайну, разоблачения которой так боялся Булстрод… а теперь надеялся, что она навек погребена вместе с трупом Рафлса, — мрачный призрак былого, от которого, как он думал, его наконец-то избавило провидение. Да, провидение. Он не признавался даже себе, что сам способствовал достижению желанной цели — он просто принял то, что послано ему. Невозможно доказать, что он чем-то ускорил кончину этого

человека.

Но сплетня разнеслась по городу, как запах гари. Мистер Фрэнк Хоули послал доверенного клерка в Стоун-Корт якобы справиться по поводу сена, на самом же деле выведать у миссис Эйбл все что можно о Рафлсе и его болезни. Таким образом он выяснил, что приезжего доставил в Стоун-Корт на своей двуколке мистер Гарт; после чего мистер Хоули при первой же возможности побывал в конторе Кэлеба, дабы узнать, не согласится ли тот в случае нужды взять на себя роль третейского судьи в одном спорном вопросе, а затем как бы невзначай спросил о Рафлсе. Кэлеб не сказал ни единого слова, которое повредило бы репутации Булстрода, однако вынужден был признать, что на прошлой неделе отказался от всех поручений банкира. Мистер Хоули, нимало не сомневаясь, что Рафлс выложил всю свою историю Гарту, вследствие чего тот отказался быть управляющим Булстрода, уже через несколько часов пересказал все это мистеру Толлеру. Так рассказ, передаваясь из уст в уста, в конце концов выглядел уже не предположением, а достоверным сообщением, якобы полученным непосредственно от Гарта, так что самый дотошный историк счел бы Кэлеба повинным в обнародовании и

распространении этих слухов.

Мистер Хоули понимал, что ни разоблачения, сделанные Рафлсом, ни обстоятельства его смерти не могут послужить достаточным основанием для того, чтобы привлечь Булстрода к суду. Он отправился в Лоуик, где самолично изучил запись в церковной книге и обсудил все дело с мистером Фербратером, которого, как и мистера Хоули, ничуть не удивила внезапно выплывшая неприглядная история банкира, хотя со свойственным ему беспристрастием он, как всегда, старался воздерживаться от поспешных выводов. Но во время их беседы мистера Фербратера поразило еще одно совпадение, о котором он не сказал ни слова, хотя очень скоро о нем заговорили вслух все в Мидлмарче, утверждая, что «дело тут яснее ясного». Пока священник обсуждал причины, побудившие Булстрода опасаться Рафлса, у него внезапно мелькнула догадка, не связана ли с этими опасениями неожиданная щедрость, проявленная Булстродом по отношению к Лидгейту; хотя он не допускал мысли, чтобы Лидгейт сознательно позволил себя подкупить, он предчувствовал, что подозрительное стечение обстоятельств пагубно отразится на репутации врача. Мистер Хоули, как можно было предположить, пока еще ничего

не знал о сделанном Лидгейтом займе, и мистер Фербратер приложил все старания, чтобы уклониться от этой темы.

— Да, — со вздохом сказал он, намереваясь закончить беседу, в течение которой было высказано множество предположений, из коих ни одного нельзя было доказать, — странная история. Итак, у нашего искрометного Ладислава оказалась причудливая родословная. Своевольная молодая дама и преисполненный патриотизма польский музыкант — для такого побега, как Ладислав, вполне подходящие ветви, но черенок в виде закладчика-еврея — для меня полная неожиданность. Впрочем, никто не может угадать заранее, какие плоды принесет скрещивание. Некоторые виды грязи употребляются для очищения.

— Незачем гадать, и так все ясно, — сказал, садясь на лошадь, мистер Хоули. — Ничего доброго не может выйти, если какая-нибудь мерзость приметалась — евреи ли, корсиканцы, цыгане…

— Я знаю, вы всегда его не любили, Хоули. Но он, право же, человек бескорыстный и несуетный, — улыбаясь, произнес мистер Фербратер.

— Вот-вот! Это в вас виг сказывается, — заметил мистер Хоули, имевший привычку милостиво признавать, что Фербратер чертовски славный

и добросердечный малый и его даже можно принять за тори.

Мистер Хоули не усмотрел ничего подозрительного в визитах Лидгейта к Рафлсу, хотя и понимал, что они обеляют Булстрода. Однако весть о том, что Лидгейт разом смог не только выкупить закладную, но и расплатиться со всеми долгами, быстро разнеслась по городу, обрастая разными догадками и предположениями, придававшими ей новое звучание и форму, и вскоре достигла слуха более проницательных истолкователей, которые не замедлили усмотреть многозначительную связь между внезапным улучшением денежных обстоятельств Лидгейта и желанием Булстрода замять скандал. О том, откуда у Лидгейта деньги, все непременно бы догадались, даже при отсутствии прямых улик, ибо, давно уже сплетничая о его делах, не раз упоминали, что ни собственная родня, ни тесть не желают ему помочь. Кроме того, подоспели и прямые улики, предоставленные не только банковским клерком, но и простодушной миссис Булстрод, которая упомянула о займе в разговоре с миссис Плимдейл, а та упомянула о нем своей невестке, урожденной Толлер, а та уж упоминала об этом всем. Общество сочло эту историю достаточно

важной, чтобы устраивать в связи с ней званые обеды, и великое множество приглашений было дано и принято с целью перемыть косточки Булстроду и Лидгейту; жены, вдовы и старые девы чаще, нежели обычно, захватив с собой работу, отправлялись друг к дружке пить чай, мужчины же повсюду — от «Зеленого дракона» до заведения миссис Доллоп — обсуждали эту историю с несравненно большим пылом, чем вопрос, отклонит ли палата лордов билль о реформе.

Никто не сомневался, что Булстрод расщедрился неспроста. Тот же мистер Хоули немедля устроил прием для избранного общества, состоявшего всего из двух гостей — доктора Толлера и доктора Ренча, имея целью обсудить в этом узком кругу выведанные от миссис Эйбл подробности болезни Рафлса и проверить правильность заключения Лидгейта о том, что смерть последовала от белой горячки. Оба медика, придерживавшиеся относительно этого недуга традиционных воззрений, выслушав рассказ хозяина, заявили, что ничего подозрительного тут не находят. Но, в отличие от медицинских, оставались подозрения иного свойства: с одной стороны, у Булстрода, несомненно, имелись веские основания спровадить Рафлса на тот свет; с другой — именно

в этот критический момент он пришел на помощь Лидгейту, хотя знал о его затруднениях и раньше. Добавим к этому, что все были склонны поверить в бесчестность Булстрода, а также в то, что Лидгейт, как все гордецы, не задумываясь, позволит себя подкупить, если у него окажется нужда в деньгах. Даже если деньги были уплачены ему только за то, что он будет помалкивать о позорной тайне Булстрода, это представляло в неприглядном виде Лидгейта, о котором давно уже поговаривали, что, прислуживаясь к банкиру, он делает себе карьеру за счет старших коллег. И поэтому избранное общество, собравшееся в доме Хоули, хотя и не обнаружило прямых улик, пришло к выводу, что дело «дурно пахнет».

Но если уж светила медицины сочли неопределенные подозрения достаточными для того, чтобы покачивать головами и отпускать язвительные намеки, то для простых смертных именно таинственность оказалась неопровержимым доказательством вины. Всем больше нравилось догадываться, как все было, нежели просто знать: догадка решительней знаний, и с неувязками она расправляется смелей. Даже в историю обогащения Булстрода, где было гораздо больше определенности, иные любители

напустили туману, благо он им позволял как следует поработать языками и дать полную волю фантазии.

К таким принадлежала миссис Доллоп, бойкая хозяйка «Пивной кружки» в Мясницком тупике, которой постоянно приходилось воевать с сухим прагматизмом своих клиентов, полагавших, будто сведения, полученные ими со стороны, более весомы, чем то, во что она «проникла» собственным разумом. Миссис Доллоп ведать не ведала, откуда оно взялось, но перед ее глазами ясно стояло, словно написанное мелом на доске: «Как сказал бы сам Булстрод, в душе у него так черно, что ежели бы волосы на его голове знали помыслы его сердца, он выдрал бы их с корнем».

— Странно, — пискливо произнес мистер Лимп, подслеповатый, склонный к размышлениям башмачник. — Я читал в «Рупоре», что эти самые слова сказал герцог Веллингтон, когда переметнулся на сторону папистов.

— Вот-вот, — ответствовала миссис Доллоп. — Коли один мошенник их сказал, почему бы не сказать другому. А когда этот святоша возомнил, будто разбирается в Писании лучше любого священника, он взял себе в советчики нечистого, а с нечистым-то совладать не сумел.

— Да, такого сообщника в чужие края не сплавишь, — сказал стекольщик мистер Крэб, который ощупью пробирался среди залежей отовсюду подбираемых сведений. — Люди говорят, Булстрод давно боялся, как бы дело не вышло наружу. И собирался сбежать из наших мест.

— Собирался, нет ли — здесь ему не оставаться, — вмешался новый посетитель, парикмахер мистер Дилл. — Нынче утром я брил Флетчера, клерка мистера Хоули — он себе палец повредил, — и он сказал, они все порешили выжить Булстрода. Мистер Тизигер на него в гневе и хочет, чтобы он убрался из прихода. А некоторые джентльмены говорят, они скорей уж сядут за один стол с каторжником. «И я их очень даже понимаю, — говорит Флетчер, — потому ни от кого так не мутит, как от человека, который выдумал себе невесть какую веру и строит из себя такого праведника, словно для него десяти заповедей мало, а сам хуже любого арестанта». Вот как Флетчер говорит.

— Но для города будет плохо, если Булстрод заберет все свои капиталы, — пролепетал мистер Лимп.

— Да, бывает, люди получше его деньгами своими распоряжаются гораздо хуже, — зычным

голосом сказал красильщик, чья добродушная физиономия не вязалась с обагренными алой краской руками.

— Так ведь деньги-то у него отберут, — возразил стекольщик. — Не слыхали разве: денежки его другому должны достаться. Говорят, мол, если в суд подать, то у него отнимут все капиталы до последнего пенни.

— Вот уж нет! — воскликнул парикмахер, который несколько свысока относился к обществу, собиравшемуся в «Пивной кружке», но тем не менее любил там бывать. — Флетчер говорит, ничего подобного не будет. Он говорит, они могут хоть сотню раз доказать, кто были родители этого Ладислава, а пользы будет столько же, как если доказать, что я родился в Линкольншире, — ни гроша он не получит.

— Нет, вы только их послушайте! — с негодованием вскричала миссис Доллоп. — Благодарю создателя, забравшего к себе моих детей, ежели наш закон так обижает сирот. Вас послушать, так совсем неважно, кто твой отец и кто твоя мать. Одному только я удивляюсь: как может человек с вашим умом, мистер Дилл, выслушать слова одного законника и не справиться, что думает другой? В каждом деле есть две стороны, если

не больше, для чего иначе люди ходят в суд? Да кому он нужен, этот суд, коли человек там не добьется толку после того, как докажет, чьих он родителей сын! Пусть он говорит что вздумается, ваш секретарь, наплевать мне на его секреты!

Тут мистер Дилл захихикал, как видно, восхищенный остроумием дамы, которая любого законника за пояс заткнет; он задолжал миссис Доллоп солидную сумму и не огрызался, когда она шпыняла его.

— Если дело дойдет до суда и правда то, что люди говорят, ему придется держать ответ не только за деньги, — сказал стекольщик. — Помер этот бедолага, как не жил на свете, а говорят, был когда-то джентльменом, почище Булстрода.

— Еще бы! — подхватила миссис Доллоп. — И на вид приглядней, говорят. Когда мистер Болдуин, сборщик податей, зашел сюда, встал на том месте, где вы сейчас сидите, и сказал: «Булстрод нажил все свои капиталы мошенничеством и воровством», я ему сразу говорю: «Не удивили вы меня, мистер Болдуин, не удивили: у меня до сих пор стынет кровь, когда вспомню, как он заявился к нам в Мясницкий тупик покупать тот дом, что позади нашего; не бывает у людей лицо такого цвета, как кадка для теста, и не таращат

они ни с того ни с сего глаза так, словно насквозь тебя хотят просверлить». Вот что я сказала, и мистер Болдуин может это подтвердить.

— И правильно сказали, — одобрил мистер Крэб. — Потому как, люди говорят, этот Рафлс — так его вроде звали — был из себя мужчина видный, цветущий и по характеру компанейский, а что осталось от него — снесли на кладбище, да и конец. Люди говорят, кое-кто знает, отчего он там оказался.

— Еще бы не знать! — сказала миссис Доллоп, несколько презиравшая мистера Крэба за привычку ходить вокруг да около. — Заманили человека в дом на отшибе, и некоторые, какие могли бы хоть за тысячу сиделок заплатить, день и ночь от его постели не отходят, а ездит туда только доктор, которому сам черт не брат и у которого денег отродясь не водилось, а теперь вдруг столько завелось, что он расплатился по всем счетам с мясником мистером Байлсом, а он у него в лавке самые лучшие куски берет, да все в долг — с Михайлова дня второй год пошел, как он не платил мистеру Байлсу, — так нечего мне намекать, что, мол, нечисто дело, чего уж там из пустого в порожнее переливать!

Миссис Доллоп огляделась с видом хозяйки,

привыкшей властвовать в своем заведении. Самые отважные приветствовали ее речь одобрительным гулом голосов. Но мистер Лимп, приложившись к стопке, втиснул между коленями сложенные ладони и так прилежно уставился на них, словно пылкая речь миссис Доллоп испепелила его мозги и способность мыслить может к нему вернуться разве что после того, как он впитает в себя некоторое количество влаги.

— Надо выкопать покойника и дать знать следственному судье, — сказал красильщик. — Так делали уже не раз. Там дознаются, какой он смертью помер.

— Да куда им, мистер Джонас! — многозначительно произнесла миссис Доллоп. — Знаю я их, этих докторов. Их голыми руками не возьмешь. И доктор Лидгейт этот — не успеет человек дух испустить, а он уж норовит его выпотрошить, — ясно, для чего ему понадобилось копаться во внутренностях почтенных людей. Он, будьте покойны, такие снадобья знает, у каких ни вкуса нет, ни запаха, да и увидеть их нельзя ни до того, как проглотишь, ни после. Да чего там говорить, коли мне самой прописал капли доктор Гэмбит, достойный человек, а уж сколько новорожденных прошло через его руки… так вот, я говорю, он

такие капли мне прописал, что их в рюмке-то не видно, а выпьешь — колики уже на другой день. Так что сами посудите. Что толковать пустое? Я одно только могу сказать: слава богу, что нас не лечит доктор Лидгейт. Худо бы пришлось нашим детишкам.

Те же толки, что у миссис Доллоп, шли во всех кругах Мидлмарча и добрались с одной стороны до дома лоуикского священника, а с другой — до Типтон-Грейнджа; в полном объеме достигли слуха семейства Винси, обсуждались с соболезнованиями по поводу «бедняжки Гарриет» всеми приятельницами миссис Булстрод еще гораздо ранее того, как Лидгейту стало ясно, почему все на него так странно смотрят, а Булстрод догадался, что его тайна раскрыта. У банкира никогда не было особенно сердечных отношений с соседями, поэтому он не заметил отсутствия сердечности; к тому же теперь, когда выяснилось, что он не должен покидать Мидлмарч, нужно было приниматься за отложенные дела, и он много времени проводил в разъездах.

— Через месяц-два мы отправимся в Челтнем, — сказал он жене. — В этом городе много источников духовного обновления, не говоря уже о свежем воздухе и о целебных водах. Мы хорошо

там отдохнем.

Он и в самом деле верил в духовное обновление и намеревался впредь вести еще более благочестивую жизнь во искупление недавних грехов, которые представлялись ему гипотетическими и на которые он гипотетически ссылался в молитвах: «если я согрешил при сем».

Что касается больницы, он не упоминал о ней пока в разговорах с Лидгейтом, которому могла показаться подозрительной внезапная перемена в его планах, наступившая сразу после смерти Рафлса. Лидгейт, как полагал в глубине души банкир, догадывался о том, что он намеренно не выполнил его распоряжений, и, догадываясь об этом, мог заодно догадаться и о его побуждениях. Впрочем, Лидгейт ничего не знал о прошлом Рафлса, и Булстрод тщательно старался не усугублять его подозрений. К тому же доктору, всегда осуждавшему слепую веру в целительное или фатальное воздействие какого-либо врачебного метода, в подобном случае надлежало не высказывать сомнения, а молчать. Итак, провидение хранило Булстрода. И лишь однажды у него заныло сердце — это было, когда он случайно встретил Кэлеба Гарта, который, однако, лишь вежливо и степенно ему поклонился.

А тем временем надвигалась гроза.

В ратуше должны были собраться влиятельные горожане для обсуждения предупредительных мер в связи с первым случаем холеры в городе. Не так давно парламент поспешно провел закон о новом налоге, чтобы собрать средства для осуществления необходимых мер предосторожности. В Мидлмарче был создан совет для надзора за проведением этих мер, а виги и тори в полном согласии решали, каким образом произвести очистку города и надлежащую подготовку больниц. Сейчас возник вопрос, устроить ли кладбище на пустующей земле за городом на средства от этого налога, или объявить подписку. На собрании должны были присутствовать почти все видные жители города.

Мистер Булстрод был членом совета и около двенадцати часов дня вышел из банка, полный решимости ратовать за частную подписку. В последнее время из-за неопределенности планов он старался держаться в тени, но сейчас почувствовал, что пора возвратиться к общественной деятельности и сохранить подобающее ему положение в городе, где он собирался прожить до конца своих дней. Среди движущихся к ратуше людей он заметил Лидгейта, они зашагали вместе

и, разговаривая, вошли в зал.

Казалось, все имеющие вес горожане явились на собрание раньше них. Однако за большим столом, стоявшим в центре, еще оставались свободные места, и туда они направили свои стопы. Мистер Фербратер сидел напротив них, неподалеку от мистера Хоули, мистер Тизигер председательствовал, а справа от него находился мистер Брук из Типтон-Грейнджа.

Лидгейт заметил, что, когда они с Булстродом садились, присутствующие как-то странно переглянулись.

После того как председатель произнес вступительную речь, указав, сколь выгодно для города приобрести по подписке большой участок, который позже можно превратить в общественное кладбище, мистер Булстрод, чей пронзительный голос (звучавший, впрочем, негромко и плавно) нередко раздавался на собраниях такого рода, поднялся и попросил позволить ему выразить свое мнение. Лидгейт заметил, что все вновь многозначительно переглянулись, после чего вскочил мистер Хоули и произнес своим звучным, решительным голосом:

— Господин председатель, я требую, чтобы прежде чем кто-либо выразит свое суждение об

этом вопросе, мне разрешили высказаться о деле, затрагивающем наши гражданские чувства и не терпящем отлагательств, по мнению многих присутствующих здесь джентльменов, которое разделяю и я.

Мистер Хоули даже в тех случаях, когда ради соблюдения общественных приличий бывал вынужден «смягчать выражения», объяснялся резко и уверенно, чем производил на слушателей устрашающее впечатление. Мистер Тизигер удовлетворил его просьбу, мистер Булстрод сел, а мистер Хоули продолжал:

— Я выступаю сейчас, господин председатель, не только от своего лица; я выступаю с соизволения и по настойчивой просьбе не менее чем восьми присутствующих здесь моих сограждан. Все мы полагаем совершенно необходимым потребовать, чтобы мистер Булстрод — и я требую это от него сейчас — отказался от общественных постов, которые он занимает не только как налогоплательщик, но как джентльмен среди джентльменов. Существуют действия и существуют поступки, над которыми, волей обстоятельств, закон не властен, хотя по своей сути они хуже многих уголовно наказуемых деяний. Если честные люди и джентльмены желают оградить себя

от общества людей, учиняющих такие деяния, они вынуждены защищаться сами, и именно это я и мои друзья, которых я сейчас могу назвать также своими клиентами, намерены сделать. Я не утверждаю, что мистер Булстрод повинен в бесчестных поступках, но я призываю его либо опровергнуть и отмести позорящие его обвинения, возведенные против него человеком, ныне умершим, причем умершим в его доме, — обвинения в том, что он в течение многих лет был участником гнуснейшего промысла и что он нажил состояние бесчестным путем, — либо же сложить с себя обязанности, которые могли быть доверены ему только как джентльмену среди джентльменов.

Глаза всех присутствующих устремились на мистера Булстрода, охваченного с той минуты, когда впервые прозвучало его имя, непереносимо бурными для столь болезненного человека чувствами. Лидгейт, и сам глубоко потрясенный тем, сколь страшным образом материализовалось смутно промелькнувшее когда-то перед ним недоброе предчувствие, взглянув на помертвевшее лицо Булстрода, ощутил, как его собственные неприязнь и возмущение утихли, вытесненные инстинктом врачевателя, прежде всего думаю-

щего о том, как спасти страдальца и облегчить его муки.

Внезапно осознав, что его жизнь погублена, что сам он обесчещен и унижен перед теми, кого привык укорять и хулить, что бог отрекся от него перед людьми и не защитил от торжествующего презрения ненавистников, радующихся его позору; почувствовав, как потерпела полный крах его лукавая попытка, расправляясь с сообщником, обмануть свою совесть и как тщательно отшлифованное его изощренным в лукавстве разумом орудие вонзилось в него самого, Булстрод испытал смертельный ужас человека, чьи муки бесконечны — они не убивают, а возвращаются вновь и вновь. Наконец-то ощутить себя в безопасности и вслед за тем подвергнуться разоблачению — способна ли это перенести не грубая натура преступника, а чувствительная организация человека, всеми условиями жизни приученного первенствовать и упивающегося властью и сознанием своего превосходства?

Но именно эта свойственная его натуре страстность помогла ему себя защитить. Немощный телесно, он обладал упорной волей честолюбца; боязнь небесного возмездия была не в силах ее обуздать, она как пламя рвалась наружу, и

даже в этот миг, когда он был так жалок, пламя тлело и разгоралось все ярче. Не успело последнее слово слететь с уст мистера Хоули, Булстрод почувствовал, что должен ответить, и ответить твердо и решительно. Он не посмел бы сказать: «Я не виновен, вся эта история ложь», — и даже если бы посмел, делать это сейчас, когда он с болью чувствовал себя покинутым, казалось столь же тщетным, как прикрывать наготу ветхим рубищем, готовым рассыпаться при малейшем движении.

Несколько мгновений в зале царила тишина, и все взгляды обратились на Булстрода. Он сидел неподвижно, всей тяжестью опираясь на спинку стула; он не решился встать и, когда начал говорить, уперся руками в сиденья соседних стульев. Но голос его звучал внятно, хотя более хрипло, чем обычно, и слова он выговаривал отчетливо, хотя останавливался после каждой фразы, словно задыхаясь. Он сказал, обращаясь сперва к мистеру Тизигеру, а затем глядя на мистера Хоули:

— Как христианский священнослужитель, сэр, вы обязаны были пресечь эти нападки, внушенные гнусной злобой. Мои недоброжелатели рады поверить любому поклепу, который возводят на меня досужие языки. Они готовы осудить меня со

всей жестокостью. Но если злословие, жертвой коего я сделался, обличает меня в преступных деяниях, — тут Булстрод так возвысил голос и заговорил с такой горечью, что, казалось, он кричит, — кто должен стать моим обличителем? Ведь не люди, чей образ жизни противен христианскому, мало того, возмутителен… люди, сами пользующиеся низменными средствами, люди, погрязшие в интриганстве, каждый на своем поприще, люди, чьи доходы расточаются на сладострастные удовольствия в то время, как свои я предназначил для достижения самых высоких целей в этой жизни и ради жизни грядущей.

Упоминание об интриганстве вызвало грозный гул, в котором слышались и ропот, и шиканье, и тотчас четверо вскочили на ноги: мистер Хоули, мистер Толлер, мистер Чичли и мистер Хекбат. Но мистер Хоули, чей гнев загорелся стремительнее, опередил остальных:

— Если вы намекаете на меня, сэр, благоволите проверить, как я действую на своем поприще. Что до христианского образа жизни, я отвергаю ваше ханжеское, сладкоречивое христианство. А что касается того, как я употребляю свой доход, то не в моих правилах заниматься скупкой краденого и присваивать чужое наследство, с целью

упрочить веру и прослыть святым Брюзгой. В вопросах совести я не беру на себя роль судьи, в моем распоряжении нет мерок настолько точных, чтобы оценивать ваши поступки, сэр. И я снова призываю вас, сэр, либо дать удовлетворительное объяснение относительно скандальных слухов по вашему адресу, либо отказаться от должностей, на которых мы впредь не желаем с вами сотрудничать. Да, сэр, мы не желаем впредь терпеть в своей среде человека, чья репутация не очищена от грязи, нанесенной не только молвой, но и учиненными вами в последнее время действиями.

— Позвольте мне, мистер Хоули, — сказал председатель.

Мистер Хоули, еще не остыв от гнева, полусердито поклонился и сел, сунув руки глубоко в карманы.

— Мистер Булстрод, на мой взгляд, едва ли желательно продолжать наш сегодняшний спор, — обратился мистер Тизигер к дрожащему, смертельно-бледному банкиру. — Я присоединяюсь к выраженному мистером Хоули общему мнению, что, как христианину, вам, буде возможно, непременно следует очистить себя от злосчастной клеветы. Я окажу вам в этом вся-

ческое содействие. Но должен сказать, ваша нынешняя позиция находится в прискорбном противоречии с теми началами, с которыми вы стремитесь отождествить себя и честь которых я обязан охранять. Как ваш священник и как человек, уповающий, что вы вернете себе уважение сограждан, я вам советую сейчас покинуть зал и не мешать нам заниматься делом.

После минутного колебания Булстрод взял шляпу и медленно встал, но тут же пошатнулся, судорожно уцепившись за стул. Лидгейт понял, что у него не хватит сил выйти без посторонней помощи. Как он должен был поступить? Он не мог допустить, чтобы в двух шагах от него человек рухнул на пол. Он встал, взял Булстрода под руку и, поддерживая, вывел из зала. Но хотя его поступок был вызван только состраданием и жалостью, он испытывал в этот момент невыразимую горечь. Казалось, он открыто подтверждал свой сговор с Булстродом, как раз тогда, когда он понял, как выглядит в глазах окружающих его роль. Сейчас он осознал, что этот человек, который трепеща цеплялся за его руку, дал ему тысячу фунтов подкупа и злонамеренно нарушил его указания, ухаживая за больным. Вывод напрашивался сам собой: все в городе знают о

займе, считают его подкупом и не сомневаются, что Лидгейт его сознательно принял.

Бедняга Лидгейт, терзаемый этим ужасным открытием, тем не менее почувствовал себя обязанным проводить Булстрода в банк, послать за его каретой и отвезти домой.

Тем временем в ратуше торопливо покончили с делом, ради которого собрались, и, разбившись кучками, принялись оживленно судачить о Булстроде и… Лидгейте.

Мистер Брук, до которого ранее долетали только туманные недомолвки, сожалел, что «допустил излишнюю короткость» с Булстродом, и, беседуя с мистером Фербратером, посочувствовал Лидгейту, попавшему в двусмысленное положение. Мистер Фербратер собирался идти в Лоуик пешком.

— Садитесь в мою карету, — сказал мистер Брук. — Я еду к миссис Кейсобон. Вчера вечером она должна была вернуться из Йоркшира. Она рада будет со мной повидаться, знаете ли.

По дороге благожелательный мистер Брук выразил надежду, что Лидгейт не сделал ничего предосудительного… такой незаурядный молодой человек, мистер Брук это сразу заметил, когда тот явился к нему с рекомендательным письмом

от своего дяди, сэра Годвина. Глубоко опечаленный мистер Фербратер не сказал почти ни слова. Он знал: человек слаб, и нельзя с уверенностью утверждать, как низко мог пасть Лидгейт, стремясь избавиться от унизительных долгов.

Когда карета подъехала к воротам, Доротея, гулявшая в это время в парке, подошла встретить гостей.

— Ну-с, моя милая, — сказал мистер Брук. — А мы только что были на собрании в ратуше, обсуждали, знаешь ли, санитарные предупредительные меры.

— Там был и мистер Лидгейт? — спросила Доротея. Оживленная, полная сил, она стояла с непокрытой головой, озаренная сверкающим светом апрельского солнца. — Мне необходимо встретиться с ним и подробно обсудить все, что касается больницы. Мы так условились с мистером Булстродом.

— Ах, моя милая, — со вздохом сказал мистер Брук, — мы привезли дурные вести, дурные вести, знаешь ли.

Провожая мистера Фербратера домой, они прошли к калитке, которая вела на кладбище, и по дороге Доротея узнала о беде, постигшей Лидгейта.

Она слушала с глубоким интересом, раза два спросила о подробностях, касавшихся Лидгейта, и о том, какое впечатление он на них произвел. Помедлив несколько мгновений у калитки, она с жаром обратилась к мистеру Фербратеру:

— Вы ведь не верите, что мистер Лидгейт способен на подлость. И я не верю. Так давайте же узнаем истину и защитим его от клеветы!

# Книга восьмая
# Закат и восход

## Глава LXXII

*Как бы двойное зеркало, душа*
*Родит ряды прекрасных отражений,*
*Вперед их продлевая и назад.*

Благородный порыв Доротеи, загоревшейся желанием оградить Лидгейта от подозрений в том, что он дал себя подкупить, неожиданно наткнулся на препятствие: мистер Фербратер сумел ее убедить, как непросто что-то предпринять в подобном положении.

— Дело очень щекотливое, — говорил он. — С чего начать расспросы? Можно либо пойти официальным путем, обратившись к судебным властям, либо — неофициальным, иными словами — поговорить с самим Лидгейтом. Первый путь ненадежен — об этой истории ничего не известно точно, иначе им воспользовался бы Хоули. Разговаривать же на эту тему с Лидгейтом я, право, не решусь. Он может это воспринять как смертельное оскорбление. Я неоднократно убеждался, как трудно говорить с ним о его личных делах. К тому же следовало бы заранее знать, что именно он сделал, в противном случае нельзя

предугадать исход беседы.

— Я уверена, что ничего предосудительного он не сделал. Люди всегда оказываются лучше, чем полагают их ближние, — возразила Доротея.

За последние два года ей пришлось многое пережить, и одним из главных итогов явилась горячая убежденность: нельзя судить о людях предвзято. Впервые за все время их знакомства она почувствовала досаду на Фербратера. Как можно осторожничать и думать о последствиях, как можно не верить в торжество справедливости и добра, когда искренность и пыл — залог успеха. Два дня спустя священник, дядюшка и Четтемы обедали у Доротеи, и когда слуги принесли десерт и вышли, а мистер Брук, покачивая головой, погрузился в дремоту, Доротея с прежней горячностью вернулась к тому же предмету.

— Мистер Лидгейт, конечно, поймет, что, услышав о нем клевету, его друзья немедленно пожелали его защитить. Для чего же мы живем, если не для того, чтобы облегчать друг другу жизнь? Я не могу быть равнодушной к горестям человека, который в моих горестях помог мне советом и ухаживал за мной, когда я заболела.

Голос и манера Доротеи были ничуть не менее решительны, чем три года назад, когда она хо-

зяйничала за столом у дяди, а житейский опыт дал ей еще больше оснований с убежденностью высказывать свое мнение. Но сэр Джеймс Четтем уже не выступал в роли покорного и робкого вздыхателя; сейчас это был заботливый зять, искренне восхищенный свояченицей, но неустанно следящий за тем, чтобы она не стала жертвой новой ошибки, столь же пагубной, как брак с Кейсобоном. Он улыбался реже, а фразу «совершенно верно» употреблял гораздо чаще для того, чтобы предварить ею возражение, а не согласие, как в ту пору, когда был холостяком. Доротея с удивлением увидела, что ей требуется вся ее решимость, чтобы противостоять ему, в особенности потому, что он и впрямь являлся ее добрым другом. Возразил он и сейчас.

— Но, Доротея, — произнес он с укором, — как можно вмешиваться таким образом в чужие дела? Лидгейт, вероятно, знает, во всяком случае вскоре узнает, что говорят о нем в городе. Если он ни в чем не виноват, то оправдается. Но должен сделать это сам.

— Я думаю, друзьям его следует дождаться удобного случая, — вставил мистер Фербратер. — Вполне возможно… я сам не раз поддавался слабости и потому могу себе представить, что да-

же человек благородный, а Лидгейт несомненно таков, способен принять деньги, нечто вроде платы за молчание о давно миновавших событиях. Да, я могу себе представить, что он это сделал, если он измучен гнетом житейских неурядиц, а его обстоятельства были и впрямь нелегки. Что он способен на худшее, я не поверю, разве только мне представят неопровержимые доказательства. Но есть проступки, которые неминуемо влекут за собой тягчайшие последствия, их всегда можно объявить преступлением, и человек не в силах оправдаться, хотя знает, что невиновен.

— О, как это жестоко! — сжимая руки, произнесла Доротея. — Неужели вы не захотите быть единственным, кто верит в его невиновность, хотя против него ополчился весь свет? Кроме того, за человека говорит его репутация.

— Но, дорогая моя миссис Кейсобон, — с мягкой улыбкой возразил Фербратер. — Репутация не мраморный монумент — как все живое, она претерпевает изменения. Она подвержена и болезням, подобно человеческому телу.

— Значит, ее нужно вылечить и защитить, — сказала Доротея. — Я прямо попрошу мистера Лидгейта рассказать мне всю правду — ведь только зная все, мы сможем ему помочь. Чего

же мне бояться? Если решено, что я не покупаю землю, Джеймс, мне ничто не мешает выполнить просьбу мистера Булстрода и взять на себя попечительство над больницей. А если так, мне нужно будет посоветоваться с мистером Лидгейтом, расспросить, хорошо ли, по его мнению, поставлено в больнице дело и не следует ли что-нибудь изменить. Вот и повод для доверительного разговора, дающего нам полную возможность узнать, как все произошло. И уж тогда мы сможем за него вступиться и оградить от неприятностей. Мы превозносим все виды отваги, кроме одного — отважного заступничества за ближнего. — Глаза ее увлажнились и блестели, зазвеневший голос разбудил мистера Брука, и тот прислушался к разговору.

— А ведь и в самом деле, следуя порыву сердца, женщины порою добиваются успеха там, где мужчины терпят поражение, — сказал мистер Фербратер, увлеченный пылом Доротеи.

— Женщине следует быть осмотрительной и слушать тех, кто лучше ее знает жизнь, — хмуро возразил сэр Джеймс. — Что бы вы ни собирались сделать, Доротея, вам пока следует погодить и не вмешиваться в эту историю с Булстродом. Мало ли что еще может обнаружиться. Вы, конечно,

со мной согласны? — заключил он, взглянув на мистера Фербратера.

— Да, я думаю, нам нет нужды спешить, — ответил тот.

— Правда, правда, моя милая, — подтвердил мистер Брук, не имея отчетливого представления, о чем идет спор, но вступая в него с советом, который можно было истолковать как вздумается. — Тут, знаешь ли, нетрудно зайти слишком далеко. У тебя горячая голова. И незачем, знаешь ли, так торопиться тратить деньги на осуществление всяких затей. Гарт навязал мне непомерное количество работ, строительных, по осушению и тому подобных. Расходы непомерные — на то, на се. Пора бы приостановиться. Вы же, Четтем, для чего-то вздумали окружить дубовой изгородью чуть ли не все свое поместье — у вас целое состояние на это уйдет.

Доротея, неохотно покорившись, вместе с Селией ушла в библиотеку, служившую ей обычно гостиной.

— Слушайся Джеймса, Додо, — сказала Селия, — если не хочешь снова оказаться в неприятном положении. Это случается с тобой сплошь и рядом и будет случаться каждый раз, когда ты вздумаешь поступать по-своему. Слава богу, те-

перь Джеймс может подумать за тебя. Он ведь не мешает тебе осуществлять твои проекты, только слишком увлекаться не дает. В этом отношении брат лучше мужа. Муж бы не разрешил тебе ни того, ни другого.

— Да я вовсе не хочу замуж! — сказала Доротея. — Я одного только хочу, чтобы не обуздывали на каждом шагу мои чувства.

Миссис Кейсобон была еще столь недисциплинированна, что расплакалась от досады.

— Ну право же, Додо, — проворковала Селия голоском несколько более горловым, чем обычно. — Ты сама себе противоречишь. У тебя все крайности. Мистер Кейсобон так помыкал тобой, что просто стыд. Казалось, запрети он тебе у меня бывать, ты и тогда бы ему покорилась.

— Разумеется, я покорялась ему, это ведь мой долг. Покорность мне подсказывало чувство, — ответила Доротея, сквозь слезы глядя на сестру.

— Тогда почему ты не считаешь своим долгом хотя бы чуточку покориться желаниям Джеймса? — торжествующе спросила Селия: довод показался ей неопровержимым. — Он желает тебе только добра. А мужчины, разумеется, лучше нас разбираются во всех делах, не считая тех дел, в которых женщины разбираются лучше.

Доротея рассмеялась.

— Ну, ты знаешь: я говорю о детях и обо всем таком, — пояснила Селия. — Я бы не стала подчиняться Джеймсу, когда он не прав, как ты вечно подчинялась мистеру Кейсобону.

## Глава LXXIII

*Сострадай! Ведь нежданное горе*
*Стережет и тебя и меня.*

Успокоив миссис Булстрод, которой он объяснил, что ее мужу стало дурно в душном зале ратуши и, вероятно, он вскоре оправится, а затем пообещав назавтра навестить больного, если за ним не пришлют ранее, Лидгейт тотчас же направился домой, оседлал лошадь и уехал за город, чтобы никого не видеть.

Он был вне себя от ярости и боли, он проклинал тот день, когда приехал в Мидлмарч. Казалось, с самого начала все вело его к этому ужасному стечению обстоятельств, сгубившему его честолюбивые мечты и унизившему его даже в глазах людей, о которых он был весьма невысокого мнения. Естественно, что Лидгейт в этот миг ненавидел весь свет. Он казался сам себе страдальцем и в каждом готов был видеть виновника своей беды. Он мечтал совсем о другом, а окружающие, словно сговорившись, вторгались в его жизнь и мешали ему. Его женитьба была роковой ошибкой. Он боялся встретиться с Розамондой,

пока не утихнет гнев, опасаясь, что, увидев ее, даст волю раздражению. В жизни чуть ли не каждого человека наступает пора, когда самые его благородные черты оборачиваются теневой стороной. Мягкосердечие Лидгейта побуждало его не к нежности и состраданию, а к опасению, как бы не совершить непоправимую жестокость. Его отчаяние было невыносимым. Только тот, кто приобщился к радостям духовной жизни, способен понять, как печально скатиться с ее высот, облагороженных мыслью, полезной деятельностью, целью, — в трясину опустошающих душу житейских дрязг.

Как можно жить, не оправдавшись в глазах людей, подозревающих его в низком поступке? Возможно ли, ни с кем не объяснившись, уехать из Мидлмарча, словно спасаясь бегством? С другой стороны, каким образом он может себя обелить?

Сцена в зале ратуши, хотя он и не знал подоплеки многих обстоятельств, достаточно ясно ему показала, в каком положении оказался он сам. Булстрод, как видно, смертельно боялся разоблачений Рафлса. Виновен ли он в его смерти и в какой мере, если — да? Здесь можно было многое предположить. «Булстрод опасался, что

тот выдаст мне его тайну, он хотел, оказав мне услугу, принудить меня молчать — вот откуда его неожиданная щедрость. Кроме того, возможно, ухаживая за больным, он нарушил мои указания. Боюсь, что так. Но даже если нет — все считают, что он каким-то образом уморил больного, а я взглянул на это преступление сквозь пальцы, чуть ли не был сообщником. И все же… все же он, возможно, неповинен в его смерти; отчего нельзя поверить, что деньги он мне дал просто потому, что от души мне посочувствовал? Порою истинным оказывается то, что представляется нам маловероятным, а наиболее правдоподобное — чистейшим вымыслом. Возможно, когда этот человек умирал, Булстрод вел себя безукоризненно, и я напрасно его заподозрил».

Положение его мучительно. Если даже его единственная цель — оправдаться, если, не в силах вынести, что окружающие избегают его, смотрят искоса, с сомнением пожимают плечами, если, не в силах все это вынести, он сам объявит всем, как обстояло дело, — убедит ли он кого-нибудь? Он ведь будет выглядеть глупцом, если сам станет свидетельствовать в свою пользу, заверяя: «Меня никто не подкупал, и обстоятельства — весомее утверждений». Да к тому же, рассказав все о себе,

он вынужден будет упомянуть и о Булстроде и представить его в еще более сомнительном свете. Он должен будет сказать, что, когда впервые обратился к Булстроду с просьбой дать ему взаймы, он не подозревал о существовании Рафлса, а принял деньги в полном неведении того, какая существует связь между исполнением его просьбы и вызовом к больному в Стоун-Корт. А ведь Булстрода, возможно, подозревают напрасно.

Но тут он задал себе новый вопрос: поступал ли бы он точно так же, если бы банкир не дал ему взаймы? Разумеется, если бы Рафлс остался жив и нуждался в дальнейшем лечении, он, Лидгейт, приехав с очередным визитом и заподозрив Булстрода в нарушении данных ему указаний, тотчас же строго расспросил бы его и, подтвердись его догадка, отказался бы впредь наблюдать больного, невзирая ни на какие денежные обязательства. Но если бы этих обязательств не существовало, если бы Булстрод не спас его от банкротства, воздержался ли бы Лидгейт от расспросов, обнаружив, что пациент мертв? Сыграло ли бы для него и тогда такую же роль нежелание обидеть Булстрода, сомнение в правильности своих указаний, боязнь осуждения его методы со стороны коллег?

Вот что более всего тревожило Лидгейта, перебиравшего все обстоятельства, чтобы выяснить, в чем его можно упрекнуть. Будь он независим, он самым решительным образом потребовал бы точного выполнения предписаний, которые полагал необходимыми для спасения жизни больного. В нынешнем же своем положении он исходил из того, что если даже его указания были нарушены, то ничего преступного тут нет, что, по мнению большинства, самое добросовестное следование его указаниям точно так же могло бы привести к смерти больного и, значит, вопрос этот чисто формальный. А между тем в прежние времена он считал недопустимым подменять научные сомнения нравственными и неустанно твердил: «В медицине чистейший эксперимент должен быть добросовестным. Я занимаюсь спасением человеческих жизней и обязан делать это как следует. Наука точнее, чем догматы церкви. Догмат дает право на ошибку, в то время как наука тем и жива, что борется с ошибками и не дает совести спать». Увы! Совесть ученого оказалась в унизительном соседстве с денежными обязательствами и корыстными соображениями.

«Кто еще из здешних врачей стал бы изводить себя сомнениями так, как я? — задавал себе во-

прос бедняга Лидгейт, терзаясь обидой на свою жестокую судьбу. — А между тем все они отгораживаются от меня, словно я прокаженный. Моя врачебная карьера и доброе имя погибли, это ясно. Даже если бы я сумел привести неопровержимые доказательства своей невиновности — это не произвело бы ни малейшего впечатления на здешних обывателей. Раз уж они порешили, что я обесчещен, их никто и ничто не сможет разубедить».

Сейчас ему припомнилось, что, когда он расплачивался с долгами и радовался, что дела его вновь пойдут на лад, жители города держали себя с ним отчужденно, как-то странно поглядывали на него, а двое его пациентов, как ему стало известно, прибегли к услугам другого врача. Все это прежде озадачивало его, теперь стало понятным. Город начал его отвергать.

Неудивительно, что Лидгейт, деятельный и упорный по натуре, не покорился своей доле. Суровая складка время от времени прорезала его высокий лоб, и не случайно: после нескольких часов мучительных раздумий он возвращался в город, твердо решив остаться в Мидлмарче, что бы его ни ожидало. Он не отпрянет от злословия, не покорится ему. Нет, он вступит с ним в бой

и выдержит его без боязни. И благодарность к Булстроду он не намерен скрывать — это было бы и трусливо, и невеликодушно. Хотя союзничество с этим человеком погубило его и хотя, будь у него сейчас на руках эта тысяча фунтов, он не стал бы платить долги, а возвратил все деньги Булстроду и предпочел нищету унизительным подозрениям в бесчестности (ибо, вспомним, гордыня была в великой степени ему присуща), все же он не отвернулся бы от повергнутого в прах человека и, оправдывая эту позицию, перенес гнев на других. «Я поступлю так, как считаю правильным, и никому не собираюсь ничего объяснять. Они постараются выжить меня отсюда, да только…» Он был полон решимости, но… приближался к дому, и мысль о Розамонде вновь заняла главенствующее место, с которого ее на время вытеснили терзания раненой гордости и чести.

Как отнесется к новости Розамонда? К его оковам прибавилась новая цепь, и бедняга Лидгейт сейчас не был настроен кротко сносить молчаливую укоризну жены. Он не испытывал стремления поделиться с ней горем, которое и так им очень скоро предстояло разделить. Он предпочел дождаться случая, который откроет Розамонде глаза, и знал, что он не за горами.

## Глава LXXIV

*Пошли нам милость состариться вместе.*

***Книга Товита, Брачная молитва***

В Мидлмарче жена не может долго пребывать в неведении о том, что в городе дурно относятся к ее мужу. Даже самые задушевные приятельницы не простирают свою дружбу до того, чтобы прямо объявить жене, что ее мужа уличили либо подозревают в неблаговидном поступке. Но когда женщина, не отягченная работой мысли, внезапно узнает о чем-нибудь, порочащем ее ближних, ей трудно сохранить молчание, ибо на нее воздействует множество соображений морального свойства. Одно из них — откровенность. Быть откровенным на языке Мидлмарча означает, воспользовавшись первой же возможностью, довести до сведения ваших знакомых, что вы отнюдь не высокого мнения об их способностях, манерах и положении в свете. Резвушка-откровенность всегда спешит поскорее высказать свое мнение. Далее следует любовь к истине, многозначная фраза, но в Мидлмарче она означает

лишь одно: живейшее стремление не позволить жене быть незаслуженно высокого мнения о муже или обнаруживать чрезмерное довольство своей судьбой. Бедняжке тут же намекнут, что если бы она знала правду, то не радовалась бы так своей шляпке и деликатесам, подаваемым на званом ужине в ее доме. Самое могущественное из этих соображений — забота о нравственном усовершенствовании подруги или, как порою говорилось, о ее душе, спасению которой весьма способствовали мрачные намеки, каковые надлежало отпускать, меланхолично глядя на диван или кресло и всем своим видом давая понять, что вы умалчиваете о многом, дабы пощадить чувства слушательницы. Иными словами, милосердие не жалело усилий, стремясь удручить заблуждающуюся для ее же блага.

Среди простодушных жен, не ведающих о своих супружеских невзгодах, ни одна не возбуждала столь ревностного участия доброжелательниц, как Розамонда и ее тетушка Булстрод. В отличие от мужа, миссис Булстрод ни у кого не вызывала неприязни и сама за всю жизнь ни души не обидела. Мужчины считали ее красивой и привлекательной и одно из доказательств лицемерия ее супруга усматривали в том, что он женился

на цветущей мисс Винси, а не на какой-нибудь чахлой, унылой особе, как приличествовало бы пренебрегающему земными радостями праведнику. Когда открылась тайна ее мужа, они говорили о миссис Булстрод: «Бедняжка! Она ведь сама честность… можете не сомневаться — уж она-то ничего дурного не подозревала о нем». Ее близкие приятельницы судачили о «бедненькой Гарриет», пытались вообразить себе, что она почувствует, когда ей станет все известно, и строили предположения о том, сколь много ей уже стало известно. К ней не испытывали враждебности, скорее заботливо стремились определить, что ей подобает чувствовать и как поступать при сложившихся обстоятельствах, и при этом, разумеется, перебирали все свойства ее характера и события ее жизни, начиная с тех пор, когда она была Гарриет Винси, и кончая нынешним днем. А говоря о миссис Булстрод, неизбежно вспоминали Розамонду, чьи перспективы были столь же мрачны, как тетушкины. Розамонду строже осуждали, а жалели меньше, хотя, разумеется, и ее, происходившую из уважаемого в городе семейства Винси, считали жертвой опрометчивого брака. Винси не были лишены слабостей, но они их не скрывали — от них не приходилось ждать

«неприятных сюрпризов». С миссис Булстрод не требовали ответа за прегрешения мужа. У нее были свои недостатки.

— Всегда любила наряжаться и пускать пыль в глаза, — говорила миссис Хекбат, угощая чаем избранный кружок приятельниц, — хотя и впала в набожность вслед за мужем. Очень уж гордилась, что принимает у себя священников и Бог-Знает-Кого из Риверстона и еще откуда-то.

— Ее нельзя за это осуждать, — сказала миссис Спрэг. — Из порядочных людей почти никто не желал иметь дело с Булстродом, а в одиночку сидеть за столом мало радости.

— Мистер Тизигер был расположен к ее мужу, — сказала миссис Хекбат. — Я думаю, он об этом сейчас сожалеет.

— Он был приветлив с ним, но недолюбливал его, это все знают, — сказала миссис Том Толлер. — Мистер Тизигер не одобряет крайностей. Он ценит искренность в вере. А Булстрод по нраву только таким священникам, как мистер Тайк, ханжам, распевающим псалмы по сектантским молитвенникам.

— Мистер Тайк, наверное, ужасно огорчен, — сказала миссис Хекбат. — Да и как ему не огорчаться. Говорят, если бы не Булстрод, ему не

удавалось бы сводить концы с концами.

— А какой урон нанесен их учению, — проговорила миссис Спрэг, женщина в годах, со старомодными взглядами. — Теперь едва ли кто-нибудь в Мидлмарче рискнет похвастаться принадлежностью к методистам.

— Я полагаю, не стоит дурные поступки людей приписывать их верованиям, — вмешалась молчавшая до этих пор остролицая миссис Плимдейл.

— Ох, душечка, простите, мы совсем забыли, — сказала миссис Спрэг. — Нам не следовало затрагивать при вас эту тему.

— Я вовсе не пристрастна, — краснея, возразила миссис Плимдейл. — Не спорю, мистер Плимдейл всегда был в добрых отношениях с мистером Булстродом, а с Гарриет Винси мы подружились еще до замужества. Но я всегда высказывала прямо свое мнение и возражала ей, если она заблуждалась, бедняжка. И все же, что касается религии, должна сказать, можно совершить и худшие преступления, чем Булстрод, не исповедуя никакой веры. Он, конечно, хватал через край, мне больше по душе умеренность. Но что правда — то правда. Не думаю, чтобы на скамье подсудимых сидели только набожные люди.

— Я одно могу сказать, — проговорила миссис Хекбат, ловко придавая разговору иное направление, — ей непременно нужно с ним разъехаться.

— Не думаю, — сказала миссис Спрэг. — Ведь она обещала делить с ним радость и горе.

— Так-то оно так, но не тогда же, когда оказывается, что твоему мужу место в тюрьме, — возразила миссис Хекбат. — Как можно жить с подобным человеком! Чего доброго, еще яду подсыплет.

— Да, это чуть ли не поощрение преступности, когда порядочные женщины сохраняют преданность подобным мужьям, — сказала миссис Том Толлер.

— А бедняжка Гарриет очень преданная жена, — сказала миссис Плимдейл. — Своего мужа она считает лучшим из людей. Он и впрямь ей никогда ни в чем не отказывал.

— Ну что ж, посмотрим, как она поступит, — сказала миссис Хекбат. — От души надеюсь не встретить ее ненароком — до смерти боюсь проговориться о ее муже. Вы полагаете, она еще ни о чем не догадывается?

— Скорее всего, нет, — ответствовала миссис Том Толлер, — говорят, он заболел и с того четверга не выходит из дома. Зато она с дочерьми была вчера в церкви, все трое в новых итальянских

шляпках. А у нее так даже с пером. Набожность, по моим наблюдениям, не мешает ей наряжаться.

— Она всегда одевается очень мило, — суховато возразила миссис Плимдейл. — А перышко, я слыхала, специально выкрасила в скромный, лиловатый цвет. Отдадим ей справедливость, Гарриет ведет себя достойно.

— И конечно, она недолго будет пребывать в неведении, — сказала миссис Хекбат. — Винси уже все знают, так как мистер Винси был тогда в ратуше. Ужасный удар для него. Ведь скандал коснулся не только его сестры, но и дочери.

— Да, в самом деле, — подхватила миссис Спрэг. — Мистер Лидгейт теперь едва ли будет важничать, как прежде. Уж слишком неприглядно выглядит эта тысяча фунтов, которую ему вручили перед смертью того человека. Просто мороз по коже дерет.

— Гордость до добра не доводит, — произнесла миссис Хекбат.

— Розамонду Винси мне меньше жаль, чем ее тетку, — сказала миссис Плимдейл. — Розамонде нужен был урок.

— Булстроды, наверное, уедут за границу, — сказала миссис Спрэг. — Так всегда делают, если в семье случится такое позорище.

— Тяжелее всех придется Гарриет, — сказала миссис Плимдейл. — Этот удар ее просто убьет. Всем сердцем ей сочувствую. У нее есть недостатки, но человек она прекрасный. Она еще девочкой просто прелесть была — скромная, душевная, искренняя. А уж какая хозяйка — загляни к ней в комод, в каждом ящике каждая вещь на своем месте. Дочек так же воспитала, и Кэт, и Эллен. Нелегко ей будет среди иностранцев.

— Мой муж говорит, он посоветовал бы Лидгейтам жить среди иностранцев, — сказала миссис Спрэг. — Он говорит, Лидгейту вообще не следовало уезжать из Франции.

— Полагаю, его жене это пришлось бы по нраву, — сказала миссис Плимдейл. — Вертушка, почище француженок. В мать, а не в тетку пошла, и советов тетушкиных никогда не слушала — к слову, та ей прочила совсем другого жениха.

Миссис Плимдейл оказалась в довольно сложном положении. Не только дружба с миссис Булстрод, но и выгодные для красильной фабрики Плимдейла деловые отношения с Булстродом вынуждали ее, с одной стороны, желать, чтобы доброе имя банкира было восстановлено, с другой стороны — опасаться, как бы ее не сочли излишне снисходительной. К тому же, породнившись с

Толлерами, она вошла в высшее общество, чем была очень довольна, хотя это несколько противоречило ее приверженности истинам, на ее взгляд, тоже высшим, но уже совершенно в ином смысле. Прозорливая маленькая фабрикантша не знала, как ей совместить те и другие «высоты», а также удовольствие и горечь, которые ей принесли события недавних дней, смирившие тех, кого надо смирить, однако сделавшие своей жертвой ее старинную подругу, чьи недостатки миссис Плимдейл предпочитала прозревать на фоне благосостояния.

А несчастная миссис Булстрод в преддверии беды чувствовала лишь, что смутное беспокойство, не покидавшее ее со времени последнего визита Рафлса в «Шиповник», стало заметней, острей. Когда этот гнусный человек больным приехал в Стоун-Корт и ее муж перебрался туда за ним ухаживать, миссис Булстрод с полным доверием отнеслась к заверению мужа, что Рафлс — его бывший служащий, которому он помогал и прежде, а тем паче считает себя обязанным поддержать его сейчас, когда он пал так низко. Вслед за этим муж ей сообщил, что его собственное здоровье поправляется, так что он вскоре сможет вернуться к делам, и простодушная мис-

сис Булстрод окончательно приободрилась. Ее спокойствие нарушилось, когда Лидгейт после собрания в ратуше привез домой ее внезапно захворавшего супруга. Как ни успокаивал ее доктор в последующие дни, миссис Булстрод не раз потихоньку плакала, убежденная, что муж ее страдает не только от телесного недомогания, но и еще от чего-то, сокрушающего его душу. Он не позволял жене читать ему, даже сидеть подле него, уверяя, будто движение и шум раздражающе действуют на его нервы. Миссис Булстрод тем не менее подозревала, что, запираясь в кабинете, он изучает деловые бумаги. Что-то случилось, она не сомневалась в этом. Быть может, крупный финансовый крах. Ничего определенного она не знала и могла только гадать. Так прошло четыре дня. На пятый, не смея расспрашивать мужа, она не пошла в церковь, дождалась Лидгейта и обратилась к нему с вопросом:

— Мистер Лидгейт, умоляю, будьте со мной откровенны. Я хочу знать правду. С мистером Булстродом что-то произошло?

— Небольшое нервное потрясение, — уклончиво ответил Лидгейт. Он чувствовал себя не в силах нанести бедняжке удар.

— Но что вызвало это потрясение? — спросила

миссис Булстрод, устремив на него пытливый взгляд больших темных глаз.

— Атмосфера в залах общественных собраний зачастую пропитана ядовитыми миазмами, — сказал Лидгейт. — Людям крепкого сложения они не вредят, зато сказываются на тех, кто обладает хрупким организмом. Очень редко удается предсказать, когда именно наступит припадок, точнее, объяснить, почему человек обессилел именно в этот миг.

Этот ответ не удовлетворил миссис Булстрод. Она по-прежнему не сомневалась, что ее мужа постигла какая-то беда, которую от нее скрывают, а примиряться с такого рода неведением было не в ее натуре. Испросив у мистера Булстрода разрешения отлучиться и оставить с ним на это время дочерей, она отправилась в город с визитами, предположив, что от ее внимания либо слуха не ускользнет даже малейший признак, подтверждающий справедливость ее опасений.

Она направилась к миссис Тизигер, которой не оказалось дома, затем поехала к миссис Хекбат, жившей по другую сторону кладбища. Миссис Хекбат увидела ее из окна и, вспомнив, как она боялась случайно встретить миссис Булстрод, сперва намеревалась передать через слугу, что

ее нет дома. Но это желание было вытеснено другим: миссис Хекбат захотелось ощутить опасную и острую прелесть беседы, в течение которой она, разумеется, ни словечком не обмолвится о занимающем ее мысли предмете.

И вот миссис Булстрод проводили в гостиную, куда к ней вскоре вышла миссис Хекбат, потирая ручки и поджимая губы более обычного, поскольку полагала, что эти маневры помогут ей удержать язык за зубами. Она приняла решение не справляться о здоровье мистера Булстрода.

— Вот уже почти неделю я бываю только в церкви, — сказала миссис Булстрод, обменявшись с хозяйкой дома несколькими незначащими фразами. — Мистеру Булстроду стало дурно на собрании в четверг, и мне не хотелось оставлять его одного дома.

Миссис Хекбат одной рукой потерла другую, прижатую к груди, и взгляд ее рассеянно блуждал по узору каминного коврика.

— Мистер Хекбат был там? — не отступалась миссис Булстрод.

— Да, — ответила миссис Хекбат, не меняя позы. — Я думаю, землю приобретут по подписке.

— Будем надеяться, эпидемия нас минует и там не придется хоронить умерших от холеры, — ска-

зала миссис Булстрод. — Упаси боже от такой беды. Я всегда считала, что в Мидлмарче очень здоровый климат. Вероятно, привыкла, я ведь здесь выросла. Ни один город мне так не нравится, как Мидлмарч, не представляю, как я могла бы жить в другом месте.

— Я, право же, была бы рада, если бы вы навсегда остались жить в Мидлмарче, миссис Булстрод, — ответствовала миссис Хекбат с легким вздохом. — Но увы, жизнь учит нас подавлять наши желания, покорствуя жребию. Тем не менее в нашем городе, конечно, всегда найдутся люди, душевно расположенные к вам.

Миссис Хекбат очень хотелось сказать: «Послушайтесь доброго совета, уйдите от мужа», но, ясно чувствуя, что бедняжка не подозревает, какой гром готов грянуть над ее головой, она сочла возможным лишь слегка ее подготовить. Миссис Булстрод пронизал холодный трепет: вне всякого сомнения, миссис Хекбат неспроста вела такие речи. Но хотя миссис Булстрод для того и выехала из дому, чтобы узнать все до конца, мужество ее покинуло, и, малодушно переменив предмет беседы, она принялась расспрашивать о юных Хекбатах и вскоре попрощалась, сказав, что хочет повидаться с миссис Плимдейл. По дороге к дому

этой дамы она решила, что на собрании, вероятно, возник более резкий, нежели обычно, спор между мистером Булстродом и его постоянными неприятелями, среди которых был, возможно, мистер Хекбат. Это объясняло все.

Но во время разговора с миссис Плимдейл это обнадеживающее объяснение событий потеряло в ее глазах убедительность. «Селина» встретила подругу с трогательной нежностью, выказывая склонность давать назидательные ответы на самые банальные вопросы. И то и другое едва ли свидетельствовало о том, что на собрании в ратуше произошла всего лишь перебранка, главным следствием которой явилось разлитие желчи у мистера Булстрода. Поначалу миссис Булстрод считала, что предлагать вопросы миссис Плимдейл окажется легче, нежели другим. К своему удивлению, она обнаружила, что старая подруга отнюдь не всегда годится на роль конфидантки: слишком свежи в памяти беседы с ней при совершенно иных обстоятельствах, нет желания служить предметом жалости и выслушивать горькие истины от той, с кем ты в течение долгих лет привыкла обращаться покровительственно. По временам миссис Плимдейл перемежала беседу загадочными заверениями в своей решимости

ни в коем случае не изменять старинной дружбе, каковые окончательно убедили миссис Булстрод, что произошла какая-то беда, и вместо того, чтобы со свойственной ей прямотой спросить: «На что ты намекаешь?», она поспешила удалиться, боясь услышать нечто более определенное. Полная смятения, она все больше убеждалась, что, как видно, дело не в финансовых потерях, а в чем-то более серьезном, ибо от ее внимания не укрылось, как и «Селина», и миссис Хекбат деликатно пропускали мимо ушей все ее упоминания о муже, словно речь шла о чем-то постыдном.

Торопливо распростившись с подругой, миссис Булстрод велела кучеру ехать к складу мистера Винси. За то краткое время, которое, терзаемая неизвестностью, она провела в карете, ужас ее достиг таких пределов, что, когда она вошла в контору к брату, у нее дрожали колени, а всегда румяное лицо стало мертвенно-бледным. Обуревавшее ее волнение отчасти передалось и ему. Он встал, шагнул ей навстречу, взял за руку и со свойственной ему порывистостью воскликнул:

— Бог да поможет тебе, Гарриет! Ты знаешь все!

Пожалуй, этот миг был самым тяжким. В пору великих потрясений такие минуты, когда все

чувства напряжены до предела, приоткрывают главное в натуре человека и позволяют предсказать, чем завершится борьба, которая пока еще длится. Если бы не воспоминание о Рафлсе, быть может, даже в этот миг воображению миссис Булстрод не рисовалось бы иной беды, кроме разорения. Но сейчас полные глубокой жалости слова и лицо брата внезапно навели ее на мысль, не совершил ли мистер Булстрод чего-нибудь дурного… затем она с ужасом представила себе мужа обесчещенным, а затем, пережив миг жгучего стыда, когда она ощущала себя словно выставленной на всеобщее обозрение, она перенеслась к нему единым порывом сердца, чтобы, скорбя, но не укоряя, разделить с ним позор и одиночество. Все это пронеслось в ее сознании молниеносно, она успела только опуститься в кресло и взглянуть на брата, стоявшего рядом.

— Я ничего не знаю, Уолтер. Что произошло? — спросила она слабым голосом.

Он рассказал ей все, отрывисто, бессвязно, всячески стараясь подчеркнуть, что в обвинениях многое не доказано, в особенности обстоятельства, связанные с Рафлсом.

— Без пересудов не обойтись, — сказал он. — Даже если человека оправдают присяжные, все

равно у него за спиной судачат, перемигиваются, качают головами… так уж водится, и безразлично, виноват он или нет. Страшный удар, он сокрушил и Лидгейта, не только Булстрода. Не берусь судить, что в этих слухах правда. Я об одном только жалею: что нам пришлось услышать эти имена — Булстрод и Лидгейт. Лучше бы ты до конца своих дней осталась Винси и Розамонда — также.

Миссис Булстрод промолчала.

— Но не падай духом, Гарриет. Тебя никто ни в чем не обвиняет. А я тебя не оставлю, что бы ты ни решилась предпринять, — сказал брат с грубоватой, но искренней нежностью.

— Проводи меня до кареты, Уолтер, — сказала миссис Булстрод. — Я еле держусь на ногах.

По возвращении домой она могла лишь сказать дочери:

— Я плохо чувствую себя, душенька, мне придется лечь. Позаботься об отце. Пусть никто ко мне не входит. Обедать я не буду.

Она заперлась в своей комнате. Ей требовалось время, чтобы утихла боль, чтобы смириться со своей новой судьбой, с жизнью, подрезанной под корень, и уж затем со всей решимостью занять определенное ей ныне положение. Муж предстал

перед ней в неожиданном, безжалостно ярком свете, и судить его снисходительно она не могла: ей вспомнилось, как в течение двадцати лет супружества она благоговейно преклонялась перед ним, утаившим от нее столь многое, и могла назвать его только гнусным обманщиком. Он женился на ней, скрыв от нее свое темное прошлое, и она больше не верила ему и не смела защищать от самых страшных обвинений, которые на него возводили. Прямодушная, привыкшая жить на виду, она особенно горько страдала, разделяя с ним заслуженный позор.

Но эта дурно образованная женщина, чья речь и привычки являли собой весьма пеструю смесь, знала, что такое верность. Человека, с которым она прожила в богатстве и довольстве почти половину жизни, неизменно окруженная его нежной заботой, постигла кара, значит, его немыслимо предать. Есть предательницы, сидящие за одним столом, возлежащие на том же ложе и иссушающие душу того, кто предан ими, своей холодной близостью. Она знала, что когда отопрет дверь, то отопрет ее, готовая прийти к мужу и разделить его горе, а о вине его сказать: скорблю и не упрекаю. Но ей нужно было время, чтобы собраться с силами, ей нужно было опла-

кать прощание с прежней гордой, беспечальной жизнью. Решившись наконец, она принялась готовиться к встрече с мужем, и бессердечный наблюдатель мог бы счесть ее поступки блажью. Всем зрителям, и видимым, и невидимым, она показывала, как умела, что начала новую жизнь, в которой избрала своим уделом смирение. Она сняла все украшения и надела простое черное платье, гладко причесала пышно взбитые волосы, а нарядную шляпку с пером сменила на простой чепец, в котором неожиданно стала похожа на методистку старых времен.

Булстрод, знавший, что жена ездила в город, а воротившись, сказалась больной, провел все это время в не меньшем волнении. Он предвидел еще прежде, что она может узнать правду от посторонних, и предпочитал это необходимости сделать признание самому. Но сейчас он ожидал ее в мучительной тревоге. Он заставил дочерей уйти из комнаты и, хотя позволил принести ему еду, не прикоснулся к ней. Он чувствовал, как погружается в пучину горя, ни в ком не вызывая сострадания. Жена, быть может, никогда уже не взглянет на него с любовью. А если обратиться к богу, ему казалось, бог не даст ответа, а лишь пошлет ему возмездие.

Было уже восемь часов, когда отворилась дверь и вошла она. Он не смел поднять на нее глаз. Он сидел понурившись, и ей даже показалось, что он стал меньше ростом — так он съежился, сжался. Привычная нежность и непривычная жалость волной захлестнули ее, и, взяв его одной рукой за руку, а вторую положив ему на плечо, она произнесла торжественно, но мягко:

— Посмотри на меня, Никлас.

Слегка вздрогнув, он поднял на нее глаза и на мгновение застыл, изумленный: траурное одеяние, бледное лицо, дрожащие губы, все говорило: «я знаю», а глаза и руки с нежностью обращены к нему. Он разрыдался, она села с ним рядом, и они плакали вместе. Они еще не могли говорить ни о бесчестье, которое она с ним разделяла, ни о поступках, которыми он навлек на них позор. Он молчаливо ей во всем признался, она молчаливо обещала ему верность. При всем своем прямодушии она как огня страшилась слов, которые открыто выразили бы то, что они оба знали. Она не могла спросить: «Что в этих слухах — просто клевета и пустые подозрения?», и он не мог ответить: «Я не виновен».

## Глава LXXV

*Ощущение пустоты изведанных удовольствий и неосведомленность в тщете удовольствий неизведанных рождают непостоянство.*

***Паскаль***

Утраченная жизнерадостность на время воротилась к Розамонде, когда суровая фигура судебного исполнителя перестала омрачать их домашний очаг и несговорчивым кредиторам было уплачено. Но веселой она не стала: супружеская жизнь не оправдала ее девичьих надежд и не сулила радостей в дальнейшем. В этот краткий промежуток затишья Лидгейт, помня, как несдержан он часто бывал под гнетом тревог и как невнимателен к огорчениям Розамонды, стал с ней очень нежен. Но в его нежности не было прежнего пыла, он не оставил привычки напоминать ей о необходимости сократить расходы и еле сдерживал гнев, если жена отвечала ему на это, что хочет переехать в Лондон. Правда, временами Розамонда ничего не отвечала и с томным видом размышляла, как безрадостна ее жизнь.

Оброненные в гневе жестокие и презрительные слова, столь непохожие на те, которые Лидгейт говорил ей в пору первой влюбленности, больно ранили ее тщеславие; и так как ее по-прежнему раздражали его «причуды», она считала себя несчастной и его ласки принимала холодно. Положение их в обществе незавидно, из Куоллингема никаких вестей… в жизни Розамонды не было просвета, не считая редких писем от Уилла Ладислава. Решение Уилла покинуть Мидлмарч уязвило и разочаровало Розамонду, которая, хотя и знала о его преклонении перед Доротеей, тайно тешила себя надеждой, что перед нею он преклоняется или же будет преклоняться гораздо больше. Розамонда принадлежала к женщинам, глубоко убежденным, что каждый мужчина готов предпочесть их всем остальным, если бы это не было безнадежно. Миссис Кейсобон весьма мила, конечно, но ведь Уилл заинтересовался ею до того, как познакомился с миссис Лидгейт. Розамонда полагала, что за принятой им манерой то шутливо ее поддразнивать, то изъявлять преувеличенно пылкое восхищение скрывается более глубокое чувство. Это приятно щекотало ее тщеславие, и она испытывала в присутствии Уилла тот романтический подъем, которого уже

не вызывало в ней присутствие Лидгейта. Она даже вообразила себе — в таких делах чего только не померещится, — что Уилл в пику ей преувеличивает свое преклонение перед миссис Кейсобон. Все это очень занимало бедняжку до отъезда Уилла. Он был бы, думала она, более подходящим мужем для нее, чем оказался Лидгейт. Предположение глубоко ошибочное, ибо Розамонда была недовольна супружеской жизнью из-за самих условий, которые предъявляет нам супружеская жизнь, требующая самоотверженности и терпимости, а не потому, что ей достался не тот муж. Но чувствительные грезы о несбыточном лучшем увлекали ее, разгоняя скуку. Она сочинила даже небольшой роман, дабы оживить свое унылое существование: Уилл Ладислав до конца своих дней остается холостяком и живет неподалеку от нее, всегда готовый к услугам, пылая несомненной, но скрываемой за недомолвками страстью, вспышки которой по временам разнообразят ее жизнь. Можно вообразить себе, какую досаду вызвал в ней его отъезд и каким невыносимо скучным стал казаться ей Мидлмарч; впрочем, на первых порах в запасе оставались приятные мечты о дружбе с куоллингемской родней. Но позже Розамонда, чья супружеская жизнь омрачилась

новыми тяготами, не находя иных источников утешения, с сожалением припоминала этот незатейливый роман. Печальную ошибку совершаем мы, принимая смутное томление духа порой за признак гения, порою за религиозность и чаще всего за истинную любовь. Уилл Ладислав писал Лидгейтам пространные письма, обращаясь то к нему, то к ней; отвечала ему Розамонда. Она чувствовала: их разлуке вскоре должен наступить конец, и горячо желала переехать в Лондон. В Лондоне все станет хорошо; она тихо и упорно добивалась осуществления этой цели, как вдруг нежданное радостное известие еще больше воодушевило ее.

Пришло оно вскоре после памятного собрания в ратуше и представляло собой не что иное, как письмо, полученное Лидгейтом от Ладислава, который главным образом писал о программе освоения Дальнего Запада — своем последнем увлечении, но между делом упоминал, что через несколько недель ему придется побывать в Мидлмарче — весьма приятная необходимость, добавлял он, почти то же, что каникулы для школьника. Он надеялся, что его ожидает старое местечко на ковре и музыка… море музыки. Правда, он пока никак не мог назвать дату своего

приезда. Лидгейт читал это письмо вслух, и личико Розамонды напоминало оживающий цветок — оно расцвело улыбкой и похорошело. Все гадкое, несносное осталось позади: долги уплачены, мистер Ладислав приезжает, и Лидгейт согласится переехать в Лондон, который «так не похож на провинцию».

Ей все казалось лучезарным. Но вскоре над ее головкой вновь собрались тучи. Муж стал мрачен, и причина его угрюмого расположения духа, о которой он не обмолвился ни словом, зная, что не встретит в Розамонде ни понимания, ни сочувствия, оказалась крайне огорчительной и странной. Розамонде даже в голову не приходило, что угроза ее благоденствию может явиться с такой стороны. Приободрившись и думая, что муж просто хандрит, чем объясняется его необщительность и молчаливость, она решила через несколько дней после собрания в ратуше, не спрашивая его совета, разослать приглашения на небольшой званый ужин. Замечая, что знакомые словно чуждаются их, и желая возобновить добрососедские отношения, она не сомневалась в своевременности и разумности этого шага. Когда приглашения будут приняты, она все расскажет мужу, попеняв ему за непростительную для прак-

тикующего врача беспечность. Розамонда была очень строга, когда дело касалось обязанностей других людей. Однако все ее приглашения были отклонены, и последний отказ попал в руки Лидгейта.

— Это от Чичли — его каракули. О чем он тебе пишет? — удивленно сказал Лидгейт, вручая жене записку. Розамонде ничего не оставалось, как показать ему ее, и Лидгейт яростно проговорил:

— Как тебе пришло в голову рассылать такие приглашения без моего ведома, Розамонда? Я прошу, я требую, чтобы ты никого не приглашала в дом. Полагаю, ты пригласила и других и они тоже отказались.

Она не ответила.

— Ты меня слышишь? — прогремел Лидгейт.

— Да, разумеется, я слышу тебя, — сказала Розамонда, грациозно повернув в сторону головку на лебединой шее.

Лидгейт неграциозно тряхнул головой и тотчас вышел, чувствуя, что не ручается за себя. У Розамонды не возникло мысли, что для его категоричности имеются особые причины, она просто подумала, что муж становится все более невыносимым. Зная наперед, как мало участия

проявляет она к его делам, Лидгейт давно уже ей ничего не рассказывал, и о злополучной тысяче фунтов Розамонде было известно лишь, что она одолжена у ее дяди Булстрода. Сейчас, когда их денежные затруднения остались позади, ей казались совершенно необъяснимыми неприятная угрюмость Лидгейта и явная отчужденность знакомых. Если бы приглашения были приняты, Розамонда заехала бы к родителям, у которых не была уже несколько дней, и пригласила мать и остальных; сейчас она надела шляпку и отправилась туда расспросить, что случилось и почему все, словно сговорившись, избегают их, оставляя ее наедине с нелюдимым, неуживчивым супругом. Она пришла после обеда и застала отца и мать в гостиной. Они печально посмотрели на нее, сказав: «Это ты, душенька!» — и ни слова больше. Никогда она не видела отца таким подавленным. Сев рядом с ним, она спросила:

— Что-то случилось, папа?

Мистер Винси промолчал, а жена его сказала:

— Ах, душенька, неужели ты еще не слыхала? Не сегодня-завтра придется узнать.

— Что-нибудь с Тертием? — спросила Розамонда, бледнея: ей вспомнилась его казавшаяся непонятной угрюмость.

— Да, милочка, увы. Только подумать, сколько огорчений приносит тебе этот брак. Сперва долги, а нынче и похуже.

— Постой, Люси, постой, — вмешался мистер Винси. — Розамонда, ты еще ничего не слыхала о дяде Булстроде?

— Нет, папа, — ответила бедняжка, чувствуя, что до сих пор не знала еще настоящей беды, стиснувшей ее сейчас железной хваткой, от которой замерло ее сердечко.

Отец все рассказал ей, добавив в конце:

— Тебе следовало узнать правду, дорогая. Лидгейту, я думаю, придется уехать. Все обстоятельства против него. Сомневаюсь, чтобы он смог оправдаться. Сам я не виню его ни в чем, — закончил мистер Винси, прежде всегда готовый бранить зятя.

Розамонда похолодела. За что ей выпала эта жестокая доля — стать женой человека, о котором ходят позорные слухи? Нас часто более всего страшит не само преступление, а связанный с ним позор. Беда ее была бы много горше, если бы муж и в самом деле совершил нечто преступное, но сделать такой вывод Розамонда смогла бы, только основательно обдумав и взвесив все обстоятельства — занятие, которому она не пре-

давалась никогда. Большего позора, казалось ей, не существует. Как наивна и доверчива была она, когда так радовалась, выйдя замуж за этого человека и породнившись с его семьей! Впрочем, со свойственной ей сдержанностью она лишь сказала родителям, что если бы Лидгейт ее слушался, он бы уже давно уехал из Мидлмарча.

— Девочка отлично держится, — сказала мать после ее ухода.

— Что ж, слава богу! — отозвался мистер Винси, подавленный гораздо более, чем дочь.

Но Розамонда вернулась домой, пылая праведным гневом. В чем повинен ее муж, как он в действительности поступил? Она не знала. Почему он ничего ей не сказал? Он не счел нужным поговорить с ней об этом предмете — разумеется, и она не станет с ним говорить. У нее мелькнула мысль уйти к родителям, но, подумав, Розамонда ее отмела — унылая перспектива жить в родительском доме, будучи замужем. Розамонда не представляла себе, как она сможет существовать в столь странной ситуации.

В течение последующих двух дней Лидгейт заметил происшедшую с женой перемену и понял, что она все знает. Заговорит она с ним или так и будет до скончания веков молчать, намекая таким

образом, что верит в его виновность? Вспомним, Лидгейт находился в том болезненно-угнетенном состоянии духа, в котором мучительно почти любое соприкосновение с людьми. Правда, и у Розамонды имелись причины жаловаться на его недоверчивость и скрытность. Но, глубоко обиженный, он оправдывал себя: нет, не зря он так боялся поделиться с ней своей бедой — ведь сейчас, когда ей все известно, она и не думает заговорить с ним. И все же ему не давало покоя сознание своей вины и все труднее становилось выносить их взаимное молчание. Они были похожи на людей, потерпевших крушение, которые носятся по морю на одном обломке судна, не глядя друг на друга.

«Я глупец, — подумал он, — чего я ждал? Ведь обвенчался я не с помощью, а с заботой». В тот же вечер он сказал:

— Розамонда, до тебя дошли какие-то дурные вести?

— Да, — ответила она, отложив в сторону рукоделие, которым вопреки обыкновению занималась рассеянно и без усердия.

— Что же ты слышала?

— Наверное, все. Мне рассказал папа.

— Меня считают опозоренным?

— Да, — отвечала она еле слышно и снова машинально взялась за шитье.

Оба молчали. Лидгейт подумал: «Если бы она в меня верила, если бы ей было ясно, каков я, что собой представляю, она сразу же сказала бы, что во мне не сомневается».

Но Розамонда продолжала вяло двигать пальчиками. По ее мнению, уж если кто и должен был заговорить, так это Тертий. Ведь ей ничего не известно. К тому же если он совсем не виноват, то почему он не пытается защитить свою репутацию?

Ее молчание еще больше обострило ту обиду, с которой Лидгейт твердил себе, что никто ему не верит, даже Фербратер за него не вступился. Он стал предлагать ей вопрос за вопросом, надеясь втянуть в разговор и рассеять окутавший их холодный туман, но неприязненность Розамонды его обескуражила. Как всегда, она одну себя считала несчастной. Муж в ее глазах был совершенно посторонним человеком, неизменно поступавшим ей наперекор. Он сердито вскочил и, сунув руки в карманы, принялся расхаживать по комнате. В то же время в глубине души его не оставляло сознание, что нужно овладеть собой, рассказать все Розамонде и развеять ее

сомнения. Он ведь уже почти усвоил, что должен приспособляться к ней, и поскольку ей не хватает сердечности, обязан быть сочувственным вдвойне. Вскоре он вновь пришел к мысли, что должен объясниться с нею откровенно: когда еще представится такой удобный случай? Если он сумеет ее убедить, что позорящие его слухи — клевета, с которой надлежит бороться, а не бежать ее, и что причиной всему — их постоянная нужда в деньгах, ему, может быть, также удастся внушить ей, как необходимо им обоим жить по возможности скромно, чтобы переждать тяжелые времена и добиться независимости. Он перечислит, что для этого нужно сделать, и она станет его сознательной помощницей, сподвижницей. Попробовать необходимо — иного выхода у него нет.

Он не заметил, долго ли метался по комнате, но Розамонда, находя, что слишком долго, с нетерпением ждала, когда он наконец усядется. Она тоже полагала, что пришел удобный случай внушить Тертию, как ему следует поступить. Каким образом там все произошло, ей неизвестно, но одно несомненно — их положение ужасно.

В конце концов Лидгейт сел — не на стул, где обычно сидел, а на тот, что был поближе к Роза-

монде, и, прежде чем начать нелегкий разговор, повернулся к ней, глядя пристально и серьезно. К этому времени он совершенно овладел собой и говорить собирался веско, так, словно не предвидел возражений. Он уже даже открыл рот, как вдруг Розамонда, уронив на колени руки, повернулась к нему и сказала:

— Право, Тертий…

— Да?

— Право, тебе наконец пора понять, что нам нельзя оставаться в Мидлмарче. Я больше не могу тут жить. И папа, и все говорят, что тебе следует уехать. С теми невзгодами, которые мне придется переносить, я легче справлюсь в любом другом месте.

Этого удара он не ждал. Вместо решительного объяснения, к которому он с таким трудом себя подготовил, все вернулось на круги своя. Перенести это он был не в состоянии. С изменившимся лицом он быстро встал и вышел.

Возможно, если бы у него хватило сил не отступиться от намерения противопоставить ее духовной скудости свое великодушие, этот вечер закончился бы более благотворно. Если бы он не обратился в бегство, ему, быть может, удалось бы оказать воздействие на воображение и волю

Розамонды. Ведь даже взбалмошные и несговорчивые люди не всегда способны противостоять влиянию более значительной личности. Под бурным натиском могучей и пылкой души они могут, слившись с ней, отказаться от прежних воззрений. Но беднягу Лидгейта терзала такая невыносимая мука, что выполнить эту задачу у него не стало сил.

Общность мыслей и единство устремлений казались столь же неосуществимыми, как прежде; и даже больше, ибо после неудачной попытки Лидгейт окончательно разуверился в своих силах. Они жили бок о бок, чужие друг другу. Преодолевая отчаяние, Лидгейт пытался работать, и при каждой его резкости Розамонда все более утверждалась в сознании своей правоты. Разговаривать с Тертием бесполезно, но когда приедет Уилл Ладислав, она непременно ему все расскажет. Всегда скрытная, и она нуждалась в друге, который понял бы, как дурно с ней обходятся.

## Глава LXXVI

*Мир, сострадание, любовь*
*Все в горе призывают,*
*И светом сладостным они*
*Нас в счастье озаряют.*
* * *
*Ведь мир, сходя к нам, облечен*
*В людское одеянье,*
*И человечен лик любви*
*И сердце состраданья.*

***Уильям Блейк, «Песни невинности»***

Несколько дней спустя по приглашению Доротеи Лидгейт отправился в Лоуик-Мэнор. Приглашение не явилось неожиданностью, поскольку ему предшествовало письмо мистера Булстрода, в котором банкир сообщал, что собирается, как и намеревался, покинуть Мидлмарч и должен напомнить Лидгейту их недавний разговор по поводу больницы, о процветании которой по-прежнему радеет. Перед тем как предпринять дальнейшие шаги, он счел своим долгом еще раз обсудить этот предмет с миссис Кейсобон, которая вновь выразила желание посоветовать-

ся с Лидгейтом. «Ваши намерения, возможно, несколько изменились, — писал мистер Булстрод, — но и в этом случае желательно, чтобы вы известили о них миссис Кейсобон».

Доротея ждала его с нетерпением. Хотя из уважения к своим советчикам она не стала, как выражался сэр Джеймс, «вмешиваться в булстродовскую историю», тревога за Лидгейта не покидала ее ни на минуту, и, когда Булстрод вновь напомнил ей о больнице, она почувствовала, что наконец-то ей представился случай сделать то, что она давно уже замышляла. Живя в богатом доме, прогуливаясь под раскидистыми ветвями деревьев, она терзалась, вынужденная сдерживать порывы чуткого, отзывчивого сердца. Она была одержима пылким стремлением помочь ближним делом, и, стоило ей узнать о ком-то, нуждающемся в поддержке, бездеятельность становилась для нее невыносимой, а собственное довольство казалось постылым. На встречу с Лидгейтом она возлагала огромные надежды, не смущаясь тем, что слышала о его сдержанности, не смущаясь также и тем, что она женщина и еще очень молода. Ей представлялось крайне неуместным думать о своем возрасте и поле, когда ее ближний нуждается в участии.

Поджидая Лидгейта в библиотеке, она перебирала в памяти все, что могла о нем припомнить. Их прежние встречи и разговоры были связаны с ее замужеством, с его печалями и опасениями… хотя нет, ей вспомнились два случая, когда, отдаваясь в ее сердце щемящей болью, облик Лидгейта сливался с обликом его жены и кого-то еще. Боль смягчилась, но ее отголоски сделали Доротею прозорливой во всем, касающемся миссис Лидгейт, и позволили ей догадываться о том, что представляет собой семейная жизнь Лидгейтов. Эта мысль ее поразила, глаза ее засверкали, она замерла в напряженном ожидании, хотя перед ее взором был только дерн да распускающиеся почки, ярко зеленевшие на темном фоне хвои.

Когда вошел Лидгейт, ее ужаснула перемена в его лице, для нее особенно заметная, ибо она не видела его целых два месяца. Он не выглядел изнуренным, но постоянная раздражительность и уныние уже отметили его черты печатью, которую они налагают даже на молодые лица. Доротея радушно протянула ему руку, и, когда он встретил ее приязненный взгляд, выражение его лица смягчилось, но, увы… печалью.

— Я давно уже горячо желаю повидать вас, мистер Лидгейт, — заговорила Доротея, когда

они сели, — но я откладывала нашу встречу до тех нор, пока мистер Булстрод вновь не обратился ко мне с письмом по поводу больницы. Мне известно, что возможностью учредить эту независимую от старой больницу мы обязаны вам или, во всяком случае, той надежде на благотворные результаты, которую мы питаем, зная, что попечительство над больницей вверено вам. Вы, конечно, не откажетесь изложить мне подробно ваши соображения.

— Вы хотите посоветоваться со мной, прежде чем решитесь оказать больнице щедрую помощь, — сказал Лидгейт. — Если вы предполагаете при этом, что больница останется в моем ведении, я не считаю себя вправе давать вам такой совет. Возможно, я буду вынужден покинуть город.

Он ответил резко: невыносимо было сознавать, как он зависим от капризов Розамонды.

— Но вы сделаете это не потому, что вам не доверяют? — звонким взволнованным голосом спросила Доротея. — Я знаю, какие слухи о вас ходят, и убеждена — это прискорбное заблуждение. Я ни минуты в вас не сомневалась. На подлость вы неспособны. Вы никогда не совершали ничего бесчестного.

У Лидгейта перехватило дыхание. Он впервые за последнее время говорил с человеком, не усомнившимся в его порядочности.

— Благодарю вас, — сказал он и ничего больше не смог добавить. Нечто необычное случилось с ним: прежде он не представлял себе, что несколько слов, произнесенных женщиной, могут для него так много значить.

— Прошу вас, расскажите мне, как все произошло, — отважно продолжала Доротея. — Я уверена, что правда поможет вам восстановить ваше доброе имя.

Лидгейт вскочил и быстро подошел к окну, забыв, где он. Он так часто мысленно взвешивал, сумеет ли все объяснить, не упоминая тех наблюдений своих и мыслей, которые бросили бы тень подозрения — возможно, несправедливого — на Булстрода, и так часто по здравом размышлении решал, что никого не сможет переуверить… и вдруг Доротея побуждает его совершить попытку, признанную им совершенно безнадежной.

— Так расскажите же мне все, — с простодушной горячностью просила Доротея, — и мы вместе подумаем, как быть. Когда есть возможность вступиться за невиновного, бездействовать дурно.

Лидгейт пришел в себя, обернулся и увидел

лицо Доротеи, которая смотрела на него с милой и доверчивой серьезностью. В присутствии существа благородного, чьи порывы великодушны, а действия — самоотверженны, мы все видим в ином свете: начинаем оценивать окружающее без суеты, во всей его широте и верим, что и о нас не будут судить однобоко. Все это ощутил сейчас Лидгейт, давно уже пребывавший под впечатлением, будто он тщетно пытается противостоять напору увлекающей его неведомо куда толпы. Он опустился на стул и почувствовал, как в присутствии женщины, не считающей его лицемером, вновь становится самим собой.

— Мне не хотелось бы, — сказал он, — говорить дурно о Булстроде, в трудную минуту одолжившем мне денег, хотя лучше бы мне не пользоваться этой услугой. Он несчастен, гоним, в нем еле теплится жизнь. Но я предпочитаю ничего не опускать в своем рассказе. Так отрадно найти собеседницу, которая заранее мне верит, знать, что рассказ мой не будет выглядеть так, словно я пытаюсь кого-то убедить в своей порядочности. Вы ведь и к Булстроду будете столь же справедливы.

— Доверьтесь мне, — сказала Доротея. — Без вашего позволения я никому не скажу ни слова. Но

по крайней мере я смогу утверждать, что после разговора с вами мне стали ясны все обстоятельства и я уверена в вашей полной невиновности. Мистер Фербратер поверит мне, и дядюшка, и сэр Четтем. И не только они, я поеду в Мидлмарч и кое у кого там побываю; эти люди мало меня знают, но они мне поверят. Они поймут, что я добиваюсь только справедливости и у меня нет других побуждений. Я сделаю все, что в моих силах. У меня ведь так мало обязанностей, а эту я считаю наиболее достойной.

Почти невозможно было слышать голос Доротеи, так по-ребячески рисующей свои планы, и не поверить в их осуществимость. Глубокая задушевность, звучавшая в ее интонациях, свидетельствовала о решимости защитить его от предубежденных обвинителей. Лидгейт не стал смущать себя мыслью, что она сумасбродка; впервые в жизни он позволил себе, забыв о свойственной ему самолюбивой сдержанности, полностью довериться сочувствию. Он все ей рассказал, начиная с той поры, когда под давлением денежных затруднений был впервые вынужден обратиться с просьбой к Булстроду; постепенно разговорившись, стал входить в подробности: объяснил, что его метод лечения противоречит

принятой практике, объяснил и почему он в этой практике усомнился, как мыслит себе врачебный долг, и поделился своей тревогой, не сделала ли его излишне доверчивым оказанная ему Булстродом услуга, хотя он ни в чем не нарушил общепризнанных обязанностей врача.

— Уже потом я узнал, — добавил он, — что Хоули посылал кого-то в Стоун-Корт расспросить экономку, и она сказала, что дала больному весь опиум из оставленного мною пузырька и большое количество коньяку. Но это не противоречит предписаниям даже первоклассных врачей. Подозрения на мой счет коренятся не здесь: они возникли, ибо известно, что я взял деньги и что у Булстрода были веские причины желать смерти этого человека. Поэтому предполагается, будто деньги он мне дал, чтобы подкупить меня и принудить уморить больного… как плату за молчание по меньшей мере. Доказательств нет, есть только подозрения, но опровергнуть их всего трудней, поскольку людям хочется так думать, и переубедить их невозможно. Я не знаю, почему не были исполнены мои распоряжения. Вполне вероятно, что Булстрод ничего преступного не замышлял, возможно даже, он сам и не нарушил моих указаний, просто не упомянул о недосмотре

экономки. Но молве до этого нет дела. Человек в подобных случаях заранее заклеймен — предполагается, будто он совершил преступление, так как имел причину его совершить. А заодно с Булстродом заклеймен и я, коль скоро взял у него деньги. Я оказался рядом — грязь замарала и меня. Дело сделано, поправить ничего нельзя.

— Как это жестоко! — сказала Доротея. — Я понимаю, вам трудно защитить себя. И надо же случиться, чтобы именно вы, предназначивший себя для высших целей, искавший в жизни новых путей, оказались в таком положении… Нет, я с этим не смогу примириться. Вы действительно не такой, как все. Я помню, что вы сказали, когда впервые говорили со мной о больнице. Мне так понятно ваше горе — ведь невыносимо тяжко поставить перед собой великую цель, вложить в нее всю душу и потерпеть неудачу.

— Да, — сказал Лидгейт, ощутив, что, кроме Доротеи, ни в ком не встретит столь глубокого сочувствия. — Да, у меня были честолюбивые мечты. Я не предназначал себя для заурядного, я думал: я сильнее, я искуснее других. Но самые непреодолимые препятствия — это те, которых, кроме нас самих, никто не видит.

— Ну а что, если… — сказала Доротея. — Ну а

что, если в больнице все останется так, как задумано, и вы будете по-прежнему там работать, пользуясь дружбой и поддержкой пока лишь немногих людей? Ваши недоброжелатели со временем угомонятся, и люди признают, что были несправедливы к вам, когда убедятся в чистоте ваших целей. Вы еще, быть может, завоюете славу, как Луи и Лаэннек, о которых вы как-то упоминали, и мы все будем гордиться вами, — с улыбкой заключила она.

— Все это было бы возможно, если бы я по-прежнему в себя верил, — мрачно ответил Лидгейт. — Ничто меня так не бесит, как сознание полной беспомощности перед злословием, полной зависимости от него. Поэтому я никоим образом не могу просить вас выделить большую сумму денег на проекты, исполнение которых зависит от меня.

— Нет, я рада буду это сделать, — возразила Доротея. — Вот глядите. Я ума не приложу, что делать с деньгами: мне самой так много не надо, а на мой излюбленный проект их, говорят, не хватит. Просто не знаю, как мне быть. Я получаю в год семьсот фунтов своих, тысячу девятьсот фунтов — оставленных мне мистером Кейсобоном, да еще в банке лежат три или четыре тысячи

наличными. Я собиралась взять большую сумму в долг, с тем чтобы постепенно выплатить его из своего дохода, который мне не нужен, а на эти деньги купить землю и основать деревню, которая станет школой разумного труда, но сэр Джеймс и дядя меня убедили, что риск слишком велик. Так что вы сами видите, как меня должна обрадовать возможность употребить мой доход на полезное начинание, которое облегчит людям жизнь. Мне так неловко получать эти ненужные мне деньги.

Сумрачное лицо Лидгейта осветила улыбка. Ребяческая горячность Доротеи, соединявшаяся с тонким пониманием возвышенного, придавала ей неизъяснимое очарование. (О низменном, играющем видную роль в этом мире, бедная миссис Кейсобон имела весьма смутное понятие, и пылкая фантазия была мало подходящим средством, чтобы его прояснить.) Впрочем, Доротея приняла улыбку как знак одобрения ее планов.

— Я думаю, вы видите теперь, что проявили чрезмерную щепетильность, — убежденно проговорила она. — Больница сама по себе доброе дело; возвратить вам душевное равновесие — будет вторым.

Улыбка Лидгейта угасла.

— Вы и великодушны и богаты, — сказал он. — И в ваших силах осуществить и то и то, если это осуществимо. Но…

Он замялся, рассеянно глядя в окно. Доротея молча ждала продолжения. Но вот он повернулся к ней и выпалил:

— Стоит ли умалчивать? Вы знаете, какие оковы налагает брак. Вы все поймете.

Сердце Доротеи забилось чаще. Так это горе ведомо и ему? Однако она не решилась что-нибудь сказать, и он продолжил:

— Я теперь ничего не могу предпринять, ни единого шага, не думая о благополучии моей жены. То, что я предпочел бы делать, будь я одинок, стало для меня невозможным. Я не могу видеть ее несчастной. Она вышла за меня замуж, не зная, что ее ждет, и, может быть, совершила ошибку.

— Я знаю, знаю, вы не смогли бы причинить ей боль, если бы вас не вынудили обстоятельства, — сказала Доротея, в памяти которой ожила ее собственная супружеская жизнь.

— А она решительно не желает здесь оставаться. Ей хочется уехать. Ей надоели наши неурядицы, а с ними опротивел и Мидлмарч, — вновь перебил ее Лидгейт, боясь, что Доротея скажет слишком много.

— Но когда она поймет, сколько добра вы сможете сделать, если останетесь... — возразила Доротея и взглянула на Лидгейта, удивляясь, как мог он забыть все, что они только что обсуждали. Он ответил не сразу.

— Она не поймет, — отозвался он угрюмо, предположив поначалу, что его слова не нуждаются в пояснении. — Да и у меня самого уже нет больше сил барахтаться в этой трясине. — Он немного помолчал и вдруг, поддавшись желанию показать Доротее, как нелегка его жизнь, сказал: — Дело в том, что моя жена довольно смутно представляет себе все случившееся. У нас не было возможности о нем поговорить. Не могу сказать с уверенностью, как рисуется ей дело: может быть, она опасается, не совершил ли я и впрямь какой-то подлости. Виновен в этом я — мне следовало быть с ней более откровенным. Но я мучительно страдал.

— Можно мне навестить ее? — с жаром спросила Доротея. — Она не отвергнет мое сочувствие? Я скажу ей, что никто не вправе осудить вас, и вы ответственны лишь перед собой. Я скажу, что только низкие люди способны вас подозревать. Я волью бодрость в ее душу. Вы у нее спросите, можно ли мне к ней приехать? Мы с ней уже

однажды виделись.

— Разумеется, можно, — обрадованно отозвался Лидгейт. — Она будет польщена, я думаю, ее ободрит доказательство, что хотя бы вы сохранили ко мне некоторое уважение. Я не буду предупреждать ее о вашем приезде, не то она решит, будто вы исполняете мою просьбу. Я отлично понимаю, что должен был все рассказать ей сам, не передоверяя никому, но…

Он умолк, и на мгновение наступила тишина. Доротея не стала говорить о том, как хорошо ей известны невидимые преграды, препятствующие объяснению жены и мужа. Тут и сочувствие могло нанести рану. Поэтому, возвратившись в более безопасные сферы, она оживленно произнесла:

— А когда миссис Лидгейт узнает, что у вас есть друзья, которые в вас верят и не отступаются от вас, она, быть может, захочет, чтобы вы не уезжали и не отказывались от давних надежд, а продолжали заниматься делом, которое себе выбрали. И тогда вы, возможно, поймете, что нужно согласиться на мое предложение и продолжить работу в больнице. Как же может быть иначе, ведь вы по-прежнему считаете, что только там ваши знания принесут наибольшую пользу.

Лидгейт на это ничего не ответил, и она поняла,

что он колеблется.

— Я не требую от вас немедленного решения, — проговорила она мягко. — Я вполне могу подождать несколько дней, прежде чем отвечу мистеру Булстроду.

Лидгейт еще немного помолчал, но когда заговорил, ответ его звучал весьма решительно.

— Нет. Я предпочитаю не тратить времени на ненужное раздумье. Я потерял уверенность в себе, точнее — не могу теперь определить, что мне будет по силам при изменившихся обстоятельствах. Я считаю бесчестным вовлекать кого-либо в серьезное предприятие, выполнение которого зависит от меня. Ведь, возможно, мне все же придется уехать, у меня мало надежд на иной исход. Все это слишком неопределенно, и я не могу допустить, чтобы из-за меня вы раскаялись в своем великодушии. Нет, пусть сольются старая и новая больницы и все идет так, как шло бы без меня. Со дня приезда я веду книгу, куда записываю истории болезней, и собрал таким образом много ценных сведений; я отошлю ее человеку, который ее использует, — закончил он с горечью. — Сам же я теперь долгое время буду думать только о том, как приобрести надежный доход.

— О, как больно слышать от вас такие мрачные

речи, — сказала Доротея. — Ваши друзья, все те, кто верит в ваше великое будущее, были бы счастливы, если бы вы позволили им вас защитить. Только подумайте: ведь у меня так много денег, вы освободили бы меня от бремени, если бы каждый год принимали у меня какую-то их долю, покуда не избавитесь от тягостной необходимости тревожиться о заработке. Почему люди не поступают так всегда? Ведь так сложно поделить все на равные доли. Это единственный выход.

— Бог да благословит вас, миссис Кейсобон! — с жаром воскликнул Лидгейт, вскочив с большого кожаного кресла, а затем, облокотившись о его спинку, продолжал: — Такие чувства делают вам честь, но я не вправе пользоваться вашим великодушным порывом. Я не могу ручаться за успех и не позволю себе пасть так низко, чтобы брать плату за работу, которой, может быть, не выполню. Мне совершенно ясно, что единственный путь для меня — как можно скорее уехать отсюда. В Мидлмарче я даже в лучшем случае еще очень долго не смогу обеспечить семью и… вообще на новом месте легче начинать сначала. Я должен поступать как все, искать способа угождать свету и наживать деньги, устроиться в Лондоне и пробить себе дорогу, обосноваться на

водах или где-нибудь за границей, где томятся бездельем богатые англичане, добиться, чтобы все расхваливали и превозносили меня, — вот раковина, в которой я должен укрыться и не высовывать из нее носа.

— Но ведь это немужественно — отказываться от борьбы, — сказала Доротея.

— Да, это немужественно, — согласился Лидгейт. — Но ведь боятся же люди, скажем, паралича. — И совсем другим тоном добавил: — А все же, после того как вы поверили в меня, я уже не ощущаю себя таким трусом. Теперь мне будет легче все перенести, и, если вы сможете убедить в моей честности еще несколько человек — в первую очередь Фербратера, я буду вам глубоко благодарен. Я прошу только ни словом не упоминать о том, что не были исполнены мои указания по поводу больного. Тут могут возникнуть кривотолки. Ведь и мне могут поверить лишь потому, что люди заранее составили себе на мой счет определенное мнение. В конце концов, вы же только повторяете то, что я сам о себе рассказал.

— Мистер Фербратер поверит, поверят и другие, — сказала Доротея. — Я всем им объясню, как нелепо предполагать, будто вы способны совершить гнусность и принять подкуп.

— Не знаю, — отозвался Лидгейт, и в его голосе послышалось нечто похожее на стон. — Пока я не давал себя подкупить. Но подкупность принимает разные обличья, и одно из них именуется преуспеянием. Так вы согласны оказать мне еще одну огромную услугу и побывать у моей жены?

— Да, я к ней поеду. Она очень красива, — сказала Доротея, в чьей памяти глубоко запечатлелось все связанное с Розамондой. — Надеюсь, я ей понравлюсь.

Лидгейт думал по дороге домой: «Это юное создание добротой может сравниться с девой Марией. Собственное будущее ее не тревожит, она хоть сейчас готова расстаться с половиной своего дохода; видно, единственное, что ей нужно, — кресло, где она будет восседать, взирая ясными очами на бедных смертных, возносящих к ней свои молитвы. Из всех знакомых мне женщин она единственная полна такого дружелюбия к мужчинам — она могла бы стать мужчине настоящим другом. Кейсобона, я думаю, она идеализировала и принесла себя в жертву. Хотелось бы мне знать, способен ли мужчина внушить ей увлечение другого рода? Ладислав? Их, несомненно, связывало взаимное чувство. Кейсобон, возможно, об этом догадывался. Да, ну что ж, ее любовь — опора

более могущественная, чем деньги».

А Доротея немедленно составила план, как избавить Лидгейта от денежной зависимости, которая, как она чувствовала, являлась одной из причин — пусть далеко не главной — его угнетенного состояния. Под влиянием их беседы она тотчас написала небольшое письмо, в котором ссылалась на то, что имеет больше прав, чем мистер Булстрод, ссудить Лидгейта деньгами; что с его стороны было бы невеликодушно отвергнуть ее помощь в этом мелком деле, где заинтересованным лицом является только она, почти не имеющая представления, на что употребить ненужный ей доход. Он может называть ее своим кредитором или как ему угодно, если под этим будет подразумеваться, что ее просьба уважена. Она вложила в конверт чек на тысячу фунтов и решила взять письмо с собой, когда на следующий день поедет в гости к миссис Лидгейт.

# Глава LXXVII

*Твое паденье словно запятнало*
*Всех лучших и достойнейших. На них*
*Теперь взирают с подозреньем.*

***Шекспир, «Генрих V»*[207]**

На следующий день Лидгейт собирался в Брассинг и сказал Розамонде, что вернется лишь к вечеру. Все последнее время она сидела дома либо прогуливалась в своем саду и выходила только в церковь да один раз к отцу, которого спросила: «Если Тертий согласится уехать, ты ведь нам поможешь, правда, папа? Мне кажется, у нас будет очень мало денег на переезд. Я, конечно, только на то и надеюсь, что кто-нибудь придет нам на помощь». И мистер Винси ответил: «Да, деточка, сотню или две я смогу выкроить. Эта трата имеет смысл». Все остальное время она сидела дома, пребывая в томной меланхолии и оживляясь лишь при мысли о появлении Уилла Ладислава, которое, как ей почему-то представлялось, подвигнет Лидгейта немедленно начать приготовления к отъезду в Лондон, так что в кон-

---

**[207] Примечания: 207**
«Генрих V» — историческая хроника Шекспира.

це концов у нее не осталось никаких сомнений в том, что приезд столичного гостя неминуемо повлечет за собой долгожданную перемену в их жизни. Такие выводы из ложных посылок столь часты, что несправедливо было бы приписывать его какому-то особому безрассудству Розамонды. И никто не бывает так ошеломлен, обманувшись в своих ожиданиях, как люди, склонные приходить к подобным выводам: ибо, представляя себе, каким образом может возникнуть тот или иной результат, мы представляем себе также, что могло бы этому воспрепятствовать, однако, если мы видим только желанную цель, ждем лишь желанного исхода, мы утрачиваем способность сомневаться и полностью доверяемся интуиции. Именно в этом направлении работала мысль Розамонды и когда она — столь же аккуратно, как обычно, только медленнее — расставляла безделушки, и когда садилась за фортепьяно с намерением помузицировать, и, передумав, продолжала сидеть, опираясь белыми пальчиками о деревянную крышку и устремив в пространство скучающий взгляд. Лидгейт испытывал непонятную робость перед этой возрастающей со дня на день меланхолией, которая преследовала его как молчаливый укор, и глубокая жалость к этому

хрупкому созданию, чью жизнь он, по-видимому, испортил, сам не зная как, побуждала его избегать ее взгляда и даже вздрагивать иногда при ее появлении, ибо он боялся Розамонды и боялся за Розамонду, и чувство это овладевало им еще сильнее после каждой вспышки раздражения.

Но в это утро Розамонда оделась для выхода в город и покинула свою комнату на верхнем этаже, где иногда, если Лидгейта не было дома, проводила целые дни. Она собиралась отправить письмо, адресованное мистеру Ладиславу и написанное с обворожительной сдержанностью и в то же время так, чтобы поторопить его приезд туманной ссылкой на свои невзгоды. Их единственная служанка увидела ее в этом наряде и подумала: «Ну до чего же она миленькая в шляпке!»

Тем временем Доротея обдумывала предстоящий визит к Розамонде и в голове ее роилось множество мыслей о возможном будущем и прошлом, связанных с этим визитом. До вчерашнего дня, когда Лидгейт приоткрыл перед ней теневые стороны своей семейной жизни, всякое упоминание о Розамонде неизменно пробуждало в ней мысль об Уилле Ладиславе. Даже в состоянии крайней тревоги, даже когда миссис Кэдуолледер взволновала ее, с безжалостной точностью пе-

ресказав местные сплетни, она старалась — нет, даже не старалась, она просто не могла не защищать Уилла от гнусных домыслов. И когда при их последней встрече Доротея сперва отнесла его признание в запретном чувстве, которое он хочет побороть, на счет миссис Лидгейт, она в тот же миг с печалью и сочувствием представила себе, что в постоянных встречах с этим белокурым существом, с которым Уилла объединяет и взаимное увлечение музыкой, и, вероятно, общность вкусов, есть для него какое-то очарование. Но тут он произнес прощальные слова, несколько жарких слов, которые ей показали, что предметом этой повергавшей его в ужас страсти была она сама, что это в любви к ней он решил не открываться и унести с собой в изгнание это чувство. После этого прощального разговора Доротея поверила в любовь Уилла к ней, гордясь и восхищаясь, поверила в его строгое чувство чести и в решимость не уронить себя ни в чьих глазах и уже не тревожилась о том, какие отношения связывают его с миссис Лидгейт. Она не сомневалась, что отношения эти безупречны.

Есть люди, которые, кого-то полюбив, словно освящают предмет этого чувства чистой верой в любимых, они как бы обязывают их быть также

справедливыми и чистыми, и грехи наши становятся святотатством, сокрушающим невидимый алтарь доверия. «Если ты нехорош — то все нехорошо» — этот бесхитростный упрек вопиет к нашей совести, уязвляет раскаянием душу.

Такова была Доротея — все ее заблуждения проистекали от пылкости нрава, и если явные ошибки ближних вызывали ее сожаление, то по недостатку житейского опыта она не умела распознать и заподозрить скрытое зло. Но это ее простосердечие, этот свойственный ей дар создать, поверив в человека, образец, которому он станет следовать, было в ней одной из самых чарующих черт. На Уилла оно оказало огромное влияние. Расставаясь с ней, он чувствовал, что скупые слова, которыми он попытался рассказать ей о своей любви и о преграде, воздвигнутой между ними ее богатством, своей краткостью только возвысят его в ее глазах: он чувствовал, что никто не оценит его так высоко, как она.

И оказался прав. Вот уже несколько месяцев Доротея с печальной, но упоительной безмятежностью вспоминала об их безгрешных отношениях. Она бывала решительна и непреклонна, когда ей приходилось защищать идеи и людей, в которых она верила. Обиды, нанесенные Уиллу

ее мужем, пренебрежение окружающих к молодому человеку, столь непохожему на них, только усилили ее восхищение и любовь. А теперь, когда с разоблачением Булстрода открылись новые обстоятельства, касающиеся происхождения Уилла, Доротея с обновленным пылом возмущалась всем тем, что говорилось о нем в ее мирке, замкнутом оградами парков.

«Ладислав — внук еврея-ростовщика, скупщика краденого», — восклицали в Лоуике, Фрешите и Типтон-Грейндже каждый раз, когда там заходила речь о Булстроде, и этот ярлык выглядел еще более оскорбительно, чем «итальянец с белыми мышами». Достойный сэр Джеймс Четтем не считал зазорным ликовать по поводу этого обстоятельства, сделавшего еще более непроходимой пропасть между Доротеей и Ладиславом, а значит — еще более абсурдными его прошлые тревоги на их счет. К тому же приятно было обратить внимание мистера Брука на этот уродливый нарост на генеалогическом древе Ладислава и тем самым еще раз продемонстрировать старику всю степень его безрассудства. Доротея заметила, что при обсуждении злосчастной истории с Булстродом об Уилле неизменно говорят с враждебностью, но в отличие от прежнего ни словом не вступалась

за него, сознавая, какой благоговейной сдержанности требуют теперь их отношения. Впрочем, невысказанное возмущение разгоралось тем ярче и горестная участь Уилла, за которую все почему-то чуть ли не осуждали его, в Доротее вызывала еще более горячее сочувствие.

Ей никогда не приходило в голову, что их могут связать более тесные узы, хотя она не давала себе никаких зароков. Отношения с Уиллом в ее глазах были просто составной частью ее семейных невзгод, и она считала греховным сетовать на то, что замужество ей принесло мало счастья, предпочитая размышлять о том, чего оно предоставило ей в изобилии. Она мирилась с тем, что самая дорогая ее сердцу радость заключена в воспоминаниях, и все, что связано с браком, мыслилось ей только в виде какого-то весьма нежелательного предложения от неизвестного ей пока вздыхателя, чьи достоинства, заранее предвкушаемые ее родней, явятся для нее постоянным источником терзаний: «Кто-нибудь, кто распорядится твоей собственностью, дорогая» — так рисовался мистеру Бруку сей симпатичный персонаж. «Я предпочла бы сама ею распоряжаться, если бы только знала, что с ней делать», — возразила Доротея. Да, она твердо решила не выходить

второй раз замуж: бесконечная, однообразная перспектива расстилалась перед ней, вех на своем пути она не видела, но направление ей будет указано, а в дороге встретятся и попутчики.

Это ставшее привычным чувство к Уиллу Ладиславу сделалось еще сильнее после того, как она вызвалась навестить миссис Лидгейт, и не отпускало ее ни на миг, никоим образом не умаляя интереса и участия к Розамонде. Несомненно, существует какая-то рознь, преграда, мешающая полностью довериться друг другу, между этой молодой женщиной и ее мужем, хотя он всем готов пожертвовать для ее счастья. Положение щекотливое, при котором недопустимо вмешательство третьих лиц. Но Доротея с глубокой жалостью представила себе, как одиноко должна чувствовать себя Розамонда после того, как в городе стали шушукаться о ее муже. Выказав уважение к Лидгейту и сочувствие к его жене, она, разумеется, ободрит Розамонду.

«Я поговорю с ней о ее муже», — думала по дороге в город Доротея. Прозрачное весеннее утро, запах влажной земли, свежая зелень молодых, еще сморщенных листиков, которые начинали выползать из полураскрывшихся почек, — все гармонировало с радостным и светлым настро-

ением, охватившим Доротею после длительной беседы с мистером Фербратером, весьма обрадованным непричастностью Лидгейта к темным делам банкира. «Я привезу миссис Лидгейт добрую весть, и, может быть, мы с ней разговоримся и станем друзьями».

У Доротеи было еще одно дело на Лоуик-Гейт: купить новый, мелодично звякающий колокольчик для сельской школы, и, так как лавка находилась возле дома Лидгейтов, она велела кучеру подождать, пока вынесут свертки, а сама перешла пешком на другую сторону улицы. Парадная дверь была открыта, и служанка, стоя на пороге, глазела на остановившуюся так близко от дома карету, как вдруг увидела приближающуюся к ней даму из этой самой кареты.

— Дома миссис Лидгейт? — спросила Доротея.

— Не могу вам точно ответить, миледи. Сию минуту посмотрю, а вам не угодно ли будет войти, — сказала Марта, несколько конфузясь за свой кухонный передник, но сохраняя достаточное присутствие духа, дабы определить, что «сударыня» — неподходящий титул для молодой вдовы с королевской осанкой, приехавшей в запряженной парой карете. — Благоволите войти, а уж я схожу и посмотрю.

— Скажите, что я миссис Кейсобон, — проговорила Доротея, следуя за Мартой, которая намеревалась проводить ее в гостиную, а затем подняться наверх и взглянуть, не вернулась ли Розамонда с прогулки.

Они свернули из прихожей в коридор, ведущий в сад. Дверь в гостиную была не заперта, и Марта распахнула ее, не заглядывая в комнату, впустила миссис Кейсобон и тотчас же ушла, едва дверь бесшумно закрылась за гостьей.

В это утро Доротея была рассеяннее, чем обычно, — воспоминания о прошлом и мысли о будущем целиком поглотили ее. Не заметив ничего особенного, она переступила через порог, но тут же услыхала тихий голос и с таким чувством, словно грезит наяву, сделала шага два и, выйдя из-за стоявшего у дверей книжного шкафа, увидела картину, о смысле которой с ужасающей ясностью говорил каждый штрих. Доротея замерла, не в силах пошелохнуться и заговорить.

На кушетке, расположенной у той же стены, где была входная дверь, спиной к Доротее сидел Уилл Ладислав; прямо перед ним вся в слезах, что делало ее еще обворожительнее, и еще не развязав ленты шляпки, которая свалилась с ее белокурой головки, сидела Розамонда, а Уилл

сжимал руками ее руки и что-то тихо и горячо говорил.

Розамонда была так взволнованна, что не сразу заметила бесшумно приближающуюся к ним фигуру, но когда потрясенная Доротея в смущении попятилась и на что-то наткнулась, Розамонда опомнилась и, высвободив резким движением руки, взглянула на гостью, которой волей-неволей пришлось остановиться. Уилл вздрогнул, обернулся и, встретив сверкающий взгляд Доротеи, окаменел. Но она тотчас же перевела глаза на Розамонду и твердым голосом произнесла:

— Простите, миссис Лидгейт, ваша служанка не знала, что вы здесь. Я приехала с письмом к мистеру Лидгейту и хотела отдать его в ваши руки.

Она положила письмо на тот самый столик, который помешал ей незаметно удалиться, затем, взглянув на Розамонду и Уилла, холодно кивнула обоим сразу и быстро вышла. В коридоре она встретила удивленную Марту, которая сказала, что хозяйки, к сожалению, нет дома, и проводила странную посетительницу, дивясь, до чего же иногда нетерпеливы эти важные господа.

Доротея пересекла улицу энергическим упругим шагом и торопливо села в карету.

— Во Фрешит-Холл, — сказала она кучеру, и у

каждого, кто взглянул бы на нее в этот миг, создалось бы впечатление, что, невзирая на бледность, она полна уверенности и хладнокровной решимости. Впечатление это не было ошибочным. Презрение всецело завладело ею, оно заглушило остальные чувства. Только что увиденная сцена представлялась ей столь неимоверной, что все ее чувства были в смятении и в душе царил полный сумбур. Что-то нужно было делать, каким-то образом унять нестерпимое, жгучее возбуждение. Она чувствовала, что могла бы работать весь день, весь день ходить пешком и при этом не съесть ни крошки, ни глотка не выпить. Да, она выполнит то, что наметила утром, — поедет во Фрешит и Типтон, расскажет сэру Джеймсу и дяде все, что собиралась сообщить им о Лидгейте, чье одиночество, представившись ей теперь в новом свете, сделало ее еще более пылкой его защитницей. Во время столкновений с мистером Кейсобоном она ни разу не испытывала таких приливов негодования — жалость к мужу умеряла ее гнев. Сейчас ей показалось, что она обрела новые силы.

— Как у тебя блестят глаза, Додо! — сказала Селия, когда сэр Джеймс вышел из комнаты. — Ты глядишь и ничего не видишь, даже Артура. Я уж догадываюсь, у тебя на уме опять какая-то

рискованная затея. Это по поводу Лидгейта или еще что-нибудь произошло? — Селия привыкла ждать от сестры всяких неожиданностей.

— Да, милочка, произошло, и очень многое, — ответила Додо глубоким грудным голосом.

— Что бы это могло быть? — спросила Селия, спокойно скрестив руки на груди и опираясь на локти.

— Лик земной полон людей, чьим горестям нет предела, — сказала Доротея, закинув руки за голову.

— Ах, Додо, уж не придумала ли ты для их спасения новый план? — спросила Селия, слегка встревоженная гамлетовским восклицанием сестры.

Но тут в комнату возвратился сэр Джеймс, чтобы сопровождать Доротею в Типтон. Она с честью довела до конца свою миссию и лишь тогда возвратилась домой.

## Глава LXXVIII

*О, если б я вчера сошел в могилу,*
*Ее любовью нежной осенен.*

Розамонда и Уилл застыли в неподвижности — надолго ли, они не знали; он — глядя туда, где только что стояла Доротея, она — неуверенно поглядывая на Уилла. Розамонде, которая в глубине души была не столько раздосадована, сколько довольна, показалось, что времени прошло очень много. Поверхностным натурам мнится, будто они властвуют над чувствами людей, они слепо верят, будто их куцему обаянию покоряется течение глубочайших вод, и уверены в своей способности миленькими репликами и грациозными движениями ручек сотворить нечто такое, чего на деле нет и в помине. Розамонда понимала, что Уиллу нанесен жестокий удар, однако настроение других людей ей представлялось только в виде материала, подвластного ее желаниям; кроме того, она не сомневалась, что обладает даром укрощать и покорять. Даже Тертий, упрямейший из мужчин, в конце концов всегда ей подчинялся; обстоятельства порою складывались ей наперe-

кор, и все же Розамонда и сейчас повторила бы сказанные перед свадьбой слова: она никогда не отказывалась от того, чего хотела.

Она вытянула руку и кончиками пальцев тронула рукав Уилла.

— Не прикасайтесь ко мне! — Он выкрикнул это так, словно хлыстом стегнул, отшатнулся от нее, побледнел, затем вновь стал пунцовым. Казалось, его пронзает невыносимая боль. Он бросился в дальний конец комнаты, остановился лицом к Розамонде, вскинув голову, сунув пальцы в карманы и устремив злобный взгляд — даже не на Розамонду, а на какую-то точку, находящуюся в нескольких дюймах от нее.

Розамонда почувствовала себя глубоко уязвленной, но заметить это мог бы только Лидгейт. Она тотчас же сделалась очень спокойной, села, развязала ленты шляпки, сняла шаль, положила возле себя и с чинным видом скрестила на коленях похолодевшие руки.

Самое благоразумное, что мог бы предпринять Уилл, это незамедлительно взять шляпу и откланяться, но он не испытывал желания так поступать, наоборот, он всеми фибрами души жаждал остаться и обрушить свой гнев на Розамонду. Снести удар, который навлекла на него

эта дама, и не дать выхода гневу было для него так же невозможно, как для раненой пантеры не прыгнуть на охотника и не вонзить в него клыки. И в то же время как скажешь женщине, что тебе впору ее проклинать? Его вспышка перешла границы дозволенного; услышав дрожащий голосок Розамонды, он не мог не признать в душе, что вел себя неподобающе. С певучей мелодичностью, усугублявшей сарказм этой фразы, она сказала:

— Никто вам не мешает догнать миссис Кейсобон и объяснить ей, кому вы оказываете предпочтение.

— Догнать! — воскликнул он, кипя негодованием. — Неужели вы думаете, что она пожелает бросить на меня хотя бы взгляд и что мои слова имеют для нее теперь большую цену, чем сор, валяющийся на дороге?.. Объяснить! Как можно что-то объяснить, унизив этим объяснением другую женщину?

— Вы можете сказать ей все, что вам угодно, — срывающимся голосом проговорила Розамонда.

— Вы думаете, принеся вас в жертву, я возвышусь в ее глазах? Такие женщины не чувствуют себя польщенными, если мужчина ради них готов на гнусность, для нее не послужит свидетельством моей преданности то, что я трусливо

от вас отступился.

Он стал метаться по комнате, словно дикий зверь, который увидел добычу, но не знает, как завладеть ею. Молчание его длилось недолго.

— Я и раньше не надеялся… почти… чтобы что-то изменилось к лучшему. Но я в одном не сомневался — она верила в меня. Как бы ни отзывались обо мне люди, как бы ни поступали они со мной, она в меня верила. Теперь конец! Я буду выглядеть в ее глазах жалким притворщиком: так щепетилен, что райское блаженство согласен принять лишь на лестных условиях, а сам втихомолку продаюсь дьяволу. Для нее станет оскорбительным любое воспоминание обо мне, начиная с той минуты, когда мы…

Тут Уилл осекся, словно спохватившись, что в пылу гнева чуть было не бросил то, чем нельзя швыряться. Но желая дать выход ярости, вновь обрушился на слова Розамонды, будто то были мерзкие гады, которых следовало раздавить и отшвырнуть.

— Объяснить! Попробуй объясни, как ты свалился в преисподнюю! Объяснить ей, кого я предпочитаю! Предпочитаю ее точно так же, как предпочитаю дышать. Рядом с ней не существует других женщин. Если бы она умерла, прикоснуть-

ся к ее руке было бы для меня большим счастьем, чем прикоснуться к руке любой из живущих.

Под градом этих отравленных стрел Розамонда растерялась и утратила представление о реальности, которая казалась ей теперь кошмарным сном. Куда девалась та холодная враждебность, та сдержанная, но незыблемая уверенность в своей правоте, которыми она во время споров с мужем всегда парировала самые бурные его вспышки; она испытывала сейчас лишь одно — ошеломляющую новизну боли; впервые в жизни подвергалась она бичеванию, и ощущение это было ужасным, ни с чем не сравнимым. К ней относятся совсем не так, как ей хотелось бы, эта мысль запечатлелась в ее сознании, словно выжженная раскаленным железом. Но вот Уилл наконец умолк; Розамонда поникла в глубоком унынии — побледневшие губы, сухие скорбные глаза. Окажись сейчас на месте Ладислава Тертий, его растрогал бы убитый вид жены и в порыве жалости он поспешил бы приголубить ее и утешить, невзирая на пренебрежительность, которой Розамонда встречала эти полные сочувствия порывы.

Не будем осуждать и Уилла за то, что он не испытал жалости. С этой женщиной, которая

лишила его самого сокровенного и дорогого, его не связывали никакие узы, и он не считал себя виновным. Он знал, что был жесток, но в нем еще не пробудилось раскаяние.

Замолчав, он продолжал рассеянно бродить по комнате, а Розамонда все так же сидела не шевелясь. Наконец он, казалось, опомнился, взял шляпу и остановился в нерешимости. Трудно было бы произнести какую-нибудь банальную вежливую фразу после того, что он ей только что наговорил, и в то же время непростительной грубостью было уйти, ни слова не сказав. Его гнев утих, вспышка погасла. Он облокотился на каминную доску и застыл в ожидании… сам не зная чего. Взять свои слова обратно он не мог: обида еще не прошла; в то же время его сознание не покидала мысль, что в этом доме, где его всегда встречали с нежной дружбой, поселилось горе; он вдруг ясно ощутил беду, разразившуюся и в стенах этого дома, и за их пределами. Нечто вроде предчувствия защемило его как тиски — не придется ли ему посвятить всю жизнь этой беспомощной женщине, открывшей ему беспросветную тоску своего сердца? Но опасение едва мелькнуло, как он тотчас угрюмо отверг вероятность такой перспективы и, бросив взгляд

на померкшее лицо Розамонды, пришел к выводу, что из них двоих он более достоин жалости. Нужно сжиться с болью, чтобы из нее проросла способность к состраданию.

Шла минута за минутой, они все молчали, далекие друг другу, хотя их разделяло всего несколько шагов; на лице Уилла написана была глухая ярость, на лице Розамонды — глухая печаль. У бедняжки не хватило сил ответить Уиллу гневной отповедью. Крах иллюзии, которой она тешилась так долго, нанес ей сокрушительный удар: ее мирок превратился в руины, и мысль ее потерянно блуждала среди них.

Уиллу хотелось, чтобы она заговорила, как-то смягчив этим жестокость его слов, такую очевидную сейчас, что представлялась нелепой любая попытка воскресить прежние дружеские отношения. Но Розамонда ничего не сказала, и, сделав над собой отчаянное усилие, он спросил:

— Можно мне сегодня вечером зайти к Лидгейту?

— Как вам угодно, — еле слышно ответила Розамонда.

Уилл вышел, и Марта так и не узнала, что он был в доме.

Когда за ним закрылась дверь, Розамонда попы-

талась подняться и потеряла сознание. Немного погодя она очнулась, но ей было слишком худо, чтобы встать и позвонить, и она просидела на месте до тех пор, пока удивленная столь продолжительным ее отсутствием служанка не отправилась искать ее во всех комнатах нижнего этажа. Розамонда объяснила, что ей внезапно стало дурно, что у нее был обморок, и попросила помочь ей перейти наверх. В спальне она, не раздеваясь, рухнула на постель, впав в полное оцепенение, как уже было в один памятный для нее печальный день.

Лидгейт возвратился домой раньше, чем ожидал, примерно в половине шестого, и нашел жену в спальне. Ее внезапное нездоровье так его напугало, что отодвинуло на задний план все другие заботы. Когда он щупал у нее пульс, Розамонда задержала на его лице свой взгляд, и Лидгейт почувствовал, что его присутствие ей приятно, чего давно уж не бывало. Он сел на край кровати, нежно обнял жену и, склонившись к ней, сказал: «Розамонда, бедняжка моя! Тебя что-то встревожило?» Прильнув к нему, она истерически разрыдалась, и Лидгейт целый час успокаивал ее и отхаживал. Он решил, что разговор с Доротеей, как видно, побывавшей в этот день у Розамонды,

взволновал ее, открыв глаза на многое, и побудил вновь потянуться к мужу.

## Глава LXXIX

*И мне снилось далее, что, кончив беседовать, они приблизились к вязкому болоту, расположенному посреди равнины, и оба с безрассудной неосторожностью вдруг упали в трясину. Называлось это болото Унынием.*

***Беньян***

Но вот Розамонда успокоилась, и Лидгейт, надеясь, что под воздействием болеутолительного она вскоре уснет, отправился в свой кабинет, а по пути зайдя в гостиную взять оставленную там книгу, увидел на столе письмо от Доротеи. Он не отважился спросить у Розамонды, не заезжала ли к ней миссис Кейсобон, но узнал об этом из письма, в котором Доротея упомянула, что собирается привезти его лично.

Явившийся несколько позже Уилл Ладислав, судя по удивлению, с которым встретил его Лидгейт, заключил, что тот не знает о его предыдущем визите, и не осмелился спросить как ни в чем не бывало: «Разве миссис Лидгейт вам не говорила, что я уже был у вас утром?»

— Бедняжка Розамонда захворала, — сказал Лидгейт, едва они успели поздороваться.

— Надеюсь, ничего серьезного? — сказал Уилл.

— Да, небольшое нервное потрясение — очевидно, ее что-то взволновало. В последнее время на ее долю выпало много тяжелых переживаний. Говоря по правде, Ладислав, я оказался неудачником. После вашего отъезда мы прошли через несколько кругов чистилища, а совсем недавно я попал в ужасное положение. Вы, вероятно, только что приехали — у вас порядком измученный вид, — так что не успели еще ни с кем повидаться и не слыхали наших новостей.

— Я провел всю ночь в дороге и к восьми утра добрался до «Белого оленя». Там заперся в своей комнате и весь день отдыхал, — сказал Уилл, чувствуя себя жалким трусом, но не считая в то же время возможным дать более правдивый ответ.

Затем Лидгейт поведал ему о невзгодах, которые Розамонда на свой лад уже описала Уиллу. Но она не упомянула, что в громкой истории, о которой толковал весь город, фигурировало и имя Уилла — эта подробность не задевала ее непосредственно, — и Уилл узнал о ней лишь сейчас.

— По-моему, вас следует предупредить, что вы замешаны в скандале, — сказал Лидгейт, как

никто иной понимавший, насколько это известие огорчит Ладислава. — Едва вы появитесь в городе, вам, несомненно, это сообщат. Я полагаю, Рафлс действительно разговаривал с вами?

— Да, — сардонически отозвался Уилл. — Буду считать себя счастливцем, если молва не объявит меня главным виновником скандала. Очевидно, самая свежая версия состоит в том, что я сговорился с Рафлсом убить Булстрода и с этой целью удрал из Мидлмарча.

«Меня и прежде чернили перед нею кто во что горазд, — подумал он, — теперь добавилась еще одна пикантная подробность. А, да не все ли равно?»

О предложении, сделанном ему Булстродом, он не сказал ни слова. Уиллу, откровенному, беспечному во всех делах, которые касались его самого, были свойственны душевная тонкость и деликатность, побудившие его промолчать. Мог ли он рассказать, как отверг деньги, предложенные ему Булстродом, в тот момент, когда узнал, что Лидгейту пришлось стать его должником?

Не во всем был откровенен и Лидгейт. Он не упомянул о том, как восприняла их общую беду Розамонда, а насчет Доротеи сказал лишь: «Миссис Кейсобон была единственной, кто заявил,

что не верит злопыхательским слухам». Заметив, что Уилл изменился в лице, он постарался больше не упоминать о Доротее, ибо, не зная, какие отношения их связывают, побоялся задеть его неосторожным словом. У него мелькнула мысль, что Доротея была истинной причиной возвращения Уилла в Мидлмарч.

Оба от души сочувствовали друг другу, но Уилл яснее представлял себе тяжесть положения Лидгейта. Когда тот заговорил о своем намерении перебраться в Лондон и со слабой улыбкой сказал: «Там мы снова встретимся, старина», — Уилл почувствовал невыразимую грусть и ничего не ответил. Утром Розамонда умоляла его убедить Лидгейта в необходимости этого шага, и сейчас перед Уиллом предстало, как по волшебству, его собственное будущее, он увидел, как его затягивают будничные заботы и он уныло покоряется судьбе, ибо гнет повседневности гораздо чаще приводит нас к гибели, чем одна-единственная роковая сделка.

Отказавшись от мечтаний юности и решив влачить бессмысленное существование обывателя, мы вступаем на опасный путь. Сердце Лидгейта надрывалось, ибо он на этот путь уже вступил, и Уилл был близок к тому же. Ему казалось, что

его безжалостность в объяснении с Розамондой налагает на него какие-то обязательства, и он страшился их, его страшила доверчивая благожелательность Лидгейта, страшило предчувствие, что, удрученный неудачами, он бездумно покорится судьбе.

## Глава LXXX

*Как ты суров! И все же ты*
*Господней милостью одет.*
*Лишь улыбнешься – красоты*
*Подобной в мире больше нет.*
*Струится по твоим следам*
*Цветов прелестных фимиам.*
*Звезде в ее пустыне*
*Ты кажешь правый путь,*
*И твердь тобой тверда доныне.*

***Уильям Вордсворт, «Ода Долгу»***

Во время утреннего разговора с мистером Фербратером Доротея пообещала ему у него отобедать, как только вернется из Фрешита. Доротея часто навещала и принимала у себя семью Фербратеров, а потому могла утверждать, что она не одинока в Лоуике, и сколь возможно оттягивала суровую необходимость обзавестись компаньонкой. Она обрадовалась, вспомнив по возвращении домой о приглашении мистера Фербратера, а обнаружив, что до сборов к обеду у нее есть в запасе лишний часок, тут же отправилась в школу, где вступила в беседу с учителем и

учительницей по поводу приобретенного в этот день звонка, и с живейшим участием выслушала их соображения, изобилующие мелкими подробностями и бесконечными повторениями, внушая себе, что очень занята полезными делами. На обратном пути она остановилась потолковать со стариком Буни, который что-то сажал в огороде и, как подобает деревенскому мудрецу, принялся рассуждать, как собрать с клочка земли обильный урожай и сколь многое зависит от почвы — предмет, изученный им в совершенстве за шесть десятков лет, — рассыпчатая очень хороша, но коли почва все мокнет да мокнет и под конец совсем раскиснет, тогда уж…

Заметив, что она чересчур разговорилась, и опасаясь, как бы не опоздать, Доротея поспешила одеться к обеду и пришла даже несколько ранее намеченного срока. В доме мистера Фербратера не бывало скучно, ибо, уподобившись Уайту[208] из Селборна, священник всегда мог порассказать нечто новенькое о своих бессловесных протеже и питомцах, коих всей силою красноречия обере-

**[208] Примечания: 208**

*Уайт Гилберт* (1720 — 1793) — английский священник и естествоиспытатель, большую часть жизни проведший в Селборне — местечке в графстве Хэмпшир; автор книги «Естественная история и древности Селборна».

гал от жестокости сельских мальчишек. Совсем недавно его стараниями две красавицы козы стали любимицами всей деревни и разгуливали на свободе, подобно священным животным. Вечер прошел в оживленной беседе, и после чая Доротея обсуждала с мистером Фербратером, каковы могут быть нравы и обычаи существ, беседующих между собой посредством усиков и, быть может, способных созывать парламент и проводить в нем реформы, как вдруг внезапно раздалось какое-то попискивание и все присутствующие удивленно замолчали.

— Генриетта Ноубл, — сказала миссис Фербратер, заметив, что ее сестра растерянно бродит по комнате, заглядывая под столы и кресла. — Что случилось?

— Я потеряла черепаховую коробочку для мятных лепешек. Боюсь, ее куда-то затащил котенок, — ответила миниатюрная старушка, попискивая, как перепуганный зверек.

— Вероятно, это бесценное сокровище, тетушка, — сказал мистер Фербратер, надевая очки и окидывая взглядом ковер.

— Мне подарил ее мистер Ладислав, — ответила мисс Ноубл. — Немецкая коробочка, очень хорошенькая, но всякий раз, как я ее уроню, она

ужасно далеко закатывается.

— Ну, если это подарок Ладислава, — многозначительно произнес мистер Фербратер, встал и отправился на поиски. Коробочку обнаружили в конце концов под шифоньеркой, и мисс Ноубл радостно ее схватила, сказав:

— В прошлый раз она была за каминной решеткой.

— Тут задеты тетушкины сердечные дела, — сказал мистер Фербратер, возвращаясь на место и улыбаясь Доротее.

— Тем людям, которые милы ей, миссис Кейсобон, — с чувством произнесла мать священника, — Генриетта Ноубл предана, как собачка. Готова положить себе под голову их башмаки вместо подушки, и сниться ей будут самые сладкие сны.

— Да, если это башмаки мистера Ладислава, — сказала Генриетта Ноубл.

Доротея попыталась улыбнуться. Удивляясь и досадуя, она заметила, что сердце ее судорожно бьется, а все попытки обрести прежнюю живость безуспешны.

Испуганная этой переменой, опасаясь еще как-нибудь себя выдать, она поспешила встать и с нескрываемым беспокойством тихим голосом

произнесла:

— Мне пора идти, я устала сегодня.

Мистер Фербратер, чуткий как всегда, тотчас же поднялся и сказал:

— Да, верно. Все эти разговоры, которые вы вели, защищая Лидгейта, исчерпали ваши силы. Напряжение такого рода сказывается после того, как спадет волнение.

Он предложил ей руку и проводил до Лоуик-Мэнора, но Доротея по дороге не сказала ни слова и ничего не ответила, даже когда он пожелал ей доброй ночи.

Ее мучения достигли предела, бороться с ними не хватало сил. Она отпустила Тэнтрип, чуть слышно пробормотав несколько слов, заперла дверь, повернулась к пустой комнате лицом, обхватила голову руками и простонала:

— О, я его любила!

Прошел час; приступы нестерпимой боли лишили ее способности думать. Громким шепотом, прерываемым рыданиями, оплакивала она утраченную веру, крохотное зернышко которой, еще в Риме запавшее в ее душу, она взрастила и взлелеяла; утраченную радость хранить верность и безмолвно даровать любовь человеку, которого никто, кроме нее, не оценил, сладкое и смутное

предчувствие надежды, что они встретятся когда-нибудь, словно не разлучались, и проведенные друг без друга годы станут прошлым.

В этот горький час она повторила то, что из века в век под милосердным кровом одиночества делают все страждущие от душевных мук: в боли, в холоде, в усталости она искала облегчения от сокрушавшего ее бестелесного терзания — спускалась ночь, она лежала на холодном и жестком полу и горько плакала, как малый ребенок.

Два образа маячили в ее воображении, и сердце ее разрывалось надвое, как сердце матери[209], которой мнится, будто ее дитя разрублено мечом, и она прижимает к груди кровоточащую половину детского тельца, устремляя полный невыразимого страдания взгляд к той, второй, которую уносит лгунья, никогда не ведавшая мук материнства.

Вот лучезарное милое существо, в которое она так верила, они с полуслова понимали друг друга, их связывало тепло взгляда, улыбки — словно

**[209] Примечания: 209**

Имеется в виду библейский рассказ о суде царя Соломона, к которому явились две женщины с младенцем, и каждая утверждала, что мать — она. Соломон предложил поделить ребенка между ними, разрубив его пополам. Одна из женщин в ужасе закричала, что отказывается от ребенка, лишь бы он остался жив. Так Соломон установил, кто из них настоящая мать, и отдал ребенка ей.

добрый дух утра осенило оно мрачный склеп, где она была обречена отжившей жизни. А сейчас, впервые с полной ясностью все осознав, она протягивала к нему руки, горько плача оттого, что их душевная близость открылась ей в момент прощания: тайну ее сердца ей открыла безнадежность.

И тут же, чуть вдали, но неизменно с ней, следовал за каждым ее шагом Уилл Ладислав, несбывшаяся ее надежда, разоблаченная иллюзия… нет, живой человек, о котором она даже не сожалела, кипя презрением, негодованием, ревнивой гордостью. Гнев ее не мог легко перегореть, вспышки уязвленного самолюбия не давали пламени погаснуть. Зачем он вторгся в ее жизнь, она и без него не была бы пустой и бесцельной. Зачем воскуривал дешевый фимиам и расточал пустые слова ей, по щедрости души неспособной отплатить ему столь же мелкой монетой? Он сознательно ввел ее в заблуждение, в момент прощания стремился убедить, что их чувства в равной степени нераздельны, а ведь свои он уже растратил наполовину. Зачем он к ней приблизился, если его место среди подонков человечества, у которых она ничего не просит, а лишь сожалеет о их низости?

Но под конец ее силы иссякли, смолкли даже приглушенные сетования и стоны, она лишь плакала, лежа на холодном полу, и, продолжая беспомощно всхлипывать, так и уснула.

В тусклый и промозглый рассветный час она пробудилась, не спрашивая себя с недоумением, где она и что с нею случилось, а отчетливо сознавая, что оставлена с глазу на глаз со скорбью. Она встала, закуталась в теплую шаль и опустилась в кресло, где не раз сидела прежде, глядя в окно; она была достаточно крепка и, невзирая на волнение и холод, не расхворалась, а лишь чувствовала некоторую усталость и ломоту в теле. Но пробудилась она совсем другой: внутренний разлад не тяготил ее более, она не старалась уже побороть свое горе, нет, горе примостилось рядом с ней, она не станет гнать его от себя прочь, откроет ему свои мысли. А мысли так и хлынули. Доротее было несвойственно надолго замыкаться в тесной келье собственной беды и, упиваясь ею, думать о судьбах других людей лишь постольку, поскольку они скрестились с ее судьбою.

Она с усердием принялась восстанавливать в памяти вчерашнее утро, перебирая в уме подробности, вдумываясь в их смысл. Разве она была единственной участницей происшествия? Разве

оно касалось лишь ее? Она попыталась мысленно связать его с жизнью другой женщины, к которой сама же пришла в надежде сколь возможно разогнать сгустившиеся над нею тучи и принести успокоение в молодую семью. Поддавшись вспышке ревности и гнева, она с омерзением вышла из комнаты, забыв, что явилась туда, движимая состраданием. И Уилл, и Розамонда так низко пали в этот миг в ее глазах, что ей казалось невозможным снизойти когда-нибудь до размышлений о Розамонде. Однако низменное чувство досады, пробуждающее в женщине большую нетерпимость к сопернице, чем к неверному возлюбленному, уже покинуло Доротею, которая со свойственным ей стремлением к справедливости, едва успев немного успокоиться, поспешила взглянуть на дело беспристрастно. Воображение, которое нарисовало ей выпавшие на долю Лидгейта испытания, и навело на мысль, что в его семейной жизни, так же как когда-то в ее замужестве, есть скрытые и явные печали, пробудило в ней сочувствие и жажду действия — так человеку, узнавшему точно все обстоятельства дела, оно представляется совсем иначе, чем в те времена, когда он лишь строил предположения. Ее собственное неисцелимое горе побуждало

Доротею не оставаться безучастной.

Быть может, наступил важнейший миг в этих трех судьбах, которые пересеклись с ее судьбою и потребовали ее вмешательства. Ей не надо было их искать, они ей посланы, они сами пришли к ней с мольбой. Пусть же в ее душе воцарится справедливость и направит на верный путь ее колеблющуюся волю. «Что мне сделать, как мне поступить сейчас, сегодня, если я сумею преодолеть свою боль, если я заставлю ее умолкнуть и буду думать лишь о том, как помочь этим троим?»

Много времени прошло, прежде чем Доротея задала себе этот вопрос. В комнате светлело. Она раздвинула занавески и посмотрела на пролегающую среди лугов дорогу, которая начиналась от ворот усадьбы. По дороге шел мужчина с узлом на плече и женщина с грудным ребенком. На лугу двигались какие-то фигурки, наверное, пастух с собакой. Жемчужно светилось небо у горизонта, и Доротея ощутила всю огромность мира, в различных уголках которого люди пробуждались, чтобы трудиться и терпеть. Повсюду трепетала жизнь, шла положенным ей чередом, и частица этой жизни — она, Доротея, — не имела права равнодушно поглядывать на нее из своего

роскошного убежища или отворачиваться, себялюбиво упиваясь своим горем.

Ей еще не было вполне ясно, что она предпримет, но смутные предположения уже зашевелились в ее сознании, мало-помалу становясь отчетливее. Она сняла платье, в складках которого словно затаилась тяжкая усталость ночного бдения, и занялась своим туалетом. Немного времени спустя она позвонила Тэнтрип, которая вошла к ней в халате.

— Как, сударыня, вы за всю ночь даже не прилегли? — вскричала Тэнтрип, бросив взгляд сперва на постель, а затем на лицо Доротеи, щеки которой даже после умывания были бледны, а веки — нежно-розовы. — Вы себя убьете, право слово. Уж кто-кто, а вы бы могли немного передохнуть, это вам всякий скажет.

— Не тревожьтесь, Тэнтрип, — улыбаясь, ответила Доротея. — Я спала сегодня, я не больна. Мне бы хотелось поскорее выпить кофе. И принесите мне, пожалуйста, мое новое платье. Новая шляпка, вероятно, мне тоже понадобится.

— Они уж месяц как готовы, сударыня, и до того приятно будет увидеть на вас хоть на два фунта стерлингов поменьше крепа, — сказала Тэнтрип, наклоняясь, чтобы растопить камин. — В трауре

свой порядок есть, уж поверьте: три оборки на краю подола и простенький кружевной рюш на шляпке — в этой шляпке с рюшем вы истинный ангел — вот и все, что полагается носить на второй год. Во всяком случае, так я считаю, — заключила Тэнтрип, озабоченно заглядывая в камин, — а если кто посватается ко мне, льстя себя надеждой, будто я стану два года подряд уродовать себя плерезами, то он слишком возомнил о себе, вот и все.

— Огонь давно уже разгорелся, добрая моя Тэн, — сказала Доротея, обращаясь к горничной точно так же, как во времена девичества в Лозанне, но очень тихо. — Принесите же мне кофе.

Она задремала в кресле, а Тэнтрип вышла, дивясь непоследовательности своей молодой хозяйки: никогда у нее не было такого скорбного лица, как сегодня, именно в тот день, когда она наконец решилась перестать носить глубокий траур. Где уж Тэнтрип было догадаться о причине. Выбором платья Доротея стремилась показать, что, похоронив надежду на счастье, она отнюдь не отгородилась от жизни, и памятуя, что всякое новое дело надлежит начинать в новом платье, она цеплялась даже за такую мелочь в надежде укрепить свою решимость. Ибо решимость ей

далась нелегко.

Как бы там ни было, в одиннадцать часов она пешком приближалась к Мидлмарчу, поставив себе целью как можно более скромно и ненавязчиво осуществить вторую попытку спасения Розамонды.

# Глава LXXXI

*И в эту ночь, земля, ты вечным дивом*
*У ног моих дышала первозданно.*
*Ты пробудила вновь во мне желанье*
*Тянуться вдаль мечтою неустанной*
*В стремленье к высшему существованью*[210].

***Гёте, «Фауст», часть II***

Когда Доротея, подойдя к дому, вновь, как и в прошлый раз, заговорила с Мартой, Лидгейт только собирался уходить. Он был в одной из ближних комнат и, услыхав за полуоткрытой дверью голос Доротеи, вышел ей навстречу.

— Как вы думаете, миссис Лидгейт сможет принять меня сегодня? — спросила Доротея, сочтя благоразумным не упоминать о вчерашнем визите.

— Вне всякого сомнения, — ответил Лидгейт. Он заметил, что и с Доротеей произошла такая же разительная перемена, как с Розамондой, но не стал раздумывать о причине. — Сделайте милость, войдите и подождите в гостиной, а я

---

**[210] Примечания: 210**
Перевод Б. Пастернака.

тем временем предупрежу жену. Она плохо себя чувствовала вчера вечером, но нынче ей лучше, и я очень надеюсь, что встреча с вами ее ободрит и придаст ей сил.

Было ясно, что, как она и ожидала, Лидгейт ничего не знал об обстоятельствах их предыдущей встречи. Мало того, он, кажется, предполагал, будто их беседа протекала именно так, как задумала гостья. Доротея заготовила записку, где просила Розамонду о встрече, и передала бы ее со служанкой, не попадись ей возле входа Лидгейт. Сейчас она с тревогой ожидала, какой ответ он принесет.

Он проводил ее в гостиную, затем вынул из кармана письмо и вручил его Доротее со словами:

— Я написал его ночью и хотел отвезти в Лоуик. Когда испытываешь чувство признательности, слишком сильное, чтобы выразить его заурядными изъявлениями благодарности, то лучше написать, тогда хотя бы сам не слышишь, как несоразмерны слова оказанному благодеянию.

Лицо Доротеи просветлело.

— Это я должна быть благодарна, поскольку выполнена моя просьба. Вы ведь согласились? — спросила она, внезапно охваченная сомнением.

— Да, сегодня чек послан Булстроду.

Больше он ничего не прибавил и поднялся наверх к Розамонде, которая лишь недавно завершила свой туалет и сидела в томной позе, раздумывая, что делать дальше, так как не привыкла находиться в неподвижности и, даже будучи в печальном настроении, рассеянно и вяло продолжала заниматься рукоделием или расстановкой вещиц на туалетном столике, или еще чем-нибудь в таком же роде. Она выглядела больной, но к ней вернулась прежняя манера держаться, и Лидгейт не решился обеспокоить ее вопросами. Утром он лишь рассказал ей о письме Доротеи и вложенном в это письмо чеке, затем сказал:

— Приехал Ладислав. Он заходил вчера вечером, Рози. Надо думать, зайдет и сегодня. Вид у него прескверный: подавленный, усталый.

Розамонда ничего на это не ответила.

Сейчас, поднявшись к ней вторично, он мягким голосом сказал:

— Рози, милая, к нам снова пришла миссис Кейсобон. Тебе ведь будет приятно с ней повидаться? — Розамонда вздрогнула и покраснела, но Лидгейт не удивился, помня, в какое волнение поверг ее вчерашний разговор, — благодетельное волнение, как он думал, ибо, казалось, оно

способствовало ее сближению с мужем.

Розамонда не посмела ответить отказом. Она не посмела сказать даже двух слов о вчерашней встрече с миссис Кейсобон. Зачем она явилась снова? Розамонда этого не знала и боялась строить догадки, так как после жестокой выходки Уилла Ладислава даже мысль о Доротее была для нее нестерпима. Но растерянная, униженная, она не смогла ответить, что не желает видеть миссис Кейсобон. Она не сказала, что примет гостью, лишь молча встала, и Лидгейт со словами: «Я должен сейчас же уйти», — накинул ей на плечи шаль. Тут Розамонда вдруг сказала:

— Вели, пожалуйста, Марте никого не принимать.

Лидгейт согласился, полагая, что правильно истолковал желание жены. Он проводил ее до двери гостиной и здесь расстался с ней, подумав про себя, что он порядком бестолковый муж, если ему приходится прибегать к посредничеству посторонней женщины, добиваясь доверия собственной жены.

Розамонда, входя в гостиную, плотно запахнула мягкую шаль, и столь же плотно она запахнула холодной сдержанностью душу. Уж не пришла ли к ней миссис Кейсобон говорить об Уилле?

Если так, это непозволительная вольность, и Розамонда с ледяным бесстрастием даст ей отпор. Уилл слишком больно задел ее гордость, и она не чувствовала себя виноватой перед ним и миссис Кейсобон: нанесенная ей обида — страшнее. Доротея была не только женщиной, которую ей «предпочли», она пришла на помощь Лидгейту, спасла его от беды и этим благодеянием окончательно вознеслась над Розамондой, так что бедняжке, чьи мысли были в полнейшем смятении, чудилось, будто эта женщина явилась к ней в дом, движимая недобрым желанием утвердиться в своем торжестве. Впрочем, не только Розамонда, но и любой другой, зная лишь внешнюю сторону дела и не подозревая об истинных побуждениях Доротеи, мог бы недоумевать, зачем она пришла.

Словно очаровательный призрак прежней Розамонды, грациозно задрапированный в мягкую белую шаль, с неизменно кротким и невинным выражением младенчески нежно очерченных щек и губок, она остановилась в трех шагах от гостьи и холодно ей поклонилась. Но Доротея, непосредственная, как всегда, уже сняла перчатки, приблизилась к Розамонде и протянула ей руку. Розамонде не удалось отвести в сторону

взгляд, не удалось уклониться от рукопожатия Доротеи, которая с материнской нежностью стиснула ее руку в своей, устремив на Розамонду грустный, но открытый и приветливый взгляд, и у той немедленно мелькнула мысль, не ошиблась ли она, не судит ли о побуждениях гостьи предвзято? От зорких глаз Розамонды не укрылось, как изменилось и побледнело за день лицо миссис Кейсобон, и ее тронуло его кроткое, доброе выражение, твердое и ласковое пожатие руки. Но Доротея переоценила свои силы: ясность мысли, стремительный ее бег явились следствием нервного возбуждения — состояния опасного, делавшего ее хрупкой, как тончайшее венецианское стекло. Взглянув на Розамонду, она внезапно почувствовала, что сердце готово выскочить у нее из груди, и не могла произнести ни слова — все ее силы ушли на то, чтобы сдержать рыдания. Ей это удалось — невыплаканные слезы лишь мгновенной тенью омрачили ее лицо, но Розамонда заметила и это и еще больше усомнилась в правильности своей догадки о том, с каким намерением пришла к ней миссис Кейсобон.

Так ни словом не обменявшись, они сели в кресла, которые оказались к ним ближе остальных, и кресла эти оказались также стоящими рядом друг

с другом, а ведь Розамонда, войдя в комнату и кланяясь, намеревалась сесть как можно дальше от миссис Кейсобон. Но ее уже не занимало, как все произойдет, ей одно только хотелось знать: что же случится? И Доротея заговорила с ней совершенно просто, поначалу неуверенно, затем голос ее окреп.

— Я приехала вчера с намерением, которое не полностью осуществила, вот почему я снова здесь. Вы не сочтете меня назойливой, узнав, что я пришла сюда поговорить с вами о той несправедливости, жертвой которой стал мистер Лидгейт? Вы воспрянете духом, — не так ли? — если я вам сообщу об обстоятельствах, о которых сам он не пожелал рассказать, именно потому, что они служат к его чести и полностью его оправдывают? Вы рады будете узнать, что у вашего мужа есть преданные, любящие его друзья, и они продолжают верить в его благородство? Вы позволите мне все это рассказать и не подумаете, что я беру на себя слишком много?

Она говорила горячо, взволнованно; в стремительно хлынувшем потоке слов Розамонда не уловила отголосков того, что могло бы, как она боялась, послужить причиной ненависти и раздора между ними. Ее страхи растаяли, их затопил

теплый поток великодушных слов. О том, что не давало до сих пор покоя Розамонде, миссис Кейсобон, конечно, помнила, однако не собиралась ни о чем подобном говорить. Облегчение было так велико, что никаких иных чувств Розамонда в этот миг не испытала. Успокоившись и оживая вновь, она произнесла:

— Я знаю, как добры вы были. Я буду рада услышать все, что вы мне расскажете о Тертии.

— Позавчера, — сказала Доротея, — когда я пригласила мистера Лидгейта в Лоуик, чтобы посоветоваться с ним о делах, касающихся больницы, он рассказал мне все о том, что сделал и что испытал в связи с печальным обстоятельством, которое люди по неведению вменяют ему в вину. Он рассказал все это потому, что я взяла на себя смелость спросить его. Я верила, что он неспособен на бесчестный поступок, и попросила все мне рассказать. Он сознался, что никому еще ничего не рассказывал, даже вам, так как ему глубоко противно утверждать: «Я ни в чем не повинен» — ведь утверждать так могут и виновные, эти слова ничего не доказывают. Дело в том, что ни об этом Рафлсе, ни о его секретах ваш муж никогда ничего не слыхал. Когда мистер Булстрод предложил вашему мужу деньги, он решил, что

тот пришел ему на помощь по сердечной доброте, раскаявшись, что не исполнил его просьбу сразу. Мистер Лидгейт думал лишь о том, как вылечить больного. Он не ожидал, что пациент умрет, и исход болезни его несколько озадачил. Но, узнав о его смерти, он подумал и продолжает так же думать и сейчас, что, возможно, в ней никто не повинен. Я рассказала это мистеру Фербратеру, мистеру Бруку и сэру Джеймсу Четтему — все они верят вашему мужу. Вас ободрил мой рассказ, не так ли? Он внушил вам мужество?

Розамонда увидела прямо перед собой сияющее оживлением лицо Доротеи и слегка оробела, подавленная благородным самоотверженным пылом своей собеседницы. Она вспыхнула и смущенно произнесла:

— Вы очень добры, благодарю вас.

— Он чувствовал, что поступил неверно, не поделившись всем этим с вами. Но простите его. Он молчал потому, что ваше счастье для него всего дороже. Он знает: ваши жизни — одно целое, и ему всего больнее оттого, что его несчастье причиняет боль и вам. Говорить со мною ему было легче, я ведь стороннее лицо. Но когда он все рассказал мне, я спросила, можно ли мне встретиться с вами… я так сочувствовала его и вашей

беде. Вот почему я приезжала к вам вчера, по той же причине приехала и сегодня. Горе нелегко перенести, ведь верно? Разве можно жить, зная, что у кого-то случилось горе, тяжкое горе, а ты даже не пытаешься ему помочь!

Всецело отдавшись охватившему ее чувству, Доротея забыла обо всем, и терзавшие ее страдания напоминали о себе лишь одним: они делали ее еще отзывчивее к страданиям Розамонды. Ее голос звучал все с большим и большим волнением, проникая, казалось, до самых глубин души, словно полный муки тихий крик, прозвучавший во мраке. Вновь она бессознательно сжала рукой маленькую ручку Розамонды.

А та, пронзенная невыносимой болью, судорожно разрыдалась, совсем как накануне, когда, растерянная и оскорбленная, прильнула к мужу. И вновь печаль могучею волною захлестнула Доротею — ей подумалось, не является ли Уилл Ладислав причиной смятения Розамонды? Она начинала опасаться, выдержит ли до конца, и теперь сама уже пыталась побороть рыдания. Стараясь овладеть собой, она внушала себе, что, быть может, наступил решающий момент в жизни трех людей — не в ее жизни; в ее жизни ничего уже не изменить, зато многое может изменить-

ся в этих трех судьбах, связанных с ее судьбой отчаянием и опасностью, которые нависли над каждым из них. Быть может, она еще успеет уберечь от бесчестия это хрупкое создание, которое сидело сейчас рядом с ней, горько плача. Да и повторится ли когда-нибудь подобный случай? Им с Розамондой не сидеть уж больше рядом, так тесно связанным волнующим до глубины души воспоминанием о вчерашнем дне. Их особенные отношения дают ей особенную возможность оказать воздействие на Розамонду, она чувствовала это, хотя совершенно не догадывалась о том, что ее собственные чувства известны миссис Лидгейт.

Доротея понимала, что в жизни Розамонды наступил критический момент, но не представляла себе, сколь неожиданным он для нее явился, — впервые в жизни сильное потрясение развеяло созданный воображением мирок, где Розамонда пребывала до сих пор в приятном сознании собственной непогрешимости и несовершенства всех остальных. А когда эта женщина, к которой Розамонда приблизилась с ужасом и неприязнью, уверенная, что та ревнует и потому ненавидит ее, вдруг неожиданно к ней обратилась так дружелюбно, так открыто, потрясенная Розамонда

совсем растерялась, и ей казалось, самая земля уходит из-под ее ног.

Наплакавшись, она успокоилась понемногу, отняла платочек от лица, и глаза ее — два голубых цветка — беспомощно обратились к Доротее. Что толку раздумывать, как ты себя держишь, после таких рыданий? И Доротея, на щеке которой поблескивал след одинокой слезинки, тоже напоминала растерянную девочку. Их более не отгораживала друг от друга гордость.

— Мы говорили о вашем муже, — с некоторой робостью сказала Доротея. — Я не видела его уже много недель, и меня поразила печальная перемена в его наружности. Он сказал, что выпавшее ему испытание он переживает в одиночку. Но я считаю, ему легче было бы все выносить, если бы он смог быть совершенно откровенным с вами.

— Тертий очень сердится и раздражается, стоит мне сказать хоть слово, — возразила Розамонда, вообразив, что муж пожаловался на нее Доротее. — Он напрасно удивляется, что в разговорах с ним я стараюсь не затрагивать неприятные темы.

— Он себя винит, что с вами не поговорил, — сказала Доротея. — О вас же сказал только, что деятельность, огорчающая вас, и ему не может

доставить радости, что брак наложил на него обязательство во всем сообразовываться с вашим желанием. Он потому и отказался от моей просьбы продолжить работу в больнице, занимая там прежнюю должность, что это принудило бы его остаться в Мидлмарче, а он не хочет делать ничего такого, что вас бы огорчило. Со мной он был так откровенен, потому что знал, сколько испытаний выпало на мою долю из-за болезни мужа, воспрепятствовавшей его планам и глубоко удручавшей его. Ваш муж знает, что мне ведомо, как тяжко жить, терзаясь постоянным опасением причинить боль близкому существу.

Доротея сделала небольшую паузу, заметив, что личико Розамонды слегка просветлело. Но ответа не последовало, и Доротея продолжала; ее голос с каждым словом звучал все более взволнованно и робко.

— Брак — это нечто совсем особое. Есть даже что-то устрашающее в близости, которую он приносит. Даже если мы любим кого-то сильнее, чем… того, с кем мы связаны браком, это чувство бесплодно. — Бедная Доротея так разволновалась, что едва успела спохватиться и неловко поправилась: — Я имею в виду, брак лишает нас возможности найти или дать счастье в любви

такого рода. Я знаю, она может быть огромна, но она… убивает брак… брак мертв, а остальное исчезает без следа. И тогда муж, если любит жену, верит ей, а жена не только не пришла ему на помощь, но стала проклятием его жизни…

Ее голос звучал еле слышно: Доротея ужаснулась, не слишком ли много она на себя взяла, не выступает ли она в роли обличающей порок добродетели? Она была слишком взволнована, чтобы заметить волнение Розамонды. Горя желанием не упрекнуть, а высказать сочувствие, она положила свои руки на ручки Розамонды и торопливо произнесла:

— Я знаю, знаю, чувство это может быть огромно… сами о том не ведая, мы поддаемся ему, и так тяжко… просто смерти подобно с ним расстаться… а ведь мы слабы… я так слаба…

Собственное горе, помогавшее ей спасти от горя другую женщину, захлестнуло Доротею, подавило ее. Речь ее оборвалась, ее прервали не слезы, — что-то вдруг ей помешало, она почувствовала, что не может продолжать. Бледное лицо ее стало мертвенно-бледным, губы дрожали, она испуганно сжимала руки Розамонды в своих.

Низвергнувшийся на нее могучий ток чужого чувства подхватил Розамонду, увлек за собой,

и все вокруг казалось новым, страшным, непонятным. Она не знала, что сказать, но невольно приложила губы ко лбу Доротеи, оказавшемуся очень близко от них, и обе женщины на несколько мгновений судорожно прильнули друг к другу, словно жертвы кораблекрушения.

— Вы заблуждаетесь, — с волнением шепнула Розамонда, повинуясь неизъяснимому стремлению освободиться от чего-то, что угнетало ее так невыносимо, словно она была повинна в убийстве.

Женщины отстранились друг от друга, их взгляды встретились.

— Когда вы вошли сюда вчера, все было совсем не так, как вы подумали, — чуть слышным голосом добавила она.

Доротея удивленно слушала, предполагая, что Розамонда хочет перед ней оправдаться.

— Он рассказал мне, как он любит другую женщину, чтобы мне стало ясно, что меня он не полюбит никогда, — торопливо объясняла Розамонда. — А теперь он, должно быть, возненавидит меня, потому что вы вчера о нем не то подумали. Он говорит: вы будете из-за меня дурного мнения о нем, сочтете его лицемером. Но если так случится, то не из-за меня. Он ни-

когда не любил меня, я знаю, я мало значила в его глазах. Он сказал вчера, что кроме вас для него не существует женщин, так что виновата во всем только я. Он сказал, что никогда теперь не сможет с вами объясниться из-за меня. Он сказал, что он навек погиб в ваших глазах. Но теперь я вам все рассказала, и он уже не может меня ни в чем упрекнуть.

Откровенность Розамонды была вызвана воздействием неведомых ей прежде побуждений. Свою исповедь она начала, покоренная волнением Доротеи, а потом ей стало казаться, что она отражает упреки Уилла, которые, словно кровоточащие раны, терзали ее до сих пор.

Потрясение, которое вызвали эти слова в Доротее, даже трудно назвать радостью. В полном смятении чувств она продолжала ощущать боль от перенесенных ночью и утром страданий и лишь предугадывала, что и радость ждет впереди. Зато сочувствие, ничем не сдерживаемое сочувствие, она испытала тотчас же. Ей уже не приходилось насильственно внушать себе участие к Розамонде, и она с жаром отозвалась на ее последние слова:

— Да, он ни в чем теперь не может вас упрекнуть.

Сердце этой великодушной женщины, склонной слишком высоко ценить добрые побуждения других, преисполнилось благодарности Розамонде, исцелившей ее от страданий, и она не задумалась о том, что самоотверженность миссис Лидгейт была лишь откликом на ее собственный порыв.

Они немного помолчали, затем Доротея спросила:

— Вы не сердитесь, что я пришла сегодня?

— Нет, вы были так добры ко мне, — сказала Розамонда. — Я не ожидала, что вы будете так добры. Я была очень несчастна. Я и сейчас не чувствую себя счастливой. Все так печально.

— Придут и лучшие дни. Вашему мужу воздадут должное. А пока ему нужна ваша поддержка. Он горячо вас любит. Самой тяжкой потерей было бы утратить его любовь… а вы ее не утратили, — сказала Доротея.

Она гнала от себя радостную мысль, которая властно теснила все другие и мешала ей заполучить какое-нибудь доказательство того, что Розамонда вновь готова потянуться сердцем к мужу.

— Значит, Тертий меня ни в чем не винит? — спросила Розамонда, уразумев наконец, что

Лидгейт, вероятно, что-то рассказал миссис Кейсобон, право же, удивительнейшей из женщин. В ее вопросе был, возможно, слабый отзвук ревности. Улыбка заиграла на лице Доротеи, ответившей:

— Конечно, нет! Как могло вам это прийти в голову? — Но тут дверь отворилась, и вошел Лидгейт.

— Я возвратился, повинуясь врачебному долгу, — сказал он. — Куда бы я ни шел, мне не давали покоя ваши бледные лица. Миссис Кейсобон выглядела ничуть не менее больной, чем ты, Рози. И я подумал, что только нерадивый врач мог оставить вас обеих без помощи. От Коулмена я поспешил домой. Вы ведь пришли пешком, миссис Кейсобон? Небо что-то нахмурилось, я полагаю, будет дождь. Вы разрешите послать за вашей каретой?

— О нет! Я превосходно себя чувствую. Я непременно пойду пешком, — поднимаясь, с оживлением проговорила Доротея. — Мы тут заболтались с миссис Лидгейт, мне пора идти. Меня всегда осуждали за то, что я не знаю меры, разговорившись.

Она протянула Розамонде руку, и они попрощались, сердечно и тихо, без поцелуев и тому

подобных изъявлений нежных чувств. Чувства, только что пережитые этими женщинами, были слишком серьезны для того, чтобы поверхностно их изъявлять.

Лидгейт проводил Доротею до дверей, и она ни словом не упомянула о Розамонде, зато рассказала, с какой радостью мистер Фербратер и все остальные убедились в его полной невиновности.

Когда он вернулся к Розамонде, та, утомленно поникнув, полулежала на кушетке.

— Ну, Рози, — сказал он, наклонившись к ней и коснувшись ее волос, — что ты думаешь о миссис Кейсобон сейчас, когда узнала ее поближе?

— Я думаю, что она лучше всех людей, — сказала Розамонда, — и что она очень красива. Если ты собираешься так часто с ней беседовать, ты еще больше, чем обычно, будешь недоволен мной!

Лидгейт рассмеялся, услыхав это «так часто».

— Удалось ли ей уменьшить твое недовольство мной?

— Мне кажется, да, — сказала Розамонда и подняла на него взгляд. — Какие мрачные у тебя глаза, Тертий… и убери же волосы со лба. — Он поднес к голове крупную белую руку, благодарный и за этот проблеск внимания. Бедняжка

Розамонда — капризы ее нежного сердечка были жестоко наказаны и возвратились, присмирев, в своенравно покинутый ими приют. А приют был надежен как прежде: Лидгейт безропотно смирился со своей невеселой долей. Он сам сделал своей избранницей это хрупкое существо и взвалил себе на плечи бремя ее жизни. Теперь он должен был брести, сколько достанет сил, влача это бремя.

## Глава LXXXII

*Все счастье сзади, горе впереди.*

***Шекспир, «Сонеты»***

Изгнанники, как известно, имеют склонность обольщать себя надеждой, и удержать их в ссылке можно лишь насильственными мерами. Изгнав себя из Мидлмарча, Уилл Ладислав не отрезал себе пути к возвращению. Оно зависело от его воли, а та не была непреодолимой преградой, ибо определялась расположением его духа, всегда готового подладиться к новому умонастроению и с учтивыми поклонами и улыбками заскользить с ним в такт. С каждым месяцем Уиллу все трудней было ответить, что мешает ему наведаться в Мидлмарч, просто для того, чтобы узнать что-то о Доротее; и если при этом ему придется случайно с ней встретиться, то нет никаких причин стыдиться того, что, отказавшись от прежних намерений, он предпринял эту вполне невинную поездку. Вместе им никогда не быть, а потому простительно его желание ее увидеть, что же касается ее бдительных родственников, как дракон стерегущих ее, их мнение с переменой места и по

прошествии времени казалось Уиллу все менее важным.

А тут возник и совершенно независимый от Доротеи повод, благодаря которому поездка в Мидлмарч представлялась долгом человеколюбия. Уилл проявил бескорыстный интерес к одному из поселений, которое предполагалось разбить на Дальнем Западе, и коль скоро для того, чтобы это было основательно сделано, требовались денежные средства, у него возникла благая идея пожертвовать для осуществления этого проекта деньги, некогда предложенные ему Булстродом. Эту идею Уилл счел весьма сомнительной и чуть было сразу же не отказался от нее, движимый нежеланием вступать в новые переговоры с банкиром, если бы его не осенило внезапное предположение, что поездка в Мидлмарч поможет ему составить более здравое мнение об этом вопросе.

С этой целью, как уверил себя Уилл, он отправился в путь. Он собирался рассказать о своих сомнениях Лидгейту и испросить его совета, собирался он также провести в его доме несколько приятных вечеров, музицируя и дружески пикируясь с прекрасной Розамондой, не обойдя вниманием и своих лоуикских друзей. Не его

вина, если дом священника расположен слишком близко от Лоуик-Мэнора. Он не показывался у Фербратеров накануне отъезда, боясь, как бы его не обвинили в том, что он ищет случайных встреч с Доротеей, но голод усмирит кого угодно, а Уилл алкал узреть давно не виденные им черты и услышать голос, которого давно уже не слышал. Ему ничто не заменяло их — ни опера, ни жаркие политические споры, ни лестный прием (в разных глухих уголках) его передовых статей.

Итак, он посетил знакомые края, заранее предвидя все и только опасаясь, что визит будет лишен сюрпризов. Но монотонный провинциальный мирок оказался словно начинен динамитом, взрывами оборачивались даже пикировка и музицирование, и самый первый день визита стал самым роковым в его жизни. Он чувствовал себя на следующее утро настолько изнуренным и так страшился немедленных последствий, что, увидав за завтраком, как прибыл риверстонский дилижанс, торопливо вышел из дому и купил в нем место, чтобы спастись хотя бы на день от необходимости что-нибудь делать или говорить в Мидлмарче. Уилл Ладислав оказался в запутанном и сложном положении, каковые в нашей жизни случаются гораздо чаще, нежели

мы способны себе вообразить. Лидгейт, человек, к которому он испытывал самое искреннее уважение, попал в беду и заслуживал глубокого и пылкого участия, а неожиданное обстоятельство, побуждавшее Уилла сторониться дома Лидгейтов и даже совсем там не показываться, лишило его возможности проявить это участие. Чувствительный Уилл, который, принимая все слишком близко к сердцу, любое событие истолковывал драматически, был удручен, сделав открытие, что Розамонда отвела ему значительное место в своих грезах, и, поддавшись гневу, казалось, еще более усугубил неловкость своего положения. Он корил себя за жестокость и в то же время боялся обнаружить всю полноту раскаяния; он должен побывать у нее еще раз, с друзьями так не расстаются, но как, однако, страшно, что у этой женщины есть право притязать на его участие. Расстилавшаяся перед ним жизненная перспектива казалась столь безрадостной и мрачной, словно ему отрезали ноги и в дальнейшем ему предстоит ходить на костылях. Ночью он раздумывал, не купить ли место не в риверстонском, а в лондонском дилижансе, а Лидгейту послать записку, где он сошлется на непредвиденные обстоятельства, которые потребовали его немед-

ленного отъезда. Но он не в силах был уехать так внезапно: похоронив надежду, которая не увядала, несмотря на доводы рассудка, лишившись счастья думать о Доротее, он не мог сейчас, едва это случилось, смириться с горем и немедленно пуститься в путь, путь сумрачный и безысходный.

Итак, он не придумал ничего более решительного, чем уехать риверстонским дилижансом. Он возвратился с тем же дилижансом еще при свете дня, твердо решив вечером пойти к Лидгейту. Как мы знаем, Рубикон[211] не был значительной рекой, его значение заключалось в других, невидимых обстоятельствах. Уиллу тоже предстояло пересечь свой узкий пограничный ров, и не империя ждала его на том берегу, а печальная необходимость покориться чужой воле.

Но нам случается порою даже в повседневной жизни наблюдать спасительное воздействие благородной натуры, видеть, как чей-то самоотверженный поступок чудесным образом влечет

---

**[211] Примечания: 211**

*Рубикон* — небольшая речка в Древнем Риме, служившая границей между Италией и Галлией. Вводить войска в Италию запрещалось законом. Поэтому, когда римский полководец Юлий Цезарь (101 — 44 гг. до н.э.), сказав, согласно легенде: «Жребий брошен», после некоторых колебаний решил перейти Рубикон со своими легионами, он тем самым объявил войну римскому сенату.

за собою спасительный для многих исход. Если бы, проведя ночь в мучительных страданиях, Доротея наутро не пошла к Розамонде, мы, пожалуй, отдали бы должное ее благоразумию, но те трое, кто собрались в этот вечер в половине восьмого под кровом Лидгейта, прогадали бы вне всякого сомнения.

Розамонда была готова к посещению Уилла и встретила его с томной холодностью, которую Лидгейт приписал последствиям волнения, по его мнению, никак не связанного с Уиллом. И когда она молча склонилась над рукоделием, он простодушно поспешил косвенным образом извиниться перед гостем и попросил ее облокотиться поудобней и отдохнуть. Уилл был угнетен необходимостью кривить душой и делать вид, будто встречается с Розамондой в первый раз после приезда, в то время как его донимали мысли о том, что она чувствует после вчерашней сцены, которая с отчетливостью рисовалась его мысленному взору, напоминая об овладевшем ими обоими безумии. Случилось так, что Лидгейту ни разу не пришлось покинуть комнату, но когда Розамонда разливала чай и Уилл подошел к ней, она незаметно положила на его блюдечко крошечный, сложенный квадратик бумаги.

Он торопливо его спрятал, но, возвратившись в гостиницу, не испытывал желания поскорее развернуть записку. Возможно, то, что написала Розамонда, сделает впечатления этого вечера еще более тягостными. Наконец он все же развернул записку и прочитал при свете ночника. Изящным почерком Розамонды там было написано:

«Я все рассказала миссис Кейсобон. Теперь она знает правду. Я рассказала ей все потому, что она пришла ко мне сегодня утром и была очень добра. Вам больше не в чем меня упрекнуть. Как видите, я вам не помешала».

Его радость не была безоблачной. Разгоряченное воображение представило ему объяснение Розамонды с Доротеей, и у него запылали щеки и уши — что почувствовала Доротея, когда ее собеседница затронула этот предмет, не уязвила ли такая вольность ее самолюбие? Не случилось ли непоправимое, не стал ли он другим в ее глазах, надолго, навсегда? С живостью вообразив себе возможные последствия, он чувствовал себя почти столь же неуверенно, как человек, который спасся после кораблекрушения и вступает в ночной тьме на незнакомый берег. До злополучной вчерашней встречи — если не считать одного-единственного досадного недоразумения,

случившегося давным-давно, в той же самой гостиной и из-за той же Розамонды, — они существовали друг для друга словно в каком-то нездешнем мире, где свет солнца падал на высокие белые лилии, где не таилось зло и не бывало посторонних. Но сейчас… Встретятся ли они в этом мире вновь?

## Глава LXXXIII

*Наутро мы друг друга видим вновь.*
*Мы вместе, и нам нечего страшиться.*
*Когда в глазах живет одна любовь,*
*Каморка в целый мир преобразится.*

***Донн***

Две ночи крепкого, здорового сна, последовавшие за визитом к Розамонде, оказались столь целительными для Доротеи, что не только от ее усталости не осталось и следа, но она ощутила избыток сил, или, говоря иначе, слишком большой прилив энергии, чтобы сосредоточиться на определенном занятии. Накануне она весь день проходила пешком, несколько раз забрела за пределы поместья и дважды побывала в доме священника, но никому на свете она не решилась бы объяснить, по какой причине столь бесплодно тратит время, и на следующее утро пробудилась недовольная собой за эту ребяческую непоседливость. Нынешний день она проведет совершенно иначе. Какие у нее есть дела в деревне? Увы, никаких! Все здоровы, благоденствуют, тепло одеты, ни у кого не околела свинья, да к тому же

сегодня суббота — утром все фермерши скоблят полы и каменные плиты у крыльца, и в школу заходить нет никакого смысла. Но у Доротеи накопились другие дела, и она решила всю свою энергию употребить на самое серьезное из них. Она села в библиотеке перед отложенной особо небольшой стопкой книг по политической экономии и родственным наукам, из коих надеялась узнать, как лучше всего тратить деньги, чтобы не нанести ущерба ближним или — что одно и то же — принести им как можно больше добра. Предмет серьезный. Если ей удастся на нем сосредоточиться, он основательно займет ее мысли. К несчастью, мысли ее устремлялись прочь от важного предмета; по истечении часа она обнаружила, что дважды перечитывает каждую фразу, усердно вникая в очень многое, кроме того, что заключалось в тексте. Что ж, ничего не поделаешь. Не приказать ли заложить карету и поехать в Типтон? Нет, ей почему-то не хотелось уезжать сейчас из Лоуика. Но нельзя же быть такой рассеянной, нужно взять себя в руки; она расхаживала по библиотеке, раздумывая, как бы призвать непослушные мысли к порядку. Пожалуй, нужно взяться за какую-нибудь простую работу, требующую лишь усердия. Вот хотя бы

география Малой Азии, мистер Кейсобон не раз журил ее за недостаточность познаний в этом предмете. Она подошла к шкафу с картами и развернула одну из них; в это утро она могла бы окончательно убедиться, что Пафлагония[212] находится не на левантийском побережье, а неведомые и непостижимые халибы обитают близ Понта Евксинского. Когда мысли чем-то заняты, самое лучшее — приняться за изучение географической карты, она пестрит названиями, и если перечитывать их вновь и вновь, они начинают звучать ритмически. Доротея с усердием взялась за работу, склонила голову над картой и негромко, но внятно произносила вслух названия, которые время от времени четким ритмом отдавались у нее в ушах. Глубокие переживания, казалось, не оставили на ней следа — она до смешного напоминала девочку-школьницу, когда, повторяя про себя названия, кивала головой, сосредоточенно сжав губы и загибая пальцы, а иногда прижимала ладони к щекам и восклицала: «Ах, боже мой, боже!»

Это занятие могло длиться без конца, точь-в-

**[212] Примечания: 212**

*Пафлагония* — древнее государство в Малой Азии, на южном берегу Черного моря, которое древние греки называли Понтом Евксинским. *Халибы* — народ, обитавший в Пафлагонии.

точь как вертится карусель, но дверь внезапно отворилась, и Доротее доложили о приходе мисс Ноубл.

Доротея радушно встретила миниатюрную старушку, чья шляпка еле достигала до ее плеча, но, пожимая руку гостьи, заметила, что та попискивает, словно зверек, как делала всегда, затрудняясь начать разговор.

— Садитесь же, — сказала Доротея, подвигая ей кресло. — У вас ко мне есть дело? Я буду счастлива, если смогу помочь.

— Я к вам ненадолго, — ответила мисс Ноубл, сунув руку в корзиночку и нервически вцепившись в какую-то лежавшую там вещицу. — Я пришла с другом, он меня ждет на кладбище. — Тут вновь послышалось невнятное попискивание, и, сама не сознавая, что делает, мисс Ноубл вытащила из корзиночки вещицу, которую сжимала в руке. Это оказалась черепаховая коробочка для мятных лепешек, и у Доротеи запылали щеки.

— Мистер Ладислав, — робко продолжала старушка. — Он боится, не прогневил ли он вас, и просил меня узнать, позволите ли вы ему зайти на несколько минут.

Доротея ответила не сразу: ее первой мыслью было, что она не может принять его здесь, в биб-

лиотеке, над которой, казалось, с особой силой тяготел запрет покойного мужа. Она взглянула на окно. Не выйти ли к нему? Небо затянули темные тучи, деревья вздрагивали, надвигалась гроза. К тому же ей просто страшно к нему выйти.

— Миссис Кейсобон, прошу вас, примите его, — жалобно сказала мисс Ноубл, — ведь иначе мне придется, вернувшись, сказать «нет», а это огорчит его.

— Да, я приму его, — сказала Доротея. — Будьте добры, передайте ему, что я его жду.

Как еще могла она поступить? Ничего она не желала в этот миг так страстно, как увидеть Уилла, мысль о том, что сейчас она с ним встретится, затмевала все, и в то же время она трепетала, охваченная тревожным ощущением, будто отваживается ради него на непозволительный поступок.

Когда старушка засеменила прочь, спеша выполнить возложенную на нее миссию, Доротея остановилась посреди библиотеки, уронив крепко сжатые руки, и не сделала попытки принять исполненную спокойного достоинства позу. Менее всего она думала сейчас о том, в какой позе стоит: все ее мысли были о том, что происходит в душе Уилла, и о несправедливом отношении всех

окружающих к нему. Возможно ли, чтобы чувство долга сделало ее жестокой? С самого начала обида за гонимого питала ее привязанность к нему, и желание защитить его стало еще сильней после всего, что она выстрадала накануне. «Если я его слишком сильно люблю, то потому, что с ним обходились так дурно», — мысленно произнесла она, обращаясь к воображаемым слушателям, и тут дверь отворилась и перед ней предстал Уилл.

Она не тронулась с места, и он направился к ней; Доротее никогда еще не приходилось видеть такого робкого и нерешительного выражения на его лице. Он был так неуверен, что боялся неосторожным словом или взглядом еще больше увеличить разделявшую их пропасть; Доротея же боялась своих чувств. Она стояла как зачарованная, не шевелясь, не разжимая рук, и лишь глаза смотрели грустно, умоляюще. Увидев, что она не протягивает ему, как обычно, руки, Уилл остановился в нескольких шагах и в замешательстве пробормотал:

— Я так вам благодарен, что вы согласились со мной повидаться.

— Я хотела повидаться с вами, — сказала Доротея. Иных слов она придумать не сумела. Ей не пришло в голову сесть, и это окончательно

обескуражило Уилла, тем не менее он решил договорить до конца все, что собирался ей сказать.

— Боюсь, мое слишком поспешное возвращение кажется вам глупым и ненужным. Что ж, поделом мне, я и впрямь нетерпелив. Вам известна… теперь каждому известна злосчастная история, связанная с моими родителями. Я узнал ее еще до отъезда и собирался непременно рассказать вам… если мы когда-нибудь встретимся.

Доротея слегка шевельнулась, разжала руки и тотчас же их сложила.

— Но сейчас об этой истории сплетничает вся округа, — продолжал Уилл. — Мне бы хотелось, чтобы вы узнали об обстоятельстве — оно случилось еще до того, как я отсюда отбыл, — которое побудило меня ускорить мое возвращение. По крайней мере, я считал, что это обстоятельство оправдывает мой нынешний приезд. У меня возникла мысль попросить Булстрода употребить на общественные нужды некоторую сумму — ту сумму, которую он собирался мне отдать. Пожалуй, Булстроду делает честь то, что он намеревался возместить мне давний ущерб; он предложил мне немалые деньги, стремясь загладить свою вину. Впрочем, вам, наверное, известна эта гнусная история?

Уилл нерешительно взглянул на Доротею, но к нему мало-помалу возвращалась вызывающая смелость, неизменно овладевавшая им каждый раз, когда речь заходила о его происхождении. Он добавил:

— Вы ведь знаете, как мне все это неприятно.

— Да, да, я знаю, — торопливо подтвердила Доротея.

— Я предпочел отказаться от средств, происходящих из такого источника. Не сомневаюсь, поступи я иначе, я заслужил бы ваше осуждение, — сказал Уилл. Чего ради он должен об этом умалчивать? Ведь он открыто признался, что любит ее, и ей это известно. — Я почувствовал…

Нет, голос его все-таки сорвался, он умолк.

— Я и не ожидала, что вы можете поступить иначе, — сказала Доротея, и лицо ее прояснилось, поникшая головка слегка приподнялась.

— Я не верил, что, узнав об обстоятельствах моего рождения, вы отнеслись ко мне предубежденно, как, несомненно, сделали все другие, — сказал Уилл, вскинув голову, как бывало прежде, и устремив на Доротею пытливый взгляд.

— Если бы вас постигло еще одно огорчение, то для меня это был бы еще один повод не отступаться от нашей дружбы, — пылко сказала

Доротея. — Меня ничто не вынудило бы к вам перемениться, кроме… — волнение помешало ей продолжать. Сделав над собой огромное усилие, она закончила дрожащим, тихим голосом: — Кроме мысли, что вы оказались другим… оказались хуже, чем я считала.

— Я гораздо хуже, чем вы считаете, и оправдываю ваше доброе мнение только в одном, — сказал Уилл, не утаивая своих чувств от Доротеи, после того как она обнаружила свои. — Я говорю о своей преданности вам. Когда я решил, что вы можете в ней усомниться, мне все стало постыло. Я решил, что между нами все кончено, что мне больше не для чего стараться и осталось лишь смириться с безрадостным будущим.

— Теперь я в вас не сомневаюсь, — сказала Доротея и протянула ему руку. Ей почему-то стало страшно за Уилла, и ее еще сильнее охватила нежность к нему.

Он поднес ее руку к губам и чуть не разрыдался. Но так как в это время он держал в другой руке перчатки и шляпу, с него можно было бы писать роялиста, свидетельствующего свою верность королеве. И все же Доротее не без труда удалось высвободить руку, причем бедняжка смутилась и торопливо отошла.

— Взгляните, тучи стали совсем черными и деревья так и гнутся на ветру, — сказала она, подходя к окну и весьма смутно сознавая, что делает и говорит.

Уилл последовал за нею и оперся о высокую спинку кожаного кресла, на которое отважился наконец-то положить перчатки и шляпу, почувствовав, как его перестала сковывать мучительная неловкость, до этих пор ни разу не омрачавшая его встреч с Доротеей. Признаемся, он испытал огромное удовольствие, опершись о спинку кресла. Он уже не опасался ее рассердить.

Они стояли молча, глядя не друг на друга, а на вечнозеленые деревья, ветви которых гнулись под ветром, мелькая светлою изнанкой листьев на фоне почерневшего неба. Уилла никогда еще так не радовала надвигающаяся гроза: она избавляла его от необходимости немедленно уйти. Ветер срывал с деревьев листья и мелкие ветки, гром грохотал все ближе. С каждой минутой становилось темней и темней, как вдруг вспыхнула молния, и оба они вздрогнули, переглянулись и тут же улыбнулись друг другу. Доротея заговорила о том, что занимало в этот миг ее мысли:

— Вы были неправы, решив, будто вам не для

чего больше стараться. Даже утратив самое дорогое, нельзя опускать руки, ведь стараться можно и для блага других людей. Пусть не мы, зато кто-то другой будет счастлив. Я ощутила это с особой силой в минуту наибольшей скорби. Я не могу себе представить, как бы я перенесла свое несчастье, если бы это чувство не пришло мне на помощь и не влило в меня новые силы.

— Мое несчастье несравнимо с вашим, — сказал Уилл, — как горько было сознавать, что вы меня презираете.

— Мне было тяжелее… нет ничего горше, как дурно думать… — порывисто заговорила Доротея и замолкла.

Уилл покраснел. Ему казалось, Доротея каждым словом подтверждает свою убежденность в том, что их разлука неизбежна. Он помолчал одно мгновение и с жаром произнес:

— Мы, по крайней мере, могли бы себе позволить разговаривать друг с другом без обиняков. Я ведь должен уехать… мы должны расстаться… так что вы можете смотреть на меня как на человека, находящегося на краю могилы.

Он не успел договорить, как ослепительно вспыхнула молния, и лица их, казалось, озарил трагичный свет обреченной любви. Доротея от-

прянула от окна, Уилл метнулся следом и сжал ее руку, они застыли, глядя на грозу и держась за руки, словно двое детишек, как вдруг раздался страшный треск, затем глухой рокот, и хлынул дождь. Тогда они опять, все так же держась за руки, повернулись лицом друг к другу.

— Мне не на что надеяться, — сказал Уилл. — Даже если бы вы любили меня так же сильно, как люблю вас я, даже если бы я был для вас всем, это ничего не изменило бы. Я, вероятно, на всю жизнь останусь бедняком. Не будем предаваться фантазиям: нас ожидала бы жалкая участь. Нет, быть вместе нам не суждено. Я, возможно, поступил неблагородно, добиваясь от вас этой встречи. Я хотел уйти без объяснений, но не смог осуществить свое намерение.

— Не огорчайтесь, — ясным нежным голосом сказала Доротея. — Я довольна, что сумею разделить с вами горечь нашей разлуки.

У нее дрожали губы, у него — тоже. Неизвестно — чьи потянулись первыми, но неожиданно их губы слились в трепетном недолгом поцелуе.

Дождь барабанил по оконным стеклам, словно разгневанный дух тьмы; неистовствовал, бесновался ветер; в такие минуты застывают в неподвижности и хлопотливый труженик, и

бездельник.

Доротея опустилась на стоявшую в нескольких шагах от них длинную и низенькую оттоманку и, сложив руки на коленях, смотрела на бушующую за окном непогоду. Мгновение спустя рядом с ней сел Уилл и прикрыл ладонью ее руки, которые при первом же его прикосновении повернулись ему навстречу ладонями вверх. Так они сидели, не глядя друг на друга, пока дождь не начал стихать. В голове обоих роилось множество мыслей, но они не высказывали их вслух.

Когда шум дождя смолк, Доротея повернулась к Уиллу. Тот вскрикнул, словно перед ним внезапно возникло орудие пытки, торопливо вскочил и сказал:

— Нет, это невозможно!

Вновь подойдя к тому же высокому креслу, он оперся на его спинку и, казалось, пытался обуздать свой гнев. Она печально на него смотрела.

— Это безжалостно, как смерть… как любое из бедствий, насильственно разлучающих людей, — вновь вспыхнул он, — только еще невыносимее — из-за ничтожных пустяков искалечить всю жизнь.

— Нет… не говорите так… ваша жизнь не будет искалечена, — с глубокой нежностью прогово-

рила Доротея.

— Будет, — сердито ответил Уилл. — И не нужно так говорить, это просто жестоко. Вы способны смириться с нашим несчастьем, для меня же оно заслонило весь свет. Невеликодушно говорить сейчас со мною так, словно моя любовь — безделица, которую вам ничего не стоит отбросить. Мы ведь никогда не будем мужем и женой.

— Когда-нибудь… возможно, будем, — дрожащим голосом сказала Доротея.

— Когда же? — с горечью воскликнул Уилл. — Можно ли рассчитывать на то, что я когда-то добьюсь успеха? Обеспечить себе скромное безбедное существование — предел моих надежд, а добиться большего я сумею лишь в том случае, если мне улыбнется фортуна или я решусь стать продажным писакой. В этом нет ни малейших сомнений. Я не имею права связывать свою судьбу с судьбою женщины, даже если она не пожертвует ради меня богатством и довольством.

Доротея молчала. Чувства, переполнявшие ее сердце, рвались наружу, но она была не в силах произнести ни слова. Спор в душе ее умолк, и было невыносимо тягостно молчать о том, о чем ей так хотелось сказать. Уилл сердито смотрел в окно. Если бы он смотрел на нее, если бы он

не отошел от нее, ей, вероятно, было бы легче. Но вот, все еще опираясь на спинку кресла, он повернулся к Доротее, машинально протянул руку за шляпой и сердито сказал:

— До свидания.

— Ах, я этого не вынесу… у меня разрывается сердце, — сказала Доротея и встала. Ее чувства наконец прорвались и смели все препоны, принуждавшие ее молчать… бурно хлынули слезы. — Я согласна жить в бедности, я ненавижу свое богатство.

В то же мгновенье Уилл был рядом с ней и обнял ее, но она отстранилась и нежно отклонила его голову от своей, чтобы он не мешал ей говорить. Простодушно глядя на него большими, полными слез глазами, она говорила, всхлипывая как дитя:

— Нам будет вполне достаточно и моего состояния… так много денег… целых семьсот фунтов в год… мне ведь так мало нужно… я обойдусь без обновок… и запомню, что сколько стоит.

# Глава LXXXIV

*Пусть все твердят, и стар и млад,*
*Что виновата я,*
*Да только тех чернее грех,*
*Кто очернил меня.*
***«Смуглая девушка»***[213]

Это было вскоре после того, как палата лордов отклонила билль о реформе[214], чем объясняется то обстоятельство, что мистер Кэдуолледер, держа в руке «Таймс», прохаживался по травянистому откосу близ оранжереи Фрешит-Холла и со свойственной завзятому рыболову бесстрастностью рассуждал с сэром Джеймсом Четтемом о будущем страны. Миссис Кэдуолледер, вдовствующая леди Четтем и Селия сидели в садовых креслах, время от времени поднимаясь, дабы взглянуть на Артура, которого возила в колясочке няня,

---

**[213] Примечания: 213**

«Смуглая девушка» — английская народная баллада.

**[214] Примечания: 214**

В мае 1832 г. палата лордов пыталась с помощью неприемлемой поправки сорвать принятие закона об избирательной реформе. Тогда сторонники реформы потребовали назначения 60 новых пэров, и палата лордов отступила от своего требования, не желая появления новых членов, враждебных ее большинству.

причем юный Будда восседал, как и положено этому божеству, под сенью священного зонтика, украшенного шелковой бахромой.

Дамы тоже толковали о политике, но отклонялись от темы. Миссис Кэдуолледер полагала, что проект назначения новых пэров сыграл в событиях не последнюю роль. Ей было доподлинно известно от кузины, что Трабери переметнулся на другую сторону по наущению жены, которая давно учуяла, какие блага им сулит спор о реформе, и готова душу продать дьяволу, только бы стать рангом выше своей младшей сестры, жены баронета. Леди Четтем сочла такое поведение весьма предосудительным и припомнила, что матушка миссис Трабери — урожденная мисс Уолсингем из Мелспринга. Селия признала, что называться «леди» приятней, чем «миссис», и что Додо о рангах не думает, лишь бы ей позволили поступать по-своему. Миссис Кэдуолледер полагала, что в титуле не так уж много проку, если в твоих жилах нет ни капли благородной крови и это всем известно, а Селия, оторвав взгляд от Артура, сказала:

— Как, однако, было бы славно, если бы он был виконт! У его милости режутся зубки! А он был бы виконтом, если бы Джеймс был графом.

— Милая Селия, — сказала вдовствующая леди Четтем, — титул Джеймса стоит куда больше, чем все эти новые графские титулы. Мне никогда не хотелось, чтобы его отец назывался иначе, чем сэр Джеймс.

— О, я ведь сказала это только потому, что у Артура режутся зубки, — безмятежно отозвалась Селия. — Но глядите, дядюшка идет.

Она поспешила навстречу дяде, а сэр Джеймс и мистер Кэдуолледер направились к дамам. Селия просунула руку под локоть мистера Брука, и тот потрепал ее по пальчикам, довольно меланхолично сказав:

— Так-то, милочка!

Когда они подошли к остальным, все обратили внимание на удрученный вид мистера Брука, но отнесли его на счет политической ситуации. После того как он обменялся со всеми рукопожатием, ограничившись лаконичным «А, так вы здесь», мистер Кэдуолледер со смехом сказал:

— Не принимайте провал билля так близко к сердцу, Брук, ведь среди ваших единомышленников вся шушера в стране.

— Провал билля, э? А… — с отсутствующим видом отозвался мистер Брук. — Отклонили, знаете ли. Э? Палата лордов, однако, несколько зарва-

лась. Их бы следовало осадить. Печальные вести, знаете ли. Я имею в виду, здесь, у нас печальные вести. Но не вините меня, Четтем.

— Что случилось? — спросил сэр Джеймс. — Неужто еще одного егеря застрелили? Да чего же и ждать, если Ловкачу Бассу все сходит с рук.

— Егерь? Нет. Давайте войдем в дом, там я вам все расскажу, — проговорил мистер Брук, наклоняя голову в сторону Кэдуоллледеров в знак того, что приглашение относится и к ним. — А что касается браконьеров, вроде Ловкача Басса, то знаете ли, Четтем, когда вы станете мировым судьей, то поймете, что не так уж легко сажать людей за решетку. Строгость — это, разумеется, прекрасно, только проявлять ее гораздо легче, если вместо вас все делает кто-то другой. Вы и сами, знаете ли, мягкосердечны, вы ведь не Дракон и не Джеффрис[215].

Мистером Бруком, несомненно, владело сильное душевное беспокойство. Всякий раз, когда ему предстояло сообщить неприятную весть, он, приступая к этой миссии, заговаривал то о том,

---

**[215] Примечания: 215**

*Дракон* (Драконт) — древнегреческий политический деятель (VII в. до н.э.), прославившийся суровостью законов, которые он вводил. *Джеффрис Джордж* (1648 — 1689) — английский верховный судья, чьи приговоры отличались крайней жестокостью.

то о сем, словно мог таким образом подсластить горькую пилюлю. Он разглагольствовал о браконьерах, покуда все не сели и миссис Кэдуолледер, наскучив этим вздором, не произнесла:

— Мне смерть как хочется услышать ваши печальные вести. Егеря не застрелили, это нам уже известно. Так что же наконец произошло?

— Обстоятельство весьма прискорбное, знаете ли, — отозвался мистер Брук. — Я рад, что здесь присутствуете вы и ваш муж. Это семейные неурядицы, но вы поможете нам их перенести, Кэдуолледер. Я должен сообщить тебе о нем, милочка. — Мистер Брук взглянул на Селию. — Ты ни за что не догадаешься, в чем дело, знаешь ли. А вы, Четтем, будете чрезвычайно раздосадованы, только, видите ли, воспрепятствовать всему этому вы бы не могли, точно так же, как и я. Как-то странно все устроено на свете: вдруг случится что-то, знаете ли, ни с того ни с сего.

— Вероятно, у Додо что-то произошло, — сказала Селия, привыкшая считать сестру источником всех огорчительных семейных происшествий. Она пристроилась на низенькой скамеечке рядом со стулом мужа.

— Бога ради, да говорите же скорей! — сказал сэр Джеймс.

— Вы же знаете, Четтем, завещание Кейсобона я изменить не могу, такого рода завещания всегда приносят неприятности.

— Совершенно верно, — поспешно согласился сэр Джеймс. — Но что оно принесло?

— Доротея, знаете ли, снова выходит замуж, — сказал мистер Брук и кивнул Селии, которая тотчас подняла на мужа встревоженный взгляд и взяла его за руку.

Сэр Джеймс побелел от гнева, но ничего не сказал.

— Боже милостивый! — вскричала миссис Кэдуолледер. — Неужели за Ладислава?

Мистер Брук, кивнув, сказал: «Да, за Ладислава» — и благоразумно погрузился в молчание.

— Ты видишь, Гемфри! — сказала миссис Кэдуолледер и оживленно повернулась к мужу. — В следующий раз тебе придется признать, что я обладаю даром предвидения! Впрочем, ты, вероятно, снова заупрямишься и останешься слеп, как всегда. Ведь ты считал, что этот джентльмен уехал.

— Он, вероятно, и впрямь уезжал, а потом вернулся, — невозмутимо ответил священник.

— Когда вы об этом узнали? — спросил сэр Джеймс, которому не хотелось слушать все эти

пересуды и в то же время трудно было что-либо сказать самому.

— Вчера, — кротко ответил мистер Брук. — Я вчера ездил в Лоуик. Доротея, знаете ли, за мной послала. Все это случилось совершенно неожиданно — ни он, ни она еще два дня назад даже не помышляли ни о чем подобном… ни о чем подобном, знаете ли. На свете все странно устроено. Но Доротея решилась твердо — с ней бесполезно спорить. Я ведь не сразу согласился, я приводил весьма серьезные резоны. Я исполнил свой долг, Четтем. Но она, знаете ли, вправе поступать, как ей вздумается.

— Жаль, я не вызвал его в прошлом году на дуэль и не пристрелил, — сказал сэр Джеймс, движимый не столько кровожадностью, сколько желанием излить обуревавший его гнев.

— Это, право же, было бы так неприятно, Джеймс, — сказала Селия.

— Успокойтесь, Четтем, зачем так горячиться, — сказал мистер Кэдуолледер, огорченный тем, что его добросердечный приятель поддался неразумной ярости.

— Не так-то это легко для человека, обладающего хоть в какой-то мере чувством собственного достоинства, когда подобная история случается

в его семье, — ответил сэр Джеймс, все еще кипя негодованием. — Ведь это форменный скандал. Будь у вашего Ладислава хоть капля чести, он бы немедленно уехал за границу, а сюда даже носу не показал. Впрочем, я не удивлен. Я ведь сказал, что нужно сделать, уже на следующий день после похорон Кейсобона. Но меня не пожелали слушать.

— Вы, знаете ли, требовали невозможного, Четтем, — ответил мистер Брук. — Вы хотели отправить его в колонии. А я вам сказал, нам не удастся им помыкать: у него есть свои идеи. Он незаурядный малый… незаурядный, я это всегда говорил.

— Да, — не сдержавшись, отрезал сэр Джеймс. — Можно только пожалеть, что вы с ним так носились. Поэтому-то он и осел в наших краях. Поэтому-то нам и приходится теперь мириться с тем, что такая женщина, как Доротея, уронила себя, вступая с ним в брак. — Сэру Джеймсу трудно было подыскать слова, и он после каждой фразы делал передышку. — Человек, с которым ей просто неприлично видеться из-за приписки к завещанию, сделанной ее мужем, человек, из-за которого она вынуждена покинуть свой круг, познать нужду… а у него хватает низости

принять такую жертву, человек, всегда занимавший предосудительную позицию, человек сомнительного происхождения и, я убежден, почти лишенный принципов и правил. Таково мое мнение, — решительно заключил сэр Джеймс, отвернулся и закинул ногу на ногу.

— Я ей все это говорил, — виновато сказал мистер Брук. — То есть о бедности и об утрате общественного положения. Я сказал ей: «Милочка, ты не знаешь, что значит жить на семьсот фунтов в год, не иметь кареты и всего такого и вращаться среди людей, которые даже не представляют себе, кто ты». Да, я, право же, привел ей самые серьезные резоны. Но вы бы лучше побеседовали с ней самой. Ей, видите ли, в тягость наследство Кейсобона. Она сама вам все скажет, знаете ли.

— Нет уж, увольте, благодарю, — несколько поостыв, сказал сэр Джеймс. — Я не могу с ней видеться, мне тяжела эта встреча. Не так легко перенести известие о том, что такая женщина, как Доротея, поступила дурно.

— Будьте справедливы, Четтем, — вмешался благодушный добряк священник, недовольный излишней резкостью хозяина дома. — Миссис Кейсобон, возможно, поступает неблагоразумно: она отказывается от большого состояния ради

своего избранника, а мы, мужчины, придерживаемся слишком низкого мнения друг о друге, чтобы счесть разумным поведение женщины, решившейся на такой поступок. И все же, я думаю, в строгом смысле слова вы не имеете права называть ее поступок дурным.

— Имею, — ответил сэр Джеймс. — Я считаю, что, выходя замуж за Ладислава, Доротея поступает дурно.

— Мой милый, мы все склонны считать дурными поступки, которые нам не по вкусу, — невозмутимо возразил священник. Как многие люди, отличающиеся покладистым и ровным характером, он умел порою резким словом успокоить тех, кто безудержно поддался гневу. Сэр Джеймс промолчал, покусывая уголок носового платка.

— Нет, Додо затеяла что-то ужасное, — сказала Селия, вступаясь за мужа. — Она ведь утверждала, что не выйдет больше замуж… никогда, ни за кого на свете.

— Я тоже слышала эти слова, — поддержала Селию леди Четтем с истинно королевским величием.

— Да ведь вдовы всегда утверждают, что не выйдут больше замуж, — сказала миссис Кэдуолледер, — а мысленно делают одну-единственную

оговорку. Меня другое удивляет — отчего вы так изумлены? Вы ведь ничего не сделали, чтобы этому воспрепятствовать. Если бы вы пригласили лорда Тритона, то он, явившись перед ней во всем своем филантропическом блеске, быть может, давно бы уже ее отсюда увез. А вообще все складывалось так, чтобы подзадорить ее к такому шагу. И особенно тут постарался сам мистер Кейсобон. Он поступил гнусно… или господь его на это подвиг, так что ей волей-неволей захотелось поступить ему наперекор. А ведь так любая дрянь сойдет за драгоценность — стоит только навесить на нее ярлычок с высокой ценой.

— Я не знаю, что дурно в вашем представлении, Кэдуолледер, — сказал, поворачиваясь к священнику, сэр Джеймс, все еще чувствовавший себя несколько уязвленным. — Но мы не можем принять такого человека в свою семью. Во всяком случае, я говорю о себе, — продолжал он, старательно отводя взгляд от мистера Брука. — Возможно, остальным его общество представляется столь приятным, что их не волнуют вопросы благопристойности.

— Да, знаете ли, Четтем, — добродушно отозвался мистер Брук. — Я не могу отвернуться от Доротеи. В какой-то мере я обязан заменять

ей отца. Я сказал ей: «Милочка, я не могу запретить тебе выйти замуж». Я не сразу дал согласие, сперва я привел очень серьезные резоны. Я ведь, знаете ли, могу добиться отмены майората. Это и дорого, и хлопотно, однако сделать это я, знаете ли, могу.

Мистер Брук кивнул сэру Джеймсу, убежденный, что своей речью он не только продемонстрировал собственную непреклонность, но и способствовал умиротворению разгневанного баронета. Сам того не ведая, он применил весьма искусный ход. Он коснулся соображений, которых сэр Джеймс стыдился. Дело в том, что его недовольство решением Доротеи частично коренилось в предубежденности, вполне извинительной, и в антипатии, пожалуй, оправданной, которую внушал ему жених, частично же в ревности, ибо он ревновал Доротею к Ладиславу не менее, чем прежде ревновал ее к Кейсобону. Он был убежден, что этот брак погубит Доротею. Но в сонме всех этих веских причин затесалась одна, в существовании которой он, будучи человеком добрым и честным, не пожелал бы признаться даже самому себе: не приходилось отрицать, что Типтон-Грейндж и Фрешит, два поместья, так удобно расположенные в пределах общей окруж-

ной межи, сулили заманчивые перспективы сыну и наследнику сэра Джеймса. И стоило мистеру Бруку косвенно упомянуть об этом соображении, как сэра Джеймса охватило замешательство; у него встал комок в горле; он даже покраснел. В первом приступе гнева он был находчивее, чем обычно, но миротворческое выступление мистера Брука не в пример колкому намеку мистера Кэдуолледера заставило его прикусить язык.

Селия воспользовалась паузой, наступившей сразу же вслед за упоминанием о предстоящей свадьбе, и не замедлила спросить, впрочем, так небрежно, словно речь шла всего лишь о званом обеде:

— Так вы думаете, дядюшка, Додо сразу выйдет замуж?

— Через три недели, знаешь ли, — жалобно отозвался мистер Брук. — Я ничего не мог поделать, Кэдуолледер, — добавил он, повернувшись в поисках поддержки к священнику, который сказал:

— Я не стал бы из-за этого так волноваться. Если ей хочется жить в бедности, ее дело. Ведь никто бы даже слова не возразил, если бы ей вздумалось выйти замуж за богатого молодого человека. Приходские священники в начале своего пути тоже редко бывают богаты. Да вот хоть Элинор, —

лукаво обратился он к примеру собственной супруги. — Ее родня негодовала, когда она за меня вышла: у меня было менее тысячи фунтов годового дохода… неотесанный увалень в грубых башмаках, и достоинств за мной не числилось ни малейших. Все мужчины диву давались, каким образом я вообще мог кому-то понравиться. Право, я просто обязан взять сторону Ладислава, пока не узнаю о нем чего-нибудь действительно скверного.

— Гемфри, ты занимаешься софистикой и сам отлично понимаешь это, — возразила его жена. — Тебя послушать, так между людьми нет никакого различия. Да ведь ты Кэдуолледер! Возможно ли предположить, чтобы я стала женой такого изверга, если бы он носил другое имя?

— И притом вы священник, — добавила леди Четтем. — Об Элинор никто не скажет, что она совершила мезальянс. А что такое мистер Ладислав, едва ли хоть кому-нибудь известно. Верно, Джеймс?

Сэр Джеймс, обычно весьма почтительный со своей матушкой, на сей раз буркнул себе под нос нечто нечленораздельное. Селия глядела на него снизу вверх, как призадумавшийся котенок.

— Признаемся, какой только бурды не наме-

шано в крови этого Ладислава, — сказала миссис Кэдуолледер. — И кейсобоновская рыбья кровь, и польский бунтовщик, то ли скрипач, то ли учитель танцев, так ведь? Затем старый жулик…

— Полно, Элинор, — произнес священник, вставая. — Нам пора идти.

— Впрочем, он красив, — сказала миссис Кэдуолледер, тоже поднимаясь и желая несколько смягчить свой выпад. — Словно сошел со старинного портрета.

— Я иду с вами, — торопливо вскакивая, сказал мистер Брук. — Вы все должны у меня, знаете ли, завтра отобедать. Как ты думаешь, Селия, милочка моя?

— Ты пойдешь, Джеймс… Да? — спросила Селия, взяв мужа за руку.

— О, разумеется, если вам угодно, — ответил сэр Джеймс, одергивая жилет, но не в силах придать лицу приветливое выражение. — То есть в том случае, если мы никого там не встретим.

— Нет, нет, нет, — заверил его мистер Брук, прекрасно уловивший намек. — Доротея, знаете ли, не приедет, пока вы сами ее не навестите.

Когда сэр Джеймс и Селия остались наедине, она спросила:

— Ты не будешь против, если я поеду в Лоуик?

— Как, прямо сейчас? — спросил он с некоторым удивлением.

— Да, это очень важно, — сказала Селия.

— Помни, Селия, я не могу ее видеть, — сказал сэр Джеймс.

— Даже если она откажется от этого брака?

— Есть ли смысл об этом говорить? Впрочем, я иду в конюшню. Скажу Бригсу, чтобы тебе подали карету.

Селия полагала, что говорить, возможно, и нет смысла, зато есть смысл, причем немалый, в том, чтобы поехать в Лоуик и попытаться оказать влияние на Доротею. В годы девичества она была убеждена, что способна вразумить сестру сказанным к месту словом — приоткрыть оконце и рассеять трезвым дневным светом собственного здравомыслия причудливое мерцание цветных фонариков, сквозь мозаику которого рассматривала мир Додо. К тому же Селия как мать семейства имела все основания давать советы бездетной сестре. Кто еще способен понять Додо так хорошо, как она, кто любит ее так же нежно?

Доротею она застала в будуаре, и та вспыхнула от радости, что сестра приехала к ней тотчас же, едва узнала о предстоящем замужестве. Она заранее представляла себе негодование своих

родных, даже несколько его преувеличивая, и опасалась, что Селия не пожелает с ней знаться.

— Ах, Киска, как я счастлива тебя видеть! — сказала Доротея с веселой улыбкой, кладя руки на плечи Селии. — А я уж думала, ты не захочешь ко мне приезжать.

— Я не привезла Артура, потому что очень торопилась, — сказала Селия, и сестры сели друг против друга на стулья, соприкасаясь коленями.

— Видишь ли, все это очень скверно, Додо, — мягким грудным голосом проговорила Селия, и ее хорошенькое личико не омрачила даже тень досады. — Ты ужасно нас всех огорчила. Да я просто не представляю себе, как все это будет, ты ведь не сможешь жить в таких условиях. А твои проекты! Ты хоть о них подумай. Джеймс взял бы на себя все хлопоты, а ты по-прежнему всегда делала бы только то, что тебе нравится.

— Наоборот, душа моя, — сказала Доротея. — Мне никогда не удавалось делать то, что мне нравится. Я пока еще не осуществила ни одного из своих проектов.

— Потому что тебе всегда хотелось невозможного. Но ты задумаешь что-нибудь осуществимое, и у тебя все получится. И потом, как ты можешь выйти за мистера Ладислава, если никому из

нас даже в голову не приходило, что ты могла бы стать его женой? Джеймс потрясен, с ним ужас что творится. И к тому же это так на тебя не похоже. Мистер Кейсобон еще куда ни шло — с такой возвышенной душой и такой старый, унылый, ученый, а теперь вдруг — мистер Ладислав, у которого нет ни поместья, ни вообще ничего. Я думаю, все дело в том, что тебе непременно нужно создать себе какое-нибудь неудобство.

Доротея засмеялась.

— Нет, я вовсе не шучу, Додо, — с еще более серьезным видом продолжала Селия. — Как ты будешь жить? В каком окружении? И мы никогда больше с тобой не увидимся… а маленький Артур — ты и не думаешь о нем, а мне казалось, ты к нему так привязана…

На глазах Селии — что случалось нечасто — появились слезы, ее губы задрожали.

— Селия, милая, — с ласковой грустью произнесла Доротея. — Если мы с тобою никогда не увидимся, то не по моей вине.

— Нет, по твоей, — все с той же жалобной миной возразила Селия. — Разве я могу к тебе приехать или пригласить тебя к себе, если Джеймс так негодует? Он считает, что нельзя так делать, что ты дурно поступаешь, Додо. Но ты вечно затева-

ешь чго-то несуразное, а я все равно тебя люблю. И где ты будешь жить — просто ума не приложу. Куда ты поедешь?

— Я поеду в Лондон, — сказала Доротея.

— Да разве ты сможешь всю жизнь прожить в городском доме, прямо на улице? И в такой бедности. Я бы делилась с тобой поровну всеми нарядами, только как это сделать, если мы никогда не увидимся?

— Спасибо, Киска, — с пылкой нежностью сказала Доротея. — Не тревожься: может быть, Джеймс меня когда-нибудь простит.

— Но куда лучше было бы, если бы ты не выходила замуж, — сказала Селия, вытирая глазки и вновь переходя в наступление. — Все бы сразу стало на свои места. Да и зачем тебе делать такое, чего от тебя никто не ожидал? Джеймс всегда твердит, что ты рождена быть королевой, а разве королева могла бы так поступить? Ты же вечно совершаешь ошибки, Додо, и это твоя очередная ошибка. Мистер Ладислав — неподходящая для тебя партия, так все считают. И притом ты сама говорила, что никогда больше не выйдешь замуж.

— Ты совершенно права, Селия, я могла бы быть разумнее, — сказала Доротея, — и лучше

поступила бы, будь я лучше сама. Но поступаю я вот так. Я обещала мистеру Ладиславу выйти за него замуж, и я выйду за него.

В голосе Доротеи прозвучала давно знакомая Селии нотка. Та немного помолчала, и, когда обратилась к сестре, было ясно, что она не собирается ей больше прекословить.

— Он очень любит тебя, Додо?

— Мне кажется, да. Я его очень люблю.

— Как это славно, — безмятежно сказала Селия. — Только лучше бы ты вышла за кого-нибудь вроде Джеймса и жила в поместье где-нибудь неподалеку, а я бы ездила к тебе в гости.

Доротея улыбнулась, а Селия погрузилась в раздумье. После недолгой паузы она сказала:

— Просто не понимаю, как все это вышло! — Селии до смерти хотелось узнать подробности.

— А это незачем, — сказала Доротея, ущипнув сестру за подбородок. — Если ты узнаешь, как все вышло, тебе это вовсе не покажется удивительным.

— Но ты мне расскажешь? — спросила Селия и сложила руки, приготовляясь слушать.

— Нет, милочка, чтобы все узнать, тебе пришлось бы вместе со мной все прочувствовать.

## Глава LXXXV

*И тогда присяжные удалились, а имена их были мистер Слепец, мистер Порочный, мистер Злолюбец, мистер Похоть, мистер Распутник, мистер Шалый, мистер Чванство, мистер Недоброжелатель, мистер Жестокость, мистер Лжец, мистер Светоненавистник, мистер Неумолимый, и каждый из них решил, что он виновен, и в один голос договорились они объявить его виновным перед судьей. И первым сказал мистер Слепец, их старшина: «Я ясно вижу, что человек этот – еретик». Затем сказал мистер Порочный: «Нет такому человеку места на земле». «Да, – сказал мистер Злолюбец, – ибо самый вид его мне невыносим». Затем сказал мистер Похоть: «Я не хочу его терпеть». «И я, – сказал мистер Распутник. – Он осуждает то, как я живу». «Повесить его! Повесить!» – сказал мистер Шалый. «Жалкий мужлан», – сказал мистер Чванство. «Все во мне восстает против него», – сказал мистер Недобро-*

*желатель. «Он плут и негодяй», – сказал мистер Лжец. «Его мало повесить», – сказал мистер Жестокость. «Покончить с ним, да поскорее», – сказал мистер Светоненавистник. А потом сказал мистер Неумолимость: «Если бы мне отдали весь белый свет, все равно я не примирился бы с ним, а посему признаем его повинным смерти».*

***«Путь Паломника»***

В этой созданной бессмертным Беньяном сцене, когда дурные страсти выносят вердикт «виновен», кто жалеет Верного? Весьма немногим, даже не каждому из великих людей, выпадает блаженная участь сознавать свою безупречность перед лицом хулителей, чувствовать уверенность, что осуждают нас не за пороки, а за одни лишь добродетели. Сожаления достойна участь того, кто не вправе назвать себя мучеником, хотя не сомневается, что побивающие его каменьями люди суть воплощения мерзких страстей; участь того, кто знает, что его побивают каменьями не потому, что он отстаивает Справедливость, а потому, что он не тот, за кого себя выдает.

Мысль эта более всего терзала Булстрода, занятого приготовлениями к отъезду из Мидлмарча,

чтобы провести остаток дней своих среди чужих людей, людей, чье равнодушие служит печальным прибежищем добровольному изгнаннику. Преданность жены развеяла один из его страхов, но он чувствовал себя в ее присутствии словно перед судом и, как ни жаждала душа его защиты, не решался на признание. Уверяя себя, будто он непричастен к смерти Рафлса, Булстрод лукавил не только с собою, но, в молитвах своих, и с всеведущим, и в то же время его устрашала перспектива все открыть жене. Поступки, которые он мысленно отмыл добела, пустив в ход хитроумные аргументы и доводы, так что снискать невидимое прощение представлялось ему сравнительно легким делом — каким словом назовет их она? Он не вынесет, если жена даже в мыслях своих назовет их убийством. Ее сомнения служили для него спасительным покровом; пока он знал, что у нее еще нет оснований вынести ему наитягчайший из приговоров, у него хватало сил встречаться с ней лицом к лицу. Когда-нибудь позже, на смертном одре, он, может быть, все ей расскажет: держа его руку в сумраке неумолимо надвигающейся на него кончины, жена, возможно, не отпрянет от него. Возможно — но скрытность была его второй натурой, и страх

нового, еще горшего унижения был сильнее, чем стремление исповедаться.

Он окружил ее робкой нежностью, не только потому, что таким образом стремился смягчить суровость ее приговора, но и потому, что его глубоко удручало зрелище ее страданий. Она отослала дочерей в пансион, расположенный на побережье, чтобы, сколь возможно, скрыть от них постигший их семью позор. Избавленная после их отъезда от мучительной необходимости объяснять им, чем вызвано ее горе, и видеть их испуганные, удивленные лица, она беспрепятственно предалась печали, которая ежедневно прочерчивала в ее волосах все новые белые нити и делала тяжелыми веки.

— Я собираюсь сделать все имущественные распоряжения, Гарриет, — сказал ей как-то Булстрод, — скажи мне, чего бы тебе хотелось? Землю я продавать не намерен, хочу оставить ее тебе как обеспечение. Если у тебя есть еще какие-нибудь пожелания, то не скрывай их от меня.

Несколько дней она обдумывала его предложение, затем, придя домой после визита к брату, обратилась к мужу с такими словами:

— Мне и впрямь хотелось бы что-нибудь сделать для семьи брата, Никлас, и потом, я думаю,

мы обязаны искупить свою вину перед Розамондой и ее мужем. Уолтер говорит, мистеру Лидгейту придется уехать из города, а его практика мало чего стоит, и у них почти совсем нет средств, чтобы где-нибудь обосноваться. По мне, так лучше нам себя в чем-то урезать, лишь бы загладить нашу вину перед родными.

Миссис Булстрод не хотелось объяснять подробней, что означают слова «загладить вину», она знала — муж и так ее понял. Намек задел его больнее, нежели она могла предположить, ибо ей не было известно одно обстоятельство. Мистер Булстрод немного замялся, потом ответил:

— Нам не удастся осуществить твое желание таким образом, как ты предлагаешь, моя дорогая. Мистер Лидгейт, собственно говоря, отказался принимать от меня впредь какие-либо услуги. Он возвратил тысячу фунтов, которую я ему одолжил. Деньги для этого ему ссудила миссис Кейсобон. Вот его письмо.

Письмо поразило миссис Булстрод в самое сердце. Упоминание о деньгах, взятых в долг у миссис Кейсобон, как бы олицетворяло решимость всех окружающих любыми средствами избегать сношений с ее мужем. Она немного помолчала, слезы закапали из ее глаз, задрожал подбородок.

Больно было видеть Булстроду ее постаревшее от горя лицо, еще два месяца тому назад оживленное и цветущее. Печальная эта перемена сделала ее лицо под стать увядшим чертам ее мужа. Он сказал, стремясь утешить ее хоть немного:

— Есть еще одно средство, Гарриет, прибегнув к которому я мог бы поддержать семью твоего брата, если ты захочешь мне в том посодействовать. По-моему, оно окажется выгодным и для тебя, так как земля, которую я тебе предназначаю, будет вверена надежному управляющему.

Она внимательно на него посмотрела.

— Гарт подумывал когда-то взять на себя управление Стоун-Кортом, с тем чтобы затем передать его твоему племяннику Фреду. Скот и все имущество остались бы при ферме, а арендатор выплачивал бы мне не арендную плату, а определенную долю дохода. Для молодого человека это весьма недурное начало, да к тому же он многому сможет научиться у Гарта. Нравится тебе такое предложение?

— Да, — сказала миссис Булстрод, к которой отчасти вернулась ее былая оживленность. — Бедный Уолтер совсем пал духом. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы хоть немного помочь ему перед отъездом. Он всегда был мне

хорошим братом.

— Тебе придется, Гарриет, самой поговорить об этом с Гартом, — добавил мистер Булстрод, ибо, как ни неприятно ему было это упоминать, он желал добиться исполнения задуманного, и не только для того, чтобы утешить жену. — Ты должна ему объяснить, что земля эта принадлежит тебе и вести дела со мной ему не придется. Стэндиш может взять на себя роль посредника. Я упоминаю об этом потому, что Гарт отказался быть моим управляющим. Я вручу тебе условия, им составленные, а ты предложишь ему возобновить соглашение. Я думаю, он согласится, поскольку это предложишь ты и ради блага своего племянника.

# Глава LXXXVI

*Сердце пропитывается любовью, словно божественной солью, которая сохраняет его; отсюда – неразрывная связь тех, кто любит друг друга с самой зари своей жизни, и отсюда же – свежесть, присущая давней любви. Любовь обладает бальзамирующим свойством. Филемон и Бавкида[216] в прошлом были Дафнисом и Хлоей. В их старости как бы отражается сходство утренней и вечерней зари.*

***Виктор Гюго, «Человек, который смеется»***

Миссис Гарт, услышав шаги мужа в коридоре перед вечерним чаепитием, приоткрыла дверь гостиной и сказала:

— А, вот и ты, Кэлеб. Ты уже обедал? (Мистер Гарт выбирал время для еды, сообразуясь прежде всего с «делом».)

— О да, отлично пообедал — холодной бараниной и чем-то еще. Где Мэри?

---

**[216] Примечания: 216**

*Филемон* и *Бавкида* — супруги, сохранившие нежную любовь и в старости. Нарицательные имена, восходящие к греческому мифу.

— Я думаю, в саду, гуляет с Летти.

— Фред еще не приходил?

— Нет. Ты что, опять уходишь, даже не выпьешь чаю? — спросила миссис Гарт, увидев, что муж рассеянным жестом надевает только что снятую шляпу.

— Нет, нет, я просто на минутку выйду к Мэри.

Он нашел ее в дальнем конце сада, где густо росла трава и между двумя высокими грушами висели качели. На голову она повязала розовый платок, слегка надвинув его на глаза, чтобы прикрыть их от лучей закатного солнца. Мэри сильно раскачивала качели, и Летти отчаянно визжала и смеялась, взлетая вверх.

Заметив отца, Мэри тотчас же направилась ему навстречу, сдвинув на затылок розовый платок и еще издали невольно просияв радостной, полной любви улыбкой.

— А я искал тебя, Мэри, — сказал мистер Гарт. — Пройдемся немного.

Мэри ничуть не сомневалась, что у отца есть для нее какие-то новости: трагический излом бровей и сдержанная нежность, звучавшая в его голосе, служили признаками, которые она научилась распознавать еще с тех пор, когда была не старше Летти. Она взяла его под руку, и они

повернули к ореховым деревьям.

— Не так-то весело тебе будет дожидаться, пока ты сможешь выйти замуж, Мэри, — сказал отец, глядя не на нее, а на конец своей трости.

— Вовсе нет, отец, я не намерена грустить, — со смехом ответила Мэри. — Я не замужем уже больше двадцати четырех лет и вовсе не печалюсь. Думаю, теперь мне меньше осталось ждать. — Затем, после небольшой паузы, она спросила уже более серьезным тоном, пытливо заглянув отцу в лицо: — Ты ведь доволен Фредом?

Кэлеб сжал губы и благоразумно отвернулся.

— Нет, правда, отец, в прошлую пятницу ты его сам хвалил. Ты сказал, что он знает толк в лошадях и коровах и что у него хозяйский глаз.

— Я в самом деле так говорил? — не без лукавства спросил Кэлеб.

— Да, я все это записала, поставила дату, anno Domini[217] и так далее, — сказала Мэри. — Ты же любишь, чтобы записи велись как следует. И потом ты ведь и впрямь не можешь на него пожаловаться, отец, он так почтительно к тебе относится, а уж характер у него — лучше не сыщешь.

---

**[217] Примечания: 217**
Год от рождества Христова (*лат.*).

— Вот-вот, я вижу, ты непременно хочешь мне внушить, что он завидная партия.

— Вовсе нет, отец. Я люблю его совсем не за то, что он завидная партия.

— За что же?

— Ох, да просто потому, что я его всегда любила. Ни на кого другого я не буду с таким удовольствием ворчать, а это не последнее дело, когда речь идет о муже.

— Стало быть, ты окончательно решила, Мэри? — спросил Кэлеб, снова став серьезным. — И никакие недавние обстоятельства не вынудили тебя передумать? — За этим туманным вопросом скрывалось весьма многое. — Ведь лучше поздно, чем никогда. Идти наперекор сердцу не следует — твой муж от этого не станет счастливым.

— Мои чувства не изменились, отец, — спокойно ответила Мэри. — Пока Фред относится ко мне как прежде, и я буду относиться к нему так же. Я думаю, ни он, ни я не могли бы обойтись друг без друга или полюбить кого-нибудь другого, с каким бы восхищением к нему ни относились. Это было бы для нас таким потрясением — словно весь мир перевернулся и все слова изменили свое значение. Нам еще долго придется ждать, но ведь Фреду это известно.

Кэлеб снова помолчал, он остановился и, ничего не говоря, тыкал тростью в поросшую травой дорожку. Затем с душевным волнением произнес:

— У меня есть кое-какие новости. Что бы ты сказала, если бы Фреду предложили переехать в Стоун-Корт и вести там хозяйство?

— Да как же такое возможно, отец? — с удивлением спросила Мэри.

— Он станет управляющим своей тетки, миссис Булстрод. Бедная женщина была у меня нынче и слезно просила меня согласиться. Ей очень хочется помочь мальчику, а для него это, пожалуй, заманчивое предложение. Поднакопив деньжат, он сможет мало-помалу выкупить ферму, а хозяин из него получится хороший.

— Боже мой, как Фред-то будет рад! Просто не верится.

— Да, но вот в чем тут загвоздка, — сказал Кэлеб, многозначительно качнув головой. — Я должен взять это на свои плечи, на свою ответственность, за всем приглядывать, а твою мать все это опечалит, хотя она, наверное, ни словечка не скажет. Так что пусть уж он постарается.

— Тогда, может быть, не нужно, отец? — сразу погрустнев, сказала Мэри. — Кто станет радовать-

ся удаче, если она достается такой ценой, ведь у тебя и без того забот хватает.

— Нет, что ты, девочка, для меня работа только удовольствие, лишь бы твоя мать не огорчалась. Да к тому ж, если вы с Фредом поженитесь, — голос Кэлеба еле заметно дрогнул, — Фред остепенится, станет бережливым, а ты ведь у нас умница — вся в мать, а в чем-то на свой женский лад пошла и в меня, — ты сумеешь держать его в руках. Он вот-вот должен прийти, поэтому-то я хотел сперва все рассказать тебе. Я думаю, тебе будет приятно сообщить ему такие новости. А потом и я с ним потолкую, и мы обсудим все ладком.

— Ах, отец, какой ты добрый! — воскликнула Мэри и обвила руками его шею, а Кэлеб тихо склонил голову, радуясь ласке дочери. — Хотела бы я знать, другие девушки тоже считают, что лучше их отцов нет никого на свете?

— Вздор, девочка: муж будет казаться тебе еще лучше.

— Это невозможно, — возразила Мэри, вновь возвращаясь к привычной шутливости. — Мужья относятся к низшему разряду людей, и за ним надо строго присматривать.

По дороге к дому их догнала Летти, и когда они втроем приблизились к дверям, Мэри заме-

тила стоявшего у калитки Фреда и пошла ему навстречу.

— Ах, какой на вас изысканный костюм, расточительный молодой человек! — сказала Мэри, обращаясь к Фреду, который в знак приветствия с шутливой торжественностью приподнял шляпу. — Вы совсем не учитесь бережливости.

— Вы ко мне несправедливы, Мэри, — сказал Фред. — Да взгляните хоть на края этих обшлагов! Лишь усердно прибегая к щетке, мне удается сохранять приличный вид. Я в неприкосновенности храню три костюма — один для свадебного торжества.

— Воображаю себе, какой потешный вид будет у вас в этом костюме, точь-в-точь джентльмен из старинного модного журнала.

— За два года он не выйдет из моды.

— За два года! Будьте благоразумны, Фред, — сказала Мэри, сворачивая к дорожке. — Не обольщайтесь радужными надеждами.

— А почему бы нет? Уж лучше радужные надежды, чем уныние. Если через два года мы не сможем пожениться, то тогда и будем огорчаться.

— Я как-то слышала об одном молодом человеке, которому очень скверно пришлось оттого, что

он тешил себя радужными надеждами.

— Мэри, если вы собираетесь мне сообщить что-то неутешительное, я этого не выдержу, я лучше сразу же пойду к мистеру Гарту. Мне и так скверно. Отец расстроен, в доме все вверх дном. Еще одной дурной вести я не вынесу.

— А как, по-вашему, дурная это весть, если я вам скажу, что вы будете жить в Стоун-Корте и управлять тамошней фермой, являя собой чудо бережливости и откладывая ежегодно деньги, пока не выкупите наконец все имение с домом и обстановкой и сделаетесь светочем агрикультуры, как выражается мистер Бортроп Трамбул, боюсь, довольно тучным и сохранившим в памяти лишь жалкие обрывки греческого и латыни?

— Вы просто дурачитесь, Мэри? — спросил Фред, тем не менее слегка розовея.

— Отец мне только что сказал, что все это вполне осуществимо, а мой отец никогда не дурачится, — сказала Мэри, наконец-то поднимая взгляд на Фреда, а тот схватил ее за руку и стиснул крепко, до боли, но Мэри не стала жаловаться.

— Ах, Мэри, если бы все это получилось, я стал бы таким умником, что просто диво, и мы с вами сразу смогли бы пожениться.

— Не так скоро, сэр, а вдруг мне вздумается

отсрочить свадьбу на несколько лет? Вы за эти годы успеете сойти со стези добродетели, и если мне тем временем понравится кто-то другой, это послужит оправданием моей ветрености.

— Мэри, бога ради, не надо шутить, — умоляюще произнес Фред. — Скажите мне серьезно, что все это правда и что вы рады этому, потому что… потому что любите меня.

— Все это правда, Фред, и я этому рада, потому что… потому что я вас люблю, — с видом прилежной ученицы повторила Мэри.

Они немного задержались у двери под покатым навесом крыльца, и Фред сказал почти шепотом:

— Когда мы с вами еще в детстве обручились кольцом от зонтика, Мэри, вы тогда…

Глаза Мэри, теперь уже не скрываясь, заискрились радостным смехом, но тут, как на беду, из дома выбежал Бен в сопровождении заливающегося громким лаем Черныша и, прыгая вокруг них, воскликнул:

— Фред и Мэри! Что же вы так долго не идете? А то можно, я съем ваш пирог?

# Финал

Всякий рубеж — это не только конец, но и начало. Кто может, расставаясь с теми, с кем долго пробыл вместе, проститься с ними в начале их жизненного пути, не испытывая желания узнать, как сложится их судьба в дальнейшем? Страница жизни, даже самая типическая, — не образчик гладкой ткани: надежды не всегда сбываются, и самый энергичный почин порою завершается ничем; скрытые силы прорываются наконец, и высокие подвиги совершаются, дабы исправить давнишнюю ошибку.

Брак — предел, которым заключается такое множество повествований, — является началом долгого пути, так было с Адамом и Евой, которые провели медовый месяц в райском саду, но чей первенец увидел свет среди шипов и терниев пустыни. Брак — лишь начало эпопеи, в которой цепь событий, развернувшихся у домашнего очага, приводит либо к краху, либо к победе тот союз двоих, высшая точка которого — преклонный возраст, а старость — время жатвы совместных сладостных воспоминаний.

Иные, подобно крестоносцам, снаряжаются в путь во всеоружии надежд и энтузиазма и терпят поражение, не добравшись до цели, ибо не проявили должного терпения друг к другу и к миру, окружающему их.

Все, кого заботит судьба Фреда Винси и Мэри Гарт, рады будут узнать, что чета эта избегла такой участи и обрела прочное взаимное счастье. Фред неоднократно изумлял соседей то на тот, то на этот лад. Он прославился в своей части графства теоретическими познаниями и практическими успехами в сельском хозяйстве и создал труд «О выращивании кормовых трав и об откорме скота», снискавший немало похвал на собраниях фермеров. В Мидлмарче проявления восторга оказались сдержаннее, ибо большая часть жителей склонялась к мнению, что творение это увидело свет не столько благодаря стараниям Фреда, сколько его жены, так как никто не ожидал от Фреда, чтобы он смог что-то написать о репе и о свекле.

Зато, когда Мэри написала для своих сыновей небольшую книжицу под названием: «Рассказы о великих людях, взятые из Плутарха» и книжицу эту напечатали и издали «Грипп и К°, Мидлмарч», весь город приписал честь создания этого

произведения Фреду, поскольку он в свое время посещал университет, «где изучали древних», и мог бы стать священником, если бы захотел.

Отсюда явствует, что Мидлмарч провести невозможно и что за сочинение книг никого не следует хвалить, коль скоро их всегда пишет кто-то другой.

Мало того, Фред не только не сошел со стези добродетели, но и ни разу не оступился. Через несколько лет после свадьбы он сказал Мэри, что половиной своего счастья обязан Фербратеру, задавшему ему взбучку как раз в нужный момент. Я не утверждаю, что он научился трезво оценивать свои возможности и перспективы: урожай всегда оказывался хуже, а барыш от продажи скота — ниже, чем он предполагал; к тому же он не избавился от привычки время от времени в надежде на выгодную сделку покупать лошадь, которая впоследствии оказывалась с пороком. Впрочем, Мэри в таких случаях замечала, что повинна в этом лошадь, а не Фред. Он сохранил любовь к верховой езде, но редко позволял себе хоть денек поохотиться; и вот что любопытно: Фред в этих случаях брал препятствия с такой осмотрительностью, что все над ним смеялись — у каждой калитки ему чудилась Мэри с детьми,

под каждым плетнем мерещились их кудрявые головенки.

У них было трое сыновей, Мэри не огорчалась, что у нее родятся только мальчики, и когда Фред выражал сожаление, что у них нет дочки, похожей на Мэри, она со смехом говорила:

— Это было бы слишком тяжким испытанием для твоей матушки!

Миссис Винси, у которой на склоне лет осталось меньше оснований кичиться «отлично поставленным домом», черпала немалое утешение в том, что по крайней мере двое из сыновей Фреда — настоящие Винси и не похожи на Гартов. Зато Мэри радовалась в душе, что ее младшенький, по всей вероятности, очень напоминает ее отца в ту пору, когда тот носил курточку и обнаруживал поразительную меткость, играя в шарики и сбивая камнями спелые груши.

Бен и Летти Гарт, ставшие дядюшкой и тетушкой еще подростками, бесконечно спорили о том, кого лучше иметь: племянников или племянниц. Бен уверял, что девочкам, конечно, далеко до мальчиков, в противном случае они не ходили бы всю жизнь в юбках — несомненное свидетельство того, сколь скромен предназначенный им удел, на что Летти, любительница апеллировать

к книгам, гневно отвечала, что господь бог одел и Адама и Еву в звериные шкуры, притом ей вспомнилось, что на Востоке и мужчины ходят в юбках. Впрочем, последний довод, несколько затмивший блеск предыдущего, ей вообще не следовало приводить, ибо Бен, презрительно сказав: «Ну и дураки», тотчас же обратился к матери с просьбой, чтобы она ответила, кто лучше — мальчики или девочки. Миссис Гарт выразила мнение, что и те и другие достаточно гадкие и непослушные, но мальчики, несомненно, сильней, быстрее бегают и умеют более метко попадать в цель. Этим туманным приговором Бен остался вполне доволен, пропустив мимо ушей все, что касалось непослушания, зато Летти огорчилась, ибо ее самолюбие превышало ее физические силы.

Фред так и не разбогател — этому воспрепятствовала его склонность предаваться оптимизму, но постепенно он скопил достаточно и стал владельцем Стоун-Корта, и когда наступали неизбежные в жизни каждого фермера «тяжелые времена», его всегда спасала выучка, пройденная у мистера Гарта. Мэри с возрастом приобрела свойственную ее матери дородность, но, в отличие от нее, не заставляла своих сыновей сидеть подолгу над учебниками, так что миссис Гарт

тревожилась, достаточно ли хорошо они усвоили грамматику и географию. Впрочем, в школе они оказались в числе лучших, возможно, потому, что всем удовольствиям предпочитали общество и беседы матери. Когда в зимние вечера Фред верхом возвращался домой, он с радостью представлял себе пылающий камин в большой гостиной и жалел всех мужчин, которым не выпало счастье жениться на Мэри, особенно же мистера Фербратера. «Он был в десять раз достойнее, чем я», — признавался он теперь великодушно. «Разумеется, — отвечала Мэри, — и по этой причине ему легче было без меня обойтись. Но ты — даже подумать страшно, во что ты превратился бы, — младший священник, который по уши увяз в долгах, потому что берет лошадей в прокатной конюшне и покупает батистовые носовые платки!»

Если мы наведем справки, мы, возможно, узнаем, что Фред и Мэри, как и прежде, живут в Стоун-Корте, что ползучие растения, оплетающие красивую каменную стену, как и прежде, выплескивают через нее белую пену цветов и роняют ее на поле, где величавым рядом высятся каштаны, и что двое влюбленных, которые обручились когда-то кольцом от зонтика и которых

годы наделили безмятежностью и сединой, все также в солнечные дни видны у того самого окна, из которого Мэри Гарт выглядывала когда-то по просьбе старого Питера Фезерстоуна, чтобы посмотреть, не едет ли мистер Лидгейт.

Лидгейт не дожил до седых волос. Он умер всего лишь пятидесяти лет, не оставив без средств вдову и сирот, ибо жизнь его была застрахована на солидную сумму. Он обзавелся отличной практикой и жил в зависимости от сезона то в Лондоне, то на одном из морских курортов на континенте. Кроме того, он написал трактат о подагре, болезни, являющейся привилегией богачей. Множество платежеспособных пациентов уповало теперь на его врачебное искусство, но он упорно называл себя неудачником: он не осуществил того, что некогда замышлял. Все знакомые считали его счастливым мужем обворожительной супруги, и ничто ни разу не поколебало этого мнения. Розамонда не совершала больше опрометчивых поступков и не компрометировала себя. Она просто сохранила кротость нрава, незыблемость в суждениях, склонность журить мужа и способность при помощи разных уловок всегда настоять на своем. С годами он перечил ей все реже и реже, из чего Розамонда заключи-

ла, что он научился ценить ее мнение; со своей стороны, и она поверила в таланты мужа, когда он сделался богат и поселил ее не в клетушке на Брайд-стрит, как грозился прежде, а в золоченой, благоухающей цветами клетке, где и подобало жить такой райской птичке, как она. Иными словами, Лидгейт, как говорится, достиг успеха. Но он умер, не дожив до старости, от дифтерита, и Розамонда некоторое время спустя вышла замуж за пожилого и преуспевающего врача, который стал хорошим отчимом ее четырем детям. Прелестное зрелище являла она собой, сидя в карете с дочерьми, и свое нынешнее благоденствие не раз именовала «воздаянием», за что именно — она не говорила, но, возможно, имела в виду, что воздалось ей за терпеливость по отношению к Тертию, чей нрав так и не стал безупречным и с чьих губ до самых последних дней нет-нет да и срывалась какая-нибудь резкость, запоминавшаяся на более продолжительный срок, чем все последующие попытки ее загладить. Как-то он назвал ее своим базиликом, а когда она спросила, как объяснить эти слова, он ответил, что базилик — это растение, питательной почвой для которого служит мозг убитых людей. У Розамонды на такие выпады всегда был в запасе кроткий, но

неопровержимый ответ. Зачем же он тогда на ней женился? Ему следовало бы выбрать в жены миссис Ладислав, которую он всегда так превозносит и постоянно ставит ей в пример. Так что победа, как водится, оставалась за Розамондой. Но отдадим ей справедливость: она никогда ни единым словом не пыталась умалить достоинств Доротеи, благоговейно помня, с каким великодушием та в критическую минуту пришла к ней на помощь.

А Доротея и не помышляла, что ее можно ставить в пример другим женщинам, — ведь она чувствовала себя в силах найти своим способностям более достойное применение, если бы только знала — какое и сама была бы более достойной. И все же она не раскаивалась в том, что отказалась от богатства и положения в свете из-за Уилла Ладислава, а если бы раскаялась, тот был бы сломлен горем и стыдом. Их взаимная любовь была столь сильной, что никакие посторонние соображения не могли ее омрачить. Жизнь, не наполненная глубоким душевным волнением, для Доротеи была невозможна, теперь же ее жизнь протекала в постоянных благодетельных хлопотах, которые пришли к ней сами, без тревожных поисков и сомнений. Уилл с головой погрузился

в общественную деятельность, охваченный юношеским воодушевлением той поры, когда, не в пример нашим прозаическим временам, затевая каждую реформу, от нее немедленно ожидали добрых плодов, и был избран наконец в парламент от округа, который оплачивал его расходы. Доротея же только о том и мечтала, чтобы муж ее был в самой гуще борьбы против всяческих несправедливостей, коль скоро таковые существуют, а она сама служила бы ему в этой борьбе опорой. Многие знавшие ее сожалели, что столь исключительная личность целиком подчинила себя жизни другого человека и известна лишь немногим — просто как жена и мать. Но никто не брался объяснить, какое именно дело, соразмерное ее дарованиям, следовало бы избрать Доротее, даже сэр Джеймс Четтем, ограничившийся чисто негативным утверждением, что ей не следовало выходить замуж за Уилла Ладислава.

Впрочем, невзирая на такое его суждение, семейный раскол продолжался недолго и прекратился при обстоятельствах, весьма характерных для всех причастных к делу лиц. Мистер Брук не смог отказать себе в удовольствии переписываться с Уиллом и Доротеей, и однажды его перо, вдохновленное перспективой муниципальной

реформы, до того разгулялось, что настрочило само собой приглашение погостить в Типтон-Грейндже, каковое, будучи запечатленным на бумаге, уже не подлежало отмене, ибо для этого следовало бы полностью уничтожить все письмо — весьма ценное, — а об этом и помыслить было невозможно. В течение тех месяцев, пока шла вышеупомянутая переписка, мистер Брук в беседах с сэром Джеймсом Четтемом то и дело — либо намеком, либо без обиняков — давал ему понять, что не отказался от намерения уничтожить майорат. И в тот день, когда пресловутое приглашение дерзко сорвалось с его пера, он отправился во Фрешит именно с целью сообщить, что он считает решительно необходимым отважиться на эту энергическую меру, дабы владения Бруков не достались наследнику, в чьих жилах течет неблагородная кровь.

Но во Фрешит-Холле в то утро произошли волнующие события. Селия получила некое письмо и безмолвно плакала, его читая; когда сэр Джеймс, не привыкший видеть жену в слезах, встревоженно спросил, в чем дело, она разразилась такими стенаниями, каких он прежде от нее не слыхивал.

— У Доротеи родился сын. А ты мне не позво-

лишь к ней поехать. А я уверена, она хочет со мной повидаться. И конечно, она не знает, как управляться с малюткой… еще глупостей каких наделает. И ей было так плохо — думали, она не выживет. Все это так ужасно! Ты себе представляешь, если бы, когда родился наш Артур, Доротею бы ко мне не пустили! Ах, как можно быть таким недобрым, Джеймс!

— Бог с тобой, Селия! — воскликнул сэр Джеймс, растроганный до чрезвычайности. — Скажи мне, чего тебе хочется, милая? Я все сделаю. Я завтра же отвезу тебя в Лондон, если ты этого хочешь.

Селия этого хотела.

Вскоре вслед за тем приехал мистер Брук и, встретив в парке баронета, вступил с ним в беседу, ничего не зная о полученных известиях, которыми сэр Джеймс не счел необходимым с ним немедленно поделиться. Но когда гость опять заговорил о майорате, сэр Джеймс сказал:

— Любезный сэр, не собираюсь навязывать вам свое мнение, однако на вашем месте я не стал бы ничего менять. Пусть все останется как есть.

Мистер Брук был совершенно потрясен и поначалу даже не почувствовал, сколь утешительным является сознание, что от него не требуется никаких действий.

Итак, сэру Джеймсу пришлось помириться с Доротеей и ее новым мужем, ибо к этому склонялось сердце Селии. Если жены любят друг друга, мужьям не остается ничего иного, как подавить взаимную неприязнь. Сэр Джеймс, как и прежде, недолюбливал Ладислава, а Уилл предпочитал не беседовать с ним наедине — они проявляли обоюдную терпимость, но чувствовали себя друг с другом легко лишь в присутствии Доротеи и Селии.

Как-то само собой получилось, что мистер и миссис Ладислав каждый год не менее двух раз совершали поездку в Типтон-Грейндж, и разраставшаяся мало-помалу поросль юных Четтемов так ликовала при появлении еще двоих участников их игр, и фрешитские кузены так наслаждались обществом типтонских, словно кровь последних не была замутнена сомнительными примесями.

Мистер Брук дожил до глубокой старости, и его имение унаследовал сын Доротеи, который мог бы представлять в парламенте Мидлмарч, но отказался, решив, что, не связывая себя таким образом, он приобретет больше прав на независимость мнений.

Сэр Джеймс до конца своих дней считал вто-

рой брак Доротеи ошибкой; да и не он один — в Мидлмарче было принято так считать и рассказывать представителям молодого поколения, как Доротея, будучи девицей редкостных достоинств, сперва вышла замуж за хворого священника, по возрасту годившегося ей в отцы, а через год с небольшим после его смерти отказалась от имения, чтобы приобрести такой ценою право выйти замуж за его кузена, годившегося ему по возрасту в сыновья, не имевшего ни гроша за душой и к тому же неблагородного происхождения. Те, кто не был знаком с Доротеей, выслушав все это, обычно приходили к заключению, что если бы она была «хорошей женщиной», то не стала бы выходить замуж ни за того, ни за другого.

И в самом деле, оба эти столь важные в ее жизни поступка не блистали благоразумием. Но только так сумело выразить свой протест благородное юное сердце, возмущенное несовершенством окружающей среды, а в таких коллизиях великие чувства нередко оборачиваются ошибками, а великая вера — заблуждениями. Ибо даже самые сильные натуры в огромной мере подвержены влиянию того, что соприкасается с ними извне. Тереза нашего времени едва ли сумела бы осуществить преобразование монашеского ордена,

точно так же, как новая Антигона не имела бы возможности свершить свой подвиг и пожертвовать жизнью, дабы предать земле тело убитого брата, — отныне уже нельзя излить душевный пыл героическими подвигами такого рода. Но мы, люди незначительные, своими повседневными речами и поступками формируем жизни многих Доротей, и судьба той Доротеи, чью историю мы рассказали, еще не самая прискорбная из всех.

Ее восприимчивая ко всему высокому натура не раз проявлялась в высоких порывах, хотя многие их не заметили. В своей душевной щедрости она, подобно той реке[218], чью мощь сломил Кир, растеклась на ручейки, названия которых не прогремели по свету. Но ее воздействие на тех, кто находился рядом с ней, — огромно, ибо благоденствие нашего мира зависит не только от исторических, но и от житейских деяний; и если ваши и мои дела обстоят не так скверно, как могли бы, мы во многом обязаны этим людям, которые жили рядом с нами, незаметно и честно,

**[218] Примечания: 218**

Имеется в виду эпизод из «Истории» Геродота (кн. I): персидский царь Кир во время похода против Вавилона разгневался на реку Гинду (приток Тигра) за то, что ее волны поглотили одну из священных лошадей, и приказал выкопать по ее берегам 360 каналов и отвести в них ее воду, чтобы она иссякла и «женщины могли переходить ее, не замочив колен».

и покоятся в безвестных могилах.